This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG3321
A9
1868
v.2

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

СОЧИНЕНІЯ

М. В. АВДѢЕВА.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Изданіе
Ѳ. СТЕЛЛОВСКАГО,
по Большой Морской, въ домѣ Лауффферта, № 27, въ С. Петербургѣ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
—
1870.

ТИПОГРАФІЯ Н. М. СОКОВНИНА.
На углу Большой Садовой и Екатерингофскаго проспекта, въ домѣ № 2—49,
въ С. Петербургѣ.

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ.

РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

М. В. АВДѢЕВА.

Библиотека
Института Ленина
при ЦК. Р.К.П. (б.)
990
25

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящему роману выпалъ на долю, между прочими, одинъ счастливый жребій: онъ возбудилъ огромные толки и въ публикѣ, и въ журналистикѣ. Трудно уловить общій характеръ первыхъ, вторые были большею частію не въ пользу романа; но чтобы ни говорили тѣ и другіе за, или противъ его достоинства, совокупность ихъ, даже самая, иногда до хрипоты доходящая, раздражительность нѣкоторыхъ рецензій, доказываютъ несомнѣнно, что мысль романа коснулась одной изъ наиболѣе натянутыхъ и болѣзненныхъ струнъ нашей жизни. Слѣдящимъ за журналистикой извѣстно, что я не имѣю привычки отвѣчать на критики и рецензіи, какъ бы ни были иногда странны—чтобы не сказать болѣе—отзывы, — какъ бы ни было легко возраженіе на нихъ. Еще менѣе имѣю я желанія оправдывать свой взглядъ, или извинять недостатки романа; напротивъ, не говоря о многихъ изъ этихъ недостатковъ, я охотно сознаю и хочу говорить о весьма важномъ, на который указываетъ самая разнородность сужденій. Она меня убѣдила, что основная мысль моего романа недостаточно ясно проведена въ немъ, что моя точка зрѣнія, вѣрна ли она или нѣтъ, — недостаточно обозначилась. Убѣжденіе въ этомъ существенномъ недостаткѣ заставляетъ меня оговориться и договорить недосказанное.

Я не имѣлъ намѣренія рисовать идеалы и выставлять образцы добродѣтелей, достойные героическихъ временъ и дѣтскихъ повѣстей. Я не желалъ также ни поучать, ни развращать. Я хотѣлъ прослѣдить развитіе страсти въ средѣ, всего менѣе способной подчиняться ея произволу, въ обстановкѣ, льстящей ее всѣхъ внѣшнихъ поддержекъ и оправданій: словомъ самое естественное и нормальное развитіе страсти. Я выбралъ для этого самое простое изъ простыхъ положеній: и мужъ хорошій человѣкъ, и жена хорошая женщина, и любовникъ не дурной человѣкъ; страсть не имѣетъ оправданія ни въ ошибочномъ выборѣ, ни въ недостаткахъ мужа, ни въ порочномъ развитіи женщины, или особенно благопріятныхъ обстоятельствахъ: страсть пришла потому, что она присуща человѣку и развилась, отчасти вопреки логической послѣдовательности, потому что она страсть. Оставаясь вѣрнымъ изображенію жизни, какова она есть, я далъ свою долю участія въ ней тѣмъ побочнымъ, повидимому, причинамъ, которыхъ источникъ такъ удаленъ, что связь ихъ съ общимъ ходомъ дѣйствія ускользаетъ отъ анализа и является намъ чистой случайностью. Если бы вѣтка не хрустнула ночью подъ ногой Комлева, быть можетъ, Наташа устояла бы противъ порыва страсти и пуритане съ удовольствіемъ сопричислили бы ее къ сонму героинь и добродѣтельнѣйшихъ женщинъ.

Эта-то страсть, разрѣшающаяся въ критическія минуты, иногда отъ ничтожныхъ и побочныхъ случайностей, вопреки всѣмъ разсчетамъ разсудка, и есть одинъ изъ тѣхъ подводныхъ камней, о которые разбивается счастье, имѣющее за себя повидимому всѣ данныя. Столкновеніе ея съ тѣми охранами, которыми преданіе, общественныя условія и наконецъ выработавшіеся предразсудки думаютъ оградить прочность отношеній, построенныхъ на такомъ зыбкомъ и измѣнчивомъ грунтѣ, какъ чувства, было предметомъ драмы. Я взялъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ изъ одной и той же среды, образовывавшейся подъ вліяніемъ двухъ послѣдовательныхъ промежутковъ, еще близкаго намъ времени людей съ ихъ достоинствами и недостатками, и за тѣмъ — они дѣйствуютъ въ драмѣ по убѣжденіямъ, которыя въ нихъ выработались, дѣйствуютъ въ весьма обыденной и—какъ всегда у меня — небогатой происшествіями драмѣ, дѣйствуютъ просто, не рисуясь и не прибѣгая къ громкимъ фразамъ и эффектнымъ позамъ... Вотъ въ чемъ состояла моя задача, и можетъ быть, въ естественности и вмѣстѣ затруднительности тѣхъ столкновеній, которыя жизнь иногда придумываетъ капризнѣе всякаго воображенія, и передъ описаніемъ которыхъ я не отступалъ, особенно, можетъ быть, въ разрѣшеніи этихъ столкновеній съ точки зрѣнія убѣжденій, которыя я раздѣляю съ моими обыденными героями — нужно искать объясненія многимъ страннымъ и разнородными толкамъ и обвиненіямъ, къ которымъ подалъ поводъ настоящій романъ. Наше читающее и судящее большин-

«Да! Но счастливый конецъ! говорятъ иные, полное примиреніе, забвеніе прошлаго и прежнее счастіе, послѣ такого пассажа—воля ваша»?.. Но тутъ уже я самъ себѣ не вѣрю! Какъ счастливый конецъ? Какъ забвеніе? значитъ, я написалъ не то, что я хотѣлъ написать?

Правда, читая нѣкоторыя рецензіи, я не узналъ въ нихъ изложеніе собственнаго романа,—но мало ли у кого бываютъ какія фантазіи и своего рода взглядъ на дѣло,—но счастливаго конца я не ожидалъ!

Я поставилъ послѣднюю точку тамъ, гдѣ заканчивалась драма, которую прослѣдить имѣлъ намѣреніе. Дѣйствующія лица не умерли—ни физически, ни нравственно: они еще способны жить,

«Чтобъ мыслить и страдать»

и съ ними можетъ быть еще десятокъ драматическихъ произшествій, новыхъ и несравненно болѣе интересныхъ романовъ. Я говорю, можетъ быть, но кромѣ этой возможности, ихъ взаимныя отношенія дѣйствительно вступили въ такой фазисъ, который, по своему драматизму и психологическому значенію, могъ бы быть предметомъ любопытнѣйшаго и въ высшей степени интереснаго анализа, такъ что, можно сказать, настоящая потрясающая и глубоко сокрытая драма только началась съ этой минуты. Я не посмѣлъ и затронуть эту невидимую, тщательно скрываемую, почти не пробивающуюся наружу казнь, которую съ одной стороны ревность, подозрительность и глубоко оскорбленное чувство, съ другой сознаніе невозвратимо-погубленнаго прошлаго, неувѣренность въ себѣ и проч., заставляютъ испытывать людей, въ положеніи Соковлиныхъ, при малѣйшей попыткѣ возстановить прошлое счастіе; казнь, молча творящая свой судъ и преслѣдующая до тѣхъ поръ, пока не притупѣютъ чувства, пока время не запылитъ и не загрязнитъ всего, что было свято и дорого... Бываетъ иногда такая, повидимому невозмутимая жизнь вдвоемъ, передъ которой блѣднѣютъ многія потрясающія драмы, и я отступилъ передъ описаніемъ подобной жизни! Я только намекнулъ на нее говоря, что «рыдая они встрѣтили первыя минуты до жгучей боли стыдомъ и воспоминаніемъ отравленнаго счастія», да Соковлинъ сказалъ, что «чувство никогда не прощаетъ и не забываетъ».

И это счастливый конецъ!

Одинъ остроумнѣйшій, хотя ничего почти не написавшій писатель, Ривароль, замѣтилъ, что не надо слишкомъ полагаться на проницательность читателя. Можетъ быть, забывъ совѣтъ, я слишкомъ разчитывалъ на это вниманіе, если не на проницательность: что же дѣлать! у меня не достаетъ терпѣнія входить въ иныя подробности—и смѣлости, повтореніемъ одного и того же механически дѣйствовать на мозгъ читателя; можетъ быть, и это вѣрнѣе, я многаго не съумѣлъ рѣзко очертить и ярко высказать, но...

Впрочемъ, пора кончить! я высказалъ то, что хотѣлъ и считалъ недоговореннымъ или не ясно высказаннымъ, и дѣло мое сдѣлано. За тѣмъ, если мнѣ посчастливится вновь встрѣтиться хотя бы и съ такими обвиненіями, какъ напримѣръ подражаніе 7-ми писателямъ разомъ, или неумѣнье связать фразу, или наконецъ, содержаніе романа будетъ пересказано такъ, что не узнаешь его, это уже до меня мало касается.

М. Авдѣевъ.

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ.

ЧАСТЬ I.

I.

Въ большой угольной комнатѣ деревенскаго дома, назначенной кажется для того, чтобы исправлять должность спальной или чайной, но передѣланной въ кабинетъ, — за письменнымъ столомъ, заваленнымъ книгами, журналами и бумагами, сидѣлъ мужчина лѣтъ подъ сорокъ. Онъ былъ высокаго роста, рябоватъ и довольно полонъ. Передъ нимъ на столѣ стоялъ слегка дымящійся стаканъ чаю. Господинъ въ одной рукѣ держалъ закуренную сигару, въ другой вертѣлъ карандашъ и постукивалъ имъ по развернутой тетради.

— Такъ ты говоришь, что еще рано начинать сѣнокосъ? А по моему казалось бы пора.

Эти слова были обращены къ старостѣ, человѣку небольшаго роста съ умнымъ, пріятнымъ, но нѣсколько помятымъ и морщинистымъ лицомъ, какъ у большей части нашихъ пожилыхъ крестьянъ. Староста стоялъ у двери, заложивъ оба большіе пальца рукъ за кушакъ, которымъ былъ опоясанъ его коротенькій кафтанъ.

— Это оно такъ; дѣйствительно пора, Сергѣй Иванычъ! Только бы еще повременить немного! говорилъ староста и во время рѣчи прищуривался и приподнимался на носкахъ, точно птица, которая сбирается летѣть.

— Да зачѣмъ же временить, коли пора! возразилъ баринъ и пустилъ струйку дыма и, прихлебывая чаемъ, поглядывалъ на старотсу.

— Оно конечно, зачѣмъ и временить, коли пора! сказалъ староста и приподнялся на цыпочки:— только вотъ скоро, чай, молодой народится, такъ посмотрѣть бы, какъ время устоитъ.

— Ну, этого печего ждать, а съ понедѣльника вели начинать, рѣшилъ баринъ.

— Да нешто, чего его ждать; начинать и надо! только луговъ-то у насъ маловато будетъ, Сергѣй Иванычъ.

И староста опять припорхнулъ.

— Отчего же это вдругъ стало мало? Вѣдь прежде доставало — такъ и нынче достанетъ.

— Конечно, какъ ихъ не достать! Не первый годъ! Доставало же прежде! Да травы-то что-то плоховаты, Сергѣй Иванычъ; да и у крестьянъ, и у васъ, милостью Божьей, скота прибавляется, а мы еще и при дядюшкѣ вашемъ, царство Богъ царство небесное, жуторились травами.

— Да я бы радъ купить или нанять, да гдѣ же ихъ взять, коль нѣтъ!

— Извѣстно, гдѣ ихъ взять, коль нѣтъ! Чего и говорить! — Староста припорхнулъ. — Одначе, этто, Василій Нохринъ на базаръ ѣздилъ, такъ встрѣлся съ любанскимъ мужикомъ, поразговорились — это и объ лугахъ тоже; такъ онъ его и спросилъ: что, говоритъ, барыня не отдаетъ ли луговъ? — Онъ ему и говоритъ: какъ, говоритъ, чай, не отдаетъ! У насъ залишкомъ остаются — да у насъ, говоритъ, у Рамуляя особнячокъ есть, десятинъ съ сотню, такъ она, говоритъ, чай, и продастъ его.

— А ты знаешь мѣсто? хорошое?

— Какъ не знать! возлѣ самой нашей грани,— мѣсто потное и трава важная. Оно бы очень было сподручно.

— Хорошо, сказалъ баринъ. — Я посмотрю. Ступай.

— Вѣстимо посмотрѣть надо, отвѣчалъ староста, припорхнулъ, поклонился, повернулся поскорописто и вышелъ.

Баринъ покурилъ еще, пуская дымокъ сигарой и посматривая въ окно. Два ряда плотно построенныхъ, довольно зажиточныхъ избъ тянулись вправо и влѣво длинной, съуживающейся вдали перспективой. Прямо передъ окнами былъ ветловый кустарникъ и запущенный лѣсъ. Погода стояла сѣренькая; на черноземной улицѣ была вязкая грязь; стадо недавно остриженныхъ овецъ гналось

домой; грязныя, запачканныя, иззябшія, онѣ съ блеяніемъ бѣжали на мостикъ; позади, подпрыгивая на трехъ ногахъ, плелись хромые; два мальчишки-пастуха, подгоняли ихъ, громко хлопая длинными кнутами, отъ которыхъ при всякомъ ударѣ летѣла мокрая пыль. Баринъ хотѣлъ было почитать, развернулъ какой то журналъ, но потомъ опять закрылъ; ему надоѣло сидѣть.

— Эй! крикнулъ онъ.

Никто не отзывался.

— Эй, кто тамъ? Онъ взялъ колокольчикъ и началъ звонить.

— Кого вамъ? Нѣтъ никого, всѣ разбѣжались! высунувъ голову изъ двери, сказала толстая, раздражительная старуха лѣтъ подъ шестьдесятъ.

— Что Игнатьичъ дѣлаетъ, Марья Савишна? спросилъ баринъ.

— Что дѣлаетъ — чаемъ наверху надувается! Что ему больше дѣлать!

Вдали послышался скрипъ ступенекъ на лѣстницѣ и потомъ шаги.

— Вотъ онъ, легокъ на поминѣ! Поди! чай, ужь раздуло отъ чаю-то! Баринъ спрашиваетъ! сказала старуха и скрылась, продолжая ворчать.

Вошелъ старикъ высокаго роста, въ замасленномъ казакинѣ, съ сѣдыми усами, съ серьезнымъ и правильнымъ, когда-то красивымъ лицомъ.

— Не хочешь ли партійку на бильярдѣ, Игнатьичъ? спросилъ баринъ.

— Извольте! Двадцать пять впередъ.

— Двадцать!

— Нѣтъ, двадцать пять.

— Да и съ двадцатью я не могу играть, а съ двадцатью пятью навѣрное проиграю.

— Какъ угодно, а я меньше не стану.

— Ну пойдемъ, что ли, сказалъ баринъ, лѣниво отправляясь въ смежную комнату.

Это была гостиная. У задней стѣны еще стоялъ диванъ краснаго дерева съ острыми углами, которые, при малѣйшей попыткѣ удобнѣе усѣсться на немъ, немедленно врѣзывались въ бокъ или спину; надъ диваномъ и по боковымъ простѣнкамъ висѣли гравированные портреты генераловъ, бывшихъ губернаторовъ этой губерніи, и одного архіерея; средняя дверь выходила на балконъ. Но и гостиная измѣнила свое назначеніе. По срединѣ ея стоялъ новый, недавно выписанный бильярдъ, и диванъ былъ приподнятъ на деревянное возвышеніе, чтобы съ него удобнѣе было смотрѣть на игру.

— Эй, кто тамъ? крикнулъ баринъ.

Отвѣта не было. Игнатьичъ подтачивалъ кій.

— Эй, кто тамъ есть? крикнулъ опять баринъ.

Послышалась тяжелая, переваливающаяся походка; растворилась дверь и высунулась опять голова старой ключницы.

— Нѣтъ никого! Кого вамъ? Всѣ разбѣжались.

— Мальчишку бы надо какого нибудь — счинь.

— Вотъ я ихъ шугну, чертенятъ! въ сѣняхъ въ бабки играютъ.

Тяжелая поступь, подъ которой скрипѣли половицы, начала удаляться. Хлопнула дверь, послышалась брань, и, минуту, погодя, явился запыхавшись растрепанный мальчишка, бойко схватилъ шары, машинку, подалъ барину кій, и партія началась.

— Двадцать пять — и никого.

— Три и двадцать пять! слышалось по временамъ тоненькимъ голосомъ, среди молчанія и стука шаровъ.

— Что, Игнатьичъ, Любанина пріѣхала?

— Пріѣхала-съ. Ну, ну, ну, голубчикъ, вались! У-у-у-вотъ такъ! Пофитулило!

Шаръ, едва катясь, дошелъ до лузы, какъ будто задумался и свалился. Игнатьичъ повеселѣлъ.

— А что, развѣ съѣздить къ ней хотите?

— Нѣтъ, я пошлю узнать: не продаетъ ли луга.

— Да вы бы, сударь, сами съѣздили. Барыня добрая, енаральша, васъ маленькихъ знала — неловко.

— Не хочется.

— Нельзя, сударь! Обидится и не продастъ: она такая почтительная.

— Какъ почтительная?

— Такъ! Значитъ, — почтенье любитъ, ну и пользительная?

— А пользительная отчего?

— А такъ, на всякій случай. Смолоду-то сама — у-ухъ была! У енерала то, чай, затылокъ только чесался! Ну, теперь устарѣла. Я за то барыню люблю—нравъ не измѣнила. Женить ли кого, помочь ли, угостить—молодецъ барыня. Съѣзди, баринъ, къ ней!

— Ну ее! пожалуй, еще женитъ.

— А что же, развѣ дурно! Что въ самомъ дѣлѣ! — пора и честь знать, что бездомничать то! Гляди, вѣдь сѣдина въ волосахъ прошибаетъ!

Игнатьичъ, когда начиналъ горячиться, то говорилъ, по привиллегіи стараго слуги, всѣмъ—*ты*. Сергѣй Иванычъ добродушно смѣялся.

— Да на комъ же, Игнатьичъ? Развѣ на дочери? Вѣдь у нея есть дочь!

— Нѣтъ, какая дочь! Еще, чай, книжки учитъ. Ну, а вотъ Саморожева? Эка барыня-то, здоровая! сказалъ Игнатьичъ съ особымъ удареніемъ.—Кровь съ молокомъ! У-ухъ! матушка!

И онъ поправилъ усы.

Но пока онъ горячился, Сергѣй Иванычъ сдѣлалъ двухъ шаровъ и кончилъ партію. Игнатьичъ разсердился и замолчалъ.

Они еще сыграли нѣсколько партій, но вскорѣ стемнѣло; тогда игроки положили кіи. Игнатьичъ на доскѣ замѣтилъ черточками проигрышъ и удалился на верхъ курить махорку; баринъ велѣлъ подать огня въ кабинетъ, взялъ книгу, усѣлся съ ногами на турецкій диванъ и погрузился въ чтеніе; мальчишка немедленно убѣжалъ играть; и въ

домѣ опять стала скучная безлюдная тишина, изрѣдка прерываемая тяжелой поступью и доходящимъ до кабинета ворчаньемъ ключницы.

II.

Сергѣй Иванычъ Соковлинъ былъ сынъ довольно богатаго и сильно поразорившагося барина, дожившаго свой вѣкъ въ московскомъ англійскомъ клубѣ, въ ежедневной болтовнѣ о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Молодой Соковлинъ кончалъ курсъ въ университетѣ когда умеръ его отецъ. Мать его, тоже московская барыня стараго покроя, окруженная приживалками и моськами, ударилась подъ старость въ ханжество, ѣздила къ заутренямъ, толковала съ монахами, игуменьями; въ особенно важныхъ случаяхъ жизни совѣтовалась съ какимъ-то содержавшимся въ сумасшедшемъ домѣ Иваномъ Иванычемъ; окончательно раззорять имѣніе и обкрадывать себя поручила вольно-отпущенному Афонѣ, который давно уже на сторонѣ величался Афонасьемъ Степанычемъ,— и заботы свои о сынѣ проявляла тѣмъ, что аккуратно наводила справки: поздравлялъ ли онъ съ именинами тетушку Арину Петровну, съ крестомъ дядю Сергѣя Сергѣевича, съ рожденьемъ князя Петра Петровича. Но — русскій Богъ великъ! — у насъ какъ-то странно случается, что часто, несмотря на безурядицу воспитанія, или лучше сказать, благодаря этой безурядицѣ, у родителей, ничего не обѣщающихъ, вдругъ, какими-то судьбами, явятся дѣльныя дѣти или, въ серединѣ между двумя коптителями неба очутится сынъ — и умница, и образованный. Наслѣдственность качествъ и убѣжденій отъ отцовъ къ дѣтямъ составляетъ у насъ величайшую рѣдкость и держится въ не многихъ счастливыхъ фамиліяхъ въ которыхъ слабыя умственныя способности не помѣшали предку достигнуть высокихъ ранговъ не мѣшаютъ и потомкамъ при тѣхъ же средствахъ достигать того же положенія.

Благодаря этому фатуму, переводимому по-русски фразой «видно такъ на роду написано,» Соковлинъ выдался какъ говорится «не въ мать и не въ отца.» Онъ имѣлъ умъ тонкій, пытливый, характеръ мягкій, впечатлительный, но честный. По выходѣ изъ университета вступивъ въ большой свѣтъ, въ который отворяли ему дверь положеніе и связи родителей, Соковлинъ не увлекся имъ и мишурными въ немъ успѣхами; даже болѣе того— онъ устоялъ противъ матери, противъ сонма дядюшекъ, тетушекъ, кузинъ и нравоучительныхъ покровителей, противъ всей окружающей среды, которая старалась втянуть его въ тинистую и опутывающую мелочь свѣтскихъ условій и отношеній. Онъ привязался душой и убѣжденіями къ небольшому кружку молодежи, честной, образованной, сочувствующей всему свѣтлому, слѣдящей за наукой и современными вопросами, который всегда водится около такого плодоноснаго центра, какъ университетъ. Къ крайнему огорченію своей родни и великосвѣтскихъ знакомыхъ, Соковлина встрѣчали часто съ людьми бѣдными, плохо одѣтыми, толкующими весьма свободно о всякихъ высокихъ отвлеченностяхъ и совершенно теряющихся при встрѣчѣ съ его великосвѣтской тетушкой или кузиной. Иногда одѣтый во фракъ и бѣлый галстукъ, онъ засиживался въ бѣдной комнатѣ, въ дыму трубокъ и грошовыхъ сигаръ, за стаканомъ чая и нескончаемыми разговорами и, къ крайнему огорченію матери, *манкировалъ* раутомъ княгини Настасьи Зинзивѣевны или баломъ князя Петра Петровича.

Проживъ такимъ образомъ года три-четыре, отдаляемый отъ свѣта своими наклонностями и кружкомъ, отдаляемый отъ науки своими связями и положеніемъ, Соковлинъ считался гдѣ то по архивамъ, немного танцовалъ и волочился, много толковалъ съ пріятелями, но ничего не дѣлалъ. Изъ кружка молодежи, въ которомъ онъ бывалъ, вышло уже нѣсколько людей, людей дѣла, а не однихъ разговоровъ, которые начинали пріобрѣтать извѣстность въ наукѣ и литературѣ. Соковлинъ почувствовалъ безплодность своей жизни, захотѣлъ серьёзнѣе заняться наукой, и чтобы разомъ отрѣшиться отъ своей обстановки, выпросилъ у матери немного денегъ и поѣхалъ за-границу. Это было въ пору самаго сильнаго развитія и вліянія германской философіи. Соковлинъ предался ей, слушалъ лекціи въ университетахъ, учился, читалъ, но въ самомъ разгарѣ своихъ занятій, изъ сферы отвлеченностей былъ сброшенъ въ самую прозаическую существенность письмомъ Афони, которое извѣщало о смерти его матери и продажѣ имѣнія. Предупреждаемый друзьями и зная прежде о плутняхъ довѣреннаго и любимца матери, Соковлинъ долженъ былъ возвратиться въ Россію, чтобы спасти хоть что-нибудь изъ наслѣдства.

Устроивъ кое-какъ дѣла, то есть очутившись почти ни съ чѣмъ, Соковлинъ хотѣлъ посвятить себя наукѣ и приготовлялся держать экзаменъ на магистра, какъ вдругъ совершенно нечаянно, вслѣдствіе какой-то исторіи между его пріятелями, «по обстоятельствамъ, отъ него не зависящимъ,» долженъ былъ отправиться на службу въ одинъ изъ далекихъ губернскихъ городовъ.

Этотъ случай разрушилъ всѣ предположенія Соковлина, разомъ окунулъ его въ сферу чуждую ему во всѣхъ отношеніяхъ. Судьба какъ будто смѣялась надъ нимъ и подшибала его всякій разъ, когда только онъ думалъ сдѣлать рѣшительный шагъ и заносилъ ногу. Энергія его слабѣла; онъ началъ не-то, чтобы упадать духомъ, но почувствовалъ тѣ смиряющія обстоятельства, которыя гнѣли «Гамлета Щигровскаго уѣзда.»

Однакожь, оглядѣвшись въ окружающей его обстановкѣ, Соковлинъ думалъ быть полезнымъ на новой своей дорогѣ и отдался службѣ. Онъ работалъ усердно, не отказывался отъ самыхъ мелкихъ и безпокойныхъ трудовъ, но и тутъ по-напрасну.

Начальство смотрѣло на него косо; его пріемы съ дѣломъ, его предположенія—все не нравилось. Иногда идя, какъ ему казалось, по самой прямой дорогѣ, слѣдуя самымъ честнымъ побужденіямъ, онъ вдругъ видѣлъ себя въ положеніи самомъ запутанномъ, въ положеніи тѣмъ болѣе непріятномъ, что вредя себѣ, онъ не только не приносилъ пользы, но даже вредилъ и тѣмъ, кому хотѣлъ помочь. Сначала онъ приписывалъ это своему незнанію дѣла, неприготовленности, непрактичности, но потомъ долженъ былъ сознаться, что для пріобрѣтенія этой практичности надо жертвовать своими правилами, убѣжденіями, что онъ вносилъ новые взгляды и понятія въ сферу, совершенно имъ чуждую, организацію, совершенно иначе построенную, что не только его маленькія силы, но совокупное стремленіе сотни подобныхъ ему нововводителей изломаются въ ней, какъ иголка въ паровой машинѣ. Его стремленія не только были безполезны, надъ ними не только смѣялись, — ихъ заподозривали въ нечестности, имъ приписывали другія побужденія. Къ этой неудачѣ по службѣ присоединились другія, еще болѣе чувствительныя. Почти лишенный возможности читать и слѣдить за ходомъ науки и литературы — отсутствіемъ книгъ, увлеченный близостью провинціальныхъ отношеній и наконецъ потребностью сердца, Соковлинъ влюбился въ одну замужнюю женщину. Эта женщина, прелестная собою, но испорченная воспитаніемъ и обстановкой до корней волосъ, сначала предалась ему страстно, потомъ обманула его, снова притягивала къ себѣ, снова обманывала, и молодой человѣкъ, поглощенный страстью, которая одна доставляла ему нѣсколько отрадныхъ минутъ, видѣлъ всю наготу обмана, всю ложь этой женщины и едва имѣлъ силы оторваться отъ нея.

Измученный своими общественными и сердечными неудачами, обманутый всѣми мечтами и замыслами, разбитый во всѣхъ предположеніяхъ, Соковлинъ, послѣ долгой борьбы, озлобленія, разочарованій, вспышекъ энергіи и новыхъ разочарованій, наконецъ надломился и, можетъ быть, совершенно бы упалъ, если бы подобная жизнь продолжалась долѣе.

Но къ счастію, одинъ бездѣтный его дядя вздумалъ однажды умереть, и Соковлину досталось порядочное наслѣдство. Воспользовавшись этимъ предлогомъ, Соковлинъ просилъ отставку; начальству онъ давно надоѣлъ, и оно радо было развязатся съ нимъ; его уволили, съ условіемъ чтобы онъ жилъ въ имѣніи.

Онъ уѣхалъ въ деревню и поселился въ ней уже безъ всякихъ замысловъ и мечтаній. Онъ не думалъ измѣнять хозяйство, просвѣщать крестьянъ и улучшать нововведеніями ихъ бытъ. Крестьяне его, благодаря старику-дядѣ, который двадцать лѣтъ, безъ всякихъ затѣй, а только безобидно прожилъ съ ними — были въ довольно хорошемъ состояніи. Соковлинъ позаботился, чтобы староста не слишкомъ его обманывалъ и не притѣснялъ крестьянъ. Въ ущербъ, можетъ быть, своимъ выгодамъ, онъ выбралъ мужика смирнаго и честнаго и сталъ исподволь присматриваться къ хозяйству; затѣмъ ждалъ, когда опытность укажетъ ему истинныя нужды крестьянъ. Онъ въ деревнѣ искалъ одного — спокойствія. Благодаря доброму сердцу, благодаря ясному взгляду на вещи и, можетъ быть, врожденной мягкости характера, Соковлинъ не озлобился, не сдѣлался мизантропомъ, не упалъ духомъ — онъ просто усталъ. Онъ, какъ человѣкъ послѣ дальней, ухабистой дороги, чувствовалъ, что и тутъ болитъ, и тамъ болитъ, что онъ весь поразбитъ и что ему надо отдохнуть и отлежаться прежде, нежели быть годнымъ на какое нибудь дѣло. Были у него отдаленные планы; онъ ждалъ, когда ему можно будетъ перемѣнить образъ жизни; но обстоятельства не измѣнялись. Онъ былъ почти доволенъ своею жизнію: выписывалъ много книгъ и журналовъ, читалъ, переписывался съ немногими друзьями первой молодости. Съ сосѣдями-помѣщиками онъ былъ знакомъ—но издали; у него не было съ ними общихъ интересовъ, не было и столкновеній. Большіе баре считали его за человѣка образованнаго, но не соперника по выборамъ, и потому мало передъ нимъ выпячивали грудь, а обходились какъ съ равнымъ; маленькіе не боялись его и потому не гнули спину, а только немножко лебезили — всѣ довольно любили и оставляли въ покоѣ: этого только и желалъ Соковлинъ; иногда онъ тихо скучалъ, но былъ почти счастливъ. Да что же такое и счастье, какъ не тихая, безмятежная, легонькая скука?

Тутъ застаетъ Соковлина нашъ разсказъ.

III.

Игнатьичъ и другія справки убѣдили Соковлина, что для пользы дѣла ему надо было самому съѣздить къ генеральшѣ.

Соковлинъ преодолѣлъ свою лѣнь и поѣхалъ.

Былъ теплый, хотя немного облачный полдень, когда пара здоровыхъ, доморощенныхъ лошадей подвезла Соковлина, въ маленькомъ тарантасикѣ, къ подъѣзду большаго, одноэтажнаго деревяннаго дома Любаниной. Здоровый, молодой парень, прислонивъ голову въ уголъ передней, спалъ, сидя на подоконникѣ; ротъ его былъ полуоткрытъ, и по толстымъ губамъ, не смотря на звучное дыханіе, которое, какъ вѣтеръ, вырывалось между нихъ — прогуливалось общество мухъ. Соковлинъ долженъ былъ разбудить его.

— Дома барыня? спросилъ онъ.

Слуга вскочилъ и глядѣлъ на него какъ на привидѣніе.

— Дома барыня? повторилъ Соковлинъ.

— Генеральша-съ? Дома!

Послѣ нѣкоторыхъ господъ, получившихъ въ первый разъ титулъ превосходительства, всего больше гордится имъ — прислуга.

— Какъ прикажете доложить?

*

Соковлинъ назвалъ себя. Слуга пошелъ докладывать.

Онъ вошелъ въ залу. Дверь изъ нея въ гостиную была отворена, Соковлинъ слышалъ, какъ слуга назвалъ, перековерквавъ, его фамилію. Вслѣдъ затѣмъ въ гостиной сдѣлалось маленькое смятеніе.

— Талинька, прими его! Я только чепецъ... говорилъ кто-то тѣмъ торопливымъ шопотомъ, который слышнѣе обыкновеннаго голоса.

— Но, мама, я... Далѣе Соковлинъ не слыхалъ; но этотъ голосъ былъ тише и нѣжнѣе.

— Полно! Какъ не стыдно! не маленькая! Я сейчасъ...

Затѣмъ послышалась переваливающаяся походка, скрыпнула другая дверь—и сдѣлалась тишина.

Слуга возвратился и сказалъ мрачнымъ, наспаннымъ басомъ:

— Пожалуйте!

Соковлинъ вошелъ въ гостиную, увидалъ за столомъ у работы женскую фигуру, поклонился, приподнялъ голову, и какое-то теплое и мягкое чувство такъ и пролилось по немъ, точно то сладкое чувство, заставляющее и улыбаться и недоумѣвать, когда сѣверный уроженецъ въ первый разъ переѣдетъ горы и очутится вдругъ на югѣ.

Прежде всего Соковлину бросился въ глаза прямой и тонкій проборъ, который разсѣкалъ густой засѣвъ темныхъ волосъ и откидывалъ ихъ двумя свободными волнами на обѣ стороны. Онѣ спускались на маленькія, горящія уши, не прикрывая ихъ, были собраны на затылкѣ и свиты въ косу, которая, изгибаясь узломъ, казалось, бремепила молоденькую головку. Потомъ онъ увидалъ нѣжное, загорѣвшее и ярко согрѣтое румянцемъ и замѣшательствомъ личико, овальное, съ вогнутымъ продолговатымъ носомъ, темными, пушистыми бровами, маленькими, пунцовыми и нѣсколько раскрытыми губами. Оно не имѣло правильной красоты, но въ немъ было пропасть неожиданной прелести, той не избитой, своеобразной прелести, къ которой никогда не присмотришься, какъ не присмотришься къ иному не рѣзкому, но счастливо сгруппированному виду.

Соковлинъ, чтобы сказать что нибудь, назвалъ себя и спросилъ про Любанину.

— Мама сейчасъ выдетъ, сказала дѣвушка тѣмъ неустановившимся еще голосомъ, въ которомъ слышится и полудѣтскій сопрано и прорываются полныя контральтовыя ноты.

Потомъ она подняла рѣсницы и взглянула на Соковлина.

Именно такъ и надо было сначала приподнять темную, длинную и загибающуюся на кончикахъ завѣсу рѣсницъ, чтобы взглянуть такими любопытными, испытующими, большими глазами. Соковлину показались они сначала черными, но, всмотрѣвшись, онъ нашелъ, что они каріе, но такіе глубокіе, такъ много въ нихъ самихъ было своего собственнаго, изъ нихъ выходящаго свѣта, что они то казались черными какъ смоль, то ясными и спокойно-свѣтлыми. Такіе глаза непремѣнно надо было прикрывать такими рѣсницами, чтобы сберегать ихъ свѣтъ и чистоту, чтобы ихъ взглядъ не пропадалъ даромъ, не терялся.

Дѣвушка опять потупила глаза на работу и начала торопливо шить; дыханіе ея было нѣсколько не ровно.

Соковлинъ молчалъ и улыбался. Ему было отрадно и весело смотрѣть на эту прелестную, смутившуюся дѣвочку. Ея полу-дѣтскій, наклоненный станъ, ея головка, съ черными, густыми волосами, лицо загорѣлое и ярко согрѣтое румянцемъ и смятеніемъ, наконецъ это смятеніе, которое дѣлало ее похожей на пойманную, еще не совсѣмъ ручную птичку, неожиданность встрѣчи съ такимъ свѣжимъ, только-что развертывающимся созданіемъ,—все это не то чтобы поразило, но ужасно свѣтло и весело дѣйствовало на Соковлина, и онъ, съ эгоизмомъ опытнаго, знающаго толкъ и неутратившаго еще чувствительности холостяка, молча любовался дѣвочкой.

Наконецъ ему стало жаль ее.

— Вы вѣрно недавно пріѣхали въ имѣніе? спросилъ онъ: — я вашъ недалекій сосѣдъ, и только вчера узналъ о пріѣздѣ Татьяны Григорьевны.

— Н-нѣтъ! Мы здѣсь съ ранней весны! сказала дѣвушка неторопливо, какъ будто боясь хотя бы изъ вѣжливости сказать неправду.

— Но можетъ быть вы хотѣли отдохнуть отъ городской жизни и еще не принимали и не выѣзжали, сказалъ Соковлинъ, чтобы поправиться.

— Напротивъ, мы были у всѣхъ знакомыхъ, и у насъ многіе были, отвѣчала она, и зарумянилась еще болѣе. Если бы свѣтская дѣвушка такъ упорно не давала собесѣднику случая выпутаться изъ неловко-поставленнаго вопроса, тотъ бы могъ счесть это или холодностью, или желаніемъ немножко наказать за поздній пріѣздъ,—но Соковлинъ видѣлъ, что эти отвѣты были сказаны именно потому только, что это была правда; отъ него не укрылось и то, что дѣвушка сама чувствовала, что эта правда не совсѣмъ идетъ тутъ, и смущалась ею, но не смотря на то, не умѣла или не хотѣла смягчить ее.

— Въ такомъ случаѣ, сказалъ Соковлинъ:—виноватъ я самъ или, лучше сказать, моя нелюдимость, благодаря которой я ничего не зналъ. Впрочемъ я самъ и наказанъ!.. прибавилъ онъ.

— Чѣмъ же? спросила она нерѣшительно.

— Да тѣмъ, что лишалъ себя большаго удовольствія. Соковлинъ чувствовалъ и сказалъ это такъ искренно, что дѣвушка и не приняла фразу за любезность.

— Какое же лишеніе? Вѣдь вы насъ и не знали! сказала она, поднявъ рѣсницы и взглянувъ на Соковлина такимъ наивно-любопытнымъ взглядомъ, какъ будто прямо хотѣла спросить его: «что это? вы кажется солгали?»

Соковлинъ это понялъ и улыбнулся.

— Васъ я зналъ ребенкомъ, но вы меня конечно не помните а вашу матушку знаю... началъ онъ,—но въ эту минуту дверь растворилась, вошла высокая, очень полная женщина съ радушнымъ лицомъ, въ чепцѣ немного на бокъ, и изъ двери еще начала:

— Да какъ же не знать-то! Знала еще вотъ какимъ! И съ матушкой-то покойной, дай Богъ царство небесное, были дружны. Что это за женщина была! Да и дядюшка-то Петръ Степанычъ, какой человѣкъ былъ!.. Здравствуйте, здравствуйте, Сергѣй...

— Иванычъ, подсказалъ Соковлинъ, пожавъ ей руку, которую Татьяна Григорьевна, кажется, имѣла намѣреніе подставить ему для поцалуя.

— Садитесь, пожалуста! Какъ я рада, что васъ вижу. А я ужь говорила Талинькѣ, что это, видно, Сергѣй...

— Иванычъ, подсказала тихо и не подымая глазъ дочь.

— Видно, я говорю, Сергѣй Иванычъ загордился и не хочетъ вспомнить старуху.

— Я только на дняхъ узналъ, что вы пріѣхали, сказалъ Соковлинъ.

— Нѣтъ, ужь мы съ мѣсяцъ здѣсь! Зиму-то въ городѣ жили. Нельзя, Сергѣй... Мнѣ-то бы что старухѣ, да вѣдь дочь невѣста!.. Нельзя! Вы вѣдь знакомы? Чай, помните? спросила она, указывая на дочь.

При словѣ «невѣста», Талинька вспыхнула.

— Я помню еще ребенкомъ Наталью Дмитріевну, отвѣчалъ Соковлинъ.

— Дочка моя, дочка! Какъ же! Рекомендую.

Соковлинъ поклонился.

— Вѣдь какъ растетъ-то, растетъ-то какъ!.. Вѣдь давно ли дитя была! Да и вы-то, Сергѣй... Забываю все по батюшкѣ?

— Иванычъ!

— Да и вы-то давно ли пріѣзжали сюда, Сергѣй Иванычъ, почти мальчикомъ! А теперь и узнать нельзя.

— Постарѣлъ, Татьяна Григорьевна.

— Постарѣлъ, постарѣлъ! А вѣдь, чай, лѣтъ-то не много еще?

— Да ужь давно за тридцать...

— Ну, еще какіе это года! Да вѣдь все занимаетесь, говорятъ; читаете все? Да ужь пора бы и отдохнуть! Вѣдь умникъ—ужь и безъ того знаемъ, что умникъ! А вѣдь это все убиваетъ! Ну, да и горе-то!

— Какое же горе? наивно спросилъ Соковлинъ.

— Ну, дядюшки лишился, матушки...

«Экъ, что тряхнула»! подумалъ Соковлинъ.

— Да и несчастье-то! Слышала! слышала, Сергѣй... Такъ вчужѣ сердце кровью обливалось! Думаю, если бы покойница-то матушка твоя, дай Богъ царство небесное, была жива: ей-то, ей-то какъ бы это горько было!

У Татьяны Григорьевны навернулись слезы, и она ихъ отерла кончикомъ платка.

Соковлина это совершенно-неожиданное направленіе разговора, ударившагося въ драму—смутило нѣсколько. Онъ придумывалъ, какъ бы перемѣнить тему; но Татьяна Григорьевна, не любившая сидѣть молча, продолжала еще грустнымъ и разстроеннымъ голосомъ:

— Кофейку не хочешь ли, Сергѣй... Петровичъ... или закусочки, а? Что же это, право, тамъ Аринушка не распорядится!

— Покорно васъ благодарю... Я...

— Нѣтъ! ужь нѣтъ! какъ же это не закусить! Да что любишь, Сергѣй... Ты прямо скажи,—вѣдь у меня запросто,—ватрушечекъ, что ли, или...

— Нѣтъ, ужь позвольте лучше кофею, сказалъ Соковлинъ, видя, что отъ хозяйки не отдѣлаешься.

— Я сейчасъ, мама, сказала Талинька, кажется, довольная, что нашла предлогъ уйдти; встала и вышла.

— Скажи, скажи тамъ Аринушкѣ... Что это она!—Все сама, Сергѣй... все сама должна посмотрѣть. Вотъ Талинька только! ну, да вѣдь почти дитя! Какая же она еще хозяйка! Гдѣ въ саду погуляетъ, гдѣ поработаетъ да почитаетъ! А ужь читать-то, читать-то какъ любитъ! Иногда ночи засиживается! Что это нынче за молодежь, Сергѣй... право! Мы, бывало, только бы потанцовать или понарядиться, — а нынче все работаютъ, да учатся! Вотъ и Талинька—тоже. Э-э! хе-хе!

— Ну, вамъ грѣхъ, кажется, быть ею недовольной, сказалъ Соковлинъ.

— А что? съ любопытствомъ спросила Татьяна Григорьевна. Лицо ея повеселѣло—она знала, что скажутъ похвалу Талинькѣ, и не могла отказать себѣ въ наслажденіи услыхать ее.

— Не будь я почти старикъ, а Наталья Дмитріевна почти ребенокъ—такъ я бы не смѣлъ сказать, но теперь не могу скрыть: я рѣдко видалъ такую прелестную дѣвушку.

— Право? ты не льстишь, Сергѣй... Вѣдь ты, голубчикъ, видалъ много на свѣтѣ? Ну что, какъ она?

— Да я вамъ искренно повторяю, что я мало видалъ дѣвушекъ,—не говорю про красоту,—отъ которыхъ бы вѣяло такой прелестью!

Лицо Татьяны Григорьевны сіяло добродушнѣйшей радостью.

— Правда! правда, Сергѣй! Хорошенькая! Да что красота! а вотъ сердце-то, сердце-то какое! Ангелъ вѣдь, просто! Ужь не знаю, за что меня Богъ и наградилъ ею! Только и молюсь, чтобы сохранила ее Царица небесная...

У нея навернулись слезы; голосъ начало перехватывать; но она торопливо утерла глаза, оправилась и сквозь слезы засмѣялась.

— Что это я, право! Свою дочь расхваливаю! Ты прости меня, Сергѣй... Я вѣдь, право, съ тобой какъ съ роднымъ... не могла удержаться. Люблю ее ужь очень! Вѣдь одна у меня! какъ перстъ, одна! Только одно меня огорчаетъ: дика ужасно! Это на балъ къ губернатору! ну, звала

непремѣнно, — да и надо же вывезти, вѣдь семнадцатый годъ, — такъ точно на казнь везти!.. Пріѣхала оттуда: «нѣтъ, мама! говоритъ, этой пыткѣ вы меня но подвергайте».

— Ну, это пройдетъ! сказалъ Соковлинъ.

— Ты думаешь, пройдетъ? спросила Татьяна Григорьевна, поглядывая заискивающимъ и боязливымъ взглядомъ, какъ будто ждала рѣшенія своей судьбы.

— Непремѣнно пройдетъ! Теперь года Натальи Дмитріевны переходные: она не то ребенокъ, не то дѣвушка — а въ это время въ нихъ бываетъ много еще страннаго, полудѣтскаго: взглядъ не установился.

— Дай Богъ! дай Богъ! Я и сама такъ думаю. Ну, вотъ еще другая странность: никакой она неправды, то есть не то что лжи, а такъ,—ну, самъ знаешь, въ свѣтѣ иногда и не то скажешь, что думаешь,—такъ выносить не можетъ, вся такъ и вспыхнетъ...

— Ну, отъ этого дай Богъ и не вылечиваться, сказалъ Соковлинъ.

— Ахъ, нѣтъ, Сергѣй! Оно, слова нѣтъ, прекрасно! чистая, значитъ, душа. Да вѣдь нельзя! вѣдь съ людьми жить то, Сергѣй!... Ужь и не знаю, какъ это она будетъ въ свѣтѣ! И Татьяна Григорьевна опять задумалась.

Въ это время вошелъ слуга съ подносомъ, на которомъ стояла чашка для хозяйки, стаканъ для гостя съ кофеемъ, сливочникъ, масло и цѣлая груда сухарей, крендельковъ и лепешечекъ.

— Что это Аринушка меня балуетъ, — вѣдь я ужь пила! Ну, да выпить развѣ для такого гостя, сказала Татьяна Григорьевна, страстная охотница до кофею. — А крендельковъ то, Сергѣй... Это у меня особенно пекутъ, въ книжичкѣ вычитала; разсыпчатые.

Соковлинъ, охотникъ до домашняго печенья, не заставилъ себя просить и принялся расправляться съ кренделями довольно исправно. Татьяна Григорьевна, принимаясь съ своей стороны за кофе, не могла однакожь умолкнуть.

— Ахъ, ужь какъ меня подарилъ ты сегодня, Сергѣй... все забываю отчество! прости меня старуху! Да что это я и *ты* вамъ говорю; совсѣмъ забываюсь!...

— Сдѣлайте милость, и не измѣняйте! Это мнѣ напоминаетъ доброе старое время, сказалъ Соковлинъ, улыбаясь съ добродушной проніей. — Мнѣ, ей-ей, вы этимъ доставляете удовольствіе: я думаю, что я моложе...

И въ самомъ дѣлѣ, Соковлину нравилось это безцеремонное, но искреннее добродушіе своей старой знакомой; онъ такъ отвыкъ отъ него, что оно ему было ново и вмѣстѣ будило давно уснувшія воспоминанія, давно прошедшій вѣкъ.

— Да вѣдь я и сама не знаю, какъ это у меня сдѣлалось; право, точно дорогаго родного тебя встрѣтила! Вѣдь съ матушкой-то твоей какъ жили-то! лучше родныхъ! Да что родные-то, Сергѣй! Какіе нынче родные! Вотъ хоть-бы у меня: Василій Даниличъ! Братъ вѣдь двоюродный! А вѣдь только грѣхъ одинъ осуждать, прости Господи!...

И Татьяна Григорьевна махнула рукой. Она взяла въ ротъ кренделекъ и поневолѣ должна была замолчать.

Соковлинъ видѣлъ, что дѣло опять клонится къ драмѣ, воспользовался паузой и заговорилъ о цѣли поѣздки.

— А у меня къ вамъ, Татьяна Григорьевна, просьба есть, сказалъ онъ.

— Что, голубчикъ, что такое? спросила она нѣсколько безпокойно.—Я все, что могу...

Соковлинъ объяснилъ ей желаніе купить луга.

Татьяна Григорьевна нѣсколько затруднилась.

— Ну, это ужь я не могу тебѣ сейчасъ сказать; надо мнѣ съ Феоктистомъ поговорить, онъ у меня ужь всѣмъ этимъ распоряжается: нельзя вѣдь, Сергѣй... вѣдь дѣло женское... ну, а онъ у меня, ты знаешь, какой усердный и честный. Такъ ужь я имъ довольна; право! (а Соковлинъ и не слыхалъ ни про какого Феоктиста). Безъ него бы просто пропала... Его теперь нѣтъ: онъ въ полѣ, а вотъ къ вечеру пріѣдетъ. Да вѣдь ты у насъ денекъ-то пробудешь...

— Я было думалъ... заикнулся Соковлинъ.

— Что! домой? И не думай! Мѣсяцъ глазъ не показывалъ, да на полчаса пріѣхать! Да этакъ я объ дѣлѣ и говорить не буду — оставайся, оставайся. Ужь и лошадей я велѣла отложить. Да что же ты не куришь? Я ведь это люблю. Меня покойникъ еще пріучилъ. Трубочку, что ли? есть у меня. Эй, мальчикъ!

— Покорно васъ благодарю. У меня есть сигара, если позволите...

Вошелъ мальчикъ, лоботрясъ лѣтъ двадцати.

— Огню Сергѣй Григорьичу... да вели ихнихъ лошадей отложить, да овса чтобы дали, и кучера... знаешь... Да не хочешь ли на террасу, Сергѣй... или садъ посмотри... У меня хорошенькій садъ... вѣдь сама все, сама... говорила Татьяна Григорьевна, отворяя дверь террасы и выходя на нее съ Соковлинымъ.

На Соковлина пахнуло свѣжее и душистое тепло весенняго дня, напитанное смолистымъ запахомъ сосенъ и распускающихся цвѣтовъ. Передъ террасой, защищенной отъ солнца натянутымъ полосатымъ холстомъ, былъ разбитъ цвѣтникъ съ группами сирени и кустарника; дальше шелъ густой садъ съ огромными деревьями сосенъ, дуба и осокори. Прежде на этомъ мѣстѣ былъ лѣсъ. Татьяна Григорьевна, которая уже заявляла при удобномъ случаѣ, что это она все сама, сама все... дѣйствительно въ первое же время замужества и принятія въ свои, тогда еще не очень толстыя руки браздовъ домашняго управленія, велѣла разчистить лѣсъ и прорубить нѣсколько аллей. Въ этомъ дѣлѣ помогалъ ей одинъ молодой, отставной гвардіи поручикъ, великій мастеръ

устроивать разныя пріятныя вещи особенно для дамъ,—умѣнье, которое онъ купилъ собственными пятью-стами душами, улетѣвшими, какъ говорится, въ трубу. И въ самомъ дѣлѣ, садъ или скорѣе паркъ вышелъ отличный.

Онъ былъ разбитъ неправильно, и взглянувъ на него съ террасы, нельзя еще было судить о немъ; но Соковлину чрезвычайно понравилась неправильная аллея или, лучше сказать, дорога, которая начиналась отъ дому, вилась между огромными деревьями и пропадала вдали; нравились проглядывающія мѣстами между зеленью небольшія луговины; всего болѣе нравилась эта густая тѣнь, та теплая, душистая и лѣнивая свѣжесть, которая забралась въ садъ отъ разоблаченнаго яркаго дня и лежала тамъ между каждымъ листомъ, подъ всѣмъ сводомъ вѣтвей и кустовъ, точно усталая разметавшаяся красавица, и дышала оттуда и манила туда какимъ-то нѣжащимъ и разслабляющимъ призывомъ.

— Ахъ, какъ хорошо у васъ здѣсь! сказалъ Соковлинъ, остановясь неподвижно съ вынутой сигарой и приготовленной спичкой и, прищуривая глаза, полной грудью втягивалъ въ себя воздухъ.

— Хорошо, Сергѣй... хорошо!... Что и говорить! Слава Богу... все сама...

Но Соковлинъ не слушалъ. И ему было такъ хорошо, такая лѣнь и пріятная неподвижность мысли овладѣли имъ, что онъ бы радехонекъ былъ, если бы радушнѣйшая Татьяна Григорьевна провалилась вдругъ, какъ Донъ-Жуанъ въ послѣднемъ актѣ, и скрылась надолго подъ террасой.

— Татьяна Григорьевна, пожалуйте сюда-съ, сказалъ сдержаннымъ шопотомъ появившійся малый, подавъ зажженную свѣчку Соковлину и обратясь затѣмъ въ полъ-оборота къ барынѣ.

— Что такое? Зачѣмъ? спросила Татьяна Григорьевна.

— Пожалуйте-съ. Васъ спрашиваютъ-съ, сказалъ слуга таинственно и, какъ бы въ избѣжаніе дальнѣйшихъ разспросовъ, поспѣшилъ удалиться.

— Какъ же это? Гдѣ же Талинька или хоть Магдалина Францевна? говорила, безпокойно озираясь, Татьяна Григорьевна, не стѣсняющаяся говорить всѣмъ *ты*, послѣ первыхъ двухъ фразъ, но считавшая верхомъ неприличія — выйти безъ чепца (который, впрочемъ, ненавидѣла) и дать мало знакомому гостю хотя минуту свободы, оставивъ его одного.

— Послушайте, Татьяна Григорьевна, вы меня принимаете какъ близкаго и хотите, чтобы я былъ какъ дома, а сами церемонитесь со мной какъ съ чужимъ, сказалъ Соковлинъ и попалъ въ самую чувствительную струну хозяйки.

— Ахъ право, какой ты добрый, Сергѣй... какъ родной, право, какъ родной... Такъ ужь извини меня... нужно зачѣмъ-то очень... Вѣдь безъ меня ничего... все надо самой посмотрѣть... говорила Татьяна Григорьевна, рѣшившись удалиться, и скрылась за дверью, продолжая все что-то болтать.

Еслибы Соковлинъ былъ полюбопытнѣе, онъ могъ бы слышать, какъ въ смежной комнатѣ, выходящей окнами тоже въ садъ, женскій дряблый голосъ таинственно началъ разспрашивать, не нужно ли перемѣнить пирожное къ обѣду, что поваръ спрашиваетъ какого-то кардамону, и что подать къ закускѣ—словомъ, передъ нимъ бы раскрылась вся загадочная необходимость, для которой, по долгомъ колебаньи, ключница и наперсница Аринушка рѣшилась вытребовать барыню на ауді-енцію.

Но Соковлинъ ничего этого не слыхалъ. Онъ встряхнулъ на себѣ сюртукъ, расправилъ члены, свободно вздохнулъ,—словомъ, распорядился, какъ распоряжается всякій человѣкъ, вырвавшійся на свободу; потомъ поставилъ стаканъ съ кофеемъ на маленькій столикъ, усѣлся покойно на стоявшее тутъ кресло и, покуривая сигару, весь отдался лѣни и маленькимъ пріятнымъ мечтамъ, которыя, какъ свѣтлыя облачка, незамѣтно мѣняясь, безцѣльно проходили въ головѣ.

Соковлинъ ни о чемъ положительно не думалъ, но ему было хорошо. Не смотря на различныя невзгоды и неудачи въ жизни, чрезвычайно добрый въ душѣ—онъ остался оптимистомъ, а оптимисту, да еще въ хорошемъ расположеніи духа, все нравится вдвое болѣе. Такъ и Соковлину нравилось въ Татьянѣ Григорьевнѣ и фамильярность ея, и добродушіе, и услужливая слеза, которая появлялась тотчасъ при малѣйшемъ чувствительномъ разговорѣ; еще болѣе ему нравилась въ ней ея горячая любовь къ дочери, которая проглядывала въ каждомъ словѣ: а всего болѣе понравилась сама дочь, и ея диковатое смущеніе, и полудѣтская прелесть, отъ которыхъ вѣяло дѣвственной свѣжестью.

На мысляхъ о Талинькѣ остановился Соковлинъ и варьировалъ ихъ на разныя тэмы, какъ вдругъ въ аллеѣ мелькнули два платья и вслѣдъ затѣмъ появились двѣ женщины. Въ одной Соковлинъ узналъ Наталью Дмитріевну, другая была лѣтъ двадцати-пяти, низенькая, полненькая брюнетка: онѣ говорили по французски.

— Пройдемте направо, говорила Талинька: — мнѣ не хочется идти въ гостиную.

— Полноте! Какое ребячество! говорила другая. — Мнѣ, напротивъ, очень любопытно удостовѣриться.

Въ это время онѣ взглянули на террасу и увидали Соковлина.

Талинька вспыхнула и готова была остановиться, но подруга ея пошла прямо къ террасѣ и еще издали начала улыбаться.

— Bonjour, M. Sokowline! сказала она нараспѣвъ, всходя на ступеньки.—Узнаете вы меня?

— Боже мой! M-lle Кадо! Какими судьбами вы здѣсь? спросилъ удивленный Соковлинъ.

— Я больше году живу уже у М-те Любани-

ной. А вы не думали меня здѣсь встрѣтить, а? И она смѣялась.

— Признаюсь, я полагалъ, что вы уже въ своемъ родномъ Парижѣ.... замужемъ за какимъ нибудь прекраснымъ соотечественникомъ, отвѣчалъ Соковлинъ.

— Нѣтъ еще, нѣтъ еще! Это не дѣлается такъ скоро, сказала M-lle Кадо, слегка вздохнувъ, но не переставая улыбаться. — Ну, а вы что? деревенскій житель? Можетъ быть, женаты, отецъ семейства?

— Нѣтъ еще, нѣтъ еще! Это не дѣлается такъ скоро..., смѣясь, пародировалъ Соковлинъ.

— Можетъ быть, вы остаетесь вѣрны воспоминаніямъ? сказала она, лукаво улыбаясь, и потомъ какъ будто безъ умысла прибавила: — а что наши общія знакомыя? M-me Лохова?.. Что она подѣлываетъ? И M-lle Кадо посмотрѣла на Соковлина невиннѣйшимъ образомъ.

Здѣсь нужно объяснить, что Лохова была именно та женщина, любовь къ которой заставила Соковлина много и сильно перечувствовать и оставила по себѣ хоть непримѣтный, но глубокій и тяжелый слѣдъ. M-lle Кадо была въ то время гувернанткой въ одномъ близкомъ къ Лоховой домѣ и, благодаря прозрачности губернской жизни, хорошо знала отношенія Соковлина къ Лоховой.

Но прочно ли отрѣзвился Соковлинъ отъ прежней страсти, или умѣлъ хорошо владѣть собой, только вопросъ нисколько повидимому не затронулъ его.

— Мнѣ бы васъ слѣдовало спротить объ ней. Вѣдь вы уѣхали изъ B*, кажется, послѣ меня? замѣтилъ онъ, улыбаясь.

— Да, но очень вскорѣ, и ничего объ тамошнихъ не знаю. Такъ вы даже и не въ перепискѣ ни съ кѣмъ?

— Даже и не въ перепискѣ, отвѣчалъ Соковлинъ.

— О, какъ время все мѣняетъ!..

— Да, но только не васъ; вы такъ же все молоды и веселы; а я много постарѣлъ?

— Порядочно! сказала M-lle Кадо и расхохоталась.—Вы пополнѣли прибавила она:—и стали походить на добряка.

— Я всегда и былъ имъ, отвѣчалъ Соковлинъ.

— О, о! Знаю я, какой вы были добрякъ! Отъ вашего язычка многимъ приходилось жутко!..

— О, теперь я присмирѣлъ! искренно отвѣчалъ Соковлинъ.

Талинька во время этого разговора сѣла въ сторонѣ и развернула какую-то книгу, но очень наивно опустила ее на колѣни и смотрѣла съ любопытствомъ ребенка на разговаривающихъ. Видно было, что разговоръ очень интересовалъ ее и что она не умѣла или не хотѣла слѣдовать примѣру такъ называемыхъ благовоспитанныхъ дѣвицъ, которыя глядятъ въ книгу, а видятъ и слышатъ все, что дѣлается вокругъ: она просто смотрѣла и слушала. Но вдругъ раздался звонъ бубенчиковъ у подъѣзда и вслѣдъ за тѣмъ на террасу взошелъ Петръ Петровичъ Охвостневъ.

Петръ Петровичъ Охвостневъ былъ помѣщикъ, лѣтъ подъ тридцать, худощавый, съ длинными усами, съ довольно умнымъ и—какъ часто при этомъ случается — довольно некрасивымъ лицомъ. Онъ служилъ въ уланахъ, попромотался, вышелъ въ отставку и поселился въ своей деревнѣ, неподалеку отъ Любаниныхъ. Затѣмъ, занятіе его состояло въ томъ, чтобы выдумывать разныя новости, развозить ихъ, ссорить или мирить сосѣдей и надо всѣми смѣятся. Онъ любилъ поѣсть и попить, но никто не видалъ его пьянымъ. Домашнее хозяйство его состояло изъ полдюжины разрозненныхъ стакановъ и хорошенькой ключницы Матреши. Онъ говорилъ, что живетъ въ свое удовольствіе.

— Здравствуйте, M-lle Кадо! Какъ поживаете? Прекрасны какъ и всегда! началъ Петръ Петровичъ, взявъ у гувернантки руку и крѣпко тряся ее.

— Да оставьте мою руку! Отстаньте, M. Okwostneff, пищала француженка съ притворнымъ неудовольствіемъ.

— А вѣдь сама довольна! Ей-ей, довольна! Здравствуйте, Сергѣй Ивановичъ! — А, барышня! дадите сегодня ручку? нѣтъ! и прекрасно, говорилъ Охвостневъ, переходя отъ одного къ другой.—Вотъ Наталья Дмитріевна никому руки не подаетъ, продолжалъ онъ, обращаясь къ Соковлину:—мнѣ по крайней мѣрѣ никогда, и я нахожу, что отлично дѣлаетъ.

— Слѣдовательно вы находите, что я дурно дѣлаю? спросила M-lle Кадо, немножко жеманясь.

— Нѣтъ! я нахожу, что вы еще лучше дѣлаете, потому что дѣлаете исключеніе для меня.

— Ну ужь затарантилъ! Ну что, что такое — разскажи... разскажи! говорила, входя, Татьяна Григорьевна и подставила къ носу Охвостнева свою руку. Охвостневъ зналъ слабость Любаниной къ новостямъ, но даромъ ее ими не баловалъ.

— Есть новости, тетушка (Любанина совсѣмъ не была ему родней), есть, говорилъ онъ, чмокнувъ ея руку:—а у васъ, говорятъ, есть отличная померанцевка; вотъ Сергѣй Иванычъ до нея большой охотникъ.

— Развѣ любишь, Сергѣй Иванычъ? что же не сказалъ!

Любанина, при всемъ своемъ хлѣбосольствѣ, была на нѣкоторыя деликатныя вещи скуповата и охотно ими потчивала только людей избранныхъ.

— Нѣтъ-съ, я не пью! усмѣхнувшись, отвѣчалъ Соковлинъ.

— Нарочно, тетушка, не вѣрьте! Сейчасъ говорилъ, какъ бы, говоритъ, хорошей померанцевки рюмку да закусить мелкими вятскими грибками, такъ мы бы, говоритъ, съ вами, Петръ Петровичъ, пожалуй, и проболтались бы кое-что о Шематоновыхъ.

— Ну, велю... велю... да вѣдь ты все выдумываешь про Шематоновыхъ. Ну что... что такое..

Охвостневъ сплелъ какую-то исторію, по которой оказалось, что Шематонова, толстаго и рябаго отца семейства, похитила сорокалѣтняя, давно уже прозябающая въ ихъ домѣ приживалка. Между тѣмъ подали закуску; вслѣдъ за тѣмъ позвали обѣдать. За столомъ Охвостневъ замѣтилъ вскользь, что похищеніе Шематонова—вздоръ, но что дѣйствительно у него въ домѣ случилась исторія, про которую онъ разскажетъ послѣ персиковой наливки; выпивъ ея, намекнулъ въ присутствіи Талиньки на какую-то скандалёзную исторію про сношенія жены Шематонова съ уѣзднымъ стряпчимъ; но подробности обѣщалъ сказать только по секрету одной Татьянѣ Григорьевнѣ послѣ чайнаго ликера.

Только-что вышли изъ-за стола, Татьяна Григорьевна, получивъ удостовѣреніе, что Соковлинъ ликеру не пьетъ, увела Охвостнева въ другую комнату и тамъ, должно быть, выпытала обѣщанныя подробности, потому что вышла оттуда, казалось, весьма занятая разсказомъ, и только спрашивала съ нѣкоторымъ недовѣріемъ:

— Да ты не выдумалъ ли, Петръ? Плохо что-то вѣрится!

Охвостневъ серьезнѣйшимъ тономъ увѣрялъ ее, что это истинное происшествіе, побожился и сослался на Сергѣя Ивановича.

— Правда, Сергѣй Иванычъ? спрашивала Любанина:—ты слышалъ?

— Право, не знаю, о чемъ рѣчь идетъ, отвѣчалъ Соковлинъ.

— Ну, да онъ тебѣ разскажетъ! Разскажи ему, Петръ; а я пойду отдохну! Позволишь, Сергѣй? Вы останетесь тутъ, молодежь; погуляйте! а я ужь не могу! Извини, Сергѣй...

— Сдѣлайте одолженіе!

Любанина ушла; однакожь видно не тотчасъ легла отдохнуть, потому что, не успѣвъ еще затворить двери, начала:

— Аринушка, Аринушка! слышала ты...

Но молодежь вышла на террасу и не слыхала продолженія.

На небѣ стало облачно и жара спала; мужчины выкурили сигары и, по предложенію Магдалины Францевны, пошли въ садъ. Сначала всѣ шли вмѣстѣ, но потомъ повернули на узенькую тропу и должны были разбиться на пары.

Охвостневъ, который отъ нечего дѣлать вралъ турусы на колесахъ M-lle Кадо, предложилъ ей руку. Француженка, кажется, ласкала себя мечтой сдѣлаться русской помѣщицей и кокетничала съ Охвостневымъ. Они ушли впередъ. Соковлинъ остался съ Талинькой.

Соковлинъ, по примѣру Охвостнева, тоже предложилъ руку Натальѣ Дмитріевнѣ; но она, смутившись нѣсколько, уклонилась, сказавъ, что не привыкла ходить подъ руку, и что такъ ловче. Онъ улыбнулся и началъ какой-то веселый разговоръ; но поддерживать его одному было трудно, и онъ замолчалъ. Талинька не была угрюмаго характера; иногда она слушала болтовню Охвостнева и при нѣкоторыхъ дѣйствительно смѣшныхъ и мѣткихъ его выходкахъ она смѣялась отъ души откровеннымъ, полнымъ и звонкимъ смѣхомъ, такъ что Татьяна Григорьевна, по своему понимавшая приличія и немного боявшаяся мнѣнія чужаго и еще не совсѣмъ извѣстнаго ей Соковлина, котораго знала за человѣка хорошо воспитаннаго, даже говорила ей: «Талинька, что это ты, другъ мой, какъ смѣешься», и обращаясь къ Соковлину, прибавила: «вѣдь еще иногда ребенокъ, просто ребенокъ»! Соковлину, напротивъ, эта рѣдкая въ ней, но непритворная и откровенная веселость очень нравились. Но у Талиньки совершенно не было такъ легко достающагося, и такъ общаго свѣтскимъ женщинамъ, искусства говорить ни о чемъ, игриво поддерживать пустой разговоръ, по поводу пустяковъ сказать много милаго и остраго вздору и иногда проговориться умнымъ словомъ. Ее смѣшило и забавляло смѣшное; но разговоръ о вещахъ, которыя нисколько не интересуютъ, это маленькое напряженіе и искуственное увлеченіе предметами совершенно чуждыми, которыми для оживленія бесѣды такъ наивно морочатъ другъ друга свѣтскіе дамы и мужчины, особенно при первыхъ порахъ знакомства — ей рѣшительно не дались. Талинька сознавала это, дѣлала надъ собой усилія; но все-таки не успѣвала. Такъ и теперь наступившее молчаніе смущало ее; она чувствовала, что разговоръ порвался, потому что она его не поддерживала, что слѣдовало бы ей поднять его: но она рѣшительно не знала, съ чего начать, тѣмъ болѣе, что умственное превосходство Соковлина стѣсняло ее. Она не рада была, что пошла съ нимъ гулять, проклинала свою застѣнчивость, и подумывала догнать M-lle Кадо, или просто выдумать предлогъ, чтобы уйти.

Но Соковлинъ понялъ ея положеніе, и самъ немножко затрудненный предметомъ разговора, попытался начать его въ другомъ родѣ. По случаю открывшагося изъ-за поворота аллеи вида на озеро, онъ вспомнилъ швейцарскія и ломбардскія озера, заговорилъ о путешествіи, описалъ ей прелесть своей жизни въ какомъ-то скромномъ пансіонѣ на берегу Женевскаго озера, потомъ невольно перешелъ къ воспоминаніямъ объ Италіи, которую любилъ со всею нѣжностью поэтической натуры, и такъ увлекся самъ, что говорилъ долго и съ неподдѣльнымъ одушевленіемъ.

Талинька слушала его съ замѣтнымъ сильнымъ участіемъ; она такъ увлекалась, что забывала свою робость. Чтобы лучше слушать, она сама предложила, выйдя на озеро, сѣсть на скамейку, сло[illegible]ла на колѣняхъ руки и, немного нагнувш[illegible]спра-трѣла на Соковлина своими больш[illegible]. А между ными глазами. Исчерпавъ раз[illegible]ое, такое преопять замолчалъ; но это [illegible], какъ Наташа — не нужденное и пріят[illegible] него впечатлѣнія. Но это невысказанныхъ [illegible]уждало отрадное и вмѣстѣ спокоторыхъ [illegible]ровительственное чувство. Повѣряя его, [illegible]линъ нашелъ, что его влекло къ ней влече-

*

о чемъ думала Талинька; но взглядъ ея немного прищуренныхъ и какъ бы вглядывающихся во что-то далекое глазъ—безцѣльно бродилъ по окрестному виду. Это продолжалось нѣсколько минутъ; потомъ глаза ихъ нечаянно встрѣтились и они, какъ будто поймавъ другъ друга въ общей шалости, оба улыбнулись. Это былъ первый шагъ къ сближенію. Они оба почувствовали, что между ними порвалась какая-то преграда.

Тогда, съ большею уже свободой, Соковлинъ сталъ слегка пытать умственную развитость своей молоденькой собесѣдницы. Онъ завелъ разговоръ о литературѣ, спрашивалъ, что читала Талинька, выпытывалъ ея взглядъ на читанное. Оказалось, что Талинька читала мало дѣльнаго, что взглядъ ея былъ неясенъ; она сама это чувствовала, инстинктивно понимала, что бродитъ въ потьмахъ, что тутъ какая-то ложь, но не могла выбиться ни на какую сколько нибудь свѣтлую дорогу. Но, затрогивая этотъ предметъ, Соковлинъ самъ не зналъ, до какого живаго и богатаго источника онъ коснулся. Послѣ первыхъ фразъ, отношенія между ними вдругъ перемѣнились. Это были—не холостой гость съ молоденькою дѣвицею-хозяйкой, но ученица съ любимымъ учителемъ. Соковлинъ почувствовалъ это, и ему стало было совѣстно играть роль педанта и пользоваться своимъ умственнымъ превосходствомъ; но Талинька съ такимъ жаднымъ любопытствомъ его слушала, такъ застѣнчиво сознавалась въ своемъ невѣжествѣ, такъ пытливо хотѣла вникнуть въ его мысли, высмотрѣть его взгляды, что Соковлинъ невольно, чтобы только ей угодить, началъ высказывать нѣкоторыя общія, но новыя для нея мысли.

Слова Соковлина были для Наташи какъ первое мерцаніе утренняго свѣта, сквозь который начинаютъ проступать и обрисовываться вещи въ ихъ настоящемъ видѣ. До этой поры ея прямая и чистая душа замѣчала только странныя противорѣчія между законными требованіями правды и отвѣтами, которые давала на нихъ жизнь окружающей ее среды. Она услыхала первыя простыя, искреннія слова человѣка, здраво и ясно смотрящаго на вещи, прямо ставящаго вопросы и дающаго на нихъ положительные отвѣты. Ихъ разговоръ или, лучше сказать, рѣчь Соковлина переходила отъ предмета къ предмету, касалась вскользь того и другаго,— но все, до чего касалась она, какъ будто задѣтое солнечнымъ лучемъ, выступало ясно и рельефно и поражало своей ясностью и простотой дѣвушку, учившуюся у плохихъ учителей, взросшую въ пустой и мелкой средѣ. Можетъ быть, долго бы еще продолжалась ихъ бесѣда, если бы вдали по аллеѣ не показалась, переваливаясь съ ноги на ногу, тучная фигура Татьяны Григорьевны. При одномъ взглядѣ на нее разговоръ перервался самъ собою. Есть добрые и хорошіе люди, но такого свойства, что одна окружающая ихъ атмосфера разлагаетъ всякую мысль: говорить при нихъ о предметахъ нѣсколько отвлеченныхъ совѣстно и просто неприлично. Соковлинъ и Наташа молча пошли ей на встрѣчу.

Татьяна Григорьевна была, кажется, пріятно удивлена, найдя однихъ Соковлина съ Наташей.

— Вотъ они гдѣ! И вдвоемъ! Сергѣй... прости, пожалуста, старуху, что оставила васъ съ дикаркой-то моей. Да гдѣ тѣ вертопрахи-то? Чай, скучали вы съ ней?

— Напротивъ, я не видалъ, какъ и время прошло; я такъ увлекся и разоратовался, что заговорилъ совсѣмъ Наталью Дмитревну.

Въ самомъ дѣлѣ, поглядя на Наташу, можно было повѣрить его словамъ. Ея разгорѣвшееся лицо, какъ послѣ сильнаго одушевленія, начало принимать утомленное выраженіе; на немъ словно ходили какія-то тѣни мысли: она была разсѣяна, и даже не возразила Соковлину.

— Ну полно, полно, Сергѣй... ужь ты заговоришь! Да тебя, чай, какъ книгу, только надо слушать... Что, дружокъ мой, сказала Татьяна Григорьевна, обращаясь къ дочери, и, нѣжно улыбаясь, приложила руку къ ея щекѣ: — вишь какъ разгорѣлась, милая! Поди-ка, душа моя, напой насъ чаемъ.

Татьяна Григорьевна, зная робость дочери, кажется, нарочно услала ее, чтобы дать ей отдохнуть и оправиться отъ глаза-на-глазъ съ незнакомымъ человѣкомъ.

— Ну что, Сергѣй! скажи, голубчикъ, по правдѣ: что, не глупа Талинька? спросила она по уходѣ дочери и, поднявъ глаза съ нѣкоторымъ подобострастіемъ на Соковлина, ждала отъ него отвѣта, какъ отъ оракула.

— По правдѣ сказать, она не очень развита, отвѣчалъ Соковлинъ:—но у ней замѣчательная любознательность и жажда во всемъ доискаться правды и отвѣта. Вы мнѣ позволите прислать ей кое-какихъ книгъ, а послѣ мы съ ней, при случаѣ, потолкуемъ объ нихъ.

— Ахъ, родной, сдѣлай милость,—по гробъ обяжешь! Да скажи, не нужно ли выписать какихъ; я съ радостью денегъ не пожалѣю...

— Нѣтъ, у меня есть, отвѣчалъ, невольно улыбнувшись, Соковлинъ:—а что понравится ей, такъ можно послѣ.

Вскорѣ явились и М-lle Кадо съ Охвостневымъ, ходившіе, какъ сознался послѣдній, въ оранжерею воровать персики. За чаемъ разговоръ былъ веселаго и довольно легкаго свойства. При нѣкоторыхъ довольно прозрачныхъ разсказахъ и намекахъ Охвостнева М-lle Кадо смѣялась; Татьяна Григорьевна только говорила: «полно, полно! экой врайль»! но Талинька нисколько не смущалась: она была такъ чисто и счастливо создана, что все грязноватое скатывалось съ нея, какъ вода съ мрамора. Она очень серьезно хлопотала съ чаемъ, и съ какой-то особой заботой и уваженіемъ занималась стаканомъ Соковлина и подавала ему его.

Напившись чаю, Соковлинъ собрался ѣхать. Оказалось, что Феоктистъ еще не приходилъ, да и кон-

сультація съ нимъ потребовала бы, вѣроятно, много времени. Онъ попросилъ Татьяну Григорьевну прислать ему отвѣтъ.

— А вамъ, Наталья Дмитревна, если угодно, я пришлю книги, сказалъ онъ, раскланиваясь съ нею.

— Пожалуйста! отвѣчала она, зарумянившись.

— Да чего присылать-то, Сергѣй! привози-ка лучше самъ, голубчикъ, да потолкуй съ ней! Право! говорила Татьяна Григорьевна, провожая его до прихожей. — А ужь съ лугами-то мы какъ нибудь сладимъ! прибавила она вполголоса, точно обѣщая взятку.—Ужь уважу тебѣ: только съ Феоктистомъ поговорю.

Соковлинъ улыбнулся, и всю дорогу эта веселая улыбка не сходила съ его лица.

Уже темнѣло и густая бѣлая роса стлалась надъ травой, когда его большой деревянный домъ какъ-то одиноко высунулся при въѣздѣ въ деревню и скучно смотрѣлъ своими темными окнами. А въ это время въ едва освѣщенной сумерками гостиной Любаниныхъ Татьяна Григорьевна, оставшись одна съ дочерью, спрашивала ее:

— Ну что, Талинька, о чемъ вы говорили съ Соковлинымъ? Каковъ онъ былъ съ тобой?

— Ахъ, мама, какой онъ умный! тихо сказала Талинька и припала смущеннымъ и зарумянившимся лицомъ къ плечу матери.

IV.

Странную перемѣну почувствовалъ въ себѣ Соковлинъ послѣ поѣздки къ Любанинымъ. Свой домъ казался ему еще пустѣе, хозяйство еще безпорядочнѣе; а между тѣмъ одиночество для него не было такъ однообразно, точно онъ привезъ съ собою что-то нѣжное, милое и оживляющее; и когда ему надоѣдало читать, хозяйничать или работать, и онъ, закуривъ сигару, садился въ уголъ дивана или бродилъ по запустѣлому саду,—это нѣчто сходило къ нему, тѣшило, занимало и освѣжительно дѣйствовало на душу. Дѣйствительно, онъ вывезъ отъ Любаниныхъ воспоминаніе о Наташѣ, и мысль объ этой прелестной дѣвочкѣ занимала его.

Соковлинъ принадлежалъ къ той многочисленной и нынѣ уже вымирающей фалангѣ людей, для которыхъ въ свое время поле дѣятельности было стѣснено и замкнуто, и они, не находя его, жили болѣе головой и сердцемъ. У этихъ людей, если можно такъ выразиться, и голова была въ сердцѣ. Ихъ понятія, идеи, воззрѣнія, непровѣряемыя на самой жизни и не вытекающія изъ нея, носили на себѣ печать ихъ личныхъ влеченій; ихъ логика была страстна; умозрительные математики, они забывали помножать свои выводы на тотъ практическій коэффиціентъ, который получается изъ опыта и одинъ дѣлаетъ формулу приложимою къ дѣлу. Отъ этого они такъ часто путались и спотыкались на немъ. Въ жизни иногда слѣдствіе такъ плотно сливается съ причиной, что трудно назвать то или другое по имени. Оттого ли эти люди были плохими практиками, что думали внести въ жизнь планы и идеи, къ ней не примѣнимыя, или рамка, которую отводила имъ дѣйствительность того времени, была такъ узка и сжата, что выталкивала изъ себя всякую сколько нибудь широкую замашку, только не находя возможности приложить свои силы къ общественной фактической дѣятельности— они жили въ обществѣ преимущественно жизнью сердца. Соковлинъ принадлежалъ къ такому числу. Во время своей продолжительной и обильной перипетіями любви къ Лоховой — онъ сдѣлалъ привычку любить: сердечная привязанность стала для него потребностью. Отрезвленный на нѣкоторое время тяжелыми послѣдствіями своего неудачнаго выбора, круто разорвавъ связь и съ своей любовью, и съ обществомъ, онъ, въ деревенскомъ уединеніи, отдыхалъ отъ сильныхъ ощущеній и занятіями усыплялъ эту потребность. Но при первомъ удобномъ случаѣ, при первой встрѣчѣ, старая привычка пробудилась и подняла голову. Соковлинъ не влюбился въ Наташу Любанину; и годы, и разсудокъ брали свое и не позволяли вспыхивать опасному чувству, отъ котораго онъ ничего не предвидѣлъ. Позволить себѣ, пока еще есть возможность совладать съ чувствомъ, любить изъ любви къ искусству, любить для любви, безъ цѣли и плана — было смѣшно въ его года. Жениться? — жениться онъ вообще не располагалъ. Его прежнія связи были такого рода, что оставили по себѣ дурное понятіе о женскомъ постоянствѣ, и женитьбу по любви въ свои года онъ считалъ дѣломъ рискованнымъ. Правда, въ скучныя минуты, подумывалъ онъ, что хорошо бы завестись *подругой* жизни; но въ этомъ случаѣ онъ представлялъ себѣ эту будущую подругу не иначе, какъ въ видѣ женщины, перешедшей уже пору молодости и увлеченій, чѣмъ-то въ родѣ дѣйствительной подруги; въ этомъ случаѣ грѣшныя мечты соблазняли его свободнымъ, полюбовнымъ, безъ всякихъ клятвъ и ручательствъ, союзомъ съ какой нибудь вдовушкой среднихъ лѣтъ и независимаго положенія. Но какъ подобной вдовушки онъ еще не нашелъ, то златая мечта оставалась пока мечтою. Слѣдовательно Наташа Любанина никакъ не подходила къ его планамъ. Еслибы онъ и думалъ жениться, то разница двадцати лѣтъ казалась ему такой преградой, черезъ которую въ его года прыгать не приходилось, и хотя, въ хорошія минуты, онъ былъ о себѣ мнѣнія вообще довольно выгоднаго, но не думалъ, чтобы въ такой молоденькой дѣвочкѣ, какъ Наташа, могъ пробудить особенно нѣжныя чувства. Такъ на него смотрѣла и сама старуха Любанина, съ безцеремонностью хваля свою дочь и разспрашивая о томъ, какъ находитъ онъ ее. А между тѣмъ столь неожиданно встрѣченное, такое прелестное и свѣжее существо, какъ Наташа — не могло не произвесть на него впечатлѣнія. Но это впечатлѣніе возбуждало отрадное и вмѣстѣ спокойное, покровительственное чувство. Повѣряя его, Соковлинъ нашелъ, что его влекло къ ней влече-

ніемъ старшаго брата или стараго друга; ему хотѣлось, по выраженію Гейне, «руки возложить на ея главу;» ему даже пришло на умъ, что родительская любовь должна быть чѣмъ-то въ родѣ этого. Но улыбнувшись этой мысли, онъ въ то же время грустно вздохнулъ: онъ почувствовалъ безъ фразъ, что молодость его дѣйствительно прошла, что онъ въ самомъ дѣлѣ старѣющійся холостякъ: человѣкъ среднихъ лѣтъ и почтенной наружности—какъ пишется въ повѣстяхъ.

Какъ бы то ни было, но его братское, дружеское или родительское влеченіе выразилось на первый разъ тѣмъ, что на другой же день по возвращеніи отъ Любанинихъ, только-что вставъ отъ сна, онъ принялся рыться въ своей маленькой библіотекѣ, и, отобравъ нѣсколько книгъ, немедленно отправилъ ихъ съ верховымъ къ Натальѣ Дмитріевнѣ. Затѣмъ онъ дожидался возвращенія посланнаго довольно нетерпѣливо, и только тотъ слѣзъ съ лошади, какъ былъ позванъ имъ къ себѣ.

Между ними произошелъ слѣдующій разговоръ:

— Ну что?

— Отдалъ-съ.

— Кому отдалъ?

— Степкѣ-съ.

— Что же, наказывали что нибудь?

— Какъ же-съ; приказали кланяться, приказали благодарить.

— Барыню, что ли, видѣлъ?

— Барыню-съ. Сами онѣ тутъ проходили.—Скажи, говоритъ, барину, чтобы насъ не забывалъ.

— А барышню видѣлъ?

— И барышню видѣлъ-съ. Онѣ на фортопьянахъ играли.

— Она ничего не сказала?

— Нѣтъ-съ, и онѣ тоже приказали кланяться, приказали благодарить.

— Больше ничего?

— Ничего-съ. Только француженка эта подошла къ нимъ и начала разсматривать, да что-то говорить.

Послѣ этого разговора, нѣсколько напоминающаго разговоръ Подколесина съ слугой въ гоголевской «Женитьбѣ,» Соковлинъ велѣлъ разсказчику, въ знакъ удовольствія, поднести чарку водки и отпустилъ его.

Дня черезъ два, Соковлинъ нашелъ, что надобно чѣмъ нибудь кончить съ лугами, и вздумалъ опять поѣхать къ сосѣдкамъ. Онъ былъ принятъ такъ же радушно, какъ и прежде. Наташа тоже дичилась и смущалась по прежнему; но на этотъ разъ, не спасенный Охвостневымъ отъ Mlle Кадо, Соковлинъ, послѣ обѣда, попался подъ пытку ея языка, и словоохотливая француженка два часа кряду дѣлала распросы и намеки на прошлую жизнь Соковлина и, говоря неприличнымъ слогомъ романовъ, шевелила его старыя раны. Не знаю, больно ли было Соковлину это шевеленье—но наскучило оно ему порядочно, тѣмъ болѣе, что M-lle Кадо не давала почти случая поговорить съ Наташей. Соковлинъ уѣхалъ не совсѣмъ довольный. Однакожь дѣло о лугахъ ладилось. Татьяна Григорьевна, по зрѣломъ совѣщаніи съ Феоктистушкой, уступала ихъ Соковлину, и хоть весьма не обидѣла себя цѣною, но со вздохомъ говорила другимъ:

— Нельзя вѣдь! Люблю его! Вѣдь вотъ какимъ знала еще... Да и съ матерью-то покойницей друзья были; кому же и порадѣть-то, какъ не ему? онъ же, Господь съ нимъ, вѣдь и безъ того натерпѣлся, да и хозяйство-то его какое! И-ихъ! и не говорите!...

Словомъ, представляла Соковлина чуть-чуть не облагодѣтельствованнымъ ею сиротою, и пѣла Лазаря.

Одна эта сдѣлка, кромѣ другихъ побудительныхъ причинъ, требовала поѣздокъ Соковлина въ Любаньевку, и онъ началъ ѣздить туда довольно часто. Любимыми минутами его были тѣ, когда вдвоемъ съ Наташей они сидѣли гдѣ-нибудь вдали, читали что нибудь или говорили о прочитанномъ. Говорилъ впрочемъ болѣе Соковлинъ; а Наташа, опустивъ по обыкновенію руки на колѣни, наклонясь впередъ, слушала его съ глубокимъ вниманіемъ; при этомъ она, прищуривъ немного глаза, какъ будто умѣряя или скрывая длинными рѣсницами силу своего взгляда, пристально смотрѣла на Соковлина, точно хотѣла проникнуть до глубины его души, увидать мысль въ самомъ ея зародышѣ и, прослѣдивъ, какъ она переработывается за кулисами, прежде нежели является облеченной въ слово, свѣрить ее съ своей собственной и воспринять во всей полнотѣ. И когда ей удавалось это, особенно когда заключеніе Соковлина было именно таково, какого ожидала она, или когда, объяснивъ тонкую красоту какой нибудь сцены, Соковлинъ прочитывалъ ее, и вся мысль или картина поэта въ полномъ и новомъ свѣтѣ всецѣло ложилась, во всей своей потрясающей красотѣ, въ ея молодую душу,—тогда Наташа быстро откидывалась назадъ и съ разгорѣвшимся, полнымъ мысли и жизни лицомъ, большими и ясными глазами свѣтло и благодарно смотрѣла на Соковлина.

Такой взглядъ составлялъ для Соковлина лучшую награду; точнѣе сказать, онъ былъ для него наслажденіемъ.

Бесѣды Соковлина съ Наташей не только не были прерываемы, но находили сильное покровительство со стороны Татьяны Григорьевны. Сначала она было пробовала послушивать ихъ, выказывая сочувствіе умиленной улыбкой да хлопаньемъ глазъ; но мало понимая, она замѣчала, что только стѣсняетъ своимъ присутствіемъ, и потому оставляла ихъ въ покоѣ, даже не любила, когда и M-lle Кадо своей болтовней мѣшала имъ.

— Да полно, тараторка,— оставь, оставь ихъ!... Вѣдь они дѣло говорятъ—не то, что мы съ тобой! говорила она и смотрѣла на Соковлина, какъ на отличнаго и даровато учителя, котораго Всевышній послалъ ей за ея молитвы и добродѣтели.

Талинька переставала дичиться Соковлина, за-

мѣтно радовалась его пріѣзду и искала случая говорить съ нимъ; но она почти не высказывалась; иногда сдѣлаетъ вопросъ, изрѣдка и то съ смущеніемъ намекнетъ на свой взглядъ или мысль, но при малѣйшихъ распросахъ и попыткахъ загляпуть въ ея внутренній міръ—она, какъ «не тронь меня,» стыдливо пряталась въ себя и избѣгала отвѣтовъ. Наташа была необыкновенно прямa и безъискусственна по природѣ. Она не умѣла отдѣлаться фразой, общимъ мѣстомъ, смягчать или приноравливать ко взгляду другаго свои слова;—она, когда говорила, то высказывала всю свою мысль цѣльно, безъ увертокъ — такъ, какъ она родилась въ ея умненькой головкѣ: тѣмъ труднѣе было ея положеніе.

Вообще репутація Соковлина, его умъ и обширность свѣдѣній смущали молоденькую дикарку. Въ первый разъ находясь въ обществѣ подобнаго человѣка, она боялась высказываться, считая себя слишкомъ мало развитой, слишкомъ ниже его, боялась сказать глупость, думала, что ея мнѣніе и взглядъ нисколько не могутъ быть интересны для такого человѣка, какъ Соковлинъ. Она рада была узнавать его, высоко цѣнила ту, какъ ей казалось, снисходительность, съ которой онъ сближалъ ее съ собою, смотрѣла на него, какъ на существо неизмѣримо высшее, но именно поэтому боялась и не хотѣла откровенно высказываться ему.

Соковлинъ это видѣлъ, внутренно досадовалъ иногда, но не показывалъ ни малѣйшаго неудовольствія, не смущалъ ни разу ея пугливости какой нибудь нетерпѣливой выходкой. Напротивъ, бережно и нѣжно обходился онъ съ ея застѣнчивостью, не добивался отвѣта, когда видѣлъ, что это тяжело для нея. Онъ хотѣлъ, чтобы она сама, привыкнувъ къ нему, стала съ нимъ откровенною, сознавая, что всякая попытка и торопливость только отдаляетъ ее. Онъ обходился съ нею, какъ страстный, но опытный цвѣтоводъ обходится съ завязкой дорогаго цвѣтка: онъ окружалъ его заботами и вниманіемъ, но ни разу не посмѣлъ отогнуть лепестокъ, чтобы заглянуть, что́ таится въ тугой завязи почки, и ждалъ, когда, отвѣчая на заботы, тихо, незамѣтно начнутъ развертываться лепестки и сквозь зелень верхнихъ листьевъ, вдругъ прорѣжется и выглянетъ свѣжая и яркая краска дорогаго цвѣтка.

Разъ Соковлинъ, пріѣхавъ къ Любанинымъ, засталъ всю семью сидящею на террасѣ. Кромѣ того, тутъ былъ и Охвостневъ. Онъ перессорилъ не задолго передъ тѣмъ нѣсколько сосѣдей; тѣ, перебранившись порядкомъ, узнали, что кашу заварилъ Охвостневъ, накинулись на него, и онъ, чтобы дать успокоиться бурѣ, пересталъ къ нимъ ѣздить и зачастилъ къ Любанинымъ.

— А, M. Sokowline! запѣла M-lle Кадо.—У меня есть къ вамъ новость.

— Посмотримъ! отвѣчалъ Соковлинъ, поздоровавшись со всѣми и усаживаясь.

— Нѣтъ, я вдругъ не скажу! Это не говорится такъ: я вамъ скажу потомъ.

— Какъ хотите! сказалъ Соковлинъ, и заговорилъ съ другими.

Но M-lle Кадо все поглядывала на него какъ-то выразительно, и порой вздыхала; взглядъ Наташи тоже останавливался на немъ; особенно Татьяна Григорьевна была безпокойна: она не могла выносить невысказанную новость. Соковлину надоѣла эта таинственность, къ тому же онъ былъ любопытенъ.

— Ну, теперь увидимъ вашу новость? спросилъ Соковлинъ, обращаясь къ M-lle Кадо.

— Но я, право, не знаю.... начала она, немножко ломаясь.

— Э, да что ты его томишь-то! воскликнула, не выдержала, Татьяна Григорьевна. — Получила письмо она изъ B*., продолжала она: — ну и пишутъ, что тамъ... твоя-то... знаешь... знакомая-то... ну, какъ ее?..

— У меня ихъ тамъ много, холодно отвѣчалъ Соковлинъ.

— M-me Lokhoff! сквозь зубы подсказала M-lle Кадо, стараясь покраснѣть, какъ будто сказала что-то чрезвычайно нескромное.

— Ну да, вотъ Лохова-то! продолжала Татьяна Григорьевна.

— Умерла? спросилъ серьезно Соковлинъ.

— Нѣтъ, не умерла, а что-то хуже! — Ну, да разсказывай скорѣй сама, Матильда... нетерпѣливо обратилась она къ M-lle Кадо, облегчивъ себя полуизвѣстіемъ.

— О, ужасная исторія! заговорила M-lle Кадо, сама боявшаяся, что Татьяна Григорьевна передастъ и *испортитъ* ея новость.—Ужасная исторія! Ея мужъ узналъ все!..

— Только-то! сказалъ Соковлинъ, и засмѣялся.

— Только-то! Слышите! Вамъ хорошо говорить это, зачастила M-lle Кадо.—Только-то! Вездѣлица для замужней женщины!... А что было потомъ?

— Чтожь было потомъ? улыбаясь, спросилъ Соковлинъ.

— Потомъ онъ ее выгналъ изъ дому. Мать тоже не хотѣла принять ее; бѣдная женщина чуть не осталась на улицѣ!—Это зналъ весь городъ! Наконецъ мужъ взялъ ее, но на какихъ условіяхъ! Держитъ чуть не за замкомъ; обращается ужасно; никуда не выпускаетъ; не позволяетъ никого принимать, и она, говоритъ, чуть не умираетъ съ горя!...

— Вывернется! сухо замѣтилъ Соковлинъ.

— Вотъ они, мужчины! съ горячностью заговорила Mlle Кадо.—Прелестная женщина, ангелъ доброты, сдѣлала ошибку, въ которую они сами вовлекли ее, и потомъ... потомъ, когда она начинаетъ искупать ее страданіями.... они не даютъ ей даже слова сожалѣнія. И Mlle Кадо бросила на Соковлина взглядъ негодующей весталки.

Соковлинъ не обратилъ вниманія на этотъ взглядъ; но онъ увидалъ другой, и легкая краска выступила у него на лицѣ. Въ большихъ черныхъ

глазахъ Наташи, которыми она глядѣла на него, и тотчасъ же опустила, встрѣтясь съ его глазами, Соковлинъ прочелъ недоумѣніе и какое-то смущеніе. Какъ будто Соковлинъ обманулъ ея ожиданія, какъ будто она и удивлялась этому и сожалѣла, что обманывалась.

— Вы, женщины вообще, и француженки въ особенности, ужасно любите фразы, сказалъ Соковлинъ M-lle Кадо.—Если бы я пожалъ плечами и съ смиреніемъ сказалъ: «ахъ, бѣдная M-me Лоховъ!» вы бы нашли, что у меня чувствительнѣйшее сердце и ангельская доброта—и мнѣ бы эта репутація, повѣрьте, стоила очень дешево. Но знаете ли, что иное искреннее равнодушіе можетъ стоить человѣку гораздо дороже, чѣмъ ложное участіе? что гораздо легче ахать и сожалѣть, когда ничего не чувствуешь, нежели оставаться холоднымъ, когда имѣешь право.... (Соковлинъ пріостановился)... когда есть причины обнаружить гораздо худшее чувство.

— Я знаю только то, что вы сегодня такъ же злы, какимъ я васъ знала прежде! сказала M-lle Кадо, стараясь казаться сердитой.

— Ну, ужь и злой! подхватила Татьяна Григорьевна, принявшая слова Mlle Кадо за наличную монету: — ну, какой же онъ злой! Да это Божья душа, просто! Чего, можетъ, онъ натѣрпѣлся отъ этой, прости Богъ... ну, какъ тамъ ее!.. Ужь надо правду сказать: вѣдь и наша-то братья—иная навяжется такая, что и не приведи Господи! Э-э! хе-хе! И Татьяна Григорьевна глубоко вздохнула.

Вмѣшательство Татьяны Григорьевны очень смутило Соковлина: онъ болѣе всего боялся ея защиты, и потому всталъ съ мѣста, чтобы прекратить разговоръ и попросилъ у Охвостнева огня.

Но Охвостневъ былъ не изъ скромныхъ.

— А что эта барыня-то, видно, не безъ чортика? подмигнувъ спросилъ онъ Соковлина, зажигая спичку.

— Да и не безъ ангела, тихо сказалъ Соковлинъ.

Послѣ вечерняго чая Татьяна Григорьевна пошла толковать о хозяйствѣ съ Феоктистушкой. Охвостневъ занялся съ Mlle Кадо и увлекъ ее куда-то, а Соковлинъ остался съ Наташей. Онъ былъ угрюмъ. Старыя ли воспоминанія проснулись въ немъ, надоѣли ли ему намеки и разспросы гувернантки, которая при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ направляла разговоръ на Лохову и давала чувствовать, что она кое-что знаетъ, только онъ противъ обыкновенія былъ молчаливъ и золъ. Глядя безцѣльно въ садъ и куря сигару, онъ точно забылъ, что недалеко отъ него сидѣла прелестная дѣвушка и, пользуясь его задумчивостію, пристально и съ участіемъ смотрѣла на него. Во взаимныхъ отношеніяхъ двухъ симпатизирующихъ лицъ всегда такъ бываетъ, что по мѣрѣ того, какъ одинъ огорчается чѣмъ нибудь и становится холоднѣе — нѣжность другаго увеличивается. Это вѣрнѣйшій признакъ зарождающейся склонности: тутъ какъ будто является общее чувство, въ экономіи котораго убыль съ одной стороны должна вознаграждаться прибылью съ другой. Такъ было и теперь. Полны первой смущенной и стыдливой ласковости были глаза Наташи. Какая-то мысль, казалось, не давала ей покоя, и ей хотѣлось ее высказать, но она долго колебалась.

— Вы сегодня не въ духѣ! сказала наконецъ она добрымъ, но рѣшительнымъ голосомъ.—Впрочемъ, вы правы, тихо прибавила она.

Соковлинъ быстро обернулся. Ему мелькнула мысль, что Наташа намекаетъ на извѣстіе, которое сообщила Кадо, что и она хочетъ кое-что вывѣдать о его чувствахъ къ Лоховой. Это его разсердило.

— А отчего бы по вашему мнѣнію мнѣ быть не въ духѣ? спросилъ онъ холодно.

Этотъ тонъ еще болѣе смутилъ Наташу.

— Потому что всѣ часто говорятъ вамъ о... вещахъ, о которыхъ не слѣдуетъ говорить... Но мать это дѣлаетъ, право, изъ участія къ вамъ! Пожалуйста, вы не сердитесь на нее, упрашивая, сказала она.

— О, я нисколько не сержусь, отвѣчалъ Соковлинъ.—Что вы хотите! Мы всѣ такъ созданы, что входя въ домъ или встрѣчаясь съ человѣкомъ, только и хотимъ заглянуть въ тотъ маленькій уголокъ, куда прячется много разнаго хлама, который совѣстно показывать другимъ, и немного завѣтныхъ вещей, которыми хочется пользоваться одному.

Соковлинъ старался это высказать вѣжливо, но въ словахъ его проглядывала желчь.

— Это такъ! подумавъ, тихо сказала Наташа:— но зачѣмъ вы приписываете все любопытству, тогда какъ тутъ можетъ быть болѣе участія?

— Вы думаете? сказалъ Соковлинъ съ усмѣшкой.—Это участіе заключается въ томъ, что подглядѣвъ въ человѣкѣ мѣсто, которое онъ бережетъ и скрываетъ, тычутъ въ него пальцемъ и спрашиваютъ: «ахъ, не болитъ ли оно у васъ?» Это хуже холоднаго любопытства; отъ того можно отдѣлаться скрытностью, шуткой; тамъ просто хотятъ заглянуть, что въ васъ подѣлывается, тутъ хотятъ вмѣшаться въ вашъ завѣтный уголъ, начать въ немъ хозяйничать и распоряжаться. Что нужды, что это дѣлается съ цѣлью помочь или поправить! Повѣрьте, это только благовидный предлогъ, а сущность-то заключается все-таки въ томъ, чтобы втереться, куда не пускаютъ. Наконецъ, если и дѣйствительно хотятъ помочь, — да кто проситъ этой помощи? Почему думать, что нуждаются въ ней, что ихъ хлопоты и поправки понравятся? И тутъ Соковлинъ, взглянувъ на Наташу, что она мѣняется въ лицѣ и слезы готовы проступить у нее на глазахъ. — О, сказалъ онъ, смягчая голосъ и обращаясь къ ней добродушно:— вы такъ молоды, вамъ такъ извинительно видѣть

все съ доброй стороны! Можетъ быть вы правы... а относительно Татьяны Григорьевны правы навѣрное: въ ея участіи я не сомнѣваюсь. Но когда потрешься съ различными людьми, да не увидишь въ нихъ пріятностей, тогда невольно дѣлаешься подозрительнымъ, становишься эгоистомъ и просишь одного—чтобы оставляли въ покоѣ.

Но замѣшательство и огорченіе Наташи не уменьшилось отъ этой оговорки. Бѣдная дѣвочка начала разговоръ именно съ тѣмъ, чтобы загладить дурное впечатлѣніе, произведенное нескромными намеками на Соковлина, не зная сама еще, какъ это сдѣлать; и вдругъ, вмѣсто того, чтобы успокоить она только, раздражила его; вмѣсто того, чтобы извинить другихъ, она сама сдѣлалась участницей вины. И это ее огорчало тѣмъ болѣе, что въ первый разъ она рѣшилась выйти изъ своей страдательной роли нѣмой зрительницы, въ первый разъ хотѣла заявить свое участіе къ Соковлину, какъ взрослая самостоятельная дѣвушка.

— Или вы очень несправедливы, или я болѣе другихъ виновата передъ вами, сказала сквозь слезы Наташа дрожащимъ отъ волненія голосомъ.

— Вы? быстро спросилъ Соковлинъ. — Какимъ же образомъ вы можете быть виноваты?

— Потому что мнѣ тоже хотѣлось принять долю участія въ васъ. Мнѣ такъ хотѣлось васъ успокоить, сказать вамъ какое нибудь доброе слово!... Правда, я желала быть чѣмъ нибудь для васъ но я не думала, что это будетъ вмѣшательство ненужное, непрошенное. Боже мой! мое намѣреніе казалось мнѣ такъ извинительно!

— Да кто же говоритъ про васъ, моя добрѣйшая Наталья Дмитріевна! сказалъ Соковлинъ. — Если вся эта исторія надоѣла мнѣ, сердила меня, такъ именно потому, что она происходила при васъ, что меня въ вашихъ глазахъ дѣлали то какимъ-то обманутымъ страдальцемъ, то оскорбителемъ невинности. Сознайтесь, еще давича, когда я легко отозвался объ этой Лоховой, вы сочли меня способнымъ презирать страдающую женщину. Я это прочелъ въ вашемъ взглядѣ.

— О нѣтъ! нѣтъ! мгновенно заруманясь, горячо сказала Наташа. — Я знаю, я увѣрена, что вы правы; меня только удивилъ вашъ отзывъ: вы всегда были такъ добры и снисходительны, что я не ожидала его.

— Видите ли, это длинная и запутанная исторія... Я бы вамъ разсказалъ, но вы не можете вполнѣ понять ее. Я самъ не знаю, кто и на сколько тутъ виноватъ. Вотъ все, что я пока могу сказать теперь. Мнѣ дорогъ вашъ ясный и свѣтлый взглядъ именно потому, что мнѣ дорога довѣренность и сочувствіе вашей неиспорченной и чистой души; я возмущаюсь, что васъ дѣлаютъ свидѣтельницей разговоровъ, въ которыхъ вы не можете быть судьею. И вы могли подумать, что ваше участіе можетъ быть для меня лишнее и непрошенное, когда я только и желаю, чтобы вы, однѣ вы, вѣрили мнѣ на столько, чтобы прямо и откровенно обращаться ко мнѣ во всемъ, гдѣ вамъ можетъ быть полезна моя опытность; чтобы вы этимъ въ свою очередь дали мнѣ право иногда прибѣгать къ вашему чистому, освѣжающему участію...

Лицо Наташи такъ просвѣтлѣло и стало радостно сквозь недавнее огорченіе и еще дрожащія на рѣсницахъ слезы, — оно такъ проглянуло неожиданно ясно и весело, какъ иногда, въ первые весенніе дни, сквозь крупный дождь и бѣлыя облака вдругъ прорвется яркая голубая лазурь, и съ нея свѣтло и радостно яркимъ лучемъ брызнетъ солнце.

— Какъ! еще съ недовѣрчивымъ изумленіемъ спросила она:—вы дорожите моимъ мнѣніемъ, моей довѣренностью? На что они вамъ? Я такая неопытная, такая неразвитая въ сравненіи съ вами... Что я могу значить для васъ?

— Вы удивляетесь? спросилъ Соковлинъ. — Но вѣрьте, это такъ, и я говорю искренно. Когда долго поживешь на свѣтѣ, когда насмотришься столько грязненькаго, попорченнаго, надломленнаго, когда и самъ поизотрешься, — видъ такого чистаго и свѣжаго существа, какъ вы, становится отрадой. Есть потребность нравственно освѣжиться вѣяньемъ молодой и ясной жизни... и невольно хочется заслонить и уберечь ее отъ всякаго сору...

— Такъ я въ вашихъ глазахъ что нибудь значу? весело приподнявъ на Соковлина свои играющіе радостью глаза, спросила Наташа.

— А меня вы не считаете за скучнаго педагога или, съ M-lle Кадо, за озлобленнаго эгоиста? улыбаясь, вмѣсто отвѣта спросилъ Соковлинъ.

Вмѣсто отвѣта они взглянули другъ на друга, улыбнулись, и такъ ласковъ, такъ нѣженъ сталъ ихъ взглядъ, что оба, по тонкому чувству стыдливой мѣры, отвели глаза и стали смотрѣть, не смотря, въ зеленую чащу сада.

Солнце уже сѣло. Небо заволакивало безвредными, жиденькими сѣрыми тучами; послѣднее мерцаніе дня, проходя сквозь нихъ, замирало такъ тихо, спокойно и кротко, какъ засыпаетъ дитя на груди у матери. Соковлину и Наташѣ было такъ хорошо, что они долго, полные молчаливаго и радостнаго спокойствія, готовы были, не говоря ни слова, сидѣть другъ возлѣ друга и безцѣльно глядѣть въ темнѣющую мелколистную чащу сада. Но невдалекѣ стали приближаться голоса, и Соковлинъ, послышавъ ихъ, всталъ и взялся за фуражку: ему не хотѣлось встрѣтиться съ другими; онъ желалъ цѣльно и невозмутимо увезти домой впечатлѣніе послѣдняго разговора.

— До свиданья! сказалъ онъ.

— До свиданья! сказала Наташа и, зарумянившись, въ первый разъ подала ему руку.

Соковлинъ взялъ ее и медленно пожалъ. Когда бывалая барыня или зрѣлая барышня подаетъ вамъ при прощаньи руку, которую жали на разныя ма-

неры сотни другихъ рукъ, и подаетъ ее такъ развязно и любезно, какъ будто предлагаетъ ударить-ся объ закладъ, вы пожимаете ее такъ же развязно, какъ руку своего пріятеля, или такъ почтительно и осторожно, какъ бы вамъ давали самую хрупкую стеклянную вещь — и вы выносите отъ этого рукожатія такое впечатлѣніе (если только выносите его), какъ бы вы помяли въ рукѣ не то дощечку, не то замшевую растушевку. Но когда въ первый разъ стыдливо протягиваютъ вамъ трепетную и дѣвственную руку, тогда, независимо отъ нравственнаго удовольствія, вы ясно отдаете себѣ отчетъ въ ощущеніи физическомъ. Такъ было и съ Соковлинымъ и съ Наташей. Онъ чувствовалъ тоненькіе и нѣжные кончики ея пальцевъ, она чувствовала тихое пожатіе его твердой руки. Они оба понимали, что это не простое, форменное прощанье; оба взглянули они другъ на друга и тихо улыбнулись.

— Та-та-та! такъ вотъ вы какъ прощаетесь, барышня! сказалъ явившійся откуда-то съ M-lle Кадо Охвостневъ:—никому не дозволяете дотрогиваться до руки, а Сергѣй Иванычу соблаговолили. Хорошо-съ, хорошо! А что-то скажетъ Павелъ Егорычъ, когда пріѣдетъ сюда? А скоро, чай, пріѣдетъ, вы не изволите знать?

— Ну, полно! полно! что затараторилъ! сказала появившаяся вслѣдъ за нимъ во всю дверь Татьяна Григорьевна: — нашелъ про кого говорить! Вотъ языкъ-то безъ костей! Тебѣ бы только оконфузить кого нибудь! Э-эхъ, пустомеля!

— Кто это Павелъ Егорычъ? спросилъ ее Соковлинъ.

— Такъ, студентикъ одинъ, Комлевъ, нашъ сосѣдъ. Хоть бы дѣтей-то въ покоѣ оставилъ, продолжала она, укоризненно обращаясь къ Охвостневу.

— Да-съ, дѣти! смиренно вздохнувъ, сказалъ Охвостневъ:—вы, Татьяна Григорьевна, тоже, лѣтъ шестьдесятъ назадъ, дитей были, а потомъ славатѣ Господи!

— Ну! ну! ужь ты наврешь! И еще шестьдесятъ! Ты на моихъ крестинахъ кашу, что ли, ѣлъ?..

Соковлинъ оставилъ ихъ на этомъ спорѣ и уѣхалъ.

Вмѣшательство Охвостнева не испортило для него впечатлѣнія, оставленнаго разговоромъ съ Наташей и ея любезностью. Напротивъ, онъ, не отдавая себѣ прямаго отчета, чувствовалъ, что подтруниваніе Охвостнева надъ тѣмъ, что Наташа подала ему руку, придавало большее значеніе этой снисходительности, какъ удареніе надъ инымъ словомъ. «Свинья этотъ Охвостневъ», думалъ онъ: «а впрочемъ, добрый малый. Только зачѣмъ онъ приплелъ тутъ какого-то Павла Егорыча? Но можно ли обращать вниманіе на болтовню этого врала»? Однакожь, не смотря на это рѣшеніе, Павелъ Егорычъ все остался какой-то маленькой занозой, вынесенной изъ счастливой встрѣчи. Встрѣча была отличная; припоминать ее—наслажденіе; а все бы лучше, если бы не было этой маленькой занозы, которая нѣтъ-нѣтъ, да и задѣнетъ.

V.

Въ жаркій полдень, подъ тѣнью густой аллеи, сквозь которую едва пробивались лучи и, только изрѣдка блеснувъ сквозь зеленую чащу, свѣтлыми пятнами ложились на утоптанный песокъ, — подъ тѣнью этой длинной аллеи быстро шли мужчина и дѣвушка. Мужчина былъ молодой, очень молодой человѣкъ, въ лѣтнемъ парусинномъ платьѣ и студенческой фуражкѣ. Это былъ Комлевъ. Онъ былъ средняго роста, стройно и крѣпко сложенъ; румяное, круглое съ небольшими веснушками и нѣсколько вздернутымъ носомъ лицо дышало жизнью и откровенностью; большіе, веселые, каріе глаза и всклокоченные, кверху волнистые, коротко остриженные бѣлокурые волосы придавали ему еще болѣе выраженія бойкости и смѣлой увѣренности. Казалось, онъ входилъ въ жизнь такъ же порывисто и свободно, какъ шелъ по этой аллеѣ, и былъ увѣренъ, что эта жизнь будетъ такъ же ровна и гладка для него, какъ аллея. Рядомъ съ нимъ шла Наташа; лицо ея разгорѣлось и было весело. Она шла также быстро, и бѣлое платье ея откидывалось назадъ отъ этой походки; но она, казалось, скорѣе была увлечена своимъ спутникомъ, чѣмъ спѣшила по собственной волѣ.

Они вышли на широкую луговину, посреди которой стояло нѣсколько высокихъ осокорей.

— Сядемте здѣсь! сказала Наташа: — куда мы бѣжимъ!

И она сѣла на скамейку.

— Я такъ боюсь, чтобы насъ не догнали, да чтобы намъ разными распросами не помѣшали поговорить съ вами, что готовъ бы увезти васъ на край свѣта, сказалъ Комлевъ, остановясь передъ нею.

— Зачѣмъ такъ далеко! улыбаясь, отвѣчала Наташа.

— Да я ужь такъ напуганъ! Часа полтора не могъ вырваться, а вы какъ нарочно не хотѣли помочь мнѣ.

— Я не находила и надобности помогать.

— Какъ! не видавшись годъ, вамъ не хотѣлось поговорить со мной—ничего не сказать мнѣ?

— Напротивъ! Вы видѣли, какъ я была рада; но мы развѣ не говорили тамъ и не могли продолжать?

Комлевъ посмотрѣлъ пристально на Наташу; въ немъ шевельнулось какое-то недоумѣніе, «что это — кокетство или маскированное равнодушіе,» подумалъ онъ. Но лицо Наташи было весело, откровенно и ясно.

— Неужели вы не испытали, сказалъ Комлевъ:— что есть вещи самыя невинныя, которыя не говорятся при другихъ: есть лица самыя добродушныя,

которыя парализуютъ всякой задушевный разговоръ.

— Нѣтъ, когда я рада, мнѣ хочется, чтобы всѣ были свидѣтелями моей радости! тихо сказала Наташа и задумалась, какъ будто вспоминая что-то или жалѣя, что нѣтъ у нея такой радости.

Есть въ живыхъ рѣчахъ оттѣнки, которые невозможно положить на бумагу, есть звуки голоса, которые дѣйствуютъ сильнѣе словъ. Помимо значенія слова, они какъ музыка навѣваютъ на чутконастроенную душу свои мысли, погружаютъ ее въ особое расположеніе. Такъ въ задумчиво-сказанныхъ словахъ Наташи прозвучало неясно сознанное стремленіе къ какой-то полной, свѣтлой, еще неиспытанной ею радости; чуть внятно прозвучало или зарождающееся нѣжное чувство, или потребность его. И этотъ звукъ болѣзненно укололъ Комлева. Въ немъ мелькнулъ ревнивый вопросъ: «къ кому это чувство?» Явилось досадное сознаніе, что не объ немъ, не о прежнихъ съ нимъ встрѣчахъ задумалась она. Обидное и горькое сомнѣніе шевельнулось въ немъ; но онъ не поддался ему, хотѣлъ его повѣрить.

— Вы это говорите такъ грустно, сказалъ Комлевъ:—какъ будто вамъ жаль какихъ-то прошлыхъ радостей, словно вы боитесь, что онѣ не воротятся!

— О нѣтъ! сказала она: — вы знаете мое прошлое: оно все было тихо, ясно, я его люблю и вспоминаю, но въ немъ нѣтъ никакихъ особенно свѣтлыхъ мѣстъ, о которыхъ бы я жалѣла.

— Вамъ не жаль и нашихъ прошлыхъ встрѣчъ, сказалъ онъ съ горячимъ упрекомъ:—и тѣхъ долгихъ, теплыхъ лѣтнихъ вечеровъ, когда мы здѣсь въ саду по темнымъ аллеямъ и по берегу озера бродили, мечтали и строили воздушные замки, до тѣхъ поръ, пока роса и Татьяна Григорьевна не выгоняли насъ... Вамъ не жаль ихъ!

Наташа подняла на Комлева свои тихіе глаза и улыбнулась.

— Да, это были славные вечера, сказала она:— и я ихъ вспоминаю; но неужели жизнь впереди не дастъ ничего серьезнѣе нашихъ ребяческихъ мечтаній!

Кровь бросилась въ голову Комлева отъ тѣхъ мыслей, которыя, какъ спуганныя птицы, поднялись въ его молодомъ воображеніи отъ словъ Наташи. Еще при первой встрѣчѣ съ ней, онъ замѣтилъ, какъ много она выросла и сформировалась въ истекшій годъ; но онъ теперь только скорѣе почувствовалъ, чѣмъ увидалъ, что какой-то тихій внутренній огонь согрѣвалъ все выраженіе ея лица и точно просвѣчивалъ сквозь него. Это не былъ зародышъ жгучаго огня страсти, который волнуетъ и кипятитъ кровь. Наташа была физически слишкомъ молода для него; это была теплота новой начинающейся жизни, — та внутренняя теплота, которая заставляетъ на зарѣ стыдливо раскрываться почку цвѣтка и ждать освѣжающей росы полуоткрытыми розовыми губами. Согрѣтый этимъ тѣлесным огнемъ, весь спокойный и ясный обликъ Наташи былъ одушевленъ такимъ чистымъ чувствомъ, что дѣлалъ ее самоё похожею на свѣжій, свободно и довѣрчиво распускающійся цвѣтокъ. Комлевъ взглянулъ на нее, и ему такъ совѣстно стало своихъ мыслей, что онъ невольно опустилъ глаза; онъ хотѣлъ сказать что нибудь, и въ первый разъ смутился передъ Наташей. И другія мысли быстро смѣнили прежнія и увеличили его смущеніе. Онъ замѣтилъ, что Наташа едва ли не перегнала его въ этотъ годъ, что это уже не тотъ полу-ребенокъ, надъ которымъ онъ, юноша, въ прошлую встрѣчу имѣлъ перевѣсъ и вліяніе, что ея женская, быстро-развивающаяся природа перегнала въ это время его мужское, болѣе прочное, но медленное развитіе, что онъ еще остался почти прежнимъ юношей, а для нея промелькнулъ тотъ короткій промежутокъ, который вдругъ изъ дѣвочки-подростка дѣлаетъ дѣвицу. И весь смущенный, подъ вліяніемъ разнородныхъ и быстро смѣняющихся чувствъ, стоялъ Комлевъ передъ Наташей. Ему было и досадно, что она словно ускользаетъ изъ его рукъ, и радъ онъ былъ, что она уже не дѣвочка и что между ними можетъ завязаться серьезная борьба; онъ и боялся, не любитъ ли она кого нибудь, и надѣялся, не къ нему ли пробуждается въ ней болѣе нѣжное и сознательное чувство. Онъ много переживалъ въ эти короткія минуты.

Наташа замѣтила его смущеніе.

— Что съ вами? спросила она.

— Я вамъ откровенно скажу: меня смутила перемѣна, которую я нашелъ въ васъ, отвѣчалъ Комлевъ.

— Въ какомъ смыслѣ? Много я выросла? много... какъ это сказать... ну, помогите! словомъ, стала серьезнѣе? спрашивала Наташа съ несвойственною ей живостью.

— Нѣтъ, не то! Вы много выросли и совсѣмъ сформировались; но меня не это смутило. Я нашелъ, что... Можно говорить все? Вы не разсердитесь?

— Отчего?

— Но вы прежде были такъ застѣнчивы и пугливы! подсмѣиваясь, замѣтилъ Комлевъ.

Наташа раскраснѣлась.

— Я стала любопытнѣе, немного смутившись, тихо проговорила она.

— Вотъ видите ли, я нашелъ, что вы или любите, или готовы полюбить кого нибудь, и меня смутила мысль—кто...

— Какой вздоръ! сказала Наташа, прерывая его; и ей самой показалось странно, что эти въ первый разъ услышанныя слова не разсердили и не испугали ее. Напротивъ, сдержанная, едва замѣтная, самодовольная женская улыбка чуть-чуть пробѣжала у ней по губамъ, и чтобы лучше скрыть ее, она отвернулась отъ Комлева и взглянула въ аллею.

И какъ будто въ отвѣтъ на вопросъ Комлева, ея глаза прямо встрѣтились съ Соковлинымъ... Онъ

шелъ къ нимъ по аллѣе и давно уже смотрѣлъ на разговаривающихъ. Ему не замѣтно было выраженіе ихъ лицъ, не слышно было ихъ словъ; онъ только видѣлъ подъ навѣсомъ зеленыхъ склонившихся вѣтвей полную надеждъ, свѣжести и жизни молодую пару. Грустное и горькое чувство налегло ему на сердце, когда онъ невольно сравнилъ себя съ ними. Но онъ подавилъ это чувство, и его умное лицо было спокойно и добродушно, когда онъ подошелъ къ разговаривающимъ. Комлевъ тоже увидалъ Соковлина и подозрительно окинулъ его съ ногъ до головы.

— А, Сергѣй Иванычъ! сказала Наташа, вставая на встрѣчу Соковлину. Ей почему-то совѣстно было при Комлевѣ подать ему руку, но она подала.— Вы не знакомы? спросила она,

И она представила Соковлина и Комлева другъ другу.

Соковлинъ обратился къ Комлеву съ радушной простотой. Узнавъ, что онъ еще слушаетъ курсъ въ университетѣ, онъ сталъ его распрашивать про нѣкоторыхъ профессоровъ, съ которыми когда-то вмѣстѣ учился и оставался друженъ. Но Комлевъ отвѣчалъ нѣсколько принужденно и неохотно: онъ почувствовалъ къ Соковлину какое-то непріязненное чувство. Не-то, чтобы это была ревность: увидавъ добродушную, умную, но не молодую и не очень красивую наружность Соковлина, онъ не нашелъ въ немъ соперника. Но время появленія Соковлина, его спокойный разговоръ, въ которомъ сейчасъ почувствовалъ Комлевъ превосходство образованія и опытности, если не ума (самолюбіе его не допускало этого послѣдняго превосходства), а болѣе всего предметъ разговора, — все было непріятно Комлеву. Нѣтъ ничего оскорбительнѣе для молодаго человѣка, какъ видѣть себя очень молодымъ и еще недоучившимся передъ глазами той, которая нравится. Замѣтивъ, или нѣтъ, это скрытное нерасположеніе, Соковлинъ вскорѣ обратился къ Наташѣ.

— А что, прочли вы «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ?» спросилъ онъ.

— Прочла.

— Ну, какъ вы ее нашли?

— Кого?

— Повѣсть.

— Ахъ, да! Прелестно!... разсѣянно отвѣчала Наташа.

Наташа не была, казалось, расположена вести одинъ изъ тѣхъ длинныхъ разговоровъ, которые бывали у нихъ прежде по поводу какой нибудь книги или замѣчанія. Комлевъ нарочно отошелъ немного и, прислонясь къ дереву, вертѣлъ въ рукахъ вѣтку. Соковлинъ видѣлъ, что онъ помѣшалъ молодымъ людямъ.

— Однако жарко! сказалъ онъ.—Прощайте!

— Куда же вы? спросила Наташа.

— На террасу—тамъ холоднѣе.

— Правда, пойдемте и мы, сказала она, обратясь къ Комлеву.

— Пойдемте! нехотя отвѣчалъ онъ.

Соковлинъ нарочно пошелъ впередъ. Когда онъ отошелъ на такое разстояніе, что слова не могли доходить до него, Комлевъ спросилъ Наташу:

— Что, этотъ почтенный педагогъ часто у васъ бываетъ?

— Этотъ почтенный педагогъ дѣйствительно очень почтенъ, отвѣчала Наташа: — и если вы не хотите говорить мнѣ вещи для меня непріятныя, то прошу васъ не подсмѣивать надъ нимъ.

— Д-да? значительно спросилъ Комлевъ.

— Да, твердо отвѣчала Наташа.

Они оба замолчали и прійдя на террасу, гдѣ сидѣли всѣ остальные, разсѣлись въ разныхъ углахъ. Завязался общій разговоръ, но Комлевъ не вступалъ въ него.

День пошелъ обыкновеннымъ порядкомъ; но для Наташи и Соковлина — установившаяся гармонія была нарушена, имъ какъ-то было не ловко. Комлевъ ни почему конечно не былъ подъ пару Татьянѣ Григорьевнѣ; съ М-lle Кадо онъ былъ мало знакомъ, она нисколько не интересовала его, да при ней былъ Охвостневъ, и для нихъ третій повидимому былъ лишній. Оставалась одна Наташа, съ которой онъ былъ друженъ съ дѣтства, возлѣ которой и года, и взаимныя отношенія указывали ему мѣсто. Это было ясно для всѣхъ. Если бы Комлевъ сошелся съ Соковлинымъ, все бы могло идти по прежнему; но съ первой встрѣчи видно было, что это дѣло трудное. Комлевъ даже не хотѣлъ или не умѣлъ владѣть собою на столько, чтобы скрыть свою холодность.

Послѣ обѣда, когда Татьяна Григорьевна ушла по обыкновенію спать, а Охвостневъ подсѣлъ къ гувернанткѣ, Комлевъ взялъ фуражку и ушелъ въ садъ.

Соковлинъ началъ распрашивать Наташу про молодаго человѣка и узналъ, что онъ сынъ одного больнаго помѣщика-сосѣда, который не выѣзжаетъ изъ дому. Съ дѣтства Комлевъ почти росъ въ ихъ домѣ, и покойная мать его была очень дружна съ Татьяной Григорьевной. Наташа и Павлуша вмѣстѣ играли, вмѣстѣ учились, пока не отвезли мальчика въ гимназію. Но и тутъ часто видались они: то въ городѣ, куда на зиму переѣзжали Любанины, то лѣтомъ во время каникулъ въ деревнѣ. Кончивъ курсъ въ гимназіи, Комлевъ два года назадъ поѣхалъ въ университетъ, выдержалъ прекрасно экзаменъ и продолжалъ такъ же заниматься, пріѣзжая на лѣто въ деревню и ежегодно видаясь съ Наташей.

— А однакожь, вы странно встрѣчаетесь съ своимъ другомъ, сказалъ Соковлинъ, когда Наташа разсказала ему о своихъ отношеніяхъ къ Комлеву:— только успѣли свидѣться и ужь между вами явилась какая-то холодность.

— Почему вы это думаете? спросила Наташа.

— Да не нужно быть очень проницательнымъ, чтобы замѣтить, что молодой человѣкъ не доволенъ вами! Чѣмъ это вы огорчили его!

Наташа затруднилась отвѣтомъ: ей не хотѣлось сказать настоящую причину размолвки и вмѣстѣ съ тѣмъ она не умѣла и притворствовать.

— Да, я можетъ быть дѣйствительно не совсѣмъ права передъ нимъ, подумавъ, отвѣчала Наташа:— но я гораздо болѣе рада ему, чѣмъ онъ думаетъ. Что же дѣлать, если я не умѣю этого выказать! грустно прибавила она.

— Ну, это выкажется и замѣтится скоро, сказалъ Соковлинъ: — и было бы уже замѣчено, если бы я не помѣшалъ вамъ. Пожалуйста, снимите съ меня грѣхъ старыхъ холостяковъ быть помѣхой молодости: оставьте меня и позовите Комлева: вы оба будете въ выигрышѣ.

— Развѣ вамъ скучно со мною, что вы меня гоните? спросила Наташа и посмотрѣла на Соковлина какимъ-то смущеннымъ и вопрошающимъ взглядомъ.—Правда, прибавила она, опустивъ глаза: — я часто думала, какое удовольствіе *вы* (она сдѣлала удареніе на это слово) можете находить въ бесѣдѣ со мной, не развитой, не знающей ни свѣта, ни жизни.

— Однакожь вы видѣли, что я находилъ это удовольствіе. Мнѣ нечего увѣрять васъ, пріятны ли мнѣ были наши долгія бесѣды съ вами, — вы это могли сами замѣтить; и если и вамъ онѣ были не скучны, то вѣрьте, изъ насъ двухъ я былъ несравненно въ большемъ выигрышѣ. Но теперь ихъ надо кончить. Для васъ наступаетъ пора жизни. Одинъ день ея научитъ васъ болѣе, чѣмъ всѣ слова мои,—и ей надо дать дорогу... До свиданія! сказалъ Соковлинъ, вставая: — я забылъ, что мнѣ къ вечеру нужно быть дома... Извините меня передъ Татьяной Григорьевной.

Онъ протянулъ руку Наташѣ и отвѣчалъ улыбкой на ея недоумѣвающій взглядъ, старавшійся разгадать его. Она ничего не отвѣчала, не удерживала его, тихо пожала его руку и проводила глазами. Соковлинъ весело вышелъ, велѣлъ подать лошадей и уѣхалъ.

VI.

Доморощенная добронѣзжая тройка спорой рысью бѣжала домой; открытый тарантасикъ слегка подпрыгивалъ по мягкой торной колеѣ проселка. Дорога шла веселыми перелѣсками и полями. Кресты и спирды сжатаго хлѣба грудно стояли мѣрными рядами по желтымъ, далеко раскидывающимся жнивамъ; крупныя кисти рябины виднѣлись красными шапками въ зеленой опушкѣ; на блѣдно-голубомъ небѣ стояли мѣстами безъ всякаго движенія жиденькія бѣленькія полоски облаковъ; было тихо и жара спадала. Простая русская природа молча отдавала свои полновѣсные, здоровые и простые плоды, какъ иногда молча и спокойно здоровая крестьянка родитъ въ полѣ ребенка и тихо несетъ будущаго работника въ деревню. Соковлинъ тихо подпрыгивалъ въ тарантасѣ, и съ веселымъ лицомъ поглядывалъ по сторонамъ. Попавшійся ему на встрѣчу чей-то крестьянинъ своротилъ съ дороги, снялъ шапку и, пропустивъ его, низко поклонился. Онъ также весело отвѣчалъ на его поклонъ. «Баринъ какой-то веселый ѣдетъ»! подумалъ мужикъ. «Какъ не быть веселымъ — Богъ хлѣбушка далъ»! И поплелся онъ далѣе, можетъ быть, раздумывая: «чей это баринъ, и много ли у него крестьянъ, и велика ли запашка»? Но крестьянинъ былъ плохой физіономистъ. Выраженіе лица у Соковлина было въ родѣ той тупой и сладковатой веселости, съ которою иногда посреди родни: папеньки, маменьки, или мужа, прощаешься надолго съ милой женщиной, желаешь ей много пріятныхъ вещей и улыбаешься, тогда какъ слезы готовы брызнуть изъ глазъ. Онъ смотрѣлъ кругомъ, видѣлъ и хлѣбъ и рябину, и мужику отвѣтилъ на поклонъ; но все это проходило у него передъ глазами точно передъ зеркаломъ, не оставляя никакого слѣда, не прерывая ряда мыслей, если только въ мысляхъ у него была какая нибудь послѣдовательность. Но не только этой послѣдовательности не было въ его мысляхъ, врядъ ли можно назвать и мыслями странную смѣсь какихъ-то начатковъ мысли, воспоминаній, предположеній, которыя толпились въ его головѣ, зарождались, тотчасъ были покидаемы для другихъ, и вертелись смутной вереницей. Соковлинъ былъ въ положеніи человѣка, который сдѣлалъ какую-то величайшую глупость: воспоминаніе объ этой глупости безпрестанно лѣзетъ въ голову; а между тѣмъ совѣстно и не хочется вспоминать ее, не хочется даже признаться себѣ, что она была сдѣлана. Соковлинъ безотчетно держалъ себя въ этой неопредѣленности самосознанія, какъ иногда долго вертясь въ постелѣ отъ безсонницы и желая во что бы то ни было заснуть, отгоняешь отъ себя всѣ мысли и стараешься ни о чемъ не думать. Онъ до того невольно подвергся этому отсутствію соображенія, что улыбнувшись Наташѣ, онъ такъ и продолжалъ улыбаться, какъ будто эта улыбка засѣла у него на лицѣ: онъ забылъ про нее. И домъ показался, и встрѣтили его на крыльцѣ дворовые мальчишки, и взошелъ онъ въ пустыя и тихія комнаты—а лицо его все носило веселенькое и пріятное выраженіе, точно, проигравшись въ карты, хотѣлъ онъ обмануть имъ окружающихъ. Только когда онъ раздѣлся, закурилъ сигару и засѣлъ въ уголъ мягкаго дивана, когда его обступило унылое безлюдье, среди котораго онъ привыкъ анализировать и читанное и видѣнное, и себя и другихъ, тогда эта привычка въ извѣстной обстановкѣ, отдаваться извѣстному настроенію — взяла свое. Онъ задумался, и наморщенное лицо словно постарѣло отъ какихъ-то горькихъ и разъѣдающихъ мыслей.

Отчего бы, казалось, очутиться ему въ такомъ странномъ и непріятномъ положеніи? Ничего особеннаго не случилось. Появился юноша, пріѣздъ котораго не былъ для него нечаянностью. Наташа не оказала Комлеву никакого предпочтенія, на

если бы и оказала, такъ что же въ томъ Соковлину, который въ нее не влюбленъ и видовъ на нее никакихъ не имѣлъ, по крайней мѣрѣ доселѣ. Но дѣло въ томъ, что отъ этого появленія юноши, только отъ одного появленія его рядомъ съ Наташей, надтреснулъ и осѣлъ весь счастливый мірокъ, который устроилъ себѣ Соковлинъ, въ которомъ онъ спокойно наслаждался, обманывая себя и настоящими отношеніями, и будущимъ выходомъ изъ нихъ. Въ непріятномъ ощущеніи, которое пробѣжало въ немъ при видѣ Комлева рядомъ съ Наташей, въ маленькой добродушной уступчивости, съ которой онъ посовѣтовалъ Наташѣ сойтись и помириться съ Комлевымъ, онъ узналъ знакомое ему чувство ревности, знакомую ему борьбу съ соперникомъ. Онъ столько любилъ, и ревновалъ, и боролся, что не могъ не узнать этихъ чувствъ, хотя они явились тихо, скромно и въ другомъ нарядѣ. Соковлинъ принадлежалъ къ тѣмъ сильно развитымъ, но расколотымъ и слабымъ натурамъ, которымъ сознаніе слабости не мѣшаетъ поддаваться ей, которые, увлекаясь чѣмъ нибудь, въ тоже время шагъ за шагомъ зорко слѣдятъ за собою, и такимъ образомъ совмѣщаютъ въ себя и пьяницу, протягивающаго руку къ чаркѣ, и блюстителя порядка, который говоритъ ему, что онъ попадетъ въ часть. «Что же это такое»? думалъ Соковлинъ, сидя на диванѣ и съ озлобленіемъ дымя сигарой: «опять любовь, что ли? Мало развѣ я любилъ, и обманывалъ, и обманывался? Боже мой! къ чему же всѣ уроки прошедшаго, всѣ передряги, отъ которыхъ приходилось такъ тяжело, что думалъ и желалъ на вѣкъ отдѣлаться отъ нихъ? Что за живучесть сердца, что за странная потребность любви! Къ чему вся жажда спокойствія, и что это за жалкое благоразуміе, когда съ сѣдиной въ головѣ нельзя сойтись съ шестнадцатилѣтней дѣвочкой, чтобы не влюбится въ нее! Покровительственное чувство... желаніе развить хорошенькую головку... Въ какія почтенныя костюмы начало рядиться то кпучее чувство, которое, бывало, такъ смѣло являлось съ поднятымъ забраломъ, съ открытымъ лицомъ! И мы еще смѣемся надъ влюбленными стариками; будто не найдется приличнаго костюма и для ихъ безсильнаго чувства! И что за несчастная привычка немножко подрапироваться»! продолжалъ онъ. «Отчего бы мнѣ не уйти подъ какимъ нибудь предлогомъ, или просто, не обращая вниманія на размолвку, сидѣть себѣ, какъ обыкновенно? Нѣтъ! Явилось сочувствіе къ юнымъ сердцамъ! Да юныя сердца, только оставь ихъ на недѣлю, и безъ того такъ сцѣпятся, что ихъ водой не разольешь — ужь это извѣстный законъ взаимнаго притяженія! Нѣтъ, надо было закутаться въ мантію добродѣтельнаго старца, да и выставить изъ нея красный носъ, чтобы узнали, что самъ охотникъ до чарочки, которую совѣтуешь подавать другому. Вздоръ»! рѣшилъ Соковлинъ, быстро вставая, бросилъ окурокъ сигары и началъ ходить.—«Вздоръ! ничего серьезнаго еще нѣтъ и не надо давать волю скверной привычкѣ. Для женитьбы на Наташѣ я старъ; для того, чтобы поиграть да и разойтись—достаточно честенъ: ужь теперь не надуешь себя на этотъ счетъ старыми теоріями. Будетъ! поигралъ въ эту игру и проигрался порядочно; пора и честь знать. Да и шансы не ровны: мнѣ ли ставить свою послѣднюю насущную копѣйку, когда у тѣхъ еще непочатой мѣшокъ? Сдѣлалъ свое дѣло старый холостякъ, развилъ немного дѣвочку, приготовилъ, поддразнилъ— ну и прочь! и ѣздить перестану: что мнѣ тамъ дѣлать! Мѣшать имъ?—Богъ съ ними!—Разъигрывать добродѣтельнаго друга? — преглупая роль! Развѣ за старухой приволокнуться, чтобы ея наливки пить? Да и тамъ есть счастливый соперникъ Охвостневъ... Вставайте же старые забытые друзья»! вздохнувъ, чуть не сказалъ онъ вслухъ, подходя къ полкѣ съ книгами и стряхивая съ нихъ пыль. «Вы теперь моя страсть и неизмѣнныя любовницы»!

Соковлинъ взялъ одну изъ недавно полученныхъ и неразрѣзанныхъ еще книгъ, ушелъ съ ней въ спальную и легъ, чтобы почитать на сонъ грядущій и забыть недавнія мысли. Однакожь должно полагать, что неизмѣнная любовница оказалась или скучной, или глупой, потому что онъ весьма скоро положилъ ее на столъ, дунулъ на свѣчи и перевернулся на бокъ. Скоро ли онъ заснулъ или нѣтъ, это покрыто мракомъ ночи и неизвѣстности.

Соковлинъ дѣйствительно засѣлъ дома. Онъ снова усерднѣе занялся хозяйствомъ, чтеніемъ, перепиской. Въ немъ была видна маленькая лихорадочная дѣятельность. Никакихъ, такъ называемыхъ имъ, пустыхъ мыслей онъ теперь въ голову не пускалъ и отгонялъ ихъ всячески. Когда становилось ему отъ нихъ очень жутко онъ бралъ ружье и охотился до устали. Такъ прошло дней десять. Въ одно прекрасное послѣобѣда, которое было не лучше и не хуже другихъ и ничѣмъ отъ нихъ не отличалось, Соковлинъ сидѣлъ подъ окномъ и наблюдалъ за вороной, которая съ оглядкой подбиралась къ кости. Кучеръ, выспавшись въ каретникѣ, протирая глаза, выходилъ изъ него.

Одинъ взглядъ на этого кучера, съ которымъ Соковлинъ ѣзжалъ въ Любановку, вдругъ какими-то судьбами перевернулъ всѣ его размышленія.

— Василій! закричалъ Соковлинъ, увидавъ его:— закладывай тройку въ маленькій тарантасъ, да живѣе!

— Слушаю-съ, отвѣчалъ кучеръ и пошелъ закладывать, а Соковлинъ пошелъ поскорѣе переодѣться: онъ ѣхалъ къ Любанинымъ.

Онъ разсуждалъ очень благоразумно, что глупо изъ того, что ему почудился вздоръ, оставлять своихъ знакомыхъ и скучать, запершись дома; что отсутствіе его можетъ быть какъ нибудь перетолковано; что, наконецъ, это просто невѣжливость, и проч., и онъ торопилъ прислугу. Онъ, кажется, просто боялся уличить себя въ постыдной слабости и одуматься. И онъ уѣхалъ.

Соковлинъ встрѣтилъ все общество Любанинныхъ въ залѣ. Не успѣлъ онъ еще сбросить въ прихожей свою лѣтнюю накидку, какъ Татьяна Григорьевна уже запѣла:

— А! поди-ка, поди-ка сюда, бѣглецъ! Гдѣ это ты, батюшка, пропадаешь? Что съ тобой? Двѣ недѣли глазъ не показываешь. И не стыдно это тебѣ? погляди-ка на меня!.. Да что это, родной, ужь не боленъ ли ты былъ? Словно, измѣнился въ лицѣ... вдругъ перемѣнная тонъ, сказала она.

— Нѣтъ-съ, я здоровъ; но рабочее время, Татьяна Григорьевна, сами знаете, нужно за всѣмъ посмотрѣть, да дѣла кой-какія; ну и охота... весело отвѣчалъ Соковлинъ, здороваясь съ Татьяной Григорьевной.

Татьяна Григорьевна только покачала головой.

— Охъ, ты, хозяинъ! хозяинъ ты мой! Чай, и въ полѣ-то ни разу не былъ? А признайся-ка, все писалъ, чай, что нибудь или читалъ... Охъ, не зачитайся ты, Сергѣй, право, не зачитайся, продолжала она съ искренней заботливостью:—вѣдь это бываетъ! Вотъ недалеко ходить: нашъ дьячокъ Селиверстовъ совсѣмъ свихнулся!.. Впрочемъ вѣдь, говорятъ, это отъ церковныхъ, добавила она успокоительно:—а ты, чай, въ нихъ не заглядываешь?

Соковлинъ поздоровался съ Охвостневымъ и M-lle Кадо, которые стояли ближе, и обратился къ Наташѣ. Она стояла въ сторонѣ съ Комлевымъ и все время смотрѣла на Соковлина. Когда онъ подошелъ къ ней, она подала ему руку, не сказала ни слова, но только пристально поглядѣла на него. Этотъ спокойный и испытывающій взглядъ смутилъ нѣсколько Соковлина и онъ поспѣшилъ обратится къ Комлеву. Тотъ поклонился ему очень вѣжливо, но Соковлинъ замѣтилъ, или ему такъ показалось, что Комлевъ стоялъ возлѣ Наташи какъ-то особенно твердо, какъ человѣкъ, который знаетъ, что тутъ его мѣсто и что его уже не собьешь съ него.

— А я было ужь хотѣла посылать провѣдать тебя, Сергѣй... да вотъ кстати пріѣхалъ! сказала Татьяна Григорьевна.—Молодежь-то моя сегодня подбила меня въ поле ѣхать чай пить! Тащусь, старуха; дѣлать нечего! Да день-то ужь очень хорошъ; что дѣлать! надо потѣшить молодежь. Ты поѣдешь съ нами, Сергѣй, — а? Поѣдешь, голубчикъ?

— Отчего же нѣтъ! Съ удовольствіемъ! отвѣчалъ Соковлинъ.

— Только съ кѣмъ же поѣдетъ Сергѣй Иванычъ? замѣтилъ Охвостневъ.—Мы всѣ ужь разбились: Наталья Дмитревна съ Павломъ Егорычемъ, я съ M-lle Кадо—ужь насъ водой не разольешь...

— Ну чтожь, а я съ Татьяной Григорьевной; такъ молодежь къ молодежи а пожилой къ пожилымъ,—неправда ли, Татьяна Григорьевна? весело сказалъ Соковлинъ.

— Нельзя, замѣтилъ серьезно Охвостневъ: — у Татьяны Григорьевны тоже есть кавалеръ—Феоктистушка!

— Полно! полно, скалозубъ! Поѣдемъ, Сергѣй... поѣдемъ! Феоктиста я хотѣла взять, чтобы онъ мнѣ хлѣба показалъ, да и Аринушку для компаніи: вѣдь я безъ нея никуда! Да у меня дроги просторныя, а впрочемъ, коли хочешь, Сергѣй, такъ Феоктиста и оставлю.

— Да зачѣмъ же, Татьяна Григорьевна? вѣдь будетъ всѣмъ мѣсто.

— Какъ не быть! Еще двоихъ можно посадить.

— Ну, такъ и прекрасно! такъ и поѣдемъ всѣ старички; а я кстати у Феоктиста хозяйству поучусь.

Соковлинъ говорилъ весело и, казалось, былъ очень доволенъ поѣздкой—только, неизвѣстно почему, онъ съ какимъ-то особеннымъ наслажденіемъ причислялъ себя къ старичкамъ.

Всѣ стали собираться, и вскорѣ подали экипажи. Наташа и Комлевъ сѣли въ подержанную кабріолетку; Охвостневъ съ M-lle Кадо, за неименіемъ другаго кабріолета, помѣстились въ узенькую двуколесную таратайку. Француженкѣ доставляло это большое удовольствіе: она хохотала, говорила — que c'est une délicieuse télégue, и такъ долго усаживалась, что Охвостневъ наконецъ, потерявъ терпѣніе, сказалъ: «да ну укладывайтесь, мамзель»! посадилъ ее насильно и прижалъ собою къ стѣнкѣ, что ей доставило снова возможность повизжать.

Между тѣмъ на большія дроги, какого-то хитраго домашняго покроя, разнообразіемъ и удобствомъ которыхъ помѣщики любятъ хвастаться другъ передъ другомъ, усаживались и Татьяна Григорьевна, и Соковлинъ, и Аринушка съ безчисленными узелками, которыя подавали ей горничныя, несмотря на то, что цѣлая телѣга съ припасами пошла впередъ. Почтительно прилѣпился и Феоктистъ позади барыни; долгушка на вязовыхъ дрожинахъ только поскрипывала и выгибалась чуть не до земли, а мѣста въ ней оставалось еще на четырехъ. Тройка лошадей, запряженная *подъ старую барыню*, была чуть ей не ровесница; *старый кучеръ* Архипъ въ обвисломъ армякѣ былъ не по одному названію старый кучеръ. Весь экипажъ съ сѣдоками и ихъ одеждой имѣлъ тотъ домашній, затрапезный, просторный и засаленый видъ, въ которомъ такъ любятъ обрѣтаться у себя русскіе люди, когда не боятся посторонней насмѣшки.

Одинъ Соковлинъ только выдѣлялся изъ этой сѣренькой, безцвѣтной группы; но и его простой, не бросающійся въ глаза нарядъ какъ-то покрылся общимъ тономъ обстановки, и онъ, несмотря на веселую и исполненную свѣтлаго и снисходительнаго ума наружность, точно старѣлся и опускался въ уровень его окружающихъ.

Бойко рванулась молодая и заносчивая лошадь съ Охвостневымъ и француженкой; бодро пошелъ добрый конь въ кабріолетѣ, и вслѣдъ за ними, скрипя экипажемъ, апатично двинулась старая тройка.

Комлевъ оглянулся и, смѣясь, сказалъ что-то Наташѣ. — Наташа не обернулась и не отвѣчала.

Черезъ часъ послѣ этого, на раскинутыхъ коврахъ и подушкахъ, снятыхъ съ экипажей, знакомая группа сидѣла въ живописномъ безпорядкѣ. Посредйнѣ стояли банки съ вареньемъ, тарелки съ крендельками и сухарями, заткнутая чистенькой тряпкой бутылка со сливками и пузырекъ съ клюквеннымъ морсомъ. Всторонӗ у кустовъ, возлѣ разведеннаго огня, дымъ отъ котораго доносился до кружка и отгонялъ мухъ и комаровъ, пыхтѣлъ толстопузый самоваръ. Возлѣ него хлопотала востроносая Аринушка въ бѣломъ чепцѣ, а степенный и дородный Феофистъ, не теряя важности, медлительно и аккуратно подкладывалъ въ огонь хворостъ. Здоровый молодой лакей, буйный Донъ-Жуанъ дѣвичьей, не разъ даже обезпокоенный розгами, по приказанію Татьяны Григорьевны, за нарушеніе чистоты нравовъ и посѣяніе смутъ между доморощӗными весталками — разносилъ чай. За кустами, кучера, покуривая трубочки, стояли около лошадей. Дальше видна была крыша мельницы, и глухой шумъ воды и жернововъ, то упадая, то возвышаясь, долеталъ отъ нея. Дневной жаръ замиралъ и румяный осенній вечеръ начиналъ разгораться.

Съ деревенскимъ аппетитомъ отдавъ дань яствамъ и любимому напитку, весело и незамѣтно проводила время знакомая семья. Мужчины, медленно допивая чай, курили; дамы занялись фисташками и кедровыми орѣхами, которые въ видѣ сюрприза поднесла имъ Аринушка. Общій разговоръ долго шелъ то веселыми перекидывающимися рѣчами, то маленькими спорами; но потомъ, какъ всегда это бываетъ въ обществѣ, гдѣ есть умный и хорошо говорящій человѣкъ, онъ остался за сильнѣйшимъ. Рѣчь была вызвана невыгоднымъ замѣчаніемъ M-lle Кадо о русской природѣ, и Соковлинъ вступился за свою родину. Онъ доказывалъ, что тѣ изъ людей сѣвера, которые горячо любятъ природу, въ состояніи лучше цѣпить ее, тоньше умѣютъ подмѣчать ея красоты, чѣмъ избалованные ею жители юга. Онъ очертилъ рѣзко набросанную живописными группами красоту Швейцаріи, млѣющую въ нѣжныхъ и роскошныхъ краскахъ прелесть Италіи и потомъ, перейдя къ нашей грустной, блѣдной сѣверной природѣ, мѣтко обрисовалъ ея тонкую застѣнчивую прелесть и, съ глубоко-прочувствованнымъ знаніемъ, далъ понять ея задумчивый и широкій покой.

Соковлинъ началъ спокойно; но увлекшись, одушевился и говорилъ съ жаромъ; потомъ, дойдя до русской природы, рѣчь его, подъ-стать предмету, приняла какой-то тихій и грустный, задѣвающій за душу строй, и когда онъ окончилъ, сказавъ: «да лучше посмотрите кругомъ» — всѣ оглянулись на пышный закатъ,—и среди глубокой тишины, все недосказанное договорилъ осенній вечеръ.

Разсказъ Соковлина даже на менѣе воспріимчивыхъ произвелъ впечатлѣніе. Но Наташа, слушая его, не спускала глазъ съ разсказчика. Въ душѣ ея рисовались яркія картины далекихъ и невиданныхъ ею странъ; но переносясь туда, она слышала возлѣ рѣчь Соковлина, какъ будто бы и онъ переносился съ нею; вспоминались ей и ея прошедшія бесѣды съ нимъ, и когда потомъ взглянула она вокругъ, она не видала ни облаковъ, горящихъ въ аломъ огнѣ на небѣ, ни розовыхъ тѣней и полутоновъ по изгибамъ полей и перелѣсья,—словомъ, не видала никакихъ частностей картины; но весь вечеръ, вся поэзія его всецѣльно отразилась въ ея душѣ, и среди этого глубокаго поэтическаго настроенія, какъ туманы, стали подниматься воспоминанія всего отъ него слышаннаго, всего вмѣстѣ читаннаго.

— Хорошо, хорошо, — что говорить! Вездѣ Божья красота, вздохнувъ, сказала Татьяна Григорьевна. — Однакожь сыровато становится, поѣдемте-ка: собирайтесь, Аринушка, да велите подавать лошадей. Вѣдь этого соловья не переслушаешь! продолжала она, обращаясь къ Соковлину:—охъ, ты златоустъ, Сергѣй... право, златоустъ: жемчугомъ съ языка сыпешь! Гдѣ ты научился этому!... Наташа! экъ засмотрѣлась, голубушка!... надѣнь платокъ, сыро становится.

Всѣ стали собираться. Татьяна Григорьевна сама надѣла и начала закалывать платокъ кругъ шеи дочери, и хотѣла уже отойти, когда Наташа, стыдливо смутясь, нагнулась къ ней и что-то тихо сказала.

— Правда, правда! громко отвѣчала Татьяна Григорьевна.—Сергѣй... тебѣ, голубчикъ, кажется, неловко ѣхать съ нами; поѣзжай-ка съ Наташей; а Павелъ со старухами потрясется — теперь его очередь; да и вечеръ же теперь; ты поосторожнѣе поѣдешь, чѣмъ этотъ молодецъ.

— Зачѣмъ же, Татьяна Григорьевна, разлучать молодыхъ людей? сказалъ Соковлинъ:—мнѣ, право, очень покойно и съ вами — да и больше подъстать, прибавилъ онъ.

— Всякому своя очередь, возразилъ Комлевъ, который весь вечеръ не говорилъ съ Наташей и, кажется, немного сердился на нее. — Я пользовался обществомъ Натальи Дмитріевны, теперь ее надо вознаградить за скуку со мной. Этого требуетъ справедливость.

Соковлинъ хотѣлъ возразить, но Наташа взглянула ему въ глаза и тихо сказала:

— Вы не хотите ѣхать со мной, Сергѣй Иванычъ?

— Напротивъ, отвѣчалъ онъ: — но...

— Да чего тутъ упрямиться! Ну, съ твоими ли длинными ногами въ долгушкѣ ѣхать! Изволь въ кабріолетку садиться, рѣшила Татьяна Григорьевна: — а молодецъ-то со старухами потрясется: нешто ему!

Подали экипажи, всѣ усѣлись и тронулись. Соковлинъ посадилъ Наташу и поѣхалъ съ ней позади другихъ. Пыль густымъ облакомъ поднялась по мягкому проселку и долго стояла надъ нимъ, не разносимая вѣтромъ.

— Отстанемъ немного, сказалъ Соковлинъ и задержалъ лошадь. Вскорѣ передніе экипажи скрылись за изгибомъ дороги, и они остались одни.

Догорѣвшій вечеръ, какъ потухающій уголь, началъ съ востока подергиваться синевой и огненной лавой переливаться на западъ. Въ воздухѣ становилась ночная тишина и чувствовался холодъ. Кругомъ, сквозь полноту осенней жизни, уже проглядывало тяжелое предчувствіе близкаго увяданья; мѣстами, изъ желтоватой зелени лѣса вырывался малиновый листъ и уныло горѣлъ подъ послѣднимъ лучомъ солнца лихорадочнымъ румянцемъ. Соковлинъ и Наташа ѣхали молча.

Соковлинъ не хотѣлъ говорить. Говорить о пустякахъ ему было совѣстно и тяжело; высказывать то, что шевелилось у него на душѣ и давило ее, онъ не могъ, да и было бы трудно. Возлѣ него, закутавши въ бурнусъ едва округленныя плечи, сидѣла полная задумчивой, развертывающейся красоты Наташа. Бѣлый платокъ, связанный косынкой у подбородка, весело игралъ концами на затылкѣ и рѣзко оттѣнялъ спереди черные волнующіеся волосы и овальное, согрѣтое нѣжнымъ румянцемъ, одушевленное мыслію, темноокое лицо. Эта дѣвочка, чистая какъ ясное утро, влекла его къ себѣ всѣмъ обаяніемъ своей нравственной и физической красоты и молодости. Она подняла въ немъ не страстное и порывистое чувство молодыхъ лѣтъ и силъ, но то глубокое влеченіе тонко-развитой, любящей натуры, которое Соковлинъ такъ долго и безплодно носилъ, разбрасывалъ на предметы его недостойные и, наконецъ, измученный и обманутый, думалъ схоронить въ себѣ, какъ пустую мечту, какъ молодое стремленіе къ слишкомъ непрактически-задуманному идеалу. И вотъ простая, взросшая въ деревенской глуши дѣвочка свела этотъ идеалъ съ его недоступныхъ подмостковъ и такъ просто, какъ просто все прекрасное въ жизни, такъ естественно его олицетворила, что въ заносчивые, отуманенные юностью годы, онъ бы, можетъ, ее не оцѣнилъ и прошелъ мимо. И теперь, когда никакое внѣшнее препятствіе, повидимому, не становилось рѣзко между ними, онъ внутренно сознавалъ препятствіе безвыходное, неодолимое, тѣмъ болѣе страшное, что оно было въ немъ самомъ. Этимъ препятствіемъ были безплодно и неотвратимо потраченные молодые годы, силы, вѣрованія. Этимъ препятствіемъ были тѣ сомнѣнія въ прочности любви, въ неизмѣнности чувства, которыя невольно и глубоко засѣли въ его убѣжденія отъ всего выдѣннаго и пережитаго, это безсиліе смѣло и свободно отдаться влеченію, эта привычка вѣчно разбирать себя и другихъ, по волоскамъ растеребливать каждое живое движеніе и чувство, докапываться до его основы въ настоящемъ и подозрительно заглядывать въ его будущее, — единственный, грустный и тяжелый даръ, выработанный имъ изъ всего прошлаго. Соковлинъ сознавалъ, что не подъ-стать онъ такому молодому и свѣжему существу, какъ Наташа; что плохо отвѣчать нравоученіями и благоразумными совѣтами на то, что просить не словъ, а жизни.

А Наташа сидѣла тутъ радомъ. Колебанье экипажа заставляло иногда Соковлина дотрогиваться плечомъ до ея плеча и точно насмѣшливо поддразнивало его. И умирающій день, и дыханье осени въ природѣ, и этотъ глазъ-на-глазъ съ Наташей — все говорило за-одно съ его думами, что это можетъ быть послѣднее вѣянье надежды, любви, молодости, счастья... и онъ снова видѣлъ ихъ ослѣпительную вереницу тихо и на вѣкъ удаляющеюся отъ него, и онъ долженъ былъ молчать и не смѣть руки протянуть за ними. И Соковлинъ молчалъ и упорно глядѣлъ впередъ по дорогѣ, словно боясь пошевельнуться.

Не то было съ Наташей. На ея прозрачномъ лицѣ, не умѣющемъ еще скрывать душевныхъ движеній, точно тѣни отъ облаковъ, проносились какія то мысли и выдавали себя то слабо вспыхивающимъ румянцемъ, то едва замѣтными движеніями просвѣчивающихъ сквозь кожу синихъ нервъ. Ей хотѣлось многое выспросить, разъяснить себѣ въ отношеніяхъ Соковлина, но врожденная молчаливость, стыдливость, наконецъ неумѣнье приняться — мѣшали ей; отъ внутренняго волненія сердце у ней сильно билось, словно она ждала чего-то. Ей такъ хотѣлось говорить, а она не рѣшалась. А время шло, случай убѣгалъ.

— Сергѣй Иванычъ, за что вы измѣнились къ намъ? сказала, наконецъ, Наташа нетвердымъ, нѣсколько прерывающимся голосомъ, не глядя на Соковлина.

Соковлину показалось, что слова ея точно зазвенѣли въ воздухѣ. «Вотъ оно—испытаніе»! подумалъ онъ, и сердце у него сжалось.

— Полноте, Наталья Дмитріевна! отчего это вамъ показалось? глухо отвѣчалъ онъ, и слова точно задѣвали за что-то у него въ горлѣ, и онъ усиленнѣе началъ всматриваться въ дорогу.

— Нѣтъ, это мнѣ не показалось! Я это чувствую, тихо но твердо говорила Наташа: — да иначе, отчего же бы вамъ и не бывать у насъ попрежнему?

— Я ужь вамъ говорилъ, нерѣшительно отвѣчалъ Соковлинъ: — дѣла кой-какія, охота, хозяйство...

— Нѣтъ, вы не повторяйте этого! Зачѣмъ?.. зачѣмъ? съ нѣжнымъ укоромъ торопливо перебила она.—Я виновата, что и спросила васъ. Но видите ли, меня мучила мысль, что можетъ быть нечаянно, невольно я сдѣлала вамъ что нибудь непріятное... Вы мнѣ скажите только, я тутъ ни въ чемъ... ни въ чемъ не виновата? Голосъ Наташи робко замиралъ и послѣднія слова были едва слышны.

— Ни въ чемъ! тихо сказалъ Соковлинъ.

И они опять замолчали.

И цѣлый рой поднятыхъ и не высказанныхъ чувствъ тяжело носился надъ ними въ этомъ натянутомъ молчаніи. Соковлину наконецъ стало невыносимо это положеніе и совѣстно за свою слабость. Сдѣлавъ все усиліе воли, онъ рѣшился выйти изъ него. Невольно, чуть слышно вздохнулъ онъ и обратился къ Наташѣ, чтобы сказать ей нѣсколько спокойныхъ оправдательныхъ словъ, но— одинъ взглядъ на нее измѣнилъ его мысли и вывелъ изъ того твердаго и замкнутаго въ себѣ положенія, въ которомъ онъ хотѣлъ остаться. Уклончивость Соковлина, нежеланіе его откровенно высказаться ей, глубоко огорчили Наташу. Она была блѣдна какъ полотно, и въ первый разъ онъ замѣтилъ на ея лицѣ какое-то недѣтски-серьезное выраженіе. Это лицо молча обвиняло его за его оскорбительное недовѣріе: въ немъ были видны подавленныя слезы досады и оскорбленнаго чувства, которыя накипаютъ внутри; бѣлый чистый лобъ точно потемнѣлъ; глаза смотрѣли пристально впередъ, вѣки сжаты, какъ будто она не пускала ими готовыя брызнуть слезы. У Соковлина сердце заколыхнулось: ему же приходилось оправдываться и утѣшать. Но этого онъ не могъ. Онъ только почувствовалъ, что надо ему говорить, говорить уже не съ дѣвочкой — говорить прямо и откровенно.

— Вы не огорчайтесь моей скрытностью, сказалъ онъ дрожащимъ отъ волненія голосомъ: — повѣрьте, я больше терялъ оттого, что не могъ высказаться вамъ; но зачѣмъ мнѣ было безполезно смущать васъ, говорить вамъ то, въ чемъ не можете вы помочь?

— И чего не могу раздѣлить? добавила Наташа.

— Да и раздѣлить не можете! Да и зачѣмъ же дѣлиться вещами тяжелыми! У всякаго возраста есть свои печали—мои слишкомъ еще далеки отъ вашихъ, и мнѣ трудно бы было и объяснить ихъ вамъ.

— Да, холодно сказала Наташа:—я такъ и думала! Я слишкомъ молода, чтобы понимать ихъ и чувствовать!... Губы слегка дрогнули у нея и голосъ порвался.

Соковлинъ почувствовалъ въ этихъ словахъ глубоко-уязвленное самолюбіе дѣвушки, которая начала сознавать свои силы—свои права на полную жизнь, и видитъ, что человѣкъ, высоко ею цѣнимый, считаетъ ее еще не доросшей до себя. Оскорбленная женщина послышалось ему; и упрекъ, и этотъ первый отпоръ, первый звукъ женскаго голоса въ любимой дѣвочкѣ—все вмѣстѣ и обрадовало и разбило его.

— Нѣтъ! сказалъ онъ съ жаромъ.—Вы поймете меня, хотя мнѣ дѣйствительно трудно передать вамъ все. Но помните, вы сами хотѣли этого!.. Да, угадали... Все, что я говорилъ вамъ, была пуотговорка: я не ѣздилъ къ вамъ потому, что не равнодушно видѣть васъ, васъ и... Комлева.

Наташа тихо обратила къ Соковлину голову и подняла на него глаза.

— Видите ли, продолжалъ Соковлинъ, не глядя ей въ лицо,—и слова его падали какъ-то глухо и отрывисто: — есть вещь не нормальная, глупая, грустная — когда одно нравственное свойство отстаетъ отъ другихъ, затягивается въ человѣкѣ, развивается туже, живетъ дольше... Это, если хотите, послѣдній даръ природы, борьба ея противъ увяданія; но даръ тяжелый, безполезный: зеленая вѣтка на сухомъ уже деревѣ, послѣдній листъ, который дрожитъ, зябнетъ и не зная для чего держится, тогда какъ всѣ другіе давно гніютъ себѣ на землѣ... Вѣдь ужь надо сознаться, я устарѣлъ, и устарѣлъ порядочно. Да чтожь — и пора! Худо ли, хорошо ли, а многое пережито; лѣто мое уже за плечами. Я и примирился съ этой мыслію. Я думалъ уже, что все покончено съ мечтами и надеждами... что надо дѣлать одно обыденное, сподручное дѣло, да иногда, ради отрады, покопаться въ старыхъ воспоминаніяхъ... Мнѣ казалось, что я могу уже прямо смотрѣть въ открытое лицо жизни и не смущаться его суровостью... и вдругъ оказывается, что благоразуміе, опытность, разсудокъ—все это вздоръ передъ однимъ движеніемъ чувства! Я не могъ устоять отъ одного взгляда на молодую закипающую жизнь безъ того, чтобы мнѣ самому не захотѣлось мучительно, болѣзненно—пожить еще; отъ одного вида, вѣянья чужой любви, все старое, живучее поднялось во мнѣ... знакомые мертвецы стали вставать изъ гробовъ... и я хотѣлъ убѣжать отъ нихъ...

— Про чью любовь говорите вы? медленно спросила Наташа.

Соковлинъ замялся нѣсколько.

— Если не про любовь, то про возможность ея, сказалъ наконецъ онъ.—Надо правду говорить,— для васъ пришла ея пора... Комлевъ плохо скрываетъ свою... да и отчего же нѣтъ? это такъ естественно, такъ обыкновенно...

Наташа пристально посмотрѣла на Соковлина и отрицательно покачала головою.

— Я и не говорю, чтобы вы его любили... торопливо продолжалъ Соковлинъ: — все равно другаго полюбите, ужь это законъ природы. Я только хотѣлъ сказать, что во мнѣ болѣзненно отозвалась эта свѣжесть, эта весна чужой жизни, что она во мнѣ пробудила чувства, которыя мнѣ не въ пору, не подъ стать... вѣдь у меня ужь сѣдые волосы! Посмотрите кругомъ—вотъ осень приходитъ: слышите, какая грусть пробивается въ природѣ, какъ ей не хочется увядать. А эта природа сдѣлала свое дѣло, принесла свой плодъ, и для нея еще весна придетъ. Моя осень хуже: я ничего не выростилъ лѣтомъ—да и весны уже другой не будетъ (Соковлинъ невольно вздохнулъ). Но я въ ней началъ привыкать, мириться съ ней, и вдругъ является возмущеніе, борьба, желаніе еще пожить... Вѣдь это несносно и жалко; вѣдь это умирающій, кото-

рый силится еще подышать... воздухъ хватаетъ руками... мухъ ловитъ, какъ говорятъ доктора...

— Перестаньте, перестаньте! съ жаромъ сказала Наташа. — Это не правда! это нейдетъ къ вамъ. Зачѣмъ говорить про смерть, когда въ васъ еще столько жизни, когда счастье такъ возможно для васъ?... Зачѣмъ бѣжать отъ него добровольно, когда вы болѣе другаго имѣете на него право... когда... (Голосъ Наташи сталъ становиться тише и перерывистѣе)... когда вы такъ стоите его... Зачѣмъ? едва слышно, съ застѣнчивымъ укоромъ прибавила она.

Вся кровь бросилась въ голову Соковлину.

— Какъ зачѣмъ, моя дорогая Наталья Дмитріевна? нерѣшительно и робко продолжалъ онъ. — Ну положимъ, что и на мою долю выпало еще счастье... Хоть мало надежды — но бываютъ разныя странности: можетъ быть, и «на мой закатъ печальный блеснетъ любовь улыбкою прощальной», застѣнчиво сказалъ Соковлинъ: — но какъ довѣриться ей теперь, когда она обманула меня и въ мою лучшую пору! Чѣмъ, наконецъ, я ей отвѣчу, когда во мнѣ самомъ все поломано и помято? Въ томъ то и бѣда, что память сохранила всѣ старые уроки, что разсудокъ сталъ говорить громче, смотритъ подозрительно и зорко на все, и безпрестанно подсказываетъ... Вѣдь я ужь не могу вѣрить, напримѣръ, въ какую нибудь неизмѣнность чувствъ, я ужь знаю, что они не въ нашей волѣ. Какъ же мнѣ не бояться, не противиться тому, что̀ я считаю хрупкимъ, во что̀ и хотѣлъ бы, и не смѣю вѣрить?

И наперекоръ своимъ словамъ Соковлинъ смотрѣлъ на Наташу какимъ-то заискивающимъ взглядомъ, съ біеніемъ сердца ждалъ, не переувѣритъ ли она его.

Наташа сидѣла, грустно опустивъ глаза; — въ ней незамѣтно было борьбы мыслей; она, казалось, была подавлена какимъ-то тяжелымъ воспоминаніемъ...

— Правда! вы имѣете право не вѣрить, сказала она послѣ нѣкотораго молчанія:—но зачѣмъ отчаяваться, зачѣмъ не допустить, что можетъ быть она теперь не та уже...

— Про кого вы говорите? быстро спросилъ Соковлинъ.

— Какъ про кого? про ту, которая...

— Замолчите, Бога ради! точно ужаленный, вскрикнулъ Соковлинъ: — не произносите теперь этого отвратительнаго имени. Не оскверняйте себя имъ. Я ненавижу, проклинаю его. Она отравила мнѣ всю жизнь; — и вы могли думать, что я ее люблю!..

— Какъ? сказала Наташа, и быстро взглянула ему прямо въ глаза открытыми, ясными глазами. Удивленіе, радость, ожиданіе—все невольно вырвалось въ этомъ словѣ и взглядѣ.

Вся страсть съ ея кипучимъ порывомъ неудержимо вспыхнула въ Соковлинѣ отъ этого взгляда, и онъ отдался ей. Съ наслажденіемъ, страстно смотрѣлъ онъ въ глаза Наташи, и взглядъ его говорилъ за него. Блѣдные, взволнованные, они прямо глядѣли другъ на друга, и дыханье захватывало у обоихъ, точно какая-то нить до-нельзя натягивалась, дрожала и готова была порваться между ними, и они оба съ трепетомъ этого ждали; точно какое-то извѣстное имъ слово, уже совсѣмъ готовое, шевелилось на устахъ одного и ловилось слухомъ другаго; ужь они какъ-то склонялись другъ къ другу, и румянецъ стыдливости началъ пробиваться на лицѣ Наташи: еще мгновеніе... но мгновенья страсти коротки у сорокалѣтняго разсудка. Соковлинъ вдругъ опомнился, потупивъ глаза, и весь потухъ и опустился... И не сказать того, какъ ему было и больно, и обидно, и стыдно.

Въ это время мелькнули ворота, и лошадь сама остановилась у подъѣзда.

— Гдѣ вы это... гдѣ запропастились! Ужь мы на крыльцо вышли васъ ждать! Я было и послать хотѣла—узнать, не случилось ли чего; а они ѣдутъ себѣ шажкомъ. А все, чай, этотъ Сергѣй... распустилъ лясы. А ты, моя простенькая, и заслушалась. Вишь, бѣдненькая, какъ озябла! Ахъ ты, златоустъ, златоустъ! посмотри-ка, какую ты мнѣ привезъ ее: вся блѣдная и дрожитъ! и руки-то точно ледъ. Пойдемъ въ каминную, голубка моя, я велю огонь развести. Да велите кушать давать скорѣе!.. распѣвала Татьяна Григорьевна.

— Я, мама, не буду... Я что-то устала и пойду на верхъ! сказала Наташа, цалуя мать.

— Ну поди, поди, голубчикъ мой!.. Да напилась бы малины на ночь... Право, ты никакъ простудилась: посмотри-ка, лица на тебѣ нѣтъ... Я сейчасъ скажу Аринушкѣ...

— Не надо! не надо! сказала Наташа и убѣжала.

— А ты куда это? съ удивленіемъ спросила Татьяна Григорьевна, увидавъ, что Соковлинъ велѣлъ подавать своихъ лошадей. — Какъ это? безъ ужина?

— Не хочется, Татьяна Григорьевна; да и домой пора.

— Что домой! Дѣти ждутъ, что ли, тебя тамъ? Вздоръ, вздоръ! оставайся.

— Нѣтъ, не могу, спать хочется! отрывисто сказалъ Соковлинъ, поклонился и вышелъ.

— Э-эхъ, вы, книжники изломанные!—проѣхалъ пять верстъ да и раскисъ! презрительно сказала вслѣдъ ему Татьяна Григорьевна.

Но Соковлинъ не слыхалъ уже ея. Онъ вышелъ на крыльцо. Тучи заволокли небо; унылая тишина стояла кругомъ; дождь, казалось, собирался идти. Лошади были поданы; тихо, какъ убитый, сѣлъ Соковлинъ въ экипажъ, и вскорѣ тарантасъ его замолкъ на мягкомъ проселкѣ и исчезъ въ темнотѣ.

VII.

Послѣ описанной сцены, Соковлинъ сталъ по

прежнему бывать у Любаниныхъ; но въ немъ не трудно было замѣтить большую перемѣну. Онъ сталъ холоднѣе, строже къ себѣ, точно онъ пережилъ какой-то нравственный кризисъ, отдалъ послѣднюю дань молодости и хотѣлъ загладить проступокъ невольнаго увлеченія. Въ отношеніяхъ къ Наташѣ, въ немъ не проявлялось болѣе добродушное, нѣжное и нѣсколько покровительственное чувство стараго друга къ молодому; онъ сталъ съ ней почтительнѣе, но избѣгалъ разговоровъ съ глазу-на-глазъ и часто старался оставлять ее съ Комлевымъ, точно съ умысломъ уступалъ ему мѣсто, боялся помѣшать. Неловкое положеніе первой встрѣчи его съ Наташей, послѣ прогулки, прошло скоро для обоихъ. Боясь, что Соковлинъ опять перестанетъ надолго бывать у нихъ, Наташа, пріятно удивленная его скорымъ пріѣздомъ, встрѣтила его нѣсколько смущенная. Но она тотчасъ замѣтила или, лучше сказать, почувствовала перемѣну, и эта перемѣна не сбила ее, не удивила. Съ тактомъ истинно женскимъ, она сразу стала въ новое положеніе, нисколько не уклоняясь отъ него, не падая передъ нимъ. Она точно выросла вдругъ, и только нѣкоторая блѣдность и слабая тѣнь, проступившая подъ глазами, говорили о какомъ-то затаенномъ и работавшемъ внутри чувствѣ. Къ Соковлину она относилась спокойнѣе, но сдержаннѣе, холоднѣе; съ Комлевымъ, напротивъ, стала добрѣе, снисходительнѣе, но взяла рѣшительный перевѣсъ надъ нимъ и, какъ будто наперекоръ Соковлину, совершенно не поддавалась тому увлеченію, для котораго онъ, точно съ умысломъ, оставлялъ ей просторъ. Комлевъ это замѣчалъ и былъ неровенъ: то хандрилъ, то сердился на Наташу, то мирился съ нею. Но подъ этими установившимися по наружности отношеніями таилось и бродило что-то невысказанное, точно была какая-то общая тайна, которую всѣ обходили молча, и которая тяготѣла надъ всѣми. Такъ знойнымъ лѣтомъ иногда незамѣтно соберутся тучи и все станетъ такъ спокойно, тихо, а между тѣмъ чувствуется въ воздухѣ накопившееся электричество, и всѣ, подозрительно поглядывая на небо, ждутъ: разразится ли оно грозой, или разсѣется молча. Какая-то натянутость и скрытность были разлиты кругомъ. Разговоры не клеились, шутки были невеселы. Сама Татьяна Григорьевна это замѣчала; чувствовала, что тутъ что-то не такъ, подозрѣвала и Соковлина, и Комлева, хотя не знала положительно, откуда это происходитъ. Не разъ она, оставшись наединѣ съ Наташей, нѣжно обнявъ ея голову, заискивающимъ взглядомъ заглядывала ей въ глаза и спрашивала: «что съ тобой, Талинька? Ты какъ будто не-по-себѣ что-то, а»?—и улыбалась, и лебезила передъ ней; но Талинька или говорила успокоительно: «ничего мама»! или, тронутая ея заботой, отвѣчала ей молчаливымъ нѣжнымъ поцалуемъ; и бѣдная Татьяна Григорьевна продолжала подозрительно поглядывать на всѣхъ, какъ поглядываетъ какой нибудь гость, когда видитъ, что всѣ собѣсѣдники надъ чѣмъ-то молча посмѣиваются или говорятъ между собою полусловами и намеками, а онъ рѣшительно не можетъ догадаться, въ чемъ дѣло; онъ притворяется, что догадывается, и боится, не на его ли счетъ смѣются, и самъ глуповато улыбается. Нѣчто то же въ этомъ родѣ должна чувствовать курица, которой подложили утиныя яица, и она, высидѣвъ ихъ, вдругъ съ удивленіемъ замѣчаетъ, что съ ея дѣтьми творится что-то странное: вотъ они полѣзли въ воду, вотъ начинаютъ плавать, и бѣгаетъ она бѣдная хлопотливо по берегу, поглядываетъ кругомъ безпокойными глазами, рѣшительно не зная, чему приписать эту странность, и послѣ сотни безполезныхъ догадокъ, начинаетъ наконецъ подозрѣвать, не измѣнила ли ужь она сама какъ нибудь нечаянно своему пѣтуху.

«Охвостнева развѣ спросить»! думала Татьяна Григорьевна: «да развѣ добьешься отъ него правды! Навретъ что нибудь, да послѣ еще поѣдетъ по всѣмъ сосѣдямъ славить. Француженку Магдалину, та тоже сложитъ невинно губки, точно голубица невинная, и скажетъ: «Madame Lioubanine! я, право, не понимаю, что вамъ угодно знать; я ничего не замѣчаю». И въ такихъ-то заботахъ, разъ въ концѣ обѣда, когда общая натянутость доходила до скуки и только Охвостневъ что-то перешептывался и хихикалъ съ M-lle Кадо, Татьяна Григорьевна вздумала сдѣлать нападеніе на Соковлина.

— Что это ты, Сергѣй, какой вялый сталъ! хоть бы женился ты, что ли!.. и вдругъ одушевясь сама своимъ предложеніемъ, съ живостью прибавила: — право, что твоя за жизнь! Хочешь, я тебѣ невѣсту найду?

— Чтожь, найдите! усмѣхнувшись, отвѣчалъ Соковлинъ.—Кого же, напримѣръ?

— Есть, право, есть у меня на примѣтѣ! Дѣвушка славная...

— Молода? спросилъ Соковлинъ.

— Д-да! ну, впрочемъ не очень, а тебѣ пара будетъ; вѣдь чтожь тебѣ ужь молоденькую-то очень, Сергѣй!

— Правда, совершенная правда, Татьяна Григорьевна.—А хороша?

— Нельзя сказать, чтобы очень; да что красота-то, Сергѣй! тлѣнъ, право, тлѣнъ! Вѣдь съ иной красотой-то еще нахлопочешься! Душа бы была...

— Истина великая, Татьяна Григорьевна! Ну, а какая же у нея душа?

— Ну, какая душа! Какъ тебѣ разскажешь! — Чужая душа—потемки; а дѣвушка солидная, благоразумная, добрая.

— Вы о добротѣ-то ея горничную спрашивали?

— Что ты это, Сергѣй! Буду я горничныхъ распрашивать!

— А жалко! Ну-съ, а какъ она возьмется полюбить меня: скоро, пламенно, тихо, надолго? и въ какой срокъ внушить къ себѣ такія же чувства?

— Вотъ онъ что! Ну да объ этомъ ужь самъ радѣй. Да и что за любовь такая пламенная! Ужь будетъ, чай, съ тебя пламенной-то любви! Былъ бы миръ да согласіе.

— И въ этомъ я вполнѣ съ вами согласенъ: дѣйствительно, любовь — это ужь роскошь брака. Есть много условій, гораздо болѣе необходимыхъ: согласіе характеровъ, взаимное уваженіе, одинаковое воспитаніе... только всего этого еще у насъ, къ сожалѣнію, съ вашей невѣстой нѣтъ... Что же въ ней есть такого, Татьяна Григорьевна?—умна? отлично воспитана? Что еще?

— Экъ пристала! Говорятъ тебѣ, дѣвушка солидная, хозяйка, съ состояньицемъ...

— Это прекрасно, серьезно сказалъ Соковлинъ:— только у меня живетъ, Татьяна Григорьевна, можетъ, вы знаете, дядюшкина ключница Марья Савишна—дѣвушка солидная (ей шестьдесятъ лѣтъ), хозяйка, и деньжонки есть: такъ ужь я лучше на ней! по крайней мѣрѣ знаемъ ужь другъ друга.

— Вотъ, ему дѣло говори, а онъ какъ бы на смѣхъ поднять! Отъ этого, что ли, выучился? (Она кивнула на Охвостнева).—Ну другая есть, право, есть! быстро заговорила Татьяна Григорьевна, точно вспомнивъ вдругъ про кого-то: — вотъ ужь эта въ самомъ дѣлѣ всѣмъ взяла! Какъ это мнѣ прежде не пришло въ голову!—Тимерязева!.. кивнувъ головой, сказала она, обращаясь съ сіяющей улыбкой къ Наташѣ и гувернанткѣ. — Вдова она, но молоденькая, хорошенькая, живая, умная.

— Ну вотъ это отлично! На этой готовъ хоть сейчасъ, отвѣчалъ Соковлинъ: — только вотъ что приходитъ мнѣ въ голову, Татьяна Григорьевна: ну какъ она черезъ годъ, другой, послѣ нашей женитьбы скажетъ мнѣ: «ты не молодъ, не хорошъ, вышла я за тебя не по любви, а женила насъ Татьяна Григорьевна. Я встрѣтила человѣка лучше тебя во всѣхъ отношеніяхъ и люблю его»... Что тогда?

— Ахъ, батюшка! Да что она за безстыжая такая, что скажетъ это своему мужу!

— А еще хуже, коли не скажетъ, а просто полюбитъ.

— А у тебя глаза-то на что? Остерегай, не допускай ее, присматривай; на то ты мужъ,—содержи ее въ страхѣ.

Соковлинъ улыбнулся.

— Ну ужь нѣтъ, Татьяна Григорьевна, лучше жить безъ любви, чѣмъ быть любимому изъ подъ страха.

— Э, батюшка! Умны вы нонѣ больно стали! съ досадой сказала Татьяна Григорьевна: — тебя послушать, такъ и жениться нельзя! Прекращайся и родъ человѣческій, сгоряча прибавила она.

— Ну ужь и прекращайся! замѣтилъ ей тихонько Охвостневъ, подъ шумъ отодвигаемыхъ стульевъ:—зачѣмъ же?

Татьяна Григорьевна только замахала рукой на Охвостнева, чтобы онъ и не подходилъ къ ней. Охвостневъ утѣшился и началъ сообщать что-то M-lle Кадо, отъ чего та, закусивъ губы, старалась сдѣлать скромнѣйшее лицо и обратилась къ Соковлину. Она стала защищать женщинъ, опровергать слова Соковлина съ жаромъ и многословіемъ истой француженки; наговорила кучу общихъ мѣстъ и заключила замѣчаніемъ, что мужчины вообще, а Соковлинъ въ особенности, совсѣмъ не понимаютъ женщинъ и судятъ о нихъ вкривь и вкось.

— Я не знаю, почему, хладнокровно отвѣчалъ ей Соковлинъ, закуривая сигару:—составилось мнѣніе, что женщины какія-то особыя загадочныя существа, іероглифы, которыхъ никто еще совершенно не понялъ. Женщинамъ это мнѣніе нравится, и онѣ его поддерживаютъ. А по моему дѣло гораздо проще и разница между ими и мущинами не велика: однѣ только слушаются побольше чувства, другіе—побольше разсудка.

— Такъ вы не допускаете полнаго равенства возразила M-lle Кадо.

— Ну, это другой вопросъ! Я только хотѣлъ сказать, что мы въ затрудненіяхъ справляемся съ разными словарями: мужчины—съ головой, а женщины—съ сердцемъ.

— А я вамъ скажу, что вы же не понимаете насъ, какъ и другіе, и что вы не менѣе другихъ варваръ... разгорячась рѣшила M-lle Кадо.

— Ого! какъ стрѣляютъ французскія батареи! замѣтилъ Охвостневъ. — А вы куда же, барышня? обратился онъ къ Наташѣ, которая уходила. — А ваше мнѣніе какое?

— Что же я могу сказать! отвѣчала она:—наше дѣло чувствовать, какъ говоритъ М-г Соковлинъ, и я съ нимъ согласна; а ужь вы разсуждайте!

И она пошла къ фортепіано. Соковлинъ не вышелъ за ней, но пересталъ спорить съ M-lle Кадо и предоставилъ ее Охвостневу: ему не для кого было больше говорить.

И такъ шло время въ Любановкѣ: тихо, вяло,— подавляемое чѣмъ-то сдержаннымъ, невысказаннымъ, не удавшимся. А между тѣмъ осень шла своимъ чередомъ. Синія тучи надвигались чаще и темнѣе, дни становились короче, природа блекла, замирала, и желтый листъ падалъ и падалъ.

—

Разъ, довольно холоднымъ утромъ, Соковлинъ отправился за чѣмъ-то въ свой уѣздный городокъ, который лежалъ верстахъ въ двадцати отъ его деревни. Окончивъ тамъ дѣла, онъ шелъ на квартиру, гдѣ его ждали лошади, чтобы воротиться домой. Гостинницъ въ этомъ благословенномъ городѣ, не имѣлось, проѣзжіе останавливались на станціи, окружные помѣщики у знакомыхъ. Соковлинъ въѣзжалъ къ своему вольноотпущенному, который жилъ своимъ домкомъ и занимался портняжествомъ. Онъ шелъ по немощеной, почти пустой улицѣ. Грѣхъ было пожаловаться, чтобы движеніе, шумъ, промышленность смущали мирный покой городка: изрѣдва попадется на встрѣчу прохожій, да мальчишки у воротъ, да гуси, степенно и важно переходящіе черезъ улицу. Сѣренькая жизнь

копошилась въ домахъ и избушкахъ, и въ ихъ низенькія окна можно было легко наблюдать ее. Отъ нечего-дѣлать Соковлинъ, пробираясь по утоптанной возлѣ самыхъ домовъ тропѣ, поглядывалъ въ эти окна; но нельзя сказать, чтобы и домашнія картины были разнообразны. Тѣ же деревянныя стѣны, остроугольная мебель, ерань на окнахъ, и иногда свѣженькое или потертое любопытное лицо, отвертывающееся отъ работы, чтобы взглянуть на прохожаго—въ домахъ чиновниковъ. Та же перегородка, печь, деревянный столъ, горшки и посуда въ нагнувшихся мѣщанскихъ избушкахъ. Соковлину оставалось обогнуть новенькій деревянный домъ съ пестрыми столбами у подъѣзда, выходящаго на улицу, и зеленою доскою, на которой было написано: «Харьковская почтовая станція», когда вдругъ изъ открытаго окна этого дома высунулась женская голова, чтобы взглянуть вдоль улицы, а прямо взглянула ему въ лицо. Соковлинъ посмотрѣлъ на нее и сталъ какъ вкопанный.

— Mlle Кадо! невольно воскликнулъ онъ.

Она отшатнулась, какъ бы желая спрятаться, но потомъ выглянула, отрывисто сказавъ: «войдите,» и снова скрылась.

Соковлинъ повернулъ на крыльцо, ломая себѣ голову, какими судьбами гувернантка очутилась на станціи. Онъ подумалъ, не собралась ли уже куда нечаянно Любанина, и при этой мысли кровь безпокойно зашевелилась у него въ сердцѣ. Взойдя въ комнату, онъ поспѣшно окинулъ ее глазами, но ничто не показывало присутствія большаго семейства. На диванѣ и стульяхъ, обтянутыхъ кожей, не было ничего кромѣ пыли. У дверей, на полу стоялъ чемоданъ и на немъ двѣ картонки, на столѣ былъ брошенъ дорожный мѣшокъ и шаль. Соковлинъ нѣсколько успокоился.

Гувернантка сидѣла у окна. На ней было черное шелковое, потертое платье съ чистенькими воротничками, на головѣ маленькій дорожный чепецъ, изъ-подъ котораго выбивались черные волнистые волосы. Лицо ея было блѣдно, помято и сконфужено.

— M-lle Кадо! Какими это судьбами вы здѣсь? спросилъ ее Соковлинъ.

— Судьбами гувернантокъ! отвѣчала она съ сдержаннымъ волненіемъ:—я уѣзжаю отъ M-me Любаниной.

— Но что за причина? невольно спросилъ Соковлинъ, садясь противъ нея: — давно ли я васъ видѣлъ, а объ отъѣздѣ не было и рѣчи!

Гувернантка замялась.

— Простите меня тысячу разъ! поспѣшно прибавилъ Соковлинъ:—я, можетъ быть, сдѣлалъ нескромный вопросъ, и беру его назадъ; я только хотѣлъ спросить, не случилось ли съ вами чего нибудь, не ѣдете ли вы на родину, не получили ли вы другаго приглашенія?

— Ничего особеннаго не случилось, и какая можетъ быть нескромность съ нами (avec nous autres), бѣдными гувернантками! Насъ приглашаютъ, когда захотятъ, и выгоняютъ по первому желанію — напризу: вѣдь мы наемницы!

Гувернантка пожала плечами и хотѣла принять угнетенный видъ, но черныя глаза уже начинали блестѣть, грудь приподымалась и тонкія ноздри начинали шевелиться. Соковлинъ молчалъ. M-lle Кадо тоже было замолчала, но не выдержала.

— Да, продолжала она, давъ волю себѣ:—намъ не позволяютъ имѣть чувствъ, желаній, отъ насъ хотятъ, чтобы мы были манекенами бездушными и угодливыми истуканами, чтобы мы не имѣли о себѣ ни одной мысли, ни одной мечты, чтобы мы продавались всѣ, со всѣми помыслами и надеждами... и если мы минуту подумаемъ о себѣ, если мы чуть поддадимся влеченію сердца—есть же у насъ сердце, наконецъ,—намъ дѣлаютъ сцены, кричатъ о безнравственности и наконецъ выбрасываютъ на мостовую, какъ ненужную посуду.

Слова у нея сыпались какъ горохъ; слезы, точно сухія, падали изъ сверкающихъ глазъ, нисколько не затемняя ихъ, не придавая лицу никакой плаксивости; грудь высоко вздымалась, ноздри прядали и южная блѣдность лица потемнѣла и позеленѣла. Она едва перевела духъ и понеслась дальше, какъ вырвавшійся на волю конь.

— Положимъ бы, я и увлеклась; ну, да, увлеклась... у меня въ жилахъ кровь, а не водица, какъ у нихъ. Ну, что жь! кому какое дѣло? Чѣмъ были нарушены приличія, чѣмъ я оскорбила кого? И потомъ—все это вздоръ, лакейскія сплетни. Я имѣю право... я должна думать о себѣ; у меня есть свои планы и цѣль. Мои виды и намѣренія чисты... я это докажу!... Надо было разспросить, разобрать, а не слушать подлыхъ наушницъ и не оскорблять отказомъ бѣдную и честную дѣвушку!

Она закрыла платкомъ сухіе глаза и смолкла. Соковлинъ чувствовалъ себя въ весьма глупомъ положеніи: оправдывать Любанину онъ не имѣлъ особеннаго желанія и не зналъ, чѣмъ; гувернантку тоже; да и вообще словесныя утѣшенія считалъ вещью пустой и ненужной.

— Послушайте, сказалъ онъ, давъ ей нѣкоторое время помолчать:—я не могу ни оправдывать Любанину, ни обвинять ее, потому что не знаю, что было между вами,—да и не мое это дѣло; но вопросъ теперь въ томъ, что вы намѣрены дѣлать? Я васъ спрашиваю не изъ пустаго любопытства: скажите, не могу ли я вамъ быть чѣмъ нибудь полезенъ; пожалуйста, располагайте мною какъ старымъ знакомымъ и не церемоньтесь.

— О, благодарю васъ! грустно сказала M-lle Кадо, отнимая платокъ и протягивая Соковлину руку:—благодарю васъ! Но мнѣ ничего не нужно, я уѣзжаю...

— Какимъ же образомъ? Вы однѣ, у васъ нѣтъ даже экипажа; вы знаете, здѣсь не ходятъ почтовыя кареты!

— У меня будетъ и экипажъ, и спутникъ, отвѣчала Mlle Кадо, потупила глаза, улыбнулась и немного покраснѣла.

Они опять помолчали.

— Въ такомъ случаѣ, сказалъ Соковлинъ, вставая:— позвольте пожелать вамъ счастливаго пути.

Гувернантка посмотрѣла на него веселыми, играющими глазами, разсмѣялась, быстро встала и схватила его за руку.

— А! ба! все это вздоръ! Садитесь, я вамъ все разскажу; вы добрый малый; и потомъ, все равно — вы узнаете же, — да впрочемъ все это пустяки... Слушайте: я ѣду съ Охвостневымъ!

Они опять усѣлись. Соковлинъ молча улыбнулся.

— Ну, да! продолжала скороговоркой M-lle Кадо: — онъ мнѣ строитъ куры, онъ на мнѣ женится,—я увѣрена! И еслибъ эта глупая старуха, которая слушаетъ всякія сплетни, не подняла исторіи, все бы кончилось очень хорошо! Ну, да это ничего! глупости! Охвостневу пока нельзя взять меня къ себѣ — у него тамъ, знаете... словомъ, надо дать время этому устроиться, и мы ѣдемъ съ нимъ въ Москву; поживемъ тамъ маленькимъ хозяйствомъ и потомъ... потомъ я ворочусь къ вамъ помѣщицей. Да и повеселимся въ столицѣ немного! Надо стряхнуть провинціальную пыль, а то совсѣмъ заплеснѣвѣешь; и потомъ, надо, чтобы молодость пожила! Это такъ скучно быть вѣчно добродѣтельной!

Соковлинъ, молча ухмыляясь, смотрѣлъ на экс-гувернантку. Она совсѣмъ преобразилась. Куда дѣвался скромный видъ и жеманно сложенныя губы! Глаза блестѣли и играли жизнью, маленькій румянецъ выступилъ на матовой южной блѣдности щекъ, пунцовыя полуоткрытыя губы выставляли рядъ бѣлыхъ мелкихъ зубовъ; шаль спустилась съ плеча, и вся она, за минуту злая и разозленная, дышала веселостью, жизнью, наслажденіемъ, и живо напомнила Соковлину тѣхъ, очертя голову живущихъ и веселящихся до поры парижанокъ, которыхъ во дни молодости онъ видалъ въ Шомьерѣ, Мабиль и другихъ маленькихъ баликахъ.

— Чему вы смѣетесь? спросила она.

— Я удивляюсь перемѣнѣ и любуюсь вами, отвѣчалъ Соковлинъ. — Я васъ такъ лучше люблю, чѣмъ въ спорахъ о правахъ женщины.

— Ну да,—это натуральнѣе! Наши права—любить, и я ими пользуюсь! Я жду этого вѣтренника Пьера; онъ долженъ скоро пріѣхать и я хотѣла посмотрѣть, не ѣдетъ ли онъ, когда чуть не стукнулась съ вами головою. Который часъ?

— Половина третьяго, отвѣчалъ Соковлинъ, посмотрѣвъ на часы.

M-lle Кадо снова высунулась въ окошко.

— Нѣтъ еще! сказала она.—Впрочемъ, онъ къ тремъ обѣщалъ непремѣнно быть. Онъ заѣзжалъ сегодня тихонько ко мнѣ и мы сговорились. Ну, да оставимъ это. А вы что намѣрены дѣлать?

— Я? сказалъ Соковлинъ, пожавъ плечами: — ничего особеннаго! То, что дѣлаю и теперь.

— То есть молча вздыхать, плохо скрывать свою любовь, страдать Богъ-вѣсть-зачѣмъ самому и заставлять страдать эту бѣдную Наташу: я васъ рѣшительно не понимаю!

Соковлинъ покраснѣлъ.

— И я васъ тоже! отвѣчалъ онъ. — Про какія страданія вы говорите? Моихъ вы не могли видѣть, другихъ еще менѣе.

— Перестаньте, перестаньте! Къ чему эта маска, особенно теперь? Я съ вами была же откровенна. Вѣдь мы старые друзья! Ну, признайтесь: вѣдь вы любите Наташу? вѣдь не о Лоховой же вы вздыхаете, это было бы слишкомъ! Отчего жъ вы не женитесь на ней?

— Во первыхъ, я слишкомъ старъ для нея; во вторыхъ, надобно знать, пойдетъ-ли еще она!...

— Пустяки! Развѣ вы не видите, что она васъ любитъ.

— Далеко нѣтъ! и не вѣрю.

— Вздоръ! Вы видите и вѣрите очень хорошо; наконецъ вѣрьте мнѣ — я вамъ это говорю.

— Вы можете ошибаться, тихо и сквозь зубы проговорилъ Соковлинъ. — Развѣ она... говорила вамъ что? и онъ робко изподлобья посмотрѣлъ на M-lle Кадо.

— Нѣтъ, я вамъ не буду лгать, она не говорила ни слова; у этой маленькой много характера; но это все равно; повѣрьте, отъ женщины этого не скроешь: измѣненіе нрава, привычекъ, полуслова, и охо скрываемая грусть, — о, это сейчасъ видно, да и не даромъ же я была гувернанткой! Она васъ любитъ и любитъ серьезнѣе, нежели я ожидала отъ русской женщины: я считала ихъ флегматичнѣе; у нихъ нѣтъ порыва, увлеченья, онѣ на это не способны, онѣ вялы и ихъ надо постоянно тормошить; но у Натали есть какая-то сосредоточенность, замкнутая, упрямая сила. О, да она васъ любитъ,—и вы этому отчасти обязаны мнѣ!

— Какимъ это образомъ?

— О, противъ воли! Я этого не хотѣла; я была добросовѣстной гувернанткой; но ее интересовали разсказы о вашихъ прежнихъ похожденіяхъ, она много распрашивала—я разсказывала ей, что могла, и вы сдѣлались въ ея глазахъ героемъ романа; ну, и потомъ—потомъ надо отдать и вамъ справедливость, вы сами шли по расчищенной дорогѣ. Кстати, что между вами было на той, помните, прогулкѣ? Вы объяснялись съ ней?

Соковлинъ отрицательно покачалъ головой.

— Ну, да. Вотъ вы точно такъ же начинаете отвѣчать, какъ и она!—русская скрытность! фи!— А между тѣмъ что нибудь да было. Она съ тѣхъ поръ вся перемѣнилась. Въ тотъ разъ, когда я вечеромъ вошла къ ней, сидитъ она блѣдная, неподвижно; огня нѣтъ, только лампадка передъ образомъ. — «Натали! что съ вами?» спрашиваю я. — «Ничего,» отвѣчаетъ она глухо, а сама не шевельнется.—«Вы его любите, моя бѣдная!» говорю я тихо, «и боитесь, что онъ еще помнитъ Лохову?» Она молча только покачала головою. — «Повѣрьте,» говорю я, чтобы ее утѣшить: «онъ любитъ васъ, онъ искренно васъ любитъ!» Она

посмотрѣла на меня какъ-то странно и проговорила чуть слышно: «тѣмъ хуже!» Я вижу, что ей не до меня, оставила ее успокоиться. На другой день подходитъ она ко мнѣ дѣйствительно покойнѣе, только все еще блѣдная, и тѣмъ мягкимъ и добрымъ, но настойчивымъ голосомъ, который вы знаете у нея, сказала мнѣ торопливо: «Mlle Кадо! не говорите мнѣ, пожалуйста, ничего... про вчерашнее... прошу васъ!» и крѣпко пожала мнѣ руку и посмотрѣла такъ убѣдительно. Я ей обѣщала и сдержала свое слово. Поэтому я не знаю, что было между вами, но тѣмъ не менѣе убѣждена, что она васъ любитъ!

— Тѣмъ хуже! тѣмъ хуже, если это такъ! сказалъ Соковлинъ и сжалъ себѣ рукою лобъ, словно желая согнать съ него какія-то горькія мысли.

— Да, правда, тѣмъ хуже для васъ, если вы оба говорите загадками и не хотите быть откровенными! вспыхнувъ, сказала M-lle Кадо: — тѣмъ хуже!...

Но въ это время зазвенѣли бубенчики, и остановился дорожный тарантасъ.

— А, вотъ и онъ! сказала M-lle Кадо, весело улыбаясь.

Въ самомъ дѣлѣ изъ тарантаса вылѣзалъ Охвостневъ въ военной фуражкѣ и шинели, въ то же время, какъ съ козелъ слѣзалъ слуга въ нанковомъ сюртукѣ, перепоясанный ремнемъ.

— Ба! Сергѣй Иванычъ! сказалъ Охвостневъ, входя и здороваясь:—и вы здѣсь! Ужь не отъ Любаниной ли узнали о нашемъ изчезновеніи?

— Нѣтъ, я ея не видалъ, а пріѣхалъ сюда случайно, отвѣчалъ Соковлинъ.

— Ну, очень радъ! А жаль, что не видали вы Любаниной: то-то, чай, достается намъ; я бы дорого далъ, чтобы послушать ее да подразнить; нарочно спросилъ ее сегодня утромъ, да не пустила: со власти, говорятъ, изъ деревни уѣзжаетъ.— Ну съ, такъ мы улетаемъ, говорилъ онъ, подойдя къ M-lle Кадо и безцеремонно взявъ ее за руку.—Однако, M-lle или M-me, собирайтесь; мы на своихъ же лошадяхъ сдѣлаемъ эту станцію. Эй, Гришка! выноси вещи.

— Бери это! ломанымъ языкомъ говорила Mlle Кадо, указывая на чемоданъ: — а это я сама.

И она взяла картонки.

— Охъ, ужь эти мнѣ картонки да шляпки! замѣтилъ Охвостневъ: — некуда будетъ ногъ протянуть.

— Ну! Ну! сказала M-lle Кадо, кивнувъ ему головою.

— Скажите, M-lle Кадо: люби кататься, люби санки возить! смѣясь, училъ ее Соковлинъ.

— Что это значитъ? спросила она.

— А это значитъ, что если вы будете долго сбираться, такъ тутъ могутъ явиться еще другія санки, отъ которыхъ я насилу убрался. Скорѣе! скорѣе!

M-lle Кадо не совсѣмъ поняла, въ чемъ дѣло; поглядѣла вопросительно и пошла укладывать картонки.

— Ну, что же вы намѣрены дѣлать? спросилъ Соковлинъ Охвостнева, который свертывалъ между тѣмъ папироску.

— Да что дѣлать? вотъ пока новыя санки въ Москву отвезти.

— А старыя?

— И не говорите! у этихъ бабъ есть какое-то чутье другъ на друга, какъ у хорошей лягавой собаки! Чортъ ее знаетъ, пронюхала ли какъ, догадалась ли,—такую передрягу поднала, что святыхъ вонъ неси... насилу ускакалъ.

— А что жь вы намѣрены сдѣлать съ этой? жениться, что ли?

— Ну, до этого, чай, не дойдетъ. Авось поссоримся.

— Надолго ли ѣдете по крайней мѣрѣ? Распорядились ли по имѣнію? Не нужно ли вамъ чего?

— Нѣтъ, благодарю васъ. Сказалъ старостѣ, чтобы тамъ дѣйствовалъ. А надолго ли—кто знаетъ! Что тутъ загадывать! чѣмъ нибудь да все кончится...

Соковлинъ невольно усмѣхнулся этой философіи.

— Ну, вотъ я готова! сказала M-lle Кадо, возвращаясь.

— И отлично!—До свиданья, Сергѣй Иванычъ!

— До свиданья! до свиданья, любезный M-r Соковлинъ! говорила француженка, крѣпко потрясая ему руку:—надѣюсь, мы увидимся скоро, увидимся весело! Кланяйтесь доброй, милой Натали, да все равно поклонитесь ужь и старухѣ; она тоже добрая — право! глупа только немного; скажите ей, что я на нее не сержусь!

Она сказала это съ совершенной увѣренностью въ своемъ великодушіи, простилась, вышла и усѣлась съ Охвостневымъ въ тарантасъ. Соковлинъ стоялъ на крыльцѣ и, улыбаясь, смотрѣлъ на ихъ сборы. Кучеръ что-то такое поправлялъ у лошадей.

— Что вы улыбаетесь? спросила M-lle Кадо.

— Да весело смотрѣть на васъ. Вы улетаете, какъ два счастливыхъ голубя.

— Ну, да! живо сказала она.—А вы, мой старый, вѣрьте мнѣ: не церемоньтесь такъ много съ жизнью, не разсуждайте въ то время, когда счастье проходитъ возлѣ васъ: ловите его! Смотрите оно не проходитъ два раза...

— Это называется по-русски: «лови, лови часы любви!» Вотъ мы такъ поймали ихъ за хвостъ! докончилъ Охвостневъ, ударивъ M-lle Кадо по плечу.—Ну, пошелъ! съ градомъ...

Кучеръ поставилъ ногу на козлы, свиснулъ, и тройка понеслась уже изъ лука стрѣлой, когда онъ еще усаживался и разбирался съ возжами.

Соковлинъ посмотрѣлъ имъ вслѣдъ, видѣлъ, какъ они на всемъ скаку повернули за уголъ, и задумчиво пошелъ домой. Тамъ онъ велѣлъ закладывать лошадей, закусилъ слегка и черезъ

полчаса, садясь въ тарантасикъ, сказалъ кучеру: «въ Любановку.»

—

Осенній день былъ ясенъ и холоноватъ. Солнце свѣтило еще ярко, но уже не грѣло; подъ его лучами разоблаченная природа стояла безтрепетно и сурово; въ ней не видно уже было ни борьбы жизни съ увяданіемъ, ни грусти: точно сознавала она неумолимо тяготѣющій надъ нею законъ и, уронивъ надежды съ послѣдними засохшими листьями, безстрастно и спокойно смотрѣла въ лицо приближающейся зимы.

Бойко ѣхалъ Соковлинъ по широкому и торному проселку; посреди этой обстановки и его внутреннее настроеніе невольно или случайно согласовалось съ ней. Холодная и спокойная ясность природы какъ будто отразилась на немъ. Всѣ происшествія дня, всѣ прежнія отношенія его къ Наташѣ проходили передъ нимъ упрощеннѣе, опредѣленнѣе; все слышанное и перечувствованное въ послѣднее время, отъ большаго до мелкаго, легко припоминалось ему; и все какъ-то хорошо укладывалось въ цѣлое, давало ему ясный и несбивчивый отвѣтъ: и фантазіи француженки, которая строила разомъ три воздушныхъ замка, и совершенное отсутствіе всякой фантазіи Охвостнева, который ѣхалъ, не спрашивая себя, зачѣмъ и куда, потому только, что привелось ѣхать, указывали ему на одну правильную дорогу. Онъ невольно спрашивалъ себя, не слишкомъ ли далеко заглядывалъ онъ въ будущее, не слишкомъ ли пытливо старался разобрать и разложить все настоящее, не убивалъ ли онъ этимъ анализомъ и рефлекторствомъ тѣхъ единственно драгоцѣнныхъ крупинокъ счастія, которыя жизнь холодно роняетъ на своемъ спокойномъ и безпристрастномъ ходу?

Въ этомъ настроеніи ѣхалъ Соковлинъ къ Любанинымъ, не задавая себѣ никакихъ отдаленныхъ плановъ, не зная самъ, что выйдетъ изъ его поѣздки. Ни одна мечта, ни одна улыбающаяся надежда не касались его своимъ весело-трепещущимъ и раздражающимъ крыломъ; но чувствовалъ онъ въ себѣ какую-то свѣжую силу и крѣпость. Онъ зналъ, что долженъ сдѣлать, и сдѣлаетъ рѣшительный шагъ: куда онъ приведетъ его — объ этомъ онъ не думалъ.

Въѣзжая на дворъ барскаго дома, Соковлинъ замѣтилъ какое-то поползновеніе къ сборамъ.

Дорожная коляска и повозка были выдвинуты передъ каретникомъ, и самый каретникъ былъ растворенъ, однакожъ этимъ все и ограничилось— и ни одной души не было ни около сарая, ни возлѣ экипажей, если не считать козла, который, склонивъ нѣсколько набокъ голову, разсматривалъ ихъ, точно обдумывая, не нужно ли что починить. Въ прихожей, по обыкновенію, никого не было. Соковлинъ сбросилъ пальто и пошелъ далѣе.

Въ гостиной онъ нашелъ Татьяну Григорьевну. Она сидѣла одна на диванѣ; на столѣ передъ ней лежалъ бѣлый, пожелтѣвшій отъ примочки, платокъ, свернутый повязкой, стояла банка и тарелка съ какою-то мутною и красноватою жидкостью, въ воздухѣ слышался тонкій запахъ уксуса. Татьяна Григорьевна въ потертомъ шелковомъ капотѣ, раскраснѣвшаяся, держала въ рукѣ блюдечко; жиденькіе съ просѣдью волосы были въ нѣкоторомъ безпорядкѣ; хвостъ косички, приколотый гребенкой, торчалъ на бокъ; но чепецъ висѣлъ на всякій случай на стулѣ.

— Что съ вами, Татьяна Григорьевна? Здоровы ли вы? съ участіемъ спросилъ Соковлинъ, здороваясь съ нею; однакожъ тотчасъ успокоился, увидѣвъ, что Татьяна Григорьевна, возставъ отъ послѣобѣденнаго сна, освѣжалась вареньемъ.

— А! здравствуй, Сергѣй! здравствуй голубчикъ сказала она слабымъ голосомъ: — какое здоровье среди этакихъ огорченій!.. Ты знаешь, коль я чуть чѣмъ разстроена, у меня сейчасъ болѣзнь моя дѣлается.

— Какая болѣзнь? спросилъ Соковлинъ.

— Да мельканье! Опять мельканье было!

Татьяна Григорьевна, кротко вздохнула.

Соковлина такая неслыханная болѣзнь нѣсколько озадачила.

— Извините меня, Татьяна Григорьевна, сказалъ онъ: — я не совсѣмъ понимаю... что это такое?...

— Да просто мельканье и больше ничего! Такъ въ глазахъ и пойдутъ все мелькать кружочки да кружочки, кружочки да кружочки! Ужь вотъ уксусъ къ головѣ прикладывала.

Соковлинъ, не желая продолжать разговора о гувернанткѣ, молчалъ. Но Татьяна Григорьевна не могла долго молчать о подобномъ происшествіи.

— А слышалъ ли ты? слышалъ, что наша-то ненаглядная... Магдалина-то прекрасная надѣлала?... сказала она томнымъ голосомъ.

— Что такое? спросилъ Соковлинъ.

— Такъ ты ничего не знаешь? живо спросила Татьяна Григорьевна, и глаза ея, забывъ о мельканьи, заблистали. Она видимо была обрадована, что можетъ не только пожалобиться, но первая сообщить такое неслыханное событіе.

— Слышалъ что-то, но, право, не знаю хорошенько, въ чемъ дѣло, отвѣчалъ Соковлинъ.

— Хм!... въ чемъ дѣло? да въ томъ дѣло, что наша-то красавица нашла парочку себѣ! И кого нашла-то? болтуна этого длинноносаго! Что она и людей то лучше не видала что-ли?

— Да полно правда ли это, Татьяна Григорьевна, замѣтилъ Соковлинъ: — можетъ, тутъ было какое нибудь недоразумѣніе.

— Хорошо недоразумѣніе! Аринушка на недоразумѣнье-то своими глазами натянулась въ бесѣдкѣ! Тьфу, прости Господи!—Татьяна Григорьевна отплюнулась.—Да и что онъ въ ней нашелъ-то! ни кожи, ни рожи. И добро бы отъ нужды! а то ведь есть у проклятаго — да и не въ примѣръ лучше: кругленькая такая, темноглазая. Такъ

нѣтъ! такъ вотъ, изъ озорничества одного! и не постыдился безсовѣстный въ моемъ домѣ! Я ли не ласкала его: что однихъ наливокъ перепилъ, Сергѣй! ты не повѣришь, вѣдь шесть ведеръ настаиваю, еле хватаетъ! А все онъ! Ну, да мужчина, что козелъ не разбираетъ. А она-то, она-то! какъ дочь родную держала ее: то платье, то платокъ какой подарю! недавно еще сатентюрку, по полтора рубли аршинъ, купила ей; на своей груди, можно сказать, змѣю отогрѣвала,—а чѣмъ она за мои-то благодѣянія отплатила! Теперь по всему уѣзду слава пойдетъ! Вѣдь у меня дочь невѣста, Сергѣй! подумай ты только это, голубчикъ. Конечно, она ничего не знаетъ: сказала ей просто, что Магдалина нагрубила мнѣ, она и повѣрила. А Талинька, можетъ, еще меня старуху обвиняетъ,—вѣдь привязана она и къ ней была; душато у нея любящая такая, у голубушки. И ее-то не пожалѣла она, извергъ зловредный!... Татьяна Григорьевна прослезилась и начала утирать платкомъ глаза.

— Что же вы намѣрены теперь дѣлать?—спросилъ торопливо Соковлинъ, не желая давать развиваться слезливому настроенію Татьяны Григорьевны и вмѣстѣ съ тѣмъ боясь, чтобы она не взяла для Талиньки опять подобную гувернантку. — Думаете кого пріискать для Натальи Дмитріевны?

— Нѣтъ ужь, батюшка, слуга покорная! опять пожалуй на такую же красавицу наткнешься. Много ихъ по Руси-то святой шляется! Ну, да и года-то Талинькины не тѣ: надо и о другомъ подумать! Думаю теперь въ городъ ѣхать; хоть и рано, и хозяйство должна бросить, а не могу же я послѣ этакого скандала здѣсь оставаться! Да меня здѣсь одними намеками да сожалѣньями поѣдомъ съѣдятъ. Ну, а въ городѣ-то все не такъ знается. Да и скажу я тебѣ, какъ родному, Сергѣй,—прибавила, понизивъ голосъ, Татьяна Григорьевна:—есть у меня тамъ для Талиньки человѣкъ на примѣтѣ, адъютантъ одинъ, хорошенькій такой, жиденькій немножко, ну, да это съ годами пройдетъ; а такой ласковый, угодливый, родственный... меня и безъ того все мамашей зоветъ, такой, право, добрый. Ну, и генералъ его любитъ! Въ прошедшемъ году ужь онъ подпускалъ запросы, и около Талиньки вьюномъ такъ и вьется; да она еще совсѣмъ дѣвочка была и вкусу-то еще къ мужчинамъ никакого не имѣла; «надоѣдаетъ, говоритъ, онъ мнѣ, мама.» Я ему и говорю: «молодъ еще, молъ, ты; послужи!» Ну, а нынче, нечего долго откладывать. Вонъ онъ, вѣкъ-то, вѣкъто какой, Сергѣй! Конечно, къ ней, какъ къ голубю чистому, не пристанетъ, да разговоры-то одни, разговоры-то! И опять здоровье-то мое! долго ли до грѣха! Такъ-то хожу, конечно, нечего Бога гнѣвить; чуть что—сейчасъ болѣзнь моя замелькаетъ и замелькаетъ!... Татьяна Григорьевна тяжело вздохнула и начала мочить платокъ въ уксусѣ.

Соковлинъ слушалъ ее, а въ умѣ его росла рѣшимость спасти Наташу отъ этихъ материнскихъ заботъ.

— А что здоровье Натальи Дмитріевны? сказалъ онъ:—я васъ не спросилъ.

— Здорова-то здорова, голубушка, да опечалена; и такъ она у меня послѣднее время, Богъ знаетъ, какая-то отуманенная стала, а теперь и подавно. Пошла въ садъ погулять: не знаю, что ей за охота въ этакой холодъ.

— Я схожу къ ней, сказалъ Соковлинъ, вставая.

— Сходи, голубчикъ, сходи! поразвлеки ее. Да зови въ комнаты — холодно! говорила Татьяна Григорьевна вслѣдъ за уходящимъ Соковлинымъ.— Вотъ опять замелькало... Охъ, Господи помилуй! Господи помилуй!...

VIII.

Соковлинъ пошелъ наугадъ по первой аллѣе. Сухой листъ шумѣлъ подъ его ногами, свѣжій, осенній воздухъ охватывалъ его, онъ чувствовалъ внутреннюю дрожь, но не отъ холода, а волненія. Онъ заглядывалъ въ боковыя аллеи и дорожки, но онѣ были какъ-то тихо пустынны — точно засыпали. Между оголенныхъ стволовъ пробивались косые, красные лучи низко-опустившагося солнца. Соковлинъ смотрѣлъ, не мелькнетъ ли между ними платье, но ничего не видалъ. Онъ вышелъ къ озеру, оглянулся и вдоль широкой, тянувшейся по его окраинѣ дороги увидѣлъ Наташу. Она шла къ нему на встрѣчу, вся облитая румяными лучами; голова ея была опущена; она шла скоро, завернувшись въ черный суконный бурнусъ. Соковлинъ повернулъ ей на встрѣчу, и она, услыхавъ хрустъ и походку, приподняла голову и тотчасъ же пошла тише: точно въ ней оборвалась та нить волнующихъ мыслей, которая заставила ее быстро ходить. Соковлинъ поклонился ей, она тоже; но руки не подала, — они тихо пошли вмѣстѣ.

— Вы сбираетесь въ городъ? спросилъ Соковлинъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Да. Мама хочетъ ѣхать, отвѣчала Наташа.

— А вы?

— И я, разумѣется, съ нею.

— Вы не отвѣчаете на мой вопросъ, замѣтилъ Соковлинъ.

— Вы хотите знать, охотно ли я ѣду? переспросила Наташа и прямо посмотрѣла на него.

— Да! тихо, но твердо отвѣчалъ онъ.

У Наташи немного обозначились морщинки на лбу между бровями.

— Теперь еще рано въ городъ; я бы хотѣла дождаться, по обыкновенію, здѣсь зимы; сказала она своимъ ровнымъ, спокойнымъ голосомъ.

— Нѣтъ, не то! быстро и рѣшительно сказалъ, Соковлинъ.—Вы знаете, о чемъ я хотѣлъ узнать. Но прежде я долженъ сказать вамъ, что люблю васъ... Но вѣдь вы это знаете: не правда ли? —

Онъ остановился передъ Наташей. — И теперь, ради Бога, отвѣчайте мнѣ!

Наташа вся поблѣднѣла; крупныя слезы проступили у нея на глазахъ; грудь что то сдавило.

— А вы не знали?.. спросила она съ строгимъ укоромъ, и голосъ порвался у нея. Она только, сквозь слезы, съ упрекомъ взглянула на Соковлина.

У обоихъ столько наполнилось на сердцѣ сдержаннаго, невысказаннаго, что посмотрѣть со стороны на ихъ блѣдныя, взволнованныя лица, можно было подумать, что ненависть, а не любовь заставляетъ говорить ихъ.

— Да, прежде я надѣялся... тихо сказалъ Соковлинъ:—я и вѣрилъ, и не вѣрилъ... но теперь я боюсь, не убилъ ли самъ это чувство?.. Я такъ много сдѣлалъ для этого...

— Да, вы меня много заставили пере...страдать... хотѣла сказать она, и вдругъ слезы градомъ полились у нея, какъ будто это сознаніе оживило все ею перечувствованное за это время, дало волю всѣмъ слезамъ, которыя такъ долго она сдерживала.

— Не вините меня, моя добрая... моя безцѣнная... Сядьте... успокойтесь, Бога ради!.. выслушайте меня!.. мнѣ такъ много надобно вамъ высказать, говорилъ Соковлинъ, заботливо усаживая Наташу на скамейку, весь смущенный и разстроенный. А у самого тоже слезы были на глазахъ.

— Если бы вы знали, продолжалъ онъ, пока Наташа силилась унять свои рыданія: — если бы вы знали, чего мнѣ это стоило самому!.. Вѣдь я накладывалъ руки на свои послѣднія надежды, на свой послѣдній нежданный проблескъ счастья... Я не смѣлъ, да и теперь еще не смѣю отдаться ему... Я боюсь, чтобы оно не обрушилось страшнымъ, долгимъ несчастіемъ... Соковлинъ смолкъ и трепетно ждалъ отвѣта, смотря на Наташу.

— Да, и вы правы... сказала Наташа сквозь сдержанныя рыданія.

Соковлинъ думалъ услышать возраженіе, но не найдя его, поблѣднѣлъ какъ полотно.

— Я сама долго думала объ этомъ, тихо продолжала она, не глядя ему въ лицо: — и я васъ оправдала... Я знаю, что не я могу составить ваше счастіе... я сознаю это...

— Вы? Отчего? сказалъ Соковлинъ такимъ голосомъ, что Наташа невольно подняла на него глаза.

— Оттого, что... вѣрьте мнѣ: я говорю искренно, — я знаю, я не... Наташа не рѣшалась говорить, видя, съ какой любовью и съ какимъ страхомъ смотрѣлъ на нее Соковлинъ.— Я не доросла еще до васъ... я знаю, знаю это.. торопливо, опустивъ глаза, добавила она, чувствуя, что подъ любящимъ взглядомъ Соковлина сама начинаетъ не вѣрить своимъ словамъ.

— Вы?.. вы?.. Соковлинъ не смѣлъ повторить ея выраженіе...—Знаете ли, что я готовъ бы былъ возненавидѣть васъ за это, если бы могъ!.. Вы предполагали во мнѣ такія мысли въ то время, какъ я... Да неужели я чѣмъ нибудь далъ поводъ вамъ это подумать! почти съ ужасомъ воскликнулъ Соковлинъ.

— О нѣтъ, нѣтъ! съ жаромъ сказала Наташа и лицо ея зарумянилось и стало просіявать радостной улыбкой;—но я сама, безпристрастно сравнивая себя съ вами, должна же была сознаться въ этомъ...

— За что же это? за что же это? говорилъ Соковлинъ, съ укоромъ глядя на Наташу.

— Ну, виновата!.. тихо сказала она, стыдливо протягивая ему руку: — но если такъ, то отчего же...

— Да оттого, добрый ангелъ мой, говорилъ Соковлинъ, страстно цалуя и пожимая эту руку и садясь къ ногамъ Наташи:—оттого, что я старикъ передъ вами, что я со всѣми добродѣтелями, которыми вы меня надѣляете, не стою кончика этой руки! Чѣмъ я заплачу вамъ за вашу довѣрчивую любовь?.. Вѣдь вы молоды... вы хороши, вы, можетъ быть полюбили меня потому, что не видѣли лучшихъ, потому что вамъ хочется любить; вы, можетъ быть, любовь свою любите, а не меня; я только кстати подвернулся тутъ. Вы искренни, я въ этомъ не сомнѣваюсь; но вы можете и сами не подозрѣвать этого, а я знаю это все, и долженъ былъ думать и за себя, и за васъ. Подумайте серьезно! Вѣдь я буду старикомъ, прежде нежели вы будете вполнѣ женщиной...

— Не правда! такіе люди не старѣются! сказала она съ тихимъ убѣжденіемъ.—Такъ вы только изъза этого мучили и себя, и меня?

— Что дѣлать, Наталья Дмитріевна! вѣдь я изломанъ, вѣдь многое, во что вы еще вѣрите, какъ въ святыню, давно ужь обмануло меня!.. Развѣ самая эта недовѣрчивость не есть признакъ старости?.. Вотъ отчего я такъ долго и не рѣшался высказаться самъ!.. Надобно было явиться такому чистому и цѣльному существу, какъ вы, чтобы снова оживить меня, заставить и надѣяться, и вѣрить. Но это не все. Если я колебался, если и теперь еще я боюсь надѣяться на счастье, такъ вѣрьте, я боюсь за васъ, а не за себя. Я васъ на столько люблю, что готовъ бы былъ для васъ пожертвовать собою и молчать: да и жертвы тутъ нѣтъ никакой! Всякій, кто любитъ, въ этомъ самомъ пожертвованіи находитъ наслажденіе. Но не во мнѣ дѣло: я за васъ боюсь; ради Бога, подумайте обо всемъ хладнокровно: я готовъ ждать...

— Развѣ вы думаете, что мало еще давали мнѣ времени на размышленіе? отвѣчала Наташа съ улыбкой:—развѣ вы [illegible] думала въ эти долгіе дни и ночи! прибавила она съ легкимъ оттѣнкомъ грусти.

Въ это время по ближней аллеѣ послышались чьи-то звонко раздающіеся, приближающіеся шаги. Соковлинъ поспѣшно всталъ, и Наташа быстро отдернула руку. Однимъ взглядомъ они осмотрѣлись и, удостовѣрясь, что никто не видалъ ихъ, взгля-

вули другъ на друга, покраснѣли и улыбнулись. Изъ-за угла показался слуга и доложилъ, что Татьяна Григорьевна приказала просить ихъ къ чаю.

— Попроси Аринушку, чтобы она разливала: мнѣ не хочется. А мы сейчасъ придемъ, сказала Наташа съ тѣмъ отлично выдержаннымъ спокойствіемъ, которое такъ нравится намъ, когда мы въ первый разъ видимъ любимую женщину, обманывающую для насъ другихъ.

Когда слуга удалился, они опять весело улыбнулись, точно школьники, успѣвшіе обмануть смотрителя; едва шаги его стали стихать, Соковлинъ торопливо началъ.

— Идя сюда, я хотѣлъ какъ можно спокойнѣе высказать вамъ все, что у меня на душѣ относительно нашего неравенства.

— Вы хотѣли разсуждать, замѣтила Наташа.

— Что вы хотите, но не смѣйтесь надъ этими разсужденіями: это червякъ, который давно подъѣдаетъ у меня—да и не у одного меня—всѣ чувства; но повѣрьте, онъ не убиваетъ ихъ...

— Однако, благодаря этому червяку, едва все не погибло... перебила Наташа.

— Да! съ замѣшательствомъ, точно уличенный, сказалъ Соковлинъ.—Но вы меня вылечите отъ него, я увѣренъ... только позвольте мнѣ отдать послѣднюю дань ему и потомъ раздавите его;—пока я не выскажу мысль, которая у меня на душѣ, я не буду покоенъ...

Наташа видѣла внутреннюю борьбу, которая совершалась въ Соковлинѣ, и улыбалась ему снисходительно, какъ мнительному больному, который ждетъ, чтобы разогнали его послѣднія мнѣнія.

— Вы, ради Бога, не оскорбляйтесь только, не сочтите этого недовѣріемъ къ вашимъ чувствамъ: клянусь, я вѣрю въ вашу чистоту и искренность, и докажу вамъ это моей настоящей просьбой. Но это для меня дѣло совѣсти. Мнѣ все кажется, что я слишкомъ много беру отъ васъ, что это нечестно съ моей стороны, когда жизнь со всѣми тревогами у меня почти за плечами, а ваша вся еще впереди... Я не могу, мнѣ совѣстно предложить ее вамъ, если вы не дадите мнѣ обѣщанія, которое немножко уравнитъ неравности...

— Говорите! спокойно сказала Наташа.

— Вотъ видите ли, заботливо продолжалъ Соковлинъ: — во мнѣ есть убѣжденіе, твердое, неизмѣнное, что чувства не зависятъ отъ насъ. Я вѣрю, что они могутъ не измѣнятся, но могутъ и измѣниться — все дѣло случая и обстоятельствъ, какъ болѣзнь. Дайте мнѣ слово, что если когда нибудь... хоть завтра... хоть на другой день свадьбы... если эти чувства измѣнятся... если вы увидите, что ошибались въ нихъ или во мнѣ, что я не стою ихъ или другой лучшій заставитъ ихъ измѣниться...

Наташа невольно вспыхнула, но старалась сдержаться.

— ... Тогда, продолжалъ Соковлинъ:—тогда вы мнѣ прямо, какъ другу, какъ брату, скажите объ этомъ, чтобы я могъ остаться для васъ только другомъ и братомъ. И клянусь вамъ, если вы будете любить меня только хоть день, хоть часъ, то вы все-таки дадите мнѣ болѣе, нежели я имѣю право.

Соковлинъ замолчалъ и съ смущеніемъ смотрѣлъ на Наташу; онъ самъ сознавалъ, сколько было сомнѣнія, надломленности, слабости въ словахъ его; онъ боялся, не оскорбилъ ли ими чистое, безпредѣльно вѣрующее чувство дѣвушки; онъ ждалъ съ трепетомъ и волненіемъ.

Наташа отвѣчала не тотчасъ. Она вдумывалась въ его слова и, казалось, взвѣшивала все, что было въ нихъ любви, честности и болѣзненности. Ея чувство не оскорбилось ими; но она такъ высоко цѣнила умъ и сердце Соковлина, что въ умѣ ея, не смотря на твердую увѣренность въ себѣ, зародилось подозрѣніе: нѣтъ ли, можетъ быть, какой-то неизвѣстной ей, непредвидѣнной опасности, которая можетъ явиться и измѣнить ея чувства, если въ эту минуту Соковлинъ рѣшился сомнѣваться въ ихъ долговѣчности? Подумавъ, она сказала серьезно:

— Я не спрашиваю у васъ подобнаго обѣщанія: я знаю васъ, и мнѣ оно не надобно. Мое—вы считаете нужнымъ, я охотно даю, и вѣрьте, сдержу его. И она подала ему руку.

Соковлинъ схватилъ ее, и цаловалъ, и жалъ съ безумною, не сдерживаемой болѣе страстью, которой весь отдался.

— Простите меня! Ангелъ мой добрый, простите меня, если я оскорбилъ васъ! Но клянусь, теперь у меня нѣтъ ни капли сомнѣній, и если я еще стою васъ, возьмите меня!.. И онъ припалъ и замеръ у руки Наташи.

Вся взволнованная и увлеченная новымъ для нея чувствомъ, Наташа склонилась къ Соковлину; онъ почувствовалъ, какъ, точно вѣтеръ, поцалуй скользнулъ по его волосамъ; голова закружилась у него, онъ только разслышалъ, какъ трепещущій голосъ шепнулъ у него подъ ухомъ: «а теперь ступайте къ мамѣ»; и когда очнулся, то вырвавшаяся изъ его рукъ Наташа уже почти бѣжала далеко впереди по аллеѣ.

Соковлинъ вздохнулъ глубоко, отрадно. Онъ осмотрѣлся кругомъ, и Божій міръ показался ему точно переполненный счастьемъ. Солнце, до половины уже зашедшее, бросало вверхъ пучокъ послѣднихъ малиновыхъ лучей, и Соковлину вспомнились, когда-то сказанныя имъ Наташѣ и сбывшіяся теперь, слова поэта—и онъ повторилъ тихо:

«И, можетъ быть, на мой закатъ печальный
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной» —

и самъ улыбнулся, и нашелъ, что свѣтелъ и ясенъ этотъ закатъ...

Онъ оправился и, радостный, полный счастія, пошелъ къ дому.

Едва Соковлинъ отворилъ двери съ террасы, Татьяна Григорьевна, по обыкновенію, начала причитать:

— Вотъ добраго человѣка нашла за дочкой послать, а онъ тамъ еще болѣе промерозилъ ее!...

Но Соковлинъ не слышалъ, что она говорила; онъ прямо подошелъ къ столу и, ставъ передъ Татьяной Григорьевной, улыбаясь безсознательно, смотрѣлъ на нее. Лицо у него было веселое, но точно немного поглупѣлое, какъ у человѣка подвыпившаго.

— Татьяна Григорьевна! сказалъ онъ: — у меня есть къ вамъ просьба — и большая.

— Ну, говори, говори! что такое за просьба? сказала она нѣсколько обезпокоеннымъ голосомъ, какъ и всегда, когда не знала, о чемъ ее будутъ просить.

— Да вотъ вы все женить меня сбирались: жените меня! сказалъ Соковлинъ.

Татьяна Григорьевна, посмотрѣвъ пристальнѣе на его лицо, начала что то мигать; съ ней, кажется, сдѣлалось маленькое мелканье.

— На комъ же? спросила она какъ-то робко.

— Да ужь коль милость будетъ, такъ на Натальѣ Дмитріевнѣ, сказалъ Соковлинъ.

— Постой, Сергѣй... голубчикъ. Да ты въ самомъ дѣлѣ не шутишь? На Наташѣ? сказала она, совсѣмъ растерявшись.

— Да, я прошу у васъ руки Натальи Дмитріевны! повторилъ Соковлинъ.

— Ахъ, Сергѣй! Какъ же это? я право и не знаю. Вѣдь *вы* знаете, какъ я *васъ* высоко почитаю и уважаю. Да только, голубчикъ мой, лѣта-то ваши!.. Не старѣнекъ ли вы будете для нея: вѣдь она еще ребенокъ?

— Я давно думалъ объ этомъ, Татьяна Григорьевна, серьезно сказалъ Соковлинъ: — и если прежде не рѣшался просить васъ объ этомъ, такъ именно потому, что останавливался неравенствомъ... Но теперь, не лучше ли предоставить это на судъ самой Натальи Дмитріевны.

—, Ну да! и прекрасно! и разумѣется! какъ ей Богъ на душу положитъ, торопливо говорила Татьяна Григорьевна, видимо обрадованная этимъ исходомъ:—а ее неволить—избави Богъ! Только ты, Сергѣй, ужь не взыщи на нее, въ случаѣ если... Вѣдь она еще глупенькая... Можетъ, ей помоложе кого захочется, вѣдь молодое молодаго и ищетъ!...

Въ это время изъ другой двери взошла Наташа. Лицо ея горѣло; она подошла и стала возлѣ матери, какъ будто ожидая чего-то.

Татьяна Григорьевна сдѣлала видъ, что чѣмъ-то занята. Она перекладывала съ мѣста на мѣсто платокъ; начала мочить его въ уксусѣ; потомъ взглянула изъ-подлобья на дочь и Соковлина какъ разъ въ то же время, когда они, полу-смущенные, смотрѣли другъ на друга, и по губамъ ихъ скользнула улыбка...

Какая-то мысль вдругъ озарила голову Татьяны Григорьевны...

— Что это? Да ужь вы никакъ... начала было она, поглядывая на нихъ, но Наташа и Соковлинъ не дали ей договорить. Наташа быстро обняла ее и, стыдливо спрятавъ лицо на ея шеѣ, цаловала ее; Соковлинъ схватилъ ея руку и тоже цаловалъ...

— Ахъ, Боже мой! Ну, если ужь такъ, то Господь... Господь... Господь...

И старуха, вся въ слезахъ, поцалуяхъ и одышкѣ, едва черезъ нѣсколько минутъ могла договорить: «Господь благословитъ васъ!» Потомъ, едва придя въ себя, она закричала Аринушку, сообщила ей радостную вѣсть, и когда та начала церемонно поздравлять, велѣла послать за священникомъ, Феоктистушкой, позвать всѣхъ дворовыхъ, и растерялась окончательно.

Только послѣ молебствія, за которымъ она усердно плакала и молилась, и когда всѣ остались одни, старуха нѣсколько пришла въ себя и начала распрашивать, давно ли и какъ все это случилось, и въ то время, какъ радость свѣтилась со всего ея полнаго лица, она журила молодежь за скрытность и пожалобилась на времена.

Тутъ же было рѣшено, что на зиму поѣдутъ всѣ въ *городъ*, то есть въ губернскій городъ, и передъ масляной возвратятся въ деревню и сдѣлаютъ свадьбу. Соковлинъ просилъ, чтобы до тѣхъ поръ помолвка ихъ не была объявляема и чтобы свадьба была какъ можно проще; Татьяна Григорьевна едва согласилась на эти послѣднія условія.

Такъ и было сдѣлано. Любанины, а вслѣдъ за ними и Соковлинъ, получившій на это дозволеніе, отправились въ **. Зима была веселая. По желанію Соковлина, Наташа много выѣзжала. Она была неузнаваема. Куда дѣвалась ея пугливость и застѣнчивость. Какое-то добродушное и милое спокойствіе было разлито въ ней. Она знала, что лучшій изъ людей оцѣнилъ ее, и это сознаніе дало ей внутреннюю силу и сгладило тѣ неровности характера, которыя являются въ ранніе годы, вслѣдствіе недовѣрія къ себѣ и нѣкоторой болѣзненной чувствительности ко всѣмъ бездѣльнымъ впечатлѣніямъ и замѣчаніямъ. Мѣсто, которое занялъ Соковлинъ въ общественномъ уваженіи, вполнѣ удовлетворяло Наташу: въ городѣ ** онъ былъ тѣмъ же, чѣмъ въ ея понятіи, то есть умнѣйшимъ и образованнѣйшимъ человѣкомъ. Ни одно облако не омрачало ихъ ясныхъ и свѣтлыхъ взаимныхъ отношеній. Десятки молодыхъ людей ухаживали за Наташей: она была со всѣми мила, проста и спокойна. Но посреди ухаживанья и вниманія, которыми окружали ее, она отыскивала глазами Соковлина, и одинъ взглядъ, украдкой брошенный имъ среди споровъ и разговоровъ на нее, доставлялъ ей болѣе наслажденія, чѣмъ всѣ другія побѣды, включая туда и прекраснаго адъютанта.

Задолго передъ отъѣздомъ въ деревню, Татьяна Григорьевна не выдержала и, гордясь успѣхами дочери въ одномъ кругу и Соковлина въ другомъ, разболтала подъ секретомъ о свадьбѣ. Тогда одна, высохшая уже отъ долго сдерживаемыхъ стремленій къ замужеству, дѣвица, имѣющая привычку прилѣпляться противнѣйшей дружбой ко всѣмъ пользующимся успѣхомъ дѣвушкамъ, съ самымъ задушевнымъ участіемъ замѣтила Наташѣ:

*

— Правда, моя милая, Соковлинъ умница, образованъ и очень хорошо держитъ себя; но посмотри на него, вѣдь онъ тебѣ въ отцы годится, да и надо сознаться: и рябъ, и смуглъ, словомъ — совсѣмъ нехорошъ...

— Онъ? съ удивленіемъ отвѣчала Наташа, посмотрѣвъ на Соковлина: — да ты рѣшительно ничего не видишь; онъ молодъ, какъ юноша, и я не встрѣчала лучше лица!...

Передъ масляной всѣ отправились въ деревню, и тамъ была свадьба: постороннихъ никого не было, но Татьяна Григорьевна созвала весь околодокъ, говоря, что вѣдь это все *свои*, всѣ какъ *родные*...

Мы забыли сказать, что, еще вскорѣ послѣ объясненія въ саду, Комлевъ уѣхалъ въ университетъ, нѣсколько мрачный и разстроенный, хотя Наташа простилась съ нимъ какъ нельзя дружнѣе. Да и пора было; онъ и безъ того опоздалъ къ началу курса.

Молодые поселились въ деревнѣ Любаниной, имѣя въ виду лѣтомъ выстроить новый домъ въ деревнѣ Соковлина. Жизнь ихъ покатилась тихо, ровно и свѣтло.

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ.

ЧАСТЬ II.

I.

Шесть лѣтъ прошло съ женитьбы Соковлина. Много измѣнилось въ эти шесть лѣтъ изъ великаго и малаго міра сего; многое сломалось или потерлось, многое народилось, выросло. Надъ лицами нашего разсказа они прошли довольно мягко и снисходительно, какъ обращается иногда большой баринъ съ своимъ почтительнымъ и мелкимъ крестьяниномъ, т. е. не прижалъ его особенно, не обидѣлъ, даже былъ, казалось, весьма благосклоненъ, но свое взялъ: крестьянинъ работалъ на него обычную работу. Одна только добрая Татьяна Григорьевна имѣла бы основательную причину пожаловаться на него, если бы могла; но — увы! — она лишена была и этого удовольствія; время, все какъ тотъ же баринъ, такъ хорошо умѣетъ иногда припрятывать концы, что на него и пожаловаться не успѣешь. Такъ года три назадъ, въ одно очень хорошее послѣ-обѣда, когда Татьяна Григорьевна, возставъ отъ сна, хотѣла, по обыкновенію, спросить себѣ варенья — языкъ, прекрасно ее слушавшійся съ четырехъ-лѣтняго возраста, вдругъ ей измѣнилъ: она что-то промычала, помычала еще денька два — и умерла, помотавъ по воздуху рукой, вѣроятно желая перекрестить, горько-плакавшую дочь.

За исключеніемъ этого обстоятельства, все шло для нашихъ героевъ довольно благополучно, даже, можно бы сказать, прекрасно, если бы человѣкъ — сіе недовольное животное — могъ находить что-нибудь прекрасное въ томъ, что такъ безпощадно стираетъ съ земли его личность. Если побурѣлъ немного хорошенькій деревянный, съ башенкой и террасами, домъ Соковлиныхъ, за то славно разросся кругомъ его и цвѣтникъ, и подновленный кустовою зеленью садъ. Если у нихъ умерла пожилая Татьяна Григорьевна, за то года черезъ полтора послѣ ея смерти появился на свѣтъ сынъ Андрюша, который, не смотря на то, что всѣмъ своимъ тѣломъ напоминалъ только одну шею покойной бабушки, но любимъ былъ отнюдь не менѣе ея.

Соковлинъ нѣсколько постарѣлъ; сѣдина замѣтнѣе пробивалась въ его волосахъ; но онъ сохранилъ свое добродушіе, свою душевную молодость, свой умъ, свѣжій и сочувствующій всему честному и хорошему. Онъ больше и прилежнѣе занимался хозяйствомъ, хотя все-таки хозяиномъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, не сдѣлался: онъ ужь по натурѣ своей былъ слишкомъ непрактиченъ для того; и если еще хозяйство его шло не дурно, то именно потому, что онъ былъ на столько добросовѣстенъ, чтобы не принимать на себя передѣлки и нововведенія въ томъ, чего недостаточно зналъ; окружая себя по возможности честными и смышленными людьми, онъ присматривалъ за ними, а въ остальномъ руководствовался мудрымъ, для неспеціалиста, экономическимъ правиломъ — laissez faire, laissez aller. Окруженный мелкою провинціальною жизнію, въ

необходимыхъ столкновеніяхъ съ ней онъ былъ, казалось, еще снисходительнѣе и мягче къ этой средѣ, но высказывался въ ней мало, *не правъ щитомъ противъ рожна*, и держалъ себя по возможности въ сторонѣ. Но у себя дома онъ составилъ себѣ дѣятельность по душѣ, и отдыхалъ въ ней. Онъ читалъ много, читалъ все новое и дѣльное, что могъ получать, — и въ этихъ чтеніяхъ, иногда вмѣстѣ съ Наташей, въ бесѣдѣ съ ней, въ постоянной перепискѣ и общеніи съ немногими пріятелями, изъ которыхъ нѣкоторые были передовыми людьми въ литературѣ и наукѣ, находилъ удовлетвореніе своимъ нравственнымъ потребностямъ: онъ былъ отдаленный, но неотсталый изъ тѣхъ немногихъ своего кружка людей, которымъ близко все человѣческое, которые честно выдержали невзгоды судьбы и вышли изъ нея помятые, израненые, но чистые и богатые опытностью.

Взглядъ его на женщинъ и на бракъ не измѣнился; но онъ считалъ свое положеніе счастливымъ исключеніемъ, довѣрчиво смотрѣлъ на безоблачное будущее, и еще болѣе любилъ за то свою Наташу. Что касается до Натальи Дмитріевны, то съ годами, далеко не перешедшими еще для нея той роковой черты, съ которой человѣкъ идетъ ужь подъ гору, она еще болѣе выиграла. Она развилась и физически, и нравственно. Изъ полусложившейся, вдумчивой дѣвочки вышла высокая, стройная женщина, съ строго развившимися формами, спокойная, ясная. Бесѣды съ мужемъ и хорошо направленное чтеніе развили ея умъ, а тихая, счастливая и дѣятельная семейная жизнь успокоила тѣ тревожныя потребности бурь, которыя свойственны ея лѣтамъ и темпераменту. Короткость и близость отношеній нисколько не умалили въ ея глазахъ тѣхъ достоинствъ въ мужѣ, которыя она любила въ женихѣ, потому что Соковлинъ былъ всегда простъ и искренъ съ нею, и скорѣе готовъ былъ указать на свои слабости, нежели драпироваться въ достоинства. Съ другой, болѣе дюжинной женою, привыкшей вѣрить хорошему вполовину, онъ съ своей излишней добросовѣстностью могъ бы скорѣе потерять, чѣмъ выиграть; но Наташа умѣла ее открыть и знала ей цѣну. И такимъ образомъ, не испытывая потрясающей страстности влюбленныхъ, они были счастливы тѣмъ ровнымъ, яснымъ и трезвымъ чувствомъ, въ основѣ мягкой, взаимновлекущей силы котораго, лежитъ болѣе сознаніе нравственныхъ качествъ, нежели физическое начало.

Зима была въ концѣ; весна еще не наступала, но уже чувствовалась ея близость. Дольше стали дни, выше ходило солнце; отъ полуденныхъ лучей и отъ теплыхъ, сырыхъ тумановъ снѣгъ осѣлъ, побурѣлъ и мѣстами на припекѣ таялъ. Это было въ тотъ годъ, когда послѣ тяжкаго, но благодѣтельнаго кризиса—на Россію повѣяло новой жизнію. Каждая почта приносила отрадныя вѣсти; Соковлинъ, живо интересовавшійся всѣмъ, ждалъ ихъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ. И его не обошло то благотворное вѣяніе, отъ котораго все оживало: Соковлинъ получилъ полную свободу и подумывалъ воспользоваться ею, переселясь въ одну изъ столицъ, поближе къ своимъ немногимъ, но испытаннымъ друзьямъ.

Разъ, въ почтовый день, Соковлину случилось небольшое дѣло въ городѣ, и онъ поѣхалъ самъ, чтобы покончить его и кстати скорѣе получить почту. Городъ былъ въ верстахъ въ двадцати, и онъ хотѣлъ воротиться въ сумерки. Стало вечерѣть; Наташа часто подходила къ угольному окну, изъ котораго далеко видна была дорога, чтобы посмотрѣть, не возвращается ли Сергѣй Иванычъ; но Соковлина не было. Наконецъ и стемнѣло такъ, что разсмотрѣть вдали ничего нельзя было, и окна закрыли; а Сергѣй Иванычъ все не пріѣзжалъ. Наташа, часто заходя провѣдывать сына, уже толковала не разъ съ Аринушкой, поступившей къ нему въ няни—отчего это такъ долго не ѣдетъ Сергѣй Иванычъ, — и Аринушка тоже отвѣчала, что давно бы пора уже Сергѣю Иванычу возвратиться. Въ одно изъ этихъ совѣщаній, когда онѣ въ пятый разъ перебирали однѣ и тѣ же догадки, быстро вошла прямо со двора, еще внося съ собою свѣжій воздухъ, румяная горничная, и сказала, что слышенъ колокольчикъ. Наташа велѣла ставить на собранный уже столъ самоваръ, — и черезъ минуту сидѣла за нимъ въ залѣ, заваривая чай, чтобы встрѣтить съ горячимъ стаканомъ мужа.

Въ самомъ дѣлѣ, пара гусемъ остановилась у подъѣзда, и въ передней послышался голосъ Соковлина. Наташа встала и пошла навстрѣчу.

— Что это ты такъ долго не ѣхалъ, Сергѣй Иванычъ? говорила Наташа, здороваясь съ вошедшимъ мужемъ:—не случилось ли чего нибудь съ тобой.

— Случилось, мой другъ, дѣйствительно случилось! говорилъ Соковлинъ, обнявъ и поцаловавъ жену: — и вещь весьма пріятная и мнѣ, и тебѣ. Узнай, кого я тебѣ привезъ?

Въ это время какой-то мужчина взошелъ изъ прихожей. Свѣчи стояли въ другомъ углу, и его въ полутѣни трудно было разсмотрѣть вдругъ.

— Вы меня не узнаете, Наталья Дмитріевна? сказалъ вошедшій.

— Позвольте, дайте всмотрѣться — голосъ знакомый, говорила Наташа, подвигаясь и всматриваясь въ гостя. — Боже мой! Павелъ Егорычъ! вдругъ воскликнула она.

— Онъ! онъ и есть! На дорогѣ нашелъ; повозка увязла, лошади не берутъ; сидитъ въ пяти верстахъ отъ дому. Я его и засеквестровалъ, говорилъ Соковлинъ, потирая руки.

— Однакожь, не скоро же вы узнаете старыхъ знакомыхъ! Развѣ я очень измѣнился? спросилъ Комлевъ Наташу, поцѣловавъ ея руку.

— Пойдемте къ огню, я вамъ скажу, отвѣчала она, подводя его къ столу.— Да! вы много измѣ-

нились, сказала она, осматривая его: — но я бы васъ тотчасъ узнала.

— А вы—вы! Да вы и выросли, кажется? подсмѣиваясь и улыбаясь, говорилъ Комлевъ, пожавъ плечами и нѣсколько отступая отъ Наташи; чтобы лучше разсмотрѣть ее.

И жестъ его, и поза договорили о найденной имъ перемѣнѣ то, чего онъ не хотѣлъ сказать.

И оба они стояли другъ противъ друга, радостные, оживленные, и смотрѣли другъ на друга. А Соковлинъ стоялъ съ боку и радовался ихъ радости.

— Ну, полно! полно вамъ любоваться другъ другомъ, сказалъ наконецъ онъ — успѣете еще. Давай-ка лучше намъ чаю.

— Я очень, очень рада, что васъ вижу, сказала Наташа, подавъ еще разъ откровенно и полной рукой пожавъ руку Комлеву.—Надолго ли вы къ намъ?

— Да мѣсяца на два... какъ устрою немного дѣла, отвѣчалъ Комлевъ.

Этотъ отвѣтъ напомнилъ хозяевамъ причину пріѣзда Комлева — недавнюю смерть его отца, и всѣ тихо примолкли. Наташа принялась наливать чай. Всѣ усѣлись около стола.

Комлеву было лѣтъ 25—26. Онъ остался невысокаго роста, но крѣпко, сухо и мускулисто сложился. Открытое лицо его было подернуто тою тусклою блѣдностью, которая является отъ кабинетныхъ занятій, но дышало жизнью и силой; тонкія губы иногда едва замѣтной складкой выражали иронію, умные сѣрые глаза были живы и зорки; вздернутый носъ и свѣтлые, волнистые, всклокоченные кверху волосы придавали ему отчасти заносчивый и самоувѣренный видъ; но хорошо развитый умный лобъ съ нѣсколько надвинутыми бровями показывалъ серьезность и сдержанность.

— Ну, что новаго? Я не успѣлъ ни о чемъ васъ разспросить порядочно, началъ Соковлинъ:— видаете вы Б*, В*, Г*?

— Не часто, но случается. У меня много работы, и я рѣдко бываю въ ихъ кружкѣ,—но встрѣчаемся.

— Ну, что они дѣлаютъ?

— Да по обыкновенію, сбираются, толкуютъ, спорятъ, сказалъ съ нѣсколько насмѣшливой улыбкой Комлевъ:—а иногда и попрысываютъ.

— Вы какъ будто съ иронією говорите о нихъ! возразилъ Соковлинъ:—но я ихъ буду отстаивать горячо. Они мало сдѣлали осязательнаго, видимаго, но много благотворнаго. Не забудьте, что это была единственно-возможная дѣятельность ихъ времени. Что можно было дѣлать тогда—они дѣлали, и дѣлали честно, — а теперь ваша забота, молодыхъ и свѣжихъ людей, работать на дѣлѣ, практичнѣе; но не осуждайте тѣхъ, которые приготовили васъ къ этой дѣятельности, если сами они и не привыкли, и уже не способны къ ней.

— Да я ихъ весьма уважаю, отвѣчалъ Комлевъ: — и отдаю имъ полную справедливость. Но согласитесь, что они не могутъ выйти до сихъ поръ изъ своихъ тонкихъ воззрѣній и еще болѣе тонкихъ намековъ, — все остаются съ высшими взглядами и теоріями. Они слишкомъ отвлеченно умны и изящны. А намъ надо вещей болѣе практическихъ, и хоть неизящныхъ, погрубѣе, потолще, но поближе къ дѣлу.—Читали вы послѣднюю статью N*?

У Комлева и Соковлина завязался споръ, живой, горячій. Комлевъ уже не заносчивымъ мальчикомъ смотрѣлъ на Соковлина. Онъ въ этотъ промежутокъ времени, въ кругу серьезныхъ людей, слышалъ многое о Соковлинѣ и о положеніи, которое занималъ тотъ въ ихъ кругу и мнѣніи: онъ не церемонился съ нимъ, не скрывалъ свой взглядъ до болѣе короткаго знакомства. Онъ высказывался и заспорилъ съ нимъ при первой встрѣчѣ, первомъ случаѣ, откровенно, прямо, какъ сходятся равные и взаимно уважающіе другъ друга люди, которые служатъ одному дѣлу, хотя разными путями. Наташа слушала ихъ съ глубокимъ, трепетнымъ вниманіемъ. Въ первый разъ еще она видѣла бойца подъ силу ея мужа, не сходящагося съ нимъ во взглядахъ; въ первый разъ слышала его споръ, въ которомъ неизвѣстно было еще, кто останется побѣдителемъ. Ея сочувствіе и мнѣніе были на сторонѣ мужа; но она радовалась и гордилась и за Комлева, радовалась, что товарищъ и другъ ея дѣтства вышелъ не дюжиннымъ человѣкомъ. Комлевъ говорилъ стойко, рѣзко, но спокойно. Видно было, что онъ не уклонялся отъ споровъ, когда они встрѣчались, но не отдавался имъ весь, не любилъ ихъ, какъ любимое дѣло. Не то было съ Соковлинымъ. Какъ ветеранъ, попавшій на свое старое и страстно-любимое поле, на которомъ давно не съ кѣмъ было ему потягаться, онъ весь ожилъ и одушевился. Онъ былъ отличный діалектикъ. Неожиданной стороной повертывалъ онъ вопросы, удаливалъ въ нихъ тонкости, замѣтныя только глубокому и искусному анализу, и часто удавалось ему, этими уловками опытнаго бойца, заставить Комлева выбиваться нѣкоторое время, чтобы выйти на болѣе прямую дорогу. Добродушное лицо Соковлина все говорило вмѣстѣ съ мыслью; большіе каріе глаза то блестѣли и разгорались, то съ проницательностью впивались въ глаза противника, какъ будто въ нихъ наперед старались уловить его мысль и приготовиться къ возраженію — и если это возраженіе было именно таково, какъ онъ ожидалъ и желалъ, то они улыбались съ торжествующей иронією. Наташа любовалась своимъ мужемъ и была увѣрена въ его торжествѣ; но споръ кончился, по обыкновенію всѣхъ споровъ, тѣмъ, что каждый остался при своемъ убѣжденіи; а пока, Соковлинъ, потѣшившись умѣренно, съ добродушіемъ хозяина вспомнилъ, что Комлевъ съ дороги усталъ и его надо пораньше отпустить, съ условіемъ, чтобы онъ пріѣзжалъ чаще спорить. Наташа велѣла по-

скорѣе подать ужинъ, и часу въ одиннадцатомъ Комлевъ уѣхалъ, пожавъ, какъ старымъ и добрымъ друзьямъ, руки Наташѣ и Соковлину, и обѣщая скоро пріѣхать.

Когда сани заскрипѣли у подъѣзда и Соковлинъ, проводивъ гостя, возвратился къ Наташѣ, она подошла къ нему, отвела рукой его волосы, посмотрѣла на оживленное еще недавнимъ споромъ и волненіемъ лицо, нагнула къ себѣ и поцаловала въ лобъ.

— За что это? съ улыбкой спросилъ Соковлинъ.

— Я тебя еще никогда не видала такимъ, любуясь имъ, отвѣчала Наташа.

II.

Комлевъ, отлично кончивъ курсъ въ университетѣ, поступилъ въ ** министерство и служилъ тамъ по желанію отца. Самъ онъ не былъ расположенъ къ бюрократическимъ занятіямъ. Онъ занимался политической экономіей, писалъ, и имя его начинало уже пользоваться почетною извѣстностью. Какъ скоро смерть отца, оставившаго ему небольшое состояніе, позволила ему свободнѣе располагать собою, онъ вышелъ въ отставку и поѣхалъ въ деревню, чтобы привести въ порядокъ дѣла и потомъ ѣхать за границу.

Деревня Комлева была верстахъ въ семи отъ Соковлиныхъ. Его не большой деревянный домишка совершенно опустѣлъ со смертью старика-отца. Все оставшееся въ немъ хранило печать старой, мелкой, отжившей жизни или, лучше сказать, застоя. Комлеву было скучно въ немъ, и онъ, какъ только позволило время, поѣхалъ къ Соковлинымъ.

Пора сказать откровенно, что первый оцѣнивающій взглядъ мужчины на женщину — всегда чисто матеріальный, да ужь кстати прибавить — что бы тамъ ни говорили — что и у женщины на мужчину точно такой же; иначе и быть не можетъ, по той простой причинѣ, что физическое впечатлѣніе всегда предшествуетъ нравственному.

Но ни изъ чего нельзя было заключить, чтобы въ Комлевѣ осталась прежняя любовь къ Наташѣ, и, перемѣнивъ оболочку, за одно съ перемѣной Наташинаго положенія, побуждала его ѣхать къ ней. Напротивъ, время и постоянная умственная дѣятельность давно могли, если не изгладить о ней воспоминаніе, то притупить всю страстность его, да и вообще Комлевъ былъ, кажется, не такого закала, чтобы искать сильныхъ ощущеній, или развлекать себя маленькими чувствами. Но трудно опредѣлить, до какой степени умъ и выработанные принципы порабощаютъ чувства, и что дѣлается въ положительномъ человѣкѣ, когда онъ встрѣчаетъ послѣ долгой разлуки, въ первый разъ съ глазу на глазъ, ту, которую любилъ хотя бы во время юности, при другихъ условіяхъ, въ другой порѣ развитія.

Время было передъ-обѣденное. Соковлинъ былъ чѣмъ-то занятъ, и Комлева приняла Наташа. Она была очень хороша. Если въ ней утратилось то отраженіе дѣвственности, которое лежитъ какой-то прозрачной и нѣжной тѣнью, какъ недвинувшійся еще туманъ, на челѣ дѣвушки, — за то жизнь счастливая и тихая, вполнѣ понятная и развившаяся жизнь, выражалась на ея лицѣ такимъ стройнымъ сочетаніемъ ясности, спокойствія и разумности, что человѣку добросовѣстному и неослѣпленному чувствами, жаль было бы смутить эту гармонію своими заискиваніями. Сѣренькій, вышитый бѣлыми шнурками капотъ свободно обнималъ ея стройно развитыя формы, а черненькая прозрачная вуалетка, накинутая на черную густую косу, придавала ея лицу какой-то южный характеръ.

— А, здравствуйте, Павелъ Егорычъ! сказала она, прерывая работу и подавая ему руку.

Комлевъ поздоровался и сѣлъ противъ нея у рабочаго столика.

— Однакожь, долго же вы заставили ждать себя! Мужъ хотѣлъ уже самъ къ вамъ ѣхать, продолжала она.

— И самому мнѣ хотѣлось къ вамъ, да я нашелъ такой хаосъ въ дѣлахъ, что и привычному трудно бы справиться съ нимъ. Думалъ-было обратиться за совѣтомъ къ Сергѣю Иванычу, да раздумалъ: онъ, я думаю, въ хозяйствѣ знаетъ не болѣе моего.

— Отчего вы это полагаете? Напротивъ, онъ хозяинъ хоть куда. Вотъ и теперь ушелъ—молотилку новую уставлять.

— Хоть это и сильное доказательство, съ усмѣшкой замѣтилъ Комлевъ:—а все-таки я думаю, что онъ плохой хозяинъ: не такъ ужь окрещенъ; люди, какъ онъ, плохіе практики.

— Я несогласна, сказала Наташа:—но спорить не буду; со мной вы оправдаетесь, а вотъ придетъ Сережа, такъ передамъ васъ ему.—А что у васъ дома, есть кто изъ родныхъ? Вѣдь тетушка была, кажется, у васъ.

— Нѣтъ,—она умерла еще прежде отца. Я нашелъ домъ совсѣмъ опустѣлымъ.

Наташа взглянула отъ работы на Комлева, но не подмѣтила на его лицѣ никакого выраженія.

— Да! и нашъ добрый любанинскій домъ опустѣлъ, вздохнувъ, сказала она. — Когда мнѣ случается бывать тамъ, я не могу видѣть его покинутаго, съ закрытыми ставнями, помните, онъ былъ некрасивъ, но какой-то добродушный, привѣтливый.

— Это вамъ кажется оттого, что жили въ немъ добродушно и привѣтливо, возразилъ Комлевъ.— А по правдѣ вамъ сказать, я не люблю нашихъ приплюснутыхъ деревенскихъ домовъ безъ всякаго характера и опредѣленной физіономіи—точно самъ помѣщикъ стараго времени, расплывшійся и оглупѣвшій въ деревнѣ. Вотъ этотъ у васъ домикъ хорошенькій.

— Да, хорошенькій... разсѣянно сказала Ната-

ша. — А знаете ли, что? мнѣ кажется, прибавила она, поглядѣвъ пристально на Комлева: — въ эти шесть лѣтъ, что мы не видались съ вами, вы зачерствѣли: вамъ какъ будто ничего не жалко, ничему вы не радуетесь. Вы не разсердитесь за это замѣчаніе? Я говорю съ вами, по старой памяти, откровенно.

— Еще бы! Если бы вы со мной заговорили иначе, такъ я бы повѣрилъ, что и въ самомъ дѣлѣ очень измѣнился, и вдобавокъ къ худшему. Но теперь я вамъ такъ же откровенно отвѣчу, что вы ошибаетесь. Разумѣется, я измѣнился нельзя же оставаться восемнадцатилѣтнимъ въ двадцать-пять; но я не думаю, чтобы зачерствѣлъ, напротивъ, я увѣренъ, что теперь чувствую глубже, чѣмъ прежде. Только сталъ поменьше чувствителенъ, романтиченъ, какъ говорилось во время оно. Нервы стали покрѣпче.

— То-то не слишкомъ ли окрѣпли? Впрочемъ, мнѣ это показалось такъ, а кто жь васъ знаетъ! Чужая душа потемки! Но мы сами плохіе судьи о себѣ.

— Напротивъ, я думаю, что нѣтъ лучше суда, отвѣчалъ Комлевъ:—все взвѣсишь точно, безпристрастно и побранишь себя — только не исправишься... точь въ точь, какъ и послѣ уголовнаго.

— Я вамъ сказала, что мнѣ нельзя съ вами спорить: вы сильнѣе меня. Но поживемъ—увидимъ. Если бы я знала вашу жизнь во всѣ эти года, можетъ, и теперь бы переубѣдилась

— Ну, нѣтъ! я думаю, не переубѣдились бы! Сильныхъ ощущеній у меня не было.

— Можетъ быть, вы отъ нихъ бѣгали?

— Нѣтъ. Но на это надо случай и много свободнаго времени; у меня не было ни того ни другаго. Я ни отъ чего не бѣгаю и ни за чѣмъ не гонюсь; но готовъ встрѣтить все, что пошлетъ жизнь.

— И она вамъ не послала ни одного сильнаго чувства, ни одной привязанности? спросила Наташа.

— Въ эти шесть лѣтъ—да! Съ тѣхъ поръ, какъ я уѣхалъ, влюбленный въ васъ и раздосадованный вашимъ замужествомъ, когда занятія передъ экзаменомъ меня протрезвили—я по этой части былъ покоенъ; — такъ что если бы мнѣ вздумалось теперь подрапироваться передъ вами, я бы имѣлъ полное право сказать, что остался вамъ вѣренъ.

Комлевъ проговорилъ это покойно, просто, даже съ добродушной усмѣшкой.

Наташа нѣсколько зарумянилась. Она не думала вызвать его на подобную откровенность, и не желала ея; но ей болѣе всего не понравился тонъ, которымъ Комлевъ говорилъ о своей прошлой любви. Ея тонкая женственная стыдливость оскорблялась уже и тѣмъ, что говорятъ о собственномъ чувствѣ; по ея понятіямъ, подобныя нѣжныя движенія души должны оставаться тайной, какъ должны оставаться ею интимныя отношенія супруговъ. Она считала это своего рода цинизмомъ. Но говорить

мъ прошломъ чувствѣ подобнымъ образомъ съ той, кѣмъ оно было возбуждено когда-то, она считала униженіемъ этого чувства, недостаткомъ уваженія къ нему. Понятно, что она не могла принять на себя и защиту его; поэтому она не хотѣла придавать ему никакого значенія.

— Къ чему вспоминать ребячество! замѣтила она, оправясь и продолжая работать, и чтобы перемѣнить разговоръ, хотѣла сдѣлать какой нибудь вопросъ; но Комлевъ, къ удивленію ея, тотчасъ же подтвердилъ ея слова.

— Разумѣется, ребячество! сказалъ онъ. — Мы старѣемся ужасно быстро, и все, что пережито и съ чѣмъ только успѣетъ порваться связь, намъ кажется на другой же день и мало и мелко.

Наташа опять взглянула на него, думая подмѣтить на его лицѣ иронію, но Комлевъ говорилъ спокойно и, казалось, просто высказывалъ свою мысль.

— Я съ вами несогласна, сказала она:—искреннія чувства живучи и прочны; ихъ не осудишь и надъ ними никогда не посмѣешся; я въ этомъ убѣждена.

— Какъ! Вы дѣлаете исключенія въ пользу искреннихъ чувствъ? Да чувства всегда искренни!— и мое къ вамъ было какъ нельзя искреннѣе — да отошло. — и глядишь на него съ высоты пережитыхъ лѣтъ. Возьмемъ наконецъ такое, въ искренности котораго вы сами убѣждены: возьмемъ ваше чувство къ мужу. Прослѣдите его начало, развитіе, первую пору. Неужели вамъ многое не кажется въ немъ милымъ, горячимъ, прелестнымъ пожалуй, но дѣтскимъ, немного смѣшнымъ, неловкимъ? неужели вы не смотрите на его начало, какъ на что-то юное, нѣкоторые случаи котораго иногда совѣстно припоминать даже? Неужели вы бы желали и могли, если бы вамъ дано было это на волю—пережить его еще разъ и пережить именно такъ, какъ оно было?

— Я! съ горячностью сказала Наташа:— чтобы я отступилась отъ него? отъ его малѣйшей подробности? Ни за что въ свѣтѣ! Да наконецъ мнѣ и не нужно его переживать, потому что я имъ живу до сихъ поръ, и оно все то же.

Очередь была за Комлевымъ вопросительно посмотрѣть на Наташу.

— Странно! подумавъ, сказалъ онъ:—я не сомнѣваюсь въ вашей искренности, но не знаю, чѣмъ объяснить себѣ это. Значитъ... значитъ, вы прядете все ту же нитку! Это рѣдкое терпѣнье и обиліе матеріаловъ...

— Что вы хотите этимъ сказать? Вы думаете, что нельзя одинаково горячо и постоянно любить человѣка шесть лѣтъ къ ряду? съ самоувѣренной улыбкой спросила Наташа.

— Не совсѣмъ такъ! хотя, признаюсь вамъ, по моему мнѣнію, и для этого надо большое счастье и много благопріятныхъ условій. Но и въ этомъ случаѣ я допускаю эту живучесть только тогда, когда чувство растетъ, принимаетъ въ себя новую пищу, само перемѣняетъ формы. Но чтобы въ немъ

не было пережитаго, не было тѣхъ частей, которыя отжили и должны отпасть, какъ прошлогоднія листья, чтобы на него не наросло новыхъ слоевъ, новой коры и кожи — этого я, признаюсь, не понимаю!

— Оттого, что вы чувство считаете за кусокъ дерева и совсѣмъ не способны къ нему, сказала Наташа съ нѣкоторой горечью.—Вы матеріалистъ? спросила она немного холодно.

Въ это время вошелъ Соковлинъ.

— Да, пожалуй, матеріалистъ, отвѣчалъ Комлевъ, здороваясь съ Соковлинымъ: — только если дадите матеріи значеніе пошире и не будете меня загонять въ извѣстныя рамки, которыми обыкновенно разгораживаютъ матеріалистовъ, сенсуалистовъ, спиритуалистовъ и разныхъ «истовъ». По мнѣ, всѣ эти перегородки ужасно шатки, и надобно быть очень сухимъ и спокойнымъ, чтобы залѣзть и сидѣть въ нихъ, не раздвигая ихъ и не захватывая кой-чего по сторонамъ.

— Ого! сказалъ Соковлинъ, садясь въ сторонѣ:— да у васъ, кажется, серьезное преніе...

— Нѣтъ! отвѣчалъ Комлевъ:—мы больше о чувствахъ. При всемъ уваженіи къ уму Натальи Дмитріевны, я долженъ сознаться, что не люблю съ женщинами серьезно говорить о другихъ вещахъ.

— Это отчего? спросила Наташа. — Развѣ мы неспособны говорить ни о чемъ другомъ?

— Извините за откровенность,—но я такъ думаю, съ убѣжденіемъ отвѣчалъ Комлевъ. — Женщины могутъ говорить очень остро и мило, но мнѣ не случалось въ серьезныхъ разговорахъ слышать отъ нихъ ничего, кромѣ общихъ мѣстъ или парадоксовъ. Да это и понятно: у женщинъ одна спеціальность—чувства, да и въ тѣхъ онѣ не отдаютъ искренняго отчета даже себѣ; зачѣмъ же имъ претендовать на то, чего имъ не дано!

— Странно, въ наше время, слышать отъ человѣка образованнаго такое мнѣніе! замѣтила съ дурно скрытымъ неудовольствіемъ Наташа.—Такъ по вашему, мы не можемъ и не должны принимать никакого участія въ общественныхъ интересахъ? съ одушевленіемъ спросила она.

— О, нѣтъ! отвѣчалъ Комлевъ. — Во первыхъ, вы имъ можете горячо сочувствовать; во вторыхъ, сдѣлать весьма многое черезъ мужчинъ, потому что, надо сознаться, если вы мало способны дѣлать что либо сами по себѣ, такъ за то, къ сожалѣнію, можете все дѣлать изъ насъ.

— Ну, по васъ этого не замѣтно!—и вы, кажется, хотите только подсластить пилюли любезностью, насмѣшливо замѣтила Наташа.

— Меня упрекаютъ иногда въ излишней и жесткой откровенности,—но въ любезностяхъ я, право, не грѣшенъ, искренно отвѣчалъ Комлевъ. — Впрочемъ, я вамъ высказалъ свое полное убѣжденіе: позвольте мнѣ не спорить за него въ такомъ серьезномъ и спорномъ предметѣ, какъ права женщины.

— Вы боитесь услышать въ возраженіе только общія мѣста! продолжала съ прежней ироніей Наташа.

— Я боюсь еще больше самъ повторять ихъ, съ улыбкой замѣтилъ Комлевъ.

Наташа закраснѣлась отъ этого тоже не совсѣмъ лестнаго отвѣта, но не возражала, и разговоръ принялъ другой оборотъ. Комлевъ отобѣдалъ у Соковлиныхъ и уѣхалъ, взявъ у Сергѣя Иваныча нѣсколько книгъ и обѣщая взамѣнъ прислать ему нѣкоторыя изъ своихъ.

Вообще, онъ сошелся болѣе и говорилъ охотнѣе съ мужемъ, нежели съ женою. Къ Наташѣ онъ относился вѣжливо, добродушно, но съ нѣкоторой снисходительностью, какъ говорятъ взрослые съ малыми дѣтьми. Этотъ тонъ и манера не допускали мысли, чтобы за ними скрывалась злопамятность за дурно-принятую любовь; они только подтверждали возрѣніе Комлева на женщинъ. Наташа понимала это, но, привыкшая къ нѣжному и полному уваженія обращенію мужа, невольно оскорблялась жосткостью Комлева. Она старалась быть съ нимъ по прежнему дружественна, но ея чистосердечность и неумѣнье скрывать свои ощущенія мѣшали ей, и она невольно была съ нимъ холоднѣе. Когда Комлевъ уѣхалъ, мужъ подошелъ къ ней и, улыбаясь, спросилъ:

— А что, намъ, кажется, не очень понравились разсужденія нашего друга?

— Онъ меня сердитъ, отвѣчала Наташа.—Какъ въ его года быть до такой степени чорствымъ! онъ, кажется, сталъ педантомъ.

— Ну, нѣтъ, добродушно замѣтилъ Соковлинъ:— онъ только сухъ; но люди, подобные ему, имѣютъ свою хорошую сторону. Они дѣлаютъ дѣло, и дѣлаютъ добросовѣстно, хотя и по своему; они все хотятъ прямой пользы. Немудрено, что положительность убиваетъ въ нихъ всю нѣжную, поэтичную сторону жизни.

— Я не знаю, можетъ быть, онъ очень дѣльный и полезный человѣкъ, — но я не люблю такихъ, сказала Наташа, выдвинувъ нѣсколько презрительно губы.

— Да! въ нихъ нѣтъ того, что болѣе всего нравится женщинамъ: этого стремленія къ чему-то недостижимому, къ идеалу, нѣтъ титанизма или порыва къ нему; мы желали большаго, но желали неопредѣленно;—они знаютъ, чего хотятъ, и хотятъ возможнаго, но поэтому то и не годятся въ герои, которыхъ вы любите! улыбаясь, замѣтилъ Соковлинъ.

— Да, Комлевъ, пожалуй, можетъ быть отличнымъ человѣкомъ и мужемъ, но ужь въ герои конечно не годится! съ увѣренностью сказала Наташа.—«Что жъ мудренаго, что онъ до сей поры не былъ ни кѣмъ любимъ»! подумала она.

III.

Комлевъ продолжалъ бывать у Соковлиныхъ, и они ему всегда были искренне рады. Въ ихъ до-

ревенской и нѣсколько разъединенной съ обществомъ жизни — человѣкъ, какъ онъ, былъ гостемъ дорогимъ. Соковлинъ, если Комлевъ не бывалъ у нихъ нѣсколько дней, самъ заѣзжалъ къ нему и часто привозилъ его съ собою. Отношенія Наташи къ Комлеву приняли какой-то странный характеръ. Заочно она была расположена къ нему, какъ къ доброму и старому другу, встрѣчала его всегда съ радушіемъ и искреннимъ удовольствіемъ, — если онъ не ѣхалъ долго, то скучала; но при свиданіи, его рѣзкій, нѣсколько жосткій тонъ, недостатокъ мягкости и снисходительности, недостатокъ той бережности, которая заставляетъ обращаться съ женщиной такъ же осторожно, какъ съ дорогой и хрупкой вещицей, — все, къ чему такъ привыкла Наташа, и что было чрезвычайно просто, нѣжно, и такъ нравилось ей въ мужѣ,— недостатокъ всего этого въ Комлевѣ раздражалъ ее и заставлялъ иногда смотрѣть на него съ враждебнымъ чувствомъ, тѣмъ болѣе, что это былъ единственный человѣкъ послѣ мужа, чьимъ мнѣніемъ она дорожила.

Это положеніе было совершенно противуположно тому, въ которомъ она встрѣтилась съ Соковлинымъ. Не смотря на то, что она была тогда полуразвитая дѣвочка, и, сознавая превосходство Соковлина, робѣла и смирялась предъ нимъ, онъ такъ высоко цѣнилъ ея чистоту и прелесть, что, бережно и нѣжно возвышая ея понятія до своихъ, самъ склонялся подъ ея женственнымъ вліяніемъ. Теперь, когда она, казалось, болѣе имѣла правъ на это вліяніе, Комлевъ не признавалъ его; онъ— посторонній и одними свѣтскими условіями обязанный на большую внимательность, онъ, любившій ее когда-то, и въ ея мнѣніи стоявшій ниже Соковлина—жостко и прямо касался тѣхъ струнъ, которыя мужъ ея до сихъ поръ берегъ и лелѣялъ въ ней, какъ нѣжный любовникъ. Все это оскорбляло ее: и въ Комлевѣ, какъ въ человѣкѣ, къ которому она была дружески расположена, и въ ея собственномъ самолюбіи; точно такъ же, какъ въ другомъ кругѣ оскорбляли бы ея женское самолюбіе—невниманіе и небрежность какого нибудь вполнѣ свѣтскаго и хорошо воспитаннаго человѣка. Наташа въ первый разъ, въ своей тихой и полной семейнаго счастія жизни, волновалась постороннимъ вліяніемъ и часто теряла то спокойствіе и душевную тишину, съ которыми совершенно сроднилась, и подъ которыми медленно замирало все ея тревожное, порывистое, молодое. Наташа замѣчала это и безпокоилась; она чувствовала безсознательно, что что-то надламывается въ ея такъ хорошо устроившейся жизни, что-то грозитъ потревожить и измѣнить ее; она уже смутно чувствовала обаяніе и потребность тревогъ: долго сдерживаемыя и убаюкиваемыя молодыя силы начинали пробуждаться и требовать исхода; на нее вѣяло уже тѣмъ безотчетнымъ и сладкимъ страхомъ, который предшествуетъ этимъ желаннымъ тревогамъ; но ей хотѣлось не поддаваться имъ, хотѣлось все бы привести въ прежній порядокъ, все примирить, успокоить. Всякій разъ дружески встрѣчала она Комлева и хотѣла остаться на этой дружественной ногѣ, и всякій разъ Комлевъ какимъ нибудь рѣзкимъ замѣчаніемъ, движеніемъ, тономъ невольно раздражалъ ее.

Разъ Соковлинъ поѣхалъ въ городъ, и обѣщалъ Комлеву привезти нужныя ему по вводу во владѣніе бумаги, а Комлевъ хотѣлъ самъ заѣхать за ними къ Соковлину. Дѣйствительно, онъ пріѣхалъ передъ вечеромъ; но Соковлинъ еще не возвращался. Наташа приняла его въ полукругломъ стеклянномъ выступѣ, который выдавался изъ гостиной; онъ былъ весь заставленъ зеленью: плющь вился по стѣнамъ, орхидеи узлами спускались съ корзинъ; нѣкоторые изъ деревьевъ и цвѣтовъ начинали распускаться; сквозь высокія стеклянныя рамы пробирался свѣжій воздухъ, и эта смѣсь чистаго, уже отзывающагося весною воздуха съ запахомъ первыхъ цвѣтовъ была нѣжна и отрадно раздражительна. А передъ домомъ уже виднѣлись на припекѣ лужи; дорога потемнѣла; прилетѣвшіе грачи кричали и расхаживали, поглядывая бокомъ на окна; теплое солнце тихо садилось, и на всемъ лежалъ такой спокойный и улыбающійся задатокъ ясныхъ и лучшихъ дней, что даже дворовая собака, степенно усѣвшаяся у воротъ, казалось, тихо и безъ всякихъ мыслей и мечтаній наслаждалась природой и не интересовалась даже поломъ пробѣгающей мимо, посторонней и совершенно незнакомой, шавки.

— Мужъ еще не пріѣхалъ, сказала Наташа, здороваясь съ Комлевымъ: — и мы, какъ видите, поджидаемъ его.

Наташа показала на хорошенькаго ребенка, который сидѣлъ у нея на колѣняхъ и большими карими глазами удивленно смотрѣлъ на незнакомое лицо.

— Вы не видали еще моего Андрюшу, — какъ вы его находите? спросила она.

— Ничего! хорошенькій; а коль не заплачетъ, такъ, пожалуй, найду, что и умный, отвѣчалъ Комлевъ, сторонясь отъ него.

— Вы, кажется, и дѣтей не любите? спросила Наташа.

— И дѣтей! какъ будто я ничего не люблю на свѣтѣ!.. смѣясь, отвѣчалъ Комлевъ. — До дѣтей, правду сказать, я дѣйствительно не большой охотникъ: своихъ, я понимаю, можно любить, какъ частицу себя, какъ свое будущее; а чужіе — не то звѣрки, не то люди; не знаешь, какъ и подступиться къ нимъ; того и гляди—не понравится имъ физіономія, они расплачутся и выйдетъ *сцена*, чего я боюсь больше всего на свѣтѣ.

— Хорошаго вы мнѣнія о дѣтяхъ! сказала Наташа. — Вы не стоите, чтобы они у васъ и были когда нибудь. Человѣкъ, который не любитъ дѣтей,—злой человѣкъ.

— Ну, вотъ видите, не правъ ли я, что не люблю ихъ? только вотъ въ первый разъ я васъ увидалъ

съ сыномъ, и еще прекрасно отозвался о немъ а ужь оказался злымъ: мало умилялся! Я ихъ не люблю потому, что боюсь; а боюсь потому, что у матерей самое раздражительное изъ авторскихъ самолюбій.

— И онѣ на это имѣютъ право, потому что это лучшее и высшее изъ произведеній! горячо сказала Наташа.

Комлевъ ухмыльнулся.

— Какъ легко вамъ дѣлаться Шекспирами! пробормоталъ онъ.

Наташа повернулась всѣмъ лицомъ къ ребенку, такъ что Комлеву видна была только часть зарумянившейся щеки ея.

— Что, дитя мое! Вздоръ говоритъ Комлевъ? сказала она.—Хорошо, что ты не слушаешь его; не слушай, другъ мой!

Вслѣдствіе этого воззванія, тотъ котораго показался ребенку жалобнымъ, онъ счелъ за приличное заплакать. Наташа стала унимать и ласкать его, но это не дѣйствовало. Она невидала выраженія лица Комлева, но ей казалось почему-то, что онъ торжествуетъ. Ей совѣстно было показать, что все это сердитъ ее, и она, лаская и успокоивая ребенка, вышла.

Комлевъ остался одинъ, закурилъ сигару и началъ пересматривать попавшійся подъ руки журналъ.

Прошло нѣсколько минутъ, прежде нежели возвратилась Наташа. Она вошла безъ ребенка. Лицо ея было уже спокойно, но нѣсколько задумчиво. Она сѣла за работу и не прерывала молчанія; она думала о чемъ-то.

— Послушайте, Комлевъ, бросьте книгу! сказала она наконецъ, не поднимая глазъ съ работы:—мнѣ хочется поговорить съ вами серьезно.

Комлевъ молча закрылъ книгу.

— Но вы мнѣ должны прежде дать слово отвѣчать прямо, откровенно. Если вы не захотите быть искренни со мной, вы меня заставите раскаяться, что я васъ вызвала на этотъ разговоръ.

— Я надѣюсь, что этого не будетъ, отвѣчалъ Комлевъ.

Наташа помолчала минуту, не зная, какъ начать.

— Скажите мнѣ, вы ничего не имѣете противъ меня? спросила она, взглянувъ на него изъ подлобья.

Комлевъ съ недоумѣніемъ пожалъ плечами.

— Хотя бы не за настоящее, тихо и потупясь прибавила Наташа.—Мужчины, какъ женщины бываютъ въ иныхъ вещахъ страшно самолюбивы и злопамятны.

Комлевъ улыбнулся.

— О нѣтъ! простодушно отвѣчалъ онъ: моему самолюбію совсѣмъ не больно сознаться, что я тогда былъ мальчишкой въ сравненіи съ вашимъ мужемъ. И при томъ, развѣ я искалъ или могъ искать вашей руки, имѣть, какъ говорится, серьезные виды?

— Ого! тутъ маленькая эпиграмма! замѣтила Наташа.—Вы думаете, что мы такъ разсчетливы?.. Пусть такъ!.. Но объясните же мнѣ, продолжала она застѣнчиво:—отчего мы какъ-то недружелюбно сходимся съ вами? отчего вы сомной принимаете какой-то холодный, сухой тонъ, который невольно сердитъ меня? отчего мы не встрѣтились съ вами, какъ бы слѣдовало старымъ добрымъ друзьямъ?

Комлевъ пытливо посмотрѣлъ на Наташу.

— А если бы мы встрѣтились совсѣмъ по прежнему? спросилъ онъ:—если бы вы меня нашли такимъ же влюбленнымъ въ васъ, какимъ я уѣхалъ?—что бы вы сказали?

Наташа почувствовала, что она своимъ объясненіемъ неосторожно дотронулась до новой, давно умолкнувшей между ними струны. Страшенъ, но пріятенъ показался ей этотъ запретный звукъ. Ей было и любопытно и боязно; но она думала, что можетъ безупречно услышать его хоть слабое еще то волнующее дрожаніе и остановить по произволу. Она разсуждала точно такъ же, какъ разсуждаетъ человѣкъ, пріѣхавшій на востокъ,—передъ трубкой опіума: онъ знаетъ всѣ вредныя послѣдствія его, но ему любопытно его попробовать, и онъ вполнѣ увѣренъ, что не отдастся гибельному наслажденію.

— Мнѣ это было бы и грустно и непріятно, сказала Наташа.

— Вотъ видите ли, вы сейчасъ становитесь за готовое нравственное правило! А на дѣлѣ было бы совсѣмъ иначе, и повѣрьте, въ душѣ вы бы остались очень довольны этимъ...

Наташа промолчала, какъ бы повѣряя слова Комлева.

— И я приписываю ваше недовольство мною именно тому, что я не остался ни влюбленнымъ въ васъ, ни негодующимъ за прежнюю неудачу.

— Вы, можетъ быть, правы, сказала Наташа;—я, дѣйствительно, не хочу этого равнодушія или, лучше сказать, холодности, потому что тутъ есть третій исходъ и самый простой, желательный; я его назвала уже.

— Ужь если вы меня вызвали на откровенность, такъ я буду вполнѣ откровененъ и за васъ, и за себя, продолжалъ Комлевъ.—Вы шесть лѣтъ счастливы семейной жизнью—и вамъ этого мало, да!—позвольте мнѣ кончить, сказалъ онъ, замѣтивъ нетерпѣливое движеніе Соковлиной:—это уже не ваша вина, это тайна природы, тайна неудовлетворимости чувствъ, пока они не притупѣютъ. Но вы любите мужа и вдобавокъ не хотите позволить себѣ любить еще другаго,—у васъ есть на это и готовое нравственное правило; вотъ вы и желаете дружескихъ отношеній! Это любовь, разбавленная водой — любовь въ извѣстныхъ границахъ, и вдобавокъ дозволенная моралью; не полное удовлетвореніе потребности любви, а маленькое пріятное раздраженіе. Полусытые, т. е. тѣ, кому и безъ того уже есть, кого любить, или которые не смѣютъ еще любить другаго, — очень охотно позволяютъ себѣ это невинное дополненіе. Но я не въ томъ положеніи, чтобы имъ довольствоваться, да и во-

обще не люблю этихъ получувствъ и шатающихся положеній. Неужели вы думаете, что человѣкъ еще молодой и свободный можетъ встрѣчаться съ женщиной, какъ вы, вдобавокъ съ женщиной, которая ему нравилась, безъ того, чтобы ему не хотѣлось ея любви, когда и безъ того ни одинъ мужчина не встрѣчаетъ равнодушно симпатичную ему женщину! Или вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что я зачерствѣлъ или превратился въ кусокъ льда? Да вѣдь это была бы болѣзнь или уродство... Да! я желалъ бы любить васъ, и вы въ моихъ глазахъ имѣете все, чтобы заставить себя любить страстно. Но я не изъ тѣхъ праздношатающихся донъ-жуановъ, которые ищутъ въ любви препровожденія времени, и не изъ тѣхъ, которые бросаются въ нее, очертя голову. Я уважаю вашего мужа, мнѣ нравится гармонія вашей жизни, и я, ни на что не надѣясь, не позволю себѣ, пока могу, смущать ее. Вотъ вамъ объясненіе, почему я стараюсь какъ можно дальше держать себя; короткость скользка, и я за себя не ручаюсь: безъ нея мнѣ легче владѣть собой... Теперь, хотите вы этой короткости? прибавилъ онъ, и на послѣднихъ словахъ его серьезный и рѣзкій тонъ какъ будто ослабѣлъ и сталъ тише, мягче и неувѣреннѣе, точно колеблющійся шагъ, на которомъ явилась готовность воротиться назадъ.

Комлевъ замолчалъ и пытливо посмотрѣлъ на Наташу, ожидая ея отвѣта.

Наташа была смущена словами Комлева; она не ожидала и не приготовилась къ такой холодной, рѣзкой откровенности. Она была бы еще болѣе затруднена ею, если бы не почувствовала своимъ женскимъ инстинктомъ, что въ послѣднемъ вопросѣ Комлева было нѣчто заискивающее, какая-то проба ея чувствъ, надежда на ея уступчивость. Она и оскорбилась этимъ предположеніемъ, и была довольна имъ, потому что въ немъ видѣла свою женскую силу. Легкая насмѣшливая улыбка сложилась кругъ ея рта и блеснула въ глазахъ.

— Я и не знала, что моимъ очень простымъ, какъ мнѣ казалось, желаніемъ, чуть не напросилась на вашу любовь и на свою гибель. Нѣтъ! слуга покорная! на этихъ условіяхъ я не хочу вашей дружбы: я не думала, что она такъ опасна. Хоть мнѣ и надоѣло, какъ вы думаете, семейное счастіе, но ужь я лучше придержусь его и нравственныхъ правилъ. Но вы поступаете благородно и осторожно, и я очень благодарна, что вы мнѣ разъяснили все это.

Комлева подернуло отъ этой насмѣшки. Онъ, на минуту вышедшій изъ своего обыкновеннаго положенія, точно ужаленный, вдругъ снова ушелъ въ себя; на энергичномъ и открытомъ его лицѣ на мгновенье отразилась вся вспыхнувшая внутри досада на себя и Наташу. Но онъ тотчасъ овладѣлъ собой и отвѣчалъ спокойно.

— Я не имѣю привычки, сказалъ онъ:— становиться на ходули и дѣлать изъ себя героя; вы требовали откровенности, я вамъ высказалъ все, что думаю, и о чемъ, безъ вашего вызова, конечно, никогда бы не сказалъ. Вы можете выводить какія угодно заключенія, и если это вамъ кажется смѣшно, я очень радъ, что доставилъ вамъ маленькое удовольствіе посмѣяться.

Комлевъ взялъ фуражку и всталъ.

— Куда это вы? спросила Наташа. — Неужели вы сердитесь за шутку?

И ей вдругъ показалось, что она была несправедлива и неблагодарна съ Комлевымъ.

— Нѣтъ! улыбаясь, отвѣчалъ Комлевъ.—Но мы такъ откровенно высказались сейчасъ, что ужь сегодня намъ не о чемъ, кажется, и говорить.

И онъ, прощаясь, подалъ ей руку.

— Вздоръ! сказала Наташа, медленно подавая ему свою.— Ну, я виновата. Полноте, оставайтесь!

— Да я вовсе не сержусь, и не желалъ вашихъ извиненій. А просто, вашъ мужъ долго не ѣдетъ— а мнѣ пора домой.

— Это пустая отговорка! Оставайтесь. Ну, останьтесь! настоятельно сказала Наташа и, не выпуская его руку, удержала его.

— Зачѣмъ?... нерѣшительно сказалъ Комлевъ, смотря въ ея ясные, приподнятые на него глаза.

Нѣсколько мгновеній они смотрѣли другъ на друга, и вотъ что-то безпокойное зардѣлось у нихъ въ глазахъ, страстно смущающей мыслью вспыхнуло, точно порохъ, точно электрической искрой сверкнуло изъ глазъ въ глаза, передалось изъ руки въ руку. Они бы сами не могли опредѣлить, въ комъ родилась эта мысль, и что такое была она. Показалось ли Комлеву, что Наташа подъ вліяніемъ болѣе нѣжнаго чувства удерживаетъ его — и Наташа угадала это подозрѣніе и смутилась имъ; самой ли Наташѣ пришло на умъ, что Комлевъ можетъ иначе истолковать ея просьбу — и Комлевъ угадалъ ея мысль; или это было послѣдствіемъ чисто физическаго ощущенія руки, державшей руку, глазъ, устремленныхъ въ глаза — молодыхъ, впервые вспыхнувшихъ стремленій, — они не знали и не могли рѣшить; только это было мгновенно, неожиданно, точно какое-то знойное опьяняющее вѣяніе пахнуло на нихъ и подняло всю кровь. Краска бросилась у нихъ въ лицо, взглядъ смутился; Наташа поспѣшно отдернула руку и быстро обернулась къ окну.

Рука Комлева опустилась, но онъ остался какъ вкопанный. Въ головѣ у него была какая-то путаница. Онъ смотрѣлъ по тому же направленію, и взглядъ его уперся въ затылокъ Наташи. Онъ только видѣлъ ясно-очерченную линію, начавшуюся двумя косичками, которую образовалъ засѣвъ черныхъ волосъ на шеѣ. Онъ не отдавалъ себѣ отчета, какъ изящно и симметрично изогнута эта линія, какъ нѣжна ея тонкая шея, какъ густъ черный узелъ косы. Онъ чувствовалъ только какое-то горячее смущеніе, и боялся тронуться, чтобы не очнуться отъ него. Мысли Наташи были также смутны, неопредѣленны, только къ нимъ примѣшивался какой-то пріятный страхъ. Она также не-

опредѣленно смотрѣла въ окно, ничего не видя, не различая. Продолжалось ли это состояніе мгновеніе или минуты — они не чувствовали; но Наташа первая очнулась, какъ отъ обморока. Первая мысль, которая шевельнулась въ ней, была мысль о мужѣ. Она не отдавала себѣ отчета въ ней; но слово «мужъ!» «мужъ!» только и было у ней на умѣ, до того, что она едва не произнесла его вслухъ. Она чувствовала, что это ея якорь спасенія, что она будто виновата передъ нимъ, что ей надо что нибудь для него сдѣлать. Потомъ вспомнила о Комлевѣ и не знала, что дѣлать съ нимъ, не рада была, что оставила его.

— Поѣдемте мужа встрѣчать, сказала она вдругъ, какъ только эта мысль мелькнула у ней въ головѣ—такъ она обрадовалась ей.

— Поѣдемте, сказалъ Комлевъ, приходя въ себя.

Наташа торопливо позвонила, избѣгая взгляда Комлева, который чувствовала на себѣ. Она боялась, что онъ замѣтитъ ея смущеніе.

— Вели лошадь заложить, сказала она вошедшему слугѣ.— А я пойду одѣться, прибавила она Комлеву, и поспѣшно вышла.

Комлевъ сѣлъ, безцѣльно смотрѣлъ въ окно и все думалъ: что это такое? и наконецъ, было ли тутъ что нибудь, и что именно?—такъ все это было неопредѣленно, безпричинно и замѣтно только по смущенію, внутреннему довольству, которое оставило по себѣ. Онъ не помнилъ, долго ли онъ такъ оставался, пока не вошла Наташа. Она была въ салопѣ и капорѣ: на лицо была спущена вуаль.

— Ѣдемте, сказала она.

Онъ взялъ фуражку и вышелъ за ней; слуга накинулъ на него шубу. У подъѣзда стояли широкія, покрытыя ковромъ пошевни, заложенныя одиночкой. Они сѣли и поѣхали.

Переѣхавъ поперегъ улицу, они выѣхали въ поле. Подтаявшая и осѣвшая дорога была ровна. Кучеръ пустилъ рысистую лошадь. Мягкій вѣтерокъ дулъ имъ въ лицо. Брызги оттаявшаго снѣга летѣли по сторонамъ. Чистый, розовенькій закатъ догоралъ прозрачно и ясно. Наташа и Комлевъ не говорили ни слова, ни о чемъ не могли думать. Они чувствовали только, что сидятъ тутъ, близко одинъ отъ другаго. Жизнь полнѣе играла въ нихъ; міръ какъ будто раздвинулся; грудь дышала шире и требовала воздуха. Наташа откинула вуаль и подставила разгорѣвшееся лицо на встрѣчу вѣтру и брызгамъ...

Они отъѣхали версты три до перелѣска, въ который заворачивалъ проселокъ. Дорога становилась ухабиста; кучеръ сдержалъ лошадь.

— Что, не видать? спросила Наташа.

— Не видать-съ, отвѣчалъ кучеръ, приподнимаясь на козлахъ и заглядывая впередъ.—Не проѣхали ли они развѣ на Мокриху? Тутъ лѣсомъ— дорога плоха!...

— Воротись, сказала Наташа.

Кучеръ повернулъ и, проѣхавъ нѣсколько саженъ, хотѣлъ пустить лошадь.

— Тише сказала Наташа и опустила вуаль.

Они подъѣзжали къ дому, и Наташу мучила мысль, что она будетъ дѣлать съ Комлевымъ, если мужъ не скоро пріѣдетъ? Она боялась остаться съ нимъ; она припомнила слова Комлева: «намъ и сегодня, кажется, не о чемъ ужь говорить», и вспомнивъ, по какому поводу были сказаны эти слова и по какому сбываются—зарумянилась и невольно улыбнулась подъ вуалью. Къ счастію, подъѣхавъ къ крыльцу, она увидѣла, что опасенія ея были напрасны, и точно какой-то камень скатился съ нея. На дворѣ стояла еще неотложенная повозка Соковлина.

— Отчего ты такъ долго не возвращался! съ неудовольствіемъ сказала Наташа встрѣчавшему ее мужу.

— Развѣ можно скоро выѣхать, когда имѣешь какія нибудь дѣла въ судѣ? отвѣчалъ Соковлинъ. Онъ подошелъ къ ней и поцаловалъ въ голову.

— Что съ тобой? ты такъ разгорѣлась? спросилъ онъ, поднявъ ея голову и смотря ей въ глаза.

— Ничего! оставь! нетерпѣливо сказала она.— Это отъ воздуха. Мы уже соскучились и ѣздили встрѣчать тебя.

— Знаю! Я поѣхалъ объѣздомъ: тутъ лучше дорога. Ну, давай намъ скорѣе чаю! весело сказалъ Соковлинъ; но когда Наташа пошла распорядиться имъ, онъ внимательно посмотрѣлъ ей вслѣдъ.

— Что, она не жаловалась вамъ на нездоровье? озабоченно спросилъ онъ Комлева, здороваясь съ нимъ: — у нея какой-то лихорадочный блескъ въ глазахъ.

— Нѣтъ, она ничего не говорила, и я этого незамѣчаю, отвѣчалъ Комлевъ.

Подали самоваръ. Разговоръ шелъ о дѣлахъ и маленькихъ новостяхъ, слышанныхъ Соковлинымъ въ городѣ. Наташа почти не принимала въ немъ участія. Напоивъ ихъ чаемъ, она сказала, что у ней отъ вѣтру болитъ голова, и ушла. Одна дверь изъ чайной выходила въ ея кабинетъ. Опустивъ тяжелыя портьеры, Наташа сѣла въ глубокое кресло, недалеко отъ двери. Ей былъ слышенъ весь разговоръ мужа съ Комлевымъ. По поводу какой-то недавно прочитанной имъ книги, Соковлинъ завелъ рѣчь о новыхъ философскихъ школахъ. Комлевъ возражалъ ему мало, отрывочными фразами. Ему было не до Фейербаха и Фишера, не до безусловнаго существа: онъ думалъ, что дѣлается рядомъ за портьерой, что дѣлаетъ и думаетъ Наташа, которая, вѣроятно, тутъ гдѣ нибудь близко. Но порой слова Соковлина раздражали его; раздражалъ его не образъ мыслей, не идеи, имъ высказываемыя, а просто самый споръ, на который Соковлинъ вызывалъ его, его слова, которыя мѣшали ему думать о другомъ! Тогда Комлевъ возражалъ ему холодно, рѣзко. Его убѣжденія, какъ убѣжденія всякаго самостоятельнаго человѣка, не подчинялись извѣстной школѣ, авторитету; но его матеріальный, строго научный

взглядъ обрывалъ, какъ листья, полуидеальный и примиряющій взглядъ Соковлина. Комлевъ не строилъ теорій и не сочувствовалъ имъ: про все, еще недоступное уму и опыту, онъ прямо говорилъ: «я незнаю», и тѣмъ легче разбивалъ хитрыя теоріи и умозрѣнія Соковлина. Наташа ловила каждое слово Комлева. Она его слушала не потому, что ей были новы слова, не потому, что она раздѣляла взглядъ Комлева; напротивъ ея глубоко-религіозное чувство обдавало холодомъ и ужасомъ отъ этихъ словъ. Но съ ней, въ отношеніи Комлева, случилось то необъяснимое, но тѣмъ не менѣе истинное, психологическое явленіе, по которому одинъ человѣкъ — и только одинъ — становится вдругъ внѣ нашего суда, вырывается изъ-подъ нашего критикующаго взгляда. Это первый симптомъ любви, разительно сходный съ маніаніей! Наташа съ глубокимъ вниманіемъ слушала слова Комлева потому только, что говорилъ ихъ Комлевъ; отвлеченныя, примиряющія, болѣе близкія къ ея понятіямъ мысли Соковлина она отвергла. Она судила ихъ, и судъ этотъ былъ не въ ихъ пользу. Она находила его убѣжденія темными, шаткими; она имъ не сочувствовала и смотрѣла на нихъ съ пристрастнымъ предъубѣжденіемъ. Въ первый разъ она замѣтила въ умѣ мужа что-то слишкомъ мягкое, старческое, отживающее. Словамъ Комлева она бы еще менѣе должна была сочувствовать, но она принимала ихъ на вѣру, какъ аксіому, какъ фактъ, какъ нѣчто неопровержимое. Говори Комлевъ то, что говорилъ Соковлинъ, и она бы точно такъ же вѣрила ему. Комлевъ вышелъ изъ-подъ ея судящихъ способностей; онъ вдругъ, невѣдомо почему, сталъ для нея авторитетомъ, чтобы несказать болѣе—героемъ; онъ порабощалъ, подавлялъ ее; она могла его слушать, смотрѣть на него, замѣчать его странности, особенности, даже уродливости, если бы находила ихъ; но эти поступки, сужденія, странности она не обсуждала — они такъ должны были быть потому только, что принадлежали ему. Она не сознавала еще надъ собой этого факта, этой власти, но безсознательно уже подчинялась имъ. Между тѣмъ, слова Комлева совершенно противорѣчили всѣмъ ея, самымъ глубокимъ, самымъ крѣпкимъ убѣжденіямъ, съ которыми она выросла, которыя всосала вмѣстѣ съ молокомъ, восприняла изо всей съ дѣтства окружающей ее среды. Соковлинъ никогда не высказывалъ ей своихъ религіозныхъ убѣжденій, онъ уважалъ и обходилъ ея наивныя чувства, находя ихъ чѣмъ-то присущимъ женщинѣ. Иногда урывками, въ словахъ и книгахъ, до нея доходили идеи современныхъ мыслителей—но она смотрѣла на нихъ какъ-то вскользь, какъ на плоды «ума холодныхъ наблюденій,» до нея такъ же мало касающихся, какъ механика, химія и прочія *не женскія* науки. И теперь, откровенный разговоръ, который она слышала, былъ совершенно новъ для нея, но она слушала его тѣмъ съ большимъ интересомъ, что въ немъ высказывался Комлевъ. Его слова нисколько не колебали ея религіозности; она ихъ не примѣняла къ себѣ, не свѣряла съ своими убѣжденіями: она имъ удивлялась, заслушивалась ихъ какъ страшной сказки. Новымъ, сильнымъ и безпристрастнымъ человѣкомъ выросталъ передъ ней Комлевъ въ этомъ разговорѣ. Ей было страшно за него, и она удивлялась ему. Она думала, какъ много нужно было смѣлости, твердости и высокаго нравственнаго развитія, чтобы отбросить всѣ обольстительныя и успокоивающія мысли, отвергнуть всякую опору и идти одному, идти прямо, честно, строго развивать и нести всѣ благородныя способности на службу человѣчеству — увидѣть впереди одну могилу и ничтожество. Она не видала уже въ немъ, бѣдная, больная страстью, женщина, тѣхъ сухихъ, разсудочныхъ и холодно наложенныхъ на себя правилъ, прикрывающихъ внутреннюю скудость, которыя прежде смутно чувствовала. Составивъ себѣ этотъ нравственный образъ Комлева, она переносилась къ его наружности и живо представляла ее себѣ. Она находила, что эта наружность именно такова и должна быть, чтобы соотвѣтствовать ему. Ни одной лишней или недостающей черты; смѣлый, бодрый видъ, высокій, сильно развитый лобъ, умные, зоркіе глаза, энергически выгнутое переносье, все — до нѣсколько презрительно-вздернутаго носа и взъерошенныхъ къ верху волосъ — все шло къ нему, все соотвѣтствовало его характеру; чѣмъ-то молодымъ, крѣпкимъ и здоровымъ вѣяло отъ него. И воображеніе ея, чистое и нераспущенное, остановясь на наружности Комлева, вдругъ иногда самовольно, со всей молодостью желанья, рисовало ей такой разоблаченный образъ, такія картины, что Наташа, закрывъ лицо руками, невольно съ прерывающимся дыханіемъ отдавалась имъ, и потомъ очнувшись, старалась сбросить ихъ и вырваться изъ ихъ подавляющей власти, какъ отъ кошемара.

Воспользовавшись первымъ случаемъ, Комлевъ прекратилъ споръ и уѣхалъ; онъ не надѣялся въ этотъ вечеръ увидать Наташу: зачѣмъ же ему было оставаться?

Когда Соковлинъ проводивъ его, вошелъ въ спальную онъ нашелъ жену уже въ постелѣ. Соковлинъ осторожно подошелъ къ ней, но лицо ея было спрятано въ подушку.

Ты спишь, Наташа? тихо спросилъ онъ.

Отвѣта не было.

IV.

Наташа на другой день была блѣдна и нѣсколько слаба, но покойна, какъ будто за ночь она перенесла болѣзнь и начинала выздоравливать. Дѣйствительно, та бѣздна новыхъ мыслей и ощущеній, которыя она переработала и перечувствовала въ эту ночь, стоила болѣзни. Этихъ мыслей нельзя ни перечислить, ни передать; сознаніе чувства къ

Комлеву, которое она боялась сама себѣ даже назвать любовью, новый, какой-то посторонній взглядъ на мужа, на свои обязанности,—все это и пропасть другихъ мыслей, толпой, несвязно, сбивчиво, то ярко, то смутно проносилось безотвязно въ ея головѣ—прерывалось или страстными до самозабвенія или возбуждающими въ ней ненависть картинами, которыя отрывочно, но поразительно ясно, вдругъ рисовало ея воображеніе,—и все это она перечувствовала въ двухъ шагахъ отъ мужа, который спалъ, казалось, безмятежно, а иногда еще слегка всхрапывалъ. Наташа чувствовала, что голова ея горитъ и ломится отъ напора этихъ потрасающихъ мыслей и картинъ: она думала, что заболеваетъ и что съ ней начинается жаръ и бредъ. Но къ утру она проснулась уже съ какой-то безжизненностью въ головѣ, точно мозгъ ея, такъ страшно работавшій всю ночь, усталъ и не хотѣлъ принимать ни новыхъ мыслей, ни впечатлѣній. Она принялась за свои обычныя занятія машинально. Съ мужемъ встрѣтилась за чаемъ; но встрѣча съ нимъ не напоминала ей ни вчерашней сцены, ни укора. Напротивъ, она чувствовала себя холоднѣе къ нему, независимѣе, самостоятельнѣе: точно между нимъ и ею оборвался тотъ невидимый нервъ, который связывалъ ихъ между собою, дѣлалъ изъ ихъ отдѣльныхъ жизней одну цѣльную, взаимно-дѣйствующую жизнь.

— Да здорова ли ты, Наташа? спросилъ Соковлинъ, пощаловавъ ее, по обыкновенію, въ голову, и безпокойно поглядывая въ глаза жены.

— Здорова, лѣниво и съ неудовольствіемъ отвѣчала она.

Она принялась за работу, но часто, воткнувъ иглу, останавливалась и, неподвижно прищуривъ глаза, точно всматривалась во что-то; сидѣла такъ нѣсколько минутъ и потомъ снова, но поспѣшнѣе принималась шить. Мало по малу сознаніе настоящаго положенія стало яснѣе представляться ей. Она сдѣлалась мягче и нѣжнѣе съ мужемъ и задумчивѣе. Она знала, что Комлевъ не пріѣдетъ въ этотъ день, но передъ вечеромъ стала безпокойнѣе, вздрагивала отъ каждаго нечаяннаго стука, какъ будто противъ воли ждала кого-то. Когда стало уже такъ поздно, что нельзя было ждать чьего либо пріѣзда, она успокоилась, но видно было, что одна какая-то мысль сильно занимаетъ ее.

Вечеромъ, когда Соковлинъ читалъ по обыкновенію что-то изрѣдка отрывая отъ книги глаза и взглядывая на Наташу, сидящую за работой, она сказала ему:

— Сережа! я завтра думаю начать говѣть.

Надобно замѣтить, что это было въ исходѣ великаго поста.

— Что тебѣ вздумалось? Вѣдь ты говѣешь обыкновенно лѣтомъ, съ удивленіемъ спросилъ Соковлинъ.

— Такъ! Мнѣ хочется нынче... Мнѣ хочется молиться, сказала она тихо и не поднимая глазъ.

— Какъ знаешь, равнодушно сказалъ мужъ:— нынче только дорога нехороша.

— Это ничего, замѣтила Наташа.

Соковлинъ продолжалъ читать; но, взглянувъ на Наташу и увидавъ, что она потупилась въ работу, онъ долго и пристально смотрѣлъ на жену. Въ его взглядѣ видно было и безпокойство, и тотъ смутный блескъ, который невольно свѣтится въ глазахъ, когда въ душѣ раждается въ первый разъ сомнѣніе и подозрительность. Но Наташа сдѣлала движеніе, и онъ быстро погрузился въ чтеніе, поднявъ книгу въ уровень съ лицомъ. Наташа не замѣтила ни взгляда его, ни смущенія.

На другой день Наташа дѣйствительно начала говѣть. Ихъ приходское село было версты за четыре отъ деревни Соковлина и верстахъ въ трехъ отъ Комлева. Это была доживающая свой вѣкъ, старинная, низенькая деревянная церковь съ потолкомъ вмѣсто свода и деревяннымъ, сѣрымъ отъ времени куполомъ. (Не вдалекѣ на ея смѣну уже воздвигалась каменная, но не была еще достроена). У входа былъ навѣсъ, подпертый столбами съ точеными перильцами, какъ у старинныхъ домовъ. Невысокія окна съ желѣзной рѣшоткой пропускали мутный свѣтъ сквозь выцвѣтшія стекла, отъ времени принявшія уже радужный отливъ. Иконостасъ былъ изъ нѣсколькихъ образовъ стариннаго письма въ два яруса; одинъ изъ нихъ, Божіей Матери Троеручицы, былъ въ золоченой ризѣ. Надъ входомъ висѣла потемнѣвшая масляная картина, изображающая страшный судъ съ извивающимся змѣемъ, на которомъ были написаны всѣ грѣхи съ разными казнями, соотвѣтствующими каждому изъ нихъ: кто былъ повѣшенъ за языкъ, кто крюкомъ за бокъ, и проч. Священникъ, низенькій, плотный, въ бѣдномъ облаченіи совершалъ службу; на клиросѣ пѣлъ и читалъ одинъ дьячокъ, да изрѣдка попомарь, исправивъ другія обязанности, подходилъ къ нему и нещадно-фальшиво подтягивалъ. Служба шла монотонно. Между богомольцами была глубокая тишина, изрѣдка прерываемая набожнымъ вздохомъ или шопотомъ какой нибудь старухи, произносящей молитву. Богомольцевъ было не много, преимущественно женщины; кислый запахъ вносимый съ собою трудовымъ народомъ, мѣшался съ дымомъ ладона. Въ первый день Наташа не встрѣтила никого изъ знакомыхъ въ церкви; но на другой, выходя отъ обѣдни, она увидала стоящаго у стѣны Комлева. Его присутствіе не удивило ея: она какъ будто знала или чувствовала, что онъ тутъ. Онъ молча и почтительно поклонился; она, не останавливаясь, тихо поклонилась ему и, не глядя, прошла мимо; только на ея блѣдномъ лицѣ заигралъ слабый румянецъ.

Такъ шла недѣля. Не смотря на бѣдную обстановку, никогда Наташа, даже въ дни своей ясной дѣвичьей жизни, такъ не молилась. Это не были горячія, вырывающіяся изъ души молитвы женщины, чувствующей опасность и не надѣющейся на собственныя силы. Нѣтъ, ея молитвы были тихи;

но душа какъ-то раскрывалась къ излiянiю и воспрiимчивости, переполненная чувствами, какъ раскрывается для благоуханiя созрѣвшая, полная силъ и жизни, чашка цвѣтка. Присутствiе Комлева не мѣшало ей, не смущало ея; напротивъ, оно было ей потребно: она не думала о немъ, потому что знала, что онъ тутъ, въ нѣсколькихъ шагахъ за нею. Его присутствiе было именно ключемъ для ея настроенiя; оно шло къ нему, какъ недостающiй звукъ для полнаго аккорда. Тихо стояла она, прислонясь къ досчатой стѣнѣ, чувствуя на себѣ взглядъ Комлева; неразборчивое чтенiе дьячка, перiодически вытягивающаго нѣкоторыя слова, возгласы священника, шуршанье одежды богомолокъ, клавшихъ медленные земные поклоны,—все сливалось въ одинъ заунывный звукъ; вся бѣдная, сумрачная и ветхая обстановка, всѣ великопостныя молитвы,—все говорило о бренности и непрочности этой жизни. И вдругъ ворвется яркiй весенiй лучъ, ударитъ по сѣрымъ клубамъ дыма, теплом и блескомъ обдастъ лица — и обновленная жизнь ворвется съ нимъ туда, гдѣ все говоритъ о жизни загробной, и иныя мысли приносились съ этимъ лучемъ, и поспѣшно и часто Наташа начинала класть поклоны.

А Комлевъ? Причина, по которой онъ бывалъ постоянно на своемъ обычномъ мѣстѣ, ясна читателямъ. Мы не будемъ разбирать и впечатлѣнiй, которыя выносилъ онъ съ собою... Но замѣтимъ, что человѣкъ не легко отрѣшается отъ преданiй, въ которыхъ онъ выросъ. Просыпаются забытыя, но еще не порванныя нити; слетаютъ тихiе и когда-то дорогiе звуки,—и умъ, сознавая, что онъ безсиленъ еще передъ многими загадками въ жизни, не накладываетъ въ эти минуты свою холодную руку на едва уцѣлѣвшiя и слабыя, но когда-то звучавшiя струны.

А весна съ каждымъ днемъ дышала теплѣе и животворнѣе. Снѣгъ осѣдалъ, кровѣлъ и таялъ. Чище и голубѣе стало небо. Бывало, солнце только еще всходило, когда отправлялись въ ранней обѣднѣ наши богомольцы; издали доносился имъ навстрѣчу медленный благовѣстъ надтреснувшаго и маловѣснаго колокола; звукъ его былъ жидокъ и дребезжащъ, но добродушенъ и привѣтливъ, какъ добрый старческiй голосъ. Богомольцы съ разныхъ сторонъ шли по дорогѣ къ селу, еще тотчасъ по выходѣ изъ дому уже устроивъ у себя набожныя и постныя лица; они кланялись особенно низко и смиренно. Лужи, покрытыя тонкимъ льдомъ, подъ которымъ переливалась вода, маленькiя ямки, перетянутыя бѣло-молочными льдистыми иглами, хрустѣли и ломались подъ ногами; свѣжiй воздухъ охватывалъ лицо, и здоровая дрожь пробѣгала по тѣлу... Кончится обѣдня, выйдутъ они, обмѣнявшись безмолвнымъ поклономъ, вмѣстѣ съ народомъ; солнце уже бьетъ тепло и ярко; вода журчитъ по полямъ и овражкамъ; верба одѣлась пухомъ; лѣсъ точно молодѣетъ и наливается отъ поднимающихся въ немъ соковъ; горячѣе льется кровь отъ весенняго воздуха; сильнѣе бьется сердце, — и душа, точно сладко занывая, куда-то стремится и просится... Это лучшая пора для молитвы—и любви; и любовь ихъ росла и зрѣла еще быстрѣе пробуждающейся кругомъ природы.

Въ день, когда Наташа пріобщалась, Комлевъ пріѣхалъ поздравить ее, и остался до вечера. Наташа, вся въ бѣломъ, нѣсколько поблѣднѣвшая, со своими гладко-причесанными волосами и утомленными глазами, имѣла какой-то особенный видъ нѣжной чистоты. Комлевъ былъ съ нею мягче, почтительнѣе; онъ и говорилъ съ нею почему-то тише и бережнѣе, точно съ выздоравливающей. Въ обращенiи Соковлина съ нимъ и женою не было замѣтно никакой перемѣны; только разъ при женѣ онъ спокойно и какъ будто мимоходомъ спросилъ Комлева:

— А вы тоже говѣли нынче, Комлевъ?

— Нѣтъ, отвѣчалъ Комлевъ серьезно: — я смотрѣлъ, какъ молятся другiе, и завидовалъ.

Наташа кинула бѣглый взглядъ на мужа: она не говорила ему о встрѣчахъ съ Комлевымъ; но лицо его не выражало ни иронiи, ни задней мысли. Не смотря на то, она была уколота этимъ вопросомъ, и не отвѣчала въ свою очередь только потому, что не хотѣла придавать ему значенiя. Но въ душѣ она была благодарна Комлеву за его искренней и, главное, твердо высказанный отвѣтъ. Болѣе они не говорили объ этомъ.

—

Прошло еще недѣли двѣ. Комлевъ въ это время всего раза два, три былъ у Соковлиныхъ. По какой-то странной прихоти, Соковлинъ часто, хоть не надолго, оставлялъ жену съ Комлевымъ, подъ разными предлогами, однихъ, съ-глазу-на-глазъ. Можетъ быть, если подозрѣнiе уже зародилось въ немъ, онъ повиновался тому нетерпѣливому чувству, по которому больной поскорѣе хочетъ довести свой томительный недугъ до кризиса и готовъ часто усилить его, чтобы только чѣмъ нибудь покончить съ нимъ. Но эти свиданья и встрѣчи не повели ни къ чему. Точно сговорясь, Комлевъ и особенно Наташа избѣгали всякаго разговора, который могъ бы ихъ заставить хоть сколько нибудь высказаться.

Наступила пасха, и вмѣстѣ съ нею точно какая-то сдерживающая сила совершенно неожиданно сняла со всѣхъ свою руку. Лица, которыя за два дня носили набожное и робкое выраженiе — глядѣли теперь весело и бойко; бо́льшая часть деревни, которая недавно постилась и воздыхала, была пьяна и пѣла пѣсни; улица оживилась народомъ; казалось, солнце свѣтило веселѣе и ярче, и кровь живѣе и горячѣе билась въ жилахъ.

Общее настроенiе, хотя въ меньшихъ размѣрахъ, отразилось и на кружкѣ нашихъ дѣйствующихъ лицъ. Комлевъ въ первый же день пріѣхалъ къ Соковлинымъ. Они сошлись какъ-то дружнѣе и короче. Разговоръ былъ веселъ, непринужденъ и дышалъ теплою и откровенною симпатiей. Облако

которое молча росло и темнѣло между ними, казалось, разстаяло и упало освѣжающимъ дождемъ; зародившееся чувство, не дозрѣвъ до страсти, казалось, нашло исходъ въ дружеской привязанности.

Соковлины имѣли обыкновеніе на пасхѣ ѣздить въ Любановку — христосоваться съ тамошними крестьянами, которымъ въ это время дѣлалось угощеніе. Наташа, послѣ смерти матери, постоянно и съ любовью справляла эту поѣздку. За обѣдомъ зашла рѣчь о ней.

— Не хотите ли и вы ѣхать съ нами? сказалъ Соковлинъ Комлеву.

Комлевъ согласился съ удовольствіемъ, и поѣздка была назначена на другой день.

Утромъ Комлевъ пріѣхалъ къ Соковлинымъ, и они отправились. День былъ теплый, тихій. Они ѣхали въ открытыхъ дрогахъ. Соковлинъ сидѣлъ рядомъ съ женой, напротивъ ихъ Комлевъ. Солнце свѣтило ярко, но не жгуче; съ его теплыми веселыми лучами точно лилась какая-то оживляющая струя; по лугамъ стояли и сверкали свѣтлыя полосы водъ; прилетѣвшая птица кричала кругомъ своимъ весеннимъ, беззастѣнчивымъ и раздражающимъ крикомъ; даже въ наливающихся стволахъ деревьевъ и прутьевъ чувствовалось движеніе поднимающихся соковъ; полнота молодой закипающей жизни обхватывала кругомъ, вдыхалась въ воздухъ, слышалась ухомъ, видѣлась. Всѣ ѣхали молча. Соковлинъ, казалось, безмятежно наслаждался природой; но въ Наташѣ, а особенно въ Комлевѣ, проглядывала сдержанность: ихъ бременилъ избытокъ жизни и ощущеній; безпокойство, какія-то порывистыя стремленія просились высказаться и вырваться, и они не смѣли имъ дать воли. Новые, дышащіе чувствомъ, оттѣнки лежали на лицѣ Наташи и придавали ему полноту выраженія невиданную; румянецъ игралъ на щекахъ, глаза отуманивались и стали будто глубже и темнѣе; она ихъ постоянно отводила, чтобы не встрѣтиться взглядомъ съ Комлевымъ. Комлевъ, напротивъ, уловляя минуту, когда Соковлинъ не могъ его видѣть, искалъ ея взгляда и, давая на мгновеніе себѣ волю, смотрѣлъ на нее блестящимъ, твердымъ и страстнымъ взглядомъ; и такъ длился путь, полный утомляющаго, недосказаннаго, но тѣмъ не менѣе чуднаго, для Наташи и Комлева, упоенія.

На широкомъ любановскомъ дворѣ были поставлены столы съ пирогами, куличами и бараниной, съ боченками вина и пива. Крестьяне собрались еще задолго и ожидали пріѣзда господъ. Соковлинъ началъ со всѣми христосоваться Наташу обступили дворовые, и нѣкоторыя изъ крестьянокъ тоже христосовались съ ней, называли ее по старой привычкѣ барышней и дѣлали разныя замѣчанія, въ родѣ того, что она похудѣла или постарѣла. Началось угощеніе. Наташа сѣла на крыльцѣ, гдѣ стоялъ Комлевъ, смотрѣла на картину и разговаривала съ женщинами; но когда вино и пиво начали оказывать свое дѣйствіе, и мѣстами послышались пѣсни — она, чтобы не мѣшать веселости, встала и пошла въ домъ. Соковлинъ остался разговаривать съ крестьянами и старостой; но Комлевъ пошелъ за нею.

Они прошли по холоднымъ и опустѣлымъ комнатамъ; ихъ обдало сыростью, и тяжелое унылое чувство дохнуло отъ этихъ стѣнъ, когда-то домовитыхъ и полныхъ, какъ чаша; они поспѣшили выйти на террасу и молча остановились надъ перилами. Свѣжее дыханіе весны опять повѣяло на нихъ; снова жизнь настоящей минуты вступила въ свои права; къ ней присоединились воспоминанія того свѣтлаго прошлаго, которое текло, здѣсь, прошлаго, со всею поэзіей юности и отдаленности. Имъ вспомнилось невольно и прежнее чувство, блѣдное и слабое, какъ едва прочеркнувшійся въ облакахъ новый мѣсяцъ, и настоящая, еще невысказанная, но тѣмъ не менѣе полная, въ молчаніи и тиши созрѣвшая склонность. Это слiяніе прошлаго съ настоящимъ была та капля, которая переполняетъ сосудъ — они не могли молчать долѣе...

Комлевъ первый обернулся къ Наташѣ.

— Пойдемте въ садъ, сказалъ онъ, и въ голосѣ его слышалось внутреннее волненіе.

Наташа чувствовала приближающійся кризисъ; женская стыдливость еще слабо удерживала ее; она попробовала отговориться.

— Сыро, сказала она нерѣшительно.

Комлевъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе и началъ сходить одинъ. Наташа тихо и какъ будто невольно пошла за нимъ.

Внизу ступеней Комлевъ остановился, подождалъ ее и предложилъ ей руку. Она оперлась на нее и онъ быстро повлекъ ее по аллеѣ.

Въ саду было дѣйствительно сыро; снѣгъ мѣстами лежалъ еще между деревьевъ; прошлогодній опавшій листъ покрывалъ проталины, и только убитая щебнемъ, выпуклая средина дороги нѣсколько провяла; но они необращали на это вниманія и быстро шли по склоняющейся подъ гору аллеѣ: съ ними шло ихъ накипѣвшее чувство; они несли вокругъ себя цѣлую атмосферу любви, и не знали, какъ, но чувствовали, что она должна сказаться такъ или иначе.

Комлевъ повернулъ въ узкую, извилистую и густо-обросшую дорожку; ни дома, ни другихъ аллей не было видно; они были одни, совершенно одни. Онъ быстро осмотрѣлся и остановился.

— Что же, сказалъ онъ: — довольно молчать и терпѣть?...

Наташа молчала, и только розовыя пятна проступили у нея на лицѣ.

Комлевъ взялъ ея руку: она была холодна, какъ ледъ; Наташа не сопротивлялась.

— Здѣсь, въ этомъ саду, вы меня отвергли, сказалъ Комлевъ: — я тогда не стоилъ васъ. Вы *ему* дали шесть лѣтъ счастья; дайте мнѣ хоть минуту, если я стою ея.

Комлевъ поднялъ ея руку и сталъ цаловать; потомъ тихо взялъ Наташу за талію и посадилъ на

скамейку. Наташа была какъ каменная. Онъ привлекъ ее къ себѣ и припалъ губами къ ея щекѣ. Наташа не защищалась, не отдавалась. Поцалуй Комлева скользнулъ ниже къ углу ея губъ, къ губамъ... онѣ были безотвѣтны. Ему бы показалось, что онъ цалуетъ статую, если бы онъ не чувствовалъ рукою, какъ станъ ея весь дрожитъ; но потомъ тихо, чуть-чуть она повернула къ нему голову, губы ея шевельнулись и стали сливаться съ его губами... и въ ту же минуту Наташа быстро оттолкнула его и закрыла лицо руками.

Нѣсколько минутъ они сидѣли безмолвно, недвижимо: Комлевъ, весь горѣвшій любовью и смущенный ея развязкою; Наташа съ блѣдными, стиснувшими лицо руками.

Наконецъ Комлевъ взялъ ея руки и тихо отвелъ; Наташа взглянула на него, и отъ этого взгляда у него опустились руки: вмѣсто страсти, стыдливости, полупризнанья, онъ прочелъ въ этомъ холодномъ взглядѣ большихъ раскрытыхъ глазъ—только ужасъ.

— Другъ мой! другъ мой, что съ вами? сказалъ поблѣднѣвшій въ свою очередь Комлевъ, и хотѣлъ снова взять ея руку.

— Оставьте! оставьте меня! сказала Наташа и, какъ отъ змѣи, отшатнулась отъ него.

— Такъ вы меня не любите! сказалъ, стиснувъ губы, Комлевъ, и весь позеленѣлъ отъ мучительнаго чувства, которое сосало его за сердце.

Въ глазахъ Наташи явилось сознаніе.

— Да вѣдь это гибель! вѣдь это несчастье вѣчное... общее... безвыходное... едва переводя духъ и сдвинувъ брови, съ отчаяніемъ говорила она.

— Отчего же несчастье? Развѣ я не могу вамъ дать счастья еще большаго, полнѣйшаго!... Я васъ такъ глубоко люблю, что у меня достанетъ на это силы... Развѣ вы не вѣрите ни въ себя, ни въ меня? страстно говорилъ Комлевъ.

— Но онъ! Что же будетъ съ нимъ? Онъ такой честный, такой добрый... тихо говорила она.

— А обо мнѣ вы не думаете! сказалъ Комлевъ.

— Да развѣ вы.... не видите, какъ я васъ люблю! сказала она, оживляясь:—но поймите меня! Вѣдь... все... все... земля ломается подо мною... вѣдь я гибну не одна... вѣдь это безсовѣстно... я не могу лгать... у меня голова разрывается...

И она схватила себя за голову.

— Наташа, ангелъ мой, успокойтесь! говорилъ Комлевъ, цалуя ея руки и не зная самъ, что говоритъ:—мы не будемъ лгать... мы ему скажемъ прямо... откровенно... Онъ былъ счастливъ... подумайте же обо мнѣ и о себѣ... Мы уѣдемъ...

— Мы его убьемъ этимъ, тихо сказала Наташа.

— Наташа! Комлевъ! гдѣ вы? раздался голосъ Соковлина съ террасы, и послышались его шаги по ступенямъ.

Наташа и Комлевъ вскочили и замерли. Комлевъ приложилъ на минуту палецъ къ губамъ, потомъ громко отвѣтилъ:

— Мы здѣсь!

И въ то же время схватилъ Наташу и тихо, беззвучно поцаловалъ ее.

Наташа вспыхнула, оттолкнула его, оправилась и, опершись снова на руку, которую ей подалъ Комлевъ, пошла съ нимъ на встрѣчу мужу.

— Ну, не сумасшествіе ли это гулять по такой сырости! сказалъ Соковлинъ, встрѣчая ихъ.

— Я въ теплыхъ ботинкахъ, холодно отвѣчала Наташа и показала мужу ногу.

— Да все-таки и сыро и грязно. Да и склица здѣсь нѣтъ. Пойдемте на террасу.

Они прошли молча и остановились у дома.

— Да пора и домой, я думаю, сказала Наташа.

— Пожалуй, если хочешь, отвѣчалъ Соковлинъ, и велѣлъ подавать лошадей.

На прощаньи нѣсколько крестьянъ подъ вліяніемъ угощенья явилось съ изліяніемъ своихъ чувствъ. Деревенскій ораторъ и краснобай счелъ за нужное сказать благодарственный спичъ. — «Вы — наши господа, а мы—ваши крестьяне, говорилъ онъ коснѣющимъ уже языкомъ.—Дай Богъ вамъ здоровья! и матушкѣ вашей, покойницѣ, царство небесное! и покорнѣйше благодаримъ!» Менѣе краснорѣчивые только кланялись и, рѣшительно махая рукой, съ особенной убѣдительностью повторяли: «мы — ваши, а вы—наши!» Нѣсколько бабъ протѣснилось къ Наташѣ и изловчилась поцаловать ея руку. Господа поѣхали.

Солнце свѣтило такъ же ярко и горячо, такъ же задорно кричали птицы; но возвращеніе не походило на пріѣздъ. Точно черная мысль пришла и сѣла съ ними на четвертое мѣсто. Соковлинъ былъ угрюмъ, хотя старался скрыть это. Онъ молчалъ и усиленно курилъ сигару. Наташа, блѣдная, съ сдвинутыми бровями, казалось огорченною, точно кто нибудь оскорбилъ ее. Одинъ Комлевъ имѣлъ нѣкоторое право быть довольнымъ, и онъ началъ было что-то говорить; но Соковлинъ промолчалъ; Наташа отвѣчала ему такъ сухо, какъ будто сердилась на него, и Комлевъ замолчалъ, смущенный. Онъ думалъ о сценѣ въ саду, онъ думалъ: «вотъ этотъ запретный и пресловутый первый поцалуй, не купленный бракомъ или надеждой на него, не данный безпечной, неопытной юностью! Сильно должно быть чувство, которое дозволяетъ его на перекоръ разсудку, всосанныхъ правилъ, наперекоръ наконецъ совѣсти. И что же за безжизненный, мертвый поцалуй! Чѣмъ высказалось это безумство и увлеченье страсти? Едва отворилась завѣтная и желанная дверь — въ нее, вмѣсто наслажденія, показалась только мрачная сторона картины! Что же будетъ далѣе, если таково начало? думалъ онъ: что же такое эта запретная, завѣтная страсть!» И онъ смутился еще болѣе, хотя въ глубинѣ души у него лежало самодовольное и себялюбивое чувство. И такъ они ѣхали, молчаливые, суровые и разстроенные.

По пріѣздѣ, Комлевъ тотчасъ спросилъ лошадь. Его приглашали отобѣдать. Онъ отказался; его не удерживали. Наташа тоже сказала, что устала отъ

поѣздки, и ушла въ спальну. Соковлинъ одинъ сѣлъ за столъ, поболталъ машинально ложкой въ тарелкѣ, подумалъ что-то надъ ней, всталъ и ушелъ въ кабинетъ. Люди убрали со стола и, доѣдая супъ, таинственно и вопросительно поглядывали другъ на друга.

V.

Наташа вышла только вечеромъ. Она сидѣла, прислонясь въ мягкій уголъ дивана, и поставила свѣчи съ абажуромъ, такъ что лицо ея было въ тѣни. Однакожь, можно было замѣтить, что она очень блѣдна. Мужъ вошелъ, посмотрѣлъ на нее и спросилъ:

— Ну, что, какъ ты себя чувствуешь?

— Голова болитъ, слабо отвѣтила Наташа.

Они замолчали. Соковлинъ заложилъ руки за спину и долго ходилъ вдоль комнатъ. Потомъ онъ подошелъ и сѣлъ возлѣ нея. Лицо его тоже было разстроено, но не мрачно, а только грустно.

— Наташа, ты не откровенна со мною, мой другъ, сказалъ Соковлинъ:—развѣ я не заслужилъ твоей довѣренности?

Онъ посмотрѣлъ на нее съ кроткимъ упрекомъ.

Наташа тихо наклонилась, взяла его за руку и поцаловала. Соковлинъ не отнялъ руки, но вздрогнулъ, какъ будто услыхалъ подтвержденіе страшной догадки. Онъ помолчалъ немного и, собираясь съ мыслями, началъ... но голосъ его былъ надтреснутъ.

— Я знаю, есть вещи, про которыя тяжело говорить. Но молчаніе тяжеле и хуже... (Онъ остановился)... И ты давно — любишь его? едва могъ онъ выговорить.

— Не знаю, чуть слышно проговорила Наташа, какъ приговоренная.

— И... очень? снова спросилъ Соковлинъ, и нерѣшительно взглянулъ ей въ лицо, повинуясь тому чувству, которое заставляетъ самоубійцу повертывать ножъ въ собственной ранѣ.

— Пощади меня!... сказала Наташа, припавъ лицомъ къ его плечу.

Соковлину стало совѣстно своего вопроса. Онъ почувствовалъ на своемъ плечѣ голову жены, и это ощущеніе было совсѣмъ ново ему, точно въ первый разъ и—другая женщина прислонилась къ нему. Такъ странно нравственная перемѣна отражается тотчасъ физически. Соковлинъ не шевелился и молчалъ до тѣхъ поръ, пока Наташа снова не сѣла, закрывъ лицо платкомъ.

Онъ далъ ей успокоиться и, не глядя на нее, началъ тихо и прерывисто, какъ будто говоря самъ съ собою:

— Ты ни въ чемъ не виновата. — Мы не свободны въ чувствахъ. Ты знаешь, я этого боялся сначала, но потомъ отдался теченію беззаботно... и слава Богу! Мы долго были счастливы... что же дѣлать, если случилось!... Я подозрѣвалъ, что *начиналось*—но ничего не дѣлалъ, чтобы остановить, да и не остановишь... Нельзя останавливать жизнь... Жизнь не есть одно служеніе долгу,—жизнь выше его... Да и долгъ долженъ только служить правильно понятымъ интересамъ жизни.

Онъ опять замолчалъ. Наташа неподвижно смотрѣла на него, съ глубокимъ вниманіемъ и какимъ-то страхомъ прислушиваясь къ его словамъ. Потомъ онъ всталъ и, торопливо опустивъ глаза, сказалъ ей:

— Послушай, помнишь нашъ разговоръ передъ свадьбой? Ты свободна. Но вотъ что. Тутъ общественныя условія нелѣпы; но пока они не передѣланы, идти противъ нихъ тяжело, они будутъ задѣвать безпрестанно. Внѣ покоя—нѣтъ прочнаго счастія, и наконецъ наше прошлое счастіе, я думаю, стоитъ того, что бы его отстаивать...

— Ты думаешь, что я не борюсь? перервала Наташа, схвативъ мужа за руку и стиснувъ ее.

— Вѣрю... вѣрю... Но... *дитя мое*, пока есть силы, не уступай и того, что намъ еще осталось... Сынъ есть у насъ! едва слышно сказалъ онъ, и голосъ его дрогнулъ.

Онъ быстро наклонился къ женѣ, поцаловалъ ее въ голову, и она почувствовала, какъ нѣсколько теплыхъ слезъ упало на нее. Онъ вырвалъ руку и поспѣшно ушелъ.

Бѣдная женщина осталась одна со всѣмъ хаосомъ разрывающихъ мыслей и чувствъ. Долго сидѣла она неподвижно, какъ каменная. Потомъ вдругъ судорожно сжала руки, заломила ихъ надъ головою, простонала: «Боже мой! отчего не могу я, какъ прежде, любить его!» и рыдая, упала внизъ лицомъ на диванъ.

—

Поздно вечеромъ Соковлинъ позвонилъ изъ кабинета. Вошелъ слуга, который обыкновенно ходилъ за нимъ. Онъ нашелъ барина спокойно лежащимъ на диванѣ, съ книгой въ рукѣ и сигарой; но лица его за книгой не было видно. Не опуская книги, Соковлинъ сказалъ:

— Барыня нездорова. Сдѣлай мнѣ здѣсь постель.

И онъ продолжалъ курить и читать. Когда слуга исполнилъ приказаніе, онъ отпустилъ его. Но вслѣдъ за тѣмъ, явилась горничная и подала ему не запечатанную записку.

Соковлинъ развернулъ и прочелъ:

«Не ѣздите къ намъ, не пишите ко мнѣ и не ищите случая меня видѣть. Я васъ прошу объ этомъ—я этого требую».

Подписи не было.

— Барыня приказали просить васъ—отправить эту записку, сказала горничная.

— Скажи, что мнѣ лѣнь, и это не къ спѣху... Если не раздумаетъ, пусть пошлетъ завтра сама... лѣнивo сказалъ Соковлинъ, сложивъ и отдавая записку.—Что, голова у нея все болитъ? прибавилъ онъ.

— Онѣ не жалуются, но, кажется, нездоровы, отвѣчала горничная.

*

— Ступай, сказалъ Соковлинъ, и принялся за книгу.

—

Наташа на другой день отправила Комлеву записку, и посланный, возвратясь, подалъ ей отвѣтъ.

— Зачѣмъ же это? Вѣдь я сказала, чтобы не ждать отвѣта, спросила она.

— Приказано отдать, отвѣчалъ посланный.

Она по видимому была недовольна. А между тѣмъ вся кровь прилила у ней къ сердцу, и, оставшись одна, она съ нетерпѣніемъ и въ первый разъ испытываемымъ наслажденіемъ сорвала облатку.

На клочкѣ бумаги было наскоро написано карандашомъ только два слова: «Буду ждать». Она перечитала ихъ десятки разъ и, придавая имъ столько же разныхъ значеній, спрятала записку, и не однажды въ день вынимала и читала ее.

И за тѣмъ дни пошли за днями, не отмѣченные по видимому ни одной рѣзкой чертой. А между тѣмъ это были тѣ полные жизни дни, въ которые время съ особенной быстротой вертитъ свое колесо, и каждый изъ этихъ дней стоилъ многихъ, медленныхъ и тощихъ впечатлѣніями. Эти дни походили на ровные переливы звуковъ, которыхъ общая гармонія вызываетъ слезы изъ глазъ;—на буквы, изъ которыхъ слагается потрясающая драма.

Первое время Наташа была съ мужемъ нѣжнѣе обыкновеннаго, еще больше заботилась о сынѣ, лелѣяла и ласкала его. Иногда взглядъ ея — когда Соковлинъ не могъ его замѣтить—останавливался на мужѣ съ грустною нѣжностью. Она пробовала постоянно занять себя чѣмъ нибудь, но мелкія хозяйственныя заботы рѣшительно стали ей тягостны; бывало, все у ней клеилось и вязалось, отъ одного занятія она переходила къ другому, и день ея былъ полонъ ими. Теперь, точно молодая хозяйка, — которая и хочетъ хозяйничать, и не умѣетъ,—всюду она вмѣшивалась безполезно, не во время, хотя принуждала себя къ этому. Это продолжалось дня два, сдѣлалось ей совершенно невыносимо, и она все бросила. Тогда она стала какою-то тихой, безотвѣтной. Спросятъ ее что нибудь или позовутъ куда, она коротко отвѣтитъ, сходитъ,—потомъ сядетъ опять за работу, скоро опуститъ ее и сидитъ, прищуривъ и неподвижно устремя взглядъ въ одну точку, точно всматриваясь во что-то далекое, сидитъ до тѣхъ поръ, пока опять ее не выведутъ изъ этого забытья. Но это продолжалось тоже не долго; мало по малу она стала сумрачнѣе, неровнѣе. То все ее раздражало, и она сердилась за всякую бездѣлицу; то, какъ бы опомнясь, она становилась необыкновенно добра и мягка. Соковлинъ все это видѣлъ. Онъ былъ на столько опытенъ, честенъ и тонко развитъ, что счелъ за нужное оставить чувство его собственному ходу, отдать все времени и обстоятельствамъ; онъ старался ничѣмъ не выказывать ни вмѣшательства, ни вліянія, ни воли. Это было поведеніе не только добросовѣстнаго человѣка, но вмѣстѣ и лучшая тактика. Но—увы!—бываютъ такія безвыходныя положенія, въ которыхъ всякій шагъ такъ же губитъ, какъ и бездѣйствіе. Зимняя вьюга застанетъ пѣшехода на дорогѣ: попробуетъ онъ идти — вязнетъ, теряетъ путь и послѣднія силы; думаетъ остаться—холодъ захватываетъ духъ, тѣло мерзнетъ и костенѣетъ. Ложись, бѣдный пѣшеходъ! пусть заноситъ тебя снѣгомъ! можетъ быть, пройдетъ вьюга, и ты какъ нибудь выберешься на вольный свѣтъ; можетъ, чья нибудь добрая и догадливая рука откопаетъ тебя, ну—а можетъ, и замерзнешь!

На бѣду Соковлина, обстоятельства заставляли его въ эти критическіе дни его жизни быть на виду у Наташи, и самому часто видѣть ее. Встрѣтится онъ съ ней утромъ, ласково поцалуетъ ее, какъ обыкновенно, въ голову; ей кажется, что онъ покровительственно соболѣзнуетъ о ней; не сдѣлаетъ этого, ей кажется, что онъ холоденъ или презираетъ ее. Самъ Соковлинъ не зналъ, что дѣлать съ собою, потому что ни на минуту не могъ забыть о тѣхъ хрупкихъ отношеніяхъ въ которыхъ поставленъ къ Наташѣ—не могъ забыть о ней. Вздумаетъ онъ оставить Наташу одну, дать ей полную волю, принудитъ себя идти на работы или сидѣть за дѣломъ, ничего, разумѣется, не дѣлая, у себя въ кабинетѣ,—и ему кажется, что жена можетъ принять это за холодность, за пренебреженіе, и онъ спѣшитъ къ ней. Сидитъ съ ней и думаетъ, не мѣшаетъ ли онъ ей, не навязывается ли, не слишкомъ ли сухъ, не слишкомъ ли нѣженъ... Извѣстно, что нѣтъ ничего труднѣе, какъ быть самимъ собою, быть простымъ и естественнымъ, когда на насъ обращено вниманіе. Наташа не была въ этомъ положеніи; она слишкомъ поглощена была своимъ чувствомъ къ другому; противъ воли она болѣе думала о томъ, что дѣлается тамъ, въ недалекомъ деревенскомъ домикѣ, чѣмъ о себѣ и своихъ отношеніяхъ къ мужу. Но Соковлинъ, лучше владѣя собою, этимъ самымъ болѣе затруднялъ себя; онъ былъ какъ близкій, но не свѣдущій въ медицинѣ человѣкъ у постели дорогаго больнаго: онъ ничего не могъ и не долженъ былъ дѣлать, а между тѣмъ безпрестанно могъ затрогивать и возстановлять противъ себя болѣзненную раздражительность. Можетъ быть, и дѣйствительно онъ дѣлалъ въ это время какія нибудь не ловкіе шаги—трудный и тяжелый крестъ несъ онъ на себѣ; можетъ, это только казалось Наташѣ; но Соковлинъ началъ замѣчать въ ней проблески непріязни и даже болѣе оскорбительнаго чувства.

Разъ, когда она сидѣла полубольная, грустная и убитая, и Соковлинъ что-то ухаживалъ и заботливо хлопоталъ о ней, она сказала ему: «Ахъ, какъ ты добръ всегда»!—но сказала это такъ, что трудно было различить, благодарна ли она за эту доброту, или она ей опротивѣла до смерти. Въ другой разъ, когда уходя къ себѣ, онъ по обыкновенію поцаловалъ ее въ голову, она какъ-то судорожно подернулась, точно отвратительный гадъ коснулся ея. Однажды, въ припадкѣ нѣжности, Наташа, припавъ головой къ плечу мужа и цалуя его, сама

сказала ему: «знаешь, Сережа, бываютъ минуты, когда я ненавижу тебя»!.. и сказала это такъ тихо и боязливо, какъ будто сама боялась услышать себя.

Это продолжалось съ недѣлю. Разъ Соковлинъ читалъ что-то въ присутствіи Наташи и, взглянувъ нечаянно на нее, подмѣтилъ на ея лицѣ какое-то злое и презрительное выраженіе; объ немъ ли думала она въ это время, или нѣтъ—этого онъ не могъ разгадать; но увидѣвъ его взглядъ, она зарумянилась, и зарумянилась скорѣе отъ неудовольствія, нежели отъ стыда. Она встала, ушла къ себѣ и въ этотъ вечеръ не выходила. На другой день, двери въ ея кабинетъ и спальную остались затворены, и она тоже не показывалась. Она не спрашивала даже сына, и когда нянька приносила его утромъ и вечеромъ, она лѣниво крестила его и, холодно поцаловавъ, отпускала. Соковлинъ нѣсколько разъ заботливо спрашивалъ ея горничную и получалъ отвѣтъ, что барыня не совсѣмъ здорова, впрочемъ не въ постелѣ,—а на вопросъ, не нужно ли послать за докторомъ, получалъ отвѣтъ, что не нужно. На третій день это повторилось снова, но Соковлинъ ни разу не спросилъ о женѣ. Онъ самъ очень похудѣлъ, сдѣлался мрачнѣе, и постоянно-добродушное выраженіе лица его смѣнилось холоднымъ.

Наконецъ, Наташа вышла и встрѣтилась съ мужемъ. Если бы они оба могли наблюдать другъ за другомъ, они бы ужаснулись перемѣнѣ, которая произошла въ нихъ въ эти дни. Наташа была блѣдна, какъ алебастровая. Темные круги обозначались подъ глазами, и отъ этого глаза казались еще болѣе; только чернота ихъ сдѣлалась тусклѣе, какъ погасшій уголь. Она была не печальна, даже спокойна, но какъ-то сосредоточенно-холодна, точно замерла вся. Видно было, что горе затопляетъ ее, и она вся, безъ борьбы и надежды, отдалась ему. Но ни Соковлинъ, ни Наташа уже не наблюдали другъ за другомъ. Они сошлись холодно, молча, враждебно, даже не избѣгая болѣе другъ друга. Жизнь ихъ, казалось, вошла въ обычную колею; они даже чувствовали какое-то болѣзненное наслажденіе одинъ въ присутствіи другаго, и если бы не молчаливость или односложныя слова, если бы не ихъ лица, то можно бы подумать, что они начали успокоиваться и примиряться съ своимъ положеніемъ; но не приведи Богъ испытать кому либо, какая вода текла подъ этимъ льдомъ.

Такъ прошло еще нѣсколько медленныхъ дней; все въ домѣ было какъ-то особенно тихо. Прислуга говорила шопотомъ и ходила осторожно, какъ будто въ домѣ лежалъ умирающій или покойникъ; хозяйство шло кой-какъ: имъ управляли ключница по дому и староста по деревнѣ—господъ не смѣли тревожить. Богъ вѣсть, чѣмъ бы кончилось это странное положеніе; можетъ быть, оно бы медленно убило кого нибудь изъ нихъ; можетъ быть, изсосавъ всю горечь, оно бы замерло, перешло въ тихую грусть и наконецъ выздоровленіе, если бы не было прервано слѣдующимъ происшествіемъ.

Разъ утромъ, Соковлинъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ, ничего не дѣлая, съ потухшей сигарою въ рукахъ, когда вбѣжала къ нему испуганная горничная жены и сказала: «барыня умираетъ»! Соковлинъ точно проснулся отъ сна, точно въ первый разъ получилъ сознаніе. Онъ не помнилъ, какъ онъ очутился возлѣ жены. Онъ нашелъ ее въ ея кабинетѣ, въ покойномъ креслѣ у окна, гдѣ она обыкновенно сидѣла. Голова ея была закинута, зубы стиснуты; взглянувъ на ея зеленовато-блѣдную голову, Соковлину показалось, что жена его умерла, и его обдало холодомъ; но съ Наташей былъ сильный нервный припадокъ. Оттирая ея виски, давая ей нюхать спирту, Соковлинъ хотѣлъ растереть и руки, и, приподнявъ одну, замѣтилъ въ ней бумажку. Рука была судорожно сжата, но захватила только конецъ ея. Соковлинъ вынулъ и прочелъ:

«Я не могу ждать долѣе. У меня нѣтъ силъ. Я или явлюсь къ вамъ, или уѣду, или разобью себѣ голову. Дайте же наконецъ, ради Бога, вѣсть о себѣ»!

— Откуда это? спросилъ Соковлинъ горничную, хотя и очень хорошо зналъ, откуда.

— Человѣкъ привезъ изъ Никольскаго... сказала испуганная и смущенная горничная:—я не смѣла не отдать...

— И какъ же бы ты смѣла не отдать! сказалъ Соковлинъ.

Наташа начала приходить въ себя. Соковлинъ велѣлъ положить ее въ постель, не безпокоить, бросилъ записку на столъ и вышелъ.

Онъ пришелъ къ себѣ въ кабинетъ, упалъ въ кресла и стиснулъ себѣ руками голову. Нѣсколько минутъ, казалось, не дыша, не думая, онъ оставался такъ; потомъ простоналъ и, точно разорвавъ что нибудь, вскочилъ и велѣлъ подать лошадь. Лицо у него все было въ пятнахъ. Онъ сталъ ходить по кабинету, выпилъ залпомъ нѣсколько стакановъ воды, и нѣсколько разъ спрашивалъ, готова ли лошадь. Только экипажъ застучалъ по двору, онъ нетерпѣливо схватилъ фуражку и, садясь, сказалъ: «въ Никольское».

VI.

Никольское, въ которое велѣлъ везти себя Соковлинъ, была деревенька, гдѣ жилъ Комлевъ. Узкій проселокъ вился къ ней по ровной, но довольно живописной мѣстности. Прудъ, мельница, село въ сторонѣ, перелѣски, одѣвшіеся молодой листвой, черный бархатъ взрываемой пашни, яркая зелень озимей—чередовались и выступали по сторонамъ, и на все это безразлично смотрѣлъ Соковлинъ и, разумѣется, не замѣчалъ ничего. Но свѣжее дыханіе широко-развернувшейся весны, съ своимъ тонкимъ землистымъ запахомъ, освѣжительно повѣяло на него и спахнуло ту разъѣдающую

и смутную дремоту горя, изъ которой онъ не могъ высвободиться. Соковлинъ смѣлѣе взглянулъ въ лицо настоящаго положенія. «Я самъ виноватъ»! думалъ онъ: «молодость страдаетъ избыткомъ силъ; имъ нужно дать исходъ—а я только ихъ усыплялъ. Я слишкомъ тихо и просто завладѣлъ сердцемъ Наташи; оно не испытало тѣхъ плодотворныхъ бурь послѣ которыхъ спокойствіе есть и потребность, и наслажденіе. И потомъ она вела слишкомъ тихую и однообразную жизнь; мудрено ли, что жажда ощущеній накопилась въ ней и вспыхнула при первомъ случаѣ! И вѣдь я зналъ это! я все это предчувствовалъ, и ожидалъ, и передумалъ, когда еще хотѣлъ жениться на ней. А потомъ задремалъ, и успокоился! Наконецъ и недавно, когда я почуялъ опасность, что я сдѣлалъ, чтобы отстранить ее или идти ей на встрѣчу? Женщины, говорятъ, любятъ, чтобы съ ними обращались деспотично; я былъ слишкомъ добросовѣстенъ, чтобы держаться этого дѣдовскаго правила, слишкомъ вѣрилъ въ женскую честность и силу воли, а у самого недостало силъ, чтобы твердо перенести ихъ измѣну! Да и какая это измѣна? Развѣ Наташа не могла полюбить? Развѣ она могла не полюбить, когда все подготовилось и сложилось для этого? Не самъ ли я говорилъ ей, что если придетъ время и она полюбитъ другаго — она свободна, и я буду для нея тогда другомъ и братомъ. Хорошъ другъ и братъ! Видно, всѣ мы короли 48-го года, всѣ чивы на обѣщанія когда насъ приспичетъ! хороши всѣ мы съ нашими возгласами и теоріями»! съ злобной ироніей продолжалъ Соковлинъ. «Все до той поры, пока эти теоріи насъ самихъ противъ шерсти не задѣнутъ!.. Что же? Комлевъ моложе меня, лучше, не глупѣе. Отчего Наташѣ не полюбить было его? Мы возмущаемся, когда женщины мѣняютъ насъ на другаго, который по нашему насъ не стоитъ: тутъ и этого нѣтъ! Чѣмъ возмущаться? на что роптать? по какому праву требовать ея любви, когда другой тутъ рядомъ всѣмъ лучше насъ, и любитъ ее, можетъ быть, не менѣе,—да наконецъ, просто болѣе ей нравится! И тѣмъ возмущаться? и что тутъ необыкновеннаго—какъ будто весь міръ валится! Простѣйшій случай изъ самыхъ простыхъ! самый нормальный случай! Женится пожилой человѣкъ на дѣвушкѣ, и онъ не тиранъ, и она отличная женщина, и живутъ они до поры — отлично. Потомъ является другой лучше его: жена полюбила; они не обманываютъ, не скрываются, пришли да и сказали: «любимъ другъ друга»!.. положимъ, не совсѣмъ такъ, ну, да почти... Ну, что же? самый естественный отвѣтъ, какъ въ послѣднемъ актѣ комедіи: «дѣти, любите другъ друга и будьте счастливы»!.. Ну, и прекрасно! по здравому смыслу такъ. А что же тутъ я? моя любовь? мое счастье? развѣ я не имѣю на нихъ такихъ же правъ? Ихъ куда? печку, что-ли, ими топить? Отчего же они, а не я? Хорошо разсуждать хладнокровно издали; да вѣдь это капуста только можетъ такъ разсуждать. Развѣ у страсти нѣтъ своихъ правъ, своей безпощадной логики? развѣ можно дѣлать опытъ надъ трупомъ, и примѣнять выводы къ живому существу? (на этомъ вопросѣ построена вся наша медицина—ну, да и хороша же она)! Права женщины! Да можетъ-ли она быть равноправна съ нами, когда природа ей не дала сильнѣйшаго изъ правъ—права физической силы? Да и мозгъ у нея меньше. Я увѣренъ, что и плантаторы защищаютъ свои права вовсе не потому только, что они выгодны для нихъ: они въ нихъ глубоко убѣждены, и имѣютъ свои причины къ этому убѣжденію, которыхъ мы не можемъ понять и оцѣнить. Хорошо разсуждать—какъ размазать — издали! А окунись самъ въ самый кипятокъ да и разсуждай въ немъ! Впрочемъ, вѣдь у сумасшедшихъ есть тоже своя, и для нихъ кажется самая здравая логика! И Соковлину казалось, что онъ тоже сходитъ съ ума. Онъ закрылъ лицо руками, и чего бы онъ не далъ въ эту минуту, чтобы бросить въ какую нибудь пропасть и Наташу и Комлева, и самому броситься туда, да кстати столкнуть съ собой и всю землю.

Потомъ, когда пароксизмъ страсти проходилъ, онъ по поводу первой встрѣченной вещи принимался разсуждать, и разсуждалъ самымъ хладнокровнымъ образомъ. «Вѣдь вотъ,» думалъ онъ: «ужь я въ самомъ кипяткѣ, а между тѣмъ я не теряю способности здраво судить—я вижу всякую бездѣлицу. Вотъ дыра на мосту — надо сказать, чтобы ее задѣлали, лошадь можетъ ногу сломать. Кажется, у лошади голова высоко подтянута?»

— Степанъ! ты никакъ поводъ высоко подтянулъ? спросилъ Соковлинъ.

Степанъ, которому баринъ отъ роду не дѣлалъ никакихъ замѣчаній, входящихъ въ область его спеціальности, и который вслѣдствіе этого имѣлъ самое презрительное понятіе о барскихъ свѣдѣніяхъ по этой части, едва взглянулъ на поводъ, въ полной увѣренности, что баринъ сказалъ вздоръ.

— Это она ужь завсегда такъ голову несетъ, съ покровительной снисходительностью отвѣчалъ Степанъ, и ударилъ лошадь возжей.

«Ну вотъ,» думалъ Соковлинъ: «гдѣ же тутъ ослѣпленіе страсти, когда замѣтилъ поводокъ, который никогда не замѣчаю! Я понимаю, что умирающему могутъ приходить на умъ самыя дикія вещи. Да и притомъ ослѣпляетъ ли еще страсть? Не шире ли, напротивъ, и не яснѣе ли видишь въ это время всѣ вещи, потому что мозгъ и нервы раздражительнѣе и туже настроены? Или уже мы такъ надломлены и попорчены привычкой къ рефлексіи, что не можемъ и страсти отдаться всецѣло, и все остается у насъ въ уголку какой-то «Московскій Наблюдатель,» который слѣдитъ за нами и за всѣмъ окружающимъ... Вотъ такъ его! такъ его»! весело улыбаясь, чуть не сказалъ онъ вслухъ, увидавъ, какъ недалеко въ стадѣ, корова, улепетывая отъ быка, подлягивала ему въ морду задними ногами... «Вотъ такъ и надо васъ, волокитъ, учить!... Какая высоконравственная корова! жаль, что для нихъ не заведены монтіоновскія

премія. А впрочемъ и она только до поры!...» И онъ съ нисходительнымъ презрѣніемъ поглядѣлъ на корову. «Самки тоже выбираютъ самцовъ», продолжалъ думать онъ. «Говорятъ, львица хладнокровно смотритъ на дерущихся до смерти львовъ, и потомъ идетъ съ побѣдителемъ. Положимъ, она его потомъ и броситъ и пойдетъ за другимъ; такова ужь, видно, природа у этого пола. Но развѣ самцы уступаютъ безъ боя самьу? развѣ они не дерутся до послѣднихъ силъ, до смерти? Вотъ онъ, естественный законъ! Что же, мы благоразумнѣе, или только трусливѣе ихъ?»

«Что же мнѣ, убить, что ли, его?» стиснувъ зубы, подумалъ Соковлинъ, и лицо его приняло свирѣпое выраженіе; но прежде нежели онъ успѣлъ обдумать этотъ вопросъ, линейка его, повернувъ въ отворенныя ворота, остановилась у подъѣзда пятиокоиаго деревяннаго домика.

Поросшій травой дворъ былъ пустъ и какъ будто принадлежалъ необитаемому дому; только нѣсколько куръ и индюшекъ задумчиво расхаживали по немъ, да цѣпная собака грѣлась на солнышкѣ и, лѣнивo тявкнувъ раза два для приличія, не обращала болѣе вниманія на пріѣхавшихъ.

Соковлинъ оглядѣлся и увидалъ бабу, несшую въ одной рукѣ ведро съ водой, а другую для равновѣсія вытянувшую горизонтально.

— Дома баринъ? спросилъ онъ.

— Дома-тко, чай! Ужь давно все сидитъ дома; не знаю, здоровъ ли! Вы войдите, отвѣчала она.

Но Соковлинъ, не дожидаясь ея совѣта, вошелъ уже.

Въ маленькой передней никого не было; онъ сбросилъ пальто и пошелъ далѣе. Зала тоже была пуста, но едва онъ вошелъ въ нее, дверь напротивъ отворилась, и въ ней показался Комлевъ.

Комлевъ, въ ожиданіи отвѣта на письмо къ Наташѣ, долго ходилъ по комнатамъ. Чтобы умѣрить волненіе и лучше владѣть собою, онъ бросился на диванъ и лежалъ на немъ неподвижно, болѣзненно прислушиваясь къ малѣйшему шуму на улицѣ и боясь пошевельнуться, чтобы не пропустить топота знакомой лошади. Но волненіе не уменьшалось; онъ слышалъ, какъ сердце стучало въ груди и вздрагивало при малѣйшемъ шорохѣ. Въ этомъ ожиданіи до него дошелъ стукъ подъѣхавшаго экипажа, и онъ узналъ голосъ Соковлина. Это обстоятельство, конечно было не такого рода, чтобы могло успокоить его. Хотя онъ не былъ увѣренъ, что Соковлину извѣстны его отношенія къ Наташѣ, но онъ могъ подозрѣвать это; и притомъ—на ворѣ шапка горитъ—зачѣмъ бы ни пріѣхалъ Соковлинъ, ему тяжело было видѣть его въ эту минуту. Но у него не было недостатка въ рѣшимости, и онъ поспѣшилъ на встрѣчу пріѣхавшему, не зная самъ, какъ онъ долженъ его встрѣтить: какъ врага, или какъ пріятеля.

Комлевъ если не похудѣлъ, то поблѣднѣлъ, за это время. Эта блѣдность лица не могла однакожь скрыть того лихорадочнаго одушевленія, которымъ невольно просвѣчиваетъ всякое сильное волненіе. Но не смотря на то, черты лица его были тверды и спокойны; взглядъ смотрѣлъ прямо и открыто: видно было, что Комлевъ вполнѣ владѣлъ собою.

Отворивъ дверь, Комлевъ затруднился исполненіемъ самой обыкновенной вещи, которая однакожь сразу должна была выказать характеръ ихъ отношеній. Онъ не зналъ, подать ли руку Соковлину или нѣтъ. Но взглянувъ на лицо его, онъ уже зналъ, какого рода будетъ ихъ встрѣча. Онъ молча пригласилъ его рукою войти въ кабинетъ и далъ ему дорогу.

Комната, въ которую вошли они, была заставлена большимъ столомъ, безпорядочно заваленнымъ книгами, съ маленькимъ свободнымъ мѣстечкомъ для письма и письменныхъ принадлежностей. Прежде эта комната была гостиною; но классическій диванъ у внутренней стѣны съ овальнымъ передъ нимъ столомъ былъ изгнанъ и замѣненъ широкимъ турецкимъ диваномъ и кой-какою покойною мебелью. Разбросанныя книги лежали въ разныхъ мѣстахъ. Комлевъ сбросилъ нѣкоторыя, указалъ Соковлину на кресло и придвинулъ ему ящикъ съ сигарами.

— Мы одни? спросилъ Соковлинъ, опускаясь въ кресло.

— Совершенно, отвѣчалъ Комлевъ и притворилъ дверь.

Онъ взялъ сигару и сѣлъ противъ Соковлина. Они оба замолчали.

«Ага, будетъ объясненіе!» подумалъ Комлевъ, но лицо его не шевельнулось.

По странному свойству нѣкоторыхъ положеній, Соковлинъ былъ болѣе смущенъ, чѣмъ Комлевъ. Его смущало не то, что онъ, передумавъ въ теченіе дороги сотню посторонннихъ вещей, не подумалъ, какого рода объясненіе хочетъ имѣть отъ Комлева и съ чего долженъ начать. Нѣтъ, несмотря на враждебное чувство къ Комлеву, несмотря на сознаніе, что если между ними двсими есть обвинитель и обвиняемый, то, конечно, ему по всѣмъ правамъ принадлежитъ роль перваго,—Соковлину было совѣстно и больно приступить къ предмету разговора, какъ иногда совѣстно показать постороннему свою рану или тѣлесный недостатокъ. Нѣтъ ничего оскорбительнѣе для самолюбія мужчины или женщины, какъ сознать себя оставленнымъ, но еще больнѣе, когда при этомъ не имѣешь утѣшительнаго права бросить грязью въ свой измѣнчивый кумиръ.

Въ смугломъ лицѣ Соковлина заиграла слабая краска, отъ досады ли, негодованія, или стыда—онъ закусилъ губу, какъ лошадь закусываетъ удила, когда хочетъ освободиться отъ гнета; но скоро совладѣлъ съ собою.

— Жена мнѣ сказала, началъ онъ тихо и медленно, но голосъ его былъ неровенъ:—что вы любите другъ друга... И онъ выговорилъ послѣднія слова особенно отчетливо потому именно, что ему

больно было ихъ выговорить. — Вы можете изъ этого заключить, продолжалъ онъ: — что она не принадлежитъ къ тѣмъ женщинамъ, которыя любятъ и мужа, и любовника, или терпятъ одного при другомъ. Я не стѣсняю ни ея чувствъ, ни дѣйствій, но ея положеніе мнѣ близко, и я пріѣхалъ спросить васъ, что вы теперь намѣрены дѣлать?

И Соковлинъ прямо глядѣлъ въ лицо Комлева.

За Комлевымъ была очередь смутиться.

— Когда любишь, отвѣчалъ онъ, пожавъ плечами: — то не задаешь себѣ вопросовъ и цѣлей: любовь сама себѣ цѣль... Впрочемъ, если бы я и имѣлъ какія нибудь предположенія, то долженъ сообщить ихъ Натальѣ Дмитріевнѣ и сообразоваться съ ея желаніями, а я на это не имѣлъ ни времени, ни случая...

Соковлинъ все время не спускалъ глазъ съ Комлева и слѣдилъ за движеніемъ каждаго нерва на его лицѣ, точно въ первый разъ онъ видѣлъ его: онъ думалъ, какъ Наташа будетъ цаловать это лицо.

— Я полагалъ, продолжалъ Соковлинъ тѣмъ же тономъ, когда тотъ кончилъ:—что вы не принадлежите къ тѣмъ... очень юнымъ или всегда юнымъ господамъ, которые смотрятъ легко на подобнаго рода вещи, или просто никакъ не смотрятъ на нихъ... Я думалъ, что прежде нежели разрушать семейное счастіе, или если вы не допускали его, то по крайней мѣрѣ прочное общественное положеніе любимой женщины—вы подумали чѣмъ можете ей замѣнить его...

— Какъ же вы хотите мягко возразилъ Комлевъ: — чтобы я распоряжался судьбой замужней женщины, не спросивъ ни ея намѣреній, не зная наконецъ вашихъ, отъ которыхъ она болѣе зависитъ, чѣмъ отъ меня.

— Хорошо-съ! сказалъ Соковлинъ. — Я вамъ скажу мои намѣренія. Чтобы ничѣмъ не стѣснять Наталью Дмитріевну, я буду хлопотать о разводѣ съ ней. Когда получу его, вы на ней можете жениться. Такъ-съ? спросилъ Соковлинъ.

Комлевъ съ минуту подумалъ.

— Я на ней не женюсь! твердо сказалъ онъ.

— Это отчего? быстро вставая, спросилъ Соковлинъ, и вся кровь бросилась ему въ голову.— Вы значитъ, не уважаете ее?

— Напротивъ! я никому не уступлю въ уваженіи къ ней, но тѣмъ не менѣе не женюсь, тоже вставая и заложивъ руку за бортъ сюртука, сказалъ Комлевъ.

Соковлинъ вопросительно посмотрѣлъ ему въ глаза.

— Не женюсь потому, спокойно продолжалъ Комлевъ:—что женитьба и любовь по моему двѣ вещи разныя. У меня есть свои убѣжденія о бракѣ, и они вамъ извѣстны. Я жениться не располагалъ и теперь не вижу причинъ измѣнять свои намѣренія.

— Вы находите, что гораздо удобнѣе любить чужую жену, не принимая на себя никакихъ обязательствъ? спросилъ Соковлинъ, прищуривъ глаза и впиваясь въ Комлева взглядомъ.—А мужъ между тѣмъ прикрываетъ ея безчестье. Флагъ прикрываетъ товаръ? не правда ли?

И въ глазахъ Соковлина сверкнула злобная ирониа.

— Нѣтъ-съ, не такъ! съ твердымъ убѣжденіемъ возразилъ Комлевъ, стараясь казаться какъ можно покойнѣе—Я полагаю напротивъ, что нѣтъ ничего неудобнѣе и—повѣрьте—тяжеле, какъ любить не свободную женщину, особенно когда не имѣешь права не уважать ее мужа! Но не теперь, когда вы видите, къ какимъ безвыходнымъ положеніямъ могутъ привести обстоятельства въ дѣлѣ чувствъ,— можете вы требовать отъ меня обязательствъ. Послушайте, Сергѣй Иванычъ! Я хоть невольно, но сталъ на вашей дорогѣ, и знаю, чего вамъ это стоитъ... Вы имѣете полное право ненавидѣть меня... извиниться мнѣ было бы смѣшно, да и не въ чемъ... Вы, можетъ быть, желаете, чтобы одинъ изъ насъ не жилъ?...

У Соковлина точно искра какая-то зловѣщая вспыхнула въ глазахъ, но тотчасъ же и потухла. Онъ вмѣсто отвѣта пожалъ только плечами, какъ будто хотѣлъ сказать: — къ чему? да и что изъ этого?...

— Я знаю, что долженъ быть снисходителенъ даже... и къ горькимъ словамъ, продолжалъ Комлевъ: — но... они нейдутъ между нами!.. Я понимаю, что долженъ сдѣлать все... что могу... (Комлевъ затруднился въ выраженіи)... чтобы оградить ваше имя...

Соковлинъ посмотрѣлъ на него снисходительно, мягко даже, но такимъ взглядомъ, которымъ взрослый смотритъ на лепетъ младенца. Комлевъ невольно остановился.

— Нѣтъ, вы меня не понимаете, сказалъ Соковлинъ тихо, но совсѣмъ упавшимъ голосомъ. — Я столько теряю тутъ, что объ моемъ имени мнѣ нечего думать, да и она никогда не уронитъ его... Нѣтъ; я пріѣхалъ говорить съ вами о той, которая мнѣ дороже себя и которую вы лишаете семьи, спокойствія, уваженія... Я не о себѣ пріѣхалъ говорить! добавилъ Соковлинъ, и въ словахъ его было столько глубокаго, безвыходнаго горя, что Комлевъ невольно опустилъ глаза.

— Хотите, нерѣшительно сказалъ Комлевъ, весь покраснѣвъ, и въ горлѣ что-то сдавило его:—хотите—я готовъ уѣхать! Но она?

Соковлинъ смутно посмотрѣлъ на него и долго не отвѣчалъ.

— Переговорите съ ней! проговорилъ онъ наконецъ, не глядя на Комлева, какъ-то вскользь, какъ будто про себя, и не то было это дозволеніе, не то настояніе, не то просьба...

Онъ повернулся и поспѣшно, сконфуженно вышелъ.

—

Соковлинъ возвращался въ свое Никольское, какъ растерянный. У него не было ни одной опредѣленной мысли; въ головѣ что-то шевелилось, кружилось смутно, но не связывалось, не выяснялось. Онъ только помнилъ свои послѣднія слова и нѣсколько разъ машинально повторялъ про себя: «поговорите съ ней».

Онъ очнулся, когда экипажъ остановился у его подъѣзда. Онъ вышелъ, спросилъ встрѣтившаго его слугу: «что барыня»? и, не разслыхавъ отвѣта, велѣлъ спросить, можно ли войти къ ней. Слуга ушелъ, а онъ сталъ похаживать по залѣ, но такъ нерѣшительно, какъ будто былъ въ чужой пріемной и ждалъ выхода очень большой особы. Чрезъ нѣсколько минутъ, вмѣсто отвѣта, дверь изъ Наташина кабинета отворилась, и она сама показалась въ ней.

Наташа была очень блѣдна и слаба, но не такъ безжизненна и подавлена горемъ, какъ прежде. Напротивъ, она была въ тревожной подвижности. Вся взволнованная, она сдѣлала нѣсколько шаговъ на встрѣчу мужа и остановилась, опираясь на кресло, стоявшее на срединѣ комнаты.

Боже мой! сколько смущенія и стыдливости было въ этой встрѣчѣ мужа съ женою! Отражая до послѣднихъ силъ ударъ, падавшій на ихъ счастіе, и теперь невольно склоняясь подъ его тяжестью, развѣ они дѣлали безчестное дѣло? Но понятія, всосанныя съ молокомъ матери; но весь строй окружающей жизни и общественныхъ условій, какъ хоръ угрюмыхъ и злобныхъ старухъ, возстаютъ и смущаютъ своими криками тѣ побужденія, которыя не ладятъ съ ихъ правилами.

Не имѣя силъ начать прямо съ дѣла, Соковлинъ обратилъ вниманіе на слабость Наташи.

— Зачѣмъ вышла? Зачѣмъ? Тебѣ надо успокоиться, хлопотливо, съ озабоченностію няньки говорилъ Соковлинъ:—сядь по крайней мѣрѣ.

Наташа опустилась въ кресло: у ней въ самомъ дѣлѣ подкашивались ноги.

Соковлинъ осмотрѣлся кругомъ.

— Ну, я былъ у него, сказалъ онъ тихо, какъ будто отдавая ей отчетъ въ порученіи.—Я говорилъ ему, что готовъ выхлопотать разводъ, чтобы онъ могъ жениться на тебѣ... но... онъ не согласился.

Соковлинъ робко взглянулъ на Наташу.

Она вся вспыхнула.

— Я это говорю не для того, торопливо заговорилъ опять Соковлинъ: — чтобы осуждать его. Нѣтъ! онъ имѣетъ на это свои причины; онъ тебѣ скажетъ ихъ...

— Я сама этого не хочу! нетерпѣливо сказала Наташа, перебивая его.—Я знаю клятвы! Довольно и одного обмануть!

— Какой же тутъ обманъ? гдѣ же обманъ? Развѣ ты обманула меня? спрашивалъ онъ, съ ребяческой наивностью поглядывая на нее.

— Не все ли равно! едва слышно проговорила Наташа.

— Совсѣмъ не все равно! Но ты успокойся и переговори съ нимъ. Да! условьтесь съ нимъ, повидайтесь. Я сказалъ ему, чтобы онъ переговорилъ съ тобою. Пошли къ нему!

Наташа поглядѣла на него такимъ глубоко трогательнымъ взглядомъ, что онъ весь смутился и замигалъ глазами, чтобы не заплакать.

— Да! торопливо проговорилъ онъ:—переговори съ нимъ, условьтесь, спишитесь, но только успокойся прежде! поди лягъ... я къ тебѣ Машу пошлю...

И онъ поспѣшно вышелъ, велѣлъ мимоходомъ послать горничную и поскорѣе захлопнулъ за собою дверь въ кабинетъ, чтобы громко не разрыдаться.

VII.

Часу въ десятомъ слѣдующаго утра Соковлинъ ходилъ у себя по кабинету съ озабоченнымъ и нѣсколько растеряннымъ лицомъ. Наканунѣ онъ весь остатокъ дня въ какомъ-то разслабленіи, какъ больной, просидѣлъ, запершись въ этой комнатѣ. Но не смотря на то, что сторы его оконъ были спущены, что самъ онъ неспособенъ былъ, да и не желалъ слѣдить за тѣмъ, что дѣлается вокругъ, до него доходилъ не разъ топотъ лошади, какъ будто пріѣзжалъ или уѣзжалъ верховой, и наконецъ, независимо отъ того, по ходу дѣла, онъ могъ догадываться, что развязка близка. Ночь его была тревожна, и онъ не могъ бы сказать, спалъ онъ или былъ въ забытьи, но все-таки она освѣжила его. Онъ всталъ рано, но не спрашивалъ слугу, что дѣлалось въ домѣ. Во-первыхъ, онъ зналъ, что Наташа еще, вѣроятно, спала, и ему не могли ничего сообщать о ней, во-вторыхъ, онъ не хотѣлъ какимъ нибудь вопросомъ дать поводъ къ подозрѣнію или толкамъ прислуги,—этого добровольно-составляемаго вокругъ себя самими господами штаба соглядатаевъ, отъ которыхъ и безъ того почти никогда не укрываются сокровеннѣйшія домашнія тайны.

Но, взамѣнъ вчерашней неподвижности, сегодня имъ совершенно овладѣло волненіе и тревожность: онъ уже не отдавался ни сознанію горя, ни тому одеревенѣнію, къ которому приводитъ безвыходность. Можетъ быть, это происходило отъ того, что онъ пережилъ эти фазисы, или что приближалась развязка, но вѣрнѣе отъ надежды, въ которой онъ самъ не сознавался,—надежды, также не замѣтной какъ слабый свѣтъ молодаго мѣсяца на пасмурномъ небѣ: онъ, еще невидимъ, не прочеркнулъ сквозь облака ни однимъ лучемъ, но чувствуется по неяснымъ очертаніямъ предметовъ, которые начинаютъ проступать и выдвигаться изъ темноты. Соковлинъ боялся и подумать о томъ, что «можетъ быть» какъ нибудь да все уладится. Ему хотѣлось заглушить всякія мысли, догадки; ему хотѣлось дѣлать что нибудь, чѣмъ нибудь заняться. Онъ бралъ книги, хозяйственныя тетради, записки; но ни на чемъ не могъ на минуту оста-

новиться и принимался ходить по комнатѣ, мимоходомъ переставляя и поправляя попадавшіяся подъ руку вещи. Онъ былъ въ такомъ состояніи, когда ему доложили, что пришелъ староста; а какъ онъ рѣдко принималъ его въ послѣднее время, то спросили, угодно ли ему его видѣть.

Соковлинъ обрадовался и велѣлъ позвать его.

Черезъ минуту въ дверяхъ появился тотъ самый староста, котораго мы видѣли въ началѣ этого разсказа. Онъ мало даже измѣнился: трудовая жизнь скоро старитъ нашего крестьянина; но разъ какъ она уже помнетъ его, какъ онъ обтерпится, онъ остается въ одномъ положеніи до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не схизнетъ. Время скоро дѣлаетъ съ нимъ свое первое дѣло, но потомъ съ аристократической небрежностью забываетъ, кажется, до тѣхъ поръ, пока не вздумаетъ смять его окончательно, да и то большею частію какъ-то мимоходомъ. Немного болѣе мелкихъ морщинъ на лицѣ, не много болѣе сѣдыхъ волосъ въ головѣ и курчавой бородѣ,—вотъ и вся перемѣна. А впрочемъ такъ же простодушно повидимому смотритъ онъ на все, такъ же во всемъ сначала соглашается съ бариномъ, а потомъ свернетъ на свое; такъ же подпрыгиваетъ, какъ будто сбирается порхнуть, когда говоритъ, такъ же держитъ большіе пальцы за кушакомъ, да и кушакъ, кажется, тотъ самый, что былъ шесть лѣтъ назадъ.

— Ну, что скажешь? спросилъ Соковлинъ старосту.

— Да ничего-съ. Пришелъ спросить, не будетъ ли отъ васъ какихъ приказаній?

— Какія же приказанья! Вѣдь нынче не нашъ день? какъ бы были приказанья, такъ я бы за тобой послалъ, нетерпѣливо сказалъ Соковлинъ.

— Оно конечно. Вѣдь я всегда тутъ. Да вотъ еще: Степанъ Нохринъ да Иванъ Зуевъ лѣску порубили, прибавилъ онъ, помолчавъ.

— Опять! И много порубили?

— Нѣтъ, оно не много. Такъ, на застрѣхи возика по два нарубили.

— Много ли, не много—да вѣдь сказано, чтобы безъ спросу не рубили.

— Оно конечно; все надо бы спроситься. Да они говорятъ, что этто ходили-было къ вамъ, да вы недосужны были.

— Ну, тебѣ бы сказались. А то дай имъ волю, такъ они и пойдутъ рубить.

— Знамо, какъ можно волю давать! Этакъ весь лѣсъ зря вырубятъ! Да они мнѣ-то, признаться, сказывались, да я безъ васъ усумнился.

— Ну, чего жь сумлѣваться, коли имъ дѣйствительно нужно!

— Нужно-то, какъ не нужно, — того и гляди, крыша на анбарушкахъ провалится. Я имъ и сказалъ: нарубите, молъ, не много, я барину доложу.

— Ну, такъ ты бы съ этого и началъ, братецъ! А то что жь пустяки говорить! сердясь, сказалъ Соковлинъ, продолжая ходить по комнатѣ.—Я тебя нѣсколько дней не видалъ,—я думаю, что за это время есть что и о дѣлѣ поговорить.

— Да, оно, конечно, какъ не быть! Я, признаться, и пришелъ, чтобы спросить васъ...

И у старосты нашлось съ десятокъ дѣлъ, одно другаго нужнѣе, хотя каждое изъ нихъ надо было повытянуть изъ него или дать ему время начать его какъ бы мимоходомъ.

Соковлинъ, плохо ли, хорошо ли, разрѣшилъ эти вопросы. Онъ зналъ манеру своего старосты и привыкъ къ ней, но теперь ему было не до того, чтобы терпѣливо выжидать разсказовъ; и если Соковлинъ былъ доволенъ сначала приходомъ старосты, то, по свойству всякаго ожиданія, не могъ долго останавливаться на одномъ занятіи: вопросы старосты начали уже надоѣдать ему.

— Ну, хорошо. Ступай! Ничего нѣтъ болѣе? сказалъ ему уже въ третій разъ Соковлинъ, отвѣтивъ на его предъидущій вопросъ и думая, что онъ послѣдній.

— Больше ничего нѣтъ, въ третій разъ отвѣчалъ староста и снова, подпрыгнувъ, началъ:—Да вотъ еще былъ я въ табунѣ, такъ стригунокъ одинъ мытится сталъ.

— Ну, мытится, такъ чтожь съ нимъ дѣлать? пусть мытится.

— Нечто! что съ нимъ дѣлать! Ужь такая болѣсть; только отдѣлить бы его надо.

— Ну, разумѣется. Такъ ты бы и велѣлъ.

— Да я и велѣлъ ужо, какъ табунъ пригонятъ.

— Ну, хорошо. Ступай! сказалъ снова Соковлинъ, уже не спрашивая: «нѣтъ ли еще чего».

Староста оборотился, думая, кажется, рѣшительно выйти, однако снова въ раздумьи вернулся.

— Ну, что еще? нетерпѣливо спросилъ Соковлинъ.

— Ничего, подпрыгнувъ, кротко отвѣчалъ староста:—да вотъ забылъ я вамъ доложить, теперь какъ я въ табунъ ѣздилъ, такъ никольскій этто баринъ попался на встрѣчу: куда-то въ дорогу, знать поѣхалъ.

— Какой никольскій баринъ? Комлевъ? живо спросилъ Соковлинъ и весь вспыхнулъ.

— Эдакъ—Комлевъ, чай, такъ и будетъ.

— Да ты не ошибся ли? остановясь противъ него и желая до души допытать его глазами, спрашивалъ Соковлинъ.

— Оно какъ не ошибиться! съ невозмутимой обстоятельностью замѣтилъ староста: — дѣло не трудное! однако это подлинно они будутъ: я и лошадей-то ихъ, какъ своихъ, знаю: игреняя въ корню отъ нашего еще Анычара, да рыжія на пристяжкѣ—одна со звѣздочкой, а другая...

— Да самъ ли онъ, Комлевъ, ѣхалъ? Его-то ты знаешь ли?

— Какъ не знать Павла Егорыча! Не однова и здѣсь видалъ.

— Ну, чтожь онъ—по дорожному ѣдетъ или налегкѣ? Можетъ, въ гости?

— Знамо! можетъ, что и въ гости; только по

дорожному ѣдутъ, и сундучокъ сзади веревками увязанъ; значитъ, какъ бы въ дальнюю дорогу.

Соковлинъ въ волненіи раза два прошелся по комнатѣ.

— Куда онъ ѣхалъ? не видалъ? Въ городъ, можетъ?

— Нѣтъ, должно быть не въ городъ, для того, что отъ городу ѣхали прямо этто къ Москвѣ по трахту.

Соковлинъ молча и скоро ходилъ нѣсколько времени.

— Ступай! сказалъ онъ наконецъ, вспомнивъ о старостѣ.

Но когда онъ хотѣлъ выйдти, уже Соковлинъ самъ вернулъ его.

— Такъ ты не ошибся? спросилъ онъ. — Онъ тебѣ ничего не наказывалъ?

— Нѣтъ, наказывать ничего не наказывали, отвѣчалъ староста: — только я поклонился имъ, и они это поклонились.

Соковлинъ кивнулъ старостѣ головою; тотъ еще подумалъ нѣкоторое время, однако повернулся и на этотъ разъ окончательно вышелъ.

«Уѣхалъ»! думалъ Соковлинъ, и невольно улыбнулся. У него вдругъ точно стало отпадать отъ сердца все накипѣвшее за это время, и онъ чувствовалъ себя необыкновенно легко и отрадно. Правда, мысль о томъ, какъ перенесетъ этотъ отъѣздъ Наташа, нѣсколько смущала его: «по», думалъ онъ; «это не могло иначе устроиться, какъ съ ея согласія—можетъ, по ея настоянію; конечно, это будетъ ей тяжело сначала, но отъ разлуки умираютъ только въ романахъ»!

Волненіе Соковлина дошло до того, что увидавъ проходившую мимо кабинета горничную, онъ вопреки своего намѣренія не вытерпѣлъ и спросилъ:

— Что барыня?

— Сейчасъ встала, отвѣчала горничная.

Соковлинъ опять сталъ ходить, передумывая все объ одномъ и томъ же. То ему казалось невыносимо длинна каждая минута, то, задумавшись, онъ не видалъ, какъ шло время. Такъ прошло, можетъ быть, около часу, когда вдругъ до слуха Соковлина дошелъ слабый шелестъ женскаго платья и приближающаяся знакомая походка. Соковлинъ, такъ твердо вынесшій все горе этихъ дней, вдругъ обезсилѣлъ передъ минутой счастія. Онъ весь поблѣднѣлъ и опустился въ кресло; пульсъ едва бился у него; онъ боялся, что у него не достанетъ силъ дождаться разгадки; но дверь отворилась и Наташа вошла.

—

Если иногда, выражаясь про нѣкоторыя счастливыя мужскія натуры, въ родѣ собакевичевской, называютъ ихъ желѣзными, то женскія почти всѣ безъ исключенія можно назвать стальными. Онѣ именно обладаютъ той упругостью стали, которая не мѣшаетъ имъ гнуться подъ малѣйшимъ гнетомъ и такъ же легко выпрямляться послѣ сильнѣйшаго.

Кто бы увидалъ, напримѣръ, наканунѣ Наташу, до того измученную долгой внутренней борьбой, что такого неважнаго потрясенія, какъ записка Комлева, достаточно было, чтобы довести ее до нервнаго припадка, и кто бы слѣдилъ потомъ за ней въ этотъ день, тотъ бы имѣлъ случай убѣдиться въ этой эластичности женской натуры.

Едва придя въ себя отъ обморока, она узнала, что мужъ ея поѣхалъ къ Комлеву. Она не знала, съ какими намѣреніями Соковлинъ поѣхалъ къ нему, тѣмъ болѣе, что и самъ Соковлинъ не могъ бы сказать, чѣмъ кончится это свиданіе. Она могла ожидать ссоры, взрыва, можетъ быть, дуэли. Слѣдовательно, время ожиданія было совсѣмъ не такого рода, чтобы могло успокоить ее. Но у нея достало силъ его выдержать и выйдти къ мужу, чтобы узнать послѣдствія. Разговоръ съ мужемъ глубоко взволновалъ и растрогалъ ее. Она сама готова была пожертвовать своимъ чувствомъ къ Комлеву, чего бы ей это ни стоило. Она тотчасъ написала къ нему. Отвѣтъ, разумѣется, не заставилъ ждать себя. Впрочемъ, должно полагать, она осталась имъ недовольна, потому что снова написала Комлеву: но отвѣтомъ на эту записку переписка прекратилась и, кажется, довольно непріязненно, потому что человѣку, который привезъ ее, велѣно было Комлевымъ отдать ее и не ждать отвѣта.

Наступилъ между тѣмъ вечеръ, а Комлевъ не пріѣзжалъ. Почему онъ не хотѣлъ пріѣхать, просто и прямо, чтобы личнымъ свиданіемъ разъяснить свои отношенія,—не извѣстно. Можетъ быть, они рѣшились разстаться невидавшись, или Комлевъ считалъ неприличнымъ явиться въ домъ мужа, чтобы объясниться съ женою; можетъ быть—кто знаетъ?—оттого, что любовь инстинктивно не терпитъ открытыхъ встрѣчъ и постороннихъ дозволеній.

Послѣдняя записка Комлева привела Наташу въ какую-то сильную борьбу. Нѣсколько разъ она перечитывала ее, и всякій разъ, читая, вся вспыхивала и смущалась. На лицѣ ея виднѣлась то какая-то строгая рѣшимость, иногда даже негодованіе, подъ вліяніемъ котораго она мяла записку, то снова легкая краска и смущеніе начинали проступать на немъ, и она снова нерѣшительно развертывала смятый клочокъ.—«Пусть ѣдетъ»! проговорила наконецъ она и, невольно вздохнувъ, разорвала записку на мелкіе куски.

Этимъ рѣшеніемъ, казалось, Наташа покончила съ своей внутренней борьбою. Но, должно быть, она ей дорого стоила: она упала духомъ, обезсилѣла; темныя тѣни проступили на лицѣ, и отъ этого она вдругъ, казалось, еще болѣе похудѣла. Она стала спокойнѣе, но это было спокойствіе безнадежности, спокойствіе, которое не видитъ уже ничего передъ собою.

Наступила ночь. Наташа отпустила горничную, загасила свѣчу и осталась одна. Въ спальной только теплилась лампадка. Наташа сѣла въ свое покой-

ное кресло и, блѣдная, измученная, долго оставалась въ немъ неподвижно. Иногда она закрывала глаза и при слабомъ свѣтѣ лампадки казалась точно мертвою, забывалась ли она, или ей просто не хотѣлось смотрѣть ни на что.

Въ домѣ уже все улеглось, когда она наконецъ встала, тихо и слабо, какъ больная, подошла къ постели, раскрыла ее, лѣниво подняла руки, чтобы разстегнуть воротничекъ капота, подумала минуту, но, вмѣсто того, чтобы раздѣться, сыскала бурнусъ, накинула его на плечи и вышла на террасу. Ночь была безлунная, свѣжая. Неба было не видно; казалось, какая-то темная бездна висѣла надъ головою и въ ней гдѣ-гдѣ едва мелькали чуть замѣтныя звѣзды; впереди передъ глазами еще чернѣе стоялъ мракъ сада, едва обозначаясь сверху темными, закругленными очертаніями передовыхъ деревьевъ; далѣе садъ сливался съ рощей и уходилъ въ глубь мягкой черной мглы.

Наташа, завернувшись въ бурнусъ, остановилась на террасѣ, какъ бы желая освѣжиться. Въ холодномъ воздухѣ слабо, но раздражительно слышался запахъ цвѣтущей сирени и липы. Кругомъ стояла та дремотная, полночная тишина, въ которой слышится всякій звукъ и шорохъ, но не своимъ звукомъ, а какъ-то разсыпаясь въ пустотѣ. Гдѣ-то далеко въ рощѣ свисталъ соловей; но и онъ свисталъ лѣниво, только какъ будто для того, чтобы досвистать свою пѣсню и улечься спать. Наташа постояла нѣкоторое время тихо, не прислушиваясь, не приглядываясь. И на нее, казалось, начала сходить усыпляющая полуночная дрема и тишина. Вдругъ гдѣ-то невдалекѣ хрустнула вѣтка. Наташа вздрогнула и вся впилась и глазами, и слухомъ въ гущу сада. Еще что-то чуть слышно зашелестѣло тамъ; кровь кипяткомъ прилила къ сердцу, какой-то трепетъ пробѣжалъ по всѣмъ ея жиламъ, она, быстро осмотрѣлась, и неслышно, какъ тѣнь, проскользнула въ темную чащу.

На террасѣ опять стала тишина. Но если бы какой нибудь ревнивый соглядатай тихо прокрался въ глушь сада, онъ бы услыхалъ, можетъ быть, шорохъ быстро удаляющихся шаговъ. Только далеко отъ дому, тамъ, гдѣ садъ переходитъ въ запущенную густую рощу, онъ могъ бы разслышать неясный, прерывающійся шопотъ. Разъ только изъ этого шопота вырвалось испуганное, прерывистое восклицаніе: «ни за что, ни за что на свѣтѣ»! Но и оно было словно заглушаемо чѣмъ-то, и въ немъ слышалось что то робкое, безсильное — и потомъ все какъ-то странно замолкло...

Между тѣмъ въ пустой спальнѣ долго, ровно, одиноко и тихо свѣтилась лампадка; наконецъ и она стала какъ будто уставать, слабо потрескивать и блѣднѣть. Долго рама окна выглядывала изъ драпировки черной впадиной, но и она поблѣднѣла и потомъ начала обозначаться чуть забѣлѣвшимся молочнымъ свѣтомъ. Вдругъ влажный утренній воздухъ пахнулъ въ комнату; огонь лампадки дрогнулъ и закачался; неподвижно стоявшія тѣни, съ просонья, точно испуганныя, торопливо забѣгали по стѣнамъ, и неслышно вошедшая Наташа уже стояла посреди комнаты.

Запыхавшись, затаивая духъ, Наташа замерла, прислушиваясь. Боязливо, чутко-напряженно было ея лицо, но жизнь, румянецъ и одушевленіе невольно пробивались на немъ. Грудь ея высоко вздымалась, полуоткрытыя губы горѣли, глаза, потухая, еще блестѣли. Какое-то внутреннее волненіе сказывалось въ ней легкимъ трепетомъ тѣла, и на всей на ней нѣжнымъ и теплымъ свѣтомъ еще лежала стыдливая краска недавняго счастія...

Успокоясь нѣсколько, что ничего по видимому не выдало ея отсутствія, Наташа мимоходомъ взглянула въ зеркало, и съ минуту, пристально, съ женскимъ любопытствомъ, всматривалась въ свое лицо, какъ бы ища на немъ какой-то новой черты. Потомъ она разсѣянно задумалась, словно что-то припоминая, и вдругъ зарумянилась и торопливо затушила лампадку, чтобы никому, никому, даже самой себѣ не видать того волненія, стыда и счастія, которые она принесла съ собою.

Въ потьмахъ, поспѣшно и осторожно раздѣлась Наташа, тихо легла въ постель и вся съ головой закуталась въ одѣяло.

VIII.

Солнце стояло уже высоко и жарко, и весело било лучами въ окна, когда проснулась Наташа. Раскрывъ глаза, ослѣпленные непривычнымъ свѣтомъ, отъ котораго забыла съ вечера защитить себя сдущенными сторами, Наташа снова на минуту закрыла ихъ. Лицо ея горѣло тихимъ румянцемъ и свѣжестью, какъ цвѣтокъ, еще увлажненный утренней росой; выраженіе его было неопредѣленно; казалось какія-то сладкія грезы, отлетая отъ него, еще ходили по немъ послѣдними легкими оттѣнками. Наташа чувствовала смутно, что есть что-то новое, и отрадное, и жгучее въ ея жизни, и силилась припомнить. Она припомнила и встрепенулась. Румянецъ ярко вспыхнулъ и залилъ все лицо и потомъ, быстро уходя внутрь, началъ сбѣгать, какъ свѣтъ отъ надвигающейся тучи; по мѣрѣ того, какъ она блѣднѣла, какая-то темная мысль набѣгала на ея лицо и сметала съ него всѣ мягкіе слѣды счастія. Брови у ней стали сдвигаться; черты лица углублялись и приняли холодное и суровое выраженіе. Она видѣла безпощадную необходимость сознаться мужу, покончить со всей своей семейной жизнію, съ тѣмъ тихимъ домашнимъ счастіемъ, которымъ была такъ долго лелѣяна; но она не падала передъ этой необходимостію и прямо смотрѣла ей въ лицо; у нея былъ запасъ новыхъ, поддерживающихъ силъ.

Наташа позвала горничную и, кончивъ туалетъ, сказала, чтобы принесли сына. Нянька вскорѣ вошла съ нимъ; она взяла его на руки и отпустила ее. Оставшись одна, она хотѣла, казалось, высы-

пать на сына всѣ горячія ласки, которыя только есть въ материнскомъ сердцѣ, сознавая, что скоро не на кого будетъ излить ихъ, и онѣ останутся въ ней только незаглушимымъ укоромъ. Она цаловала его, всматривалась въ каждую черту лица, чтобы врѣзать ее въ своей памяти, и снова цаловала. Слезы душили ее и падали изъ глазъ, и она, чтобы не испугать ими ребенка, скрывала ихъ и улыбалась. Здоровенькій и веселый ребенокъ обималъ ее, смѣялся и болталъ; спрашивалъ мать, отчего она плачетъ и отчего смѣется. Иногда онъ умолкалъ, любопытно всматривался въ лицо матери большими черными глазенками, и въ нихъ, казалось, мелькало раздумье—не заплакать ли и самому. И, замѣтивъ это, Наташа горячѣе успокоивала и цаловала его, веселѣе улыбалась, а слезы между тѣмъ крупнѣе и чаще падали изъ глазъ.

Это была безмолвная и раздирающая душу сцена, которой свидѣтелемъ былъ только ребенокъ. Наконецъ, сдерживаемыя рыданія начинали душить Наташу; она чувствовала, что еще мгновеніе — и у нея недостанетъ уже силъ. Она простонала, какъ стонутъ надъ мертвымъ, опустила ребенка на коверъ и, вбирая въ грудь воздухъ, чтобы задержать имъ рыданія, она стала стирать платкомъ следы слезъ и вѣять имъ себѣ въ лицо. Она обращалась къ ребенку и улыбалась ему, когда плечи ея еще вздрагивали отъ подавляемыхъ рыданій; наконецъ, она осилила себя, въ послѣдній разъ глубоко вздохнула, какъ будто отдыхая отъ жестокой усталости, взяла ребенка на руки и пошла къ мужу.

Она вошла въ кабинетъ довольно твердо. Лицо ея было спокойно, и только глаза свѣтились лихорадочнымъ блескомъ и выдавали внутреннюю тревогу. Она сдѣлала нѣсколько шаговъ къ мужу, съ той пассивной рѣшимостью, съ которой идутъ на неизбѣжную встрѣчу. Для нея это новое объясненіе было послѣдней ступенью лѣстницы, по которой она постепенно сходила, и притомъ предыдущія встрѣчи съ мужемъ потрясали въ ней такія нѣжныя и болѣзненныя струны, что она готовилась къ настоящей уже съ притупленной страданіями чувствительностью. Того же ожидала она и для мужа. Но его лицо не выражало этого; слабая и робкая надежда невольно отразилась на немъ какой-то заискивающей, едва примѣтной улыбкой, которая блуждала уже по губамъ и просила только одного слова, чтобы обратиться въ радость, руки, казалось, готовы были раскрыться чтобы обнять и прижать жену; взглядъ былъ поднятъ на нее съ трепетомъ и любовью: съ такой улыбкой и взглядомъ библейскій отецъ долженъ былъ видѣть приближеніе блуднаго сына. Когда Наташа взглянула въ лицо мужа, ей стало до того совѣстно и больно, что она почувствовала безпощадную злобу и презрѣніе къ себѣ.

— Возьми его! твердо сказала она, блѣдная и суровая, опуская ребенка на руки мужа. — Я не стою... Голосъ судорожно прервался у нея, и она молча опустила голову.

Соковлинъ смотрѣлъ на нее нѣкоторое время съ недоумѣніемъ. Онъ какъ будто не понималъ ее.

— Но... вѣдь онъ уѣхалъ? спросилъ онъ наконецъ.

— И я ѣду, тихо сказала Наташа.

Соковлинъ продолжалъ смотрѣть на нее. Вся кровь прихлынула у него къ лицу и нѣсколько мгновеній зловѣще стояла на немъ; но потомъ свободнѣе и ровнѣе стала отступать. Казалось, мѣра любви, страданій и нѣжности, на которую было способно его сердце, вся истощилась. Сынъ, который думалъ, вѣроятно, что его принесли здороваться, старался обнять отца и кричалъ: «здорово, папа!» Соковлинъ наклонился къ нему и машинально поцаловалъ его. Наташа стояла и дрожала вся.

Наконецъ, Соковлинъ, кажется, замѣтилъ ея положеніе.

— Хорошо, холодно сказалъ онъ:—я велю приготовить все къ отъѣзду.

Онъ всталъ, пошелъ къ двери и потомъ, полуоборотивъ голову и неглядя на жену, спросилъ:

— Когда же?

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, отвѣчала Наташа.

Соковлинъ пошелъ въ дѣтскую и отдалъ ребенка нянѣ. Возвращаясь, онъ встрѣтилъ въ корридорѣ жену. Блѣдная, какъ полотно, она стояла, прислонясь къ стѣнѣ, для того ли, чтобы дать мужу дорогу, или чтобы не упасть отъ безсилія. Убитый взглядъ ея съ невольнымъ ужасомъ слѣдилъ за мужемъ. Но Соковлинъ, прямо глядя впередъ, прошелъ мимо нея твердой, ровной походкой, не обращая на нее ни малѣйшаго вниманія, какъ будто тутъ у стѣны не стояло никакой, блѣдной какъ призракъ, женщины. И Наташѣ показалось, что струя воздуха, которая пахнула на нее, была пропитана холоднымъ, безпощаднымъ презрѣніемъ.

Соковлинъ вошелъ въ кабинетъ, позвонилъ и сталъ дѣлать распоряженія объ отъѣздѣ.

—

Цѣлый день Соковлинъ хлопоталъ, распоряжался, припоминалъ все необходимое для отъѣзда жены. Онъ велѣлъ осмотрѣть и приготовить карету, написалъ и отправилъ письмо къ предводителю, прося о нужныхъ для жены бумагахъ, посылалъ въ Любаповку за конторщикомъ и деньгами, но былъ блѣденъ и скупъ на слова. Когда встрѣчалась надобность спросить о чемъ нибудь жену, Соковлинъ входилъ къ ней прямо, безцеремонно, какъ это дѣлывалъ въ старое время; говорилъ съ ней сухо, отрывисто и торопливо; одно только можно было замѣтить въ немъ: онъ ни на минуту не оставался покоенъ и старался пріискать себѣ дѣло.

Наташа, напротивъ, ничѣмъ не могла заняться. Она нехотя отвѣчала на вопросы горничной, которая разспрашивала, что изъ вещей и платья брать съ собою, и только просила ее, чтобы поскорѣе кончала сборы. Она часто ходила въ дѣтскую, ласкала и цаловала сына, но дѣлала это какъ будто украдкой, и не брала его къ себѣ въ комнату, точно сынъ въ самомъ дѣлѣ уже не при-

надлежалъ ей, и она боялась, чтобы мужъ не увидалъ ея съ нимъ.

Наконецъ, часу въ девятомъ вечера, экипажъ былъ исправленъ, возвратился посланный и привезъ бумаги. Соковлинъ послалъ сказать женѣ, что у него все готово, и просить зайти къ нему, когда она соберется.

Сборы всегда долги, особенно когда ѣдутъ женщины. Не смотря на то, что Наташа торопила, совсѣмъ уже стало смеркаться, когда лошади были заложены; экипажъ стоялъ у подъѣзда, главныя вещи уложены; и только отъ времени до времени выносили какой нибудь маленькій забытый узелокъ и совали его куда нибудь въ сумку или съ боку.

Наконецъ, Наташа вышла одѣтая по дорожному. Она силилась унять рыданія, но по судорожному вздрагиванью плечь видно было, что ей не удавалось; нѣсколько женщинъ шло за нею—онѣ тоже плакали. Съ сыномъ она простилась въ дѣтской и не велѣла выносить его. Соковлинъ встрѣтилъ жену въ дверяхъ кабинета и, когда она вошла, онъ затворилъ ихъ.

Онъ взялъ со стола два пакета и подалъ ей.

— Вотъ тутъ, сказалъ онъ: — твои бумаги, а это деньги. Кромѣ того, любановскіе доходы всегда будутъ тамъ въ конторѣ; когда нужно, пиши прямо туда и присылай свой адресъ. Ты не должна ни отъ кого зависѣть: я этого требую.

Онъ взялъ у ней дорожную сумку и помогъ ей положить въ нее пакеты, потому что у Наташи дрожали руки, и слезы такъ душили ее, что она должна была безпрестанно прижимать къ лицу платокъ, чтобы громко не разрыдаться.

— Если ты вздумаешь возвратиться, помни, что здѣсь у тебя домъ и сынъ, и что не я къ тебѣ измѣнился... Не захочешь — у тебя есть домъ въ Любановкѣ.

Онъ замолчалъ. Наташа не шевелилась.

— Теперь ты можешь ѣхать... сказалъ Соковлинъ—Прощай!... прибавилъ онъ.

Но Наташа не смѣла прикоснуться къ мужу, не могла уйти не простившись. Соковлинъ замѣтилъ это, затруднился на мгновенье, и подалъ Наташѣ руку. Вмѣсто того, чтобы пожать ее, Наташа схватила и стала ее цаловать. Соковлинъ тихо отнялъ ее—она бросилась къ нему и цаловала его грудь и платье.

— Прости, прости! едва слышно шептала Наташа.

У Соковлина подернуло лицо, но онъ старался не выказать волненія.

— Я не виню тебя, торопливо сказалъ онъ, поцаловавъ жену въ голову, отворилъ дверь и, поддерживая Наташу за плечи, вывелъ ее.

Дворовые люди бросились прощаться съ барыней и посадили ее въ карету. Горничная и слуга, одѣтые по дорожному, подошли проститься къ барину.

— Берегите же барыню, сказалъ онъ имъ.

Когда горничная сѣла съ барыней, а лакей на козла, Соковлинъ заглянулъ въ окно кареты и спросилъ Наташу:

— Хорошо ли тебѣ? — Потомъ скороговоркой прибавилъ пофранцузски: — помни же, что я все тотъ же, и ты всегда будешь здѣсь у себя...

Наташа не выдержала, обвила руками голову мужа и страстно цаловала его.

На минуту Соковлинъ, казалось, отдался этимъ поцалуямъ. Голова закружилась у него, но онъ сдѣлалъ усиліе и отвелъ руки жены.

— Съ Богомъ! сказалъ онъ кучеру, отступая отъ кареты.

Лошади двинулись, и экипажъ скоро скрылся въ переулокъ.

Соковлинъ машинально смотрѣлъ ему вслѣдъ, пока онъ былъ виденъ, и потомъ ушелъ въ домъ.

На дворѣ уже совсѣмъ темнѣло. Кучка дворни, провожавшей барыню, потолковавъ, стала расходиться, и вскорѣ никого не осталось у воротъ и подъѣзда.

Соковлинъ вошелъ въ опустѣлый домъ и прошелъ прямо въ дѣтскую. Тамъ была только няня Аринушка, о чемъ-то въ полголоса разсуждающая съ старой ключницей Марьей Савишной; она укладывала ребенка, который, наплакавшись, засыпалъ. Соковлинъ поцаловалъ его и молча ушелъ въ кабинетъ. Между тѣмъ, какъ на дворѣ то какая нибудь баба бранилась съ кучеромъ, то пробѣжитъ молодой лакей въ догонку съ разыгравшейся горничной, словомъ отзывалась уже та свобода, которая немедленно и громко проявляется вслѣдъ за отъѣздомъ кого нибудь изъ господъ, домъ, напротивъ, казалось, чувствовалъ отсутствіе оживлявшей его женщины. Въ опустѣлыхъ комнатахъ не было ни огня, ни движенія; онѣ вдругъ смолкли и стали какъ будто больше и скучнѣе. Молодая прислуга разбѣжалась въ избы и въ хороводъ; старухи улеглись спать, и весь домъ погружался въ мертвую апатическую дремоту.

Только одинъ Соковлинъ не спалъ въ своемъ кабинетѣ; но по безмолвію, которое стояло въ комнатѣ можно было и не подозрѣвать его присутствія. Соковлинъ сидѣлъ неподвижно въ своемъ креслѣ; слабый полусвѣтъ весеннихъ сумерекъ не позволялъ разсмотрѣть его лица, но судя по очертаніямъ его фигуры, видно было, что онъ весь какъ-то безсильно опустился и понурился. Казалось, горе, которое онъ несъ и твердо держалъ до послѣдней минуты, вдругъ перемогло и придавило его всей своей тяжестью.

—

Между тѣмъ Наташа довольно быстро и благополучно ѣхала по московскому тракту. Подъѣхавъ къ третьей или четвертой станціи, она увидала у подъѣзда дорожный тарантасъ, и прислуга ея съ удивленіемъ и удовольствіемъ узнала въ стоявшемъ у подъѣзда лакеѣ—слугу Комлева. Оказалось, что у экипажа Комлева что-то сломалось, и онъ долженъ былъ простоять тутъ нѣсколько часовъ. Но

экипажъ уже поправленъ, и Наташа поѣхала далѣе, сопровождаемая сосѣдомъ.

Въ Петербургѣ Наташа пробыла только время, необходимое для полученія паспорта. Она оставила тамъ экипажъ и прислугу, и недѣли черезъ двѣ по выѣздѣ изъ деревни, на пароходѣ «Прусскій Орелъ,» одна отправилась за границу. Въ числѣ отъѣзжающихъ на этомъ же пароходѣ былъ и Комлевъ.

IX.

Прошелъ конецъ весны, прошло короткое лѣто, и осень, сначала пышная, поблѣднѣла, увяла, обложилась синими тучами и долго тянулась грязью и заморозками; пришла и зима, помѣстилась прочно и осѣдло, какъ на долгое житье, и давно уже стояла то ясная и холодная съ сверкающимъ бѣлымъ снѣгомъ, то угрюмая съ снѣжной мятелью по сугробамъ и съ свинцовыми, кругомъ нависшими тучами. Отъ того ли, что меньше было пріѣзду, или менѣе ухода, но знакомый намъ деревенскій домъ Соковлина глубже ушелъ въ снѣгъ, болѣе заметанъ былъ высоко-стоявшими около него сугробами, и отъ этого какъ будто осѣлъ и постарѣлъ. И внутри въ немъ, какъ въ параличномъ старикѣ, слабая жизнь замѣтна была только въ одной половинѣ. Весь передній фасъ комнатъ стоялъ пустой и скучный, и только надворная половина, особенно у дѣвичьяго крыльца, еще гомозилась жильцами. А между тѣмъ въ домѣ зимовалъ, какъ и прежде, тотъ же хозяинъ.

Нельзя сказать, чтобы Соковлинъ жилъ по прежнему. Его настоящая жизнь скорѣе походила на ту, которую онъ велъ до женитьбы; только она была много тяжеле и горемъ, которое онъ испыталъ, и своимъ неопредѣлившимся положеніемъ. Тогда онъ короталъ дни безпечнымъ холостякомъ, отдыхая отъ прошлаго и чувствуя еще достаточно силъ, чтобы надѣяться на будущее. Теперь все свѣтлое было уже за плечами и вдобавокъ прибавилась глубокая рана, которая и зажить не можетъ, потому что память и ожиданія безпрерывно раздражаютъ ее. Если бы жена его умерла, тогда нити порваны; но нѣтъ! она живетъ и живетъ для другаго, и онъ не знаетъ и не позволяетъ себѣ узнавать, гдѣ и какъ живетъ она: счастлива или нѣтъ, близко или далеко.

Одинъ еще лучъ свѣтилъ для него въ будущемъ, — это сынъ; но сынъ былъ такъ малъ еще, что Соковлину, столько разъ осмѣянному судьбой въ надеждахъ, страшно было и загадывать на счастье взростить и воспитать его, или дожить хоть до его перваго, самостоятельнаго разцвѣта. Но видно, что бы ни говорили о тяжкихъ ударахъ судьбы и нравственныхъ страданіяхъ а все-таки человѣческій организмъ легче переноситъ ихъ, нежели какую нибудь перемежающуюся лихорадку. По крайней мѣрѣ Соковлинъ ихъ выносилъ, хотя они отразились и на наружности его и на образѣ жизни. Соковлинъ, и при женѣ мало поддерживавшій знакомства съ окружающими его сосѣдями, рѣшительно не бывалъ теперь ни у кого иначе, какъ по какимъ нибудь настоятельнымъ дѣламъ; разумѣется, и къ нему безъ дѣла никто не ѣздилъ. Разъ только старый нашъ знакомый Охвостневъ, незадолго передъ тѣмъ возвратившійся къ роднымъ пенатамъ, послѣ шестилѣтней отлучки, завернулъ къ нему да и то не впопадъ. — Кстати объ Охвостневѣ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Охвостневъ съ своей подругой умчался въ Москву, о немъ нѣсколько времени не было ни слуху, ни духу. Это продолжалось около года. Оказалось впослѣдствіи, что это время онъ проводилъ въ сообществѣ M-lle Кадо счастливѣйшимъ образомъ. Экс-гувернантка исполнила свои намѣренія; она хотѣла пожить и жила. Кругъ ихъ знакомства составляли тѣ французскія актрисы второй руки и другія ея соотечественницы съ окружающей ихъ молодежью, которыя, не смотря на свое иноземное происхожденіе, держались въ жизни русскаго правила: «хоть день, да мой!» Такія особы съ одной стороны имѣютъ привычку не дорожить презрѣннымъ металломъ, за то съ другой не очень разборчивы въ средствахъ къ его добыванію. Когда небольшія деньги, скопленныя M-lle Кадо, въ качествѣ воспитательницы нашихъ юныхъ соотечественницъ, и еще меньшія, захваченныя съ собой Охвостневымъ, въ качествѣ владѣльца сотни душъ, въ счетъ грядущихъ доходовъ, вышли, тогда какъ-то ловко устроилось, что заботы о M-lle Кадо принялъ на себя одинъ почтенный и сановный мужъ, а M-lle Кадо уже заботилась о снисходительномъ Охвостневѣ. Но эти дни длились не долго. Ужь если француженка отдается чему, то не отдается вполовину, а вся съ своей исключительной furia francese увлекается и закруживается до опьянѣнія. И M-lle Кадо, отдавшись веселой жизни, сначала нашла, что выйти ей замужъ за полуразоренаго помѣщика, какъ Охвостневъ—весьма немного; а потомъ и сановный мужъ, заботившійся о ней въ Москвѣ, показался ей слишкомъ солиденъ, разсчетливъ и скученъ. Ей хотѣлось дѣйствовать на болѣе широкомъ поприщѣ... Вѣсти о нѣкоторыхъ петербургскихъ знаменитостяхъ, въ ея родѣ, раздражили ея самолюбіе. Она не была особенно хороша, но была весела, жива и пикантна. Случай представился ей, и она съ однимъ гусарскимъ поручикомъ, сыномъ откупщика, пріѣзжавшимъ въ отпускъ изъ Петербурга, въ одно прекрасное утро умчалась въ Сѣверную Пальмиру, предоставивъ своего друга Охвостнева его собственной находчивости, такъ какъ при новомъ покровителѣ роль втораго любовника была излишня и неудобна. Охвостневъ не очень огорчился, и сталъ пробиваться собственными средствами. Жизнь, которую онъ велъ, сначала ему нравилась; потомъ втянула его въ себя, какъ втягиваетъ иное болото, и онъ не имѣлъ силъ, да правду сказать и не тратилъ ихъ, на то, чтобы изъ нея вырваться. Его министръ,

какъ называлъ онъ своего старосту, изрѣдка присылалъ ему деньжонокъ, но это были только рѣдкія и маленькія капли росы для жаждущаго. Охвостневъ въ отвѣтъ всегда бранился и грозилъ ему съ неистощимымъ разнообразіемъ, находчивостью и энергіей, свойственной въ этомъ случаѣ русскому человѣку, разными непріятными вещами, но капли отъ этого не увеличивались, и министръ оставался холоденъ, спокоенъ и скупъ. Охвостневъ долженъ былъ разсчитывать только на себя. Онъ барышничалъ лошадьми, водился съ цыганами, игралъ на бильярдѣ, и день за день провелъ такимъ образомъ пять лѣтъ, въ особенно критическія минуты собираясь уѣхать въ деревню, хотя бы только для того, чтобы доставить себѣ удовольствіе потеребить за бороду своего министра. Но эта счастливая рѣшимость такъ бы и осталась въ области прекрасныхъ мечтаній, и вѣроятно Охвостневъ замотался бы въ Москвѣ окончательно, если бы одинъ добродѣтельный землякъ-помѣщикъ не встрѣтилъ его у Печкина и, обрадовавшись знакомому человѣку, не затащилъ его къ себѣ въ номеръ и, попоивъ нѣсколько дней водкой, на собственный счетъ не увезъ его съ собой во-свояси. Дома его встрѣтила ключница Матрена, которая, не утративъ красоты, только поразодобрѣла и стала уже Матреной Кузьминишной. Такъ какъ ни однимъ декретомъ она не была разжалована изъ своей должности, то съумѣла въ его отсутствіе не только удержать, но еще болѣе утвердить свою домашнюю власть, и жила барыней. Она разбранила Охвостнева, доказала ему, что староста ни изъ его, ни изъ ея воли не выходилъ, угостила отличной настойкой и на дѣлѣ доказала всю прелесть домашней жизни, отъ которой онъ такъ безпутно отказывался. Охвостневъ оказался уже не тѣмъ веселымъ и безпечнымъ болтуномъ, себѣ на умѣ, которымъ былъ прежде. Онъ уже не былъ дилеттантомъ въ искусствѣ выпить на чужой счетъ хорошенькаго винца, и для своей забавы поссорить и подурачить кого нибудь: онъ глубже отдался своему призванію, любилъ уже водку для водки и для ея готовъ былъ и сплетничать, и позволять дурачить себя. За то въ характерной и самостоятельной Матренѣ Кузьминишнѣ развилось чувство собственнаго достоинства и за него, и за себя. Она не хотѣла, чтобы ея Петръ Петровичъ игралъ такую незавидную роль въ людяхъ, хотя дома прибирала его совершенно къ рукамъ. Она баловала его чарочкой у себя, но въ гости отпускала рѣдко, и то не ко всѣмъ. Для Соковлина, впрочемъ, она охотно сдѣлала исключеніе, и вотъ почему вскорѣ по пріѣздѣ Охвостневъ пріѣхалъ къ нему.

Это было поутру. Охвостневъ явился въ какомъ-то потертомъ зеленомъ рейт-фракѣ со свѣтлыми пуговицами. Онъ похудѣлъ. Носъ у него принялъ уже довольно знаменательный колоритъ; усы стали одерганные, и весь онъ былъ потертъ и помятъ, какъ его рейт-фракъ. Видно было, что онъ уже слегка закусилъ.

Соковлинъ былъ въ такомъ расположеніи духа, что гость и не въ родѣ Охвостнева не очень бы занялъ его. Однакожь, онъ принялъ его, какъ обыкновенно, и старался ничѣмъ не выказать перемѣны.

Бесѣда ихъ, однакожь, длилась не долго, и кончилась довольно странно. Охвостневъ съ самаго начала старался выказать себя тѣмъ же разбитнымъ и безпечнымъ малымъ, которымъ онъ былъ прежде, хотя уже эта роль плохо удавалась ему, потому что была ролью и не лежала въ его отяжелѣвшемъ характерѣ. Онъ трижды облобызалъ Соковлина, началъ разсказывать, какъ совсѣмъ было запропастился въ Москвѣ, замѣтилъ, что очень холодно, и когда Соковлинъ на это замѣчаніе велѣлъ подать закуску, онъ съ веселымъ вздохомъ вспомнилъ «нашу добрую старушку,» какъ онъ называлъ Татьяну Григорьевну, и ея наливки. Все это онъ проговорилъ залпомъ, ходя по комнатѣ и потирая руки, которые уже тряслись.

— А вы-таки постарѣли! постарѣли, почтеннѣйшій Сергѣй Иванычъ! говорилъ онъ, подойдя къ Соковлину, и потрепалъ его по бокамъ.—Да и что вы какіе-то скучные! Слышалъ я... ну, оно, конечно, удовольствія тутъ мало; да стоитъ ли много думать о нихъ? Вотъ и моя птица упорхнула, да чортъ съ ней: другую можно залучить, хоть и не очень законную, да оно лучше.

Соковлинъ весь вспыхнулъ и всталъ передъ Охвостневымъ.

— О комъ вы говорите? спросилъ онъ, едва сдерживая себя.

— Да я... слышалъ; языкъ вѣдь безъ костей: что-то говорили про отъѣздъ Натальи Дмитріевны; а впрочемъ все вздоръ, конечно... бормоталъ Охвостневъ, не зная, какъ бы вывернуться.

— Послушайте! Вы можете слушать всѣ слухи и разносить ихъ, сколько угодно, сказалъ Соковлинъ: — но если вы здѣсь позволите себѣ дурно отозваться о моей женѣ и сравнивать ее съ вашей птицей, такъ вы сами рискуете вылетѣть отсюда! Понимаете? А чтобъ этого избѣжать, такъ намъ лучше разстаться поскорѣе.

Соковлинъ повернулся и вышелъ.

— Сергѣй Иванычъ! голубчикъ! ну, полно! ну, виноватъ! закричалъ было вслѣдъ ему Охвостневъ. — Вотъ дуракъ, чѣмъ обидѣлся! право дуракъ! думалъ онъ, оставшись одинъ.

Въ это время слуга изъ другихъ дверей подалъ закуску, и онъ немедленно приступилъ къ ней.

— А ты, любезный, поди и скажи барину, что, молъ, Петръ Петровичъ просятъ извиненія, что они, молъ, это такъ сболтнули; такъ и скажи.

Слуга вышелъ, и Охвостневъ весьма усердно продолжалъ угощать себя.

Чрезъ нѣсколько минутъ слуга возвратился.

— Сергѣй Иванычъ приказали доложить, что ваши лошади поданы, сказалъ онъ.

— А! поданы!

Охвостневъ налилъ себѣ третью рюмку, не торопясь выпилъ ее, взялъ фуражку и вышелъ.

Когда Охвостневъ былъ уже въ саняхъ, онъ обратился къ провожавшему его слугѣ:

— Кланяйся, братецъ, ты своему барину и скажи ему отъ меня, что онъ свинья! Слышишь!... Пошелъ! закричалъ онъ кучеру.

Лошади рванулись, и онъ уѣхалъ.

Послѣ этой маленькой *исторіи*, слухъ о которой съ разными варіантами въ свою пользу распустилъ самъ же Охвостневъ, разумѣется, еще менѣе нашлось охотниковъ посѣщать Соковлина, чѣмъ онъ, впрочемъ, былъ очень доволенъ.

Соковлинъ, какъ въ старое время холостой жизни, занимался хозяйствомъ, короталъ дни чтеніемъ, и по цѣлымъ часамъ игралъ и сидѣлъ съ своимъ сыномъ; такъ же, какъ въ старое время, являлся иногда къ нему Игнатьичъ, но уже не по призыву и не для бильярда, къ которому за старостью былъ неспособенъ, а такъ, разсказать про старину, развлечь барина. Игнатьичъ жилъ въ своей комнатѣ на антресоляхъ—скорѣе въ родѣ домашняго человѣка, чѣмъ слуги. Встарину онъ былъ камердинеромъ стараго барина, страстнымъ охотникомъ и большимъ ловеласомъ; теперь занимался пчелами, любилъ поудить, охотно читалъ наставленія молодымъ лакеямъ, и со страстью стараго волокиты все свободное время посвящалъ наблюденіямъ за интригами горничныхъ, къ которымъ во время оно былъ такъ падокъ. — Впрочемъ, онъ никогда не выдавалъ ихъ, и скорѣе даже потворствовалъ, чѣмъ мѣшалъ; онъ любилъ только ихъ знать и слѣдить, какъ проигравшійся до нитки игрокъ любитъ смотрѣть на чужую игру. Игнатьичъ съ преданностью стараго слуги любилъ Соковлина, и въ этомъ качествѣ былъ въ нѣкоторой оппозиціи къ барынѣ и ея дворнѣ—какъ къ чужимъ, вхожимъ. Игнатьичъ отгадывалъ горе Соковлина и по своему старался иногда развлекать его.

— Разъ—это было въ половинѣ января—Соковлинъ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ. На дворѣ стояла хмурая зимняя ночь, наглухо накрытая сверху сплошными безцвѣтными тучами. Ни звѣздъ, ни мѣсяца не было видно; но должно быть полный мѣсяцъ свѣтилъ на небѣ, потому что на бѣломъ грунтѣ снѣга можно было довольно различать предметы. Длинный вечеръ подходилъ къ концу; рѣже слышался стукъ отворяемой и затворяемой наружной двери; въ тихомъ и полуопустѣломъ домѣ становилось еще тише: все укладывалось спать. Соковлинъ сидѣлъ у камина, въ которомъ давно уже прогорѣли дрова, и только мѣстами сквозь пепелъ свѣтилось еще нѣсколько алыхъ углѐй. Лампа подъ абажуромъ горѣла слабо; раскрытая книга, которую читалъ онъ, была опущена на колѣни. По неподвижно-устремленнымъ въ одну точку глазамъ видно было, что мысли Соковлина были чѣмъ-то глубоко поглощены. Эти длинные одинокіе зимніе вечера тяжело переживались имъ: читать и читать — наконецъ надоѣстъ, и вотъ поневолѣ пойдутъ блуждать мысли, и постоянно, какъ магнитная стрѣлка, становятся на одномъ, всегда болѣзненно и раздражительно отзывающемся воспоминаніи. «Гдѣ-то она теперь? что дѣлаетъ?»—и вопреки воли воображеніе рисуетъ ему обидныя и возмущающія картины. Соковлинъ мало похудѣлъ за это время, но постарѣлъ много. Между черными волосами виднѣлися цѣлыя бѣлыя пряди сѣдыхъ, хотя ему было съ небольшимъ еще сорокъ лѣтъ. Открытое и честное лицо уже не глядѣло такъ прямо и добродушно; какая-то горькая черта легла около рта; и о чемъ бы не говорилъ Соковлинъ— онъ не отдавался весь предмету, а все какъ будто другая мысль лежала у него постоянно на умѣ, и онъ только отрывался отъ нея, ее не забывая.

Такъ Соковлинъ одиноко короталъ и этотъ вечеръ. Длинная комната кабинета, освѣщенная въ одномъ углу только, гдѣ сидѣлъ Соковлинъ, другимъ вся уходила въ полумракъ. Только бѣлый бюстъ Пушкина слабо выдавался изъ него да нѣсколько роскошныхъ переплетовъ въ шкапу тускло блестѣли, и на всемъ была такая тишина и неподвижность, какъ будто и книги, и бюстъ, и вся комната—скучая и дремля—ждали только времени, когда наконецъ Соковлинъ загаситъ огонь и дастъ имъ уснуть. Вдругъ портьера въ темномъ углу приподнялась и въ комнату неслышно заглянула и показалась фигура старика съ бѣлыми, какъ лунь, волосами и такими же длинными усами. Старикъ былъ въ истертомъ суконномъ казакинѣ и валенкахъ — отъ этого похода его была совсѣмъ не слышна и Соковлинъ не замѣтилъ его. Старикъ кашлянулъ.

— Кто тутъ? спросилъ Соковлинъ, вглядываясь въ него.

— Я-съ, тихо отвѣтилъ старикъ и подошелъ къ свѣту.

— Что ты, Игнатьичъ? нѣсколько тревожно спросилъ Соковлинъ, удивленный его приходомъ въ это время.

— Вы ничего не слыхали? спросилъ Игнатьичъ.

— Ничего. А что?

Старикъ таинственно наклонился и сказалъ сдержаннымъ шопотомъ:

— Барыня пріѣхала!

— Можетъ ли быть? Какъ? когда? вскочивъ, спрашивалъ Соковлинъ.

Игнатьичъ приподнялъ палецъ, прося молчанія— и Соковлинъ замеръ на мѣстѣ.

— Не пріѣхали, а пришли! тихо таинственно продолжалъ старикъ. — Вижу я, кто-то крадется пѣшкомъ изъ калитки на заднее крыльцо, я и сошелъ. Вижу, взошла въ дѣтскую; глядь барыня! и только Аринѣ шепчетъ: «молчи».

— Гдѣ же она теперь? тоже тихо, но дрожащимъ голосомъ спросилъ Соковлинъ.

— Да тамъ же, въ дѣтской, отвѣчалъ Игнатьичъ.

Едва старикъ договорилъ эти слова, какъ уже Соковлина не было въ комнатѣ. Онъ вошелъ въ темный корридоръ и тихо пробрался къ дѣтской. Дверь въ нее была не плотно притворена, и Соковлинъ остановился у нея. Ему нужно было дать

себѣ хоть нѣсколько мгновеній, чтобы успокоиться. А между тѣмъ онъ могъ видѣть, что дѣлалось въ смежной комнатѣ. Наискось у стѣны стояла кроватка, въ которой спалъ Андрюша. Держась за нее одной рукой, передъ ней стояла женщина въ салопѣ и дорожномъ капорѣ; лица ея, наклоненнаго надъ кроваткой, не было видно, но Соковлинъ только взглянувъ на нее, сильно прижалъ руку къ сердцу, чтобы умѣрить его боль и біеніе. Передъ Наташей, въ ночномъ чепчикѣ на растрепанной головѣ и какомъ-то плафоркѣ стояла Аринушка: она держала въ одной рукѣ свѣчу, а другой заслоняла ея свѣтъ отъ головы спящаго ребенка. Сама она, не спуская глазъ, смотрѣла на свою *барышню*. Свѣча слабо дрожала въ ея морщинистой рукѣ, и весь отраженный свѣтъ колебался на изрѣзанномъ мелкими морщинками лицѣ.

— А что Сергѣй Иванычъ? тихо спросила Наташа, и повернула голову.

Соковлинъ увидалъ ея освѣтившійся профиль, услыхалъ знакомый голосъ, и прежде нежели старуха успѣла отвѣтить, онъ былъ уже въ комнатѣ.

— Наташа! сказалъ онъ.

Наташа вздрогнула, обернулась, и голова ея была уже на груди мужа.

Соковлинъ обнялъ жену и повелъ съ собою.

— Огня! Разбудить людей! скорѣе! сказалъ онъ, оборачиваясь къ Аринушкѣ и стоявшему позади его Игнатьичу, и вошелъ съ Наташей въ кабинетъ.

Тамъ онъ опустилъ жену на диванъ, и самъ, обезсиленный ощущеніями, упалъ противъ нея въ кресло.

Нѣсколько мгновеній они сидѣли молча. Соковлинъ смотрѣлъ на похудѣвшее лицо Наташи; Наташа обвинула взглядомъ мужа и опустила глаза.

— Скажи, отчего ты пришла пѣшкомъ? отчего не прямо—сюда?.. спросилъ Соковлинъ.

Наташа еще болѣе потупилась.

— Я хотѣла только взглянуть на Андрюшу, тихо сказала она:—и проѣхать въ Любаковку.

— А здѣсь?.. Но Соковлинъ не кончилъ вопроса и вдругъ остановился.—Впрочемъ, прибавилъ онъ, смутясь:—я не знаю... и если ты хочешь...

Наташа поняла его. Она подняла на него глаза, хотя все лицо горѣло отъ стыда.

— У меня на это одна причина, сказала она:—мнѣ стыдно и совѣстно воротиться въ твой домъ и къ тебѣ...

— Зачѣмъ это! зачѣмъ! совѣстливо сказалъ Соковлинъ, съ упрекомъ покачивая головою.—Отчего ты не вѣришь мнѣ, отчего не хочешь просто считать меня твоимъ старымъ другомъ?

— Оттого, что не стою тебя!.. робко сказала Наташа и, взявъ его руку, цаловала ее.

Соковлинъ нагнулся, обнялъ и, крѣпко поцаловавъ ея голову, въ тоже время освободилъ свою руку.

— Однако, гдѣ же твой экипажъ? заговорилъ онъ поспѣшно, желая прекратить это объясненіе и торопливо отеревъ глаза: — гдѣ же ты его бросила?—Эй! человѣкъ.

И онъ началъ звонить.

— Онъ тутъ недалеко, на задахъ, отвѣчала Наташа, тоже отирая глаза.

— Тутъ на задахъ барыня оставила экипажъ, велите въѣхать ему, говорилъ Соковлинъ вошедшему слугѣ.—Да каминъ затопите!—Наташа, что же ты не раздѣваешься? Да что же, ужинать, или чаю?

— Ничего я не хочу! словно отдыхая, сказала Наташа.

Она встала, чтобы сбросить салопъ; слуга подхватилъ его, поклонился барынѣ, поздравилъ съ пріѣздомъ и поймавъ поцаловалъ ея руку.

— Здравствуй, Никаноръ!—Нѣтъ, ничего мнѣ не надо, продолжала она.—Я такъ рада, что я дома! сказала Наташа, глубоко вздохнувъ, какъ будто съ нея скатилось тяжелое бремя.

И въ первый разъ послѣ многихъ, можетъ быть, счастливыхъ, но тревожныхъ дней, она почувствовала подъ собой твердую почву. Въ первый разъ она почувствовала на душѣ успокоительное дыханіе тихаго не скрываемаго счастія. И такъ ново и дорого было ей теперь это чувство—такъ отрадна была ей надежда и возможность выйти снова на прямую дорогу, что она только повторила: «Я такъ рада! такъ»... и не договоривъ, закрыла лицо руками, и рыдала, рыдала горячими слезами раскаянія, благодарности и счастія.

Соковлинъ не останавливалъ, не унималъ ее: онъ чувствовалъ, что ей нужны эти омывающія искупительныя слезы; онъ только смотрѣлъ на нее, и не слыхалъ, какъ у самого по щекамъ медленно катились тоже слезы.

Между тѣмъ въ домѣ все засуетилось и задвигалось. Вскорѣ въ кабинетъ принесли дрова въ каминъ, свѣчи; Наташа стала успокоиваться, и притомъ слезы ея вытекали отъ такихъ нѣжныхъ и сокровенныхъ душевныхъ движеній, что одно присутствіе посторонняго человѣка, какъ прикосновеніе къ листамъ «не тронь меня», сжимало и прекращало ихъ источникъ. Слуги и горничныя здоровались съ барыней. Между ними неслышно явился и Игнатьичъ въ тѣхъ же валенкахъ и, поздоровавшись, хитро прибавилъ: «Какъ это вы, сударыня, подкрались къ намъ? Мы и не слыхали ничего»! Явилась и старая ключница Соковлина, толстая и раздражительная Марья Савишна, низко поклонилась и расцаловалась съ Наташей, и какъ та ни прятала свою руку, все-таки ее вытребовала.

— А куда самоваръ прикажете подать? спросила она, вѣрная своимъ обязанностямъ.

— Да зачѣмъ самоваръ? Не надобно, Марья Савишна, отвѣчала Наташа.

— Какъ это не надобно? Гдѣ это видано! Съ дороги перезябли, да самовару не надобно! обиженно воскликнула она.—Да вы, чай, и ноги-то промочили, да это еще и не согрѣться?

— Ну, хорошо, хорошо! подай сюда, сказала Наташа.

— Ну, этакъ-то лучше! Вотъ тутъ къ огоньку!

А то гдѣ это видано, съ дороги да и не согрѣться? уходя, ворчала Марья Савишна, и черезъ минуту сама принесла, переваливаясь, подносъ со всѣмъ прибором, и тотчасъ же явился уже приготовленный какими-то судьбами и кипящій самоваръ.

Наташа не допила еще чашки, какъ въ дверяхъ показалась Аринушка, неся на рукахъ Андрюшу.

— Проснулся, мой голубчикъ! еще издали запѣла она: — разгулялся совсѣмъ, — услыхалъ, что мама пріѣхала, только и говоритъ: «къ мамѣ пойду». Ну, узналъ, кто это? спрашивала она, держа ребенка передъ трепещущей отъ радости и волненія Наташей.

Ребенокъ посмотрѣлъ съ недоумѣніемъ своими большими черными глазенками нѣсколько мгновеній на Наташу.

—Мама! сказалъ онъ и протянулъ къ ней ручонки.

— Радость моя! воскликнула Наташа и, схвативъ сына, засыпала его поцалуями и слезами.

Наташа тоже похудѣла за это время; синія жилки проступали сквозь поблѣднѣвшую кожу висковъ, но отъ дороги и волненія румянецъ широко игралъ на лицѣ; особенно худоба замѣтна была кругъ рта и въ подбородкѣ: они утратили свою нѣжную округлость, какъ будто поиздержались немного; но въ общемъ она не потеряла отъ этого: она стала милѣе, женственнѣе, болѣе нѣжности обѣщали эти похудѣвшія уста.

Наташа отпустила няньку, и сперва развлекала ребенка распросами, потомъ убаюкивала нѣжными именами и ласками. Соковлинъ разсказывалъ про него, про маленькія перемѣны и происшествія (разумѣется, не съ Охвостневымъ), которыя случились безъ нея въ домѣ или дошли до него слухами. Но разговоръ не клеился по весьма простой причинѣ: Соковлинъ могъ только разсказывать, а не распрашивать. Наташа спрашивала, но не могла говорить про себя.

Соковлинъ съ любовью глядѣлъ на жену и ребенка. Онъ уже отвыкалъ отъ мысли видѣть когда нибудь возстановленнымъ свое семейное если не счастіе то спокойствіе, и то, что было передъ его глазами, было такъ нежданно, что наполняло измученную горечью душу отраднымъ и теплымъ чувствомъ. Туча уходила назадъ, и снова солнце начало проглядывать сквозь разорванныя облака. Но смотря на возвратившуюся жену, замѣчая на ея миломъ и дорогомъ для него лицѣ всѣ легкія измѣненія, которыя это время положило на немъ,— не думалъ ли онъ, что эти похудѣвшія уста утратили свою свѣжесть на страстныя ласки, не видалъ ли онъ на нихъ слѣдовъ чужихъ поцалуевъ?..

Было далеко уже за полночь; отрывочный разговоръ упадалъ и смолкъ; огонь снова гасъ въ каминѣ, и ребенокъ, убаюканный ласками, уснулъ на колѣняхъ Наташи.

— Я отнесу его, шопотомъ сказала она.

— Отнеси, да и самой тебѣ пора отдохнуть. Ты, я думаю, утомилась отъ дороги, отвѣчалъ Соковлинъ.

Онъ со свѣчой проводилъ жену и возвратился въ кабинетъ.

Долго еще, оставшись одинъ, ходилъ Соковлинъ неслышными тихими шагами по ковру кабинета, отдаваясь прилину и переходу новыхъ, какъ клубы тумана, неясно-охватывавшихъ его мыслей. Долго еще въ уснувшемъ и потемнѣвшемъ домѣ просвѣчивался слабый свѣтъ сквозь занавѣсы его кабинета, и мы не поручимся, что сонъ въ эту ночь смыкалъ глаза Соковлина.

X.

Свѣжая и оживляющая струя вошла вмѣстѣ съ хозяйкой въ домъ Соковлина, и жизнь потекла въ немъ, по видимому какъ и прежде, мирнымъ и полнымъ теченіемъ. Соковлинъ, казалось, былъ доволенъ, и сравнительно съ недавнимъ положеніемъ, почти счастливъ. Онъ любилъ жену глубокой и искренней любовью,—но года отняли у этого чувства все страстное и жгучее; передъ разрывомъ онъ сказалъ женѣ, что останется ея другомъ—онъ оставался имъ и теперь, — и ему тѣмъ легче было оставаться имъ, что настоящія отношенія не требовали отъ него никакихъ жертвъ; ревность, ревность даже не матеріальная, ревность къ другому нравственно-предпочитаемому—не имѣла по видимому пищи. Любовь и дружба, говорятъ, изъ одного и того же мѣста, только одно замѣшано на чувственности, другое на простомъ сочувствіи; различить ихъ весьма легко: хочется цаловаться — любовь, не хочется—дружба. Заглянувъ поглубже и попроще, безъ идеалистическихъ натяжекъ, въ душу Соковлина, никто бы и никакъ не рѣшился утверждать, что Соковлину не хотѣлось иногда поцаловать и горячо поцаловать свою жену; но года и, скажемъ откровенно, отвычка дѣлали эту жертву подъ силу и не слишкомъ тягостной для его рѣшимости. Онъ сознавалъ, что его прежнее, полное и чистое счастіе было разбито; но испытавъ всю горечь его потери, онъ былъ уже почти доволенъ тѣми обломками, которые судьба еще выбросила на его берегъ.

Несравненно труднѣе опредѣлить состояніе Наташи. Въ женщинѣ и женщинѣ еще молодой, полной силъ и жажды чувства, бываютъ такія внезапныя перемѣны, такъ странно и часто, по видимому, такъ противно всякому здравому ожиданію дѣйствуютъ на нее малѣйшія обстоятельства, что прослѣдить за нею въ переходное время разныхъ вліяній—такъ же трудно, какъ опредѣлить вкусъ и букетъ еще не перебродившаго вина. Мы возьмемся передать только наружные признаки.

Первые дни послѣ своего пріѣзда Наташа была почти совершенно счастлива. Семейная жизнь въ ея тихомъ и ласкающемъ теченіи была тѣмъ отраднѣе для нея, что она не смѣла уже надѣяться на ея возвращеніе. Наташа цѣлые часы проводила съ сыномъ, но все свое умѣнье, вниманье и любовь сосредоточивала на мужѣ. Казалось, она хотѣла всѣми мѣрами вознаградить его, хотя отчасти,

за тѣ страданія, которыхъ была причиной. Она занялась съ удвоеннымъ усердіемъ хозяйствомъ— и не было привычки, желанія или намека мужа, которыхъ бы она не припомнила, не старалась предупредить и выполнить. И все это она дѣлала съ той простотой и женственной граціей, на которыя способны любящія женщины.

Соковлинъ видѣлъ эту удвоенную нѣжность и внимательность Наташи, но по тонкому чувству уваженія къ женѣ не показывалъ вида, что замѣчаетъ ихъ. Онъ боялся указать этимъ самой Наташѣ на ея перемѣну, чтобы не напомнить ея прошлаго, не хотѣлъ принять этой перемѣны за искупленіе, чтобы этимъ самымъ не обвинить или не укорить ея въ прошедшемъ. И Соковлинъ оставался, какъ и обѣщалъ нѣкогда—ея *старымъ* добрымъ другомъ.

Такъ длилось нѣсколько недѣль, но потомъ мало по малу Наташа стала задумчивѣе, грустнѣе. Она не измѣнилась въ своей внимательности къ мужу, но стала менѣе свободно распоряжаться въ хозяйствѣ; часто за разрѣшеніемъ какихъ нибудь вопросовъ, относящихся къ будущему—отсылала къ мужу, какъ будто не прочла оставаться постоянно въ домѣ. Иногда она какъ будто безъ умысла наводила разговоръ на Любановку; разъ даже подъ какимъ-то незначительнымъ предлогомъ захотѣла побывать въ ней, и къ двумъ отапливаемымъ—на случай пріѣзда—комнатамъ, велѣла прибавить еще одну. Однажды, въ сумерки, нечаянно войдя, Соковлинъ замѣтилъ, какъ будто Наташа плакала; но она тотчасъ вышла подъ какимъ-то предлогомъ, и Соковлинъ не могъ удостовѣриться, справедлива ли его догадка. Все это не ускользнуло отъ вниманія Соковлина; но онъ, никогда не однимъ косвеннымъ вопросомъ не касаясь недавней жизни Наташи, не могъ и теперь позволить себѣ не только вопроса, но и знака участія: его положеніе становилось съ каждымъ днемъ тоже труднѣе и тяжеле.

XI.

Однажды, послѣ обѣда, Наташа ушла къ себѣ въ спальню и не показывалась цѣлый вечеръ. Соковлинъ спросилъ горничную, здорова ли барыня, и получилъ отвѣтъ, что она что-то пишетъ. Это было какъ разъ наканунѣ почтоваго дня, и невольныя подозрѣнія снова ворвались въ душу Соковлина. Онъ не зналъ, живъ ли Комлевъ, гдѣ онъ, по какой причинѣ жена оставила его. Правда, двѣ вещи заставляли Соковлина думать, что связь между Комлевымъ и его женою окончательно прервана: это—нѣсколько словъ, сказанныхъ Наташей по возвращеніи, и увѣренность, что въ противномъ случаѣ она не осталась бы ни минуты въ его домѣ. Но... ктожъ упрекнетъ въ подозрительности человѣка, уже испытавшаго то, что испыталъ Соковлинъ! Положимъ, что связь Наташи съ Комлевымъ разорвана—но въ какой степени? Какое чувство осталось между ними? Что было причиною этого разрыва, и прощенъ ли онъ? Какъ знать: La donna é mobile... и Соковлинъ, къ несчастію, зналъ это не изъ Риголетто.

Соковлинъ по старому затворился къ себѣ въ кабинетъ, который былъ свидѣтелемъ стольныхъ долгихъ его черныхъ дней. Не удивились бы эти стѣны и книги и вещи — если бы могли наблюдать—выраженіе лица Соковлина: онѣ видали его и не съ такимъ лицомъ! — но если бы онѣ могли заглянуть въ его душу, онѣ бы сознались, что никогда не читали въ ней болѣе горькихъ, обидныхъ, оскорбительныхъ мыслей. Не ревность это была: что ревность! онъ испыталъ ее; не обманъ въ надеждахъ, не увѣренность въ измѣнѣ чувства: онъ давно зналъ, что надежды хрупки и чувства измѣнчивы—хотя и тяжело это испытывать на себѣ. Нѣтъ! теперь сомнѣнія подкапывались подъ самый сокровенный, нетронутый уголокъ, въ которомъ онъ, какъ святыню, лелеялъ и берегъ все, что ему осталось отъ Наташи: сомнѣнія подкапывались подъ его уваженіе къ любимой женщинѣ! Наташа могла разлюбить его, ненавидѣть, полюбить другаго и отдаться ему. Но Наташа не обманывала его, не дѣлала изъ него ширмъ для своей связи. Наташа (еще недавно онъ былъ увѣренъ въ томъ) не войдетъ въ его домъ для того, чтобы отдохнувъ и усыпивъ мужа, снова возвратиться къ другому. А теперь?...

Мы бы долго и много должны были писать, если бы вздумали исчислять мысли Соковлина, его доводы за и противъ, приливъ и отливъ его подозрѣній. Скажемъ только, что поздно вечеромъ мысли Соковлина были прерваны приходомъ горничной Наташи: она подала ему письмо.

— Варыня васъ проситъ прочитать, сказала горничная и вышла.

Конвертъ былъ запечатанъ, но не надписанъ. Соковлинъ съ нетерпѣніемъ сорвалъ обертку и узналъ руку жены: Она писала:

«Ты меня принялъ въ домъ, не спрашивая, гдѣ я была это время, почему возвратилась, какимъ образомъ прервалась та страсть, которая разбила наше тихое счастіе... Все время, что я снова живу подъ твоимъ кровомъ, ты ни разу ни малѣйшимъ намекомъ не коснулся прошлаго, не постарался разъяснить, давалъ ли мнѣ совершенный разрывъ какое нибудь право снова переступить твой порогъ; ты мнѣ вѣрилъ безусловно. Это меня не удивляетъ. Послѣ того, что ты уже дѣлалъ для меня, я могла этого ожидать, я была даже увѣрена въ этомъ; поступить иначе ты не могъ. Я тебя и не благодарю за это: у меня нѣтъ на это и словъ, да и что тутъ значатъ слова!

«Но если ты молчалъ, то на мнѣ тѣмъ настоятельнѣе лежала обязанность высказаться тебѣ, открыть—чего бы мнѣ это ни стоило—все прошедшее. Я это сознавала и хотѣла давно выполнить, говорить—было выше силъ моихъ, да въ разсказѣ я бы не могла быть сколько нибудь послѣдовательною; я хотѣла писать. Стыдъ разоблачать даже передъ тобою... особенно передъ тобою —

это прошлое... не могъ удерживать меня; я понимаю свой долгъ. Но тутъ явилась другая мысль, и она заставляла меня рвать начатыя письма, останавливала мою руку, была причиной молчанія, съ которымъ я употребляла во зло твое терпѣніе... причина и теперь не уничтожена, но надобно же съ ней покончить, чтобы ни ожидало меня. Но объ этомъ послѣ...

«Не останавливаясь почти въ Германіи, мы отправились прямо въ Швейцарію. Тамъ, недалеко отъ Вэвэ, мы поселились на берегу Женевскаго озера. Любовь... нѣтъ! страсть, совершенное уединеніе съ тѣмъ, кого я любила, природа... все тутъ было для счастія; но, я говорю правду, были минуты безумнаго, страстнаго забытья, но счастья не было: ты, постоянно ты, разрушалъ и отравлялъ его, по крайней мѣрѣ для меня. Ели бы въ твоей жизни со мной, въ отношеніяхъ и поступкахъ, сопровождавшихъ нашъ разрывъ, я могла найти предметъ для укора, точку опоры для собственнаго извиненія, я бы въ то время, мнѣ кажется, готова была благословлять тебя! Но сколько я ни напрягала свою память, я не могла ихъ отыскать; ты мнѣ не оставилъ ихъ. Мнѣ иногда приходила мысль, что ты велъ себя такъ — съ тонкимъ разсчетомъ, чтобы лучше отомстить за себя, но это было уже слишкомъ... Но еслибъ у тебя былъ этотъ разсчетъ, ты бы не могъ лучше дѣйствовать: я ненавидѣла тебя за твою доброту и великодушіе... Какъ нарочно, живо припоминалось мнѣ, что въ первый нашъ разговоръ—помнишь— въ нашемъ любаньевскомъ саду, у пруда, ты мнѣ описывалъ швейцарскія озера, и я тогда же подумала, какъ бы хорошо и отрадно было увидѣть ихъ и пожить тамъ съ такимъ человѣкомъ, какъ ты: и потомъ, уже замужемъ — помнишь — мы иногда говорили объ этомъ?... Все это такъ и вырвалось непрошенное въ мою память и отравляло мнѣ всѣ минуты счастія. Было что-то жгучее въ моей тогдашней жизни, точно крѣпкое вино — и жжетъ, и одуряетъ.

«Я скрывала, разумѣется, сколько могла, эти мысли отъ Комлева, но онъ замѣтилъ мое тревожное состояніе. Онъ меня спрашивалъ, я молчала; но разъ—въ порывѣ негодованія на тебя и себя — я ему ихъ высказала. Онъ пожалъ плечами и сказалъ, что это сантиментальность, романтичность, къ которой ты пріучилъ меня; что не надобно давать волю своей фантазіи, добровольно и глупо терзать себя; что это можетъ развиться до болѣзненности, какъ всякая мономанія; и что съ небольшой силой воли, можно прогнать эти мысли или притупить ихъ, точно такъ же, какъ здравый смыслъ прогонятъ всѣхъ бѣсовъ и привидѣній.

«Но ему легче было развивать свой взглядъ, чѣмъ мнѣ подчиняться ему. Швейцарія, съ ея озерами, была отравлена для меня. Я просила его ѣхать въ Италію; это не входило въ его планъ,— но онъ согласился. Мы переѣхали черезъ Симплонъ и мѣсяца два ѣздили по Сѣверной Италіи. Миланъ, Венеція, Флоренція, Генуя, со своими красотами, памятниками и картинами, были передъ нами. Комлевъ все хотѣлъ видѣть, — я не уступала ему въ этомъ. Это было, можетъ быть, мое лучшее время; но говоря искренне, я думаю, что Италія занимала меня, если не больше, то наравнѣ съ моимъ чувствомъ; я наслаждалась природой и искусствомъ—на счетъ моей страсти: они поглощали ее. — Но страсть эгоистична; она не терпитъ раздѣла; она требуетъ или уединенія, гдѣ все принадлежитъ ей, или блеска свѣта, гдѣ все, что можетъ соперничать, должно быть приносимо ей въ жертву для удовлетворенія ея деспотической жадности. Наша итальянская жизнь слишкомъ развлекла насъ, красоты живописи и ваянія заслоняли насъ другъ отъ друга: онѣ могли развивать только болѣе тихое и глубокое чувство.

«Какъ бы то ни было, но это было мое лучшее время, хотя и тутъ мы часто расходились во взглядахъ съ Комлевымъ: онъ болѣе учился и изслѣдовалъ, чѣмъ чувствовалъ. И тутъ мнѣ вспоминался другой спутникъ, и я уже жалѣла иногда, что его нѣтъ со мной...

«Между тѣмъ осень кончалась; не та осень, среди которой мы были,— осень, разсчитанная по нашему календарю. Комлевъ предполагалъ къ этому времени быть въ Парижѣ. Столкновеніе со мной и безъ того спутало его планы и повредило цѣли: и безъ того онъ мнѣ «пожертвовалъ Германіей,» какъ проговорился онъ, шутя; теперь онъ спѣшилъ наверстать потерянное. — Меня тянуло на югъ, въ Римъ и Неаполь, но я не возражала, и въ ноябрѣ мы были въ Парижѣ.

Въ Парижѣ Комлевъ отдался занятіямъ, которыя на цѣлые дни отвлекали его. Онъ слушалъ лекціи, занимался въ библіотекахъ, дѣлалъ ученыя знакомства. Меня не интересовалъ Парижъ. Я не была въ такомъ расположеніи духа, чтобъ искать веселостей или ѣздить по магазинамъ, да я и не чувствовала къ нимъ влеченія. А безъ нихъ въ Парижѣ и зимой не много интереснаго для женщины. Я оставалась одна, и у меня много было времени для тяжелыхъ размышленій.

«Достоинства мужчины точно такъ же, какъ и недостатки, только немного усиливаютъ или ослабляютъ нашу любовь, но не могутъ ни возбудить, ни уничтожить ее. Но я понимаю, что человѣкъ свободный, употребляющій свое время только на ухаживаніе за женщиной, можетъ заставить предпочесть себя вѣчно-занятому дѣлами, хотя бы и болѣе достойному мужу. Можетъ быть, это происходитъ отъ того, что мы не заняты ничѣмъ, что мы дурно воспитаны и что любовь отъ этого въ извѣстные годы составляетъ нашу насущную потребность, наше единственное занятіе. Не это было причиной моей любви къ Комлеву. Это была не любовь, а страсть. Я не знаю, какъ это сдѣлалось, — она вспыхнула отъ одного взгляда; — но занятія и отсутствіе Комлева и — мнѣ бы не

хотѣлось этого выговорить—его сухой эгоистичный характеръ охлаждали ее.

«Прежде, когда я еще боролась и падала подъ вліяніемъ невольнаго чувства, я часто сравнивала тебя съ Комлевымъ. Всѣ эти сравненія, всѣ убѣжденія разсудка были на твоей сторонѣ, а я каждую минуту болѣе и болѣе предпочитала другаго. Теперь вѣсы покачнулись въ противную сторону и падали тѣмъ скорѣе...

«Можетъ быть, если бы я была женою Комлева, я бы старалась сохранить по крайней мѣрѣ то теплое чувство, которое остается отъ перегара страсти, хотя увѣрена, что мы не были бы счастливы. Собственное ли развитіе, которому я была предоставлена дома посреди природы, ухода и всегда добрыхъ ко мнѣ лицъ; ты ли своимъ постоянно мягкимъ, симпатичнымъ, задушевнымъ вліяніемъ—сдѣлали это; но я чувствовала потребность въ той доброй, ласкающей и миротворной средѣ, въ которой жила до тѣхъ поръ. Мнѣ бы тяжела была сухая, ничѣмъ не согрѣтая, замкнутая въ себѣ жизнь, которую бы мнѣ привелось вести съ Комлевымъ: я была для него слишкомъ нѣжно и мягко развита. И какъ я была безконечно благодарна тому себялюбивому чувству, которое заставило его отказаться отъ женитьбы на мнѣ!

«Какъ скоро я почувствовала, что страсть прошла, что явилось размышленіе и спалъ туманъ, охватившій меня, я не колебалась болѣе, — единственная нить, которая была причиной моихъ поступковъ, которая оправдывала меня до нѣкоторой степени въ собственныхъ глазахъ,—оборвалась. Я рѣшилась на немедленный разрывъ.

«Одна мысль была обидна и унизительна для меня. Что же такое мое чувство, моя любовь послѣ этого? Лучшаго изъ мужей, сына, мое тихое и мирное счастіе бросила я для болѣе страстнаго и горячаго чувства. И какая же была эта страсть, которая длилась полгода и не выдержала встрѣчи съ самыми ничтожными обыденными вещами? И что же я сама послѣ этого?...

«Эта мысль стоила мнѣ многихъ горькихъ и необлегчающихъ слезъ. Отъ этой мысли и теперь стыдъ бросается въ лицо, я теряю вѣру въ себя и смотрю на себя унижающимъ взглядомъ. Но я не хотѣла ради ея обманывать себя и другихъ. Что жь дѣлать! значитъ, я такова есть; пусть же будетъ, что будетъ!

«Разъ Комлевъ ушелъ съ утра и долго не возвращался. Я не ждала его нетерпѣливо, не тосковала и не роптала: я скучала, и скучала не по немъ. Тогда эти мысли явились мнѣ, и туманъ сталъ падать.

«Я удивилась той поражающей быстротѣ, съ которой новый взглядъ выяснился во мнѣ, новыя мысли раждались, зрѣли и крѣпли въ убѣжденіе: какъ будто падало наскоро сложенное зданіе, изъ котораго выпалъ одинъ камень. Такъ при мнѣ разъ передъ Hotel de Ville ломались щиты и подмостки ярко горѣвшей наканунѣ иллюминаціи. Когда Комлевъ возвратился вечеромъ домой, онъ нашелъ дверь моей комнаты запертою.

«На другой день былъ какой-то праздникъ. Комлевъ былъ свободенъ и располагалъ весь день провести со мною; я ничего не говорила ему о своемъ предположеніи, я сама хотѣла еще повѣрить себя.

«День былъ славный. Мы провели его, какъ проводятъ влюбленные парижане, работающіе порознь цѣлую недѣлю, а въ воскресенье задающіе себѣ праздникъ. Мы катались, гуляли, обѣдали у Филиппа, были въ оперѣ. Весь день мы были вдвоемъ. Комлевъ былъ веселъ, въ отличномъ расположеніи, какъ рѣдко; но я смотрѣла на него уже другими глазами, такъ что онъ спросилъ меня разъ, отчего я сегодня какая-то странная. Дѣйствительно, мнѣ было странно мое положеніе.

«Когда мы воротились домой, я сказала ему:

— Страсть прошла и для меня, и для тебя. Между нами не было другой связи и другихъ причинъ жить вмѣстѣ: разстанемся!

— «Это что значитъ! отчего это пришло тебѣ вдругъ въ голову? спросилъ онъ съ удивленіемъ.

— «Я это чувствую, отвѣчала я.—Другихъ причинъ и убѣжденій тутъ не нужно, и я рѣшилась ѣхать.

— «Какъ знаете! Вы свободны, сказалъ онъ — и вышелъ.

«Онъ былъ болѣе оскорбленъ и удивленъ, чѣмъ огорченъ.

«На другой день онъ спросилъ меня, не передумала ли я. Я отвѣчала, что нѣтъ, и просила его позаботиться о моемъ отъѣздѣ. Тогда онъ перемѣнилъ тонъ и просилъ меня просто дружески сказать ему, не огорчилъ ли меня чѣмъ невольно: предлагалъ перемѣнить образъ жизни, если онъ мнѣ не нравится, сказалъ, что онъ готовъ, если я хочу, бросить занятія и ѣхать, куда мнѣ вздумается.

— «Нѣтъ, мой другъ, сказала я:—ты ни въ чемъ не виноватъ, и если нужно искать виновнаго, такъ вини мое непостоянство — недостатокъ твердости и стойкости чувствъ. Я знаю, взаимными уступками мы могли бы еще поддерживать нашу привязанность, но для того чувства, которое осталось теперь между нами, не стоитъ ни тебѣ жертвовать своими занятіями и будущностію, ни мнѣ — мнѣ впрочемъ нечѣмъ уже жертвовать!—оставаться въ настоящемъ положеніи, стѣснять тебя собою. Игра становится мелка для свѣчей,—не будемъ ихъ жечь напрасно!

«Онъ задумался, не отвѣчалъ ни слова, и пошелъ исполнять маленькія порученія, которыя я просила его сдѣлать для отъѣзда. Я тоже стала собираться.

«Когда вечеромъ мы сошлись, онъ сказалъ мнѣ:

— «Я долго думалъ о твоихъ словахъ. Мнѣ грустно, но я долженъ сознаться—ты справедлива. Ты — честная женщина, прибавилъ онъ и пожалъ мнѣ руку.

«Мы проговорили остатокъ дня, какъ добрые старые друзья. Поѣздъ отходилъ вечеромъ. Онъ проводилъ меня на желѣзную дорогу, и его послѣднія слова были: «Если мы встрѣтимся когда

нибудь, вы во мнѣ увидите почтительнаго, но далекаго знакомаго. Но вѣрьте, что всегда вы будете дороги мнѣ и глубоко мое уваженіе къ вамъ.

И мы разстались...

«Не смотря на твои добрыя слова передъ отъѣздомъ, я рѣшилась остановиться въ Любановкѣ. Я не сомнѣвалась въ тебѣ; но мнѣ совѣстно было; я не считала себя стоющею, мнѣ казалось наглостью пріѣхать въ твой домъ. Но проѣзжая въ виду его, я подумала: «теперь всѣ спятъ» и не устояла противъ искушенія обнять сына...

«Остальное ты знаешь.»

Тутъ письмо было подчеркнуто, и послѣ него оставался большой пробѣлъ. Остальное было написано на отдѣльной страницѣ.

XII.

Соковлинъ остановился и задумался. Воображеніе ярко и отрывисто оживило ему прочитанное, можетъ быть, въ небывалыхъ сценахъ. Говорятъ, когда тонешь и погружаешься головой въ воду, вся прошедшая жизнь, всѣ длинные годы, какъ молнія, пролетятъ передъ глазами. Соковлинъ чувствовалъ нѣчто подобное: передъ нимъ пронеслась жизнь Наташи съ Комлевымъ и раскаленнымъ угломъ прошло по сердцу это воспоминаніе. Онъ вырвался отъ него, провелъ рукой по лицу, точно стряхивая страшныя грезы, и началъ читать остальное:

«Я кончила свою исповѣдь. Я ее должна была сдѣлать, и вѣрь мнѣ, сдѣлала искренне, каково бы ни было то чувство, которое она возбудитъ въ тебѣ. Теперь позволь мнѣ поговорить о настоящемъ.

«Если бы я отдала его на твой произволъ — я знаю тебя — ты бы все простилъ — да ты уже и простилъ меня — и остался бы, какъ теперь, моимъ добрымъ старымъ другомъ. Когда ты принялъ меня въ свой домъ и я увидала все, что любила и что составляло мое счастье—у меня закружилась голова отъ блаженства; это было чувство, похожее на то, если бы мнѣ сказали, что все прошлое было только кошемаромъ. Признаюсь тебѣ, первые дни я и думала, что снова я вышла на прямую, счастливую, открытую дорогу, и мнѣ остается только, стыдливо склонивъ голову, хоть издали идти за твоей доброй и великодушной рукой... Но когда я осмотрѣлась и одумалась, когда, принимаясь за свою исповѣдь, я прослѣдила свое прошлое—я убѣдилась, что съ иныхъ поворотовъ нѣтъ возврата и прошлое не исчезаетъ безслѣдно, какъ кошемаръ...

«Да, мой другъ! я не могла, не должна была молчать: но, разсказавъ тебѣ мою жизнь, я положила между нами вѣчную преграду. Молчанье даетъ возможность предполагать болѣе, — но оно даетъ иногда и смутную надежду, даетъ неувѣренность. Ты зналъ и убѣжденъ былъ въ моей связи, но я должна была показать тебѣ ее. И я открыла тебѣ ту завѣсу моей жизни, за которую нельзя безнаказанно пускать третьяго,—тѣмъ болѣе... Простить можно все, но забыть нельзя!...

«Вотъ почему, мой добрый другъ, я мучила тебя молчаніемъ. Прости меня!—но у меня долго недоставало силъ оттолкнуть мою послѣднюю доску: мнѣ такъ отрадно было отдохнуть на ней!...

«Я не могу оставаться въ твоемъ домѣ, оставаться съ тобой. Я не считаю позоромъ мою прошлую страсть: это было несчастіе; но то, что я сказала и чего не могла и не смѣла договорить—теперь, именно теперь, раздѣляетъ насъ. Пойми меня. Тебѣ будетъ слишкомъ тяжело и мнѣ слишкомъ стыдно смотрѣть другъ на друга. Позволь мнѣ поселиться въ Любановкѣ и только изрѣдка пріѣзжать краснѣть—передъ тобой и сыномъ. Время говорятъ, все залечиваетъ. Дай же мнѣ тамъ состарѣться, дай прійти порѣ, когда иначе и тише будетъ биться мое сердце, биться тѣмъ чувствомъ, въ которомъ нѣтъ измѣны.

«Уважь же мою послѣднюю убѣдительную просьбу, и прости, прости, мой безцѣнный, мой на вѣки потерянный милый!»

Соковлинъ дочиталъ письмо, остановился на мгновенье въ недоумѣніи, и вдругъ какая-то догадка, какъ молнія, озарила лицо. Онъ скомкалъ письмо въ рукѣ и бросился къ Наташѣ.

Она сидѣла въ спальной, облокотясь на столъ и закрывъ руками лицо. Только и были видны ея бѣлый капотъ и черныя, волнисто-упадавшія на руки пряди волосъ. Когда она разслышала быстрые шаги Соковлина, она подняла блѣдное лицо и безстрастно ждала мужа.

— Наташа? да ты любишь еще меня? едва войдя, воскликнулъ Соковлинъ взволнованнымъ голосомъ.

— И къ несчастію — не страстью, которая можетъ пройти, сказала она съ холоднымъ отчаяньемъ, глядя на мужа.—Развѣ ты не понимаешь, что теперь эта любовь именно и раздѣляетъ на вѣкъ насъ!...

Вмѣсто отвѣта, Соковлинъ задумался и тихо опустилъ голову.

— Ты права, грустно сказалъ онъ наконецъ.— Все носитъ въ себѣ самомъ и награду и наказанье. Все условное можно простить и забыть,—но чувство не прощаетъ и не забываетъ... Чтожь впрочемъ! сказалъ онъ, приподнявъ голову и смѣло взглянувъ на жену:—буря прошла; зачѣмъ отчаяваться надъ обломками? Мы честно вели себя, и намъ не въ чемъ упрекать другъ друга. Понесемъ же до конца, не отступая, все, что жизнь еще оставила намъ. И неужели у судьбы и времени не будетъ для насъ еще свѣтлыхъ и тихихъ минутъ!..

Онъ съ тихимъ чувствомъ и довѣрчивостью протянулъ руки Наташѣ, и она, взглянувъ въ честное, открытое лицо мужа, съ краской стыда упала къ нему на грудь...

И рыдая, встрѣтили они первыя минуты до жгучей боли стыдомъ и воспоминаніемъ отравленнаго счастія.

МЕЖЪ ДВУХЪ ОГНЕЙ.

РОМАНЪ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ I.

I.

Въ іюнѣ 1860 года, въ имѣніи помѣщика, статскаго совѣтника Нобелькнебеля, былъ обѣдъ. Помѣщикъ праздновалъ пріѣздъ своего сына, еще юнаго годами, но тѣмъ не менѣе тоже статскаго совѣтника: обстоятельство которое я упоминаю потому, что не только отецъ и сынъ, но и все сосѣдство придавало этому чиновному росту большое значеніе. Нобелькнебель, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, не былъ, собственно говоря, ни помѣщикомъ, ни чиновникомъ исключительно, но былъ въ этихъ почтенныхъ званіяхъ чѣмъ-то въ родѣ амфибіи, то есть и тѣмъ, и другимъ. Онъ происходилъ отъ обрусѣвшаго благороднаго остзейскаго дома, съ-молоду служилъ въ гвардіи, имѣлъ тонкій вкусъ, изящныя манеры и рыцарскія понятія о чести. Когда онъ протеръ глаза двумъ стамъ родовыхъ душъ, пріобрѣтенныхъ родителемъ въ Курской губерніи на память квартированія тамъ полка, которымъ недолго покомандовалъ, и особенно когда женился на изящной дѣвицѣ хорошей фамиліи съ тонкимъ вкусомъ и такимъ же, какъ оказалось, приданнымъ, а до вожделѣннаго полковаго командирства было еще далеко, то практическая нѣмецкая натура сказалась. Онъ выглядѣлъ и разузналъ объ открывшейся вакансіи въ одномъ тепломъ мѣстечкѣ, перешелъ въ статскую службу и, посредствомъ протекціи нѣмцевъ, барынь и своего начальства, получилъ мѣсто предсѣдателя въ учрежденномъ по какому-то случаю въ губернскомъ городѣ Велико-Ѳедорскѣ нѣкоемъ «комитетѣ для пересмотра негодныхъ вещей». По неисповѣдимымъ судьбамъ русскаго хозяйства, эти негодныя вещи приносили пересматривающимъ больше дохода, чѣмъ добрыя тысячи душъ, такъ что Нобелькнебель, несмотря на то, что жилъ баромъ, пріобрѣлъ дѣйствительно тысячу душъ, воспиталъ на француженкахъ и англичанкахъ свою дочь, выдалъ ее отличнѣйшимъ образомъ замужъ, а сына помѣстилъ въ блистательнѣйшее и вновь устроенное тогда заведеніе, спеціально приготовляющее государственныхъ мужей и выпускающее ихъ на службу тѣми завѣтными ассесорскими чинами, которые во время оно составляли любимѣйшую и недосягаемую мечту пожилыхъ титулярныхъ совѣтниковъ, ѣздившихъ за этимъ сокровищемъ даже въ древнюю Колхиду. Вообще, изящные

гвардейцы того времени съ тонкимъ вкусомъ и рыцарскими понятіями о чести, если не были застрахованы родительскимъ благословеніемъ, то оказывались весьма падкими къ теплымъ мѣстечкамъ и имѣли талантъ ихъ отыскивать. Да и то сказать, надо же было и удовлетворить чѣмъ нибудь возвышенные вкусы и тонкія требованія: такимъ господамъ преимущественно и предоставлялись въ то время эти мѣстечки.

Въ Нобелькнебелѣ была не даромъ нѣмецкая кровь; онъ счастливо соединялъ въ себѣ если не кротость то по крайней мѣрѣ прожорливость голубя съ мудростію змія. Почуявъ новыя времена, онъ немедленно началъ поговаривать о тяжести и неблагодарности службы и незадолго до пріѣзда сына благоразумно подалъ въ отставку.

Юный Нобелькнебель не обманулъ ожиданій родителя: онъ отлично кончилъ курсъ, потолкался года два въ какомъ-то министерствѣ и, осмотрѣвшись, хоть и неопытнымъ, но отъ природы смѣтливымъ и въ училищѣ изощреннымъ взглядомъ, смекнулъ дѣла, тотчасъ же перемѣнилъ поприще и вступилъ, какъ и отецъ, тоже въ какой-то необыкновенный «комитетъ особыхъ лицъ, для особенныхъ дѣлъ». Извѣстно, что у насъ много перебывало подобныхъ комитетовъ, задуманныхъ съ одними прекрасными цѣлями, но удовлетворявшихъ другимъ, которыхъ совершенно не имѣлось въ виду при ихъ учрежденіи. Устроить такой комитетъ для себя и возсѣсть въ немъ—было, разумѣется, удѣломъ немногихъ сильныхъ бюрократовъ; но откопать подобный комитетъ, попасть въ него и направить всю его дѣятельность на собственную пользу могъ только неоспоримый бюрократическій талантъ, и Нобелькнебель младшій вполнѣ доказалъ, что владѣетъ имъ. Не безъизвѣстно также, что каждый изъ выше упомянутыхъ комитетовъ имѣлъ свою особенность. Такъ комитетъ Нобелькнебеля senior, невидный и скромный, какъ мы уже замѣтили, давалъ тысячные доходы: «не красна изба углами, красна пирогами», говорили про него провинціальные доки. Комитетъ же Нобелькнебеля junior, въ противоположность комитету Нобелькнебеля senior, не только не давалъ никакого дохода, но отличался такимъ классическимъ безкорыстіемъ, что чиновники его писали, на дому даже, дѣловыя записки на собственной бумагѣ, собственными перьями, не имѣя и въ помыслѣ взять то и другое у экзекутора. Безкорыстіе это простиралось до того, что бѣднаго экзекутора разъ чуть не выгнали изъ службы за то, что онъ осмѣлился предложить одному юному Аристиду стклянку англійскихъ чернилъ для его употребленія. Отличались они еще и необычайно строгимъ исполненіемъ всѣхъ малѣйшихъ мелочей и формальностей канцелярскихъ установленій и въ этомъ случаѣ съ зоркостью Аргуса слѣдили другъ за другомъ. Вслѣдствіе сего, всякаго просителя или ходатая они донимали своимъ безкорыстіемъ и строгимъ исполненіемъ обязанностей хуже всякаго взяточника и дѣлали это съ нѣкоторымъ злорадствомъ, какъ будто природа ихъ мстила за свое извращеніе и говорила: «Ну да! мы безкорыстны, такъ на же вотъ тебѣ за наше безкорыстіе! не доставайся же »но даромъ!» А когда являлся простакъ, который, видя ихъ придирки, предлагалъ имъ въ простотѣ душевной мзду, то если не было возможности за сіе упечь его подъ судъ, бывало творимо столько чернильной пакости, хотя бы его дѣло было бѣлѣе воротничковъ ихъ сорочекъ, что усомниться въ безкорыстіи юныхъ администраторовъ не было никакой человѣческой возможности.

Но зато комитетъ этотъ,—помимо того, что въ немъ столоначальники получали, подъ видомъ столовыхъ и квартирныхъ, генеральскіе оклады,—имѣлъ еще то достоинство, что счастливцы, въ немъ служащіе, переносились съ чина на чинъ съ поразительною быстротою. Въ силу этого обстоятельства юный Нобелькнебель 28-ми лѣтъ былъ уже статскимъ совѣтникомъ и смотрѣлъ въ дѣйствительные.

Изъ себя юный Нобелькнебель былъ высокаго роста, худъ, съ продолговатымъ лицомъ, такимъ же высокимъ живописно изогнутымъ и гладко обтянутымъ кожей носомъ, лобъ у него былъ узкій, закинутый назадъ, волосы носилъ съ англійскимъ проборомъ и имѣлъ тѣ отмѣнно вѣжливыя манеры, которыя говорятъ: «ты де, свинья, не забудь, что я тебѣ не чета!»

Пріѣздъ на каникулярное время этого разцвѣтающаго администратора и праздновалъ его родитель въ своемъ имѣніи.

Послѣ обѣда хозяинъ-отецъ, вообще весьма гостепріимный, но по своему изящному вкусу нѣсколько морщившійся отъ общества разнаго залежавшагося по деревнямъ хлама, предоставилъ не очень изящное большинство заботамъ сына, а самъ устроилъ аристократическую партію и сѣлъ ее дотягивать въ гостиной; дамы скучились около хозяйки, а большая часть гостей, любящихъ, особенно послѣ обѣда, просторъ и разстегнутость, отправились въ кабинетъ, раскинулись на мягкой мебели, пили кофе и чай и курили неистово. Гости эти были преимущественно заматерѣлые и недвигавшіеся изъ предѣловъ родной губерніи помѣщики и уѣздные чиновники разной масти и статей, средняго возраста, холерическаго темперамента—съ чернью и въ кучѣ, меланхолическаго—со старшими и въ разсыпную. Былъ приглашенъ и сельскій священникъ человѣкъ грубоватый, стертый, не вступавшій ни въ какіе разговоры и на вопросы, куритъ ли онъ и пьетъ ли чай съ ромомъ, отвѣчавшій: «держаю». Духовный отецъ удивлялся, кажется, всего болѣе тому, что видѣлъ себя въ этомъ обществѣ и вѣрно никогда недогадается, что онъ былъ этимъ обязанъ тому обстоятельству, что предсѣдатель комитета и непосредственный начальникъ юнаго Нобелькнебеля, человѣкъ игриваго свойства, не могущій безъ трепета и улыбки видѣть легкаго пола, вмѣстѣ съ

тѣмъ считалъ необходимымъ выказывать величайшую набожность и крестился, снимая шляпу, передъ каждой церковью.

Юный Нобельвнебель занялся дамами, гости были предоставлены себѣ и вниманіе ихъ сосредоточилось на молодомъ человѣкѣ, рѣзко отличавшемся своей ловко сшитой и красивой одеждой отъ черезчуръ широкихъ или узкихъ, затрапезнаго вида и чистоты, одѣяній уѣздныхъ аборигеновъ.

Молодой человѣкъ былъ хорошаго средняго роста, ладенъ станомъ, хотя худощавъ и нервенъ, съ хорошо развитымъ лбомъ, и пріятнымъ лицомъ, съ сѣрыми умными глазами. Вообще онъ имѣлъ русскій типъ, что у насъ между высшими сословіями встрѣчается не очень часто, и былъ, какъ иногда говорится въ паспортахъ, «изъ себя чистъ», что доказывало здоровую кровь. Лицо его, мягкихъ и добродушныхъ очертаній, какъ и всѣ русскія лица, можно бы было упрекнуть въ недостаткѣ рѣзкаго выраженія, еслибы подвижность мускуловъ около глазъ и оконечностей рта не отражала легко и по произволу самые тонкіе оттѣнки его мысли и не придавала ему множества разнообразныхъ выраженій. Такова впрочемъ у насъ вся русская природа: небольшія и мягко очерченныя горы, мелкій листъ на деревьяхъ, блѣдный цвѣтъ неба, а все вмѣстѣ имѣетъ свою особливую выразительность и если не поражаетъ сильно и рѣзко, то тѣмъ не менѣе глубоко дѣйствуетъ на воспріимчивую натуру.

Впрочемъ видно было, что жизнь не проложила еще на лицѣ молодаго человѣка своихъ опредѣленныхъ и рѣзкихъ линій, и только рядъ небольшихъ отвѣсныхъ морщинокъ на лбу, набѣгавшій на него въ серьезныя минуты, выказывалъ привычку вдумываться въ вещи и не принимать ихъ слегка. Молодой человѣкъ, про котораго мы говоримъ, былъ мѣстный помѣщикъ, назывался Дмитріемъ Петровичемъ Камышлинцевымъ, только-что возвратился изъ за-границы и носилъ—что тогда было еще рѣдко—бороду, мягко и курчаво обложившую его свѣжее лицо.

Гости, знавшіе другъ друга до мозга костей, были рады лицу, котораго давно не видали и которое нѣкоторымъ образомъ обновляло ихъ затрапезную жизнь. Они занимались исключительно имъ. Сначала обзоръ производился съ наружности. Люди, еще не сдѣлавшіеся окончательно равнодушными къ своей наружной отдѣлкѣ, спрашивали Камышлинцева: гдѣ онъ заказывалъ платье и что оно стоитъ, причемъ удивлялись доброкачественности матерій и относительной дешевизнѣ, а другіе, люди экономные и уже равнодушные къ безплодной внѣшности, заключили, что это по пустякамъ брошенныя деньги, что можно бы и попроще.

— Вотъ у меня ластиковый сюртукъ,—говорилъ одинъ обстоятельный господинъ,—по 40 копѣекъ, аршинъ, а отливаетъ точно аглицкое сукно.

— Особенно, какъ замаслится,—замѣтилъ саркастически человѣкъ болѣе современный.

Одинъ добродѣтельный старецъ, знавшій Камышлинцева съ дѣтства, не могъ простить ему, что онъ отпустилъ бороду, и въ третій разъ приставалъ къ нему.

— Нѣтъ, скажи, зачѣмъ ты бороду отпустилъ? Что это мода что-ли такая пошла?

— Мода!—отвѣчалъ Камышлинцевъ усмѣхаясь:—съ нашихъ крестьянъ взята.

— Они же нынче и у насъ въ ходъ пошли!—замѣтилъ другой, намекая на слухи объ освобожденіи.

— Такъ ужь, чтобы было больше сходства, и жителей надо бы туда напустить, присовокупилъ раздражительный, мрачнаго вида господинъ, весь поросшій волосомъ.

Камышлинцевъ не счелъ нужнымъ отвѣчать ему.

— Ну, а лучше ходить съ этакой щетиной, какъ у васъ,—возражалъ за Камышлинцева болѣе современный человѣкъ:—вѣдь на Кавказѣ въ такихъ камышахъ не только насѣкомыя, кабаны водятся!

Большинство расхохоталось тучнымъ и широкогруднымъ смѣхомъ.

— Что, господа, это все вздоръ,—сказалъ одинъ помѣщикъ, считавшійся въ своемъ кругу большимъ политикомъ и имѣвшій даръ угадывать всѣ сокровенные помыслы великихъ дѣятелей по «Московскимъ Вѣдомостямъ», единственной печатной вещи, имъ читаемой.

— А разскажите-ка намъ, Дмитрій Петровичъ, что за границей подѣлывается? ну что Наполеонъ?—спросилъ онъ.

— Да прибралъ такъ къ рукамъ французовъ, что говорятъ въ нынѣшней Франціи не узнаешь прежней,—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Вотъ молодецъ! такъ ихъ и надо, подлецовъ, а то у нихъ умъ за разумъ зашелъ: они чортъ знаетъ чего не затѣвали,—замѣтилъ мрачный и весь поросшій волосомъ господинъ.

— Однако все-таки Наполеонъ—умная бестія!—замѣтилъ политикъ, сложилъ руки на груди, насупилъ брови и, изобразивъ Наполеона I-го, какъ рисуютъ его на скалѣ Св. Елены, продолжалъ басомъ, не обращая вниманія на то, что изображалъ дядю вмѣсто племянника:—«вы, говоритъ, друзья мои, пойте и веселитесь, а дѣла предоставьте мнѣ и въ нихъ прошу не вмѣшиваться. Можете, говоритъ, скуки ради, языкомъ поболтать въ парламентѣ,» безъ этого нельзя—замѣтилъ онъ своимъ голосомъ—онъ знаетъ французовъ, что они не могутъ жить безъ болтовни, «можете, говоритъ, поболтать и болтайте себѣ, а въ дѣла ни-ни! Иначе, видите вы, говоритъ, это?—и показываетъ на тотъ берегъ, на Англію. У нея Пальмерстонъ (Наполеонъ, по мнѣнію политика, почему-то находилъ удобнѣе называть Пальмерстона Пальместрономъ), у нея Пальместронъ на часахъ и она не дремлетъ, а Пальместрона кромѣ меня никто не проведетъ!»

— Ну нѣтъ! французы молодцы! французы не то, что англичане: вотъ тѣ, такъ скоты совершенные! А французъ ничего! Французъ — добрый, веселый малый; у насъ и солдаты ихъ любятъ и нынче въ Крыму — дрались жестоко, а чуть перемиріе, сейчасъ и бонжуръ мусьё и за панибрата,— возразилъ другой гость, болѣе общительнаго свойства.

— Да, Пальмерстонъ тоже у-у какая протоканалья! — замѣтили съ единогласнымъ одобреніемъ многіе.

— Ну, говоритъ, а я, говоритъ, и Пальмерстона надую и мы ему отплатимъ старые долги! А французамъ, — заключилъ политикъ отъ себя,—стоитъ только показать на англичанъ и дѣлай съ ними что хочешь: ненавидятъ рыжихъ! «Виватъ, Наполеонъ», говорятъ, «дѣлай что хочешь, только бы англичанамъ бока помять!» ну онъ и дѣлаетъ!

— Вы, можетъ-быть, вѣрно изобразили Наполеоновскую политику, — смѣясь замѣтилъ Камышлинцевъ, — только Луи-Наполеонъ ее не высказывалъ, да онъ и вообще говорить не любитъ, а все дѣлаетъ молча.

— Молча?—переспросилъ политикъ.

— Да, онъ большей частью молчитъ, а когда и говоритъ, то какъ древніе оракулы, понимай, какъ хочешь: «молчаливый сфинксъ съ усами въ видѣ фидибусовъ», какъ мѣтко назвалъ его Герценъ.

— Какъ? какъ? — послышались голоса.

— Молчаливый сфинксъ съ усами въ видѣ фидибусовъ: онъ усы вотъ такъ носитъ, точно карандашъ во рту, — и Камышлинцевъ показалъ на своихъ усахъ.

— Что такое свинксъ, — спросилъ тихо одинъ гость у другаго, недоучившагося когда-то въ кадетскомъ корпусѣ.

— Статуи, звѣриное туловище съ человѣческой головой, въ Петербургѣ на набережной стоятъ, изъ Египта привезены, — отвѣчалъ въ полголоса тотъ.

— Что такое фидибусы, — спросилъ третій у четвертаго, недоучившагося когда-то въ университетѣ.

— Бумажки такія длинныя, свернутыя трубочкой, трубки закуривать, — покровительственно отвѣтилъ тотъ, сознавая все превосходство собственныхъ познаній.

— Сфинксъ съ усами въ видѣ фидибусовъ! — повторилъ политикъ.—Мѣтко сказано. А кто этотъ господинъ Герцынъ?

Камышлинцевъ объяснилъ имъ.

— Однакожь позвольте!—возразилъ политикъ,— какъ же позволить себѣ выражаться такъ хоть бы о Наполеонѣ? Я понимаю, если это было сказано тогда, когда мы были съ нимъ въ войнѣ: тогда со стороны господина Герцына это было бы дѣло похвальнаго патріотизма; но Англія? Англія была съ Наполеономъ за-одно, какъ же она дозволила такъ выражаться о своемъ союзникѣ? Вѣдь это могло навлечь большія непріятности? Вѣдь тутъ порохомъ могло кончиться! А ну какъ Наполеонъ скажетъ, — и тутъ политикъ опять сложилъ руки на груди и началъ басомъ, который всегда употреблялъ для передачи словъ великихъ особъ, полагая, вѣроятно, что они не могутъ говорить обыкновеннымъ голосомъ,— ну какъ онъ скажетъ имъ: «Я вашъ грѣшный союзникъ! Недавно мы вмѣстѣ съ вами сокрушали твердыни неприступнаго Севастополя, — а теперь вы позволяете выражаться обо мнѣ неприличнымъ образомъ—и кому же? добро бы своему же брату, англичанину — а то выходцу той самой Россіи, противъ которой мы вмѣстѣ проливали кровь?» Что тогда Пальмерстонъ долженъ отвѣчать ему?

— Да отвѣтитъ,—улыбаясь сказалъ Камышлинцевъ, — что въ Англіи нѣтъ цензуры, а каждый пишетъ что хочетъ и самъ за себя отвѣчаетъ.

— Какъ? всякій можетъ бранить высокія лица или осуждать правительственныя дѣйствія и за это ничего ему не будетъ?

— Нѣтъ! если кто оскорбленъ, тотъ можетъ жаловаться суду, а правительственныя дѣйствія обсуждай какъ хочешь? Да и министры тамъ не обидчивы, не только на нихъ, и на королеву карикатуры безпрестанно являются.

— Это чортъ знаетъ что! но положимъ, Англія это и терпитъ у себя, но Россія можетъ взыскать съ своего подданнаго.

— Англія не выдаетъ политическихъ преступниковъ, — отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Такъ господинъ Герцынъ и пишетъ тамъ, что хочетъ?—спросилъ политикъ съ недоумѣніемъ.

— И пишетъ!—отвѣчалъ Камышлинцевъ и разсказалъ имъ нѣсколько анекдотовъ, вычитанныхъ имъ заграницей въ «Колоколѣ.»

Слушатели безмолвствовали, какъ народъ въ «Борисѣ Годуновѣ.»

— Какъ же это позволяютъ? это чортъ знаетъ что! — воскликнули многіе.

— А умная должна быть шельма этотъ Герцынъ! — замѣтилъ наконецъ одинъ.

— Вы съ нимъ незнакомы?—спросилъ онъ вполголоса.

— Нѣтъ, я въ Англіи не былъ,—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

Въ это время вошелъ Нобелькнебель младшій.

— Вы говорите, кажется, о Герценѣ,—спросилъ онъ, услыхавъ конецъ разговора.

— Да, дивныя вотъ вещи разсказываетъ Дмитрій Петровичъ,—сказалъ политикъ, показывая на Камышлинцева и весьма довольный, что можетъ отъ достовѣрнаго человѣка узнать, не морочитъ ли или — какъ выражаются у насъ объ обыкновеніи, весьма любимомъ въ прежнее время— не вышучиваетъ ли домосѣдовъ пріѣзжій господинъ. — Дивныя вещи разсказываетъ Дмитрій Петровичъ! Какой-то русскій господинъ Герцынъ набѣдокурилъ что-то знаете по этой части (политикъ подмигнулъ и кивнулъ головой въ ту сторону, гдѣ предполагалъ Петербургъ), бѣжалъ въ Англію и тамъ завелъ русскую газету, пишетъ въ ней что

хочетъ, отзывается непочтительно о высокихъ особахъ,—положимъ хоть и не русскихъ,—и ему ничего сдѣлать не могутъ! Англія не выдастъ!

— Да-съ! — наставительно отвѣчалъ Григорій Нобелькнебель, консерваторъ и поклонникъ Англіи.—Государственный строй Англіи сложился и выработался такъ своеобразно, что намъ въ немъ многое должно казаться страннымъ и даже предосудительнымъ. Печать, напримѣръ, достигла въ ней полной свободы и конечно представляетъ нѣкоторыя непріятныя стороны. Но тамъ цензуру замѣняетъ высокая общественная нравственность, которая не терпитъ ничего предосудительнаго и выходящаго за предѣлы приличія. Конечно, «Колоколъ» представляетъ печальное явленіе, но это оттого, что онъ издается на языкѣ англійскому обществу непонятномъ, иначе оно подавило бы его своимъ презрѣніемъ.

— А дѣйствительно хлестко пишетъ этотъ Герцынъ?—спросилъ одинъ изъ гостей.

— Да, у него перо очень острое и,—прибавилъ Нобелькнебель, понизивъ голосъ,—между нами сказать, это былъ бы опасный бичъ для нѣкоторыхъ господъ изъ нашей высшей бюрократіи, если бы онъ осуждалъ только нѣкоторыя злоупотребленія, а не развивалъ нелѣпыя и въ высшей степени вредныя соціальныя идеи!

— Завирается значитъ: умъ за разумъ зашелъ!—пояснилъ господинъ свирѣпаго вида.

— Однакожь знаете, Григорій Ѳедоровичъ,—замѣтилъ политикъ,—что вы тамъ ни говорите о свободѣ печати и силѣ общественнаго мнѣнія, а я твердо убѣжденъ, что Англія этимъ только прикрывается, а держитъ подобныхъ господъ изъ злорадства, чтобы насолить другимъ державамъ, да поселить въ нихъ смуты. Когда захотѣть, такъ какъ не заставить замолчать! Ну положимъ, законно или гласно этого нельзя, такъ на это есть другіе способы! Ну министръ, или начальникъ тайной полиціи, или хоть генералъ-губернаторъ придерется къ чему-нибудь, призоветъ г. Герцына къ себѣ въ кабинетъ, да такую головомойку задастъ, что тотъ и внукамъ своимъ дастъ завѣщаніе пера въ руки не братъ.

— Ну нѣтъ-съ! Тамъ этого нельзя,—нѣсколько обидѣвшись за Англію, замѣтилъ Нобелькнебель;—тамъ нѣтъ административныхъ наказаній, тамъ всякій отвѣчаетъ только передъ судомъ и закономъ, а судъ не испорченъ той страшной язвой взяточничества, которая разъѣдаетъ нашу юстицію.

— Э, полноте, почтеннѣйшій Григорій Ѳедоровичъ! — задобривающимъ голосомъ сказалъ политикъ и ласкательно потрепалъ по бокамъ Нобелькнебеля, какъ-бы выпрашивая его допустить въ Англіи мѣры административной распорядительности и уклоненіе отъ закона. — Полноте! развѣ мы не знаемъ, что такое законъ? Вѣдь законъ-то люди исполняютъ! Припретъ генералъ-губернаторъ дверь, да скажетъ: «Вы, ми-ло-сти-вый го-су-дарь (политикъ прищурилъ глаза, сжалъ губы и изобразилъ изъ себя разсвирѣпѣвшаго человѣка, который грозитъ пальцемъ чуть не касаясь носа провинившагося), вы у меня на законъ не ссылайтесь! я васъ безъ закона туда пошлю, гдѣ Макаръ телятъ не гонялъ! Вы у меня въ Индіи мѣста не сыщете!»— энергически крикнулъ политикъ, и ропотъ одобренія пронесся по комнатѣ.

— Разумѣется! ну конечно! такую пудру задастъ, что до седьмыхъ вѣниковъ не забудетъ! А тамъ судись послѣ съ нимъ!—послышалось со всѣхъ сторонъ.

— Да! дерзнетъ!—замѣтилъ священникъ своему сосѣду.

Нобелькнебель и Камышлинцевъ разсмѣялись и не сочли нужнымъ возражать, чѣмъ еще болѣе убѣдили всѣхъ въ справедливости заключенія.

— Да вотъ, вы говорите, свобода печати! у насъ, напримѣръ! цензура есть, а пишутъ—замѣтилъ одинъ господинъ—такія вещи, что ну-ну-ну! А еще цензора! Чего они смотрятъ? Недавно одного становаго такъ отдѣлали, что просто я вамъ скажу въ республикѣ этакъ не отдѣлаютъ!

— Да чего ужь тутъ до смысла,—замѣтилъ другой,—хоть бы грамматикой господа цензора занялись! недавно мнѣ попалась у меня въ прихожей книженка,—мальчишка у меня эдакой есть литераторъ, все книжки читаетъ,—прибавилъ онъ иронически,—заглянулъ я въ нее, чортъ знаетъ, что за безграмотность! А разсмотрѣна цензоромъ! Нѣтъ, коль ты цензоръ, такъ исправь, какъ слѣдуетъ:—вѣдь они, говорятъ, предсѣдательское жалованье получаютъ. А то экая штука подписать: «печатать дозволяется, представить столько-то экземпляровъ»—это и я могу подписать!

— А ну ее Англію и печать,—сказалъ одинъ молчавшій доселѣ смышленаго вида господинъ,—раскажите-ка лучше господа, что министры? не слышно ли какихъ перемѣнъ?

— Ну это не по моей части, я съ министрами не знакомъ,—сказалъ Камышлинцевъ.

— Ничего особеннаго,—отвѣчалъ Нобелькнебель. Государь изволилъ выѣхать за границу.

— Да, это есть въ вѣдомостяхъ замѣтилъ политикъ: изволилъ выѣхать по Варшавскому тракту.

— Ну, а какъ это дѣло?—таинственно рѣшился спросить смышленый господинъ. Онъ осмотрѣлся и, удостовѣрившись, что никто изъ прислуги не слышитъ, прибавилъ:—насчетъ освобожденія?

— О какомъ освобожденіи вы изволите говорить?—отмѣнно вѣжливо, но нѣсколько строго спросилъ Нобелькнебель.

У бѣднаго помѣщика мурашки пробѣжали по спинѣ...

— Извините, я можетъ-быть не такъ выразился,—покраснѣвъ продолжалъ онъ,—но общій говоръ и притомъ отзывъ всего дворянства насчетъ этой эманципаціи крестьянъ...,—помѣщикъ не окончивъ остановился.

— Никакой эмансипаціи не будетъ и никакого освобожденія правительство не имѣетъ въ виду,—

внушительно и ясно сказалъ Нобелькнебель,—по крайней мѣрѣ насколько мнѣ это извѣстно: а я полагаю, что имѣю случай довольно близко знать обстоятельства... — онъ пріостановился, сбираясь чихнуть и ища платка въ карманѣ.

Слушатели всѣ замерли отъ вниманія и проникнулись высокимъ мнѣніемъ о юномъ государственномъ мужѣ.

— Кому же знать, помилуйте!—замѣтили нѣкоторые.

— Дѣйствительно!—высморкавшись продолжалъ ораторъ—есть рѣчь о желаніи правительства у-лучшить бытъ крестьянъ (Нобелькнебель растягивалъ слова и очевидно желалъ придать имъ вѣскость). Объ этомъ улучшеніи быта собираются свѣдѣнія и обсуживаются мѣры, но улучшеніе быта крестьянъ не есть освобожденіе отъ крѣпостной зависимости, какъ мечтаютъ и желали бы сдѣлать нѣкоторые юные утописты, не имѣющіе понятія о складѣ русской жизни и потребностяхъ государства. Нарушать учрежденіе, вызванное высокою государственной необходимостью, вслѣдствіе особаго положенія нашего отечества,—учрежденіе, которое легло въ основу всего строя нашей жизни,—ломать и уничтожать такое учрежденіе — это значило бы потрясти все зданіе! этого нельзя-съ! этого могутъ желать наши враги, но никто, любящій свое отечество и понимающій его потребности, этого желать не долженъ и не будетъ-съ!

Нобелькнебель говорилъ съ горячностью и самъ себя заслушивался.

— Конечно! совершенно справедливо, — послышались голоса со всѣхъ сторонъ,—это будетъ такое потрясеніе, что избави Богъ.

— Извините господа,—сказалъ вставая Камышлинцевъ и лицо его нѣсколько заруменилось, — я съ вами не совсѣмъ согласенъ. Крестьянскій вопросъ дѣйствительно лежитъ основнымъ камнемъ въ нашей государственной жизни и по этому самому долженъ быть рѣшенъ окончательно и—сколько я понимаю, сколько слышалъ наконецъ — таково въ самомъ дѣлѣ намѣреніе правительства. Я знаю, есть въ Петербургѣ партія, которая противодѣйствуетъ этому намѣренію, но едва ли ей удастся остановить или исказить его: противъ нея сила вещей и самая могучая воля въ Россіи. Вы, Григорій Ѳедоровичъ, — сказалъ онъ, обращаясь къ хозяину,—такъ положительно увѣряете въ противномъ потому, что слѣдуете мнѣнію вашего начальника, который, говорятъ, кричитъ по Петербургу противъ освобожденія и желалъ бы затормозить дѣло, но онъ и его партія кажется напрасно надсаживаютъ грудь! Поэтому, утверждая, что дѣло кончится какимъ-то улучшеніемъ быта, вы рискуете ввести въ заблужденіе людей, которымъ не близко извѣстенъ ходъ дѣла.

Слушатели пришли въ смущеніе и не знали кому вѣрить.

— Если я это утверждаю, значитъ имѣю на это основательныя причины! — наставительно сказалъ Нобелькнебель Камышлинцеву.—Да!—подтвердилъ онъ, утвердительно кивнувъ головой. — Повторяю, господа,—продолжалъ молодой хозяинъ, обращаясь къ гостямъ,—что дѣло идетъ объ улучшеніи быта крестьянъ и этимъ оно ограничится. Мнѣ это извѣстно положительно.

— Да?—спросилъ, прищуривъ глаза, Камышлинцевъ.

Нобелькнебель еще разъ молча многозначительно кивнулъ ему головой. Камышлинцевъ задумался.— Впрочемъ все можетъ статься,—сказалъ онъ, пожавъ плечами, и нахмурившись, повернулся, отворилъ стеклянную дверь и вышелъ въ садъ.

Получивъ такое положительное подтвержденіе отрадной для себя вѣсти, слушатели встрепенулись и вдругъ почувствовали въ себѣ силу и самоувѣренность несокрушимыя. Вставъ съ мѣстъ и скучившись около молодаго хозяина, всѣ увѣряли другъ друга, а въ тоже самое время и самихъ себя, что иначе и быть не можетъ. Доказательства во множествѣ были приводимы необыкновенно сильныя и тѣмъ болѣе казались неопровержимыми, что никто ихъ не думалъ опровергать: хоръ пѣлъ въ унисонъ. Тутъ было говорено и о неприкосновенности собственности, и о священныхъ правахъ дворянства, и о томъ, что крестьянъ, какъ дѣтей, нельзя предоставить самимъ себѣ и что безъ благодѣтельнаго надзора помѣщика они развратятся и пропадутъ. Нѣкоторые пошли далѣе и замѣтили, что и улучшать бытъ крестьянъ нечего, потому что этотъ бытъ ничего не оставляетъ желать лучшаго; а когда Нобелькнебель повѣдалъ обществу о существованіи въ западныхъ государствахъ пролетаріата, положеніе котораго несравненно бѣдственнѣе, то собраніе пришло въ нѣкотораго рода восторгъ и у иныхъ отъ умиленія показались даже слезы на глазахъ. Затѣмъ рѣчь пошла вообще о благоденствіи и раздольѣ нашего отечества. При этомъ особенное удовольствіе доставило сравненіе необъятнаго пространства его съ пространствами другихъ странъ и огромность нашего войска въ сравненіи съ иностранными. Упоминаніе о мелкихъ нѣмецкихъ княжествахъ съ тремя съ половиной солдатами возбудило гомерическій хохотъ. Вообще всѣ пришли къ заключенію, что у насъ, благодареніе Богу, все идетъ прекрасно и не нужно намъ никакихъ иноземныхъ улучшеній: надъ всякой вещью у насъ есть свой начальникъ, и мирный гражданинъ, не обязанный ни о чемъ заботиться, можетъ за нимъ спать спокойно; а еслибы нужно еще поощрить кого, то это классъ помѣщиковъ, который то посвящаетъ себя служенію престолу, то, отслуживъ, непрестанно долженъ пещись о благоденствіи крестьянства и пріобрѣтеніи средствъ къ жизни, для того, чтобы достойно поддержать славу русскаго гостепріимства, для чего вынужденъ часто входить въ долги и даже продавать свои имѣнія.

Разговоръ, коснувшись восхваленія горячо любимаго нами отечества и своего сословія насчетъ другихъ странъ и разныхъ забавныхъ нѣмцевъ, могъ

бы продолжаться до безконечности, но одинъ молчаливый, тучнаго и угрюмаго вида господинъ, давно поглядывавшій на лежащія крестикомъ на игорномъ столѣ колоды картъ, не выдержалъ и, подойдя къ столу, замѣтилъ, что чѣмъ говорить о пустякахъ, лучше бы заняться дѣломъ. Предложеніе это было принято утомленными отъ глубокихъ соображеній ораторами съ единогласнымъ одобреніемъ. Молодой хозяинъ, самъ весьма любившій коммерческія игры, поспѣшно исполнилъ желаніе гостей и съ свойственной ему изысканной вѣжливостью поднесъ каждому карту, не обойдя и священника, который на вопросъ, играетъ ли, скромно отвѣчалъ: «дерзаю». Но какъ по справкѣ оказалось, что онъ играетъ не на деньги, а такъ только, на шереметевскій счетъ, то партнеровъ ему не оказалось и онъ остался «посмотрѣть». И затѣмъ, черезъ нѣсколько минутъ, за каждымъ столомъ водрузилось по три или по четыре бойца и всѣ, за исключеніемъ священника, предались тому мирному занятію, которое у насъ не только—

Юношей питаетъ,
Отраду старцамъ подаетъ,

но, можетъ быть, спасаетъ Россію отъ политическихъ треволненій, ибо поглощаетъ весь избытокъ свободнаго времени такъ-называемыхъ образованныхъ классовъ, который они безъ сего благодѣтельнаго изобрѣтенія рѣшительно не знали бы куда дѣвать.

II.

Камышлинцевъ, выйдя въ садъ, прошелъ задумавшись по длинной, тѣнистой липовой аллеѣ, вплодь до конца, повернулъ въ другую, ей параллельную, которая шла обратно къ дому, и, дойдя по ней до террасы, безотчетно поднялся по отлогимъ ступенямъ и вошелъ въ растворенныя широкія двери. Комната, въ которую онъ вступилъ, была большая, прохладная гостиная. Высокія окна ея, выходящія на террасу, были закрыты синими сторами, направо отъ входа былъ раскинутый карточный столъ и за нимъ сидѣло четверо играющихъ, влѣво другой столъ, который ждалъ игроковъ. Играющіе были: уѣздный предводитель, высокій, толстый и ражій, вслѣдствіе жиру и важности неговорящій, а только мычащій, онъ и выбранъ былъ преимущественно за эту наружность: «представителенъ де»,—потомъ Мытищевъ старшій, старикъ лѣтъ 70-ти, высокій, худой, согнутый, со всклокоченными бѣлыми какъ лунь волосами и впалыми, но проницательными глазами: несмотря на лѣтнее время онъ былъ въ бархатныхъ полусапожкахъ,—далѣе братъ его, человѣкъ лѣтъ 59-ти, съ темными, съ сильной просѣдью какъ хорошій боберъ, и гладко причесанными волосами, благообразнымъ, правильнымъ лицомъ и исполненнымъ достоинства спокойнымъ обращеніемъ: онъ былъ женатъ на дочери Нобелькнебеля,—наконецъ самъ Нобелькнебель, пожилой, но еще статный человѣкъ, съ нѣсколько отекшимъ лицомъ, манерами избалованнаго барина, въ тончайшемъ бѣльѣ и шармеровскомъ платьѣ; казалось, это былъ милѣйшій и безпечнѣйшій пожилой джентльменъ, еслибы иногда взглядъ его, смышленый и холодный, не выдавалъ энергическую, въ дѣлѣ пріобрѣтенія натуру обрусѣвшаго нѣмца.

По другую сторону двери у боковой стѣны стоялъ диванъ со столомъ и нѣсколько покойныхъ креселъ, окруженныхъ деревьями и цвѣтами: тутъ размѣстилось дамское общество, именно: сама госпожа Нобелькнебель, дама русская, широкихъ размѣровъ, считавшая въ своемъ родѣ какого-то князя изъ казанскихъ татаръ и имѣвшая, вслѣдствіе этого, притязаніе на аристократизмъ; дочь ея, лѣтъ 22-хъ, что была замужемъ за Мытищевымъ, невысокая, но стройная, прелестная женщина съ нѣжными чертами лица и свѣтло-пепельными волосами, которые вились колечками на лбу и были такъ взбиты сверху, что мягкимъ и пушистымъ оваломъ ложились вокругъ головки. Она была изящно одѣта, какъ умѣютъ одѣваться только хорошенькія женщины съ тонкимъ вкусомъ.

Мытищева совсѣмъ не походила ни на кого изъ своихъ близкихъ, у нея были темные глаза, мягкіе и умѣющіе смѣяться, съ темными же бровями, что при свѣтло-пепельныхъ волосахъ придавало лицу чрезвычайно красивую тѣнь. Лицо это съ небольшимъ прямымъ носикомъ и маленькимъ ртомъ было необыкновенно мило и оживленно и вся она, нѣжная, легкая, граціозная, была полна той особенной прелести, которую мы называемъ женственностью.

Третьей собесѣдницей была дѣвушка лѣтъ 18-ти, высокая, стройная, съ овальнымъ красивымъ лицомъ, умными карими глазами, пушистыми, темными дугой бровями и энергическимъ выгибомъ переносья надъ небольшимъ прямымъ и смѣлымъ носомъ. Она была гладко причесана, одѣта просто, но ловко, въ ея румяномъ лицѣ и свѣжемъ станѣ было видно много здоровой крови, но вся ея наружность, красивая, стройная и простая, теряла нѣсколько отъ сближенія съ Мытищевой: она была какъ-то жестка, не было въ ней того нѣжнаго, затрогивающаго, женственнаго, что было въ Мытищевой. Дѣвушка эта была дочь небогатаго, добродушнаго помѣщика, сосѣда Нобелькнебеля; она была расторопна, свѣдуща въ хозяйствѣ, и Дарья Степановна всегда приглашала ее, когда у нея были гости: она ей помогала принимать и вообще исполняла должность чиновника особыхъ порученій. Она понимала, для чего ее зовутъ, и никогда бы не принимала приглашенія, но отецъ ея считалъ это за большую честь и удовольствіе и всегда настаивалъ, чтобы дочь выѣзжала съ нимъ. Съ Мытищевой онѣ были хороши, но кажется мало симпатизировали другъ другу; между ними не было ничего общаго. Называлась она Анна Ивановна Барсукова.

Камышлинцевъ подошелъ къ играющимъ.

— Ну что, какъ везетъ?—спросилъ онъ старика Мытищева,

— Видите, всѣ съ дышломъ, — отвѣчалъ тотъ сердито.

Камышлинцевъ подошелъ къ женщинамъ.

— Что вы не играете?—спросила г-жа Нобель-кнебель, не хотите ли въ мою партію?

— Благодарю васъ,—отвѣчалъ Камышлинцевъ,— вы знаете, я съ барынями не люблю играть въ карты, да и вообще сегодня не расположенъ играть.

— Я думала, что вы изъ-за границы воротились любезнѣе, — сказала хозяйка, нисколько впрочемъ не сердясь за откровенность. — А что тамъ, садятся?

— Нѣтъ еще.

— Пойти однако найти себѣ кого нибудь, а то пожалуй и безъ партіи останешся!

И затѣмъ она вышла, но вскорѣ возвратилась, ведя за собой двоихъ партнеровъ, и водрузилась съ ними за приготовленнымъ уже столомъ. Въ четверомъ она не любила играть въ преферансъ, говоря, что сдающій попусту время тратитъ, сидя безъ игры.

— Подсаживайтесь-ка къ намъ, — сказала Камышлинцеву Мытищева.—Вы что-то не въ духѣ?— замѣтила она, глядя ему въ лицо.

Барсукова вслѣдъ за нею, молча, но пристально поглядѣла на Камышлинцева.

— Да! — отвѣчалъ Камышлинцевъ, — слышалъ скверную вѣсть, но къ этому не привыкать.

Мытищева по чувству приличія промолчала, но самое это молчаніе было косвеннымъ вопросомъ.

— Я увѣренъ, — сказалъ улыбаясь Камышлинцевъ,—что васъ мучитъ любопытство узнать, что это за вѣсть.

— Разумѣется,—отвѣчала Мытищева,—и вы бы должны быть мнѣ благодарны, что я интересуюсь тѣмъ, что близко касается васъ.

— Именно! — сказалъ Камышлинцевъ, слегка кланяясь; — но позвольте думать, — продолжалъ онъ, — что вы точно также сгорали бы любопытствомъ, еслибъ это дѣло и не до меня касалось.

— А вамъ очень бы хотѣлось, чтобы я увѣряла васъ въ противномъ? — въ свою очередь спросила Мытищева.

— Весьма было бы пріятно. Впрочемъ извѣстіе не касается меня непосредственно.

— Такъ отчего же вы огорчились?

— Да ужасно досадно разочаровываться.

Мытищева опять промолчала.

— Вашъ братъ увѣряетъ, что крестьянское дѣло окончится какимъ-то улучшеніемъ быта, — сказалъ Камышлинцевъ.

— Да?—спросила Мытищева, сдѣлавъ удивленное личико.—Я тутъ впрочемъ мало понимаю, но думаю, что и это не дурно на первый разъ. Лучше что нибудь, чѣмъ ничего!

— Н-ну, я не того мнѣнія,—отвѣчалъ Камышлинцевъ, но, не желая вступать съ Мытищевой въ споръ объ этомъ предметѣ, сказалъ, вставая:— пройдемтесь по саду, я не могу сидѣть, когда меня что нибудь взволнуетъ.

— Пожалуй! пройдемся, Анюта?—спросила Мытищева Барсукову.

Та молча встала. Камышлинцевъ съ Барсуковой вышли на террасу, а Мытищева, прежде нежели выйти, подошла къ мужу, положила ему руку на плечо и спросила:

— Ну что, какъ играешь?

— Ничего, милая,—отвѣчалъ онъ,—такъ себѣ!— Она посмотрѣла ему въ карты, потомъ подошла къ отцу.

— Ну а вы, папа? — сказала она, наклонилась и поцаловала его въ голову.

— Couci-couci! — отвѣчалъ тотъ; онъ любилъ щегольнуть не очень обыкновеннымъ французскимъ словечкомъ.

— Какой чортъ куси-кусп, всѣ почти робберы выигралъ,—сказалъ старикъ Мытищевъ, беззлобно сердясь.

— А вы вѣрно по обыкновенію страдаете, Василій Сергѣевичъ,—обратилась къ нему Мытищева.

— Да матушка! я ужь такъ повитъ, чтобы проигрывать, видно въ бабки какую нибудь вѣдьму позвали.

Безсловесный предводитель только заколыхался отъ смѣху и что-то злорадостно промычалъ.

— А мы въ садъ, — помолчавъ сказала Мытищева и, милая, изящная, слегка шелестя одеждой, не торопливо вышла.

День еще не вечерѣлъ, но уже полуденная іюльская жара спала и въ тѣнистыхъ аллеяхъ сада недвижно и освѣжительно стоялъ теплый, весь пропитанный душистыми запахами растительности, воздухъ. Камышлинцевъ и Барсукова тихо шли подъ зеленымъ навѣсомъ тѣнистой аллеи, которая прямо съ террассы врѣзывалась въ чащу сада и вскорѣ скрылась въ немъ, подъ густою листвой вѣтвей.

Камышлинцевъ еще до отъѣзда заграницу былъ нѣсколько знакомъ съ Барсуковой. Онъ нашелъ, что она не только сложилась физически, но и нравственно стала, казалась серьезнѣе. По свойственной развитому и наблюдательному человѣку привычкѣ, ему при первой возможности захотѣлось узнать, къ какому сорту дѣвъ принадлежитъ его собѣсѣдница.

— Ну что же вы подѣлывали въ это время?— спросилъ Камышлинцевъ Барсукову.

— Да то же, что и прежде. Дома хозяйничаю немного, да шью. Дарья Степановна иногда присылаетъ! съ ней что нибудь работаю.

— Подушки по канвѣ или воротнички гладью?

— Воротнички-то случается, — улыбаясь отвѣчала Барсукова (у нея была пріятная, откровенная улыбка), а по канвѣ не шью, и не люблю: эта работа для богатыхъ да праздныхъ.

— А вы всегда заняты?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Почти! я привыкла всегда что нибудь да дѣлать,—сказала она.

— Счастливая вы женщина!—замѣтилъ какъ бы про себя Камышлинцевъ.

Барсукова сбоку взглянула на Камышлинцева.

— Я не жалуюсь,—замѣтила она,—но чему же вы нашли завидовать?

— Какъ не завидовать! —отвѣчалъ Камышлинцевъ.—Дѣло у васъ есть, а главное—вы имъ удовлетворяетесь.

Барсукова слегка покраснѣла, ей показалось, что въ словахъ Камышлинцева былъ оттѣнокъ сожалѣнія.

— Вы находите, можетъ быть, что я довольствуюсь слишкомъ малымъ?—сказала она; — рада бы и большему, да гдѣ же и въ чемъ оно? назовите!

— Да, бездѣлицу вы спрашиваете: женская дѣятельность! У насъ и мужскую-то не знаешь куда дѣть!—угрюмо отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Вотъ видите ли! вы и читали много, и много видѣли, а не даете отвѣта. Гдѣ же мнѣ-то, деревенской дѣвушкѣ, найти его?—какъ-то просто, но съ достоинствомъ отвѣчала Барсукова.

Эге! Да дѣвочка то не глупа! — подумалъ Камышлинцевъ.

— Есть вопросы,—медленно говорилъ, какъ бы раздумывая, Камышлинцевъ,—которые трудно разрѣшать по двумъ причинамъ: во первыхъ, они сами по себѣ затруднительны, во вторыхъ, не могутъ быть разрѣшены нѣсколькими словами. У насъ вообще жизнь не представляетъ удобства къ широкой дѣятельности, а самая дѣятельность можетъ быть направлена такъ разнообразно, что назвать ей одну задачу значитъ исключить тысячи. Впрочемъ, мнѣ кажется, всякая дѣятельность почтенна, если она производительна, а брать надо ту, которая сподручнѣе, разумѣется, если нѣтъ такой, къ которой васъ влечетъ, къ которой чувствуется призваніе.

— Призваніе! — въ раздумьи прибавила Барсукова.—Да какъ узнаешь его? тянетъ къ чему-то, отдалась бы вся чему нибудь, а не знаешь.

Камышлинцевъ посмотрѣлъ на Барсукову: ея пріятное лицо было пасмурно.

— А еще хуже, если и знаешь да не можешь,— тихо прибавилъ Камышлинцевъ. Оба замолчали и задумчиво шли рядомъ.

— Ау! гдѣ вы?—послышался тоненькій, невѣрный голосъ, какимъ обыкновенно кричатъ женщины, не привыкшія къ крику.

— Здѣсь!—остановясь отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Вскорѣ въ просвѣтѣ аллеи показалась стройная фигура Мытищевой.

— Какъ это мило! вы звали пройтись и сами убѣжали!—сказала она.

— Вольно-жъ вамъ было оставаться любезничать съ мужемъ,— отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Съ кѣмъ же и любезничать, какъ не съ мужемъ?—сказала Мытищева, смѣясь веселыми глазами.

— А зачѣмъ съ мужемъ-то любезничать? — спросилъ Камышлинцевъ. Вѣдь онъ мужъ! съ нимъ дѣло покончено! Развѣ чтобы не потерять привычки?

— Да, это не мѣшаетъ иногда,—отвѣчала Мытищева. — Я нахожу, что вы заграницей отвыкли быть любезнымъ.

— Вы находите? подождите! дымъ отечества покоптитъ меня и я снова взгляну на все увлаженными отъ умиленія глазами.

— Ну за вами этого грѣха не было, и я никакъ не хочу сказать, чтобы вы прежде умилялись,—возразила Мытищева;—по крайней мѣрѣ я не видала предмета вашего умиленія. А пора бы.

— То есть пора бы влюбиться?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Не только влюбиться, а жениться.

— Жениться теперь, когда есть надежда, что дѣло будетъ! нѣтъ, слуга покорный; я и прежде не намѣренъ былъ связывать себя, а теперь и подавно!—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Вотъ это мило! связывать себя, какъ будто жена мѣшаетъ дѣятельности?

— Еще бы! и весьма часто: согласитесь, что холостой человѣкъ гораздо независимѣе.

— Остаться старымъ холостякомъ, куда какъ пріятно!—возразила Мытищева, пожавъ плечами.

— Что жъ, до поры до времени! Мы видимъ примѣры, что люди весьма достойные оставались холостыми въ то время, когда имъ нужна была независимость, а подъ старость, когда чувствовали потребность въ спокойствіи и семьѣ, находили себѣ прелестную подругу.

Камышлинцевъ проговорилъ это серьезно; но около глазъ его сложилась невольно какая-то маленькая складочка, которая проглядывала насмѣшливо. Они проходили въ это время передъ клумбой цвѣтущихъ розъ.

Мытищева нагнулась къ нимъ и, припавъ лицомъ къ пышнымъ цвѣтамъ, съ наслажденіемъ ихъ стала нюхать.

— Хотите, я вамъ букетъ нарву,—сказала Барсукова,—у васъ нѣтъ такихъ розъ.

— Пожалуйста, дружокъ: спасибо скажу, — отвѣчала Мытищева, идя за Камышлинцевымъ, который поджидалъ ее.

Они шли нѣсколько минутъ молча.

— Такъ вы не женились потому, что жена мѣшала бы вамъ дѣло дѣлать? Что-жъ, до сей поры вы много надѣлали?—спросила Мытищева въ отмѣстку и посмотрѣла насмѣшливо на Камышлинцева; но ея прелестное и добродушное личико рѣшительно лишено было желчнаго выраженія и и насмѣшка выразилась на немъ только тѣмъ, что глаза ея весело и игриво засмѣялись. Камышлинцевъ взглянулъ на нее, и ему стало совѣстно вымѣщать на ней свое дурное расположеніе духа.

— Что-жъ дѣлать! — отвѣчалъ онъ, — не моя вина, если дѣла нѣтъ: то, что съ молоду кажется такъ легко осуществить, со временемъ оказывается несбывающейся мечтой.

— А ваша мечта?—спросила она.

— Моя любимая мечта, — сказалъ Камышлинцевъ, подсмѣиваясь надъ собою,—была такая: дѣло по душѣ, такое дѣло, которому бы могъ весь свободно отдаться, да... да женщина по душѣ, которая бы мнѣ свободно отдалась!

— Это вы недурно придумали!—замѣтила Мытищева.—За чѣмъ же остановка?

— Да за тѣмъ, что нѣтъ ни такого дѣла, ни такой женщины! Отвѣчалъ Камышлинцевъ, вздохнувъ полушутливо, полусурьезно.

— Будто-бы? — насмѣшливо спросила Мытищева.—Я думаю ни то, ни другое вамъ съ неба не свалится! Ужь не слишкомъ ли вы разборчивы, не слишкомъ ли высокаго о себѣ мнѣнія?

Камышлинцевъ невольно и едва замѣтно усмѣхнулся. Онъ зналъ, куда и за что была пущена эта стрѣлка.

— О нѣтъ!—добродушно отвѣчалъ онъ.—Были дѣла, да маленькія, не захватывали они всего меня и я легко ихъ бросалъ; были и женщины...

— Да также маленькія? — улыбаясь лицомъ и глазами, подсказала Мытищева.

— Да! тоже не захватывали всего, — смѣясь подтвердилъ Камышлинцевъ.

Въ это время подошла Барсукова съ двумя великолѣпными пучками розъ.

— Спасибо, дружокъ!—сказала Мытищева, взявъ одинъ и припадая къ нему лицомъ. — А знаете, какое несчастіе съ Дмитріемъ Петровичемъ? Для него нѣтъ ни одного дѣла по душѣ и ни одной женщины по сердцу.

— Нѣтъ, не такъ: вы не измѣняйте моихъ словъ! — возразилъ Камышлинцевъ. — Я сказалъ, что считалъ бы счастіемъ, еслибы нашелъ дѣло по душѣ, которому бы весь могъ предаться, и женщину по душѣ которая бы мнѣ свободно отдалась. У всякаго свои понятія о счастіи.

— Да, но результатъ все тотъ же! ему попадались — продолжала передавать Митыщева Барсуковой — все и дѣла маленькія, и женщины маленькія.

— И любовь была маленькая? — спросила Барсукова.

— Разумѣется, и любовь была маленькая,—отвѣчалъ Камышлинцевъ. — Да впрочемъ это бы не бѣда; помоему, чѣмъ меньше любви, тѣмъ лучше: вѣдь любовь какъ влеченіе—это естественное чувство, но любовь какъ страсть — это болѣзнь, затемнѣніе разсудка чувственностью,—ненормальное состояніе человѣка. Для прочнаго счастія не она нужна: нужна глубокая привязанность, которая родится отъ многихъ причинъ—отъ уваженія, сочувствія и наконецъ отъ склонности, т. е. немножко того, что мы называемъ любовью,—вотъ этого-то и не было.

— Тутъ, я думаю, не виноваты ни дѣла, ни женщины, что вы не находили ихъ по себѣ. Мы все-таки пришли къ тому, что или вы слишкомъ разборчивы, или въ васъ самихъ нѣтъ достаточно— какъ бы это сказать — способности отдаться чему нибудь, отдаться совсѣмъ: нѣтъ смѣлости броситься головой внизъ, потому что смѣлость, говорятъ, города беретъ... вы, я думаю, слишкомъ разсудительны для этого замѣтила Мытищева.

— Я не спорю, можетъ быть во мнѣ и нѣтъ достаточно самоотверженности, — возразилъ Камышлинцевъ, но я этого не испытывалъ все-таки потому, что не встрѣчалъ ни такого дѣла, ни такой женщины, для которыхъ стоило и нужно бы броситься очертя голову. Впрочемъ для женщинъ и не нужно, я полагаю, самоотверженности,—замѣтилъ Камышлинцевъ.

— Ну такъ и погодите винить другихъ,—сказала Мытищева.

— Да я въ этомъ никого и не виню. Большія дѣла встрѣчаются только въ большія эпохи, въ эпохи большихъ дѣлъ: тогда и большіе люди являются. А то нѣтъ ни на что запроса, нѣтъ дѣятельности, такъ хоть будь семи пядей во лбу, все или просидишь сложа руки, или лобъ разобьешь. Конечно, это не мѣшаетъ лбы разбивать, все-таки въ стѣнѣ хоть ямку простучимъ; но это значитъ работать на внуковъ, что очень скучно. Отъ этого-то мнѣ и было особенно непріятно услыхать, что разстроивается дѣло освобожденія: я думалъ, что начинается наконецъ время большихъ дѣлъ.

— И большихъ женщинъ? — игриво замѣтила Мытищева.

— Да, явились бы и женщины,—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— А пока вы скучаете?—съ маленькой небрежностью замѣтила Мытищева.

— Нѣтъ не скучаю, потому что знаю, что мнѣ нужно, и за неимѣніемъ большаго, кое-какъ перебиваюсь маленькимъ.

— Маленькими дѣлами и маленькой любовью! Какъ пріятна и весела должна быть особенно послѣдняя,—смѣясь говорила Мытищева.

— Долженъ вамъ признаться, — отвѣчалъ Камышлинцевъ,—что любви совсѣмъ нѣтъ, никакой нѣтъ, ни даже маленькой. Но чувствую, что скоро будетъ любовь и большая.

— Это почему?—живо спросила Мытищева.

— А потому, что когда нѣтъ дѣла, такъ хочется очень любить... знаете, какъ у Фета гдѣ-то сказано, что не знаетъ еще, что будетъ пѣть, но пѣсня зрѣетъ.

— Любопытно видѣть вашъ выборъ; пожалуйста скажите, когда начнется,—отвѣчала Мытищева.

— Сами увидите, если что будетъ: женщины это сейчасъ замѣчаютъ,—сказалъ Камышлинцевъ.

Они прошли еще немного и вскорѣ ихъ позвали чай пить. Играющіе окончили свои партіи, вечерѣло, тучи начали надвигаться. Многимъ гостямъ въ томъ числѣ и Мытищевымъ, было далеко до

дома. И всѣ, какъ водится у насъ, разомъ какъ гуси на отлетъ, поднялись къ домамъ. На прощаньѣ Мытищевы, мужъ и жена, звали Камышлинцева къ себѣ; онъ обѣщался, и всѣ разъѣхались.

Мы не будемъ слѣдить за тѣми лицами нашего романа, съ которыми встрѣтимся, но посмотримъ, какое впечатлѣніе всѣ слышанныя новости произвели на тѣхъ многихъ, которыхъ мы не назвали и по фамиліямъ, потому что каждый изъ нихъ отдѣльно почти ничего не значитъ, не только въ нашемъ романѣ, но и въ жизни,—но которые всѣ вмѣстѣ имѣютъ значеніе, какъ масса, животное низшей степени развитія, одаренное грубыми орудіями чувствъ и плохо развитыми инстинктами, неповоротливое и нелѣпое, но сильное, иногда весьма ярое и всегда вѣрующее только тому, кто хоть вретъ, да по немъ.

Впечатлѣнія, произведенныя на этихъ господъ молодымъ Нобелькнебелемъ и Камышлинцевымъ, были совершенно различны. О первомъ всѣ отзывались очень почтительно и съ уваженіемъ: «прекрасный молодой человѣкъ», говорили они тѣмъ гортаннымъ басомъ, которымъ обыкновенно отдается дань справедливой хвалы только людямъ степеннымъ, отнюдь не задѣвающимъ противъ шерсти никакихъ общепринятыхъ условій и обѣщающимъ подняться въ гору, храня преданія предковъ и совершенствуя ихъ по мѣрѣ развитія вѣка.

О Камышлинцевѣ мнѣнія были не столь одобрительны, но снисходительнаго свойства. Конечно онъ подозрѣвался въ разныхъ вольнодумствахъ и нѣкоторые, прищуривъ одинъ глазъ, таинственно и многозначительно замѣчали, что онъ «тово»; но какъ это неопредѣленное «тово» никого не задѣвало, а самъ онъ носа не задиралъ и своего превосходства не выказывалъ, то въ заключеніе всѣ согласились, что «впрочемъ онъ славный и простой малый».

Еслибы поглубже взглянуть въ мысли разговаривавшихъ, то мы бы увидѣли, можетъ быть, что, несмотря на преимущество, отдаваемое достоинствамъ Нобелькнебеля, сердца младшихъ и простодушныхъ дѣтей природы болѣе лежали къ Камышлинцеву, потому что онъ былъ весьма простъ въ обращеніи, тогда какъ Нобелькнебель самой своей отмѣнной вѣжливостью высказывалъ свое превосходство. Одинъ добродушный засѣдатель даже отчасти высказалъ это, замѣтивъ про Нобелькнебеля-сына, «что хорошо-де ему о честности-то кричать, когда родитель такое состояніе пріобрѣлъ».

При этомъ, по старинному свойству человѣческой природы, людямъ, которые считали дерзостью или вольнодумствомъ многія — справедливо или нѣтъ—предполагаемыя ими въ Камышлинцевѣ мысли, именно и нравилось то, что вотъ такой человѣкъ живетъ среди ихъ и находится съ ними въ связи. Они смотрѣли на него такъ, какъ толпа, твердо стоящая на берегу, смотритъ на смѣльчака, пустившагося изъ удали по тронувшемуся льду на другой берегъ. Перейдетъ, скажутъ—молодецъ; не перейдетъ, ну—дуракъ, по дѣломъ ему! Чтобы опредѣлить основаніе, по которому сложилось такое мнѣніе о Камышлинцевѣ, тогда какъ онъ его ничѣмъ не выказывалъ, надо знать хорошо жизнь провинціальной глуши и глушь провинціальной жизни. Они имѣютъ акустическое свойство нѣкоторыхъ мѣстностей, обладающихъ необыкновеннымъ отголоскомъ, въ родѣ пизанскаго баптистерія:—всякое сказанное въ нихъ слово повторяется нѣсколько разъ въ совершенно различныхъ тонахъ. Отъ этого, вслѣдствіе новости, сообщенной Нобелькнебелемъ, объ улучшеніи быта крестьянъ, онъ получилъ значеніе чуть не друга и повѣреннаго всѣхъ министровъ, посвященнаго во всѣ государственныя тайны. Въ свою очередь слухъ о существованіи нѣкоего Герцына, въ связи съ именемъ привезшаго это извѣстіе Камышлинцева, заслужилъ послѣднему репутацію человѣка, посвященнаго во всѣ замыслы революціи, друга и агента агитатора. Послѣднее мнѣніе, съ помощью необыкновенно быстрой, извѣстной провинціальной гласности, вскорѣ такъ утвердилось, что одинъ изъ гостей, имѣвшій кровную вражду съ исправникомъ нарочно пріѣзжалъ къ Камышлинцеву, прося его обличить въ «Колоколѣ» козни своего врага, и весьма оскорбился и не повѣрилъ увѣреніямъ Камышлинцева, что онъ съ «Колоколомъ» никакихъ сношеній не имѣетъ.

III.

Дмитрій Петровичъ Камышлинцевъ значился по формуляру отставнымъ титулярнымъ совѣтникомъ 29-ти лѣтъ, а былъ въ настоящее время ремесломъ—помѣщикъ не у дѣлъ, т. е. помѣщикъ, не занимающійся ни хозяйствомъ, ни собаками и не знающій что изъ себя дѣлать. Пожалуй можно бы еще помѣстить его въ разрядъ помѣщиковъ, ѣздившихъ за границу, но за границей онъ былъ только одинъ разъ: такихъ помѣщиковъ много на святой Руси. Дворянство его было не изъ древнихъ: по фамильнымъ преданіямъ предокъ его по отцѣ былъ стрѣлецъ, сосланный Петромъ за бунтъ съ отрубленными ушами и носомъ въ какую-то приволжскую трущобу; прадѣдъ по матери былъ въ пугачевскія времена управляющимъ канцеляріей губернатора, вертѣлъ всей губерніей и навертѣлъ себѣ значительное состояніе. Часть этого-то состоянія, раздробленнаго между наслѣдниками, и доставляла возможность молодому Камышлинцеву заниматься тѣмъ, чѣмъ онъ занимался. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что у этихъ предковъ были тоже свои предки, но о нихъ ни письменные, ни изустные источники ничего не говорятъ и мы имѣемъ полное право считать, что непосредственно за ними для рода Камышлинцевыхъ начинался тотъ доисторическій мракъ, который, по мнѣнію знатоковъ, чѣмъ старѣе, тѣмъ болѣе сообщаетъ особый букетъ крѣп-

кимъ винамъ и дворянскимъ фамиліямъ. Отецъ Камышлинцева былъ военнымъ, но, женившись и взявъ за женою порядочное приданое, немедленно опочилъ на своихъ лаврахъ и жениномъ имѣніи. Мать Камышлинцева воспитывалась и жила до замужества въ другой губерніи, гдѣ отецъ ея былъ на службѣ и имѣлъ отъ другой жены много дѣтей. Такимъ образомъ, родители Камышлинцева, поселясь въ имѣніи, не принадлежали ни къ одному мѣстному дворянскому гнѣзду, т. е. группѣ сосѣдей, до такой степени перепутавшейся между собой посредствомъ женитьбы, что разобрать взаимное родство могли только мѣстныя барыни. Они не были старыми родовитыми помѣщиками и потому были свободны отъ многихъ присущихъ этому званію добродѣтелей и недостатковъ; но они были люди смирные, хорошіе, незлобивые — и ихъ любили. Мы входимъ въ эти подробности и думали было войти въ еще большія, имѣя въ виду выяснить себѣ среду и условія, развивающія классъ людей, къ которому принадлежалъ молодой Камышлинцевъ: но, разбирая настоящія и другія извѣстныя намъ данныя, мы находимъ, что среда и обстоятельства, окружавшія дѣтство Камышлинцева, имѣли въ этомъ случаѣ счастливое вліяніе только отрицательными сторонами, т. е. не привили молодому Камышлинцеву своихъ взглядовъ и предразсудковъ. Такъ напримѣръ, родъ его не былъ достаточно древенъ, чтобы потомокъ могъ причислять себя къ лику тевтонскихъ рыцарей, ни такъ молодъ, чтобы начинаться отъ вчерашняго Митюшки-цѣловальника,—хотя въ сущности между барономъ, грабившимъ на большой дорогѣ, чиновникомъ, грабившимъ въ канцеляріи, и цѣловальникомъ—въ кабакѣ трудно рѣшить, кто грабилъ приличнѣе и законнѣе! По состоянію, Камышлинцевъ тоже не былъ достаточно богатъ, чтобы мѣтить въ россійскіе ланд-лорды, ни достаточно бѣденъ, чтобы искать мѣста по акцизу. Итакъ, судьба благодатно уберегла его и отъ величія, и отъ огорченій крайности.

Когда Камышлинцевъ достачно подросъ, родители его начали разсуждать съ знакомыми и между собою, куда помѣстить сына въ ученье. Такъ какъ между дворянствомъ и понынѣ еще никто почти не дерзаетъ думать, что есть возможность быть полезнымъ родинѣ, не поступая на службу, и безъ того переполненную искателями мѣстъ и мѣстечекъ, а въ ту пору подобныхъ вольнодумцевъ и не существовало,—то вопросъ приводился къ тому, гдѣ начать службу Митинькѣ. У болѣе или менѣе истыхъ и коренныхъ дворянъ военная служба всегда считалась благороднѣе статской: часто ихъ отцы и дѣды сами проливали если не кровь, то потъ, на поляхъ брани и ученій, а потому Камышлинцевы и не встрѣтили иного совѣта, какъ отдать сына въ военную службу, т. е. въ кадетскій корпусъ. Но практическій смыслъ людей средняго состоянія, не зараженныхъ особенно рыцарскими наклонностями, подсказалъ имъ мысль примирительную, а именно; сдѣлать Митиньку военнымъ, но спеціалистомъ. Для очищенія совѣсти, спросили о желаніи самого 12-ти лѣтняго Митиньку. Митинька, справившись какой мундиръ носятъ офицеры его будущей службы, остался имъ доволенъ и, узнавъ вдобавокъ, что лучшіе изъ учениковъ попадаютъ въ гвардію, немедленно возчувствовалъ величайшую склонность къ названной спеціальности. И вотъ, при первомъ случаѣ, отправили Митиньку въ Петербургъ, гдѣ опредѣлили, какъ водится, въ приготовительный пансіонъ, а затѣмъ и въ самое заведеніе. Въ заведеніи этомъ учили кажется всѣмъ существующимъ наукамъ и еще нѣкоторымъ вещамъ, нигдѣ не существующимъ; несмотря на то, у кончившихъ съ полнымъ успѣхомъ курсъ наукъ встрѣчались странные пробѣлы въ знаніяхъ. Такъ напримѣръ, прослушавъ въ пансіонѣ довольно подробно всеобщую древнюю исторію съ ея анекдотами про Ассуровъ, Ксерксовъ и хвостъ Алкивіадовой собаки, Камышлинцевъ попалъ въ самомъ заведеніи на повѣствованіе о величіи Римской Имперіи, а за тѣмъ прямо перескочилъ на Крестовые походы. Учитель исторіи былъ изъ своихъ же, офицеровъ, и въ преподованіи держался одной послѣдовательности — поскорѣе отбыть лекцію, а потому сообщалъ только нѣкоторыя особенныя событія, безъ связи и объясненія причинъ и собственно только для сдачи экзамена. Затѣмъ, узнавъ о нѣкоторыхъ подвигахъ различныхъ, болѣе или менѣе великихъ Карловъ, Генриховъ и Фридриховъ, Камышлинцевъ другихъ свѣдѣній по части всемірной исторіи не получилъ и о томъ, что дѣлалось на свѣтѣ въ послѣднее столѣтіе, не имѣлъ никакого понятія. Съ русской исторіей тоже случился довольно странный казусъ: въ пансіонѣ слышалъ онъ какія-то легенды про основаніе Руси, а въ военно-учебномъ заведеніи онъ въ одномъ курсѣ все слушалъ объ удѣльныхъ междоусобіяхъ, въ другомъ—объ Іоаннѣ Грозномъ, въ третьемъ—о дѣяніяхъ великаго преобразователя, Петра I-го. Петромъ все и заключилось; промежуточныя и дальнѣйшія свѣдѣнія, какъ объ отечественной, такъ и объ иностранной исторіи, предоставлялись его собственной любознательности. Свѣдѣнія по части законовъ и устройства своего отечества онъ, вмѣстѣ съ товарищами, пріобрѣлъ отъ аудитора, который два раза въ недѣлю читалъ изъ артикула Петра Великаго, что «надлежитъ» то-то и то-то, а дѣло кончалось обыкновенно фразою: «весьма живота лишить».

Съ запасомъ подобныхъ свѣдѣній вышелъ Камышлинцевъ изъ заведенія. Несмотря на полнѣйшее равнодушіе къ своей спеціальности, которую излагали до такой степени сухо и казенно, что пристраститься къ ней не было никакой возможности, Камышлинцевъ, мальчикъ съ счастливыми способностями, оказался изъ лучшихъ учениковъ и остался на службѣ въ Петербургѣ. Должно замѣтить, что двѣ случайности много благопріятствовали образованію Камышлинцева. Мальчикъ ходилъ

въ отпускъ изъ заведенія къ своему дальнему родственнику. Еще молодой человѣкъ, этотъ родственникъ былъ однимъ изъ дѣйствительно образованныхъ людей и принадлежалъ къ кружку Станкевича и Грановскаго. Подъ вліяніемъ этого человѣка, отчасти эстетика и гуманиста, слагались первыя понятія Камышлинцева. Затѣмъ, по выходѣ изъ заведенія, Камышлинцевъ, искавшій уже общества людей мыслящихъ, попалъ въ другой, тогда только-что начинавшій образоваться кружокъ молодежи, болѣе реально смотрѣвшій на жизнь и увлекавшійся (всякое время имѣетъ свои увлеченія) другими крайностями. Но въ этотъ кружокъ Камышлинцевъ вступилъ уже нѣсколько подготовленный предъидущимъ вліяніемъ и потому не принялъ на вѣру всѣ его идеи. Какъ молодой человѣкъ, онъ во многомъ сочувствовалъ членамъ этого кружка, но видѣлъ и ихъ увлеченія. Лично онъ любилъ этотъ кружокъ, но идеи кружка составляли для Камышлинцева предметъ горячихъ споровъ: онъ отстаивалъ свой взглядъ и пробовалъ идти своей дорогой. Однакожь въ томъ и другомъ обществѣ Камышлинцевъ прежде всего узналъ, какъ древній философъ, что онъ ничего не знаетъ и что истинное образованіе долженъ начать самъ и снова. Онъ былъ человѣкъ самолюбивый, и, понявъ свое невѣжество, принялся читать и учиться. Чтобы пополнить—не скажу пробѣлъ, а—совершенное отсутствіе образованія, онъ сосредоточилъ все свое вниманіе на предметахъ, совершенно чуждыхъ его спеціальности, и затѣмъ испыталъ участь большей части нашихъ спеціалистовъ, которые не желаютъ остаться круглыми невѣждами по другимъ отраслямъ знаній: равнодушный къ своему предмету, онъ увлекся другими, болѣе жизненными, болѣе симпатичными ему, совершенно охладѣлъ къ своей спеціальности, а новой не пріобрѣлъ.

Года два-три провелъ онъ такимъ образомъ въ Петербургѣ, когда старикъ Камышлинцевъ, опасно заболѣвъ, вызвалъ сына къ себѣ въ деревню и умеръ на его рукахъ. Похоронивъ отца и поживя съ матерью въ деревнѣ, молодой Камышлинцевъ подумалъ, надумалъ и вышелъ въ отставку. Вышелъ онъ не отъ лѣни и не по той потребности насладиться независимостью и свободой, которую доставляетъ смерть главы семейства, хотя можетъ-быть и лѣнь и новое чувство имѣли въ этомъ рѣшеніи тоже свою долю участія, нѣтъ:—его петербургскій кружокъ пробудилъ въ немъ мысли и потребности, которыя сознательно привели его къ этому рѣшенію. Рѣдкія и лишь совсѣмъ пустыя натуры остаются съ дѣтства до старости одинаковыми; большая же часть людей развивается и мѣняется постоянно; и чѣмъ счастливѣе и сильнѣе природа человѣка, тѣмъ это развитіе замѣтнѣе и плодотворнѣе. Поэтому намъ нужно сказать нѣсколько словъ о томъ, чѣмъ вышелъ Камышлинцевъ на первыхъ порахъ жизни.

Въ то время онъ былъ впечатлителенъ и нѣсколько вспыльчивъ, мало способенъ къ усидчивому постоянному труду, но дрожжи и тотъ живчикъ, который подталкиваетъ людей (у всякаго человѣка есть свои дрожжи и свой живчикъ) были у него хорошіе. Дрожжи въ немъ были хорошія съ дѣтства; по матери онъ былъ добръ и впечатлителенъ, можетъ по прадѣду имѣлъ здравый умъ, и въ нехитрой, но добродушной семьѣ пріобрѣлъ драгоцѣнное русское свойство—совѣстливость. Да не улыбается читатель! Да, это именно—русское качество! это не строгая честность, не безукоризненная прямота и безпристрастіе; нѣтъ, это—маленькій, но дорогой противовѣсъ многимъ русскимъ недостаткамъ, противовѣсъ, который не мѣшаетъ купцу плутовать, вору воровать и чиновнику брать взятки, но который мѣшаетъ русскому вору, плуту и взяточнику совсѣмъ погрузиться въ свою грязь и оставляетъ въ нихъ живое мѣстечко. Благодаря этому свойству, каждый русскій человѣкъ если и мошенничаетъ, то какъ-то однимъ бокомъ. Камышлинцева ни нужда, ни обстоятельства не подвергали искушеніямъ, и нравственную стойкость свою онъ не могъ еще испробовать, но совѣстливость не позволяла ему браться за то, чего онъ не зналъ или къ чему не чувствовалъ призванія: а живчикъ въ немъ бился. Тѣмъ обстоятельствомъ, что этотъ живчикъ не подбивалъ его удивлять народъ рысаками, плѣнять барышень красивымъ мундиромъ или добиваться въ канцеляріи милостей начальства въ образѣ чиновъ и крестовъ, а заставлялъ искать дѣла, онъ былъ обязанъ своему петербургскому кружку. Не смотря на то, въ кружкѣ этомъ Камышлинцевъ чувствовалъ себя ни при чемъ: всякій работалъ въ немъ, кто для науки, кто для куска хлѣба, у Камышлинцева же не было собственнаго дѣла, не было у него той земли подъ ногами, которая ему какъ Антею давала бы силы. Онъ учился, но наукѣ себя посвятить не желалъ, въ искусствахъ не имѣлъ таланта, служить,— но петербургская служба, съ ея канцеляріями и парадами, казалась ему какой-то отвлеченностью, которой можно предаваться только изъ любви къ самой службѣ, какъ иные любятъ искусство для искусства.

Когда Камышлинцевъ схоронилъ отца, онъ оглядѣлся въ провинціи и отправилъ въ Петербургъ одновременно просьбу объ отставкѣ и письмо къ одному изъ пріятелей, въ которомъ онъ между прочимъ писалъ: «Долго думалъ я, на что рѣшиться и что изъ себя дѣлать, и рѣшаюсь остаться здѣсь вопреки вашимъ совѣтамъ. Ужь если я, благодаря прадѣдушкѣ-взяточнику,—помѣщикъ (чѣмъ ни мало не огорченъ), слѣдовательно человѣкъ по преимуществу земскій и если мы, помѣщики ни на что болѣе не приготовлены, какъ на службу, такъ ужь я буду служить здѣсь своей землѣ и для этого долженъ прежде всего познакомиться съ ней и узнать ея нужды. Поэтому остаюсь здѣсь, а у васъ мнѣ дѣлать нечего». И онъ остался.

Къ сожалѣнію, весьма часто случается, что вещи, съ перваго взгляда весьма простыя, оказываются при иныхъ условіяхъ чрезвычайно трудными и му-

дреными. Напримѣръ, молодой человѣкъ, полный силъ, довольно образованный и съ хорошими способностями, желаетъ скромно служить своей землѣ: чего бы казалось лучше? Мало ли чѣмъ можно приносить ей пользу? Но приносить пользу при всемъ добромъ желаніи иногда оказывается трудно, какъ извѣдалъ Камышлинцевъ. Заняться усовершенствованіемъ сельскаго хозяйства — на это у него не было ни денегъ, ни знанія, ни надобности: крестьяне у него были на оброкѣ. Онъ и присматривался къ хозяйству и учился ему, но помогать этому дѣлу, а тѣмъ болѣе начинать его, былъ не въ состояніи; играть роль благодѣтельнаго помѣщика, сдѣлаться отцомъ своихъ крестьянъ и благодушествовать съ ними—ему и въ голову не приходило: у него было на столько здраваго смысла, чтобы понять, что не благодушествомъ можно пособлять имъ. Служить по выборамъ дворянства?— но это значитъ служить «одному сословію, а не всей землѣ, да и для этого надобно быть выбраннымъ, а онъ, и окружающіе его помѣщики, при всѣхъ добрыхъ отношеніяхъ, чуяли, что они дворянскіе интересы врядъ-ли понимаютъ одинаково. Затѣмъ что же оставалось? Все-таки служить? Камышлинцевъ подумалъ: у насъ есть и хорошіе законы, и благодѣтельныя административныя мѣропріятія, но, эти прекрасно задуманные въ высшихъ сферахъ законы и мѣропріятія, въ приложеніи къ народу, такъ сказать претворяясь въ дѣло, получаютъ иногда — благодаря претворителямъ — совсѣмъ иной характеръ: надо идти въ претворители или смотрѣть за претворителями; а такъ какъ въ губернаторы онъ попасть не могъ, а въ становые не хотѣлъ, то избралъ среднее—пошолъ въ чиновники особыхъ порученій къ губернатору, въ чиновники работающіе, а не въ играющіе въ благородныхъ спектакляхъ.

Излишне было бы исчислять испытанія, выпесенныя имъ, и допытываться, въ какой степени принесла пользу и удовлетворила эта служба какъ Камышлинцева, такъ и общество и начальство. Но мы знаемъ достовѣрно только два факта: во первыхъ, что Камышлинцевъ оказался до такой степени лишеннымъ всякаго сценическаго таланта (начальница губерніи была страстная охотница до театра и устроивала еженедѣльно любительскіе спектакли), что, несмотря на вообще плохую игру провинціальныхъ любителей, совершенно провалился на своемъ первомъ дебютѣ; а во вторыхъ,— что ровно черезъ годъ количество просьбъ, поданныхъ губернатору, увеличилось одной, именно: просьбой Камышлинцева объ отставкѣ. Возвратясь снова къ своимъ пенатамъ, Камышлинцевъ началъ было уже предаваться тяжелымъ размышленіямъ: что лучше, жениться ли на барышнѣ, начать ли пить, или повѣситься на самомъ высокомъ деревѣ своего сада, — но въ это время случилась Крымская война, потребовалось ополченіе, и Камышлинцевъ былъ выбранъ въ него.

Дружинѣ, въ которой пришлось служить Камышлинцеву, какъ и большей части ополченцевъ не довелось быть въ дѣлѣ. Камышлинцевъ прошелъ только добрый конецъ Россіи, сдѣлалъ походъ, познакомился—не изъ книгъ, а въявь — съ бытомъ народа и воротился съ ранней сѣдиной въ волосахъ. Ополченіе его губерніи потеряло, отъ болѣзни и лишеній, болѣе половины ратниковъ.

Между тѣмъ, по окончаніи войны, на Россію пахнуло свѣжимъ воздухомъ, все заговорило о перемѣнахъ, кровь потекла въ жилахъ быстрѣе, чувствовалась потребность въ дѣятельности, въ движеніи. Можетъ быть ужь въ это время въ фалоншіевыхъ трубахъ министерскихъ канцелярій уже шевелились зародыши будущихъ реформъ но въ дѣйствительность они пока не только не приходили, но и не проглядывали, простора для дѣятельности все еще не было, и Инсаровы этого кануна должны были набираться еще изъ болгаръ и дѣйствовать въ Болгаріи. Нѣтъ, подумалъ Камышлинцевъ, такъ оставаться нельзя; нужно хоть посмотрѣть, какъ другіе живутъ, нужно дознаться, что это за штука, которая становится у насъ поперекъ, всякому развитію, подставляетъ доселѣ ногу всякой, казалось бы, здраво-задуманной вещи: надо поучиться у другихъ! Какъ знать, можетъ быть скоро насъ спросятъ о нашихъ нуждахъ и средствахъ къ ихъ удовлетворенію: а что мы знаемъ? И вотъ, скопивъ сколько было возможно деньжонокъ. Камышлинцевъ отправился за границу.

Какъ провелъ онъ время заграницей и что онъ тамъ узналъ — это не входитъ въ планъ нашего разсказа; замѣтимъ только, что онъ читалъ, присматривался, сравнивалъ. Между тѣмъ изъ Россіи доносились отрадныя вѣсти, коммерческая дѣятельность встрепенулась, компаніи росли какъ грибы, каждая статья газеты начиналась памятной фразой: «въ настоящее время, когда» и пр., развивавшаяся гласность досягала даже до полиціймейстеровъ. Камышлинцева подмывало домой, но онъ былъ еще не довѣрчивъ. Вдругъ, тысячеустная печать разнесла по Европѣ радостную вѣсть предпринимаемаго освобожденія. Камышлинцевъ снова сильнѣе почувствовалъ на себѣ чудно возбуждающее вліяніе завѣтныхъ надеждъ. Онъ читалъ, какъ дворянство, ревнуя одно передъ другимъ, спѣшило радостно отозваться на мысль Государя. Новая, давно ожидаемая жизнь, казалось, закипала на просыпающейся родинѣ; точно весеннимъ воздухомъ пахнуло изъ встающей изъ-подъ снѣга страны. Теперь домой, домой!—сказалъ Камышлинцевъ,—теперь тамъ есть дѣло, нужны наши труды, тамъ можно и должно работать. — И съ запасомъ свѣжихъ силъ, свѣдѣній и жажды дѣятельности онъ поспѣшилъ въ Россію.

При въѣздѣ въ Россію, Камышлинцеву бросилась въ глаза только одна перемѣна: всѣ такъ-называемые образованные классы поросли волосомъ и обиліе этой, долго сдерживаемой растительности, было по истинѣ изумительно. Справедливо или нѣтъ, но у насъ ращеніе волосъ

сверхъ извѣстной мѣры и на недозволенныхъ по штату мѣстахъ всегда считалось признакомъ и своего рода мундиромъ вольнодумства и наравнѣ съ нимъ подвергалось преслѣдованію. Преданіе о волосахъ Самсона, бывшихъ источникомъ его силы, не пропадало даромъ и оффиціальныя Далилы пользовались открытымъ сей древней женой средствомъ, только съ большей увѣренностью, и не прибѣгали ни къ какимъ особеннымъ хитростямъ. На этомъ основаніи, феноменъ, поразившій Камышлинцева, имѣлъ свое значеніе: терпимость къ нему была признакомъ своего времени, но, вопреки ожиданіямъ, другихъ разительныхъ перемѣнъ Камышлинцевъ не нашелъ. Видно было, что духъ жизни вѣялъ надъ страной, все въ ней суетилось и [illegible]сь, все искало дѣятельности, иногда и находило ее, но урывками, не мѣтко, поверхностно. Кинулась, какъ мы говорили, зашевелившаяся кровь въ коммерческую дѣятельность, но новыя предпріятія, если и могли идти, то по старымъ только дорогамъ—компаніи оказывались несостоятельными, акціи падали и на дѣйственныхъ попыткахъ гласнаго разбирательства въ Пассажѣ дознано было, что «мы еще не дозрѣли!». Журналистика была въ прежнихъ рамкахъ и мучительно старалась выйти изъ нихъ: два журнала, посвятившіе себя спеціально крестьянскому дѣлу, падали и пали; по крестьянскому дѣлу была учреждена коммиссія, призванные изъ провинцій депутаты попарно приглашались въ нее, но что тамъ дѣлалось—было попрежнему покрыто молчаніемъ: всюду носились слухи о проектахъ и въ канцеляріяхъ удвоилось число исходящихъ,—вообще, броженіе молодаго вина начиналось, но для него были открыты только тѣ же старые мѣха.

Повидался Камышлинцевъ съ своими петербургскими пріятелями и знакомыми, потолковалъ и нашелъ всѣхъ неудовлетворенными: молодежь была полуудовлетворена и ждала большаго, старики были неудовлетворены и ждали возвращенія къ старому. «Это все верхи,—подумалъ Камышлинцевъ,—надо посмотрѣть, что глубь думаетъ, что земля?»—и онъ поспѣшилъ домой.

IV.

И вотъ разъ, часу въ 9-мъ свѣтлаго іюльскаго вечера, по весьма широкой и кочковатой улицѣ деревни Камышлиновки, проѣхалъ шибкой рысью перекладной тарантасъ и остановился у запертыхъ воротъ семи-оконнаго, съ закрытыми ставнями, барскаго дома. Ямщикъ соскочилъ съ козелъ, вошелъ въ калитку, и сильно отпахнулъ ворота, стуча, какъ власть имѣющій. Тарантасъ подъѣхалъ къ крыльцу; на стукъ вышелъ изъ каретника кучеръ, а изъ людской избы дворовая женщина и, заслоня глаза отъ бьющихъ почти въ уровень съ землей лучей заходящаго солнца, смотрѣла: «кого Богъ даетъ». Только лежавшая у крыльца старая лягавая собака приподнялась и медленно подошла поближе посмотрѣть на пріѣзжаго. Изъ тарантаса вылѣзъ молодой человѣкъ, въ дорожномъ платьѣ съ сумкой черезъ плечо и и не успѣлъ сказать еще слова, какъ вдругъ сцена перемѣнилась: собака, визжа и виляя, бросилась на грудь молодаго человѣка, баба ахнула, хлопнула себя руками по бедрамъ и убѣжала на заднее крыльцо дома, а кучеръ, тяжело влача ноги; въ широчайшихъ сапогахъ, въ перевалку бѣжалъ навстрѣчу: помѣщикъ Дмитрій Петровичъ Камышлинцевъ пріѣхалъ изъ-за границы въ свою вотчину.

Въ домѣ началась бѣготня и суматоха; отперли двери, отворили ставни; нѣсколько женщинъ, занимающихся преимущественно распложеніемъ клоповъ и таракановъ, высыпала поздороваться съ баріномъ, при чемъ нѣкоторыя нараспѣвъ, какъ въ причитаньяхъ, запѣли: «а-а-хъ, батюшка! да какъ вы по-ста-рѣ-ли!» а другія, побойчѣе и находчивѣе, какъ въ барабанъ затрещали, въ перебивку и скороговоркой: «а мы васъ ждали, ждали, ждали, ждали, думаемъ: скоро ли, скоро ли»...

Камышлинцевъ, какъ по обряду, наскоро перецаловался съ женщинами, но былъ тронутъ только ласками своей устарѣвшей сучки Минервы. Потускнѣвшими и слезящими глазами, она такъ нѣжно и печально глядѣла на него, такъ радостно и грустно визжала, приподнимаясь отяжелѣвшими ногами и виляя опущеннымъ хвостомъ, что Камышлинцевъ былъ глубоко тронутъ лаской этой вѣрной и въ его отсутствіе совсѣмъ состарѣвшейся и какъ бы сознающей уже свою негодность подруги: онъ обнялъ ее посѣдѣвшую голову и нѣжно поцаловалъ.

Прислуга тотчасъ разсыпалась хлопотать о благоденствіи барина, каждый по своей части, и усердіе при этомъ высказывалось тѣмъ, что всякій считалъ нужнымъ кричать на другаго. На кухнѣ стали растапливать плиту и ставить самоваръ, и поваръ, принявъ озабоченный и мрачный видъ, началъ съ того, что принялся бранить бабу за то, что она воруетъ у него угли,—а баба, раздувающая самоваръ, вмѣсто мѣховъ, собственными легкими, разкраснѣвшаяся и плачущая отъ дыма, пожелала ему: «чтобъ тѣ раскаленными-то подавиться!» Высокій и здоровый парень, камердинеръ Камышлинцева, гроза мужей и сокрушитель дѣвичьихъ сердецъ, занимавшійся во время барскаго отсутствія усовершенствованіемъ своей игры на гитарѣ, радостно трижды облобызалъ барина своими толстыми губами (ему уже до смерти надоѣло ничего-недѣланье). Камышлинцевъ съ удовольствіемъ сдалъ въ его завѣдываніе чемоданы и дорожные мѣшки и затѣмъ, сбросивъ какъ тяжелую ношу фуражку и дорожную сумку, вздохнулъ свободно и вошелъ въ прохладныя и пахнущія пустотой комнаты.

Комнаты были въ томъ же видѣ какъ онъ ихъ оставилъ: то же зальце, уставленное стульями, съ раздвижнымъ круглымъ столомъ посрединѣ, тѣ же старинныя угловатыя и жесткія краснаго дерева

кресла и диванъ въ гостиной. Въ своемъ довольно большомъ кабинетѣ, и вмѣстѣ спальной, нашелъ Камышлинцевъ тѣ же покойныя кресла, желѣзную кровать, столъ, установленный письменными принадлежностями и безделками, ружья и фотографіи по стѣнамъ; но и деревня, и домъ, и мебель, все это, послѣ большихъ городовъ высокихъ домовъ, щеголеватыхъ комнатъ отелей—все показалось ему точно придавленнымъ и обветшалымъ: убогимъ и жалкимъ показалось ему все это и, несмотря на то, чѣмъ-то роднымъ и милымъ.

Черезъ полчаса по пріѣздѣ, Камышлинцевъ сидѣлъ съ сигарой за стаканомъ чая, глядѣлъ въ окно и воспоминанія нахлынули на него. Длинной вереницей проходили передъ нимъ картины его дѣтства и деревенской жизни, образы иныхъ отжившихъ, иныхъ давно невиданныхъ лицъ. Иногда какой нибудь стукъ или предметъ на улицѣ возвращалъ его къ дѣйствительности и передъ нимъ вновь являлись незатѣйливыя сцены родной жизни и, несмотря на свою невзрачную будничную обстановку, несмотря на космополитизмъ, Камышлинцева, задѣвали иногда какую-то глубоко-глубоко скрытую въ немъ струну, и эта струна неопредѣленно-тоскливо и вмѣстѣ отрадно дрожала въ его груди. Смотрѣлъ тогда Камышлинцевъ на тянувшійся передъ окнами рядъ темныхъ избъ, медленно шевелившійся по улицѣ людъ, на гумна, на зеленѣющіе поля и луга, виднѣвшіеся за деревней, и думалъ: «вотъ она настоящая, коренная Русь! вотъ она, широко-раскинувшаяся громада, надъ которой, какъ толпа насѣкомыхъ, кишитъ и суетится, покусывая, и посасывая, и шумя о ней, разнообразный рой, а она лежитъ себѣ и не шелохнется, и не знаемъ мы, что творится въ ея глубинѣ и какъ отражаются въ ней весь шумъ и возня и заботы о ея благѣ на поверхности».

— Староста пришелъ, — доложилъ вошедшій и вступившій въ свои обязанности слуга и спросилъ, не прикажетъ ли еще чаю.

Камышлинцевъ попросилъ перемѣнить остывшій стаканъ и позвать старосту. Вошелъ крестьянинъ большаго роста, полный, съ черной окладистой бородой и умнымъ лицомъ. Онъ поклонился и подошелъ къ барину поздороваться. Камышлинцевъ трижды поцаловался съ нимъ, затѣмъ староста нѣсколько отступилъ и спросилъ.

— Какъ изволили съѣздить?

— Слава Богу!

— А мы ужь очень соскучились, васъ ждавши! Этто Илья Игнатьичъ повстрѣчались, «что, говорятъ, Бахтинъ, когда твой баринъ изъ бѣговъ явится»? Не знаю, молъ, батюшка, онъ у насъ какъ птица вольная порхаетъ, а мы его ждемъ не дождемся.

— А что Илья Игнатьичъ дома?—спросилъ Камышлинцевъ про своего сосѣда и пріятеля, которому онъ поручилъ приглядывать за имѣніемъ въ свое отсутствіе.

— Нѣтъ теперь, сказываютъ, въ Быхачевъ уѣхалъ на ярманку, съ недѣлю поди тамъ пробудетъ.

— Ну, что у васъ новаго? спросилъ Камышлинцевъ.

— Да что, батюшка, какія у насъ новости? живемъ, пока мыши головы не отъѣли. Яровые слава Богу, пока изрядные, а озими плохи: мѣстами совсѣмъ ничего нѣтъ—подопрѣли.

— А про волю что говорятъ?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Это про волю-то? — переспросилъ староста, казалось, нѣсколько озадаченный, что такой вопросъ и такъ гласно ему дѣлаютъ. Да ничего, батюшка! про эти глупости у насъ и говорить не велѣно. И ни-ни! — кротко и невинно, смотря въ глаза Камышлинцева, отвѣчалъ староста.

— Ну вздоръ! какъ не говорить! — возразилъ Камышлинцевъ;—это дѣло слишкомъ близко васъ касается, чтобы не говорить о немъ.

— Это дѣйствительно—началъ староста, потупясь и видя неудовольствіе барина, какъ-бы сознаваясь въ винѣ своей, — эта дѣйствительно: сначала было прошелъ слухъ насчетъ эвтаго, въ Подгорномъ. Изъ Питера къ нимъ одинъ мужичокъ, что по паспорту ходилъ, вернулся и началъ было толковать. Да дошло это до начальства, мужика эвтаго засадили, а исправникъ, Онуфрій Петровичъ, сами пріѣжали въ Подгорное и строго-настрого наказали молчать. «И чтобы у меня, говоритъ, ни гугу»! ну и смолкли. Да и лучше, прибавилъ староста разсудительно,—а то мало ли чего нашъ братъ не вретъ!

— Напрасно, отчего же не говорить!—замѣтилъ Камышлинцевъ—это дѣло въ ходу,—и онъ началъ разсказывать въ общихъ чертахъ, что зналъ.

Староста посматривалъ на барина изъ-подъ бровей умными глазами, проговаривая отъ времени до времени «т-эксъ»! — и когда Камышлинцевъ кончилъ, онъ только замѣтилъ, «во всемъ власть Божія и Царская», и, немного помолчавъ, спросилъ: «недоимочка маленькая есть за міромъ, такъ какъ съ ней поступить»? и разговоръ перешелъ на хозяйство.

— Ну, вотъ и придворный, а молчитъ! посмотримъ и попытаемъ громаду,—подумалъ Камышлинцевъ. Онъ отпустилъ и старосту и слугу и нераньше легъ спать.

Спокойное и отрадное чувство охватило Камышлинцева, когда онъ, загасивъ свѣчу, улегся и послѣ долгаго бездомничанья и скитанья, послѣ длиннаго пути, почувствовалъ себя наконецъ въ собственной прохладной постелѣ. Картины видѣннаго, дорожныя встрѣчи и сцены припоминались ему, но какъ-то слегка и мимолетно; онѣ производили на него впечатлѣніе пріятныхъ трелей и фіоритуръ, тогда какъ главная тема, которая постоянно чудилась и слышалась подъ ними, было сознаніе, что я дома, у себя, на своей землѣ.

Въ этомъ пріятномъ сознаніи онъ хотѣлъ бы заснуть; но—отъ крѣпкаго-ли чая, которымъ его

угостила ключница, или отъ дороги — нервы его были возбуждены, ему не спалось: и картины путешествія, и другія, болѣе широкія и тревожныя мысли являлись на умъ. «Ну вотъ—думалъ онъ—опять поворотная точка! и что же была моя прошлая жизнь? жизнь русскаго барченка средней руки, не заѣденнаго лѣнью, но зато и незнающаго, къ чему пристроить свою особу»! — подумалось ему. «Весьма общая и часто встрѣчаемая у насъ жизнь».

Эта мысль мелькнула ему, онъ хотѣлъ прослѣдить ее въ прошломъ, но не могъ. Съ какой-то особенной яркостью и выпуклостью рисовались ему картины прошлаго — но пестро и отрывочно, и мысли, ими возбуждаемыя, какъ-то странно относились къ предмету, хотя въ нихъ была своего рода логика и послѣдовательность, нѣчто въ родѣ послѣдовательности и логики съумасшедшаго. «Что за чепуха»! думалъ Камышлинцевъ въ перерывы этого кошмара. «А можетъ это чепуха твоей жизни и, можетъ, она въ самомъ дѣлѣ была такая»? думалось ему вслѣдъ затѣмъ, и опять начиналось прежнее. У Камышлинцева, какъ часто бываетъ послѣ дороги, былъ, вѣроятно, маленькій жаръ.

На другой день Камышлинцевъ всталъ и принялся устраиваться. Первые дни по пріѣздѣ прошли незамѣтно. Онъ разбирался, раскладывалъ книги и вещи, осмотрѣлъ хозяйство.

Водворился онъ въ давно знакомыхъ комнатахъ, и дремлющая, давно оставленная имъ деревенская жизнь разступалась и тихо принимала его въ себя. Такъ иногда, сидя съ удочкой на обрывѣ надъ глубокимъ заливомъ рѣки, бросишь въ воду ненужнаго червяка: вода не всплеснетъ, а только едва дрогнетъ на поверхности, и видишь, какъ начнетъ червячекъ медленно опускаться въ темно-зеленую глубь и незамѣтно пропадаетъ въ ней; и снова такая безмолвно и таинственно стоитъ непрозрачная вода, какъ будто и не было въ нее ничего брошено, и только развѣ какая-нибудь мелкая рыбенка, увидавъ поживу, блеснетъ серебряной спинкой, и скроется!

Разъ, дня черезъ три по пріѣздѣ, въ воскресенье утромъ, Камышлинцевъ увидѣлъ небольшую кучку крестьянъ, которые подвигались къ его дому, той медленной, влачащей ноги походкой, которой обыкновенно ходятъ крестьяне, когда идутъ міромъ: одинъ изъ нихъ несъ въ рукахъ кадушечку, накрытую полотенцемъ. Вошелъ староста и доложилъ, что крестьяне пришли съ хлѣбомъ-солью.

Камышлинцеву это извѣстіе доставило удовольствіе. Его сторона была сторона не промышленная и крестьяне-хлѣбопашцы не были патерты и пріучены къ различнымъ заявленіямъ своихъ нѣжныхъ чувствъ, заявленіямъ, которыя — замѣтимъ кстати—совсѣмъ не въ духѣ русскаго человѣка. И потому въ поступкѣ крестьянъ Камышлинцевъ думалъ видѣть искреннее чувство.

Вошли старики, поздравили съ пріѣздомъ и поклонились барину пудомъ меду. Камышлинцевъ велѣлъ поднести имъ вина, а между тѣмъ пошли вопросы: «какъ изволили съѣздить? и много чай разныхъ земель видѣли»! и отвѣты: «слава Богу, помаленьку, живемъ милостью Божіей, да вашей»!

Камышлинцевъ самъ завелъ рѣчь о волѣ и получилъ отвѣтъ, «что мы-де люди темные, гдѣ намъ это знать! а что болтаютъ иногда разную зрятину, такъ мы ее и слушать не хотимъ». Но когда Камышлинцевъ началъ объяснять имъ, что дѣло освобожденія въ ходу, маленькіе въ складочкахъ глаза слушателей какъ-то прищурились и морщинки, какъ мелкая зыбь, еще болѣе собрались около нихъ. Но только Камышлинцевъ закончилъ, какъ опять глаза стали смотрѣть добродушнѣйшимъ образомъ, и передовые ораторы замѣтили, что «намъ-де за милостью вашей, дай вамъ Господи много лѣтъ здравствовать, житье—слава Богу! и никакой намъ воли не надо и мы ваши, а вы наши»! Камышлинцевъ возразилъ, улыбаясь, что ораторы говорятъ вздоръ и воля все лучше, чѣмъ крѣпостная работа; но они опять смиренно замѣтили, что еще неизвѣстно, какая будетъ воля, а что конечно во всемъ власть царская да барская. Наступило нѣкоторое молчаніе, которымъ Камышлинцевъ думалъ дать отпускъ депутаціи, когда одинъ изъ стариковъ замѣтилъ, что «какъ же будетъ насчетъ недоимочки и не будетъ ли милости разсрочить ее»? Недоимка была незначительна, но Камышлинцевъ, любившій точность, разспросилъ о ея причинахъ, и, удостовѣрясь, что дѣйствительно нѣкоторые крестьяне подшиблись, разсрочилъ ее.

Старики поклонились, поблагодарили, пожелали ему много лѣтъ здравствовать, но вмѣсто того, чтобы выйти, опять что-то затоптались на мѣстѣ.

Камышлинцевъ, зная ихъ манеру, ужь прямо спросилъ, не имѣютъ ли еще что спросить, и тогда главный вожакъ, прокашлявшись, замѣтилъ, что какъ думаетъ, Дмитрій Петровичъ, насчетъ забережной полянки: «опа-де такъ стоитъ у милости вашей, а мы очень лугами нуждаемся,—такъ міръ велитъ просить, не сдѣлаетъ ли Дмитрій Петровичъ, такъ какъ мы оченно вами довольны,—прибавилъ ораторъ, причемъ всѣ поклонились,—божескую милость уступить эту гулящую полянку».

По справкѣ оказалось однакожъ, что гулящая полянка дѣйствительно какъ-то одинъ годъ такъ простояла, потому что ее вытоптала крестьянская же скотина, но что она отдается одному гуртовщику рублей за сто, а иногда и болѣе, и Камышлинцевъ нашелся вынужденнымъ имъ это объяснить. Тогда другой ораторъ замѣтилъ, что ужъ если это дѣйствительно такъ (хотя всѣмъ старикамъ было въ точности извѣстно, и гораздо лучше нежели самому помѣщику, почемъ и въ какой годъ ходила полянка), то не будетъ ли милости уступить ее за семьдесятъ рубликовъ? А когда Камышлинцевъ вновь замѣтилъ, что ради какой же причины отдавать имъ полянку за семьдесятъ, когда гуртовщикъ даетъ болѣе, то они возразили съ поклономъ, что вѣдь мы ваши, а вы наши, и что они съ своей стороны всегда готовы служить, а на

милость образца нѣтъ. Камышлинцевъ, однакоже, рѣшилъ, что если они хотятъ, то онъ готовъ отдать полянку предпочтительно имъ предъ гуртовщикомъ за ту цѣну, которую тотъ будетъ давать; но они опять съ поклонами заявили, что ужь сто такъ сто, только нельзя ли порѣшить дѣло сейчасъ, и вмигъ изъ-за пазухи одного оратора явилась завернутая въ платокъ десятирублевая бумажка и онъ ее почтительно подалъ въ задатокъ. Камышлинцевъ хотѣлъ-было возразить, что дѣло не къ спѣху, но они изъявили было намѣреніе кланяться въ ноги и тогда онъ поторопился согласиться, и ораторъ, подавая бумажку одной рукой, другую спѣшилъ растопырить, чтобы ударить по рукамъ. Когда обрядъ былъ исполненъ, воспослѣдовало еще нѣсколько поклоновъ, увѣреній въ любви и преданности, и депутація и баринъ разстались въ самомъ пріятномъ настроеніи, какъ это бываетъ послѣ всѣхъ встрѣчъ, гдѣ сходятся для того, чтобы говорить съ одной стороны: «какъ мы васъ любимъ и какой вы прекрасный человѣкъ»; а съ другой: «очень радъ и впредь быть прекраснымъ».

Слова крестьянъ о реформѣ нисколько не удивили Камышлинцева: онъ и не ожидалъ отъ нихъ большей откровенности. «Это—думалъ онъ — рѣченька глубокая, со дна песку не выкинетъ, надо исподволь самому добраться до этого дна, а пока посмотрю-ка я въ менѣе глубокую и болѣе откровенную среду».

Онъ справился, кто изъ сосѣдей въ деревнѣ, и, узнавъ, что Нобелькнебель переѣхалъ изъ города въ свое имѣніе, и что къ нему пріѣхалъ сынъ изъ Петербурга, велѣлъ заложить лошадей, переодѣлся и отправился туда.

V.

Что видѣлъ и слышалъ Камышлинцевъ у сосѣда—мы уже знаемъ. Воротился домой Камышлинцевъ и сильно призадумался; мечты о дѣятельности и новой жизни, полной смысла, прямо идущей къ одной цѣли, подламывались съ каждымъ часомъ; идея, которую составилъ онъ себѣ о закипающей повсюду дѣятельности и всеобщемъ-пробужденіи, оказывалась самообольщеніемъ. Правда, вверху, въ высшихъ сферахъ администраціи, по слухамъ, кипѣла дѣятельность; правда, тамъ вырабатывалось великое дѣло, которое должно было стать однимъ изъ первыхъ, краеугольныхъ камней дальнѣйшихъ преобразованій, но... все это тамъ вверху: а здѣсь все то же безмолвіе, все та же глубоко ушедшая внутрь жизнь, если есть еще сознательная жизнь въ этомъ полуснѣ, въ этой дремѣ громады, у которой нѣтъ-нѣтъ да и вырвется какой-то звукъ—не то довольство, не то жалоба, не то стонъ,—нѣтъ-нѣтъ да и вздрогнетъ какой нибудь нервъ, проявится какое нибудь странное движеніе... Да еще и будетъ ли освобожденіе? вонъ что говоритъ Нобелькнебель!.. Надо ждать,—и Камышлинцевъ принялся выдумывать для себя занятія. Онъ былъ знакомъ съ естественными науками; вздумалъ онъ заняться изслѣдованіемъ травъ и насѣкомыхъ своей страны; сталъ гербаризировать, дѣлать опыты и наблюденія. Любилъ онъ охоту съ ружьемъ, которая не только не мѣшала первому дѣлу, а служила еще подспорьемъ. Въ промежуткахъ онъ читалъ журналы и книги—и день уходилъ: но придуманныя занятія шли не споро — они пособляли только коротать время. Оно уходило, но могла-ли удовлетворить молодаго, развитаго человѣка подобная жизнь! да и жизнь ли это? Не поддѣлка-ли это?..

И вотъ часто вечеромъ выходилъ Камышлинцевъ одинъ на широкій балконъ своего дома; солнце садилось, оживала опустѣлая въ рабочій день деревня, возвращались крестьяне съ пашни, рядами какъ артиллерія, сидя бокомъ на невзрачныхъ, усталыхъ рабочихъ лошадяхъ и гремя перевернутыми вверхъ лемехомъ сохами; поднималось облако пыли; прогонялись стада, встрѣчаемыя у околицы бабами и дѣвками, и съ ревомъ и блеяньемъ разбродилась скотина по домамъ. Еще нѣкоторое время виднѣлось движеніе около воротъ и избъ; но солнце совсѣмъ закатывалось, мало по малу все стихало и послѣ тяжелаго труда, вмѣстѣ съ замирающимъ днемъ, тяжелая притомленная жизнь засыпала.

Долго еще догарала долгая лѣтняя заря, медленно мѣнялась прозрачная ночь своимъ свѣтомъ съ темнѣющимъ днемъ; на небѣ всходилъ мѣсяцъ, густой паръ поднимался отъ остывающей земли—не хотѣлось уйти въ душную комнату съ холодѣющаго, пахучаго и влажнаго воздуха: долго сиживалъ Камышлинцевъ съ дымящейся сигарой среди этого успокоенія, тишины и замиранія, и сильнѣе поднимавшихся тумановъ вставали въ немъ какія-то щемящія сердце стремленія и порывы, шевелились горькія безотрадныя мысли. Тяжело и безвыходно горько переживается сознаніе по мелочамъ теряемыхъ силъ, безплодно погибающей жизни, и много въ нашей грустной родинѣ этой томящейся бездѣйствіемъ молодежи и тяжело отзывается на ея развитіи эта безъ пользы вянущая и пропадающая часть самыхъ осмысленныхъ, самыхъ честныхъ силъ! «Нѣтъ, нельзя такъ жить! — сказалъ наконецъ себѣ Камышлинцевъ,—если не дѣло, то хоть развлеченіе» — и на другой же день отправился къ сосѣдямъ.

VI.

Старый деревянный домъ, въ которомъ жили Мытищевы, былъ построенъ дѣдомъ настоящаго владѣльца съ разными затѣями, изобличавшими притязанія на архитектурное искусство. Объ архитектурномъ искусствѣ дѣдушка Мытищевъ, полагать надобно, имѣлъ такое же понятіе, какъ его лягавая сучка Діанка—объ Аполлонѣ, подразумѣвая подъ нимъ не Юпитерова сына, а рябаго и

мрачнаго лакея, носившаго это имя, дававшаго ей овсянку, а еще чаще пинки. Тѣмъ не менѣе дѣдушка Мытищевъ не затруднялся и налѣпилъ къ дому различныхъ колоннадъ, балконовъ и довершилъ все это воздвигнутымъ на крышѣ фонаремъ, предназначеннымъ, кажется, исключительно для голубей, которыхъ въ немъ было цѣлое стадо. Все это вмѣстѣ имѣло оригинальный и невольно возбуждающій улыбку видъ, напоминающій неуклюжаго и почтенныхъ лѣтъ человѣка, котораго заставятъ плясать на свадьбѣ и который въ первый разъ въ жизни пускается степеннѣйшимъ образомъ выдѣлывать ногами какія-то хитрыя штуки.

Съ настоящимъ владѣльцемъ дома, Иваномъ Сергѣичемъ Мытищевымъ, Камышлинцевъ не былъ прежде знакомъ, а былъ ему представленъ у Нобелькнебеля. Въ ранней молодости Мытищевъ былъ замѣшанъ въ декабрьской исторіи и тридцать лучшихъ лѣтъ жизни провелъ въ ссылкѣ. Прощенный вмѣстѣ съ другими при возшествіи на престолъ нынѣшняго Государя, онъ возвратился въ свое родовое имѣніе, которое сохранилъ для него его старшій братъ Василій Сергѣевичъ. Проживъ нѣсколько мѣсяцевъ въ своемъ родовомъ домѣ, Иванъ Мытищевъ захотѣлъ на старости лѣтъ «ухитить», какъ онъ выражался, «свое гнѣздо»—онъ вздумалъ жениться! Ему очень понравилась сосѣдка, Ольга Ѳедоровна Нобелькнебель, и онъ сдѣлалъ ей предложеніе. Мытищевъ годился въ отцы молодой дѣвушкѣ: онъ этого не скрывалъ, не прикидывался влюбленнымъ и держалъ себя съ большимъ умѣньемъ. Съ другой стороны, дѣвицѣ Нобелькнебель было 22 года; воспитана она была въ богатомъ домѣ широко живущаго чиновника, помѣшаннаго на аристократизмѣ. Провинціи вообще страдаютъ недостаткомъ молодежи, а женихами съ именемъ и положеніемъ—и подавно. Молодая Нобелькнебель, какъ дѣвушка свѣтская и слѣдовательно практичная, подумала, дала свое согласіе и повидимому была счастлива. И мудренаго нѣтъ: если смотрѣть на бракъ съ такъ называемой прозаической точки зрѣнія, то Мытищевъ, за исключеніемъ неравенства лѣтъ, представлялъ всѣ условія отличнаго мужа.

Это былъ добрый и еще весьма красивый старикъ; видно было, что съ-молоду онъ былъ замѣчательно хорошъ. Черты блѣднаго лица его были тонки и правильны, большіе темные глаза, впалые и окруженные темной полосой, казались отъ этого выразительнѣе, это были умные глаза, и въ нихъ—слѣдъ долгихъ страданій—осталось постоянное выраженіе тихой снисходительной грусти; небольшая борода, почти бѣлая, красиво обложила худощавое лицо; черные волосы съ сильной просѣдью были гладко острижены; характеръ Мытищева былъ ровный, спокойный, въ обращеніи съ сосѣдями-помѣщиками старикъ былъ привѣтливъ, но нѣсколько покровительственно-снисходителенъ; видно было, что онъ выработалъ себѣ извѣстныя убѣжденія и вполнѣ вѣрилъ въ ихъ непогрѣшимость.

Мытищевы, мужъ и жена, сидѣли въ гостиной, онъ читалъ газеты, она что-то шила, когда вошелъ Камышлинцевъ.

— А! очень радъ, очень радъ васъ видѣть!—сказалъ Мытищевъ, вставая навстрѣчу и привѣтливо пожимая руку Камышлинцеву.

Ольга Ѳедоровна тоже радушно пожала ему руку.

— Что это вы пропали?—сказала она—мы давно поджидали васъ; это не хорошо такъ раздражать любопытство.

— Занялся хозяйствомъ, устроивался и осматривался,—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Знаете,—сказала хозяйка,—что это своего рода преступленіе пріѣхать изъ-за границы и засѣсть дома. Вы обязаны выѣзжать, да! вы обязаны выѣзжать именно теперь, пока еще не простыли. Пока отъ васъ еще вѣетъ новой жизнью, вы должны обновлять нашу!

— Значитъ, я хорошо дѣлалъ, что не показывался,—отвѣчалъ Камышлинцевъ:—я хочу, чтобы меня принимали за то, что я есть, а не за то новое, которое черезъ мѣсяцъ будетъ старое.

— То само по себѣ, то еще будетъ, когда обживетесь, когда наша жизнь наложитъ на васъ свою руку, а теперь вы должны вносить новое въ нашу. Вотъ, напримѣръ, у насъ если пріѣдетъ гость, такъ ему прежде закуски подаютъ кофе: а у васъ какъ?

— Благодарю васъ, — отвѣчалъ Камышлинцевъ,—я кофе пью только послѣ обѣда.

— Да вы не церемоньтесь: вѣдь проѣхавши пять верстъ, все-же надо хоть закусить.

— Если такъ, то я не откажусь, только пожалуйста не хлопочите много.

— А на что же я и хозяйка,—отвѣчала Мытищева, весело вставая; она улыбнулась и вышла, милая, привѣтливая и прелестная. Камышлинцевъ полюбовался ею и, провожая ее глазами, замѣтилъ ея необыкновенно легко и изящно обрисованный станъ.

Камышлинцевъ и Мытищевъ остались одни.

— Да!—началъ Мытищевъ,—вы вовремя возвратились: замѣчательная пора наступаетъ, и каждый долженъ ее встрѣтить въ отечествѣ какъ солдатъ на своемъ посту!

— Правда!—замѣтилъ Камышлинцевъ;—да дѣйствительно ли наступаетъ это время? вы слышали, что говоритъ Григорій Ѳедоровичъ?

— Слышалъ, но, признаюсь, плохо вѣрю,—отвѣчалъ Мытищевъ:—еслибы не думали дѣлать большія перемѣны, не допустили бы такой огласки. Но какъ-бы то ни было, одна постановка вопроса, одна гласно-заявленная мысль объ освобожденіи, ужь и это великая вещь! Молодыхъ людей это, кажется, мало удивляетъ, и нынѣшніе передовые люди сознавали уже эту необходимость; но когда я вспомню, что тридцать лѣтъ назадъ объ ней не мечтали самыя смѣлыя головы,—а тогда было ихъ не мало, замѣтилъ Мытищевъ знаменательно,—что вопросъ не освобожденія, а улучшенія отно-

шеній смутно представлялся только немногимъ самымъ свѣтлымъ умамъ, то невольно удивляюсь силѣ времени!

— Да,—задумчиво отвѣчалъ Камышлинцевъ,—идеи, какъ растенія, имѣютъ свой органическій ростъ и развитіе: что было брошено едва замѣтнымъ зерномъ, вдругъ выходитъ на свѣтъ когда и не ожидаешь. Кажется въ предъидущее тридцатилѣтіе все было чисто и гладко, а чуть пахнуло свѣжимъ воздухомъ и выходитъ! только боюсь я, какъ бы опять не потоптали!

— Богъ милостивъ! онъ укрѣпитъ сердце того, кто даетъ жизнь великой реформѣ! А молитва этихъ милліоновъ, жаждущихъ освобожденія, неужели она ничего не значитъ? Молитва—великая сила! — тихо и съ чувствомъ, какъ бы про себя, замѣтилъ Мытищевъ;—великая сила!—повторилъ онъ задумчиво.

Камышлинцевъ молча потупился и ничего не отвѣчалъ, но кто-то сзади его спросилъ хриплымъ голосомъ:

— Что же эта сила-то въ четыреста лѣтъ ничего не сдвинула?

Камышлинцевъ обернулся и увидѣлъ странную фигуру Василія Сергѣевича Мытищева, который въ своихъ бархатныхъ туфляхъ вошелъ неслышно во время разговора. Это былъ высокій, сухой старикъ съ измятымъ, весьма умнымъ, но чрезвычайно некрасивымъ лицомъ: одни только черные какъ уголь, но уже нѣсколько старчески воспаленные, глаза блистали выразительно изъ-подъ сѣдыхъ нависшихъ бровей.

Своеобразный человѣкъ былъ Василій Сергѣевичъ. Отлично воспитанный и кончившій курсъ въ училищѣ колонновожатыхъ, съ блестящими способностями, онъ поступилъ въ военную службу, дѣлалъ кампаніи 1805—1812 годовъ, и въ послѣдней былъ адъютантомъ Воронцова въ то время, когда корпусъ его стоялъ въ Парижѣ. Тамъ онъ поссорился съ нимъ, былъ отчисленъ въ штабъ и сталъ на досугѣ жадно читать энциклопедистовъ; но его больше занимали ихъ отвлеченныя воззрѣнія на человѣчество, нежели осуществленіе теорій 90-хъ годовъ. Любимыми авторами его были Руссо и Вольтеръ, послѣдняго онъ особенно любилъ за его ядовитую и безпощадную насмѣшку. Изъ похода Мытищевъ вывезъ вмѣстѣ съ сочиненіями любимыхъ авторовъ, какую-то идеальную нѣмку, отлично умѣвшую варить кофе и печь крендели, вышелъ въ отставку и поселился въ деревнѣ. Въ свое время его приглашали въ свое общество масоны, но онъ, называя ихъ мистиками и фантазерами, на-отрѣзъ отказался имѣть съ ними дѣло. Въ декабристы онъ не попалъ, благодаря своему пребыванію въ деревнѣ; онъ ихъ тоже бранилъ за непрактичность, хотя въ свое время, кажется, сочувствовалъ имъ. Его идеальная нѣмка оказалась нестерпимо скучною, и Мытищевъ не обинуясь говорилъ, что она «дура набитая, а впрочемъ самка хорошая». Но когда эта самка родила ему сына, онъ на ней поспѣшилъ жениться, и съ большимъ трудомъ добился узаконенія ребенка. Сына своего Василій Мытищевъ принялся воспитывать по теоріи Руссо, и дѣйствительно изъ него вышелъ здоровый, красивый и замѣчательно сильный мальчикъ; но когда его принялись развивать умственно, онъ оказался тупъ какъ рѣпа, и отецъ, побившись съ нимъ нѣкоторое время, т. е. перемѣнивъ нѣсколько наставниковъ и заведеній, махнулъ наконецъ рукой и, уступая его желанію, отдалъ его юнкеромъ въ уланскій полкъ.

Такимъ образомъ, не смотря на блестящіе задатки, жизнь ничего не дала Мытищеву, и онъ, со всѣмъ своимъ умомъ и знаніями, увидѣлъ себя какимъ-то паразитомъ! Все это озлобило старика. Идеальная нѣмка, проживъ съ нимъ лѣтъ 15, умерла отъ ожирѣнія сердца. Съ тѣхъ поръ онъ сдѣлался еще пасмурнѣе и ядовитѣе; лѣтомъ онъ жилъ въ деревнѣ, то у себя, то съ братомъ, а зиму въ городѣ; хозяйничалъ весьма плохо, но съ крестьянами былъ очень снисходителенъ, хотя разсуждать съ ними не любилъ и мнѣнія о нихъ былъ весьма не высокаго. Не большимъ расположеніемъ пользовались у него и другіе классы общества, но такъ какъ въ дѣла онъ не вмѣшивался, готовъ былъ помочь всякому и страстно любилъ карты, то его даже любили, какъ своеобычнаго и озлобленнаго, но честнаго брюзгу. Въ отношеніи брата, Василій Сергѣевичъ, во все время его ссылки, держалъ себя безукоризненно и больше хлопоталъ о его части имѣнія, нежели о собственной; вообще братья, несмотря на разницу воззрѣній и характеровъ, жили очень дружно. Иванъ Сергѣевичъ весьма уважалъ брата; Ольга Ѳедоровна за нимъ ухаживала болѣе чѣмъ за мужемъ, и хотя побаивалась его, но имѣла на него нѣкоторое вліяніе: старикъ по-своему любилъ ее. Одно только раздѣляло братьевъ: Иванъ былъ глубоко религіозенъ, а старикъ Василій, напротивъ, пошелъ въ этомъ случаѣ дальше своихъ учителей: эти идеи брата составляли предметъ глубокаго огорченія для Ивана.

На приведенное замѣчаніе брата, Иванъ Сергѣевичъ отвѣтилъ:

— Пришло время и двигаетъ; впрочемъ мы съ тобою условились не говорить объ этомъ, — прибавилъ онъ и можетъ быть для того, чтобы прекратить разговоръ, вступившій на непріятную колею, пошаривъ около себя табакерку и не найдя ея, пошелъ за ней въ кабинетъ.

— Идеалистъ неисправимый!—сказалъ старикъ Мытищевъ, кивнувъ головой на брата, когда тотъ вышелъ.—Всѣ они таковы! тридцать лѣтъ ссылки, не отучили ихъ вѣрить въ свои идеалы и уповать на нихъ.

— Зато, можетъ, эта вѣра и дала имъ силы пережить эти тридцать лѣтъ!—замѣтилъ Камышлинцевъ.

— Пожалуй, если хотите тѣшить себя фантазіями! — проворчалъ старикъ въ то время, когда братъ его возвратился.—Ну, а вы, что же теперь

*

думаете подѣлывать въ нашихъ палестинахъ? — спросилъ онъ Камышлинцева.

— Да самъ не знаю, — отвѣчалъ тотъ: хочется работать, да дѣла не могу придумать. Думалъ, что при реформахъ, о которыхъ говорятъ, найдется дѣло и мнѣ; да вотъ не находится.

— Что захотѣли! — насмѣшливо замѣтилъ старикъ. — Да неужели вы не знаете, что у насъ, при настоящихъ порядкахъ, нѣтъ и не будетъ дѣятельности внѣ службы!

— Судя по началу, я думалъ, что къ дѣятельности будетъ призвано неслужащее дворянство,— возразилъ Камышлинцевъ.

— Да, я думаю, такъ и будетъ — подтвердилъ Иванъ Мытищевъ.

— О юноши!—воскликнулъ старикъ, — русскіе, вѣчно мечтающіе, неисправимо-розовые юноши! ничему-то васъ не научило прошлое! Да кто же допуститъ дѣятельность не контролируемую? а если и допустятъ въ извѣстной мѣрѣ, такъ развѣ мы сами, дворяне, не сдѣлаемся немедленно чиновниками самыми рьяными и не попросимъ немедленно же мундира и ранга? вѣдь это у насъ въ крови! Развѣ Павелъ Петровичъ не говорилъ про васъ, что у него столько полиціймейстеровъ, сколько помѣщиковъ: куда же дѣнутся наши выработанныя столѣтіями полицейскія привычки!... Вотъ на дняхъ мой крестьянинъ пришелъ мнѣ жаловаться, что его племянникъ кнутомъ огрѣлъ. «За что?» спрашиваю я. «Да на прошлой недѣлѣ онъ-де въ ямщики поступилъ, такъ зачѣмъ, встрѣтившись съ нимъ съ возомъ, я ему съ дороги не своротилъ! — Развѣ—говоритъ—не видишь, мужланъ, что у меня бляха на шляпѣ! — Вотъ вамъ, батюшка, дѣти природы! а ужь вкусившихъ-то съ измалетства сладость бляхи и богъ проститъ!

— Теперь на этотъ счетъ мысли измѣняются, и я по крайней мѣрѣ за бляхой не погонюсь, — улыбаясь замѣтилъ Камышлинцевъ.

— Ну такъ и занимайтесь гончими, да Матрешками, или по иноземнымъ гостинницамъ шляйтесь, а въ дѣятели не собирайтесь, — сказалъ старикъ.

Камышлинцевъ хотѣлъ разсмѣяться, но не могъ ему стало жутко отъ мысли: «а что, если это правда?»

Въ это время вошла Ольга Ѳедоровна, и разговоръ по этой дорогѣ, разумѣется, идти не могъ, а пошло, какъ говорится, обыкновенное переливаніе изъ пустаго въ порожнее. Молодая хозяйка обладала талантомъ придавать разговору о самыхъ пустыхъ предметахъ весело-игривую и острую форму, но за то разговоръ и о предметахъ болѣе серьезныхъ непремѣнно сводила на ту же ступень.

Подали закуску съ разными пирожками и ватрушками, а вскорѣ и обѣдъ. Когда кончился кофе, старикъ Мытищевъ всталъ и, шаркая туфлями, отправился спать. Камышлинцевъ попросилъ и Анна Мытищева не церемониться, если онъ имѣетъ эту привычку. Тотъ было сталъ оттовариваться.

— Напрасно стѣсняешься! повѣрь, братъ, молодые безъ стариковъ не соскучатся, — замѣтилъ, уходя старикъ Василій, и Камышлинцеву показалось, что онъ насмѣшливо улыбнулся.

Когда Камышлинцевъ и Мытищева остались вмѣстѣ, они почувствовали то особенное, пріятное и нѣсколько смущающее ощущеніе, которое всегда является само собою, если молодой мужчина и молодая женщина, не пристроившіе еще никуда свое такъ-называемое сердце, остаются съ глазу на глазъ. Тотчасъ, какъ будто подумается: «ну вотъ мы и одни! что же выйдетъ изъ этого?» и при этомъ мужчина иначе поглядитъ на женщину, а женщина чувствуетъ этотъ взглядъ и сама иначе подумаетъ о своемъ собесѣдникѣ. Къ этому, всѣмъ общему и общеизвѣстному состоянію, у нашихъ молодыхъ людей присоединилось еще другое—слѣдствіе ихъ прошлыхъ отношеній. До замужества Ольга Ѳедоровна Нобелькнебель была хорошо знакома и почти дружна съ Камышлинцевымъ — насколько могутъ быть дружны молодые люди. Эта дружба, со стороны Ольги, была не прочь обратиться въ болѣе нѣжное чувство, еслибы Камышлинцевъ изъявилъ хоть малѣйшее поползновеніе возбудить его съ законными видами. Но Камышлинцевъ не думалъ жениться и не скрывалъ этого, а барышня, несмотря на свою молодость и нѣжное сердце, была столь благоразумна,—а правильнѣе сказать: была на столько дочь своего отца, что не отдавала своего чувства молодому человѣку, немѣющему «благородныхъ» намѣреній. Такого молодаго человѣка, т. е. по крайней мѣрѣ изъ числа «приличныхъ партій», какъ намъ извѣстно, не явилось, а явилась приличная партія въ лицѣ старика Мытищева, и благоразумная дѣвица отдала ему свою руку. Любопытно было бы знать, что думала Ольга при этомъ и что вообще думаютъ въ этихъ случаяхъ наши барыни о своемъ сердцѣ и его будущихъ потребностяхъ? А думаютъ же онѣ вѣдь непремѣнно что нибудь! Родительницы ихъ думаютъ прежде всего пристроить дочь, а пристальнѣе въ будущее стараются не всматриваться, предоставляя послѣдствія покровительству провидѣнія. «А тамъ, что Господь пошлетъ!» говорятъ онѣ. Есть основаніе полагать, что дѣвицы входятъ на этотъ счетъ въ болѣе подробное разбирательство, но обманываютъ ли онѣ себя, или прямо смотрятъ въ глаза будущему, заранѣе выбравъ путь, которымъ пойдутъ при встрѣчѣ съ невольнымъ чувствомъ? Наблюдая натуру русскихъ барышень мы склоннѣе думать, что онѣ предпочитаютъ до поры поморочить себя и вступаютъ въ нѣкоторыя сдѣлки съ собой, т. е. допускаютъ возможность полюбить и до извѣстной степени выказывать любовь, но въ рѣшительную минуту сказать, какъ пушкинская Татьяна:

«Но я другому отдана,
И буду вѣкъ ему вѣрна»!

Вообще сдѣлки съ собою и полумѣры—въ привычкахъ русскаго человѣка.

Къ какому разряду принадлежала Ольга Мытищева, мы не знаемъ и, не забѣгая впередъ, обращаемся къ настоящему.

По уходѣ мужа и деверя, Ольга Ѳедоровна, казалось, пристально углубилась въ работу и, принявъ видъ дѣтски-невиннѣйшаго созданія — видъ, который весьма легко принимаютъ благовоспитанныя барышни, хотя еще не родился на свѣтъ тотъ дуракъ, котораго могли бы имъ обмануть,— принявъ этотъ видъ и зная, что ничего нѣтъ опаснѣе молчанія (тутъ-то и приходятъ разныя мысли), Мытищева поспѣшила заговорить о чемъ нибудь.

— Ну разсказывайте, какъ вы поживали за границей,—заговорила она.

Камышлинцевъ усмѣхнулся.

— Я уже это разсказывалъ, а лучше скажите вы мнѣ,—спросилъ онъ,—отчего вы спѣшите завести разговоръ и дѣлаете первый вопросъ, который вамъ пришелъ въ голову?

— Боже мой! да вѣдь надо же говорить о чемъ нибудь, не сидѣть же намъ молча, — возразила Мытищева, продолжая работать.

— Извините меня, но я не вижу никакой необходимости говорить, когда не хочется или когда не о чемъ говорить. Да и дѣло не въ томъ! У насъ найдется о чемъ поговорить, но вы спѣшите завести рѣчь о самыхъ незначительныхъ вещахъ, какъ будто для того, чтобы избѣжать этого разговора.

Мытищева почувствовала какія-то маленькія пріятныя мурашки, пробѣжавшія по тѣлу. «Это что-то начинается», мгновенно промелькнуло у ней въ головѣ—именно то «что-то», начало того иногда ничтожнаго, иногда серьезнаго, которое женщины такъ любятъ и ждутъ, но считаютъ обязанностью, какъ бы для очищенія совѣсти, избѣгать.

— Вовсе нѣтъ!—сказала она; если вы находите что нибудь интересное, говорите: я очень рада.

Въ переводѣ на обыкновенный языкъ это значило: «ну начинай, я посмотрю, дать ли тебѣ щелчекъ по носу или позволить идти дальше». Но или Мытищева ошиблась и Камышлинцевъ вовсе не думалъ выставлять своего носа, или онъ сдѣлалъ это такъ искусно, что предохранилъ себя отъ всякихъ щелчковъ.

— Какъ же не найти! — сказалъ Камышлинцевъ;—кажется, мы съ вами были довольно дружны! Но, несмотря на это, мы никогда не говорили откровенно: вы были для этого слишкомъ благовоспитанны, а первое правило благовоспитанныхъ дѣвицъ—говорить не то, что думается, а что принято говорить. Теперь дѣвичья опека снята, и я думаю, что можно бы быть и пооткровеннѣе.

— Это смотря по вопросу и по человѣку,— улыбаясь отвѣчала Мытищева.—Впрочемъ, у меня нѣтъ тайны, такъ не можетъ быть и скрытности.

— Хорошо, посмотримъ! — сказалъ Камышлинцевъ. — Въ прошедшій разъ вы замѣтили, что у меня нѣтъ смѣлости броситься головой внизъ: можетъ это и правда! Мы всѣ выросли въ ужасно тѣсныхъ пеленкахъ, а пеленки не даютъ смѣлости и самонадѣянности. Но я не знаю, смѣлъ ли я: случая не было испытать, а скажите вы мнѣ про себя. Вотъ я никакъ не могу понять, какимъ образомъ молодыя, красивыя дѣвушки рѣшаются выходить замужъ безъ любви, дѣлаютъ однимъ словомъ приличныя партіи! Вѣдь это тоже бросаться головой внизъ? а между тѣмъ это дѣлается сплошь и рядомъ! Что это — дерзость ли, или отчаяніе, или безпечность?

Мытищева слегка зарумянилась.

— А я думаю ни то, ни другое, ни третье! Просто надо сдѣлать себѣ положеніе: не оставаться же старой дѣвой! Это еще хуже чѣмъ старый холостякъ, которымъ вы останетесь съ вашимъ взглядомъ на женитьбу!—прибавила Мытищева, стараясь свести разговоръ на другую дорожку.

— Сдѣлать себѣ положеніе слѣдуетъ, и я совершенно понимаю экономическую сторону замужества! — отвѣчалъ Камышлинцевъ; — но что вы сдѣлаете съ такъ-называемой сердечной стороной, если экономическая-то съ ней не сходится. Я вотъ не знаю, что дѣлать съ собой, потому что не нахожу себѣ работы, хотя совершенно свободенъ въ помѣщеніи чувствъ и могу ими заниматься сколько угодно; а для женщины, женщины обезпеченной, наша жизнь только и выработала пока одну отраду — любовь! Это очень дурно, но это такъ! Заботы, трудъ, самопожертвованіе — все это для женщины отрадно только тогда, когда дѣлается ради любимаго существа, и вся болѣе широкая дѣятельность доступна ей только чрезъ любящаго ее мужчину! Что же, когда этого существа нѣтъ? когда не только нѣтъ его, но когда еще замужествомъ по экономическимъ соображеніямъ воздвигается между ними препятствіе? что же это: самоубійство или самообманываніе?

Мытищева затруднилась отвѣтомъ.

— Развѣ замужество не можетъ быть счастливо безъ особенной любви,—сказала она сдѣлавъ удареніе на словѣ особенной. — Если есть привязанность, уваженіе, сходство характеровъ и при этомъ приличное положеніе, то этого, я нахожу, совершенно достаточно, чтобы считать бракъ очень счастливымъ, и не нужно особенной смѣлости, чтобы рѣшиться на него.

— Я съ вами совершенно согласенъ, что со стороны удобства жизни, съ экономической стороны, этого вполнѣ достаточно! Даже скажу вамъ болѣе: сколько мнѣ не случалось встрѣчать счастливыхъ браковъ и вообще наблюдать это... (Камышлинцевъ остановился, прінскивая слово)—это общепринятое заведеніе, я находилъ, что только тѣ изъ браковъ и счастливы, гдѣ нѣтъ особенной, какъ вы говорите, любви, гдѣ ее замѣняетъ склонность или гдѣ она перегорѣла до тихой привязанности. Любовь—чувство слишкомъ тревожное'

слишкомъ горячее и возбуждающее для такого обыденнаго удобства, которое мы называемъ въ настоящемъ случаѣ счастіемъ! Любовь — роскошь брака, и если бракъ основанъ только на этомъ хрупкомъ чувствѣ, то онъ весьма рискованъ. Но, съ другой стороны, что же за жизнь безъ любви? вѣдь это произрастаніе! Да еще и произрастанье-то безъ цвѣта, безъ аромата! Какъ же можно отказывать себѣ въ этомъ чувствѣ, которымъ однимъ только и красна жизнь! Вѣдь это... половина самоубійства, это самоискалеченье!— сказалъ онъ.

Мытищева молчала; наклонивъ голову къ шитью, она, казалось, пристально занималась имъ, и тоненькая игла, быстро и легко захватывая батистъ, сверкала въ ея проворно поднимавшихся пальцахъ. Одно только шуршанье натягиваемой нитки, мѣрно отсчитывающее каждый стежокъ, нарушало тишину. Румянецъ сильнѣе заигралъ на нѣжной и прозрачной кожѣ щекъ Ольги, и синенькія жилы ясно отдѣлились около висковъ на лицѣ ея. Камышлинцевъ смотрѣлъ на эту прелестную, наклоненную головку, на вьющіеся свѣтлые волосы, колечками спускающіеся на лобъ, на весь нѣжный и мягко склоненный станъ, и любовался.

— Я не могу отвѣчать за другихъ, — сказала наконецъ Мытищева,—но мнѣ кажется, для счастья совершенно достаточно тихаго чувства, которое даетъ простая привязанность; да и лучше, — прибавила она: — не обожешься.

Камышлинцевъ нѣсколько мгновеній молча и нѣжно глядѣлъ на Мытищеву. Какое-то сострадательное и доброжелательно-покровительственное чувство, чувство любящаго отца или брата ощущалъ онъ къ ней.

— И это говорите вы! — тихо и съ упрекомъ сказалъ онъ.—Вы такъ созданы, что вамъ не знать любви—двойной грѣхъ передъ собою и непростительный грѣхъ передъ природой, васъ такъ создавшей! Нѣтъ, вы не искренны! Вы должны иногда переживать тяжелыя минуты! — сказалъ Камышлинцевъ.

Онъ говорилъ это такъ искренно и просто, такое неподдѣльное участіе слышалось въ его голосѣ что спрятаться за шуткой или прибѣгнуть къ какой-нибудь уверткѣ, на которыя женщины такія великія мастерицы, когда не хотятъ отвѣчать прямо, — было бы недобросовѣстно, и Мытищева чувствовала это.

— Н-ну, не тяжелыя, — отвѣчала она, не поднимая глазъ,—это много: но иногда тоска и скука бываютъ порядочныя.

— Бѣдная вы!—сказалъ Камышлинцевъ, сострадательно глядя на Мытищеву,—и бѣдные мы!...— тихо прибавилъ онъ.

Не знаю, чѣмъ бы кончился этотъ разговоръ, еслибы его неожиданно не прервала мать-попадья, зашедшая къ Мытищевой, попросить у нея, какъ оказалось впослѣдствіи, бурнуса для фасона. Попадья была женщина молодая, сложенія — какъ и всякая хорошо выбранная попадья — прочнаго, въ своемъ кругу большая тараторка и модница, но въ высшемъ обществѣ, по своимъ особеннымъ правиламъ приличія, она считала нужнымъ опускать бойкіе каріе глаза и сжимать губы. При входѣ этой неожиданной гостьи, у Мытищевой и Камышлинцева явилась одна и та же мысль: «зачѣмъ принесла тебя нелегкая!» а затѣмъ явилось какое-то неопредѣленное чувство неловкости, точно ихъ застали на чемъ-то тайномъ и запретномъ, хотя запретнаго, какъ мы видѣли, ничего не происходило.

Разумѣется и Мытищева и Камышлинцевъ, какъ люди благовоспитанные и умѣвшіе всегда владѣть собою, не выдали никакихъ впечатлѣній своихъ и Мытищева встрѣтила попадью весьма привѣтливо и мило. Но попадья, не обладавшая этими дарами, какъ натура болѣе нервичная, довольно ясно высказала свои помыслы. Видя представившихся ей съ глазу на глазъ молодыхъ людей, она крайне смутилась и начала извиняться, что «можетъ-быть, помѣшала», на что Мытищева, смѣясь, замѣтила ей, что у нея съ Камышлинцевымъ не было никакихъ тайнъ и потому извиняться ей не въ чемъ. Разговоръ зашелъ ничтожный. Вскорѣ пришелъ самъ Мытищевъ, подали чай и Камышлинцевъ, напившись чаю, уѣхалъ.

На прощанье Мытищевъ очень радушно и искренно просилъ Камышлинцева навѣщать ихъ, но хозяйка не была многорѣчива: подавая руку Камышлинцеву, она только подняла на него глаза и, кивнувъ головой, сказала: «пожалуйста пріѣзжайте»! При этомъ ея прелестное подвижное личико сжалось такъ просительно-мило, голосъ ея былъ такъ вкрадчиво мягокъ и убѣдителенъ, что какая-то теплая пріятная волна прошла отъ ея словъ въ груди Камышлинцева. «Непремѣнно»,— отвѣтилъ онъ ей, улыбаясь, и это «непремѣнно» было такъ сказано, что у Мытищевой тоже что-то пріятное шевельнулось въ груди, и она не сомнѣвалась что Камышлинцевъ дѣйствительно намѣренъ часто посѣщать ихъ. Нѣсколько дней сряду при воспоминаніи этихъ незначительныхъ и громко высказанныхъ словъ, неизвѣстно почему и у Мытищевой, и у Камышлинцева лицо принимало пріятное и веселое выраженіе. Одна мать-попадья, по своей первозданной натурѣ, ни надъ чѣмъ не задумывалась и ни въ чемъ не сомнѣвалась; для нея дѣло было ясное, задача, рѣшенная опытомъ предковъ и завѣщанная дѣтямъ: съ одной стороны молодой человѣкъ и молодая женщина, съ другой— старый мужъ, слѣдовательно....

— Что это, Господи, ужь нынѣче за вѣкъ такой, отецъ Иванъ, — озабоченно начала-было она разсказывать, ложась спать. Но отецъ Иванъ, не любившій въ домашнемъ быту назидательныхъ разговоровъ, прервалъ ее вопросомъ:

— А что Воробьевская свадьба пиво-то не кислое привезла?

VII.

На другой день послѣ визита къ Мытищеву, передъ вечеромъ, небольшой открытый тарантасъ, въ какихъ помѣщики ѣздятъ неподалеку другъ къ другу, подъѣхалъ къ пяти-оконному, съ вышкой, деревянному дому помѣщика Еремѣева и остановился у подъѣзда. На лай дворовой собаки, исполнявшей обязанность докладчика, изъ окна высунулась красивая, повязанная платкомъ голова молодой женщины. Заслонясь рукой отъ солнца, бившаго ей прямо въ лицо, женщина посмотрѣла нѣсколько мгновеній на пріѣзжаго, потомъ вдругъ вскрикнула: «Ахъ, Митрій Петровичъ!» — и скрылась. Черезъ минуту сѣни отворились, и та же высокая статная, одѣтая по-мѣщански женщина встрѣтила Камышлинцева.

— Здравствуйте Марья Семеновна! здравствуйте!—говорилъ Камышлинцевъ, выходя изъ тарантаса и дружески пожимая руку молодой женщины.— Какъ поживаете?

— Слава Богу, Митрій Петровичъ! давно ли васъ Богъ принесъ? Вотъ Илья-то Игнатьичъ обрадуется! милости просимъ, — говорила женщина, приглашая Камышлинцева войти въ домъ.

— А гдѣ онъ?—спросилъ Камышлинцевъ.

На этотъ вопросъ послышался изъ смежной комнаты сильный, но хриплый съ просонья голосъ:

— Здѣсь! здѣсь онъ!—и вслѣдъ затѣмъ зашлепали туфли и растрепанная, заспанная, высокая, могучая фигура въ халатѣ появилась оттуда.

— А! землепроходецъ! Агасферъ! опять явился. Здравствуйте! Здравствуйте,— говорилъ, весело и радушно улыбаясь, Еремѣевъ и, трижды облобызавшись, потрясалъ тонкую руку Камышлинцева такъ, что та хрустѣла. — Откуда принесло?

— Да трудно сказать! теперь изъ дому, а въ домъ — изъ Швейцаріи, изъ Рима, изъ Неаполя, пожалуй, — словомъ изъ Европы.

— Ну такъ! Агасферъ! вѣчный жидъ, какъ есть! А что васъ къ намъ-то загнало? Дыму отечества понюхать захотѣлось? Оброкъ, вѣдь, Бахтинъ высылалъ аккуратно, кажется.

— Аккуратно, спасибо вамъ! Дыму захотѣлось понюхать, — отвѣчалъ Камышлинцевъ: — прослышалъ за границей, что онъ нынче иначе запахъ, я и пріѣхалъ.

— Ха, ха ха! Иначе! Это «Норды» или «Іендепандансы» ваши что-ли пронюхали? Ну, а вы какъ съ свѣжаго-то воздуха нашли? что амброй или хоть лакрицею чай не дохнешь? — а?

— Сверху-то, слухи носятся, иначе вѣетъ, а внизу... — Камышлинцевъ махнулъ только рукой.

— А вы повѣрили, что внизу-то весь тысячу лѣтъ копленный навозъ и черноземъ такъ вдругъ и превратится въ амбру!... Ну-те-ка, ну-те-ка, разскажите, что же вы про насъ прослышали? какіе мы стали? Маша! дай-ка намъ вишневаго медку сюда, да холодненькаго,—говорилъ Еремѣевъ, выходя съ гостемъ на терраску, выдающуюся въ цвѣтникъ, и усаживаясь на деревянную скамейку, передъ которой стоялъ такой же некрашеный столъ. — Ну, батенька, разсказывайте, разсказывайте!

Пошли разговоры въ перебой, какъ обыкновенно случается послѣ долгой разлуки; потомъ Еремѣевъ опять спросилъ:

— Ну-те же, какъ вы ѣздили? — Между тѣмъ красивая Марья Семеновна принесла холоднаго, какъ ледъ, меду и, поклонившись, подала Камышлинцеву, который, съ улыбкой отвѣтивъ на поклонъ, взялъ стаканъ и сталъ попивать. Еремѣевъ выпилъ свой стаканъ залпомъ, крякнулъ, налилъ еще и сказалъ: «ну а теперь самоварчикъ поставь!»

— Да что же разсказывать! все вещи извѣстныя,—отвѣчалъ Камышлинцевъ, прихлебывая медъ. Онъ радовался свиданью съ пріятелемъ, былъ въ хорошемъ расположеніи духа и на него нашла охота говорить.

— Путешествовалъ я... вы не испытали, какая это отличная штука путешествовать? Домъ, семью, службу, обязанности—все это свалить на кого-нибудь или просто бросишь, возьмешь, сколько сможешь презрѣннаго металла, мимо всѣ дрязги, болячки, недуги—общественные разумѣется недуги, а своихъ скопишь, напротивъ, сколько можно, чтобы развезти по знаменитымъ врачамъ и водамъ, — и порхъ за границу. Выѣдешь и сейчасъ чувствуешь отраду: такъ легко! Только и заботы объ услажденіи собственной особы. Ну, а тамъ все и приноровлено къ этому. Дороги отличныя, переносишься съ быстротой птицы; вездѣ, куда ни пріѣдешь, васъ какъ-будто только и ждали: возможный по вашему карману комфортъ уже приготовленъ; захочешь развлечься — развернешь гидъ и афиши: театры, картинныя галлереи, прекрасныя прогулки, замѣчательнѣйшіе виды, для поученья—музеи, однимъ словомъ прелесть! ни сучка, ни задоринки! все казовымъ концомъ повернуто и розами усыпано! Только и огорченья развѣ, что подадутъ жесткую котлету или цѣны ужь больно безсовѣстно выставятъ. Хоть бы клопъ укусилъ,—такъ и того нѣтъ!

— Быть не можетъ?— возразилъ Еремѣевъ. — Ахъ шельмы! и клоповъ нѣтъ!

— Ну, зато ужь и взыскательны на счетъ комфорта!—продолжалъ Камышленцевъ.—Придраться-то знаете не къ чему, всѣ эти променады и галлереи — все въ лучшемъ видѣ, все розы да розы; а потребность сердце-то сорвать на комъ нибудь есть, особенно какъ дома-то къ этому привыкнешь, — такъ прислуга и отелье держись! Вымуштровали ихъ дѣйствительно до замѣчательнаго совершенства. Ну, кругомъ проходятъ новые народы, развивающіе въ совершенно иныхъ условіяхъ, съ иными устройствами, требованіями, страданьями, нравами,—это мы все мимо! гдѣ, чортъ, узнаешь ихъ внутреннюю жизнь и ихъ устройства! Въ гидахъ на это ничего не указано — добирайся-ка

самъ, да и притомъ же для этого надо заняться чѣмъ нибудь исключительно: на все не хватитъ. Ну, а наши дворянскія спеціальности вамъ извѣстны! и то думается: къ чему же и изучать, коль примѣнить-то я не могу? Вѣдь это значитъ только еще больше увидѣть прорѣхъ, которыхъ не можешь заштопать: только свою жолчь раздражать! такъ ужь лучше и не видѣть! Да и за границей мѣстные-то аргусы не любятъ какъ къ нимъ въ душу-то поглубже залѣзаешь.

— А, не нравится! не лю-бя-тъ, — протянулъ Еремѣевъ.

— Да! а особенно тамъ, гдѣ прорѣхи-то любятъ закрывать, хоть напримѣръ въ благословенной нынѣшней Франціи. Впрочемъ и резонно: людямъ весь путь розами усыпанъ, а они на задніе дворы хотятъ заглянуть! И не будь у меня процесса съ хозяйкой, которая за стеариновое пятно на коврѣ хотѣла съ меня 200 франковъ слупить, да не прими меня какой-то французскій шпіонъ за итальянскаго агента, такъ я бы и не узналъ о существованіи этихъ дворовъ.

— Однако же и на засѣданіяхъ ассизовъ, да исправительной полиціи бываютъ же пріѣзжіе? спросилъ Еремѣевъ.

— Бываютъ, да вѣдь бываютъ какъ на спектакляхъ, отвѣчалъ Камышлинцевъ:—это все входитъ въ программу удовольствій, а какъ идетъ слѣдствіе, адвокатство и подготовка процесса,—какова полицейская дѣятельность и вообще административное давленіе, каково сельское управленіе—это все прикрыто!

— Ну такъ вотъ, порхалъ я такъ съ цвѣтка на цвѣтокъ,—продолжалъ Камышлинцевъ:—все розы да розы; сначала-то и хорошо, но вдолгѣ, признаюсь вамъ, даже одурь взяла! ужь я по рынкамъ сталъ бродить: по крайней мѣрѣ сырой народъ и сырые продукты видишь.

— Понимаю — сказалъ Еремѣевъ: сегодня суфлей завтра суфлей—наконецъ и чернаго хлѣба захочется.

— То-то и есть! Вамъ извѣстно, что мы изъ Россіи-то бѣжимъ, потому что не знаемъ, что дѣлать изъ себя;—потому, что насъ мучитъ бездѣлье и безцѣльная трата времени: все тотъ же вѣчный суфлей, да еще на постномъ маслѣ. Ну тамъ, правда, на миндальномъ молокѣ, а все надоѣстъ! Разъ, когда Женевское озеро мнѣ начало претить хуже Камышлинскаго пруда, я и началъ помышлять, что на прудѣ хоть утокъ можно стрѣлять, а тутъ и ихъ нѣтъ,— читаю въ «Nord» депешу, что освобожденіе крестьянъ у насъ рѣшено. Я такъ и привскочилъ! Тамбовскій помѣщикъ одинъ въ нашемъ пансіонѣ жилъ, я ему кричу: «Петръ Петровичъ, говорите: слава Богу! у насъ крестьянъ хотятъ освободить»! Онъ сначала не понялъ; «какъ, говоритъ, освободить! отъ чего ихъ освободить»?—«Отъ нашей, говорю, власти, отъ крѣпостной зависимости»! Онъ на меня во всѣ глаза глядитъ и молчитъ: столбнякъ на него нашелъ. А замѣтьте,—добрѣйшій человѣкъ и крестьяне у него, говорятъ, презажиточные. Что, спрашиваю, съ вами?—«Да какъ, говоритъ, освобождать крестьянъ, когда это такъ ужь у насъ испоконъ вѣку ведется, да и самимъ Господомъ Богомъ предназначено! И зачѣмъ, говоритъ, ихъ освобождать? Ну освободи его, вѣдь онъ все-таки рабочимъ же крестьяниномъ останется! Не въ дворяне же его произведутъ»? — просто въ голову взять не можетъ. Представьте себѣ, что ему на мысль не приходилъ не только вопросъ объ освобожденіи, но онъ и не подозрѣвалъ возможности его существованія!

— Ну это извѣстно! какъ варомъ ошпарило: это мы видали достаточно, — замѣтилъ Еремѣевъ. — Ну-съ, батинька, что же дальше?

— Я было призадумался и, видя примѣръ Петра Петровича съ одной стороны и разныя журнальныя утки съ другой, усумнился. Но потомъ читаю подробности, слышу—адресы наперерывъ начали подавать и даже хвалиться, что мы-де раньше другихъ заявляли! Ну, думаю, оживаетъ наша Русь, закипаетъ дѣятельность! можетъ быть и нашему брату, хоть ни къ чему спеціально не приготовленному, да все-таки кой-что читавшему и видавшему, найдется наконецъ дѣло! Подождалъ я до весны, да и въ путь, домой.

— Ну и что же? ну-те, ну-те! какія перемѣны нашли? — улыбаясь и потирая руки, спрашивалъ Еремѣевъ.

— Да какія перемѣны? начать съ того, что пріѣхалъ я въ Ковно. По Нѣману ледъ идетъ, нѣтъ, говорятъ, перевоза; но выросшій какъ изъ земли жидокъ-факторъ таинственно объявилъ, что его дѣйствительно нѣтъ, но что сейчасъ генерала будутъ перевозить, большаго генерала, — такъ онъ пристроитъ меня тутъ, если панъ обѣщаетъ что-нибудь перевозчикамъ. Я обѣщалъ, и жидокъ уладилъ дѣло. Подвели паромъ, выѣхалъ въ коляскѣ генералъ, народъ было къ парому: «батюшки, другія сутки ждемъ»!—«Нельзя! только для генерала; прочь! Начали, паромъ бичевой тянуть съ крикомъ, живо. Какіе-то жидки возились по берегу около лодокъ, кого изъ нихъ бичевой придавило, кого съ ногъ спибло—визгъ только поднялся: «жми ихъ, чортово племя»! «Народъ глупъ—все лезетъ—ну того въ шею, другаго въ зубы — отчалили. Развѣ не видятъ—генерала везутъ». И во имя генерала—такъ всѣхъ и лупятъ. Ну, думаю, это—по старому.

— Гм! а вы какъ полагали? Ну-те, что же далѣе?—поддакивалъ Еремѣевъ.—Да не хотите ли съ прибавленіемъ? — спросилъ онъ, показывая на ромъ, и подлилъ его себѣ въ чай, который подала Маша:—заграницей-то не выучились?

Камышлинцевъ отказался и продолжалъ:

— Потомъ взялъ я мѣсто въ мальпостѣ. Пасха пришлась, и кондукторъ запилъ и распоряжался нами, какъ крѣпостными: гдѣ два часа безъ нужды просидишь, гдѣ пообѣдать не даетъ—благо весна, на нее все можно свалить. Мы возмутились, одинъ

пассажиръ жалобу написалъ отъ имени всѣхъ, и я имѣлъ глупость подписать: «мы—говоритъ—въ газетахъ напечатаемъ; теперь вѣдь благодѣтельная гласность»! Ну, думаю, пропалъ бѣдный кондукторъ! Дѣло обошлось однако: я узналъ, что нашъ протестъ почтовая цензура не пропустила.

— Ну, этотъ опытъ еще вамъ не дорого стоилъ, а вотъ у насъ,—прервалъ Еремѣевъ,—одинъ купецъ не могъ съ другаго долга по сохранной росписке получить: полиція все за носъ водила. Прослышалъ онъ про гласность, пришелъ въ полицейское управленіе, да тамъ всѣхъ и распушилъ. «Воры, говоритъ, вы и взяточники»! Городничій даже обмеръ отъ такой неожиданности! «Да что, говоритъ, вы съума что ли сошли? вѣдь здѣсь зерцало»! А купецъ только ухмыляется: «нѣтъ, говоритъ, теперь не прежнія времена: теперь гласность! мошенниковъ вездѣ можно обличать»! Ну и обличилъ: рублей тысячу стоило дѣло замять! Теперь ему только скажи: что Степанъ Петровичъ, какова нынче гласность?—такъ онъ индо зеленый становится.

— Ну, и дальше въ томъ же родѣ, — продолжалъ Камышлинцевъ. Въ Петербургѣ, говорятъ, работаютъ, но что дѣлается—неизвѣстно, а здѣсь я вчера слышалъ отъ Нобелькнебеля вотъ какія вѣсти.

Камышлинцевъ передалъ свой разговоръ. Еремѣевъ задумался.

Скажемъ, однако, нѣсколько словъ объ Еремѣевѣ.

Онъ былъ сынъ офицера, выслужившагося изъ фельдфебелей, и мелкопомѣстной барыни, на которой отецъ его женился по выслугѣ, слѣдовательно довольно поздно. У помѣщицы было душъ 10 крестьянъ и десятинъ 200 земли. Дѣтей у нихъ было двѣ дочери да сынъ; дочерей они при себѣ еще выдали замужъ, а сына помѣстили въ уѣздное училище, а потомъ въ гимназію. Гимназіей его ученіе окончилось, да и тамъ нужда выгнала его изъ предпослѣдняго класса, потому что отецъ у него умеръ, а мать совершенно запустила маленькое хозяйство, и все, что она получала, шло въ женскій монастырь. Сынъ увидѣлъ, что дѣло плохо, бросилъ ученье, пріѣхалъ въ деревню и по семнадцатому году принялся самъ хозяйничать. Мальчикъ былъ бойкій и смышленый, совѣтовался часто съ однимъ своимъ же зажиточнымъ крестьянипомъ, который его любилъ и баловалъ еще ребенкомъ. Юноша прибралъ къ рукамъ имѣніе, а потомъ, по желанію матери, пристроилъ ее въ монастырь, гдѣ она и умерла.

Зажилъ онъ не дурно. Въ описываемое нами время ему было лѣтъ подъ сорокъ, онъ былъ въ отца, 11-ти вершковъ росту, въ плечахъ — какъ говорится—косая сажень; на нихъ стояла большая голова съ круглымъ, полнощекимъ, русскаго типа, лицомъ и умными глазами. Крестьянамъ своимъ онъ предоставилъ почти полную свободу: не стоитъ, говорилъ, возиться съ такой малостью, и большей частью переторговывалъ то тѣмъ, то другимъ; онъ имѣлъ талантъ ладить и вести дѣла съ простымъ русскимъ человѣкомъ. Купцы и крестьяне имѣли къ нему полное довѣріе, говорили ему всѣ «ты» и уважали его. А происходило это, кромѣ его ума и умѣнія, отъ того еще, что складъ этого ума былъ совершенно русскій: простой людъ чуялъ въ немъ своего. «Умный мужикъ»! говорили про него крестьяне, несмотря на то, что нѣкоторыми понятіями онъ казалось шелъ съ ними въ-разрѣзъ. Такъ, напримѣръ, помня обращеніе монахинь съ его матерью, Еремѣевъ ненавидѣлъ ихъ, не любилъ даже и образовъ: «бѣдовый онъ на нихъ», говорили мужики, посмѣиваясь, и любили въ веселый часъ навести его на разговоръ о монастыряхъ. Читалъ Еремѣевъ въ свободное время охотно, но дѣла для книги, какъ бы она занимательна ни была, не оставлялъ. Чтеніе онъ любилъ дѣльное и преимущественно читалъ или книги хозяйственныя, или историческія, да «объ естествѣ» — какъ онъ выражался о естественныхъ наукахъ; а изъ легкихъ развѣ историческіе романы: «Нѣкоторыя черты изъ жизни Наполеона» или «Петра Великаго». Р. Зотова онъ предпочиталъ Гоголю. Онъ мороковалъ по-французски и по-нѣмецки, хотя произносилъ варварски. Не прочь былъ выпить съ пріятелемъ, и могъ, не пьянѣя, выпить пропасть; но одинъ выпивалъ только рюмку горькой передъ обѣдомъ и ужиномъ. Лѣтъ 10 назадъ сошелся онъ съ одной мѣщанкой, Машей, и съ тѣхъ поръ жилъ съ ней очень дружно, имѣлъ двоихъ дѣтей, предоставилъ ей въ полное распоряженіе домашнее хозяйство, но въ свои дѣла вмѣшиваться ей не позволялъ: «и хорошая, да все баба»! — говорилъ онъ. Съ Камышлинцевымъ познакомился онъ вскорѣ послѣ его переѣзда въ деревню и очень полюбилъ его, зато, что онъ «парень умный, ученый и простой». Камышлинцевъ тоже любилъ Еремѣева за ясный и смѣтливый русскій умъ и снабжалъ его книгами.

— Скажите, неужели въ самомъ дѣлѣ Нобелькнебель правъ, и дѣло кончится ничѣмъ? — спросилъ Камышлинцевъ. Что же скажетъ народъ?

— А народъ—ничего не скажетъ! хладнокровно отвѣтилъ Еремѣевъ. Нашъ народъ выносливъ и на подъемъ тяжелъ—замуравился себѣ и молчитъ! А все таки дѣло сдѣлается, коли сверху хотятъ,— отвѣчалъ Еремѣевъ.

— И вы думаете безъ всякой оппозиціи?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Ну вотъ и безъ оппозиціи! нѣтъ, оппозиція будетъ, и очень сильная, только не такая, какъ вы думаете,—вставъ со скамейки и похаживая по балкону, продолжалъ Еремѣевъ.

— Какая же это оппозиція?—слѣдя глазами за Еремѣевымъ, спрашивалъ Камышлинцевъ.

— А наша русская оппозиція, батинька! оппозиція ничего-недѣланія: только руки сложить и ноги протянуть—вотъ и вся штука.

— Да будто противъ нея ничего не подѣлаешь?—

горячо возразилъ Камышлинцевъ, — будто нѣтъ людей!

— Какъ не быть людямъ,—улыбаясь и посматривая на Камышлинцева, отвѣчалъ Еремѣевъ.— А ваша-то братья, Акулины-старицы на весь міръ печальницы! развѣ васъ мало?

— Ну такъ видите! чего же еще? я знаю, извѣстное возраженіе: мы не умѣемъ дѣлать! или только беремся горячо, да не надолго!

— Это дѣйствительно: со стойки лошадь горячо принимается и не долго выноситъ,—да суть-то не въ томъ.

— Ну такъ въ чемъ же? разрѣшите-съ!—теряя терпѣнье, спрашивалъ Камышлинцевъ.

— Да дѣло въ томъ, что либо вы не захотите, либо васъ не захотятъ!

— Какъ такъ?

— Да такъ! Вѣдь дѣятельность есть? отчего вы не служите?

— Помилуйте, я три службы перемѣнилъ: былъ въ военной, былъ въ статской, былъ въ ополченіи!

— Да отчего же нигдѣ не ужились?

— Отчего? оттого что дѣло было не по мнѣ. А когда дѣло будетъ по мнѣ...

— Тогда васъ не захотятъ, или сдѣлаютъ его не по васъ, — перебилъ Еремѣевъ и, какъ будто довольный этимъ, подлилъ себѣ рому въ чай.

— Что за странное положеніе!—возразилъ Камышлинцевъ,—все говорили: людей мало, а люди дѣла себѣ сыскать не могутъ! Вѣдь должны же мы выйти когда-нибудь изъ этого заколдованнаго круга?

— Какъ не выйти!.. Есть воспитатель, ужасно сильный, батинька,—это нужда. Вотъ какъ бы вы всѣ знали ее, вы бы дѣло себѣ нашли! — сказалъ Еремѣевъ рѣшительно.

— Да развѣ я ее не знаю! Развѣ нужда дѣятельности не та же нужда? не та же бѣдность, только нравственная и очень тѣсно связанная съ матеріальной?—возразилъ Камышлинцевъ.

— То-то вотъ, что это еще не для всѣхъ уяснилось! А вотъ когда ее на деньги переведутъ, такъ она для всѣхъ яснѣе будетъ: это языкъ всѣмъ понятный, батинька! Это не отвлеченности! — Еремѣевъ потеръ руки въ знакъ удовольствія, отпилъ чай и долилъ его ромомъ.

— Глупо, совсѣмъ глупо! Мы не спеціалисты, мы всѣ воспитываемся для общественной дѣятельности—а ее то внѣ службы и нѣтъ!—сказалъ Камышлинцевъ. — Аферами что-ль заняться? Заводъ завести бы какой? Научите, практическій мудрецъ!

— Ха! ха! ха! это бы хорошо! А капиталъ есть?— спросилъ Еремѣевъ.

— Нѣтъ!—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— А умѣнье есть?—спросилъ Еремѣевъ.

— Нѣтъ!—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— А склонность есть?—спросилъ Еремѣевъ.

— Нѣтъ!—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

Еремѣевъ только разразился гомерическимъ смѣхомъ.

Камышлинцевъ тоже разсмѣялся, но на душѣ у него было не до смѣху.

— Прощайте!—сказалъ онъ, вставая и подавая руку Еремѣеву, который посмотрѣлъ ему въ глаза и, хотя Камышлинцевъ старался казаться спокойнымъ, подмѣтилъ въ его лицѣ тяжелое выраженіе.

— Чудакъ вы!—сердито сказалъ Еремѣевъ, съ бранящимся участіемъ русскаго человѣка, — вѣдь о насущномъ хлѣбѣ, слава Богу, заботиться нечего? Книгъ, чай, привезли съ собою много, журналы тоже есть?

— Привезъ,—отвѣчалъ Камышлинцевъ, — прислать вамъ чего?

— Нѣтъ, я заѣду, и не въ томъ дѣло; я только хотѣлъ спросить: вѣдь васъ удача или неудача либеральнаго министерства въ Англіи интересуетъ еще? Коли озонъ какой откроютъ—тоже довольны бываете? Охота здѣсь недурная; ружье новое привезли?

— Привезъ, доброе!

— Ну видите! А кругомъ еще сосѣдки есть хорошенькія. Да скажите намилость, чего же вамъ еще? Нѣтъ, ему все мало, хочется всѣми порами жить! Жирно будетъ, батенька! Вдругъ-то желудокъ не переваритъ! Чѣмъ разбирать, да считаться съ жизнью, берите-ка то, что она даетъ, и живите, чѣмъ можете, а тамъ, при счастьѣ, и дѣлишко, пожалуй, подвернется. Тогда и его за бока; а коль нѣтъ, такъ что пользы хандрить, да противъ рожна прать!

Камышлинцевъ не отвѣчалъ; пожалъ руку Еремѣева и поѣхалъ. Дорогой и пріѣхавъ къ себѣ, онъ серьезно думалъ о послѣднихъ словахъ Еремѣева и понялъ всю ихъ практичность, тѣмъ болѣе, что другаго-то и дѣлать было нечего. И сталъ онъ почитывать, охотиться и чаще бывать у Митищевыхъ.

VIII.

Съ мѣсяцъ спустя послѣ описаннаго разговора, Камышлинцевъ, по обыкновенію, обѣдалъ у Митищевыхъ; говоримъ, по обыкновенію, потому что его посѣщенія были такъ часты, взаимныя отношенія такъ, казалось, искренно дружественны, что если случалось ему день-два не бывать, къ нему ѣздилъ который нибудь изъ Митищевыхъ справляться о здоровьи и увозилъ къ себѣ. Камышлинцевъ, какъ говорится, пришелся по семьѣ Митищевыхъ и семья пришлась по немъ. Семья эта была счастливая. Несмотря на разность лѣтъ, Ольга Митищева любила мужа той тихой и вмѣстѣ нѣжной привязанностью, какая устанавливается въ счастливыхъ бракахъ послѣ перваго пыла любви, или—когда этого пыла не было вовсе — по мѣрѣ оцѣнки взаимныхъ качествъ и увеличивающагося въ той же степени уваженія и сочувствія. Съ другой стороны, мужъ обожалъ жену. Тѣ, кто полагаютъ, что старость, молодая старость или даже старая старость, когда она не занята вся неуда-

чами, неспособна любить, дѣлаютъ весьма грубую ошибку. Любовь есть не только одно изъ самыхъ великихъ, но и самыхъ живучихъ чувствъ. Она пронизываетъ все животное царство, и есть первый двигатель и источникъ жизни. Она переживаетъ въ человѣкѣ и его молодость и силы. Старческая любовь можетъ быть не менѣе сильна и глубока, чѣмъ всякая иная: опытъ, даже опасеніе и боязнь смѣшнаго—и тѣ не всегда мѣшаютъ ей выказываться! Спросите женщину, на какія пожертвованія, на какое безуміе способенъ остающійся съ ней на единѣ старикъ—и вы убѣдитесь, что, по мѣрѣ утраты правъ на это великое и сладчайшее чувство, человѣкъ, кажется, болѣе и болѣе дорожитъ его послѣднимъ проблескомъ, послѣдними крупицами самой роскошной трапезы, и надо имѣть болѣе чѣмъ когда-либо самообладанія, силы воли и глубокаго трезваго взгляда, чтобы, сознавъ пору увяданія, съ грустью, но твердо сказать себѣ: «эту прелестнѣйшую сторону жизни я отжилъ навсегда!»

Свѣжая и только начинающаяся старость Мытищева еще не торопила его отказываться отъ любви; онъ былъ достаточно хорошо воспитанъ, чтобы не выказать сколько нибудь черезчуръ сладкой нѣжности къ женѣ при посторонникъ, — можетъ быть, былъ настолько благоразуменъ и силенъ, чтобы и наединѣ съ нею держать чувства въ соотвѣтственныхъ своему положенію границахъ; но не смотря на это, его нѣжность и любовь невольно просвѣчивали въ каждомъ взглядѣ на жену, давали особенную теплоту и мягкость обращенію его съ ней. Отъ этихъ взаимныхъ отношеній, въ ихъ семьѣ постоянно чувствовалось какое-то стройное, теплое и невозмутимо мирное теченіе жизни. Даже старикъ Василій Сергѣевичъ Мытищевъ, съ его желчью, цинизмомъ и насмѣшкой, былъ не лишній: онъ придавалъ тѣнь и соль слишкомъ ровной картинѣ.

Не менѣе къ дому пришелся и Камышлинцевъ: ему пріятно было пригрѣться у этого мирнаго домашняго очага, такъ счастливо составленнаго, и гдѣ, вдобавокъ, подъ тихой поверхностью чувствовалось еще теченіе живой и молодой жизни. Самъ онъ вносилъ въ нее свою долю свѣжести, новыхъ взглядовъ и стремленій, и оживлялъ однообразіе сельской жизни. Ему всегда были рады и онъ мало по малу сталъ свой въ семьѣ.

Итакъ, Камышлинцевъ, по обыкновенію, пріѣхалъ къ обѣду. Дружески поздоровался онъ со всѣми, сообщилъ нѣсколько новостей, полученныхъ съ почтой, заспорилъ о какой-то статьѣ съ старшимъ Мытищевымъ, но за обѣдомъ пользовался всякимъ случаемъ, чтобы задѣть хозяйку и посмѣяться надъ ней. Ольга Ѳедоровна была красивой наружности, имѣла весьма острый и живой умъ, не затрудняющійся отвѣтомъ, и не оставалась въ долгу у Камышлинцева. Эти перестрѣлки, мягкія и игривыя, вошли какъ будто въ программу знакомства, такъ что въ спорахъ Камышлинцевъ становился почти всегда на сторонѣ противной Мытищевой, хотя большей частью выходило какъ-то, что самыя возраженія его помогали ей, давая другой оборотъ спору или кончая его какой нибудь шуткой.

Но съ нѣкоторыхъ поръ онъ въ своихъ спорахъ и разговорахъ съ Ольгой Мытищевой, становился неровенъ: то раздражительнѣе и ядовитѣе, то мягче обыкновеннаго. Онъ какъ-то невольно, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе, терялъ съ ней тотъ ровный дружественно-мягкій и спокойный тонъ, на которомъ стоятъ обыкновенно прочныя добрыя отношенія.

Въ этотъ разъ Камышлинцевъ былъ злѣе и желчнѣе обыкновеннаго; онъ какъ будто сердился за что-то на Мытищеву и мстилъ ей. Нападки его были до такой степени замѣтны, что мужъ Ольги Ѳедоровны, увидавъ, какъ послѣ одной замѣтки Камышлинцева пріятное личико его жены зарумянилось болѣе обыкновеннаго, сказалъ шутя:

— Смотрите, вы не поссорьтесь!

— Его сегодня какая-то муха укусила,—отвѣчала жена.

— Ну помирятся еще!—проворчалъ, не поднимая глазъ отъ жаренаго рябчика, старикъ Мытищевъ. Но Камышлинцевъ, улыбнувшись въ отвѣтъ, почему-то готовъ былъ покраснѣть.

Черезъ полчаса послѣ обѣда, братья по обыкновенію ушли, молодые люди остались другъ съ другомъ. Послѣ перваго, описаннаго нами и такъ не-кстати прерваннаго попадьей разговора, принявшаго подъ конецъ весьма нѣжный оттѣнокъ, ихъ отношенія въ минуты глазъ-на-глазныхъ бесѣдъ, бесѣдъ, впрочемъ, не часто удававшихся,— оставались нѣжно дружественны. Камышлинцевъ совѣстился вызывать болѣе теплое чувство, пока оно не было оправдываемо своимъ, подобнымъ же. Вообще онъ былъ настолько добросовѣстенъ, что ловеласовскихъ замашекъ и искусства для искусства въ дѣлѣ любви себѣ не позволялъ. Нечего и говорить, что при такомъ положеніи стороны нападающей, нельзя было ожидать вызова со стороны женщины, и въ добавокъ женщины, слишкомъ хорошо владѣющей собою, слишкомъ благовоспитанной, чтобы рѣзко выйти изъ колеи. Очень можетъ быть, что Мытищева ничего и не чувствовала къ Камышлинцеву; по крайней мѣрѣ при всемъ желаніи, столь свойственномъ каждому, не утратившему надеждъ человѣку, Камышлинцевъ не могъ ничего подмѣтить съ ея стороны, что можно бы было растолковать въ пользу зарождающагося чувства. Но время шло, люди жили, и ихъ чувства жили и развивались, а извѣстно, какое направленіе принимаютъ они, когда молодые мужчина и женщина, ничѣмъ особенно не занятые, часто видятся да еще иногда на единѣ! И вотъ Камышлинцевъ сталъ замѣчать, что Ольга Мытищева какъ-то безпокоитъ его: не видитъ онъ ее— ему хочется ее видѣть; увидитъ — и становится недоволенъ и ею, и собой: все ему чего-то не

стаетъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, все ему чего-то мало, чего-то хочется! Камышлинцеву было 28 лѣтъ и онъ не былъ настолько наивенъ, чтобы не догадываться о причинахъ недовольства: онъ замѣчалъ, что начинаетъ любить Мытищеву, что дружественныхъ бесѣдъ ему мало, что тепленькое мѣстечко у чужаго очага не достаточно грѣетъ его! Нѣкоторое время онъ боролся съ этимъ чувствомъ, пробовалъ было рѣже ѣздить къ Мытищевымъ, но тѣ сердились на него и сами вызывали изъ затворничества. «Сказать что-ли имъ прямо, отчего рѣже бываю у нихъ!» подумывалъ онъ. «Да что же я съ собою-то буду дѣлать? зачѣмъ, можетъ, лишу полноты жизни и самую Ольгу? Буду терпѣть, пока могу, а тамъ пусть защищаются!» — рѣшилъ онъ, и сталъ ѣздить, по прежнему тревожиться, скрывать, неудовлетворяться и любить болѣе и болѣе, пока не потерялъ терпѣнья и не рѣшилъ: «нѣтъ, надо этому положить конецъ!»

Мытищева и Камышлинцевъ обыкновенно сидѣли послѣ обѣда въ кабинетѣ хозяйки. Это была небольшая комната съ однимъ окномъ на востокъ, прохладная и тѣнистая лѣтомъ. Они усѣлись у стѣны, обставленной зеленью: она на кушеткѣ, онъ возлѣ на креслѣ. Мытищева взяла работу; на столѣ лежалъ небольшой томикъ «Nouvelles genevoises» Тепфера.

— Ахъ, большое спасибо вамъ за книгу,—сказала Мытищева: — она мнѣ очень нравится. Я ее не кончила еще: не почитаете ли вы?

— Нѣтъ не хочется! — отвѣчалъ Камышлинцевъ.—Приторны мнѣ эти книги стали.

— Вы что-то сегодня, кажется, «не въ расположеніи—духѣ», какъ говоритъ наша попадья?— спросила Мытищева, пытливо вскинувъ глаза на Камышлинцева, — да и вообще стали нынче неровны и раздражительны.

— Правда!—сказалъ онъ, потупясь,—и есть на это причины. Онъ взялъ конецъ ленточки, которой обшивала что-то Мытищева, и началъ крутить ее.

Они замолчали. Мытищева, по совершенно женскому, тонкому чувству мѣры, какъ бы угадывала, что въ этомъ именно случаѣ вызывать ей Камышлинцева на откровенность не слѣдуетъ; но поддаваясь другому чувству, которое уже шевелилось въ ея крови, она не прерывала и молчанія. Камышлинцевъ, потупясь, молчалъ. Лицо его было насмурно и сурово; говорить онъ не рѣшался, его что-то мучило и сердило; онъ не могъ съ чѣмъ-то сладить и въ тоже время боялся, что прервется молчаніе, что зайдетъ совсѣмъ не тотъ разговоръ, котораго хотѣлось бы ему.

— Несносная и жалкая вещь—слово!—сердито сказалъ онъ наконецъ, не поднимая глазъ. — Отчего въ извѣстныхъ случаяхъ нѣтъ какого-нибудь условнаго знака, по которому бы можно было догадываться (онъ замялся нѣсколько)... о томъ, что дѣлается въ душѣ другаго? Надо все выговорить спросить опредѣленнымъ словомъ, которое трудно высказывается, а высказанное кладетъ грань, за которую назадъ не перейдешь.

Онъ пріостановился; Мытищева тоже молчала. Ея вѣчно живой, игривый строй умъ оставилъ ее, онъ какъ будто смирялся и затихалъ передъ приближеніемъ чего-то другаго, глубокаго и не шутливаго: такъ затихаютъ ласточки, овсянки и всѣ маленькія, веселыя и щебечущія птички, когда тучи начнутъ сурово надвигаться на небѣ.

— И потомъ, эти дружескія отношенія, — продолжалъ Камышлинцевъ, — Богъ вѣсть, что подъ ними таится, и рискуешь быть дважды дуракомъ, истолковавъ въ свою пользу то, чего не было, или—что еще хуже—не понявъ того, что есть!

— Дружбу-то оставьте! чѣмъ она тутъ виновата,—сказала Мытищева, не отнимая глазъ отъ работы и съ какимъ-то несвойственнымъ ей тихимъ и кроткимъ выраженіемъ.

— Виновата она,—сердито прбдолжалъ Камышлинцевъ, — потому что она всегда лжетъ, потому что подъ ней только прячутся другія побужденія: эгоизмъ, корысть, любовь! Неужели вы не замѣчаете, что я люблю васъ, что я не могу оторваться отъ васъ, день провести, васъ не видавши? А между тѣмъ, все это сваливается на дружбу и идетъ за нее.

Онъ примолкъ и взглянулъ на Мытищеву: она, опустивъ глаза, работала съ нервической поспѣшностью, но ея нѣжное и прозрачное личико было все взволновано смущеніемъ.

— И вы, — продолжалъ Камышлинцевъ,—вы со мной добры и любезны, я вижу ваше расположеніе — да глубоко ли оно? до которыхъ поръ оно дошло? Вы мнѣ не скажете?—тихо и нѣжно-просяще добавилъ онъ.

У Мытищевой задрожали руки и иголка дѣлала невѣрные стежки.

— Вы видите, что я очень дорожу нашими настоящими отношеніями, — отвѣчала Мытищева, — и потому не хочу мѣнять ихъ. Къ чему опредѣлять ихъ и разбирать? Надо довольствоваться тѣмъ, что есть и что возможно. — Она проговорила это какъ-то сухо, какъ заученный урокъ, точно одни уста ея говорили, а что внутри творилось, того не выдавалось.

— Развѣ не все отъ насъ зависитъ? не все возможно?—спросилъ Камышлинцевъ, самъ весь смущенный, и, протянувъ руку, положилъ ее передъ Мытищевой.

Мытищева пагнулась низко къ работѣ и покачала отрицательно головою.

Нѣсколько мгновеній Камышлинцевъ не отнималъ руки, смущенно глядя на Мытищеву: она какъ будто не замѣчала его просьбы. Онъ чувствовалъ свое положеніе неловкимъ.

— Такъ нѣтъ?— спросилъ Камышлинцевъ, и въ голосѣ его была слышна суровость.

— Останемся друзьями!—нѣжно и просяще ска-

зала Мытищева, кладя свою руку въ его и взглянувъ на него умоляющимъ взглядомъ.

— Не могу я, милая, прелестная Ольга Ѳедоровна! не могу я лгать! вѣдь я тоже боролся съ собой. Что же мнѣ дѣлать, коль я люблю васъ?

Онъ припалъ къ ея рукѣ, нѣжно поцаловалъ ее и потомъ, нѣсколько мгновеній сжимая въ обѣихъ своихъ рукахъ, тихо повлекъ къ себѣ.

— Такъ нѣтъ? — снова спросилъ онъ, но уже съ примирительной улыбкой.

Мытищева быстро вырвала руку, отбросилась на спинку дивана и закрыла лицо руками.

Камышлинцевъ съ любовью глядѣлъ на нее, на мелкіе завитки ея пепельныхъ волосъ, которые падали на лобъ, на ея нѣжныя руки, на горящія какъ уголь малиновыя уши. Онъ глядѣлъ на нее, смущенную и безмолвно признающуюся, и сознательно переживалъ сладчайшую минуту предвкушенія счастія: онъ не выдержалъ долѣе, наклонился къ Мытищевой, тихо взялъ ея руки и отвелъ ихъ. Мытищева не знала, куда спрятать все застыдившееся, смущеное лицо, она боялась и стыдилась взглянуть на Камышлинцева: она, чувствовала, что это лицо выдастъ ее, выдастъ безжалостно самыя сокровенныя движенія страсти; она опустила голову къ себѣ на грудь и въ этомъ движеніи коснулась головой до груди Камышлинцева, который обнялъ ея голову и сталъ горячо цаловать ее. И подъ этими горячими поцалуями, какъ цвѣтокъ на встрѣчу восходящему солнцу, склоненная головка приподнималась мало по малу и поднялась вровень съ его лицомъ....

Когда они очнулись и Мытищева, оправляя волосы, отодвинулась отъ Камышлинцева и рѣшилась взглянуть на него, ея разгорѣвшееся лицо дышало такой нѣжной, стыдливой и полной любовью,— ея каріе глаза глядѣли такъ ласково, что Камышлинцеву было видно до самаго дна все ея нѣжное, горячее чувство, и, исполненный глубокой любви и благодарности, онъ снова припалъ къ ея рукѣ.

Вскорѣ пришли мужъ и деверь, пріѣхала Барсукова за которой еще утромъ посылала Мытищева, подали самоваръ на террасу и хозяйка попрежнему милая, но еще болѣе веселая и одушевленная, какъ ни въ чемъ не бывало разливала чай. Только нѣжный румянецъ ея лица былъ живѣе и глаза стали темнѣе и вмѣстѣ блестящее. Но Камышлинцевъ былъ разсѣянъ, точно передъ нимъ все рисовалась какая-то другая картина и онъ не могъ оторваться отъ нея. Никто впрочемъ не замѣтилъ какой-либо перемѣны въ отношеніяхъ молодой пары. Только старикъ Василій Сергѣевичъ, всклокоченный и заспанный, принимая отъ золовки стаканъ, поглядѣлъ на нее и сказалъ: «что это, Ольга, ты сегодня нестерпимо хороша?»

Вниманіе всѣхъ обратилось на Мытищеву.

Мужъ съ улыбкой и любовью поглядѣлъ на жену, Барсукова взглянула какъ-бы спроста, но внимательно, а Камышлинцевъ уткнулся въ стаканъ. Ольга вспыхнула нѣсколько и сказала:

— Смотрите, старый, я Агафьѣ пожалуюсь!

Агафья была шестидесяти-лѣтняя ключница, которая завѣдывала его хозяйствомъ.

— Агафьѣ! а на тебя кому жаловаться?— спросилъ старикъ, насмѣшливо поглядывая на нее изъ подъ густыхъ бровей своими еще быстрыми, но старческими съ красноватыми жилками глазами.

Вмѣсто отвѣта, Мытищева жестомъ Рашели подняла указательный палецъ къ небу.

— Ну, это слишкомъ высоко!—проворчалъ старикъ.

IX.

Камышлинцевъ по прежнему бывалъ у Мытищевыхъ и, казалось, ихъ отношенія нисколько не измѣнились, но опытный глазъ замѣтилъ бы нѣкоторые знаменательные оттѣнки и мелочи въ отношеніяхъ между Ольгой и Камышлинцевымъ. Мужчины оставались неизмѣнными: также степененъ, добродушенъ и привѣтливъ былъ мужъ Ольги; также ворчливо-желченъ и насмѣшливъ былъ старикъ, — только больше жаловался на ревматизмъ и подагру и, вслѣдствіе того, злобнѣе относился ко всему за исключеніемъ впрочемъ нашихъ молодыхъ людей. Ольга разцвѣла и стала еще прелестнѣе, но была игрива и весела по прежнему, только больше огня, доброты и ласки было у нея ко всѣмъ и больше заботливой нѣжности къ мужу. Камышлинцевъ сталъ какъ-то самостоятельнѣе, самодовольнѣе. На сколько бы человѣкъ ни былъ развитъ, какъ бы ясно и вѣрно не умѣлъ онъ разбирать и опредѣлять свои чувства и отношенія, скрывать недостатки и смѣшныя стороны того или другаго положенія, но во всемъ есть общіе законы и силы, отъ которыхъ трудно отклониться. Такъ входя въ домъ Мытищевыхъ, Камышлинцевъ чувствовалъ какую-то гордость и самодовольство; хотя онъ всегда хорошо одѣвался, но тутъ какъ-то тщательнѣе сталъ заниматься мелочами наряда; въ обществѣ женщинъ былъ любезенъ, но съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ лѣни, сытости. Видно, обстановка могущественно дѣйствуетъ на человѣка и всякій, ничѣмъ серьезнымъ не занятый, человѣкъ, отдаваясь любви, невольно воспринимаетъ общеловеласовскіе черты и пріемы. Но порой иной человѣкъ пробуждался въ Камышлинцевѣ: ему было совѣстно передъ Мытищевымъ—мужемъ. Какъ онъ ни убѣждалъ себя въ правѣ женщинъ на свободу выбора въ любви, какъ ни вѣрилъ въ непреоборимую и все оправдывающую силу чувства, но сознавалъ онъ что-то неладное въ своемъ положеніи: тайна, которая если не составляетъ половину прелести, то придастъ особенную остроту и соль любви, тяготила его; ему казалось иногда, что онъ словно что-то укралъ у довѣрявшаго ему и любившаго его человѣка.

Отношенія Камышлинцева къ Ольгѣ были неровныя, несмотря на то, что онъ любилъ ее съ каждымъ днемъ все больше и больше. Это пре-

лестное и чисто женственное — какъ оно выработалось въ нашей тепличной жизни — созданіе находило при всякомъ свиданіи средства разнообразить отношенія, придать имъ новый оттѣнокъ, открыть новую сторону любви,—а между тѣмъ она была скупа на ласку, заставляла завоевывать каждый новый знакъ ея: умѣла во время ускользнуть, какъ угорь, и, оставляя многое еще желать впереди, этимъ самымъ раздражала и, можетъ быть, усиливала чувство Камышлинцева. Онъ сердился иногда, ссорился съ ней, но не могъ не сознаться, что эта женщина очаровывала, втягивала и до такой степени поглощала всего его, что ему было некогда и не хотѣлось ни о чемъ думать. Когда онъ ей выговаривалъ и роптал, что она мало платитъ ему за его чувства, она, припоминая разговоръ первой встрѣчи, лукаво говорила:

— Да вѣдь я маленькая женщина, и любовь твоя ко мнѣ можетъ быть только маленькая? — и заставляла Камышлинцева десятки разъ каяться въ своей откровенности.

Бывалъ Камышлинцевъ иногда и у своего пріятеля Еремѣева, но споровъ о «матерьяхъ важныхъ» у нихъ стало какъ-то меньше, а разговоръ часто вертѣлся насчетъ женщинъ,—хотя Еремѣевъ былъ далеко не спеціалистъ по этой части и сужденія его о нихъ почерпались большей частью изъ практики въ низменныхъ и болѣе близкихъ къ природѣ слояхъ общества.

— Удивительно извращены у нашихъ женщинъ понятія о вѣрности и скромности!—говорилъ Камышлинцевъ.—Онѣ готовы дать всѣ знаки любви, позволяютъ все, кромѣ того что именно отдается, и воображаютъ себѣ, что остаются вѣрны мужу или тамъ... клятвѣ! Онѣ никакъ не понимаютъ, что мысль, слово, поцалуй есть уже измѣна: онѣ и не думаютъ, что въ этомъ случаѣ онѣ просто развратны!

— Ха! ха! ха! Ну это тонкости, батинька:— отвѣчалъ Еремѣевъ, — онѣ на это смотрятъ проще и естественнѣе: отъ мысли и поцалуя наслѣдника изъ чужой линіи не принесешь и объемъ таліи не измѣнится!

— А есть своя прелесть и особенность у русскихъ женщинъ,—замѣчалъ Камышлинцевъ: — онѣ хитры и изворотливы, какъ кошки, но въ нихъ есть неоцѣненная ласковость и кроткая нѣжность голубки.

— Коровы еще подбавьте, — замѣтилъ Еремѣевъ: — коровью косность подбавьте, тогда будетъ совсѣмъ вѣрно!

Камышлинцевъ засмѣялся, но потомъ сказалъ:

— Вы говорите не про женщинъ, а про бабъ; да и объ нихъ нельзя этого сказать. Посмотрите, сколько бываетъ со стороны женщинъ случаевъ отравы и убійствъ измѣнившаго любовника или чаще всего нелюбимаго мужа! Вѣдь и между ними тысячи драмъ свершаются.

— Никакой драмы не бываетъ у нихъ!—возражалъ спокойно Еремѣевъ: — онѣ и убиваютъ то какъ то просто, тоже по-коровьему: возьметъ да и боднетъ! возьметъ да и всыплетъ мышьяку или хватитъ топоромъ! безъ борьбы, безъ терзаній, а такъ просто, какъ таракановъ бьютъ.

— Ну, ужь это опять русская особенность дѣлать все просто безъ французской ходульности и каерства и безъ нѣмецкой чувствительности; а въ душѣ-то у нея все-таки драма, страшная драма ворочается.

— Да нѣтъ же, говорю я вамъ, — не бываетъ той драмы, что вотъ на театрахъ расписываютъ: у ней вся драма безъ борьбы и въ одномъ явленіи... Да развѣ у насъ есть театральныя драмы-то съ русской бабой?—спросилъ Еремѣевъ.—Вы знаете, я вѣдь по этой части не знатокъ.

— Нѣтъ!—отвѣчалъ, ухмыляясь, Камышлинцевъ.

— Ну вотъ, то-то же!—замѣтилъ Еремѣевъ.— Однакожь мы ныньче что-то большей частью занимаемся женскимъ поломъ: женскій вопросъ поднимаемъ, какъ ныньче говорятъ. Ну, а что вопросъ освобожденія и иныхъ преобразованій? — подсмѣиваясь, спрашивалъ Еремѣевъ,—какъ вы на счетъ оныхъ?

Камышлинцевъ пожалъ плечами:

Частно мнѣ ничего неизвѣстно, а печать вы знаете ныньче замолчала. Да и лучше: напрасно желчь не поднимается и скорѣе тупѣешь! добавилъ Камышлинцевъ. Онъ отъ одного напоминанія объ этихъ предметахъ дѣлался не въ духѣ и раздражителенъ.

X.

Мытищевы на зиму переѣзжали въ губернскій городъ, но Камышлинцевъ капризничалъ и, не смотря на всѣ убѣжденія, рѣшилъ, что останется въ деревнѣ и вздумалъ, по окончаніи полевыхъ работъ, передѣлывать свой домъ. Такъ какъ домъ передѣлывался весь и Камышлинцеву приходилось перейти въ какую нибудь избу, то Мытищевы уговаривали его переѣхать на это время къ себѣ. Перестройка продолжалась болѣе мѣсяца и пребываніе Камышлинцева у Мытищевыхъ вскорѣ оказало на него успокоивающее вліяніе: онъ сдѣлался веселѣе, ровнѣе характеромъ, не жаловался болѣе на непослѣдовательность женщинъ и даже согласился переѣхать въ городъ. А Ольга Мытищева стала какъ-то томнѣе, нѣжнѣе и еще прелестнѣе.

Неизвѣстно, какъ и отъ кого это разнеслось, но немедленно по появленіи нашихъ знакомыхъ въ Велико-Ѳедорскѣ, весь городъ зналъ положительно, что Камышлинцевъ любовникъ Мытищевой, и сомнѣваться въ этомъ было бы опаснымъ признакомъ невѣрія и нигилизма. И мужчины, и дамы говорили объ этомъ, не стѣсняясь; при всякомъ упоминаніи того или другаго имени дѣлались болѣе или менѣе толстые намеки: дамы иронически улыбались, дѣвицы начинали смотрѣть въ сторону, или принимали видъ невиннѣйшихъ горлицъ. Нѣтъ сомнѣнія, что нескромности со стороны Камышлинцева

и еще менѣе Мытищевой тутъ не было. Но городъ Велико-Ѳедорскъ разсуждалъ въ этомъ случаѣ, какъ и вообще разсуждаетъ масса, на основаніи житейской опытности. Люди молодые живутъ въ сосѣдствѣ: такъ должно случиться, такъ, слѣдовательно, и случилось. И мы видѣли, что городъ Велико-Ѳедорскъ не ошибался.

Вскорѣ по пріѣздѣ въ городъ, Камышлинцевъ позаботился о провизіи для чтенія: ему хотѣлось достать журналы за время своего отсутствія, которые за границей онъ читалъ урывками. Онъ справился, нѣтъ ли въ городѣ библіотеки, оказалось, что библіотека для чтенія есть и держитъ ее учитель словесности Крестопоклонскій.

Камышлинцевъ отправился къ Крестопоклонскому. Библіотека открывалась только послѣ двухъ часовъ, когда учитель возвращался изъ гимназіи. Извощикъ подвезъ Камышлинцева къ каменному, купеческому дому, ворота котораго были по обыкновенію заперты. Войдя въ калитку, Камышлинвецъ направился къ небольшому деревянному флигелю, стоящему у правой стѣны двора. Наканунѣ былъ дождь и переходъ черезъ дворъ сопряженъ былъ съ нѣкоторою опасностью, потому что былъ возможенъ только по узенькимъ драницамъ, предусмотрительно положеннымъ до флигелька. На двери была дощечка съ написью «библіотека для чтенія», но надпись можно было прочесть, только подойдя къ ней вплоть. Камышлинцевъ очутился въ маленькой прихожей, исправлявшей какъ видно и другія должности, потому что въ углу была доска, на которой гладилась юбка; въ комнатѣ пахло щами и утюгомъ. Въ дверяхъ стоялъ трехлѣтній мальчикъ и ревѣлъ. Молоденькая женщина высунулась-было на приходъ Камышлинцева, но, увидавъ его, быстро исчезла и только какая-то невидимая рука немедленно схватила сзади плачущаго ребенка и мгновенно утащила его за дверь, гдѣ какимъ-то способомъ ребенокъ былъ тотчасъ приведенъ къ молчанію. Вышла другая, пожилая, растрепанная женщина, но не кухарка, а должно полагать мать или теща учителя, занимающаяся стряпней.

— Вамъ Василія Ивановича?—спросила она.

— Я въ библіотеку, на чтеніе желалъ бы подписаться,—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Пожалуйте вотъ сюда,—она указала на противоположную дверь.

Камышлинцевъ вошелъ въ небольшую комнату, уставленную шкапами и книгами. Два гимназиста читали: одинъ «Современникъ», другой «Искру» и курили. Вскорѣ въ сосѣдней комнатѣ послышался шорохъ и, надѣвая форменный сюртукъ, вошелъ учитель.

Это былъ небольшаго роста, черноволосый человѣкъ съ некрасивымъ, но добродушнымъ лицомъ и растрепанными волосами; лицо его поросло густой бородой, на которой, изъ уваженія къ форменности, была выбрита проталинка на подбородкѣ и тѣмъ превращала бороду въ бакенбарды; а такъ какъ усы не могли появиться даже подъ чужимъ именемъ, то имъ было сдѣлано одно облегченіе: они были не выбриты, но подстригались.

— Я бы желалъ пересмотрѣть и прочесть журналы за два послѣдніе года,—сказалъ Камышлинцевъ.—Могу ли я брать ихъ по нѣсколько книгъ разомъ.

— Можно-съ, отчего же! Только не послѣдніе нумера. Вамъ по-мѣсячно или на годъ угодно абонироваться?—Крестопоклонскій сказалъ условія.

Камышлинцевъ просилъ записать себя и назвалъ свою фамилію.

— Ахъ, слышалъ-съ! очень радъ познакомиться,—сказалъ Крестопоклонскій радостно, какъ будто узнавъ въ немъ «своего». Онъ протянулъ ему руку и сталъ развязнѣе.—Вы за границей изволили быть?

— Да, и поэтому хотѣлъ бы просмотрѣть то, что появлялось безъ меня, преимущественно по крестьянскому вопросу.

Крестопоклонскій выложилъ груду журналовъ, просилъ садиться, самъ сѣлъ и пока Камышлинцевъ выбиралъ книги, они разговорились:

— Хорошія статейки появлялись! Слава Богу! особенно вотъ здѣсь,—онъ щелкнулъ пальцемъ по одному журналу и сталъ шершавить себѣ волосы.—Нынѣче перестали,—продолжалъ онъ: — говорятъ, ихъ тово!—онъ ковырнулъ по столу ногтемъ, какъ будто убивалъ блоху.—Но все таки оживаетъ литература, оживаетъ! — говорилъ онъ снова и въ знакъ удовольствія опять началъ ерошить волосы. Камышлинцевъ понялъ тогда, отчего они у него такъ торчали.

— А въ обществѣ здѣшнемъ чувствуется ли оживленіе?—спросилъ Камышлинцевъ.

Крестопоклонскій нѣсколько замялся.

— Признаться вамъ сказать, я въ обществѣ мало бываю!—отвѣчалъ онъ.—Въ аристократическіе дома не вхожъ, да и Богъ съ ними, куда къ нимъ соваться: я какъ женился и перчатки пересталъ носить—не по карману. Въ клубѣ тоже не бываю. Слышалъ однако, что открыли здѣсь воскресную школу и бойко пошло, говорятъ.

— Ну, а читателей прибываетъ?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Изъ публики маловато-съ! Вотъ господа гимназисты начали больше почитывать, да изъ семинарпстовъ много желающихъ. Я имъ и цѣну сбавилъ, а здѣсь даромъ позволяю читать. Народъ бѣдный-съ! складываются, да абонируются. Пробужденіе! пробужденіе! Только тутъ другая бѣда: начальство воспрещаетъ имъ свѣтскія книги читать, особенно послѣ несчастнаго случая!

— Какого это?—спросилъ Камышлинцевъ; — я не слыхалъ.

— Философъ тутъ былъ одинъ — въ семинаріи то есть,—началъ Крестопоклонскій, — совсѣмъ на выпускѣ, отлично занимался и ко мнѣ часто ходилъ: придетъ, такъ не оторвешь отъ книгъ. Вздумалъ онъ выйти въ свѣтскіе: не могу, говоритъ,

я духоты этой выносить! Попробовалъ отцу сказать, тотъ говоритъ: прокляну! Начальство тоже не выпускаетъ: не дадимъ, говорятъ, ни бумагъ, ни аттестата, дѣлай какъ знаешь! Малый задумался. Думалъ, думалъ, бился, бился—видитъ ничего не подѣлаешь; взялъ да удавился.

У Камышлинцева мурашки пробѣжали по тѣлу.

Крестопоклонскій сильно взъерошилъ волоса.

— Такъ мнѣ жалко его! вѣрите ли, какъ брата,—продолжалъ онъ. — Слѣдствіе пошло и меня было притянули: вредныя, говорятъ, книги держишь. Осмотрѣли. Разумѣется, ничего не нашли. Какія онѣ вредныя, коль всѣ за спиъ благословеніемъ (онъ щелкнулъ по цензорскому одобренію). Несмотря на то, все таки были бы непріятности, еслибы добрые люди не защитили. Асклепендіатонъ, — тихо прибавилъ онъ, — можетъ быть вы знаете: правитель канцеляріи — свой мнѣ; мы съ нимъ на родныхъ сестрахъ женаты. Но семинарское-то начальство все таки уязвило меня: запретило семинаристамъ ходить ко мнѣ и стало у нихъ свѣтскія книги отбирать. У меня Бѣлинскаго и нѣсколько журналовъ разрозняли, чтобъ имъ пусто было! — сказалъ было сердито Крестопоклонскій, но потомъ вдругъ улыбка разлилась у него на все лицо:—однакожъ все таки ходятъ и берутъ!

Въ это время вошелъ еще гимназистъ. Онъ былъ довольно высокаго роста, видимо выросъ изъ потертаго форменнаго сюртука, у котораго нѣсколько петель было почти прорвано пуговицами. Увидавъ Камышлинцева, онъ немного сконфузился и подошелъ къ другимъ гимназистамъ.

— Что вы, Семеновъ?—спросилъ учитель.

— Да книжечки бы какой, Василій Ивановичъ!— говорилъ гимназистъ неустановившимся голосомъ, вертя фуражку.

— Да вы бы здѣсь почитали, поновѣе бы что можно.

— Некогда, Василій Ивановичъ, черезъ часъ на кондицію надо.

— Ну хорошо, хорошо! выберите да и запишите сами.

Ученикъ, какъ видно хорошо уже знакомый съ библіотекой, сталъ выбирать.

Почти въ это же время растворилась дверь и, шурша платьемъ, быстро вошла дѣвушка въ шляпкѣ, просто, но хорошо одѣтая.

— Я вамъ привезла ваши книги,—сказала она, подавая связку,—можно слѣдующихъ?

— Какъ же-съ! съ удовольствіемъ! — говорилъ Василій Ивановичъ съ любезной улыбкой и ероша волоса.—Я сейчасъ соберу-съ.

— Мнѣ теперь некогда, меня ждутъ,—сказала дѣвушка,—а вы потрудитесь приготовить, я зайду часа черезъ два.

— Очень хорошо-съ! приготовлю, приготовлю-съ! — любезно и неловко суетясь, говорилъ Крестопоклонскій.

— Пожалуйста! — дѣвушка поклонилась ему и хотѣла выйти, но увидала стоящаго сзади Камышлинцева.

— А! Дмитрій Петровичъ! — сказала она нѣсколько покраснѣвъ.—Это была Барсукова.

— Я давно васъ узналъ, да не хотѣлъ вамъ мѣшать,—улыбаясь, сказалъ Камышлинцевъ, здороваясь съ ней. — Давно ли вы здѣсь?

— Нѣтъ, сегодня только, съ отцомъ кой-зачѣмъ пріѣхала, и завтра же ѣдемъ!

— Что такъ не надолго? А у Ольги Ѳедоровны будете?

— Не знаю, — нерѣшительно отвѣчала Барсукова,—успѣю ли. Когда пріѣдешь на одинъ день, надо и туда и сюда. Вотъ и къ Василію Ивановичу едва успѣла, а ужь къ нему необходимѣе всего,—сказала она, обращаясь къ Крестопоклонскому съ улыбкой; — у него мои самые лучшіе знакомые.

— Ха! ха! ха! Дѣйствительно лучшіе-съ весело отвѣчалъ очень довольный Крестопоклонскій.

— Однако до свиданія. Меня ждутъ, — сказала Барсукова и наскоро простясь вышла.

— Барышня-то почитываетъ? — спросилъ Камышлинцевъ.

— И! какже-съ! Да еще не одни романы! Просила меня выбирать, нѣтъ ли чего дѣльнаго: въ деревню берутъ; такъ я ей «Отечественныя Записки» сороковыхъ годовъ—знаете, для начала это хорошо.

— Гм! это дѣло!—замѣтилъ Камышлинцевъ.— Я вотъ это возьму, если позволите, — прибавилъ онъ, указавъ отобранные журналы. — Однакожъ у васъ и дѣвицы абонируются.

— Семеновъ, запишите-ка эти книги господину Камышлинцеву,—сказалъ Крестопоклонскій гимназисту и, обратясь къ Камышлинцеву, прибавилъ:— да-съ и дѣвицы есть,—немного, признаться, однако есть. Вообще пробужденіе начинается, пробужденіе! Наступаетъ хорошее время; у насъ начались педагогическія собранія въ гимназіи, высказываемъ свои взгляды, толкуемъ. Только инспекторъ подлецъ, говорятъ, наушничаетъ и доноситъ попечителю, такъ что я было началъ этто развивать свои взгляды на воспитаніе, такъ мнѣ замѣтили, что «вы—говорятъ—того, не очень»! Да это вздоръ, не такое теперь время!

Камышлинцевъ хотѣлъ взять книги, но ихъ было довольно много и онъ затруднился.

— Позвольте, я вамъ ихъ завяжу, — сказалъ Крестопоклонскій и началъ ихъ завертывать.

— Ну, а высшіе-то классы?—спросилъ Камышлинцевъ, чтобы говорить что нибудь—абонируются много!

— Аристократія-то!—поправилъ Крестопоклонскій (надо замѣтить, что въ провинціи маленькіе чиновники очень любятъ называть высшій кругъ чиновниковъ этимъ именемъ), — аристократія-то? мало-съ! Развѣ задѣнутъ кого въ журналѣ или въ повѣсти опишутъ, такъ всполошатся. Этто въ «Искрѣ» скандалъ въ клубѣ описали, отличнѣй-

шимъ образомъ!—воскликнулъ Крестопоклонскій;—всѣмъ досталось и не въ бровь, а въ глазъ. Аргамакова Лошаковымъ назвали! право! Аристократы заметались какъ угорѣлые—просто смѣхъ! (Крестопоклонскій отъ души хохоталъ). Тамъ у меня и номеръ этотъ зачитали,—прибавилъ онъ.

— Что же, развѣ оскорбили ихъ демократической выходкой что-ли? да и кто здѣсь аристократія?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Помилуйте-съ! мало ли-съ! а предсѣдатели палатъ, да управляющіе разные. Видите ли, старшину одного, изъ ихъ партіи, хотѣли исключить, за дерзость въ клубѣ съ своимъ чиновникомъ, а они говорятъ: «подчиненнаго можно вездѣ распечь»,—ну и вышла каша, хотя, разумѣется, они своего отстояли. Въ Искрѣ все это и отпечатали, только фамиліи немного перековеркали. Отлично! Гласность! — говорилъ Крестопоклонскій, подавая книги и опять ероша себѣ волосы.

— Ну, я надѣюсь,—сказалъ, прощаясь Камышлинцевъ, что и ваша библіотека хорошо пойдетъ, а то предшественники ваши, помнится, были въ убыткѣ.

— Н-ну, на счетъ библіотеки,—смутясь, отвѣчалъ Крестопоклонскій, — еще плоховато-съ! Я, знаете, хотѣлъ поразвить дѣло, нѣсколько книгъ новенькихъ выписалъ—конечно немного: жалованье наше, знаете, плохое. Однакожъ сжался, удѣлилъ рублей сто, да за женой въ приданное тесть обѣщалъ, выплачивать по сту рублей пять лѣтъ, такъ ея сто рублей употребилъ, а какъ-то на это все вниманія мало обращаютъ, такъ что, признаться, убытокъ несу.—Крестопоклонскій какъ будто совѣстился въ этомъ сознаться и опечалился. — А впрочемъ, говорятъ, штаты новые скоро выйдутъ!—прибавилъ онъ и повеселѣлъ.

Камышлинцеву жаль было этого добраго тридцатилѣтняго юношу, и онъ его не разочаровывалъ на счетъ увеличенія жалованья, хотя ему и хотѣлось сказать, что этихъ новыхъ штатовъ учителя ждали еще въ то время, когда онъ, Камышлинцевъ, былъ въ гимназіи.

Онъ посовѣтовалъ ему больше дѣлать объявленій и отъ души пожелалъ успѣха.

XI.

Въ исходѣ декабря 60-года, губернаторъ города Велико-Ѳедорска былъ весьма затрудненъ одной полученной имъ бумагой. Министерство конфиденціально увѣдомляло его о предстоящемъ вскорѣ преобразованіи въ положеніи помѣщичьихъ крестьянъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, предлагало указать тѣхъ изъ помѣщиковъ, которымъ правительство могло бы предложить первое приведеніе въ дѣйствіе реформы и занятіе членовъ въ учреждаемой временной коммиссіи. Въ бумагѣ неоднократно обращалось вниманіе на всю важность этого выбора, отъ котораго зависитъ самый успѣхъ реформы и дѣлались самыя подробныя указанія на свойство лицъ, изъ которыхъ слѣдовало дѣлать выборъ. Не размѣръ имущества, говорилось въ ней, а единственно личный характеръ, твердость убѣжденій и знаніе сельскаго быта могутъ дать право на занятіе означенной должности. Правительство вправѣ ожидать отъ этихъ лицъ самаго живаго и искренняго сочувствія къ предпринятому дѣлу. Такое сочувствіе, говорилось далѣе, проявилось въ послѣдніе три года со стороны многихъ дворянъ, какъ въ средѣ губернскихъ комитетовъ, такъ и въ другихъ сферахъ общественной дѣятельности,—и ихъ-то предлагалось указать правительству.

Губернаторъ въ городѣ Велико-Ѳедорскѣ былъ тогда любитель садоводства. Извѣстно, что большею частью правители провинцій, по полученіи этой должности, становятся мономанами. Это какой-то общій законъ природы, и ошибочно было бы думать, чтобы онъ ограничивался только нашимъ отечествомъ. Префекты Франціи, губернаторы Индіи, муширы Турціи — всѣ въ одинакой степени подвержены этому административному недугу. Предметъ подобной маніи узнается съ перваго слова.

— Въ какомъ положеніи у васъ городскія больницы?—дѣлаетъ правитель первый вопросъ вглядывающемуся въ его глаза полиціймейстеру — и будьте увѣрены, что этотъ губернаторъ, несмотря на сотни разнообразнѣйшихъ дѣлъ, будетъ ежедневно посѣщать больницу и смотрѣть за ея вентиляціей, а мѣстныя вѣдомости въ первыхъ же нумерахъ опишутъ его заботы по этой части.

Другой губернаторъ спрашиваетъ:—А каковы у васъ тротуары! — и будьте увѣрены, что каждая дыра на деревянномъ тротуарѣ города будетъ больше сосредоточивать на себѣ вниманіе административныхъ лицъ, чѣмъ всѣ дыры и прорѣхи губернской администраціи, а мѣстная газета въ первыхъ же нумерахъ своихъ напишетъ: «Городъ нашъ, обильный тѣмъ-то и тѣмъ-то, страдалъ только отъ одного: въ немъ не было порядочныхъ тротуаровъ», и, описавъ подробно гибельныя послѣдствія и неудобства, отъ сего проистекающія, лѣтописецъ воскликнетъ: «но нынѣ, благодаря просвѣщенному вниманію новаго начальника, и проч. и проч.»

Губернаторъ города Велико-Ѳедорска, добрый и мирный старичекъ, былъ вообще идилликъ и имѣлъ пристрастіе къ садамъ. Любимой мечтой его было сдѣлать изъ ввѣренной ему губерніи одинъ цвѣтущій садъ. Вслѣдствіе этого, въ его управленіе, губернскій городъ и нѣкоторые уѣздные украсились по всѣмъ направленіямъ садиками и засаженными липою бульварами; всѣ исправники и становые явились аркадскими пастушками и великими цвѣтоводами: если же они по старой памяти и стригли свою паству, то дѣлали это самымъ ласковымъ образомъ, а губернскій монитеръ весьма часто украшался статьями такого рода:

«Извѣстно, что ничто такъ не способствуетъ улучшенію санитариаго состоянія города и его

украшенію, какъ разведеніе скверовъ, садовъ и бульваровъ, очищающихъ воздухъ и доставляющихъ пріятное мѣсто для прогулокъ и отдохновеній утомленныхъ дневными трудами жителей. Мысль эта какъ нельзя вѣрнѣе понята нынѣшнимъ начальникомъ губерніи и съ пріѣздомъ его превосходительства Петра Алексѣевича городъ нашъ украсился устройствомъ общественнаго сада и двухъ бульваровъ. Нынѣ, благодаря неусыпнымъ заботамъ той же благодѣтельной руки, и стараніями подрядчика по постройкѣ моста, почтеннаго купца Салотопкина, устроенъ вдоль Пентюхина оврага прекрасный бульваръ, и въ прошлое воскресенье, при стеченіи огромной массы публики и музыкѣ баталіоннаго оркестра, послѣдовало открытіе этого бульвара. Яркое солнце, озлащая своими лучами пеструю картину» и проч.

Замѣчательно, что при всѣхъ подобнаго рода торжествахъ наше русское, вообще ужасно скупое солнце, какъ-бы получая нарядъ отъ полиціи, считаетъ обязанностью выглянуть на полчаса и хоть самыми жиденькими и, такъ сказать, назначенными для казеннаго употребленія лучами, а ужь посвѣтитъ непремѣнно. Видно и на природѣ столько же отражается настроеніе жителей, насколько жители подчиняются вліянію природы.

Губернаторъ-садоводъ, получивъ бумагу столь необычнаго содержанія, весьма смутился.

— Прочтите-ка, какую я загвоздку получилъ!— сказалъ онъ, подавая бумагу своему правителю дѣлъ, Асклепендіатову.

Асклепендіатовъ, понявъ слово «загвоздка» совсѣмъ въ иномъ смыслѣ, тоже нѣсколько смущенно принялъ бумагу, но, прочитавъ ее, успокоился.

— Что же, ваше превосходительство, это, я полагаю, не затруднитъ васъ,— замѣтилъ правитель дѣлъ, а самъ уже смекалъ, какіе люди требуются и кто въ губерніи подходитъ подъ эти требованія.

— Гм!— замѣтилъ губернаторъ, — конечно! Въ члены по выбору дворянства затрудненія не будетъ. Мы назначимъ тѣхъ, что были въ комитетѣ,— но отъ правительства? «Не размѣръ имущества,— снова началъ губернаторъ,—а единственно личный характеръ, твердость убѣжденій» и вотъ тутъ опять: «люди вполнѣ самостоятельные», да гдѣ ихъ сыщешь, людей вполнѣ самостоятельныхъ, съ искреннимъ сочувствіемъ къ дѣлу! Вѣдь это значитъ съ дворянствомъ на ножи лѣзть! Кому охота впутываться въ подобное дѣло?

— Правительство указываетъ,—почтительно сказалъ Асклепендіатовъ,—что тутъ должны быть назначены люди, вполнѣ сочувствующіе эман-ци-паціи (слово это было тогда новое и еще не легко произносилось).

— Ну да, мой милый, сочувствующіе! Въ этомъ-то и штука! Многіе ли изъ помѣщиковъ сочувствуютъ этому дѣлу?—сказалъ губернаторъ,— кто же себѣ врагъ! Какіе-нибудь либералы развѣ, неопытная молодежь!

— Могутъ найтись и люди серьезные. Вотъ напримѣръ, Мытищевы,—замѣтилъ Асклепендіатовъ.

— Мытищевы! Одинъ старъ уже, а другой бы и хорошъ былъ, но вы знаете его исторію?—серьезно возразилъ генералъ.

— Чтожь, ваше превосходительство! онъ возстановленъ во всѣхъ правахъ и прошлое ему вмѣняться въ вину уже не можетъ!— сказалъ правитель, давно получившій привычку ставить на своемъ.

— Юридически такъ, милѣйшій, юридически такъ,—но нравственно? Ну, да, положимъ! А еще кто?

У жителей города Велико-Ѳедорска, вслѣдствіе извѣстныхъ отношеній, образовалась уже привычка при имени Мытищева сейчасъ же припоминать Камышлинцева, но Асклепендіатовъ, по своему плебейскому происхожденію, питалъ нѣкоторый зубъ противъ аристократіи,—какъ онъ называлъ всѣхъ зажиточныхъ дворянъ,—и сочувствовалъ тѣмъ изъ нихъ, которые не были пропитаны сословными предразсудками,—хотя, какъ чиновникъ, онъ былъ весьма любезенъ со всѣми. Очень естественно, что онъ прежде всего подумалъ теперь о Камышлинцевѣ и назвалъ его.

Губернаторъ привскочилъ.

— Помилуйте, милѣйшій! да Камышлинцевъ, говорятъ, другъ и пріятель Герцена,—онъ красный, красный! Какъ же это можно? онъ вчера еще былъ подозрительнымъ человѣкомъ, а сегодня будетъ представителемъ правительства! Что скажутъ въ Петербургѣ!

— Ваше превосходительство,— сказалъ скромно Асклепендіатовъ, — когда правительство приступаетъ къ такимъ либеральнымъ реформамъ, какъ эманципація, то оно будетъ и опираться на людей либеральныхъ и, мнѣ кажется, самая бумага на нихъ указываетъ. «Такое сочувствіе проявилось въ послѣдніе три года со стороны многихъ дворянъ, какъ въ средѣ губернскихъ комитетовъ, такъ *и въ другихъ сферахъ* общественной дѣятельности»— прочелъ онъ, и губернаторъ совсѣмъ растерялся.

— Ну, хорошо! хорошо! я объ этомъ подумаю,— рѣшилъ онъ и въ раздумьѣ пошелъ къ Матренѣ Гавриловнѣ.

Матрена Гавриловна была его такъ-называемая законная половина, хотя по всей справедливости слѣдовало бы наоборотъ мужу считаться ея половиной. Это была тучная, разбитная барыня, когда-то красивая собой и не очень строгихъ правилъ въ дѣлѣ супружеской вѣрности. Матрена Гавриловна вообще мало вмѣшивалась въ дѣла управленія, но если хотѣла чего, то заявляла это рѣшительно и мужъ ей по большей части уступалъ. Когда Петръ Алексѣичъ сообщилъ ей свои затрудненія и сомнѣнія, ей очень понравилась возможность привязать къ губернскому городу Мытищевыхъ и Камышлинцева. Мытищеву она очень любила, любила въ ней и ея склонность къ Камышлинцеву; нравился ей и красивый и во всѣхъ отношеніяхъ порядочный молодой человѣкъ—Камышлинцевъ; но больше всего она была довольна тѣмъ,

что пріобрѣтетъ очень хорошую пару для живыхъ картинъ и благородныхъ спектаклей, къ которымъ особенной склонности не чувствовала, но вынуждена была ими заниматься для доставленія средствъ лежавшимъ на ея попеченіи пріютамъ, къ которымъ чувствовала склонности еще менѣе. Притомъ и самъ губернаторъ, Петръ Алексѣичъ, по склонности къ хорошенькимъ женщинамъ, свойственной всѣмъ смертнымъ вообще, былъ очень радъ удержать въ городѣ Мытищеву, хотя за Камышлинцева вовсе не стоялъ. Матрена Гавриловна, какъ опытная женщина, замѣтила ему, что безъ Камышлинцева Мытищева не останется, и что лучше Камышлинцева ему для этого дѣла никого не съискать.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, представленіе Мытищева и Камышлинцева было рѣшено, хотя не безъ колебанія. Передъ самымъ подписомъ бумаги, у Петра Алексѣича, какъ говорится, рука дрогнула: онъ въ нерѣшимости положилъ перо и началъ въ смущеніи потирать лысину, обратившись къ Асклепендіатову:

— Однако, какъ же это? одинъ декабристъ, другой герценистъ? Что же скажутъ въ Петербургѣ? Милашкинъ непремѣнно донесетъ! Вѣдь, за это можетъ достаться.

Но Асклепендіатовъ успокоилъ его предложеніемъ изложить въ самой бумагѣ положеніе представленныхъ лицъ и свое о нихъ мнѣніе.

На томъ и порѣшили.

Къ удивленію Петра Алексѣича въ отвѣтъ на эту бумагу, Мытищевъ и Камышлинцевъ, получили приглашеніе въ члены губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія и оба съ удовольствіемъ приняли его.

XII.

Жизнь начала улыбаться Камышлинцеву и завѣтная мечта его объ общественной дѣятельности, участіи въ дѣлѣ по душѣ, хотя и въ скромныхъ размѣрахъ, но обѣщала осуществиться. Строже взглянулъ онъ на свое настоящее положеніе и остался не совсѣмъ доволенъ собой. Послѣднее время онъ, благодаря своимъ отношеніямъ къ хорошенькой женщинѣ и отсутствію всякихъ надеждъ на будущее, мало читалъ дѣльнаго. Онъ чувствовалъ, что становился свѣтскимъ пустокормомъ, но теперь вдругъ оживился: принялся за чтеніе, сталъ знакомиться со всѣмъ, что было писано по крестьянскому вопросу. Отношенія его къ самому Мытищеву, какъ будущему товарищу по занятіямъ, тоже стали измѣняться; бывая по обыкновенію каждый день у Мытищевыхъ онъ уже не искалъ случая отдѣлаться какъ нибудь отъ мужа, чтобы поговорить съ женой: теперь онъ чаще и одушевленнѣе говорилъ и спорилъ съ мужемъ о дѣлѣ, имъ общемъ и обоихъ живо интересующемъ. Они не всегда сходились въ частностяхъ, Камышлинцевъ ближе и горячѣе принималъ все къ сердцу, былъ рѣшительнѣе въ своихъ мнѣніяхъ, но онъ не могъ не отдать справедливости здравому и высоко честному взгляду Мытищева, онъ сталъ болѣе уважать его, и тайна его отношеній къ женѣ, мелкій и ежечасный обманъ, на который онъ былъ вынужденъ, — начинали сильно тяготить Камышлинцева. Долго онъ думалъ о томъ, какъ бы выйти изъ этого положенія, и рѣшился говорить съ Ольгой.

Однажды вечеромъ, когда Камышлинцевъ сидѣлъ у Мытищевыхъ, мужъ уѣхалъ къ кому-то на карточный вечеръ, и Ольга осталась наединѣ съ нимъ. Подобные случаи были не часты и влюбленные ими очень дорожили. Ольга, съ переѣздомъ въ городъ, казалось еще болѣе любила Камышлинцева. Къ чувству, которое она имѣла къ нему, примѣшивалось удовлетворенное самолюбіе. По уму, образованію и умѣнью держать себя, Камышлинцевъ былъ рѣшительно самымъ выдававшимся молодымъ человѣкомъ въ городѣ. Новая обязанность, которая довѣрялась ему въ дѣлѣ такой важности, какъ крестьянское, придавало ему особенное значеніе въ обществѣ, и хотя Ольга гораздо серьезнѣе относилась къ свѣтскимъ мелочамъ, нежели къ общественнымъ переворотамъ, но новое положеніе Камышлинцева не могло не льстить ей. Она была очень нѣжна къ Камышлинцеву. Они сидѣли на низенькой оттоманкѣ: обвивъ рукою голову Камышлинцева, Ольга играла его волосами и полудовольная, полунедовольная его занятіями и степенностью за послѣднее время, смѣясь, говорила, что у него непремѣнно должны были появиться сѣдые волосы.

Вдругъ около самой двери въ полуосвѣщенную гостиную послышался легкій скрипъ сапоговъ по ковру и, распахнувъ портьеру, вошелъ Мытищевъ.

Ольга едва успѣла отнять руку и отшатнуться отъ Камышлинцева, она вся поблѣднѣла и сердце замерло у нея.

Камышлинцевъ сидѣлъ смущенный.

— Я зашелъ сказать тебѣ, чтобы ты съ вечера приготовила письмо къ брату, а то завтра проспишь до обѣда и опоздаешь на почту. Я ему посылаю деньги, такъ надо отправить до 12 часовъ,— говорилъ мужъ.

— Ахъ, какъ ты напугалъ меня!—сказала Ольга, и по ея блѣдности и неровному дыханію видно было, что она дѣйствительно была сильно испугана.—Развѣ ты не уѣхалъ на вечеръ? Я думала? что нибудь случилось необыкновенное.

— Нѣтъ, дружокъ! Я въ прихожей получилъ письмо, по которому долженъ былъ сейчасъ отвѣчать, и писалъ въ кабинетѣ. Да я въ самомъ дѣлѣ перепугалъ тебя бѣдную?—говорилъ онъ, взявъ ея похолодѣлую руку.—Ну прости, дружокъ.

— Отчего же было не предупредить! И что мнѣ за экстренность писать? я могла бы отправить и отдѣльно,—отвѣчала Ольга, не успѣвъ еще совладать съ собою и невольно высказывая свою досаду.

— Я не зналъ, другъ мой, что ты такая нервная и что мужьямъ не слѣдъ входить нечаянно,—

шутя, сказалъ Мытищевъ.—Впередъ не буду! Ну до свиданья, другъ мой, успокойся.—Онъ нагнулся къ ней и поцаловалъ ея голову.

Ольгѣ стало совѣстно, а вмѣстѣ съ тѣмъ она испугалась, не замѣтилъ ли чего мужъ и не даетъ ли это понять ей. Она взяла его руку и, потрепавъ другой, сказала ласково:

— Ну, смотри же, не засиживайся! Ты знаешь, это вредно тебѣ.

— Хорошо! — отвѣчалъ мужъ и подалъ руку Камышлинцеву, который тоже всталъ и взялся за шляпу.

— А вы куда?—спросилъ Мытищевъ.

За минуту передъ тѣмъ у Камышлинцева не было и мысли объ отъѣздѣ, но ему показалось почему-то неловкимъ оставаться; кромѣ того онъ тоже боялся, не заподозрилъ ли ихъ отношеній Мытищевъ, и чтобы разубѣдить его, ему вдругъ пришла мысль уѣхать.

— Нужно домой,—отвѣчалъ онъ. — Дѣло есть.

— Ну полно-те! дѣло не медвѣдь, не уйдетъ. Посидите: Ольгѣ будетъ скучно! — сказалъ Мытищевъ.

— Да нужно бы,—сказалъ въ нерѣшительности Камышлинцевъ.

— Оставайтесь!—сказала Ольга,—успѣете еще дѣлами вашими заняться.

Камышлинцевъ положилъ шляпу, Мытищевъ кивнулъ имъ головой и вышелъ. Молча, прислушивались влюбленные къ его удалявшимся шагамъ, и только тогда, когда дверь въ прихожей захлопнулась и послышался скрипъ уѣзжающихъ саней, они переглянулись съ отдыхающей улыбкой отъ пронесшаго мимо удара.

— А что, еслибы?—подумали они оба.

Камышлинцевъ взялъ руку Ольги и, какъ бы благодаря и вмѣстѣ прося прощенья, жалъ и успокоительно гладилъ ее.

— Я еще не могу прійти въ себя, — говорила Ольга,—посмотри, какъ бьется сердце!

Она взяла руку Камышлинцева и приложила къ груди. Дѣйствительно, сердце билось у нея, какъ у пойманной голубки.

— Дорогая моя!—сказалъ Камышлинцевъ, цалуя ея руку.

Вскорѣ подъ его ласкающимъ взглядомъ Ольга успокоилась, румянецъ заигралъ въ лицѣ, и она точно цвѣтокъ, пригрѣтый солнцемъ, приподняла улыбающуюся головку.

Но по мѣрѣ того, какъ она успокоивалась, Камышлинцевъ сталъ разсѣяннѣе и смущеннѣе. Онъ что-то думалъ и не рѣшался сказать.

— Ты очень испугалась?—спросилъ онъ.

— Еще бы!—отвѣчала она.—Вѣдь вамъ мужчинамъ это шутки, а для насъ вопросъ счастья всей жизни!

Камышлинцевъ посмотрѣлъ нерѣшительно ей въ глаза.

— Послушай, Ольга, — началъ онъ вдругъ,—я глубоко счастливъ твоей любовью, но вѣдь наше положеніе не совсѣмъ завидное! Съ одной стороны, вѣчная боязнь быть открытымъ, съ другой... (онъ замялся), съ другой,—необходимость обманывать твоего мужа!.. Знаешь, онъ вѣдь честный старикъ, и мнѣ бываетъ совѣстно передъ нимъ!

— А мнѣ-то?—сказала Ольга.—Это мучитъ меня, и ты не знаешь, чего мнѣ это стоитъ!—Она вздохнула и затуманилась.

Они помолчали.

— Я часто думаю,—началъ опять Камышлинцевъ,—какъ-бы выйти изъ этого положенія, еслибъ это было возможно...

— Ты, можетъ быть, хочешь бросить меня, — сказала Мытищева, спокойно улыбаясь, и взглянула на Камышлинцева. Но взглянувъ самоувѣренно и сама смѣясь своему предположенію, она замѣтила смущеніе въ глазахъ Камышлинцева, и въ ея глазахъ тотчасъ засвѣтился безпокойный огонекъ.

Камышлинцевъ не отвѣчалъ на ея вопросъ, но только укорительно покачалъ головою.

— Такъ что же? — спросила Ольга уже болѣе серьезно.

— Мнѣ бы хотѣлось, чтобы ничто не мѣшало нашей любви, чтобы мы могли отдаваться ей, не боясь и не смущаясь,—замѣтилъ Камышлинцевъ:— разорвать бы все разомъ... Переѣзжай ко мнѣ!..

Ольга вопросительно посмотрѣла на Камышлинцева и печально покачала головой.

— Ты шутишь разрывомъ съ домомъ, семьей, знакомыми, свѣтомъ!.. Объ этомъ нечего и думать!—сказала она равнодушно, какъ говорятъ о предположеніяхъ, дѣлаемыхъ только для того, чтобы говорить о чемъ нибудь.

— Да! — подумавъ, сказалъ Камышлинцевъ. — Это дѣйствительно тяжело!.. но что, еслибы, не разрывая со всѣмъ и со всѣми, признаться только мужу? — тихо и нерѣшительно выговорилъ онъ, боясь впечатлѣній, которое произведутъ его слова, и пытливо взглянулъ на Ольгу.

Но впечатлѣнія никакого произведено не было: Мытищева приняла его слова за шутку. Она усмѣхнулась только и отвѣчала:

— Хорошо бы!

Камышлинцева это нѣсколько огорчило.

— Я говорю не шутя,—сказалъ онъ.—Вѣдь ты сама сознаешь непріятности нашего положенія и тебѣ тоже хотѣлось бы выйти изъ него?

— Такъ для этого все сказать мужу?—спросила она и такими недоумѣвающими глазами взглянула на Камышлинцева, какъ будто у ней зародилось сомнѣніе, не сошелъ ли онъ съ ума. Она не могла думать, чтобы Камышлинцевъ могъ говорить серьезно. Весь строй ея понятій, все, что ей случалось слышать и видѣть—все возстало противъ безумія подобной мысли. Увлечься, измѣнить мужу, обманывать его — да, это возможно: это грустно, но бываетъ необходимо. Мы видимъ сотни примѣровъ, свѣтъ это знаетъ и терпитъ, но, обманувъ, сказать объ этомъ самой, сказать именно тому, отъ

кого это всего болѣе скрывается, и выслушать этотъ совѣтъ отъ любовника... да это безуміе!

— Другъ мой!—сказалъ Камышлинцевъ,—пойми, что наше положеніе ложно, и ложно не потому, что мы любимъ другъ друга: чувствами не всегда можно владѣть,—а потому, что должны ежедневно скрытничать, унижаться до лжи и обмана, и еще передъ человѣкомъ, которому не можемъ отказать въ уваженіи. Ты сама говорила, что это тяготитъ тебя.

— Значитъ, ты хочешь разрыва?—сказала Мытищева вспыхнувъ.—Или ты хочешь огласки?

— Совсѣмъ нѣтъ,—попробовалъ было возразить Камышлинцевъ.

— Такъ какими же глазами я взгляну на мужа?—спросила, недоумѣвая, Мытищева.—И развѣ послѣ признанія возможно намъ оставаться такъ, какъ теперь?.. Нѣтъ! Ты меня не любишь! — рѣшила она. — Я пожертвовала ему всѣмъ, я обманула мужа, а онъ мнѣ предлагаетъ признаніе! Развѣ это не разрывъ! Развѣ это любовь!

И Ольга, закрывъ лицо руками, зарыдала.

Камышлинцевъ увидѣлъ, что сдѣлалъ глупость; онъ высказалъ свою мысль женщинѣ, которая, по своему воспитанію и понятіямъ, никакъ не могла усвоить ее. Ему стало жаль Ольги: виновата ли она, что все ея настоящее и прошлое развило въ ней совсѣмъ другой взглядъ,—что она могла остановиться или легко обойти камни, которые жизнь кладетъ намъ поперегъ дороги, но смѣло перейти черезъ нихъ или сбросить ихъ съ пути и очистить его было ей не подъ силу? Камышлинцевъ сталъ успокоивать Ольгу, увѣрялъ ее, что это было только пустое предположеніе; но когда женщина расплачется, она какъ будто плачетъ для собственнаго удовольствія, плачетъ для плаканія, и доводы, которыми ее успокоиваютъ, заставляютъ ее только еще болѣе плакать. Предложеніе Камышлинцева и испугъ который ему предшествовалъ, все это сильно потрясло нѣжные нервы Ольги. Она разрыдалась и съ ней сдѣлалась истерика. Камышлинцевъ перепугался не на шутку. Позвать людей онъ боялся, онъ самъ сходилъ за водой и насилу насилу успокоилъ Ольгу. Онъ просилъ у нея прощенія. Она кротко сказала ему, что не сердится, но что хочетъ отдохнуть и боится, чтобы мужъ не увидѣлъ ее столь разстроенной. Камышлинцевъ еще разъ попросилъ ее выбросить этотъ разговоръ изъ головы, не сердиться на него, и нѣжно простясь съ нею, уѣхалъ.

Уѣхалъ онъ самъ разстроенный и недовольный собою. Это была первая размолвка его съ Ольгой. И потомъ онъ чувствовалъ что-то нехорошее: ему было совѣстно и Мытищева и себя; онъ сознавалъ, что ложныя положенія, какими бы розами ни были прикрыты, всегда ложны и скверны. На Ольгу онъ не сердился. Онъ зналъ ее, зналъ, что она свѣтское, слабое, но милое и прелестное существо; ему было жаль ее, но обвинять ее онъ не могъ: нельзя требовать отъ женщины, выросшей какъ Ольга, болѣе того, что она можетъ дать. Да притомъ онъ дѣйствительно любилъ ее.

XIII.

Февраль былъ въ исходѣ. Однажды, въ сумерки, къ Камышлинцеву явился мелкій полицейскій чиновникъ и, оглянувшись, не подслушиваетъ ли его кто, таинственно передалъ ему приглашеніе губернатора немедленно пожаловать къ нему. Несмотря на то, что наши полицейскіе чиновники испоконъ вѣка усвоили себѣ таинственно-пугающій видъ, такъ что при одномъ ихъ появленіи въ квартиру ожидаешь услышать что нибудь весьма непріятное, — чиновникъ на сей разъ былъ еще таинственнѣе—точно онъ обладалъ государственной тайной. Но вмѣстѣ съ тѣмъ видно было, что ему смерть хотѣлось что-то такое разсказать.

— Что случилось?—спросилъ Камышлинцевъ.

Чиновникъ еще оглянулся и сказалъ тѣмъ невнятнымъ и беззвучнымъ голосомъ, которымъ говорили прежде съ писарями и канцелярскими чиновниками, когда имъ въ самой же канцеляріи давали взятку:

— Флигель-адъютантъ изъ Петербурга пріѣхалъ.

— Зачѣмъ? — спросилъ задѣтый за живое Камышлинцевъ.

Чиновникъ оглядѣлся.

— Не могу знать-съ; но кажется насчетъ крестьянскаго дѣла.

— Давно?

— Нѣтъ-съ; съ полчаса-съ! Его превосходительство послали меня тотчасъ просить къ нему губернскаго предводителя и еще нѣкоторыхъ лицъ по запискѣ. Былъ у Ивана Сергѣича Мытищева, къ вамъ, а потомъ, — и онъ назвалъ нѣсколько лицъ, будущихъ членовъ губернскаго присутствія.

— Сейчасъ буду,—сказалъ Камышлинцевъ.

— Счастливо оставаться-съ! — Чиновникъ развязно шаркнулъ ногой и, выйдя на крыльцо, водрузился верхомъ на привязанную къ столбу пожарную лошадь и поскакалъ той необыкновенной припрыжкой, которую изобрѣли разбитыя на всѣ ноги лошади полицейскихъ вѣстовыхъ, министерскихъ курьеровъ и придворныхъ лакеевъ.

Камышлинцевъ нашелъ губернатора въ кабинетѣ. Наклонясь надъ чемоданомъ, онъ собственноручно вынималъ брошированныя тетради «Положенія 19 Февраля» и передавалъ ихъ Асклепендіатову, хотя, кромѣ правителя дѣлъ, тутъ было еще нѣсколько чиновниковъ, готовыхъ по первому знаку, въ одинъ мигъ опростать и выворотить весь чемоданъ. Кромѣ чиновниковъ, на эту операцію смотрѣли предсѣдатели палатъ казенной и государственныхъ имуществъ, нѣсколько членовъ будущаго губернскаго присутствія и губернскій предводитель, господинъ высокій, представительный и не терявшій собственнаго достоинства даже тогда, когда просилъ денегъ взаймы. Въ сторонѣ за столомъ сидѣлъ флигель-адъютантъ, молодой

и красивый человѣкъ. Несмотря на то, что онъ пріѣхалъ къ губернатору прямо съ дороги, послѣ необыкновенно скораго переѣзда въ нѣсколько тысячъ верстъ, онъ какими-то судьбами ухитрился явиться въ просторномъ, но свѣжемъ и непомятомъ сюртукѣ, чистыхъ аксельбантахъ, причесанный, приличный, какъ бы сейчасъ вышедшій изъ дому. Только по разогрѣвшемуся, красивому лицу и покраснѣвшимъ глазамъ видны были слѣды дороги; онъ сидѣлъ какъ-то свободно-почтительно и вѣжливо, курилъ папиросу и прихлебывалъ чай, которымъ поспѣшила угостить его Матрена Гавриловна. При входѣ Камышлинцева идеалистъ-губернаторъ, разогнувъ спину и подавая одну руку Камышлинцеву, другой вручилъ ему (именно вручилъ, а не подалъ) экземпляръ Положенія. Потомъ обратился къ флигель-адъютанту и сказалъ:

— Членъ по приглашенію правительства, Дмитрій Петровичъ Камышлинцевъ. — Обращаясь затѣмъ къ Камышлинцеву назвалъ ему графа Гогенфельда.

Камышлинцевъ и флигель-адъютантъ раскланялись.

Вскорѣ, когда собрались и остальные приглашенные, а губернаторъ собственноручно вынулъ изъ чемодана всѣ экземпляры Положенія, начались разсужденія о мѣрахъ къ его обнародованію. При этомъ нѣкоторыми членами было высказано мнѣніе, что благоразумнѣе было бы объявлять новую мѣру постепенно, дабы одновременное и повсемѣстное провозглашеніе не произвело всеобщаго волненія, которое трудно будетъ прекратить. Однакоже это предусмотрительное предложеніе не было принято, и рѣшено было опубликовать манифестъ черезъ земскую полицію и нѣсколькихъ чиновниковъ, нарочно для сего назначенныхъ. Но кромѣ этого рѣшенія, на которое впрочемъ даны были инструкціи изъ Петербурга, толковали долго и хлопотали много о разныхъ мелочахъ—такъ долго, что усталый флигель-адъютантъ, попросилъ позволенія удалиться. Главныя замѣчанія присутствующихъ состояли въ восклицаніяхъ въ родѣ: «Мм-Да! Надо держать ухо востро!» А хлопоты заключались въ приложеніи печатей къ конвертамъ и связываніи веревочками экземпляровъ, назначаемыхъ къ отсылкѣ, что гораздо лучше и проворнѣе могло бы быть сдѣлано и не столь значительными лицами. Но самая горячая работа шла въ канцеляріи, гдѣ подъ надзоромъ Асклепендіатова писались десятки предписаній, заготовлялись подорожныя и проч. Присутствующіе разошлись около полуночи съ тѣми же восклицаніями: «Мм-Да! Надо держать ухо востро!» и съ убѣжденіемъ, что всѣ много поработали для успѣха дѣла и общественнаго спокойствія.

Несмотря на тайну, которую старались хранить всѣ власти, разсказывая каждый полученную новость не иначе какъ по секрету и скрывая ее въ особенности отъ прислуги, хотя очень хорошо знали, что завтра эту вѣсть огласятъ при звонѣ колоколовъ, — не смотря на всѣ эти мѣры благоразумія и предосторожности, вѣсть о томъ, что привезена «воля», разлилась какъ вода и многіе мнительные люди уснули — если только спали въ эту ночь они—весьма тревожно, ожидая на-завтра чего-то въ родѣ представленія свѣта.

Наступило и это завтра, и, къ общему удивленію, оказалось такъ, какъ будто бы ничего въ немъ особаго и не предстояло. День былъ пасмурный, теплый, шла изморозь и разъѣдала начинающій уже темнѣть снѣгъ. Весной еще не пахло, но она видимо была близка. Люди, имѣющіе крѣпостную прислугу, умываясь вглядывались ей въ лицо и мнили видѣть на немъ нѣчто коварное. Прислуга, напротивъ, старалась не глядѣть господамъ въ глаза. Она тоже думала, но съ гораздо большею чѣмъ господа основательностью, что, во избѣжаніе знакомства съ услужливѣйшимъ и милѣйшимъ человѣкомъ и душою общества, мѣстнымъ полиціймейстеромъ, «надо держать ухо востро»,—и только развѣ какая-нибудь нервная горничная, не выдержавъ распечки встревоженной барыни, фыркнетъ, хлопнетъ дверью и уйдетъ въ сѣни или кухню излить свои чувства передъ собратьями.

Камышлинцевъ отправился въ соборъ, но не вынесъ оттуда никакого особеннаго впечатлѣнія: манифестъ слышали только чиновники и немногіе помѣщики, стоявшіе впереди. Масса, которой онъ особенно близко касался, стояла назади, понимала урывками и смутно, такъ что казалась только озадаченной. Камышлинцевъ вернулся домой, надѣлъ старое пальто и пошелъ на базарную площадь. День былъ торговый, но за распутьемъ народу было немного. Нѣсколько возовъ сѣна и дровъ, привезенные подгородными крестьянами, стояли въ сторонѣ и около нихъ собрались кучки. Камышлинцевъ подошелъ къ нимъ, спросилъ о цѣнѣ, поторговался и затѣмъ, какъ бы мимоходомъ, заговорилъ:

— Ну что, ребята, слышали про волю?

— Читали, баютъ, въ соборѣ,—отвѣчали нѣкоторые вяло.

— Ну что же?

— Да что! мы и не знаемъ хорошенько: разно говорятъ!—отвѣчали они.

Ясно было, что недоумѣніе крестьянъ происходило отъ непониманія. Камышлинцевъ какъ ни старался сдерживать себя, но былъ въ возбужденномъ и радостномъ состояніи: ему страшно хотѣлось разъяснить всю благодѣтельность и громадность настоящаго событія; онъ едва удержался, чтобы при этомъ, изъ ряда выходящемъ, случаѣ не поддаться свойственной добрымъ помѣщикамъ и начальникамъ слабости поблагодушествовать, т. е. разсказать этимъ добрымъ невѣждамъ, какъ нѣкоторыя вещи хорошо идутъ на свѣтѣ и какъ все совершенствуется; но одинъ растрепанный и плюгавый мужичишка въ рваномъ кафтанѣ перевернулъ всѣ его стремленія.

— Теперича, говорятъ, все по старому на два

года!—сказалъ онъ горячо:—да въ эти два-то года онъ у меня кровь выпьетъ!

Камышлинцевъ былъ нѣсколько озадаченъ.

— Не бойся! сдѣлать этого нельзя будетъ: теперь этого не позволятъ — успокоительно замѣтилъ онъ.

— Да кто не позволитъ? ты что ли? — запальчиво сказалъ мужикъ и шапка на немъ съѣхала какъ-то назадъ, а изъ-подъ нея прямыми клочьями высунулись и заторчали, казалось отъ роду не чесанные, волосы.

— Много васъ этакихъ!.. Держи шире карманъ-то!—добавилъ онъ и повернулся къ своимъ дровнямъ.

— Ну! ну! полно! чего врешь!—заговорили другіе мужики, и потомъ, обратясь къ Камышлинцеву, прибавили:

— Это онъ такъ!.. онъ всегда такой зряшный! Языкъ-то вѣдь безъ костей! — заговорили они въ нѣсколько голосовъ, окруживъ Камышлинцева и видимо стараясь его задобрить.

Пока они говорили, мужикъ сѣлъ на свои дровни, задергалъ замоpенную и лохматую кляченку и, влѣпивъ ей концами возжей нѣсколько ударовъ, поскакалъ, ныряя по ухабамъ площади.

— А вамъ, ваше благородье, сѣнца-то потребно будетъ?—спросили крестьяне.

— Да, нужно. А видно у него баринъ-то не изъ ласковыхъ,—замѣтилъ Камышлинцевъ.

— Какой у него баринъ!.. и бариномъ-то назвать нельзя,—говорили крестьяне, какъ бы успокоивая его благородіе. — Въ одной избѣ съ ними живетъ и ѣстъ у нихъ.

У Камышлинцева пропала охота благодушествовать, онъ велѣлъ свезти къ себѣ воза два сѣна, зашелъ домой, переодѣлся и поѣхалъ посмотрѣть на знакомыхъ.

Знакомые всѣ, сочувствующіе и не сочувствующіе дѣлу, были какъ будто ошеломлены и чего-то ждали, хотя ничего не было. Сужденія, особенно между мужчинами, были сдержанныя, но слабый и прекрасный полъ, съ котораго, какъ извѣстно, «взять нечего», оказался откровеннѣе и выражалъ свое сочувствіе угнетеннымъ (угнетенными въ его глазахъ были помѣщики) гораздо явственнѣе. Одна изъ нихъ, жена небогатаго помѣщика, съ проборомъ на боку и въ какомъ-то залихватски сидящемъ на головѣ чепцѣ, по прозванью m-me Пентюхина, разъѣзжала по всѣмъ знакомымъ и задыхаясь разсказывала: «имажинэву, Палашка не ве па ме салюэ!»

И дамы, встрѣчая знакомыхъ, таинственно говорили: «слышали вы, что съ Маргаритой Васильевной? Палашка не ве па ля салюэ!»

Камышлинцевъ и еще два-три молодые человѣка обѣдали у Мытищевыхъ. Въ концѣ обѣда подали шампанское и Мытищевъ, высокій, съ серебристой сѣдиной, всталъ и дрожащимъ отъ волненія голосомъ провозгласилъ тостъ за виновника дарованной реформы и ея счастливое выполненіе,— на глазахъ у него навертывались слезы, все его правильное и благородное лицо дышало воодушевленіемъ. Камышлинцевъ и всѣ остальные восторженно приняли тостъ и съ дружнымъ ура сдвинули бокалы. Хозяинъ обратился къ Камышлинцеву:

— Дмитрій Петровичъ! Будемъ содѣйствовать великому дѣлу! Будемъ защищать слабаго, дружно и нераздѣльно! Вы молоды, вы сильнѣе и энергичнѣе меня, но я отъ васъ не отстану.—Онъ ему протянулъ руку и крѣпко пожалъ ее. Камышлинцевъ отвѣчалъ ему тѣмъ же искреннимъ пожатіемъ, но весь вспыхнулъ и смутился. Мытищевъ приписалъ это тому одушевленію и настроенію, въ которомъ самъ находился. Послѣ обѣда Камышлинцевъ, противъ обыкновенія, не остался и тотчасъ уѣхалъ.

Наступили сумерки, экипажи сновали по улицамъ, народъ бродилъ, но толковалъ тихо и сдержанно. Извѣстно, что въ этотъ день выпито было въ кабакахъ вина вдвое менѣе обыкновеннаго. Видно ужь Руси на роду написано, чтобы самыя великія событія входили въ ея жизнь безъ шума и фразы, какъ-то за-просто.

XIV.

Началось приведеніе въ исполненіе громаднаго преобразованія; необходимо начались и недоразумѣнія, споры и жалобы. Объявлено было, что желающіе получать какое-либо разъясненіе, могутъ обращаться въ уѣздахъ—къ предводителямъ дворянства, а въ губернскомъ городѣ — къ членамъ присутствія по крестьянскимъ дѣламъ. И вотъ несмѣлые, недовѣрчивые крестьяне стали кучками или черезъ ходоковъ, а болѣе бойкіе, дворовые, въ-одиночку похаживать къ членамъ присутствія.

Открылись два раза въ недѣлю засѣданія для разъясненія Положенія. Многіе члены, боясь безпорядковъ, направляли всѣ свои соображенія и предлагали мѣры лишь къ тому, чтобы освобождаемые не слишкомъ возчувствовали перемѣну. Камышлинцевъ, какъ человѣкъ молодой и живѣе все принимающій къ сердцу, подавалъ нѣсколько заявленій, входилъ съ отдѣльными мнѣніями, находилъ справедливымъ настаивать, напротивъ, на томъ, чтобы освобождаемые тотчасъ же почувствовали облегченіе. Мытищевъ всегда поддерживалъ его, и всякое слово, при томъ напряженіи, въ которомъ находилось общество, при томъ глубокомъ слѣдѣ, которымъ врѣзывалась реформа въ земскую жизнь, — толковалось, перетолковывалось и часто преувеличенное и искаженное расходилось повсюду. Вслѣдствіе этого Камышлинцевъ былъ вскорѣ объявленъ въ помѣщичьемъ кругу демагогомъ и главнымъ зачинщикомъ всѣхъ стѣснительныхъ для помѣщиковъ мѣръ. Можетъ быть вслѣдствіе этого слуха, но вѣроятнѣе вслѣдствіе всегда одинаково внимательнаго, терпѣливаго обращенія и снисходительности къ тугому пониманію приходящихъ,—

на квартиру Камышлинцева все чаще и больше тянулось разныхъ зипуновъ, армяковъ и засаленныхъ сюртуковъ; между низшими слоями утвердилось убѣжденіе, что «Камышлинцевъ, Митрій Петровичъ, за насъ!»

Всѣ великія преобразованія, помимо своего прямаго дѣйствія на жизнь общества, имѣютъ громадное вліяніе на общественную нравственность. Они какъ-бы несутъ вмѣстѣ съ собою особенную, имъ свойственную, атмосферу, которая мгновенно разливается повсюду и точно также мгновенно, смотря по направленію реформы, повышаетъ или понижаетъ весь строй общественнаго мнѣнія, общественной мысли. И потому дважды плодотворны всѣ мѣры, освобождающія жизнь отъ разныхъ путъ и стѣсненій, раздвигающія, такъ сказать, область жизни, дающія ей просторъ и всѣмъ отъ мала до велика большую возможность вкусить крупицу ея благодати! Словно подъ живительнымъ лучомъ солнца поднимаются всѣ понурыя, придавленныя къ землѣ, еле-дышащія головы, съ радостью глядятъ они на открывшуюся и для нихъ частичку неба, дышатъ долетѣвшей и до ихъ изнуренной и впалой груди струей живительнаго, благотворнаго воздуха. Встаютъ и являются люди, дотолѣ тайкомъ и въ тиши работавшіе и мощно готовые приняться, съ свѣтлой головой и свободными мышцами, за трудъ на общее благо.

За то дважды же гибельны всѣ гнетущія, стѣсняющія жизнь и принижающія человѣка мѣры! Поникаетъ подъ ними голова, придавляются силы и нѣмѣютъ въ бездѣйствіи мышцы. И встаютъ подъ ихъ тлетворнымъ дыханіемъ всѣ гады, отравляющіе жизнь и питающіеся чужой кровью, и замираетъ въ стѣсненной груди всякая честная мысль, всякое прямое и откровенное слово!

— А признайтесь, Берендѣевъ, берете вы взятки?—спрашивалъ въ то время одинъ нецеремонный помѣщикъ Самокатовъ, встрѣтясь съ молодымъ и еще не закалившимся въ чернилахъ чиновникомъ.

— Что же? бралъ, дѣйствительно бралъ, потому что это и зазоромъ не считали, а теперь не возьму: несовременно!—отвѣчаетъ онъ. И дѣйствительно Берендѣевъ пересталъ брать, хотя освобожденіе крестьянъ до чиновниковъ повидимому ни сколько не относилось. И не одинъ на Руси такой Берендѣевъ чуялъ еще не засореннымъ чутьемъ своимъ иное время и отрезвлялся. Значитъ, была въ благодатной реформѣ, помимо ея прямаго дѣйствія, иная благодатная, очищающая и освѣжающая струя!

По мѣрѣ того, какъ Камышлинцевъ входилъ въ дѣло, ближе вглядывался въ жизнь и строже относился къ ея требованіямъ, онъ сталъ строже вглядываться и въ себя. По мѣрѣ того какъ осужденіе, недоброжелательство и негодованіе росло противъ него, онъ чувствовалъ потребность выше и неуязвимѣе держать себя: онъ росъ и зрѣлъ вмѣстѣ съ дѣятельностью, и таково вліяніе всякаго честнаго и благаго дѣла на тѣхъ, кто его дѣлаетъ. Отношенія Камышлинцева къ Мытищеву не только безпокоили но стали уже мучить его, и любовь, въ которой онъ думалъ черпать наслажденіе и силы была отравлена; сто разъ думалъ онъ выйти изъ своего двусмысленнаго положенія откровеннымъ объясненіемъ съ мужемъ, и сдѣлалъ бы это непремѣнно, еслибъ могъ обвинить только самого себя. Но какъ могъ онъ предать слабую и любящую его женщину, отдавшую ему свои чувства, но не имѣющую силы отдать общественной огласкѣ свое имя—пожертвовать своимъ положеніемъ. Не значило ли это брать—пользуясь своими правами—болѣе, нежели могла и желала отдать эта милая, но слабая женщина? Отказаться отъ нея? Но почему? за что жертвовать счастьемъ двухъ молодыхъ, полныхъ силъ существъ въ пользу одного уже отживающаго? чѣмъ я и Ольга хуже и менѣе достойны счастья нежели онъ?—спрашивалъ себя Камышлинцевъ. «Долгъ»? Но развѣ жизнь должна подчиняться долгу, а не наоборотъ? думалъ онъ. «Нѣтъ! правильно понятый, не выдуманный долгъ долженъ служить жизни, а не жизнь ему! да я и долгомъ не обязанъ! Одно дурно и мучитъ меня: лжи не должно быть, не должно быть скрытности и обмана: — но какъ выйти изъ нихъ, разъ имъ поддавшись»?

И изъ всѣхъ этихъ перекрещивающихся и сталкивающихся вопросовъ Камышлинцевъ не находилъ выхода. Онъ испытывалъ вполнѣ логичную послѣдовательность ложнаго положенія и чѣмъ далѣе шелъ, тѣмъ труднѣе становился выходъ.

Между тѣмъ говоръ про Камышлинцева росъ, и по мѣрѣ того какъ съ одной стороны увеличивалась брань, съ другой усиливалось довѣріе. Помимо утвердившагося въ освобождаемомъ классѣ мнѣнія, что «Митрій Петровичъ за насъ», крестьяне особенно полюбили его за его умѣнье говорить съ ними. Умѣнье это далось какъ-то само собою Камышлинцеву, онъ не поддѣлывался подъ крестьянскій языкъ и понятія, не заигрывалъ и не благодушествовалъ съ крестьянами, но имѣлъ терпѣніе выслушивать ихъ до конца, да выспросить и узнать корень и суть дѣла — что, при запутанности понятій, тугомъ пониманіи и привычкѣ къ скрытности и окольнымъ путямъ, составляетъ вещь, какъ извѣстно, весьма не легкую. «Онъ тебя, братецъ ты мой, до самаго нутра выспроситъ», говорили крестьяне; «ино напутаешь, либо не домекнешь,—такъ доберется до всего, и хоть бы тѣ дурака или какое сердитое слово—и ни-ни»!

И многіе крестьяне, не привыкшіе къ такому обращенію и обрадованные успокоительнымъ совѣтомъ, не разъ крестились, выходя отъ него, что не мѣшало нѣкоторымъ изъ ихъ ходоковъ, возвратясь къ себѣ, передавать міру полученный совѣтъ совсѣмъ навыворотъ и такимъ какъ имъ хотѣлось, а не такимъ какъ имъ было сказано,—вещь, которой пользовались враги Камышлинцева и доказывали, что онъ нарочно даетъ крестьянамъ возмущающіе совѣты.

XV.

Разъ поздно вечеромъ Камышлинцеву доложилъ слуга, что его спрашиваетъ просительница. Камышлинцевъ велѣлъ позвать ее, и вскорѣ вошла хорошенькая, свѣжая, съ вздернутымъ носикомъ дѣвушка, въ платкѣ, накинутомъ на голову, и въ истертомъ ваточномъ салопѣ.

— Что вамъ?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Такъ и такъ, Митрій Петровичъ, наслышавшись о васъ, пришла къ вамъ съ просьбой: не оставьте,—и дѣвушка проворно хлопнулась въ ноги.

— Пожалуйста не кланяйтесь, — нетерпѣливо сказалъ Камышлинцевъ, поднимая ее.—Разскажите, въ чемъ дѣло.

— Отъ барыни, Митрій Петровичъ, житья нѣтъ!—начала дѣвушка и немедленно стала всхлипывать.—Жила я у нихъ съ-измальства, и были они строги и даже на руку дерзки, да все втерпежь; а нынѣче, послѣ этой слободы, житья нѣтъ: поѣдомъ ѣдятъ! Что ты ни сдѣлаешь, все имъ кажется не такъ, все мнительность у нихъ: «А—говоритъ—ты думаешь, что ты вольная, такъ и дѣлать не хочешь! Вотъ я — говоритъ — тебя въ полицію»! А чего вольная: теперича, вотъ, какъ передъ Богомъ, такъ себя строго соблюдаешь, что даже пуще прежняго.

— Чьи вы?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Маргариты Васильевны Пентюхиной,—отвѣчала она.

— Васъ не Палагеей ли зовутъ?—улыбаясь сказалъ Камышлинцевъ.

— Точно такъ-съ!—отвѣчала горничная, удивленно посмотрѣвъ на Камышлинцева.—Развѣ вамъ извѣстно про меня?—спросила она смущенно.

— Барыня жалуется, что вы ей не кланяетесь,—сказалъ Камышлинцевъ, узнавъ, что это та самая Палашка, которая «не ве па салюэ»;—но я долженъ вамъ сказать, продолжалъ онъ, что до меня разборъ вашихъ дѣлъ не относится. Я могу только сказать вамъ, что если вы будете подвергаться какимъ-либо несправедливостямъ, притѣсненіямъ или обидамъ, то можете обратиться съ жалобой къ предводителю.

Дѣвушка опечалилась.

— Какой же мнѣ теперича, Митрій Петровичъ, найти у производителя на нихъ судъ, когда они не только что знакомы, а родня имъ приходятся? А что до того, что я имъ не кланялась, да могу ли я, Митрій Петровичъ, госпожѣ своей почтенье не отдать?—Это напраслина! Долго ли напраслину на нашего брата взвести!—и горничная снова начала всхлипывать и утирать глаза.

— Если будете недовольны рѣшеніемъ предводителя, можете жаловаться въ губернское присутствіе,—сказалъ Камышлинцевъ. А лучше бы вамъ, если можно, разойтись съ барыней: попросились бы на оброкъ или выкупъ предложите, если можете.

— Какой у насъ выкупъ, Митрій Петровичъ, да и барыня не возьметъ его, а на оброкъ просилась я, да не отпускаетъ. Да и точно что отпускать имъ меня нельзя, такъ какъ я у нихъ на все одна и опять же мастерству обучена. «Ты—говоритъ—мнѣ полтораста рублей стоишь, такъ мнѣ тебя за двадцать отпустить не приходится».

— Что же я могу вамъ сдѣлать,—сказалъ Камышлинцевъ.—Я могу только разъяснять Положеніе, а остальное не въ моей власти.

Сдѣлайте божескую милость, Митрій Петровичъ, на васъ только и надежда: защитите, — сказала горничная, снова заплакавъ (при разъясненіяхъ она тотчасъ переставала плакать, а какъ только начинала просить, такъ и слезы немедленно появлялись), и хотѣла снова поклониться въ ноги Камышлинцеву, но онъ успѣлъ остановить ее.

— Поймите, что я радъ бы помочь вамъ, да не могу: не въ моей это власти, — говорилъ Камышлинцевъ.—Если не можете разойтись, то постарайтесь угодить и ладить: что дѣлать! долго жили, а два года потерпите!

Камышлинцевъ самъ чувствовалъ всю пустоту своего утѣшенія, но ничего лучшаго сдѣлать не могъ.

Горничная плакала и молчала.

— Такъ ничего нельзя?—тихо сказала она.

— Ничего больше; я вамъ все сказалъ! Она потупилась, помолчала, повертѣла коймы платка и потомъ, вздохнувъ, поклонилась и хотѣла выйти.

— Постойте,—сказалъ Камышлинцевъ, припомня что-то.—Нѣтъ ли у васъ жениха?

Дѣвушка смутилась.

— Это, можетъ быть, вы изволили слышать отъ барыни что нибудь на счетъ нашего лакея Финогена, такъ это все напраслина Митрій Петровичъ! И самъ онъ по насердкамъ это на меня выдумываетъ! Я вамъ, Митрій Петровичъ, всю правду скажу, такъ какъ дѣйствительно есть точно, одинъ мѣщанинъ, въ приказчикахъ въ лавкѣ служитъ... Но онъ имѣетъ благородныя намѣренія. Когда, говоритъ, ты освободишься, я жениться на тебѣ готовъ.

— Ну, вотъ и прекрасно! не хочетъ ли онъ теперь жениться на васъ? Если вы захотите за него выйти, то вамъ барыня препятствовать не можетъ.

Горничная вся вспыхнула.

— Какъ же, а выкупъ?—спросила она.

— И выкупу не имѣетъ права требовать!

Дѣвушка какъ будто не вѣрила.

— Такъ какъ же-съ? отъ кого же дозволенье должна я получить?—спросила она.

— Да ни отъ кого,—вы вѣдь совершеннолѣтняя?

— Совершеннолѣтняя-съ.

— А родители есть?

— Есть, мать старушка въ деревнѣ, да она что! она съ радостью.

— Ну, такъ ничьего разрѣшенія больше не нужно. Новое Положеніе даетъ право выходить замужъ безъ разрѣшенія помѣщиковъ.

Дѣвушка вся разгорѣлась, и глаза у нея весело заблистали.

— Вы, Митрій Петровичъ, мнѣ жизнь дасте!—

тихо сказала она, и на этотъ разъ не заплакала, а замигала глазами.

— Я ничего не дѣлаю, я только разъяснилъ вамъ данное Царемъ Положеніе,—сказалъ онъ,— и благодарить вамъ слѣдуетъ того, кто далъ его... Очень радъ, если все устроится!

— А если, теперича, препятствіе отъ кого-нибудь встрѣтится?—сказала она.

— Тогда придите—посовѣтую. Но препятствія не будетъ... если только женихъ согласенъ, — замѣтилъ Камышлинцевъ.

— Онъ-то?—вздернувъ носикъ и самоувѣренно улыбнувшись, спросила горничная:—помилуйте! Да онъ теперича долженъ себѣ за счастье почитать, если я соглашаюсь! — нѣсколько обидѣвшись рѣшила она.

— Ну, такъ и съ Богомъ!—сказалъ Камышлинцевъ.—Желаю счастья!

Она улыбнулась, поклонилась и вышла.

А Камышлинцевъ остался весьма доволенъ, что успѣлъ приложить къ дѣлу мѣру, которую только наканунѣ онъ и Мытищевъ успѣли въ губернскомъ присутствіи отстоять отъ разныхъ ложныхъ толкованій и пониманій.

XVI.

Дня черезъ три или четыре послѣ этого, Камышлинцевъ сидѣлъ съ Мытищевымъ и толковалъ о дѣлахъ; Ольги Ѳедоровны не было дома. Они увидали сани, въ которыхъ подъѣхала какая-то дама, потомъ услыхали толки въ передней, вошелъ слуга и доложилъ, что Маргарита Васильевна Пентюхина проситъ принять ее.

— Да ты знаешь, что барыни нѣтъ дома?—отвѣчалъ Мытищевъ.

— Сказывалъ-съ! они желаютъ васъ видѣть, доложи говоритъ, Ивану Сергѣичу.

— Проси!—сказалъ Мытищевъ.

Слуга вышелъ, и тотчасъ же низенькая, полная и круглолицая барыня, съ чепцомъ на затылкѣ и косымъ проборомъ, не вошла, а влетѣла въ гостиную.

Камышлинцевъ, боясь быть лишнимъ, хотѣлъ было выйти, но она остановила его.

— Я очень рада, что васъ здѣсь встрѣтила,— сказала она ему:—дѣло васъ касается, и я васъ попрошу выслушать его!

Камышлинцевъ молча поклонился и остался.

— Я, Иванъ Сергѣичъ, обращаюсь собственно къ вамъ,—сказала она Мытищеву,—такъ какъ вы человѣкъ почтенный, семейный, а къ молодымъ людямъ — она указала на Камышлинцева — мнѣ ѣздить не приходится!

«Ну, это совершенно безопасно», подумали слушатели.

— Чѣмъ могу вамъ быть полезнымъ?—спросилъ Мытищевъ, прося ее сѣсть.

— Сдѣлайте ваше одолженіе, скажите мнѣ, давно ли вышло еще *новое* Положеніе?—спросила она нѣсколько дрожащимъ голосомъ, стараясь казаться весьма мягкой и вѣжливой; видно было, что она заранѣе обдумывала такую форму разговора.

— Новаго Положенія, кромѣ одного, Высочайше утвержденнаго, сколько мнѣ извѣстно, никакого нѣтъ! отвѣчалъ Мытищевъ.

— Какъ же теперь, по положенію намъ предоставлено пользоваться два года услугами нашихъ дворовыхъ—говорила Пентюхина какъ-бы съ недоумѣніемъ, и видимо сдерживаясь, хотя ея голосъ задрожалъ еще сильнѣе, — а вотъ Дмитрій Петровичъ сказалъ моей горничной... моя горничная къ Дмитрію Петровичу должно быть вхожа,— замѣтила она какъ-бы мимоходомъ... сказалъ моей горничной, что она, не спроса моего дозволенія, можетъ выйти за кого угодно замужъ и отойти отъ меня!

— Совершенно справедливо, — отвѣтилъ Мытищевъ.

— Однакожъ, въ Положеніи нигдѣ этого не сказано: я по крайней мѣрѣ ничего подобнаго не нашла,—сказала она сдерживая накипавшую злобу.

— Вы вѣрно дурно просмотрѣли эту статью,— замѣтилъ Мытищевъ и вышелъ.

Камышлинцевъ и Пентюхина остались вдвоемъ и молчали; Пентюхина потупила глаза, чтобы и не глядѣть на Камышлинцева.

Мытищевъ вскорѣ вошелъ съ книгой Положенія и, перелистовавъ ее, подалъ Пентюхиной, указавъ на одно мѣсто.

— Не угодно ли прочесть вотъ четвертую статью положенія о дворовыхъ?—сказалъ онъ ей.

— Я очень хорошо знаю эту статью!—сказала она, кинувъ на книгу глазами и не принимая ее.—Я не хуже другихъ умѣю читать, и вы напрасно трудитесь мнѣ ее указывать! Тутъ дѣйствительно сказано, что дворовые могутъ вступать въ бракъ и прибавлено даже, что владѣлецъ не обязанъ давать помѣщеніе и содержаніе женѣ и дѣтямъ такого дворовaго,—но чтобъ они освобождались отъ услугъ, этого нигдѣ не сказано.

— Мужчины и не освобождаются, — отвѣчалъ Мытищевъ,—а женщина, если выходитъ за свободнаго человѣка, раздѣляетъ его права и обязана жить съ нимъ; а это право никакъ не совмѣстно съ обязательной услугой.

— Почему же это не совмѣстно, позвольте у васъ спросить? — съ прорвавшимся азартомъ возразила Пентюхина.—Ну, выходи безъ моего позволенія, коль это Положеніемъ разрѣшено — выходи, хоть за графа, а года свои отбыть должна! Въ 9-й статьѣ кажется ясно сказано, что дворовые остаются два года въ услуженіи и въ полномъ повиновеніи владѣльцевъ. А примѣняясь къ 4-й статьѣ, я только не обязана давать ея мужу и дѣтямъ содержаніе и помѣщеніе, если она вздумаетъ привести ихъ ко мнѣ. И кто же это такой можетъ раньше срока лишить меня моей услуги, если самъ законъ мнѣ ее предоставляетъ!

— Вы не такъ понимаете 4-ю статью,—возразилъ хладнокровно Мытищевъ.—Впрочемъ я вамъ долженъ сказать, что я вамъ передаю не мое личное мнѣніе, а постановленіе губернскаго присутствія: тамъ вопросъ этотъ обсуждался подробно и присутствіе такъ постановило рѣшеніе.

— Да мало ли что присутствіе придумаетъ! — воскликнула Пентюхина, уже не сдерживая себя и дрожащимъ отъ злобы голосомъ, — этакъ всѣ дѣвки завтра же замужъ повыйдутъ: вотъ тебѣ и двухъ-годичная служба! Положеніе говоритъ одно, а присутствіе — другое! Подлинно, царь жалуетъ, да псарь не жалуетъ! Мы знаемъ, кто въ присутствіи все дѣлаетъ!—сказала она вставая. Голова у нея дрожала.

— Если вы находите распоряженіе присутствія неправильнымъ, можете на него жаловаться, — тоже вставая и по прежнему хладнокровно, отвѣчалъ Мытищевъ,—а дѣла дѣлаютъ въ присутствіи всѣ и между прочимъ представители дворянства. Обращались ли вы къ нимъ и что они вамъ сказали?

— Да что сказали! Сказали, что они ничего сдѣлать не могли, когда вы съ г-номъ Камышлинцевымъ дѣлаете, что хотите съ нашимъ-то мудрымъ начальникомъ.

— Вы бы имъ могли возразить, что мы никакихъ особенныхъ правъ на вниманіе начальника не имѣемъ и что наши голоса отнюдь не сильнѣе и не громче ихъ голосовъ; а если правда на нашей сторонѣ, такъ въ этомъ мы не виноваты.

— Такъ позвольте же узнать: что жъ это такъ и будетъ, что моя дѣвка можетъ уйти отъ меня замужъ, ничего не заплативши, какъ г-нъ Камышлинцевъ ее подучилъ?

— Такъ и будетъ!—отвѣчалъ Мытищевъ.

— И на это, вы полагаете, нѣтъ ни суда, ни расправы?—спросила она.

— Напротивъ! я полагаю, что ихъ есть очень много, и совѣтовалъ вамъ уже жаловаться, — отвѣчалъ Мытищевъ,

— И будем-съ! будемъ! будьте увѣрены, что будемъ! и не позволимъ кому бы то ни было мудрить надъ нами и своевольничать!—сказала Пентюхина, готовясь выйти; чепецъ ея дрожалъ и совсѣмъ съѣхалъ на затылокъ. — А вамъ, Иванъ Сергѣичъ, позвольте доложить,—продолжала она,— что въ ваши года не слѣдъ бы вамъ пускаться въ такіе пассажи! Пусть бы г-нъ Камышлинцевъ чужихъ дѣвокъ освобождалъ: онъ человѣкъ молодой и холостой, онъ, можетъ, и повыше чужихъ горничныхъ кѣмъ нибудь занимается! А вамъ, Иванъ Сергѣичъ,—говорила она, вывертывая головой, — это бы не шло-съ! Нѣтъ, ужь не шло бы-съ! — продолжала она, раскланиваясь и разводя руками, вся разсвирѣпѣвшая. — Лучше-бы, чѣмъ вмѣстѣ съ вашимъ другомъ чужими-то горничными заниматься, вы бы посмотрѣли около себя: можетъ; друзья-то не одними горничными занимаются. Да-съ! Угодно ли вамъ...

— Вонъ! — поблѣднѣвъ и показывая рукою на дверь, сказалъ Мытищевъ, — и если вы не замолчите, такъ я вырву вашъ скверный языкъ!..

— Руки коротки! руки коротки! — улепетывая по залѣ, кричала Пентюхина. — Да и много языковъ вырывать-то придется, у всего города не вырвете.—Она продолжала еще что-то и на крыльцѣ, продолжала что-то и въ экипажѣ, но словъ ея уже не было слышно, потому что Мытищевъ, выпроводивъ ее изъ зала, захлопнулъ за нею дверь.

Онъ возвратился блѣдный и весь взволнованный и, ходя по комнатѣ, говорилъ только:

— Мерзкая, подлая женщина!

Камышлинцевъ стоялъ смущенный и не зналъ, что дѣлать. Немного погодя онъ взялся за шляпу и, подходя къ Мытищеву, сказалъ:

— Чтобы прекратить подобные разговоры, — онъ удержался назвать ихъ сплетнями и клеветами,—я думаю, лучше будетъ, если я перестану или, по крайней мѣрѣ, рѣже буду бывать у васъ, уважаемый Иванъ Сергѣичъ. Нечего говорить, что это не измѣнитъ моихъ чувствъ къ вамъ.

— Вздоръ! — сказалъ Мытищевъ, подавая руку Камышлинцеву и крѣпко пожимая ее,—напротивъ: вы должны бывать по прежнему... чаще прежняго, чтобы доказать этимъ подлымъ сплетницамъ, что мы презираемъ ихъ клеветы, что онѣ не измѣнятъ нашихъ отношеній! Не нужно давать мерзавцамъ возможность радоваться и думать, что они помѣшали нашей дружбѣ и что грязь ихъ можетъ приставать къ чистымъ именамъ.

Камышлинцеву хотѣлось бы въ эту минуту, чтобы полъ разступился подъ нимъ и чтобы онъ могъ провалиться.

— Однакоже,—началъ онъ было...

— Тутъ и говорить нечего!—прервалъ его Мытищевъ, не выпуская его руку и въ волненіи и негодованіи крѣпко потрясая ее, — честные люди должны держаться другъ за друга и стоять выше гнусныхъ сплетней этихъ негодяевъ, которые судятъ по себѣ и не могутъ вѣрить въ истинно дружескія и близкія отношенія, не предполагая обмана и гадостей. Вы меня оскорбите, Дмитрій Петровичъ, если измѣните сколько нибудь наши отношенія, которыя для меня дороги! Это бы значило допустить мысль, что я могу сомнѣваться въ васъ и въ моей женѣ.

И впечатлительный Мытищевъ въ порывѣ чувствъ горячо обнялъ и поцаловалъ Камышлинцева.

Камышлинцевъ сдѣлался блѣднѣе Мытищева, глаза у него сверкнули, онъ отстранилъ рукой старика и хотѣлъ что-то сказать, но въ это время въ залѣ послышалось шуршанье женскаго платья и Мытищевъ самъ отскочилъ отъ Камышлинцева и приложилъ палецъ къ губамъ. Въ дверяхъ показалась Ольга Ѳедоровна.

— Ахъ, какъ я устала!—сказала она, кивнувъ головой Камышлинцеву и мужу и скидая передъ зеркаломъ шляпу. Но, увидѣвъ въ немъ выраженіе

лицъ мужа и любовника, она сама вся смутилась.— Что съ вами?—спросила она.

— Съ нами? Ничего, мой другъ,—сказалъ мужъ, стараясь сдѣлать равнодушнѣе лицо, онъ взялъ обѣими руками женину руку и ласково поцѣловалъ ее.

— Какъ ничего? у васъ что-то лица такія странныя!—безпокойно глядя на того и другаго, спрашивала Ольга.

— Да, право, ничего! — увѣрялъ Мытищевъ и улыбнулся:—была тутъ какая-то взбалмошная баба, Пентюхина, и разбранила насъ съ Дмитріемъ Петровичемъ, такъ что мы еще очнуться не успѣли: вотъ и все!

Мытищева недовѣрчиво покачала головой.

— Однако-жъ, до свиданія! мнѣ надо ѣхать,— сказалъ Камышлинцевъ, который не могъ выносить долѣе своего положенія и подалъ руку женѣ и мужу.

— Куда же вы? — спросилъ Мытищевъ. — По крайней мѣрѣ, къ обѣду пріѣдете—спросилъ онъ вслѣдъ почти убѣгавшаго Камышлинцева.

— Постараюсь! — отвѣтилъ тотъ изъ передней и ушелъ.

Мытищева еще разъ вопросительно и безпокойно взглянула на мужа; но онъ сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ этого и, взглянувъ на стоящіе на окнѣ цвѣты сказалъ:

— Опять забыли полить! Эй, Дементій — онъ вышелъ какъ будто затѣмъ, чтобы передать слугѣ приказаніе, и потомъ ушелъ въ кабинетъ.

Смущенная и все еще безпокойная Мытищева пошла переодѣться и, за этимъ занятіемъ, спросила какъ бы мимоходомъ горничную:

— Что тутъ былъ кто нибудь безъ меня? Баринъ какъ будто разстроенъ? — но получила отвѣтъ, что пріѣзжала г-жа Пентюхина и что ничего, кажется, не случилось.

— Развѣ она что нибудь?—разсуждая говорила горничная, — она, вѣдь, Богъ съ ней, говорятъ, пресхидная-съ! А впрочемъ, я ничего не знаю!— добавила горничная, давая себѣ въ то же время слово разузнать все до ниточки.

Горничная ушла, и бѣдная женщина, виновная и чуявшая что-то не доброе, осталась одна, въ тревогѣ и опасеніяхъ.

XVII.

Камышлинцевъ, возвратясь домой, долго ходилъ взволнованный по комнатѣ. Наконецъ онъ сѣлъ къ столу, написалъ письмо, разорвалъ его, опять написалъ, перечелъ и, свернувъ въ нѣсколько разъ, положилъ въ карманъ. Наступила обѣденная пора и онъ поѣхалъ къ Мытищевымъ.

Въ этотъ день, на счастье всѣхъ, у Мытищевыхъ обѣдалъ пріѣзжій флигель-адъютантъ, который оставленъ былъ, какъ и въ другихъ губерніяхъ для наблюденія за ходомъ крестьянскаго дѣла. Гогенфельдъ познакомился съ Мытищевыми и бывалъ у нихъ довольно часто. Это былъ очень пріятный и, въ свѣтскомъ смыслѣ, въ высшей степени порядочный молодой человѣкъ. Онъ имѣлъ талантъ какъ-то все примирять, сглаживать и смягчать, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ веселъ и милъ. Казалось, гдѣ онъ появлялся, тамъ атмосфера дышала пріятностью и безобидной веселостью, хотя, вмѣстѣ съ тѣмъ, ничего оригинальнаго, ничего страннаго или свѣжаго, не выдавалось: все было мило и гладко. Благодаря этому таланту графа и его присутствію, нѣкоторое стѣсненіе, которое чувствовалось въ семьѣ, скоро сгладилось и обѣдъ прошелъ очень хорошо. Послѣ обѣда, когда графъ сталъ уходить, Камышлинцевъ сказалъ ему:

— Пойдемте вмѣстѣ, графъ, намъ по дорогѣ,— и тоже вышелъ.

Они были уже въ прихожей, когда Камышлинцевъ, надѣвая перчатку, замѣтилъ, что другой нѣтъ.

— Извините, — сказалъ онъ, — я забылъ перчатку.

Онъ воротился въ гостиную и черезъ минуту вышелъ натягивая и другую перчатку. Они отправились вмѣстѣ.

— По уходѣ ихъ, Мытищева прошла къ себѣ въ кабинетъ, осмотрѣлась и разжавъ руку взглянула на письмо сжатое въ ней. Съ сильно бьющимся сердцемъ развернула она его и стала читать. Письмо было отъ Камышлинцева, но какъ переписка, особенно въ послѣднее время, не была въ ихъ привычкахъ и только въ деревнѣ изрѣдка они мѣнялись записочками, то довольно длинное посланіе съ перваго взгляда смутило Ольгу.

«Ольга! другъ мой! намъ нельзя такъ оставаться долѣе. Сегодня при мнѣ, эта подлая Пентюхина весьма недвусмысленно дала понять твоему мужу о нашихъ отношеніяхъ и добавила, что объ нихъ знаетъ весь городъ. Благородный старикъ выгналъ се и когда я сказалъ ему, что для прекращенія подобныхъ слуховъ считаю нужнымъ перестать бывать у васъ или, по крайней мѣрѣ, бывать какъ можно рѣже; онъ же упрашивалъ меня, напротивъ, нисколько не измѣнять нашихъ отношеній (еслибы онъ зналъ ихъ!) и, бросясь мнѣ на шею, говорилъ, что грязь не можетъ приставать къ чистымъ именамъ, что я его оскорблю, если измѣнюсь относительно вашей семьи, и что это значило бы—прибавилъ онъ—допускать въ немъ возможность сомнѣнія во мнѣ и въ тебѣ. Благородный человѣкъ не позволилъ себѣ даже сказать, что онъ не вѣритъ слухамъ!

«Можешь себѣ представить, дорогой другъ, что я чувствовалъ! Было одно мгновеніе, когда я хотѣлъ сказать ему все; я отвелъ его отъ груди, къ которой онъ хотѣлъ прижаться, и слова признанія повинной были уже у меня на языкѣ, но къ счастью ты вошла, и онъ не подозрѣвая моей борьбы, самъ далъ мнѣ знакъ молчанія. Остальное ты знаешь.

«Послѣ этого скажи, возможно ли намъ оста-

ваться по прежнему? Я вновь обращаюсь къ тебѣ, моя дорогая, моя любимая, съ вопросомъ, что дѣлать намъ? Клянусь тебѣ, у меня нѣтъ мысли, укоряющей меня въ нашей любви; я благословляю тебя за нее, благословляю за счастіе, которое ты мнѣ дала: наша любовь явилась свободно и освящена взаимностью,—но скрытность и обманъ особенно съ такимъ юношески-довѣрчивымъ и честнымъ человѣкомъ, какъ твой мужъ, такъ же тяжелы мнѣ какъ и тебѣ. Во что бы то ни стало, но намъ надо выйти изъ этого положенія. Я бы давно сказалъ все твоему мужу и готовъ бы былъ встрѣтить и негодованіе, и укоры его; но съ моими признаніями сопряжена и твоя участь: — на тебѣ болѣе чѣмъ на мнѣ обрушилась бы вся тяжесть признанія. Я не имѣю права объявить громко то, что ты мнѣ дала подъ условіемъ тайны. Я не имѣю права отдавать злорѣчію твое имя, ставить на карту твое семейное положеніе. Ты—одна ты теряешь тутъ все, поэтому все отъ тебя зависитъ и ты сама должна рѣшить вопросъ. Достанетъ ли у тебя бодрости, чтобы прямо смотрѣть въ глаза настоящему, достаточна ли твоя нѣжная и робкая любовь, настолько ли дорога тебѣ моя, — чтобы ты пожертвовала своимъ положеніемъ? Подумай и рѣши, но рѣшить надобно.

«Что касается до меня, я бы полагалъ сказать все твоему мужу. Конечно, между мной и имъ послѣдуетъ разрывъ, но развѣ мы съ тобой не можемъ быть счастливы? Ты переѣдешь ко мнѣ и я приму на себя всѣ объясненія и не допущу, чтобы они коснулись тебя съ какой бы то ни было стороны. Да и бояться ихъ нечего: твой мужъ слишкомъ благороденъ, чтобы оскорбить тебя.

«Если же ты не хочешь такого исхода, то неужели мы разстанемся? Неужели мнѣ придется потерять все счастье твоей нѣжной и благотворной любви? Неужели тебѣ не жаль меня, не жаль нашего счастья? а выхода нѣтъ: или разорвать, или сказать все! Послѣ всего случившагося, ты сама не захочешь тайны и обмана. Мы вышли на слишкомъ серьезную дорогу, чтобы съ прежней легкостью смотрѣть на наши отношенія, и дальше идти по этому пути нельзя!

«Итакъ, рѣшай, моя добрая, безцѣнная! Нарочно пишу тебѣ, а не говорю, обо всемъ этомъ, чтобы ты могла по возможности покойно и глубоко обдумать все. Съ трепетомъ и нетерпѣніемъ жду твоего отвѣта!»

Вся блѣдная, опустивъ руки, сидѣла Ольга, прочитавъ письмо; сердце билось у нея, какъ у пойманной голубки, она вся была смущена и взволнована, чувствовала себя на грани, на рѣшительномъ роковомъ поворотѣ, и вопросъ, что дѣлать, неизбѣжная необходимость рѣшиться на что нибудь — стояли грозно передъ ней, всегда веселой и безпечной. «Что если все открыть ему?» думала она. И вотъ представились ей страшныя сцены, сцены съ мужемъ, съ отцемъ, матерью, братомъ, потомъ говоръ, скандалъ, невозможность никуда выѣхать, ни къ кому показаться! Надо отказаться отъ всего свѣта; останется только одинъ, во всемъ свѣтѣ человѣкъ, милый, дорогой человѣкъ, но одинъ за всѣхъ и за все, — одинъ, на котораго можетъ она опереться противъ всего свѣта, а свѣтъ возстанетъ на нее, изгонитъ ее и она не посмѣетъ взглянуть на него!

Но эта мысль мелькнула на мгновенье. Ольга вздрогнула только отъ перваго ея появленія и если еще останавливалась на ней, то останавливалась какъ на представленіи разныхъ страшныхъ вещей, отъ которыхъ спѣшатъ отскочить и потомъ уже издали, на безопасномъ разстояніи, съ замираніемъ сердца рѣшаются взглянуть на нихъ. Такъ взглянула Ольга на возможность признанія, но въ ея любящей, дѣтски-слабой и изнѣженной душѣ не было ни минуты борьбы и колебанья. Тамъ, въ самой глубинѣ, гдѣ вырабатывается сознаніе, все было рѣшено уже съ перваго раза; размышленіе же, представленіе послѣдствій дѣлалось уже по привычкѣ. Затѣмъ Ольга взглянула на другой неизбѣжный выходъ—на разлуку... «Итакъ надо проститься со всѣмъ, что составляло отраду, свѣтъ и тѣнь ея жизни!—думала она. Проститься съ этимъ умнымъ, красивымъ человѣкомъ, любовь котораго была ея гордостью, — проститься со всѣмъ тѣмъ, чѣмъ было красно и свѣтло ея уединеніе... И весь этотъ страхъ ожиданій, эти тайныя встрѣчи, перелетныя минуты счастья... все, все прости! А что же впереди?.. мертвенная тишина; безчувственность и холодъ, — точно голая снѣжная степь въ ясную морозную ночь! Ночь и путь безъ надежды на отрадное, согрѣвающее пристанище, вѣчная мертвенная степь и однообразный, холодный путь вплоть до старости и могилы!..»

Прямо и безъ колебанія смотрѣла Ольга на эту грустную картину, смотрѣла съ покорной опущенной головой, какъ на неизбѣжную единственную дорогу, и глубокая грусть, грусть обо всемъ навѣки убѣгающемъ, счастливомъ прошломъ, желѣзными, холодными тисками сжала ея сердце. Но она еще не поддалась этой грусти и собрала силы, чтобы поскорѣе покончить. Борьбы и выбора нѣтъ, такъ что же думать! Она спѣшила покончить уже и потому, что вмѣстѣ съ этимъ она кончала навсегда со страшной мыслью открыть все мужу. Она схватилась за перо, но когда пришлось высказать свои мысли, проститься со всѣмъ и навѣки,—она поблѣднѣла, рука ея задрожала и слезы покатились по ея лицу. Ей казалось, что она берется за холодный ножъ, чтобы навѣки отрѣзать нить, на которой держалось все ея счастіе. Но она отерла слезы и на свободной страницѣ, оставшейся въ письмѣ Камышлинцева, торопливо написала:

«Прости меня, мой милый, мой ненаглядный! у меня нѣтъ силы на признаніе, нѣтъ ея на разрывъ, на борьбу со свѣтомъ! я—ничтожная, слабая женщина: я это сама вижу. Ты правъ,—я маленькая женщина и не стою тебя, я умѣю только

любить. Да, надо разстаться: я мала,—но мала я сама и моя воля, а не любовь; нѣтъ, не любовь. О, какъ нѣжно и глубоко я люблю тебя, моя радость!... И этой любовью и этимъ счастьемъ я должна жертвовать! Богъ видитъ, какъ мнѣ тяжело! Другъ мой, умоляю — не сердись на меня! будь великодушенъ и снисходителенъ ко мнѣ до конца. Пожалѣй твою бѣдную, твою слабую, но любящую тебя женщину! не прибавляй твоего гнѣва и укора къ моему горькому сознанію: — я и безъ того слишкомъ, слишкомъ несчастна! Прости, ненаглядный, милый, радость, счастье! въ послѣдній разъ мысленно обнимаю тебя, послѣдній разъ цалую тебя, цалую руки твои, и пусть умираетъ все мое счастье!»

Она писала быстро, нервно, и слезы падали на письмо. Не перечитывая, свернула она его, взяла первую попавшуюся книгу, вложила его туда и стала завертывать книгу въ бумагу. Маленькія тонкія руки ея дрожали, она торопилась, какъ-будто боялась, что у ней не достанетъ силъ и рѣшимости. «Скорѣй, скорѣй бы покончить это!» думала она, наскоро отерла глаза, позвонила и, когда вошла горничная, то, не глядя на нее, подала ей книгу и сказала: «отослать къ Камышлинцеву.»

Какъ только дѣвушка вышла, она стала прислушиваться, какъ-бы что-то припоминала, потомъ вдругъ закрыла лицо руками, упала ничкомъ на подушку дивана и горько-горько зарыдала.

Долго лежала она такъ, беззвучно рыдая, и только ея пѣжныя круглыя плечи нервически вздрагивали. Подали свѣчи, доложили, что самоваръ готовъ. Она сказала, что голова болитъ, ушла въ спальню и легла. Мужъ узналъ о ея болѣзни, пришелъ и тихо, боясь стукнуть, началъ ее разспрашивать, услуживать ей и предлагать доктора. Но онъ только сердилъ ее. Она долго выносила его заботы, но наконецъ не выдержала.

— Ахъ, дайте мнѣ только отдохнуть и успокоиться! — сказала она.

И бѣдный мужъ, молча, посѣменивъ на мѣстѣ, вышелъ, смущенный и неловкій, какъ выходитъ провинившійся и выгнанный хозяиномъ песъ, стыдливо понуривъ голову и тихо виляя опущеннымъ хвостомъ. Бѣдный старикъ догадывался, что Ольга вѣроятно узнала объ утренней сценѣ и считалъ себя почему-то виновнымъ въ разстройствѣ, которое отъ этого должна испытывать жена.

А между тѣмъ, Камышлинцевъ, возвратясь домой, съ нетерпѣніемъ ждалъ отвѣта: онъ не могъ ни за что приняться—то бралъ газету и бросалъ ее, то ходилъ въ волненіи по комнатѣ. Когда ему подали книгу, присланную отъ Мытищевой, онъ нетерпѣливо сорвалъ обертку съ пакета и, едва вышелъ слуга, отыскалъ и развернулъ письмо, но прежде нежели прочитать его, онъ сразу окинулъ его взглядомъ и изъ двухъ-трехъ на-лету схваченныхъ словъ понялъ уже, въ чемъ рѣшеніе. Потомъ онъ прочелъ письмо, перечелъ его еще разъ медленнѣе, взвѣшивая каждое слово, свернулъ и положилъ въ столъ. На лицѣ у него явилась какая-то горькая усмѣшка, но отвѣтъ Ольги мало удивилъ его: онъ его угадывалъ, онъ зналъ, что Ольга не рѣшится на крутой переломъ въ жизни, на большія пожертвованія. Можетъ быть, послѣ чтенія у него мелькнула про Ольгу желчная мысль: «да, это маленькая женщина!» но онъ не позволилъ себѣ ее высказать. Дѣйствительно, это была женщина безъ сильной воли и яснаго сознанія пути, но въ нѣжности, ласковости и любви она никому не уступала, и за нихъ-то Камышлинцевъ горячо любилъ ее. Она не любила дѣла и всякій трудъ считала скучнымъ. Она была чрезвычайно добра, но не сочувствовала горячности и энергіи Камышлинцева и мужа, которыя накликали на нихъ непріятности и возбуждали противъ нихъ общественное мнѣніе. Она хотѣла бы все это какъ-нибудь поскорѣе устроить для того, чтобы съ спокойнымъ сердцемъ заняться... заняться свѣтомъ и маленькими, пріятными общественными затѣями въ родѣ спектаклей, живыхъ картинъ, пикниковъ съ благотворительной цѣлью, — гдѣ всѣ труды и хлопоты такъ забавны, а между тѣмъ все суетится вмѣстѣ, дружно, весело, а вдобавокъ утираются еще слезы какой-нибудь вдовицы изъ бѣдныхъ дворянокъ или приживалки, которая ходитъ по разнымъ домамъ разсказывать о своей бѣдности, да кстати польстить и сообщить собранныя вѣсти. А между тѣмъ Камышлинцевъ любилъ Ольгу; ея нѣжность и ласковость заставляли его забывать всѣ тяжелыя столкновенія испытываемыя въ дѣлахъ. Ея доброе и любящее сердце заставляло его все прощать, примиряло его съ возбужденнымъ обществомъ. Веселостью, остротою и милымъ щебатаньемъ своимъ, она отвлекала утомленный умъ его отъ трудныхъ, заботливыхъ и тяжелыхъ думъ: теряя ее, онъ терялъ всю эту отраду!

— Теперь осталось дѣло... одно трудное и сухое дѣло! — сказалъ себѣ Камышлинцевъ и глубоко и грустно вздохнулъ.

Да! онъ могъ еще быть, если не счастливъ то занятъ: у него было большое, сочувственное ему дѣло; но что оставалось этой, ни къ чему дѣльному не приготовленной, искусственно взрощенной молоденькой женщинѣ, умѣющей только нравиться и любить и остающейся одиноко, съ опостылымъ уже навѣки степеннымъ и старымъ мужемъ?

XVIII.

А мелкія непріятности, дрязги и огорченія росли около дѣятелей, и этотъ рядъ маленькихъ уколовъ и гадостей стоилъ одного большаго.

Камышлинцевъ жилъ въ домѣ одной вдовы, мелкопомѣстной дворянки. Вскорѣ по объявленіи новаго Положенія, барыня жаловалась, что дворовый человѣкъ ея, ремесломъ портной, не платитъ оброка. Такъ какъ мировой институтъ не былъ еще устроенъ, то просьбу барыни передали уѣздному предводителю. Предводитель, добрый и честный человѣкъ,

большой хлѣбосолъ и страстный псовый охотникъ, отъ роду не занимавшійся никакими дѣлами и считавшій священной обязанностью дворянина поддерживать права сословія, къ которому имѣлъ честь принадлежать, призвалъ портнаго, ругнулъ его весьма прилично и, несмотря на его отговорки, что оброкъ съ него не слѣдуетъ, велѣлъ ему непремѣнно его заплатить. Но оброкъ заплаченъ не былъ, барыня опять жалуется, что Ѳомка не только оброка не платитъ, но еще похваляется, что-де «барынѣ моихъ денегъ, какъ хвоста своего, не видать.» Предводитель вскипѣлъ и на сей разъ велѣлъ Ѳомку высѣчь. Ѳомку отечески посѣкли въ полиціи, но онъ не пронялся и подалъ жалобу начальнику губерніи, что оброкъ съ него взыскиваютъ неправильно, что онъ его отъ-роду не платилъ и слѣдовательно платить его не долженъ, а что барыня, прочитавъ, что дворовые, состоящіе на оброкѣ, должны платить его въ прежнемъ размѣрѣ, не болѣе однакожъ тридцати рублей, потребовала съ него, чтобы онъ платилъ ей эти тридцать рублей. Затянулось дѣло, потребовали справокъ, одна сторона говоритъ одно, другая—другое, дѣло нужно было разслѣдовать, и такъ какъ Камышлинцевъ жилъ въ этомъ домѣ, то ему поручено было попытаться примирить тяжущихся, а если это не удастся, то разъяснить дѣло. Камышлинцевъ попробовалъ примиреніе, но объ немъ не могло быть и рѣчи: хозяйка говорила, что она раззорена, что времена тяжелыя и что она ни за что не проститъ человѣку, который не только не платитъ, но и похваляется, что «барынѣ моихъ денегъ, какъ своего хвоста не видать!» Портной говорилъ, что ему платить не только не слѣдъ, да и не изъ чего.

Пришлось приступить къ разбирательству. Началъ Камышлинцевъ съ портнаго, который объяснилъ, что жилъ онъ долго у барыни, но когда женился и народилъ четырехъ человѣкъ дѣтей, то барыня прогнала его съ тѣмъ только, чтобы онъ прокармливалъ семью, платилъ за нее подушныя и обшивалъ ея дѣтей и домашнихъ даромъ. Письменнаго обязательства, разумѣется, никакого не было, но портной сослался на дворовыхъ, и тѣ всѣ, кромѣ ключницы, подтвердили, что дѣйствительно онъ оброка не платилъ.

Камышлинцевъ обратился къ хозяйкѣ и спросилъ ее, не можетъ ли она представить какихъ-либо доказательствъ съ своей стороны, напримѣръ: не видѣлъ ли кто, когда портной отдавалъ ей оброкъ, или не слыхалъ ли объ ихъ условіи, не записано ли полученіе въ какую-нибудь книгу и проч. Но хозяйка, высокая, сухая и черствая женщина, говорила, что Ѳомка вретъ, что какія же нужны еще доказательства, когда заявляетъ она, дворянка, что Ѳомка—извѣстный пьяница и не только пьяница, но и воръ, и вѣрить пьяницѣ и вору, а не вѣрить благородной женщинѣ — это ужь и не знаю что такое! И она, дѣйствительно, не знала, какимъ именемъ назвать подобную неслыханную вещь. Напрасно Камышлинцевъ говорилъ ей, что онъ не сомнѣвается въ томъ, что Ѳомка пьяница, что можетъ быть Ѳомка и воръ, но что это къ дѣлу не идетъ, что вотъ Ѳомка представляетъ доказательства, а она нѣтъ. Но хозяйка твердила одно: «да повѣрьте вы, что онъ—пьяница, и лѣнтяй, и грубіянъ, и что въ прошедшую зиму укралъ у меня курушку, это и ключница подтвердитъ», и ключница дѣйствительно подтверждала, что «платилъ ли онъ, Ѳомка, оброкъ, доподлинно эфтого не знаетъ, а что онъ пьяница великій и что кромѣ него курушки украсть было не кому»; она приводила на то и другія неопровержимыя доказательства. Попробовалъ-было Камышлинцевъ заикнуться, что не позволитъ ли она спросить Ѳомку при ней и не уличитъ ли она его. Но хозяйка страшно разгорячилась и расплакалась и понять не могла, какъ Камышлинцевъ, самъ дворянинъ, предлагаетъ ее, дворянку, ставить на одну доску съ лакеемъ и вѣритъ пьяницѣ и вору, а не вѣритъ благородной женщинѣ, и еще требуетъ отъ нея доказательствъ!

Камышлинцевъ представилъ дѣло въ губернское присутствіе, которое постановило: обязать портнаго исполнить повинность въ прежнемъ, подтверждаемомъ обстоятельствами дѣла, размѣрѣ. Хозяйка возопила, предводитель обидѣлся и говорилъ, что не повѣрить дворянкѣ значитъ оскорблять все сословіе, недовольные подхватили—и пошелъ трезвонъ по всему городу съ прибавленіемъ, что всему дѣлу корень—Камышлинцевъ. Хозяйка Камышлинцева, бывшая и безъ того знакома съ г-жею Пентюхиной, соединилась съ ней по этому случаю узами неразрывной дружбы. Имѣя возможность близко знать домашнюю жизнь Камышлинцева, она разсказывала подругѣ всѣ извѣстныя ей подробности, сообщала и о посѣщеніи Палашки и о томъ, что къ Камышлинцеву валомъ валятъ всѣ дворовые и окрестные крестьяне, и что ей доподлинно извѣстно, что одинъ наущаетъ ихъ супротивъ ихъ господъ, что онъ, нетокма-что въ церковь, но и въ баню не ходитъ, а садится въ ванну и пр. и пр. Г-жа Пентюхина, особа болѣе высокаго полета, развозила всѣ эти свѣдѣнія по всему городу.

Были дѣла и посерьезнѣе: то изъ одного мѣста, то изъ другаго доносили о волненіяхъ и возмущеніяхъ. Бунтовщики по большей части, при первой угрозѣ слѣдователя, становились на колѣни и подавали просьбу; но мѣстная полиція и помѣщики, при нашей непривычкѣ ко всякаго рода заявленіямъ, видѣли бунтъ во всякой просьбѣ или неудовольствіи, хотя бы противъ писаря и становаго. Одно дѣло, между прочимъ, начинало принимать серьезный оборотъ: у весьма богатаго помѣщика Темрюкова, имѣвшаго нѣсколько фабрикъ и заводовъ, вышло несогласіе съ крестьянами, и они отказывались отъ работы. Напрасно жандармскій офицеръ, получающій, какъ извѣстно, двойные прогоны и потому охотно вызывающійся на поѣздки, раза три ѣздилъ туда; напрасно кроткій начальникъ губерніи, чувствовавшій себя какъ-то

спокойнѣе въ его отсутствіи, а поэтому охотно дававшій ему порученія, посылалъ его туда,—недоразумѣнія не кончались. Между тѣмъ владѣлецъ, жившій въ Петербургѣ и имѣвшій большія связи, роптalъ и жаловался, а самъ не пріѣзжалъ и, руководясь мнѣніемъ управляющаго, никакихъ попытокъ къ примиренію не дѣлалъ. Не правы были, какъ водится, обѣ стороны, но никто не хотѣлъ сдѣлать уступокъ и чѣмъ дольше длилось недоразумѣніе, тѣмъ болѣе обѣ стороны расходились и становились требовательнѣе и враждебнѣе. А общественный голосъ винилъ Камышлинцева и Мытищева, потворствовавшихъ будто-бы крестьянамъ, и добродѣтельнаго начальника губерніи, не прибѣгающаго къ такъ-называемымъ энергическимъ мѣрамъ, мѣрамъ, какъ извѣстно, еще ни кого не убѣждавшимъ, а только ломающимъ.

Общія заботы, полное согласіе взглядовъ и послѣднее рѣшеніе Камышлинцева относительно Ольги—все это установило еще болѣе прочныя и откровенныя отношенія между Мытищевымъ и Камышлинцевымъ. Отношенія же его къ Ольгѣ были неестественны и натянуты. Камышлинцевъ, какъ пьяница или курильщикъ, твердо рѣшившійся покончить съ своей привычкой, держался того мнѣнія, что при малѣйшей уступкѣ, которую онъ сдѣлаетъ прежнему чувству, разрывъ состоятся не можетъ. Поэтому когда въ первый разъ онъ встрѣтился наединѣ съ Ольгой, онъ не позволилъ себѣ ни малѣйшей короткости и не говорилъ ни слова ни о разрывѣ, ни о прошломъ,—какъ будто ихъ и не существовало. Ольга, можетъ быть, не раздѣляла этихъ мыслей, но по женской стыдливости, по привычкѣ, выработанной воспитаніемъ—всегда воздерживаться и ждать во всѣхъ случаяхъ начинанія отъ мужчины, ничего не дѣлала, чтобй измѣнить строгость отношеній, въ которыхъ держался Камышлинцевъ. Все это дѣлало встрѣчи между ними тяжелыми, непріятными и заставляло ихъ избѣгать встрѣчь съ глазу на глазъ, точно они должны были играть другъ передъ другомъ какія-то навязанныя имъ роли и не могли остаться ни на минуту самими собой. Камышлинцевъ сносилъ это положеніе терпѣливо, онъ призналъ его необходимость и подчинялся ему; но не то было съ Ольгой. Сначала она покорно приняла новыя отношенія, но вскорѣ тягость и принужденность ихъ стали ей невыносимы. Она сознавала честность рѣшенія, но дошла до него не собственнымъ убѣжденіемъ: оно ей было предложено. Въ первомъ порывѣ она его признала безъ повѣрки и разбора,—еще бы не признать: «это было такъ благородно»!—но потомъ скука уединенія, пустота и тягость новой жизни стали нашептывать ей другія мысли.

«Отчего Дмитрій,—она еще называла его такъ въ своихъ мысляхъ,—отчего Дмитрій такъ сурово вошелъ въ новую роль; отчего бы ему не оставить тѣхъ изъ прежнихъ отношеній, невинность которыхъ не тяготила самую щепетильную совѣстливость? Отчего не остаться друзьями, отчего даже не проститься, не сказать ни слова благодарности за все прошлое, разстаться безмолвно, сухо, разстаться безъ разставанья»?—думала Ольга. Взрослая и воспитанная въ болѣе легкихъ и мягкихъ взглядахъ, она не понимала этой пуританской строгости дѣйствій, которая оскорбляла ее. Ольга подумывала даже: любилъ ли ее Камышлинцевъ?

За этими первыми размышленіями, Ольга, какъ всѣ женщины, оставаясь послѣдовательною не логикѣ, а своему чувству, пришла незамѣтно къ другимъ. Она была недовольна Камышлинцевымъ, она сердилась на него и слѣдовательно сердилась на его рѣшеніе; отсюда до вопроса: правъ ли еще былъ Камышлинцевъ и нуженъ ли былъ разрывъ?—оставался одинъ шагъ, и шагъ этотъ Ольга сдѣлала весьма скоро. Въ самомъ дѣлѣ, не излишняя ли щепетильность заставила Дмитрія требовать признанія или разрыва? Отчего было не оставаться въ прежнихъ отношеніяхъ? Кому мѣшали они? Развѣ мужъ ея былъ несчастливъ? Развѣ она не доставляла ему, отживающему и старѣющему, все то, на что онъ имѣлъ право—дружбу, нѣжную заботливость, всѣ удовольствія семейной жизни и пріятнаго, высоко поставленнаго и поддерживаемаго въ обществѣ дома? А затѣмъ — она молода, ей жить хочется, ей нужно любить и она имѣла право искать въ другомъ того, что не могъ дать ей мужъ: чѣмъ они мѣшали другъ другу? Кто же имѣетъ право роптать?—Свѣтъ? Но свѣтъ требуетъ только соблюденія формъ и условныхъ приличій, а развѣ она чѣмъ нибудь нарушила ихъ? Нѣтъ! Она ихъ блюла строго и свѣтъ былъ удовлетворенъ: онъ принималъ ее радушно, онъ ею дорожилъ, они понимали другъ друга и исполняли каждый свои нѣмыя условія.

Но кромѣ мужа, любовника и свѣта было еще нѣчто, смущавшее ее, нѣчто смутно понимаемое ею, полуправственное, полурелигіозное, полусвѣтское — это долгъ. Но что такое долгъ въ этомъ случаѣ?

Ошибаются тѣ, которые, увидавъ вполнѣ нравственныхъ, приличныхъ и часто наивныхъ дѣвицъ, думаютъ, что имъ не извѣстно многое изъ того, что такъ тщательно отъ нихъ скрываютъ, что считается безнравственностью, заблужденіемъ, развратомъ. Отчасти слышанное, отчасти видѣнное, вычитанное гдѣ нибудь урывкомъ, задуманное какой-нибудь смѣлой головкой—все это, особенно въ общественныхъ заведеніяхъ, передается отъ одного выпуска другому, какъ преданіе; все обсуживается, оспаривается, многое принимается, или отвергается на вѣру, но все полуизвѣстно, не разъяснено и не опровергнуто наставницами, потому что никто изъ питомицъ не осмѣливается не только высказаться прямо объ этихъ вещахъ, но даже назвать ихъ полуименемъ. А между тѣмъ онѣ знаютъ, что знаютъ и между голубыми кофейными или бѣлыми не обходится безъ своей вольнодумной головы, которая, еслибы высказалась громко передъ настав-

ницами и наблюдательницами, навѣрное повергла бы ихъ въ столбнякъ сильнѣе, чѣмъ пріемъ стрихнина.

И припомнилась Ольгѣ одна высокая, красивая брюнетка съ блѣднымъ, безъ кровинки и холоднымъ лицомъ, всегда спокойная и владѣющая собой, а между тѣмъ глубоко страстная. Она принадлежала къ обѣднѣвшей старинной княжеской фамиліи, росла одиноко съ матерью, любившею таскаться къ богатымъ родственникамъ, и до поступленія въ институтъ перечитала всю библіотеку стараго дѣдушки, вольнодумца девяностыхъ годовъ, у котораго гостила по мѣсяцамъ. Ольга помнила, какъ княжна говорила, что выйдетъ не иначе какъ за богатаго хотя-бы старика, и потомъ будетъ любить кого захочетъ. Она помнила, съ какимъ презрительнымъ сожалѣніемъ княжна взглядывала на тѣхъ, кто ее робко спрашивалъ: «а вѣрность? долгъ»? «Дѣти!—говорила княжна съ любопытствомъ и боязливымъ удивленіемъ глядѣвшимъ на нее молоденькимъ подругамъ,—вы бы потаскались по прихожимъ богатыхъ родственниковъ; да почитали у нихъ книги! Я молода, хороша и имѣю право на жизнь не менѣе другихъ; я хочу жить и буду жить. Долгъ и вѣрность—это громкія слова, выдуманныя отжившими и безсильными, чтобы мѣшать жить молодымъ. И что такое вѣрность? Отчего арабъ предлагаетъ гостю свою жену, и она этимъ не измѣняетъ ему? отчего негры считаютъ за честь имѣть бѣлаго ребенка»?—спрашивала юная вольнодумка удивляющихся ея учености дѣвицъ.

— Да вѣдь это все дикіе, душенька,—рѣшалась робко замѣтить которая нибудь изъ нихъ.

— Гм! А рыцари и ихъ dames châtelaines? а времена регентства и французской революціи? а флорентинскіе чичисбеи-любовники, право имѣть которыхъ выговаривалось лѣтъ сорокъ назадъ даже въ брачныхъ контрактахъ? Вы ничего не знаете и не читали,—замѣчала она съ легкимъ сожалѣніемъ, и продолжала; видите, — все это условно, смотря по времени и мѣсту! Свѣтъ не даромъ смотритъ на это практичнѣе: онъ требуетъ только, чтобы не спорили съ нимъ явно, не противорѣчили ему на зло. Онъ знаетъ, что все это вздоръ; но передѣлывать было бы много хлопотъ и неурядицы. Онъ желаетъ только, чтобъ его не дразнили, а затѣмъ—дѣлай, что хочешь, но дѣлай прилично. Я не имѣю никакого желанія переучивать и передѣлывать его, и онъ мнѣ не будетъ мѣшать жить, и буду я жить, и вамъ тоже совѣтую.

Изумленныя дѣвочки съ трепетнымъ любопытствомъ слушали свою подругу, глубоко дивились ея знанію и практической мудрости и не къ кому имъ было обратиться, чтобы хоть повѣрить факты, которыми поражала ихъ 17-ти лѣтняя проповѣдница, какъ видно, особенно интересовавшаяся вопросомъ брака и вѣрности.

Тогда Ольга слушала все это, какъ новую и страшную сказку, не давала себѣ труда и боялась вдумываться въ слова подруги. «Можетъ, тутъ есть и правда, — подумывала она, — да Богъ съ ней», но теперь ей, взволнованной и огорченной, въ первый разъ столкнувшейся съ тѣми противорѣчіями, которыя жизнь и принятыя условія часто подставляютъ человѣку, — все это снова пришло въ голову: ей приходилось вдуматься въ эти вещи. Но и теперь, какъ и тогда она не видѣла ясно своего пути. Когда она полюбила Камышлинцева и отдалась ему, она смотрѣла на все это какъ на проступокъ, хотя извиняла себя до нѣкоторой степени молодостью, страстью и неровностью брака. Теперь, когда ей любовникъ сказалъ: «мы не правы», и поставилъ преграду этому сладкому грѣху, она возмущалась, и то, что считала преступленіемъ или проступкомъ, стала считать своимъ правомъ. И бѣдная женщина роптала, сердилась и винила не тѣхъ, кого слѣдовало, и не въ томъ, въ чемъ слѣдовало!

Это состояніе мыслей Ольги отразилось и на ея отношеніяхъ къ Камышлинцеву. Любящая и кроткая прежде она стала съ нимъ очень неровна, то подсмѣивалась надъ нимъ, то была апатична и разочарована. Камышлинцевъ страдалъ молча и съ своей стороны обращался снисходительнѣе и мягче. Мытищевъ замѣтилъ перемѣну между ними и думалъ, что она «сердится на него за слухи, къ которымъ онъ подалъ поводъ», онъ заступался за Камышлинцева и еще болѣе его полюбилъ.

Дѣло было въ такомъ положеніи, когда разъ, передъ вечеромъ, Ольга Ѳедоровна уѣхала прокатиться, заѣхала къ женѣ губернатора и осталась у нея. Эта веселая и добродушная барыня любила Мытищеву, а въ послѣднее время, когда слухи про ея связь и выходку Пентюхиной начали ходить по всѣмъ домамъ отъ гостиныхъ до прихожихъ, губернаторша особенно часто навѣщала ее, дѣлала все, чтобы выказать презрѣніе къ сплетнѣ и участіе къ ея жертвѣ. Хотя Мытищева, разумѣется, не сознавалась Матренѣ Гавриловнѣ насколько въ этой сплетнѣ правды, но послѣдняя подозрѣвала истину и не считала нужнымъ взвѣшивать степень справедливости слуховъ. «Все это вздоръ, моя милая,—говорила она,—гнусность и мелкая гадость: надо это презирать! Свѣтъ не имѣетъ никакого права винить васъ и поэтому вы должны смѣло смотрѣть ему въ глаза: тогда, повѣрьте, онъ первый склонится передъ вашей прелестной головкой»!—И она поцѣловала эту голову.

Поддержанная и ободренная ею, Ольга свысока смотрѣла на тѣхъ, которые шипѣли про нее, и слова опытной женщины оправдывались: тѣ, которые больше всѣхъ кричали за глаза, встрѣчали ее милѣе, ласковѣе и унизительнѣе другихъ и заискивали передъ ней.

Мытищевъ всталъ отъ послѣ-обѣденнаго сна, и узнавъ, что жена его уѣхала, усѣлся курить передъ каминомъ и дочитывать полученныя утромъ газеты. Становилось уже темно и онъ зажегъ свѣчи, когда вошедшій слуга подалъ ему письмо.

— Отъ кого?—спросилъ Мытищевъ.

— Не могу знать. Мальчикъ какой-то позвонилъ и подалъ: я спросилъ, отъ кого? Тутъ, говоритъ, написано и ушелъ.

— Хорошо.

Слуга вышелъ.

Мытищевъ, не торопясь, осмотрѣлъ конвертъ: онъ былъ изъ грубой желтой бумаги, сдѣланъ очень неискусно и запечатанъ грошемъ. Адресъ былъ безграмотно написанъ какой-то ребяческой или поддѣланной рукой. Мытищевъ прочелъ:

«Ево Высокоблагородію
Милосливому Государю
Ивану Сергеичу
Мытищеву.
сопственныи Руки».

Просьба какая-нибудь! — подумалъ Мытищевъ... Онъ распечаталъ конвертъ и очень удивился, когда вмѣсто грубой бумаги вынулъ оттуда тонкій, весь исписанный почтовый листъ. Онъ развернулъ письмо, поднесъ къ свѣчѣ, увидалъ чей-то знакомый почеркъ, хотя сразу не узналъ его, и сталъ читать.

Сначала какое-то недоумѣніе выразилось на лицѣ Мытищева: онъ какъ будто не понималъ, что такое, кто и къ кому пишетъ — перевернулъ, поискалъ подписи, опять сталъ читать,—и вдругъ лицо его стало блѣднѣть и блѣднѣть, кровь болѣе и болѣе приливала къ сердцу, руки дрожали, но онъ читалъ до конца, и когда кончилъ, силы измѣнили ему, руки опустились, онъ упалъ на спинку кресла: ему сдѣлалось дурно. Письмо, которое выпало у него изъ рукъ, было извѣстное намъ письмо Камышлинцева къ Ольгѣ и отвѣтъ ея, написанный на томъ же листѣ.

XIX.

Нѣсколько минутъ Мытищевъ оставался неподвиженъ; въ головѣ у него звенѣло и все было что-то темно и безпорядочно, сердце едва билось, но кровь начала отливать отъ него и онъ вздохнулъ свободнѣе. Прійдя въ себя, онъ сталъ припоминать, что съ нимъ случилось, добрался до письма и поднялъ его. Давъ себѣ нѣсколько минутъ оправиться, онъ снова принялся за чтеніе, перечиталъ письмо съ болѣзненной внимательностью; снова, но не такъ уже сильно замерло у него сердце, и когда онъ дочиталъ письмо, первая мысль его была:

— Ну, теперь все кончено!

Да! для него было дѣйствительно все кончено; какъ будто какая-то нѣжная, дорогая струна, которая уже была надорвана при первомъ чтеніи, порвалась совсѣмъ. Дѣйствительно, въ немъ оборвалась самая живучая и самая сладостно звучащая струна въ жизни—любовь, право и надежда на любовь!

Мытищевъ слишкомъ рано былъ оторванъ отъ свѣта и не видѣлъ въ немъ никакой глубокой привязанности. Года ссылки прошли для него безъ этого отраднаго чувства: кого изъ тамошнихъ женщинъ могъ онъ любить?—Правда, были тамъ двѣ-три оставившія все и поселившіяся съ мужьями или любимыми въ ихъ холодныхъ и тѣсныхъ конурахъ, но любить тѣхъ женщинъ иначе какъ сестеръ или матерей было-бы святотатствомъ: ихъ и не любили, а боготворили. И вотъ, выпущенный на свободу, Мытищевъ подъ старость лѣтъ рискнулъ и боязливо отдался сладкому и такъ долго сдерживаемому чувству. Сознавалъ онъ, что мало уже имѣетъ правъ на него, но нѣсколько лѣтъ мирной и укрѣпляющей привязанности жены успокоивали его; и съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе отдавался онъ сладкой потребности, и вдругъ эта струна лопнула! И онъ зналъ, что ужь новую не натянуть ему,—поздно! Это была первая и, конечно, послѣдняя.

Отъ этого-то, прежде нежели онъ сколько нибудь опредѣлилъ себѣ свое положеніе, прежде нежели прояснился хаосъ, который стоялъ въ его головѣ, какъ-то инстинктивно, животно сказалась въ немъ эта потеря, какъ будто она дѣйствительно составляла какой-то нервъ въ немъ, который онъ почувствовалъ оборвавшимся.

Мытищевъ сталъ ходить по кабинету и несвязно, зря приходило ему на умъ то то, то другое.

— Гм! Измѣнила! — сказалъ онъ самъ себѣ и потомъ подумалъ: — да и онъ хорошъ! Другъ! А впрочемъ онъ раскаявается, его совѣсть мучитъ, онъ хотѣлъ бы благородно поступать. Да что мнѣ въ его благородствѣ? И какой негодяй перехватилъ письмо? Вѣдь, значитъ, знаетъ кто нибудь четвертый про эти отношенія, а можетъ и многіе?—При этомъ его такъ и передернуло.

— Не могъ онъ этого скрыть? — сказалъ онъ себѣ. И странная вещь: Мытищеву было досаднѣе на Камышлинцева за эту оплошность, нежели за самый обманъ.—Теперь, можетъ, весь городъ все знаетъ!—и его опять всего покоробило.

— Однакожъ, какіе же это подлецы прислали письмо и какъ достали его? Неужто этотъ дурра-къ (онъ, стиснувъ зубы, злобно произнесъ это слово) не могъ сохранить письмо, какъ слѣдуетъ, и выронилъ его? Развѣ у него украли? подкупили лакея? О, мерзавцы! И какъ они рады этому, какъ они теперь ждутъ катастрофы! Дуэли, можетъ быть! А что же, развѣ стрѣляться мнѣ съ нимъ? Что мнѣ съ нимъ дѣлать?

Онъ никакъ не могъ остановиться на одной мысли: другія зря продолжали лѣзть ему въ голову. — Что же дѣлать, однако? застрѣлить его? А потомъ? Сибирь! — и передъ Мытищевымъ встали знакомыя ему картины тюрьмы, ссылки, и онъ, забывъ настоящее, нѣсколько времени думалъ, какъ онъ опять будетъ переживать ихъ, снова очутится въ тѣхъ холодныхъ, безотрадныхъ странахъ. Очнувшись, онъ вспомнилъ объ Ольгѣ. — А она любитъ его! — подумалъ онъ. И гдѣ и когда измѣнила она ему? — Ему начинаютъ рисоваться сцены другаго рода: ревность и злость такъ и сжи-

мають сердце, а онъ съ какимъ-то болѣзненнымъ наслажденіемъ продолжалъ представлять ихъ себѣ.

— Просто голова кругомъ идетъ! — подумалъ онъ, очнувшись,—этакъ съ ума сойдешь!

Онъ взялъ стклянку съ одеколономъ, намочилъ себѣ голову и виски. Онъ не могъ болѣе оставаться съ самимъ собою, ему хотѣлось воздуха, хотѣлось переговорить съ кѣмъ нибудь. На его счастье, не за долго до этого пріѣхалъ въ городъ братъ его Василій Сергѣичъ; Мытищевъ вспомнилъ о немъ, позвонилъ и велѣлъ заложить лошадь. Пока онъ собирался и ѣхалъ къ брату, отрывки мыслей въ словахъ и восклицаніяхъ, картины встрѣчи съ женой или Камышлинцевымъ, картины ихъ встрѣчи между собою—словомъ хаосъ мыслей и картинъ проходилъ у него въ головѣ и то занималъ его до такой степени, что онъ ничего не видалъ и не слыхалъ, то прерывался и обыденная обстановка жизни выступала съ своей силой — онъ замѣчалъ, что его носовой платокъ дурно промытъ и пахнетъ мыломъ, или что понавшійся навстрѣчу Семенъ Иванычъ, съ которымъ онъ раскланялся, идетъ въ клубъ, гдѣ будетъ замѣчать, кто что пьетъ или ѣстъ, и выспрашивать, каково то или другое кушанье, а самъ не возьметъ и бутерброда. Вдругъ опять явится на память слово: «измѣнила», и снова ошеломитъ его и пойдутъ, какъ во снѣ, несвязныя отрывочныя мысли; но думать о своемъ положеніи, думать послѣдовательно, логично онъ еще не могъ.

Такъ какъ домъ, занимаемый Иваномъ Мытищевымъ и принадлежавшій его тестю, былъ недостаточно просторенъ, то Василій Сергѣичъ, пріѣзжавшій всегда съ своей свитой, т. е. экономкой, камердинеромъ и проч., не могъ остановиться у брата и занималъ отдѣльную квартиру. У Василія Сергѣича былъ припадокъ подагры и онъ никуда не выѣзжалъ. Иванъ засталъ его въ креслѣ съ положенными на подушку ногами, по обыкновенію растрепаннаго, съ большими очками въ видѣ pince-nez на носу и газетами въ рукахъ. Онъ пилъ чай.

— А, эмансипаторъ, здорово! — сказалъ онъ, взглянувъ поверхъ очковъ и увидавъ брата; онъ бросилъ газету и снялъ очки. — Ну, что новаго? Хочешь чаю?

— Нѣтъ!... А впрочемъ, пожалуй.

Василій велѣлъ подать чаю.

Между тѣмъ, Иванъ прошелся по комнатамъ.

— Есть и новое, — сказалъ онъ. — Вотъ, прочти!—Онъ подалъ брату письмо.

— Что это, отъ кого? — спросилъ тотъ и тутъ только, взглянувъ на брата, замѣтилъ, что все лицо его осунулось и было сѣроватой блѣдности.

Василій Сергѣичъ поднялъ очки и, не читая письма, вопросительно взглянулъ на брата.

— Увидишь, — отвѣчалъ Иванъ, усмѣхнувшись, и началъ снова ходить. Люди, попавшіе въ безвыходное положеніе, разсказывая о немъ другимъ, часто улыбаются.

Василій Сергѣичъ принялся читать и все время, пока онъ читалъ, Иванъ ходилъ по комнатѣ. Окончивъ письмо, Василій медленно, какъ бы раздумывая, сложилъ его и подалъ брату.

— Какъ оно попало къ тебѣ?— спросилъ онъ.

— Прислано съ какимъ-то мальчишкой. Вотъ и конвертъ.

Онъ вынулъ изъ кармана конвертъ, захваченный имъ съ собою, и подалъ брату.

— Мерзавцы!—сказалъ Василій, бросая конвертъ и растрепалъ еще болѣе свои волосы.

— Кто мерзавцы?—спросилъ Иванъ, остановясь и съ усмѣшкой посматривая на брата.

— Разумѣется, тѣ, кто перехватилъ и прислалъ къ тебѣ письмо!—отвѣчалъ Василій своимъ хриплымъ голосомъ.

— Ну, а наши-то? хороши по твоему? — опять съ усмѣшкой допытывался Иванъ.

Василій промолчалъ нѣсколько мгновеній.

— Ты знаешь объ этомъ мое мнѣніе, — хмуро сказалъ онъ наконецъ:—ты сталъ съ своимъ правомъ поперекъ молодой жизни и думалъ, что не обойдутъ тебя! Ну, и обошли.

— А, такъ ты находишь, что они правы?—съ несвойственной ему язвительной ироніей замѣтилъ Иванъ.

— Не совсѣмъ! — сухо возразилъ Василій. — Тутъ безнравствененъ обманъ, надо было начать съ того, что прямо сказать все тебѣ: но ты видишь, что они это и хотѣли сдѣлать.

— Да! обманувъ уже! Очень утѣшительно! — замѣтилъ Иванъ, продолжая ходить.

Нѣсколько минутъ было молчаніе.

— И эти-то милые голуби,—сказалъ онъ злобно,—которые съумѣли обманывать меня, не могли скрыть своихъ объясненій отъ всѣхъ негодяевъ и копіи съ ихъ нѣжностей, вѣроятно, ходятъ теперь по городу!—почти вскрикнулъ Иванъ. Всегда спокойный и приличный, онъ не выдержалъ и ударилъ кулакомъ по столу.

— Можетъ, это и не отъ ихъ оплошности. Во всякомъ случаѣ, тутъ есть какіе-то мерзавцы, — Василій не выговорилъ, а какъ-то злобно прохрипѣлъ это слово,—которые этимъ воспользовались гнуснѣйшимъ образомъ. Но огласки быть не можетъ. Кто же, сдѣлавшій низость, пойдетъ разсказывать, что онъ ее сдѣлалъ? Впрочемъ, надо это разузнать хорошенько,—говорилъ Василій.

— Пошли за Камышлинцевымъ, — сказалъ Иванъ.—Или, нѣтъ, я самъ къ нему поѣду.—Онъ протянулъ руку за лежавшей на столѣ фуражкой, но Василій остановилъ его:

— Постой, на что же ты рѣшился?—спросилъ онъ.

— Ни на что еще! Но мнѣ хочется бросить Камышлинцеву въ глаза это письмо.

— Успѣешь! — сурово замѣтилъ братъ и отодвинулъ его шапку. — Да и бросать-то не слѣдъ: назадъ могутъ кинуть. Тебѣ, вѣдь, не семнадцать лѣтъ и ты, кажется, довольно видѣлъ всего на своемъ вѣку, чтобы не горячиться, какъ мальчишка.

— Иванъ сталъ мрачнѣе, но сдержаннѣе: ему стало совѣстно своихъ порывовъ.

— Что же ты намѣренъ—дѣлать? снова спросилъ Василій Сергѣичъ.

— Я тебѣ сказалъ: отдать это письмо,—отвѣчалъ Иванъ.

— Да, отдать!—замѣтилъ Василій, сдѣлавъ удареніе на послѣднее слово. Ну—а далѣе?

— Далѣе?... Иванъ выпрямился и поднялъ голову.—Далѣе, я думаю, онъ долженъ своей кровью смыть свой позоръ,—сказалъ онъ.

Василій пристально посмотрѣлъ на брата своими мутными глазами.

— Вздоръ!—сказалъ онъ рѣзко.—Все это старыя фразы. Надо прямо смотрѣть на вещи и называть ихъ своими именами, а не тѣмъ, чѣмъ бабушки называли. Никакого позора тутъ нѣтъ и кровь ничего не смываетъ, а только пачкаетъ. Да и стрѣляться Камышлинцевъ съ тобой не станетъ.

— Такъ я заставлю!—сказалъ горячо Иванъ.— Я его убью, какъ кусающуюся собаку! Ты думаешь,—продолжалъ онъ,—что можно безнаказанно допускать всякаго разстроивать семейное счастіе и что обманутый мужъ не опозоренъ? Что же, въ уѣздный судъ на него жалобу что ли подать?— спросилъ Иванъ.

Василій опять молча нѣсколько мгновеній посмотрѣлъ на него, изъ-подъ нависшихъ бровей, своими мутными глазами. Иванъ всегда чувствовалъ что-то подавляющее въ этомъ взглядѣ: онъ сознавалъ огромное умственное превосходство брата и это сознаніе смущало его.

— Странные вы люди! — сказалъ Василій, — и религіозны вы, и какія-то у васъ французскія фразистыя и ходульныя понятія о чести! Ужь что-бы нибудь одно: коль ударятъ по ланитѣ, такъ подставляй другую, либо крови требуй, коль на мозоль наступятъ. А то гнусной памяти рыцарство сбило васъ совсѣмъ. Развѣ кулакомъ защищаютъ свое семейное счастіе? Ты вотъ въ мистическія бредни погружался и находилъ въ нихъ удовольствіе, а чѣмъ же было заняться молодой женщинѣ, у которой нѣтъ никакого дѣла, да и охоты-то къ нему нѣтъ. Ты пріучилъ ли ее къ чему нибудь? далъ ли занятіе, которое бы мѣшало воображенію-то въ кривую сторону работать? Да ты и не могъ ей дать этого, потому что не такъ она воспитана! А она добрая, милая и любитъ тебя, до сихъ поръ любитъ, — да не такъ какъ любятъ любовника! А въ любовники то, сказать по правдѣ, мы съ тобой уже и не годимся. Что же ты сердишься на Камышлинцева за то, что его больше любятъ? А тебѣ развѣ не случалось рога-то наставлять?

Иванъ Мытищевъ покраснѣлъ при послѣднемъ вопросѣ: во дни его короткой молодости у него была въ Петербургѣ блестящая интрига.

— Что же?—сказалъ онъ,—зато мы и готовы были подставить лобъ подъ пулю!

— Ну, а теперь на это иначе смотрятъ и больше дорожатъ своимъ лбомъ. Вы вѣдь не считали безчестнымъ водить мужа за носъ, лишь бы онъ этого не зналъ, а нынѣче, видишь, изъ-за того расходятся, что не хотятъ водить.

— А обманутый-то мужъ, все по прежнему смѣшонъ!—замѣтилъ Иванъ.

— Ты имъ не будешь,—отвѣтилъ Василій.

— Теперь, конечно нѣтъ!— насмѣшливо возразилъ Иванъ, особенно когда разойдусь съ женой.

Василій ничего не сказалъ, а только проворчалъ что-то; у него какъ будто въ горлѣ что засѣло. Иванъ зналъ это ворчанье: оно значило, что братъ сердится и не согласенъ, но возражать не будетъ.

— Я не хочу дѣлать ей сценъ,—началъ Иванъ болѣе спокойнымъ и примирительнымъ тономъ.— Я не вижу ее много, и мнѣ ее жаль, но не оставаться же мнѣ съ нею? Да и притомъ, — сказалъ онъ съ достоинствомъ, — я не хочу быть ей помѣхой и стѣснять ее: пусть живетъ гдѣ и съ кѣмъ хочетъ.

Они помолчали.

— Запутанная это вещь,—сказалъ Василій, ероша волосы и, по мѣрѣ успокоенія и подчиненія брата, мягче относясь къ нему. — Конечно, Ольга и Камышлинцевъ не правы, да все-таки они люди порядочные: рѣшиться на разрывъ, чтобы не продолжать обманъ, сдѣлавъ его въ увлеченіи, это не бездѣлица. Будь это другое время, такъ ну ихъ! пусть бы дѣлали что хотѣли. А тутъ — ваши отношенія съ Камышлинцевымъ по работѣ? Вѣдь теперь разойтись съ нимъ и сдѣлать какую-нибудь огласку, это значитъ тѣшить мерзавцевъ на счетъ порядочныхъ людей. Вѣдь вся каналья возликуетъ! Да и письмо-то подослано съ этой цѣлью.

— Гм! Еще бы! — злобно сказалъ Иванъ.

Они опять помолчали. Иванъ продолжалъ ходить.

— Впрочемъ, что ты тамъ ни думай, — началъ опять Василій, — а любовь и очагъ — все, братъ, двѣ разныя вещи! Ну, первая, конечно, потеряна для тебя; но вторая не тронута. Ольга тебя уважаетъ, привязана къ тебѣ. Она такъ дорожитъ своимъ положеніемъ, что не соглашается на разрывъ, а теперь будетъ цѣнить его еще болѣе; характеръ у нея отличный, хозяйка дома она прелестная, слѣдовательно — очагъ, и добрый очагъ, остается тебѣ, и я бы тебѣ совѣтовалъ сохранить его. Да оно и прочнѣе, а въ наши года и нужнѣе любви.

— Но согласись, — сказалъ Иванъ, — что мнѣ, пользуясь своимъ правомъ и положеніемъ, разлучать ихъ, послѣ всего этого, не приходится. Теперь ужь, останутся или не останутся они въ тѣсныхъ отношеніяхъ, для меня совершенно все равно: ледъ ужь разбитъ. Я даже не хочу ихъ разрыва, не хочу ихъ жертвъ и великодушій: ну не любитъ, такъ не любитъ! а причиной ихъ разлуки да вздоховъ я быть не желаю.

Онъ замолчалъ.

— Это чортъ знаетъ что за переплетъ, — про-

ворчалъ Василій,—а тутъ еще свѣтскія приличія! ухитрились же люди опутать такъ себя.

Они еще помолчали.

— Прощай,—сказалъ Иванъ, подойдя къ столу и взявшись за шапку. Онъ подалъ брату руку.

— Такъ куда же ты?—спросилъ Василій подозрительно.

— Домой! — отвѣчалъ Иванъ. — Не безпокойся. Я хочу все это обдумать... и потомъ мнѣ нужно успокоиться... Усталъ я! — прибавилъ онъ болѣзненно, и глубоко-грустное, надломленное несчастьемъ старчество послышалось въ его словахъ.

Василій Сергѣичъ былъ не изъ чувствительныхъ, но онъ любилъ брата и послѣднія слова схватили его за сердце: ему стало глубоко жаль брата и желчь заговорила въ немъ сильнѣе.

— Видно у судьбы-то много пакостей было тебѣ заготовлено! сказалъ онъ. — Дѣлать нечего, крѣпись! Онъ крѣпко пожалъ брату руку. — Въ лицо ей смотри! смотри прямо въ ея подлую рожу! — злобно закричалъ онъ ему въ слѣдъ и закашлялся.

Иванъ кивнулъ брату головой и вышелъ, разбитый и разслабленный. По мѣрѣ того какъ пылъ негодованія утихалъ въ немъ, горе, точно ворогъ, сильнѣе и сильнѣе насѣдало на него и, какъ матеріальная тяга, пригибало его. И кромѣ всѣхъ утратъ, Мытищевъ впервые почувствовалъ тутъ наступающее старческое слабосиліе. Нагнулъ онъ голову, какъ-то весь опустившись, и поѣхалъ въ свой опостылый домъ.

XX.

Какъ только братъ вышелъ и стукъ его экипажа удалился, Василій далъ себѣ полную волю.

— О, подлецы! крикнулъ онъ, ударивъ рукой по столу и думая про доносчиковъ, и потомъ вновь крикнулъ, но уже отъ боли въ ногѣ. — Иванъ! — позвалъ онъ.

Явился его старый слуга.

— Пододвинь мнѣ бумагу и чернильницу.

Слуга исполнилъ приказаніе и Мытищевъ кудреватыми старинными каракулями написалъ:

«Пріѣзжайте ко мнѣ: очень нужно!»

— Отослать Камышлинцеву и если его нѣтъ дома, то отыскать и спросить отвѣта, — сказалъ онъ, запечатавъ и отдавая записку.

Посланный уѣхалъ, а Василій Сергѣичъ остался злиться. Больше всего онъ злился на доносчика, но злился и на молодую пару, только не за то, что они любились и сдѣлали несчастнымъ брата, а опять-таки за ихъ неосмотрительность. Брата онъ глубоко жалѣлъ: несмотря на свою желчь, старческій эгоизмъ и какъ-бы безсердечность, онъ очень любилъ брата и въ настоящемъ случаѣ, подумывая о его положеніи, искренно скорбѣлъ. Но онъ скорбѣлъ о его несчастіи такъ, какъ-бы оно упало совершенно случайно, какъ падаетъ иногда камень на голову прохожему. Независимо отъ того, что онъ очень любилъ Камышлинцева, и особенно Ольгу, независимо отъ своего образа мыслей, онъ въ этомъ случаѣ вполнѣ раздѣлялъ то всеобщее, безотчетное пристрастіе, которое, въ дѣлахъ подобнаго рода, всегда становится на сторону обманывающихъ, а не обманутаго. Мы не будемъ разбирать этотъ фактъ, но коснувшись его, не можемъ не замѣтить, что—каково бы ни было личное мнѣніе каждаго о случаяхъ подобнаго рода, — всякій согласится, что должны же существовать какія-то неотразимо-извиняющія, если не оправдывающія, подобные поступки причины, причины, лежащія въ самой природѣ нашей и дѣйствующія непосредственно на наше сознаніе. Вопреки всѣмъ установившимся понятіямъ о нравственности, обязанностяхъ и проч., мы всегда смѣемся надъ обманутымъ мужемъ, всегда въ глубинѣ души оправдываемъ тѣхъ, кого велитъ винить нравственность, и становимся на сторону природы, не слушающейся нашихъ условій и установленій.

Вмѣсто отвѣта отъ Камышлинцева, вскорѣ явился онъ самъ.

— Зачѣмъ я вамъ нуженъ?—спросилъ онъ входя.

— Вы ничего не знаете? — Съ вами ничего не случилось? — спросилъ его Мытищевъ, здороваясь съ нимъ.

— Ничего! — отвѣчалъ озадаченный Камышлинцевъ.

Мытищевъ нѣсколько мгновеній молча смотрѣлъ на него, какъ-бы наказывая его и злобно играя его нетерпѣніемъ.

— А гдѣ у васъ письмо, которое вы писали къ Ольгѣ и на которомъ она вамъ отвѣчала?—спросилъ онъ наконецъ.

Камышлинцевъ почувствовалъ, какъ будто въ него въ упоръ выстрѣлили изъ пушки: онъ стоялъ ошеломленный.

— Оно у меня въ столѣ. Какъ вы узнали про него? — спросилъ онъ.

— Да мнѣ сейчасъ братъ давалъ его читать,— замѣтилъ Мытищевъ хладнокровнымъ образомъ. У Камышлинцева, какъ говоритъ простонародье, сердце за сердце зашло.

— Но какъ оно къ нему попало?—спросилъ весь встревоженный и поблѣднѣвшій Камышлинцевъ.

— А объ этомъ васъ надо бы спросить, — сказалъ Мытищевъ.—Оно ему подослано съ мальчишкой... да вотъ кстати братъ и конвертъ забылъ.

Онъ подалъ его растерянному Камышлинцеву, который взялъ его и вертѣлъ, ничего не понимая: у него какія-то мурашки въ пяткахъ шевелились.

— Эхъ вы!—укорительно и злобно сказалъ старикъ:—умѣете воровать, а не умѣете концовъ хоронить.

Камышлинцевъ въ отвѣтъ только понурилъ голову.

— Письмо должно быть кѣмъ-нибудь украдено! — пробормоталъ онъ наконецъ.

— Да кто, когда и какъ?—спрашивалъ старикъ.

Пошли догадки, разспросы, какъ принялъ извѣстіе Иванъ Сергѣичъ, что онъ намѣренъ дѣлать.

Василій Мытищевъ, ворчливо и сердясь, разсказалъ свой разговоръ съ братомъ. Думали, какъ бы предупредить Ольгу Өедоровну, но было уже около 11 часовъ вечера и вѣроятно мужъ уже встрѣтился и говорилъ съ ней. Сообщивъ и разспросивъ, что было нужно, Камышлинцевъ молча всталъ и взялся за фуражку: ему не сидѣлось. Старикъ во все время разговора былъ съ нимъ холоденъ и брюзжалъ, но, прощаясь, сказалъ ему:

— А вы завтра тотчасъ дайте знать, чѣмъ все это кончится.

Камышлинцевъ обѣщалъ и поскакалъ домой, хотя, собственно говоря, скакать было и не за чѣмъ.

Намъ надо сказать нѣсколько словъ о прислугѣ Камышлинцева и его квартирѣ.

Какъ скоро было обнародовано Положеніе, Камышлинцевъ далъ увольненіе всѣмъ своимъ дворовымъ, нанявъ тѣхъ, которые ему были нужны, и оставивъ стариковъ и старухъ, которые не хотѣли никуда уходить. Слуга, ходившій собственно за Камышлинцевымъ, еще прежде былъ отпущенъ имъ на свободу и остался при немъ по найму. Это былъ степенный холостякъ, лѣтъ за сорокъ, знавшій Камышлинцева съ-дѣтства, ходившій за нимъ лѣтъ двадцать и вполнѣ ему преданный. Онъ принадлежалъ къ той породѣ слугъ, выработанной крѣпостнымъ правомъ и тѣсными отношеніями къ господамъ, которые были скупѣе на барское добро, чѣмъ на свое собственное, и всю гордость свою сосредоточивали въ господахъ. Заподозрить его по поводу письма было бы великой несправедливостью.

Камышлинцевъ ни мало и не сомнѣвался въ своемъ слугѣ. Тѣмъ не менѣе онъ имѣлъ право думать, что письмо украдено по его оплошности. Едва онъ снялъ пальто, какъ кинулся къ письменному столу, никогда имъ не запираемому, и выдвинулъ ящикъ: бумаги были въ безпорядкѣ, но у него въ нихъ никогда большаго порядка не было.

— У меня былъ какой-то воръ и укралъ отсюда одну бумагу!—сказалъ онъ слугѣ.—Кто былъ безъ меня въ квартирѣ?

Слуга былъ совсѣмъ озадаченъ.

— Никого безъ васъ не бывало, — отвѣчалъ онъ, — я никого сюда не впускалъ.

— Однакоже у меня на дняхъ украдена изъ этого стола одна бумага: я ее сейчасъ видѣлъ въ чужихъ рукахъ; она лежала вотъ тутъ наверху!

Слуга увѣрялъ, что онъ знать не знаетъ и никого тутъ не было, а что касается его самого, то неужели Дмитрій Петровичъ думаетъ...

Но Дмитрій Петровичъ и не думалъ на слугу. Камышлинцевъ зналъ также, что когда безъ него Степанъ уходилъ со двора, то оставлялъ ключъ одному изъ дворовыхъ хозяйки, старику Лаврентію, своему большому пріятелю, человѣку тоже, какъ казалось, совершенно благонадежному и болѣе расположенному къ Камышлинцеву, нежели къ своей барынѣ.

— Не Лаврентій ли твой? — сердито спросилъ Камышлинцевъ, чувствуя однакожь, что и Лаврентія подозрѣвать нѣтъ основаній.

— Помилуйте?—отвѣчалъ обидчиво Степанъ,— да я за Лаврентья Васильича, какъ за себя, поручусь.

— Ну, такъ кто же? — сердито спросилъ Камышлинцевъ, — не сама же бумага улетѣла.

— Какъ ей самой улетѣть!—замѣтилъ Степанъ, однакожь такъ неувѣренно, какъ-будто думалъ: «а чортъ ее знаетъ, можетъ и сама улетѣла.»

— Да вы бы, сударь, спросили тѣхъ, у кого ее видѣли, какъ она къ нимъ попала?—весьма основательно замѣтилъ онъ, очень довольный своей догадкой, и удивлялся, что барину не пришла въ голову такая простая вещь.

Но, къ его удивленію, вмѣсто благодарности, баринъ — что случалось весьма рѣдко, — сказалъ ему самымъ энергическимъ образомъ: «Дуракъ!» и только потомъ прибавилъ: «Неужели ты думаешь, что я не догадался бы этого сдѣлать?» Рѣшили позвать и спросить Лаврентія подъ секретомъ, и Лаврентій не только поклялся, что самъ не входилъ, никого не впускалъ, ключа никому не давалъ, но предложилъ образъ со стѣны снять и даже поклялся страшнѣйшей для всякаго мало-мальски боязливаго, русскаго человѣка клятвой: «Да пусть у меня черти въ брюхѣ заведутся, если я виноватъ!» Послѣ этого сомнѣваться въ немъ уже не было никакой возможности. Всѣ предались молчаливому раздумью.

— Развѣ не барыня ли входила, или не изъ ихъ ли комнаты кто нибудь — замѣтилъ наконецъ Лаврентій, и маленькіе глаза его подозрительно прижмурились.

Осмотрѣли кабинетъ, и дѣйствительно это предположеніе оказывалось вѣроятнымъ. Кабинетъ Камышлинцева примыкалъ къ комнатамъ, занимаемымъ самой хозяйкой. Тоненькая дверь, которая ихъ соединяла, запиралась изъ квартиры хозяйки и отворялась къ ней внутрь. Отъ Камышлинцева она была задернута драпировкой и заставлена небольшимъ столомъ, который легко было отставить. Далѣе оказалось, что у хозяйки бывали (и еще недавно собирались вечеромъ, когда Камышлинцевъ былъ въ клубѣ, а слуга его уходилъ къ людямъ Мытищевыхъ) Пентюхина, да еще какая-то подозрительная личность, чиновникъ, выгнанный изъ службы и занимающійся писаніемъ просьбъ, жалобъ, доносовъ и готовый продать всѣхъ и вся за грошъ. Осмотрѣлъ Камышлинцевъ всѣ бумаги, а слуга платье и вещи,—все оказалось въ цѣлости, и потому обыкновеннаго вора предполагать было нельзя. Камышлинцевъ долженъ былъ ограничиться подозрѣніями, но не выдержалъ и на другой день отправился къ хозяйкѣ.

— У меня былъ кто-то въ квартирѣ и рылся въ моихъ бумагахъ: въ Степанѣ я увѣренъ, а затѣмъ войти некому было иначе, какъ отъ васъ,— сказалъ онъ сурово.

Хозяйка поблѣднѣла, но обидѣлась.

— Помилуйте, Дмитрій Петровичъ, за кого вы меня считаете? Да я! да избави Богъ!

Камышлинцевъ настаивалъ, что взойти больше не откуда, какъ отъ нея, и что онъ потребуетъ слѣдствія. Хозяйка, сначала очень смутившаяся, видя, что никакихъ доказательствъ Камышлинцевъ не имѣетъ, оперлась и запѣла извѣстную пѣсню, что бѣдную женщину всякій можетъ обидѣть.

Камышлинцевъ снова пригрозилъ слѣдствіемъ, сказалъ, что онъ не можетъ оставаться на подобной квартирѣ, — но сдѣлать ничего не могъ. Въ самомъ дѣлѣ, какія доказательства? Да хотя бы и были они, надо объяснить, какого рода бумага украдена и почему онъ думаетъ, что она украдена, а не потеряна. Наконецъ, хоть бы и была доказана кража, что сдѣлаетъ за это нашъ судъ тогдашняго времени?

По всѣмъ этимъ соображеніямъ объ огласкѣ и слѣдствіи не могло быть и рѣчи, и когда съ розыскомъ не оставалось ничего дѣлать, Камышлинцевъ задумался надъ другимъ и гораздо болѣе важнымъ вопросомъ, отъ котораго разслѣдованіе отвлекло его, надъ вопросомъ: «что ему дѣлать?»

Сначала онъ было думалъ ждать рѣшенія Ивана Мытищева, но потомъ счелъ за лучшее предупредить его разъясненіемъ пропажи и потому же написалъ письмо слѣдующаго содержанія:

«Милостивый государь
Иванъ Сергѣевичъ!

Василій Сергѣичъ сообщилъ мнѣ о полученномъ вами письмѣ: оно украдено изъ моего стола, и какъ полагаю, моей хозяйкой. Въ этомъ письмѣ и моя вина и мое оправданіе. Я не позволю себѣ высказать вамъ все глубокое сожалѣніе о томъ, что судьба поставила меня на дорогѣ вашего семейнаго счастія. Но если вы найдете, что я чѣмъ бы то ни было могу хоть отчасти исправить несчастье, причиненное вамъ, то могу васъ увѣрить, что нѣтъ жертвы, которую я не былъ бы готовъ принесть для этого. При этомъ считаю нужнымъ только заявить, что во всемъ происшедшемъ виноватъ я одинъ, и одинъ долженъ нести отвѣтственность за свои поступки. Поэтому позвольте надѣяться отъ чувства вашей справедливости и деликатности, что вы не подвергнете незаслуженнымъ укорамъ ту, которая не имѣла достаточно силъ, чтобы сопротивляться своему чувству.

Дмитрій Камышлинцевъ».

Отправя письмо, Камышлинцевъ ждалъ въ волненіи отвѣта; писать Ольгѣ или имѣть съ нею свиданіе онъ считалъ теперь непозволительнымъ. «Теперь ужь вѣроятно у нихъ были объясненія», думалъ онъ и при этой мысли у него сердце щемило.

Посланный воротился и далъ отвѣтъ, что Иванъ Сергѣичъ проситъ Дмитрія Петровича къ себѣ въ 12-ть часовъ. Разспрашивать посланнаго, что дѣлается у Мытищевыхъ, онъ счелъ неприличнымъ, чтобы не подать подозрѣній. Сильно билось у него сердце, когда въ назначенный часъ онъ остановился и позвонилъ у подъѣзда, столь знакомаго и съ настоящаго дня, вѣроятно, на всегда запертаго для него дома.

XXI.

По возвращеніи отъ брата, Иванъ Сергѣевичъ велѣлъ сказать барынѣ, что онъ долго будетъ заниматься и заперся на ключъ въ кабинетѣ. Когда всѣ уже улеглись въ домѣ и было далеко за полночь, слугѣ, проходившему мимо кабинета, а можетъ и подслушавшему у двери, показалось, что баринъ молится и плачетъ, но поутру, когда Мытищевъ позвонилъ, слуга нашелъ его совершенно спокойнымъ.

Мытищевы завтракали обыкновенно въ 12 часовъ и къ этому времени жена его выходила изъ своей комнаты. Въ настоящій день, узнавъ, что мужъ ея цѣлую ночь не выходилъ изъ кабинета, она, нѣсколько встревоженная, едва сдѣлавъ утренній туалетъ, постучалась къ мужу.

— Можно войти?— спросила она.

— Нѣтъ, я занятъ!—отвѣчалъ Мытищевъ,—но скоро выйду. Потомъ, пріотворивъ дверь, онъ сказалъ:

— Я послалъ за Камышлинцевымъ, мнѣ нужно его видѣть; если онъ пріѣдетъ, прими его. Я къ вамъ выйду.

— Хорошо! — отвѣчала Ольга, съ удивленіемъ смотря на его перемѣнившееся лицо.—Да ты боленъ?—спросила она.

— Нѣтъ! я работалъ и усталъ,—отвѣчалъ онъ и затворилъ дверь.

Встревоженная и чующая что-то недоброе Ольга удалилась. А Мытищевъ позвалъ слугу и сказалъ ему, что никого кромѣ Камышлинцева не принимать, а когда онъ пріѣдетъ то просить его къ барынѣ.

Вскорѣ у подъѣзда остановился чей-то экипажъ и Мытищевъ услыхалъ голосъ Камышлинцева, разговаривающаго съ слугой, и потомъ шаги его по залѣ. Мытищевъ вынулъ часы, замѣтилъ время и сталъ ходить по комнатѣ.

Между тѣмъ Камышлинцевъ на вопросъ, гдѣ Иванъ Сергѣичъ, услыхалъ отъ слуги, что баринъ просятъ его взойти пока къ Ольгѣ Ѳедоровнѣ, а что «они скоро выйдутъ.»

— А Ольга Ѳедоровна здорова?— не выдержавъ, спросилъ Камышлинцевъ.

— Ничего-съ! здоровы!—отвѣчалъ слуга такимъ равнодушно-утвердительнымъ голосомъ, который тотчасъ убѣдилъ Камышлинцева, что или въ домѣ не было никакой сцены, или люди ничего не знаютъ о ней. Камышлинцевъ старался тоже принять самый спокойный видъ, но взглянувъ на себя въ зеркало, онъ замѣтилъ, что лицо у него было зеленовато-блѣдное. Онъ оправился и вошелъ.

Мы уже замѣчали, что любовникъ хозяйки дома входитъ къ ней совсѣмъ иначе, чѣмъ всѣ знакомые. Ему кажется, что не только сама хозяйка,

но весь домъ ея тайно принадлежитъ ему. Особенно свободно относится онъ къ прислугѣ, а прислуга, чуя или зная его права, какъ-то привѣтливо-фамильярно обращается съ нимъ. Особенно свободно идетъ онъ по комнатамъ, зная то чувство, съ которымъ ждетъ и встрѣтитъ его милая женщина и, съ сдержаннымъ сознаніемъ собственнаго превосходства и съ скрытой насмѣшкой, пожимаетъ онъ руку радушно встрѣчающаго его мужа.

Не смотря на уваженіе свое къ Мытищеву, не смотря на свою совѣстливость, такъ, или почти такъ, входилъ доселѣ и Камышлинцевъ въ этотъ домъ, не смотря на разрывъ свой съ Ольгой. Но сегодня онъ чувствовалъ, что не такъ входится. Онъ запасся еще кое-какъ твердостью, чтобы встрѣтиться съ Мытищевымъ; но когда его пригласили къ барынѣ, онъ догадался, что мужъ нарочно предоставляетъ ему объявить обо всемъ своей любовницѣ, и почувствовалъ, что ноги его какъ-то не совсѣмъ твердо и не совсѣмъ обыкновенно идутъ по полу. Сердце стучало у него какъ молотокъ и пока онъ шелъ до комнаты Ольги, онъ переживалъ минуты безпощадной и безвыходной совѣстливости.

Камышлинцевъ вошелъ въ кабинетъ Ольги и въ тоже время приподнялась портьера противоположной двери и вошла Ольга. Она была въ утреннемъ бѣломъ капотѣ: нѣсколько упрямыхъ кудрей задорно торчали надъ лбомъ, прелестное, еще полное утренней свѣжести личико было нѣсколько встревожено. Она протянула руку Камышлинцеву. Онъ взялъ эту руку и крѣпко сжалъ ее. Съ перваго же взгляда на Ольгу, Камышлинцевъ убѣдился, что ей ничего неизвѣстно.

— Никого здѣсь нѣтъ?—въ полголоса и торопливо спросилъ онъ ее по-французски.

— Никого!—отвѣчала Ольга и еще болѣе встревожилась.

— Иванъ Сергѣичъ не говорилъ тебѣ ничего?—спросилъ онъ, не смотря на то, что въ послѣднее время не былъ съ Ольгой на ты.

— Нѣтъ! Я его со вчерашняго обѣда не видала.

Камышлинцевъ остановился. Ему тяжело было говорить.

— Ему все извѣстно! — тихо выговорилъ онъ наконецъ. Онъ держалъ еще руку Ольги и почувствовалъ, какъ эта рука похолодѣла и задрожала. Ольга опустилась на диванъ.

— Какъ, какъ это?—едва выговорила она. Лицо ея поблѣднѣло, какъ полотно; губы посинѣли.

— У меня кто-то изъ стола укралъ наше письмо и переслалъ его твоему мужу, — сказалъ сквозь зубы Камышлинцевъ, котораго жгли стыдъ и досада.

Ольга не сказала ни слова, но глядѣла на Камышлинцева съ ужасомъ. Ему почуялись въ этомъ взглядѣ и укоръ, и презрѣніе, и негодованіе. Но все, что бы въ немъ ни было, не могло сравниться съ чувствомъ, которое было въ самомъ Камышлинцевѣ.

Ольга была такъ блѣдна, что казалось, похудѣла внезапно; она попрежнему смотрѣла на Камышлинцева, ей думалось, что не все ей сказано, что не все поняла она, и она ждала еще чего-то. Камышлинцевъ сознавалъ, что надо что нибудь говорить Ольгѣ, успокоить ее.

— Вчера за мной прислалъ Василій Сергѣичъ и сказалъ мнѣ все. Иванъ Сергѣичъ былъ у него передъ тѣмъ и показывалъ ему письмо. Я ему писалъ сегодня. Онъ меня просилъ пріѣхать сюда,— говорилъ Камышлинцевъ, почти не сознавая хорошенько, что говорилъ.

— Я не понимаю, какъ это могло случиться— продолжалъ онъ, немного погодя.—Письмо было у меня въ кабинетѣ, въ письменномъ столѣ: это я знаю положительно. Его оттуда украла, должно полагать, моя хозяйка, или кто-нибудь изъ входившихъ безъ меня, хотя Степанъ говоритъ, что никто не входилъ въ комнаты и онъ квартиру отпертой не оставлялъ... Должно быть, хозяйка: кромѣ ея не кому, а она на меня зла... Или Пентюхина!... Пентюхина сидѣла, говорятъ, у нея на дняхъ цѣлый вечеръ, иначе я не могу ничего объяснить себѣ!—сказалъ онъ и опустилъ глаза: ему совѣстно было смотрѣть на Ольгу.

Она по прежнему молча смотрѣла на него.

— Мнѣ, Богъ знаетъ какъ, и совѣстно и больно,—говорилъ Камышлинцевъ. — Я не смѣю глядѣть на васъ. — Онъ поднесъ руку Ольги къ губамъ и цѣловалъ ее, а у самаго были слезы на глазахъ. Рука была холодна, какъ ледъ, и Ольга не отнимала ее.—Я и прощенья просить не смѣю,— тихо добавилъ онъ.

— Да что же мужъ? Что онъ сказалъ?—спросила, наконецъ, Ольга.

— Я его не видалъ. Я вамъ сказалъ, что писалъ къ нему; но онъ вмѣсто отвѣта просилъ меня пріѣхать сюда и поручилъ слугѣ провести меня къ вамъ. Впрочемъ, Василій Сергѣичъ говорилъ, что онъ, конечно, огорченъ, но... принялъ это благоразумнѣе, чѣмъ можно было бы ожидать. Вы помните, въ этомъ письмѣ мы рѣшились на разлуку, чтобы только не обманывать его, и отзывались о немъ очень почтительно. Что же онъ можетъ теперь требовать отъ насъ... когда онъ знаетъ, что разрывъ уже сдѣланъ?—говорилъ Камышлинцевъ, чтобы успокоить Ольгу.

— Онъ... онъ вѣроятно броситъ меня!—проговорила Ольга съ ужасомъ.

— Не думаю! — замѣтилъ Камышлинцевъ; онъ чувствовалъ себя въ эту минуту въ особенно скверномъ положеніи.—Впрочемъ еслибы...—прибавилъ онъ и не кончилъ, онъ хотѣлъ сказать: «я остаюсь вашъ, мы будемъ свободны». Но все это почему-то не выговорилось: онъ только еще разъ поцаловалъ руку Ольги, которая тихонько высвободила ее.

— Молва, сплетни, скандалъ... Я погибла!—сказала она и закрыла лицо руками.

Камышлинцевъ молчалъ. Что могъ онъ сказать? Замѣчательно, что слово любовь не было и помя-

нуто между ними. Точно они съ ней совсѣмъ покончили!

— Успокойтесь, Ольга!—сталъ наконецъ уговаривать Камышлинцевъ. — Можетъ быть, все устроится,—уговаривалъ онъ и самъ чувствовалъ, что все, что ни говоритъ, болтовня и вздоръ.

Ольга взяла платокъ, который Камышлинцевъ намочилъ одеколономъ, и молча терла виски. Мытищевъ все не приходилъ. Они испытывали нѣчто въ родѣ того, что долженъ испытывать осужденный на казнь, когда ему накинули на шею петлю, но не толкаютъ съ подмостковъ.

Но палачъ все еще не шелъ толкнуть ихъ: онъ ходилъ по кабинету и ждалъ—ждалъ, когда пройдетъ четверть часа, положенная имъ на объясненіе любовниковъ.

— Что же онъ нейдетъ, однако?—говорилъ Камышлинцевъ, и радъ былъ, что имѣлъ возможность сдѣлать видъ, что сердится и винитъ Мытищева.— Я пойду къ нему!—сказалъ онъ.

— Нѣтъ! Останьтесь, останьтесь! — говорила Ольга. — Онъ велѣлъ подождать... Да и лучше вмѣстѣ! Я боюсь!

— Бѣдная моя!—сказалъ онъ и наклонился къ ея рукѣ.

— Оставьте, оставьте! — сказала Ольга въ какомъ-то ужасѣ: она подумала, что мужъ можетъ придти и увидѣть ихъ. И странно, что теперь, когда мужу все извѣстно, она страшно боялась этого, тогда какъ прежде, съ дерзостью, свойственной только любящимъ женщинамъ, за спиной мужа подавала Камышлинцеву руку.

Камышлинцевъ отошелъ, опустилъ голову. Прошло еще нѣсколько страшно длинныхъ минутъ или можетъ только секундъ; иногда и секунды бываютъ необыкновенно долги. Наконецъ стукнула дверь кабинета, послышались знакомые шаги. У Ольги сердце такъ и захолонуло. Да и у Камышлинцева оно забилось иначе. Вошелъ Мытищевъ.

Онъ былъ, какъ и всегда, до щепетильности опрятенъ и приличенъ, по обыкновенію въ черномъ сюртукѣ, гладко выбритый и причесанный, съ тугими бѣлѣйшими воротничками сорочки. Правильное и блѣдное лицо его было какъ-то важно печально и нѣсколько торжественно: у лютеранскихъ пасторовъ бываетъ такое выраженіе, когда они сбираются говорить надгробное слово. Но въ походкѣ и выпрямленномъ станѣ Мытищева видно было то чувство рыцарскаго достоинства, которое встрѣчалось у дворянства двадцатыхъ годовъ и французскихъ эмигрантовъ.

Ольга какъ была на диванѣ такъ и осталась. Она не могла смотрѣть на мужа и, прижавъ платокъ къ глазамъ, закрыла лицо обѣими руками; но плечи ея нервно вздрагивавшія, говорили, въ какомъ она была волненіи. Камышлинцевъ стоялъ нѣсколько поодаль блѣдный, но суровый, онъ держалъ въ рукѣ шляпу, какъ человѣкъ, пришедшій по дѣлу или мало знакомый гость. При входѣ Мытищева онъ наклонилъ голову; Мытищевъ, проходя мимо, сухо поклонился ему. Онъ подошелъ прямо къ женѣ.

— Вашъ другъ конечно сообщилъ вамъ, что онъ лучше скрываетъ свою переписку отъ меня, чѣмъ отъ посторонихъ,—сказалъ Мытищевъ: теперь ее вѣроятно знаетъ весь городъ.

Онъ положилъ письмо на столъ передъ Ольгой, и потомъ прошелся по комнатѣ.

— Я понимаю, что вамъ совѣстно смотрѣть на меня,—сказалъ онъ, остановясь противъ Ольги и обращаясь къ ней,—но не бойтесь, я не намѣренъ васъ укорять! Вы меня должны только выслушать внимательно, и вы, господинъ Камышлинцевъ, — добавилъ онъ, обращаясь къ нему.

Камышлинцевъ молча поклонился головой.

— Я предоставляю вамъ самимъ обсужденіе вашего поступка со мной,—продолжалъ Мытищевъ.— Но я васъ не упрекаю, и мнѣ не нужны ни извиненія, ни удовлетворенія, — прибавилъ онъ, обращаясь къ Камышлинцеву.—Да и какое удовлетвореніе можете вы мнѣ дать за потерянную любовь жены и семейное счастіе?—спросилъ онъ печально, но приподнявъ голову. Камышлинцевъ опустилъ глаза.—Честь мою,—съ достоинствомъ прибавилъ Мытищевъ,—я не довѣряю друзьямъ и женщинѣ и держу ее слишкомъ высоко, чтобы чужой обманъ могъ отразиться на ней! — Онъ въ волненіи прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ.

— Вы поймете,—началъ онъ снова,—что мы не можемъ оставаться въ прежнихъ отношеніяхъ! Я не хочу стоять между вами и препятствовать вашему счастію. Съ этой минуты вы свободны! — сказалъ онъ Ольгѣ,—и я возвращаю клятву, которую вы нарушили. — Онъ снялъ обручальное кольцо и положилъ его передъ Ольгой. Плечи Ольги начали вздрагивать сильнѣе и чаще: она рыдала.

— Я хотѣлъ сейчасъ же разойтись съ вами, продолжалъ Мытищевъ,—но вы до такой степени боялись огласки и мнѣнія свѣта, что пожертвовали имъ вашей любовью. Я не хочу того, что вы считаете несчастьемъ. Я не хочу, чтобы вы страдали. Поэтому для свѣта вы будете моей женой и мы останемся вмѣстѣ. Послѣ, если захотите и передумаете, я буду готовъ и разойтись и просить о разводѣ... но, повторяю, я не желаю быть помѣхой вашей любви: я не принимаю жертвъ, я не хочу ихъ!—сказалъ онъ гордо и грозно. Онъ опять прошелся нѣсколько разъ молча и, овладѣвъ снова собою, продолжалъ.—Что касается отношеній моихъ къ вамъ, — сказалъ Мытищевъ Камышлинцеву, — то я тоже не хочу, чтобы для свѣта они измѣнились... конечно только для свѣта! Дѣло, которому мы служимъ, слишкомъ велико и свято, чтобы страдать ему отъ нашихъ личныхъ столкновеній. Нашъ разрывъ хоть косвенно, но можетъ отразиться на немъ, и, можетъ быть, ужь много подлецовъ и разной дряни радуются и ждутъ этого разрыва. Я не хочу доставлять имъ этого удо-

вольствія и вотъ почему я рѣшился такъ дѣйствовать!

— Я думаю, вы согласны со мною?—спросилъ онъ послѣ небольшаго молчанія.

Камышлинцевъ почтительно поклонился.

— Я знаю,—продолжалъ Мытищевъ,—что надомной будутъ подсмѣиваться. Но я презираю эти дрязги и съумѣю стать выше ихъ. И вы должны мнѣ помочь, — сказалъ онъ строго. — Вы должны поднять головы высоко и смотрѣть всѣмъ прямо въ глаза. Слышишь, Ольга! Если я не виню тебя, то тебѣ нечего бояться свѣта: ему нѣтъ дѣла до нашихъ семейныхъ отношеній!...

Онъ прошелся нѣсколько разъ молча.

— Я перемѣню квартиру и вы должны жить съ нами, — сказалъ онъ Камышлинцеву. — Сегодня у насъ будутъ обѣдать нѣсколько человѣкъ; вы должны тоже быть. Постарайся оправиться, Ольга, и чтобы все было какъ обыкновенно. На насъ будутъ смотрѣть, и я не хочу никому доставить удовольствія радоваться моему несчастію.

При словѣ «несчастіе» ему припомнилось все, что онъ терялъ и что съ нимъ случилось: одушевленіе, въ которомъ онъ себя поддерживалъ, разступилось, и голая гровная правда пробилась наружу. Голосъ дрогнулъ у Мытищева и онъ готовъ былъ разрыдаться, но сдержалъ себя и вышелъ, по прежнему печальный, твердый и нѣсколько торжественный. Римскіе герои, какъ изображаютъ ихъ легенды и старые учебники, должны были такъ удаляться съ трибуны послѣ своихъ рѣчей.

XXII.

Когда Мытищевъ вышелъ, влюбленные оставались еще на нѣсколько минутъ недвижимы подъ впечатлѣніемъ всего выслушаннаго: исходъ драмы былъ такъ неожиданно-счастливъ для нихъ, что они еще не могли придти въ себя. Наконецъ Ольга опустила руки, откинула назадъ голову и вздохнула, какъ вздыхаетъ придавленный, когда съ него снимутъ тяжесть. Они взглянули другъ на друга какимъ-то недоумѣвающимъ взглядомъ.

— Онъ высоко-честный человѣкъ!—выразительно сказалъ Камышлинцевъ. Какое-то чувство говорило ему, что не слѣдъ ему оставаться теперь съ Ольгой и какъ-бы тотчасъ же воспользоваться такъ великодушно предоставленной свободой. — Прощайте! сказалъ онъ, протянувъ руку Ольгѣ. Та медленно подала ему свою, все еще холодную и блѣдную руку.

— Вы на меня не сердитесь? — спросилъ онъ.

— Нѣтъ!—отвѣчала она тихо и болѣзненно, но съ такимъ выраженіемъ, которое говорило ему: «Ахъ, не до тебя мнѣ теперь»!

Камышлинцевъ посмотрѣлъ на нее въ раздумьи и вышелъ съ какимъ-то смятеніемъ и стыдливостью, какъ оставляемый безъ обѣда гимназистъ возвращается домой, гдѣ долженъ разсказать все родителямъ. Но Камышлинцеву не кому было разсказывать. Къ Василью Мытищеву, у котораго онъ обѣщалъ тотчасъ же побывать, онъ отложилъ поѣздку, избѣгая встрѣтиться тамъ съ Иваномъ Сергѣевичемъ, у котораго былъ поданъ экипажъ и который, какъ онъ догадывался, вѣроятно поѣдетъ къ брату. Онъ поѣхалъ домой, чтобы отдохнуть и нѣсколько переварить все выслушанное.

Какъ случается всегда, когда человѣкъ въ сильномъ волненіи, Камышлинцевъ не усидѣлъ долго и, увидавъ чрезъ нѣсколько времени въ окно Ивана Мытищева, проѣхавшаго повидимому отъ брата, отправился къ Василью Сергѣевичу.

Старикъ встрѣтилъ его по обыкновенію ворчливо, но безъ вчерашней сухости: видно было, что онъ не могъ справиться съ удовольствіемъ которое ему доставилъ исходъ событій.

— Ну что?—спросилъ онъ,—васъ высѣкли великодушіемъ?

— Да! — улыбаясь отвѣчалъ Камышлинцевъ. — Иванъ Сергѣевичъ остался вѣренъ себѣ. Это истинно благородный человѣкъ.

— Кто же въ этомъ сомнѣвался?—сурово спросилъ старикъ. Они всѣ таковы. Но они именно благородные, а не просто честные люди,—брюзжа добавилъ онъ.—Все французскій пошибъ какой-то у нихъ, да мелодрама. Вѣдь не скажетъ всѣмъ просто: я предоставилъ женѣ свободу. Нѣтъ — самопожертвованіе! Не надоѣло оно имъ еще! Хорошо, что это не со мной случилось: я бы съ вами такъ церемониться не сталъ!

— А что, онъ величественно съигралъ свою роль? — спросилъ старикъ, помолчавъ.

— Надобно же, чтобы хоть это невинное удовольствіе награждало за хорошее дѣло,—отвѣчалъ Камышлинцевъ. — Во всякомъ случаѣ, онъ игралъ искренно и безъ всякаго желанія порисоваться.

— Да вѣдь это какъ люди настроятъ себя, — отвѣчалъ Мытищевъ.—Вотъ у нашего Момуса (онъ называлъ такъ одно извѣстное въ городѣ лицо) жена мѣняетъ любовниковъ чаще, нежели свои юбки; онъ это отлично знаетъ и никакой тутъ драмы не происходитъ и живутъ-себѣ очень мирно: а съ другими случится — трагедія выйдетъ! Впрочемъ, и у васъ такъ же кончится! черезъ мѣсяцъ весь городъ будетъ знать секретъ, все обойдется и будетъ нѣчто въ родѣ Момуса. Рога, говорятъ, какъ зубы: больно только когда прорѣзываются. Дастъ Богъ и вы отъ нихъ не уйдете: qui a peché par le glaive, périra par le glaive... какъ это у васъ тамъ, по-русски?

Такъ подсмѣивались старый циникъ съ молодымъ ловеласомъ надъ человѣкомъ, котораго назвали только-что благороднѣйшимъ, — подсмѣивались надъ поступкомъ, дойти до котораго стоило человѣку такой борьбы и самопожертвованія, что онъ и за пистолетъ хватался и молился цѣлую ночь.

— Такъ вы тамъ обѣдаете? — спросилъ Мытищевъ Камышлинцева, когда тотъ сталъ прощаться.

— Да, онъ этого непремѣнно хотѣлъ! — отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Заѣду и я посмотрѣть на эту комедію, коль меня жена (такъ онъ называлъ подагру) пуститъ. Это очень любопытно!

Они разстались.

Въ это утро Мытищевъ какъ-бы нечаянно зазвалъ къ себѣ нѣсколько человѣкъ обѣдать. Былъ въ числѣ другихъ и пріѣзжій флигель-адъютантъ; былъ одинъ зрѣлый юноша изъ породы добрыхъ малыхъ, котораго спеціальность состояла въ томъ, что онъ ѣздилъ по гостямъ, да собиралъ и развозилъ новости; была бойкая барыня, вдова, не богатая, но составившая себѣ въ обществѣ особенное и независимое положеніе какого-то распорядителя и блюстителя порядка, во все вмѣшивающаяся, все устроивающая, всѣмъ распоряжающаяся,—баба дѣятельная, практичная и все знающая. Гости, какъ видно, были выбраны ловко.

Старикъ Мытищевъ пріѣхалъ когда еще было только человѣка два мужчинъ, съ которыми сидѣлъ Иванъ Сергѣевичъ.

— А гдѣ Ольга?—спросилъ онъ.

— У себя еще, вѣроятно, сейчасъ выйдетъ, — отвѣчалъ Иванъ. — У ней голова болѣла.

— Ну, такъ я къ ней пойду,—сказалъ старикъ и, шаркая ногами, отправился въ комнату Ольги.

Онъ нашелъ Ольгу въ углу на кушеткѣ. Она примачивала глаза водой, чтобы не было замѣтно, что она плакала.

Василій подошелъ къ ней и по обыкновенію поцаловалъ ее въ голову.

— Пойдемъ! — сказалъ онъ, — полно кокетничать-то!

— Мнѣ не до кокетства!—тихо отвѣчала Ольга.

— Ну вотъ! есть о чемъ сокрушаться! — сказалъ онъ. — Надо только, чтобы глаза-то вотъ не были красные. Покажись-ка!

Онъ подвелъ ее къ свѣту.

— Ничего!—сказалъ онъ,—хоть десять барынь приведи! А про нашего брата, дураковъ, и говорить нечего.

У него на языкѣ вертѣлось нѣсколько язвительныхъ шутокъ, но ему жаль было Ольги, да и боялся онъ что, пожалуй, она еще расплачется, и старикъ чуть не въ первый разъ въ жизни удержался отъ нихъ. Мы говорили, что онъ очень любилъ Ольгу, а съ тѣхъ поръ, какъ онъ узналъ о ея связи, по странному, но общему всѣмъ мужчинамъ свойству, она ему стала нравиться еще болѣе.

Онъ взялъ подъ руку Ольгу и вышелъ вмѣстѣ съ ней. Мужчины начали распрашивать ее о здоровьи и предлагать средства отъ болѣзни. Василій Мытищевъ началъ что-то бранить и такъ какъ всѣ любили его желчныя выходки, то обратились къ нему. Ольга между тѣмъ оправилась и все пошло своимъ чередомъ.

За обѣдомъ Иванъ Мытищевъ сказалъ, что такъ какъ на зиму этотъ домъ придется освободить для самихъ Нобелькпебелей, то онъ думаетъ теперь переѣхать на другую квартиру и сегодня нанялъ домъ купца Брюханова.—Великъ только немного,— сказалъ онъ.—Внизу будетъ оставаться свободная половина.

— Вотъ,— сказалъ онъ Камышлинцеву, — переѣзжайте-ка къ намъ!

— Подумаю! — отвѣчалъ Камышлинцевъ пристально занявшись ножкой цыпленка.

— Чего тутъ думать!—рѣшила бойкая барыня:— хоть годъ думайте, а ужь ничего лучше и удобнѣе не придумаете.

— Жаль ему съ своей хозяйкой разстаться, — проговорилъ Василій Мытищевъ.

Всѣ хоромъ рѣшили, что Камышлинцевъ долженъ переѣхать.

— Я сегодня уѣзжаю недѣли на полторы въ деревню,—сказалъ Иванъ Сергѣевичъ,— а тамъ хозяинъ обѣщалъ кое-какія передѣлки, такъ вы, пожалуйста, присмотрите за ними. Да хорошо бы, еслибы ты, Ольга, безъ меня и переѣхала. Я тамъ назначилъ себѣ комнаты.

Ольга высказала-было затрудненія, но распорядительная барыня и тутъ вступилась.

— Какія же тутъ затрудненія?—сказала она,— людей у васъ, кажется, слава Богу, не мало: для переноски мебели и драпировки я вамъ пришлю обойщика Созона, онъ у меня всегда этимъ занимается и отлично все устроитъ; я и сама къ вамъ пріѣду помочь. А молодыхъ-то людей развѣ у насъ мало! Вотъ этого барина,—она указала на Камышлинцева, — перваго заставимъ смотрѣть, а этотъ,— она указала на другаго, — поможетъ.

Такъ было и рѣшено. Обѣдъ прошелъ благополучно. Знали или не знали что-нибудь гости о письмѣ — это неизвѣстно; но, уѣзжая, они были убѣждены, что если тутъ что-нибудь и было, то не такъ, какъ разсказываютъ, потому что никакого разрыва и скандала между дѣйствующими лицами не было, а напротивъ всѣ стали еще дружнѣе. При этомъ дѣлалось того сорта серьезное лицо, которое замѣняетъ улыбку.

Когда всѣ разъѣхались, Иванъ Мытищевъ сталъ собираться въ деревню. Не говоря ему ни слова, Ольга все заботилась, положили ли ему то, приготовили ли другое. Потомъ она долго ходила въ нерѣшительности по залѣ, прислушивалась, нѣтъ ли у него кого въ кабинетѣ, и наконецъ вошла къ нему.

Мытищевъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ и пересматривалъ какія-то бумаги. Услышавъ шорохъ платья, онъ оборотился.

— Что тебѣ? — спросилъ онъ.

Ольга подошла къ мужу, не говоря ни слова. Она стала передъ нимъ на колѣни, положила ему на колѣни руки, припала къ нимъ головой и зарыдала. Она была прелестна, эта кающаяся Магдалина, и бѣдный старикъ-мужъ чувствовалъ, какъ онъ любилъ ее и какъ она дорога ему! У него не нашлось болѣе словъ укоризненнаго великодушія и холодности, и слезы подступали къ глазамъ.

— Встань!—сказалъ онъ мягко: — полно, другъ мой, я не сержусь на тебя.

Онъ взялъ ее тихо за руки и хотѣлъ приподнять. Но она не говорила ни слова; она только сильнѣе припала къ его колѣнамъ и сильнѣе рыдала, и слезы ея были краснорѣчивѣе всякихъ словъ.

— Я не сержусь на тебя,—повторилъ старикъ, а у самого слезы уже капали и голосъ дрожалъ,— ты молода, а я старъ: любовь не въ нашей волѣ! Ты мнѣ дала три года счастья, ну и будетъ съ меня!.. Теперь люби меня, какъ отца и друга. Я ничего больше не требую... и я буду любить тебя, какъ дочь!

Онъ наклонился къ ней, поцаловалъ ея голову, всталъ и поднялъ ее.

— Зачѣмъ ты уѣзжаешь? — спросила Ольга. — Останься! ты знаешь — все кончено.

— Нѣтъ! — сказалъ твердо Мытищевъ, оправляясь отъ своего волненія: — я сказалъ, что не хочу жертвъ! Я не хочу заѣдать чужую молодость. Живите пока еще живется и будьте счастливы! А я — я поѣду не надолго. Мнѣ нужно успокоиться. Да и дѣла тамъ есть: я развлекусь. Ты не безпокойся обо мнѣ! — сказалъ онъ и нарочно позвонилъ, чтобы прекратить эту сцену.

— Готовы лошади? — спросилъ онъ вошедшаго слугу.

— Готовы-съ,—отвѣчалъ тотъ.

Мытищевъ на-скоро собрался.

— Ну прощай! — сказалъ онъ и торопливо поцаловалъ жену въ голову, пожалъ ея руки и уѣхалъ.

Въ этотъ вечеръ Ольга оставалась одна. Но на другой день къ ней заѣхалъ Камышлинцевъ: они были одни, были молоды, любили другъ друга — и они скоро помирились.

Все на свѣтѣ разъузнается... кромѣ того, что остается тайной. Но въ прозрачной губернской жизни тайнъ не бываетъ. Люди Камышлинцева и его хозяйки усердно развѣдывали о пропажѣ и узнали достовѣрнымъ образомъ, что въ комнату Камышлинцева входила Пентюхина, его хозяйка, и еще одна темная личность—чиновникъ, о которомъ говорилось выше. Цѣлью посѣщенія было, кажется, узнать, нѣтъ ли у Камышлинцева какихъ-нибудь бумагъ, которыя бы могли компрометировать его передъ правительствомъ, такъ какъ обѣ женщины (да и не онѣ однѣ) были твердо увѣрены, что Камышлинцевъ затѣваетъ бунтъ и хочетъ поднять всѣхъ крѣпостныхъ противъ ихъ господъ. Таковыхъ бумагъ однако не оказалось, а оказалось, извѣстное намъ письмо, которое Пентюхина тихонько отъ другихъ стащила и пустила въ ходъ. Разумѣется, Камышлинцевъ ничего не предпринималъ и не могъ предпринять противъ похитителей. Онъ сталъ только тщательнѣе запирать свой столъ.

Не осталось безъизвѣстнымъ и происшествіе съ письмомъ, но говорили про него разно и необстоятельно. И безъ него никто почти не сомнѣвался въ отношеніяхъ между Ольгой и Камышлинцевымъ, полагали, что это не безъизвѣстно и мужу, и объясняли его терпимость разными причинами, въ которыя, впрочемъ, много и не углублялись. Что же тутъ страннаго, что у молодой жены есть любовникъ и старикъ мужъ этого не замѣчаетъ или терпитъ. Это дѣло бываетъ сплошь и рядомъ: есть о чемъ думать!

И дѣйствительно казалось, что не о чемъ и думать. Иванъ Мытищевъ возвратился изъ деревни и переѣхалъ въ новый домъ (жена безъ него такъ и не переѣхала). При этомъ новаго было только одно, что комнаты, которыя онъ занялъ, были въ противоположномъ углу отъ жениныхъ. Камышлинцевъ однако не переѣзжалъ къ Мытищевымъ и избѣгалъ съ ними встрѣчи. Мытищевъ замѣтилъ это и, черезъ жену, передалъ Камышлинцеву упрекъ. При первой встрѣчѣ, Камышлинцевъ подошелъ къ нему и сказалъ:

— Я надѣлалъ вамъ зло неисправимое, Иванъ Сергѣевичъ, и глубоко сожалѣю объ этомъ; но оставаться въ тѣхъ отношеніяхъ, въ которыхъ вы хотѣли, чтобы я былъ, — я не могу! Либо будемъ какъ чужіе, либо простите меня искренно и останемся друзьями!

— Ну, Богъ васъ проститъ!—сказалъ Иванъ и искренно обнялъ Камышлинцева, бросившагося ему на шею. И новая семья зажила вмѣстѣ, повидимому дружно и мирно. Молодые, казалось, были счастливы, а старикъ примирился съ своимъ положеніемъ, хотя сталъ какъ-то чиннѣе, важнѣе и вмѣстѣ набожнѣе.

Драма — этотъ высокій строй жизни, котораго наши струны долго не выдерживаютъ — ослабла, и готова была перейти въ мѣщанскую комедію; но есть лица и есть положенія, въ которыхъ всякій строй держится долѣе, хотя и переходитъ въ другіе тоны. Нужно много времени, чтобы острыя ребра столкновеній пообтерлись и прилегли другъ къ другу, и не все то спокойно, что спокойно по наружности.

Между тѣмъ общій ходъ событій шелъ—какъ и всегда бываетъ во время великихъ преобразованій— съ лихорадочной, возбужденной дѣятельностью. Губернское присутствіе работало неутомимо. Образовывались мировыя учрежденія и опредѣлялся ихъ личный характеръ. Нѣкоторые изъ посредниковъ сочувствовали въ большей или меньшей степени крестьянамъ и обращались за совѣтами и содѣйствіемъ къ Камышлинцеву, другіе—къ помѣщикамъ и группировались около членовъ по выбору дворянства.

— Самые мировые съѣзды, смотря по преобладанію той или другой стороны, тоже проникались сословнымъ духомъ и содѣйствовали или боролись съ вліяніемъ губернскаго присутствія, которое дѣйствовало вполнѣ согласно съ духомъ новаго Положенія. Плодотворныя сѣмена, брошенныя во взборонённую землю, начинали всходить дружно и стали невольно тѣснить старыя травы. Даже благодушный начальникъ губерніи попривыкъ ко всему и уже обратился къ мировымъ посредникамъ съ частной, отъ своего имени, просьбою—предложить освобожденнымъ крестьянамъ посадить, въ память

событія, передъ своими избами березки и назвать ихъ «деревьями свободы». «Для того,—прибавилъ онъ,—чтобы каждый подъ смоковницею своею могъ насладиться вновь дарованною жизнью». Добрый человѣкъ, не вѣдая, что онъ подражаетъ якобинцамъ былъ убѣжденъ, что теперь уже вполнѣ упрочена новая жизнь освобожденныхъ и что остается только для ихъ полнаго благосостоянія замѣнить смоковницы отдохновенія — березками, и миръ и счастье водворятся во ввѣренной ему губерніи!... Но старые порядки и понятія, какъ и старыя травы, не уступаютъ безъ борьбы своего мѣста новымъ. Весна даетъ жизнь не однимъ преднамѣренно сѣяннымъ сѣменамъ, но и всему благотворному и вредному, что таилось подъ холоднымъ снѣгомъ, что копилось вѣками и оставалось отъ иныхъ сѣяній и иныхъ насажденій. И весной не всегда вёдро: бываетъ — поднимаются туманы и едва проглянувшее яркое солнце начинаетъ подергиваться облаками.

МЕЖЪ ДВУХЪ ОГНЕЙ.

ЧАСТЬ II.

I.

Городъ Велико-Ѳедорскъ благоденствовалъ по прежнему; сады его процвѣтали и велико-ѳедорскія губернскія вѣдомости отъ времени до времени сообщали весьма интересныя извѣстія, какъ въ какой-то торжественный день утромъ было совершено молебствіе, послѣ коего былъ завтракъ или обѣдъ, радушно предложенный градскимъ главой почетнымъ гражданиномъ Сипебрюховымъ, а вечеромъ было гулянье на Чернорѣченскомъ сквѣрѣ, гдѣ играла баталіонная музыка. «Еще три года назадъ»—писалъ мѣстный лѣтописецъ, онъ же и редакторъ, — «на мѣстѣ этого прекраснѣйшаго сквера былъ съ одной стороны оврагъ, въ который валили навозъ, а съ другой извергающее тлетворные міазмы болото. Но вдругъ, какъ бы по манію волшебнаго жезла, закипѣли работы и на мѣстѣ оврага и болота явился великолѣпнѣйшій скверъ, усаженный рядами душистыхъ липъ» и пр. За тѣмъ слѣдовало подробное описаніе красотъ сквера и въ заключеніе скромно замѣчалось, что волшебникъ, сдѣлавшій это превращеніе, былъ никто иной, какъ начальникъ губерніи — его превосходительство Петръ Алексѣевичъ, который и пр. И вдругъ, посреди этого благоденствія, пронеслась потрясшая всѣ верхніе слои губерніи вѣсть: «нашего-то по шапкѣ!»

Извѣстно, что во всѣхъ губерніяхъ по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ проносится извѣстіе о смѣнѣ начальника края и если онъ—лицо значительное, то для очищенія ему достойной ваканціи дѣлаются соотвѣтствующія перемѣщенія и въ высшихъ слояхъ администраціи. Однако на сей разъ новость оправдалась и не успѣли еще приняться насажденныя волшебникомъ деревья свободы, какъ этотъ волшебникъ, онъ же и добрѣйшій Петръ Алексѣичъ, былъ причисленъ къ министерству.

Пошли толки, кто будетъ назначенъ на губернаторство. Называли съ десятокъ самыхъ иногда невѣроятныхъ кандидатовъ. Нѣкоторые начали жалѣть о смѣненномъ, большинство было довольно; все таки съ новымъ губернаторомъ будетъ хоть что нибудь да новое, все хоть разнообразіе, по крайней мѣрѣ. Масса дворянства положительно радовалась смѣнѣ—и, не смотря на то, всѣ затѣвали прощальный обѣдъ! Правда, нѣкоторые изъ живущихъ въ городѣ помѣщиковъ заявляли, что они ему, такому-то и сякому, пустыхъ щей не дадутъ; однако, когда предложили имъ подписной листъ, то одинъ по одному подписались, находя, что «неловко-де». На обѣдѣ городское общество прочло постановленіе, которымъ положило испросить дозволеніе на поднесеніе любимому начальнику почетнаго гражданства города Велико-Ѳедорска; наличные дворяне, разчувствовавшись совершенно, забыли свои неудовольствія, кричали въ честь отъѣзжающаго «ура» громче другихъ и, въ отвѣтъ на прощальный спичъ, даже плакали и лобызались безъ конца! Въ заключеніе они рѣ-

шили, что хотя онъ противъ дворянства былъ отчасти и свинья, но что онъ, впрочемъ, человѣкъ добрый, а во всемъ виноваты подлецы Камышлинцевъ и Мытищевъ.

Едва проводили съ пикниками и разными овaціями одного начальника, едва вступившій въ отправленіе его должности вице-губернаторъ успѣлъ раза три обидѣться, что ему не оказываютъ должнаго уваженія, «манкируютъ»,—какъ пришла телеграмма извѣщавшая о совершенно неожиданномъ назначеніи. Молодой Нобелькнебель, произведенный въ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, извѣщалъ о своемъ назначеніи исправляющимъ должность Велико-Ѳедорскаго губернатора и о времени своего пріѣзда (приготовиться-де меня встрѣтить!)

Назначеніе Нобелькнебеля произвело два совершенно разнородныя впечатлѣнія: чиновничество опечалилось, потому что про новаго начальника извѣстно было, что онъ «ой-ой-ой!» Дворянство же питало нѣкоторыя пріятныя надежды, ибо знало его консервативный образъ мыслей. Въ назначенный срокъ дѣйствительно явился новый градоначальникъ, встрѣченный на дорогѣ трепетавшими становыми, боявшимися исправниками и почтительно потрухивавшими гражданами съ хлѣбомъ и солью. Въ губернскомъ городѣ Велико-Ѳедорскѣ готовили обѣдъ и запасали саженнаго осетра, ибо какой же оффиціальный обѣдъ безъ осетра?

Однако же, юный годами, но старый мудростью, начальникъ съ самаго начала нѣсколько поразилъ общія ожиданія и сбилъ ихъ съ толку. На другой же день своего пріѣзда, на общемъ пріемѣ, раскланявшись наивѣжливѣйшимъ образомъ,—причемъ не только съумѣлъ сохранить, но даже какъ-то еще болѣе возвысить собственное значеніе,—юный Нобелькнебель сказалъ, что назначенный занимать постъ начальника Велико-Ѳедорской губерніи въ настоящее трудное и знаменательное время, онъ считаетъ священной обязанностью строго руководствоваться какъ буквой, такъ и духомъ закона, и употребитъ всѣ старанія, чтобы наблюдать за огражденіемъ правъ и удовлетвореніемъ нуждъ какъ благороднаго, такъ и освобождаемаго сословія. Онъ выразилъ при этомъ надежду, что благородное дворянство и усердіе господъ служащихъ облегчатъ ему исполненіе этой задачи.

Изъ этихъ словъ какой-нибудь сплетникъ пожалуй могъ бы заключить, что Нобелькнебель не сказалъ ничего кромѣ общихъ мѣстъ; но жители Велико-Ѳедорска не хуже любыхъ журналистовъ, комментирующихъ тронныя рѣчи, отличающіяся подобнымъ же содержаніемъ, изыскивали таинственный смыслъ и скрытую мысль въ каждомъ словѣ и хотя приходили смотря по партіямъ и по темпераменту къ совершенно противоположнымъ выводамъ, но въ душѣ никто съ увѣренностью не могъ сказать, что новый губернаторъ будетъ дѣйствовать въ его духѣ. Не смотря на это, всѣ, съ свойственнымъ русскому человѣку оптимизмомъ, нашли, что Нобелькнебель сказалъ очень хорошую рѣчь и что сначала нельзя же такъ всему и высказаться, а надо посмотрѣть, что будетъ. И затѣмъ, питая отрадныя надежды, возложили упованіе на Всевышняго, а новымъ назначеніемъ остались покуда довольны.

Не совсѣмъ-то остались довольны только люди, которые, по своимъ отношеніямъ къ новому начальнику, казалось бы, болѣе всѣхъ имѣли право радоваться этому назначенію, а именно: Мытищевъ и Камышлинцевъ. Они много не говорили объ этомъ, но, при полученіи извѣстія, на ихъ лицахъ промелькнуло такое выраженіе, какъ будто они понюхали чего нибудь нехорошаго; однако изъ уваженія къ Ольгѣ промолчали. Впрочемъ, молодой администраторъ при первомъ же свиданіи примирилъ ихъ съ собою. Онъ откровенно сознался, что ошибался въ прежнихъ предположеніяхъ, что правительство рѣшилось на мѣры гораздо болѣе существенныя, нежели ожидали, что излеченіе стараго зла будетъ гораздо радикальнѣе, что въ Петербургѣ очень довольны дѣятельностію Велико-ѳедорскаго губернскаго присутствія, но что желательно только, чтобы оно воздержалось отъ нѣкоторыхъ увлеченій, «впрочемъ совершенно понятныхъ въ новомъ дѣлѣ и въ высшей степени благородныхъ»; онъ прибавилъ, что онъ вполнѣ увѣренъ, что не разойдется съ образомъ мыслей уважаемыхъ сослуживцевъ, и затѣмъ искреннѣйше пожалъ ихъ руки и взялъ на домъ извѣстное темрюковское дѣло, чтобы хорошенько ознакомиться съ нимъ.

Вообще замѣтно было, что новый духъ, если не повліялъ на сущность убѣжденій молодаго администратора то во многомъ видоизмѣнилъ ихъ: на нѣкоторыя вещи, которыя прежде возмущали его, онъ смотрѣлъ снисходительно; противъ другихъ, къ которымъ прежде относился равнодушно, гремѣлъ демосѳеновскимъ краснорѣчіемъ, а въ кружкѣ близкихъ даже просто либеральничалъ. Такъ, напримѣръ, онъ разгромилъ одну мелкопомѣстную барыню, давшую по старой памяти тычка своей кухаркѣ, и взиралъ безъ гнѣва на лѣса бакенбардъ и бородъ, которыми обросли нѣкоторые неподчиненные ему совѣтники, но когда замѣтилъ такую же растительность у одного столоначальника губернскаго правленія, то не выдержалъ и задалъ такую пудру не только ему, но и его начальникамъ, что вся администрація сочла за нужное выбриться и остричься наигладчайшимъ образомъ.

Между тѣмъ знакомая намъ семья слилась еще плотнѣе. Что связь Мытищевой съ Камышлинцевымъ продолжается съ вѣдома мужа—въ томъ не сомнѣвался въ Велико-Ѳедорскѣ ни одинъ скептикъ; да кажется, и самъ Мытищевъ убѣдился въ справедливости пословицы, что шила въ мѣшкѣ не утаишь и—что еще замѣчательнѣе—мало смущался: такъ велика сила времени и привычки. Разумѣется, не укрылось это сожительство и отъ

брата Мытищевой. Она, признаться, зная строгость его мнѣній относительно брака и семьи, даже побаивалась нѣсколько его вмѣшательства: не то чтобы оно могло повліять на Мытищева или поколебать ея отношенія къ Камышлинцеву, но братъ могъ возстановить противъ нея мать и отца, которые теперь болѣе чѣмъ когда либо гордились сыномъ и смотрѣли на все его глазами. До его пріѣзда они притворялись, что ничего не знаютъ, и въ семейную жизнь дочери и зятя не вмѣшивались. Боялась также Ольга наставленій и правоученій брата, которыя онъ такъ любилъ читать. Но къ удивленію ея, братъ не только не вмѣшивался въ ея жизнь и не старался разстроить ея отношеній къ Камышлинцеву, но нѣкоторымъ образомъ гордился ими и поступкомъ Мытищева. Онъ поговаривалъ при случаѣ, что пора относиться сознательнѣе къ старымъ предразсудкамъ и смотрѣть вещамъ прямо въ глаза, не прибѣгая къ изворотамъ и обманамъ,—что семья, какъ основа гражданства, ничего отъ этого не теряетъ, и пр. Словомъ, онъ консерваторствовалъ либеральнѣйшимъ образомъ или, пожалуй, либеральничалъ консервативнѣйшимъ образомъ и старался примирить эти противоположности — искусство въ то время еще совершенно новое и только-что открытое догадливыми и ловкими людьми.

А какъ между тѣмъ отразились новыя условія жизни на взаимныхъ отношеніяхъ Мытищевой и Камышлинцева? Камышлинцевъ былъ ими почти доволенъ. Они не отнимали у него времени на ухаживаніе, встрѣчи и мелкія услуги, на которыя такъ много нужно свободнаго времени, что люди, ничѣмъ не занятые, кажется, за это и любятъ особенно самый процессъ волокитства. Камышлинцеву не нужно было тратить на этотъ пріятный предметъ времени, котораго у него было не слишкомъ много, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ испытывалъ всѣ удовольствія семейной жизни и отдохновенія послѣ работы съ милой и любимой женщиной. Въ прежнее время, когда онъ не зналъ, что дѣлать съ собой, и въ любви искалъ жизни и волненія, — это было бы не по немъ, но теперь эту безпокойную потребность дѣятельности, эту жизнь жизни составляло дѣло, достаточно захватывающее и занимающее всего его. Ему въ любви хотѣлось теперь отдохновенія, и настоящія отношенія давали ему это. Но чѣмъ былъ не совсѣмъ доволенъ Камышлинцевъ, это — равнодушіемъ Ольги къ его дѣлу. Она ему сочувствовала вообще какъ доброму, хорошему дѣлу, но не понимала, какъ можно было увлекаться имъ до забвенія собственныхъ выгодъ, класть въ него свою душу. «Ахъ, какъ мнѣ надоѣло ваше дѣло», говорила она мужу и Камышлинцеву, когда они при ней заводили о немъ рѣчь. «Только и хорошаго вамъ отъ него, что перессорились со всѣми! Развѣ нельзя такъ вести его, что никого не вооружать противъ себя? Вотъ напримѣръ Анисимъ Семенычъ».

Анисимъ Семенычъ былъ членъ губернскаго присутствія, по выбору дворянъ, и имѣлъ талантъ угождать и нашимъ, и вашимъ, но такъ, чтобы прежде всего угодить себѣ.

— Ну, Анисимъ Семенычъ исключеніе, — говаривалъ Камышлинцевъ, который его не долюбливалъ,—онъ сдѣланъ изъ того трико, что танцовщицы носятъ: на всякаго впору!

— А знаете, Камышлинцевъ, что у васъ замѣтно эгрируется характеръ?—замѣчала Ольга.—Это еще пріятное послѣдствіе вашего дѣла!

И замѣчаніе ея было вѣрно. Характеръ у Камышлинцева сталъ дѣйствительно раздражительнѣе, желчнѣе, хотя онъ этимъ мало огорчался.

— Тѣмъ хуже для тѣхъ, кто вызываетъ меня противъ себя,—отвѣчалъ онъ.—Надо быть рыбой, чтобы оставаться хладнокровнымъ посреди всего, что дѣлается кругомъ.

— А меня,—вы тоже къ рыбамъ причисляете? спрашивала Ольга.

— Пожалуй! — улыбаясь отвѣчалъ Камышлинцевъ,—къ золотымъ рыбкамъ!

— Которыми развлекаются, но изъ которыхъ ухи не сваришь?—спрашивала она.

— Совершенно такъ, — отвѣчалъ Камышлинцевъ:—вы принадлежите больше къ разряду пріятнаго, чѣмъ полезнаго.

— Но по крайней мѣрѣ, ни въ какомъ случаѣ не къ скучному,—заключила Ольга.

Камышлинцевъ весело принялъ эту пилюльку и былъ очень доволенъ. Но не такъ довольна была Ольга, и главное—отъ того, что доставляло удовольствіе Камышлинцеву.

Ольгѣ дороги были въ любви именно волненія, тайна, біенія и замиранія сердца; любовь была ей дорога потому, что наполняла и разнообразила безцвѣтную и однообразную жизнь, и вдругъ все это было отнято отъ любви, любовь приняла какое-то законное теченіе, словомъ, у нея явился другой мужъ и исчезъ любовникъ, Ольга все это сознавала и если не называла по имени, то начинала чувствовать. Неизвѣстно, чѣмъ бы это кончилось, еслибъ не явилось новое обстоятельство, поглотившее ея вниманіе. Ольга начала чувствовать себя не совсѣмъ хорошо. Появились тошнота, головокруженіе и другіе припадки. Камышлинцевъ встревожился, Мытищевъ былъ тоже не совсѣмъ равнодушенъ и совѣтовалъ обратиться къ врачу, но болѣзнь объяснилась весьма естественно. Однажды, когда Ольга осталась наединѣ съ Камышлинцевымъ, она, нѣсколько покраснѣвъ, полусмущенная, полудовольная, сказала ему:

— Я беременна.

Камышлинцевъ отвѣчалъ на это тѣмъ, что обнялъ и горячо расцаловалъ ее. Когда поцалуи кончились, явился тотчасъ вопросъ: а что же онъ, т. е. мужъ?

— Надо сказать ему,—сказалъ Камышлинцевъ.

Ольга, не любившая рѣшительныхъ мѣръ, держалась прежняго: laissez aller, laissez faire.

— Зачѣмъ! — возразила она,—онъ безъ того, и

думаю, догадывается. Во всякомъ случаѣ догадается когда нибудь,—прибавила она и сама разсмѣялась своему замѣчанію.

— Нѣтъ! объ этомъ надо переговорить серьезно,—сказалъ Камышлинцевъ.—Тутъ вопросъ о наслѣдствѣ; я самъ переговорю съ нимъ.

Ольгу это неожиданное воззрѣніе нѣсколько озадачило; она никакъ не ожидала такого запутаннаго вопроса.

— Какъ знаешь!—сказала она въ раздумьи.

Дѣйствительно, на другой или третій день, Камышлинцевъ, улучивъ удобное время, сказалъ Мытищеву:

— Я долженъ съ вами переговорить объ одномъ важномъ обстоятельствѣ. Вы можетъ быть замѣтили уже сами болѣзнь Ольги Ѳедоровны: она беременна.

Камышлинцевъ смотрѣлъ на Мытищева нѣсколько смущенно. Мытищевъ дѣйствительно догадывался объ этомъ, хотя положительно не былъ увѣренъ. Во всякомъ случаѣ извѣстіе это, какъ и все, напоминавшее ему объ измѣнѣ жены, кольнуло его и онъ покраснѣлъ немного, но потомъ оправился.

— Что же, поздравляю васъ! — отвѣтилъ онъ повидимому спокойно и безъ всякаго оттѣнка насмѣшки или недоброжелательнаго чувства.

— Я счелъ нужнымъ во всякомъ случаѣ сообщить вамъ объ этомъ,—сказалъ Камышлинцевъ.—Обстоятельство это особенно важно потому, что съ нимъ связано право на наслѣдство; поэтому я не знаю, захотите ли вы сдѣлать его гласнымъ.

— Положимъ, я бы не захотѣлъ этого. Какимъ же образомъ вы скроете все?—спросилъ Мытищевъ.

Можно было бы придумать что нибудь, напримѣръ поѣздку за границу. Тогда конечно я принялъ бы на себя воспитаніе и обезпеченіе ребенка.

— Ну это излишне, — замѣтилъ хладнокровно Мытищевъ; — я долженъ вамъ сказать, что если принимаю какое нибудь рѣшеніе, то принимаю его зрѣло и обдуманно со всѣми его послѣдствіями. У меня нѣтъ близкихъ наслѣдниковъ, которыхъ бы я любилъ и за которыми бы хотѣлъ закрѣпить мое состояніе. Сынъ брата Василія мнѣ мало симпатиченъ—да онъ и обезпеченъ. Я думаю, что дѣтей любятъ не столько потому, что въ нихъ своя кровь, сколько по привычкѣ къ нимъ, какъ своимъ воспитанникамъ. Слѣдовательно я могу привязаться и къ дѣтямъ моей жены и имя мое они могутъ носить не хуже другаго. Объ этомъ нечего безпокоиться.

— Во всякомъ случаѣ я счелъ обязанностью предупредить васъ и узнать ваше мнѣніе,—сказалъ Камышлинцевъ.

Мытищевъ на это кивнулъ головою, не то благодаря за вниманіе, не то давая знать, что разговоръ конченъ.

Вечеромъ Камышлинцевъ передалъ этотъ разговоръ Ольгѣ. Не смотря на то, что онъ ее успокоилъ и снялъ нѣкоторую заботу, на другой день, когда Ольга сидѣла по обыкновенію за самоваромъ вдвоемъ съ мужемъ (Камышлинцевъ не всегда приходилъ къ утреннему чаю), она была смущена и все что-то у ней не клеилось. Мытищевъ замѣтилъ это и говорилъ все время о разныхъ постороннихъ предметахъ. Но когда за вторымъ стаканомъ Мытищевъ хотѣлъ закурить сигару, онъ будто что-то вспомнилъ, и остановился. Онъ взялъ стаканъ и пошелъ съ нимъ въ кабинетъ.

— Отчего ты здѣсь не куришь?—спросила Ольга, покраснѣвъ.

— Тебѣ можетъ быть непріятно будетъ,—отвѣчалъ Мытищевъ, и, видя смущеніе жены, улыбнулся.—Береги себя и не безпокойся,—прибавилъ онъ уже нешутливо и ушелъ въ свою комнату.

У Ольги какъ будто какой-то камень свалился съ груди, она вздохнула свободно. Больше объ этомъ между мужемъ и женою не было рѣчи, и Ольга словами не благодарила мужа, но стала къ нему еще нѣжнѣе и заботливѣе.

II.

Около этого времени Камышлинцеву понадобились справки въ одномъ журналѣ и онъ зашелъ въ библіотеку Крестопоклонскаго, котораго засталъ въ самой библіотекѣ. Хозяинъ ходилъ и курилъ папиросы съ молодымъ человѣкомъ, съ густыми, длинными, отчасти вьющимися волосами, стоявшими шапкой надъ пасмурнымъ, но умнымъ лицомъ.

— Ахъ, здравствуйте-съ! Добро пожаловать,— сказалъ Крестопоклонскій, узнавъ Камышлинцева и подавая ему руку съ радушіемъ и развязной неловкостью.

— Я къ вамъ за справкой, — сказалъ Камышлинцевъ.—Есть у васъ «Современникъ» за 56 годъ?

— Есть-съ, да теперь отданъ. Барсукова, Анна Ивановна, взяла.

— Мнѣ бѣ нужно въ немъ справку одну сдѣлать. Когда онъ будетъ у васъ свободенъ?

— А вотъ я попрошу Аристарха Петровича,— онъ обратился къ молодому человѣку,—они у нихъ въ домѣ живутъ. Вы не увидите ли Анну Ивановну,—сказалъ онъ ему;—попросите ее, когда освободятся книги, такъ прислать ихъ.

— Хорошо,—сказалъ холодно молодой человѣкъ.

— Кстати, позвольте познакомить!—сказалъ Крестопоклонскій: — Благомысловъ, Аристархъ Петровичъ. Недавно присланы изъ Петербурга,—вполголоса прибавилъ онъ.—Вы, можетъ, слышали, по исторіи ***.

Камышлинцевъ дѣйствительно слышалъ и объ исторіи и о томъ, что одинъ молодой человѣкъ, воспитанникъ ***, былъ присланъ въ Велико-Ѳедорскъ.

Камышлинцевъ поклонился и подалъ руку Благомыслову, но тотъ подалъ свою съ такимъ видомъ, какъ будто хотѣлъ сказать Крестопоклонскому:

«А чортъ проситъ тебя знакомить меня съ этимъ франтомъ».

Камышлинцевъ, слыша, что Крестопоклонскій не назвалъ его, сказалъ свою фамилію.

— Да! Камышлинцевъ, Дмитрій Петровичъ, — подсказалъ Крестопоклонскій.—Членъ по крестьянскому дѣлу, про котораго я вамъ говорилъ. Знакомъ съ X* и Y*,—прибавилъ онъ вполголоса и значительно.—Да садитесь пожалуйста, покурить не угодно ли?

Камышлинцевъ сѣлъ и закурилъ папиросу.

Благомысловъ взглянулъ на него нѣсколько благосклоннѣе.

— Вамъ назначено жить въ селѣ, или вы сами его выбрали?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Самъ! Тамъ отецъ у меня,—отвѣчалъ Благомысловъ.—Попомъ,— прибавилъ онъ.

— А вы какъ вышли изъ духовнаго званія?— спросилъ Камышлинцевъ. — Много вамъ стоило труда?

— Не очень! Я изъ академіи перешелъ, не спрашиваясь.

— Ну, а какъ у васъ профессора? — спросилъ Камышлинцевъ.

— Дрянь, большею частью, и подлецы!—лаконически отвѣтилъ Благомысловъ.

Камышлинцевъ улыбнулся этому опредѣленію, хотя понималъ его со стороны озлобленнаго молодаго человѣка.

— А съ X* и Y* вы не знакомы? какъ къ нимъ относится молодое поколѣніе?

— Нѣтъ, не знакомъ! Ихъ уважаютъ. Они одни только не виляютъ хвостомъ, стоятъ за насъ и дѣло говорятъ.

Камышлинцевъ распросилъ про самую исторію. Благомысловъ разсказалъ, и, судя по его словамъ, она совсѣмъ выходила иначе, нежели по газетнымъ извѣстіямъ. Камышлинцевъ въ отвѣтъ пожалъ только плечами.

— Ну, а теперь что же вы намѣрены дѣлать?— спросилъ онъ съ участіемъ.

— Да черезъ годъ, какъ позволятъ, поѣду курсъ кончать!—сказазъ онъ.—А пока ребятишекъ учу. Вотъ у Барсуковыхъ сынишку.

— Такъ вы будьте такъ добры, — сказалъ Камышлинцевъ, вставая и прощаясь съ Благомысловымъ и Крестопоклонскимъ:—попросите Анну Ивановну, чтобы она, когда кончитъ хоть первую половину книгъ, передала бы ихъ мнѣ.

Хорошо,—отвѣчалъ Благомысловъ.

— А вотъ кстати, — сказалъ Крестопоклонскій Благомыслову,—у Дмитрія Петровича есть нѣкоторыя книги, которыми вы интересуетесь.

Камышлинцевъ остановился.

— Что есть, къ вашимъ услугамъ!—сказалъ онъ.

— Благодарю,—отвѣчалъ Благомысловъ.—Есть у васъ...? — и онъ назвалъ нѣсколько нѣмецкихъ изданій, которыя трудно достать въ Россіи и особенно въ Велико-Ѳедорскѣ.

Нѣкоторыя оказались; иныя были въ подлинникѣ, иныя на французскомъ и англійскомъ.

— Ну, я во французскомъ-то плохъ, а по англійски совсѣмъ не морокую—да съ лексикономъ одолѣю. Лексиконъ есть у васъ?

— Есть! зайдите ко мнѣ и выберите, что нужно—сказалъ онъ.—Я до семи часовъ вечера дома буду.

Часу въ 7-мъ Благомысловъ зашелъ къ Камышлинцеву, но у него случились просители крестьяне, съ которыми онъ долженъ былъ переговорить, чтобы въ этотъ же вечеръ доложить объ ихъ дѣлѣ въ губернскомъ присутствіи (оно собиралось по вечерамъ раза два въ недѣлю). Поэтому толковать съ Благомысловымъ было некогда. Онъ объяснилъ это ему и, растворивъ шкафъ, сказалъ:

— Вотъ все, что есть у меня здѣсь: берите, что угодно.

Благомысловъ выбралъ нѣсколько книгъ и простился съ Камышлинцевымъ. При прощаньи Камышлинцевъ сказалъ ему:—Если я могу чѣмъ-нибудь быть вамъ полезенъ, то обращайтесь ко мнѣ безъ церемоніи,—и искренно пожалъ руку.

Ему жаль было молодаго человѣка, безъ всякихъ средствъ, при первомъ вступленіи въ жизнь уже много повредившаго себѣ.

— Спасибо,—отвѣтилъ Благомысловъ.

Онъ былъ сумраченъ, не словоохотливъ, неловокъ и, сознавая въ себѣ недостатокъ того, что мы называемъ хорошимъ воспитаніемъ, къ своей обыкновенной грубой простотѣ прибавлялъ еще нѣсколько напускной: это тогда входило въ моду между молодежью.

III.

Въ этотъ годъ въ Велико-Ѳедорской губерніи были дворянскіе выборы. Въ половинѣ января во всѣхъ помѣщичьихъ весяхъ стряхнулась пыль съ залежавшихся мундировъ, заштопались изъяны, произведенные въ нихъ ничего неуважающею молью, и помѣщики двинулись въ губернскій городъ.

Предстоящіе выборы, какъ выборы, занимали немногихъ. Конечно и тутъ было не безъ волненій, интригъ и ожиданій, но на душѣ у большинства помѣщиковъ была свѣжая рана, которая зудѣла несказанно и возбуждала всю ихъ желчь. Рана эта была — мировыя учрежденія. Помѣщики ѣхали съ тѣмъ, чтобы перевѣдаться съ посредниками, съ этими ренегатами, вышедшими изъ дворянской семьи и часто смотрѣвшими на дѣло не съ дворянской точки зрѣнія. Явленіе это было дѣйствительно поразительное. Самые ярые крѣпостники, прельщенные хорошимъ окладомъ и вступившіе въ новую должность, утрачивали всякую ярость и, въ иныхъ случаяхъ, поступали не только безпристрастно, но и безстрастно. Духъ времени пробиралъ самыя заматерѣлыя убѣжденія, и русская совѣстливость, встрѣтившаяся лицомъ къ лицу съ дѣломъ , принимала необычайныя проявленія.

Но дворянство страдательное, дворянство не принимавшее участія въ составленіи и обязанности въ наблюденіи за новымъ положеніемъ, отнеслось къ

дѣлу не такъ. Оно смотрѣло на него сначала — какъ смотрѣло доселѣ вообще на всякій законъ— равнодушно, потому что ожидало такого же исполненія его, какъ и прежнихъ законовъ. Вообще замѣчено, что всѣ извнѣ идущія установленія встрѣчаются легко и безучастно, и вниманіе возбуждается только ихъ примѣненіемъ и исполнителями. За то, когда вмѣстѣ съ новымъ установленіемъ явился новый взглядъ и на приведеніе его въ дѣйствіе, интересы, задѣтые за живое, проснулись, чувство закипѣло и искало только благовиднаго исхода.

Выборы открылись какъ обыкновенно. Новый губернаторъ, Нобелькнебель, сказалъ, что онъ весьма счастливъ, встрѣтясь съ дворянствомъ, къ которому имѣетъ честь принадлежать: выразилъ увѣренность, что оно, въ особенности въ нынѣшнее время, обратитъ самое строгое вниманіе на достоинство избираемыхъ и безъ сомнѣнія выберетъ во всѣ должности отличнѣйшихъ и благонамѣренныхъ людей и что люди эти, конечно, употребятъ всѣ свои силы, чтобы содѣйствовать ему, Нобелькнебелю, въ заботахъ о доставленіи счастія и благоденствія гражданамъ ввѣренной ему губерніи, что составляетъ предметъ его пламеннѣйшаго желанія. Преосвященный передъ принятіемъ въ соборѣ присяги тоже весьма краснорѣчиво поучалъ, что надо выбирать, особенно въ настоящее время, достойнѣйшихъ и благомыслящихъ людей, и дворяне, глубоко разчувствовавшіеся (русскіе люди вообще способны необыкновенно скоро разчувствоваться и млѣть въ прекрасныхъ помыслахъ), преисполнились безпредѣльною рѣшимостью вести выборы самымъ строгимъ и добросовѣстнымъ образомъ.

— Да, теперь не такое время, чтобы выбирать кой-кого,—говорилъ съ убѣжденіемъ одинъ.

— Теперь смотрѣть на родство да свойство не приходится,—подтверждалъ другой.

— Надо прежде всего людей: надо, чтобы человѣкъ былъ!—увѣрялъ третій.

— Да! человѣкъ безпристрастный, но стойкій, который бы умѣлъ отличить правое дѣло и постоять за него,—говорилъ четвертый.

— Да, и человѣкъ честный,—прибавлялъ пятый.

— И свѣдущій,—подсказывалъ шестой:—нынѣче требуется свѣдущаго.

— А все-же, чтобы былъ и представительный,— замѣчали другіе.

— Представительный необходимъ—если встрѣтить кого или депутацію послать,—подтверждало то большинство, которое всегда думаетъ о какихъ-то необычайныхъ встрѣчахъ и депутаціяхъ.

— Теперь ужь время не такое,—начиналъ опять кто-то.

— А подлецовъ все-таки надо приспандорить!— рѣшилъ усатый и звѣрскаго вида господинъ, по фамиліи Грембулатовъ, извѣстный всѣмъ податнымъ классамъ своимъ кулакомъ и посматривавшій на всякаго, какъ-бы спрашивая: «А хочешь, я тебѣ *сейчасъ* морду сворочу на сторону»?

— Ну, разумѣется приспандорить!—горячо отвѣчали всѣ, понимая, кого и какъ слѣдуетъ приспандорить по мнѣнію и вкусамъ Грембулатова, и добродушно согласились съ нимъ.

А затѣмъ дѣло началось, какъ всегда водится, обѣдомъ у предводителя.

Губернскимъ предводителемъ былъ тогда князь Шапхаевъ. Это былъ высокаго роста, веселый, здоровый и видный господинъ, съ-молоду красавецъ собою, изъ извѣстной, въ свое время многочисленной породы жуировъ.

Вслѣдствіе этихъ жуирскихъ склонностей, князь Шапхаевъ весьма скоро разстроилъ свое большое родовое имѣніе и, когда замѣтилъ, что дѣло совсѣмъ дрянь и что не смотря на состоящія за нимъ двѣ тысячи душъ, онъ, собственно говоря, ничего не имѣетъ,—онъ, по очень замысловатому, но водящемуся у насъ способу распутывать дѣла, сталъ ихъ еще болѣе запутывать, а чтобы удобнѣе это сдѣлать, плѣнилъ дворянъ, былъ ими выбранъ въ губернскіе предводители и держался на этомъ мѣстѣ четыре трехлѣтія. Дѣла свои онъ запуталъ до замѣчательной степени. Не было человѣка сколько-нибудь зажиточнаго, которому бы онъ не былъ долженъ, и въ искусствѣ занимать деньги онъ былъ артистъ первостепенный. Про него разсказывали, что когда онъ однажды началъ поговаривать, что нужно бы немного деньжонокъ перехватить, то одинъ шутникъ сказалъ ему: «поцросили бы вы у моего тестя»! А тесть этотъ былъ такой скряга, что надулъ родную и единственную дочь, не выдавъ при свадьбѣ слѣдующій ей материнскій капиталъ, и прикидывался нищимъ. Всѣ присутствующіе расхохотались; но на другой день князь Шапхаевъ, встрѣтивъ шутника и показывая ему пачку денегъ, поблагодарилъ его за совѣтъ: скряга не съумѣлъ отказать ему.

Не смотря на эти безчисленные долги, князь Шапхаевъ жилъ широко, зналъ всѣхъ дворянъ, какъ пять пальцевъ, кормилъ ихъ при всякомъ случаѣ и былъ ими любимъ.

«Хоть плутъ, да молодецъ», говорили они, повинуясь тому растяжимому русскому понятію о нравственныхъ достоинствахъ человѣка, которое заставило казака въ пушкинскомъ Годуновѣ отозваться въ томъ же родѣ о самозванцѣ.

Но наступили, казалось, иныя времена и иныя требованія, и князю Шапхаеву готовились испытанія.

Разъ утромъ, наканунѣ выборовъ, Камышлинцеву доложилъ слуга, что пріѣхалъ господинъ Самокатовъ.

Самокатовъ былъ единственный сынъ довольно зажиточнаго помѣщика, который ничего не жалѣлъ для его воспитанія. Кончивъ курсъ въ мѣстной гимназіи, онъ помимо своего провинціальнаго университета отправился въ московскій. У мальчика была натура дѣятельная, пытливая, способная; за все принимался онъ горячо, но выдержки у него было мало. Поступилъ онъ на юридическій факуль-

гетъ, но тогда вскорѣ пошла въ ходъ нѣмецкая философія и Самокатовъ съ рвеніемъ принялся за нее. Достаточно ознакомясь съ ней, онъ однако рѣшилъ, что «нѣтъ! это не то», и, бросивъ ее, снова принялся за Пандекты, кончилъ курсъ и вступилъ въ службу. Перемѣнивъ въ четыре года пять мѣстъ, Самокатовъ, къ удовольствію сослуживцевъ и начальства, вышелъ въ отставку, заслуживъ названіе безпокойнаго человѣка. Отецъ у него умеръ. Принялся онъ за раціональное хозяйство и чуть не раззорился; служилъ по выборамъ, перессорился съ дворянствомъ и вышелъ. Наконецъ, во время ополченія былъ казначеемъ, велъ дѣла аккуратнѣйшимъ образомъ и съ самой щепетильной честностью, но при ревизіи въ казенной палатѣ съ него попросили за провѣрку 200 руб. и когда онъ ихъ, разумѣется, не далъ, на него сдѣлали большой начетъ. Этимъ Самокатовъ закончилъ свою общественную дѣятельность, обзавелся какой-то мамзелью и успокоился. Успокоился онъ на томъ, что «тутъ будь хоть семи пядей во лбу, а ничего не подѣлаешь», и что «кругомъ такая ерунда (это было его любимое словцо), въ которой чортъ ногу сломитъ!—а потому надъ всѣмъ этимъ только можно смѣяться». Онъ дурачилъ всѣхъ, кого могъ, сводилъ лбами и попивалъ, и—странная вещь!—съ тѣхъ поръ, какъ онъ предался этимъ послѣднимъ занятіямъ и сталъ ни на что не годенъ, его всѣ очень полюбили. Его признали «своимъ» и только иногда какой-нибудь благоразумный помѣщикъ скажетъ ему:

— Шебала! Что ты ничего не дѣлаешь?

— А поди-ка ты съ мое подѣлай! — отвѣчалъ онъ:—я перепробовалъ семь службъ и нѣсколько системъ хозяйства!

— Ну и что же?—спрашивалъ тотъ.

— Ну и все ерунда!—отвѣчалъ Самокатовъ. И всѣ хохотали.

Но странно, что даже крестьяне, и тѣ отнеслись къ нему послѣ перемѣны дружелюбнѣе, и если кто-нибудь сожалѣлъ, что Самокатовъ пьетъ, то они отвѣчали съ участіемъ и нѣкоторымъ уваженіемъ:

— «Это онъ отъ ума пьетъ»!

Таковъ былъ образованный, умный, честный и никуда не годный Самокатовъ, который пріѣхалъ къ Камышлинцеву. Самокатова Камышлинцевъ любилъ, и очень ему обрадовался.

— А! Ростиславъ Павловичъ!—воскликнулъ Камышлинцевъ, идя къ нему навстрѣчу.—Очень радъ, что ты появился. Что?.. шары катать?

— И шары, и васъ! Васъ, блудныхъ дѣтей, проучить!—отвѣчалъ краснолицый Самокатовъ.

— А что? развѣ больно сердиты,—спросилъ Камышлинцевъ.

— Больно! — Каждый на своего посредника, а всѣ на тебя.

— А я-то что имъ?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Да то, что ты заведейка—говоритъ—и всѣхъ ихъ поддерживаешь, если они нашему брату помѣщику, въ силу новыхъ порядковъ, какую-нибудь пакость сотворятъ.

— Вотъ какъ! — сказалъ Камышлинцевъ, который, хотя и зналъ, что многіе его не долюбливаютъ, но не ожидалъ, чтобы это чувство разошлось, по всей губерніи. — Ну, что же вы хотите сдѣлать съ нами?—спросилъ онъ.

— А сдѣлать? Постой! Водку пьютъ у васъ?

— Пьютъ.—отвѣчалъ смѣясь Камышлинцевъ и велѣлъ подать закуску.

— Нѣтъ! ты! Эй, Христоforъ! какъ тебя? — кричалъ Самокатовъ вслѣдъ слугѣ. — Ты, братъ, много не хлопочи, а дай просто водки и кусокъ чернаго хлѣба: нынче вѣдь съ нами много не церемонятся.

— Такъ ты хочешь знать, что мы съ вами сдѣлаемъ?—спросилъ Самокатовъ Камышлинцева.—А мы, братъ, этого и сами не знаемъ! Только кулаки зудятъ и задору много!

— Ну, до кулаковъ, чай, не дойдетъ, а тамъ еще посмотримъ!—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Извѣстно, все отъ Бога,—смиренно сказалъ Самокатовъ!—Богъ не попуститъ, свинья не съѣстъ! А впрочемъ все это ерунда, — добавилъ онъ, налилъ себѣ рюмку (руки у него уже тряслись), ужасно сморщился и выпилъ ее какъ микстуру.

— Зачѣмъ ты морщишься?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Да скверно, братецъ!—отвѣчалъ онъ и сейчасъ же налилъ другую и выпилъ.

— Ну, а скверно, такъ зачѣмъ же пьешь, да еще по двѣ разомъ!

— А потому, — отвѣчалъ Самокатовъ, закусывая хлѣбомъ,—что когда выпьешь, такъ смотришь равнодушно на всю ерунду и становишься другимъ человѣкомъ. Ну, а другому человѣку опять рюмка нужна—прибавилъ онъ,—это ясно!

Камышлинцевъ разсмѣялся.

— А какъ на счетъ выборовъ? кого въ губернскіе?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Злобствуемъ!—отвѣчалъ Самокатовъ. — Хотимъ всѣхъ новыхъ — что ни на есть вѣрныхъ людей!

— Кого же именно?

— Ну ужь, ты: и кого? Тѣхъ же чай!

— Какъ же такъ: новыя требованія, а старые люди?—спрашивалъ Камышлинцевъ.

— Ничего! вѣдь мы отходчивы! А требованья что? Вѣдь люди все тѣ же и понятія старыя. Впрочемъ, Шапхая пожалуй смажемъ! Кажись, на него всѣ сердятся, да кстати и кандидатъ явился: Шестопаловъ!

— Это Урюпинскій владѣлецъ?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Да, Урюпинскій! На дняхъ пріѣхалъ. Онъ рѣдко сюда ѣздитъ, а нынче вѣрно не даромъ явился къ выборамъ.

— Каковъ онъ! я его не знаю,—сказалъ Камышлинцевъ.

— Англоманъ, братецъ! Проборъ на затылкѣ

носить и меня отличнымъ джиномъ угостилъ. А впрочемъ ерунда!

— Ну, однакожъ прощай! еще поговоримъ! — заторопился Самокатовъ.—Заболтался я съ тобой: нужно еще въ двадцать мѣстъ. Вотъ только надо выпить на дорожку. Русскій человѣкъ всегда передъ дорогой пьетъ.—Онъ торопливо налилъ рюмку (руки его дрожали уже менѣе), опять выпилъ ее какъ микстуру и, весь сморщившись, пожалъ руку Камышлинцеву и убѣжалъ.

IV.

Не смотря на слова Самокатова о злобѣ большинства дворянъ на Камышлинцева, не только посредники, но и всѣ почти его знакомые и многіе незнакомые изъ прибывшихъ помѣщиковъ были у него съ визитомъ. У многихъ изъ нихъ были дѣла въ губернскомъ присутствіи и они обращались къ нему съ просьбами: нѣкоторые жаловались вообще на времена, а иные на своихъ посредниковъ; но всѣ были чрезвычайно любезны и казались благорасположенными, такъ что Камышлинцевъ начиналъ думать, что достигшіе до него слухи преувеличены. Но въ дворянскомъ собраніи его встрѣтили нѣсколько иначе; нѣкоторые, на дому передъ нимъ лебезившіе, тутъ какъ будто удалялись, въ иныхъ кучкахъ, къ которымъ онъ подходилъ, разговоръ вдругъ какъ-то странно смолкалъ и разговаривающіе казались смущенными. Камышлинцевъ это замѣтилъ и ждалъ.

Первые дни выборовъ проходятъ обыкновенно въ повѣркѣ денежной отчетности, составленіи списковъ и пр. Губернское присутствіе, желая воспользоваться съѣздомъ мировыхъ посредниковъ, учредило по вечерамъ засѣданія для совѣщанія съ ними, обсужденія нѣкоторыхъ общихъ вопросовъ и принятія по нимъ однообразнаго способа дѣйствій. Дворянству это было какъ разъ съ руки. Извѣстно, что во время выборовъ, у того или другаго изъ вліятельныхъ помѣщиковъ собираются дворяне, иногда только своего уѣзда, для обсужденія своихъ уѣздныхъ дѣлъ, иногда коноводы всѣхъ уѣздовъ, и на этихъ-то послѣднихъ собраніяхъ предварительно условливаются въ образѣ дѣйствія на самыхъ выборахъ.

Поголовное отсутствіе на этихъ вечерахъ посредниковъ и членовъ губернскаго присутствія, изъ которыхъ иныхъ — будь они свободны — не ловко было бы не пригласить, а иные могли бы заѣхать случайно, было чрезвычайно удобно для составленія плана дѣйствій или, какъ выражались иные, облавы, которую хотѣли устроить на новыхъ дѣятелей.

Раздражительное состояніе дворянства обрушилось сначала на губернскомъ предводителѣ. Его запутанныя дѣла, привычка занимать, «перехватывать», какъ онъ говорилъ, деньги, гдѣ ни попало, и, хотя не роскошная, но безпорядочная и широко гостепріимная жизнь заставляли многихъ поговаривать, что надобно бы хорошенько пощупать дворянскія и опекунскія суммы. Толковали объ этомъ многіе, но, какъ водится, никто не рѣшился начинать и заявить громко потребность строгой ревизіи. Однако на сей разъ оппозиція выразилась назначеніемъ въ числѣ другихъ для ревизіи одного бойкаго человѣка, который имѣлъ зубъ противъ губернскаго предводителя и говорилъ: «ужь я его доѣду».

Князь Шапхаевъ нѣсколько смутился. Онъ призвалъ чиновника казенной палаты Селифонтьева, который составлялъ ему за извѣстную плату, каждое трехлѣтіе, этотъ отчетъ, и спросилъ его:

— Ну, что нашъ отчетъ, хорошо ли составленъ?

— Слава Богу, ваше сіятельство, кажется не первый годъ!—отвѣчалъ Селифонтьевъ.

— Это такъ, и я на васъ надѣюсь,—отвѣчалъ похаживая князь, — да нынче что-то злятся на меня и назначили для ревизіи одного барина, который хочетъ до всего докопаться.

— А кто такой, позвольте узнать? — спросилъ Селифонтьевъ.

Князь Шапхаевъ назвалъ его и прибавилъ:— Университетскій, по математикѣ шелъ!

Селифонтьевъ презрительно усмѣхнулся.

— Охота вамъ изъ этихъ пустяковъ безпокоиться, ваше сіятельство!—сказалъ онъ. — Напрасно себя изволите тревожить.

— Такъ ничего?—спросилъ князь.

Селифонтьевъ улыбнулся.

— Да еслибъ не только университетскаго, а хоть самого губернскаго казначея прислали, такъ и онъ не только въ три дня, а въ три недѣли ни до чего не добьется!—отвѣчалъ съ непоколебимымъ убѣжденіемъ Селифонтьевъ.

— Ну, смотрите же,—сказалъ князь: — я вѣдь, кажется, аккуратно вамъ плачу! Указаніе на послѣднее обстоятельство со стороны князя дѣйствительно было чрезвычайно многозначительно, ибо онъ никому въ жизни кромѣ нужныхъ чиновниковъ аккуратно не платилъ. Селифонтьевъ оцѣнилъ это по достоинству и еще разъ успокоилъ князя.

Дѣйствительно, бойкій господинъ, который обладалъ болѣе рвеніемъ, нежели знаніемъ правилъ отчетности и его крючковъ, немедленно сталъ втупикъ, не видя никакой возможности вывести что либо на чистую воду. Деньги потрачены, на все очистительныя указанія, а дѣйствительно ли они ушли въ тѣ законныя щели, куда указано, и законно ли эти щели открыты — бойкій господинъ, къ полному торжеству чиновника Селифонтьева, никакъ открыть не могъ и—какъ говорится—срѣзался; ибо, не смотря на всѣ придирки, подозрѣнія и первоначальныя намѣренія, долженъ былъ поклясться на самомъ отчетѣ, что оный составленъ правильно и суммы употреблены какъ слѣдуетъ.

Когда это засвидѣтельствованіе было сдѣлано, князь Шапхаевъ счелъ нужнымъ обидѣться недо-

вѣріемъ гг. дворянъ, а гг. дворяне наперерывъ сочли нужнымъ увѣрить его, что они никакого недовѣрія къ нему и не думали имѣть, а что если бойкій ревизоръ и заявлялъ сомнѣнія, то это лично отъ себя, по своей неопытности и незнанію дѣла; дворянство же всегда князя глубоко уважало и ревизоровъ назначаетъ собственно потому только, что этого требуетъ законъ, а по мнѣнію-де дворянства всякая ревизія, какъ признакъ недовѣрія, есть личная обида. Такимъ образомъ бойкій господинъ былъ выданъ головой и познался на опытѣ, что неудача всегда самая большая вина.

На третій день выборовъ, когда Камышлинцевъ пріѣхалъ въ собраніе, къ нему подошелъ посредникъ Хорьковъ. Это былъ невысокій, толстенькій сангвиникъ, рьяный и, какъ говорили про него, «характерный». Лозунгъ его былъ «никому не спускать» и онъ дѣйствительно не спускалъ. Не спускалъ онъ помѣщикамъ, которыхъ штрафовалъ, и этимъ возбудилъ противъ себя страшное негодованіе (извѣстно, что помѣщики наложеніе штрафа хоть бы за неявку къ разбору считали и считаютъ ужаснѣйшей личной обидой), не спускалъ и крестьянамъ, которыхъ посѣкалъ зачастую. Кромѣ того Хорьковъ былъ не безъ хитрости и зналъ дворянскіе обычаи и интриги досконально.

— Сегодня на насъ нападеніе готовится,—сказалъ онъ Камышлинцеву.—Третьяго дня на сходкѣ рѣшено заявленіе подавать.

— Какого рода?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Да самаго скверная. А впрочемъ, я свои мѣры принялъ,—и онъ усмѣхнулся.

Разговоръ былъ кѣмъ-то прерванъ. Но дѣло скоро разъяснилось.

Князь Шапхаевъ позвонилъ (звонокъ былъ тогда современнымъ нововведеніемъ, на которое нѣкоторые роптали: «Что это, лакеевъ сзываетъ, что ли?» говорили они, но были успокоены объясненіемъ Шестипалова, что звонокъ принятъ и въ англійскомъ парламентѣ); всѣ стали занимать мѣста, при чемъ вокругъ Камышлинцева усѣлись либеральные посредники. Князь Шапхаевъ вынулъ кучу бумагъ и сказалъ:

— Милостивые государи! Я получилъ отъ многихъ изъ гг. помѣщиковъ заявленія, которыя они просятъ меня довести до свѣдѣнія дворянства. Угодно-ли приступить къ чтенію?

— Сдѣлайте одолженіе.—Просимъ!—раздались голоса.

Князь Шапхаевъ развернулъ первое письмо и сталъ читать. Это была длинная жалоба одного мелочнаго, придирчиваго помѣщика на то, что крестьяне его отказались доставить запроданный имъ хлѣбъ на томъ основаніи, что мѣсто доставки далѣе 150 верстъ, и что посредникъ, которому онъ принесъ жалобу, не только не принудилъ къ этому крестьянъ, но, напротивъ, объявилъ имъ, что они имѣютъ полное право отказаться отъ этого извоза, требуемаго незаконно, и что этимъ рѣшеніемъ онъ не только потворствуетъ крестьянамъ, но поощряетъ ихъ къ бунту и непослушанію, подрываетъ въ ихъ глазахъ кредитъ помѣщика, утверждавшаго, что они обязаны производить сію работу, и дѣйствуетъ не такъ, какъ прилично дворянину, и пр.

За чтеніемъ послѣдовало нѣкоторое молчаніе.

Посредникъ, на котораго была направлена эта жалоба, былъ очень скромный молодой человѣкъ, сынъ не богатаго помѣщика, который служилъ по выборамъ и былъ тутъ же. Посредникъ всталъ и началъ объяснять, что онъ не вправѣ былъ принудить крестьянъ, потому что по положенію дозволяется требовать извоза не далѣе 150 верстъ, а тутъ 175.

Камышлинцева передернуло отъ этого отвѣта.

— Что за оправданія!—сказалъ онъ своему сосѣду.

— Нѣтъ,—возразилъ помѣщикъ.—Это увѣряютъ крестьяне, а тутъ всего и ста пятидесяти не будетъ.

— Какія же 150!—возразилъ посредникъ,—сто пятьдесятъ одной большой дорогой, мѣрныхъ, да отъ вашего имѣнія до дороги 25 верстъ.

— А кто имъ велитъ большой дорогой ѣхать!—пусть на Плѣшаниху ѣдутъ да на Мокриху.

— И на Мокрилово ближе не будетъ, да тамъ никто не ѣздитъ, у васъ всегда по большой дорогѣ ѣздили.

— И ѣздили! — да то было по старому, ну а коль они хотятъ по новому, такъ на Мокриху поѣзжай.

— И на Мокриху тѣ же 170 верстъ — повторилъ посредникъ.

— Да кто мѣрялъ, позвольте узнать? — спросилъ вскочивъ Грембулатовъ.

— Я не знаю, кто мѣрялъ, но я спрашивалъ окрестныхъ добросовѣстныхъ.

— Да вѣдь крестьянъ же вы спрашивали? Все-таки крестьянъ, а не помѣщиковъ!—сказалъ черный и суровый помѣщикъ, видѣвшій во всемъ заговоръ и интригу.

— А кому же знать, какъ не крестьянамъ? — возразилъ посредникъ.

— Да нѣтъ, позвольте васъ спросить, кто мѣрялъ? — кричалъ Грембулатовъ, приближаясь къ посреднику.

— Да и почему же вѣрить крестьянамъ, а не дворянину?—замѣтилъ одинъ необыкновенно толстый и раздражительный господинъ.

— Нѣтъ, я спрашиваю васъ: кто мѣрялъ? — приставалъ Грембулатовъ къ посреднику, подойдя къ нему вплоть.

— Нѣтъ, что не по-дворянски! Это не по-дворянски поступлено!—послышались голоса.

Камышлинцевъ видѣлъ съ самаго начала, что, вслѣдствіе объясненія посредника, дѣло пошло совсѣмъ не по тому пути; онъ всталъ, чтобы поправить его, но въ это же время около посредника, пробравшись изъ заднихъ рядовъ, появился добродушный, худенькій и смущенный человѣкъ.

Это былъ отецъ посредника, служащій гдѣ-то засѣдателемъ.

— Господа, благородные дворяне!—сказалъ онъ нѣсколько дрожащимъ голосомъ.—Если сынъ мой, дѣйствительно, поступилъ не такъ, какъ слѣдуетъ, то я смѣю увѣрить господъ дворянъ, что онъ сдѣлалъ это по молодости лѣтъ и неопытности, а отнюдь не по неуваженію къ благородному сословію, въ почтеніи къ которому воспитанъ мною! И потому, позвольте старику-отцу просить благородное дворянство извинить на первый разъ неопытнаго молодаго человѣка, если не для него, то ради меня!—И растроганный старичекъ поклонился на всѣ стороны.

Ропотъ негодованія послышался со стороны посредниковъ, но противная партія смолчала, какъбы нѣсколько умилостивленная этимъ извиненіемъ.

Бѣдный молодой человѣкъ кинулъ на отца укоризненный взглядъ и, смущенный, ушелъ въ толпу.

Камышлинцевъ всталъ, какъ ужаленный.

— Я не знаю, господа, гдѣ мы находимся! — сказалъ онъ. — Господинъ предсѣдатель читаетъ намъ неизвѣстно зачѣмъ жалобы, сюда не относящіяся, господинъ посредникъ считаетъ нужнымъ оправдываться, а родитель извиняется за сына! Мы возвращаемся къ какимъ-то патріархальнымъ временамъ! Я полагаю,—онъ обратился къ губернскому предводителю, — что вамъ, князь, прежде, нежели доводить до общаго свѣдѣнія всякую поданную вамъ бумагу, не мѣшало бы ознакомиться съ ея содержаніемъ и, если она не подлежитъ сужденію дворянскаго собранія, возвратить ее подающимъ.

— Да вѣдь было заявлено общее желаніе,— смутившись нѣсколько, замѣтилъ князь Шапхаевъ.

— Общаго не было, я за это ручаюсь, а если и были желающіе, такъ желаніе тогда можно исполнять, когда оно законно. Жалобы разбираются подлежащими мѣстами, а здѣсь не судъ,—сказалъ Камышлинцевъ.

— Это дворянское дѣло! Тутъ дворяне на дворянъ жалуются!—раздались голоса. — Мы имѣемъ право разбирать жалобы дворянъ на дворянъ!

— Такъ этакъ мы и долги будемъ взыскивать другъ съ друга черезъ дворянское собраніе и подавать счеты губернскому предводителю? — сказалъ Камышлинцевъ. — Вѣдь этакъ, пожалуй, мы засыплемъ господина предводителя нашими просьбами!

Упоминаніе о долгахъ было очень мѣтко и князя Шапхаева передернуло. Нѣкоторые ухмыльнулись.

— Это совсѣмъ другое! Совсѣмъ не то!—кричали рьяные дворяне.

— Точно то же! Та же жалоба!—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Я согласенъ съ Дмитріемъ Петровичемъ, что эти жалобы не совсѣмъ идутъ сюда,— сказалъ князь Шапхаевъ, желавшій угодить и нашимъ, и вашимъ, и лично весьма равнодушный къ крестьянскому дѣлу, потому что имѣніе его разорить и хозяйство уронить нельзя было больше.

— Такъ, какъ же, господа? продолжать чтеніе, или оставить?

— Продолжать!—кричало большинство.

— Не нужно!—кричали другіе.

— Большинство желаетъ чтенія,—сказалъ князь и съ нерѣшительностью взялъ бумагу.

— Такъ это у насъ будетъ литературное утро?— спросилъ Камышлинцевъ:—вѣдь мы жалобъ не разбирать, ни рѣшать не имѣемъ права!

— Ну, еще не знаемъ!—заговорили нѣкоторые.

— Увидимъ!—сказалъ Грембулатовъ и такъ постотрѣлъ на Камышлинцева, какъ будто хотѣлъ съѣсть его.

Камышлинцевъ всталъ и хотѣлъ выйти, но сидѣвшій съ нимъ рядомъ Хорьковъ остановилъ его.

— Подождите! Штука будетъ!—сказалъ онъ ему.

Камышлинцевъ зналъ, что Хорьковъ мастеръ на штуки и остался.

Началось чтеніе просьбы какъ разъ на Хорькова. Это была жалоба нѣкоего помѣщика Перспикасова, отставнаго взяточника и величайшаго крючкотвора, нажившаго себѣ на службѣ немалое состояніе и получившаго приглашеніе отдохнуть на лаврахъ. Онъ жаловался на дѣйствія посредника Хорькова по дѣлу о захватѣ имъ, помѣщикомъ, якобы принадлежащей крестьянамъ земли. Въ просьбѣ не было недостатка въ выраженіяхъ, болѣе чѣмъ жесткихъ и непозволительныхъ, и она заключалась такъ: «о таковыхъ пристрастныхъ, неблагонамѣренныхъ и возбуждающихъ къ неуваженію правъ собственности дѣйствіяхъ вышеупомянутаго посредника по дѣлу о землѣ, пріобрѣтенной мною трудами и бережливостью, на службѣ Его Императорскаго Величества, я, какъ о неприличныхъ званію дворянина, считаю долгомъ повергнуть на благоусмотрѣніе благороднаго собранія».

Только что кончилось это чтеніе, какъ всталъ Хорьковъ и почтительно подалъ бумагу губернскому предводителю.

— Что это?—спросилъ тотъ.

— А это мое заявленіе, — отвѣчалъ скромно Хорьковъ.

— Не благоугодно ли будетъ вамъ прежде отвѣтить на просьбу мою?—съ скромной злобой сказалъ Перспикасовъ.

— Не благоугодно ли выслушать мое заявленіе?— отвѣчалъ Хорьковъ:—тутъ мой и отвѣтъ.

— Что же, господа?—спросилъ князь Шапхаевъ.

— Читать! читать!—отвѣтили многіе.

— Уже если читать одного, такъ надо читать и другаго,—заговорили посредники. Перспикасовъ былъ выслужившійся изъ поповичей дворянинъ и не терпимъ почти всѣми, поэтому протестовъ противъ чтенія не было.

— А пусть его!..—сказалъ Грембулатовъ окружающимъ, прибавя такой оригинальный эпитетъ, что всѣ окружающіе фыркнули.

Началось чтеніе.

Это была совершенная пародія на заявленіе Перспикасова. Въ ней, кромѣ описанія разныхъ его неблаговидныхъ продѣлокъ, почти словами Перспикасова излагалась его тяжба съ крестьянами за землю, купленную крестьянами въ прежнее время, какъ водится, на помѣщичье имя, и приводились доказательства справедливости крестьянъ и вопіющей недобросовѣстности помѣщика. Заявленіе кончалось такъ: «Таковыя притязательныя и крючкодѣйственныя средства господина Перспикасова къ отнятію земли, купленной крестьянами съ полнымъ довѣріемъ къ дворянской честности на имя своего бывшаго помѣщика, о чемъ при продажѣ и было отъ послѣдняго заявлено, — купленной на свои кровныя и трудовыя деньги, а не на сбереженія, какъ упоминаетъ господинъ Перспикасовъ, сдѣланныя имъ на службѣ совѣтникомъ питейнаго отдѣленія казенной палаты, — какъ недостойныя дворянина и ему близко извѣстныя, онъ, Хорьковъ, считаетъ обязанностію повергнуть на благоусмотрѣніе благороднаго собранія».

Мистификація была полная и понята всѣми. Одни смѣялись, другіе злобствовали, третьи были поставлены втупикъ.

— Этого нельзя!— кричали одни; — посредникъ не имѣетъ права возбуждать подобныхъ вопросовъ, — кричали нѣкоторые.

— Отчего же не жаловаться посредникамъ, если принимаются жалобы на нихъ?—возражали другіе.

— Милостивые государи,—сказалъ вставши Мытищевъ, съ свойственной ему спокойной вѣжливостью:—вы видите, что допуская чтеніе частныхъ жалобъ, вы сдѣлали ошибку. Если признать, что гг. помѣщики могутъ жаловаться на посредниковъ, то точно также никто не помѣшаетъ и гг. посредникамъ, какъ и случилось сейчасъ, жаловаться на гг. помѣщиковъ. Подобныя заявленія, раздражая только одно сословіе противъ другаго, ни къ чему не поведутъ, потому что мы не имѣемъ права и средствъ разбирать жалобы; на это есть установленныя мѣста.

— Да эти установленныя-то мѣста всѣ руку посредниковъ держатъ,—заговорилъ Грембулатовъ,— такъ что же съ ними станешь дѣлать, спрашиваю я васъ? Такъ что-ли оставить?

— Жаловаться на несправедливость этихъ мѣстъ,— сказалъ Мытищевъ, — и опять таки не здѣсь. А здѣсь подобное заявленіе крайне неумѣстно и за него заявляющій можетъ быть потребованъ къ отвѣту, если, напримѣръ, попросить г. губернскаго предводителя занести эти слова въ протоколъ.

Грембулатовъ струсилъ и вся его партія, увидавъ, что пошла не по той дорогѣ, постаралась замять дѣло, и на вопросъ предводителя: продолжать ли чтеніе, отвѣчала: не нужно!

«Штука не вытанцовалась, надо придумать другую», подумали коноводы.

— Какъ вы ухитрились,— смѣясь спросилъ Камышлинцевъ Хорькова,—узнать содержаніе жалобы Перспикасова и написать на нее пародію?

— Да секретарь-то развѣ не знаетъ, что у меня два шара и что я не безъ пріятелей! — отвѣчалъ Хорьковъ.

V.

Въ этотъ же день, по окончаніи засѣданія, едва Камышлинцевъ успѣлъ скинуть свой дворянскій мундиръ, какъ къ нему пріѣхалъ Шестипаловъ, тоже въ мундирѣ. Это былъ высокій, съ длиннымъ, благообразнымъ лицомъ, висячими бакенбардами и проборомъ на затылкѣ, русскій баринъ, нарядившійся англичаниномъ. Онъ попросилъ въ собраніи, чтобы его представили Камышлинцеву и, какъ пріѣзжій мѣстному жителю, счелъ нужнымъ сдѣлать визитъ. Шестипаловъ до сихъ поръ какъ-то не высказывался, онъ знакомился, держался въ сторонѣ отъ преній, ни въ какіе семейные дворянскіе споры не вмѣшивался и присматривался. Желаніе познакомиться съ Камышлинцевымъ ему пришло какъ-то на умъ именно въ то время, когда онъ замѣтилъ, что за Камышлинцевымъ стоитъ порядочная партія болѣе живыхъ и молодыхъ людей.

Они поговорили о разныхъ пустякахъ. Наконецъ Шестипаловъ сказалъ:

— Я бы желалъ переговорить и попросить вашего совѣта по нѣкоторымъ вопросамъ, которые, мнѣ кажется, должны бы составлять главный предметъ нашихъ дворянскихъ задачъ и о которыхъ, между прочимъ, дворянство кажется и не думаетъ. Но теперь, я полагаю, не время... — онъ посмотрѣлъ на часы.

— Сдѣлайте одолженіе, не стѣсняйтесь! сказалъ Камышлинцевъ: — я обѣдаю поздно и если вы не заняты...

— О нѣтъ!—отвѣчалъ Шестипаловъ—въ такомъ случаѣ вы мнѣ позвольте коснуться — продолжалъ онъ—этого предмета. Вы согласитесь, что теперь, когда мы лишились одного изъ самыхъ существенныхъ и коренныхъ нашихъ правъ, намъ надо бы подумать о другихъ, и вотъ я бы желалъ узнать ваше мнѣніе на этотъ счетъ и попросить совѣта, какъ бы приступить къ этому.

— Позвольте узнать, какія права вы полагаете желательными? — спросилъ Камышлинцевъ.

— Да напримѣръ нѣкоторая степень самоуправленія... въ родѣ англійскаго!

— Я долженъ вамъ сказать откровенно, что я не за англійское самоуправленіе,—сказалъ Камышлинцевъ. — Я бы желалъ для Россіи чего-нибудь менѣе аристократическаго.

— Чтожь, можно придумать что-либо болѣе къ намъ идущее, хотя я бы полагалъ, что тамъ уже все выработано и опредѣлено.

— Ну, намъ, я думаю, устранвать не придется! — съ улыбкой замѣтилъ Камышлинцевъ; — но заявить потребность можно. Я и самъ бы готовъ начать рѣчь объ этомъ, но дворянство такъ настроено противъ меня, что предложеніе, только

потому, что оно сдѣлано мною, можетъ возстановить большинство противъ самого дѣла. И потомъ, я полагаю, что большинство насъ въ такомъ теперь положеніи, что кромѣ привилегій себѣ и въ ущербъ другимъ, — врядъ ли будетъ желать чего!

— Ну нѣтъ! отъ чего же? Во всякомъ случаѣ можно попытаться, потолковать! Только въ собраніи это неловко! надо бы сойтись гдѣ-нибудь, на нейтральной почвѣ! — сказалъ Шестипаловъ.

— Эту почву найти не легко! — замѣтилъ Камышлинцевъ. Они задумались, перебирая мыслями имена вліятельныхъ людей. — Знаете что? Нельзя ли это сдѣлать въ собраніи, но частно, не въ оффиціальномъ засѣданіи?—сказалъ Камышлинцевъ.— А между тѣмъ мысль вашу можно пустить въ ходъ. Надо поговорить бы съ Самокатовымъ: онъ лучше насъ знаетъ обычаи. Вы съ нимъ знакомы?

— Какъ же, знакомъ! Такъ я переговорю съ нимъ, а между тѣмъ благодарю васъ за совѣтъ и очень радъ что буду не одинъ, и вы поддержите мое предложеніе.

— О, съ большимъ удовольствіемъ, — отвѣчалъ Камышлинцевъ, — на сколько это будетъ не противно моимъ убѣжденіямъ.

— Въ этомъ вы можете быть покойны! сказалъ съ пріятной и убѣдительной улыбкой Шестипаловъ. Я глубоко уважаю ваши убѣжденія и конечно не буду проводникомъ мнѣній, которымъ бы вы не сочувствовали!

Онъ крѣпко пожалъ руку Камышлинцеву и съ той же пріятной улыбкой простился съ нимъ. Шестипаловъ вѣроятно хлопоталъ усердно. На другой день губернскій предводитель объявилъ его предложеніе и оно было поддержано со всѣхъ сторонъ. Рѣшено было въ слѣдующій же день (въ этотъ назначенъ былъ въ собраніи танцовальный вечеръ) собраться въ дворянской залѣ.

Узнавъ объ этомъ рѣшеніи, губернаторъ Нобель-кнебель призвалъ къ себѣ губернскаго предводителя и о чемъ-то съ нимъ довольно долго толковалъ; но совѣщаніе отмѣнено не было. Дѣйствительно, въ назначеный день, часовъ около 8-ми вечера, начали собираться дворяне — почтенные люди въ сюртукахъ, болѣе вольнодумные въ пальто и пиджакахъ, но собирались какъ-то нешумно-таинственно: зала была полуосвѣщена, собравшіяся кучки о чемъ-то переговаривали въ полголоса. Многіе не знали, о чемъ собственно и говорить будутъ, во всемъ проглядывала какая-то таинственность, а у иныхъ и нѣкоторый страхъ: точно собрались на политическій заговоръ.

— Ба! Дѣдушка! И ты здѣсь? спросилъ находившійся въ веселомъ расположеніи духа Самокатовъ одного почтеннаго и богобоязненнаго старичка, прослужившаго 30 лѣтъ совѣстнымъ судьей.

— А что? — спросилъ тотъ съ безпокойствомъ.

— Ничего! ничего!—отвѣчалъ тотъ, только такимъ тономъ, который говорилъ: ну, смотри, братъ, *попадись!*

— Да о чемъ будутъ толковать-то, объясни мнѣ? — спрашивалъ старичекъ.

— А вотъ услышишь!—отвѣчалъ тотъ.

Старичекъ почамкалъ губами и безпокойно озирался. Камышлинцеву, который видѣлъ эту мистификацію, стало жаль старика.

— Объ общихъ дворянскихъ интересахъ! — отвѣчалъ онъ;—можетъ быть найдутъ нужнымъ просить о какихъ-нибудь милостяхъ!

— А, милостей просить! Это хорошо! Отчегожь и не попросить милостей! — отвѣчалъ съ благодарностью нѣсколько успокоенный старичекъ.

— Да! о дворянскихъ интересахъ, да милостяхъ. Вотъ вы ихъ узнаете! — повторилъ Самокатовъ и насмѣшливо посмотрѣлъ и на старичка, и на Камышлинцева.

Въ это время вошелъ губернскій предводитель, все зашумѣло и стало собираться къ нему. Около него повертѣлся бѣленькій и плюгавенькій старичекъ, преданный начальству, съ сладкой рожицей, и всегда лебезившій около предводителя. Онъ какъ бы спрашивалъ, не будетъ ли какихъ приказаній, но приказаній не было: князь Шапхаевъ едва кивнулъ ему головой. Поговоривъ о чемъ-то человѣками съ двумя изъ сильныхъ помѣщиковъ, онъ пригласилъ другихъ садиться, и около него образовался въ нѣсколько рядовъ тѣсный и большой полукругъ, въ срединѣ котораго сидѣлъ Шестипаловъ.

— Вотъ, господа,—началъ князь Шапхаевъ, съ свойственною ему развязностью, когда дѣло касалось общихъ вопросовъ, — Авксентій Егорычъ (и онъ указалъ на Шестипалова) предложилъ намъ собраться, чтобы переговорить объ общихъ дворянскихъ интересахъ, обусловливаемыхъ настоящимъ нашимъ положеніемъ, и вы нашли это предложеніе весьма умѣстнымъ. Такъ не угодно ли будетъ приступить къ предмету совѣщанія?

Послѣдовало молчаніе.

Предводитель обвелъ всѣхъ глазами и замѣтилъ, что Шестипаловъ смотритъ на люстру, а остальные смотрятъ на него, Шапхаева, такъ, какъ будто говорятъ: «да вѣдь мы привыкли, чтобы предсѣдатель давалъ предложенія и ихъ придумывалъ, такъ чтожь это ты на насъ валишь?» но князь Шапхаевъ не затруднился.

— Не угодно ли будетъ вамъ, Авксентій Егорычъ,—сказалъ онъ, обратясь къ Шестипалову,— какъ первому заявившему желаніе о совѣщаніи (онъ на всякій случай видимо упиралъ на то, что-де все это тобой затѣяно), не угодно ли будетъ разъяснить вашу мысль и сообщить: какія именно нужды вы считаете важными въ настоящемъ случаѣ для дворянства?

Шестипаловъ всталъ, нѣсколько смутясь.

— Милостивые государи,— сказалъ онъ,— вамъ извѣстно, что въ настоящее время совершается реформа, реформа, которая совершенно необходима для развитія государственной жизни и которой нельзя не сочувствовать. Тѣмъ не менѣе вслѣдствіе ея, вслѣдствіе эманципаціи крестьянъ, дво-

рянство лишилось одной изъ своихъ самыхъ существенныхъ привилегій и вмѣстѣ съ тѣмъ утратило вліяніе на низшіе классы. Вслѣдствіе этого (онъ замѣтилъ повтореніе)... поэтому я полагаю, что дворянамъ должно бы обсудить свое новое положеніе и что дворянство нѣкоторымъ образомъ имѣетъ право, ходатайствовать о милостяхъ для себя, которыя бы возстановили его повсемѣстное значеніе. — Шестипаловъ посмотрѣлъ кругомъ и въ то время, какъ всѣ ожидали продолженія, онъ остановился и сѣлъ на свое мѣсто.

Опять послѣдовало молчаніе.

— Да однакожь... о чемъ же именно вы полагали бы просить?— сказалъ князь Шапхаевъ.

— Ну, это зависитъ отъ того, что найдутъ нужнымъ гг. дворяне, — сказалъ Шестипаловъ.

— Господа!— сказалъ предводитель, кто же въ чемъ полагаетъ дворянскія нужды?

Опять послѣдовало молчаніе.

— По-боку бы всѣ реформы;—сказалъ про себя но довольно громко, Грембулатовъ.

Многіе разсмѣялись.

— Да неугодно ли Авксентью Егоровичу и начать?—сказалъ необыкновенно толстый и необыкновенно раздражительный помѣщикъ Свистоуховъ.

— Я съ своей стороны полагаю, господа, — замѣтилъ прижатый къ стѣнѣ Шестипаловъ, — что напримѣръ нѣкоторая доля самоуправленія, сосредоточенная исключительно въ дворянскихъ рукахъ, была бы очень желательна и полезна.

Послѣдовало молчаніе.

— Извините, если я васъ спрошу, что такое самоуправленіе? — вполголоса спросилъ Самокатова сидѣвшій возлѣ него молодой господинъ съ усиками, недавно вышедшій въ отставку изъ военныхъ.

Большинство точно также плохо понимало это слово, какъ и юный воинъ, только боялось сознаться въ томъ.

— А это право самому съ себя деньги собирать! отвѣчалъ серьезно Самокатовъ.

Камышлинцева укололо предложеніе Шестипалова.

— Самоуправленіе вещь хорошая, — сказалъ онъ,—но если оно будетъ сосредоточено въ однихъ рукахъ, такъ это не будетъ самоуправленіе. Теперь же, я полагаю, наша задача заботиться объ общихъ правахъ, а не расходиться съ народомъ, да ходатайствовать о новыхъ привилегіяхъ!

— Да-съ, — подхватилъ одинъ господинъ, бывшій ярымъ помѣщикомъ и вдругъ превратившійся въ яраго либерала, — я согласенъ съ Дмитріемъ Петровичемъ! время привилегій прошло! Намъ надо просить, чтобы насъ сравняли во всемъ съ народомъ! пусть на насъ наложатъ рекрутство, пусть наложатъ подушныя.

— И тѣлесныя наказанія, — подсказалъ кто-то.

— А что же? и тѣлесныя наказанія!— разгорячась отвѣчалъ красный.

— Съ тебя бы начать, такъ чай не понравится! — замѣтилъ ему какой-то пріятель.

Всѣ засмѣялись.

— Равенство вводится,—замѣтилъ мягко и нѣсколько-наставительно Мытищевъ Иванъ (старикъ по болѣзни не пріѣхалъ),—не уничтоженіемъ преимуществъ высшаго сословія и приравненіемъ его къ низшему, а наоборотъ — распространеніемъ на низшія сословія правъ, которыми пользовались только высшія, и такъ сказать, поднятіемъ низшихъ до привилегированныхъ классовъ.

— Дмитрій Петровичъ, — замѣтилъ Шестипаловъ,— находитъ излишнимъ сосредоточеніе самоуправленія въ дворянскихъ рукахъ, но дворянство у насъ самое образованное сословіе: такъ кому же и довѣрить самоуправленіе?

— Первенство всегда и останется за дворянствомъ, какъ за самымъ просвѣщеннымъ классомъ, но пусть оно и достается добровольно, въ силу образованности, а не привилегіи, — отвѣчалъ Камышлинцевъ.—Впрочемъ, прибавилъ онъ,—мы еще не имѣемъ, кромѣ самоуправленія, многихъ вещей, безъ которыхъ немыслимо никакое развитіе, напримѣръ: свободы слова и печати, неприкосновенности личности безъ суда, да и самаго суда не имѣемъ. Вотъ о чемъ слѣдовало бы прежде всего позаботиться.

Всѣ молчали, задумавшись.

— Господа! — замѣтилъ князь Шапхаевъ, — мы не имѣемъ права входить съ подобными ходатайствами о дѣлахъ, касающихся всѣхъ сословій: намъ скажутъ, что мы выходимъ изъ границъ нашихъ нуждъ и на это не уполномочены отъ другихъ сословій.

— А если мы будемъ просить чего-нибудь только для себя, то скажутъ, что мы эгоисты и думаемъ только о своемъ сословіи, — замѣтилъ кто-то изъ молодыхъ.

— Ну и пусть говорятъ; а мы все-таки должны думать о себѣ. Ну, пусть дадутъ намъ по крайней мѣрѣ права остзейскаго дворянства. Чѣмъ мы хуже ихъ? — сказалъ раздражительный помѣщикъ Свистоуховъ.

— Да! мы не менѣе его вѣрны! не менѣе заслужили ихъ! — послышались восклицанія съ разныхъ сторонъ и сопровождались извѣстными замѣтками противъ нѣмцевъ и ихъ особенностей, весьма не лестнаго для нихъ свойства. Собраніе оживилось; большинство говорило въ унисонъ: — не многіе несогласные молчали. Вскипѣлъ патріотизмъ и оскорбленное самолюбіе. Предложеніе, сдѣланное однимъ изъ главъ помѣщичьей партіи, задѣло патріотизмъ и заслужило одобреніе большинства.

Камышлинцевъ и Мытищевъ съ улыбкой переглянулись и смотрѣли на горячащихся.

— Да! остзейскія права, остзейскія привилегіи намъ! — послышались голоса.

Совѣстный судья и смиренный отецъ мироваго посредника, услыхавъ это, немедленно на цыпочкахъ вышли и уѣхали изъ собранія и провели нѣсколько самыхъ безпокойныхъ дней, чувствуя себя

участниками въ нѣкотораго рода политическомъ заговорѣ.

— Господа!—замѣтилъ князь Шапхаевъ,—я съ вами согласенъ, но ловко ли будетъ входить съ подобнымъ ходатайствомъ?

— Ваше сіятельство находите, кажется, всегда неловкимъ ходатайствовать за дворянскія права,— замѣтилъ раздражительный господинъ.

Князь Шапхаевъ видѣлъ, что онъ можетъ потерять расположеніе большинства.

— Я всегда былъ слугою дворянства и ни въ какомъ случаѣ не пойду противъ его желаній!—сказалъ онъ съ благородною гордостью.—Еслибы нынѣче послѣ трехъ трехлѣтій службы я въ первый разъ и разошелся въ мысляхъ съ дворянствомъ, то именно изъ боязни навлечь на него неудовольствіе и непріятности. Впрочемъ, я ни въ какомъ случаѣ не буду мѣшать исполненію его намѣреній!... Я могу сказаться больнымъ, — прибавилъ онъ.

Шестипаловъ улыбнулся Камышлинцеву.

— Однакожь, о чемъ идетъ рѣчь? — спросилъ Камышлинцевъ: — о правахъ прибалтійскихъ провинцій, или ихъ дворянства?

— Дворянства! Разумѣется, дворянства! — раздались голоса.—Сказано, что мы не имѣемъ права ходатайствовать объ общихъ правахъ!

— Какихъ же именно правъ этого дворянства желательно намъ?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Да всѣхъ вообще!—отвѣчалъ раздражительный господинъ.

— Но какихъ, какихъ же именно?—спрашивалъ Камышлинцевъ.

— Конечно, надо будетъ развить опредѣленно то, чего мы желаемъ, — подтвердилъ князь Шапхаевъ.

— Ну, ну, напримѣръ. Они имѣютъ право покупать въ Россіи имѣнія, а мы у нихъ не можемъ!— отвѣтилъ запросчикъ.

— Мм! Это еще не важно! — замѣтилъ князь Шапхаевъ.

— Разумѣется, какая нелегкая понесетъ насъ туда! Это они къ намъ лѣзутъ! Ну и пусть ихъ покупаютъ у насъ: они аккуратно платятъ! — послышалось съ разныхъ сторонъ.

— Ну, а дальше? — спрашивалъ князь.

— А далѣе?—А чортъ ихъ тамъ знаетъ, чѣмъ они всѣхъ опутали! — сказалъ, вскочивъ, раздражительный господинъ и въ волненіи сталъ ходить по залѣ.

Всѣ разсмѣялись. Многіе поднялись съ мѣстъ и начались шумъ и толки.

Нѣкоторые подошли къ Шестипалову и просили разъяснить имъ его мысль о самоуправленіи.

Къ Камышлинцеву подошелъ отставной офицерикъ.

— Ужасно непріятно,—сказалъ онъ,—что нынѣче все какія-то стали употреблять слова и говорить о предметахъ, которыхъ не понимаешь; а разъяснить никто не разъясняетъ и всѣ какъ-то не договариваютъ. Я вторымъ кончилъ курсъ въ корпусѣ и на золотой доскѣ стою, а многаго не могу понять. Одинъ журналъ все пишетъ, что надо дѣло дѣлать, и въ повѣстяхъ у него всѣ герои дѣло какое-то дѣлаютъ, а какое дѣло — не говорятъ. Другой говоритъ, что достаточно пять книжекъ прочитать, чтобы знать все, а какія книжки — не поименовываетъ. Ужасно непріятно. Я, напримѣръ, человѣкъ свободный, очень бы желалъ и дѣло дѣлать, и книжки читать, а не знаю, за что приняться! Или, напримѣръ, недавно прочиталъ: смѣются, что одинъ кита рыбой назвалъ! Я, признаюсь, самъ былъ увѣренъ, что китъ—рыба: теперь узнаю, что нѣтъ, а кто онъ—не объяснили! Очень непріятно! боишься съ умными людьми говорить, чтобы въ просакъ не попасть!

— Да, это непріятно!—разсѣянно отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Позвольте узнать однако же, что же китъ.

Но въ это время князь Шапхаевъ, соскучившійся ждать и желая засѣсть въ нѣкую игру «трынку», спросилъ:

— Такъ, какъ же, господа? не оставить ли намъ совѣщаніе до другаго раза?

Шестипаловъ нѣсколько обидѣлся.

— Я полагаю, князь,—сказалъ онъ,—что если мы собрались сюда, то надо чѣмъ-нибудь и покончить! Я имѣлъ честь,—продолжалъ онъ, обращаясь уже ко всѣмъ,—предложить собранію мысль о начаткахъ самоуправленія. Самое богатое и знатное дворянство, англійское, благодаря этимъ началамъ, сохранило полное вліяніе на остальные классы. Я думаю, что всего приличнѣе было бы ходатайствовать о предоставленіи намъ—такъ какъ мы не имѣемъ права ходатайствовать за другихъ— нѣкоторой доли этихъ политическихъ правъ англійскаго дворянства.

Слушатели снова были озадачены этимъ предложеніемъ, но ихъ выручилъ господинъ съ отвисшими щеками и пухлыми губами сердечкомъ. Человѣкъ этотъ, восточнаго происхожденія, по фамиліи Зензивѣевъ, былъ необыкновенно мягкій, женоподобный и нѣжный; любилъ все примирять и улаживать, питалъ особенную склонность къ одному молодому и рослому стремянному, взятому изъ крестьянъ, и былъ глубоко огорченъ его измѣной, когда онъ, уволенный, какъ безземельный, мировымъ посредникомъ, ушелъ отъ него. Зензивѣевъ не могъ простить этого ни мировому посреднику, который его уволилъ, ни губернскому присутствію, не внявшему его жалобѣ. Онъ тоже подавалъ заявленіе губернскому предводителю въ числѣ другихъ, которыя не были читаны.

— Милостивые государи! — сказалъ онъ, нѣсколько сюсюкая:—вотъ Авксентій Егоровичъ говоритъ объ англійскомъ дворянствѣ. Да что намъ Англія! Мы благодаря Бога русскіе, а не англичане. Зачѣмъ намъ перенимать ихнее? пусть оно при нихъ и остается. Да и ловко ли намъ просить объ этомъ? Мнѣ кажется—если позволено мнѣ будетъ высказать здѣсь свое мнѣніе—мнѣ кажется,

всего правильнѣе по русскому обычаю предоставить попечительному правительству самому позаботиться о нашихъ нуждахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что, лишивъ насъ одной изъ существеннѣйшихъ нашихъ привилегій, оно оцѣнитъ и нашу жертву, и нашу готовность принять ее, которую мы заявили одни изъ первыхъ.

— Да, да! изъ первыхъ,—заговорили многіе съ гордостью.

— Нѣтъ сомнѣнія, что это будетъ принято во вниманіе и что попечительное правительство, котораго мы составляемъ опору, само вознаградитъ насъ. А наши просьбы и напоминанія могутъ только огорчить его и быть поводомъ къ отсрочкѣ. Во всякомъ случаѣ, мнѣ кажется, повременить, подождать и заняться своимъ настоящимъ дѣломъ, тѣмъ дѣломъ, которое касается нашихъ самыхъ близкихъ, самыхъ дорогихъ интересовъ.

— Сердечныхъ, можно сказать!—замѣтилъ Самокатовъ.

— И карманныхъ, Ростиславъ Павловичъ, карманныхъ дѣлъ, рубашки нашей касается! — мягко и незлобиво прибавилъ Зензивѣевъ, обращаясь къ Самокатову.—Такъ не лучше ли отложить всякое кодатайство и заняться нашими дѣлами?

— Дѣло! — сказалъ суровый Канбулинъ: — нечего объ этомъ и толковать! Надо сначала одно пережевать.

— Конечно! И то правда!—послышалось съ разныхъ сторонъ, и у всѣхъ какъ будто тяга какая съ плечъ свалилась.

Шестипаловъ пожалъ плечами.

— Ну, такъ засѣданіе кончено. Поэтому до завтра, господа! — сказалъ князь Шапхаевъ, привѣтливо раскланиваясь, но въ это время къ нему подошли Канбулинъ и Свистоуховъ и около нихъ стала собираться кучка, видимо уже подготовленная.

— Позвольте, князь! — сказалъ первый.

— Такъ какъ мы рѣшили заняться близкимъ намъ дѣломъ, то и слѣдуетъ потолковать о немъ. У насъ была рѣчь о дѣйствіяхъ мировыхъ посредниковъ, но она начата оффиціально, мы оффиціально къ ней и возвратимся, а здѣсь, въ частномъ собраніи, мы можемъ высказаться откровенно о другомъ предметѣ! Господа мировые посредники не дѣйствовали бы такъ, еслибы не получали не только поддержки, но и направленія отъ губернскаго присутствія, а въ губернскомъ присутствіи, какъ намъ всѣмъ извѣстно, болѣе всего способствуютъ этому направленію наши же дворяне, Иванъ Сергѣевичъ Мытищевъ и особенно Дмитрій Петровичъ Камышлинцевъ. Мы, дворяне, особенно страдаемъ отъ направленія и заявленій Дмитрія Петровича, который возстановляетъ противъ насъ своимъ потворствомъ и наставленіями не только посредниковъ, но и крестьянъ—а это можетъ повести далеко. Это можетъ повести къ нарушенію спокойствія края!

— Да! Это пожалуй и бунтомъ можетъ кончиться,—подтвердили нѣкоторые.

— Еще бы! Тутъ и до рѣзни недалеко! — рѣшили другіе.

Камышлинцевъ, услыхавъ это, выступилъ впередъ. Онъ поблѣднѣлъ нѣсколько, но на губахъ у него была презрительная усмѣшка.

— Меня, кажется, обвиняютъ въ подстрекательствѣ къ бунту,—сказалъ онъ.—Это дѣлаетъ честь изобрѣтательности и воображенію господъ, которые въ этомъ увѣряютъ, — но для этого во первыхъ нужны факты.

— Найдутся и факты!—сказалъ Свистоуховъ.—Семенъ Ивановичъ!

— Здѣсь! — сказалъ голосъ Перспикасова, выступившаго изъ-за его спины.

— Приготовили? — спросилъ онъ.

— Приготовилъ-съ! — отвѣчалъ тотъ смиренно, вынимая изъ кармана бумагу.

— Вотъ мы просили, — продолжалъ Свистоуховъ, — Семенъ Иваныча изложить тѣ дѣйствія и заявленія господина Камышлинцева, которыя подтверждаютъ наши слова. Не угодно ли прочесть!— сказалъ онъ, подавая бумагу князю Шапхаеву.

Князь Шапхаевъ взялъ ее нерѣшительно.

— Позвольте! — сказалъ Камышлинцевъ. — Вы мнѣ не дали договорить. Я сказалъ, что, во первыхъ, нужны факты, а во вторыхъ, они должны быть провѣрены судомъ. Я убѣжденъ, что все, что тутъ есть — сплетни и кривотолки, которые опровергнуть не трудно, но дѣло въ томъ, что я ихъ опровергать не буду и не хочу! Не хочу потому, что признаю это неприличнымъ для себя, и потому, что это ни къ чему не поведетъ. Девять десятыхъ лицъ, которыя ему вѣрятъ, предубѣждены противъ меня и вообще противъ дѣйствій моихъ въ крестьянскомъ дѣлѣ, и что бы я ни говорилъ, ни въ чемъ ихъ не увѣрю. Поэтому я прошу и даже требую, чтобы обвиненія, собранныя господами и изложенныя господиномъ Перспикасовымъ, были поданы, куда слѣдуетъ: подобные извѣты и объявленія не должны оставаться безъ разъясненія!

— Позвольте-съ! Это я написалъ частно, по желанію господъ. Это не мое собственное заявленіе,— сказалъ струсившій Перспикасовъ.

— Все равно!—отвѣчалъ Камышлинцевъ.—Господа, которые доставляли вамъ матеріалы, не откажутся вѣроятно подписать его.

— И не откажемся! — сказалъ Свистоуховъ, — если придетъ надобность;—но прежде, нежели дѣло дойдетъ до оффиціальности, мы желаемъ, чтобы вы здѣсь отвѣтили намъ, какъ дворянамъ, и разъяснили вашъ образъ дѣйствій, который намъ кажется вовсе не дворянскимъ.

— Не дворянскимъ! Не дворянскимъ! — послышались голоса.

— Совершенно справедливо!—холодно, но твердо замѣтилъ Камышлинцевъ,—вовсе не дворянскимъ, особенно съ той точки зрѣнія, какъ вы понимаете дворянскій образъ дѣйствій въ этомъ дѣлѣ. Я рѣшительно избѣгалъ даже глядѣть на вещи съ дворянской точки зрѣнія, потому что считалъ этотъ

взглядъ одностороннимъ: я дѣйствую просто въ духѣ Положенія.

— Да вы дворянинъ, такъ и должны дѣйствовать какъ дворянинъ, — прервалъ его кто-то.

— Разумѣется, какъ дворянинъ, — заговорили кругомъ.

— Дворянинъ вы, или нѣтъ? — кричалъ Грембулатовъ, подступивъ къ самому Камышлинцеву.

— Позвольте мнѣ договорить,—сказалъ нетерпѣливо Камышлинцевъ, — или я замолчу и уйду.

— Говорите, говорите!—сказали кругомъ.

— Нѣтъ, отвѣчайте: дворянинъ вы, или нѣтъ?— приступилъ Грембулатовъ.

— Оставь его, оставь,—заговорили другіе и оттащили его за руку.

— Я сказалъ, что считаю обязанностью дѣйствовать въ духѣ Положенія и дѣйствовать не потому, что я служу по приглашенію правительства, а потому, что это согласно и съ моими убѣжденіями. На этомъ основаніи, я и принялъ приглашеніе отъ правительства. Поэтому же считаю излишнимъ и оправдываться передъ дворянствомъ. Я отъ него никакихъ уполномочій не бралъ и оно мнѣ ничего не довѣряло, — не въ чемъ мнѣ ему и отдавать отчетъ. Если дворянство недовольно образомъ дѣйствій губернскаго присутствія, то не угодно ли обратиться ему къ своимъ представителямъ! У васъ тоже есть не мало своихъ: во первыхъ, губернскій предводитель, во вторыхъ, два члена по выбору предводителя: у нихъ такіе же голоса, какъ и у насъ съ Иваномъ Сергѣевичемъ— ни больше, ни меньше, и слѣдовательно наше вліяніе уравновѣшено. Отъ нихъ вы имѣете право требовать отчета, они ваши уполномоченные: къ нимъ и обращайтесь!

Собраніе было поколеблено. Многіе невольно должны были признать справедливость доводовъ Камышлинцева.

— Мы отъ своихъ и требовали! — сказалъ суровый Канбулинъ. (И дѣйствительно, какъ оказалось впослѣдствіи, они въ частномъ собраніи сильно приняли своихъ представителей, изъ которыхъ одинъ даже заболѣлъ и хотѣлъ выйти въ отставку; но тѣ объяснили все вліяніемъ Мытищева и въ особенности Камышлинцева на губернатора).

Въ это время Мытищевъ выступилъ впередъ.

— Хотя собраніе не нашло нужнымъ относиться ко мнѣ такъ строго, какъ къ Дмитрію Петровичу, — сказалъ онъ, — но я считаю обязанностью заявить здѣсь публично, что вполнѣ раздѣляю и образъ дѣйствій, и мысли, высказанныя моимъ товарищемъ, и если онъ дѣйствуетъ энергичнѣе меня, если онъ чаще входитъ съ заявленіями и мнѣніями и пользуется большимъ довѣріемъ крестьянъ, то я ему въ этомъ только завидую и уступаю какъ болѣе молодому и даровитому человѣку: но я не протестовалъ ни противъ одного изъ его мнѣній и слѣдовательно раздѣлялъ ихъ, поэтому прошу и гг. дворянъ не отдѣлять моей дѣятельности отъ *дѣятельности Дмитрія* Петровича и относиться къ ней точно такъ же. Повторяю, въ образѣ дѣйствій и мнѣніяхъ я вполнѣ солидаренъ съ Дмитріемъ Петровичемъ и считаю это себѣ за честь.

Онъ слегка наклонилъ голову и хотѣлъ отойти, но къ нему обратился Канбулинъ.

— Что и говорить! У васъ все общее, — проворчалъ въ полголоса кто-то въ толпѣ, но Мытищевъ не слыхалъ или можетъ быть сдѣлалъ видъ, что не слышитъ этого.

— Мы не уполномочены говорить противъ васъ,— сказалъ Канбулинъ,—потому что хотя дворянство и не довольно...

— Говорите только за себя и за вашихъ единомышленниковъ, а не за все дворянство! — сказалъ твердо одинъ изъ посредниковъ, и нѣсколько голосовъ его поддержали.

Канбулинъ только кинулъ на нихъ презрительный взглядъ.

— Хотя гг. дворяне, которые меня уполномочили, не довольны и вашими дѣйствіями и желали вамъ это заявить, — продолжалъ онъ, — но находятъ ихъ болѣе сдержанными и сдѣланными можетъ быть подъ посторонними вліяніями.

— Очень вамъ благодаренъ!—насмѣшливо сказалъ Мытищевъ,—но если это такъ, то я за удовольствіе считаю дѣйствовать подъ такимъ прекраснымъ вліяніемъ.

— Мы уполномочены говорить преимущественно съ Дмитріемъ Петровичемъ, — продолжалъ Канбулинъ, — но онъ отказался объяснить свой образъ дѣйствій предъ дворянствомъ, къ которому принадлежитъ.

— Да! потому что вы не просили объясненія, а требовали оправданія,—сказалъ Камышлинцевъ.

— Ну-съ, очень хорошо, — сказалъ Канбулинъ, какъ будто этого поджидавшій,—если вы не согласились на наши требованія и ожидали просьбы, такъ мы теперь обращаемся къ вамъ съ просьбой.—Онъ пріостановился и сказалъ:

— Господа дворяне покорнѣйше просятъ васъ отказаться отъ вашей должности и сложить ее съ себя.—Мы васъ покорнѣйше просимъ объ этомъ!

Онъ сказалъ это тѣмъ тономъ, которымъ говоритъ начальникъ своему подчиненному: «я васъ покорнѣйше прошу, милостивый государь, подать просьбу объ отставкѣ»!

— Да, просимъ! Покорнѣйше просимъ!—требовательно заговорила огромная толпа, подступая къ Камышлинцеву.

Камышлинцевъ былъ блѣденъ и взволнованъ; сжатыя губы его посинѣли, но онъ сдержалъ себя и старался казаться спокойнымъ.

— Ваша просьба, господа,—сказалъ онъ,—очень похожа на приказаніе и, хотя я не полагаю, чтобы все дворянство раздѣляло это желаніе...

— Все! все!—кричали съ одной стороны.

— Неправда! неправда!—кричали съ другой.

— Все! все! все!—кричала огромная толпа.

Камышлинцевъ сдѣлалъ знакъ рукою, прося своихъ замолчать.

Но во всякомъ случаѣ,—продолжалъ онъ, когда крики замолкли,— я не люблю навязывать свой образъ мнѣній и дѣйствій и не пойду противъ общаго желанія, или по крайней мѣрѣ—желанія большинства.

Въ толпѣ послышался ропотъ одобренія и удовольствія.

— Но для того, чтобы высказалось общественное мнѣніе въ дѣлѣ, которому я служу,—продолжалъ Камышлинцевъ, котораго голосъ возвысился и у котораго глаза сверкнули,—здѣсь не достаетъ голоса четырехъ сотъ тысячъ освобождаемыхъ крестьянъ, которыхъ права я защищаю. Если бы и ихъ большинство высказалось съ вами за одно, я бы ему немедленно подчинился. Но какъ его нѣтъ и я имѣю основаніе думать, что я удовлетворяю его желаніямъ, — то я, къ сожалѣнію, не могу и не считаю себя вправѣ исполнить просьбу гг. дворянъ.

На губахъ его мелькнула злобная улыбка. Онъ хотѣлъ выйти, но потомъ остановился и какъ-бы одумался.

— Впрочемъ, — сказалъ онъ, — чтобы не быть судьей въ своемъ дѣлѣ, такъ какъ я служу представителемъ правительства, то я и спрошу правительство: удовлетворяетъ ли его мой образъ дѣйствій? и буду соображаться съ его отвѣтомъ.

— Ну, такъ и мы обратимся къ правительству,— грозно сказалъ Канбулинъ.

— Разумѣется! Конечно! посмотримъ еще, чья возьметъ!—говорили голоса и смѣшались въ общій гулъ.

— Позвольте,—сказалъ, остановивъ Камышлинцева въ дверяхъ, одинъ еще молодой, весьма благонамѣренный человѣкъ, кончившій курсъ въ провинціальномъ университетѣ, по которому дворянская точка зрѣнія сильно смутила идеи.—Вы отказываетесь отъ исполненія желанія дворянства подъ предлогомъ, что вы членъ отъ правительства. Вы забываете, что прежде нежели вы представитель правительства, вы—дворянинъ!—сказалъ онъ энергически и побѣдоносно, вѣруя въ непогрѣшимость своего убѣжденія.

— А еще прежде, нежели дворянинъ,—я человѣкъ!—сказалъ Камышлинцевъ улыбнувшись.—Да и знаете-ли что? мнѣ кажется, что дѣйствуя такъ, какъ я дѣйствую, я лучше служу истиннымъ интересамъ дворянства, чѣмъ вы!—Онъ ушелъ, оставивъ своего противника совершенно озадаченнымъ.

Вопросъ о правахъ и нуждахъ дворянства этимъ былъ и законченъ.

VI.

Нельзя сказать, чтобы заявленія помѣщичьей партіи были легко приняты Камышлинцевымъ. Возбуждать противъ себя чью бы то ни было ненависть человѣку всегда непріятно и больно. Еслибы еще Камышлинцевъ дѣйствительно чувствовалъ въ себѣ враждебность къ помѣщикамъ, какъ они это предполагали, то ненависть враговъ не могла-бы его огорчать. Но онъ этой враждебности не чувствовалъ; онъ зналъ очень хорошо всѣ посторонніе обстоятельства, которыя питали и возбуждали это чувство, и, дѣйствуя противъ притязаній партіи, онъ не вносилъ тутъ никакихъ личныхъ чувствъ и относился къ ней сколько могъ снисходительно и безъ озлобленія, чего, разумѣется, противники не видѣли и не сознавали. Притомъ же, какъ человѣкъ русскій, Камышлинцевъ былъ довольно мягокъ сердцемъ. Но всѣ эти, сначала мелкія, а потомъ и крупныя нападенія, подъ конецъ, не только озлобляли, «эгрировали», какъ выражалась Ольга, его характеръ, но притупляли въ немъ его русскую расплывчатость, закаляли его, дѣлали тверже и стойчѣе, и какъ ни непріятно было ему нападеніе помѣщиковъ, оно его не только не пошатнуло, но заставило спокойно-неуступчивѣе отнестись къ дѣлу. Такъ всегда бываетъ съ характерами, носящими задатки твердости; они выростаютъ по мѣрѣ ударовъ и силы сопротивленія.

Мытищевъ и Камышлинцевъ, возвратясь домой, нашли у Ольги графа Гогенфельда.

— Мы сегодня съ Иваномъ Сергѣевичемъ были въ огнѣ и отбили сильное нападеніе непріятеля,— сказалъ смѣясь Камышлинцевъ.

— Ну, реляціямъ, въ которыхъ говорятъ про себя, всегда надо вѣрить въ-половину! — сказалъ Мытищевъ.—Впрочемъ, я былъ въ арріергардѣ и меня едва задѣли, а выдержалъ нападеніе одинъ Дмитрій Петровичъ и, дѣйствительно, отбилъ атаку непріятеля, во сто разъ многочисленнѣйшаго, хотя далеко не уничтожилъ его.

— Да говорите скорѣе, въ чемъ дѣло?—спросила Ольга.—Какъ будто у меня такъ мало любопытства, что нужно еще раздражать его,—прибавила она обиженно.

Камышлинцевъ и Мытищевъ разсказали происшествіе вечера, стараясь шуткой смягчить грубую и злобную сторону дѣла. Однакоже Ольга тотчасъ поняла всю нешуточность выходки и, вслѣдствіе ли своей беременности, или можетъ быть по чувствамъ, давно и понемногу накопившимся на этотъ счетъ — приняла все это несравненно ближе къ сердцу, чѣмъ можно было думать. Все это происшествіе чрезвычайно огорчило ее и она совершенно серьезно напала на Камышлинцева и отчасти на Мытищева, который и тутъ впрочемъ страдалъ больше какъ сообщникъ Камышлинцева, нежели какъ виновникъ. Надо, впрочемъ, прибавить, что живости, съ которой Ольга приняла извѣстіе, содѣйствовала можетъ быть одна чисто-женская причина. Слухи ходили, что въ концѣ выборовъ дворяне хотѣли задать обществу балъ,—а какъ же ей быть на балѣ, когда всѣ вооружены противъ ея мужа? Она упрекала и мужа, и Камышлинцева, что они не умѣютъ дѣйствовать примирительно, что можно любить и крестьянъ, но жертвовать для нихъ, да для лакеевъ отношеніями своими къ обществу, въ которомъ живешь и къ которому

надлежишь—безумно. Обращаясь къ графу Гогенфельду, она жаловалась, какъ непріятно и ея положеніе встрѣчать кругомъ непріязненно расположенныя лица, слышать безпрестанно намеки или прямыя осужденія дѣятельности этихъ милыхъ господъ (она кивнула на Камышлинцева и мужа), что все ея существованіе отравлено этими нападеніями, интригами, злобой и что все это дѣлается Богъ знаетъ для кого, «Dieu sait pour qui»,—что другими словами значило: чортъ знаетъ для какой дряни (Ольга съ графомъ Гогенфельдомъ и вообще въ щекотливыхъ вещахъ или при людяхъ, имѣющихъ претензію на свѣтскость, по обычаю многихъ, прибѣгала къ французскимъ фразамъ, хотя Камышлинцевъ и старался ее отучить отъ этого). Наконецъ, женщина — какъ горячая лошадь: какъ понесетъ, такъ ужь не удержишь. Увлекаясь далѣе и далѣе, огорчаясь болѣе и болѣе, Мытищева — чего съ ней никогда не бывало, особенно при постороннихъ, просто расплакалась и сдѣлала, что называется,—сцену, которая кончилась истерикой.

Камышлинцевъ сначала смѣялся, стараясь все обратить въ шутку, графъ Гогенфельдъ примирялъ и смягчалъ, мужъ успокоивалъ и уговаривалъ, но когда Ольга расплакалась и когда съ ней сдѣлалась истерика, всѣ, какъ обыкновенно бываетъ при подобныхъ неловкихъ сценахъ, смутились и совѣстились одинъ другаго.

Ольга, нѣсколько оправившись, ушла къ себѣ и Мытищевъ счелъ нужнымъ сказать графу Гогенфельду конфиденціально, что она не здорова и въ такомъ положеніи, что все на нее дѣйствуетъ чрезвычайно сильно. Флигель-адъютантъ, ничего доселѣ не догадывавшійся объ этомъ положеніи, сдѣлалъ невольно маленькое «э!» и тотчасъ же искусно скрылъ его, прибавивъ: «это видно, что она нездорова». Онъ сдѣлалъ еще два-три вопроса о выходкѣ помѣщиковъ, высказалъ осужденіе ея неприличію и поспѣшилъ уѣхать, выразительно и съ пріятной улыбкой пожавъ руки Мытищеву и Камышлинцеву.

Камышлинцевъ съ Мытищевымъ перекинулись нѣсколькими неодобрительными словами о поведеніи Ольги и разошлись, также недовольные концомъ вечера, какъ и его началомъ.

На другой день, оставшись наединѣ съ Ольгой, Камышлинцевъ весьма мягко попытался объяснить ей, какъ была неприлична ея выходка противъ него и мужа: онъ надѣялся, что Ольга своимъ сочувствіемъ поддержитъ его, дастъ ему новыя силы для борьбы, а никакъ не ожидалъ встрѣтить въ ней сторонницу противниковъ. Но Ольга не хотѣла и слушать. Она повторила, что эта противная вражда и дрязги отравляютъ ей существованіе, напомнила ему о положеніи, въ которое, благодаря этой враждѣ, она была уже поставлена, и что все это освобожденіе и вѣчные толки о немъ опротивѣли ей.

— Пусть освобождаются всѣ лакеи, горничныя *и мужики,* — *прибавила она,* — но жертвовать для этого своимъ спокойствіемъ и спокойствіемъ людей любимыхъ—не имѣетъ никакого смысла! Повѣрьте, и безъ васъ освободятся очень хорошо. Не дадутъ себя въ обиду! Что касается до меня,—сказала она,—то я рѣшительно не хочу ссориться съ дворянами. Скоро будетъ дворянскій балъ: какъ весело чувствовать себя на немъ, какъ оглашенной! Да и братъ, кажется, знаетъ толкъ въ дѣлахъ,—прибавила она,—а между тѣмъ тоже согласенъ со мною, что вы горячитесь, гдѣ не нужно.

— Твой братъ можетъ быть какого хочетъ мнѣнія—сказалъ Камышлинцевъ,—но мнѣ будетъ непріятно видѣть тебя въ сообществѣ съ Канбулинымъ и Свистоуховымъ.

— Все лучше, нежели въ обществѣ мужиковъ и лакеевъ!—отвѣчала Ольга.

Хорошенькое личико ея раскраснѣлось и начало подергиваться тѣми нервными движеніями, которыя предшествуютъ слезамъ. Камышлинцевъ счелъ за лучшее не возражать ей, чтобы опять не довести до слезъ. Онъ пожалъ только плечами и вышелъ, но въ душѣ его невольно мелькнуло въ первый разъ то холодно-враждебное и презрительное чувство, которое вызывается глубокимъ разладомъ, закрадывается не легко, но оставляетъ неизгладимый слѣдъ. Тяжело и одиноко почувствовалъ себя Камышлинцевъ послѣ этого разговора.

Въ этотъ же день Ольга должна была обѣдать у брата. Къ нему пріѣхали на время выборовъ отецъ, весьма впрочемъ, равнодушно относившійся къ дѣлу выборовъ и мать. Нечего и говорить, какъ родители были довольны положеніемъ ихъ сына, хотя его петербургское мѣсто и открывало ему, можетъ быть, еще болѣе прочную карьеру. Но настоящее, по своей власти и значенію въ окружающемъ обществѣ, гораздо болѣе удовлетворяло самолюбію и сына, и родителей. У молодаго губернатора, не любившаго стѣснительныхъ хлопотъ и издержекъ, неразлучныхъ съ большимъ обѣдомъ, только значительные дворяне приглашались обѣдать, понемногу, группами и поуѣздно.

Ольга еще до пріѣзда гостей разсказала брату сцену свою съ мужемъ и Камышлинцевымъ. Молодой администраторъ, съ свойственнымъ ему безъапеляціоннымъ и наставительнымъ тономъ, замѣтилъ, что хотя дворяне и увлекаются, но что Иванъ Сергѣевичъ, и особенно Камышлинцевъ, слишкомъ горячо принимаютъ къ сердцу крестьянскіе интересы и возбуждаютъ противъ себя свое сословіе.

— А дворянство, ma chère, чтобы тамъ ни говорили,—сказалъ онъ вполголоса, какъ бы высказывая тайну,—все-таки дворянство! Да и вообще неприлично, какъ бы это сказать... измѣнять своему состоянію: il ne faut jamais déroger.... потому что, какія бы тамъ ни были убѣжденія, но noblesse oblige...

Убѣдивъ этимъ неоспоримымъ доказательствомъ Ольгу, которая и безъ того раздѣляла его мнѣнія, братъ прибавилъ:

— А у меня, какъ нарочно, обѣдаютъ сегодня

помѣщики и главные ихъ враги: Свистоуховъ и Канбулинъ.

— Тѣмъ лучше; я очень рада!—сказала Ольга;— а имъ покажу, что я нераздѣляю мнѣній Ивана Сергѣевича и Камышлинцева. Да я такъ и своимъ сказала. Я сказала: «вы дѣлайте, какъ знаете, а я съ дворянствомъ ссориться не хочу, je me déclare pour la noblesse! (Въ такомъ аристократическомъ домѣ, какъ губернаторскій, говорить по-русски, безъ пересыпки французскими фразами, считалось просто неприличнымъ).

Вошелъ отецъ и подтвердилъ слова сына, прибавивъ въ полтона, что это—все вліяніе Камышлинцева.

Вошла мать и подтвердила тоже, добавивъ, что Ольга—сестра губернатора и обязана поддерживать со всѣми хорошія отношенія, потому что она (разумѣется, когда меня нѣтъ, добавила она) замѣняетъ нѣкоторымъ образомъ хозяйку его дома и занимаетъ первое мѣсто въ губерніи, и слѣдовательно, должна все дѣлать для того, чтобы домъ и отношенія ея брата были самыми пріятными.

Такимъ образомъ Ольга была не только поддержана, но убѣждена еще болѣе и направлена на путь истинный со всѣхъ сторонъ. Вообще вліяніе брата и семьи, со времени ихъ прибытія, начало отзываться на Ольгѣ.

За обѣдомъ Ольга была очень любезна съ дворянами и, между прочимъ, имъ замѣтила игриво, что она вполнѣ раздѣляетъ ихъ мнѣнія и если они уговорятъ ея мужа (о Камышлинцевѣ она, по причинѣ весьма понятной, не упомянула) выйти въ отставку, то она будетъ имъ очень благодарна и вполнѣ успокоится.

На это Канбулинъ съ суровой пріятностью промолчалъ, а Свистоуховъ съ пріятностью промычалъ что-то, и Ольга достигла своей цѣли. Хотя эти профаны не оцѣнили прелести ея тонкаго ума и граціозности, но они чувствовали, что съ ними любезничаютъ и заигрываютъ.

— А вѣдь женка у Мытищева не дурна!—пыхтя и отдуваясь, сказалъ Свистоуховъ Канбулину, скидая одежды (они жили на одной квартирѣ) и приготовляясь на боковую, и улыбнулся во всѣ жирныя губы.

— Да!—сказалъ Канбулинъ, русскую любовь котораго, т. е. и гнѣвъ, и ласку, испытывали на себѣ его дворовыя и деревенскія бабы.—Счастливая эта скотина Камышлинцевъ.

Ольга за вечернимъ чаемъ, къ которому пришелъ и графъ Гогенфельдъ (онъ сталъ бывать у Мытищевыхъ рѣшительно каждый день), была по обыкновенію мила и весела: можно бы думать, что она забыла вчерашнее происшествіе, еслибы сама не напомнила о немъ, сказавъ графу Гогенфельду:

— Боже мой, какъ я была глупа вчера! Стоило ли того, чтобы такъ огорчаться этой выходкой и поведеніемъ этихъ господъ! (она съ милой небрежностью кивнула на мужа и Камышлинцева). Надо было предоставить имъ дѣйствовать, какъ они хотятъ, а самой неслушаться ихъ и дѣйствовать по своему. Я такъ и сдѣлала: сегодня я любезничала цѣлый обѣдъ съ Канбулинымъ и Свистоуховымъ и надѣюсь, что мы разстались добрыми друзьями!

— Ну, вотъ у васъ на дворянскомъ балу и будетъ двумя кавалерами больше!—сказалъ Камышлинцевъ.

— Да! Только надо бы имъ всѣмъ къ балу перешить хоть на дворянскій счетъ фраки и весь костюмъ, а то какъ будто на нихъ шилъ портной моего прадѣдушки. Я даже хотѣла — прибавила она—позвать Канбулина и Свистоухова обѣдать...

— Что же! И прекрасно сдѣлала бы! — замѣтилъ Мытищевъ; — тѣмъ болѣе, что мы съ Дмитріемъ Петровичемъ не помѣшали бы вашему тріо и доставили бы тебѣ случай вполнѣ насладиться ихъ обществомъ.

— Тѣмъ лучше! меня бы это не остановило: графъ вѣроятно не отказался бы провести съ нами *пріятные* два часа, — отвѣчала Ольга съ улыбкой, обращенной къ графу.

Графъ тоже улыбнулся и наклонился молча.

— Ну, такъ что же тебя остановило?—спросилъ Мытищевъ.

— Да такъ, вздоръ!—смѣясь сказала Ольга. — Эти господа имѣютъ привычку есть вслухъ и потомъ этотъ толстый, какъ онъ, Свисто..... Свистоносовъ, ужасно мычитъ и... какъ бы это сказать (она затруднилась въ выраженіи...) *шумитъ* носомъ, а я не люблю обѣдъ съ такой музыкой! — Она расхохоталась, а сама немножко покраснѣла отъ своего замѣчанія.

— Такъ значитъ, онъ дѣйствительно Свистоносовъ?—замѣтилъ графъ Гогенфельдъ.

Ольга засмѣялась и все было обращено въ шутку.

Но наединѣ Камышлинцевъ и Ольга были не въ прежнихъ отношеніяхъ! Ольга дулась, Камышлинцевъ былъ холоденъ. Между ними пробѣжала кошка и ни тотъ, ни другой не дѣлалъ ничего, чтобы выйти изъ натянутаго положенія.

VII.

Между тѣмъ, обсужденіе вопросовъ и выборы шли своимъ порядкомъ. Дворянство за трехлѣтіе передъ тѣмъ горячо стояло за безвозмездность дворянской службы, доказывая, что она должна отправляться, такъ сказать, изъ чести, что жалованье въ этомъ случаѣ унижаетъ дворянство и, на этихъ основаніяхъ, отвергло предложеніе назначить жалованье предводителямъ. Нынѣ, хотя и скрѣпя сердце, оно вынужденнымъ нашлось назначить это жалованье, боясь, что предводители, вопреки всѣмъ дворянскимъ силлогизмамъ, перейдутъ въ посредники. Но, назначая жалованье, дворянство отвергло мысль меньшинства — вмѣнить предводителямъ въ обязанность отдавать отчетъ въ своей дѣятельности: «это-де оскорбительно для

нихъ, ибо выказываетъ какъ бы недовѣріе». Затѣмъ начались выборы въ уѣздные предводители, и при этомъ архіерейскія и губернаторскія увѣщанія, такъ же какъ и твердая рѣшимость «назначать людей нелицепріятно и не взирая на родство и связи» были разумѣется забыты: выбраны были почти всѣ прежніе хлѣбосолы.

Потомъ, какъ водится, начался выборъ въ тѣ должности, въ которыя избираемыхъ непросятъ, а сами они просятся, разъѣзжая по утрамъ къ наиболѣе вліятельнымъ лицамъ. Обыкновенно господа эти, не имѣя сами голоса, не присутствуютъ въ дворянской залѣ, а ждутъ рѣшенія своей участи въ смежныхъ комнатахъ, смиренно лебезя передъ сильными и голосистыми. Одинъ изъ этихъ господъ питавшихъ мечту попасть въ какіе-то засѣдатели, почтительно пожимая руку, которую подалъ ему Канбулинъ, былъ до того вѣжливъ, что счелъ нужнымъ извиниться передъ нимъ, что у него руки холодны. «Ничего! отвѣчалъ суровый Канбулинъ: выберемъ васъ, такъ нагрѣетесь» — и всѣ присутствующіе расхохотались, даже самъ кандидатъ постарался съ пріятностью улыбнуться. Выбрали наконецъ и въ болѣе почетныя, чѣмъ обладающія значеніемъ, должности, какъ наприм. попечителя гимназіи и проч., и наконецъ приблизились сроки окончанія выборовъ и заключеніе ихъ вѣнцомъ зданія—выборомъ губернскаго предводителя.

Въ послѣдніе дни, когда партіи и ихъ замыслы опредѣляются яснѣе, — надежды князя Шапхаева и его занодавцевъ сильно поколебались. Случилось это потому, что дворянская партія, извѣстная подъ именемъ старыхъ дрожжей, осталась недовольна слабостью дѣйствій губернскаго предводителя въ преслѣдованіи посредниковъ и Камышлинцева и вообще въ веденіи крестьянскаго дѣла. Въ глубинѣ среды, между вожаками, происходили какіе-то переговоры, перемѣны въ расположеніи партій, измѣны; подводились подкопы и велись мины. Бѣленькій старичекъ, преданный начальству, изнемогалъ отъ разъѣздовъ и прислушиваній, желая узнать замыслы, чтобы—по безкорыстной преданности предводителю—доложить ему обо всемъ, что ему враждебно. Съ другой стороны, сновалъ маленькій и вертлявый помѣщикъ Юрьевъ, извѣстный всѣмъ просто подъ именемъ «Юрки.» Это былъ нервный человѣкъ, подстрекаемый жаждой дѣятельности и всегда находившій ей пищу. Онъ вездѣ и во всемъ принималъ участіе: бѣгалъ, сплетничалъ и хлопоталъ и единственныя дѣла, которыми онъ не занимался, были его собственныя. Къ князю Шапхаеву онъ былъ равнодушенъ, но узнавъ, что противъ него образуется партія людей, желавшихъ видѣть болѣе дѣятельнаго и добросовѣстнаго предводителя, онъ примкнулъ къ ней и хлопоталъ въ нотѣ лица, вербуя въ нее всѣхъ и каждаго и разузнавая замыслы противниковъ.

Но глубина замысловъ оставалась тайной для непосвященныхъ; на верхъ прорвался только слухъ, что и старая дворянская партія, извѣстная подъ именемъ старыхъ дрожжей, поколебалась въ своей преданности предводителю, ею же когда-то поставленному и излюбленному.

Противниковъ у князя Шапхаева оказалось достаточно; но извѣстно, что гораздо легче сговориться противъ кого или чего-нибудь, нежели за кого-нибудь или что-нибудь.

«Положимъ, не Шапхаева, такъ кого же?» спрашивали другъ друга, и приходили къ сильному разногласію. Прибидывали и того, и другаго, да все не клеилось; называли и Небелькнебеля-отца и, можетъ быть, и выбрали бы, но помѣшало ему не то, что онъ стяжалъ свое состояніе отъ пересмотра ненужныхъ вещей а то, что онъ отецъ губернатора. Извѣстно, что дворянство всегда воображаетъ себя въ оппозиціи къ губернатору, и особенно сильно въ этомъ убѣждено, когда собирается въ кучу. Это впрочемъ не мѣшаетъ ему задавать врагу обѣды и ѣздить къ нему на поклонъ. Однако большинство называло Шестипалова, хотя личность его, за исключеніемъ англійскихъ тенденцій, была довольно неопредѣленна и мало соотвѣтствовала помѣщичьимъ вкусамъ.

Таковы были дѣла, когда наступилъ конецъ выборовъ. Избраніе предводителя было по обыкновенію оттянуто до послѣдняго дня. Но по заявленію предводителя, что скопились нѣкоторыя дѣла и надо подписать разные журналы, назначено было экстренное вечернее засѣданіе.

Камышлинцевъ пріѣхалъ, когда уже всѣ почти были въ сборѣ. Въ залѣ шли какіе-то переговоры. Юрка метался изъ угла въ уголъ въ страшныхъ хлопотахъ. Камышлинцева встрѣтили нѣсколько посредниковъ, но прежде нежели успѣли сказать что-либо ему, Юрка былъ уже между ними.

— Знаете,—сказалъ онъ,—что старыя-то дрожжи измѣнили и передались Шапхаю?

— Ну это мнѣ все равно! — отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Не очень равно! Потому что Шапхай за это предалъ имъ мировыхъ и васъ.

— Какимъ образомъ?

— Да опять поднимаютъ старую исторію, только рѣшили съ мировыми дома покончить, а на васъ жаловаться выше.

Камышлинцевъ презрительно пожалъ плечами. Юрка убѣжалъ, а посредники стали совѣтоваться съ Камышлинцевымъ.

Въ самомъ дѣлѣ, взобравшійся вскорѣ на предсѣдательское кресло князь Шапхаевъ сказалъ, что у дворянства не кончено еще дѣло по заявленію многими помѣщиками жалобъ на дѣйствія нѣкоторыхъ изъ господъ мировыхъ посредниковъ и члена отъ правительства Камышлинцева, и что надобно чѣмъ-нибудь все это рѣшить. Камышлинцевъ заявилъ отъ себя и отъ имени посредниковъ, что они не признаютъ за дворянствомъ права судить объ ихъ поступкахъ; но заявленіе это, разумѣется, ничего не измѣнило. Тогда всталъ Канбулинъ и

сказалъ, что по совѣту со многими дворянами онъ полагалъ бы отъ имени дворянства сдѣлать внушеніе тѣмъ изъ посредниковъ, на которыхъ поданы жалобы, а мнѣніе дворянства о дѣятельности члена отъ правительства Камышлинцева представить начальству, ходатайствуя о замѣнѣ его другимъ, менѣе враждебнымъ къ дворянскимъ интересамъ. Пошли, разумѣется, споры и шумъ, большинство говорило за Канбулина, другіе противъ. Шестипаловъ подошелъ къ князю Шапхаеву и предложилъ ему пустить дѣло на голоса.

Но князь Шапхаевъ имѣлъ свой замыселъ, ему нужно было протянуть время.

— А вотъ пусть ихъ икру-то повымечутъ, — сказалъ онъ, и хотя видѣлъ въ Шестипаловѣ соперника, но относился къ нему очень любезно и фамильярничалъ, какъ къ равному.

Когда, по мнѣнію князя, икра была достаточно выметана, предложеніе Канбулина, какъ поддержанное большинствомъ, было пущено на голоса.

Посредники, Камышлинцевъ и Мытищевъ и еще нѣсколько человѣкъ отказались участвовать въ баллотировкѣ вопроса, какъ незаконнаго. Между баллотировавшими оказалось еще десятка полтора, которые, не рѣшаясь заявить открыто свое несогласіе, втихомолку положили шары противъ предложенія; но, не смотря на то, оно было принято огромнымъ большинствомъ. Лица, отказавшіяся отъ баллотировки, просили заявить ихъ протестъ въ журналѣ. Времени оставалось еще довольно и можно бы было приступить къ выборамъ, но князь Шапхаевъ имѣлъ свои цѣли не дѣлать выборовъ въ этотъ день. Онъ предложилъ собранію разойтись до завтра и уже всталъ съ мѣста и сталъ любезно раскланиваться, когда его остановило непредвидѣнное происшествіе.

Извѣстно, что въ замыслахъ, наилучшимъ образомъ обдуманныхъ, излишнее усердіе нѣкоторыхъ, самыхъ рьяныхъ участниковъ дѣлаетъ сомнительнымъ успѣхъ дѣла:—это преждевременный взрывъ мины, рано поданный сигналъ. Такъ было и теперь. Князь Шапхаевъ направлялся уже изъ залы, какъ вдругъ небольшая кучка усердныхъ, подъ предводительствомъ старичка, преданнаго начальству, окружила его и начала просить сейчасъ же баллотироваться въ губернскіе предводители. Выходка была сдѣлана неумѣстно, просителей было немного и между ними не было никого изъ коноводовъ. Князь Шапхаевъ отклонилъ ихъ просьбу и далъ имъ даже замѣтить, что она ему непріятна. Но трудно остановить русскаго человѣка, когда онъ разчувствуется. Чѣмъ болѣе отказывался князь, тѣмъ усерднѣе и сильнѣе молили его и клялись просители, что имъ кромѣ князя никого не нужно.

— Мы вамъ всѣ бѣлые поднесемъ! Открыто на блюдѣ поднесемъ! — кричали они.

Вожаки старыхъ дрожжей видѣли, что оставлять князя въ этомъ положеніи неловко и хотя дѣйствовали ненастойчиво, но тоже присоединились къ просителямъ; люди, боящіеся отстать, пошли за ними — и масса уговаривающихъ стала весьма значительна. Князь оставался непреклоненъ, онъ зналъ, по нѣкоторымъ примѣтамъ, что баллотироваться сегодня опасно, и почти бѣгствомъ спасся изъ залы.

— Совершенное избраніе Бориса!—сказалъ Самокатовъ.

— Нейдетъ! — разведя руками, горестно замѣтилъ Самокатову бѣленькій старичекъ, проходя мимо.

— Чтожь! Хоругви поднять и идти наутріе къ сестрѣ Иринѣ!—отвѣчалъ Самокатовъ, продолжая сравненіе.

Старичекъ поглядѣлъ на него вопросительно, почамкалъ губами и ушелъ.

— Извините меня! — сказалъ сзади Самокатова чей-то голосъ.—Вѣдь сестру князя зовутъ, кажется, Еленой Степановной?

Самокатовъ обернулся и увидалъ отставнаго любознательнаго офицерика.

— Вы эту не знаете,—отвѣчалъ онъ:— она въ монахиняхъ!

— Дѣйствительно, я эту не знаю! — отвѣчалъ, сконфузясь, офицерикъ и сталъ многимъ надоѣдать, распрашивая: какая у князя Шапхаева сестра въ монастырѣ живетъ?

На другой день всѣ собрались рано. Собраніе было въ нетерпѣніи. Многимъ надоѣли выборы и ихъ тревоги; всѣмъ хотѣлось домой, въ халатъ, въ свое гнѣздо. Но князь Шапхаевъ не приходилъ довольно долго. Секретарь просилъ подписывать журналы, и между прочимъ вчерашніе. Лица, протестовавшія наканунѣ, положили, въ отпоръ представленія о Камышлинцевѣ, написать съ своей стороны, что они дѣятельность его находятъ въ высшей степени полезною для крестьянскаго дѣла. Камышлинцевъ пробовалъ отклонить ихъ отъ этого, объяснивъ, что онъ уже, согласно своему заявленію, писалъ министру; но они настояли на своемъ и вербовали подписи. Были люди, которые подписывали протесты и журналъ весьма неохотно; впослѣдствіи оказалось два человѣка, которые подписали тотъ и другой. Всѣ разбились на кучки и толковали. Юрка метался и интриговалъ. Бѣленькій старичекъ прислушивался.

— Господа! — сказалъ онъ, подходя къ кучкѣ недовольныхъ: — извините любопытство старика. Слышу я, что вы не желаете князя: позвольте же узнать, за кого вы? Я бы самъ, если то достойный человѣкъ, готовъ присоединиться къ вамъ.

— Васъ, дѣдушка, хотимъ! Васъ, за преданность начальству! — отвѣчалъ Самокатовъ.

Старикъ зашамкалъ губами и поплелся на лѣстницу.

— А вѣдь онъ пошелъ Шапхая встрѣчать, чтобы отрапортовать ему,—замѣтили они.

— Чтожь дѣлать! ужь такова сила привычки,— отвѣчалъ Самокатовъ.

Наконецъ пришелъ и князь Шапхаевъ. Онъ толковалъ съ тѣмъ и другимъ, потомъ предложилъ баллотировать пропущеннаго кандидата въ какіе-

то засѣдатели, и при этомъ вышло, что дворяне, боясь забаллотировать его и еще оттянуть выборы, положили ему всѣ бѣлые шары, и, къ общему удивленію оказалось, что кандидатъ, котораго совсѣмъ не желали и не имѣли въ виду, сталъ выше прежде избраннаго и излюбленнаго и неожиданно занялъ его мѣсто.

— Да что онъ тянетъ!—спросилъ Шестипаловъ, скучая бездѣйствіемъ.

— Гм!—замѣтилъ Самокатовъ;— какой простой натуры не знаете вы! Да какъ онъ проморитъ насъ часовъ до четырехъ, такъ тутъ ужь не до оппозиціи и мы хоть козла выберемъ сразу: голодъ не свой братъ. Это средство специфическое, какъ хина въ лихорадкѣ: оно основано на законахъ физики и всегда блистательно оправдывалось на практикѣ. Да вотъ сами увидите.

Наконецъ князь Шапхаевъ громогласно объявилъ вызовъ желающихъ баллотироваться въ должность губернскаго предводителя дворянства.

Послѣдовало нѣкоторое молчаніе, но потомъ какъ рой пчелъ зашумѣло дворянство и толпой обратилось къ князю Шапхаеву.

На этотъ разъ дѣло устроилось какъ слѣдуетъ: впереди были вожаки, за ними рьяные и, наконецъ, просто преданные или не смѣвшіе отстать отъ массы. Однакоже нѣкоторая оппозиціонная кучка, большею частью изъ вчерашнихъ протестаторовъ и вообще людей свѣжихъ, доставили себѣ удовольствіе выразить явное неодобреніе, оставаясь на своихъ мѣстахъ.

Князь Шапхаевъ долго отговаривался, какъ обыкновенно отговариваются у насъ. Онъ говорилъ, что онъ ужь довольно послужилъ дворянству: слава Богу, три трехлѣтія; что теперь новыя требованія, которымъ онъ, человѣкъ устарѣлыхъ понятій, не удовлетворяетъ, что явились новыя идеи и, говорятъ, нужны новые люди, такъ пусть они и послужатъ... (Не нужно намъ новыхъ идей и новыхъ людей! Васъ желаемъ, ваше сіятельство, — крикнулъ кто-то...)—и что наконецъ есть люди, которые, можетъ быть желаютъ этого мѣста, такъ онъ его уступитъ съ радостью...

По мѣрѣ того, какъ князь Шапхаевъ говорилъ о собственной непригодности и великодушно предоставлялъ поле дѣятельности новымъ людямъ, сердца слушателей преисполнялись сочувствіемъ къ нему и негодованіемъ къ его врагамъ. Приверженность толпы росла и разгоралась. Нѣкоторые разчувствовались до того, что готовы были плакать и стать на колѣни; люди, именуемые «безшабашныя головушки», за полчаса передъ тѣмъ бранившіе князя весьма энергически и грозившіеся навалить ему черняковъ, выражали теперь свое сочувствіе съ такимъ азартомъ, что—скажи князь: «а нуте-ка, братцы, пощупайте новыхъ людей»,— отъ новыхъ людей, надо полагать, полетѣли бы только щепки.

Когда такимъ образомъ масса была разгорячена и князь, сопротивляясь достаточное время, замѣтилъ, что натягивать болѣе лукъ становится опасно, онъ скромно предоставилъ себя въ распоряженіе общества.

— Эхъ, подлецъ, какъ долго ломался: совсѣмъ истомилъ!—сказалъ Грембулатовъ, только что передъ тѣмъ кричавшій громче всѣхъ: «жить съ вами и умереть съ вами, князь»!

Уѣздный предводитель, заступившій мѣсто князя, провозгласилъ баллотировку и всѣ по очереди стали подходить къ столу.

Юрка напрягъ всѣ свои силы и являлся, казалось, разомъ въ трехъ мѣстахъ.

— Ты куда! смотри, въ Ливерпуль его! въ Ливерпуль! знаешь, какъ онъ носъ-то задеретъ, когда его выберутъ!—говорилъ онъ одному робкому, но самолюбивому избирателю.

— А ты? Ты пожалуй въ Епифань заѣдешь! Смотри у меня: въ жизни капли съ тобой не выпью!—грозилъ онъ другому, апатичному толстому офицеру, у котораго было на лицѣ написано: «а чортъ бы васъ всѣхъ побралъ и съ выборами: ѣсть мнѣ хочется»!

При этомъ слѣдуетъ пояснить, что Ливерпуль и Епифань были общепринятыя названія лѣвой и правой стороны: Ливерпуль — какъ начинающійся съ буквы *Л* и принадлежащій зловредной націи, отправить въ которую, хотя бы и мысленно, предполагало величайшую непріятность — обозначалъ разумѣется лѣвую сторону. Но почему несчастная Епифань обозначала правую и была выбрана эмблемой награды за добродѣтель—предоставляется разгадать проницательности читателя.

Когда жребій класть шаръ дошелъ до самого Юрки, онъ бодро отодвинулъ сукно и, какъ-бы желая достать до самаго сердца врага, всунулъ руку по локоть въ лѣвую сторону! Въ толпѣ послышался сдержанный смѣхъ, а присутствовавшая на хорахъ жена князя позеленѣла отъ злости.

«Если и выберутъ, такъ насолю же»—былъ девизъ Юрки.

Не смотря однакожъ на всѣ его старанія, князь Шапхаевъ былъ выбранъ: хотя изъ ста восьмидесяти шаровъ—47 оказались неизбирательными.

Князя Шапхаева стали поздравлять, но онъ принималъ поздравленія съ довольно кислымъ лицомъ. Количество неизбирательныхъ никогда еще не доходило до такой цифры.

Однако этимъ вопросъ о предводителѣ не рѣшался еще окончательно: надо было выбрать другаго кандидата, а при такой значительной оппозиціи это дѣло было не легкое. Если всѣ избирающіе будутъ класть другому кандидату налѣво, то его никогда не выберутъ. Если часть будетъ класть направо и туда же, сговорившись, дружно положитъ оппозиція, то могутъ перевалить, и второй кандидатъ—какъ и было съ засѣдателемъ — окажется первымъ. На это и била оппозиція, которая, уже не имѣя надежды забаллотировать Шапхаева, держалась правила Юрки касательно «насолю» и отдалась въ его распоряженіе.

Шестипаловъ, который болѣе другихъ могъ надѣяться на полуизбраніе, рѣшительно отказался. Вообще мало знакомый съ обычаями выборовъ, не жившій постоянно въ губерніи и потому мало извѣстный большинству помѣщиковъ и думавшій удивить ихъ своими англоманскими предложеніями,— онъ потерпѣлъ совершенное фіаско, и съ тѣхъ поръ, какъ предложеніе его о нуждахъ дворянства окончилось такимъ неожиданнымъ для него образомъ, онъ увидѣлъ, что дѣло его не «выгорѣло», какъ говорилъ Грембулатовъ, и только съ приличнымъ англоману самообладаніемъ старался хладнокровіемъ прикрыть свое разочарованіе.

За отказомъ Шестипалова приступили къ другимъ: двухъ, которыхъ удалось уговорить, забаллотировали; наконецъ голодъ и раздраженіе дошли до сильнѣйшей степени: всѣ приступили къ Зензивѣеву и приняли мѣры, чтобы избрать его вторымъ кандидатомъ, для чего чуть не вслухъ дѣлали разсчетъ.

Зензивѣевъ, послѣ нѣкотораго сопротивленія, съ свойственной ему сладостью сказалъ, что онъ жертвуетъ собой обществу. Приступили къ баллотировкѣ и по счету бѣлыхъ шаровъ онъ оказался дѣйствительно выбраннымъ вторымъ кандидатомъ. Всѣ возрадовались и думали, что кончено; но русскій человѣкъ изобрѣтателенъ въ дѣлѣ крючковъ и подсоленія. Когда сочли черные шары, то оказалось, что въ сложности одного шара не оказалось: баллотировка сдѣлалась неправильною. Ропотъ поднялся сильнѣйшій, но нужно было приступить къ перебаллотировкѣ.

Узнавъ количество шаровъ, выпавшихъ Зензивѣеву, Юрка снова было составилъ какую-то комбинацію, но его уже никто не слушалъ изъ своихъ. По второй перебаллотировкѣ Зензивѣевъ снова былъ избранъ вторымъ кандидатомъ: шары оказались въ комплектѣ и всѣ стали расходиться, довольные, что стряхнули съ себя великую обузу.

Одинъ Юрка стоялъ чѣмъ-то пораженный и недоумѣвающій. Противъ обыкновенія онъ даже не суетился, молчалъ и смотрѣлъ, какъ убирали шары и ящики. Вдругъ одно движеніе князя Шапхаева вывело его изъ неподвижности: онъ ударилъ себя по лбу, расхохотался и началъ сновать пуще прежняго.

— Что съ тобой, Юрка? спросилъ его Самокатовъ, сходя съ лѣстницы; — ты что-то совсѣмъ ошалѣлъ.

— Нѣтъ, вообразите штуку! штуку вообразите, какую сыгралъ со мною Шапхай!—говорилъ онъ вполголоса, останавливая нѣкоторыхъ изъ своихъ.— Вѣдь это я шаръ-то не доложилъ, — сказалъ онъ.

— Ну, мы такъ и думали!—отвѣчали ему.

— Хотѣлось мнѣ узнать, какъ раздѣлятся голоса, чтобы Зензивѣю перевалить: пусть хоть онъ, да не Шапхай. Ну, а какъ вы—чтобы васъ чортъ побралъ—не захотѣли съ голоду меня слушаться, я со злости, чтобы всѣмъ вамъ насолить, во второй-то разъ, вмѣсто одного шара, положилъ и старый, который у меня былъ, думалъ, что окажется лишній и вы еще разъ будете перекатывать.

— Ну и что же?—спросили смѣясь слушавшіе.

— Ну, а вы видѣли, что счетъ-то полный оказался? Я самъ стоялъ у шаровъ и считалъ,—они были дѣйствительно вѣрны, я просто въ тупикъ сталъ! А послѣ вижу, Шапхай подходитъ къ столу, да и вынимаетъ изъ кармана шаръ: онъ догадался, что я лишній шаръ подложу, да свой-то и не доложилъ.

— Геній!—воскликнулъ Юрка,—гдѣ же Шестипалову съ нимъ тягаться!

Громкій смѣхъ огласилъ лѣстницу и Юрка побѣжалъ разсказывать анекдотъ другимъ.

VIII.

На другой день дворянство собралось уже для исполненія обряда. Пріѣхалъ губернаторъ и сказалъ рѣчь, въ которой благодарилъ дворянство за то, что оно вполнѣ оправдало всеобщія ожиданія, занимаясь обсужденіемъ своихъ нуждъ, *не выходя изъ круга начертанныхъ ему обязанностей*, — онъ сдѣлалъ особенное удареніе на этихъ словахъ, — и выбрала изъ среды своей вполнѣ достойныхъ лицъ, которыя, онъ надѣется, будутъ содѣйствовать ему, губернатору, въ работахъ его о благоустройствѣ ввѣренной ему губерніи, и затѣмъ Нобелькнебель объявилъ собраніе закрытымъ.

Дворяне стали разъѣзжаться и дѣлать прощальные визиты. Но мировые посредники остановили Камышлинцева и толковали съ нимъ нѣкоторое время. Дворянскій балъ, по случаю несогласій въ средѣ самого дворянства, не состоялся. Въ самый день закрытія выборовъ утромъ у губернатора столкнулись Шестипаловъ и Зензивѣевъ. Нобелькнебель принялъ ихъ съ свойственной ему отмѣнной вѣжливостью, нѣсколько фамильярнаго оттѣнка, тогда какъ для помѣщиковъ незначительныхъ была у него отмѣнная вѣжливость снисходительнаго оттѣнка, которая имъ какъ-бы говорила: «смотрите, невѣжи, какой я благовоспитанный человѣкъ:—но забываться не смѣть»!

Шестипаловъ сказалъ, что онъ уѣзжаетъ и пріѣхалъ проститься.

— Ну, какое же впечатлѣніе произвели на васъ наши выборы?—спросилъ его Нобелькнебель.

— Очень грустное!—отвѣчалъ тотъ.

— Отчего грустное, почтеннѣйшій Авксентій Егоровичъ?—спросилъ мягко Зензивѣевъ,—отчего же грустное? Правда, мы не любимъ забѣгать впередъ, мы скромно занимаемся нашими дѣлами, въ предѣлахъ, какъ выразились его превосходительство, указанныхъ намъ закономъ; но въ этихъ предѣлахъ мы, кажется, высказали и достаточно практическаго смысла, и достаточно энергіи.

— Да, только въ своихъ практическихъ нуждахъ мы не видимъ далѣе своего носа и не любимъ смотрѣть далѣе его!—отвѣчалъ Шестипаловъ.

— Я съ вами отчасти согласенъ,—сказалъ [illegible]

нительно Нобелькнебель, не смотря на свою отличную вѣжливость, не утерпѣвшій, чтобы въ качествѣ начальника губерніи не удовлетворить своей страстишкѣ прочесть гостямъ наставленіе: — дѣйствительно, дворянскіе выборы, въ настоящемъ ихъ видѣ, доказываютъ крайнюю нашу несостоятельность въ веденіи общественныхъ дѣлъ. Но теперь, когда дѣло кончилось, позвольте мнѣ спросить васъ, Авксентій Егоровичъ: какъ вы рѣшались входить съ предложеніями...—при этомъ Нобелькнебель сдѣлалъ губами мину, какъ-бы желая снисходительно смягчить дѣло...—съ предложеніями довольно рискованными. Хорошо, что дворянство обратило вниманіе на предметъ, гораздо болѣе ему близкій и не выходящій изъ круга его заботъ, а я, какъ начальникъ губерніи, могъ не придать и не придалъ этому дѣлу никакого серьезнаго значенія! Я впрочемъ со своей стороны принялъ мѣры, чтобы оно не имѣло значенія; но если бы дворянство ухватилось за него?.. Вы сами видите, до какой степени мы не способны къ самоуправленію.

— Я не вижу ничего, какъ вы говорите, рискованнаго, или, какъ вы хотите сказать, непозволительнаго въ моемъ предложеніи,—сказалъ Шестипаловъ, нѣсколько уколотый.—Ходатайствовать о какихъ-нибудь правахъ вмѣсто утраченныхъ, ходатайствовать почтительно, ни въ какомъ случаѣ, мнѣ кажется, не можетъ считаться непозволительнымъ. Но я съ вами согласенъ, что здѣшнее дворянство оказало себя мало способнымъ къ самоуправленію.

Въ это время вошелъ Камышлинцевъ.

— И здѣшнее, и всякое другое, особенно провинціальное,—отвѣчалъ Нобелькнебель, здороваясь въ тоже время съ Камышлинцевымъ, съ которымъ онъ обращался просто вѣжливо, не считая нужнымъ прибѣгать къ вѣжливости отмѣнной.

— Извините меня!—нѣжнѣйше замѣтилъ Зензивѣевъ,—но вы, ваше превосходительство и почтеннѣйшій Авксентій Егоровичъ, судя о дворянствѣ по одному нашему собранію, дѣлаете, если мнѣ позволено будетъ такъ выразиться, ошибку! Вѣдь здѣсь кто изъ насъ остался? Остались люди съ небольшими средствами, отслужившіе и полеживающіе въ деревнѣ, которые слѣдятъ кое-какъ за своимъ маленькимъ хозяйствомъ, мало видали, еще меньше читаютъ! Я не говорю про себя, — сказалъ онъ скромно,—я, слава Богу, таки видалъ кое-что и кусокъ хлѣба есть; или вотъ, про такихъ просвѣщенныхъ и во всѣхъ отношеніяхъ, можно сказать, передовыхъ людей, какъ вы, Дмитрій Петровичъ, или Иванъ Сергѣичъ,—да много ли насъ? Пять, десять человѣкъ! А между тѣмъ за границей живутъ, говорятъ, десятки, а иные полагаютъ, и сотни тысячъ нашихъ помѣщиковъ, и въ томъ числѣ самые богатые изъ нашихъ! Вотъ гдѣ зло! Поневолѣ пожалѣешь о прежней системѣ паспортовъ!.. Тысячи съ насъ надо бы брать за *паспортъ!—заключилъ* онъ, разгорячась.

— Я вотъ говорилъ Авксентію Егоровичу,— сказалъ Нобелькнебель Камышлинцеву, желая ввести его въ разговоръ, — о предложеніи, которое онъ думалъ сдѣлать на счетъ самоуправленія. Я самъ сочувствую этой мысли, да и кто ей не сочувствуетъ! Но вы сами видите: рано, рано намъ думать о немъ, не дозрѣли мы до него-съ! Намъ нужно еще руководство и администрація-съ! Администрація, прежде всего—администрація, строгая и во всемъ самая заботливая.

— Я съ вами совершенно не согласенъ, — холодно сказалъ Камышлинцевъ, къ которому обращался Нобелькнебель.

— Я знаю, вы не охотникъ до администраціи,— замѣтилъ Нобелькнебель, — но я не ожидалъ,— прибавилъ онъ съ ироніей,—чтобы вы въ настоящихъ выборахъ, напримѣръ, замѣтили задатки самоуправленія.

— Я замѣтилъ въ нихъ именно весь вредъ излишней опеки! отвѣчалъ Камышлинцевъ,—и вполнѣ согласенъ съ Давыдомъ Давыдовичемъ (онъ показалъ на Зензивѣева), что по настоящимъ дворянскимъ съѣздамъ нельзя судить о нравственной состоятельности дворянства: наша интеллигенція—въ столицахъ да за границей. Только я полагаю, что тысячными паспортами, если ее и удержишь отъ поголовнаго бѣгства, то никакъ не привлечешь къ дѣлу, которое не можетъ ее нисколько занимать!

— Нѣтъ-съ, Дмитрій Петровичъ! Тутъ сила— въ характерѣ!—сказалъ Нобелькнебель. — Англійское дворянство начало не съ того, что было дано, даромъ дано-съ, нашему! А сравните, чего добилось оно и что сдѣлали мы изъ нашего права выборовъ?

— Ну, характеръ-то нашъ я защищать не буду: онъ у насъ въ другой сучокъ пошелъ — въ терпѣнье да выносливость,—сказалъ Камышлинцевъ:— пословица говоритъ, что русскій мужикъ Бога слопалъ, а боярщина навѣрное переварила Ивана Грознаго и переваритъ все, къ чему насъ не пригонитъ историческая ли необходимость или случайность, въ родѣ Петра! Если намъ желать чего отъ нашей настойчивости, такъ, пожалуй, не скоро дождемся; мы еще живемъ на степени растительнаго развитія. Но желудокъ у насъ работаетъ хорошо и я только хотѣлъ сказать, что все, что намъ дается съ той или другой стороны, мы переживаемъ довольно исправно: доказательство — тотъ же крестьянскій вопросъ.

— Такъ по вашему намъ приходится только ждать? — спросилъ Шестипаловъ. — Это не очень утѣшительно!

— Что жъ дѣлать! — сказалъ Камышлинцевъ, пожавъ плечами, — хотя я не говорю, чтобы не слѣдовало подгонять событія или подготовлять имъ дорогу. Это дѣло передовыхъ людей. Впрочемъ ждать долго не придется,—прибавилъ онъ: — Европа живетъ шибко и намъ, если мы не захотимъ

отстать отъ нея, придется перенимать многое, а главный камень теперь убранъ съ дороги.

— Не скоро-съ! Не такъ еще скоро, Дмитрій Петровичъ,—возразилъ Нобелькнебель.—Вы видѣли, какъ понимаются общественныя-то нужды нашей интеллигенціи; гдѣ же люди-то съ? Гдѣ достойные представители?

— Я не знаю, какъ вы себя считаете,—замѣтилъ съ усмѣшкой Камышлинцевъ,—а я о себѣ не дурнаго мнѣнія и не считаю себя неспособнымъ!

— Гм! Да много ли насъ и что доказываютъ исключенія?—возразилъ Нобелькнебель.

— Мнѣ досадны всегда эти возраженія!—сказалъ съ живостью Камышлинцевъ.—Да вотъ, здѣсь насъ четверо и всѣ мы считаемъ себя способными, а говоримъ: людей нѣтъ. Мнѣ приходилось эту фразу слышать сотни разъ и всегда разговаривающіе считали себя исключеніемъ. Повѣрьте: будетъ дѣло, найдутся люди! Дѣло творитъ для себя людей, какъ желѣзная дорога проѣзжающихъ. Вы хотите, чтобы люди умѣли плавать, когда ихъ непускаютъ въ воду. Да наконецъ, вѣдь не боги же горшки лѣпятъ — вѣдь не все же нѣмцы у насъ? откуда же у насъ государственные люди и всякіе администраторы? Вы, напримѣръ, развѣ вы не тотъ же нашъ велико-федорскій дворянинъ и развѣ не будете въ томъ же собраніи дворянства, какъ скоро скините эти невыразимые?—онъ показалъ на форменные бѣлые брюки съ галуномъ, въ которыхъ еще оставался Нобелькнебель по возвращеніи изъ собранія.

— Браво! браво! Дмитрій Петровичъ, спасибо вамъ, заступились за насъ дворянъ, а еще наши дворяне васъ за ренегата считаютъ. Выходитъ, что его превосходительство ренегатъ-то,—прибавилъ Зензивѣевъ съ сладенькой улыбкой, замѣтивъ, что Камышлинцевъ горячится, и потому желая придать спору игривый характеръ.

Нобелькнебель улыбнулся покровительственно и снисходительно, какъ улыбаются взрослые, слушая разсужденія дѣтей.

— Неужели вы думаете господа,—сказалъ онъ,—что я самъ менѣе васъ сочувствую желанію, которое вы высказываете? Смѣю увѣрить васъ, что не только я, но и лица, выше меня поставленныя, вполнѣ либеральны! Но этимъ людямъ, людямъ администраціи, гораздо виднѣе тѣ препятствія, скажу болѣе — опасности, которыя мѣшаютъ осуществленію этихъ желаній. Это хорошо либеральничать-то со стороны-съ! А администраторамъ не приходится быть мечтателями-съ! Будьте увѣрены, что все что можно дать, то и дастся постепенно и по мѣрѣ возможности!

— Совершенная и святая истина, ваше превосходительство! — сказалъ Зензивѣевъ, преклоняясь и кладя руку на сердце:—истина, подобную которой—изволите припомнить, господа,—я имѣлъ честь развить и передъ собраніемъ, въ нашихъ разговорахъ; и я очень радъ, что ваше превосходительство сдѣлали мнѣ честь подтвердить ее. Нельзя всего вдругъ, господа!—продолжалъ онъ, обращаясь къ Шестипалову и Камышлинцеву: — понемножку, понемножку! заключилъ онъ; нѣжно сюсюкая.

— Да, главное, не вдругъ! — сказалъ Камышлинцевъ злобно улыбаясь; онъ былъ не въ духѣ:— но пока мы будемъ прыгать на одной ногѣ, Европа по чугункѣ, пожалуй, такъ уйдетъ, что мы и не догонимъ ея!

— Не безпокойтесь, Дмитрій Петровичъ, догонимъ,—успокоительно сказалъ Зензивѣевъ. Русскій народъ нельзя мѣрять обыкновенной мѣркой. Это народъ богатыри! Илья Муромецъ сидѣлъ сиднемъ тридцать лѣтъ...

— И когда пришлось ему встать,—сказалъ, вставая, Шестипаловъ,—такъ онъ, конечно, такъ отсидѣлъ ноги, что не могъ на нихъ стоять. Это мы и замѣчаемъ! (Онъ протянулъ руку Нобелькнебелю и сталъ съ нимъ прощаться).

— Ну нѣтъ! легенда не то говоритъ! совсѣмъ не то! — замѣтилъ, нѣжно смѣясь, Зензивѣевъ и тоже сталъ прощаться, высказывая разныя сладости губернатору.

— Вы куда, Авксентій Егоровичъ? Не по пути ли намъ?—спрашивалъ Зензивѣевъ, догоняя Шестипалова.

— А вы куда?—спросилъ флегматически Шестипаловъ.

— Я бы къ Марьѣ Петровнѣ думалъ — отвѣчалъ Зензивѣевъ, нѣжно глядя ему въ глаза.

— Ну, а я въ Москву! отвѣчалъ Шестипаловъ, холодно поклонясь ему.

Камышлинцевъ остался въ кабинетѣ, куда тотчасъ же возвратился къ нему Нобелькнебель, проводивъ гостей вплоть до дверей передней.

— А я къ вамъ по дѣлу,—сказалъ сухо Камышлинцевъ.

Надобно замѣтить, что Нобелькнебель понималъ очень хорошо, что Камышлинцевъ вполнѣ его разгадалъ и что его не проведешь ни либеральными фразами, ни отличной вѣжливостью, поэтому онъ то и другое употреблялъ съ нимъ весьма умѣренно; понималъ онъ также, что ихъ взгляды и убѣжденія совершенно противоположны, и потому питалъ къ Камышлинцеву сильное нерасположеніе и держался съ нимъ осторожно. Камышлинцевъ отвѣчалъ ему тѣми же чувствами, но такъ какъ доселѣ не имѣлъ никакого повода къ столкновенію, то и оставался въ хорошихъ отношеніяхъ.

— Сегодня, въ рѣчи къ дворянству, — сказалъ Камышлинцевъ,—вы похвалили его за то, что оно не выходило изъ круга занятій, ему указанныхъ закономъ. Изъ этого надо заключить, что вы одобряете и находите совершенно законными дѣйствія его относительно посредниковъ.

Нобелькнебель слегка покраснѣлъ.

— Вы не совсѣмъ вѣрно поняли мои слова,— сказалъ онъ.—Я имѣлъ въ виду и долженъ былъ отозваться одобрительно объ образѣ отношеній дворянства къ предложеніямъ, совершенно анти цра-

вительственнымъ, сдѣланнымъ господиномъ Шестипаловымъ и вами-съ, членомъ и представителемъ правительства. Господину Шестипалову я сегодня далъ замѣтить неблаговидность его поступка, и такъ какъ у насъ уже зашла рѣчь объ этомъ, то позвольте мнѣ высказать, что ваши предложенія едва ли совмѣстны съ положеніемъ, которое вы занимаете, и довѣріемъ, которымъ удостоены отъ правительства!

— Если это ваше личное мнѣніе, — отвѣчалъ холодно и равнодушно Камышлинцевъ,—то я замѣчу, что вы навѣрно понимаете какъ законность предложеній, такъ и мое положеніе. Я, можетъ быть, ошибаюсь, но полагаю, что мое предложеніе не выходило, какъ вы выразились, изъ предѣловъ законности; во вторыхъ, я не чиновникъ правительственный: я принялъ приглашеніе помогать правительству въ разрѣшеніи крестьянскаго дѣла и принялъ его потому, что этому дѣлу сочувствую. Въ немъ я солидаренъ съ видами правительства и если буду дѣйствовать не въ правительственномъ духѣ, то значитъ измѣняю и правительству, и моему слову; но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, я человѣкъ вполнѣ независимый, на сколько можетъ быть независимъ всякій гражданинъ, не нарушая закона. Если же вы думаете сдѣлать мнѣ замѣчаніе, какъ начальникъ губерніи, то я,—прибавилъ Камышлинцевъ улыбнувшись, — не считаю нужнымъ и отвѣчать на него: оно пропадетъ даромъ.

— Я не буду съ вами спорить о моихъ правахъ и не желаю придавать словамъ никакого оффиціальнаго значенія, — отвѣчалъ нѣсколько уколотый хозяинъ, — хотя съ своей стороны долженъ замѣтить, что ужь такъ какъ я начальникъ губерніи и принялъ на себя эту обязанность, то пониманія мои и смыслъ моихъ словъ, какъ частнаго человѣка и оффиціальнаго лица, раздѣлить не могу. Но теперь позвольте васъ спросить! въ какомъ смыслѣ вы пришли за объясненіями значенія моей рѣчи?

— Да какъ членъ мироваго института, я бы желалъ разъяснить себѣ взглядъ предсѣдателя на права института,—сказалъ Камышлинцевъ.

— Я вамъ сказалъ, что имѣлъ въ виду совсѣмъ не то, и притомъ долженъ замѣтить, что дѣйствія собранія относительно васъ я могу находить несправедливыми, но отказать имъ въ законности не могу.

— Я съ вами вполнѣ согласенъ, а потому вовсе и не думалъ говорить о себѣ,—замѣтилъ Камышлинцевъ; — я говорилъ о посредникахъ; своимъ одобреніемъ вы ихъ выдали съ головой дворянству: по крайней мѣрѣ такъ поняли ваши слова и дворяне, и посредники.

— Вольно же имъ!—сказалъ Нобелькнебель.— Впрочемъ и относительно посредниковъ я такого мнѣнія, что они, какъ и самое названіе ихъ доказываетъ, должны быть посредниками между обѣ*ими* сторонами и не возстановлять своими дѣйствіями противъ себя ни ту, ни другую. Въ этомъ случаѣ они должны нести нравственную отвѣтственность.

— Да, нравственную и передъ общественнымъ мнѣніемъ! — возразилъ Камышлинцевъ; — а этакъ вѣдь, чтобы быть послѣдовательнымъ, вы должны будете и за волостными сходами признать право дѣлать выговоры посредникамъ.

— Ну, вотъ вы куда пошли! — сказалъ прижатый къ стѣнѣ Нобелькнебель. — А впрочемъ что же вы хотите? Положимъ, я выразился не точно; ну, что же съ этимъ дѣлать!

— Я желалъ бы, чтобы вы поправили эту неточность, — наступалъ неотвязчиво Камышлинцевъ.— Вашъ губернскій Монитеръ, а за нимъ и другія газеты повторятъ вашу рѣчь; теперь вы знаете, какое обращаютъ вниманіе на губернскія присутствія, и если въ нихъ не будетъ высказано оффиціальное осужденіе дѣйствій собранія относительно посредниковъ, то печать еще болѣе утвердитъ въ дворянствѣ тѣ понятія, которыя оно составило о своихъ правахъ, тѣмъ болѣе, что корреспонденты газетъ конечно не умолчатъ о протестѣ.

— Такъ поэтому вы желаете, чтобы я измѣнилъ свою рѣчь?—спросилъ Нобелькнебель. — Какъ же это можно? Да я полагаю, что и не стоитъ придавать этому какую нибудь важность, и лучше просто оставить все это такъ.

— Я очень желалъ бы, чтобы вашей рѣчи придавали всѣ также мало значенія, какъ вы ей придаете сами,—сказалъ Камышлинцевъ, — но такъ какъ къ сожалѣнію ее могутъ принять серьезнѣе, а вы не желаете исправить ошибку, то я долженъ буду протестовать противъ нея.

Краска кинулась въ лицо Нобелькнебеля.

— Позвольте мнѣ повторить ваши слова,—сказалъ онъ, принимая тонъ отличной вѣжливости.— На ваше мнѣніе, какъ частнаго человѣка, я далъ вамъ объясненіе; но если вы повторяете ваши слова, какъ оффиціальное заявленіе или какъ требованіе, то я не считаю нужнымъ отвѣчать на него,— оно пропадетъ даромъ.

— Я хотѣлъ предложить вамъ частно исправить вашу ошибку,—сказалъ Камышлинцевъ, вставая; — но если вы не соглашаетесь на это, то я не затруднюсь и оффиціальнымъ протестомъ.

Онъ поклонился, не подавая руки, и вышелъ; Нобелькнебель такъ же поклонился ему, не сходя съ мѣста.

IX.

Вмѣсто несостоявшагося дворянскаго бала, велико-ѳедорскій клубъ далъ маскарадъ. Маскарады въ губернскихъ городахъ отличаются отъ обыкновенныхъ танцовальныхъ вечеровъ тѣмъ, что на нихъ появляются совершенно неизвѣстныя высшему кругу личности; дамы впускаются даромъ, дорогой туалетъ замѣняетъ домино, часто передѣланное изъ платья или салопа, и—потому на маскарадахъ

бываетъ людиѣе и шумнѣе, хотя не такъ элегантно. Маскарады вообще демократичнѣе баловъ. Въ половинѣ или подъ конецъ вечера маски по большей части снимаются и всѣ весело начинаютъ отплясывать, если веселья не смутитъ какой-нибудь скандалъ подвыпившаго мелкаго чиновника или обидчиваго армейскаго офицера.

Въ назначенный день все происходило какъ слѣдуетъ. Большой каменный двухъ-этажный дворянскій домъ былъ ярко освѣщенъ. У подъѣзда тускло горѣли два фонаря, и будочникъ, въ ожиданіи пріѣзда начальства, перебранивался съ кучерами. Въ большихъ сѣняхъ толпа лакеевъ и горничныхъ сидѣла съ барскими салопами, а жандармъ стоялъ для снятія и сбереженія губернаторской и штабъ-офицерской шинели. Въ дверяхъ изъ залы на лѣстницу, но болѣе на лѣстницѣ, чѣмъ въ залѣ, стоялъ полицейскій чиновникъ, придерживая какъ-то неловко мотавшуюся у ногъ шпагу: въ большой залѣ игралъ скверный оркестръ изъ гарнизонныхъ жидковъ, переодѣтыхъ въ статское платье, нѣсколько паръ больше съ азартомъ и преданностью дѣлу, нежели съ ловкостью, вальсировали и натыкались другъ на друга, вдоль колоннады и по другимъ залamъ сидѣли и ходили маски, никого не интригуя и поджидая, — по странному для столичнаго жителя обычаю,—чтобы ихъ начинали интриговать. Впрочемъ, обычай этотъ былъ понятенъ; потому что большая часть масокъ была извѣстна своимъ кавалерамъ также хорошо, какъ бы ихъ лицо было совершенно открыто, но нѣкоторыя эмансипированныя любительницы маскараднаго дѣла интриговали, старались быть неузнанными, перемѣняли для этого костюмы и вообще дѣйствовали не только какъ надо быть въ маскарадахъ, но даже употребляя, какъ рыба въ мелкой водѣ, гораздо болѣе энергіи и искусства, чѣмъ въ столицахъ.

Камышлинцевъ пріѣхалъ поздно. Онъ прошелъ въ комнату, гдѣ играли въ карты и куда маски, какъ въ заповѣдный лѣсъ, не входили.

— Что вы поздно? гдѣ пропадали?—заговорили его партнеры.—А мы пождали васъ, да и устроились!

— Самъ виноватъ, пусть и страдаетъ! — замѣтилъ кто-то изъ пріятелей.

— Дѣлать нечего, пойду пострадаю! — сказалъ Камышлинцевъ, направляясь въ залу.

— Мы скоро кончимъ пульку, вы не уѣзжайте!— кричали вслѣдъ ему.

Когда входишь въ большое общество, въ первый разъ послѣ происшествія или случая, который обратилъ на васъ общественное вниманіе, тогда лучше всего познаешь цѣну себѣ, своему поступку и отношенія къ нему общества.

Вмѣсто того, чтобы стѣсняться и быть недовольнымъ высказавшеюся непріязнью извѣстной партіи, Камышлинцевъ чувствовалъ себя какъ-то выше, сильнѣе, хотя нѣсколько злѣе; онъ смотрѣлъ на всѣ непріятности свысока. Вообще Камышлинцевъ и самъ замѣчалъ въ себѣ перемѣну; всѣ эти передряги и непріятности какъ будто закалили его, и чѣмъ сильнѣе противъ него возставали, тѣмъ онъ болѣе чувствовалъ свое значеніе. Это его даже удивило: онъ считалъ себя всегда слабо-характернымъ и мягкимъ, а между тѣмъ по мѣрѣ давленія извнѣ чувствовалъ большую твердость, самостоятельность и ясность убѣжденій. Въ такомъ настроеніи Камышлинцевъ пошелъ по заламъ безъ всякихъ ожиданій, и безъ всякой напускной скуки и разочарованія, въ которыхъ по старой памяти парадировали человѣка два-три, хотя ихъ хандра на дѣлѣ не устаивала даже противъ замаскированной горничной. Камышлинцевъ для барышень безъ жениховъ и барынь съ приключеніями—благодаря своимъ отношеніямъ къ Мытищевой — потерялъ большую часть притягательной силы, и притомъ онъ сталъ человѣкомъ дѣловымъ и серьезнымъ, пересталъ почти танцовать и выбылъ даже просто изъ ряда *кавалеровъ*; поэтому провинціальныя, и безъ того тяжелыя на игривость маски, мало задѣвали его. Но скучать онъ тоже еще не успѣлъ; его развлекала пестрая толпа и онъ довольно весело проходилъ въ ней, перекидываясь словами и здороваясь съ знакомыми. Нѣкоторыя маски заговаривали съ нимъ прямо своимъ голосомъ, называя его Дмитріемъ Петровичемъ; двѣ ограничили интригу тѣмъ, что молча протянули ему руку и поздоровались. Такъ прошло съ полчаса, когда какая-то маска, сердито бросивъ одного юношу, взяла Камышлинцева подъ руку.

— Что ты, пріѣхалъ развлечься и искать забвенія?—спросила она.

— Забвенья отъ чего? — спросилъ Камышлинцевъ.

— Отъ головомойки, которую тебѣ задало дворянство?—сказала маска.

Камышлинцевъ усмѣхнулся.

— Именно!—сказалъ онъ:—и я ищу сострадательной души, которая бы меня пожалѣла и утѣшила.

— Ну, утѣшительница-то у тебя есть!—отвѣчала маска,—и ты въ этомъ не нуждаешься; а прибавить бы тебѣ головомойку слѣдовало: тебѣ мало досталось.

— За что такой гнѣвъ? — шутя, спросилъ Камышлинцевъ.

— За то, чтобы ты не дурилъ и дѣйствовалъ какъ дѣйствительно прилично благородному дворянину,—сказала маска, нѣсколько злясь и наставительно.

— А что? отъ тебя за дурное обращеніе горничную что ли отобрали? — спросилъ, продолжая смѣяться Камышлинцевъ.

— Нѣтъ, я не обращаюсь дурно съ моей горничной, я не такъ воспитана!—сказала маска, обижаясь;—я понимаю обязанности благороднаго человѣка, да хотѣла бы и тебѣ внушить ихъ. Мнѣ жалко, что ты хорошій молодой человѣкъ и дворянинъ...

— Ну, прощай!—сказалъ Камышлинцевъ, опу-

ская руку.—Я не знаю, какова ты для прислуги, но для маскарада нестерпимо скучна.

«Чортъ знаетъ! и здѣсь отъ помѣщицъ, какъ отъ блохъ на станціи, не отдѣлаешься,—подумалъ онъ;—пойду спасаться въ картежную».

— Что? Ловеласничаете и волочитесь тутъ, что ли? или невѣстъ высматриваете? — спросилъ женскій голосъ Камышлинцева.

Онъ обернулся и увидалъ ту распорядительную барыню, которая была на памятномъ для него обѣдѣ у Мытищева. Какъ добрый блюститель порядка, она стояла на самомъ толчкѣ, и направо и налѣво давала совѣты, распоряженія, иногда и крупныя замѣчанія. Около нея было человѣка два-три молодежи, которая ее вообще любила, потому что она и повретъ, и накормитъ, и поможетъ въ трудныхъ дѣлишкахъ.

— Нѣтъ, я въ эти игры не играю, Пелагея Филипповна!—сказалъ Камышлинцевъ, весело здороваясь съ нею.—Одинъ видъ ея, бодрой, всегда занятой, ничѣмъ не затрудняющейся, доставлялъ ему удовольствіе, а роль, которую она, небогатая вдова, сама создала себѣ, всегда составляла для него предметъ веселаго удивленія и наблюденія.

— Какъ не занимаетесь! а зачѣмъ сейчасъ съ невѣстой ходили? смотрите!—она пригрозилась ему.

— Съ какой невѣстой? — спросилъ Камышлинцевъ.

— А съ Минхенъ аптекарской? развѣ я не видала?

— Быть не можетъ!—воскликнулъ изумленный Камышлинцевъ.

Подъ именемъ «аптекарскихъ» были извѣстны дочери аптекаря Гицблаттера, которыхъ было числомъ столько же, сколько народъ насчитываетъ сестеръ-лихорадокъ.

— Чего не можетъ? Неужто не узнали?—Бойкая барыня, знавшая всѣхъ масокъ наизусть, не вѣрила, чтобы можно было дѣйствительно не узнать кого-нибудь.

— Да помилуйте! Я ихъ и безъ масокъ не различаю!—сказалъ Камышлинцевъ:—всѣ рыжеватыя, всѣ безцвѣтныя, всѣ съ оловянными глазами и, кажется, цѣлая дюжина.

— Счетомъ одиннадцать! Три замужемъ, двѣ ростутъ, а шесть жениховъ ждутъ и по очереди вывозятъ! сегодня очередь Миночки, Финочки и Мальхенъ,—сообщила Пелагея Филипповна.

Камышлинцевъ отъ души расхохотался.

«Тьфу, пропасть, и въ аптеку затесались дворянскія претензіи», — подумалъ онъ и побрелъ далѣе.

Онъ уже готовъ былъ вступить въ игорную залу, которая бы по всей вѣроятности и поглотила его на весь вечеръ, какъ сзади торопливо подошла маска и слегка удержала его за руку.

— Подожди!—сказала она,—мнѣ хочется поговорить съ тобой.

Камышлинцевъ обернулся и увидѣлъ передъ собой маску, въ домино, сдѣланномъ изъ турецкой шали.

— Очень радъ, — сказалъ онъ, подавая ей руку,—только пожалуйста, не говори ни о дворянскихъ выборахъ, ни о крестьянскомъ дѣлѣ.

Маска легко и какъ будто непривычно положила свою руку на его, но, услышавъ его слова, остановилась и съ удивленіемъ посмотрѣла ему въ глаза.

— Да ты почему знаешь, что я съ тобой объ этомъ хотѣла говорить? — сказала она.

Она не пищала и мало измѣняла голосъ, но Камышлинцеву голосъ этотъ показался незнакомымъ.

— Да запуганъ ужь я очень этими разговорами, такъ на всякій случай беру свои мѣры!— сказалъ Камышлинцевъ.

Маска, казалось, пришла въ затрудненіе.

— Вѣроятно, тебѣ опротивѣли всѣ эти разговоры и непріятности, но я пріѣхала сюда нарочно за тѣмъ, чтобы отъ души пожать твою руку!..

— За что?—спросилъ Камышлинцевъ.—Сдѣлай милость, пожми: у тебя, кажется, хорошенькая рука. Во всякомъ случаѣ это очень пріятно и я сопротивляться не буду. — Камышлинцевъ взялъ кисть ея руки въ красивой сиреневой перчаткѣ (это не мѣшаетъ замѣтить, потому что тутъ были и черныя, и поношенныя), пожалъ ее и сталъ ее разсматривать.

Маска слегка отняла руку: ей, кажется, не нравился веселый и шутливый тонъ, который давалъ Камышлинцевъ разговору.

— Видишь что!— сказала она;— тебѣ конечно, ничего не значитъ мнѣніе какой нибудь маски, которую ты и не знаешь, и не замѣтишь никогда: тебя поддерживаетъ и ободряетъ, можетъ быть, особа, тебѣ дорогая и милая, съ которой мой голосъ не имѣетъ и претензіи равняться, но все-таки я чувствовала потребность для себя самой сказать тебѣ, что ты хорошій человѣкъ, и пожелать тебѣ силъ въ твоей борьбѣ за хорошее дѣло!

Камышлинцевъ смотрѣлъ ей въ глаза (глаза были черные) и улыбался ей съ пріятнымъ недоумѣньемъ: серьезность, которую придавала своему поступку маска, затрудненіе, съ которымъ она высказывала свои чувства, и нѣкоторый оттѣнокъ романтичности въ ея поступкѣ и пріемахъ — все заставляло его думать, что это какая-нибудь молоденькая и неопытная въ свѣтѣ дѣвочка или женщина.

«Жена или дочь какого-нибудь чиновника»,— подумалъ онъ; но костюмъ ея, щеголеватый и изящный, сбилъ его съ толку.

— Спасибо тебѣ!—сказалъ онъ, взявъ и пожавъ ея руку (она съ своей стороны крѣпко пожала его руки).—Мнѣ дорого твое сочувствіе и именно потому, что я не знаю тебя. Твой голосъ для меня— голосъ изъ публики. Тебѣ, можетъ быть, пріятнѣе было бы, если бы я его цѣнилъ наоборотъ, какъ твое личное мнѣніе, но я принимаю, какъ пріятнѣе для меня. Ты видишь, я не очень скроменъ, прибавилъ Камышлинцевъ, — а впрочемъ, во вся-

комъ случаѣ спасибо, тѣмъ болѣе, что я вовсе не такъ избалованъ ободреніями, какъ ты полагаешь!

Онъ улыбнулся, но на душѣ у него шевельнулась ѣдкая горечь при мысли о той, на чье сочувствіе намекала маска.

— Ну да!—сказала маска, — понятно, что здѣсь все противъ тебя. Но иногда одинъ дорогой голосъ заглушитъ весь гулъ толпы.

Она съ любопытствомъ смотрѣла ему въ глаза и наслаждалась, казалось, возможностью затронуть трепещущій интересомъ предметъ. Никакой страстный библіоманъ не сгараетъ такъ желаніемъ заглянуть въ рѣдкую книгу, какъ молоденькая, никѣмъ не занятая и жаждущая любви женщина желаетъ заглянуть въ чужое влюбленное сердце. Это для нея интереснѣйшая страница живаго заповѣднаго романа, это вивисекція любви.

Но Камышлинцевъ не былъ фатъ; онъ не любилъ рисоваться и достаточно серьезно смотрѣлъ на свои отношенія къ Мытищевой чтобы толковать о нихъ съ кѣмъ бы то ни было.

— Ты права! — сказалъ онъ, шутя. — Это было сейчасъ со мной: одинъ голосъ и очень *дорогой* должно быть, потому что въ ея домѣ все очень дорого цѣнится, бранилъ меня и именно за то дѣло, за которое ты хвалишь и, какъ ты выразилась, заглушилъ голосъ всей толпы: поэтому-то я и просилъ тебя не начинать извѣстнаго разговора. И, какъ ты думаешь, чей былъ это голосъ?

— Какой-нибудь обиженной помѣщицы! — отвѣчала маска.

— Въ томъ-то и дѣло, что не только не помѣщицы, а вовсе и не дворянки, а женщины, отъроду никѣмъ не распоряжавшейся, кромѣ пустыхъ стклянокъ!

— Что за нелѣпость! — сказала маска.

— Да и еще нѣмки вдобавокъ! Теперь для контраста недостаетъ только, чтобы ты была помѣщица.

Маска повидимому смѣялась.

— А вѣдь я и въ самомъ дѣлѣ помѣщица! — сказала она, и въ голосѣ ея была слышна искренняя веселость.

— Не можетъ быть! — сказалъ Камышлинцевъ.

— Не шутя, — отвѣчала маска.

— Этого только не доставало для вавилонскаго смѣшенія! — воскликнулъ Камышлинцевъ.

Оба они расхохотались.

Въ это время они дошли до крайней комнаты, упиравшейся въ уборную, и повернули направо въ небольшую, непроходную гостиную. Она была почти пуста, прохладна и только какая-то парочка, прижавшись въ углу, мирно бесѣдовала на диванѣ.

— Ты здѣсь одинъ? — спросила маска.

— Одинъ, отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Я тебя не оторвала ли отъ чего? Куда спѣшилъ, когда я тебя поймала? — спрашивала она.

— Въ карты играть хотѣлъ, — отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— Ну, ими ты можешь немного пожертвовать мнѣ; я для тебя нарочно сюда пріѣхала. Сядемъ здѣсь.

— Въ самомъ дѣлѣ, для меня? — спросилъ Камышлинцевъ.

— Въ самомъ дѣлѣ! у меня здѣсь никого и знакомыхъ нѣтъ.

— Ну, такъ ты имѣешь право на жертву, — рѣшилъ Камышлинцевъ: — сядемъ.

Они усѣлись въ противоположномъ отъ парочки углу.

— Если у тебя здѣсь нѣтъ знакомыхъ, значитъ ты пріѣзжая? — началъ выспрашивать Камышлинцевъ.

— Нѣтъ, здѣшняя!

— Такъ отчего же никого не знаешь?

— Я мало выѣзжаю: въ монастырѣ живу, — сказала маска.

— Ну, это и видно, особенно по фасону домино, — замѣтилъ Камышлинцевъ.

Маска разсмѣялась.

— Да что, обо мнѣ нечего распрашивать; а ты разскажи про себя, — сказала она. — Ты давеча своей нѣмкой только разговоръ замялъ. Ты счастливый человѣкъ! Ты живешь вполнѣ, работаешь хорошему дѣлу, борешься съ врагами, и тебя любитъ и поддерживаетъ въ борьбѣ милая женщина.

— Про кого ты говоришь? — спросилъ Камышлинцевъ.

— Зачѣмъ ставить точки на *i*! — отвѣчала маска: — ты самъ знаешь... или хочется, чтобы тебѣ разъяснили?

— Э, все это вздоръ! — сказалъ Камышлинцевъ. — Я очень доволенъ, что есть у меня дѣло по душѣ, но непріятности и разныя дрязги счастья большаго не доставляютъ, и никто меня въ этомъ не поддерживаетъ.

— Ну, что пустяки говорить! — сказала маска: — ты видишь, что я къ тебѣ искренно расположена, такъ будь же со мной откровененъ. Скажи мнѣ: правду ли говорятъ, что мужъ все знаетъ и благословилъ васъ?

Камышлинцевъ невольно разсмѣялся послѣднему предположенію.

— А у тебя хорошенькіе и быстрые глаза! — сказалъ онъ, глядя на маску.

— Ну, оставь ихъ, — сказала она нетерпѣливо: — будетъ съ тебя и сѣрыхъ! Ты лучше отвѣчай на мой вопросъ.

— Я тебѣ сказалъ уже, что все это вздоръ, — отвѣчалъ Камышлинцевъ; — но еслибы тутъ и было кое-что правды, то какое бы ты составила себѣ мнѣніе о человѣкѣ, который первымъ, положимъ, хорошенькимъ, но любопытнымъ глазамъ позволилъ бы заглядывать себѣ въ душу и сталъ бы разсказывать вещи, не до него одного относящіяся?

Маска задумалась.

— Ты правъ! — сказала она. — Я была не скромна, но все-таки ты счастливый человѣкъ: ты вполнѣ живешь, и я тебѣ завидую.

— Я и не жалуюсь,—отвѣчалъ Камышлинцевъ.— А ты развѣ несчастна?

— Нѣтъ, и я не жалуюсь: особенно плохаго нѣтъ,—сказала она вяло.—Да живется мало! Живешь такъ, безъ цѣли — день за день переваливаешь; а жить хочется...

— Не влюблена, значитъ?—спросилъ нѣсколько насмѣшливо Камышлинцевъ, начиная чувствовать неинтересный поворотъ въ разговорѣ.

— Какъ будто все дѣло въ любви! — сказала маска горячо.

— Ну, для молоденькой женщины почти все,— замѣтилъ Камышлинцевъ.—А что же, ты иной дѣятельности жаждешь?—спросилъ онъ.

— Жажду! — весело отвѣчала маска; понимая, что Камышлинцевъ подсмѣивается надъ ея жалобнымъ тономъ.

— Видишь, какая ненасытная! Ну подовольствуйся сначала л'амуромъ! — сказалъ Камышлинцевъ,—а тамъ въ дѣятельности твоего избранника найдешь, можетъ быть, и свою: воспособляй ему! Ты не замужемъ значитъ?

— Нѣтъ, замужемъ! — отвѣчала маска.

— Чтожь у тебя дѣлаетъ мужъ?

— Въ казенной палатѣ служитъ!—отвѣчала она.

— Ну, туда тебя воспособлять не пустятъ! — замѣтилъ Камышлинцевъ.—Такъ по крайней мѣрѣ вари мужу щи хорошіе, — прибавилъ онъ. — Да нѣтъ... ты обманываешь: у тебя глаза смѣются!

— Вотъ этого-то мнѣ и не хочется, щи-то варить да участіе въ дѣлахъ казенной палаты принимать, — сказала она.

— Оттого, что не любишь,— отвѣчалъ Камышлинцевъ.—Какъ полюбишь, то найдешь и въ щахъ, и въ казенной палатѣ сладость неописанную. Признайся: вѣдь не любишь?

— Не люблю, — отвѣчала она.

— Зачѣмъ же дѣло стало? развѣ тебя никто не любитъ?

— Н-ну, нельзя сказать, чтобы никто. Да мнѣто нелюбится, — жалобно прибавила она.

— Значитъ, пора не пришла,—сказалъ Камышлинцевъ.

— Нѣтъ, пришла, и ужасно хочется любить, — стыдливо сказала маска, и глаза ея и опускались, и улыбались.

— Ну, такъ за предметомъ дѣло не станетъ: будто на свѣтѣ и людей нѣтъ!

— Есть, да... ну вотъ я бы въ тебя влюбилась?

— Ну чтожь, и прекрасно! — сказалъ Камышлинцевъ. — Дѣлу моему ты сочувствуешь?

— Сочувствую очень.

— Я самъ тебѣ нравлюсь?

— Маска посмотрѣла ему въ лицо веселыми глазами и, кажется, наслаждалась возможностью, не стѣсняясь, разсматривать его лицо.

Камышлинцевъ, улыбаясь, выдерживалъ смотръ.

— Ты похудѣлъ! — сказала она, какъ-бы сравнивая его съ тѣмъ, чѣмъ онъ былъ, — и черты лица у тебя стали рѣзче и опредѣленнѣе... но ничего! это тебя не портитъ, даже по моему лучше: выразительнѣе стало!

— Ну такъ, значитъ, нравлюсь, и прекрасно! зачѣмъ же дѣло стало? — сказалъ онъ.

— Нѣтъ, ты не для насъ! — сказала маска, отворотясь отъ него; — да и мѣсто занято.

— А можетъ и нѣтъ,—сказалъ Камышлинцевъ, и въ умѣ его шевельнулась въ самомъ дѣлѣ мысль: любитъ ли онъ Ольгу по прежнему?

Маска опять пытливо посмотрѣла ему въ глаза: онъ смѣялся.

— Нѣтъ, занято! — сказала она: — я знаю.

— Ну, а если ты подозрѣваешь соперницу, такъ борись, старайся вытѣснить ее.

— Не сладишь, — сказала маска, — она хорошенькая, а я дурна.

— О, если такъ, то твое дѣло дряны! Правда, бываетъ, что и дурныя нравятся, но надо, чтобы хорошенькихъ не было на тридцать верстъ въ окружности. Да ты лжешь, ну покажись-ка! ну покажи хоть подбородокъ!

Камышлинцева начало задѣвать за живое. Маска повернулась къ нему и открыла подбородокъ: отъ духоты ли подъ маской, или отъ стыдливости — онъ весь покраснѣлъ.

— Подбородокъ миленькій, — сказалъ Камышлинцевъ разсматривая его, — цвѣтъ лица и кожи хорошъ, и глаза живые и черные...

— Ты меня, какъ лошадь, разсматриваешь! — сказала маска. — Да ужь я тебѣ говорю, что я хуже... что не понравлюсь...

— Мужчины вовсе не такъ разборчивы, какъ ты думаешь! — сказалъ Камышлинцевъ. — Ну, а впрочемъ, коль не понравишься, такъ страдай: все-таки будетъ борьба чувство, жизнь!..

— Спасибо, — сказала маска: — такая жизнь до петли доведетъ!.. А какіе вы всѣ, даже и лучшіе изъ васъ, фаты и ненасытные... Вѣдь ты и въ самомъ дѣлѣ былъ бы не прочь, еслибъ тебя полюбили!...

— Еще бы! — отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— И такъ вы всѣ безнравственны, что полюби тебя хорошенькая, вѣдь ты бы, пожалуй, кое-что удѣлилъ?..

— Очень можетъ быть! — сказалъ Камышлинцевъ.—Это еще вопросъ не рѣшенный, поглощаетъ ли одна любовь человѣка мужчину или женщину— все равно, всего, и до такой степени, чтобы онъ не въ состояніи былъ въ то же время питать другую любовь.

— Ты это говоря только за мужчинъ,—сказала маска горячо: — это вы только развратились до такой степени, что допускаете подобныя вещи!

— А вы развѣ изъ другой глины? — спросилъ Камышлинцевъ. — Вѣдь не ангелы же вы, въ самомъ дѣлѣ? Да и понятіе о нравственности вещь условная. Магометане, мормоны или какіе-нибудь ирокезы — не считаютъ безнравственнымъ, если мужъ имѣетъ нѣсколькихъ женъ и если жена имѣетъ нѣсколькихъ мужей.

— Ну, это ирокезскія понятія, а я говорю о европейскихъ, — сказала маска.

— Да я никакъ не защищаю необходимости, а говорю только о возможности факта, разумѣется, при благопріятныхъ обстоятельствахъ,— и говорю именно объ искреннемъ чувствѣ. Я полагаю, впрочемъ, — сказалъ Камышлинцевъ, — что это только раздвоеніе чувства, напримѣръ въ одномъ нравится одно, въ другомъ другое, или при отсутствіи одного—другой, и наоборотъ.

— А я думаю, — сказала маска, — что это бываетъ, когда съ жиру бѣсятся. Спасибо за раздвоенную любовь. Я бы за нее гроша не дала!

Камышлинцевъ разсмѣялся.

— Это называется: дайте все, да и то мало! — сказалъ онъ.—Ну, ты, конечно, и за неизмѣнность чувства?

— Н-нѣтъ!—сказала она,—я допускаю, что оно можетъ измѣниться.

— Въ твою пользу, разумѣется! Ну, а еслибы тебѣ кто измѣнилъ, такъ глаза бы выцарапала?— спросилъ онъ.

— Надѣюсь, что удержусь; но конечно съ удовольствіемъ сдѣлала бы это, — сказала маска, съ свѣтившимися глазами.

— Нѣтъ, ужь если ты вздумаешь меня любить, такъ дай слово, что удержишься! А то, хоть я и не вѣтренъ, но все-же, на всякій случай...

Въ это время въ комнатку вошла бойкая барыня, и окинула ее взглядомъ. Она какъ будто исполняла свою обязанность дозора: «Зайти-де посмотрѣть, что тамъ у меня дѣлается?»

Увидавъ Камышлинцева, бойкая барыня кивнула ему головой снизу вверхъ, какъ-бы говоря: «Эге! смотри ты у меня!» и въ тоже время пристально взглянула на сидящую съ Камышлинцевымъ маску.

Пелагѣя Филипповна, — сказалъ Камышлинцевъ, нарочно подзывая къ себѣ бойкую барыню.—Вотъ маска, которая не знаетъ кого полюбить. Я ей предлагаю себя поддержите рекомендацію!

— Что же! какого тебѣ кавалера еще надобно?—спросила Пелагѣя Филипповна, инквизиторски, съ ногъ до головы оглядѣвъ маску и впиваясь въ нее глазами. Ей хотѣлось вызвать ее на разговоръ.

— Я въ немъ начинаю разочаровываться, — сказала маска, не пища, но скрывая свой голосъ.— Прощай!—сказала она, вставая.

— Куда жъ ты?—спросилъ ее Камышлинцевъ, тоже вставая, и спросилъ только для того, чтобы сказать что нибудь: ему уже начинала прискучать болтовня съ ней.

— Мнѣ пора домой, а тебѣ въ карты играть,— сказала маска.—Хотѣла было я тебѣ сдѣлать еще вопроса два, да ужь послѣ, можетъ, когда...

— Про любовь?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Нѣтъ, подѣльнѣе,—отвѣчала маска, какъ бы не хотя:—про общій трудъ и артель. — Она, кажется, думала привлечь этимъ вниманіе Камышлинцева; но его точно варомъ обварило.

— Ну, нѣтъ! уволь!—отвѣчалъ онъ; — во первыхъ, я считаю любовь гораздо серьезнѣе, а во вторыхъ, вдвое занимательнѣе. Объ ней если хочешь...

— Будетъ! хорошенькаго по немножку! — сказала маска, взявъ его подъ руку.—Проводи меня: это по пути!

— А ты, кажется, въ самомъ дѣлѣ разочаровалась во мнѣ, или чѣмъ-то недовольна? Видишь, герои должны себя держать въ отдаленіи...

— Я глупа! — сказала маска, разсмѣявшись.— Мнѣ досадно стало, что ты эту бабу подозвалъ, да еще нашъ разговоръ ей сталъ передавать.

— Такъ ты во мнѣ разочаровалась?—спросилъ Камышлинцевъ съ тѣмъ эгоизмомъ, который подбиваетъ всякаго человѣка узнавать, что о немъ думаютъ?

— Немножко,—отвѣчала маска.—Я думала, что ты серьезнѣе и... и... и постояннѣе...

— Эге! такъ ты уже, значитъ, начинаешь надѣяться, что меня влюбить не такъ трудно, какъ ты думала сначала?—спросилъ Камышлинцевъ.

Маска была какъ будто сама удивлена этимъ выводомъ.

— Пожалуй, что и такъ—смѣясь, сказала она.

— Ну, и ты намѣрена начать опытъ?

— Мм...—не знаю еще... Покуда спасибо и прощай! Я глупо сдѣлала, что долго задерживала тебя болтовней и надоѣла тебѣ; ты ужь и забылъ, зачѣмъ я пріѣзжала, но мнѣ не часто приходится съ умными людьми говорить, и я не выдержала. Ты самолюбивъ; а все-таки ты хорошій человѣкъ, и я еще разъ желаю тебѣ силы и успѣха въ твоей борьбѣ!—Она крѣпко пожала ему руку и пошла на лѣстницу.

— Спасибо! Да ты одна? дай же я тебя провожу до экипажа.

— Нѣтъ! не надо, не надо!—торопливо сказала она:—я не люблю услугъ.

— Это хорошо!—замѣтилъ Камышлинцевъ, останавливаясь у балюстрады.—А въ слѣдующій маскарадъ пріѣдешь?

Маска остановилась, подняла на него голову и посмотрѣла, какъ бы подсмѣиваясь, или раздумывая.

— Можетъ быть! — сказала она, кивнула ему головой и рѣзво сбѣжала съ лѣстницы.

Возвратясь въ залу Камышлинцевъ отыскалъ бойкую барыню.

— Пелагѣя Филипповна, кто такая моя маска?— спросилъ онъ.

— Развѣ не знаете?—а я хотѣла у васъ спросить,—отвѣчала она, нѣсколько встревоженная.

— Нѣтъ, я не знаю! Да притомъ я вотъ этого великана, — Камышлинцевъ указалъ на офицера аршинъ трехъ росту,—надѣнь онъ маску, не узнаю!..

— Ну съ кѣмъ она, по крайней мѣрѣ, пріѣхала, въ какомъ экипажѣ?

— А Богъ ее вѣдаетъ! Она была одна; я ее проводилъ только до лѣстницы.

— Поповъ, бѣгите скорѣе внизъ, посмотрите, можетъ, она не уѣхала: съ кѣмъ, на чьей лошади? разузнайте, торопитесь!—отдала она приказъ одному изъ бывшихъ при ней молодыхъ людей, который тотчасъ же бросился.

— Да живѣе! разспросите у людей, или швейцара!—кричала она ему вслѣдъ.

— Обѣщайте этому Попову, что мы его за отличіе въ Протопоповы произведемъ! — подсказалъ Камышлинцевъ.

— Ну, а васъ бы разжаловать слѣдовало,—сказала искренно сердясь, Пелагѣя Филипповна. — Э-эхъ вы! два часа сидѣли, а ничего не узнали! Что она говорила вамъ про себя?

— Говорила, что мужъ въ казенной палатѣ служитъ, да я думаю, лжетъ: она, кажется, дѣвушка...

— Въ казенной палатѣ? кто же бы это?—сказала Пелагѣя Филипповна, и мысленно стала перебирать всѣхъ тамъ служащихъ. «У Симагина жена не высока, у Ершова дочери—тоже низенькія и толстенькія...»—Э, постойте! Иванъ Степановичъ! кто у васъ на мѣсто Ермакова поступилъ?—спросила она проходившаго пожилаго господина.

— Свиристелевъ,—отвѣчалъ онъ.—На что вамъ?

— Что онъ, женатый?

— Женатый.

— Высокая у него жена?

— Высокая, на одну ногу хромаетъ.

— Нѣтъ! не она!.. Ну, ступайте!—сказала бойкая барыня, отпуская пожилаго господина. — Думала я, что изъ Хрустихиныхъ кто нибудь: у нихъ есть этакой французскій платокъ—да нѣтъ! у этой турецкая шаль, лежалая и подержанная, а турецкая. Впрочемъ, не Богъ вѣсть изъ какихъ щеголихъ: башмаки-то Сивоерцевской работы — замѣтила она.

Въ это время возвратился Поповъ и объявилъ, что маска уѣхала и узнать онъ про нее ничего не успѣлъ.

— Эхъ вы!—презрительно сказала Пелагѣя Филипповна.

— На крыльцо выходилъ, Пелагѣя Филипповна, продрогъ, у будочника и кучеровъ разспрашивалъ—дураки!—ничего не знаютъ! «Много говорятъ, ихней братьи: кто за ними присматривать будетъ!»—оправдывался молодой человѣкъ.

— Ну, Пелагѣя Филипповна, не ожидалъ я отъ васъ, чтобы вы маски не узнали! — замѣтилъ Камышлинцевъ, уходя.

— Самъ сплошалъ,—возражала обидчиво барыня, — да на меня валитъ! Постойте, въ другой разъ пріѣдетъ, такъ ужь не уйдетъ! — утѣшала она его.

Камышлинцевъ пришелъ въ игорную.

— Гдѣ вы пропадали? — заговорили его обычные партнеры.—Мы васъ искали, искали, да новую начали!

— Впрочемъ скоро эту кончимъ, такъ третью можемъ составить,—отвѣчалъ одинъ ненасытный.— Только сидите здѣсь!

Но Камышлинцевъ его не послушался, закусилъ и уѣхалъ домой.

Оставшись наединѣ и ложась спать, Камышлинцевъ чувствовалъ то пріятное ощущеніе, которое сопровождаетъ на сонъ грядущій человѣка, когда онъ покончитъ какое нибудь трудное дѣло и вообще сдѣлаетъ или испытаетъ что-либо хорошее. Маска сама по себѣ мало занимала его, но ея одобреніе, какъ отзывъ честнаго и молодаго поколѣнія, было ему очень пріятно. Нѣкоторыя мѣста его болтовни съ ней тоже приходили ему на умъ и заставили его критически взглянуть на свое чувство къ Ольгѣ. При этомъ, отъ сравненія съ маской, еще сильнѣе припомнилось Камышлинцеву враждебное расположеніе Ольги къ его образу мыслей, которое, вмѣсто того чтобъ сглаживаться, проявлялось все рѣзче и рѣзче и заставляло его глубже задумываться. Но его досада и озлобленіе противъ Ольги не сопровождались уже той горечью, безъ которой онъ не могъ прежде объ этомъ подумать; надъ ними уже звучала какая-то успокоивающая и утѣшающая нота. Ему,—самому невѣдомо, казалось, уже блеснулъ какой-то слабый свѣтъ, который, поддерживая его, указывалъ поворотъ отъ стѣны, въ которую онъ нечаянно уперся. Онъ спокойно заснулъ со своимъ пріятно поглаженнымъ самолюбіемъ, и на другой день всталъ съ новой бодростью, силами и твердостью.

X.

Размолвка Камышлинцева съ губернаторомъ была улажена, благодаря вмѣшательству Мытищева. Узнавъ о ней, Мытищевъ принялъ, разумѣется, сторону Камышлинцева, заставилъ сознаться въ своемъ промахѣ Нобелькнебеля и по возможности исправить его. Въ губернскомъ Монитерѣ, рѣчь губернатора вовсе не была напечатана, но вмѣсто того появилась сообщенная статья, въ которой излагалось постановленіе дворянства на счетъ посредниковъ и замѣчалось при этомъ, что оно признано вполнѣ незаконнымъ и ни въ какомъ случаѣ не должно имѣть значенія. Камышлинцевъ, вслѣдствіе этой уступки, не заводилъ уже оффиціальнаго вопроса, а Нобелькнебель, при встрѣчѣ съ Камышлинцевымъ, любезно съ нимъ поздоровался и наивѣжливѣйше замѣтилъ ему:

— Вы видите, что если я могу въ неприготовленной рѣчи употребить выраженіе, которое подаетъ поводъ къ превратному толкованію, то я дѣломъ сейчасъ же разъясняю истинное его значеніе: журналъ о посредникахъ не былъ и не можетъ быть мною утвержденъ, безъ всякихъ посторонникъ указаній.

Миръ былъ, повидимому, заключенъ. Предоставляемъ догадываться, простилъ ли только Нобелькнебель Камышлинцеву это оскорбленіе своего самолюбія.

Утромъ, съ недѣлю спустя послѣ маскарада, Камышлинцеву доложили, что къ нему пріѣхалъ помѣщикъ Барсуковъ. Камышлинцевъ зналъ Барсукова прежде и ежедневно встрѣчался на выборахъ, гдѣ онъ былъ однимъ изъ представителей такъ-называемыхъ «малодушныхъ», т. е. имѣющихъ менѣе ста душъ и пользующихся правомъ голоса собирательно. У самого Барсукова состояло душъ 60. Это былъ кругленькій, съ добродушнымъ и всегда потнымъ лицомъ человѣкъ, лѣтъ сорока. У Камышлинцева онъ никогда не бывалъ, и тотъ затруднялся даже, какъ назвать его, и по отчеству дочери только припомнилъ, что его зовутъ, должно быть, Иваномъ.

Барсуковъ извинился, что побезпокоилъ, и, получивъ увѣреніе въ противномъ, усѣлся.

— А я заходилъ сейчасъ — сказалъ онъ, — къ Ольгѣ Ѳедоровнѣ, но ни ихъ ни Иванъ Сергѣича дома не засталъ,—сказалъ онъ.

— Да, они, кажется, выѣхали,—замѣтилъ Камышлинцевъ.

Барсуковъ переминался и раза два отеръ лицо платкомъ, хотя на дворѣ было 15 градусовъ мороза.

— Вы не имѣете ли имъ передать что-нибудь? Если я могу быть вамъ полезенъ, то сдѣлайте одолженіе, располагайте мною, — сказалъ Камышлинцевъ, видя затрудненіе Барсукова.

— Да-съ, дѣльце есть,—отвѣчалъ тотъ.—Признаться, я ѣхалъ просить совѣта Ольги Ѳедоровны объ одномъ домашнемъ обстоятельствѣ. Впрочемъ, если бы вы были такъ добры... такъ какъ я ихъ не засталъ, то... позвольте сообщить вамъ-съ и спросить, какъ будетъ на этотъ счетъ ваше мнѣніе, такъ какъ я имъ очень дорожу-съ (онъ привсталъ и поклонился) и оно можетъ быть въ этомъ случаѣ полезно.

— Сдѣлайте одолженіе, — сказалъ Камышлинцевъ.—Вы курите?—онъ подвинулъ къ Барсукову папиросы и сигары.

— Трубочку, еслибы позволили, такъ какъ я вижу, у васъ она есть,—сказалъ Барсуковъ, указывая на алжирскую трубку, которая висѣла у Камышлинцева вмѣстѣ съ разнымъ оружіемъ.

Камышлинцевъ тотчасъ же соорудилъ ему трубку.

— Извольте видѣть, какое обстоятельство,—сказалъ Барсуковъ, попыхивая.—Дочка у меня есть, вы вѣроятно изволите знать ее: Анюта!

— Какъ же, знаю,—сказалъ Камышлинцевъ: — она у васъ старшая, кажется?

— Старшая-съ! Да она одна и есть, а то два сынишка еще поменьше. Такъ вотъ—она-съ. Дѣвушка она, безъ лицепріятія сказать, не глупая-съ; а вдругъ ей какая странная мысль пришла-съ! Даже совѣстно сказать...—Барсуковъ остановился, какъ-бы не рѣшаясь выговорить.

— Хочетъ,—сказалъ онъ наконецъ, весь сконфузясь,—швейный магазинъ открыть-съ!

— Почему же это ей вздумалось? — улыбаясь, спросилъ Камышлинцевъ.

— Да вотъ-съ; ума не приложу! — разводя руками, сказалъ Барсуковъ.—Добро бы, ей жить было плохо:—вѣрите ли Богу, слова ей не поперечимъ! Да и поперечить не зачѣмъ, такая она заботливая... благоразумная... Правда, жена моя ей приходится мачихой... Ея-то мать, съ позволенія сказать, родами умерла, и ее годовую оставила, — замѣтилъ Барсуковъ. — Да она выросла на рукахъ мачихиныхъ. Такъ какъ дочери у насъ не было, такъ она ее за мѣсто родной любитъ, и какъ она всегда почтительна и послушна была, то всѣ ея желанія исполняетъ. И вѣрите ли, Дмитрій Петровичъ, хоть бы ссора какая у насъ вышла, или этакъ размолвка, а то ни-ни!.. Я, признаюсь, можете себѣ представить, просто ошалѣлъ, какъ она мнѣ это сказала. Этакое невиданое въ дворянскомъ сословіи дѣло, чтобъ дочь дворянина, хоть и не большаго, да все-же дворянина, швейный магазинъ открыла! И добро бы, нужда-съ! А то, слава Богу; конечно, достатка большаго нѣтъ, а особенно по нынѣшнимъ временамъ трудненько, очень трудненько,—да все-же отъ нужды еще Богъ избавилъ, и хоть скромненько, а все-же живемъ и кусокъ хлѣба есть! Опять же отъ ея матери покойницы остался капиталецъ — пять тысячъ рублей, ассигнаціями-съ: тогда на серебро счету еще не было— и я эти пять тысячъ не только неприкосновенными сохранилъ, но они — съ процентами удвоились, и въ билетѣ на ея имя доселѣ лежатъ.—Онъ отеръ лицо и остановился.

— Такъ вотъ-съ, спрашиваю я ее,—продолжалъ Барсуковъ,—скажи, молъ, ты мнѣ, какая причина тебя заставляетъ рѣшиться на это дѣло: житье ли тебѣ дурное, нужда ли, притѣсненіе ли ты видишь какое? И что же она, какіе резоны приводитъ? «Нѣтъ, говоритъ, всѣми я вами довольна, да сама дѣлать что-нибудь хочу и хлѣбъ зарабатывать!»

Отъ изумленія онъ только плечами пожалъ.

— Да чтоже, — спрашиваю я, — развѣ нѣтъ у тебя этого хлѣба? или попрекаютъ имъ? или мало тебѣ его? Лучше развѣ, говорю, будешь ты жить своимъ-то трудомъ, коль еще сможешь прокормиться-то имъ? «Ну, говоритъ, какое тамъ житье ни будетъ, да попытаюсь»! Къ женѣ пристадъ: не вышло ли, молъ, у васъ чего? Та образъ со стѣны снимаетъ, что нѣтъ! Ничего и придумать не можетъ. Я опять не повѣрилъ ей: быть не можетъ, думаю! Улучилъ Анюту одну и спрашиваю: да скажи ты мнѣ на милость, мнѣ, отцу родному, наединѣ, что тебя гонитъ? Клятву, молъ, тебѣ даю, что никто не узнаетъ! Слезы даже меня тогда прошибли...—При этомъ Барсуковъ заморгалъ глазами и такъ засосалъ трубку, что она захрипѣла.— Что же бы вы думали? Клянется и цалуетъ меня: «да нѣтъ, говоритъ, папенька, клянусь вамъ, что ничего не произошло! Просто, говоритъ, работать хочется»!..

— Матушка! говорю я, да неужто за работой дѣло? Ну, ворохъ тебѣ шерсти или тамъ гарусу куплю. «Вотъ очень нужно вздоръ-то этотъ! Это,

говоритъ, для богатыхъ хорошо»! Ну, на себя и на братьевъ шей—говорю; хлѣбы, пожалуй, мѣси! Какъ вкругъ дома дѣла не найти? Да и вздоръ все, потому что она и безъ того никогда безъ дѣла не сидѣла: трудолюбива она у насъ. Такъ нѣтъ-съ! все свое! И что же бы вы думали еще? Полагалъ я наконецъ, она на свое счастіе хочетъ мастерскую завести: она мастерица, дѣйствительно, все это шить по женской части. Ну, счастье свое хочетъ испробовать, думаю; такъ и то нѣтъ? Я, говоритъ, товарокъ найду, и мы артель устроимъ! Артель-съ, — изволи ли вы это слышать? — точно плотники!

Добрый старикъ съ огорченія пустилъ сквозь зубы слюну тончайшей струйкой.

«Ассоціація»!—подумалъ Камышлинцевъ: тогда о ней уже были толки въ литературѣ.

— И догадываюсь я, откуда это забрело къ ней, — таинственно понижая голосъ, продолжалъ Барсуковъ. — Потому эдакій бредъ не можетъ-съ, сами изволите согласиться, дѣвушкѣ въ голову войти. Студентъ тутъ сосланный завелся у насъ. Малый, говорятъ, и ученый, да грубый; не то чтобы къ старшимъ, но и къ отцу родному почтительности не имѣетъ! Ну, а что безъ этого: какой толкъ выйдетъ? Такъ это онъ, должно быть, ее надоумилъ. Онъ все съ ней про разныя книжки да такія матеріи толкуетъ, что и не поймешь. Начнетъ разсуждать какъ будто о дѣлѣ, а глядишь— чортъ знаетъ, прости Богъ, что выходитъ! Я было его къ парнишкѣ своему въ учителя взялъ, да отказалъ. Зловредный человѣкъ-съ!—Барсуковъ опять злобно пустилъ фонтанчикъ слюны.

— Послушайте, Иванъ... извините не знаю, какъ по батюшкѣ...

— Степановъ-съ,—подсказалъ Барсуковъ.

— Иванъ Степановичъ.... конечно, это дѣло непривычное, особенно артельное устройство, но, собственно говоря, вѣдь что же тутъ дурнаго! — попробовалъ мягко замѣтить Камышлинцевъ.—Вѣдь трудъ дѣло почтенное, а Анна Ивановна трудиться хочетъ: видите вѣдь, какія времена-то пришли!

Барсуковъ былъ нѣсколько озадаченъ, но неопредѣленный намекъ на времена видимо объяснилъ ему многое.

— Такъ-то такъ-съ! Самъ я вижу, что нынче все совсѣмъ иначе пошло. Такія дѣла, такія дѣла, просто не виданныя!—и онъ развелъ руками.—Да не хочется мнѣ, чтобъ съ меня-то это началось. Ну, пусть, что тамъ приказано будетъ, или что всѣ начнутъ дѣлать-съ! а то съ чего же именно намъ-то? Вѣдь слава Богу, еще дышемъ! И потомъ, положимъ, она у меня дѣвка благонравная, и ведетъ себя строго, но какъ же это одной-то жить?

— Да вѣдь вы, кажется, говорили, что она товарокъ хотѣла найти,—замѣтилъ Камышлинцевъ.

— Ну-съ, какія еще товарки! Иная только собьетъ! Другое дѣло, какую бы нибудь солидную женщину, да какая солидная тутъ пойдетъ?

— Отчего же, еслибы поискать, — проговорилъ Камышлинцевъ.—Такъ чего же желали-бы вы отъ Ольги Ѳедоровны?—спросилъ онъ.

— Да, вотъ-съ, Дмитрій Петровичъ! — встрепенувшись, сказалъ Барсуковъ: лицо его приняло нѣжно-просительное выраженіе и онъ почтительно положилъ трубочку, — хотѣлъ я попросить Ольгу Ѳедоровну, такъ какъ она знаетъ и любитъ мою дѣвочку, не будетъ ли она такъ добра, чтобы поговорить съ ней на счетъ этого? Она такая дама... и притомъ, вы изволите знать, женщины свои резоны всегда имѣютъ: наши-то онѣ какъ-то трудно принимаютъ-съ, — такъ, можетъ, она и уломаетъ дочурку-то-съ!

— Очень хорошо, я ей съ удовольствіемъ передамъ,—сказалъ Камышлинцевъ,—хотя, признаться вамъ, полагаю, что если ваши убѣжденія уже не подѣйствовали, то постороннія—врядъ ли!..

— Дѣйствительно-съ: она у меня, признаться, поизбалована, должно быть. Ну, сами знаете: одна вѣдь дочь,—такъ нѣсколько упрама вышла. Ужь что задумаетъ такъ, рано ли, поздно ли, а настоитъ: мать у нея этакая была. И не то, чтобы дерзостью, или нахрапомъ: а просто выдержкой устоитъ. Однако все-таки, можетъ быть, такъ какъ Ольга Ѳедоровна такая дама вліятельная...

— Очень хорошо, я ей передамъ, и увѣренъ, что она исполнитъ ваше желаніе...

— Только вотъ обстоятельство...—смущенно сказалъ Барсуковъ:—боюсь я, не сердита ли на нее Ольга Ѳедоровна, потому дочурка-то моя у нея до сихъ поръ не была! Пріѣхали мы на время, экипажа нѣтъ, посылалъ я ее, признаться...

— Не безпокойтесь,—сказалъ Камышлинцевъ,— я вамъ ручаюсь, что Ольга Ѳедоровна не сердится и, если угодно, то она пришлетъ экипажъ за Анной Ивановной.

— Ахъ, много, много бы обязали! А я дочуркѣ скажу, что Ольга Ѳедоровна узнала, что она здѣсь, и пожелала видѣть ее. Только нельзя ли будетъ коснуться этого предмета такъ какъ-нибудь, стороной, чтобы не подумала дочка-то, что я на нее жаловаться пріѣзжалъ?..

— Это все можно устроить: вы знаете, женщины на это мастерицы!

— Э, что и говорить! Особенно Ольга-то Ѳедоровна: одно слово, златоустъ! Да ужь если позволите, Дмитрій Петровичъ, — Барсуковъ всталъ и поклонился, замолвите и вы словечко и Ольгѣ Ѳедоровнѣ, да и моей-то дурочкѣ. Вѣдь ваше слово, что тамъ ни говори, а много значитъ, Дмитрій Петровичъ, и особенно для молодежи-съ: она васъ слушаетъ-съ! ваше слово много значитъ-съ!

— Съ удовольствіемъ, съ удовольствіемъ, Иванъ Степановичъ!—говорилъ Камышлинцевъ пожимая руку Барсукова, который откланивался.

— А что это дворянство затѣяло противъ васъ, Дмитрій Петровичъ,—смущенно говорилъ, уходя, Барсуковъ,—такъ это все напрасно-съ! Мы люди маленькіе, говорить намъ не приходится-съ, а тоже чувствуемъ-съ! — Что же, въ самомъ дѣлѣ;

наши-то члены смотрятъ, если они правы? Нѣтъ-съ, значитъ, не въ моготу-съ супротивъ васъ!.. Значитъ вы по правдѣ-съ, и всякій, кто къ вамъ обращался, не можетъ ничего сказать-съ...

— Ну, что объ этомъ говорить, Иванъ Степановичъ,—сказалъ Камышлинцевъ; — современемъ все выяснится; а теперь вы видите, время новое, все еще кипитъ да мечется.

— И не говорите!—сказалъ Барсуковъ, отчаянно махнувъ рукой: — такія времена... такія времена, и-и!.. Мое истинное почтеніе! — сказалъ онъ, еще разъ пожимая руку.—Такъ позвольте надѣяться!— Онъ еще разъ поклонился съ умиленнымъ лицомъ и скрылся.

Камышлинцевъ въ этотъ же день передалъ просьбу Барсукова Ольгѣ. Ольга высказала полную готовность, принять участіе въ этомъ дѣлѣ, только не совсѣмъ по желанію Барсукова. Намѣреніе его дочери нисколько не возмутило Мытищеву и не показалось ей дикимъ. Мысли объ ассоціаціи или артели она пропустила мимо ушей, какъ какой-то ненужный придатокъ или непрактичный хозяйственный пріемъ, который легко устранить; но заведеніе моднаго магазина ей даже понравилось. Что его хотѣла завести дворянка, это по ея мнѣнію ничего не значило, потому что въ ея глазахъ важно было не дворянство, а «общество», къ которому принадлежало лицо. Она даже смѣялась надъ опасеніями Барсукова.

— Да! это дѣйствительно страшно, если фамилія Барсуковыхъ снизойдетъ до торговли, — говорила она. — У насъ здѣсь нѣтъ порядочнаго магазина, а у Анюты это дѣло пойдетъ, — замѣтила Ольга: — она мастерица шить и у нея вкусъ есть— это главное! И потомъ, она дѣвушка практичная. Я лучше постараюсь уговорить старика отца и уладить это дѣло!— рѣшила она, и принялась работать.

Согласно обѣщанію, за Анютой въ этотъ же день былъ посланъ экипажъ съ маленькой запиской, въ которой Ольга упрекала ее, что та ее забыла, и просила пріѣхать. Анюта не заставила себя ждать. Она пріѣхала въ сумерки. Мытищева нарочно выбрала это время, потому что тогда не бывало никого изъ постороннихъ, и даже графъ Гогенфельдъ, сдѣлавшійся домашнимъ человѣкомъ, уходилъ въ эти часы домой.

Всѣ сидѣли въ маленькой гостиной; мужчины курили; Ольга сидѣла съ ногами на диванѣ (эту привычку она взяла со времени своей беременности); на столѣ горѣла лампа подъ абажуромъ. Высокая, стройная Анюта вошла свободно, держа въ рукѣ муфту и платокъ. На ней было сѣренькое платье, темные волнистые волосы причесаны были просто, но лицо молодое, свѣжее, румяное, съ черными глазами подъ длинными рѣсницами и тонкими, рѣзко очерченными бровями, съ энергическимъ выгибомъ переносья и небольшимъ, прямымъ носомъ, дышало энергіей, молодостью, смѣлостью... Она поздоровалась съ Ольгой, подала руку Мытищеву, но когда изъ темнаго угла поднялся Камышлинцевъ и поклонился ей, непослушный румянецъ, который, къ крайней ея досадѣ, вспыхивалъ при каждомъ малѣйшемъ волненіи, вдругъ облилъ ея лицо; свѣтъ отъ лампы ударилъ на него (она усаживалась противъ Ольги), Камышлинцевъ увидалъ ея вдвойнѣ розовый, отъ природы и волненья, подбородокъ съ маленькой ямкой и невольно улыбнулся: онъ узналъ его.

Когда кончились первыя привѣтствія, объясненія, отчего не видались и пр., наступила маленькая пауза. Анюта, какъ съ ней всегда случалось, когда она была сколько-нибудь смущена или хотѣла подсмѣяться, смотрѣла нѣсколько изъ-подлобья, но весело, и какъ будто съ вызывающимъ лицомъ. Камышлинцеву показались въ ея лицѣ какая-то рѣшимость и какъ будто ироніи. Точно она думала: «ну, что же, начинайте атаку, я жду!»

Атака началась.

— Знаете, милая, — сказала Ольга, — я очень, очень рада васъ видѣть, и заѣхала бы сама или послала за вами, во всякомъ случаѣ, какъ только узнала о вашемъ пріѣздѣ; но я должна предупредить васъ, что вы находитесь въ средѣ заговорщиковъ и что противъ васъ составился заговоръ.

— Я протестую, — сказалъ Камышлинцевъ, — и прошу меня исключить изъ него.

— Ну, вамъ всегда лишь бы протестовать, — сказала Ольга.

— Я знаю о заговорѣ,—взглянувъ изъ подлобья и съ улыбкой, отвѣчала Барсукова. — Я слышала, что и вы съ ними? — сказала она, обращаясь къ Камышлинцеву.

— Вы, вѣрно, выпытали все отъ отца!

— Мнѣ это не стоило большаго труда,— замѣтила Анюта:—какъ только онъ завелъ рѣчь о свиданіи съ вами, я тотчасъ догадалась, и сказала ему, зачѣмъ онъ ѣздилъ; и онъ сейчасъ же сознался.

— Да, но чего вы не знаете,—сказала Ольга,— это то, что заговоръ-то составился противъ вашего отца, и мы всѣ переходимъ на вашу сторону.

— Въ самомъ дѣлѣ!— сказала Анюта, приподнявъ голову и радостно взглянувъ на Ольгу. Лицо ея по обыкновенію вспыхнуло на минуту, глаза засвѣтились, и вся она какъ-будто просіяла. Этотъ переходъ въ ней, этотъ ясный и прямой взглядъ, послѣ стыдливаго взгляда изъ-подлобья, былъ чрезвычайно оригиналенъ и полонъ неожиданной прелести.

— Да, мы не находимъ ничего дурнаго въ вашемъ намѣреніи, а напротивъ — только хорошее. И я еще болѣе хотѣла завлечь васъ сюда, чтобы уговориться, какъ-бы помочь вамъ.

— О, я очень рада!— сказала Анюта. Мнѣ досадно было думать, что вы противъ моей мысли, потому что вашъ совѣтъ въ этомъ дѣлѣ могъ бы много помочь мнѣ.

— Да и практика!— замѣтилъ Мытищевъ, подсмѣиваясь надъ страстью жены къ нарядамъ.

— Да, и практика!—подтвердила, улыбаясь изъ-

подлобья, Анюта;— я очень нуждаюсь во вкусѣ и указаніяхъ Ольги Ѳедоровны; ея поддержка будетъ дорога во всѣхъ отношеніяхъ.

— Я рада душевно и готова вамъ помогать, сколько и чѣмъ могу, но дѣло въ томъ, какъ бы уломать вашего старика! Какую вы тамъ артель, или что-то такое, придумали?

— Я хотѣла бы найти нѣсколько подругъ или даже просто мастерицъ, съ которыми бы держала магазинъ и жила вмѣстѣ, съ тѣмъ, чтобы выгоды отъ магазина дѣлились поровну, т. е. чтобы не нанимать ихъ, а имѣть ихъ сотрудницами.

— Ну, это поэзія! — рѣшила Ольга. — Вы это свѣтскую общину хотите завести, а кто же у васъ будетъ: мать Досиѳея?

Мать Досиѳея была сухая и строгая настоятельница женской общины, существующей не подалеку отъ Велико-Ѳедорска.

— Я бы думала безъ матери Досиѳеи обойтись,— сказала Анюта.

— Ну, ничего и не выйдетъ! дѣло только тогда хорошо можетъ идти, когда имъ кто-нибудь заправляетъ. Нѣтъ, вы эту поэзію-то оставьте! Вы ее гдѣ-нибудь въ книгахъ вычитали? Нынче какая-то мода пошла объ этихъ скучныхъ вещахъ въ журналахъ толковать: я ихъ всегда пропускаю. Но знаете что? хотя у васъ будетъ и не община... на что-нибудь подобное и благословенія моего вамъ не будетъ... — прибавила Ольга,— но вамъ нѣчто въ родѣ Досиѳеи надо завести себѣ: знаете, вмѣсто парасоля или маменекъ, которыя на балахъ у стѣнъ садятся. Я всегда предлагаю нарисовать ихъ тамъ одинъ разъ навсегда, да живыхъ ужь больше и не впускать. Нѣтъ ли у васъ родственницы какой, тетки, завалящей какой-нибудь, или старой кузины?

— Тетка есть, — сказала Анюта.

— Не злая? одинокая?

— Не злая и одинокая. Она у насъ въ домѣ живетъ, и меня очень любитъ.

— Вотъ и отлично! Съ ней и старичекъ вашъ легче согласится васъ отпустить. Ну, надо вамъ будетъ хорошенькаго матеріала закупить да закройщицу знающую выписать: все бы это надо изъ Петербурга. Деньги есть у васъ?

— Есть маленькій капиталъ: отъ матушки остался, отецъ дастъ, пожалуй, часть. Но я бы хотѣла просто швейную, — замѣтила Анюта.

— Ахъ, душа моя! ну, посудите сами, какая здѣсь можетъ держаться швейная? Бѣлье — небогатые шьютъ у себя, а богатые выписываютъ; платье, если не будетъ у васъ отдѣлки и матеріи, тоже шить не будутъ отдавать. Нѣтъ! одна швейная не пойдетъ: нужны швеи, моды, нужны хорошенькіе матеріалы для отдѣлки, а тамъ кстати и все прочее... Постойте! Maman скоро хочетъ уѣхать въ Петербургъ...

— Это давно ли задумано?—спросилъ Мытищевъ.

— На дняхъ говорили; братъ совѣтуетъ ей съѣздить къ петербургскимъ докторамъ, или въ Берлинъ, посовѣтоваться на счетъ ея болѣзни.

— Ну, если братъ твой посовѣтовалъ, то значитъ, навѣрное поѣдетъ!— замѣтилъ флегматично Мытищевъ. Онъ вообще сталъ насмѣшливо относиться къ семьѣ Ольги.

— Такъ вотъ вамъ бы съ ней было отлично поѣхать; а для нея такая спутница, какъ вы, будетъ кладъ. Она же васъ очень любитъ.

Анюта молча слушала, какъ за нее все устраивала Мытищева.

— Ну, мы, кажется, совсѣмъ исполнили просьбу вашего батюшки,—расхохотавшись, замѣтила Ольга. — Теперь надо подумать, какъ его уговорить.

— Я его слегка уже приготовилъ, — замѣтилъ Камышлинцевъ.

— Да, я это замѣтила, сказала Барсукова, и съ благодарной улыбкой кивнула ему головой.

Ольга Ѳедоровна, принявшись за это дѣло съ рвеніемъ, свойственнымъ всѣмъ, ничѣмъ дѣльнымъ не занятымъ особамъ, всегда радующимся, когда есть какое-нибудь легкое средство наполнить свой досугъ, предложила заѣхать сама къ Барсуковымъ и попробовать уговорить отца и мачиху. Рѣшено было, чтобы Мытищева пріѣхала какъ-бы отдать визитъ, или взять съ собой Анюту, но чтобы Анюта, для большей свободы переговоровъ, на это время куда-нибудь отлучилась.

— А если мнѣ не удастся, такъ мы, пожалуй, и maman напустимъ, а при случаѣ и братъ, если встрѣтитъ вашего батюшку, тоже замолвитъ слово.

— Ну, ужь противъ такой тяжелой артиллеріи кто устоитъ!— сказалъ Мытищевъ. — Впрочемъ, я полагаю, достаточно будетъ и твоихъ дипломатическихъ способностей,— прибавилъ онъ.

— Вы главное упирайте на нынѣшнія времена,— замѣтилъ Камышлинцевъ. — Говорите только, что время такое— и требуйте, чего хотите! Это самое слабое мѣсто старика.

— Да, это правда,—подтвердила Анюта, улыбнувшись.

Разговоръ перемѣнился и тѣмъ кончились исполненія просьбы старика Барсукова.

Дипломатическій визитъ Ольги Мытищевой и внушенія, пущенныя искусно съ разныхъ сторонъ, увѣнчались успѣхомъ. Старики Барсуковы согласились на предпріятіе Анюты, и отецъ отдалъ въ ея распоряженіе материнскій капиталъ.

— Ты, матушка, совершеннолѣтняя: дѣлай, что хочешь! — сказалъ онъ съ недовольнымъ смиреніемъ, и не утерпѣлъ, чтобы не прибавить:—видно, мудренѣе отцовъ дѣти стали нынче, скоро поспѣваютъ, да своимъ умомъ жить хотятъ!... — Онъ эту фразу повторялъ всѣмъ, кому разсказывалъ о предпріятіи дочери, но затѣмъ, въ видѣ утѣшенія себѣ и въ оправданіе дочери, всегда прибавлялъ:— что дѣлать, знать ужь нынче времена такія пришли!

Поѣздка старухи Нобелькнебель въ Петербургъ была рѣшена, она съ удовольствіемъ брала съ собою Анюту,—и все устраивалось такъ, какъ предполагала Мытищева.

XI.

Ровно чрезъ двѣ недѣли послѣ предъидущаго маскарада въ клубѣ, назначенъ былъ другой. Въ урочный часъ Камышлинцевъ отправился въ клубъ, и, противъ обыкновенія, на предложеніе партіи отвѣчалъ, что много сидѣлъ и хочетъ побродить. Онъ увѣрялъ себя, что дѣлаетъ это съ чисто гигіенической цѣлью, но въ сущности онъ ждалъ своей маски, хотя не хотѣлъ въ этомъ сознаться. Не могъ онъ только не сознаться, что ждалъ чего-то пріятнаго, и чувство это тѣмъ слаще щекотало его, что въ послѣднее время онъ ничего особеннаго пріятнаго для себя не ждалъ. Жизнь его, казалось, вошла въ опредѣленныя формы. Успѣхъ крестьянскаго дѣла, общій успѣхъ развитія Россіи—все это живо интересовало его. Для этого онъ готовъ былъ отдать и отдалъ всего себя; но для себя лично ничего особеннаго не предвидѣлъ. Наслѣдства и почестей онъ ни откуда не ждалъ. Любовь?.. но любовь была, и онъ зналъ ее всю, и отъ нея новаго ничего не ждалъ. И вдругъ какое-то ожиданіе чего-то неопредѣленнаго, но новаго и живаго!..

Камышлинцевъ, впрочемъ, вскорѣ имѣлъ случай убѣдиться, что онъ ждалъ гораздо нетерпѣливѣе, чѣмъ думалъ. Онъ прошелъ нѣсколько разъ по залѣ, но маска, та маска, которую онъ искалъ глазами не подходила, и онъ невольно начиналъ злиться.

Прошло съ часъ.

Камышлинцевъ разсѣянно говорилъ съ кѣмъ-то изъ знакомыхъ, когда онъ увидѣлъ издали свою маску: она, казалось, искала кого-то.

— Маска! ты кого-то ищешь?—спросилъ онъ.

— Тебя!—отвѣчала она, взявъ его подъ руку.

— А я думалъ, что ты уже не пріѣдешь. Я тебя давно жду здѣсь.

— Ты меня ждалъ? — спросила она, поглядѣвъ на него пристально. — Мнѣ нельзя было раньше: меня задержали.

Они прошли нѣсколько шаговъ.

— Ну, что, мы сегодня о чувствахъ будемъ говорить, или объ ассоціаціяхъ?—спросилъ, подсмѣиваясь, Камышлинцевъ.

— Объ ассоціаціяхъ!—смѣясь, отвѣтила маска.— Я съ вами въ тотъ разъ хотѣла о нихъ заговорить, да боялась, что вы меня узнаете.

— Постой, объ ассоціаціяхъ я говорить, пожалуй, и буду, но *вы* въ маскарадахъ не говорятъ: я тебя не знаю. Да эдакъ и откровеннѣе.

Маска промолчала.

— Ну, скажи мнѣ: зачѣмъ одна моя знакомая хочетъ уйти изъ семьи, гдѣ ей хорошо, и открыть магазинъ?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Да отъ того, вѣроятно — отвѣтила маска,— что твоей знакомой вѣрно лѣтъ около двадцати, и ей просто хочется жить на свободѣ. Вѣдь это несносно быть вѣкъ подъ опекой—положимъ, хоть и подъ очень мягкой опекой, и постоянно считаться несовершеннолѣтней. Отъ этого мы, русскія женщины, и не практичны, и мало развиты! Мнѣ... ну, все равно!—сказала она, замѣтивъ что проговорилась, — мнѣ просто душно въ семьѣ, я хочу жить своимъ умомъ и на свободѣ!

— Дѣло! сказалъ Камышлинцевъ,—семья, какъ улей, должна выпускать рой, когда онъ подростетъ и войдетъ въ силу.

— Да съ мужчинами по большей части такъ и бываетъ. Крестьянинъ прямо отдѣляется, а вы народъ цивилизованный, на службу, или подъ другимъ предлогомъ, но тоже отъ опеки-то отлынываете. Я знаю, что нѣкоторые нарочно въ другую губернію перепрашивались, чтобы на свободу уйти: однѣ мы только въ вѣчной кабалѣ! Насъ держатъ дома, пока нельзя здать въ другую опеку—мужу.

— А ты на службу не хочешь ли? — спросилъ, подшучивая, Камышлинцевъ.

— Ну, до этого не дошло еще; а будетъ! Только не на службу: мы народъ не такой дисциплинированный, какъ вы, и къ службѣ не способны, а нѣкоторыя мѣста и теперь могли бы занимать,— хотя бы уѣздныхъ почтмейстеровъ. Вѣдь во Франціи завѣдуютъ же этимъ женщины. Развѣ мы не могли бы письма то принимать: только вотъ за лошадьми смотрѣть, да, какъ тамъ?... съ хвоста, что ли... брать, ну это, конечно, намъ неудобно!

— Подожди, милая маска,—сказалъ Камышлинцевъ,—мы и мужчинамъ мѣста не находимъ, хотя все охаемъ, что и рукъ мало, и головъ мало. И что тамъ ни говори, а мужчина физически все-таки сильнѣе васъ, и потому теплыхъ мѣстъ онъ вамъ не уступитъ!

— Ну, и пусть его лежитъ на нихъ, да намъ не мѣшаетъ работать, тамъ, гдѣ мы ему не мѣшаемъ, мѣста еще много!

— А какъ же ты рѣшила насчетъ ассоціаціи?— спросилъ Камышлинцевъ съ улыбкой.

— Да такъ же, какъ и думала!—отвѣчала Барсукова.—Я съ твоей барыней объ этомъ не распространялась: она добрая и милая, да этихъ вещей не понимаетъ, такъ что же понапрасну спорить!

— Это очень благоразумно, — сказалъ Камышлинцевъ, нѣсколько задѣтый легкимъ презрѣніемъ, съ которымъ отзывалась Барсукова о Мытищевой;—но моя барыня, какъ ты ее называешь, кажется, судитъ въ этихъ случаяхъ болѣе здраво, чѣмъ ты.

— Какъ?—спросила маска,—ты... ты тоже противъ ассоціаціи?... Тебѣ ужь это пейдетъ!

Камышлинцевъ усмѣхнулся.

— А я полагаю, напротивъ, — сказалъ онъ, — что ко всякому идетъ то убѣжденіе, которое онъ выработалъ себѣ, а не взялъ на вѣру у другихъ. Я не противъ ассоціаціи, а противъ... Ну, да объ этомъ говорить не мѣсто!.. У тебя есть знакомыя дѣвушки, съ которыми ты сговорилась?..

— Нѣтъ, но я буду нанимать швей, съ тѣмъ,

чтобъ имъ выдѣлять часть барыша,—сказала Барсукова.

— А капиталъ чей?

— Мой.

— А убытокъ, коли будетъ?—спросилъ Камышлинцевъ.

Маска задумалась.

— Я объ убыткѣ не думала, — сказала она.— Ну, да разумѣется, тоже общій!

— Ну, такъ желаю тебѣ найти товарищей и еще съ капиталами,—сказалъ Камышлинцевъ.

— А вотъ увидимъ!—упрямо сказала маска.— Я думала, что ты мнѣ поможешь совѣтомъ,—прибавила она укоризненно,—а ты меня, кажется, хочешь съ толку сбить!

— Нѣтъ!—отвѣчалъ Камышлинцевъ, — я хочу только, чтобы ты выяснила себѣ хорошенько чего хочешь. Если хочешь коммерческое дѣло вести, такъ и веди его на коммерческомъ основаніи? пожалуй, если найдешь выгоднымъ,—замѣть: выгоднымъ, — заинтересуй рабочихъ долею въ барышѣ; а если филантропическое дѣло затѣяла, такъ и филантропничай, какъ хочешь, но ужь и не называй это ни артелью, ни ассоціаціей! Артель хороша между равными, понимающими и сознающими ея выгоды, а выдуманныя артели не удаются.

— Такъ что же по твоему, все, что пишутъ о вредѣ эксплуатаціи, вздоръ?—спросила маска.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Камышлинцевъ,—большею частью правда. Да, видишь, гораздо легче находить дурное въ томъ, что дѣйствительно имѣетъ много дурнаго, нежели придумать, какъ устранить зло. Вѣковыя-то задачи не такъ просто разрѣшаются! Римъ строился не въ пять дней, и если онъ выстроился такъ, а не иначе, такъ на это были конечно, и весьма основательныя, причины.

— А я все таки попытаюсь!—сказала маска.

— И хорошо сдѣлаешь!—отвѣчалъ Камышлинцевъ,—можетъ, я и ошибаюсь. А если хочешь, я дамъ тебѣ письмо въ Петербургъ къ одной моей знакомой барынѣ: она больше занимается міровыми вопросами, а по части модъ держится своихъ собственныхъ воззрѣній... У нихъ теперь свои моды, говорятъ, пошли: вѣдь ужь вы безъ этого не можете!.. Однако, она знаетъ толкъ и въ другихъ... Да кстати и въ вопросы ассоціаціи тебя посвятитъ: у нихъ одна артель уже разбѣжалась. Довольно однако объ этомъ. Скажи-ка ты мнѣ лучше объ учителѣ твоемъ, Благомысловѣ.

— Да что объ немъ сказать?.. Хорошій юноша!— отвѣчала маска.

— И счастливый!—прибавилъ Камышлинцевъ:— для нихъ нѣтъ темныхъ вопросовъ и неразрѣшенныхъ задачъ.

— Я, во всякомъ случаѣ, ему много обязана, и онъ мнѣ многое разъяснилъ,—сказала Барсукова.

— Ну, а въ выгоды коммунъ онъ тебя посвятилъ?

— Посвятилъ,—сказала она, смѣясь;—да я не очень ихъ поняла. Я думаю, что для нихъ надо быть или аскетомъ, или очень высоко развитой личностью.

— Да вѣдь тебѣ Мытищева, сказала, что онѣ ужь монахами давно выдуманы,—сказалъ Камышлинцевъ.

Маска посмотрѣла на него вопросительно.

— Однако, ты съ ней во многомъ сходишься,— сказала Барсукова.—Ну, а какъ на крестьянскій-то вопросъ, такъ же начинаешь смотрѣть, какъ и она?

— Нѣтъ! — сказалъ Камышлинцевъ, усмѣхнувшись булавкѣ, которою хотѣла уколоть его Барсукова.—Я съ ней на немъ, кажется, такъ же далеко разошелся,—продолжалъ онъ, слегка вздохнувъ,—какъ и во всѣхъ остальныхъ. Она ближе подходитъ складомъ идей къ Благомыслову, чѣмъ ко мнѣ.

Барсукова опять посмотрѣла на него вопросительно.

— Ты смѣешься?—спросила она.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ спокойно Камышлинцевъ:— и онъ, и она приняла свои воззрѣнія на-вѣру; для нихъ нѣтъ борьбы и сомнѣній; дороги имъ ясно видны и опредѣлены, они не пробиваются ежедневно сквозь трущобы и черезъ камни разныхъ условій, и не прокладываютъ ежедневно сами своей тропы! Одна думаетъ и дѣлаетъ такъ, какъ всѣ, потому что такъ думаютъ и дѣлаютъ всѣ,— а другой думаетъ и мечтаетъ сдѣлать, какъ никто, потому что ему сказали такъ его пророки, на основаніи откровеній своей фантазіи. Да и нетерпимость у нихъ одинакая. Ты слышала, какъ насъ называютъ поэтами, что въ переводѣ значитъ «дураки». А новые-то адепты, тѣ ужь совсѣмъ не церемонятся и, безъ перевода всѣхъ, кто не съ ними, называютъ пошляками и идіотами.

Барсукова задумалась.

— А все таки они честные и полезные люди, и они—сила, потому что ихъ много!—замѣтила она.

— Они хорошіе люди, потому что желаютъ хорошихъ вещей; они и полезны—потому что на дѣло вниманіе обращаютъ; но они не сила, потому что нѣтъ у нихъ матеріалу и знанія мало. Одни пророки сойдутъ, явятся другіе, и Богъ вѣсть, куда еще повалятъ они!

— Зачѣмъ сомнѣваться?—сказала съ упрекомъ маска.

— Да потому, что они не испытаны ни сорокалѣтней пустыней, ни семью язвами, и думаютъ, что обѣтованная земля подъ бокомъ и что имъ стоитъ къ ней только руку протянуть! А испытаніе великая вещь: много въ немъ пыли и грязи отстанетъ!

— Ты на меня раздумье наводишь, — сказала маска,—и я тебя лучше начинаю понимать, хотя и вижу, что ошиблась въ тебѣ. Твоя тропа межъ двухъ огней не такъ легка, какъ я думала, да и расчистка не спора: не много васъ!

— И не такъ мало, какъ ты думаешь, — сказалъ Камышлинцевъ.—Вѣдь большинство такъ или

иначе, а въ сущности хочетъ и думаетъ служить одному дѣлу: вся бѣда въ вавилонскомъ смѣшеніи понятій да въ нетерпимости. Всякій добросовѣстный человѣкъ, встрѣтясь съ другимъ, подаетъ ему руку и, если случай есть, такъ и поможетъ. Вотъ сѣверно,—вздохнувъ, прибавилъ Камышлинцевъ,—если свои, тѣ, кого любишь и съ кѣмъ бы хотѣлъ вмѣстѣ идти, камни подворачиваютъ!

Можетъ быть, говоря эти слова, Камышлинцевъ подразумѣвалъ подъ именемъ своихъ любимыхъ совсѣмъ не ту, про кого думала Барсукова, но она была увѣрена, что онъ намекалъ на Ольгу Мытищеву, и ей стало жаль Камышлинцева.

— Я не знаю, въ какой степени я годна въ модистки, а для маскарадовъ рѣшительно не гожусь,—сказала маска.—Я пріѣзжала нарочно для тебя, а между тѣмъ въ тотъ разъ нагнала на тебя скуку, а нынче хандру. Бросимъ всѣ серьезные разговоры, пройдемся и поболтаемъ: перемелится, все мука будетъ! — Она взяла его подъ руку и пошла.

— Да, это будетъ не столь назидательно, но гораздо пріятнѣе, — сказалъ онъ. — Ну, разскажи мнѣ; предмета не нашла еще?

— Нѣтъ! да я и не ищу, — отвѣчала она, смѣясь.—Самъ придетъ!

— Ну, а наставникъ твой: неужели не влюбился въ тебя?

— Я чужихъ тайнъ не спрашиваю, а что знаю, не выдаю,—отвѣчала Барсукова.

— Это похвально. Какъ же ты не влюбилась въ него? Это не въ порядкѣ вещей! Истинное воспитаніе взрослой дѣвицы начинается съ того, что учитель и ученица влюбляются другъ въ друга.

— Хорошій онъ малый... и подумывала я о немъ... да не нравится! что прикажешь дѣлать?— сказала она съ сожалѣніемъ.—Грубоватъ онъ очень да и... неряшливъ—прибавила она вполголоса, какъ бы каясь:—а я около васъ, приличныхъ, набаловалась.

— У него, бѣднаго, можетъ, на приличность-то и средствъ нѣтъ,—сказалъ Камышлинцевъ:—пришли-ка его ко мнѣ, я ему работу дамъ.

— Ты, кажется, передумалъ и вмѣсто себя-то ужь его сегодня мнѣ прочишь?—спросила она.

— Да что же дѣлать, коли самому не везетъ?— отвѣчалъ Камышлинцевъ.—По крайней мѣрѣ доброму человѣку услужить!

Маска пріостановилась и посмотрѣла ему въ глаза.

— О, фатъ нестерпимый!—сказала она:—лжетъ и не краснѣетъ! вѣдь ты въ глубинѣ души убѣжденъ, что мнѣ не только нравишься... ты мнѣ нравишься и въ самомъ дѣлѣ... но что я, если не влюбилась еще въ тебя, то только и жду, чтобы влюбиться! Зачѣмъ же казанской сиротой-то прикидываешься?

Камышлинцевъ расхохотался.

— Да, еслибы въ васъ была искренность, такъ и съ вами бы не хитрили,—сказалъ онъ. — А то вѣдь изъ васъ каждый намекъ надо клещами вытаскивать: скверная привычка такая у васъ.

— Нѣтъ, я не такая!—сказала маска:—я правду говорю.

— А вотъ сейчасъ увидимъ! Ну, говори: что же у тебя тамъ, въ душѣ-то, рѣшено, что ли, мной заняться?

— Нѣтъ, я еще до такой нужды не дошла, чтобы другихъ вытѣснять или самой съ ними уживаться,—сказала Барсукова, смѣясь.

Они подошли въ это время къ выходу.

— Ну прощай! — сказала она, протягивая ему руку.

— Постой! Ну, если квартира-то будетъ не занята?—спросилъ Камышлинцевъ, кокетничая.

— Тогда, если я не пристроюсь, можно будетъ ее осмотрѣть!—Маска засмѣялась и побѣжала съ лѣстницы.

— А въ слѣдующій маскарадъ придешь осматривать?—сказалъ ей вслѣдъ Камышлинцевъ.

— Нѣтъ! я уѣду отсюда!—Она ему кивнула головой и скрылась.

По прежней привычкѣ, Камышлинцевъ любилъ поиграть съ женщинами, но маленькой, въ нѣжныя чувства, полагая, что всегда можно оставить игру, если она начнетъ принимать серьезный оборотъ. Партія по большой уже была у него составлена; но и мужчины, и женщины рѣдко, и развѣ только въ самый разгаръ этой игры, бываютъ такъ заняты ей, чтобы у нихъ не достало ни времени, ни желанія, ни мелкой монеты, для маленькихъ шаловливыхъ ставокъ. Камышлинцевъ не былъ къ себѣ строже другихъ въ этомъ случаѣ; а борьба его за свое дѣло не требовала такихъ усилій, которыя бы всецѣло заняли его время и вниманіе. Онъ былъ молодъ и не видѣлъ нужды бояться хорошенькой женщины, какъ орудія искусителя рода человѣческаго.

Въ теченіе вечера Камышлинцевъ наткнулся на бойкую барыню, которая, какъ бдительный стражъ, исполняла свои добровольныя обязанности.

— Ну что, проводили вы Анюту Барсукову? — спросила она его.

— Да вы почему думаете, что это она?—спросилъ, въ свою очередь, нѣсколько озадаченный, Камышлинцевъ.

— Боже мой! Какая трудность узнать ее! Я не знала, что она здѣсь, а какъ встрѣтила ее въ магазинѣ, такъ сейчасъ же и догадалась. Вы ей скажите лучше, чтобы она, если хочетъ, чтобы ее не узнавали, такъ плечами-то не пожимала бы, когда ей чуть что не понравится.

— Знаете, Пелагѣя Филипповна,—сказалъ Камышлинцевъ,—Фуше былъ передъ вами мальчишка, и ваши дарованія напрасно пропадаютъ въ глуши!

— Ну, ну, хорошо! Не понравилось видно, что секретъ-то узнали! — сказала она наугадъ, дружески-сердито, не понявъ сравненія, но не предполагая, чтобы Камышлинцевъ сказалъ что-либо обидное.—Ходитъ цѣлый вечеръ, какъ пришпиленный,

у всѣхъ на глазахъ и воображаетъ, что всѣ слѣпые! — Однакоже, когда Камышлинцевъ отошелъ, то Пелагѣя Филипповна на всякій случай сочла нужнымъ навести справку на счетъ сравненія: не такая была она барыня, чтобы оставить что-либо для себя темнымъ.—Аѳанасій Кукичъ!— крикнула она на сидѣвшаго по близости директора гимназіи,—кто такой былъ Фуше?

Директоръ гимназіи былъ нѣсколько озадаченъ вопросомъ. Возобновивъ въ памяти все, что уцѣлѣло въ ней по этой части, онъ, по своему обыкновенію, завелъ рѣчь съ исторіи революціи, думая отдѣлаться общими мѣстами. Но Пелагѣя Филипповну провести было трудно!

— Не юлите! лекціи мнѣ вашей не нужно! вы скажите мнѣ просто, какой человѣкъ онъ былъ?

— Это зависитъ отъ точки зрѣнія, съ которой смотрятъ на него,—сказалъ тотъ:—въ своей спеціальности, какъ начальникъ полиціи, дѣйствительно, Фуше собаку съѣлъ, но...

— Ну, больше мнѣ ничего и не надо,—сказала успокоенная Пелагѣя Филипповна: — ступайте о своихъ штатахъ толковать!..

XII.

Вскорѣ Барсуковы уѣхали въ деревню, откуда, собравшись въ Петербургъ, Анюта должна была воротиться въ Велико-Ѳедорскъ. Черезъ нѣсколько дней послѣ ея отъѣзда, къ Камышлинцеву пришелъ Благомысловъ. Онъ былъ по прежнему сумраченъ и въ одеждѣ его видѣлся еще большій изъянъ.

— А! очень радъ васъ видѣть! — сказалъ Камышлинцевъ.—Я не думалъ, чтобы Барсукова такъ скоро исполнила мою просьбу.

— Какую просьбу?—спросилъ Благомысловъ.

— Я ее просилъ передать вамъ, что у меня есть для васъ работа. Развѣ вы ее не видали?

— Нѣтъ! мы съ ней разъѣхались!—сказалъ Благомысловъ. — А работа, если есть, то кстати будетъ, потому что я совсѣмъ на бобахъ.

— Только я затрудняюсь,—сказалъ Камышлинцевъ,—какъ вы ее будете пересылать и обмѣнивать: вѣдь вашъ домъ довольно далеко?

Благомысловъ горько усмѣхнулся.

— Мой домъ очень близко,—сказалъ онъ:—онъ тамъ, гдѣ я стою! Я съ отцомъ совсѣмъ разошелся,—прибавилъ онъ.

Камышлинцевъ, разумѣется, не спросилъ о причинѣ.

— Для работы это будетъ лучше, — сказалъ онъ.—Я могу вамъ предложить больше занятія.

— И для всего лучше! — отвѣчалъ Благомысловъ:—чище дѣло. И то, давно намъ было надо разойтись! Какое ужъ житье волку съ добрымъ пастыремъ!

Камышлинцевъ сказалъ ему, въ чемъ будутъ его занятія и какую плату онъ можетъ предложить ему, прибавивъ, что со временемъ, если увеличатся средства губернскаго присутствія, ее можно будетъ увеличить.

— Спасибо! Это все будетъ хорошо, — сказалъ Благомысловъ,—и изда достаточная, а впрочемъ, коль будетъ больше, тѣмъ лучше. Я хоть себя не балую, многаго на свою особу не трачу, но лишней копѣйкѣ буду радъ: кровь ужь видно такая скверная во мнѣ.

— Ну, не бойтесь, не много останется лишняго,—сказалъ Камышлинцевъ; — а если останется, такъ на университетъ пригодится. Вы гдѣ же пріютились?

— А у Крестопоклонскаго на чердакѣ есть мурья эдакая: мнѣ и удобно. Я ему по библіотекѣ помогу, а мнѣ книги подъ бокомъ. Ну, прощайте! — Онъ пожалъ крѣпко руку Камышлинцеву и ушелъ.

Время пошло своимъ чередомъ. Наступилъ великій постъ: Барсукова возвратилась изъ деревни и вскорѣ уѣхала въ Петербургъ, какъ предполагалось, со старухой Нобелькнебель. Камышлинцевъ далъ ей обѣщанное письмо. Ихъ взаимныя отношенія были дружественны, но отнюдь не переходили въ короткость. То, что позволялъ себѣ Камышлинцевъ въ маскарадѣ и съ маской, онъ не позволялъ при встрѣчахъ въ обществѣ. Онъ былъ на карнавалѣ въ Римѣ и вполнѣ цѣнилъ то чувство приличія итальянцевъ, которое запрещаетъ узнавать маску внѣ маскарада и претендовать на продолженіе съ ней той безцеремонности и даже знакомства, которыя существовали во время карнавала. Да, по правдѣ сказать, Камышлинцевъ, и позволяя ее себѣ на полчаса, вовсе не желалъ ея постоянно: онъ зналъ, что она обязываетъ и неслышно завлекаетъ.

Въ городѣ Велико-Ѳедорскѣ и въ уѣздахъ губерніи вскорѣ по окончаніи выбора всѣ ждали смѣны Камышлинцева или по крайней мѣрѣ разрѣшенія дворянской жалобы. Но приходила почта за почтой и не привозила никакого отвѣта ни дворянству, ни Камышлинцеву. Стороной онъ узналъ, что дворянская протестація, какъ незаконная, оставлена безъ послѣдствій. Дворяне поджали, поворчали и ждать перестали.

Камышлинцевъ по вечерамъ, кончая занятія, довольно часто уѣзжалъ въ послѣднее время въ клубъ. Бесѣдовать съ Ольгой онъ не находилъ о чемъ. Ольга вращаясь въ кругу людей, занятыхъ дѣлами, невольно стала сама принимать въ нихъ участіе, хоть на словахъ; но по мѣрѣ того, какъ она переставала быть парядной и беззаботной бабочкой и начинала трактовать о серьезныхъ вопросахъ, Камышлинцевъ замѣтилъ, что между ихъ взглядами все болѣе и болѣе разступалась пропасть и что убѣжденіе и любовь Камышлинцева не могли перевести Ольгу на другую сторону,—замѣтилъ онъ это и пожалѣлъ о прежней красивой и блестящей бабочкѣ! Воспитаніе, неизбѣжное вліяніе среды, въ которой она выросла, наконецъ настоящіе взгляды ея родныхъ и особенно брата, на авторитетъ котораго она въ затруднительныхъ

обстоятельствахъ любила опираться, какъ на гранитную скалу,—все сказалось въ ней теперь и переселивало вліяніе Камышлинцева и мужа. Вмѣсто прежняго безотчетнаго вѣрованія въ нихъ, она, какъ только вздумала отнестись къ нимъ критически, нашла ихъ, какъ находили ихъ и другіе, прихотливыми и упрямыми исключеніями, и, разъ составивъ себѣ это понятіе, она уже не задумывалась надъ ними болѣе: ихъ мнѣнія были для нея разгаданы и осуждены безапелляціонно.

Конечно, такое отношеніе во взглядахъ не могло заохотить Камышлинцева къ бесѣдамъ съ Ольгой, тѣмъ болѣе, что перевоспитать или переубѣждать ее не было возможности; она не любила ни во что вдумываться и допускала разныя нововведенія только въ дѣлѣ моды. Къ тому же, постоянное присутствіе графа Гогенфельда, съ его всесглаживающей пустотой, наводило на Камышлинцева скуку усыпляющую, и по этой-то причинѣ онъ, въ свободные отъ занятія вечера, уходилъ обыкновенно въ клубъ и отдыхалъ за картами.

Разъ вечеромъ Камышлинцевъ засидѣлся за работой долѣе обыкновеннаго. Кончивъ ее, онъ взглянулъ на часы: было четверть двѣнадцатаго; ѣхать въ клубъ ему показалось поздно; онъ спросилъ, есть ли кто на верху, и получивъ отвѣтъ, что Ольга Ѳедоровна одна, пошелъ къ ней.

Изъ его комнатъ было два хода на верхъ. Одинъ, черезъ пріемную и прихожую выходилъ на парадную лѣстницу, другой изъ спальной, черезъ коридоръ, велъ по маленькой внутренней лѣстницѣ прямо въ небольшую комнату, находящуюся позади кабинета Ольги и соединенную съ ней маскированной обоями дверью. Этимъ путемъ Камышлинцевъ никогда не ходилъ къ Ольгѣ, если у нея бывалъ кто нибудь; но какъ тутъ идти было ближе, нежели въ обходъ, черезъ парадную лѣстницу и всѣ пріемныя комнаты, а у Ольги никого не было, то онъ на этотъ разъ предпочелъ этотъ путь.

Спросивъ встрѣтившуюся горничную, что дѣлаетъ Ольга Ѳедоровна, и получивъ въ отвѣтъ, что она въ кабинетѣ, Камышлинцевъ вошелъ въ него—и остановился нѣсколько смущенный. Ольга была не одна; она сидѣла по обыкновенію съ ногами на диванѣ; полнота, обыкновенно сопровождающая беременность, дѣлала ее, изъ прелестной женщины, роскошною, а развитіе стана было не замѣтно и искусно скрыто широкимъ капотомъ. На низенькой табуреткѣ, у ея изголовья, сидѣлъ графъ Гогенфельдъ и держалъ ея руку въ своей...

Услышавъ широко отворяющуюся дверь, Гогенфельдъ и Мытищева быстро отдернули руки. Это было сдѣлано мгновенно, инстинктивно; Камышлинцевъ могъ замѣтить и не замѣтить движенія, но они оба смутились; смутился на минуту и Камышлинцевъ, но потомъ вошелъ, какъ-бы ничего не видавъ.

Дверь, въ которую онъ вошелъ, была въ слабо освѣщенномъ углу. Ольга черезъ лампу не скоро разсмотрѣла вошедшаго. Она прикрыла рукой глаза и, узнавъ Камышлинцева, раздражительно сказала:

— Ахъ, какъ вы перепугали меня! вошли какъ тать и еще съ задней лѣстницы!

— Виноватъ, — сказалъ онъ, — мнѣ лѣнь было обходить кругомъ; но я сейчасъ довольно громко разговаривалъ съ вашей горничной, и думалъ, что вы меня слышали.—Онъ поздоровался съ флигель-адъютантомъ.

— Гдѣ-жь мнѣ слышать ваши разговоры съ горничными! — сказала Ольга. — Я прощалась съ графомъ, но надѣюсь, что теперь вы, ради такого рѣдкаго гостя, посидите еще, — прибавила она, обращаясь къ Гогенфельду.

Смущенный графъ пристукнулъ шпорами и пробормоталъ, что очень радъ.

— Какимъ это образомъ вы измѣнили клубу?— спросила Ольга.

Камышлинцевъ объяснилъ ей. Зашелъ какой-то пустенькій разговоръ, поддерживаемый болѣе всего Ольгой. Черезъ четверть часа графъ Гогенфельдъ взялъ фуражку и на этотъ разъ простился въ самомъ дѣлѣ. Камышлинцевъ проводилъ его и возвратился къ Ольгѣ.

Ольга по прежнему сидѣла на диванѣ, и только для того, чтобы дѣлать что-нибудь, нюхала изъ флакончика спиртъ. Камышлинцевъ молча сѣлъ противъ нея.

— Я тебя просила, — сказала Ольга, — не ходить черезъ эту дверь, если у меня есть кто-нибудь! тебѣ, кажется, доставляетъ удовольствіе меня компрометировать!

— Мнѣ мой Иванъ сказалъ, что ты одна! Я еще именно спросилъ про графа, и получилъ отвѣтъ, что онъ давно уѣхалъ. Впрочемъ я не думалъ, чтобы входъ черезъ ту или другую дверь могъ что-нибудь значить.

— Ну, если ты этого не понимаешь, то я не могу тебя переувѣрить!—сказала Ольга.—А Иванъ твой глупецъ, который ничего не видитъ. Графъ дѣйствительно уѣзжалъ въ десять часовъ, по моей же просьбѣ, въ магазинъ, но вскорѣ воротился.

— Иванъ не виноватъ, что не видалъ его возвращенія,—сказалъ Камышлинцевъ:—я ему не поручалъ наблюдать за тобою и графомъ.

— Еще бы!— сказала Ольга презрительно.

Камышлинцевъ замолчалъ, кажется, выжидая, не начнетъ ли говорить Ольга чего-нибудь; но Ольга тоже молчала, сохраняя недовольный видъ и отъ времени до времени понюхивая спиртъ.

Тогда Камышлинцевъ рѣшился дотронуться до больнаго мѣста.

— Послушай, Ольга!—сказалъ онъ:—мы съ тобой не связаны никакими обѣтами, никакими общими интересами; у насъ одна связь—наше взаимное чувство, и если оно хоть съ одной стороны проходитъ или прошло, то намъ насильно удерживать его или обманывать другъ друга не изъ чего.

— Разумѣется!— сказала Ольга хладнокровно.

Онъ опять замолчалъ, какъ бы выжидая продолженія отъ Ольги.

— Ты этимъ хотѣлъ напомнить мнѣ, что я дурно дѣлала, обманывая для тебя мужа что-ли?—спросила она, видя, что Камышлинцевъ выжидаетъ чего-то.

— Нѣтъ,—сказалъ Камышлинцевъ,—не мнѣ въ этомъ упрекать тебя. Я хотѣлъ только сказать, что если бываютъ причины скрывать свои чувства, или имъ по возможности противиться, то мы совсѣмъ не въ этомъ положеніи. Притомъ ты знаешь, я не вѣрю въ вѣчность чувства и знаю, что оно умираетъ и перерождается. Поэтому я и хотѣлъ спросить тебя, не замѣчаешь ли ты, что наше чувство подрывается? — спросилъ онъ.

— Это ты, по случаю твоихъ отношеній къ Барсуковой, нашелъ нужнымъ заговорить? — спросила она.

«Она вѣрно видѣлась съ Пелагѣей»!—подумалъ Камышлинцевъ.

— Нѣтъ, по случаю твоихъ къ Гогенфельду!—сказалъ Камышлинцевъ, сколь возможно спокойнѣе.

Ольга вспыхнула. «Онъ все видѣлъ!»—подумала она, и тутъ явилась другая досадная мысль. Въ тѣ минуты откровенности или, правильнѣе сказать, совершенной распущенности, когда мужчина и женщина не считаютъ нужнымъ и просто лѣнятся таить что-либо одинъ отъ другаго, Ольга, желая подразнить чувство Камышлинцева, говаривала ему, какъ Гогенфельдъ ухаживаетъ за ней, и пересказывала разные его подходы.

«О, какъ мы бываемъ глупы, когда все открываемъ мужу или любовнику»,—подумала Ольга, но все это промелькнуло у нея мгновенно.

— Если ты находилъ нужнымъ скрывать свои свиданія съ Барсуковой,—сказала Ольга,—то, кажется, меня нельзя упрекать въ скрытности. Я развѣ не имѣла глупости разсказывать тебѣ всѣ ухаживанія графа? Вѣдь не могу же я запретить любить меня, если нравлюсь?

— Еслибы мнѣ кто-нибудь и говорилъ о своихъ чувствахъ, такъ я бы не сказалъ этого никому, потому что это чужая тайна: но съ Барсуковой у насъ ничего не было подобнаго! и мнѣ таиться нечего! Но и я не спрашиваю тебя о чувствахъ къ тебѣ Гогенфельда.

— Да; но ты считаешь нужнымъ замѣтить мнѣ, что я дурно дѣлала, разсказывая тебѣ о нихъ! — перебила Ольга.—Да; я въ этомъ сознаюсь, и очень, очень раскаиваюсь: я была глупа непростительно!—сказала она, горячась.

Ревность, скрытность и увертки Ольги, все возмущало и волновало до глубины души Камышлинцева, но онъ старался говорить по возможности хладнокровно и безобидно.

— Все не то!—сказалъ Камышлинцевъ;—я не дѣлаю и не хочу дѣлать никакихъ намековъ; я просто спрашиваю тебя и жду откровеннаго отвѣта: не находишь ли ты, что твое чувство ко мнѣ измѣнилось?

— Чтожъ это ты, увѣренiй въ любви что ли, желаешь? — насмѣшливо спросила Ольга. — Говорилъ бы лучше прямо!—сказала она, вспыхнувъ и рѣшившись идти на проломъ.—Ты меня ревнуешь къ графу, потому что увидѣлъ, какъ онъ меня держалъ за руку! Великая важность, если-бы я и въ самомъ дѣлѣ дала ему руку! Но я тебѣ сказала, что онъ прощался...

— Да, и, кажется, очень нѣжно!—замѣтилъ какъ-бы вскользь Камышлинцевъ.

Ольга, казалось, вознегодовала.

— И ты меня подозрѣваешь, — горячась, сказала она,—послѣ всего, что я для тебя сдѣлала! послѣ того, какъ я всѣмъ для тебя пожертвовала! И еще въ то время, когда я ношу твоего ребенка!..

— Ну, ктожъ его знаетъ, совсѣмъ-ли онъ мой!—сказалъ Камышлинцевъ. Онъ сказалъ это повидимому хладнокровно, но въ душѣ у него накипѣло негодованіе. Ольга вся позеленѣла. Казалось, духъ у ней запяло отъ этой безпощадной обиды. На мгновеніе она не находила слова, достаточно сильнаго для отвѣта. Но потомъ приподнялась съ дивана, чтобы приблизиться къ Камышлинцеву и сильнѣе бросить ему въ лицо свой отвѣтъ:

— Vous êtes un infame!—сказала она.

Ея прелестные голубые глаза тоже, казалось, позеленѣли; они сверкнули и какъ кинжалъ хотѣли вонзиться взглядомъ въ Камышлинцева.

Камышлинцевъ медленно всталъ, поклонился и вышелъ.

XIII.

Мы не знаемъ, какъ провела эту ночь Ольга. Женщины, въ дѣлахъ любви, требующихъ скрытности, выносятъ молча такія мученія, о которыхъ и понятія не имѣетъ мужчина. Ольга боялась пуще всего огласки. И потомъ, на чье утѣшеніе и соболѣзнованіе разсчитывать ей?.. Мужа? Камышлинцева? Скорѣе мужа, чѣмъ Камышлинцева; но и прибѣгать къ мужу она ни за что не желала! То, что она перечувствовала въ эту ночь, осталось ея тайной. Только на другой день, блѣдная, утомленная, но съ затаеннымъ негодованіемъ, она вышла по обыкновенію къ утреннему завтраку. Она, можетъ быть, все обдумала и приготовилась къ той таинственной битвѣ, которую ведутъ иногда между собою любовники на глазахъ общества, такимъ образомъ, что оно или вовсе не замѣтитъ ея, или мало въ ней поймете. Но на этотъ разъ приготовленія Ольги, если только были они, оказались излишними. Сраженіе не состоялось за неимѣніемъ врага. То же самое было и за обѣдомъ: Камышлинцевъ не вышелъ ни къ завтраку, ни къ обѣду; и эта тактика врага нѣсколько смутила Ольгу. Мытищевъ поутру спрашивалъ о Камышлинцевѣ, ему отвѣчали, что онъ завтракалъ у себя, въ обѣдъ — что его нѣтъ дома. Это случалось и прежде, но рѣдко. Вскорѣ послѣ обѣда Ольга сказала, что она дурно провела ночь и хочетъ от-

ıуть, и ушла, извиняясь передъ графомъ (онъ ыкновенію обѣдалъ у нихъ), что она и ве-ıмъ къ нему не выйдетъ. Почему она не хо-ı встрѣчи съ нимъ наединѣ—это тоже остается ıой чисто женскихъ побужденій. Графъ выра-ı сожалѣніе, и замѣтилъ, что и самому ему ъ-ли было бы возможно пріѣхать, такъ какъ далъ кому-то слово.

о что подѣлывалъ въ это время Камышлинцевъ?

озвратясь отъ Ольги, которую онъ оскорбилъ ıдимому такъ хладнокровно, Камышлинцевъ о ходилъ въ волненіи по комнатамъ. Онъ со-ался, что поступилъ жестоко и, можетъ быть, рзведливо. Да, можетъ быть потому что онъ Ольгѣ теперь не былъ нисколько увѣренъ! Но авая это, онъ сознавалъ въ то же время, что ичность и изворотливость Ольги много оправ-ıли его: онъ хотѣлъ, чтобы Ольга прямо и от-енно высказалась ему. Онъ думалъ, что если и разлюбила его, то они разойдутся тихо и ю, сохранивъ другъ къ другу уваженіе и внь. Ему казалось, что ничто не могло этому ıятствовать. Но онъ не принялъ въ соображе-что разрывъ съ нимъ, самый тихій, все-таки ется, что этотъ разрывъ во всякомъ случаѣ ıстъ поводъ къ толкамъ, догадкамъ и заклю-ямъ. Онъ упустилъ изъ виду боязнь Ольги за епутацію. Съ другой стороны Камышлинцевъ ъ ревнивъ, да и кто, даже и не любящій, но ній любимымъ, не ревнивъ? чье самолюбіе не даетъ отъ измѣны любовницы? Камышлинцевъ ылъ ухаживанія Гогенфельда; онъ зналъ какъ глазахъ Ольги много значатъ имя и положеніе, ı ей пріятно это ухаживаніе. Разсказы Ольги рафѣ, иногда изъ желанія похвастаться, иногда ы подстрекнуть Камышлинцева, утверждали въ привязанности графа; онъ замѣчалъ тоже, въ послѣднее время, Ольга,—дурной знакъ,— гала разговоровъ съ нимъ о графѣ и на его осы отвѣчала уклончиво и неохотно. Подо-нія копошились въ Камышлинцевѣ; но, ревнуя онъ вмѣстѣ съ тѣмъ признавалъ всю нелогич-ъ этого чувства и ни словомъ, ни взглядомъ алъ замѣтить Ольгѣ своихъ подозрѣній. Кромѣ онъ самъ сознавалъ, что ничего не дѣлаетъ поддержанія расположенія Ольги; ее, какъ ба-нное дитя, надо было занимать и тѣшить, а учить. Расходящіяся воззрѣнія безпрестанно ничивали рознь между ними, и онъ не думалъ инить образующуюся между ними пустоту — воспитаніемъ Ольги. Это впрочемъ свидѣтель-вало отчасти о притупившемся чувствѣ. Если онъ болѣе дорожилъ имъ, онъ бы вступилъ въ бу съ соперникомъ; онъ бы съумѣлъ на столько ть Ольгу, чтобы не сдѣлать присутствіе Го-фельда развлеченіемъ и необходимостью для

Но онъ дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ, какъ ый и богатый баринъ, который не хочетъ ни-ить въ борьбѣ съ маленькимъ врагомъ; онъ дѣйствовалъ, какъ дѣйствуютъ мужья, полные вѣры въ собственныя права и достоинства.

«Если предпочитаетъ мишуру графа моему — ему совѣстно было сказать достоинству... ну, однимъ словомъ, мнѣ, такъ пусть ее!» давно сказалъ самъ себѣ Камышлинцевъ, и не шевельнулъ пальцемъ, чтобы отодвинуть соперника,—и развѣ только изрѣдка коротким словцомъ или ужимкой подчеркивалъ какую-нибудь его пошлость.

Теперь, когда Камышлинцевъ разомъ порѣшилъ съ своими чувствами и отношеніями къ Ольгѣ, Камышлинцеву было грустно и досадно; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ какое-то облегченіе, какъ будто разомъ сбросилъ что-то привычное и пріятное, но начинавшее уже тяготить его. Дѣти по смерти родителей, а жены послѣ смерти мужей чувствуютъ нѣчто подобное.

«Я былъ съ ней жестокъ», говорилъ самъ себѣ Камышлинцевъ. «Она могла полюбить Гогенфельда: онъ ей болѣе по плечу, онъ безпрестанно вертѣлся около нея, — все это понятно; но зачѣмъ она не хотѣла прямо сказать, что не любитъ меня (а можетъ, и любитъ еще? шепнуло ему что-то?) зачѣмъ обманывать меня?» И въ его памяти промелькнулъ весь рядъ этихъ милыхъ хитростей, обмановъ, безумнаго риска, на которые рѣшалась для него Ольга, которые такъ красятъ скрытную любовь и составляютъ одну изъ ея незамѣнимыхъ прелестей. «И все это она употребляетъ теперь противъ меня!» — подумалъ онъ, — и кровь облила ему сердце, и онъ злобно стиснулъ губы.

— Пускай ее!—сказалъ онъ, вспомнивъ оскорбленіе, которое ей сдѣлалъ: — она испорчена до мозга костей!—Онъ забывалъ только, что у такихъ женщинъ какъ Ольга, ничто не проникаетъ до мозга костей. Ему хотѣлось оправдать себя, смягчить ту занозу, которая остается въ человѣкѣ послѣ всякаго, несогласнаго съ добросовѣстностью, поступка.

На другой же день послѣ ссоры, Камышлинцевъ, едва всталъ и одѣлся, какъ почувствовалъ крайнюю неловкость своего положенія. Встрѣтиться съ Ольгой и не выказать ничѣмъ разрыва или, по крайней мѣрѣ, необычной вѣжливостію и знакомъ уваженія къ ней, не дать повода къ открытію истины—все это могъ и предполагалъ сдѣлать Камышлинцевъ. Но ежедневно пить и ѣсть въ ея домѣ, сидѣть за ея столомъ, изъ-за котораго она не можетъ выгнать его, не обнаруживъ полученнаго оскорбленія, воспользоваться тѣмъ, что стыдъ и приличіе не позволятъ Ольгѣ выказать тѣхъ чувствъ, которыя вѣроятно она теперь имѣетъ къ нему, — этого не хотѣлъ себѣ позволить Камышлинцевъ. А между тѣмъ, вдругъ перестать бывать у Ольги—все равно, что прокричать на улицахъ о своей ссорѣ! Камышлинцевъ не зналъ, что дѣлать. Отговариваясь работой, онъ въ тотъ день завтракалъ въ своихъ комнатахъ; заѣхавъ къ знакомымъ, онъ остался у нихъ обѣдать. Но все это, не возбуждая подозрѣнія, могло продолжаться

только день или два: надо было какъ-нибудь покончить. И вотъ вечеромъ, узнавъ, что Ольга одна, онъ рѣшился переговорить съ ней и послалъ спросить: можетъ ли она принять его. Получивъ въ отвѣтъ, что можетъ,—онъ пошелъ къ Ольгѣ.

Онъ нашелъ ее въ кабинетѣ и на томъ же диванѣ; только въ головахъ у нея высоко лежали подушки; она, почти сидя, опиралась на нихъ; возлѣ стоялъ маленькій столъ, на немъ колокольчикъ, флаконъ и какое-то питье. Въ рукѣ Ольга держала какой-то англійскій или французскій романъ, который положила при входѣ Камышлинцева; словомъ, она расположилась, какъ обыкновенно располагаются дома не совсѣмъ здоровыя женщины, когда не намѣрены никого принимать. На ней была хорошенькая, вышитая, бѣлая блуза; завитыя колечки волосъ нѣсколько взбились и спутались отъ подушки. Взглянувъ на ея блѣдную и прелестную головку, на полную, точно изваянную изъ мрамора, обнажившуюся по локоть руку, сердце нѣжно и болѣзненно шевельнулось въ груди Камышлинцева, и онъ почувствовалъ, что еще мила и дорога ему эта женщина!

Камышлинцевъ слегка поклонился Ольгѣ и сталъ противъ нея, опершись руками на спинку стула.

— Я васъ не обезпокою?—спросилъ онъ.

— Если не пришли оскорблять меня, такъ ничего!—холодно отвѣтила Ольга.

— Я очень сожалѣю,—сказалъ Камышлинцевъ,—что не совладалъ вчера съ собою и высказалъ оскорбительное подозрѣніе; послѣ этого я конечно не позволилъ бы себѣ придти къ вамъ, еслибы дѣло шло не о васъ. Я хотѣлъ спросить васъ, какъ вы желаете, чтобы я поступилъ послѣ всего случившагося?

— Я думаю, это можетъ вамъ сказать ваша деликатность!—отвѣчала Ольга.

Камышлинцевъ слегка поклонился.

— Я думалъ, что послѣ всего мною сказаннаго мнѣ не слѣдуетъ оставаться и показываться въ вашемъ домѣ,—сказалъ онъ.

Лицо Ольги слегка вспыхнуло.

— Конечно такъ, — сказала она, — если бы вы этимъ не заставили всѣхъ говорить о нашей ссорѣ.

— Я подумалъ то же самое, замѣтилъ Камышлинцевъ, — и поэтому остановился переѣздомъ и рѣшился спросить васъ...

— Я не вижу причины мѣнять вамъ при другихъ ваше обхожденіе; конечно наши отношенія перемѣнились,—сказала она, сдѣлавъ удареніе на словѣ *конечно*,—но это наше дѣло, которое ни до кого не касается и должно остаться между нами.

— Но я не хотѣлъ подвергать васъ непріятности — сносить общество человѣка, оскорбившаго васъ и не имѣть возможности избѣгать его или отказать ему отъ дому, — сказалъ Камышлинцевъ.

— О, стоитъ ли объ этомъ думать! — сказала Ольга съ горькой усмѣшкой.—Мы, женщины, должны сносить все, если разъ уклонились отъ прямаго *пути!...*

Камышлинцевъ угрюмо насупился.

— Во всякомъ случаѣ,—сказалъ онъ,—подобное положеніе долго длиться не можетъ: оно столько же тяжело и для меня, какъ и для васъ. Надобно придумать предлогъ, чтобы я могъ оставить вашъ домъ.

Ольга задумалась.

— Къ этому можетъ быть одинъ предлогъ, — сказала она: — помѣщеніе для будущаго ребенка. Если онъ,—какъ вы говорите,—не совсѣмъ вашъ... то ему съ вами и церемониться нечего...

Камышлинцевъ не выдержалъ и разсмѣялся.

— Ну, полноте, Ольга!—сказалъ онъ.—Вы не великодушны!—Вѣдь я вамъ сознался, что не правъ. Вѣдь не прощенія же мнѣ просить...

— Отчего же и нѣтъ!—спросила она.

— Оттого, что это унизительно, да и ни къ чему не ведетъ! Вѣдь если вы дѣйствительно глубоко оскорблены, такъ хоть на колѣняхъ ползай, а этого не вытащишь...

— Слышите! Глубоко ли я оскорблена? Я думаю, есть чѣмъ?—сказала Ольга, уже не сердясь, а только будируя.

— Конечно, до нѣкоторой степени!—отвѣчалъ, улыбаясь, Камышлинцевъ.—Но во-первыхъ, я сказалъ нелѣпость, невозможность!..

— Это очень мило!—прервала его Ольга.—Онъ мнѣ теперь будетъ доказывать лекціей изъ естественной исторіи, что оскорбленія не было!.. Ну, а во-вторыхъ?

— А во-вторыхъ,—сказалъ онъ,—женщинъ, говорятъ, не оскорбляютъ вещи, которыя дѣлаются изъ ревности: это своего рода доказательство любви....

— На русскій ладъ: кого люблю, того и бью!—сказала Ольга.—Ну нѣтъ, ужь пожалуйста, вы мнѣ этимъ своихъ чувствъ не доказывайте!

— Ну, такъ миръ? — спросилъ Камышлинцевъ, протягивая Ольгѣ руку, и прибавилъ, вздохнувъ:— и разойдемся друзьями!

Ольга подала ему руку, но при послѣднихъ словахъ посмотрѣла на него удивленными глазами.

— Послушай! — сказала она, — ты правъ: это глупо, но я, дѣйствительно, вчерашнимъ мало оскорбилась!.. Но теперь? Неужели ты вѣришь?..

— Нѣтъ, другъ мой!—сказалъ Камышлинцевъ, держа и пожимая ея руку,—я не вѣрю, чтобы ты совсѣмъ измѣнила мнѣ, но и безъ графа мы съ тобой расходимся каждый день и въ каждомъ словѣ! Ты вчера не хотѣла сознаться въ этомъ, но вѣдь это правда?

— Конечно,—сказала она, — я съ графомъ немного кокетничала и, можетъ быть, позволила ему немного болѣе, чѣмъ бы слѣдовало... Но что жъ мнѣ дѣлать, если ты совсѣмъ забываешь меня? Вѣдь мнѣ скучно!—жалобно прибавила она.—Брось ты это глупое дѣло, будь ты тѣмъ, чѣмъ былъ прежде:—веселымъ, милымъ и ласковымъ... И мы будемъ счастливы по старому!..

Ольга такъ нѣжно глядѣла ему въ глаза, что

ему вспомнились тѣ далекіе, первые, исполненные такой невыразимой прелести дни!

— И графъ совсѣмъ провалится!—тихо прибавила она съ своей игривой, лукавой улыбкой.

Камышлинцевъ держалъ ея руку и печально смотрѣлъ на это прелестное, оживленное и всегда милое лицо.

— Нѣтъ, другъ мой, не будемъ мы по старому!—сказалъ онъ, вздохнувъ. — И ты не та, и я не тотъ теперь... Убѣжденія наши стали между нами!.. Страсть могла насъ соединить, но она проходитъ; а ежедневнаго любовнаго согласія между нами нѣтъ и не можетъ быть. Не зачѣмъ намъ себя обманывать! А ломать себя? Поздно.... да и не хочу я этого!—добавилъ Камышлинцевъ.

Ольга опустила голову и печально молчала. Возражать было нечего. Прошло нѣсколько минутъ грустнаго безмолвія.

— Такъ разстанемся же мирно, — сказалъ Камышлинцевъ, — и будь счастлива! Онъ пожалъ крѣпко ее руку и хотѣлъ было идти, но Ольга удержала его, обернулась къ нему лицомъ и привлекла къ себѣ. Онъ наклонился къ ней, Ольга обняла его голову обѣими руками и крѣпко, крѣпко поцаловала.

Когда она отпустила его, онъ взглянулъ еще разъ на ея лицо, и видѣлъ, какъ по немъ точно посыпались крупныя, безмолвныя слезы. Она закрыла его руками и тихо плакала.

Камышлинцевъ поспѣшно и не оборачиваясь вышелъ. Слезы накипали и душили его самого.

На другой день Камышлинцевъ и Ольга сошлись въ обыкновенное время. Они были невеселы, но непосвященный въ нихъ разрывъ не замѣтилъ бы никакой перемѣны въ ихъ отношеніяхъ. Только они стали внимательнѣе, какъ бы нѣжнѣе другъ къ другу: такая нѣжность замѣчается между близкими наканунѣ долгой разлуки.

МЕЖЪ ДВУХЪ ОГНЕЙ.

ЧАСТЬ III.

I.

Наступилъ великій постъ. Изрѣдка появлялись оттепели; въ мягкомъ воздухѣ по временамъ слышался уже, хотя еще тонко и неопредѣленно, тотъ неизъяснимый, отрадный и оживляющій не то запахъ, не то измѣненный составъ (что мы называемъ «весной пахнуло»), который нигдѣ такъ не чувствуется, какъ въ Россіи, и дѣлаетъ русскую весну вмѣстѣ съ ея быстрымъ переходомъ ни съ чѣмъ несравненной. Пятимѣсячная зима дрогнула, какъ мощный организмъ, вдругъ пораженный острой болѣзнью, и быстро начало таять. Въ это милое время кровь быстрѣе начинаетъ бить въ жилахъ и не хочется сидѣть дома; птица и свободный человѣкъ подымаются съ мѣста и каторжный сибирякъ задумываетъ побѣгъ.

Камышлинцевъ очень любилъ встрѣчать весну въ деревнѣ. Нигдѣ такъ не замѣчается, какъ кровѣетъ снѣгъ и показываются первыя проталины ни пришкѣ, нигдѣ такъ не слышится журчаніе пробудившихся водъ, или задорный крикъ пролетающей птицы, нигдѣ такъ невидно, какъ буреетъ лѣсъ, и вдругъ послѣ перваго дождя, въ теплый и пропитанный запахомъ талой земли день, весело распустится молодая зелень.

Камышлинцевъ года два уже, сперва по отсутствію за границей, а потомъ по крестьянскому дѣлу, не могъ себѣ доставить любимаго наслажденія. Нынѣче онъ хотѣлъ имъ воспользоваться. Къ тому-же, устройство отношеній съ своими крестьянами требовало его присутствія. Со времени открытія губернскаго присутствія онъ былъ одинъ изъ членовъ, который ни разу не отлучался по своимъ дѣламъ, что тоже сердило старыя дрожжи; поэтому онъ вполнѣ имѣлъ право дать себѣ отдыхъ, а можетъ, къ тому же не весело было встрѣчаться ему и съ Ольгой, и съ ея поклонникомъ. Итакъ Камышлинцевъ заявилъ губернатору, что онъ на весну уѣдетъ въ деревню, пригласилъ съ собой, чтобы не было скучно, Благомыслова и по почернѣвшей и тающей дорогѣ, по брызгамъ, какъ

говорятъ охотники, поскакалъ въ свою Камышлиновку.

Пріѣхавъ въ деревню, Камышлинцевъ началъ толковать съ крестьянами о выкупѣ. При этомъ онъ имѣлъ пріятный случай убѣдиться, что хотя крестьяне и считаютъ его помѣщикомъ добрымъ и справедливымъ, но полагаютъ, что онъ ихъ хочетъ все-таки попадуть, и, слушая его убѣжденія, все-таки больше вѣрили первому, безсрочно-отпускному солдату, нежели ему.

— Я очень хорошо понимаю,—говорилъ Камышлинцевъ сосѣду и пріятелю своему, Ильѣ Игнатьичу Еремѣеву, котораго онъ тотчасъ же посѣтилъ, — я понимаю, что я для нихъ все-таки помѣщикъ: что же дѣлать, нужно платиться за это; но за что же они мошенникомъ-то меня считаютъ? Я имъ даю по лишней десятинѣ на душу, чтобы только полюбовно разойтись, и обязательство въ этомъ даю, — а они отъ меня и бумаги-то не берутъ! «Нѣтъ, говорятъ, на что намъ, мы и такъ вамъ, батюшка, вѣримъ». А врутъ все: просто боятся взять, думаютъ—тутъ какой нибудь подвохъ, мошенническая штука!

— Да вы бы имъ сказали, что хоть для спасенія души дарите, такъ они бы поняли и вамъ повѣрили; а то какъ ни съ сего, ни съ того дарить. Кто же это пойметъ?

— Напротивъ, я имъ объяснилъ, что я дружелюбной сдѣлки хочу, а не изъ принужденія; а они мнѣ говорятъ: «нѣтъ, ужь лучше, какъ по закону!» Боятся какой-то царской милости рѣшиться, коль на сдѣлку пойдутъ. Еще какой-то воли ждутъ!

— А что жь, можетъ и будетъ! Вы почемъ знаете, что не будетъ?—спросилъ Еремѣевъ.

Камышлинцевъ былъ нѣсколько озадаченъ.

— Какъ почему знаю, Илья Игнатьичъ? — сказалъ онъ, вопросительно глядя на пріятеля, — да по ходу дѣла, по положенію вещей знаю.

— Ну вотъ, по ходу дѣла и положенію вещей! А представьте себѣ, что вы бы никакого хода вещей и положенія дѣлъ не знали и при слухахъ о волѣ пытались бы ихъ узнать, а васъ бы за это сажали въ кутузку и посѣкали! И вдругъ воля, о которой вы не смѣли и заикнуться, вамъ съ неба упала! Хорошо, только воля вышла разумѣется не такая, о какой человѣкъ, не знающій положенія вещей и разныхъ затрудненій, могъ мечтать. Что же? Развѣ онп не вправѣ ожидать, что если эта воля оказалась неудовлетворительной и испорчена злыми людьми, то съ неба можетъ упасть другая, гораздо лучшая, полная воля? Нѣтъ, ужь вы лучше въ самомъ дѣлѣ по закону!—прибавилъ Еремѣевъ:— и для васъ, и для нихъ лучше будетъ. А то они о троянской-то войнѣ не слыхали, «а дары приносящихъ» остерегаются. Ну, а послѣ, для душеспасенія, дарите, что хотите.

— Да принужденія-то не хотѣлось бы—говорилъ Камышлинцевъ, еще не отвыкшій, какъ русскій человѣкъ, поблагодушествовать, сдѣлать все по душѣ. Однако, подумавъ и видя, что толки безполезны, онъ, слушая опытнаго пріятеля, потребовалъ обязательнаго выкупа.

Камышлинцевъ болѣе мѣсяца прожилъ въ деревнѣ и, разъ въ нее заѣхавъ на весну, не могъ изъ нея выѣхать до окончанія весны, не подвергаясь риску выкупаться въ рѣкѣ или оврагѣ. И вотъ начали входить въ берега рѣки, стали осушаться дороги, осадное положеніе, въ которомъ весна держитъ всѣхъ нашихъ деревенскихъ жителей, мало по малу снималось. Камышлинцевъ отдохнулъ, похотился, освѣжился. Но прежде нежели уѣхать изъ деревни, ему хотѣлось повидаться со старикомъ Васильемъ Сергѣевичемъ Мытищевымъ. Камышлинцевъ слышалъ, что онъ очень боленъ.

Мытищевъ жилъ безъ брата въ своемъ отдѣльномъ имѣніи, которое отдѣлялось рѣкой отъ имѣнія Камышлинцева. Узнавъ, что на ней установилась переправа, Камышлинцевъ собрался и взялъ съ собой Благомыслова.

— Я васъ познакомлю съ нигилистомъ, — сказалъ онъ Благомыслову (тогда это названіе начало входить въ употребленіе), — только нигилистомъ прошлаго столѣтія: ему теперь 79 лѣтъ.

Они застали старика дѣйствительно въ очень плохомъ положеніи: у него образовалась водянка въ груди. Въ покойномъ вольтеровскомъ креслѣ сидѣлъ онъ въ своемъ кабинетѣ, протянувъ ноги въ бархатныхъ полусапожкахъ на низенькую и мягкую скамейку. Все въ домѣ носило характеръ стариннаго барскаго житья, вмѣстѣ съ привычками человѣка, свободнаго отъ предразсудковъ. Большой, почти пустой домъ съ старинной угловатой мебелью, столиками, съ шашечницей изъ мозаики, такими же мраморными, не-вѣсть для чего стоящими на столѣ и каминѣ обелисками, англійскіе четыреугольные столовые часы въ углахъ, украшенные рѣзьбой изъ бронзы и шишечками на футлярахъ, бьющіе чисто и звонко всѣ четверти, и одни сверхъ того выбивающіе курантами «God save the king», большей частію старая прислуга, незапуганная, свободная и даже фамильярная — и въ кабинетѣ старикъ-хозяинъ, окруженный книгами и новѣйшей журналистикой, слѣдящій за всѣмъ ходомъ вещей и потухающими глазами скептика взирающій сквозь свои высокія черепаховыя очки на всѣ молодыя мечтанія и надежды.

Камышлинцевъ нашелъ въ Васильѣ Сергѣевичѣ печальную перемѣну: грудь и животъ у него вздулись, лицо отекло, говорилъ онъ прерывисто и задыхаясь, потухающіе глаза смотрѣли изъ-подъ нависшихъ сѣдыхъ бровей безотрадно, но съ презрительной и неуступчивой непреклонностью. Узнавъ Камышлинцева, старикъ видимо оправился и обрадовался.

— А! спасибо, спасибо, что заѣхали, радъ на послѣдяхъ поболтать съ вами,—говорилъ онъ, пожимая руку.

— Давно хотѣлось, раньше бы пріѣхалъ, да сами знаете, рѣка не пускала, — сказалъ Камышлинцевъ. Онъ представилъ Благомыслова.

— Привезъ къ вамъ молодаго человѣка, который мнѣ сопутствуетъ и помогаетъ,—сказалъ онъ.

— А, слышалъ про васъ,—сказалъ Мытищевъ,— это васъ называютъ нигилистами?—спросилъ онъ, поднимая голову и безцеремонно осматривая Благомыслова черезъ свой съ большими стеклами pince-nez.

Благомыслову этотъ осмотръ не понравился.

— Насъ! — отвѣчалъ онъ пасмурно, хотя, по правдѣ сказать, Мытищевъ, какъ баринъ, смущалъ его нѣсколько.

— Да вы не сердитесь,—сказалъ Мытищевъ,— что я васъ такъ осматриваю, намъ нужно посмотрѣть хорошенько другъ на друга: вы входящій, я выходящій... Ну, а вы что, трудящійся гуманистъ? — спросилъ онъ Камышлинцева.

— Да живу, какъ живется, — отвѣчалъ тотъ,— а вы какъ?

— Видите!—съ горькой усмѣшкой сказалъ старикъ,— къ чертямъ на жаркое скоро отправлюсь.

— Э, полноте!—возразилъ Камышлинцевъ.—Да и давно ли вы въ чертей-то начали вѣрить? — прибавилъ онъ, чтобы отвлечь его.

— Ну къ червямъ въ сыромъ видѣ: что же это, лучше что ли? — спросилъ онъ сердито.

— Нѣтъ, тоже непривлекательно! — замѣтилъ Камышлинцевъ. — Но надѣюсь, что не скоро еще дойдетъ до того.

— Чего не скоро! душитъ уже, — сказалъ онъ, указывая на грудь. — Лежа спать не могу, скоро и совсѣмъ задушитъ.

Онъ остановился.

— Да и печали-то мало,—передохнувъ, продолжалъ онъ:—вѣдь изъ любопытства только живешь. Ну, на послѣдяхъ занимательную штуку пришлось видѣть, а новой не скоро дождешься, такъ хоть и домой! Скверно только, что тамъ-то ничего не ждешь.

Утѣшать было нечѣмъ, и они тяжело замолчали.

— Къ вамъ, я слышалъ, сынъ пріѣхалъ?—сказалъ Камышлинцевъ, знавшій очень хорошо, что дѣйствительно нѣсколько дней назадъ къ старику пріѣхалъ изъ полка его единственный сынъ.

— Да,—сказалъ онъ,—выписалъ его: пусть теперь хозяйничаетъ!.. Мои на выкупъ пошли.

— Какъ это вы ихъ уговорили?—спросилъ Камышлинцевъ,—я и своимъ предлагалъ, да нейдутъ: потребовалъ обязательнаго.

— Призвалъ стариковъ да обругалъ,— сказалъ Мытищевъ. — Дополнительный-то платежъ я имъ простилъ разумѣется. Смотрите, говорю, мнѣ жить не долго. Чтобъ послѣ хуже не было! Ну, они поняли и поторопились.

Мытищевъ, кажется, находилъ болѣзненное удовольствіе безпрестанно упоминать о своей близкой смерти. А можетъ быть онъ ждалъ,—какъ знать! не увѣрятъ ли его, что еще опасность не такъ близка. Сердито-насмѣшливымъ тономъ онъ сдѣлалъ нѣсколько вопросовъ Благомыслову. Умирающій скептикъ смотрѣлъ на молодаго съ безпощаднымъ юморомъ знанія и безнадежности.

— Вы вотъ отъ общины много надѣетесь, — сказалъ онъ,—а знаете, чѣмъ она держится?

— Практическимъ смысломъ народа, — сказалъ Благомысловъ.

Мытищевъ усмѣхнулся.

— Скажите своимъ-то учителямъ, что на лошадиномъ хвостѣ она держится! Мужикъ еще не придумалъ, какъ ему безъ нея на пару скотину пасти.

Благомыслову совѣстно было сознаться, что онъ самъ не разъ слышалъ отъ крестьянъ тоже самое.

— И за что васъ нигилистами считаютъ!—раздражительно говорилъ Мытищевъ:—такіе же идеалисты, какъ и другіе! Мы съ-молоду вѣрили въ болтовню Руссо. У васъ свои пророки, только пожиже.

— Наша задача опредѣлительнѣе,—сказалъ Благомысловъ: — защита бѣднякa и тружепика.

— Мечты, вздоръ! — проворчалъ старикъ: — такъ вы ихъ и защитите утопіями-то своими! Подождите, вотъ какъ и васъ такъ же душить будетъ, какъ меня теперь, тогда будете нигилистомъ.

Въ это время вошелъ высокій, здоровый и, можно бы сказать, красивый молодой человѣкъ, еслибъ въ выраженіи его лица не было чего-то пошловатаго.

— Вотъ это не нигилистъ,—сказалъ Мытищевъ, кивнувъ на вошедшаго: — сынъ мой.

И старикъ посмотрѣлъ на сына съ какой-то странно ласковой злобой и насмѣшкой. Въ этомъ взглядѣ было то невольное, завистливое презрѣніе, которое хилый больной питаетъ ко всякому здоровяку, презрѣніе развитаго ума къ животной натурѣ и вмѣстѣ снисходительная любовь отца къ сыну.

— За Матрешками бѣгалъ?—спросилъ старикъ.

— Нѣтъ,—добродушно улыбаясь, сказалъ сынъ:— воронаго объѣзжалъ. Чего! у кучеровъ совсѣмъ отбился, да и мнѣ всѣ руки оборвалъ, — продолжалъ онъ и въ подтвержденіе словъ показалъ здоровенныя руки, исполосованныя багровыми рубцами.

— Однакоже таки сломалъ его. Шелковый воротился! — съ торжествомъ заключилъ онъ.

Старикъ посмотрѣлъ на него съ состраданіемъ.

— Усталъ я,—сказалъ онъ, — говорить трудно. Покажи оранжерею, — сказалъ онъ сыну. кивнувъ ему на Благомыслова.

Камышлинцевъ тоже хотѣлъ идти, но старикъ кивнулъ ему головой, чтобы онъ остался.

— Наслѣдники! — сказалъ онъ вслѣдъ уходящимъ.—Мой-то лучше! хоть счастливѣе насъ проживетъ.

— Молодыя силы ломятся!—сказалъ Камышлинцевъ, защищая Благомыслова: — жить, дѣлать хотятъ, а дѣла-то нѣтъ, да еще бѣдность одолѣваетъ: въ томъ и бѣда!

Мытищевъ посмотрѣлъ на него и не сказалъ ни слова.

— Ну, разсказывайте, что Ольга?—спросилъ онъ.

Камышлинцевъ разсказалъ ему, что зналъ, и не могъ утаить о своемъ разногласіи во взглядахъ и происшедшемъ отъ этого охлажденіи.

— Разошлись? — спросилъ старикъ.

Камышлинцевъ молча наклонилъ голову.

— Пошалили! — сказалъ онъ.

Камышлинцевъ объяснилъ ему свой взглядъ на подобныя отношенія, но старикъ не возражалъ, а только насмѣшливо улыбался.

Камышлинцевъ разсказалъ ему еще о столкновеніи съ дворянствомъ, о новомъ губернаторѣ, но видя, что утомляетъ старика, собрался ѣхать, и подумалъ, что надо бы дать знать Ивану Сергѣичу о положеніи брата. Чтобы приготовить старика къ этому, онъ сказалъ: — Иванъ Сергѣичъ, можетъ быть, скоро пріѣдетъ: хотѣлъ побывать по спадѣ водъ.

— Это хорошо,—отвѣчалъ старикъ,—я хотѣлъ послать за нимъ, когда плохо будетъ.

«Пора!» подумалъ Камышлинцевъ, и сталъ прощаться.

— Ну, до свиданія! — сказалъ онъ.

— Прощай! — отвѣтилъ старикъ (онъ ему никогда не говорилъ прежде «ты»). Живи, да не заботься много: не стоитъ! — Онъ пожалъ ему руку и печально посмотрѣлъ на него.

— Ну, мы еще не разъ, надѣюсь, увидимся и поспоримъ, — сказалъ Камышлинцевъ.

— У червей въ брюхѣ! — угрюмо сказалъ старикъ. — Скоро уѣзжаешь?

— На дняхъ, но заверну еще къ вамъ.

Кажется, понявъ, что онъ обманываетъ его, старикъ кивнулъ ему головой и сердито отвернулся, а Камышлинцевъ вышелъ съ грустнымъ чувствомъ.

На дворѣ онъ встрѣтилъ молодаго Мытищева и сказалъ ему, что надо бы послать за дядей.

— Хотѣлъ спросить старика, да разсердится. Самъ все про смерть говоритъ, а когда спросишь его, какъ онъ думаетъ распорядиться тѣмъ или другимъ,—злится. «Что, говоритъ, хоронить меня, что ли, спѣшишь?» Не нравится видно умирать-то! — равнодушно замѣтилъ онъ.

Камышлинцевъ замѣтилъ, что можно пріѣзду дяди дать видъ случайности, и посовѣтовалъ сейчасъ же послать нарочнаго. Онъ самъ написалъ нѣсколько строкъ Ивану Сергѣичу, и нарочный уѣхалъ. Уѣхалъ и Камышлинцевъ съ Благомысловымъ.

Дня черезъ два Иванъ Сергѣичъ, печальный и огорченный, сидѣлъ передъ братомъ. Старикъ былъ слабъ и дѣлалъ только короткіе отвѣты и вопросы.

— Что Ольга? — спросилъ онъ.

— Она очень встревожена, и поручила тебѣ много кланяться. Очень жалѣла, что сама не можетъ пріѣхать.

— Не то!—сердито прервалъ старикъ.—Съ тобой какъ?

Иванъ Сергѣичъ печально улыбнулся.

— Очень хороша!—сказалъ онъ.—Скоро родитъ мнѣ Камышлинцева, а тамъ, кажется, графы уже пойдутъ! (онъ, кажется, замѣтилъ происшедшій разрывъ). — Весьма пріятно оставлять послѣ себя чужихъ дѣтей.

— Вздоръ! не все-ли равно! ну я своего оставляю: пріятно?

— Моя драма кончается мѣщанской комедіей съ обманутымъ мужемъ! — съ горькой усмѣшкой продолжалъ Иванъ Мытищевъ, умышленно не отвѣчая на замѣчаніе брата.

— Все фарсъ! всѣ мы обмануты!—угрюмо сказалъ старикъ.

Эти слова Василія Мытищева напомнили религіозному брату о предметѣ, котораго онъ боялся коснуться, хотя онъ составлялъ его самое горячее желаніе, и, ѣхавши къ брату, онъ только и думалъ о томъ. Онъ рѣшился приступить къ нему.

— Послушай, братъ,—сказалъ онъ,—ты знаешь мои мысли... на этотъ счетъ. Теперь спорить объ этомъ не время. Положимъ, ты сомнѣваешься, не вѣришь, но ошибки сродны людямъ! Неужели тебѣ не приходитъ никогда на мысль «а если?» Еще не поздно: примирись! Для меня!— сказалъ, умоляя, Иванъ и взялъ старика за руку.

Но онъ сердито вырвалъ ее.

— Оставь! я не сомнѣваюсь! — хрипло сказалъ онъ, сверкнувъ глазами.— На болѣзнь надѣешься? Голова еще цѣла!—Онъ замолчалъ и сталъ тяжело и коротко дышать. Волненіе душило его.

Иванъ Мытищевъ печально опустилъ голову. Слезы бѣжали по его лицу.

Старикъ закрылъ глаза и долго не могъ успокоиться. Наконецъ его короткое дыханіе стало ровнѣе и онъ открылъ глаза.

Иванъ ничего не заговаривалъ.

— Александра!—сказалъ старикъ. — Сынъ сейчасъ же явился; онъ кивнулъ ему на стулъ, и тотъ сѣлъ.

— Деньги, по тысячѣ старикамъ! — началъ отрывисто Василій, разумѣя подъ стариками ключницу и слугу, которые ходили за нимъ. — Гробъ изъ простыхъ досокъ. Покрыть—этимъ!—онъ указалъ на одѣяло, которымъ одѣты были его ноги. Онъ помолчалъ.

— Да не читать! — сказалъ онъ сердито, какъ-бы вспомнивъ что-то. — А тамъ, какъ хотите!... Послѣ смерти не зачѣмъ тянуться жить...

Онъ опять закрылъ глаза и замолчалъ.

— Сжечь бы! — тихо проговорилъ онъ, не открывая глазъ.

Иванъ Сергѣичъ не понялъ, и, думая, что братъ начинаетъ бредить, переглянулся значительно съ племянникомъ.

Тотъ пожалъ плечами, какъ-бы говоря: «не понимаю, или завирается»!

— Что сжечь?—спросилъ Иванъ Сергѣичъ?

Василій открылъ глаза.

— Это сжечь!—громко и сердито сказалъ онъ, и пальцемъ ткнулъ въ свое тѣло.

Вдругъ онъ повернулъ голову къ сыну, посмотрѣлъ на него какъ-бы съ надеждой.

— А?—сказалъ онъ, какъ-бы спрашивая его согласія.

— Да, это хорошо! — сказалъ сынъ, вѣроятно, чтобы успокоить старика. Онъ не разъ слышалъ отъ него и прежде желаніе быть сожженнымъ. Но старикъ понялъ его, кажется, иначе. Онъ съ ласковой усмѣшкой взглянулъ на него. Казалось, ему въ первый разъ пришла мысль, что сынъ его можетъ быть на что-нибудь пригоденъ и если что захочетъ, то надъ препятствіями не задумается.

Иванъ Сергѣичъ ничего не отвѣчалъ. Онъ былъ глубоко возмущенъ и опечаленъ.

Старикъ былъ утомленъ и задремалъ. Было уже поздно. Иванъ Мытищевъ тихо вышелъ, велѣлъ себѣ сдѣлать въ сосѣдней комнатѣ постель и, въ ожиданіи ея, тихо бесѣдовалъ съ старой ключницей и старымъ слугой, распрашивая ихъ про болѣзнь брата. Онъ не выдержалъ, чтобы опять не заговорить о предметѣ, его болѣе всего заботившемъ.

— Пробовалъ поговорить о причастіи: и слышать не хочетъ,—сказалъ онъ грустно.

Ключница отчаянно махнула рукой.

— И не говорите!—сказала она,—ужь я давно пробовала, такъ куда тебѣ! Вѣдь всѣмъ бы человѣкъ: вѣдь ворчалъ только, а сердце доброе! золотой человѣкъ! ну; а грѣхъ этотъ, грѣхъ...—она не договорила и заплакала.

— Тверды въ этомъ очень! — сказалъ положительно старикъ-слуга.

— Не послать ли завтра за отцомъ Никандромъ?—сказалъ Мытищевъ, желая во что бы то ни стало, хоть обманомъ примирить брата съ церковью.—Скажемъ ему сначала, что онъ просто провѣдать его зашелъ.

— Врядъ-ли! — сказала печально ключница. — Развѣ попробовать, можетъ Господь вразумитъ?

— Нѣтъ, оставьте, сударь! — сказалъ слуга. — Огорчатся они! Что же, если у нихъ вѣра такая была?

Но сомнѣнія ихъ были печально разрѣшены. Вошелъ Александръ Мытищевъ, нѣсколько встревоженный, и сказалъ: «отецъ умеръ»! Всѣ встревожились, вошли въ комнату и увѣрились въ печальной истинѣ. Всклокоченная голова старика была опущена, и онъ былъ мертвъ: вода задушила его.

На другой день все было сдѣлано, какъ завѣщалъ старикъ. Гробъ сколоченъ изъ простыхъ досокъ, покровомъ служило простое одѣяло. Иванъ Мытищевъ хотѣлъ было сдѣлать все «какъ слѣдуетъ», но сынъ равнодушно, но настойчиво замѣчалъ: «вѣдь отецъ такъ велѣлъ», и сдѣлалъ, какъ было завѣщано. Иванъ Сергѣичъ удовольствовался тѣмъ, что рѣшилъ на свои деньги купить парчи на ризы, и успокоилъ этимъ приходскаго священника. Сынъ воспротивился и тому, чтобы надъ покойникомъ читали Псалтырь.

— Нельзя же этого; этого требуетъ законъ церкви!—сказалъ дядя.

— Вѣдь надъ крестьянами же рѣдко читаютъ?—замѣтилъ сынъ. И когда дядя началъ настаивать, онъ остановилъ его неожиданнымъ возраженіемъ:

— Ну, а какъ отецъ-то слышитъ еще?—замѣтилъ онъ.

Нѣсколько мистическій дядя былъ смущенъ этимъ замѣчаніемъ.

— Ну, я самъ буду читать въ сосѣдней комнатѣ!—сказалъ онъ.

— Тамъ какъ хотите,—сказалъ онъ, — хоть и дьячковъ призовите.

Такъ и было сдѣлано. Въ комнатѣ, сосѣдней съ залой, въ которой стоялъ покойникъ, самъ Иванъ Мытищевъ передъ образомъ читалъ Псалтырь, но онъ уставалъ, и по предложенію племянника его смѣнили дьячки.

Все шло обычнымъ порядкомъ, но наканунѣ похоронъ случилось странное происшествіе.

Былъ дождь. Крестьяне толпой приходили прощаться съ старымъ бариномъ. Ихъ не удивляла необыкновенно простая обстановка похоронъ, они давно привыкли къ странностямъ своего «старика» и думали, какъ его старый слуга: «что жъ, если онъ такой вѣры: можетъ по своимъ книгамъ дошелъ»! Вообще русскаго человѣка, видавшаго скопцовъ, бѣгуновъ, прыгуновъ и разные нелѣпѣйшіе толки, эксцентричностями въ дѣлѣ религіи не удивишь.

Прощались они съ своимъ бариномъ, тихо проходя по соломѣ, обильно настланной на старый паркетъ, чтобы не загрязнить его. Свѣчи горѣли вокругъ досчатаго гроба: подъ своимъ одѣяломъ лежалъ старикъ съ всклокоченными волосами. Густыя сѣдыя брови нависли сердито, какъ будто онъ и въ гробѣ готовъ былъ ворчать. Но умное лицо отекло и было безстрастно и безсмысленно. Въ боковую комнату дверь была полуоткрыта, и тамъ слышалось мѣрное жужжаніе чтеца, изрѣдка вытягивающаго какое-нибудь неразобранное дремлющими глазами слово.

Вдругъ ночью крикъ «пожаръ» огласилъ домъ. Когда люди, большей частью не ложившіеся и кое-гдѣ прикурнувшіе, сбѣжались, зала, гдѣ стоялъ покойникъ, была въ огнѣ. Дымъ и пламя отъ горѣвшей соломы были такъ велики, что въ комнату нельзя было и войти. Полагали, что одна изъ свѣчей, горящихъ у гроба, упала и зажгла солому.

Однако большаго несчастья не послѣдовало. Дождь, сбѣжавшійся народъ, исправные пожарные инструменты не дали распространяться огню. Молодой помѣщикъ оказался молодцомъ и дѣйствовалъ ловко. Онъ вообще былъ человѣкъ наружнаго порядка и механической исправности. Инструменты, въ безпорядкѣ стоявшіе въ сараѣ, вскорѣ по пріѣздѣ, какъ только попались ему на глаза, были исправлены, и онъ имъ, къ великому удовольствію дворни и мальчишекъ, сдѣлалъ смотръ. Во время пожара онъ тотчасъ велѣлъ затворить

двери и окна горящей комнаты и, заперевъ въ ней дымъ, дѣйствовалъ только на стѣны... Тѣмъ не менѣе, вся часть дома, уголъ котораго составляла зала, прогорѣла и была испорчена, особенно сильно горѣлъ сухой паркетъ: полы прогорѣли насквозь, и когда огонь былъ потушенъ, между обгорѣвшими балками нашли обуглепныя кости старика.

Такимъ образомъ, случайно или нѣтъ, но исполнилось желаніе старика, и тѣло его не досталось червямъ, къ которымъ онъ чувствовалъ такое отвращеніе; впрочемъ, кости его были собраны и въ новомъ гробу прилично отпѣты и схоронены.

Молодой хозяинъ не былъ огорченъ пожаромъ:— Эдакъ лучше еще!—говорилъ онъ про домъ, — а то великъ больно былъ сарай-то: не по нынѣшнимъ порядкамъ!

Иванъ Сергѣичъ пытливо и подозрительно посматривалъ на племянника и наединѣ спросилъ:

— А отъ чего произошелъ пожаръ, Александръ?

— Отъ огня вѣроятно!—наивно отвѣчалъ, нѣсколько грустный, но спокойный племянникъ.

Иванъ Сергѣичъ не продолжалъ распросовъ, похоронивъ брата, онъ уѣхалъ, а молодой помѣщикъ вступилъ въ свои права, и непрерывно работающая машина природы, поглотивъ одну ничтожную мошку, продолжала свой безстрастный ходъ вѣчной жизни и вѣчной смерти.

II.

Когда Иванъ Сергѣичъ Мытищевъ далъ знать Камышлинцеву о смерти брата, посланный не засталъ его уже въ имѣніи. Возвратясь отъ больнаго старика, Камышлинцевъ собрался въ городъ, но онъ заѣхалъ проститься и переговорить о своемъ хозяйствѣ съ Еремѣевымъ.

— Какъ вы поѣдете?—спросилъ Еремѣевъ:—въ горахъ, говорятъ, дожди были, съ Юнгуша паромъ сорвало, а вамъ придется два раза переѣзжать его.

Камышлинцевъ былъ въ нерѣшимости.

— Развѣ ѣхать въ объѣздъ, на Темрюково? — сказалъ онъ;—да туда надо ѣхать на своихъ: лошадей тамъ не сыщешь теперь.

— Ну такъ что жъ?.. А кстати и мнѣ нужно бы въ ту сторону, въ лѣсную дачу,—замѣтилъ Еремѣевъ.

— Ну, такъ вотъ и поѣдемте вмѣстѣ!—сказалъ Камышлинцевъ.

— И отлично:—замѣтилъ Еремѣевъ.

Такъ и было рѣшено. Рано утромъ Еремѣевъ заѣхалъ за Камышлинцевымъ и они отправились.

Часу въ 9-мъ пріѣхали они на первый привалъ. Это была большая и зажиточная деревня вѣдомства государственныхъ имуществъ. У Еремѣева по всей дорогѣ были знакомые.

— Есть у меня и здѣсь одинъ мужикъ знакомый,—сказалъ Еремѣевъ,—да таракановъ у него много, и къ тому-же раскольникъ: табаку не любитъ! такъ мы на станцію; смотрительша — баба знатная!

И они подъѣхали къ трехъ-оконному домику, на выѣздѣ, съ садикомъ передъ окнами и классическимъ пестрымъ столбомъ, на которомъ сохранилось еще старинное названіе верстъ «вдоль до Москвы» столько-то.

Это была маленькая станція на уѣздномъ трактѣ, всего съ двумя парами лошадей. Старый смотритель, большой пьяница и мистикъ, былъ переведенъ сюда за совершенной непригодностью на большомъ трактѣ. Но жена его, здоровая и хлопотливая баба, была женщина бойкая: она и станціей завѣдывала, и хозяйство у ней шло споро.

Нашихъ пріѣзжихъ прежде всего озадачила надпись надъ дверью. На косякѣ было надписано мѣломъ: «рабовъ Божіихъ Никанора и Степаниды дома нѣтъ».

— Куда это рабы божіи Никаноръ и Степанида отправились?—спросилъ Камышлинцевъ.

— А вотъ мы узнаемъ, — отвѣчалъ Еремѣевъ.

Они вошли въ большую комнату съ извѣстной обстановкой: обитые кожей стулья, десятки почтовыхъ предписаній въ рамкахъ по стѣнамъ, часы въ футлярѣ, вѣчно врущіе, и прикованная къ стѣнѣ, какъ Прометей, тетрадка для записки жалобъ. Въ комнатѣ не было признака жизни, но надъ дверью опять красовалась надпись: «рабовъ Божіихъ Никанора и Степаниды дома нѣтъ».

— Эй, рабъ Божій, Никаноръ, дома, что ли?— закричалъ Еремѣевъ.

— Дома!—отвѣчалъ заспанный голосъ; затѣмъ кто-то завозился, всталъ съ кровати, и вскорѣ явилась заспанная, растрепанная и мрачная фигура въ форменномъ сюртукѣ, на которомъ оставалось всего двѣ свѣтлыя пуговицы.

— А, это вы, Илья Игнатьичъ! — сказалъ онъ фамильярно, но, увидѣвъ Камышлинцева, нѣсколько воздержался.

— Я! А раба Божія Степанида—тоже дома?— спросилъ Еремѣевъ.

— Дома, въ огородѣ что-то копается, — отвѣчалъ смотритель.

— Для чего же это ты вездѣ сдѣлалъ надпись, что васъ дома нѣтъ? (Надписи потомъ оказались не только надъ дверями, но и надъ окнами).

Смотритель сначала не сообразилъ.

— А, это-то?—сказалъ онъ, догадавшись,—это отъ *нея*.

— Отъ кого отъ нея? спросилъ Камышлинцевъ.

— Извѣстно, отъ кого! отъ *нея*...

— Да отъ лихорадки, что ли?—спросилъ Еремѣевъ.

— А то отъ кого же? назвать что-ли ее, чтобы привязалась? Это вѣдь вы не вѣрите ни во что!— сказалъ онъ съ сердитымъ упрекомъ.

Показалась и раба Божія Степанида, маленькая, толстенькая и проворная баба. Она поздоровалась, затараторила, мигомъ поставила самоваръ, собрала

приборъ и пошла готовить яичницу, успѣвая изъ кухни переговаривать съ гостями.

— Кто это на васъ жалобу настрочилъ?—спросилъ Камышлинцевъ, заглянувъ отъ нечего дѣлать въ Прометея и прочитавъ въ немъ жалобу какого-то подпоручика, который на двухъ страницахъ расписывалъ, какъ смотритель не давалъ ему лошадей и бранился съ нимъ.

— Да вотъ какой-то молокососъ написалъ, давай, говоритъ, лошадей; а передъ этимъ управляющій пятерикъ взялъ. Мой-то убогій толкуетъ, толкуетъ съ нимъ, да еще и языкъ-то у него плохо шевелится, а тотъ, такъ и налетаетъ, такъ и налетаетъ. Досадно мнѣ стало. Я ему говорю: да что вы на него нападаете? Какихъ вамъ лошадей, коль управляющій взялъ? «Да нѣтъ, говоритъ, ему тройка прописана». — Ну, а уѣхалъ на пятеркѣ... «Мнѣ, говоритъ, до этого дѣла нѣтъ, да съ тобой я и говорить не хочу, ты не смотритель»!—Да вѣдь, я говорю, онъ мнѣ мужъ, чего же вы на него нападаете? гдѣ ему съ вами сговорить? А онъ опять свое:—«не твое, говоритъ, дѣло»!—А я ему опять: да какъ же не мое, коль онъ мой законный мужъ? Спорили; спорили, чай цѣлый часъ, и онъ какъ ракъ покраснѣлъ. Даже у меня въ горлѣ пересохло, надоѣло мнѣ, плюнула я,—ну, говорю, баринъ, здоровая у тебя глотка! да и велѣла запасныхъ ему дать. А онъ возьми, подлецъ да и настрочи.

— Самое подлое житье!—заговорилъ изъ-за перегородки смотритель.—Лошадей мало, проѣзжающіе бранятся, а народъ кругомъ—одинъ грѣхъ!...

— Какой грѣхъ съ народомъ?—спросилъ Еремѣевъ, входя къ нему за перегородку. Камышлинцевъ тоже заглянулъ и, увидѣвъ оригинальность обстановки, тоже вошелъ.

— Это была обыкновенная маленькая комната съ сундукомъ, столомъ, грязной кроватью и нѣсколькими образами, передъ которыми висѣлъ вырѣзанный изъ дерева голубь съ распущенными крыльями и пасхальное яйцо въ длинной сѣткѣ, вырѣзанной изъ бумаги. Но особенность комнаты составляли стѣны ея. Кромѣ прибитыхъ гвоздочками лубочныхъ картинъ, изображающихъ большею частью чудеса или бесѣды святыхъ людей съ грѣшными, гдѣ вопросы и отвѣты налетали изъ устъ печатными буквами, всѣ свободныя мѣста стѣнъ были исписаны углемъ и мѣломъ, и очевидно исполняли должность памятной книжки. Записывались тутъ сны, видѣнія, замѣчанія и прочее, и видно было, что во всемъ доискивался таинственный смыслъ. Такъ въ одномъ мѣстѣ были нарисованы какіе-то круги и столбы, а внизу надпись: «небесное знаменіе февраля 3-го дня 1857 года», и потомъ прибавлено: «слышно, былъ въ Царьградѣ пожаръ». Но большей частью записывались сны, такъ напримѣръ: «7-е іюня. Видѣлъ голубицу; несетъ во рту яко бы златый горшокъ. И вопроша ее: «что несешь?» и отвѣща: «сметану». Спросилъ: «кому?» но разбуженъ разгономъ». — «Губернскій почтмейстеръ получилъ орденъ Святыя Анны 3-й степени». Или: «на утріе читалъ въ псалмѣ: «наступивши на василиска и змія». Вечеромъ идя въ баню наступилъ на ужа; но укушенъ онымъ не былъ».

— Ну говори про народъ-то! — сказалъ Еремѣевъ.

— А народъ-то бѣда! кромѣ того, что раскольникъ, да еще и съ ними знается.

— Да съ кѣмъ, съ ними?—спросилъ Еремѣевъ

— Ну, все вамъ назови! хорошо развѣ по имени-то ихъ называть? и вспомнить-то грѣхъ! тьфу!—онъ отплюнулся.

— Что жъ они дѣлаютъ?—спросилъ Еремѣевъ!

— А вотъ-что! этто выхожу на свѣту, на крыльцо: почту проводилъ. Стою и смотрю на младый мѣсяцъ; а старуха одна—вѣдьма такая тутъ у насъ есть—вышла на улицу, да рюриковъ и пускаетъ.

— Кого?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Рюриковъ!—повторилъ смотритель.

— Это что еще за звѣрь?—спросилъ Еремѣевъ.

Смотритель посмотрѣлъ на него съ недовольной миной.

— Тебѣ бы только зубаскалить,—отвѣчалъ онъ укоризненно.

— Да нѣтъ же, говорятъ тебѣ, не знаю. Птицы, что ли, это?

Старикъ всталъ, медленно надѣлъ сюртукъ, и, ни слова не сказавъ, ушелъ. Такъ они и не могли допытаться, что были за новые рюрики.

Въ комнатѣ было душно и пахло чѣмъ-то затхлымъ, а на дворѣ теплое и весеннее утро было ясно.

— Знаете, что,—сказалъ Камышлинцевъ,—устроимъ-ка чай на воздухѣ?

— И отлично,—отвѣтилъ Еремѣевъ.—Раба Божія Степанида, давай намъ самоваръ на крыльцо, скомандовалъ онъ.

— Хорошо, голубчикъ, хорошо,—отвѣчала она, и немедленно командировала ямщиковъ переносить, что нужно.

Проѣзжающіе наши устроились у крыльца, въ ожиданіи чая, и вскорѣ около нихъ началъ собираться народъ. Сначала подошелъ невысокій коренастый мужикъ.

— Еще здравствуйте!—сказалъ онъ, подходя и снимая шапку.—Гораздо ли живешь, Илья Игнатьичъ?—продолжалъ онъ, подавая Еремѣеву руку.—Что нынче спѣсивъ сталъ—не заѣхалъ?

— Да не одинъ вотъ ѣду, съ гостями — отвѣчалъ тотъ.

— А кто они будутъ? — сказалъ старикъ, указывая на Камышлинцева.

Еремѣевъ назвалъ сосѣда помѣщика и его товарища.

— Нешто!— подтвердительно сказалъ старикъ:— ну что жь, всѣмъ бы мѣстечко было,—прибавилъ онъ.

— Да курятъ они больно, такъ, пожалуй, тебѣ бы не понравилось,—замѣтилъ Еремѣевъ.

— Э, ничего! нынче ужь и наши парни этой дрянью заниматься стали.

Онъ подсѣлъ къ нимъ и началъ разговоры про житье.

— Ну, а что, про насъ не слышно, когда освободятъ?—спросилъ старикъ.

— Да васъ отъ кого же освободить-то, кто у васъ помѣщикъ?—спросилъ Камышлинцевъ.

— У насъ-то? и-и, пропасть! у твоихъ-то крестьянъ, какой ни на есть ты, да одинъ былъ, тебя и знали, а у насъ управляющій этотъ, да окружной, да помощникъ, да волостной, да писарь, да левизоры разные, и... и... и... не сочтешь! Опять же угодья, оброчныя статьи! ты помѣщикъ, ты знаешь въ нихъ толкъ; а онъ изъ Питера или отколѣ тамъ пріѣхалъ—не знаетъ, что такое и сабаномъ называется, чего онъ знаетъ въ землѣ? Этто отдали мельницу съ потныхъ лужковъ задаромъ!

— Развѣ упустилъ? вѣдь ты давно о ней думалъ,—сказалъ Еремѣевъ.

— Да какъ ее укараулить, — сердито сказалъ старикъ;—развѣ мы газеты читаемъ? Сдѣлали въ губерніи торги, ну, разъ мы провѣдали, пріѣхали, проторились, а торги отложили. Проходитъ время, слышимъ, другіе были и отдали мельницу мѣщанину городскому за 30 рублей! А мельница и лужокъ, я тебѣ скажу...—и онъ началъ расписывать выгоду ихъ и прелести. Видно было, что это его задѣло за живое, и онъ началъ перебирать всѣ за безцѣнокъ отданныя статьи.

Шелъ другой крестьянинъ, сталъ присматриваться къ проѣзжимъ и, увидавъ Еремѣева, подошелъ къ нему, и приподнявъ шапку сказалъ:

— Ильѣ Игнатьичу—наше!

— А, Безпалый, здравствуй.—Дѣйствительно у мужика не доставало на одной рукѣ двухъ порубленныхъ пальцевъ, кто говоритъ—отъ неосторожности, а кто—отъ рекрутчины.—Ты какъ здѣсь?..

— Да вотъ, кормлюсь! ѣздилъ въ горы дегтику закупить.

И этотъ подошелъ; опять пошли распросы.

Крестьянинъ былъ удѣльный.

— Ну, что у васъ? — спросилъ Еремѣевъ, — какъ?

— Ничего, — отвѣчалъ мужикъ: — управляющій прежній, Петръ Степановичъ (но фамиліи ни одного онъ не зналъ), больно садомъ донималъ, разводи ему садъ возлѣ каждаго двора, а на что мужику садъ и когда имъ заниматься? Ну, а нынѣшній толковитѣе будетъ, про сады ничего, мы ихъ и порѣшили. За то запашкой больно донимаетъ. И не приведи Богъ, какъ дрожитъ надъ ней, хуже помѣщика дрожитъ!

— Ну, а новаго что? — спрашивалъ Еремѣевъ.

— Новаго ничего, слава Богу. А вотъ въ Андреховой такъ была секуція.

— За что? кто дѣлалъ? — спросили Камышлинцевъ и Еремѣевъ.

— Проѣзжалъ ихъ этто въ Темрюково цѣлый синклитъ,—говорилъ крестьянинъ,—да узнали, что туда еще команда не пришла, такъ Андреховой запялись. Слышали, чай, про Андрехову?

Камышлинцеву дѣйствительно извѣстно было это дѣло. Оброчные крестьяне, недовольные надѣломъ, не пахали его. Они своевременно вносили оброкъ, нанимали у сосѣдей землю, но до своего надѣла не дотрогивались.

— Ну, что же?—спросилъ Камышлинцевъ.

— А такую комедію тамъ разъиграли — бѣда! Это сначала доказывать имъ началъ, убѣждать—они свое. «Мы, говорятъ, отъ оброка не отказываемся, а земли не возьмемъ». Онъ опять имъ, а они свое... Видитъ — не сговорить; кто болѣе супротивъ его говорилъ, «это говоритъ, зачинщикъ, взять его!» — Они и говорить перестали. Ну, человѣкъ пять посѣкли. «Ты, говоритъ исправнику, не умѣешь ихъ заставить пахать! Завтра, говоритъ, всѣмъ съ сохами выѣхать, кто не выѣдетъ—высѣчь».—Исправнику говоритъ: «Смотри!» — Ну тотъ: «Слушаю!»—А ты слушай,—сказалъ крестьянинъ, ухмыляясь:—поутру ни одного не собралось. Одначе началъ исправникъ съ становыми да съ сотниками бѣгать по дворамъ, сгонялъ, сгонялъ, собрались! Вышелъ самъ. «А, собрались, говоритъ. Ѣдемъ въ полѣ!..»—Поѣхали, а за ними точно артилерія... Пріѣхали. Увидалъ поле, «ваше?» говоритъ.—Наше, ваше сіятельство!—«Паши!»—Шепчутся наши крестьяне. — «Чего, говоритъ, еще? паши», говоритъ.—Только староста молвитъ: «Осмѣлюсь доложить, тутъ, говоритъ, яровище было».—А онъ и не знаетъ, что за яровище. «Чего же, говоритъ, вамъ надо?»—Ржанище надо. — «Ну веди на ржанище». — Пріѣхали. — А ты слушай! — вновь прибавилъ разсказчикъ, хотя всѣ и безъ того слушали. — Ну, опять: «паши!»—Да у насъ, говорятъ, поле не дѣлено! — Не вытерпѣлъ, выругалъ ихъ. «Я, говоритъ, раздѣлю! Становись первый на первую десятину, второй на вторую; полиція, разведи!» — Полиція развела. Крестьяне смѣются. Потѣха! «Вотъ-то, говорятъ, раздѣлилъ, и по тягламъ, и по дворамъ».—Ну, развели; онъ ко всѣмъ полицію приставилъ, а самъ подошелъ къ первому, говоритъ: паши»! — Земля, говоритъ, жестка, ваше сіятельство, соха не возьметъ, надо сабономъ.—«Врешь, говоритъ, паши»!—Тотъ уперъ въ землю, рванулъ, лемехъ пополамъ! Онъ ко второму: «паши»!—Тотъ говоритъ: нельзя, соха не беретъ.—«Врешь, говоритъ»,—да не выдержалъ, самъ-то его въ шею-то пихаетъ; тотъ какъ пустилъ соху-то поверхъ земли, да рысью, да рысью!... Бился онъ, бился, и плюнулъ. Обѣщалъ обжорную команду поставить и держать — покелева пахать не станутъ.

Въ продолженіе этого разговора, время отъ времени издали началъ долетать до разговаривающихъ звонъ колокольчика; мало по малу онъ сталъ слышнѣе, и вдругъ звякнулъ громко вблизи, и въ тоже время тройка лошадей и тарантасъ показались изъ-за угла станціи, и остановились у крыльца, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ собравшагося общества.

— Разгонъ какой-то пришелъ,—замѣтилъ старикъ раскольникъ.

Между тѣмъ изъ стараго, дорожнаго тарантаса, кузовъ котораго сзади болѣе походилъ на арбузъ, чѣмъ на коляску, вышла сначала небольшая полненькая женщина, въ тѣхъ неописанныхъ одеждахъ, въ которыхъ ѣздятъ по дорогамъ засидѣвшіяся въ деревняхъ небогатыя провинціалки барыни, а за ней выпрыгнула молоденькая, высокая дѣвушка, съ башлыкомъ на головѣ. Пріѣхавшіе хотѣли войти уже въ домъ, когда молоденькая оглянулась на сидѣвшихъ и вдругъ три голоса вскрикнули: «Анна Ивановна»!

— Ба, знакомыя все лица!—сказала она, подходя къ группѣ,—и пошли здорованья и распросы.

— Откуда вы?—спросила она.

Еремѣевъ и Камышлинцевъ отвѣтили.

— А вы какъ сюда попали?—спросила она Благомыслова.

— Съ хозяиномъ,—отвѣчалъ онъ.

— А я съ теткой въ городъ ѣду,—сказала она, отвѣчая на вопросы.—Мы съ Дарьей Степановной, съ недѣлю, какъ пріѣхали, прямо въ свою деревню. Теперь спѣшу устроиваться. Съ первымъ пароходомъ товаръ свой жду.

При словѣ *товаръ* она невольно улыбнулась.

— Къ вамъ письма есть отъ вашихъ знакомыхъ,—сказала она Камышлинцеву,—только онѣ у меня спрятаны далеко. Я вамъ очень благодарна за рекомендацію: она мнѣ много была полезна.

— Ну и отлично. Такъ мы вмѣстѣ пустимся?—сказалъ Еремѣевъ.—Вы на своихъ?

— На своихъ.

— И отлично! а теперь подсаживайтесь къ намъ чай пить. Вы съ Ариной Степановной? Гдѣ же она, невѣста моя?—Еремѣевъ въ шутку называлъ такъ тетку Анюты, пятидесятилѣтнюю дѣву, отъ чего она всегда конфузилась.

— А вотъ я сейчасъ ее вытащу. Тетя! тетя! женихъ здѣсь! кричала она, и отправилась въ комнату.

Компанія крестьянъ, видя, что не до нихъ, начала откланиваться.

— Прощенія просимъ!... къ намъ напредки! не забывайте!—говорили они, удаляясь.

Черезъ минуту вмѣстѣ съ Анютой вышла невысокая полненькая и румяная дѣва, лѣтъ подъ пятьдесятъ, съ добродушнымъ круглымъ лицомъ, вообще весьма похожая на брата своего Ивана Степановича. Она была въ какомъ-то шерстяномъ на ватѣ, узенькомъ, не то платьѣ, не то капотѣ, завязанномъ въ таліи поясками изъ той же матеріи, сзади пришитыми; на шеѣ у нея былъ платочекъ, а сверхъ всего еш ольшой пуховый платокъ, концы котораго, п рещенные на груди, были завязаны на спинѣ, а на головѣ черный шелковый на ватѣ капоръ.

— Невѣста, такъ-то вы спѣшите къ жениху!—говорилъ Еремѣевъ. Онъ взялъ ея руку и сдѣлалъ видъ, что хочетъ обнять.

— Полно! полно! бесстыдникъ! хоть бы чужихъ людей посовѣстился!—сказала она, покраснѣвъ.

— Какіе чужіе?.. все свои!—сказалъ Еремѣевъ.—Развѣ Дмитрія-то Петровича не знаете?

— Имѣла удовольствіе встрѣчать ихъ, но очень давно! — говорила она, церемонно раскланиваясь съ нимъ.

— Да, можетъ, лѣтъ тридцать назадъ, когда онъ былъ у кормилицы? — замѣтилъ Еремѣевъ. — Садитесь-ка, — сказалъ онъ, отодвигаясь на скамейкѣ. — Ну, куда вы поднялись отъ своего гнѣзда?

— Охъ, не говорите, Илья Игнатьичъ,—начала она, усаживаясь.—Да вотъ проказница!.. слышали, чай, что магазинъ вздумала открывать? въ торговлю пускаемся, — сказала она съ насмѣшливымъ неудовольствіемъ.

— Тетя,—строго замѣтила Анюта,—а условіе—не сердиться?

— Ну, прекрасно, — сказалъ Еремѣевъ, — она магазинъ открываетъ, а вы-то зачѣмъ туда? продавать, что ли, будете, или на выставку?

— Ахъ, батюшки!—заговорила тетка, вспыхнувъ и дѣйствительно начиная сердиться, что всегда доставляло особенное удовольствіе и чего имѣлъ талантъ добиваться Еремѣевъ, — чтожь ее, одну, что ли отпустить?

— Резонъ! а кто жь у васъ за кѣмъ будетъ присматривать?— приставалъ Еремѣевъ.

— Я думаю, кто постарше! у добрыхъ людей такъ водилось встарину,—отвѣчала старая дѣвица.

— Не вижу никакой цѣли, — продолжалъ Еремѣевъ.

Старуха, кажется, боялась, чтобы Камышлинцевъ не принялъ всего этого за чистую монету и не заподозрилъ ее въ легкости поведенія. Она совершенно сконфузилась и готова была заплакать.

— Что это, Илья Игнатьичъ, вы говорите! Что они могутъ подумать обо мнѣ!—съ глубокимъ укоромъ говорила она.

— Подумаю, что вы очень добры и избаловали этого болтуна,—сказалъ Камышлинцевъ, чтобъ ее успокоить, и тѣмъ доставилъ большое удовольствіе Аринѣ Степановнѣ. Въ это время хозяйка принесла самоваръ.

— А яичницу-то? послѣ что ли?—спросила она.

— Все давай, тетка, вмѣстѣ,—командовалъ Еремѣевъ,—все въ одинъ мѣшокъ пойдетъ! Барышня, нуте-ка принимайтесь, — говорилъ онъ Анютѣ и очистилъ ей мѣсто противъ самовара.

Анюта ловко принялась за дѣло, всѣ стали весело завтракать и въ разговорѣ не видали, какъ шло время. Когда завтракъ кончился и тетка ушла побесѣдовать съ своей знакомой—хозяйкой, Анюта таинственно разсказала петербургскія новости. А разсказывать было что: это было памятное время броженія молодыхъ силъ. Извѣстія заставили призадуматься Камышлинцева и произвели большое впечатлѣніе на Благомыслова. Только Еремѣевъ, выслушавъ ихъ, сказалъ многозначительно:

— Эге!—но, подумавъ, прибавилъ:—все вздоръ! все это только поверхность рабитъ.

Часа черезъ три лошади были выкормлены и общество веселой гурьбой собралось вмѣстѣ въ дорогу. На проводы явился и мрачный мистикъ—смотритель.

— Ну, полно дуться-то.—сказалъ Еремѣевъ,—выпьемъ-ка на прощанье.

Онъ налилъ изъ дорожной фляги стаканчикъ и подалъ смотрителю, тотъ молча выпилъ и нѣсколько прояснился, но былъ, казалось, занятъ какой-то мыслью.

Они хотѣли уже садиться, какъ смотритель остановилъ ихъ.

— Позвольте!—сказалъ онъ вдругъ, какъ будто пробудившись. Всѣ остановились. — Вотъ вы ученый народъ; ну, а какъ вы полагаете, что теперь идетъ, — спросилъ онъ глубокомысленно: — года, или времена?

Слушатели были совершенно озадачены.

— Я полагаю, года!—сказалъ серьезно Еремѣевъ.

Смотритель поглядѣлъ на него съ сожалѣніемъ.— Вы вотъ только смѣяться умѣете,—сказалъ онъ,— а ничего не знаете: года прошли, теперь идутъ времена.

— Отчего же времена? — спросилъ Камышлинцевъ.

— Да оттого же,—спокойно отвѣчалъ нелюбящій объясненій смотритель и замолчалъ.

— Полно тебѣ вздоръ-то молоть, чего ты господъ-то держишь! — закричала на него жена. — Что вы слушаете его, господа!—обратясь къ проѣзжающимъ, сказала она:—вѣдь его-то вздору не переслушать.

Смотритель посмотрѣлъ на жену, покачалъ съ состраданіемъ и презрѣніемъ головою, задумчиво повернулся и ушелъ.

Общество весело разсѣлось въ свои экипажи и тронулось.

III.

Къ вечеру путники пріѣхали въ большое селеніе, принадлежащее уже къ Темрюковскимъ заводамъ. Заводскіе жители обыкновенно раздѣляются на два класса: одинъ — весьма зажиточный, другой—уже бѣдный, чуть не до гола; первый составляютъ обыкновенно бывшіе или настоящіе заводскіе чиновники, т. е. безчисленные конторщики, повѣренные, или ихъ потомки и пр., а также главные мастеровые; вторые — просто чернорабочіе. Почти всѣ они раскольники, а какой секты, и сами опредѣлить не съумѣютъ, и кромѣ того, рѣзко отличаются нравами и образомъ жизни отъ обыкновенныхъ пахотниковъ. Всѣ одѣваются гораздо лучше и щеголеватѣе, живутъ безпорядочнѣе и беззаботнѣе. У бѣднаго крестьянина есть лошаденка, есть скотинка, онъ отказываетъ себѣ во всемъ, кромѣ грѣшнаго винца, но не смотря на бѣдность— *онъ домовитъ;* заводскій бѣднякъ голъ, какъ соколъ, а между тѣмъ у него копѣйка ребромъ; зажиточные же занимаются торговлей и образомъ жизни болѣе подходятъ къ мѣщанству, нежели къ крестьянству.

У Еремѣева и тутъ были знакомые. По его указанію, компанія становилась у большой просторной избы, съ тесовыми воротами, вверху которыхъ былъ врѣзанъ мѣдный образокъ.

— Дома Евстигнѣй?—спросилъ онъ.

Большая, въ сѣдыхъ кудряхъ голова высунулась изъ окошка.

— Дома, Илья Игнатьичъ, дома, милости просимъ!— всмотрясь, сказала она, и вслѣдъ за тѣмъ тесовыя ворота широко отворились.

— Будетъ ли мѣсто всѣмъ-то гостямъ? я съ пріятелями ѣду,—сказалъ Еремѣевъ.

— Всѣмъ будетъ мѣсто, всѣмъ найдется, — отвѣчалъ старикъ, здороваясь съ Еремѣевымъ.

Дѣйствительно, всѣмъ было мѣсто. Хозяинъ ввелъ гостей въ большую чистую избу съ перегородкой, и пріѣзжіе расположились въ ней.

— Вамъ самоварчикъ, что ли? — спросила хозяйка, худощавая высокая женщина, какъ бываютъ обыкновенно русскія бабы лѣтъ за сорокъ.

— Да, самоварчикъ, матушка,—отвѣчала Арина Степановна.

Здѣсь предположено было ночевать.

Вскорѣ на столѣ начали появляться поднос, весь разрисованный малиновыми цвѣтами на красномъ фонѣ, стаканы, чашки и чайникъ съ разбитымъ, какъ водится, рыльцемъ и крышкой на веревочкѣ. Хозяйка устанавливала все это съ молитвой, перетирая сѣренькой тряпицей.

— Благодарствуй, матушка, мы и сами перемоемъ, да и посуда-то есть у насъ, только мало для всѣхъ, — говорила любившая чистоплотность Арина Степановна.

— Ничего, матушка, тряпочка-то чистенькая, чистенькая тряпочка-то. Господи, Іисусе Христе!— говорила хозяйка, продолжая перетирать чашки своей сѣрой тряпицей.

Вскорѣ высокая, здоровая и красивая дѣвка поставила самоваръ на столъ и начала помогать матери. Видно было бойкую, работящую, но грубоватую въ обращеніи дѣвку.

Всѣ усѣлись за столъ, и пошло единственное по нашимъ дорогамъ насыщеніе—чаепитіе, къ которому запасливая Арина Степановна выложила изъ плетенаго пещура цѣлый ворохъ сдобныхъ булокъ и лепешечекъ.

— А что же мы хозяина-то не позвали?—сказалъ Еремѣевъ и, высунувшись въ окно, кликнулъ:

— Евстигнѣй Кузьмичъ, иди китайскаго-то зелья пить.

— Благодаримъ покорно,—сказалъ хозяинъ, разговаривавшій съ сыномъ и еще съ кѣмъ-то.

— Ну иди, чего тутъ церемониться! — сказалъ Еремѣевъ.

Хозяинъ медленно приподнялся.

— Можно ли курить-то здѣсь? — спросилъ Капышлинцевъ.

— Можно. Это у него взъѣзжая изба, тутъ все можно, а онъ съ семьей-то особенно живетъ, туда вотъ не любитъ пускать нашу братію,—замѣтилъ Еремѣевъ.

Вскорѣ вошелъ хозяинъ. Это былъ средняго роста, коренастый и еще не старый мужикъ, съ сѣдой, курчавой, умной головой и крутымъ, суровымъ лбомъ, напоминавшими голову Юпитера олимпійскаго; за нимъ, держась за подолъ рубашки, вошли двое ребятишекъ, одинъ лѣтъ четырехъ, другой двухъ, оба бѣловолосые и курчавые.

— Садись, хозяинъ, садись,—говорила привѣтливо Арина Степановна, подавая ему чашку и сахаръ. — Это внучки твои? — спросила она, заводя по обычаю домовитыхъ и ничего не читающихъ старосвѣтскихъ помѣщицъ и купчихъ разговоръ про семью и родство.

— Нешто, матушка, внучки мои,—говорилъ хозяинъ, принявъ чашку и усаживаясь. — Внучки,— повторилъ онъ, ласково улыбаясь и приглаживая рукой волосы ребятишкамъ. — Юпитеровское чело хозяина разгладилось, и все его лицо приняло расплывшееся выраженіе благодушествующаго русскаго человѣка.

— А велика семья-то у тебя?—продолжала разговаривать Арина Степановна.

— Сынъ женатый да двѣ дочери, одна-то замужняя, а другая-то въ дѣвкахъ.

— Это сыновнія? — спрашивала она про дѣтей.

— Нѣтъ, дочуркины, дочурка натаскала, — отвѣчалъ хозяинъ, попивая чай съ прикуской.

— Развѣ она у тебя живетъ, а не въ мужниной семьѣ?— продолжала любознательная на семейныя отношенія Арина Степановна.

— Нѣтъ—какой мужняя! это незамужней: вотъ эта дѣвка натаскала.—отвѣтилъ онъ спокойно добродушнымъ тономъ, указывая на дочь, которая принесла углей въ самоваръ. — Она у меня молодецъ: все парней носитъ, — прибавилъ онъ, самодовольно поглядя на дочь.

Вѣдная Арина Степановна вся покраснѣла, какъ обожженная, и смолкла.

Дочь слышала предметъ разговора; всѣ, за исключеніемъ потупившейся Арины Степановны, съ любопытствомъ взглянули на нее, но у ней и бровь не шевельнулась. Сдѣлала она свое дѣло, наложила углей и сурово и молча вышла.

Хозяинъ замѣтилъ смущеніе старой дѣвы.

— Да вы, матушка, что думаете? это у насъ вѣдь ничего! продолжалъ онъ успокоительно. — У насъ заведенье такое: ктль дѣтей у дѣвки нѣтъ, такъ ее пожалуй и замужъ никто не возьметъ, — сказалъ старикъ, — для того, что мужу нада жена плодящая, — а то что въ ней, неплодящей?.. да пусть ихъ и погуляютъ, пока на дѣвичей-то волѣ, лучше: перебѣсятся, замужемъ лучше живутъ.

И хозяинъ, увѣренный, что онъ вполнѣ успокоилъ нравственное чувство Арины Степановны, спокойно продолжалъ пить чай.

— Однакожъ, я думаю, вашъ-то священникъ не очень одобряетъ это,—рѣшилась замѣтить Арина Степановна нѣсколько обиженно.

Какъ предметъ разговора ни скандализировалъ ее, но она не могла не заявить своего протеста.

— Да какіе у насъ священники-то, матушка,— продолжалъ усмѣхнувшись старикъ.— Нѣтъ ихъ у насъ, священниковъ то. Вѣдь мы вашихъ-то не признаемъ, не подобаетъ ихъ, по нашей вѣрѣ, чтить; а свой когда еще зайдетъ, да и то тайкомъ.

— Такъ какъ же у васъ, значитъ, и брака нѣтъ?— спросилъ Благомысловъ.

— Нѣтъ, есть, какъ не быть браку. Только онъ у насъ по родительскому благословенію совершается.

— И прочно блюдется? разводовъ нѣтъ?— продолжалъ спрашивать Благомысловъ, котораго это видимо интересовало.

— Прочно... какъ не прочно! и никакого развоу нѣтъ, ибо сказано: «Господь соединяетъ, человѣкъ да не разлучаетъ.»

— Арина Степановна, вотъ, коль мы съ вами оженимся, такъ родительскимъ благословеніемъ,— сказалъ Еремѣевъ.

— Полноте вздоръ-то городить,— отвѣчала недовольная Арина Степановна. Этотъ разговоръ, нечаянно самой же ею поднятый, сильно возмущалъ ее. Пускаться въ споръ съ раскольникомъ хозяиномъ она не хотѣла, да можетъ и боялась: онъ забросалъ бы ее текстами, въ которыхъ она была совсѣмъ не сильна, а слушать равнодушно она не могла. Поэтому, съ женской хитростью, она начала заминать разговоръ, спрашивая, не хочетъ ли кто чаю, да заводя рѣчь о томъ, что вода у нихъ мягка, и гдѣ берутъ, и какая рѣка и пр.

— Душно здѣсь. — замѣтила Анюта.

— Въ самомъ дѣлѣ, пойдемте на завалинку курить. Арина Степановна, вы намъ туда дадите по стаканчику?— спросилъ Еремѣевъ.

Разумѣется, отказа не было, всѣ вышли; хозяинъ, перевернувъ чашку верхъ дномъ и положивъ на него обгрызки сахара, поблагодарилъ и вышелъ, отвѣтивъ на предложеніе Арины Степановны «еще чашечку:» — много довольны, и безъ того шибко нотъ прошибъ...

Тогда Арина Степановна попросила его прислать хозяйку и дочь.

Хозяйка явилась, а дочь нѣтъ, и Арина Степановна начала угощать ее, распрашивая про хозяйство.

Былъ тихій, розовый вешній вечеръ, съ влажнымъ и пропитаннымъ испареніями воздухомъ. Мягко рисовались въ немъ избы, клѣтушки, бродячій на улицѣ людъ и домашняя скотина. Молодой мѣсяцъ блѣднымъ серпомъ стоялъ въ чисто голубомъ небѣ. День и трудовая рабочая жизнь готовились заснуть вмѣстѣ. Только молодежь, пользуясь весеннимъ правомъ, бойко шныряла по улицѣ

и вдоль заборовъ, и собиралась гдѣ-то на концѣ въ хороводъ. Наши проѣзжающіе усѣлись на завалинѣ. Арина Степановна подала въ окно чай; мужчины стали курить.

Черезъ нѣсколько времени хозяинъ, который о чемъ-то таинственно переговаривалъ съ двумя крестьянами, отдѣлился отъ нихъ и подошелъ къ Еремѣеву.

— А что,—спросилъ онъ Еремѣева!—это Дмитрій Петровичъ будетъ?—онъ указалъ головою на Камышлинцева, который сидѣлъ тутъ же рядомъ.

— Дмитрій Петровичъ,—отвѣчалъ утвердительно Еремѣевъ.

— Тотъ самый, что въ крестьянскомъ присутствіи царскій выборный? — продолжалъ распрашивать хозяинъ, поглядывая на Камышлинцева, какъ будто онъ былъ деревянный.

— Тотъ самый, — отвѣчалъ Еремѣевъ.

— Тэкъ! — протянулъ хозяинъ.

— А что тебѣ?—спросилъ Камышлинцевъ, слушая переговоры.—Дѣльце развѣ есть?

— Нѣтъ, такъ,—отвѣчалъ хозяинъ.—Много мы слышали о вашей милости. Много за васъ народъ Бога молитъ,—выразительно сказалъ онъ.

— Очень радъ,—сказалъ Камышлинцевъ, чтобы сказать что-нибудь.

Они помолчали.

Хозяинъ прокашлялся, какъ будто у него засѣло что въ горлѣ.

— А что,—рѣшился спросить онъ наконецъ Камышлинцева, тихо и таинственно, — можно вамъ слова два сказать?

— Сколько хочешь, любезный!.. да говори смѣло: здѣсь все свои.

— Это точно, оно такъ. А все какъ-бы это до васъ однихъ касается, — замѣтилъ хозяинъ.

Камышлинцевъ всталъ и пошелъ за хозяиномъ, который повелъ его къ стоявшимъ поодаль мужикамъ. Хозяинъ безцеремонно кивнулъ головой Еремѣеву, чтобы и онъ тоже шелъ за ними.

— Да что у тебя за секреты? говори прямо,— сказалъ Еремѣевъ.

— Да вотъ темрюковскіе пришли,—сказалъ хозяинъ. — Узнали они это Митрій Петровича, такъ съ нимъ покалякать хотѣли. Неладно у нихъ, — таинственно прибавилъ онъ.

Они подошли къ крестьянамъ.

— Что вамъ ребята?—спросилъ Камышлинцевъ.

Тѣ хотѣли поклониться въ ноги, но увидѣвъ, что много зрителей, остановились.

— До милости вашей, — сказали они.

— Въ чемъ дѣло? — спросилъ Камышлинцевъ.

— Ребятъ нашихъ въ острогъ везутъ, — сказали они.

— За что?

— Да пріѣзжалъ вчера генералъ съ командой въ смиренію насъ приводить. Такъ по его приказу.

— Что же я могу сдѣлать?—печально пожавъ плечами, сказалъ Камышлинцевъ.

— Да узнали они случаемъ, что вы здѣсь, такъ просили слезно: не придетъ ли, говорятъ, къ намъ Митрій Петровичъ на нашу бѣдность взглянуть. Ума, говорятъ, мы рѣшились. А они васъ знаютъ, бывали у васъ.

— А гдѣ они?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Здѣсь, Митрій Петровичъ, лошадей мѣняютъ. Ну да мы позадерживаемъ ихъ и ужиномъ пока провожатыхъ кормимъ.

— А много ихъ?

— На пяти парахъ веземъ съ солдатами, и самъ становой провожаетъ. Его-то мы въ избѣ угощаемъ.

Камышлинцевъ зналъ свое полное безсиліе помочь чѣмъ-нибудь, зналъ, что его вмѣшательство будетъ узнано и можетъ быть перетолковано, пожалуй слетутъ цѣлую исторію; но ему хотѣлось узнать истину, и если не помочь, то по крайней мѣрѣ исполнить желаніе арестантовъ и дать имъ дѣльный совѣтъ. Онъ не колебался ни минуты, хотя и не желалъ, чтобы его вмѣшательству было придано какое-нибудь оффиціальное значеніе, на которое онъ не имѣлъ никакого права.

А мужики смотрѣли на него безмолвно просящимъ и тревожнымъ взглядомъ.

— Хорошо,—сказалъ Камышлинцевъ,—ступайте. Мы придемъ. Хозяинъ проводитъ насъ. Ты знаешь?— спросилъ онъ его.

— Знаю, — отвѣчалъ онъ таинственно.

Крестьяне быстро отправились впередъ вдоль заборовъ, а Камышлинцевъ и Еремѣевъ, сопровождаемые хозяиномъ, пошли улицей.

— Утрось это у нихъ погромъ, говорятъ, былъ,— сказалъ хозяинъ.—Вышло изъ того, что провіанта требовали, а контора не даетъ. Что народу, баютъ пересѣкли—бѣда! А десятерыхъ въ острогъ взяли, «въ Сибирь—говоритъ—сошлю». Ну, между ними, конечно, человѣка три и горлопаи есть, а остальныхъ жалко: всѣ что ни на есть самый радѣльный къ міру народъ. Особливо одново — Онуфрія Семенова жалко.

— Какъ, Онуфрія Семенова взяли? — спросилъ Еремѣевъ.

— Ево самово,—вздохнувъ, выразительно подтвердилъ хозяинъ.

— Да чего онъ надѣлалъ? Самый смирный и разсудительный мужикъ,—сказалъ Еремѣевъ.

— Ну поди-ты!—говорилъ хозяинъ.

Между тѣмъ они повернули въ другую улицу и въ концѣ ея увидали нѣсколько телѣгъ и собравшуюся около нихъ толпу народа.

— Вотъ они,—указалъ хозяинъ.

Они подошли къ толпѣ и увидали печальное зрѣлище.

Въ полусвѣтѣ начинающихся сумерекъ, на нѣсколькихъ телѣгахъ, сидѣли и лежали по двое крестьянъ съ связанными назади локтями. Ихъ помятыя блѣдныя лица носили слѣды тупаго горя, а у иныхъ мрачнаго озлобленія. Нѣсколько женщинъ стояло около нихъ: это были ихъ жены и матери, поѣхавшія вслѣдъ за ними; иныя плакали, другія стояли молча, пригорюнясь, съ безмолвной и без-

предѣльной скорбью въ лицѣ. Одна изъ нихъ голосила и причитала—точно обрядъ какой совершала; но, увидавъ подходящихъ господъ, кто-то изъ крестьянъ дернулъ ее за рукавъ, и она перестала. Стояло еще нѣсколько подводчиковъ и односельцевъ, пріѣхавшихъ проводить арестантовъ и переговорить съ ними, да толпа тутошныхъ крестьянъ, хотя и состоящихъ на другомъ положеніи, но принадлежащихъ тому же владѣльцу, родная имъ и сочувствующая и тоже по своему недовольная.

Вдали, составивъ ружья въ козлы, конвойные солдаты отдыхали на землѣ и ужинали хлѣбомъ.

Народъ почтительно и съ любовью разступился передъ пришедшими: видно было, что въ нихъ онъ видѣлъ своихъ и готовъ былъ внимать имъ, какъ оракуламъ.

Наши пріѣзжіе подошли къ телѣгѣ, около которой было больше всего народу. Стоявшая около нея, подперевъ рукой голову, пожилая женщина поклонилась и молча отодвинулась, по лицу у нея бѣжали слезы и она ихъ по временамъ отирала концомъ повязаннаго на головѣ платка. Въ телѣгѣ сидѣлъ высокій темноволосый пожилой мужикъ съ умнымъ, добрымъ и спокойно-грустнымъ лицомъ.

— Онуфрій Семеновъ! ты какъ попался?—сказалъ Еремѣевъ, подходя къ нему.

— Какъ видите, Илья Игнатьичъ. Господь видно наказуетъ,—сказалъ онъ.

— Да за что?—спросилъ Еремѣевъ.

— За то, что міру служилъ,—отвѣчалъ крестьянинъ.

Камышлинцевъ вглядѣлся въ него и лицо его показалось ему знакомымъ.

— Ты, кажется, бывалъ у меня?—спросилъ онъ у него.

— Точно такъ, Митрій Петровичъ, былъ у васъ съ народомъ; и въ присутствіи были съ управляющимъ.

— Да за что же теперь-то попался?

— Контора на насъ указала. Они, говоритъ, народъ бунтуютъ. А мы дѣйствительно вездѣ за народъ стояли и по начальству просили для того! насъ міръ выбралъ: какой же такой бунтъ? А что народъ недоволенъ и провіанту требовалъ, что же намъ дѣлать! Сами знаете, намъ жить нельзя — ѣсть нечего.—Камышлинцеву было глубоко жаль крестьянъ. Онъ хорошо зналъ Темрюковское дѣло. Это было одно изъ многихъ заводскихъ дѣлъ, гдѣ примѣненіе общаго закона встрѣтило наибольшія трудности. Заводское правленіе было юридически право: оно сдѣлало все, что требовалось отъ него закономъ; а крестьяне были правы фактически: они просто не могли питаться при настоящемъ порядкѣ... Дѣло въ томъ, что крестьяне, заселенные барской волей въ лѣса и горы, пропитывались только скуднымъ пайкомъ, выдаваемымъ владѣльцемъ, и ничтожной задѣльной платой. Съ прекращеніемъ обязательныхъ отношеній, плата была повышена, но заводъ уменьшилъ производство и, вмѣстѣ съ введеніемъ уставной грамоты, пересталъ выдавать паекъ на нерабочихъ и дѣтей. Вслѣдствіе этого много рукъ оставалось безъ дѣла, питаться ничего неродящей землей было не возможно, а уйти крестьяне не имѣли права. Губернское присутствіе ходатайствовало у правительства о льготахъ, а между тѣмъ, вслѣдствіе отказа въ уступкахъ и нѣкоторыхъ неловкихъ мѣръ заводоуправленія, между нимъ и крестьянами возникла непримиримая вражда и рядъ безпрерывныхъ столкновеній. Неповиновеніе называлось бунтомъ, а затѣмъ являлось усмиреніе и непремѣнное отысканіе зачинщиковъ и возмутителей между крестьянствомъ, тогда какъ причины были въ самомъ положеніи вещей. Разумѣется, контора указывала на главныхъ ходатаевъ и за нихъ принимались прежде всего.

Когда производятся реформы, глубоко переработывающія общественный строй, примѣненіе ихъ въ частныхъ случаяхъ не можетъ не встрѣтить неудобствъ. А между тѣмъ машина идетъ и должна идти своимъ мѣрнымъ строгимъ ходомъ. Тогда нѣсколько болѣе смѣлыхъ и честныхъ людей выходятъ впередъ и на свой страхъ пытаются остановить то колесо, которое нажимаетъ семью ихъ собратовъ. Иногда ихъ голосъ и бываетъ услышанъ, колесо отодвигается или передѣлывается, но часто этотъ голосъ, иногда грубый и неловкій, принимается за голосъ темнаго и тупаго сопротивленія, машина двигается—и они падаютъ мучительной жертвой и живымъ указаніемъ непримѣнимости закона...

И вотъ Камышлинцевъ стоялъ въ кругу тѣхъ радѣльниковъ, которые хлопотали за міръ, выясняли его нужды, ходили и кланялись по начальству, но вмѣстѣ съ тѣмъ были стойки и, можетъ быть, рѣзки съ своимъ заводоначальствомъ. И вотъ они—эти темные, но лучшіе и излюбленные люди въ міру были связаны и какъ преступники препровождались въ острогъ. Ихъ ждали мѣсяцы, а можетъ и годы тюрьмы, потомъ держащійся строго буквы и формальности судъ и затѣмъ Сибирь, изъ которой для нихъ, бѣдныхъ мужиковъ, нѣтъ возврата. Жены шли за ними, пока острожная дверь не отдѣляла ихъ, и маленькій міръ, на бѣдствіе котораго они обращали вниманіе начальства цѣной собственной свободы, безмолвно глядѣлъ на нихъ...

Камышлинцева за сердце хватало, а между тѣмъ онъ не могъ ничего сдѣлать для нихъ. Таково должно быть положеніе врача у постели больнаго, который и знаетъ вѣрное лекарство, да не можетъ его дать: нѣтъ у него этого лекарства и не въ силахъ онъ достать его.

— Постараюсь за васъ, братцы, сколько смогу,—сказалъ онъ,—но тутъ я могу только просить за васъ. Эхъ, вамъ бы не шумѣть, а просить слѣдовало,—сказалъ онъ, сознавая всю праздность своихъ замѣчаній.

— Да мы развѣ мало просили! самъ я знаю, что горломъ не возьмешь,—сказалъ Онуфрій.—Да развѣ съ голоднымъ-то народомъ совладаешь: нужда кричитъ, а мы отвѣтчики.

— Да ну, Богъ дастъ, перемелется, мука выйдетъ,—сказалъ Еремѣевъ. — Посидите немного на казенной порціи, а на свѣтѣ не безъ добрыхъ людей: похлопочутъ и выпустятъ; да что ты сидишь сиднемъ-то,—прибавилъ онъ: — еще успѣешь насидѣться!

— Совѣстно встать-то, Илья Игнатьичъ,—тихо отвѣчалъ Онуфрій:—видите, въ чемъ.—Онъ показалъ ноги: на нихъ вмѣсто кандаловъ были лошадиные путы.

Еремѣевъ только прокашлялся, словно въ горлѣ что засѣло.

— Съ твоей лошади что ли сняли?—съ угрюмой усмѣшкой спросилъ онъ.

— Ужь и не помню,—отвѣтилъ Онуфрій, мотнувъ головой.

Они замолчали и весь окружный людъ стоялъ молча, слушалъ и ожидалъ.

— Вотъ что, Митрій Петровичъ, ужь тамъ съ нами что хочешь дѣлай, а намъ жить не при чемъ у этой земли. Пусть дадутъ намъ землю да спрашиваютъ, какіе хотятъ тамъ оброки: мы не супротивники. Мы не прочь платить. Да вѣдь у землито этой кормиться нечѣмъ, не кормитъ она,—сказалъ Онуфрій.

Обо всемъ этомъ было представляемо, но на это ходатайство отъ начальства, не имѣвшаго въ виду факта уменьшенія работъ и желавшаго, въ видахъ развитія заводскаго дѣла, чтобы рабочіе не уходили съ заводовъ, былъ полученъ отвѣтъ, что такъ какъ крестьянами не выкуплены ихъ усадьбы и владѣльцемъ оныя имъ не подарены, то переходъ ихъ въ другія общества, по силѣ положенія, невозможенъ, а надѣленіе казенною землею подало бы поводъ и другимъ къ подобнымъ ходатайствамъ (*).

— Знаю, знаю. И представлялось обо всемъ этомъ,—сказалъ Камышлинцевъ,—да вѣдь вы знаете отвѣтъ?

— Знаемъ,—отвѣчалъ мрачно Онуфрій, — объявляли его. Да чѣмъ .мы усадьбу-то выкупимъ, коль ѣсть нечего? Куда пойдешь на заработки-то? А нашъ управляющій-то говоритъ: «выпишу мастеровыхъ со стороны, вдвое имъ дамъ, а васъ не возьму, съ голоду будете околѣвать, за пять копѣекъ въ день придете, говоритъ, проситься ко мнѣ». Изъ этого вся и заварюха вышла. Теперь не знаешь, что и дѣлать! просто сухая бѣда! ума рѣшились! Провьянтъ перестали давать: «вольные, говорятъ, вы теперь». Приставать—бунтуемъ, говорятъ. Научите вы насъ, дайте намъ ума!—просилъ онъ,—ужь мы совсѣмъ безъ головы.

— Да что дѣлать-то? просить да ждать,—сказалъ Камышлинцевъ, грустно пожавъ плечами.— А я даю вамъ слово еще разъ поднять объ этомъ рѣчь. Все сдѣлаю, что могу,—прибавилъ онъ,—а тамъ, что Богъ дастъ.

— Да мы знаемъ, что вы-то за насъ, да другіе насъ не слышатъ; напишите вы имъ, что голодъ нудитъ, ѣсть нечего: вѣдь брюхо-то не ждетъ.

— Все напишу, даю вамъ слово; а теперь, чѣмъ можно пособить, пособимъ, и о васъ похлопочу, сколько могу,—сказалъ Камышлинцевъ; — а пока что дѣлать, терпите.

Камышлинцевъ видѣлъ всю ничтожность утѣшенія, ему тяжело было оставаться зрителемъ, тѣмъ болѣе, что кромѣ словъ и обѣщаній онъ не могъ ничего имъ дать.

Поднявъ фуражку, «ну, прощайте», — сказалъ Камышлинцевъ, и, поклонившись, хотѣлъ идти; но женщины, сначала одна, потомъ другая, какъ по сигналу, бросились ему въ ноги.

— Батюшка! за нашихъ-то заступись! Кормилецъ! вѣдь сгніютъ они въ острогѣ-то, угонютъ ихъ отъ насъ, кормильцевъ нашихъ! на кого сироты-то покинутся?..

— Заступись, Митрій Петровичъ! — загудѣла толпа, кланяясь; нѣсколько темрюковцевъ встали на колѣни, и вдругъ вся толпа, какъ подкошенная, повалилась за ними.

— Полноте, встаньте, — говорилъ Камышлинцевъ.—Все, все, что могу, друзья мои, все, что въ силахъ моихъ, слово даю!—говорилъ онъ и, блѣдный и смущенный, спѣшилъ вырваться изъ толпы: судорога точно крѣпкая рука сдавила ему горло, онъ стиснулъ зубы, что есть мочи, и готовъ былъ заплакать отъ жалости, злобы и безсилія.

Быстро вышелъ онъ изъ круга и, почти не узнавъ, прошелъ мимо Анюты Барсуковой, которая стояла съ Благомысловымъ и, вся потрясенная, смотрѣла на эту сцену.

— Постойте, куда вы бѣжите? — сказалъ Еремѣевъ, догоняя Камышлинцева.

— Видѣть я этого не могу,—сказалъ съ озлобленіемъ Камышлинцевъ,—а ничѣмъ не въ состояніи помочь.

Они молча и быстро пошли дальше.

— Что?.. что такое? что тамъ такое?—раздался голосъ около нихъ.

Они оглянулись и увидѣли высунувшееся изъ окна взъѣзжей избы раскраснѣвшееся и испуганное лицо становаго пристава.

— Что это такое?—кричалъ онъ.

Въ поднявшейся на ноги толпѣ пробѣжалъ неясный гулъ... и точно рычаніе льва послышалось въ немъ. Камышлинцевъ воротился.

— Ничего, народъ узналъ меня, ну и, вы знаете, сейчасъ просить,—сказалъ онъ.

— Ахъ-съ, Дмитрій Петровичъ! извините-съ. И вы изволили пріѣхать! -говорилъ становой, застегивая сюртукъ.

— Нѣтъ, я мимоѣздомъ изъ имѣнія, — сказалъ

(*) Заводскимъ крестьянамъ даны были впослѣдствіи правительствомъ разныя льготы, которыя много облегчили ихъ по[ложеніе].

Камышлинцевъ. — Послушайте, — прибавилъ онъ тихо,—не можете ли вы ихъ развязать?

— Не смѣю-съ!.. Его превосходительство приказали!

— Ну, генералъ, вѣроятно, сказалъ это сгоряча, или для острастки,—замѣтилъ Камышлинцевъ;—а впрочемъ, я не смѣю настаивать, какъ знаете.

— Народъ-то бѣдовый здѣсь, Дмитрій Петровичъ! Оно, впрочемъ, конечно, можно! Эй, Ефремовъ.

Изъ избы выскочилъ, разжевыя кусокъ отставной унтеръ-офицеръ, служащій разсыльнымъ, вытянулся и глядѣлъ въ глаза становаго съ такой выдрессированной готовностью, словно хотѣлъ ему вскочить въ ротъ.

— Развяжи имъ руки-то, а то ѣсть имъ нельзя!—сказалъ становой.

— Слушаю-съ, ваше благородіе!—сказалъ Ефремовъ, бросился исполнять приказаніе.

Камышлинцевъ пожалъ руку становому и ушелъ.

IV.

Когда хозяинъ отозвалъ Камышлинцева съ Еремѣевымъ и они ушли къ крестьянамъ, Анюта Барсукова осталась одна съ Благомысловымъ.

— Куда же они?—спросила она.

— Вѣрно что-нибудь по крестьянскому дѣлу,— отвѣчалъ Благомысловъ.

Благомысловъ былъ неразговорчивъ.

— Пройдемтесь-ка! — сказала Анюта. Вечеръ былъ отличный. Они встали и, по чувству скромности, отправились въ противоположную ушедшимъ сторону.

Анюта разговаривала съ Благомысловымъ о разныхъ вещахъ, но онъ отвѣчалъ коротко и неохотно. Она замѣчала, что въ немъ работаетъ какая-то мысль; по прежнимъ къ нему отношеніямъ она догадывалась о предметѣ этой мысли, и пыталась свести разговоръ на иныя колеи, но, когда увидѣла, что ея усилія плохо успѣвали, она оставила ихъ, и гуляющіе шли молча.

— Слышали вы,—спросилъ онъ наконецъ,—что говорилъ хозяинъ?

— Слышала,—отвѣчала Анюта.

— Вѣдь вотъ живутъ же люди, и русскіе люди.—У насъ на глазахъ дѣвушка отдается тому, кого любитъ, не дожидаясь брака, и женятся по родительскому благословенію.

— Что же изъ этого?—спросила Анюта.—Мало-ли вѣрованій и обычаевъ на бѣломъ свѣтѣ!

— Да отчего же это не дѣлается у насъ? — спросилъ Благомысловъ.

— А вѣроятно оттого, что не находятъ этого согласнымъ съ своими понятіями о нравственности,—отвѣчала Анюта.

— Понятія о нравственности! — усмѣхнувшись, сказалъ Благомысловъ.—Да вѣдь это все условно! вѣдь это хорошо для толпы! но люди мыслящіе не должны стѣсняться пеленками, а дѣлать, какъ находятъ удобнѣе и полезнѣе...

— Я думаю, что и понятія о нравственности выработались вездѣ стремленіемъ къ удобству, къ пользѣ,—замѣтила Анюта.

— Можетъ быть, — отвѣчалъ Благомысловъ, — но условія, при которыхъ они выработались, давно измѣнились, а толпа все валитъ по старой колеѣ... Ну пусть толпа, а людямъ-то поумнѣе можно бы и своей дорогой идти.

— Я думаю, они и идутъ, — сказала Анюта.— Вотъ вамъ хоть бы отношенія Камышлинцева къ Мытищевымъ.

— Ну, что жъ?.. полумѣры! маскарадъ! характера и смѣлости не достаетъ идти прямо: все поближе къ старой дорожкѣ! — отвѣчалъ Благомысловъ.

— Почемъ вы знаете, что они это дѣлаютъ по безхарактерности, а не по другимъ побужденіямъ?— возразила Анюта.—Наконецъ, какъ же это теперь, когда почти все молодое поколѣніе, къ которому принадлежитъ Камышлинцевъ съ Мытищевой, хочетъ новой дорожкой идти, и вы укоряете ихъ въ рутинѣ?

Благомысловъ нѣсколько смѣшался.

— Идутъ, да плохо!—сказалъ онъ.—Только мы, молодежь, и то больше мужчины, и пробиваемъ новую дорогу.

— Есть и женщины,—сказала Анюта:—я въ Петербургѣ видала.

— Однако на васъ, кажется, примѣръ не подѣйствовалъ? Вообще, я замѣчаю, вы во многомъ измѣнили свои взгляды, — сказалъ Благомысловъ, смотря на Анюту.

— Вы сами же упрекаете тѣхъ, кто по колеѣ идетъ, а хотите, чтобы я дѣйствовала по примѣру другихъ, а не по своему соображенію? — сказала Анюта. — Вотъ именно мнѣ въ Петербургѣ-то и показалось, что тамъ молодежь идетъ по колеѣ, только не по старой колеѣ, а по новой, которая помоднѣе: та же мода и рутина, а не свое убѣжденіе, только другая крайность.

— Крайности! вы, кажется, это поете съ голоса Камышлинцева? — сказалъ съ нѣкоторой горечью Благомысловъ: — онъ середины придерживается, старое съ новымъ примирить хочетъ. Это общее желаніе слабохарактерной посредственности.

Лицо Анюты вспыхнуло.

— Это вы изъ крестьянскаго дѣла замѣтили, что у Камышлинцева характера нѣтъ?—спросила она.

— Что же? и въ крестьянскомъ дѣлѣ! Конечно, онъ человѣкъ развитый и не безчестный, а все дѣйствуетъ не радикально. Подобные люди! по моему, даже вредны, оттягиваютъ развязку, тогда какъ нужно напротивъ подготовлять и ускорять ее.

Анюта въ свою очередь пристально посмотрѣла на Благомыслова.

— У васъ у всѣхъ, кажется, все, что не по васъ, такъ либо подлецъ, либо дрянь: вы не убѣ-

дить хотите, а навязать ваши мнѣнія. А я желаю, чтобы у васъ было столько же характера и стойкости, какъ у Камышлинцева. Мало ему достается отъ старыхъ—надо, чтобы доставалось и отъ молодыхъ?

— Это общій удѣлъ тѣхъ, которые не пристаютъ ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, — сказалъ Благомысловъ.—Однако вы горячо защищаете его?—замѣтилъ онъ, улыбнувшись подозрительной и недоброй улыбкой.

— Защищаю, потому что не люблю, когда грязью бросаютъ въ хорошаго человѣка, да еще тѣ, которые болѣе другихъ толкуютъ о хорошихъ людяхъ да о меньшей братіи. Еслибы каждый изъ васъ дѣлалъ столько же для меньшей братіи, какъ онъ, такъ этого было бы достаточно съ нихъ!

Благомысловъ опять усмѣхнулся съ снисходительнымъ превосходствомъ.

— Не много будетъ толку, если всѣ меньшуютого братью только по губамъ будутъ мазать!—сказалъ онъ.

— Ну, я думаю, онъ многимъ кое-что и побольше сдѣлалъ,—замѣтила Анюта.

Они прошли нѣсколько времени молча. Благомысловъ въ душѣ сердился; сердился и на себя, и на Анюту, и на Камышлинцева, за то, что разговоръ противъ его желанія какъ-то вышелъ совсѣмъ не на ту дорогу, на которую онъ хотѣлъ его вывести, и нѣкоторымъ образомъ заставилъ Анюту стать на сторону Камышлинцева. Не умѣя владѣть собою и нисколько не обладая ловкостью лавированія, или даже просто мягкостью обращенія, — да Благомысловъ и не желалъ этихъ свойствъ, а напротивъ, считалъ ихъ вредными и затемняющими дѣло,—Благомысловъ вдругъ круто повернулъ разговоръ.

— А ну его, Камышлинцева, и его образъ дѣйствій!—сказалъ онъ.—Меня вовсе не то занимаетъ и не о томъ хотѣлъ я съ вами говорить. Мнѣ досадна примиримость и нерѣшительность, съ которой вы начинаете смотрѣть на вещи. Вотъ, передъ вами въ глазахъ люди живутъ раціонально. Любятъ, какъ любится, женятся безъ всякихъ обрядовъ, а впрочемъ и то еще глупы,—замѣтилъ онъ,—не знаю, зачѣмъ и женятся! Ну да какъ бы то ни было, все-таки гораздо раціональнѣе нашего, такъ называемаго свѣта и вообще массы! Вѣдь выработали же они себѣ такое положеніе. Вѣдь чтобы дойти до него, сколько дѣвокъ было избито до полусмерти, сколько у нихъ косъ обрѣзано, сколько въ хомутахъ по улицамъ вожено! А мы смотримъ на это равнодушно, намъ палецъ объ палецъ лѣнь ударить, чтобы измѣнить наши порядки. Если у насъ какой нибудь Мытищевъ, чтобы жену не оконфузить, принялъ на себя роль рогоносца, такъ мы его чуть не въ герои ставимъ. А я бы за такую пустую бабенку, какъ эта Мытищева, кусочкомъ ногтя отъ мизинца не пожертвовалъ... да и выборъ вашего-то героя! —сказалъ съ усмѣшкой Благомысловъ.—И всѣ-то у насъ таковы, и все это намъ не противно! Давно сказано, а правда, что

«И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви...»

Анютѣ стало досадно на него.

— Ну, нѣтъ!—сказала Анюта—мы видимъ, что и жертвуютъ...

— Какъ же! особенно въ любовныхъ-то отношеніяхъ! У насъ коль кто изъ вашей братьи и полюбитъ, такъ и тогда признанье-то зубами надо вытащить. А ужь если коими судьбами иная отдается, да не женятся на ней, такъ послѣ всю жизнь на весь свѣтъ реветъ, что ее обманули, какъ малаго ребенка.

Анюта промолчала.

— Даже и въ лучшихъ-то изъ васъ нѣтъ свободнаго и прямаго отношенія къ своему чувству,— продолжалъ онъ. — Все-то вы, какъ подкупленная крѣпость, ждете нападенія, чтобы капитулировать и сдаться на выгодныхъ условіяхъ, хотя сами денно и нощно только и думаете, только и возносите не то что теплыя, а самыя горячія мольбы, чтобы на васъ нападатель явился. А ни у одной не хватитъ смѣлости, коль полюбитъ, такъ придти да и сказать прямо: я люблю тебя.

Благомысловъ говорилъ горячо и искренно, но у него, человѣка и застѣнчиваго, не могло сойти съ языка то слово, которое такъ и вертѣло его, и вся эта тирада была напускной храбростью ребенка, который кричитъ, чтобы не сознаться въ трусости. Не замѣчалъ онъ, что и до стиховъ договорился и что вся его злоба на женщинъ была болѣе всего злобой на себя.

— Коль полюбишь, такъ безъ словъ скажется,— задумчиво отвѣчала Анюта.—А распахнуть вдругъ глубь душевную развѣ легко? И у мужчинъ развѣ всѣ слова легко говорятся?—спросила она, и такъ посмотрѣла на Благомыслова, что ему стало стыдно.

— Глупая же привычка, привитая съ дѣтства,— сквозь зубы проговорилъ онъ и вдругъ, какъ будто съ отчаянія, собравъ всю свою храбрость, сказалъ: — вотъ я напримѣръ? Говорите вы... безъ словъ скажется: видно я безъ словъ говорить не умѣю!

Онъ замолчалъ. Анюта не отвѣчала. Такъ прошли они нѣсколько шаговъ.

— Что же, вы не видите, или не хотите видѣть, что я люблю васъ? — хрипло проговорилъ онъ, глядя въ землю.

Анюта и ждала, и предчувствовала, что разговоръ придетъ къ этому концу; но все-таки покраснѣла, смутилась и молчала.

— Такъ что же!—спросилъ Благомысловъ,—да, или нѣтъ?..

— Нѣтъ! — тихо сказала Анюта и потупилась въ землю.

Благомысловъ поблѣднѣлъ.

— То есть, не суйся съ неумытымъ рыломъ да въ калачный рядъ! — сказалъ онъ съ напускной развязностью, и постарался улыбнуться, а голосъ

у него подрывался, и духъ захватывало отъ волненія, и сознавалъ онъ всю неловкость своего положенія, и не зналъ, какъ выйти изъ него, и, какъ водится въ этихъ случаяхъ, дѣлалъ еще болѣе промаховъ.

Анюту покоробило отъ этой грубой шутки, но она промолчала.

— Дѣйствительно,—началъ опять, идя на проломъ съ горькой усмѣшкой, Благомысловъ:—вѣдь нашъ братъ изъ кутейниковъ и грубъ, и не ловокъ, и одѣтъ-то такъ, что лакей у иного франта за поясъ заткнетъ, такъ за что же насъ и любить!.. ну а все-таки, хоть вы теперь и другихъ идей придерживаетесь,—онъ иронически улыбнулся,—а все-же мы толковали и, такъ сказать, старались о развитіи!

Онъ пріостановился отъ волненія, и къ оскорбленному самолюбію прибавилось новое чувство: ревность.

— Ну, такъ въ память старой дружбы, можно бы хоть довѣренности удостоить и сказать напримѣръ... вѣдь не можетъ же быть, чтобъ въ ваши года да вы не любили кого-нибудь!.. — что есть, молъ, другой?

Анюта, выслушавшая это молча, вдругъ прервала его...

— Постойте!— сказала она — не говорите: это не хорошо! Я вамъ много обязана и уважаю васъ, какъ честнаго молодаго человѣка. ну такъ будьте же тверды и не роняйте себя... Насильно милъ не будешь!— прибавила она тихо. — Я избѣгала объясненія потому, что не хотѣла огорчать васъ, но теперь, когда слово высказано, не напускайте на себя роли, которая вамъ не идетъ: уважайте и себя, и меня!.. Останемся друзьями,—сказала она, и протянула Благомыслову руку. Онъ, молча и не поднимая головы, пожалъ ее. Онъ былъ смущенъ. Анюта, высказавъ твердо все, что хотѣла, замолчала. Такъ прошли они нѣсколько времени, и Анютѣ стало жаль Благомыслова. Женщина никогда не остается равнодушной къ первому признанію и для чѣловѣка, сдѣлавшаго его, у нея всегда найдется немного любви и много сожалѣнія.

— Вы еще молоды!—сказала Анюта, — у васъ еще впереди много и дѣла, и любви. Вамъ есть чѣмъ, да и надо заняться серьезнѣе, а тогда все скоро пройдетъ.

— Довольно объ этомъ!—сказалъ Благомысловъ, взявшись за лобъ и какъ-бы стирая съ него всѣ старыя мысли.—Я теперь знаю свое дѣло. Лучше не отвлекусь отъ него... Ну, и баста!

Анюта не поднимала разговора. Она шла молча. Благомысловъ пристально глядѣлъ впередъ, нѣсколько прищурясь: онъ хотѣлъ скрыть навертывающіяся у него слезы. Анюта старалась не глядѣть на Благомыслова, но не смотря на то, замѣтила эти слезы.

Между тѣмъ, занятые разговоромъ, они раза два повернули изъ улицы въ улицу и вдругъ, не вдалекѣ передъ собою, увидѣли толпу съ стоящими посреди ея телѣгами арестантовъ.

— Что это такое?—спросила Анюта. — Посмотримъ! Я думаю, можно?

— Разумѣется можно!—сказалъ Благомысловъ.

Они оба были рады, что нашелся предметъ, которымъ можно было заняться или сдѣлать видъ, что занимаешься. Они подошли къ толпѣ, и были зрителями и слушателями сцены, которую мы разсказали.

Когда Камышлинцевъ, переговоривъ съ становымъ, присоединился къ остальнымъ, всѣ пошли молча и подъ разными впечатлѣніями. Камышлинцевъ былъ смущенъ и глубоко взволнованъ, Еремѣевъ угрюмъ и золъ; Анюта была тоже взволнована, но вниманіе ея дѣлилось между положеніемъ крестьянъ и положеніемъ, которое занималъ Камышлинцевъ. Благомысловъ былъ въ возбужденномъ состояніи; глаза его блистали, и въ немъ виднѣлась какая-то горькая иронія.

— Ужасное положеніе! — сказалъ Камышлинцевъ.—При прежнемъ губернаторѣ нужды не такъ еще выяснились, но мы представляли и хлопотали, а этотъ на букву закона смотритъ и требуетъ одного ея выполненія... Будемъ съ Мытищевымъ воевать и ссориться, да что подѣлаешь! большинство всегда на сторонѣ губернатора.

— Однакоже, славный вы рецептъ-то дали отъ голоду: терпѣть, пока вы будете ссориться да представлять, а можетъ быть и не представите еще!

Анюта встрепенулась и глядѣла на Камышлинцева съ ожиданіемъ. Она и сочувствовала ему, и зла была на него за недостойную, какъ ей казалось, любовь къ Мытищевой, про которую ей напомнилъ Благомысловъ. Притомъ она довольна была, что упрекъ Благомыслова, прямо обращенный къ Камышлинцеву, вызоветъ оправданіе его самого и лучше ей выяснитъ, чей образъ мыслей справедливѣе.

Камышлинцевъ нахмурился. Ему и безъ того было горько и досадно за свое малосиліе, а тутъ еще упрекаютъ въ немъ.

— Каждый дѣлаетъ и долженъ дѣлать, что можетъ,—сказалъ онъ.—А вы на моемъ мѣстѣ какой бы рецептъ прописали?

— А я бы имъ посовѣтовалъ требовать, пока дадутъ,—угрюмо сказалъ Благомысловъ:—потому что факты говорятъ гораздо краснорѣчивѣе бумаги, и, конечно, настоящее происшествіе поможетъ этимъ людямъ гораздо болѣе, нежели всѣ ваши представленія.

— Да,—сказалъ Камышлинцевъ.—Это сильное доказательство. Только надо, чтобы начальству выяснены были коренныя причины происшествія, а если оно будетъ представлено, какъ одно неповиновеніе его волѣ, такъ толку будетъ мало.

— Ну еще, вы выясните, либо нѣтъ, а настойчивость выяснитъ гораздо лучше и яснѣе, — сказалъ Благомысловъ.

— Можетъ быть, только по вашей-то методѣ

это пожалуй случится въ то время, какъ всѣ будутъ разорены, да половина сослана,—сказалъ Камышлинцевъ.—Я вотъ думаю попробовать, не довольно ли и этихъ фактовъ, что вотъ теперь въ телѣгахъ везутъ. А вы полагаете надбавлять ихъ, пока переписка идетъ?

— Я думаю, что если нужна операція, такъ пусть и будетъ операція, а всѣ эти переписки и посредничества—палліативы, замазыванія, отъ которыхъ только усиливается болѣзнь. А жертвъ жалѣть нечего: одна во-время спасаетъ тысячи послѣдующихъ.

— Ну, а по моему и этихъ слишкомъ достаточно.—Вы, какъ видно, вѣрите въ одну хирургію, а я кромѣ того и въ терапію, да ею и занимаюсь, — сказалъ раздраженно Камышлинцевъ. — Такъ я и совѣтую, что могу и во что вѣрю. А когда они спросятъ вашего совѣта, такъ вы имъ дайте свой.

— И дамъ!—сказалъ угрюмо Благомысловъ.

Еремѣевъ искоса посмотрѣлъ на Благомыслова.

— Однако просто вы лечите! — сказалъ онъ ему.—Около насъ полковой лекарь есть: тотъ вотъ такъ же, какъ вы...

Благомысловъ не отвѣчалъ и всѣ возвратились сумрачные и молчаливые.

Они нашли Арину Степановну уже безпокоившуюся ихъ отсутствіемъ: она всегда безпокоилась объ отсутствующихъ если они отлучились даже не далѣе огорода. Подумала она и на счетъ ужина, но всѣ отказались отъ него и разошлись спать, мужчины въ отведенную имъ свѣтелку, а женщины въ большую избу. На другой день всѣ поднялись и выѣхали рано, сдѣлали еще одинъ перегонъ, выбрались на большую дорогу и разстались.

Еремѣевъ поѣхалъ къ себѣ на лѣсную дачу. Камышлинцевъ, вспомнивъ, что въ этотъ же день будетъ засѣданіе губернскаго присутствія, на которомъ, можетъ быть, пойдетъ рѣчь о темрюковцахъ, оставилъ своихъ лошадей и взялъ почтовыхъ, а Барсуковы и Еремѣевъ простились съ нимъ и, выкормивъ лошадей, поѣхали не торопясь вслѣдъ за Камышлинцевымъ въ Велико-Ѳедорскъ.

V.

Какъ ни горячо спорилъ Камышлинцевъ и отстаивалъ свой взглядъ на Темрюковское дѣло, но онъ успѣлъ только въ томъ, что по немъ не было принято никакихъ рѣшительныхъ мѣръ, пока не пріѣхалъ Мытищевъ. Съ поддержкой его и при самомъ энергическомъ протестѣ, имъ удалось убѣдить Нобелькнебеля, что буквальное исполненіе положенія не отвратитъ печальнаго положенія темрюковцевъ и что дѣло это требуетъ обстоятельнаго разъясненія, предъ высшими учрежденіями, тѣхъ неблагопріятныхъ условій, въ которыя поставлены названные крестьяне уменьшеніемъ заводскаго производства и невозможностью имѣть заработковъ на сторонѣ. Пробовалъ было Камышлинцевъ замолвить слово и за арестованных встрѣтилъ непреклонный отпоръ.

— Ну ужь, извините! — отвѣчалъ ему Н кнебель,—я бунтовщикамъ потакать не нам

Напрасно Камышлинцевъ доказывалъ, чт вовсе не бунтовщики, что они, какъ ходатаи рали самый законный путь для заявленія нуждъ, что это—лучшіе излюбленные и сам ковые люди завода и что гораздо выгоднѣе ствовать на народъ черезъ нихъ, а не реп ными мѣрами. Нобелькнебель оставался при с

— Нѣтъ-съ,—говорилъ онъ,—тутъ нужна гія, а не мягкія мѣры; мягкія мѣры дове до безпорядковъ! Когда у бунтовщиковъ отс голову, то тѣло будетъ парализовано.

— Да вы лучше желудокъ отнимите у это будетъ раціональнѣе!—не выдержавъ, с Камышлинцевъ.

Нобелькнебель отвѣтилъ ему съ тонкой і востью, что каждый дѣйствуетъ въ своей по своему усмотрѣнію и что за дѣло объ з ваніи отвѣчаетъ онъ, и разсмотрѣніе этихъ не подлежитъ членамъ губернскаго прису Послѣ чего Камышлинцевъ, замѣтивъ, что говорилъ въ этомъ случаѣ, какъ частный чел разумѣется, долженъ былъ замолчать.

— Ты почитатель Англіи,—сказалъ бывш этомъ Мытищевъ, — не придерживаешься идей Борка. Онъ говоритъ, что не понимаетъ которые хотятъ только тишины и возстаютъ тивъ всякихъ нарушителей спокойствія, а і тивъ, желалъ бы, чтобы былъ вездѣ крикт только есть злоупотребленіе.

— Тутъ нѣтъ злоупотребленія—возразилъ белькнебель, — а есть только строгое испо владѣльцемъ своихъ обязанностей. И прито не въ Англіи-съ! — прибавилъ онъ, выразит кивнувъ головой.

Чутьемъ истинно ловкаго человѣка онъ у нималъ, что въ воздухѣ носятся презрѣ Англіи и всѣмъ западнымъ тонкостямъ и пр чтеніе взглядовъ, выросшихъ на родной почв въ непродолжительномъ времени и обнару въ общественномъ мнѣніи.

Но наединѣ съ сестрой Нобелькнебель бы кровеннѣе.

— Пристаютъ они все съ Темрюковски ломъ,—сказалъ онъ, повѣряя ей свои забот не знаютъ того, что изъ-за этого дѣла, м быть, слетѣлъ мой предмѣстникъ. Тутъ над ствовать осторожнѣе!

— Что ихъ слушать! — рѣшила Ольга: — извѣстно, что они фантазеры; дѣлай, как знаешь, да посовѣтуйся лучше съ графомъ фельдомъ.

Графъ Гогенфельдъ, хотя и находилъ вла совершенно правымъ, а крестьянъ бунтовщ но нашелъ, что и крестьяне отчасти пр нужно сдѣлать нѣчто и для нихъ. Вслѣдствіе этого Нобелькнебель, хотя въ самыхъ нѣжнѣ

формахъ, рѣшился высказаться о безвыходномъ положеніи крестьянъ. Впрочемъ, рѣзкія и вполнѣ обрисовывающія положеніе крестьянъ заявленія Камышлинцева и согласившагося съ нимъ Мытищева были помѣщены въ журналахъ присутствія и потому дошли до свѣдѣнія и высшихъ учрежденій.

VI.

Чтобы привести въ исполненіе свою мысль — оставить домъ Мытищевыхъ и вмѣстѣ избавиться отъ городской пыли, Камышлинцевъ придумалъ нанять домикъ гдѣ-нибудь около города. Онъ нашелъ его въ одномъ имѣніи, принадлежащемъ двумъ братьямъ Вахрамѣевымъ, изъ которыхъ одинъ холостой уѣзжалъ года на два за границу. Узнавъ желаніе Камышлинцева, тотъ предложилъ ему свой домъ. Они сошлись въ условіяхъ и переѣздъ былъ рѣшенъ.

Дня черезъ два послѣ пріѣзда, Камышлинцевъ получилъ письма изъ Петербурга, привезенныя Барсуковой, которая была сама у Ольги и оставила ихъ. Новости, которыя онъ узналъ изъ писемъ, были гораздо хуже, нежели онъ ожидалъ; ему описывались петербургскія волненія и между прочимъ говорили, что нѣкоторые изъ его пріятелей компрометированы въ нихъ. Онъ былъ очень огорченъ этимъ, тѣмъ болѣе, что видѣлъ всю ложность пути, на который они вступили, а между тѣмъ любилъ ихъ и жалѣлъ не только, какъ людей ему близкихъ, но какъ людей честныхъ и желающихъ пользы, которую при другихъ, болѣе правильныхъ взглядахъ они бы безъ сомнѣнія и принесли. Намекалось и о томъ, что эти пріятели недовольны образомъ дѣйствій Камышлинцева и считаютъ ихъ слишкомъ мелкими.

Камышлинцевъ хотѣлъ распросить нѣкоторыя подробности у Барсуковой и вскорѣ собрался къ ней.

— Не знаете ли вы, гдѣ устроивается Барсукова?—спросилъ онъ у Ольги,—мнѣ нужно побывать у нея.

Ольга разсказала ему.

— Кстати,—прибавила она,—мнѣ тоже хочется съ ней кое о чемъ потолковать; зовите ее къ намъ завтра обѣдать.

Камышлинцевъ отправился.

Онъ нашелъ Анюту въ хлопотахъ за устройствомъ своего помѣщенія и раскладкой полученныхъ товаровъ.

— Не помѣшалъ я вамъ?—спросилъ Камышлинцевъ.

— О, нѣтъ,—отвѣтила Анюта.—Напротивъ вы мнѣ поможете совѣтомъ: ваша репутація, какъ человѣка со вкусомъ, сдѣлана.

Не знаю, сказала ли это она безъ скрытной мысли, или хотѣла намекнуть на его склонность къ Мытищевой. Но вообще Анюта была въ духѣ и оживлена: приходъ Камышлинцева, кажется, доставилъ ей удовольствіе.

— Особенно въ дѣлѣ модъ!—смѣясь, прибавилъ Камышлинцевъ. — Ну, а какъ вы устроиваетесь? пріобрѣли мастерицъ и сотрудницъ?

— Пріобрѣла,—отвѣчала Анюта,—и вообразите, самымъ обыденнымъ образомъ: просто наняла! Въ сотрудничество никто нейдетъ; говорила имъ о долѣ изъ барыша: «это, говорятъ, какъ вамъ будетъ угодно сдѣлать намъ награду или нѣтъ, а мы условимся въ жалованьи»; такъ и сдѣлала,— вотъ вамъ и кооперативное предпріятіе!

Они потолковали о петербургскихъ новостяхъ.

Камышлинцевъ сталъ прощаться.

— Я вамъ забылъ передать приглашеніе Ольги Ѳедоровны,—сказалъ Камышлинцевъ: она васъ проситъ обѣдать завтра.

— Не знаю,—сказала нерѣшительно Анюта.— Дѣла много; если освобожусь, то съ удовольствіемъ.

— Мнѣ очень жаль будетъ, если вы не придете,—сказалъ Камышлинцевъ: потому что теперь рѣдко буду имѣть удовольствіе видѣть васъ... Я переѣзжаю на лѣто въ деревню Вахрамѣева: я нанялъ домъ у старшаго брата.

— Какъ, совсѣмъ переѣзжаете?—спросила Анюта.

— Да, совсѣмъ,—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

— А теперешняя квартира?

— Будетъ свободна! Не хотите ли осмотрѣть ее?—сказалъ Камышлинцевъ, улыбаясь; онъ повторялъ слова, сказанныя Анютой въ маскарадѣ.

Анюта, вѣроятно, вспомнила ихъ и вся вспыхнула.

— Ну, это только до осени, вѣроятно?—замѣтила она, насмѣшливо улыбаясь.

— Напротивъ,—положительно отвѣчалъ Камышлинцевъ.—Семейство Ольги Ѳедоровны, вѣроятно, скоро увеличится и мое сожительство стѣснитъ ихъ. Да и меня тоже,—прибавилъ онъ.

Анюта посмотрѣла на него большими недоумѣвающими глазами, какъ-бы ожидая разъясненія. Но Камышлинцевъ любезно улыбнулся, пожалъ ей руку и ушелъ.

Анюта осталась, вся радостно возбужденная.

Вещь, на которую намекнулъ Камышлинцевъ, была совершенно неожиданна. Анюта не была еще увѣрена въ разрывѣ Камышлинцева съ Ольгой; но имѣла полную надежду предполагать его. И потомъ, съ какою цѣлью Камышлинцевъ напомнилъ ей ея слова въ маскарадѣ? Все это подѣйствовало на нее неопредѣленно, радостно и отрадно, точно праздникъ какой сталъ у нея на душѣ.

Самъ Камышлинцевъ словно нарочно ронялъ преграды, которыя стояли между ними, и какъ будто звалъ ее къ себѣ.

Она не была влюблена въ Камышлинцева, по крайней мѣрѣ не допускала въ себѣ этой любви, но сердце ея весело трепетало и рвалось куда-то.

На другой день, въ обычный часъ обѣда, Анюта была у Мытищевыхъ, и я полагаю, много надо было сломить препятствій, чтобы помѣшать ей

придти къ нимъ. Кромѣ своей семьи и Камышлинцева, обѣдалъ еще графъ Гогенфельдъ. За обѣдомъ Мытищевъ былъ молчаливъ и печаленъ, недавняя смерть брата много прибавила грусти къ его обыкновенно невеселому настроенію; графъ Гогенфельдъ разсказывалъ о своей поѣздкѣ на заводъ.

— Я не знаю, какъ вы толкуете съ крестьянами,—сказалъ онъ, обращаясь къ Мытищеву и Камышлинцеву;—но меня они ставили въ презатруднительное положеніе. Напримѣръ, на другой день послѣ усмиренія, я остался еще въ заводѣ и поутру вздумалъ съ ними поболтать. Разумѣется, они смотрѣли еще какъ волки. Только одинъ беретъ меня вдругъ за аксельбантъ...—я, знаете, нарочно съ ними запросто, amicalement...:—беретъ за аксельбантъ и спрашиваетъ: «Это тебѣ за что царь далъ»? — Я говорю, за службу, — «А это за что? Тоже за службу»?—показываетъ на ордена. — За службу!.. «И это тоже»?—вензель на эполетахъ.— И это. Я думалъ, что все это онъ такъ, изъ любопытства спрашиваетъ. «А много, говоритъ, ты лѣтъ ему служишь»?—Я отвѣчаю: лѣтъ 10. «Ну, а вотъ не только мы, говоритъ, а и отцы, и предки наши сотни лѣтъ служили помѣщику, что же, говоритъ, мы у него выслужили»? Представьте же себѣ, что я могъ имъ отвѣтить! А?

— Опять, жалуются они на свое положеніе. Я имъ объясняю, что царь сдѣлалъ все, что могъ: освободилъ ихъ, предоставилъ имъ выкупать землю и даетъ на это средства; но что сама казна выкупить не можетъ, потому что нѣтъ на это денегъ. Что же они? «Какъ, говорятъ, у батюшки-царя да деньгамъ не быть? ну, велитъ напечатать, и только! Вѣдь она, говорятъ, бумага-то чай полушку стоитъ. а ходитъ за десятки и сотни рублей!» Я было имъ сталъ объяснять паденіе бумажныхъ цѣнностей отъ чрезмѣрнаго выпуска, а они мнѣ: «какъ, говорятъ, упадутъ? да велѣли бы принимать за сколько хотятъ, и баста!» Вотъ извольте имъ тутъ объяснять, почему нельзя велѣть,—каково мое-то положеніе?

Камышлинцеву и Мытищеву сотни разъ приходилось толковать подобныя вещи, и эти разговоры были для нихъ не новость; они только посмѣялись надъ смущеніемъ, въ которое былъ поставленъ графъ Гогенфельдъ.

— Или опять... сказалъ было Гогенфельдъ, но хозяйка перебила его.

— Нѣтъ, графъ, это ужъ черезчуръ, — строго сказала Ольга.—Вы точно такъ же портитесь, какъ и эти господа. Не говорите о крестьянахъ, если не хотите мнѣ надоѣсть! Что это за заразительное дѣло,—воскликнула она съ искреннимъ недоумѣніемъ, — къ которому никто не можетъ прикоснуться, чтобы не толковать о немъ съ утра до вечера и не забыть о существованіи другихъ вещей на свѣтѣ!?

Вслѣдствіе этого энергическаго протеста, разговоръ перемѣнился. Стали толковать о переѣздѣ Камышлинцева.

— Послушайте, Камышлинцевъ! — сказала Ольга; — знаете, что, вотъ бы вамъ жениться на Вахрамѣевой. Она — миленькая и состояніе порядочное.

Анюта съ любопытствомъ посмотрѣла на Камышлинцева, но онъ только улыбнулся.

— А что же, мудренаго нѣтъ, что этимъ и кончится,—замѣтилъ Гогенфельдъ.—Деревенское знакомство, ежедневныя встрѣчи, прогулки, — а бѣсъ силенъ!

— Нѣтъ,— отвѣчалъ Камышлинцевъ, — къ этой штукѣ я вообще влеченія не имѣю. Да я еще и хочу поработать обществу, а женившись, человѣкъ связанъ и дѣлается уключивѣе, и притомъ... — прибавилъ онъ съ комической серьезностью.

«Кому завистливой судьбою
Въ сей жизни бури суждены,
Тотъ стой одинъ передъ грозою,
Не призывай къ себѣ жены!»

Никто не придалъ этимъ стихамъ особаго значенія, кромѣ Мытищева.

— Нѣтъ, — сказалъ онъ печально и нѣсколько торжественно, — еслибы авторъ этихъ стиховъ *) прожилъ подолѣе и раздѣлилъ участь большинства его соучастниковъ, онъ не сказалъ бы этого. Онъ увидѣлъ бы, какое великое утѣшеніе во время грозы могутъ подать иныя жены.

И онъ сталъ еще печальнѣе.

Слова и, главное, тонъ ихъ навели на слушателей нѣкоторое почтительное безмолвіе: такъ бываетъ, когда дотронутся до чьего-нибудь горькаго воспоминанія.

— Ну, я совсѣмъ не принадлежу къ подобнымъ женамъ,—сказала Ольга, но сказала вполголоса и какъ-бы только сидящимъ около нея. — Я ужасно боюсь грозы; да и вообще неспособна переносить никакихъ грозъ.

Мытищевъ печально улыбнулся.

— Вы вообще растеніе тепличное,—сказалъ съ пріятностью графъ Гогенфельдъ,— растеніе, которое любитъ ухаживанье за собой.

— Графъ,—сказала Ольга,— что это вы говорите? Какъ ухаживанье? Уходъ!.. Вы, надѣюсь, не хотѣли острить на мой счетъ!

— Виноватъ!—сказалъ онъ, нѣсколько смѣшавшись,—я совсѣмъ не хотѣлъ сказать того! Я хотѣлъ сказать: une plante qui aime à être soignée.

— Любитъ ухаживанье! слышите!—сказала Ольга:—это было бы очень мило!

Графъ извинялся и оправдывался непривычкой говорить въ обществѣ по-русски. Всѣ смѣялись и разговоръ пошелъ весело и игриво, какъ это было почти всегда, когда руководила имъ Ольга Ѳедоровна.

Анюта пробыла до вечера, когда Камышлинцевъ по обыкновенію ушелъ въ клубъ. Она воротилась веселая; ей какъ-то было необъяснимо легко. Ни-

*) Рылѣевъ.

чего повидимому не измѣнилось въ обращеніи Мытищевой и Камышлинцева, но Анюта чуяла своимъ женскимъ чутьемъ, что уже что-то не то. Даже въ самомъ предложеніи о женитьбѣ, не смотря на его шутливость, показалось ей гораздо болѣе искренности и правды, чѣмъ бы это могло быть при другихъ отношеніяхъ. И Анюта еще больше убѣдилась въ разрывѣ между Камышлинцевымъ и Ольгой.

Арина Степановна сидѣла и что-то шила, когда воротилась Анюта; окно въ садикъ было открыто и оттуда вносился теплый и душистый отъ цвѣтущей сирени воздухъ.

Анюта сбросила шляпку, но не сѣла. Ей не сидѣлось. Она прошла еще нѣсколько разъ по комнатѣ, что-то весело напѣвая, и вдругъ подошла къ теткѣ и весело ее поцѣловала..

Арина Степановна почему-то смутилась и покраснѣла отъ этого поцѣлуя, и подозрительно посмотрѣла на Анюту.

— Что съ тобой?—спросила она.

— Ничего, тетя! Вечеръ славный, такъ хорошо дышется!.. весело какъ-то!

VII.

Камышлинцевъ переѣхалъ въ деревню и устроился очень хорошо. У него былъ небольшой, но совершенно отдѣльный и комфортный домикъ. Прислугу Вахрамѣевъ всю распустилъ: и въ домѣ, и въ комнаткѣ на верху оставалась только его пожилая ключница, которую Камышлинцевъ пригласилъ у себя хозяйничать. За домомъ начинался огромный, запущенный за недостаткомъ прислуги садъ, и этимъ садомъ домикъ Камышлинцева отдѣлялся отъ другаго барскаго дома, принадлежавшаго брату Вахрамѣева.

Но, не смотря на удобность устройства, не спокойно жилось Камышлинцеву. Началось памятное лѣто 1862 года. Подъ вліяніемъ духа жизни, который коснулся Россіи, подъ вліяніемъ всеобщаго пробужденія и стремленія къ дѣятельности, кровь быстрѣе двигалась въ жилахъ; молодыя силы, жаждущія участія въ политическомъ развитіи страны, не находя выхода, ничѣмъ не регулированныя, приняли печальное направленіе; начались извѣстныя волненія между молодежью, появились прокламаціи.

Дошли нѣкоторые изъ этихъ листовъ и до Велико-Ѳедорска и произвели въ немъ величайшій переполохъ. Общественное мнѣніе, темное, не руководимое печатью, даже не извѣщаемое ею объ истинномъ ходѣ происшествій, было смущено и запугано. Люди такъ называемыхъ старыхъ дрожжей, недовольные либеральной реформой правительства, на которую роптать не смѣли, подняли теперь голову.

«А, что, мы говорили?.. а? до чего дожили?»— кричали они, и безголовая масса начала на нихъ поглядывать какъ на удачныхъ пророковъ, а мелкіе либералы поджали хвостъ, воображая, что они повинны въ этомъ явленіи, что они, какъ крыловскія мухи, невѣдомо для себя пахали это запретное поле.

Положеніе Камышлинцева было вдвойнѣ не радостно. Онъ былъ глубоко опечаленъ этимъ явленіемъ, потому что, вслѣдствіе извѣстнаго склада своихъ убѣжденій, видѣлъ въ немъ только задержку правильному развитію политической жизни, орудіе, дающееся въ руки людямъ, враждебнымъ этому развитію; а между тѣмъ всѣ старыя дрожжи, въ числѣ которыхъ, увы! находилось и много молодыхъ еще силъ, смотрѣли на Камышлинцева, какъ на участника, какъ на проводника крайнихъ идей, распространителя прокламацій.

— Не угодно ли полюбоваться?—говорилъ одинъ изъ нихъ, показывая Камышлинцеву запретный листокъ.—Полюбуйтесь-ка! Позвольте узнать, что бы вы думали сдѣлать съ этими молодцами?

— А я бы напечаталъ ихъ произведеніе во всѣхъ газетахъ! — сказалъ Камышлинцевъ.

— Гм!.. — съ злобной усмѣшкой сказалъ господинъ. — Отъ васъ бы это сталось. А я бы, милостивый государь,— сказалъ онъ, перемѣнивъ тонъ и входя въ азартъ, — я бы всѣхъ ихъ и имъ подобныхъ — повѣсилъ, повѣсилъ бы всѣхъ до одного, да еще за ноги!

— Мѣра радикальная!—сказалъ Камышлинцевъ, усмѣхнувшись. — Къ счастью, управляете-то нами грѣшными не вы!

— Да, къ счастію! — сказалъ тотъ, энергически кивнувъ головой.

Но Камышлинцевъ и безъ этого былъ увѣренъ, что для него, болѣе чѣмъ для другихъ, управленіе подобныхъ собесѣднику господъ было бы весьма невыгодно.

Но были у Камышлинцева и другаго рода споры, споры съ молодежью, которая часто стала навѣщать его. Являлась она къ нему возбужденною и чего-то какъ-бы ожидала отъ Камышлинцева, а уходила въ раздумьи.

Разъ пришелъ къ Камышлинцеву Благомысловъ. Онъ былъ особенно мраченъ и возбужденъ. Въ этотъ день почта принесла извѣстіе о пожарѣ толкучаго рынка и намеки газетъ на участіе въ немъ студентовъ.

— Читали? — спросилъ Благомысловъ.

Камышлинцевъ молча указалъ ему на разбросанныя газеты. Онъ былъ возмущенъ до глубины души.

— Среди груды деревянныхъ и холщевыхъ балагановъ, всякаго тряпья, сора и рухляди, жгутъ на открытомъ воздухѣ свѣчи, когда нѣтъ никого кромѣ пьяныхъ сторожей,—и недоумѣваютъ о причинѣ пожара! — говорилъ Благомысловъ, ходя по комнатѣ. — Въ пожарахъ нашихъ деревянныхъ и соломенныхъ деревень, которыя горятъ огуломъ, въ городахъ, въ какой-нибудь Казани или Самарѣ, съ періодическими пожарами, съ нашимъ разсердившимся мужикомъ или бабой, или воромъ и мошенниками, которые разумѣется прибѣгаютъ къ самой сподручной мести, или наконецъ съ ребячьей

пироманіей,—они ищутъ политическихъ поджоговъ да винятъ студентовъ! Эта самая-то просвѣщенная и либеральная молодежь, по ихнему, пойдетъ поджигать избу мужика, разорять народъ, за который она готова бы сама въ огонь идти!

— Конечно, масса глупа, — продолжалъ онъ.— Гораздо легче думать, что лекаря отравляютъ народъ и студенты поджигаютъ избы, чѣмъ смотрѣть за собой и принимать предосторожности, — а газеты-то, эти руководители общественнаго мнѣнія, поддерживаютъ ее въ этомъ.

— И замѣтьте,—сказалъ Камышлинцевъ, — что это черта нынѣшняго времени: прежняя литература не такъ говорила.

— Всѣ хороши!—сказалъ Благомысловъ, не задумываясь подвести всѣхъ подъ одну рубрику.

Онъ долго ходилъ, потомъ сѣлъ, посмотрѣлъ на Камышлинцева какъ-то пытливо и вдругъ спросилъ:

— А что же мы-то?

— А мы будемъ дѣлать каждый свое обыденное дѣло,—отвѣчалъ Камышлинцевъ.—Да постараемся не доставлять легкихъ средствъ къ отличію господину Милашкину.

Благомысловъ еще посмотрѣлъ на Камышлинцева, потомъ всталъ и холодно сказалъ ему:

— Ну, такъ прощайте!

— Куда же вы?—спросилъ удивленный Камышлинцевъ, подавая руку.

— Да дѣлать свое дѣло,—сказалъ онъ.— Вѣдь ваше дѣло не мое? вы знаете, всякій лечитъ по своему; ну вы здѣсь и оставайтесь, а я пойду.

Онъ кивнулъ головой и вышелъ.

Камышлинцевъ догналъ его въ слѣдующей комнатѣ.

— Послушайте, Благомысловъ!—сказалъ онъ.— Подумайте прежде, чѣмъ рѣшаться на что-нибудь, и не играйте легко ни собой, ни другими: довольно безполезныхъ жертвъ.

Благомысловъ выслушалъ Камышлинцева холодно и не глядя ему въ глаза.

— Довольно думано!—сказалъ онъ глухо. — Да и не для кого мнѣ очень себя беречь. А теперь не то время, чтобы за перепиской бумагъ сидѣть.

Онъ рѣшительно кивнулъ головой, какъ бы желая сказать: «довольно объ этомъ!» и вышелъ.

Камышлинцеву было жаль Благомыслова, а между тѣмъ онъ былъ увѣренъ, что его совѣты и настоянія, еслибы онъ и повторилъ ихъ, ни къ чему не поведутъ.

Не смотря на несогласіе воззрѣній, горячіе, до враждебности доходящіе споры, Камышлинцевъ любилъ Благомыслова. «Все это молодо, не выработано, самоувѣренно,—думалъ, онъ, — но въ немъ есть стойкость, жажда честнаго труда; его сочувствіе къ бѣдному—не исполненіе долга: онъ самъ бѣднякъ, онъ не нашъ братъ бѣлоручка и способенъ на суровую работу, а остальное можетъ придти современемъ...» — и ему хотѣлось употребить всѣ силы, чтобы остановить Благомыслова. Думалъ онъ, *какъ бы* это сдѣлать, и нашелъ, что всего лучше обратиться къ Анютѣ Барсуковой, которая, какъ ему казалось, одна имѣетъ на него вліяніе: женщина, которая нравится, убѣждаетъ средствами ей одной доступными: логикой взглядомъ, улыбкой, звукомъ словъ, а что говорится этими словами, то дѣло неважное, ибо мужчина можетъ говорить въ десять разъ послѣдовательнѣе и убѣдительнѣе, а все таки безуспѣшнѣе, чѣмъ любимая женщина. Камышлинцевъ велѣлъ заложить лошадь и поѣхалъ къ Анютѣ.

Жаркій ясный день начиналъ вечерѣть и въ воздухѣ почуялась отрадная душистая свѣжесть. Камышлинцевъ дорогой не обогналъ Благомыслова: тотъ вѣроятно пошелъ прямо пѣшеходной тропой, которая была гораздо короче, или пріѣзжалъ на бѣговыхъ дрожкахъ, на лошадкѣ хозяина, который часто снабжалъ ею Благомыслова.

Камышлинцевъ засталъ Анюту въ магазинѣ, но она позвала его въ свою комнату.

Дѣла Анюты шли весьма хорошо. Барыни, какъ мухи на медъ, накинулись на свѣжіе и со вкусомъ выбранные петербургскіе товары. Притомъ закройщица, которую Барсукова привезла съ собой, оказалась мастерицей своего дѣла и сразу замѣтила мѣстныхъ швей. Швейная машина, также привезенная на пробу, работала скоро и отчетливо.

Въ магазинъ являлись и мужчины, покровители женскаго труда вообще и хорошенькихъ трудящихся въ особенности. И Анюта, не смотря на лѣтнюю пору, была завалена работой. Въ провинціи этотъ успѣхъ бываетъ сначала: тамъ вообще и люди, и клопы съ жадностью нападаютъ на свѣжаго человѣка.

Комната, въ которую Камышлинцевъ зашелъ съ Анютой, была и контора ея, и ея гостиная. Налѣво отъ входа, у окна на лѣстницу былъ столъ со счетными книгами и бумагами, направо у стѣны широкій диванъ, а противъ него, у оконъ, выходящихъ въ садикъ, стояли покойное кресло и маленькій рабочій столикъ. На окнахъ зелень, по стѣнкамъ полки съ книгами и нѣсколько фотографическихъ портретовъ. А спальная и комната тетки были въ другой сторонѣ магазина. Арина Степановна постоянно сидѣла у себя. Съ начала открытія магазина, заслышавъ мужской голосъ, она пробовала было выходить въ магазинъ, считая все такп неприличнымъ оставлять Анюту безъ своего покровительства, но когда нѣкоторые покупщики стали обращаться съ ней довольно безцеремонно, спрашивая, чтобы она показала тѣ или другія вещи, она обидѣлась и покинула Анюту на свои силы; и Анюта была очень довольна: она терпѣть не могла надзора.

— Я васъ не спросила,—сказала Анюта, вводя Камышлинцева:—вы ко мнѣ, можетъ быть, покупщикомъ, и не хотите быть гостемъ?

— Я къ вамъ просителемъ,—вы ихъ гдѣ принимаете?

— Такихъ, какъ вы, здѣсь,—отвѣчала она, са-

дясь къ садовому окну и указывая ему мѣсто напротивъ.

Она ему предложила курить, и Камышлинцевъ закурилъ папироску.

Онъ разсказалъ Анютѣ, въ чемъ дѣло.

— Вы на него имѣете вліяніе, — сказалъ Камышлинцевъ,—уговорите его не дѣлать глупостей и остаться.

— Къ сожалѣнію, вліянія-то я не имѣю никакого—зарумянясь, сказала Анюта: — если и было оно, такъ утрачено.

— Да? — спросилъ Камышлинцевъ, посмотрѣвъ на нее.—Вы, можетъ быть, говорите это изъ скромности?

— О, нѣтъ,—сказала она. — Тетушка находитъ напротивъ, что я совсѣмъ не скромна. Но я боюсь даже, что если Благомысловъ зайдетъ ко мнѣ то мое вмѣшательство испортитъ дѣло.

Камышлинцевъ посмотрѣлъ на Анюту, улыбаясь.

— Я не думаю, чтобы вы были не скромны,— сказалъ онъ; — но что вы не умѣете быть скрытной, это замѣтно!—Значитъ, онъ вамъ признался и былъ дурно принятъ,—прибавилъ онъ.—За что же вы были жестоки?

Анюта вся вспыхнула. Ей было досадно, что Камышлинцевъ такъ хладнокровно и свободно игралъ ею и какъ будто смотрѣлъ на нее свысока.

— Хорошо. Если вы дѣлаете подобный вопросъ и высказываете такую проницательность,—сказала она,—то я вамъ отвѣчу, но съ тѣмъ, чтобы и вы мнѣ сказали: вы были жестоки къ Мытищевой, или она къ вамъ?

Очередь нѣсколько смутиться была теперь за Камышлинцевымъ.

— Вы насъ обвиняете напрасно!—сказалъ онъ:— ни она, ни я этимъ порокомъ, кажется не страдаемъ. — Онъ постарался произнести эти слова сколь возможно просто, но довольство удовлетвореннаго самолюбія невольно проглянуло въ нихъ.

Можетъ быть, намекъ на снисходительность Ольги вышелъ у Камышлинцева невольно, но онъ имъ не былъ доволенъ. Всякій мужчина, когда рѣчь коснется о его любовныхъ побѣдахъ, становится нѣсколько самохваломъ, и это самохвальство, надо замѣтить, никогда не вредитъ ему въ глазахъ женщины.

— Если не страдали сначала, такъ можетъ быть въ концѣ,—сказала Анюта.—Изъ чего нибудь вѣдь разрывъ вышелъ? — Она увлеклась желаньемъ не остаться въ долгу у Камышлинцева, а между тѣмъ невольно, какъ къ больному мѣсту, наводила разговоръ на отношенія Камышлинцева къ Мытищевой.

— А вамъ очень хочется знать?—спросилъ Камышлинцевъ.

— Я нескромнаго вопроса не сдѣлала бы, еслибы вы не подали примѣра, — сказала Анюта.

— Очень хорошо! такъ я вамъ подамъ примѣръ откровенности: видите ли, если при любви нѣтъ согласія во взглядахъ, нѣтъ общаго стремленія, то она сгоритъ, какъ свѣтильня безъ масла.

— Ну, а когда нѣтъ огня,—отвѣтила краснѣя и скороговоркой Анюта, намекая на свои отношенія къ Благомыслову,—такъ она вовсе не загорится, это просто.

— Значитъ, если нѣтъ умѣнья зажечь?—началъ снова Камышлинцевъ.

Но въ это самое время въ двери магазина зазвенѣлъ колокольчикъ и раздался голосъ Благомыслова.

— Анна Ивановна?

— Она въ конторѣ,—отвѣтила дѣвушка:—я доложу.

Но Благомысловъ, не дожидаясь ея, подошелъ къ полуотворенной двери.

— Можно? — спросилъ онъ, и прежде нежели Анюта успѣла отвѣтить: «разумѣется, можно», онъ уже вошелъ.

Увидѣвъ Камышлинцева, Благомысловъ остановился, и все выраженіе его лица вдругъ перемѣнилось, какъ перевернутая декорація. Онъ никакъ не ожидалъ встрѣтить Камышлинцева. И по разнымъ причинамъ Камышлинцевъ и Анюта тоже были смущены, точно они врасплохъ были пойманы.

— Извините, — сказалъ Благомысловъ, — я не зналъ, что вы не однѣ!—Онъ хотѣлъ насмѣшливо улыбнуться, но въ его смущенномъ лицѣ это вышло какъ-то странно, и самъ онъ чувствовалъ, что вышло совсѣмъ не то.

— Это все равно,—отвѣчала Анюта. — У насъ съ Дмитріемъ Петровичемъ секретовъ нѣтъ. Садитесь,—и она указала ему стулъ возлѣ себя.

— Да и къ тому же я долженъ оставить Анну Ивановну,—сказалъ Камышлинцевъ, вставая.—Онъ желалъ дать ей случай переговорить наединѣ съ Благомысловымъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же,—сказалъ Благомысловъ,— я не помѣшаю. Я на минутку только—проститься. Прощайте!—сказалъ онъ, протягивая руку Анютѣ.

Въ смущенномъ и опущенномъ взглядѣ, въ краскѣ и выраженіи лица, болѣе чѣмъ въ словахъ видны были чувства, волновавшія Благомыслова. Онъ ревновалъ Анюту и подозрѣвалъ прерванное свиданіе. И Анюта, и Камышлинцевъ оба ясно поняли это.

— Я заѣзжалъ къ Аннѣ Ивановнѣ, — сказалъ Камышлинцевъ съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ оскорбленной невинности, снисходящей до оправданія (она обыкновенно заключается въ басовыхъ и горловыхъ звукахъ голоса),—чтобъ сказать ей о вашихъ намѣреніяхъ. Я надѣюсь, что вы болѣе послушаетесь ея, чѣмъ меня. — Высказавъ это, Камышлинцевъ, не спѣшилъ уйти, такъ какъ секретъ былъ уже открытъ.

— Что за заботы!—съ усмѣшкой сказалъ Благомысловъ.—Не все ли равно, уйду я, или нѣтъ, и что со мной станется! Кому и для чего я здѣсь нуженъ?—прибавилъ онъ, пожавъ плечами.

— Что же вы думаете, что намъ все равно, что бы съ вами ни сталось? — горячо спросила Анюта, глядя ему въ глаза.—Вы это по себѣ, что ли судите?

— Я полагаю, — хмуро, хотя нѣсколько осѣвшись, сказалъ Благомысловъ,—что надо дѣло дѣлать, а о себѣ думать нечего, особенно такимъ счастливымъ господамъ, какъ я,—добавилъ онъ.

— Да въ томъ-то и вопросъ,—сказалъ Камышлинцевъ,—такъ ли вы дѣло-то понимаете? Будетъ ли прокъ въ этомъ дѣлѣ? Можно не думать о себѣ, когда увѣренъ, что несомнѣнно принесешь пользу, что по вѣрной дорогѣ идешь.

— Ну, я въ этомъ не сомнѣваюсь,—твердо сказалъ Благомысловъ. — Конечно, пріятнѣе и безопаснѣе здѣсь заниматься протестами противъ Кнебелей да бесѣдовать съ такими прекрасными дѣвицами,—онъ съ усмѣшкой взглянулъ на Анюту,— но это не наше дѣло; да меня, слава Богу, ничего и не держитъ здѣсь, прощайте!—онъ протянулъ руку Анютѣ и крѣпко пожалъ ее.

— Да постойте,—сказала она, — переговоримъ по крайней мѣрѣ.

— Все переговорено,—сказалъ онъ угрюмо, повернулся и быстро вышелъ. Анютѣ показалось, что она вновь услыхала въ его словѣ тѣ подавленныя слезы, которыя она слышала при памятномъ объясненіи.

Анюта и Камышлинцевъ остались, молчаливые, другъ противъ друга.

— Жаль его,—сказалъ Камышлинцевъ,—да не воротите. Въ его лѣта безъ дѣла и безъ любви броситься въ омутъ, чтобы уйти отъ скуки, а гдѣ жъ усидѣть въ такое горячее время. Молодыя силы рвутся, а средствъ къ выходу мало, и вотъ какъ онѣ гибнутъ!

Анюта слушала молча и печально. Вообще эта сцена навѣяла на нихъ грусть.

— До свиданія,—сказалъ Камышлинцевъ,—подавая руку Анютѣ.

— Какъ, вы уходите?—сказала она.—Боже мой, какая тоска! душно, пыльно,—выйти некуда, хоть бы гроза прошла!..—И она сама готова была заплакать.

А дѣло въ томъ, что въ ней самой собиралась и чуялась ей гроза, что въ ней кипѣла молодая кровь, скоплялись, какъ электричество въ воздухѣ, тѣ томящія и волнующія силы, которыя гнетутъ, какъ лѣтній зной, и вся она, замирая, ждала, когда блеснетъ огненная искра, и по всей по ней, потрясенной и счастливой, пронесется благодѣтельная или гибельная буря.

Камышлинцевъ, оставшись съ Анютой, по уходѣ Благомыслова, самъ почувствовалъ, что остается съ ней въ какихъ-то иныхъ отношеніяхъ. Бываютъ такія минуты, что человѣкъ, съ которымъ видишься годы, вдругъ, казалось бы, отъ совершенно посторонняго обстоятельства, дѣлается для васъ совершенно другимъ. Какъ будто подозрѣнія Благомыслова пали на нихъ тѣмъ лучемъ, подъ которымъ дремлющее въ землѣ зерно пробуждается къ жизни, какъ будто уходомъ своимъ Благомысловъ оставилъ Анюту на рукахъ и попеченіи Камышлинцева. Случай, доселѣ, сталкивавшій его съ Анютой, какъ посторонняго, теперь дѣлалъ ихъ близкими; и Камышлинцевъ почувствовалъ и желаніе, и обязанность придти на помощь этой случающей, молодой и красивой дѣвушкѣ.

— Знаете, что?—сказалъ онъ. — Поѣдемте въ Вахрамѣевку. Тамъ отличный пустой садъ въ моемъ распоряженіи, дорога славная, и нагуляетесь тамъ досыта, и воздухъ, какъ медъ, хоть пей его. Липа цвѣтетъ теперь. Да мы, кромѣ воздуха, и чаю напьемся.

Анюта вспыхнула отъ радости.

— Отлично,—сказала она,—только... поѣдетъ ли тетка? или безъ нея?— спросила она, посмотрѣвъ съ улыбкой на Камышлинцева.—Нѣтъ, на первый разъ нельзя, — рѣшила она сама, нѣсколько покраснѣвъ.

— Ну, зовите тетю! поднимайте ее! — сказалъ Камышлинцевъ.

— Сейчасъ, — отвѣтила Анюта, и скрылась.

Камышлинцевъ, оставшись одинъ, смотрѣлъ въ маленькій, находящійся подъ окнами садикъ, и самъ чувствовалъ что-то пріятное, точно онъ дѣло покончилъ трудное, или пріобрѣлъ вещь, которую ему давно хотѣлось имѣть.

— Ѣдемъ! — вбѣжавъ, сказала Анюта. — Я Росинанта велѣла заложить.

Росинантъ была одна изъ пары почтенныхъ и пожилыхъ лошадей, которыхъ ей прислалъ отецъ изъ деревни: Анюта для разъѣздовъ должна была завести свой экипажъ, да въ провинціи кто же и не держитъ его!

Черезъ нѣсколько минутъ вошла Арина Степановна, румяная, пріодѣтая. Она радушно, но не безъ церемоніи обращалась съ Камышлинцевымъ и благодарила его за приглашеніе. Впрочемъ, Камышлинцевъ ей нравился. «Учтивый и прекраснѣйшій молодой человѣкъ», говорила она про него. Образа мыслей его она не знала, но она судила по наружности.

Черезъ четверть часа они выѣхали. Садъ имъ понравился. Это былъ, какъ мы сказали, большой, за недостаткомъ ухода запущенный барскій садъ. Его перекрещивали подъ прямымъ угломъ четыре главныя аллеи, шириною—хоть катайся четверней, съ старыми высокими и вѣтвистыми деревьями, и множествомъ аллей побочныхъ, густо заросшихъ и почти закрытыхъ листомъ, аллей, по которымъ двое въ рядъ едва могли проходить межъ разросшихся вѣтвей. Были въ немъ и бесѣдки, и бельведеры съ поломанными ступенями, съ потертыми надписями на стѣнахъ: стихи — мечты и мысли людей, можетъ быть сгнившихъ уже или разваливающихся, какъ и ступени бесѣдокъ! Съ одного бельведера былъ видъ на деревню, поля и перелѣски,—небольшой русскій видъ, и мягкій, и грустный. Но хорошо было въ эту пору гулять подъ широкимъ навѣсомъ этихъ высокихъ деревьевъ, смотрѣть, какъ косые лучи заходящаго солнца золотыми стрѣлами пронизывали, а разгорѣвшійся закатъ обливалъ горячимъ малиновымъ свѣтомъ—

стволы, зелень и тихо трепетавшіе какъ отъ нѣги листья! Хорошо было дышать этимъ пахучимъ, сладкимъ и освѣжающимъ воздухомъ, который, словно засыпая, не шелохнувшись стоялъ между деревьями и сбирался уже прилечь на ночь къ землѣ влажной и освѣжительной росой.

Пока хозяинъ и гостьи гуляли, на широкомъ округленномъ перекресткѣ главныхъ аллей, что въ старину называлось rond-point и было необходимой принадлежностью всякаго порядочнаго сада, — собранъ былъ столъ съ самоваромъ; Арину Степановну заставили хозяйничать и всѣ втроемъ весело принялись за чай. Т. е. веселились и смѣялись Камышлинцевъ и Анюта, но Арина Степановна со свойственной ей церемонностью позволяла себѣ только благодушно улыбаться.

По правдѣ сказать, присутствіе этой милой и благодушной дѣвы было, по мнѣнію молодыхъ людей, совершенно лишнее и стѣсняло отчасти ихъ разговоры, хотя и сами они не знали, что бы имъ хотѣлось сказать и услышать другъ отъ друга. Но и эта сдержанность при безцѣльности и неопредѣленности желаній имѣла свою прелесть — прелесть легкаго раздражающаго препятствія, которое гораздо лучше сближаетъ, чѣмъ разъединяетъ, и дѣлаетъ молодежь соучастниками общаго заговора, какъ обойти и обмануть скучнаго стража.

Но, сидя мирно за столомъ, Камышлинцевъ иногда нападалъ на мысль: «вотъ такъ бы онъ сидѣлъ съ молодой женою, еслибы...»; но онъ не доканчивалъ, онъ зналъ, что за этой пріятной декораціей семейной жизни валяются картонныя бутафорныя принадлежности, снуютъ грязные ламповщики и ссорятся герои, жрецы и весталки.

Однако пріятная бесѣда была прервана маленькимъ эпизодомъ. Во время частнаго и веселаго разговора, Анюта, сидѣвшая лицомъ къ длинной аллеѣ, вдругъ смолкла.

— Кто это?—спросила она.

Камышлинцевъ оглянулся и увидалъ два женскія молоденькія существа въ одинаковыхъ, весьма кокетливыхъ для деревни платьяхъ,—которыя приближались къ нимъ.

— А, это мои сосѣдки, Вахрамѣевы, — сказалъ онъ, — онѣ иногда ходятъ сюда.

— Что онѣ, каковы? — спросила Анюта.

— Да вѣдь вы ихъ знаете?

— Такъ мимоходомъ, только по наружности,— замѣтила Анюта.

— Ничего! такъ себѣ — знаете, русское тѣсто, которымъ любятъ хвастаться маменьки, говоря, что умный мужъ можетъ изъ него сдѣлать, что хочетъ; а въ сущности не правда: ужь тѣсто заквашено, только не извѣстно еще, что при печеньи выйдетъ, эфирная булка, калачъ или лепешка.

Но русское тѣсто уже было близко и разговоръ долженъ былъ прекратиться.

— Здравствуйте, m-r Камышлинцевъ!—сказала старшая, здороваясь съ Камышлинцевымъ, который всталъ имъ на встрѣчу; она въ то же время успѣла вонзить взоръ въ гостей.—Извините, что мы безъ позволенія приходимъ въ ваши владѣнія.

— Ахъ, это вы! — сказала она, узнавъ Анюту Барсукову и подавая ей кончики пальцевъ.

Въ этомъ восклицаніи и самомъ рукопожатіи было все выражено, вершокъ въ вершокъ было вымѣрено то разстояніе, на которомъ должна бы стоять небогатая дворянка и на которое должна отодвинуться модистка. Благовоспитанныя барышни въ провинціи не хуже столичныхъ,—въ совершенствѣ умѣютъ разсчитать это разстояніе.

— Да, мы съ тетей заѣхали подышать сюда,— отвѣчала Анюта.

И на поклонъ тети было какъ слѣдъ отвѣчено преувеличенно-вѣжливымъ поклономъ. А меньшая въ унисонъ слѣдовала за старшей, точно онѣ были вымуштрованы, какъ танцовщицы въ кордебалетѣ.

Онѣ бы, можетъ, и не подали совсѣмъ руки Анютѣ, еслибы въ самой ихъ крови не жила уже та русская наклонность подлаживаться, которая заставляетъ иногда большаго чиновника заигрывать и фамильярничать съ столоначальникомъ другаго вѣдомства, у котораго производится дѣло по его тяжбѣ.

«Все-же она лучшая здѣсь модистка» — думали смѣтливыя барышни.

— Что это вамъ вздумалось извиняться, — сказалъ Камышлинцевъ на ихъ слова, — тогда какъ вы ходите сюда каждое утро?

Дѣвицы нѣсколько смутились.

— Да! но мы не знали, что у васъ гости, — сказала старшая.

Это была очень миленькая и стройная блондинка, лѣтъ осьмнадцати, съ круглымъ бѣленькимъ и розовенькимъ лицомъ, мягкими и неопредѣленными, но пріятными чертами и глазами безцвѣтнаго русскаго неба, но хорошенькими; только свѣтлые волосы были жидковаты и какого-то полинялаго и затрапезнаго оттѣнка, точно платья, въ которыхъ ходятъ по страстнымъ пятницамъ, когда гости не пріѣзжаютъ и пыль и уборка идетъ по всему дому; но за то эти волоса были взбиты, какъ сливки на пирожное. Меньшая была тоже не дурна, но еще жиденькая и не совсѣмъ сложившаяся дѣвочка.

— Не хотите ли чаю? — спросилъ Камышлинцевъ, подвигая старшей свой стулъ, но другаго не было и онъ хотѣлъ пойти за нимъ.

— Нѣтъ, mercі, не безпокойтесь, мы пили. — А самой ужасно хотѣлось присѣсть и сдѣлать свои наблюденія.—Я хотѣла васъ спросить: нѣтъ ли у васъ «Revue Étrangère» за прошедшій годъ? тамъ есть одна повѣсть, которую бы мнѣ хотѣлось прочесть.

— Нѣтъ, я подобныхъ журналовъ не выписываю — сказалъ онъ. — А вотъ изъ русскихъ, если хотите.

— Нѣтъ! Русскіе maman не позволяетъ намъ читать. Они, говоритъ... ils sont sales—и она сдѣлала гримаску, какъ будто увидала таракана въ чаю.

— Ну, а я только сальные-то и читаю, — сказалъ смѣясь, Камышлинцевъ.

— До свиданья,—сказала старшая и опять тѣмъ же порядкомъ простилась.

— Vous viendrez demain nous voir! — сказала она Камышлинцеву нарочно по французски, какъ любятъ поговорить даже и скверно говорящіе на немъ русскіе бары гдѣ-нибудь на гуляньи между писарями и маленькими чиновниками. Барышни знали, что Анюта или не говоритъ, или плохо владѣетъ симъ языкомъ салоновъ.

— Не знаю, можетъ быть,— отвѣчалъ Камышлинцевъ по-русски.

— Venez,—сказала меньшая, обертываясь и кивая ему головой.

— Можетъ быть, барышни. Можетъ быть!— повторялъ вслѣдъ имъ Камышлинцевъ, зная, что онѣ ужасно оскорбляются, когда ихъ называютъ барышнями.

— А старшее-то тѣсто не дурно, — замѣтила Анюта.— Часто онѣ васъ навѣщаютъ?— И у ней скользнула насмѣшливая и ревнивая улыбка.

— По утрамъ иногда встрѣчаемся въ саду, а вечеромъ онѣ пришли вѣроятно узнавъ, что есть посѣтительницы. Вы знаете, дѣло женское!— прибавилъ Камышлинцевъ.

Послѣ чаю они еще прошлись. Стало совсѣмъ поздно, но не было еще темно, когда Анюта съ теткой садились въ экипажъ и прощались съ Камышлинцевымъ: съ одной стороны догорала заря, съ другой поднимался мѣсяцъ, становилась свѣтлая теплая ночь: такъ-бы и не ушелъ до утра съ воздуха.

— Отлично у васъ здѣсь!—сказала Анюта, прощаясь.

— Пріѣзжайте чаще, кто же вамъ мѣшаетъ! отвѣчалъ Камышлинцевъ.— Садъ всегда къ вашимъ услугамъ; а коли дадите знать, такъ и я явлюсь.

— Хорошо, — сказала Анюта. — Смотрите, я поймаю васъ на словѣ.

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше,—заключилъ Камышлинцевъ.

— Постараемся при случаѣ, — сочла обязанностью добавить съ своей стороны добрѣйшая Арина Степановна, о которой если и думала молодежь, то какъ о лишнемъ грузѣ. Но она своей сдержанностью и церемонностью нашла нужнымъ умѣрить излишнюю, какъ ей казалось, короткость обращенія Анюты.

Росинантъ двинулся—они уѣхали, а Камышлинцевъ ушелъ къ себѣ. Онъ свѣжѣе и бодрѣе принялся за работу.

VIII.

Прошло нѣсколько дней; такая же духота и жара стояли на дворѣ, такъ же тянуло Анюту подышать свѣжимъ воздухомъ Вахрамѣевскаго сада, но еще сильнѣе другое разгоравшееся чувство влекло ее къ Камышлинцеву: она не выдержала и собралась *къ нему.*

— Куда ты?— спросила тетка.

— Прокатиться,— отвѣчала Анюта,— да за работой заѣду.

Еслибы Анюта и не прибавила послѣдняго обстоятельства (она дѣйствительно по пути заѣзжала къ кому-то за работой), то и безъ того Арина Степановна не двинулась бы съ мѣста; она принадлежала къ тѣмъ домовитымъ русскимъ женщинамъ, которыя потребность подышать свѣжимъ воздухомъ считаютъ праздной забавой и довольствуются движеніемъ по хозяйству въ четырехъ стѣнахъ двухъ-саженной комнаты.

Анюта не безъ смущенія сказала кучеру «въ Вахрамѣевку» и съ біющимся сердцемъ вошла въ садъ.

Надобно замѣтить впрочемъ, что садъ этотъ былъ почти публичнымъ. Холостой помѣщикъ рѣдко жилъ въ этой деревнѣ, а когда и жилъ, то не мѣшалъ городскимъ посѣтителямъ иногда пріѣзжать въ его садъ, хотя за отдаленностью и вообще сидячестью нашего славянскаго племени этимъ дозволеніемъ пользовались довольно рѣдко. Поэтому пріѣздъ Анюты не заключалъ въ себѣ, ничего особеннаго, непривычнаго.

— Что, можно въ садъ?— спросила она больше для обрядности, чѣмъ изъ нужды, проходившую въ это время по двору ключницу и ласково ей поклонилась.

— Можно, сударыня, милости просимъ! отвѣчала та съ вѣжливостью старинной прислуги хорошаго барскаго дома.

— А Дмитрій Петровичъ дома?—нерѣшительно проговорила она.

— Дома; доложить прикажете?

— Нѣтъ,—не безпокойтесь, — я такъ только...

Но Дмитрій Петровичъ и видѣлъ проѣхавшій мимо экипажъ, и слышалъ разговоръ: въ деревнѣ все видится и слышится. Не прошло минуты, какъ Анюта заслышала за собой шаги и, оглянувшись, увидала стройную и красивую фигуру Камышлинцева.

Опять была долгая и веселая прогулка (отъ чаю Анюта отказалась), опять, какъ зарево разгорался закатъ, когда она простилась съ Камышлинцевымъ, хотя мѣсяцъ еще не вставалъ и вообще было еще не поздно. Анюта опять обѣщала Камышлинцеву пріѣхать и на вопросъ его: «скоро навѣстите»? назначила «дня черезъ два»; но въ этотъ разъ она уѣзжала не столь довольная, не съ тѣми сладкими ожиданіями въ будущемъ. Что-то тревожное, что-то словно задѣвающее и раздражающее прибавилось къ ея чувству: она не совсѣмъ была довольна Камышлинцевымъ и начинала не совсѣмъ понимать его.

А разгадка была въ томъ, что Камышлинцевъ велъ живой, игривый, порой дѣльный разговоръ съ Анютой, но не позволялъ себѣ перейти грань обыкновеннаго знакомства и былъ вообще сдержаннѣе. Онъ уже былъ не мальчикъ и не незнающій, что дѣлать съ своею особою, молодой дармоѣдъ. Онъ видѣлъ, что ему дается легкая и

пріятная побѣда. Анюта ему самому очень нравилась, нравился ему ея стройный станъ, красивое и оживленное лицо съ черными блистающими глазами, нравился ему и живой, дѣятельный и рѣшительный складъ ея ума; но... но его ясному уму не могъ не явиться вопросъ: «что же изъ этого выйдетъ», или лучше сказать, «что сдѣлать изъ этого», потому что онъ зналъ, что отъ него зависитъ это «что сдѣлать».

Камышлинцевъ не хотѣлъ лгать передъ собою, не отворачивался отъ этого вопроса и не затемнялъ его себѣ. Страсть не мѣшала ему пока вполнѣ владѣть собою и отдавать ясный отчетъ въ поступкахъ. Раздумывая часто о взаимныхъ отношеніяхъ половъ, Камышлинцевъ не былъ противъ брака, какъ основы семьи; хотя и желалъ для него большой свободы въ разрывѣ, но въ дѣлѣ любви (любовь и бракъ были для него двѣ вещи разныя), въ принципѣ, стоялъ вполнѣ за свободный союзъ любящихся: только уже примѣненіе этого принципа, по его мнѣнію, требовало много условій и не всѣ изъ нихъ удовлетворялись въ настоящемъ случаѣ. Независимый и самостоятельный характеръ Анюты какъ разъ подходилъ къ его требованіямъ: она имѣла свое дѣло, дающее ей хлѣбъ и ее занимающее; у нея достало бы вѣроятно смѣлости и силъ нести свое положеніе въ свѣтѣ, но отецъ, семья, тетка, всѣ любимые, для которыхъ острымъ ножомъ станутъ отношенія Анюты къ Камышлинцеву, что съ ними подѣлаешь? Можетъ быть, Анюта въ молодомъ порывѣ, въ горячкѣ страсти и рѣшилась бы нанести имъ этотъ тяжелый ударъ. Конечно, Камышлинцевъ могъ сказать: «какое мнѣ дѣло до ихъ понятій и до страданій, которыя они сами себѣ устраиваютъ». Но — было ли то несовершенное отреченіе отъ старыхъ, издѣтства усвоенныхъ понятій, или просто то была сердечная доброта—только Камышлинцевъ чувствовалъ совѣстливость и нерѣшительность нанести этотъ ударъ старикамъ. Ему жаль было также поставить и Анюту въ положеніе, въ разрѣзъ идущее съ общепринятыми понятіями, въ ту непрестанную борьбу, которая могла бы быть легка въ массѣ, тогда какъ въ-одиночку, при малѣйшей слабости, легко быть втоптанной въ грязь. Добросовѣстность подсказывала Камышлинцеву еще и другое сомнѣніе: не скрывается ли здѣсь подъ его инстинктивною совѣстливостью, кромѣ уваженія къ старымъ преданіямъ, какая-нибудь неоткрытая имъ ложь его соображенія? Онъ вѣрилъ въ какую-то врожденную правоту этого безотчетнаго чувства, которое мы называемъ совѣстливостью, вѣрилъ въ чутье ея, которое не разъ вѣрнѣе разсудка угадывало заблужденіе и останавливало его. Онъ вообще осторожно и съ строгой повѣркой относился къ тѣмъ общественнымъ привычкамъ и обычаямъ, которые часто кажутся безосновательными предразсудками. Онъ помнилъ мѣткое замѣчаніе поэта-мыслителя: «предразсудокъ—онъ обломокъ старой правды». И теперь, къ этой разборчивости прибавилось еще сомнѣніе, — правъ ли будетъ онъ, поступая въ силу своего принципа убѣжденія стариковъ. Та боль, которой поразитъ онъ ихъ, этотъ стонъ, который у нихъ вырвется, не будутъ ли вызваны дѣйствительной опасностью, которую они видятъ для своей любимой дочери, а не только страхомъ общественнаго укора, страхомъ передъ грязью и камнями, которыми будетъ кидать въ нее полное прикрытой грязи общество.

Какъ бы то ни было, но Камышлинцевъ не поддался пріятному влеченію и его сдержанность породила сомнѣніе на счетъ его чувствъ въ Анютѣ.

«Можетъ, онъ меня не любитъ?—думалось ей,— или нѣтъ ли тутъ сближенія съ Вахрамѣевой: они видятся вѣроятно каждый день»!. Припоминались ей и слова Благомыслова: «А крѣпость только и ждетъ, когда сдѣлаютъ на нее нападеніе». Черезъ два дни Анюта повторила посѣщеніе и опять выходилъ къ ней Камышлинцевъ: они гуляли и пили чай — только не Анюта его дѣлала, а приносили его изъ дома. Камышлинцевъ былъ съ ней проще, какъ будто короче,—иногда пристальный взглядъ его останавливался на ней и вся ея непослушная кровь кидалась ей въ голову, — но вообще опять та же сдержанность. Попробовала она заговорить о «русскомъ тѣстѣ», какъ называла Вахрамѣевыхъ, и ничего не открыла. Камышлинцевъ отзывался такъ же непринужденно и равнодушно. И опять Анюта уѣхала съ тѣми же чувствами, и крѣпость еще нетерпѣливѣе ждала нападенія... И нападеніе послѣдовало, но совсѣмъ не съ той стороны, съ которой она ожидала его.

Тетки не было дома, когда возвратилась Анюта. Арина Степановна имѣла своихъ знакомыхъ и обзавелась новыми; большею частью это были пожилыя чиновницы, вдовицы, купчихи, живущія по близости: въ знать и въ даль Арина Степановна пускаться не любила. По вечерамъ хаживали они другъ къ другу, подчивались чаемъ и вели разговоры «по душѣ»; было въ нихъ и о божественности, и житейскаго зацѣпляли.

Анюта переодѣлась, надѣла блузу и высунулась въ окошко, выходящее въ садикъ. На дворѣ спускалась темная душная ночь. Напрасно Анюта выставляла открытую шею и обнаженныя по локоть руки: неподвижный воздухъ не освѣжалъ ихъ, а ей было душно, кровь била въ голову, мысли, какъ бредъ, неясно, но порывисто бродили въ разгоряченной головѣ, тѣло горѣло и по временамъ пробѣгала по немъ нервная дрожь. То ей хотѣлось плакать, то безотчетная досада и зло брало ее.

Она очнулась только тогда, когда услыхала за собой голосъ Арины Степановны.

— Засидѣлась я у Анфисы Михайловны,—сказала Арина Степановна, — зажигая свѣчу; — ужь меня сынокъ ея проводилъ: старецъ у нихъ одинъ остановился и все разсказывалъ про Іерусалимъ да гробъ Господень. Заслушалась! Ну, а ты гдѣ была?

— Гуляла,—отвѣчала Анюта.

— Гдѣ, на бульварѣ, что ли?

Анютѣ было противно лгать.

— Нѣтъ,—въ Вахрамѣевку ѣздила, отвѣчала она.

— Одна?—спросила тетка.

— Одна,—отвѣчала Анюта:—вѣдь тамъ разбойниковъ нѣтъ! — Ей были досадны эти распросы тетки, да и все не по ней было сегодня.

Тетка помолчала.

— Дмитрія Петровича видѣла?—спросила тетка нѣсколько минутъ спустя, роясь въ комодѣ и не глядя на Анюту.

— Видѣла,—отвѣчала та отрывисто, по прежнему глядя въ окно.

— А Вахрамѣевыхъ не встрѣчала? И никого не было?

— Нѣтъ, не было ихъ тутъ и никого не было.

Разговоръ опять прервался.

Нечего и говорить, какъ не нравилась теткѣ свобода, которою завладѣла Анюта, и беззастѣнчивость, съ которой она пользовалась ею. Скрѣпя сердце, смотрѣла она на все это и, любя Анюту, оправдывала иногда ее тѣмъ же, чѣмъ и отецъ: «видно время нынѣче такое», вздыхая, говорила она себѣ. Иногда ей приходило на мысль, что не было ли какого таинственнаго и правдиваго смысла въ словахъ мистика-станціоннаго смотрителя? не прошли ли въ самомъ дѣлѣ года, и не наступили ли времена? Она не догадывалась, что для нея, почти не жившей и уже отжившей, дѣйствительно прошли года съ ихъ перемѣнами, счетомъ, надеждами, ожиданіями и наступаетъ одно безразличное время...

Арина Степановна была и недовольна, что Анюта оставалась наединѣ съ «молодымъ человѣкомъ», и довольна, что ее никто не встрѣтилъ съ нимъ. Наружность и говоръ были для нея главное. Тревожило ее и то, что Анюта начала учащать посѣщеніе Вахрамѣевскаго сада, потому что ей кухарка, какъ-бы ненарокомъ, по отъѣздѣ Анюты и на вопросъ ея, куда она уѣхала отвѣчала: «можетъ, въ Вахрамѣевку; она и этто тамъ, слышно, была». Арину Степановну еще глубже огорчало не то собственно обстоятельство, что Анюта туда стала ѣздить, но что объ этомъ ей уже сказали другіе, «что всѣ добрые люди значитъ замѣчаютъ и говорятъ»,—разумѣя въ этихъ словахъ подъ добрыми людьми всѣхъ, кому только вздумается на чужой счетъ языкъ точить.

И потомъ, былъ еще у ней замыселъ, который она въ заботахъ своихъ объ Анютѣ начала лелѣять. Разумѣется, первой мечтой и самой священной, хотя и тайной, заботой ея съ самаго пріѣзда было — «пристроить» Анюточку. Самой ей хотя и не было «судьбы», но все-таки она считала назначеніемъ каждой дѣвушки, не посвящавшей себя Богу, соединиться въ бракѣ съ хорошимъ человѣкомъ. Вотъ этого-то хорошаго человѣка съ самаго пріѣзда и начала разыскивать Арина Степановна. На уловленіе его она, какъ предусмотрительный паукъ, и начала немедленно по возвращеніи раскидывать паутину. Одной изъ самыхъ надежныхъ нитей этой паутины оказалась нѣкая Перепетуя. Перепетуя эта была сваха, бродячая проживалка, торговка и все, что угодно. Полюбилась она Аринѣ Степановнѣ тѣмъ, что дѣйствовала и разсуждала обстоятельно, умно, не безъ хитрости, но вмѣстѣ съ тѣмъ набожно и богобоязненно, хотя эта богобоязненность не мѣшала ей при случаѣ и молодымъ людямъ услужить. Молодежь Перепетуя любила и вообще гуманно относилась къ житейскимъ слабостямъ. Вотъ эта-то Перепетуя и сообщила ей, что «объявился» хорошій человѣкъ, который бы не прочь былъ жениться на Анютѣ.

Объявившійся человѣкъ, надворный совѣтникъ Кондаковъ, былъ дѣйствительно человѣкъ не дурной. Это былъ обстоятельный среднихъ лѣтъ чиновникъ, изъ породы тѣхъ благоразумныхъ Ѳедей, которыхъ выставляютъ въ примѣръ въ дѣтскихъ повѣстяхъ. Рано остался онъ полусиротой съ вдовой матерью, хорошо учился въ гимназіи, но въ университетъ не пошелъ, потому что средствъ не было да и крайности въ томъ не видѣлъ; поступилъ на службу и былъ исправнымъ и ловкимъ чиновникомъ, жениться же онъ по благоразумію не спѣшилъ. «Надо, маменька, сначала гнѣздо устроить», говорилъ онъ пристававшей къ нему матери, и когда гнѣздо въ видѣ мѣста совѣтника было дано ему за усердіе, услужливость и почтительность, то онъ сталъ подумывать и о женитьбѣ. И тутъ онъ выказалъ себя человѣкомъ хорошимъ и благоразумнымъ. На купчихъ съ приданымъ онъ не зарился: «была бы хорошая да приличная дѣвушка;—говорилъ онъ,—а съ голоду не умремъ». И вотъ, когда Анюта переѣхала въ городъ и онъ увидалъ ее, она ему понравилась. Понравилась и лицомъ, и развитостью, и дѣятельностью. Какъ смѣтливый человѣкъ, онъ замѣчалъ, что вѣтеръ не въ ту сторону дуетъ, чтобы чиновницы только о свѣтскихъ приличіяхъ думали и въ аристократію лѣзли (по провинціальнымъ понятіямъ, къ аристократіи принадлежали всѣ предсѣдатели присутственныхъ мѣстъ и выше), а что запросъ усиливается на женщинъ дѣятельныхъ и трудолюбивыхъ, и онъ остановилъ свой выборъ на Анютѣ.

Вотъ объ этомъ-то объявившемся человѣкѣ и лелѣяла сокровенную мечту Арина Степановна, хотя она знала, какой отпоръ встрѣтитъ въ своей «характерной племянницѣ».

Она уже не разъ слегка и какъ-бы шутками заводила рѣчь, и намекала, что вѣдь вотъ женихъ хорошій, а потомъ объявила, что и сватается; но получила рѣшительный короткій отказъ.

Объ этомъ же предметѣ, но уже болѣе серьезно, рѣшилась, въ виду опасности отъ Вахрамѣевскаго сада, переговорить теперь Арина Степановна.

— А ко мнѣ Перепетуя Ивановна сегодня заходила послѣ обѣда, — сказала она, кончая ужинъ, который ей собрала кухарка Арина Степановна, не поужинавъ, не ложилась: у ней сна не было безъ ужина.

— Ну, что жъ она вамъ наговорила?—спросила Анюта.

— Что наговорила?.. она женщина не вѣтреная, по пустякамъ не любитъ болтать!—возразила, нѣсколько обидѣвшись, Арина Степановна.

Анюта промолчала.

— Опять она объ этомъ человѣкѣ, о Кондаковѣ рѣчь заводила, — сказала немного погодя Арина Степановна.

Анюта снова не отвѣчала.

— Отвѣта, говоритъ, онъ рѣшительнаго ожидаетъ.

— Какой же ему еще отвѣтъ?—спросила Анюта холодно.—Я, кажется, довольно опредѣленно сказала, что не думаю замужъ выходить!

— Да какой же это отвѣтъ, Анюта: — вытирая ротъ салфеткой и складывая ее, сказала Арина Степановна.—Вѣдь въ такомъ дѣлѣ надо обстоятельно говорить. Вѣдь хорошіе женихи на улицѣ не валяются. Какъ же отказывать человѣку, не зная его?

— Да поэтому и отказываю, что не знаю его,— отвѣчала Анюта.

— Ну, посмотри, коли не знаешь, ознакомься. И Перепетуя Ивановна справедливо говоритъ: какъ же браковать человѣка, почти не видавши его! какой же, говоритъ, она въ немъ недостатокъ видитъ? нельзя же, говоритъ, такую мараль на человѣка безъ причины класть?

— Ахъ, тетя! да никакой марали я на него класть не хочу!—сказала Анюта съ лѣнивымъ упрекомъ.—Сказали бы вы ей просто, что не хочу я за него замужъ выходить и знакомиться съ нимъ не хочу, потому что пойду за того только, кого полюблю, а его я не люблю и не полюблю никогда.

Арина Степановна вмѣсто отвѣта прокашлялась.

— Аксинья, убери ужинъ,—сказала она, какъ-бы приготовляясь къ чему-то важному. Бѣдная Арина Степановна и не замѣтила, что не съѣла половины своего обычнаго ужина.

Пока кухарка убирала со стола, тетка молчала.

Отпустивъ и давъ ей время удалиться, Арина Степановна снова начала:

— Ты думаешь, я не умѣла передать ей твоихъ словъ?—сказала она, нѣсколько обидѣвшись.—Говорила всѣ твои резоны. А знаешь, — прибавила она таинственно, — что мнѣ отвѣтила Перепетуя Ивановна? «Что же,—говоритъ,—значитъ она любитъ кого-нибудь? значитъ уже есть у нея человѣкъ на примѣтѣ, коль она моего такъ, не видавъ, бракуетъ и напередъ говоритъ, что не полюбитъ»! Она меня такъ и срѣзала,—прабавила Арина Степановна, и такимъ убитымъ голосомъ, что легко было повѣрить, что она дѣйствительно срѣзана.

— Чѣмъ же это она васъ срѣзала, тетя?—спросила Анюта, оставляя окно и обратившись къ теткѣ.—А вы бы ей и сказали: «Да, молъ, можетъ, и любитъ!.. Камышлинцева, Дмитрія Петровича, кажется, любитъ»!

Этотъ отвѣтъ Анюты срѣзалъ Арину Степановну еще больше, чѣмъ замѣчаніе Перепетуи, и тѣмъ сильнѣе, что не знала она, явился ли тутъ Камышлинцевъ для примѣра, или въ самомъ дѣлѣ племянница любитъ его? Подозрѣнія объ этомъ уже шевелились въ головѣ Арины Степановны.

— Что ты, Анюта? въ своемъ ли умѣ?—спросила она съ ужасомъ.—Какъ же это я-то, я, твоя тетка, что на рукахъ своихъ тебя выняньчила, да такія вещи про тебя разсказывать буду?.. Господь съ тобой!.. что ты это говоришь?.. Что же послѣ этого о насъ подумаютъ!

— Да какое же мнѣ дѣло до того, что эта шленда обо мнѣ подумаетъ? — сказала Анюта горячо.—Ну, пусть она будетъ говорить, что я люблю: какое и мнѣ, и вамъ горе отъ этого? Какое намъ горе оттого, что какая нибудь Перепетуя будетъ думать, что я влюблена?

— Ахъ, Анюточка, да ведь ей языкъ не завяжешь! Она вездѣ слоняется и вездѣ будетъ разсказывать.

— Ну, и пускай будетъ разсказывать:

— Да вѣдь ей повѣрятъ.

— Ну, и пусть повѣрятъ! что же тутъ страшнаго? Вѣдь это вы сами себѣ, тетя, пугало-то устроиваете! — Арина Степановна была совершенно поражена подобной логикой.

— Какъ, что же, Анюточка?.. Господь съ тобой! Да развѣ хорошо, когда про дѣвушку будутъ говорить, что она влюблена?.. Да кто же послѣ этого за нее присватается? Неужто въ дѣвкахъ сидѣть, пока любимый-то не возьметъ за себя. Будто безъ любви нельзя вѣкъ прожить? Не любовь нужна для семейнаго счастія, а миръ и согласіе.

— Хорошо, тетя,—сказала Анюта,—выйду и отдамся я безъ любви, ну и проживу, да чѣмъ же я жизнь-то вспомяну? Вѣдь это значитъ продать себя!.. Развѣ это хорошо? честно? Да изъ-за чего мнѣ себя-то продавать? вѣдь кусокъ хлѣба есть у меня, слава Богу!

Но Арину Степановну не сбили эти возгласы. У нея самой былъ сильный аргументъ, къ которому не охотно, но рѣшилась она прибѣгнуть.

— Эхъ, Анюточка! не знаешь ты, что значитъ въ дѣвкахъ вѣкъ скоротать,—сказала она, вздохнувъ.—Развѣ у меня искушенья-то не было? Вѣдь и я была молода и такъ же, какъ ты, думала! Изъ себя въ свое время тоже была не дурна! и около меня женихи ухаживали и присватывались, да тотъ не милъ, другой не хорошъ; а тятенька любили меня и не неволили. Я все и не выходила, ждала милаго да хорошаго, вотъ какъ ты, ну, и дождалась!

Голосъ задрожалъ при этомъ у Арины Степановны, и она пріостановилась, а Анюта сквозь тѣнь полусвѣта замѣтила, какъ легкая краска облила и безъ того румяное и круглое лицо тетки.

— Ну, что жъ, тетя?—приподнявъ голову, спросила Анюта.

Въ Аринѣ Степановнѣ совершалась, кажется, какая-то борьба. Она встала, потолкалась по комнатѣ, поправила лежавшія совершенно у мѣста вещи и потомъ сѣла къ другому открытому окну,

какъ будто для свѣжаго воздуха, предварительно такъ переставивъ свѣчу, что вся оставалась въ тѣни.

— Ну, ужь видно приходится разсказать тебѣ, Анюточка, въ чемъ я отроду никому не сознавалась, да и теперь совѣстно какъ-то разсказывать,— точно грудь постороннему человѣку открывать! Никому я не жаловалась на свое житье, кромѣ царицы небесной, и никто про него не знаетъ, а тебѣ теперь въ назиданье разсказать должна.

Арина Степановна высморкалась и, вынувъ маленькую табакерочку, понюхала табаку: она начала пристращаться къ нему, хотя еще и скрывала отъ постороннихъ сію послѣднюю отраду и признакъ старыхъ дѣвъ.

— Тятенька жилъ тогда въ управляющихъ у генерала одного,—начала Арина Степановна, — а возлѣ насъ жилъ графъ, и жилъ какъ царекъ; пышностью-то говорятъ, онъ гордость свою хотѣлъ удовлетворить, потому что жилъ при дворѣ въ большомъ званіи, а потомъ въ опалу попалъ. Сынъ у него былъ, учился гдѣ-то за границей и въ Петербургѣ по иностранной части служить опредѣлился. Старикъ-то и умеръ. Молодой графъ пріѣхалъ, сталъ дѣла въ порядокъ приводить, и видитъ, что просто чуть не разоренъ. Онъ тятеньку и пригласилъ въ управляющіе, такъ какъ они въ славѣ были, что хорошо управляютъ. Выгодныя условія предложилъ, а генералъ что-то зазнался. Тятенька и поступили къ графу и самъ онъ остался въ имѣніи: «Надо говоритъ, съ годъ поэкономничать да отдохнуть». Вотъ живемъ мы въ одномъ дворѣ, ну и стали встрѣчаться то въ саду, то гдѣ... Скучно графу-то стало, вотъ онъ катанья завелъ да прогулки, всегда насъ зоветъ, вмѣстѣ мы да вмѣстѣ... и понравился онъ мнѣ! Да и какъ было не понравиться, не только мнѣ, деревенской дѣвочкѣ, а хоть кому: изъ себя красивый, брюнетъ этакой былъ и ловкій, усики маленькіе, чуть пробивались, одѣтъ всегда, какъ на картинкѣ, и какъ я себя ни останавливала, какъ ни разъувѣряла, что не пара онъ мнѣ, а не сладила таки съ сердцемъ! Ну, тоже молодость, кровь-то играла тоже!..— Арина Степановна вздохнула и нѣсколько смутилась.

— Скрывала я свою любовь, сколько могла, — продолжала она,—виду старалась не подать, только замѣчаю, что и я графу начинаю нравиться... Дальше да дальше.... повелъ онъ меня разъ въ оранжерею,—чудесныя были такія оранжереи, — да и объяснился. Весна начиналась и левкои тогда тамъ цвѣли,—и до сихъ поръ я ихъ запаха равнодушно слышать не могу!.. прибавила она и замолчала.

— Ну, тетя?—сказала Анюта.

— Ну, что!—вздохнувъ, снова продолжала Арина Степановна;—какъ изъяснился онъ мнѣ, такъ у меня сердце за сердце зашло! Однако оправилась я и говорю ему: «Какая же, говорю, я, графъ, вамъ пара? Я ли вамъ чета?»—Ну ужь, объ этомъ мнѣ разсуждать,—говоритъ. — Я гляжу на него и ушамъ своимъ не вѣрю, и точно свѣтъ мнѣ какой новый открывается. Только, говоритъ, я теперь разумѣется не могу жениться, потому что мнѣ еще, говоритъ, въ посольство съѣздить надо, да говоритъ, времени еще много у насъ впереди: и я, и вы еще молоды.—Я это выслушала. Только и сталъ онъ меня къ любви склонять.—Арина Степановна выговорила это потупясь, хрипло и потомъ прокашлялась.—Однако, какъ я ни любила графа, а въ такихъ строгихъ правилахъ была воспитана, что и думать о томъ не смѣла, и какъ онъ ко мнѣ не приставалъ, однако я себя соблюла. И длилось это вплоть до осени.—«Мучительница, говоритъ, Ирина, ты моя!» Онъ меня Ириной звалъ. Да такъ и слѣдуетъ правильно!—замѣтила она какъ-то обиженно:—ужь это мы у мужиковъ переняли Ариной-то звать!

— Зоветъ онъ меня мучительницей, — продолжала Арина Степановна,—а самъ не знаетъ, чего стоила мнѣ жестокость моя. Иной разъ убѣжишь отъ него, да и не знаешь: въ воду ли броситься, къ нему ли воротиться! а ночью—вотъ тоже грѣхъ!—схватишь себя за голову, да и думаешь:—Господи, что же это я дѣлаю: спасаю, или гублю себя. Вотъ до какихъ мыслей доводила любовь-то, а она же попрекаетъ! И этакъ-то мѣсяца три мучилась я!.. И вотъ она, жизнь-то безсемейная, безрадостная, что это время мученій-то моихъ было мое самое лучшее время, и я.... до сихъ поръ.... вспомнить его не могу...

Голосъ у Арины Степановны перервался, она вдругъ смолкла и стала пристально глядѣть въ садъ. Анюта встала, тихо подошла къ теткѣ и молча обняла ее.

Когда та обернулась, Анюта увидала, что все ея лицо было въ слезахъ.

— Глупость какая!—сказала Арина Степановна, засмѣясь и отирая слезы.—А оттого все, что никогда я не говорила никому этого!

Когда она оправилась, Анюта припала къ ея плечу, какъ въ дѣтствѣ привыкла она припадать, когда слушала, какъ тетя разсказывала сказки или пѣла тихія пѣсенки (Арина Степановна очень любила пѣсни, и теперь, сидя она за работой, пѣвала ихъ), и, заглядывая ей въ лицо, сказала:

— Ну, тетя?

— Да что, голубчикъ! — печально продолжала тетка —Прошло лѣто, собрался мой графъ и уѣхалъ: «Ну, говоритъ, Ирина, Богъ съ тобой!» недоволенъ онъ мною остался. Такъ уѣхалъ, да съ тѣхъ поръ какъ въ воду и канулъ! Тятенька купили здѣсь имѣньице и переѣхали сюда, а съ графомъ и сношенія всѣ прекратилъ. Слышала я послѣ, что женился онъ на какой-то танцоркѣ! — съ горечью прибавила Арина Степановна.

— Вотъ и началось для меня тяжелое дѣвичье житье,—помолчавъ, продолжала она. — Сперва-то и повертывались женихи, да у меня все графъ еще изъ ума не выходилъ (ну скоро ли послѣ него чиновникъ какой или дворянчикъ мелкій понра-

вится!), а потомъ, какъ угаръ-то прошелъ, и жениховъ-то нѣтъ! Развѣ много охотниковъ найдется на безприданную-то нашу братью, а тятенька кромѣ носильнаго ничего не давалъ, да и не могъ дать; у него насъ-то было пятеро! Я-то старшая, года-то уходили, коль и навернется кто, все около молоденькихъ. Вотъ тутъ-то, голубчикъ,—вздохнувъ и понизивъ голосъ, продолжала Арина Степановна,—тутъ-то глупость-то нашу дѣвичью и узнала я. Жили мы безбѣдно и послѣ смерти батюшки; братецъ и жена его, твоя покойница мать... вспышка была, какъ ты же, а меня любила.... ну и вторая его жена, какъ ты видишь, тоже—всѣ, дай Богъ имъ здоровья, а твоей матушкѣ царствія небеснаго! (Арина Степановна перекрестилась), всѣ успокоивали меня, а все жизнь не въ жизнь! Ни у меня впереди, ни у меня позади: день-то тянется, тянется, ночью-то ворочаешься, ворочаешься, дамысли это разныя; ну, ужь теперь разумѣется отжила я мою-то молодость, а тогда—ахъ тяжело было! И этакъ-то недѣли да мѣсяцы, да годы, и все ждешь чего-то, ждешь—и все нѣтъ ничего да нѣтъ, и не приведи Богъ! И не вѣрь ты, Анюточка, коль тебѣ какая-нибудь изъ нашей братьи будетъ говорить, что ей все равно, что-де безъ мужа-то покойнѣе: покой-то этотъ, голубчикъ, хуже смерти! Ну, развѣ тамъ какая болѣзненная или Богомъ пришибленная—такъ можетъ и точно покойнѣе, а здоровой-то все думается, все думается, что же де это, жила я на бѣломъ свѣтѣ и жизни не вѣдала, божескій законъ не исполнила, не знаю, что значитъ милаго приласкать, что значитъ дѣтей возростить!—Вотъ до чего дурь-то доходитъ, голубчикъ!—замѣтила Арина Степановна перемѣнивъ тонъ:—что, лѣтъ восемь назадъ, ты чай помнишь, ужь мнѣ подъ сорокъ было, становой за меня присватался: старый, рябой, бочка бочкой, а ужь пьяница — не носи ты, мать сыра земля! Такъ я за него было пошла! Да; ужь и братецъ меня отговаривалъ, такъ нѣтъ, совсѣмъ было рѣшилась!—Подлинно ужь говорятъ: крѣпилась кума, да рехнулась ума!—прибавила подсмѣиваясь Арина Степановна.—Да на мое счастье опился, спасибо. Такъ вотъ, голубчикъ, дѣвичье-то житье да разборчивость, да какъ не на свою-то ровню заглядишься! — Арина Степановна вздохнула и смолкла.

Анюта по прежнему лежала головой на ея плечѣ.

— Тетя,—сказала она, немного погодя, тихо и мягко,—а не жалѣете ли вы иногда, что были.... жестоки къ графу?—и она ласково и пытливо заглянула въ глаза тетки.

Арина Степановна быстро отсторонила ея голову и встала, словно она боялась пытливаго взгляда племянницы.

— Что это ты говоришь, Анюточка, Богъ съ тобой, какъ же это можно!—сказала она нѣсколько обиженно.—Конечно, иной разъ чего въ голову не взбредетъ, но все же грѣшно допускать въ себѣ такіе помыслы!

Анюта помолчала.

— Ну, что же, тетя, выходитъ изъ всего этого?—сказала она, тоже вставая.—За нелюбимаго выдти—себя продать, выдти потому только, что нестерпимо въ дѣвкахъ оставаться, еще хуже, а любимый-то иногда не хочетъ жениться.... что же дѣлать-то?

Арина Степановна обернулась къ Анютѣ, посмотрѣла на нее, какъ бы что-то соображая, и вдругъ, догадавшись, что она своей исповѣдью, которая такъ ей дорого стоила, ничего не доказала или доказала совсѣмъ не то, что хотѣла, съ досадой сказала:

— Что это, Анюта, на все у тебя разспросы да затрудненія? И все это у тебя выходитъ не такъ да не по людски! все умнѣе людей хочешь быть! А надо дѣлать такъ, какъ на свѣтѣ дѣлается. Коль дѣвка въ порѣ да сватается за нее хорошій человѣкъ, такъ и выходить за него.

— Ну, хорошо, тетя, не сердись!—сказала Анюта, улыбаясь; поцаловала еще хмурящуюся тетку и пошла въ свою комнату.

— Анюта! Анюточка! — сказала Арина Степановна, подходя къ ея двери и вкрадчиво понизивъ голосъ.—А что ты давича мнѣ о Дмитрій-то Петровичѣ, такъ что ли это, для примѣра упомянула, или ужь въ самомъ дѣлѣ нѣтъ ли у васъ чего?..

Анюта обернулась къ теткѣ головой.

— Нѣтъ, тетя, успокойся, нѣтъ ничего у насъ!—сказала она; и Аринѣ Степановнѣ показалось, что въ этомъ отвѣтѣ было больше жалобы на то, что ничего нѣтъ, чѣмъ успокоенія.

— То-то, мой другъ, то-то,—сказала тетка ласково. — Слова нѣтъ, прекрасный онъ человѣкъ, Дмитрій Петровичъ, да не женихъ тебѣ, Анюточка, не женится вѣдь онъ! А дѣвичье-то сердце вѣдь какъ порохъ... Ну, Господь съ тобой, спи! Я это такъ только...—прибавила она въ видѣ извиненія, замѣтивъ, что Анюта, не оборачиваясь, начала раздѣваться и была какъ будто недовольна ея предостереженіями. Она знала, что Анюта до нихъ не охотница.—Охъ молодость! молодость! — притворяя двери, вздохнувъ проговорила Арина Степановна.

И задумчивая, безпокойная, опустила она окно, обернулась къ образу и усерднѣе обыкновеннаго начала свою молитву на сонъ грядущихъ.

IX.

У Мытищевой родился сынъ. Это обстоятельство сблизило на время—если не любовью, то чувствомъ дружбы и общей связи—Камышлинцева съ Ольгой. Онъ почти цѣлые дни проводилъ у выздоравливающей и Анюта не видала его. А между тѣмъ Велико-Ѳедорскъ не былъ обойденъ эпидеміей пожаровъ. Въ городѣ было два пожара, одинъ вскорѣ послѣ другаго; распространился слухъ о поджогахъ и были подкидываемы безграмотныя письма съ угрозами. Въ назначенный ими день, дѣйствительно нашли тлѣющія тряпки, позади одного из-

ретника; тогда мѣстная общественная дѣятельность встрепенулась, начались совѣщанія, приняты были мѣры осторожности, заведены обходы и строгіе караулы. Проницательные умы связали эти пожары съ политическимъ броженіемъ, и въ средѣ русскаго, такъ называемаго просвѣщеннаго класса, преимущественно у здоровенныхъ и подвизавшихся дотолѣ въ клубахъ и трактирахъ тридцатилѣтнихъ дѣятелей съ неудержимой силой — началъ проявляться тотъ сортъ извѣстнаго намъ патріотизма, который въ благородномъ порывѣ любитъ заушить какого-нибудь пришибеннаго судьбой жида, а иногда и беззащитную женщину, вывести изъ собранія особу недворянскаго званія, отправить въ полицію гуляющую безъ кринолина дѣвицу или науськать толпу на поляка, студента или вообще на какую угодно не понравившуюся личность.

Дремавшее озлобленіе противъ Камышлинцева, въ помѣщичьемъ классѣ, огорченномъ равнодушіемъ начальства къ его жалобамъ, почерпнуло въ настоящихъ обстоятельствахъ новую пищу. Про Камышлинцева стали ходить намеки, что онъ глава мѣстной шайки политическихъ злоумышленниковъ и, какъ неопровержимое тому доказательство, приводили переѣздъ его въ уединенное и безопасное отъ наблюденія и городскихъ пожаровъ мѣсто; были въ ходу и другія подобныя доказательства. Хотя ни купечество, ни мѣщанство, знавшіе Камышлинцева, подобнымъ вещамъ не вѣрило, да и само начальство, въ лицѣ начальника губерніи, было увѣрено, что все это вздоръ, но какъ нѣтъ такой клеветы, отъ которой бы не осталось какихъ-либо послѣдствій, то, отвергая съ благороднымъ негодованіемъ возможность участія Камышлинцева въ такихъ преступленіяхъ, какъ поджоги, Нобелькнебель, зная мнѣнія и петербургскія знакомства Камышлинцева,—подумывалъ, что, можетъ, онъ и не безъ грѣха въ политическомъ отношеніи, и что, во всякомъ случаѣ, пользуется опасною популярностью между молодежью и вообще человѣкъ не совсѣмъ благонадежный. Ему было не извѣстно, что нѣкоторые изъ этой молодежи считали Камышлинцева отсталымъ и устарѣвшимъ.

Около этого времени оффиціальный міръ города Велико-Ѳедорска, кромѣ своихъ обыкновенныхъ и необыкновенныхъ, по тому времени, заботъ, былъ нѣсколько взволнованъ пріѣздомъ въ городъ значительнаго сановника Темрюкова.

Дѣйствительный тайный совѣтникъ и кавалеръ многочисленныхъ орденовъ, Темрюковъ принадлежалъ къ тѣмъ государственнымъ дѣятелямъ, о великихъ заслугахъ и даже существованіи которыхъ удивленное отечество узнаетъ впервые изъ некролога. Темрюковъ занималъ весьма почетное и съ большимъ жалованьемъ мѣсто (наши аристократы, оставаясь вѣрными наслѣдственнымъ преданіямъ, не прочь отъ хлѣбныхъ или съ большимъ жалованьемъ мѣстъ). Онъ обладалъ огромнымъ и сильно разстроеннымъ состояніемъ и хотя тонулъ въ массѣ петербургскихъ сановниковъ (въ Москвѣ онъ былъ бы непремѣнно звѣздой первой величины, и къ нему по праздникамъ независимые люди считали бы обязанностью пріѣзжать съ поздравленіями), но все-таки, благодаря связямъ, имени и состоянію, имѣлъ, если не въ дѣлахъ, то между собратіями, своего рода значеніе. Таковъ былъ сановникъ, своимъ появленіемъ всколыхавшій чиновничью и—какъ богатый аристократъ—дворянскую волну.

Извѣстно, что правительство, озабоченное волненіями, почти повсемѣстно возникшими съ введеніемъ преобразованій въ заводскомъ населеніи, приглашало въ это время владѣльцевъ самихъ побывать на своихъ отдаленныхъ и мало посѣщаемыхъ ими заводахъ. Мѣра эта оказалась весьма полезной, потому что многіе заводовладѣльцы, увидавъ истинное положеніе вещей, сдѣлали для своихъ крестьянъ уступки, на которыя не имѣли права, а иногда и охоты ихъ управляющіе.

Вслѣдствіе этого же приглашенія и запутанности заводскихъ дѣлъ посѣтилъ свои имѣнія и Темрюковъ.

Онъ возвращался недовольный и разстроенный. Сказать по правдѣ, и было отъ чего. Положеніе нашихъ заводовъ могло бы возбудить въ обыкновенное время желчь даже и въ постороннихъ, а въ ту пору, и особенно у самихъ владѣльцевъ, оно могло расшевелить ее весьма основательно. Управляющій Темрюкова, изъ его же бывшихъ крѣпостныхъ, ловкій и уклончивый съ помѣщикомъ и деспотъ съ крестьянами, протоканалья, какихъ только въ состояніи воспитать одно основанное на шпіонствѣ и доносахъ канцелярское управленіе заводовъ, былъ великій мастеръ, если не въ управительскомъ дѣлѣ, то по крайней мѣрѣ въ интригахъ и угодничествѣ. Разумѣется, онъ всѣ безпорядки свалилъ на реформу, на истолкованіе и примѣненіе ея губернскимъ присутствіемъ, на буйство и неблагодарность крестьянъ.

Темрюковъ охотно раздѣлялъ симпатіи и антипатіи управляющаго, и потому повѣрилъ даже и неблагодарности нищенствующихъ крестьянъ, однако, все-таки, для острастки напудрилъ управляющаго во всю барскую и генеральскую мочь, и — нашелъ нужнымъ сдѣлать крестьянамъ нѣкоторыя уступки. Сдѣлалъ онъ ихъ, по своей сановнической привычкѣ, нехотя, не полно, и потому только, что для своихъ же выгодъ нельзя было ихъ не сдѣлать, а дѣла тѣхъ поправилъ мало. Однако уѣхалъ недовольный, считая себя либераломъ и благодѣтелемъ крестьянъ, а ихъ неблагодарными негодяями.

Въ такомъ расположеніи духа, отчасти проѣздомъ, отчасти для того, чтобы лучше лично устроить нѣкоторыя дѣла, пріѣхалъ Темрюковъ въ Велико-Ѳедорскъ.

Чины явились ему; держась пословицы «честь лучше безчестья», сочли нужнымъ представиться и члены губернскаго присутствія отъ дворянъ.

Темрюковъ оказался не высокаго роста, полненькимъ, кругленькимъ старичкомъ, весьма щепетильнымъ, приглаженнымъ и приличнымъ. Са-

новникъ въ немъ выказывался въ нижней губѣ, которая весьма выпячивалась впередъ; когда онъ слушалъ чиновника, то накладывалъ эту губу на верхнюю, что придавало ему очень глубокомысленный и таинственный видъ.

— А гдѣ у васъ тутъ есть господинъ Камышлинцевъ, покровитель крестьянъ и гонитель нашего брата, бѣднаго помѣщика? — спросилъ Темрюковъ по окончаніи представленій.

Нобелькнебель нѣсколько смѣшался и сказалъ, что зять его, Мытищевъ, боленъ (онъ дѣйствительно былъ боленъ), а Камышлинцевъ вѣроятно не зналъ о пріѣздѣ его превосходительства, а то бы конечно представился ему.

— Зачѣмъ же! Помилуйте! они развѣ господа служащіе, или представители дворянства? — сказалъ Темрюковъ, указывая на присутствующихъ;— они вѣдь на особомъ положеніи: чиновъ не получаютъ, да кажется и не признаютъ, — замѣтилъ онъ съ улыбкой.

Нобелькнебель пригласилъ Темрюкова откушать, и сказалъ, что если ему угодно, то онъ у себя представитъ его высокопревосходительству Камышлинцева.

— Весьма будетъ пріятно познакомиться, — отвѣчалъ съ ироніей Темрюковъ.

Камышлинцевъ получилъ пригласительную записку отъ Нобелькнебеля и отправился на обѣдъ. Тамъ уже узналъ онъ о бывшемъ на представленіи разговорѣ, и пожалѣлъ, что не зналъ этого ранѣе: онъ бы вѣроятно лишилъ себя удовольствія новаго знакомства...

Впрочемъ, Темрюковъ былъ очень любезенъ съ Камышлинцевымъ, котораго представилъ ему губернаторъ.

— Очень пріятно познакомиться,—сказалъ, пожимая ему руку, Темрюковъ.—Но не знаю, пріятно ли господину Камышлинцеву это знакомство? вы, говорятъ, не очень любите нашу братью, помѣщиковъ?—и онъ пріятно улыбнулся.

— До васъ дошли невѣрные слухи, — отвѣчалъ Камышлинцевъ, въ свою очередь пріятно улыбаясь: — я самъ имѣю удовольствіе принадлежать къ помѣщикамъ и очень этимъ доволенъ; слѣдовательно не любить этотъ классъ не могу.

— Ну, теперь трудно быть довольнымъ нашимъ положеніемъ,— замѣтилъ Темрюковъ, и сталъ жаловаться.

Всѣ выразили глубокое сочувствіе горькому положенію его высокопревосходительства, и каждый, чтобы подтвердить справедливость словъ сановника, поспѣшилъ тоже съ своей стороны пожаловаться; при чемъ директоръ гимназіи, не имѣя въ своемъ владѣніи никакого имѣнія, кромѣ гимназіи, пожаловался на то, что не выходятъ новые штаты.

Обѣдъ прошелъ очень пріятно, и сановникъ очаровалъ всѣхъ любезностью своего обращенія, но чаще, нежели къ другимъ, обращался, заигрывая разговоромъ, къ Камышлинцеву.

«Совсѣмъ какъ простой человѣкъ!» — говорили про него очарованные собесѣдники другъ другу,— «и не видать, что сановникъ.»

Можетъ быть такъ бы и случилось, что очарованные почти вовсе бы не увидали сановника, соблаговолившаго спрятаться въ скорлупу простаго смертнаго, если бы не случилось небольшаго казуса.

Послѣ обѣда всѣ вышли на террасу и болѣе смѣлые, по примѣру именитаго гостя и приглашенію хозяина, даже закурили. Извѣстно, что послѣ хорошаго обѣда человѣкъ дѣлается добрѣе и мягче. Въ этомъ пріятномъ настроеніи находился и Темрюковъ и счелъ нужнымъ поблагодушествовать. Во второй разъ упомянувъ объ уступкахъ, которыя сдѣлалъ заводскимъ рабочимъ, онъ снизошолъ даже до того, что началъ описывать, какъ въ самомъ дѣлѣ стало тяжело положеніе бѣднаго заводскаго крестьянина послѣ освобожденія, и подтвердилъ это примѣромъ собственныхъ крестьянъ, которые благоденствовали, когда принадлежали ему, а на волѣ чуть не стали умирать съ голоду.

— Я очень радъ, что вы въ этомъ убѣдились,— сказалъ Камышлинцевъ.—Это мнѣ позволяетъ надѣяться, что вы не откажете въ ходатайствѣ и заступничествѣ за тѣхъ изъ вашихъ крестьянъ, которые сидятъ теперь въ острогѣ: они уже и такъ наказаны двухмѣсячнымъ заключеніемъ.

Лицо Темрюкова потеряло благодушное выраженіе, но осталось пріятнымъ.

— Прошу извинить! — сказалъ онъ вѣжливо;— при всемъ желаніи я помочь имъ не могу. Не въ моихъ правилахъ заступаться за бунтовщиковъ.

— Какіе же они бунтовщики, — возразилъ Камышлинцевъ, — когда вы сами находите, что положеніе ихъ было невыносимо и они добивались насущнаго хлѣба!

— Проси, а не добивайся!— внушительно замѣтилъ Темрюковъ.

— Да они и просили, — отвѣчалъ Камышлинцевъ; — что же имъ дѣлать, если отказали?

— Такъ вы находите, что когда просьбы не уважаютъ, то надо бунтовать? — съ пріятной и нѣсколько ядовитой улыбкой спросилъ Темрюковъ.— Весьма интересно видѣть агента правительства въ крестьянскомъ дѣлѣ, который держится такого мнѣнія! — прибавилъ онъ.

Нѣкоторые изъ присутствующихъ вчужѣ смутились, иные, улыбаясь, посматривали на Камышлинцева, какъ-бы говоря: «Что, братъ, попался!»

Камышлинцевъ чувствовалъ, что онъ нѣсколько покраснѣлъ.

— Я до сихъ поръ полагалъ, — отвѣчалъ Камышлинцевъ,—что съ точки зрѣнія правительства, особенно въ нынѣшнемъ его направленіи, голодные, которые просятъ ѣсть, называются голодными, а не бунтовщиками.

— А я полагаю и, надѣюсь, мнѣ это нѣсколько ближе извѣстно, что при прежнемъ правительствѣ, и нынѣ еще, слава Богу, бунтовщики называются бунтовщиками!—отвѣтилъ уже безъ пріятной улыб-

ки Темрюковъ. — И потомъ, вы все говорите: голодные... Да кто-жь, позвольте узнать, ихъ сдѣлалъ голодными, какъ не правительство? Когда они были мои, такъ были сыты. Ну, а за то — воля дана! Хороша воля, коль ѣсть нечего...

— Если въ такомъ огромномъ дѣлѣ и есть упущенія, то они, конечно, будутъ исправлены,—сказалъ Камышлинцевъ.—Но во всякомъ случаѣ весьма интересно видѣть одного изъ высшихъ правительственныхъ лицъ, которое такого мнѣнія объ одной изъ его величайшихъ реформъ! — сказалъ Камышлинцевъ съ пріятной улыбкой.— «На же тебѣ назадъ, старая крыса!» — думалъ Камышлинцевъ, глядя въ лицо Темрюкова.

Лицо Темрюкова нѣсколько вытянулось, пріятные глаза вдругъ сдѣлались оловянными и нижняя губа зловѣще накрыла верхнюю.

— Насъ не спрашивали при обсужденіи этой мѣры,— сказалъ Темрюковъ: — тамъ сидѣло много господъ одинаковаго, кажется, съ вами мнѣнія; отъ этого оно и вышло такимъ, какъ есть. Я это говорю вездѣ, не стѣсняясь, и повторю по возвращеніи въ Петербургъ, и надѣюсь, что меня услышатъ,— добавилъ онъ внушительно, — когда ходъ вещей доказываетъ, что мы правы. — Что у васъ, я слышалъ, пожары? — спросилъ онъ, отворотясь отъ Камышлинцева и обращаясь къ Нобелькнебелю.

Нобелькнебель поспѣшилъ доложить, что хотя и были признаки, но благодаря принятымъ энергическимъ мѣрамъ... при горячемъ общественномъ участіи, — прибавилъ онъ, указывая на гостей, — все, слава Богу, утихло.

Камышлинцевъ, пользуясь перемѣной разговора, всталъ и вышелъ.

— Заносчивый молодой человѣкъ, — замѣтилъ сановникъ. — Слишкомъ они нынче голову поднимаютъ, — продолжалъ онъ недовольно. — Ну, да еще, можетъ, опустятъ!

Послѣдовало нѣкоторое почтительное молчаніе.

— Такъ, такъ-то! Вы безъ жены поживаете, чай скучненько?— началъ Темрюковъ, обратясь къ Нобелькнебелю, снявъ нижнюю губу съ верхней и становясь опять пріятнѣйшимъ человѣкомъ.—Какъ же это вы такъ?

«Левъ спряталъ когти,—подумалъ любящій высокія сравненія директоръ гимназіи,—и становится...», но чѣмъ становится левъ, онъ никакого приличнаго звѣря назвать не могъ.

Разговоръ, пользуясь отсутствіемъ дамъ и развиваясь по наклону, который далъ ему именитый гость, принялъ легкое направленіе. Старичекъ сталъ развеселяться, и тучи, которыя омрачили было удовольствіе общества, разлились дождемъ маленькихъ скандалезныхъ анекдотовъ.

Въ заключеніе, чтобы совсѣмъ развеселить сановника, Нобелькнебель попросилъ позволенія пригласить одного изъ присутствующихъ разсказать сказку объ испорченной. Старецъ высказалъ готовность. Гость, къ которому обратились, былъ *голь* и замѣчателенъ тѣмъ, что хорошо разсказывалъ эту сказку: другихъ талантовъ никакихъ за нимъ не водилось, но въ провинціальномъ кругу не много нужно для того, чтобы выдвинуться изъ толпы, и этой сказкой онъ пріобрѣлъ себѣ популярность. За эту сказку его вездѣ приглашали и старались показать каждому пріѣзжему, какъ мѣстную примѣчательность, какъ Сумбекину башню въ Казани.

Сказка была забавна, и гость дѣйствительно разсказывалъ ее хорошо. Старецъ былъ очень доволенъ. Туча окончательно разсѣялась, и всѣ разстались довольные сами собой и другъ другомъ.

На другой день Темрюковъ выѣхалъ въ Петербургъ.

X.

Новорожденнаго Мытищева окрестили. Воспріемникомъ былъ молодой Нобелькнебель съ матерью. Мытищевъ по этому поводу имѣлъ удовольствіе выслушать отъ нѣкоторыхъ знакомыхъ нѣсколько милыхъ шуточекъ на счетъ своей бодрости и надежду на дальнѣйшую прогенитуру. Затѣмъ все пошло обычнымъ чередомъ.

Наступила вторая половина лѣта съ ея несносными, томящими жарами. Въ городѣ, по прежнему, все еще было безпокойно. Изъ Петербурга доносились слухи объ энергическихъ мѣрахъ къ подавленію пропаганды, изъ Польши слышались вѣсти о волненіяхъ; вообще время было тревожное, и въ провинціи патріотизмъ заушенія и подозрѣній развивался.

Камышлинцевъ по прежнему испытывалъ множество маленькихъ уколовъ, клеветъ, и къ нимъ прибавились неудачи по дѣламъ губернскаго присутствія: мнѣнія его и Мытищева оставались съ нѣкотораго времени, по большей части, одинокими. Нобелькнебель видимо перемѣнилъ образъ воззрѣній и, разумѣется, увлекалъ за собой большинство. Подъ этимъ непрерывнымъ, другой годъ длившимся рядомъ борьбы, интригъ и разнаго рода непріятностей, Камышлинцевъ становился болѣе желчнымъ, раздражительнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ обращеніи сталъ суше, жестче, упрямѣе. Разрывъ съ Мытищевой также отозвался на немъ. Уходило время, а съ нимъ вмѣстѣ и склонность къ ухаживанію, охота къ разъискиванію и пріобрѣтенію новыхъ привязанностей, а между тѣмъ потребность въ нихъ чувствовалась. Кромѣ того, что Камышлинцевъ былъ еще молодъ и полонъ силъ, чувствовалъ онъ, что ему недоставало того примиряющаго и освѣжающаго элемента, который вноситъ въ жизнь привязанность женщины; и, не смотря на несогласіе во взглядахъ съ Ольгой, сознавалъ Камышлинцевъ, что съ разрывомъ онъ лишился многихъ пріятныхъ часовъ.

Но онъ жалѣлъ о чувствѣ, а не объ Ольгѣ, и чаще подумывалъ о Барсуковой, и сильнѣе влекло его къ ней.

Разъ, послѣ жаркаго, истомляющаго дня, къ ве-

черу стали собираться тучи. Солнце то пряталось за нихъ, то выглядывало, дробясь лучами, и горячо, и картинно освѣщая края прорывающейся груды облаковъ. Жара поубавилась, но раздражающая духота стояла въ воздухѣ. Въ крови чувствовалось какое-то безпокойство; ходить было лѣнь и тяжело, а на мѣстѣ не сидѣлось и стѣсненная грудь напрасно искала освѣжающей и здоровой струи. Подобное чувство испытывается въ южной Италіи, при приближеніи сирокко.

Камышлинцевъ ходилъ по пустымъ аллеямъ своего сада; запахъ листьевъ, сильнѣе издаваемый деревьями, по мѣрѣ приближенія осени, стоялъ и раздражительнѣе слышался подъ недвижнымъ навѣсомъ деревьевъ. Изрѣдка набѣгающій вѣтеръ шелестилъ ихъ верхушки, едва заходя въ зеленую чащу. На Камышлинцева нашла какая-то горькая полоса мыслей: онъ начиналъ убѣждаться, что не только не сбываются, но отдаляются мечты, цѣль, въ которую онъ вѣрилъ и къ которой стремился. Его служеніе крестьянскому дѣлу было служеніе одной части великаго цѣлаго, проявленію котораго онъ радовался всюду, и чѣмъ болѣе ему радовался, тѣмъ болѣе желалъ его для Россіи. Но крестьянская реформа, теряя свой живой характеръ, болѣе и болѣе переходила въ хроническій, исполненный казенныхъ и другихъ канцелярскихъ формальностей порядокъ. Впереди онъ не видѣлъ ничего желаемаго, а происшествія въ Петербургѣ заставляли думать, что и другія, повидимому уже близкія реформы будутъ отложены. Камышлинцевъ испытывалъ тѣ скверныя минуты, въ которыя женщины плачутъ, а мужчины злятся...

Повернувъ изъ одной узкой и темной аллеи въ большую, Камышлинцевъ увидѣлъ впереди знакомую, высокую и стройную фигуру Анюты, и пріятно обрадовался... Онъ долго не видалъ Барсуковой, а къ тому-же, когда человѣкъ взволнованъ и сердится, онъ всегда бываетъ радъ другому сочувствующему человѣку, передъ кѣмъ можно высказать все, что накипѣло на душѣ: сердится одному — вещь безполезная и неблагодарная.

Анюта была въ юбкѣ сиреневаго цвѣта и бѣлой гарибалдійкѣ, перехваченной кожанымъ поясомъ, которая оставляетъ свободнымъ весь станъ и такъ идетъ къ молодымъ и стройнымъ фигурамъ. Подстриженные волосы были завиты и придавали ея смѣлой и вмѣстѣ рѣшительной и красивой головкѣ нѣсколько мальчишечій, задорный видъ, который къ ней чрезвычайно шелъ.

— Наконецъ-то,— сказалъ Камышлинцевъ, протягивая ей обѣ руки и пожимая руки Анюты. — Что это васъ не видать было?

У Анюты слегка заигралъ румянецъ отъ удовольствія, вызваннаго этимъ восклицаніемъ, хотя она теперь казалась не въ духѣ.

— Да что! была я здѣсь раза два, да васъ не заставала: вы все съ Мытищевыми возились; тетя ворчитъ и охаетъ, такъ что надоѣла. Я хотѣла уже перестать сюда и ѣздить, да сегодня усидѣть не могла съ этой духотой! Ну, а вы что?

— А тоже скверно, — отвѣчалъ Камышлинцевъ и коротко разсказалъ ей свой разговоръ съ Темрюковымъ. — Надежды, которыя этотъ разговоръ возбудилъ въ его благопріятеляхъ, неудачи по крестьянскому дѣлу и разныя мелкія сплетни — порознь взятое — все это мелочи, а все вмѣстѣ такъ надоѣдаетъ, такъ озлобляетъ меня, — заключилъ онъ,— что... хоть жениться на Вахрамѣевой!

— Ужь развѣ хуже ничего нельзя придумать?— спросила, улыбаясь, Анюта.

— Да трудно!—отвѣчалъ Камышлинцевъ. — Вы знаете мое расположеніе къ браку вообще, а еслибъ въ жены попалось еще такое миленькое тѣсто, съ которымъ нужно няньчиться, то прелесть неразрывныхъ узъ еще болѣе увеличилась бы.

— Да, я понимаю вашу любовь къ независимости:—это гордое и хорошее стремленіе, но какъ же вы согласите это съ вашимъ идеаломъ? Вѣдь любовь связываетъ.

— Съ какимъ идеаломъ? — спросилъ Камышлинцевъ.

— А помните, вы говорили разъ въ саду у Мытищевыхъ, когда вы изъ-за границы воротились: «дѣло, которому я могъ бы весь отдаться, и женщина, которая бы мнѣ вся отдалась!» — И Анюта нѣсколько закраснѣлась.

«Какъ это помнитъ она?» подумалъ Камышлинцевъ.

— Нѣтъ,—возразилъ Камышлинцевъ, — я сказалъ, вѣроятно, «свободно» отдалась, т. е. отдалась безъ жеманства, ухаживанья; чтобы она не была подкуплена разсчетами и не бросилась бы въ чаду страсти, какъ отуманенная! Вы знаете, я противъ страсти: я думаю, что страсть къ женщинѣ ли, къ вину ли — всегда дикое и глупое чувство и противъ нея надо бороться, какъ противъ болѣзни.

— Да, сказала Анюта, — влюбленные посторонними всегда кажутся глуповатыми.

— И потомъ страсть поглощаетъ всего человѣка,—продолжалъ Камышлинцевъ.—Это хорошо воспѣвать ее и ей удивляться въ то время, когда еще въ потемкахъ бродишь, когда одно животное чувство дѣйствуетъ, а не выяснилось до мысли. По моему, ни мужчина, ни женщина не должны отдаваться цѣликомъ, совсѣмъ,—это не любовь, а рабство. Конечно, очень лестно быть идоломъ, которому обожатель приноситъ все въ жертву, да вѣдь вдолгѣ и это непріятно должно быть: это связываетъ и надоѣдаетъ. Съ этой жертвой надо тоже возиться, какъ съ пустой женой: ѳиміамъ, который курится непрерывно, долженъ, наконецъ, завертѣть въ носу, а пожалуй отуманить и голову.

— Такъ ваша любовь — любовь разумная, разсчетливая?

— Нѣтъ, зачѣмъ разсчетливая!.. Чувство не разсчитываетъ и не разсуждаетъ. Но чтобы оно головы-то совсѣмъ не перевѣшивало: чтобы ее ни съ чѣмъ не смѣшивали и смотрѣли на любовь, какъ

на любовь, а не на дѣло всей жизни, и не какъ на средство устроиться.—Женщина, по моему, не должна отдаваться мужчинѣ какъ моголу и, отдавшись, не считать себя жертвой или его вещью и не ходить за нимъ какъ привязанная. Надо, чтобы вы больше дорожили собой... Со временемъ это и будетъ; женщина, которая полюбитъ, будетъ и въ любви относиться къ мужчинѣ какъ равная къ равному,—сознавать, что она ему принадлежитъ, столько же, сколько онъ ей.

— Да,—сказала Анюта,—но я думаю, что женщина безъ отчаянной борьбы и безъ совершеннаго смущенія не придетъ, и не должна придти къ мужчинѣ и сказать ему, что она его любитъ. Я думаю, что еслибы она это сдѣлала, то потеряла бы все въ глазахъ мужчины, она была бы женщина безъ стыдливости...

— О, милѣйшая Анна Ивановна! да развѣ любовь бываетъ безъ стыдливости?.. безъ стыдливости нѣтъ любви, а есть холодный развратъ; она—ея свойство, ея прелесть и украшеніе! Неужели вы думаете, что и мужчина, дѣйствительно влюбленный въ женщину, а не играющій ею, открываетъ ей свои чувства безъ борьбы, безъ стыдливости, которая прячется только въ другія формы, и потомъ неужели...

Но въ это время рѣчь Камышлинцева была неожиданно прервана раскатомъ грома, который точно упалъ и покатился чуть не надъ головой; тотчасъ, вслѣдъ за нимъ, крупныя капли приближающагося ливня начали тяжело шлепать по листьямъ, и передовой вѣтеръ пронесся вихремъ, крутя пыль.

Анюта остановилась и стала осматриваться.

— Ну, теперь надо спасаться,—сказалъ Камышлинцевъ.—Вернемтесь назадъ! идемте!

— Куда?.. — спросила Анюта, повернувшись за нимъ.

— Я думаю, лучше всего въ домъ, ко мнѣ.

— А бесѣдки развѣ нѣтъ гдѣ-нибудь тутъ?

— Есть, да все это гниль, и не защищаетъ ни отъ пыли, ни отъ дождя.

— Идемте,—сказала Анюта.—Но идти было мало. Дождь ежеминутно усиливался, громъ гремѣлъ сильнѣе и вѣтеръ слѣпилъ глаза.

— Бѣжимъ!—сказалъ Камышлинцевъ.

Анюта поддержала руками юбки и они, смѣясь, какъ дѣти, пустились бѣжать во всю мочь.

Они прибѣжали прямо къ заднему крыльцу, которое было ближе къ саду, и не останавливаясь вбѣжали въ домъ.

Анюта сначала очутилась въ небольшой комнатѣ съ простымъ деревяннымъ столомъ и множествомъ мухъ: встарину тутъ было нѣчто въ родѣ дѣвичьей, гдѣ мыли посуду; и теперь здѣсь стояла не мытая посуда.

Анюта хотѣла остановиться, но Камышлинцевъ сказалъ ей: «нѣтъ, не здѣсь»! и быстро провелъ ее чрезъ свою спальню, сказалъ только: «извините»!

Анюта мелькомъ увидала покрытую бѣлымъ одѣяломъ желѣзную кровать, халатъ на креслѣ и столъ съ туалетными принадлежностями, и они вошли въ кабинетъ.

— Ну, вотъ мы и у пристани,—сказалъ Камышлинцевъ.—Это у меня самая жилая и уютная комната.

Анюта остановилась, запыхавшись и зарумянившись отъ бѣга, и осмотрѣлась. Это была, въ самомъ дѣлѣ, очень хорошая, большая и свѣтлая комната, заставленная мягкой сафьянной мебелью, съ большимъ письменнымъ столомъ въ безпорядкѣ и книгами на полкахъ, на столѣ и на диванѣ.

Камышлинцевъ прежде всего бросился запирать отворенныя окна, въ которыя лился дождь; потомъ началъ кое-что приводить въ порядокъ, не для порядка, а чтобы что-нибудь дѣлать. Онъ былъ затрудненъ нѣсколько своей особой, какъ бываетъ всегда съ холостякомъ, къ которому въ первый разъ зайдутъ знакомыя дамы.

Анюта между тѣмъ встряхнула платье, оправилась и оглядывалась. «Такъ вотъ какъ онъ живетъ»!—подумала она.—Ее затѣмъ поразила безлюдность и тишина дома. Вмѣстѣ съ тѣмъ мысль, что она одна съ человѣкомъ, котораго любитъ, ярко мелькнула въ ея головѣ. Отъ этой мысли Анюта почувствовала, какъ кровь прилила ей къ головѣ и уши горѣли.

— Однако васъ порядкомъ помочило,—сказалъ Камышлинцевъ, глядя на Анюту: — не могу ли я вамъ предложить чего-нибудь? (Онъ и самъ не зналъ, чего можно предложить). Пледъ не надо ли?

— Нѣтъ — сказала Анюта, съ своей безпечной улыбкой.—Это вздоръ: дождь вымочитъ, солнце высушитъ.

Оглядывая, въ какой степени Анюта пострадала отъ дождя, Камышлинцевъ невольно заглядѣлся на ея разгорѣвшееся отъ бѣга лицо, на высоко и быстро дышащую грудь и не могъ отвести взгляда. Анюта замѣтила этотъ взглядъ, смутилась, повернула голову къ окну и стала пристально смотрѣть въ него.

— Экъ льетъ!—сказала она, но въ тоже время сверкнула молнія и почти вслѣдъ за нею, звеня, разразился сильный ударъ.

Анюта невольно отшатнулась.

— Отойдите отъ окна, — сказалъ Камышлинцевъ.—Будемъ осторожны съ безсмысленной силой. Сядемъ вотъ сюда, въ уголъ: тутъ нѣтъ движенья воздуха.—Анюта послушалась, и они сѣли на диванъ, стоявшій въ углу.

Во время грозы или бури вообще не говорится: какъ бы люди ни были повидимому равнодушны къ тому, что творится въ небѣ,—самый шумъ отвлекаетъ и не даетъ ни на чемъ сосредоточиться.

Анюта и Камышлинцевъ молча сидѣли рядомъ. Ничто въ иныя минуты не говоритъ такъ сильно, какъ молчаніе вдвоемъ. Въ безмолвіи живѣе работаетъ мысль и воображеніе, и въ нашей молодой парѣ поднималась иная буря...

Камышлинцевъ пристально смотрѣлъ, казалось,

на дождь, бившій струей въ окна, но не замѣчалъ ни дождя, ни бури. Анютѣ было и жутко, и хорошо. Какія-то мысли, которымъ она не давала выясниться, какія-то новыя ощущенія толпились въ ней; она, смутно сознавая ихъ опасность не давала имъ воли, но и не гнала отъ себя.

— Такъ вы здѣсь совсѣмъ одни живете?—спросила она наконецъ, повинуясь тому чувству, которое заставляетъ боящихся дѣтей говорить въ потьмахъ, чтобы слышать свой голосъ.

— Я?..—спросилъ разсѣянно Камышлинцевъ.—Да, какъ видите; на верху, въ мезонинѣ экономка живетъ, да и она ушла сегодня въ городъ, а здѣсь я да мой слуга, и тотъ больше въ кухнѣ пребываетъ.

— И вамъ не скучно?—спросила Анюта.

— Иногда — да. Въ иныя минуты хотѣлось бы имѣть возлѣ себя кого-нибудь, къ чьей груди можно бы было, какъ говорятъ поэты, голову приклонить... Разумѣется—подругу; подруги лучше... умѣютъ сочувствовать, нежели друзья,—но...

Онъ остановился.

— Но нѣтъ ея!—сказала смѣясь Анюта, думая о Мытищевой:—знать, «что имѣемъ, не хранимъ, потерявши, плачемъ».

— Нѣтъ, есть,—отвѣчалъ Камышлинцевъ.

У Анюты мурашки пробѣжали по спинѣ.

— Значитъ, и горевать не о чемъ,—сказала она и постаралась улыбнуться, но все, вдругъ перемѣнившее выраженіе и поблѣднѣвшее, лицо измѣнило ей.

Камышлинцевъ смотрѣлъ на нее смущенно и грустно улыбаясь.

— Не то,—сказалъ онъ,— есть одна, которой любовью я бы дорожилъ; но, глупое препятствіе: она свободна...

Краска начала играть въ лицѣ Анюты.

— Что за странное препятствіе!—сказала она.

— Да,—сказалъ Камышлинцевъ,—а между тѣмъ оно есть дѣйствительно. Наши нравы его выработали. Замужняя женщина, которая завѣдомо обманываетъ мужа, принята всюду, а дѣвушка, которая полюбитъ и отдастся другому, возстановляетъ всѣхъ противъ себя. Я не знаю, честно ли предложить подобную борьбу и положеніе? Можетъ она и согласится на него, понадѣясь на свои силы, но чего ей будетъ это стоить? Наконецъ, любя ее, жаль ее подвергнуть всѣмъ этимъ мелкимъ уколамъ,—вольностямъ мужчинъ, презрѣнію женщинъ. А между тѣмъ я все больше и больше сознаю, что люблю ее,—грустно сказалъ Камышлинцевъ.

— Но не настолько, чтобы на ней жениться?—лукаво усмѣхнувшись, спросила Анюта.

— Да, слава Богу, еще не настолько, чтобы связать и ее, и себя навсегда, и измѣнить своимъ убѣжденіямъ,—сказалъ онъ серьезно.

— Голова еще не совсѣмъ закружилась?—спросила она, снова и лукаво улыбаясь.

Камышлинцевъ поднялъ на нее глаза на мгновеніе, пристально посмотрѣлъ на нее, и подъ этимъ взглядомъ Анюта вся вспыхнула и стыдливо опустила голову.

Камышлинцевъ весь и смутился, и просіялъ.

— Нѣтъ еще,—сказалъ онъ, съ любовью смотря на Анюту,—не закружилась, но чувствую, что кружится... Спасите меня! — и онъ какъ утопающій протянулъ къ Анютѣ руки.

Она не сказала ни слова, но, вся стыдливая, смущенная и счастливая, подала ему руки и склонилась къ нему.

XI.

Анюта почти каждый день стала бывать у Камышлинцева. Въ провинціальномъ городѣ, гдѣ все узнается, объ этомъ обстоятельствѣ тотчасъ разнеслось, и всѣ, кто встрѣчалъ Анюту, ѣдущую вечеромъ за городъ, говорили или думали: «вотъ Барсукова къ Камышлинцеву ѣдетъ»! Стали доходить эти слухи и до Арины Степановны, стала она замѣчать, что отношенія между молодыми людьми утрачиваютъ совершенно идиллическій характеръ, и рѣшилась строго переговорить объ этомъ съ Анютой, хотя эта рѣшимость ей дорого стоила: она и любила Анюту, и побаивалась ея.

Однакоже, молчать было опасно, и вотъ, разъ передъ вечеромъ, когда Анюта хотѣла, по обыкновенію, ѣхать къ Камышлинцеву, Арина Степановна собралась съ духомъ и сказала ей.

— Ты куда это, Анюта, зачастила?

— Къ Камышлинцеву! отвѣтила Анюта рѣшительно, но слегка покраснѣвъ.

У Арины Степановны, какъ выражалась она, сердце за сердце зашло. Она даже похолодѣла.

— Да ты съ ума сошла?—сказала она, приходя въ себя.—Что ты это дѣлаешь изъ себя?

Анюта подошла къ теткѣ, взяла ее за руку и нѣжно посмотрѣла на нее.

— Тетя,—сказала она,—не мѣшайте мнѣ жить, милая, и не портите моей жизни, какъ вы испортили свою!

Негодованіе, которое какъ пѣна накипѣло въ груди тетки, начало смѣняться другимъ чувствомъ.

— Помилуй, другъ мой, да ты губишь себя...—со слезами говорила Арина Степановна.

— Не бойтесь, тетя... не погублю! — сказала Анюта, и, поцѣловавъ тетку въ голову, хотѣла идти.

— Да нѣтъ, я тебя не пущу! — сказала Арина Степановна, вдругъ набравшись рѣшимости и схвативъ Анюту за платье.—Я не пущу тебя позорить себя и насъ.

Анюта вся вспыхнула.

— Тетя!—сказала она твердо:—если вы будете мѣшать мнѣ, такъ лучше разстанемся.

— Что же это ты, выгоняешь меня?—воскликнула Арина Степановна, вся поблѣднѣвъ.—Да ты мнѣ отцомъ довѣрена, какъ же ты меня ослушаешься?... Я отца призову!

— Тогда я совсѣмъ уйду и, можетъ, дѣйствительно погибну,—сказала Анюта.

Арина Степановна была совсѣмъ поражена рѣшимостью Анюты и не знала, что отвѣчать и дѣлать. Анюта этимъ воспользовалась, освободила платье и спокойно вышла.

Бѣдная Арина Степановна, глубоко огорченная, осталась одна, какъ курица, которая вывела утятъ и видитъ, что они бросаются въ воду. Сначала она горько плакала, потомъ начала бояться: «что, если Анюта въ самомъ дѣлѣ не воротится? — подумала она:—отъ нея это станется; тогда еще хуже будетъ!»

И она съ трепетомъ ждала возвращенія Анюты. Анюта дѣйствительно возвратилась въ обычное время и, какъ ни въ чемъ не бывало, принялась за свое дѣло.

Съ тѣхъ поръ Арина Степановна ни слова не говорила племянницѣ, но сама опустилась, притихла и была печальной. Ей казалось, что любовь Анюты къ Камышлинцеву позоромъ лежитъ и на ней, ея теткѣ и воспитательницѣ. Она глубоко раскаявалась въ своей исповѣди передъ Анютой; она видѣла, что изъ разсказа вышло для Анюты совсѣмъ другое нравоученіе.

Перестала Арина Степановна и въ гости ходить, а съ пріятельницами, которыя навѣщали ее, стала сдержаннѣе, церемоннѣе. Когда же онѣ, по участію и дружбѣ, пробовали запускать язычки въ живое мѣсто, Арина Степановна отклоняла разговоръ выраженіями въ родѣ такихъ: «у всякаго свой царь въ головѣ», или «всякая птичка по своему поетъ».

Разъ Перепетуя, оскорбленная отказомъ ея жениху, начала было выговаривать Аринѣ Степановнѣ, что «вотъ-де, матушка, далп волю дѣвкѣ, — не сносила головки»—и, считая себя обиженной, хотѣла было, пользуясь выгоднымъ положеніемъ, вдоволь напѣть пришибленной судьбой Аринѣ Степановнѣ, но та, противъ ожиданія, дала ей такой отпоръ, какого она и не чаяла.

— Прошу васъ, Перепетуя Ивановна, если вы дорожите моимъ знакомствомъ, до нашихъ семейныхъ дѣлъ не касаться; тамъ за плечами, что угодно, говорите: на чужой ротокъ не навяжешь платковъ, а у меня мою племянницу я ужъ прошу не осуждать. Вѣдь племянница моя своихъ дѣловъ вамъ не повѣряла. Человѣкъ на человѣка не приходится, матушка, что у нихъ дѣлается, мы не знаемъ!... А тамъ ужь ее Богъ разсудитъ.

Тогда Перепетуя, увидѣвъ отпоръ и не будучи сама строга къ молодости, отложила нравственность въ сторону и отвѣтила:—И то, матка, молодость-то разъ въ жизни бываетъ. А вѣдь и то случается: въ дѣвкахъ—горе мыкано, а замужъ отдано—вдвое прибыло!—Господь съ ними!

И тѣмъ разговоръ окончился.

Но, защищая честь своей семьи, какъ преданный старый слуга, который изъ послѣднихъ силъ старается прикрыть прорѣхи промотавшагося и ни о чемъ не думающаго господина, Арина Степановна *чувствовала* неодолимую потребность передъ кѣмъ нибудь высказаться,—и съ одной купчихой, добрѣйшей и толстѣйшей женщиной и лучшимъ другомъ своимъ, рѣшилась говорить откровенно о своей племянницѣ. И много передъ этимъ другомъ было выплакано горькихъ слезъ, и много облегчила такая откровенность бѣдную тетку, хотя въ отвѣтъ на эту глубокую исповѣдь, подруга, всегда изнемогающая отъ жары и лѣтомъ спасающаяся отъ нея въ ледникѣ, только стенала и пила нещадно квасъ.

Отношенія къ обществу Анюты не измѣнились. Въ свѣтѣ все условно. Есть такія положенія, въ которыхъ имѣть любовника не только не кажется неприличнымъ, но напротивъ, не имѣть его считается неприличнымъ: какъ будто любовникъ тутъ по штату положенъ. Таково, напримѣръ, по мнѣнію многихъ, положеніе танцовщицы, актрисы, въ томъ числѣ и модистки. Поэтому тѣ, которыя имѣли нужду въ Анютѣ, барыни и барышни, были по прежнему любезны и по прежнему обращались къ ней съ заказами; отъ знакомства же съ обществомъ Анюта и прежде отстранялась. Были у Анюты двѣ-три пріятельницы, добрыя, небогатыя дѣвушки, большею частью сироты, изъ мелкихъ помѣщицъ, или чиновницы, отцы которыхъ ничего не нажили. Эти дѣвушки, почти ничему не выученныя, читавшія урывками и кое-что, тоже чувствовали ненормальность своего положенія, искали выхода и бродили ощупью. Тѣхъ изъ нихъ, которыя пробиваются собственнымъ трудомъ и не живутъ въ приживалкахъ и на посылкахъ изъ милости у какой нибудь благодѣтельницы, въ провинціи нынѣ любятъ называть нигилистками. Онѣ сочувствовали дѣятельности Анюты, завидовали ей и тоже искали занятія, гдѣ могли. Эти бѣдныя безпріютныя, которыхъ не мало ищетъ по свѣту мѣста и дѣла, испытали на себѣ достаточно невзгодъ, чтобы не бросать камнемъ въ другаго; онѣ не измѣнились къ Анютѣ и были съ ней по прежнему дружны. Одну изъ нихъ, имѣя въ виду отличный ходъ дѣла, пригласила Анюта къ себѣ въ помощницы и та переѣхала къ ней.

Такъ шло время вообще, а для Анюты и Камышлинцева шли весьма быстро и пріятно, пока не случилось одного происшествія.

Разъ Камышлинцевъ получилъ петербургскую почту и между прочими письмами увидалъ одно незнакомое. Онъ распечаталъ его, прочиталъ, нѣсколько измѣнился въ лицѣ и горько усмѣхнулся. Письмо было отъ одного господина, довольно высокопоставленнаго въ дѣлахъ по крестьянству. Камышлинцевъ былъ съ нимъ знакомъ очень мало, но по дѣламъ иногда переписывался. Господинъ этотъ осторожно и сколь возможно мягко, съ величайшимъ сожалѣніемъ, считалъ нужнымъ частно сообщить Камышлинцеву, что дѣятельность его, къ несчастію, возстановляетъ противъ себя общественное мнѣніе и подастъ поводъ къ слухамъ, которые, хотя имъ и не даютъ вѣры, тѣмъ не менѣе считаются неприличными для члена отъ пра-

вительства, и что все это не удовлетворяетъ ожиданіямъ и цѣлямъ правительства въ крестьянскомъ дѣлѣ; но что еслибы Камышлинцевъ пожелалъ другаго рода службы, то нѣтъ сомнѣнія, что съ его отличными способностями, энергіей и высокою честностью, Камышлинцевъ вполнѣ можетъ разсчитывать на прекрасное мѣсто и что онъ, его знакомый, предлагаетъ для этого все свое содѣйствіе и полную готовность къ ходатайству.

— А!..—сказалъ Камышлинцевъ, горько усмѣхнувшись:—уже!—Онъ тотчасъ сѣлъ за письменный столъ и написалъ оффиціальное письмо къ губернатору объ отказѣ отъ должности и отвѣтъ знакомому, въ которомъ благодарилъ его за участіе, въ немъ принимаемое, и увѣдомлялъ какъ о своемъ выходѣ изъ губернскаго присутствія, такъ и нежеланіи вступить на службу.

Кончивъ письма, Камышлинцевъ отправился въ городъ, чтобы отдать ихъ на почту, и прежде всего зашелъ къ Мытищеву.

— Вы ничего не получили изъ Петербурга? — спросилъ онъ его.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Мытищевъ.

— А я получилъ; по Темрюковскому дѣлу, должно быть,—сказалъ онъ, насмѣшливо улыбаясь и подавая полученное письмо.

Мытищевъ прочиталъ его, медленно свернулъ и спросилъ:

— Ну, что же?

— А вотъ и отвѣты,—сказалъ Камышлинцевъ, показавъ письма и объяснивъ ихъ содержаніе.

— А мнѣ достаточно одного—къ губернатору!—сказалъ Мытищевъ.

— Да вамъ-то зачѣмъ? Вѣдь на васъ общественное мнѣніе не возстаетъ? — спросилъ Камышлинцевъ, съ усмѣшкой упирая на слово: «общественное мнѣніе». — Оставайтесь для дѣла. Конечно, однимъ голосомъ будетъ меньше, но останется хоть другой.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Мытищевъ,—одинъ въ полѣ не воинъ: что я сдѣлаю? и съ вами-то мы нынѣче часто оставались въ меньшинствѣ и ограничивались особыми мнѣніями, а безъ васъ и подавно.

— Все таки останется протестующій голосъ,—сказалъ Камышлинцевъ.—Личное положеніе ваше будетъ конечно еще тяжелѣе, но вы не перестанете приносить пользу дѣлу.

Мытищевъ усмѣхнулся.

— И не достигну ничего, кромѣ разлитія желчи,—сказалъ Мытищевъ.—Но зачѣмъ усиливаться напрасно! Это что значитъ? — сказалъ онъ, указывая на письма.—Значитъ, что наше время прошло и находятъ нужными другихъ дѣятелей. Мы съ вами, можетъ, дѣйствительно ошибались; уступимъ мѣсто тѣмъ, которыхъ считаютъ полезнѣе.

И онъ, не слушая возраженій, тоже написалъ отказъ отъ должности.

Нобельнебель, узнавъ объ отказѣ Камышлинцева и о причинахъ, его вызвавшихъ, нѣсколько смутился, но затѣмъ съ отмѣнной вѣжливостью выразилъ свои сожалѣнія и принялъ письмо. Но съ Мытищевымъ спорилъ и, оставшись наединѣ, увѣрялъ, что вредъ идетъ не отъ него, а отъ Камышлинцева.

— Ну, коли онъ былъ вреденъ, такъ и я тоже, отвѣчалъ старикъ,—потому что я одного съ нимъ мнѣнія былъ и остаюсь.

И онъ настоялъ на своемъ отказѣ.

Вѣсть объ отказѣ отъ должности Камышлинцева и Мытищева съ быстротою молніи разнеслась по городу. По этому случаю въ Велико-Ѳедорскѣ сдѣлалось даже необыкновенное движеніе по улицамъ. Извѣстіе о перемѣнѣ всѣхъ министровъ разомъ не произвело бы такого волненія. Помѣщичья партія ликовала, а двое самыхъ ярыхъ изъ старыхъ дрожжей, въ знакъ радости, зажгли въ этотъ вечеръ свѣчи на окнахъ, какъ въ день торжественной иллюминаціи. Выходка эта произвела фуроръ, и на другой день многіе скакали нарочно изъ дому въ домъ, чтобы разсказать о ней. Лица, ее сдѣлавшія, стали героями дня и вдвойнѣ торжествовали, но не долго. Произошло это отъ того, что нѣкоторые изъ тонкихъ и осторожныхъ людей, узнавъ о ней, таинственно замѣтили, что вѣдь иллюминація-то полагается только въ царскіе и торжественные дни и по приказанію начальства, такъ пожалуй, за подобную штуку могутъ и того! Тогда зачинщики перетрусились, отреклись отъ подвига и съ мѣсяцъ были въ большомъ безпокойствѣ и объясняли всѣмъ, что свѣчи были зажжены случайно и что глупо называть это иллюминаціей. Демонстрація эта однако же считается въ Велико-Ѳедорскѣ и до сихъ поръ необыкновенно смѣлой, но о ней говорятъ только по знакомству и не иначе, какъ въ полголоса. Впрочемъ, послѣдствій за нее никакихъ не было и страхъ былъ напрасенъ.

Въ то время, когда общественное мнѣніе въ дворянской средѣ проявило себя въ такихъ демонстраціяхъ, въ крестьянскомъ сословіи оно никакихъ ясныхъ знаковъ не явило, ибо наше крестьянство, пріученное опытомъ къ молчанію въ теченіе столѣтій, не привыкло дѣлать никакихъ заявленій, если на это не получитъ внушеній отъ начальствующихъ. Правда, на нѣкоторыхъ сходкахъ потолковали, что хорошо бы выдать выбывающимъ «одобрительныя свидѣтельства», но и на эту мѣру не рѣшились; что же касается до сочувствующихъ мировыхъ посредниковъ, которые готовы были и желали разъяснить крестьянамъ заслуги выбывающихъ, то ихъ Камышлинцевъ и Мытищевъ положительно просили ничего не затѣвать, ибо проку отъ этого для дѣла никакого не предвидѣлось, а между тѣмъ это могло бы навлечь большія непріятности самимъ заявителямъ. Тѣмъ не менѣе, когда нѣкоторые изъ мірскихъ раздѣльниковъ пришли къ Камышлинцеву за совѣтомъ и узнали о его выходѣ, то во многихъ избахъ крякнулъ и глубоко потужилъ сѣрый людъ.

На мѣсто выбывшихъ Нобельнебелемъ было

представлены и утверждены Зензивѣевъ и благородный господинъ съ перевернутой головой.

Прямо отъ губернатора Камышлинцевъ заѣхалъ къ Анютѣ и разсказалъ ей о случившемся. Анюта приняла это извѣстіе не такъ молчаливо, какъ Камышлинцевъ.

Кромѣ общаго значенія, оно имѣло для нея еще и частное,—измѣняло причины, по которымъ Камышлинцевъ жилъ доселѣ въ Велико-Ѳедорскѣ. Касательно этого обстоятельства Камышлинцевъ еще и самъ ничего не рѣшилъ, и они вмѣстѣ съ Анютой отложили потолковать объ этомъ впослѣдствіи, такъ какъ во всякомъ случаѣ Камышлинцевъ долженъ былъ остаться еще на нѣкоторое время въ городѣ.

Дня черезъ два послѣ этого, Камышлинцевъ, читая у себя въ послѣобѣденное время книгу, увидалъ проѣхавшій экипажъ Анюты. Это было ранѣе обыкновеннаго посѣщенія (Камышлинцевъ не любилъ бывать самъ у Анюты, избѣгая встрѣчи съ Ариной Степановной); тѣмъ болѣе обрадовался ей Камышлинцевъ. Устройство ихъ будущихъ отношеній затрогивало его и онъ былъ радъ посовѣтоваться съ Анютой. Онъ вышелъ ей навстрѣчу, широко растворилъ дверь и со словами: «ну, вотъ спасибо!»—хотѣлъ обнять ее, какъ вдругъ, вмѣсто Анюты, едва не очутилась въ его объятіяхъ Арина Степановна. Камышлинцевъ покраснѣлъ, какъ піонъ, и крайне пожалѣлъ, что дубовый полъ въ залѣ очень крѣпокъ и не имѣетъ опускныхъ трапповъ, на подобіе театральныхъ.

Арина Степановна, и безъ того смущенная, еще болѣе смутилась отъ этой встрѣчи, но вошла, собравъ всю свою храбрость. Бѣдная и добрѣйшая тетка терпѣливо сносила всю неловкость положенія племянницы, пока та была счастлива, но перемѣна съ Камышлинцевымъ угрожала разлукой едва начавшемуся союзу, и Анюта сильно призадумалась. «Вѣдь этакъ онъ пожалуй и броситъ ее»!—подумала Арина Степановна, — «отъ этихъ козловъ — мужчинъ все станется: изъ-за чего же дѣвка собой-то пожертвовала»? И возмущенная, и встревоженная, Арина Степановна рѣшилась на великій шагъ вмѣшательства.

Камышлинцевъ попросилъ Арину Степановну въ гостиную; она вошла, сѣла на предложенное ей мѣсто на диванѣ и, еще не приступая къ цѣли, нашлась уже вынужденной отереть платкомъ глаза.

Камышлинцевъ поморщился, но покорился своей участи и сѣлъ наискось въ креслѣ.

Арина Степановна во всю дорогу до Вахрамѣевки думала, какъ и что будетъ она говорить Камышлинцеву. «Я скажу ему то-то, и то-то» — думала она, «я скажу ему; я молъ вѣдь тетка, я отвѣтъ въ племянницѣ моей должна дать Богу и отцу»,— подзадоривала она себя но когда пришлось говорить, когда вмѣсто злодѣя она увидѣла очень хорошаго и вѣжливаго человѣка, да еще вдобавокъ любимаго ея Анютой, она почувствовала, что въ *ея головѣ вдругъ* образовалась пустота; не то чтобы путаница мыслей, а просто совершенное ихъ отсутствіе: казалось, самаго мозга и мыслительныхъ способностей не бывало въ головѣ: «какъ боченокъ пустой»! говорила она потомъ.

— Дмитрій Петровичъ,—наконецъ рѣшилась она начать (она только рѣшилась говорить, просто слова произносить, а тамъ ужь самъ Господь, какой хочетъ смыслъ, изъ нихъ устроитъ),—извините меня,—я пріѣхала на счетъ Анюты...—Она заплакала.

— Арина Степановна,—сказалъ Камышлинцевъ; онъ чувствовалъ, что у него въ горлѣ что-то сидитъ,—вы вѣроятно отъ себя пріѣхали переговорить со мной, а не по порученію Анны Ивановны?

— Отъ себя!—тихо и плаксиво сказала она.

— Мы съ Анной Ивановной,—продолжалъ Камышлинцевъ, — любимъ другъ друга, обдумали и обдумываемъ впередъ наше положеніе. Я понимаю ваши заботы... и... огорченія... но предоставьте намъ самимъ устройство нашихъ отношеній... будьте увѣрены, что и безъ согласія Анны Ивановны ни на что не рѣшусь и что мнѣ ея счастіе дорого такъ же, какъ и вамъ.

— Дмитрій Петровичъ, — начала Арина Степановна, нѣсколько оправляясь, — да, вѣдь я тетка! Какъ же я передъ отцомъ-то? что же я скажу ему-то? Вѣдь намъ въ люди показаться нельзя! Да если онъ это узнаетъ, то его просто сразитъ... не вынесетъ онъ этого...

Камышлинцевъ нахмурился.

— Что же мнѣ на это сказать вамъ, Арина Степановна,—отвѣчалъ пасмурно Камышлинцевъ.— Вы знаете, что и мой, и Анны Ивановны взглядъ на эти вещи совсѣмъ не сходится съ вашимъ. Это очень печально, но что же дѣлать? Всякое поколѣніе живетъ по своему и пусть живетъ: лишь бы было счастливо.

— Да, вѣдь, Дмитрій Петровичъ! развѣ молодая дѣвушка думаетъ о будущности? Теперь вы уѣхать, можетъ, должны, что же будетъ съ ней? Когда же и счастлива-то она была?... И за это весь вѣкъ, можетъ, страдать должна...

— Ну, этого не будетъ, Арина Степановна,— за это я вамъ ручаюсь: мы не шутимъ любовью и привязанностью, зря не даемъ и зря не будемъ разрывать ихъ, — твердо сказалъ Камышлинцевъ.

Арина Степановна призадумалась.

— Да, вѣдь, Дмитрій Петровичъ,—начала она опять и рѣшилась взглянуть на него, хотя носикъ ея весь зловѣще краснѣлъ и изъ глазъ еще катились слезы,—вѣдь людскія-то чувства не прочны: сегодня милъ, а завтра постылъ! Ужь если дорога вамъ Анюточка, такъ что бы вамъ... упрочить...

Камышлинцевъ затруднился, что ей отвѣчать.

«Изволь ей толковать о неудобствахъ неразрывныхъ узъ»!—думалъ онъ.

— Арина Степановна,—сказалъ онъ наконецъ,— и Анна Ивановна, и я, мы боимся брака и не рѣшаемся на него именно потому, что, какъ вы сказали, сегодня милъ, а завтра постылъ! а вы знаете:

плохой попъ повѣнчаетъ, а хорошій не развѣнчаетъ. Притомъ, развѣ несчастныхъ браковъ мало?

— Такъ-то такъ, Дмитрій Петровичъ, да и гдѣ мнѣ противъ васъ сговорить, только какъ же безъ закону-то, родной? Стыдъ-то этотъ, говоръ... отецъ-то!..—и Арина Степановна снова заплакала.

— Понимаю я, все понимаю, добрѣйшая Арина Степановна,—сказалъ Камышлинцевъ, взявъ ее за руку, — да не думайте вы о насъ, бросьте насъ, предоставьте насъ намъ самимъ! Мнѣ искренно жаль васъ: вы выросли въ другихъ понятіяхъ и, конечно, страдаете; но за Анну Ивановну я ни минуты не безпокоюсь, и будьте увѣрены, что мнѣ ея счастіе дорого.

— Голубчикъ мой! вѣрю вамъ... Да стыдъ-то... люди-то... — говорила Арина Степановна, просительно глядя на Камышлинцева, — и чего вы-то стыдитесь?—робко рѣшилась она замѣтить:—вѣдь Анюточка-то тоже дворянка столбовая и ничѣмъ себя не уронитъ... Вотъ только что магазинъ этотъ развѣ? да вѣдь его передать можно бы сейчасъ,— и она робко поглядѣла на Камышлинцева.

— Да не стыжусь я, Арина Степановна: совсѣмъ не то!—сказалъ Камышлинцевъ, невольно улыбаясь!

— Ну, боитесь что ли, чего?..—съ недоумѣвающей и какой-то скорбной и заискивающей полуулыбкой сказала Арина Степановна. — Простите меня, я что-то понять этого не могу,—прибавила она, стыдливо, какъ бы сознаваясь въ глубокомъ невѣжествѣ.

— Да вотъ именно того и боимся, что если разлюбимъ другъ друга, то...—Камышлинцевъ вдругъ остановился, точно какая-то новая мысль внезапно прошла въ его головѣ, оборвала его доказательства, и онъ не зналъ еще, какъ сладить съ ней.— Мы переговоримъ съ Анютой, — продолжалъ онъ разсѣянно,—обо всемъ переговоримъ... Я обѣщаю вамъ, добрѣйшая Арина Степановна, что все, что она захочетъ и что можно будетъ сдѣлать для ея счастья, я сдѣлаю.

Камышлинцевъ готовъ былъ, кажется, все обѣщать, чтобы покончить этотъ тяжелый разговоръ.

— То-то, голубчикъ Дмитрій Петровичъ, не оставьте вы ее!.. Вѣдь она только жизнь увидала, а сама-то еще вѣтеръ... Рѣзва она очень... не думаетъ ни о чемъ... Какъ же можно безъ закона-то?.. опять же стыдъ!.. Мужнюю жену хоть и бросятъ, все она мужняя!...— говорила Арина Степановна, вставая съ дивана и не рѣшаясь еще уходить.

— Вѣрьте, все, что могу и что придумаемъ,— сказалъ онъ, провожая Арину Степановну, — все будетъ сдѣлано.

— Да вы сами, сами, голубчикъ Дмитрій Петровичъ, придумайте,—говорила она, прощаясь и съ трепетной надеждой посматривая на Камышлинцева. — Вѣдь вы человѣкъ умный, хорошій. А то что она?.. молодость!.. вѣтеръ!

Видимо было, что Арина Степановна болѣе надѣялась на Камышлинцева, чѣмъ на свою племянницу.

— Хорошо, хорошо!..—говорилъ Камышлинцевъ, провожая ее: — будьте покойны... ужь мы придумаемъ!

— Голубчикъ, не оставьте вы насъ!—повторила еще Арина Степановна тихо, увидѣвъ слугу, и поспѣшила выдти.

Когда за ней затворилась дверь, Камышлинцевъ вздохнулъ, какъ будто свалилъ гору съ груди.

Арина Степановна возвращалась, питая нѣкоторую надежду и вознося горячія мольбы къ Владычицѣ.

«Дмитрій Петровичъ человѣкъ добрый и мягкій, думала она (его всѣ считали мягкимъ, кто ни сталкивался съ нимъ по серьезнымъ дѣламъ), — онъ Анюточку любитъ: еслибы она только захотѣла, онъ женился бы на ней. Да вѣдь горда она больно!.. надо попробовать однако.»

Съ этимъ замысломъ Арина Степановна воротилась домой.

— Гдѣ ты была, тетя?— спросила ее Анюта.

— Такъ, у знакомыхъ! — отвѣчала Арина Степановна, отвернувшись, чтобы племянница не замѣтила, что она солгала. Однакоже, помявшись немного и переложивъ съ мѣста на мѣсто разныя вещи, она наконецъ рѣшилась высказаться.

— Анюта!—робко сказала она,—видѣла я Дмитрія Петровича...

— Вы у него были?—вспыхнувъ, спросила Анюта.

— Нѣтъ... да ты послушай, что я тебѣ скажу,— начала она.

Но Анюта ее прервала.

— Нѣтъ, вы мнѣ скажите, были вы у него? — настойчиво спрашивала Анюта.

Арина Степановна не знала, что сказать.

— Была ли, нѣтъ ли, — какъ-то скороговоркой проговорила Арина Степановна,— да это все равно! — продолжала она.

— Тетя,—сказала Анюта, и брови ея сумрачно сдвинулись,—я просила васъ не вмѣшиваться, вы все-таки вмѣшались: ну, значитъ намъ не жить вмѣстѣ!

— Анюта! Анюточка!.. другъ мой! ты только послушай!— говорила ей вслѣдъ Арина Степановна; но Анюта не слушала: она накинула бурнусъ, взяла шляпку и поспѣшно вышла.

— Боже мой! Господи!... — воскликнула Арина Степановна, вся испуганная и въ слезахъ, — вѣдь только бы выслушала да послушалась: мимо счастья своего, можетъ, прошла; а теперь, что она надѣлаетъ сгоряча? все перепортитъ, да и меня хочетъ бросить! За старанія-то и страданія мои?

И бѣдная Арина Степановна горько заплакала.

Камышлинцевъ ходилъ по комнатѣ изъ угла въ уголъ. На лицѣ его часто пробѣгала улыбка и ему, казалось, стоило труда не говорить вслухъ съ самимъ собою. Дѣлать онъ ничего не могъ, какъ человѣкъ сильно занятый одной мыслью, и часто поглядывалъ на окна. Однакожь прошло долгое время и нѣсколько разъ онъ бралъ за книгу и бросалъ

ее, прежде нежели зазвенѣла извозчичья пролетка и онъ увидѣлъ Анюту.

На этотъ разъ, не смотря на свое нетерпѣніе, онъ встрѣтилъ ее какъ-то сдержанно.

— Здравствуйте, Анна Ивановна,—сказалъ онъ ей съ улыбкой, подавая руку.

Анюта быстро вошла въ комнату. По нахмуреннымъ бровямъ и взволнованному лицу ея видно было, что гнѣвъ ея дорогой не унялся.

— Тетка была у тебя?— спросила она быстро.

— Была,— отвѣтилъ Камышлинцевъ, весело поглядывая на нее.

— Ну, значитъ, я съ ней не живу больше! — сказала, сбрасывая шляпку и бурнусъ, Анюта. — Надо съ этимъ порѣшить!

— Успокойся, Анюта, — сказалъ мягко и убѣдительно Камышлинцевъ: — вѣдь она изъ любви къ тебѣ же... ты не видѣла, какой борьбы это ей стоило.

— Да изъ любви ко мнѣ они жить мнѣ не дадутъ, они всю жизнь мнѣ отравятъ изъ своей любви!—горячо говорила, бросившись на кресло, Анюта. — Вѣдь эта любовь — то же тиранство! Шагу они не дадутъ мнѣ сдѣлать изъ-за нея.

— Н... ну!.. всякая любовь не безъ жертвъ, — сказалъ Камышлинцевъ. — Конечно, объясненіе съ теткой не доставило мнѣ особенныхъ пріятностей, однакоже, знаешь ли, что она, Арина Степановна, поставила меня въ тупикъ?

— Какъ это тетка можетъ въ тупикъ поставить?—сказала Анюта, пожавъ плечами.—Это тебя плохо рекомендуетъ.

— Да, а между тѣмъ поставила, и какъ бы ты думала, — какимъ простымъ замѣчаніемъ?

Анюта не отвѣчала ему, все еще оставаясь не въ духѣ; но посмотрѣла на него вопросительно.

— Она мнѣ сказала, что не можетъ понять, почему мы не женимся. Сначала пришла ей нелѣпая мысль, что я считаю тебя не парой себѣ, но когда я ей объяснилъ, что это вовсе не то, тогда она стала въ недоумѣніе, и спросила, чего же мы боимся?

— Ну, и чего же? — спросила Анюта.

— Ну, я и самъ не нашелъ, чего мы боимся!— сказалъ съ улыбкой, разводя руками, Камышлинцевъ.

Анюта посмотрѣла на него съ недоумѣніемъ.

— Положимъ, съ теткой объ этомъ толковать не легко; да достаточно было ей сказать, что мы просто не хотимъ привязывать себя другъ къ другу, что намъ свобода дорога.

— Да вотъ этого-то я по совѣсти и не могъ сказать, — замѣтилъ Камышлинцевъ.

— Если бы дѣло шло о дѣвицѣ Вахрамѣевой, такъ оно понятно: съ ней пожалуй не развяжешься всю жизнь, но намъ съ тобой чего же бояться другъ друга? — спросилъ онъ, поглядывая на Анюту.

— Да того же самаго!—отвѣчала Анюта.—Ну, если мы не уживемся, или разлюбимъ другъ друга?

— Ну, что-жь? — спросилъ Камышлинцевъ. — Вѣдь я тебя черезъ полицію требовать къ себѣ не буду.

— Положимъ! — отвѣчала улыбаясь Анюта.

— Ты сама меня за полу держать тоже не будешь.

— Ну, можетъ, нѣсколько и придержу, но вѣшаться насильно не стану.

— Жалѣть, что нельзя вступить въ другой бракъ съ другимъ кѣмъ-нибудь, я думаю, мы тоже не будемъ, коль мы и въ первый-то, какъ въ крещенскую прорубь, боимся броситься.

— Надѣюсь, — сказала Анюта.

— Изподтишка обманывать другъ друга мы и безъ того не будемъ, дѣтей обезпечить также должны: такъ въ чемъ же наша независимость будетъ связана? — спросилъ Камышлинцевъ.

Анюта затруднялась отвѣтомъ.

— А между тѣмъ, — продолжалъ Камышлинцевъ,—ненужная борьба, огорченіе близкихъ, безправность дѣтей и пропасть крупныхъ и мелкихъ непріятностей—все это устраняется; да и дѣла-то нѣтъ, которое бы поглощало всего...

— Ну,—сказала Анюта,—какъ бы то ни было, а я своей независимости терять не хочу: довольно мнѣ опекуновъ-то.

— Да ты мнѣ докажи, чѣмъ ты будешь стѣснена. Иначе это будетъ упрямство. Впрочемъ, если ты боишься, что во мнѣ опекуна найдешь, — обидясь, сказалъ Камышлинцевъ,—тогда другое дѣло.

— Ну, да дѣлай, какъ хочешь, несносный человѣкъ, и не боюсь я тебя нисколько! — сказала Анюта, вскакивая и сердито цалуя Камышлинцева.—Только знай, что если я не найду другаго занятія, то я магазинъ свой не брошу: я не хочу зависѣть отъ тебя.

— А, это особая статья, — сказалъ Камышлинцевъ,— и въ этомъ ты совершенно права!

— Пока тебя опять не разъ убѣдитъ Арина Степановна, — замѣтила Анюта и они оба расхохотались.

—

На другой день передъ обѣдомъ Камышлинцевъ былъ въ городѣ и заѣхалъ къ Анютѣ: ему уже нечего было бояться и избѣгать Арины Степановны. Анюты онъ не засталъ.

— А Арина Степановна дома? — спросилъ онъ чередовавшую въ магазинѣ дѣвушку.

— Она дома!—отвѣчала та, нѣсколько удивленная, потому что ей было извѣстно, къ кому пріѣзжаетъ Камышлинцевъ и что напротивъ, Арины Степановны онъ избѣгаетъ; но на этотъ разъ Камышлинцевъ измѣнилъ обыкновенію и вошелъ къ теткѣ.

Онъ нашелъ хозяйку разстроенной, съ заплаканными глазами и покраснѣвшимъ, вѣроятно отъ слезъ, носикомъ. Видъ она имѣла жалкій, какъ будто загнанный. Приходъ Камышлинцева еще болѣе смутилъ ее.

— Что съ вами, Арина Степановна?—спросилъ Камышлинцевъ.—Здоровы ли вы?

— Ничего, благодарю васъ, слава Богу. Садиться милости просимъ,—смиренно отвѣчала она, а у самой слезы закапали.

— Какъ ничего! Вы сильно разстроены! Не случилось ли чего съ Анной Ивановной? — спросилъ Камышлинцевъ, безпокоясь.— Гдѣ она?

— А не знаю! — отвѣчала покорно Арина Степановна.— Она со вчерашняго дня и не говоритъ со мной... уѣхала куда-то!—А слезы закапали еще пуще. Бѣдная тетка даже и не жаловалась.

— Такъ это она все сердится за вчерашнее, и ничего не сказала вамъ? — спросилъ Камышлинцевъ. — Знаете, что мы рѣшились жениться?

Арина Степановна не вдругъ, казалось, поняла извѣстіе, но лицо ея начало преображаться.

— Да!— подтвердилъ Камышлинцевъ: — мы нашли, что бояться дѣйствительно нечего и жениться будетъ удобнѣе. Вы согласіе дадите? — спросилъ, улыбаясь, Камышлинцевъ.

Арина Степановна совсѣмъ преобразилась, просіяла.

— Что это вы, Дмитрій Петровичъ! да я... — она посмотрѣла на рядъ образовъ, стоящихъ въ кіотѣ,—я не знаю которому угоднику и молиться! Позвольте васъ обнять по родственному,—сказала она, застыдясь, Камышлинцеву.

— Съ удовольствіемъ, Арина Степановна!—отвѣтилъ улыбаясь Камышлинцевъ и трижды облобызался съ нею.

— Тѣмъ болѣе—продолжалъ онъ,—что мы вамъ этимъ обязаны.

Арина Степановна не вѣрила, однакоже скромно потупилась.— Ну гдѣ ужь мнѣ,—замѣтила она.

— Нѣтъ, дѣйствительно вы навели меня на разныя мысли и мы, благодаря вамъ, приняли это намѣреніе.

— Нѣтъ, ужь это не я, Дмитрій Петровичъ, а Владычица,— она указала на образъ,— которой я молилась, вразумила васъ, — замѣтила съ полной вѣрою Арина Степановна и перекрестилась, глядя на образъ Владычицы.

Камышлинцевъ промолчалъ.

— Да и помилуйте, чего бояться? Господь съ вами! — продолжала оправившаяся Арина Степановна успокоительно.

— Какъ чего?.. Вонъ она у васъ, племянница-то ваша, какая сердитая! — смѣясь, замѣтилъ Камышлинцевъ.

Арина Степановна смутилась. — Нѣтъ, это она такъ! она вѣдь отходчива, — спѣшила разувѣрить тетка.—Разсердилась ужь очень вчера, что я васъ обезпокоила. За васъ же это она, — продолжала она успокоивать. — А ужь я-то цѣлую ночь плакала... плакала... — И у Арины Степановны опять показались слезы, но ужь слезы радости.

— Ну, да я ужь рѣшился, — сказалъ Камышлинцевъ. — А вы лучше, Арина Степановна, ее убѣждайте: она вотъ меня боится, и когда я ей предложилъ, то не рѣшалась выдти за меня.

Арина Степановна посмотрѣла недоумѣвая на Камышлинцева и потомъ вдругъ воскликнула съ отчаяніемъ:—Станется отъ нея, станется!.. Ну ужь, вы меня извините, Дмитрій Петровичъ, — горячо начала она потомъ, глубоко обидясь и разводя руками: — либо мы отъ старости совсѣмъ оглупѣли, либо ужь нынѣ молодые стали больно умны, только я тутъ ровнехонько ничего не понимаю! Дѣвка влюбилась безъ памяти и цѣлые мѣсяцы — развѣ я не вижу? — какъ не своя ходитъ, наконецъ — и вымолвить страшно! — сама вамъ на шею вѣшается и честью своей не дорожитъ; а когда предлагаютъ ей въ законный бракъ вступить, она не рѣшается. Не пойму, батюшка, не пойму-съ! Въ голову мою глупую помѣстить этого не могу! — говорила она горячась. Въ это время раздался стукъ подъѣзжающаго экипажа и вдругъ гнѣвъ Арины Степановны мгновенно исчезъ.

— Она это должно быть! — шепотомъ сказала тетка. Дмитрій Петровичъ, — продолжала она торопясь,—я къ вамъ еще съ просьбой великой. Ужь вы сдѣлайте одолженіе, коль желаете законъ соблюсти, то напишите и братцу Ивану Степановичу, сдѣлайте ему честь и спросите его согласія. Все-же вѣдь отецъ... Ужь я на васъ только надѣюсь, а та безумная-то пожалуй...

Но въ это время послышались шаги, взошла Анюта и Арина Степановна вдругъ умолкла.

— Ба, ты здѣсь!—сказала Анюта, подавая руку Камышлинцеву.

— А ты что, злая, мучила тетку и ничего не говорила ей цѣлый день? спросилъ онъ.

Арина Степановна хотѣла прикинуться огорченной, но не выдержала: она смотрѣла на Анюту, а у самой глазки такъ и прыгали.

— А затѣмъ,—сказала Анюта,—чтобы она впередъ поменьше любила меня.— И она весело обняла замирающую отъ счастья тетку.

Не все однако выполнялось такъ, какъ желала добрая Арина Степановна. Во первыхъ, племянница запретила ей кому-либо говорить о свадьбѣ.—Терпѣть не могу этихъ поздравленій да улыбочекъ, — сказала она и тетка послѣ испытанной передряги боялась и во снѣ проговориться объ этомъ. «Еще пожалуй разсердится да откажетъ», подумала она. Вообще она считала племянницу не то помѣшанной нѣсколько, не то ужь больно умной,—что не мѣшало ей и бояться, и обожать ее.

Она дозволила себѣ только одно: перебывала у всѣхъ своихъ пріятельницъ и при этомъ была такъ торжественна, говорила такъ загадочно и таинственно, что тѣ непремѣнно рѣшили, что у Барсуковыхъ необыкновенное что нибудь да есть! Пробовали закидывать онѣ вопросы «а что ваша Анна Ивановна и какъ поживаетъ»? но получали отвѣты, что «слава Богу! а что впрочемъ дѣвка не маленькая, своимъ умомъ живетъ и, благодаря Господа, взаймы его ни у кого не попроситъ» и пр.

Во вторыхъ, отцу Анюты Камышлинцевъ дѣйствительно написалъ и отъ него получено было благословеніе. Старикъ спрашивалъ, когда свадьба, и хотѣлъ съ женой пріѣхать на нее, но свадьба вышла какъ-то негаданно. «Зашелъ разъ Дмитрій Петровичъ послѣ обѣда за Анютой, пошли гулять,

и платье-то на ней было завсегдашнее—разсказывала Арина Степановна,—и потомъ воротились съ двумя молодыми людьми, велѣли подать шампанскаго, да и говорятъ, что они обвѣнчались»! Даже усумнилась Арина Степановна, но, наведя справки, удостовѣрилась, что дѣйствительно свадьба была и ее случайно видѣли даже посторонніе. А затѣмъ въ тотъ же день молодые собрались, «точно кто гонитъ ихъ»!—говорила она,—да и уѣхали въ Камышлиновку, оставя магазинъ на рукахъ своей пріятельницы и тетки.

— Все это у насъ не по людски дѣлается, — ворчала Арина Степановна, но такъ тихо, что сама боялась услышать, и прибавляла: — ну, да слава Богу! все-таки ужь крѣпко и честно,—и совершенно была счастлива. За то поздравляющимъ пріятельницамъ она съ скромностью великодушнаго побѣдителя говорила, что «все это у нихъ давно было слажено, но такъ какъ ее просили не говорить, такъ она молчала, предоставляя злымъ языкамъ сплетничать, сколько угодно. «Къ чистому не пристанетъ, матушка, думала я, а собаки лаютъ, вѣтеръ носитъ»! А «лаявшія собаки» подтверждали: «извѣстно, матушка! извѣстно»!

Но что повѣдала Арина Степановна наединѣ истинному своему другу, толстой купчихѣ, это осталось до сихъ поръ не разоблаченной тайной.

Пробывъ съ мѣсяцъ въ Камышлиновкѣ, молодые воротились въ Велико-Ѳедорскъ. Анютѣ нужно было воротиться къ занятіямъ по магазину, а Камышлинцеву давно надоѣло жить въ деревнѣ, стоящей въ сторонѣ отъ большой дороги и города, куда почта доходила два раза въ недѣлю. Онъ роздалъ землю въ наемъ крестьянамъ, а самъ купилъ у Вахрамѣева знакомую намъ подгородную усадьбу съ небольшимъ кускомъ земли и поселился въ ней съ молодой женой, хотя она на цѣлые дни уѣзжала отъ него въ магазинъ.

—

Весну 1866 года мнѣ пришлось провести на Соденскихъ водахъ. Соденъ лежитъ въ получасѣ ѣзды отъ Франкфурта на Майнѣ. Мѣстечко это небольшое, воды на немъ скверненскія и серьезныя, игры нѣтъ, слѣдовательно, съѣздъ на нихъ небольшой. Желѣзная дорожка верстъ въ двѣнадцать примыкаетъ на первой отъ Франкфурта станціи Гехстъ къ большой Таунской дорогѣ и соединяетъ Соденъ съ бѣлымъ свѣтомъ; лѣтомъ по ней ходятъ маленькіе поѣзды въ одинъ, два вагона, а зимой вовсе не ходятъ и только въ праздничные дни ватага небогатыхъ и не играющихъ франкфуртцевъ наѣзжаетъ въ Соденъ провести день im Grünen; богатые же и играющіе валятъ въ Гомбургъ, Висбаденъ и прочія громкія мѣста. Впрочемъ, для строгаго леченія мѣстечко это очень хорошо. Группа домовъ, которые почти всѣ съ садиками и всѣ безъ исключенія съ квартирами для пріѣзжающихъ, чистенькіе, удобные—стоитъ у подножья горы по обѣ стороны шоссе, которое вертъ во Франкфуртъ и поднимается прямой линіей въ гору. Минеральные источники разбросаны по всему мѣстечку, но около кургауза; въ которомъ, впрочемъ, никакихъ водъ не пьютъ, — играетъ скромный оркестръ и разбитъ порядочный паркъ съ прелестной каштановой аллеей и душистымъ жасминомъ и акаціей; весной, когда они цвѣтутъ, въ аллеяхъ почти нельзя ходить отъ силы ихъ сладкаго запаха. Въ этомъ паркѣ собираются къ вечеру всѣ болящіе и здоровые.

Съѣздъ въ этомъ году былъ небольшой; нѣмцамъ было не до того: грозная туча войны собиралась и нависла надъ страной. Но, не смотря на незначительность водъ и съѣзда, не смотря на сбирающуюся войну, не смотря, наконецъ, на то, что русскія бумажныя деньги падали съ быстротой твердыхъ тѣлъ, пущенныхъ сверху внизъ, и франкъ и гульденъ стали для насъ въ полтора раза дороже,—русскихъ все-таки набралось больше всѣхъ иностранцевъ, и русскимъ духомъ пахло-таки порядочно.

Былъ тутъ изъ нашихъ одинъ капитанъ въ злой чахоткѣ, который все жаловался, но не на чахотку, а на то, что онъ седьмой годъ капитаномъ и его не производятъ въ слѣдующій чинъ: онъ умеръ черезъ три недѣли. Былъ тутъ штабсъ-капитанъ въ такой же степени больной, который все хотѣлъ познакомиться съ этимъ капитаномъ, потому что тотъ служитъ въ штабѣ и можетъ оказать протекцію. Была одна петербургская дѣвица, эта — совсѣмъ здоровая (она пріѣзжала съ больной матерью), которая ихъ вполнѣ понимала, ужасно сочувствовала капитану въ томъ, что его не производятъ, и ужасно хлопотала, чтобы доставить штабсъ-капитану протекцію. Были и другіе болѣе пріятные соотечественники и соотечественницы. Между ними я познакомился съ однимъ, — называли его Иванъ Иванычъ. Иванъ Иванычъ былъ нашъ братъ помѣщикъ средней руки, очень добродушный, очень податливый. Во времена предшествовавшаго царствованія служилъ онъ въ военной службѣ, предавался волокитству и разнымъ эстетическимъ и не эстетическимъ наслажденіямъ; передъ Крымской войной почилъ на лонѣ деревни, но при звукѣ трубы немедля вступилъ въ ополченіе; явилась манія на акціонерныя предпріятія,— онъ пустился въ акціонерныя общества и на нихъ нѣсколько потерпѣлъ; во время крестьянскаго дѣла былъ умѣреннымъ либераломъ и мировымъ посредникомъ; при пожарахъ вѣрилъ въ поджигателей; въ польскій бунтъ возненавидѣлъ поляковъ, потомъ презиралъ нигилистовъ, статьями которыхъ нѣкогда упивался, и затѣмъ сдѣлался истымъ патріотомъ, успокоился на мысли, что Россія вступаетъ на свой истинный путь, и по возвращеніи съ водъ хотѣлъ отправиться покупать имѣнье въ западныхъ губерніяхъ. Иванъ Иванычъ служилъ съ Камышлинцевымъ по крестьянскому дѣлу, очень любилъ его и разсказалъ мнѣ о немъ большую часть всего мною переданнаго.

Разъ въ одинъ хорошій весенній и свободный

отъ ванны день, мы съ Иванъ Иванычемъ собрались съѣздить въ Висбаденъ. Позавтракавъ, мы отправились съ полуденнымъ поѣздомъ въ Гехстъ: подождали нѣсколько минутъ франкфуртскаго поѣзда и, пересѣвъ въ него, часа черезъ два были въ столицѣ Нассаусскаго Герцога. Пріѣхать съ маленькихъ водъ на большія игорныя все равно, что попасть изъ деревни въ столицу: шумная толпа гуляющихъ, блескъ туалетовъ, великолѣпный кургаузъ съ игрой на шести столахъ, суета и бѣготня прислуги въ ресторанѣ—все возбуждаетъ, встряхиваетъ распущенность и патріархальность жителя не очень взыскательныхъ маленькихъ водъ. Мы потолкались между столиками и нарядной и чинной толпой, которая собиралась подъ тѣнь ресторана къ обычному часу прогулки. Я встрѣтилъ по обыкновенію нѣсколько знакомыхъ соотечественниковъ, съ которыми судьба имѣетъ привычку сталкивать меня разъ въ десять лѣтъ, очень обрадовались другъ другу и черезъ пять минутъ разстались—опять, можетъ, на нѣсколько лѣтъ или навсегда. Пообѣдавъ съ Иванъ Иванычемъ въ ресторанѣ, содержимомъ знаменитымъ парижскимъ рестораторомъ, котораго имя я забылъ, я прошелся по заламъ, гдѣ шла игра въ рулетку, и, добравшись до газетной, по скверной привычкѣ, тутъ и застрялъ. Иванъ Иванычъ застрялъ комнатой ближе попытать счастья въ рулетку. Въ Соденъ переѣзжаетъ на сезонъ маленькая библіотека съ десяткомъ газетъ изъ Франкфурта, но въ то время она еще не устроилась и я едва промыслилъ себѣ изъ нея двѣ французскія газеты. По этому любитель чтенія пойметъ, съ какой лихорадочной нетерпѣливостью я копался въ сотнѣ газетъ всѣхъ странъ, разложенныхъ на нѣсколькихъ столахъ.

Я отрылъ между ними двѣ русскія, спросилъ у библіотекаря нечитанные мною нумера — недѣли за двѣ. Пробѣжалъ оффиціальныя новости (слухи и новости, еще не опубликованные правительствомъ и о которыхъ наши бѣдныя газеты говорить не имѣютъ права, я прочелъ изъ иностранныхъ) и даже остановился на разсужденіяхъ передовыхъ статей, напоминающихъ своею развязностью диспуты семинаристовъ о всемогуществѣ Творца передъ лицомъ отца ректора и своими учителями. И, не смотря на то, скрытная русская жизнь, со всѣми ея сонными движеніями, сквозила мнѣ между скованныхъ строчекъ,—и мнѣ было отрадно и... досадно.

Дважды приходилъ ко мнѣ Иванъ Иванычъ, и, проигравъ всѣ свои деньги (онъ нарочно взялъ съ собой не болѣе ста франковъ), бралъ у меня по золотому «на счастье» и опять ихъ проигрывалъ. Наконецъ я усталъ и успѣлъ еще съ часъ побродить передъ прудомъ, встрѣтиться еще съ пріятелями, которыхъ не видалъ года, и послушать военный оркестръ австрійцевъ, пріѣхавшій въ одномъ съ нами поѣздѣ изъ Франкфурта. Человѣкъ сто музыкантовъ въ бѣлыхъ мундирахъ играли передъ публикой и каждую ихъ піесу покрывали шумныя рукоплесканія.—Они играли и не чувствовали, что, можетъ, въ послѣдній разъ потѣшали слухъ публики на этихъ водахъ, что черезъ недѣлю или двѣ имъ придется покинуть вольный городъ Франкфуртъ и—вещь не бывалая для австрійцевъ—унести съ собой свободу, не принеся ея впрочемъ на родину. Часу въ 5-мъ, не осмотрѣвъ парка и не нагулявшись даже порядкомъ, мы отправились съ Иваномъ Иванычемъ домой, потому что это былъ послѣдній поѣздъ, съ которымъ мы могли возвратиться къ ночи въ Соденъ: на маленькой соденской дорожкѣ часу въ 8-мъ вечера движеніе прекращается до утра. По обычаю ничего не дѣлающихъ русскихъ людей, мы ужасно торопились и чуть не опоздали къ отходу.

Отъѣзжающихъ было не много. Мнѣ удалось занять отдѣленіе, гдѣ еще никого не сидѣло, Иванъ Иванычъ хотѣлъ войти за мною, но оглянулся и вдругъ бросился къ кому-то изъ пассажировъ и трижды облобызалъ его. Произвести эту операцію ему было тѣмъ удобнѣе, что у бѣднаго пассажира обѣ руки были заняты вещами и онъ представлялся такимъ образомъ совершенно незащищеннымъ. Потомъ Иванъ Иванычъ обратился къ его дамѣ, пожалъ ей руку, поюлилъ немного и бросился показывать имъ мѣсто.

По однимъ этимъ лобзаніямъ, совершаемымъ только русскими, я бы узналъ, что дѣло идетъ о встрѣчѣ съ соотечественникомъ, еслибы даже не услыхалъ русской рѣчи.

— Садитесь сюда, здѣсь совсѣмъ свободно! вотъ только одинъ нашъ землякъ, — говорилъ Иванъ Иванычъ, указывая на меня, — и уже готовился меня представить, но, вѣроятно вспомнивъ мою рѣшительную просьбу разъ навсегда—меня ни съ кѣмъ не знакомить, остановился.

Затѣмъ въ вагонъ вошла молоденькая дама, ея спутникъ и Иванъ Иванычъ: послѣдній захлопнулъ дверку и такъ свирѣпо посмотрѣлъ на одного нѣмца, хотѣвшаго было сѣсть, и такъ повелительно закричалъ ему «кейнъ-пляцъ», что тотъ немедленно отошелъ.

Вскорѣ поѣздъ тихо двинулся, и мы отправились. Дама, на которую я прежде всего, разумѣется, обратилъ вниманіе, была высокая брюнетка, съ большими ясными и живыми глазами и умнымъ красивымъ лицомъ. Ея спутникъ былъ блондинъ, лѣтъ тридцати, съ небольшой мягкой бородой и усами, съ темносѣрыми задумчивыми, не то уставшими, не то скучающими глазами; лицо пріятное, не блѣдное, но безрумяное, какъ у большей части русскихъ, съ чертами мягкими, которымъ едва уловимая игра складокъ около рта и глазъ придавала множество тонкихъ измѣненій.

Вообще казалось, это былъ человѣкъ нервный, можетъ быть, съ раздраженной желчью, порой негодующій и ненавидящій, но, какъ человѣкъ русскій, рѣшительно лишенный того, что нынѣ называютъ «спасительной злобой» и на что появился запросъ съ совершенно различныхъ сторонъ: Можно

было бы думать также, что это человѣкъ мягкій, но только горяченькій: но лобъ у него былъ хорошо развитый, умный и серьезный и въ глазахъ, не смотря на ихъ нѣсколько апатичное и усталое— можетъ, вслѣдствіе дороги—выраженіе, просвѣчивала твердость и увѣренность.

Я былъ очень доволенъ встрѣчей, потому что вообще люблю наблюдать моихъ земляковъ за границей. Нигдѣ такъ хорошо не видны наши особенности и тонкіе оттѣнки характера, какъ среди совершенно чуждыхъ лицъ и склада жизни. На этотъ разъ я былъ еще довольнѣе тѣмъ, что встрѣченные принадлежали къ тому разряду людей, которые даются не сразу и наблюдать которыхъ заманчиво, а общее впечатлѣніе для нихъ выгодно. Мужчина мнѣ показался, противъ обыкновенія, болѣе утонченъ въ обращеніи и болѣе нервенъ, нежели его красивая и живая спутница. Эта утонченность встрѣчается иногда у англичанъ, но еще болѣе у южно-американцевъ; и далась намъ, кажется, какъ наслѣдіе крѣпостнаго права: это не просто благовоспитанность, но благовоспитанность, выросшая среди приниженнаго класса.

— Такъ-то, мой любезнѣйшій Дмитрій Петровичъ (читатель вѣроятно также, какъ и я, вскорѣ узналъ Камышлинцевыхъ), вотъ гдѣ Богъ привелъ встрѣтиться! Давно ли вы изъ нашихъ благословенныхъ странъ?

— Только что выбрался,—отвѣчалъ Камышлинцевъ;—ѣду пока въ Швейцарію, да вотъ заѣхалъ воды посмотрѣть и дня два здѣсь прожилъ. Какъ я васъ утромъ не встрѣтилъ?

— Да глупость: въ рулетку игралъ!—отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, и поспѣшилъ замять рѣчь.— Такъ вы на долго въ Швейцарію?

— Нѣтъ, только вотъ ей показать озера хочется, а тамъ во Францію и Бельгію нужно.

— Значитъ, вы не просто катаетесь, а предположенія у васъ есть? — продолжалъ спрашивать Иванъ Ивановичъ.

— Да, мы собственно за дѣломъ. Она въ Парижъ чтобы запастись товаромъ, да швейныхъ машинъ выбрать, а я ѣду къ суконному производству присмотрѣться. Вы знаете, я въ Вахрамѣевѣ съ купцомъ Дудкинымъ фабрику суконную завелъ, т. е. завелъ болѣе Дудкинъ, потому что капиталъ-то его, да сразу у насъ споръ вышелъ. Я хотѣлъ, чтобы фабрика была, какъ фабрика, т. е. снабжена всякими усовершенствованіями,—а онъ мнѣ доказываетъ, что это не выгодно у насъ: «зачѣмъ, говоритъ, намъ тратиться, коль плохенькая-то больше денегъ дастъ!»

— Вотъ вздоръ! Ну, разумѣется, надобно ввести всѣ усовершенствованія и лучшія машины, — сказалъ съ увѣренностью Иванъ Ивановичъ.

— То-то, кажется, что не вздоръ, и онъ правъ,— отвѣтилъ Камышлинцевъ: — «намъ, говоритъ, не образцовую фабрику заводить, а чтобъ выгодна была»; а я все таки хочу самъ къ дѣлу присмотрѣться.

— А вы не оставили вашего занятія? — обратился съ любезной улыбкой Иванъ Иванычъ къ дамѣ.

— Напротивъ, расширила,—отвѣчала она: — У меня теперь при магазинѣ женская рукодѣльная школа.

— Ну, и разумѣется школа грамотности и прочаго?—подсказалъ Иванъ Иванычъ.

— Вотъ прочаго-то и нѣтъ,—улыбаясь, сказала Анюта;—да и грамотность-то между дѣломъ: учатся только читать, писать, да считать. Много хлопотъ съ открытіемъ школы-то грамотности.

Иванъ Иванычъ былъ идилликъ и во всемъ любилъ, чтобы было, какъ въ книжкахъ пишутъ. Я по его лицу видѣлъ, что отступленія отъ этихъ книжныхъ правилъ ему не понравилось; но на радости встрѣчи онъ этого не высказалъ.

— Ну, а что у насъ подѣлывается? Какъ живется? Я вѣдь два года, какъ изъ матушки-то уѣхалъ, да по нѣмцамъ таскаюсь.

— Ничего, все, слава Богу, въ колею входитъ,— отвѣчалъ Камышлинцевъ. — Помните Берендѣева, который взятки пересталъ было брать, говорилъ— «несовременно?» Нынче при мнѣ Самокатовъ, знаете, съ своей безцеремонностью, его спрашиваетъ: «что—говоритъ — Берендѣй, разрѣшилъ?» и рукой показалъ этакъ; тотъ на него такъ и налетѣлъ. — «Да-съ, говоритъ, беру! беру, сударь! кричитъ во все горло; — это подлецы нигилисты выдумали не брать; а я, говоритъ, беру. Меня теперь въ неблагонамѣренности никто не заподозритъ!...» И кажется, ужасно ему досадно, что года три даромъ потерялъ.

Иванъ Иванычъ разъсмѣялся, но нехотя.

— Кстати о нигилистахъ!—Ну, а что этотъ, помните.... какъ его? Благомысловъ что ли, что у васъ былъ. Что съ нимъ за исторія была?

— Просьбы онъ крестьянамъ писалъ, ходатаемъ былъ у нихъ и заподозрѣнъ въ возбужденіи недовольства. Увезли его въ Петербуръ, а далѣе не знаю, что съ нимъ.

— Мытищевъ какъ поживаетъ, Иванъ Сергѣевичъ, съ Ольгой Ѳедоровной? — продолжалъ распрашивать мой спутникъ.

— Онъ въ деревнѣ живетъ, а она въ Петербургъ ѣздила, а теперь кажется, за границей.

— Гм! Такъ они не вмѣстѣ? А графъ Гогенфельдъ?—лукаво улыбаясь, спросилъ Иванъ Иванычъ.

— Его тоже давно нѣтъ у насъ, а гдѣ онъ не умѣю вамъ сказать,—отвѣчалъ спокойно Камышлинцевъ.

У жены его по губамъ пробѣжала улыбка, и она отвернулась и стала смотрѣть въ окно.

Иванъ Иванычъ еще распрашивалъ неумолчно про другихъ знакомыхъ. Мы остановились въ Кастелѣ, у извѣстнаго майнцскаго tête de pont, и засмотрѣлись на Рейнъ, на плашкоутный мостъ въ полверсты, который тянулся по немъ къ Майнцу. Когда мы отъѣхали, разговоръ опять возобновился;

но какъ знакомые Ивана Иваныча, кажется, всѣ были перебраны, то онъ перешелъ на общіе вопросы.

— А посредниковъ мало осталось прежнихъ отъ нашего времени? — спросилъ Иванъ Иванычъ.—А хорошій былъ народъ!—Духъ, духъ былъ прекрасный,—говорилъ онъ, поддаваясь привычкѣ похвалить свое время и поблагодушествовать.

— Нынче измѣнился много образъ ихъ занятій,—замѣтилъ Камышлинцевъ;—и мнѣ случилось слышать ихъ сожалѣнія, отчего эта служба не считается службой коронной и за нее не идутъ чины.

— Ну нѣтъ, — возразилъ горячо Иванъ Иванычъ, — въ наше время этого не было: мы о чинахъ не думали.

— И, можетъ быть, дурно дѣлали,—замѣтилъ Камышлинцевъ.

Иванъ Иванычъ посмотрѣлъ на Камышлинцева съ недоумѣніемъ: онъ не зналъ, подсмѣивается ли онъ, или говоритъ не шутя.

— А знаете, Дмитрій Петровичъ? — сказалъ онъ,—вы на мой взглядъ постарѣли и какъ будто не здоровы: видъ у васъ не хорошъ.

При этихъ словахъ Анюта обернулась и посмотрѣла на мужа: безпокойство мелькнуло въ ея глазахъ.

— Вы, Иванъ Ивановичъ, — какъ моя старуха кормилица—улыбаясь, отвѣчалъ Камышлинцевъ:— та, только меня увидитъ, какъ и начнетъ: «ахъ, какъ ты, родной, постарѣлъ, да какъ ты подурнѣлъ». — Разумѣется, постарѣлъ! — прибавилъ онъ, — четыре года лишнихъ: отъ нихъ не помолодѣешь.

— Нѣтъ, все-таки, — продолжалъ настаивать Иванъ Иванычъ. — Вѣдь тогда у васъ было пропасть дѣла, заботъ, непріятностей, а все-таки вы были живѣе, молодцоватѣе. Нѣтъ, вамъ бы посовѣтоваться надо съ докторами да и полечиться, водъ какихъ-нибудь попить.

— Я здоровъ,—отвѣчалъ Камышлинцевъ. — А можетъ, оттого казался я вамъ бодрымъ, что тогда дѣятельность была... Вотъ и теперь примазываюсь къ фабрикѣ, да все еще не втянулся.

— Ну чтожъ дѣятельность! Развѣ ея мало? Положимъ, хозяйство васъ не занимаетъ: ступайте на службу ну въ земство, мало ли что можно придумать! государство сплотняется, преобразуется, намъ нужны люди и люди, дѣла полонъ ротъ, а вы говорите: дѣла нѣтъ!

Камышлинцевъ улыбнулся.

— Вы за границей, кажется, другой годъ и много изъѣздили Европы: что нашихъ, довольно по ней шатается?—спросилъ онъ.

— Чего довольно! помилуйте — полки! кучи! Деньги таютъ просто видимо: вотъ въ вашей рукѣ таютъ! хозяйство разваливается, а наши какъ изъ избы тараканы валятъ, когда ихъ морозить начнутъ!

— Ну, а какъ вы думаете, поѣхали ли бы они всѣ, еслибы дома было дѣло, которое бы ихъ занимало и привязывало? А вѣдь это только люди съ порядочными средствами, а сколько этакихъ дома-то у насъ безъ средствъ осталось? Вѣдь это все нигилисты, настоящіе и самые опасные,—нигилисты, если ничего не отвергающіе, то за то и ничего не дѣлающіе! Знаете ли, что это наша самая могучая оппозиція!

— Чтожъ прикажете дѣлать, если это у насъ въ характерѣ!—возразилъ Иванъ Иванычъ,—если мы родились этакими увальнями и лежебоками! Кажется уже, правительство, на которое мы любимъ все сваливать, — грѣшно нынѣ винить! Реформа идетъ за реформой, все переправляется, чинится, передѣлывается; промышленность, торговлю—все стараются возбудить и поощрить, а мы—общество, народъ, земля—мы лежимъ да черезъ пень колоду валимъ! Кто же виноватъ? Чего же намъ недостаетъ?

Камышлинцевъ промолчалъ.

— Да нѣтъ, вы скажите, — приставалъ Иванъ Иванычъ,—ну, чего по вашему?

— Да видно,—духа жизни, коль мы все дремлемъ,—отвѣчалъ Камышлинцевъ съ своей небольшой улыбкой.

Иванъ Иванычъ былъ нѣсколько озадаченъ, кажется, этимъ отвѣтомъ и вдумывался, что это за штука «духъ жизни». Онъ вѣроятно не замедлилъ бы обратиться за поясненіями, но въ это время передъ нами мелькнули зданія, тормоза заскрипѣли, поѣздъ остановился и кондукторы прокричали: «Гехстъ! Соденъ!» Я отворилъ дверцу и поспѣшилъ пересѣсть въ Соденскій поѣздъ.

Черезъ нѣсколько минутъ, Иванъ Иванычъ отыскалъ меня и сѣлъ. Онъ былъ не совсѣмъ въ духѣ и нѣкоторое время молчалъ. Мы двинулись.

— Ну, видѣли Камышлинцева?—спросилъ онъ,— какъ вы его нашли?

— Не совсѣмъ такимъ, какимъ воображалъ, — отвѣчалъ я;—вообще, кажется, это характеръ сложный и не сразу дающійся; да цѣльный на его мѣстѣ и появиться еще не могъ. Тутъ и нервность, и бѣлоручныя привычки, и почти вся обстановка недавняго времени—и новыя требованія и стремленія: задатки силы, и хорошіе задатки,—на старой, да вдобавокъ еще и не оттаявшей почвѣ. У насъ недавно только начали появляться спеціалисты съ сознательной любовью къ своему дѣлу, начало открываться и поле для нихъ; а для людей, какъ Камышлинцевъ, выбивающихся изъ служилыхъ въ земскіе и не сдѣлавшихся изъ помѣщиковъ землевладѣльцами — поле-то еще не очистилось и они остаются какими-то диллетантами труда; работаютъ они урывками, гдѣ случится; старыя дрожжи ихъ ненавидятъ, молодые спеціалисты смотрятъ на нихъ съ легкимъ презрѣніемъ,—чиновный людъ подозрѣваетъ и ревнуетъ. А вообще это, какъ говорится, продуктъ, хоть отнюдь не герой, своего времени, и положеніе его весьма не завидно: припомните, сколько совершенно разнородныхъ усло-

вій и теченій вліяло на развитіе этихъ людей и въ какой обстановкѣ приходится имъ дѣйствовать.

— Э, полноте! просто, между нами сказать, безпокойный человѣкъ, — недовольно возразилъ Иванъ Иванычъ;—прекрасный, образованный и добросовѣстный человѣкъ, да безпокойный: барченокъ избалованный. Кажется, все есть: молодъ, здоровъ, порядочное состояніе и хорошенькая жена—и все недоволенъ! Дѣла, видите, нѣтъ для него! Такой ужъ безпокойный характеръ: отъ этого нигдѣ и не дослужилъ.

Но я немного утомился и мнѣ лѣнь было возражать, да на Соденской дорогѣ много и не наговоришь. Черезъ пять минутъ мелькнула бесѣдка моего садика, мы остановились и разстались съ Иваномъ Иванычемъ.

Тутъ мы и съ тобой разстанемся читатель.

МѢЩАНСКАЯ СЕМЬЯ.

КОМЕДІЯ ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Ѳеоктиста Григорьевна Кондрашова, еще бодрая и неглупая старуха, лѣтъ 65-ти, хлопотунья, рѣзка и скупа, (одѣта по мѣщански, голова повязана платкомъ).

Василій Степановичъ Кондрашовъ, ея сынъ, лѣтъ подъ пятьдесятъ, невысокаго роста, средней полноты, въ свободномъ платьѣ англійскихъ негоціантовъ, манеры мягкія и уклончивыя русскаго откупщика.

Гикфира Петровна, жена его, барыня лѣтъ сорока пяти, изъ роду раззорившихся дворянъ, до крайности озабоченная, чтобы ее не приняли за мѣщанку, и потому соблюдающая всякій этикетъ съ точностью китайца и подмѣчающая всякую модную новинку.

Людмила Васильевна, ихъ старшая дочь, замужемъ за барономъ Штернфельдомъ, хорошенькая блондинка, лѣтъ 22-хъ, любящая и впечатлительная.

Аделаида Васильевна, вторая дочь, лѣтъ девятнадцати, темнорусая, красивая и стойкая.

Викторъ Васильевичъ, ихъ сынъ, кавалерійскій офицеръ, лѣтъ 25-ти, здоровый и лѣнивый.

Аѳиноа Алексѣевна, по неблагозвучію тщательно скрывающая свою фамилію, худая и сильно запаленая дѣва, лѣтъ тридцати, дальняя родственница Кондрашова приживалка, на правахъ компаньонки, добрая, смѣшная и вмѣстѣ жалкая, съ любовными помыслами, картавитъ не выговаривая буквы р.

Баронъ Штернфельдъ, красивый, съ рыцарскимъ пошибомъ, но поиздержанный молодой человѣкъ, лѣтъ подъ 30, рыжеватый, вспыльчивый, гдѣ и насколько нужно, и мазурикъ въ душѣ.

Алексѣй Ивановичъ Пѣнкинъ, технологъ, высокій, недурной собою, холостякъ лѣтъ 28, развитой, нѣсколько желченъ и эгоистиченъ.

Анна Васильевна Пѣнкина, его мать, пріятельница Ѳеоктисты Григорьевны, живетъ у ней на квартирѣ, смирная, сухенькая старушка, небогатая, вдова предсѣдателя уголовной палаты.

Князь Хилковатый, человѣкъ лѣтъ подъ 50, разсѣянный, озабоченный, очень богатъ, и очень чиновенъ.

Александръ Петровичъ Панкратьевъ, лѣтъ подъ 40, красивый собою свѣтскій человѣкъ, спеціалистъ и извѣстность по части воловитства.

Назаръ Маркычъ Ерыпдиковъ, прогорѣвшій мелкій откупщикъ, коренастый, темный и мрачный, 45 лѣтъ.

Антонина Григорьевна, жена его, сдобная, еще не дурная собой модница средней руки, щурится и имѣетъ привычку, говоря съ кѣмъ нибудь, смотрѣть въ сторону.

Харитонъ Харитоновичъ Пападопузо, пройдоха, грекъ, съ черными глазами и крупнымъ носомъ, дальній родственникъ Кондрашова и управляющій его дѣлами въ уѣздѣ, лѣтъ 35.

Лукерья, стряпка Кондрашовой, баба тощая, грязная, раздражительная и растрепанная, неопредѣленныхъ лѣтъ.

Корявый, инвалидный солдатъ.

Устинья, женщина среднихъ лѣтъ, мѣщанка въ услуженьи.

Гости:
- **Буркина**, пожилая дама, спеціальностью сплетница.
- **Княгиня Мухрабакаева**, молоденькая, черненькая, черезъ-чуръ развязная львица средняго круга.
- **Военный генералъ**, сѣдой, коротко-остриженный толстякъ, обреченный удару.
- **Благовоспитанная барышня**, ходитъ куручкой и всѣмъ пріятно улыбается.
- **Чиновникъ изъ посольства**, съ англійскимъ пробором и pince-nez; вѣжливъ и нахально высокомѣренъ. (Безъ рѣчей).
- **Фонъ-Гельзингфорсъ**, молодой человѣкъ на прекрасной дорогѣ, рыжій, съ желтыми волосами— весь преданность и почтительность, кланяется низко, опуская руки кольцомъ.
- **Петя Горошкинъ**, франтъ мѣщанскихъ домовъ, съ гривой, ужасно развязный и довольный собой.
- **Значительный чиновникъ**, геморроидальный и желчный.
- **Подчиненный его**, развязно подловатый.
- **Офицеръ изъ грузинъ**, въ національномъ костюмѣ стройный крупноносый брюнетъ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

(*Прологъ*).

Въ уѣздномъ городѣ. Сцена представляетъ внутренность двора, направо стѣна дома съ мезониномъ и крыльцо, выходящее на авансъ-сцену, за нимъ рѣшетка палисадника, у которой стоятъ два простые стула; на лѣво сарай, калитка и клѣвушки съ курятникомъ. Въ глубинѣ сцены деревянный заборъ, посрединѣ отворенныя ворота, выходящія на улицу; вдали видна черезъ заборъ колокольня. По поднятіи занавѣса сцена пуста, по улицѣ бѣгаютъ собаки.

ЯВЛЕНІЕ I.

По поднятіи занавѣса черезъ нѣсколько времени въ воротахъ показывается **Ерыпдикова** съ **мужемъ**. Она идетъ въ пестрой шали и съ зонтикомъ, на который опирается. Мужъ въ длинномъ купеческомъ сюртукѣ.

Антонина Григорьевна. Ну хорошо, здѣсь собакъ ужь нѣтъ. Ступай же къ Каниольскому, постарайся достать счеты-то. Да тамъ еще писарь у нихъ Горкинъ есть, котораго Харитонъ-то выгналъ, такъ у него можно тоже многое добыть. Онъ всю суть знаетъ, и пьяница горькая. Ты ему поставь полу-штофъ, онъ на Харитона-то сердитъ, такъ поможетъ тебѣ.

Павелъ Маркычъ. Ну, хорошо. (Идетъ).

Антонина Григорьевна. Паша! Паша! Постой (тотъ ворочается и мрачно слушаетъ). Коль Горкинъ-то будетъ упрямиться, такъ надо выбрать время, когда ему съ пьянства опохмѣлиться будетъ не на что; тогда онъ за вино отца роднаго продастъ.

Павелъ Маркычъ. Ну! кончила что-ли обѣдню то? Безъ тебя это знаютъ. (Идетъ).

Антонина Григорьевна. Да, знаютъ! Ты все знаешь! Какъ пошла недовыручка, говорила — перестань взносить. Теперь, по крайней мѣрѣ, были бы съ деньгами. Такъ нѣтъ! Тянулся до послѣдней, пока не лопнулъ—и остались безъ откупа и безъ денегъ.

(Голосъ Павла возвращающагося): Антоша! а Антоша!

Антонина Григорьевна. Ну что тебѣ?

Павелъ Маркычъ (Мрачно и таинственно). А ты черезъ Анну Васильевну! Та ее слушаетъ!

Антонина Григорьевна. Ну хорошо, хорошо! (Павелъ Маркычъ снова уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ II.

Антонина Григорьевна (одна). Туда же учитъ! (качаетъ головой и улыбается). Эхъ ты скорбный! безъ меня совсѣмъ бы пропалъ! Кто придумалъ Харитоновы-то плутни открыть, да на его мѣсто попасть? Да! вотъ теперь и этому мѣсту радъ будешь. Разумѣется, лучше какъ бы Кондрашевская компанія городокъ какой дала! Да гдѣ! хошь бы залоги возвратила. (Вздыхая). Упасть-то легко, а подняться-то куда трудно. Посмотрѣть дома-ли старушка-то. (Идетъ къ заднему крыльцу. Навстрѣчу ей выходитъ Лукерья съ ведромъ и запираетъ за собой дверь).

ЯВЛЕНІЕ III.

Антонина Григорьевна и Лукерья.

Антонина Григорьевна. Здравствуй Лукерьюшка! Что, дома Ѳеоктиста Гавриловна?

Лукерья (сердито). Вотъ! Въ базаръ да захотѣли чтобъ дома была! И меня-то за посудой послала: вишни купила, да грибовъ.

Антонина Григорьевна. А скоро воротится?

Лукерья. А кто ее знаетъ! пляется, шляется по базару-то, а купитъ на мѣдный грошъ! Какъ будто некого послать! Что отъ ея гроша-то украдутъ что-ли?

Антонина Григорьевна. А почемъ вишни-то?

Лукерья (идетъ). А не я покупала, не меня и спрашивайте! Я вишь и цѣны не знаю. Легкое ли дѣло, невидаль какая на полтину всю-то ея провизію искупить! Да я у становихи жила, такъ и та свою амбицію соблюдала, и сама на базаръ не таскалась; а все я, да я. И у меня, слава Богу, и копѣйки ея не пропадало! А эта тысячница-то алтынничаетъ! Мнѣ ея-то копѣйки не надо. И безъ ея копѣйки проживу свой вѣкъ: съ голоду не умру. (Всхлипываетъ). Подъ ея окно не приду милостыню просить! У меня, можетъ, и не эдакія деньги бывали на рукахъ!

Антонина Григорьевна. Полно Лукерьюшка! Ужь это у нея привычка такая: она не хотѣла тебя обидѣть.

Лукерья. Обидѣть? Да чѣмъ ей меня обидѣть? Да еще позволю ли я ей себя-то обидѣть? Велика фря: цѣловальница! Я не у эдакихъ жила, да обиды себѣ не видала! Меня упрекнуть не въ чѣмъ! А инфалида у меня никто не видалъ; еще никто не поймалъ инфалида-то... А бѣднаго человѣка завсегда обидѣть легко. (Всхлипываетъ, утираетъ глаза передникомъ и уходя за ворота кричитъ): Нѣтъ ты застань сперва съ инфалидомъ, да и говори! Я на своемъ вѣку, можетъ, и не инфалидовъ видала...

ЯВЛЕНІЕ IV.

Антонина Григорьевна (одна).

Ну, теперь пошла на весь городъ кричать! И что съ ней это сдѣлается? Баба-бы ничего, — да вдругъ ей стрѣльнетъ въ голову—точно бѣшеная собака ее укуситъ, и пойдетъ и пойдетъ: хоть святыхъ вонъ выноси! И какого тутъ еще инвалида принесла? (Машетъ рукой). Однако Ѳеоктисту-то Гавриловну видно не скоро дождешься. Посмотрѣть: Анна Васильевна не дома ли. (Подходитъ къ крыльцу и пробуетъ отворить дверь). Нѣтъ, заперта! Развѣ въ огородѣ нѣтъ-ли. (Идетъ къ калиткѣ задняго двора и хочетъ ее отворить, какъ вдругъ ей на встрѣчу лѣзетъ инвалидный солдатъ. Она отскакиваетъ).

ЯВЛЕНІЕ V.

Антонина Григорьевна и солдатъ.

Антонина Григорьевна. Ахъ, чтобъ тебя тутъ! (Злобно). Тебѣ кого надо?

Солдатъ. А я было тутъ къ кумѣ Лукерьѣ!

Антонина Григорьевна. (Налетаетъ на него). Какую тебѣ куму Лукерью! Нѣтъ дома твоей кумы Лукерьи. Только развратничать таскаетесь. Убирайся, голубчикъ, убирайся: я вотъ твоему поручику скажу.

Солдатъ (грубо). Чего скажешь! Уйду и безъ тебя. (Медленно уходитъ).

Антонина Григорьевна. Ахъ, подлецъ! еще огрызается! Смотрите, пожалуйста! Вишь, распустилъ васъ поручикъ,—да я и баталіонному пожалуюсь. Я найду дорогу! Тьфу! (Плюетъ и отходитъ).

ЯВЛЕНІЕ VI.

Антонина Григорьевна (одна).

Уйти отсюда, а то еще Лукашка эта, мерзкая, воротится, да кричать начнетъ. Не даромъ она про инвалида-то заговорила, видно знаетъ кошка чье мясо съѣла... (Въ воротахъ встрѣчается, ей Анна Васильевна.)

ЯВЛЕНІЕ VII.

Антонина Григорьевна и Анна Васильевна.

Антонина Григорьевна. Ахъ, Анна Васильевна! какъ я рада! А я было къ вамъ заходила, да къ Ѳеоктистѣ Гавриловнѣ: анъ, нѣтъ никого, и домъ пустой.

Анна Васильевна. Да ходила я къ обѣднѣ и молебенъ служила: сегодня день рожденія моего Алеши, Антонина Григорьевна.

Антонина Григорьевна. Ахъ, вотъ кстати-то пришлось! А я и не знала,—поздравляю васъ, Анна Васильевна, съ дорогимъ новорожденнымъ. (Трижды цѣлуются.)

Анна Васильевна. Благодарю васъ, Антонина Григорьевна, очень вамъ благодарна. Ужь подлинно дорогой: одна моя опора, какъ перстъ въ глазу, одна радость. (Утираетъ глаза. Антонина Григорьевна дѣлаетъ приличную мину.) Другой-то еще когда на свои ноги встанетъ, а теперь только тратишь на него. Конечно, и онъ, благодаренье Богу, мальчикъ добрый, да все еще молодое деревцо: неизвѣстно, что выйдетъ. Сядемте здѣсь въ тѣни, Антонина Григорьевна: устала я немножко, а ключи-то Ѳеоктиста Гавриловна, видно, унесла. (Усаживаются.)

Антонина Григорьевна. Что же, Анна Васильевна, вамъ грѣхъ жаловаться, дай Богъ всякой матери имѣть такихъ дѣтей, особенно какъ вашъ Алексѣй Ивановичъ: и уменъ, и ученъ, самъ себѣ хорошій хлѣбъ заработываетъ,—и къ вамъ: и ласковъ, и почтителенъ.

Анна Васильевна. Что говорить, Антонина Григорьевна! Ежечасно благодарю Господа за утѣшеніе, которое онъ послалъ. И любитъ онъ меня: пишетъ къ старухѣ еженедѣльно и ужь ни за что не пропуститъ, — опять же вѣдь и живу, можно сказать, на его счетъ: послѣ покойника пенсіи-то всего сто двадцать рублей. Ну можно ли этимъ жить? Дочь отдавала — онъ пособилъ, и за брат-

нино ученье платитъ. Теперь, говоритъ, матушка я на свои ноги сталъ, могу и тебѣ пособить. И слава Богу, говоритъ, хорошо получаетъ. Вотъ, Василью Степановичу заводъ сахарный устраивалъ, и тотъ пишетъ: скажите, говоритъ, маменька, Аннѣ Васильевнѣ, что я очень доволенъ ея сыномъ.

Антонина Григорьевна. И много получилъ за устройство-то?

Анна Васильевна. Не пишетъ онъ мнѣ этого никогда. Только, конечно, ужь получилъ: заводъ тысячъ двѣсти, говорятъ, стоитъ. И все бы хорошо, Антонина Григорьевна, да не вижу его, моего голубчика, ужь вотъ 4-й годъ. Шутка ли, даль какая? Ни мнѣ къ нему, ни ему ко мнѣ. Подзываетъ меня Ѳеоктиста Григорьевна съ собой, да гдѣ же! Боюсь я въ этакую даль и пуститься; а Алешу-то пожалуй стѣсню, дѣло холостое—а у чужихъ людей жить не хочется, — опять же здѣсь двѣ дочери замужемъ! Потерплю ужь: обѣщаетъ на будущій годъ самъ пріѣхать,—тоже здѣсь, у Василья Степановича, строить что-то думаетъ.

Антонина Григорьевна. А который годъ пошелъ Алексѣю-то Ивановичу?

Анна Васильевна. Двадцать девятый, Антонина Григорьевна. Двадцать девятый годъ сегодня пошелъ!! Ужь жениться бы пора; писала я ему не разъ: утѣшь меня, Алеша, устрой себя, голубчикъ, года-то уходятъ. Такъ нѣтъ, только посмѣивается: погодите, говоритъ, матушка — некогда, да и невѣсты подходящей не нашелъ. А ужь какъ бы мнѣ хотѣлось видѣть его, голубчика, устроеннымъ! Вотъ пріѣдетъ — коли Богъ дастъ доживу,—здѣсь нападу на него и авось пріищемъ кого.

Антонина Григорьевна. Э, полноте, Анна Васильевна, какія ему здѣсь невѣсты! А вотъ, подумываю я, чтобы ему жениться на младшей-то дочери Василья Степановича, на Аделаидѣ-то Васильевнѣ.

Анна Васильевна. Что вы, Антонина Григорьевна! гдѣ же! Пойдетъ ли она за него!

Антонина Григорьевна. Отчего же, Анна Васильевна? Что-же, вѣдь Василій-то Степановичъ только что богатъ, а вѣдь его здѣсь многіе помнятъ, какъ въ халатишкѣ-то за прилавкомъ стоялъ! Вѣдь вашъ-то мужъ штатскій совѣтникъ былъ, почти что генералъ! И Василій-то Степановичъ за честь считалъ съ нимъ знакомство вести! Опять же и Алексѣй-то Ивановичъ съ Аделью вмѣстѣ росли, почитай съ издѣтства дружны.

Анна Васильевна. Ну, мой-то десятью годками старше ея, а на рукахъ точно носилъ. Да вѣдь тогда, мать моя, Василій-то Степановичъ еще только поднимался, а мужъ мой былъ предсѣдателемъ палаты — хоть и уголовной — ну да все человѣкъ не послѣдній, а подъ часъ, неровенъ грѣхъ, и нужный. А теперь что имъ предсѣдательскій сынъ; имъ князей, да графовъ надо, или чиновныхъ! А мой-то какъ нарочно, — Богъ его знаетъ, — объ чинахъ совсѣмъ и мнѣнія не имѣетъ. Какъ отправили его въ Петербургъ, тогда дай Богъ ему царство небесное, губернаторъ, покойникъ, Иванъ Степановичъ отправилъ и хлопоталъ, по дружбѣ съ моимъ мужемъ, такъ предлагалъ его въ такое училище отдать, гдѣ прямо капитанами выпускаютъ, — и такъ, говорятъ, они потомъ по службѣ происходятъ и великатно держатъ себя, такъ и летятъ въ генералы. Такъ нѣтъ; самъ объявилъ желаніе въ это свое училище — такое названіе, прости Господи, что и не выговоришь! И теперь, вмѣсто того, чтобы по казенному мѣсту гдѣ пристроиться, все у частныхъ людей заводами занимается, и меньшого хочетъ либо въ эдакое же какое заведеніе, либо въ университетъ. Ужь такой странный человѣкъ вышелъ.

Антонина Григорьевна. Да, это странно! А вотъ бы куда вамъ Фединьку-то: слышала я отъ Гаврила Гаврилыча, когда онъ изъ Москвы пріѣхалъ, что тамъ устроено, говоритъ, удивительное заведеніе: и не училище оно, и не университетъ, а еще важнѣе что-то,— и живутъ, говоритъ, это начальство и учителя за городомъ во дворцѣ—одна, говоритъ, отдѣлка чего стоила!—И какіе, говоритъ, сады и ранжереи — на удивленье, а для развлеченія себѣ, говоритъ, и пашеньку небольшую завели и жалованье, говоритъ, преогромное получаютъ. И только, говоритъ, и занятіе ихъ есть, что эвти цвѣточки, да по полямъ и рощамъ гуляютъ. И набираютъ себѣ, говоритъ, для кампаніи учениковъ взрослыхъ, и дѣлаютъ видъ такой, что этихъ учениковъ въ управляющіе готовятъ. Подержатъ ихъ годика два и коль видятъ, что благонравенъ да почтителенъ, такъ не то что капитанами, маіорами даже отпускаютъ, да еще и наградятъ; просто, говоритъ, рай земной! Такъ вотъ, матушка, въ это бы заведеніе вамъ бы Фединьку.

Анна Васильевна. Полно, такъ ли, Антонина Григорьевна? На что же управляющихъ-то маіорами дѣлать? кто же маіора въ управляющіе возьметъ: вѣдь ему какое жалованье надо дать! Развѣ, что это для большихъ баръ, а у мелкой-то сошки всѣхъ-то и доходовъ нынче на жалованье не хватитъ.

Антонина Григорьевна. А это, можетъ, нарочно такъ и дѣлаютъ, что какъ теперь жалованье управляющимъ давать не изъ чего, такъ имъ чины будутъ идти!

Анна Васильевна. Наврядъ ли! Опять вы говорите, Алешѣ жениться на Аделинькѣ: вѣдь вотъ старшую-то дочь Василій Степановичъ за знатнаго, говорятъ, какого-то выдалъ?

Антонина Григорьевна. И не говорите! Правда, ваша, Анна Васильевна: деньги-то, деньги-то что дѣлаютъ! Тогда Фисочка писала мнѣ: вотъ, говоритъ, какое намъ счастье—отдали, говоритъ, нашу красавицу за перваго, что ни на есть кавалера. Военный, говоритъ, и адъютантъ, и знатенъ, и изъ себя красавецъ; а ужь танцуетъ, говоритъ, такъ танцуетъ, что супротивъ его никто во всемъ Петербургѣ не станцуетъ: за это, говоритъ, един-

ственно генералъ себѣ и въ адъютанты взялъ! А опять же — знатенъ-то какъ, знатенъ-то!

Анна Васильевна. Кто же онъ такой? сказывали мнѣ, да забыла я: не могу я этихъ званій-то понять.

Антонина Григорьевна. Отъ нѣмецкихъ онъ рыцарей, говорятъ, и очень, очень что-то древней фамиліи: такая древняя, Фисочка говоритъ, что никто и не помнитъ, когда зачалась! — А подъ Ригой, говоритъ Фисочка, замокъ у него есть, — такъ тотъ весь отъ древности теперь до кусочка развалился, да и камни-то всѣ мохомъ обросли. И не князь онъ, и не графъ, а что-то еще важнѣе...

Анна Васильевна. Что же, мать моя, не нѣмецкій же онъ владѣтельный принцъ какой.

Антонина Григорьевна (горячо). А можетъ и владѣтельный принцъ! что-то очень ужь, очень важный! Вотъ что деньги-то значатъ, Анна Васильевна! Опять же, пишетъ мнѣ Фисочка: зимой былъ, говоритъ, здѣсь балъ въ пользу бѣдныхъ; наши красавицы были, говоритъ, такъ одѣты, что просто и описать невозможно: платья имъ шила модистка, которая ни на кого тамъ, ни на кого во всемъ Петербургѣ не шьетъ, — только на однѣхъ свѣтлѣйшихъ княгинь: на силу, говоритъ, умолили ее. А на головѣ-то у нихъ, Анна Васильевна, вы не повѣрите: у брунетки-то чистымъ золотымъ пескомъ посыпано, а у шатенки-то серебрянымъ! Роскошь-то, роскошь-то, Анна Васильевна! Ну да что ему значитъ: у него вѣдь свои золотые-то пріиски.

Анна Васильевна (качая головой). Экая роскошь, подумаешь! Ну, а какъ же, мать моя, что же это, въ пользу бѣдныхъ деньги что ли тутъ собираютъ?

Антонина Григорьевна. А вотъ этотъ песокъ-то золотой да серебряный, что изъ головы-то послѣ вычешутъ, такъ его, говорятъ, и пожертвовали.

Анна Васильевна. Ишь, что выдумали! Ну, такъ гдѣ же, мать моя, моему-то тутъ соваться: гдѣ у него золотые-то пески, женѣ голову-то посыпать?

Антонина Григорьевна. Василій Степановичъ дастъ! За старшей-то что дали приданаго-то—никакъ полтораста тысячъ... Да и тутъ, говорятъ, женихъ какъ въ церковь ѣхать, еще сорвалъ: дайте, говоритъ, всѣ двѣсти, такъ поѣду, а то меньше, говоритъ,— никакъ не могу: мой генералъ не велитъ! (Немного помолчавъ.) А знаете, что мнѣ въ голову пришло, Анна Васильевна? Ѳеоктиста Гавриловна соглашается никакъ на просьбу-то сына, и въ Петербургъ собирается. Ну, а какъ ей ѣхать одной въ такіе годы? Конечно, Харитонъ Харитонычъ долженъ ее отправить, да съ кѣмъ? А мнѣ бы по нашимъ дѣламъ нужно было съѣздить, похлопотать, нельзя-ли, хоть часть залоговъ освободить; а мой-то—сами вы знаете, какъ одного отпустить! Такъ вотъ, если бы мнѣ это удалось, я ужь бы, Анна Васильевна,—тамъ коль не уладила—такъ все бы это разузнала. Фисочка — мнѣ старая подруга, и мы съ ней душа въ душу живемъ, а она, вы знаете, родня имъ и въ одномъ домѣ живетъ замѣсто компаньонки, да, говоритъ, и любятъ ее дочери-то: ужь я бы все могла разузнать, а можетъ, кто знаетъ, и уладить. Вѣдь Алексѣй Ивановичъ вашъ — человѣкъ совѣстливый, деликатный; можетъ онъ изъ мнительности только это одной не осмѣливается попробовать, а тамъ это все можно будетъ увидать, какъ барышня, и какъ самъ Василій Степановичъ на этотъ счетъ. А ужь я такъ люблю вашего Алексѣя Ивановича, что за удовольствіе себѣ поставила бы доставить ему всякое удовлетвореніе.

Анна Васильевна (разчувствовавшись). Ахъ, какія вы добрыя, Антонина Григорьевна, право! Да нѣтъ ужь, гдѣ-же, чай! А знаете: вы это хорошо придумали проводить Ѳеоктисту-то Гавриловну: ну какъ ей, въ самомъ дѣлѣ, одной пускаться въ эдакую даль! А вѣдь у ней, отъ скупости, и горничной нѣтъ, вѣдь ей не съ Лукерьей же ѣхать! Положимъ, горничную наймутъ какую,—да вѣдь это все народъ продажный,—а ужь васъ чего бы лучше.

Антонина Григорьевна. Не ловко мнѣ только предложить это: вѣдь вы знаете, какая она, Богъ съ ней, разсчетливая, да сумнительная! Василій Степановичъ для нея ничего не жалѣетъ; да и какой для него разсчетъ, а она и надъ его-то копѣйкой дрожитъ—себя на старости успокоить не хочетъ.

Анна Васильевна. Правда, правда, мать моя: ужь какъ скупа! Дружны мы съ ней, дружны, а замедли я ей перваго числа за квартиру заплатить, такъ вѣдь сколько разъ намекнетъ да спроситъ! А однако я ей поговорю о васъ, можетъ и согласится. Да и съ кѣмъ же ей ѣхать-то? Сынъ-то Василій Степановичъ пишетъ—надо ему отдать справедливость, примѣрный онъ сынъ и вообще человѣкъ родственный всю родню свою пристроилъ и не забываетъ, — такъ онъ пишетъ ей: маменька, успокоивайте вы себя, не жалѣйте ничего; а она вотъ горничную себѣ не наметъ — все со своей Лукерьей возится, да бранится.

Антонина Григорьевна. Ужь не говорите Анна Васильевна! А Лукашка-то эта... (увидавъ входящихъ умолкаетъ).

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Тѣ же и **Ѳеоктиста Гавриловна** (въ воротахъ) за ней **Лукерья** несетъ ведро съ вишней и кузовокъ съ грибами.

Ѳеоктиста Гавриловна. Такъ ты смотри-же, перемой грибы-то, откинь на рѣшето, да дай обсохнуть, а то они отсыкнутъ!

Лукерья. Знаю, развѣ впервой!

Ѳеоктиста Гавриловна. То-то не первой — не первой и гноить то! А, компанія какая! (Пѣнкиной и Ерындиковой, которыя встали и подошли къ ней.) Здравствуйте! Уфъ, устала! Такъ разопрѣла, таскаясь по жарѣ — индо въ поясницу ступило, дайте передохнуть: въ холодкѣ-то здѣсь хорошо продуваетъ (Распахиваетъ платокъ съ красной шеи и помахиваетъ имъ.)

Анна Васильевна. Садитесь на мое мѣсто; а мнѣ

дайте ключъ, я пойду кофейку сварю, да къ вамъ сюда съ нимъ и выйду. Здѣсь хорошо, а въ горницѣ-то мухъ, — мухъ — такъ куска съѣсть не дадутъ, такъ въ ротъ и лѣзутъ.

Ѳеоктиста Гавриловна (роется въ карманѣ, вынимаетъ связку ключей и, поискавъ въ ней, подаетъ одинъ ключъ Пѣнкиной). Дѣло, матка, дѣло; можно тебѣ насъ и кофейкомъ побаловать — сегодня у тебя праздникъ.

Анна Васильевна. Да вотъ, что-то моя Устинья нейдетъ. Послала я ее къ дочкѣ за крендельками — та хотѣла мнѣ кренделековъ напечь. А, да вотъ и она!

ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ же и **Устинья** (входитъ съ узелкомъ).

Анна Васильевна. Что долго?

Устинья. Да неготовы были, Анна Васильевна; какъ изъ печи, такъ я и къ вамъ.

Анна Васильевна. Ну, а что дочка?

Устинья. Приказали кланяться, приказали поздравить; я, говоритъ, къ обѣду приду, а теперь никакъ нельзя — съ дѣтяшками возится.

Анна Васильевна. Да, какъ ихъ пятеро-то, такъ повозишься (вздыхаетъ). Вѣдь вотъ мнѣ жить бы, да жить на старости съ дочкой, да ей помогать; такъ съ тещей-то ея не уживемся. И коротай вѣкъ одна. Хоть бы Алешу-то устроить привелъ Господь! о, хо-хо! Ну, пойдемъ, Устинья (Уходитъ.).

ЯВЛЕНІЕ X.

Кондрашова и **Крындикова.**

Антонина Григорьевна. Что, Ѳеоктиста Гавриловна, подумываете сынка-то навѣстить?

Ѳеоктиста Гавриловна. Зоветъ онъ меня, больно зоветъ, и хотѣлось бы мнѣ и его, и внучатъ посмотрѣть, да жена у него модна больно: порядки у нихъ не по мнѣ! Пишетъ онъ: пріѣзжай-те, маменька; я вамъ все устрою, какъ дома у васъ. Да своихъ-то, вѣдь, онъ не передѣлаетъ! Я вотъ видѣть здѣсь не могу, какъ Лукашка моя тащитъ: съ тѣхъ поръ какъ замужъ вышла — пятьдесятъ лѣтъ — всякій кусокъ сама куплю, да осмотрю; а тамъ, я думаю, какъ воронье около него все тащитъ! Да у меня сердце кровью изойдетъ, глядя на это. Я вотъ здѣсь этого пуза греческаго видѣть не могу.

Антонина Григорьевна. Какого пуза.

Ѳеоктиста Гавриловна. Ну вотъ Харитона-то.

Антонина Григорьевна. А, Папандопузо.

Ѳеоктиста Гавриловна. Длинно больно! на-тощахъ и не выговорить. Такъ и его-то желудокъ мой не варитъ: чую я,—что онъ Васю-то обворовываетъ: глаза у него воровскіе.

Антонина Григорьевна. Это вы въ своей справедливости, Ѳеоктиста Гавриловна! Слышала я, что дѣло его очень нечисто, я, признаться сказать, велѣла своему Паничкѣ присматривать за нимъ. Говорю: Василій Степановичъ можетъ въ несчастіи не оставитъ насъ, и мы должны наблюдать за его интересомъ.

Ѳеоктиста Гавриловна. Это хорошо, мать моя,— да гдѣ же ужь твоему-то усмотрѣть за нимъ! За своими-то усмотрѣть не могъ!

Антонина Григорьевна. Нѣтъ, это вы напрасно, Ѳеоктиста Гавриловна: вы не смотрите, что онъ такой, его не скоро проведешь, это я могу васъ завѣрить!

Ѳеоктиста Гавриловна (въ сторону). Ну, какъ тебѣ этого не знать—чай, часто пыталась.

Антонина Григорьевна. А что наши дѣла въ упадокъ пришли, такъ это совсѣмъ отъ другихъ причинъ: два года неурожая — у мужиковъ хлѣба не было, не токмо что на вино; а тутъ казенное управленіе назначили, имущество описали, — и пошло все наше добро прахомъ! Этто къ исправнику зашли, глянь, а наши-то фортепьяны ужь къ нему попали. Дочка его — польку-трамбланъ на нихъ такъ-то барабанитъ, а у меня, вѣрите-ли, слезы-то такъ и подступаютъ къ горлу, такъ и душатъ.

Ѳеоктиста Гавриловна. Это чего и говорить! Ужь это послѣднее дѣло смотрѣть, какъ твое-то добро тащутъ. Ну, думаю себѣ опять: какъ я здѣсь все свое-то оставлю?

Антонина Григорьевна. А Анна-то Васильевна на что? объ этомъ вамъ и думать нечего. А вотъ, съ кѣмъ вамъ ѣхать-то?

Ѳеоктиста Гавриловна. Вася хотѣлъ, коли согласишусь, такъ и горничную и человѣка оттуда прислать. Опять и тутъ трата: изъ Питера присылать, да еще вора какого нибудь пришлетъ.

ЯВЛЕНІЕ XI.

(Устинья несетъ столъ).

Тѣ же, **Устинья** и **Пѣнкина.**

Анна Васильевна. Вотъ и я управилась. Устинья, ставь сюда столъ, да собери намъ кофейку-то.

Антонина Григорьевна (Ѳеоктистѣ Гавриловнѣ). Это вы дѣйствительно въ своей справедливости: Богъ вѣсть кого еще пришлетъ. А дорога дальняя, мало ли чего случиться можетъ; надо бы своего человѣка имѣть. Вотъ и мы тоже раздумывасмъ и давича я съ Анной Васильевной совѣтовалась; намъ бы по нашимъ дѣламъ, тоже нужно бы въ Петербургѣ побывать, а какъ этакую даль пуститься!

Анна Васильевна. Да вотъ бы вамъ, Ѳеоктиста Гавриловна, чего бы лучше—Антонину-то Григорьевну да и Павла Маркыча съ собой взять: и свои люди, и кампанія, и услужатъ, коли что надо. Опять же поѣдете параходами да чугунками—тамъ лакея не нужно — а мужчину имѣть необходимо: безъ мужчины нельзя!

(**Антонина Григорьевна** изподлобья впивается

глазами въ Ѳеоктисту Гавриловну. Та задумывается).

Ѳеоктиста Гавриловна. Что же, это бы можно! вы за одну лошадь прогоны заплатите?

Антонина Григорьевна (нѣсколько смущенно). Да вѣдь ваши-то издержки, Ѳеоктиста Гавриловна, Василій Степановичъ на себя беретъ, такъ что же вамъ значитъ.

Ѳеоктиста Гавриловна. Вотъ-те и разъ, что значитъ? Да развѣ Вася-то мнѣ не сынъ. Кому же о его-то добрѣ радѣть?

Антонина Григорьевна (кротко). Это, конечно, Ѳеоктиста Гавриловна; да я полагаю, что Василью Степановичу это никакого разсчета не составитъ.

Ѳеоктиста Гавриловна. Эво-на! да что же, у него деньги-то слѣпыя что ли, бросать-то ихъ зря и на свой счетъ всѣхъ развозить?

Анна Васильевна (дергаетъ Антонину Григорьевну, и даетъ знать, чтобы не спорила). Ну, ну, какъ нибудь сладитесь! Вѣдь Василью Степановичу горничную-то да лакея высылать дороже станетъ. А дѣло такъ рѣшить: коль онъ потребуетъ, такъ Антонина Григорьевна заплатитъ, а захочетъ уважить, такъ уважитъ. (Ѳеоктиста Гавриловна чихаетъ).

Антонина Гавриловна. Ну, вотъ, значитъ правда. Будьте здоровы. (Ѳеоктиста Гавриловна еще чихаетъ).

Антонина Григорьевна. И еще будьте здоровы. (Ѳеоктиста Гавриловна машетъ рукой и еще чихаетъ).

Анна Васильевна. Ужь вы оставьте ее; она всегда до четырехъ разъ.

Ѳеоктиста Гавриловна (чихаетъ). Ну и баста. (Антонинѣ Григорьевнѣ). У меня на всякое чиханье не наздравствуешься. Сперва все по два раза чихала, потомъ по три пошла, а нынѣче до четырехъ дошла.

Антонина Григорьевна. А у меня бабушка до девяносто лѣтъ дожила, такъ та по восемнадцати разъ чихала. Можетъ, Богъ дастъ, и вы до этого доживете.

Ѳеоктиста Гавриловна. Нашла чего пожелать! А прогоны-то все таки заплати, безъ этого не возьму!

Антонина Григорьевна (которой Анна Васильевна снова дѣлаетъ знакъ). Да ужь если вы безпремѣнно желаете этого, такъ можно будетъ и заплатить на одну лошадку. Опять же мы съ Паничкой хотѣли и Василью Степановичу услужить. У него все, говорятъ недовыручка, да недовыручка, а Харитонъ-то Харитонычъ себѣ все откладываетъ, да откладываетъ. Паничка писалъ Василью Степановичу: отъ ревизора присылали, онъ и ревизора обошелъ. Василій Степановичъ ему пуще вѣритъ теперь. Мы съ Паничкой хотимъ—можетъ удастся — подлинные его счеты достать, да намъ онъ все не повѣритъ, если вы сами, Ѳеоктиста Гавриловна, не убѣдите его, какой это есть человѣкъ, этотъ Харитонъ, и какъ онъ его разоряетъ. Ужь, для этого одного, вамъ слѣдовало бы повидаться съ Васильемъ Степановичемъ: а то, пожалуй, вѣдь, не къ тому будь сказано, и здѣшній откупъ лопнуть можетъ.

Ѳеоктиста Гавриловна (задумывается). Гмъ! Это подумать надо. Папандопузо — воръ, и говорить нечего: да поймать его трудно, хорошо, какъ бы твоему-то удалось счеты-то достать, да гдѣ! Блаженный онъ у тебя.

Антонина Григорьевна (нѣсколько обидясь). Напрасно вы его такъ понимаете, Ѳеоктиста Гавриловна. Конечно, если кто поверхностно его будетъ судить, такъ можетъ и все такое подумать а если... (Входитъ Папандопузо и Антонина Григорьевна умолкаетъ).

ЯВЛЕНІЕ XII.

Тѣ же и **Папандопузо.**

Папандопузо. Ѳеоктиста Гавриловна, наше нанглубочайшее! Отъ Василья Степановича вамъ сыновнее почтеніе и порученіе есть. Анна Васильевна, Антонина Григорьевна, честь имѣю кланяться!

Ѳеоктиста Гавриловна. А, пузо греческое! ну, что Вася-то пишетъ? здоровъ?

Папандопузо. Благодаренье Богу! Пишетъ по своимъ дѣламъ. Между прочимъ поручаютъ вновь просить васъ..... да вотъ..... (Вынимаетъ письмо, ищетъ и читаетъ). Проси, говорятъ, маменьку и убѣждай ее пріѣхать ко мнѣ, и порадоваться на мое житье: какъ я живу, и какіе люди бываютъ у меня; а время теперь самое для сего удобное: здѣсь мы ее успокоимъ, и курятничекъ, коль пожелаетъ, выстроимъ.

Ѳеоктиста Гавриловна. Курятничекъ?! А куръ-то я отсюда что-ли повезу? Тамъ, чай, и куры-то такія, что на нашу братью свысока смотрятъ, да норовятъ, какъ бы объѣсть тебя... А что ты мнѣ не скажешь: какъ выручка-то идетъ?

Папандопузо (въ сторону). А! ужь это вѣрно Антоха (киваетъ на Антонину Григорьевну) жучката подпустила! (Къ Ѳеоктистѣ Гавриловнѣ). Выручка ничего-съ, конечно, не бойко, а идетъ-съ. А вотъ, Василій Степановичъ, прислали мнѣ еще штучку, и приказали всѣмъ, кто помнитъ его, прочитать. (Ищетъ въ карманѣ).

Ѳеоктиста Гавриловна. Да ты штучкой-то мнѣ зубы не заговаривай, а говори дѣло. (Въ сторону). Воръ, воръ! Ужь глаза-то одни такъ и говорятъ: «воровскіе мы».

Папандопузо. Да я же вамъ докладываю, что ничего, а впрочемъ Василью Степановичу все извѣстно изъ рапортичекъ. (Насмѣшливо). Угодно и вамъ подавать буду.

Ѳеоктиста Гавриловна. Очень нужно! Бумагу-то только переводить: что ты наврать-то въ нихъ что ли задумаешься? ты, чай, не только въ нихъ, да и на исповѣди попу отъ роду правды-то не говорилъ. Ну, читай, что Вася-то пишетъ.

Папандопузо (вынимаетъ большой листъ бумаги, разставляетъ ноги и обращаясь къ Антонинѣ Григорьевнѣ и Аннѣ Васильевнѣ). Прошу прислушать. (Прокашливается и начинаетъ читать, выговаривая слова по-книжному: такъ какъ они пишутся, а не говорятся.) Кхм! Отъ коммерціи совѣтника и кавалера Василья Степановича Кондрашова, всѣмъ меня знающимъ и вспоминающимъ привѣтъ и повѣсть! (Нѣсколько наклоняется, вновь растопыриваетъ ноги, принимаетъ торжественный видъ и читаетъ громко.)

Лѣтопись

О благословеніи дома моего!

Родился я убогъ и не знатенъ, мѣщаниномъ города Бирюча. Учился въ приходскомъ училищѣ и съ 11 лѣтъ былъ сидѣльцемъ въ питейномъ заведеніи.

Нынѣ Божіимъ соизволеніемъ состою совѣтникомъ отъ коммерціи, имѣю медали: серебряную на станиславской лентѣ, златую на анненской, орденъ св. Анны 2 степени на шеѣ. Имѣю откупа въ трехъ губерніяхъ и четыре золотые пріиска. Супругу поялъ изъ древняго дворянскаго рода; отъ нея имѣю дѣтей, составляющихъ мою гордость и на старости лѣтъ утѣшеніе: сына, служащаго въ кавалеріи, дочь въ замужествѣ за древняго рыцарскаго рода барономъ, и дщерь дѣвицу, имѣющую, можетъ быть, еще болѣе возвысить убогій родъ мой. Состою членомъ ученыхъ и иныхъ обществъ: испытателей природы, любителей россійской словесности, Императорскаго вольнаго экономическаго, географическаго, садоводства, коннозаводства, хоругвеносства...

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Тѣ же, и **Кухарка.**

Кухарка (вбѣгаетъ растрепанная и съ азартомъ). Нѣтъ! позвольте васъ спросить: что же это такое будетъ, что куму въ кумѣ придти нельзя! Приходитъ человѣкъ, а его выгоняютъ! Да я въ благородныхъ домахъ жила, и тамъ завсегда кумовьевъ принимать не токма не запрещаютъ, а и сами благородныя барыни при себѣ ихъ имѣютъ, а этто: фу-ты, ну-ты! Барскій домъ изъ посконнаго ряда: богатые люди, — норовятъ какъ бы изъ блохи голенище скроить!

Феоктиста Гавриловна. Да ты что: бѣлены что-ли объѣлась, что такъ глотку-то во всѣ ворота растворила? Чего тебѣ?

Кухарка. А того мнѣ, что жить у тебя не хочу: подай мой разсчетъ! Вотъ тебѣ и весь мой сказъ!

Феоктиста Гавриловна. Да чего тебѣ недостало, что ты вдругъ какъ курица съ нашести налетѣла?

Кухарка. А всего мнѣ недостаетъ! Биласъ, билась — моченьки моей нѣтъ: ни ты купи, — ни ты возьми; — да еще родного человѣка въ гости не принимай! У самой день деньской работа, да еще и души съ добрымъ человѣкомъ не отводи! А кому какое дѣло, что кума съ кумомъ сидѣла? Подай разсчетъ!

Феоктиста Гавриловна. А вотъ тебѣ разсчетъ... коли такъ, вотъ тебѣ весь мой разсчетъ. (Показываетъ ей кукишъ.)

Кухарка. Сама имъ, сухимъ, подавись! а мнѣ разсчетъ подай. Я мѣсяцъ зажила, подавай мнѣ денежки, а не то я дорогу найду: завтра губернаторъ проѣзжать будетъ, ему въ ноги паду, а тебѣ, скареду, копѣйки не прощу! (У воротъ сходятся бабы и мужики, глазѣютъ.)

Феоктиста Гавриловна. Что? Ты со мной тягаться вздумала?

Папандопузо. Э, Феоктиста Гавриловна, плюньте вы на нее: что тутъ срамиться-то, и то народъ собирается. Позвольте, я ее сейчасъ разсчитаю. (Вынимаетъ бумажникъ.) На, тебѣ, твои два рубля.

Феоктиста Гавриловна (налетаетъ какъ птица и вырываетъ деньги). Какъ два рубля? — Кто тебѣ сказалъ? Рубль я ей всего плачу: на, тебѣ, твой рубль, подавись имъ, убирайся!

Папандопузо (смущенно). Да вѣдь вы отъ меня два рубля на нее получаете.

Феоктиста Гавриловна. А тебѣ какое дѣло: хочу — три получу, а сколько платить, это я знаю!

Кухарка. Такъ ты это на меня десятый мѣсяцъ лишній рубль получала, а мнѣ хоть бы тряпку подарила;—ай да барыня! Это ты у нищихъ-то суму хочешь отнять? Да подавись ты моимъ-то рублемъ, чтобы онъ тебѣ неотесаннымъ коломъ сквозь все нутро прошелъ, чтобъ ты...

Феоктиста Гавриловна. Вонъ мразь! (Папандопузо). А ты что глаза-то, какъ рогатины, уставилъ: гони ее.

Папандопузо (кухаркѣ). Убирайся, убирайся.

Кухарка. Нечего гнать—сама уйду! А тебѣ, чтобы за мою денежку на томъ свѣтѣ чортъ весь вѣкъ верхомъ ѣздилъ да не заѣздилъ, чтобы тебя... (Папандопузо выгоняетъ ее за ворота и затворяетъ ихъ).

Народъ. Ай, да баба! молодецъ! вотъ такъ молодецъ!

Феоктиста Гавриловна (Папандопузѣ). А ты, что это, вздумалъ меня при всемъ свѣтѣ, да при бабѣ моей усчитывать?

Папандопузо. Помилуйте, да я развѣ зналъ...

Феоктиста Гавриловна (перебивая). Самъ-то воруешь у сына-то, чай, обѣими руками, а мнѣ не даешь его копѣйки сберечь? Постой, я тебя выведу на свѣжую воду: чего бѣлками-то ворочаешь?—меня не обойдешь! Пиши Васѣ — что ѣду! Завтра же ѣду! Антоша, собирайтесь! на пол-лошади только прогоновъ возьму.

(*Занавѣсъ опускается*).

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Сценой малая гостиная въ петербургскомъ домѣ Кондрашовыхъ, богато меблированная удобною мебелью, разставленной въ красивомъ безпорядкѣ. Направо окна, налѣво дверь въ заднія комнаты, прямо въ парадныя.

ЯВЛЕНІЕ I.

Адель, съ книгой въ рукѣ, сидитъ съ ногами въ углу дивана. Входитъ подпрыгивая **Фисочка** съ рабочей корзиной.

Фисочка. Вотъ и я управилась. (Подсаживается къ Адели). И такъ сезонъ открылся!.. Ну, душечка, разсказывай про вчерашній вечеръ.

Адель (лѣниво опуская книгу). Да нечего разсказывать: все тѣ же лица, та же толкотня и танцы, точно никто и не разъѣзжался по дачамъ, да по деревнямъ.

Фисочка. Ну, а кто лучше всѣхъ одѣтъ былъ, и успѣхъ имѣлъ?

Адель. Французскія актрисы, Фисочка.

Фисочка (дѣлаетъ огромные глаза и съ ужасомъ). Неужели онѣ тамъ были?

Адель. Нѣтъ, мы заѣзжали передъ вечеромъ въ Михайловскій; и когда посмотришь, Фисочка, какъ восторгаются мужчины актрисами — не талантомъ ихъ, а просто какъ женщинами, такъ увидишь, что наши дамы никогда не имѣютъ и десятой доли такого успѣха.

Фисочка. А-фи! не говори мнѣ про нихъ. Не говори! слышать не могу про безнравственность. Нѣтъ, разскажи, кто изъ хорошаго круга имѣлъ успѣхъ.

Адель. Да кто имѣлъ? За сестрой много увивались, за Кудасовой, что съ мужемъ развелась, и всего больше за Ольгой Жижемской. Отчего это, Фисочка, мужчины все ухаживаютъ за замужними, да безмужними, и чѣмъ свободнѣе тѣ обращаются, тѣмъ больше успѣваютъ.

Фисочка. Оттого, что мужчины всѣ безнравственны и притомъ же глупы. Они не знаютъ, какой огонь горитъ въ сердцѣ зрѣлой (стучитъ себя въ грудь) дѣвушки.

Адель. Только они не очень-то гонятся за нашимъ огнемъ.

Фисочка. Оттого, что глупы! Ну, а за тобой, душка, кто ухаживалъ?

Адель. Да никто особенно: кто же за дѣвушками ухаживаетъ.

Фисочка. Ну, не можетъ быть, чтобы за тобой не ухаживали: ну, душка! душка, разскажи (подвигаясь къ ней на стулѣ) — я ужасно люблю это слушать.

Адель. Да, право же, никто особенно. Такъ, офицерики разные, да статскіе пѣтушки; есть и пріятные: я съ ними люблю танцовать,—да такъ, мелюзга, безъ положенія, а изъ настоящихъ-то Панкратьевъ что-то удостоилъ вниманія.

Фисочка. Ну, видишь, душка—Панкратьевъ! вѣдь это левъ большаго свѣта.

Адель. Да ужь это мнѣ, видно, по сестрѣ честь: онъ изъ ея свиты. Еще полуумный князь Хлоповатый что-то вертѣлся.

Фисочка. Ну, этотъ—старикъ. Нѣтъ, изъ молоденькихъ, изъ молоденькихъ... Душка, вѣдь не можетъ быть, чтобы у тебя не было какого нибудь избраннаго, не было одного, котораго бы ты предпочитала всему свѣту. Душка, ну, откройся мнѣ, откройся; душка, сдѣлай меня повѣренной твоего сердца...

Адель. Полно, Фисочка! нечего мнѣ повѣрять: я тебѣ говорю что никого не было, кто бы мнѣ нравился: все такіе пустенькіе вѣчно болтаютъ все такой вздоръ,—какой тутъ избранный!

Фисочка (обиженно). Однакожъ это странно, что изъ всей молодежи, изъ всѣхъ офицеровъ и штатскихъ не нашлось ни одного, кто бы тебѣ понравился! Въ твои года пора подумать, кому подарить сердце! (Колко). Или, у тебя можетъ и есть предметъ, да его въ хорошіе дома не пускаютъ?

Адель (смотритъ на нее лукаво). А пускаютъ въ такіе, какъ нашъ? (Въ сторону). Знаю, куда камешекъ-то летитъ! (Фисочкѣ). Такіе-то лучше, Фисочка: они не скучны, по крайнѣй мѣрѣ!

Фисочка. Это тебя все Пѣнкинъ твой сбиваетъ. У него вкусы хороши нечего сказать! Этто попался мнѣ подъ ручку съ какой-то стриженой да растрепаной! Фи! Никакого въ тебѣ нѣтъ аристократическаго чувства. Ахъ, другъ мой, осмотрительно отдавай сердце—съ этимъ шутить нельзя, но не медли и не упускай случая: ты еще молода, ты не знаешь, что такое носить въ груди огонь, которымъ некого согрѣть! (Адель улыбается). Ахъ, не улыбайся, душка! Я знаю,—всѣ смѣются надъ нами, пожилыми дѣвушками; но не дай Богъ никому испытать того, что мы испытываемъ...

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и **слуга.**

Слуга. Анфиса Алексѣевна, пожалуйте въ кладовую: провизіи нужно.

Фисочка. Ахъ, какъ это скучно, и скоро ли воротится эта экономка: терпѣть не могу заниматься этими мѣщанскими заботами. (Уходитъ, и за ней слуга).

ЯВЛЕНІЕ III.

Адель (одна). Аристократическія то наклонности куда забрались! Сама хоронитъ отъ всѣхъ насъ, какъ великую тайну, свою фамилію, потому что она, должно быть, не очень аристократична, а мѣщанствомъ гнушается: въ нашемъ-то домѣ, гдѣ бабушка мѣщанка еще здравствуетъ, да и къ намъ катитъ! Ахъ, забавная эта Фисочка. (Задумывается). А права она: надо подумать, кому отдать—да и

не сердце, а всю себя. Да, надо замужъ выходить! Что это за жизнь наша хваленая, дѣвичья. Дѣвичья воля? Какая тутъ воля! нельзя шагу ступить, свободны только замужнія... Какъ это странно: связать себя клятвой и сдѣлаться свободнѣе... А мы что? Полируютъ насъ, да отдѣлываютъ только съ наружности, готовятъ только въ невѣсты, и нѣтъ другаго интереса въ жизни: сиди и кротко плѣняй, съ дозволенія родителей, да жди, пока кто нибудь не ангажируетъ въ жены, какъ на кадриль. А вотъ Фисочка тридцать лѣтъ, ждетъ и не дождется, и вся жизнь прахомъ пошла! А если сватается, да немилый? А если милый-то да не сватается? Ахъ, мы бѣдныя! Хорошо еще, если есть приданое—спасибо папочкѣ, нажилъ, — такъ хоть около него вертятся. (Задумывается). Надо замужъ выходить! а милый-то не сватается! Что же это Пѣнкинъ? И любитъ ли онъ теперь меня? Когда я была ребенкомъ, онъ меня любилъ какъ сестру, а какъ вышла изъ института, сталъ онъ отдаляться и отдаляться, и вотъ нынче лѣтомъ совсѣмъ почти не показывался. Можетъ — разлюбилъ? полюбилъ другую? съ кѣмъ это Фисочка встрѣтила его?.. Отчего же я-то перестала ему нравиться? Отчего онъ когда встрѣтится со мной становится желченъ, все придирается ко мнѣ? странно! А мнѣ онъ все нравится, все такъ и тянетъ къ нему: есть въ немъ что-то серьезное... умный онъ. Конечно, партію я могла бы сдѣлать и лучше,—у него тоже нѣтъ положенія, да онъ съумѣетъ сдѣлать его, особенно съ моимъ приданымъ. Не такое, какъ баронъ: не свѣтское и блестящее, но какое нибудь свое, дѣльнѣе, а сдѣлаетъ. Развѣ онъ боится, что откажутъ? Гордъ онъ! Или думаетъ, что мнѣ не нравится? Странно: нынче всѣ женщины о равноправности толкуютъ, а никто изъ насъ не смѣетъ въ любви объясниться. Говорятъ: самолюбіе, а какъ откажутъ. Ну, что же! вѣдь у мужчинъ тоже самолюбія-то не меньше нашего, да имъ отказываютъ! Конечно, у насъ есть способы и безъ предложенія узнать... Однакожъ надо это разъяснить и понять: что онъ, любитъ меня или нѣтъ. Ну, а если нѣтъ... (Вздыхаетъ и пожимаетъ плечами), надо будетъ другаго.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Адель и Людмила.

Людмила. Здравствуй, Адочка! Что это ты одна? а гдѣ maman?

Адель. По обыкновенію уѣхала съ визитами да поздравленьями: ты знаешь, она, вѣдь, какъ огня боится пропустить кого нибудь.

Людмила (презрительно). Да вѣрно еще къ своему Паисію заѣдетъ.

Адель (улыбаясь). Можетъ быть.

Людмила (пожимаетъ плечами). А Фисочка?

Адель. Фисочка огорчена: у насъ экономка отправилась на недѣлю къ дочери погостить, и мама просила Фисочку на это время ея обязанности исправлять,—она въ отчаяніи отъ этихъ, какъ говоритъ, мѣщанскихъ заботъ.

Людмила. И никого у васъ не было?

Адель. Никого.

Людмила (про себя). Вѣрно Панкратьевъ еще не пріѣзжалъ. Или я ошиблась.

(За сценой голосъ Фисочки).

Ахъ, это баронесса пріѣхала, кажется!

Людмила. Ахъ, эта засохшая фіалка надоѣстъ; ну, да я ее спроважу сейчасъ: она страшно любитъ на моихъ лошадяхъ прокатиться!

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же и **Фисочка.**

Фисочка. Баронесса! ахъ, милая аристократочка моя! (Здоровается съ ней).

Людмила. Здравствуйте, Фисочка! У меня есть къ вамъ просьба: съѣздите, пожалуйста, въ гостинный дворъ и купите мнѣ тонкихъ иголокъ и булавокъ черныхъ, съ большими головками.

Фисочка. Нѣтъ, я, душечка, лучше въ англійскій магазинъ.

Людмила. Ну, пожалуй, хоть въ англійскій магазинъ. Вотъ вамъ деньги. (Вынимаетъ изъ портмоне и отдаетъ).

Фисочка. А вы на вашихъ сѣрыхъ?

Людмила. Да, на сѣрыхъ.

Фисочка. Съ удовольствіемъ, душечка, съ удовольствіемъ. Ахъ, да какъ же я съ ключами? (Дѣтски плаксивымъ голосомъ). Вѣдь я нынче при ключахъ.

Адель. Ну, довѣрьте мнѣ ихъ; оно и кстати къ моимъ мѣщанскимъ вкусамъ.

Фисочка. Ну, душка, не сердись! (Цѣлуетъ ее въ щеку, отдаетъ ключи, подпрыгиваетъ и уходитъ, говоря скоро про себя). Надѣну розовую шляпу, опущу вуаль и меня молодежь за баронессу будетъ принимать, а я имъ... (показываетъ, какъ будетъ раскланиваться направо и налѣво. Скрывается).

ЯВЛЕНІЕ VI.

Адель. Ты какъ будто устала послѣ вчерашняго: вотъ что значитъ много-то поклонниковъ имѣть.

Людмила (нетерпѣливо). Ахъ, совсѣмъ не то! Я не знаю, что мнѣ дѣлать: мужъ опять требуетъ, чтобы я у отца денегъ просила! А какъ я буду просить: я и безъ того столько у него выпрашивала, что языкъ не пошевелится — еще недавно шесть тысячъ взяла!

Адель. Да на чтожь это ему, милочка? А приданое твое—неужели уже прожито?

Людмила. Все! Все, кромѣ дома, что отецъ мнѣ подарилъ, да и тотъ уцѣлѣлъ потому, что у отца въ залогахъ.

Адель. Да куда же это все пошло? Правда, зажили вы отлично, однако...

Людмила. Ну, зажили широко, а потомъ мужъ вышелъ въ отставку, да въ аферы пустился: лошади, да пари, да карты...

Адель. Какъ же это ты допустила?

Людмила. Да развѣ я вмѣшивалась въ это? Насъ не только не пріучаютъ, да и не допускаютъ вмѣшиваться въ денежныя дѣла. Я знала, что я богата; сама привыкла къ роскоши, мужъ мастеръ хорошо проживать, я его любила и отдалась ему— знаешь, какъ мы отдаемся, когда любимъ, да бываемъ глупы,—вся, какъ въ омутъ, а очнулась— мы уже раззорены...

Адель. Но теперь-то, когда ты знаешь положеніе, знаешь, что мужъ мотаетъ и проигрываетъ,— зачѣмъ же ты потворствуешь ему? Неужели ты такъ его любишь еще, что не можешь ему отказать?

Людмила (нетерпѣливо). Какая любовь! Теперь другое... Все же я жена, и не могу идти наперекоръ; и опять—какъ его измѣнишь!

Адель. Ну, нѣтъ! Я бы не позволила, и не стала плясать по его дудкѣ... Я бы и сначала приданое-то не вдругъ довѣрила: любовь—любовью, а деньги—деньгами.

Людмила (язвительно). Ну, вы нынче умнѣе стали и любите осторожнѣе.

Адель. По крайней мѣрѣ, теперь-то бы я уже на твоемъ мѣстѣ не потворствовала ему. Ну, нужны деньги тебѣ, такъ проси для себя: а онъ, коли проигралъ, такъ пусть самъ и ищетъ.

Людмила (нетерпѣливо). Эхъ ничего ты не понимаешь! Бываютъ положенія, въ которыхъ нельзя не помочь, да и... Ну, да что тутъ говорить: выйдешь когда нибудь, такъ увидишь. (Адель качаетъ недовѣрчиво головой). Папа дома?

Адель. Дома, кажется.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Тѣ же и **слуга.**

Слуга. Александръ Петровичъ Панкратьевъ.

Адель. Да ты бы сказалъ, что мамы дома нѣтъ.

Слуга. Я докладывалъ, да они вамъ приказали доложить, а какъ я думалъ, что здѣсь баронесса...

Людмила (въ сторону). А! Я такъ и знала. (Слугѣ). Проси его.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Людмила и **Адель** однѣ.

Адель. Зачѣмъ ты его велѣла принять? Какъ бы мама не разсердилась?

Людмила. Отчего же? Вѣдь я здѣсь. А онъ такой милый: онъ развлечетъ насъ. (Въ сторону). Нѣтъ ужь пусть лучше видятся при мнѣ: я увижу, каковъ онъ будетъ съ ней и какъ объяснитъ визитъ.

Адель. Да, онъ милый. Но что же онъ дѣлаетъ на свѣтѣ?

Людмила. Какъ что? Живетъ! И еще лучше многихъ живетъ! Ты знаешь, какой онъ имѣетъ успѣхъ. Какіе ты вопросы странные задаешь!

ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ же и **Панкратьевъ** (здоровается съ баронессой за руку).

Панкратьевъ. Здравствуйте, mesdames! Вотъ что называется однимъ камнемъ двухъ птицъ убить, да еще какихъ птицъ! Мнѣ кто-то сказалъ, что сегодня день рожденія вашей матушки.

Адель. Нѣтъ, вы ошиблись.

Панкратьевъ. И не ваше?

Адель. И не мое.

Панкратьевъ. Ну, можетъ, кто нибудь изъ вашихъ предковъ родился, или былъ именинникъ въ этотъ день. Но я очень радъ этой ошибкѣ. Когда мнѣ сказали, что вы однѣ дома, я было, отчаялся: знаю, что дѣвицы, какъ до заколдованной принцессы, не допустятъ нашего брата, если не пройдешь сквозь рядъ испытаній, въ родѣ тетушекъ, маменекъ. Но когда узналъ, что здѣсь баронесса, я рѣшился вломиться.

Баронесса. Такъ вы меня тоже за испытаніе приняли?

Панкратьевъ. Еще бы: и за самое опасное! Такъ что я не устоялъ противъ искушенія съ нимъ встрѣтиться. А знаете—что еще вопросъ: кого бы изъ васъ слѣдовало отдать подъ покровительство другой, и я даже думаю, что Аделаида Васильевна лучше бы справилась съ этой ролью.

Баронесса. Вотъ какъ! Такъ вы считаете меня легкомысленнѣе Адели?

Панкратьевъ. Нѣтъ, не легкомысленнѣе, но вы болѣе способны увлекаться! Да! Въ Аделандѣ Васильевнѣ, несмотря на ея молодость и веселость, есть что-то практическое и проницательное. Это единственная дѣвушка, которой я нѣсколько побаиваюсь и съ которой чувствуешь, что ее не обойдешь.

Адель. Будто? Если это правда, такъ я очень рада: побольше бы такихъ, которыхъ побаивались, а то ужь вы слишкомъ загоняли насъ. Только врядъ-ли, чтобы вы-то боялись!

Панкратьевъ. Нѣтъ, я не шучу. Есть въ выраженіи вашего лица что-то простодушно-хитрое, что именно — опредѣлить трудно. Да нѣтъ ли у васъ карточки? Фотографія лучше всего выдаетъ истинный характеръ.

Адель (посмотрѣвъ на альбомы). Здѣсь нѣтъ.

Людмила. Принесу, пожалуйста, дружокъ: мнѣ хочется повѣрить его проницательность.

Адель (смѣясь). Пожалуй. (Уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ X.

Баронесса и **Панкратьевъ.**

Баронесса (оглядѣвшись и увидавъ, что Адель ушла). Какъ это неискусно придумалъ ты предлогъ увидаться съ Аделью?

Панкратьевъ. Вотъ они, женщины! Я увидѣлъ,

что она проѣхала сюда, и нарочно заѣзжаю, чтобы съ ней видѣться, а она меня подозрѣваетъ. И извольте тутъ искать свиданія!

Людмила. Въ самомъ дѣлѣ такъ!

Панкратьевъ. Еще бы! Если бы не такъ, то кто бы мнѣ велѣлъ настаивать, чтобы меня приняли. (Въ сторону). Не бѣжать же было! Какой же это чортъ на ея лошадяхъ попался мнѣ?

Людмила. Ну, вѣрю, вѣрю! (Беретъ его за руку). Спасибо! (Торопливо). А мнѣ именно хотѣлось тебя видѣть, чтобы предупредить: мужъ догадывается и подозрѣваетъ насъ.

Панкратьевъ. Подозрѣваетъ! гм! (Въ сторону). На силу-то началъ, дуракъ! (Ей). Надо быть осторожнѣе, мой другъ.

Людмила. Я за себя не боюсь, я боюсь за тебя: онъ нынче раздражителенъ, онъ тебѣ, пожалуй, сцену сдѣлаетъ.

Панкратьевъ. Нѣтъ, за меня ты не бойся: онъ только дѣлаетъ сцены женщинамъ. Проигрался и денегъ нѣтъ: тутъ люди всегда подозрительны и ревнивы.

Людмила (смущаясь). Онъ говоритъ, что поручился за кого-то.

Панкратьевъ. Вздоръ! Въ клубѣ въ палки проигралъ и его записали въ книгу. Мнѣ ужасно досадно, что на тебѣ, бѣдной, онъ вымѣщаетъ. (Беретъ ея руку и цѣлуетъ).

Людмила. Что же дѣлать! Да обо мнѣ не думай! Гдѣ же бы намъ увидаться.

Панкратьевъ. Гдѣ бы... (Думаетъ. Слышитъ шаги и торопливо). Я тебя увѣдомлю: надо быть осторожнѣе. (Въ сторону). Не мужъ, а сестрица чтобы не провѣдала.

ЯВЛЕНІЕ XI.

Тѣже и **Адель.**

Адель, Ну, вотъ вамъ и карточка! (Подаетъ пачку).

Панкратьевъ. Вотъ видите тутъ ихъ.... разъ, два, три... четыре разные снимка,—и какъ васъ ни сажали, какъ вы ни старались казаться наивной дѣвицой, а во всѣхъ проглядываетъ «себѣ на умѣ» и какое-то пренебрежительное равнодушіе. Въ натурѣ вы, конечно, это скрываете, а вотъ на этихъ карточкахъ, несмотря на свой наивный и равнодушный видъ, такъ глядите, какъ будто думаете: «вижу васъ, друзья мои, какая вы все мелочь», точно вы на горѣ стоите, а мы подъ горой.

Людмила (въ сторону). Однако, онъ что-то очень съ ней любезничаетъ. (Вслухъ). Ого! Я не знала, что вы такой тонкій физіономистъ и еще болѣе—тонкій льстецъ. Поздравляю тебя! сестра! Ты дѣйствительно должно быть исключеніе, потому что Панкратьевъ вообще не любитъ любезностей.

Адель. Да я тутъ особенно любезнаго и не вижу.

Панкратьевъ. Да, я, дѣйствительно, не говорю любезности, а къ Аделаидѣ Васильевнѣ—съ ними и подавно не подступай.

Людмила. Ну, да вѣдь и васъ не учить, къ кому съ чѣмъ подступить.

Панкратьевъ. Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, я говорю, что васъ словами не обойдешь: у васъ много русскаго «себѣ на умѣ», и рѣшимость какая-то есть.

Адель. Я очень рада. Нынче же русское въ моду входитъ; да, впрочемъ, какъ же мнѣ и не быть русской: у меня дѣдушка раскольникъ даже былъ. (Людмила смущается).

Панкратьевъ. Вотъ видите,—я правду сказалъ, что вы исключеніе: ни одна дѣвушка не посмѣла бы сказать, что у ней дѣдушка былъ раскольникъ. За это-то вотъ я васъ и побаиваюсь. Ну, а Лафатеру можно взять одну карточку?

Людмила (съ рѣвнивой насмѣшкой). Для того, чтобы вы поставили ее подъ образа? Жалко только, что дѣвицы не даютъ ихъ молодымъ людямъ, потому что не всѣ они такъ скромны, какъ вы.

Адель. Слышите, что говоритъ свѣтская мудрость? Но чтобы показать, что я достойна того, чтобы вы меня считали исключеніемъ,—я вамъ позволяю выбрать...

Людмила (качая головой). Адель!

ЯВЛЕНІЕ XII.

Тѣже, и **Кондрашова.**

Кондрашова (скидая шляпку). А! здравствуйте. (Цѣлуетъ Людмилу и подаетъ руку Панкратьеву). Что это вы дѣлаете?

Панкратьевъ. Да вотъ, Аделаида Васильевна позволили мнѣ взять свою карточку, я и выбираю.

Кондрашова. Адель! Какъ же это можно! Нѣтъ, ужь вы извините, Александръ Петровичъ, а этого нельзя: это не водится! Молодымъ людямъ не слѣдуетъ давать карточекъ дѣвушекъ. Вы сами знаете, что могутъ заговорить!..

Панкратьевъ. Да, вѣдь это если дѣлается тайно и при какихъ нибудь особыхъ отношеніяхъ, а тутъ какая же тайна? А знаете, Глафира Петровна, чтобы не могло выйти никакого истолкованія, такъ вы напишите на карточкѣ—знаете, какъ цензоръ на книгѣ пишетъ: «дозволяется отдать сію карточку Александру Панкратьеву»,—годъ, мѣсяцъ и число—родительница такая-то.

Кондрашова. Ну, ужь вы чего не придумаете! Вамъ хорошо шутить, но мать этимъ шутить не можетъ. Дайте-ка ихъ сюда!

Панкратьевъ (отдавая). Аделаида Васильевна, заступитесь!

Адель. Нѣтъ, я не вмѣшиваюсь. Я, съ моей стороны, позволила, а какъ рѣшаетъ родительская власть—это ужь не мое дѣло.

Панкратьевъ (къ Людмилѣ). Значитъ, полнѣйшее равнодушіе! А васъ я ужь и не прошу: вы также за всѣ приличія.

Людмила (значительно). Да я и не люблю иныхъ шутокъ! А вы гдѣ были, мама?

Кондрашова. Была у княгини Прасковьи Ар-

кадьевны: ты знаешь, какое мѣсто получилъ ея мужъ. Потомъ заѣзжала въ магазинъ, купила вотъ этакого эмалеваго попугайчика — прехорошенькая игрушка — и отвезла ее Дарьѣ Андревнѣ: у нея воспитанница сегодня именинница, такъ ей подарила. А Дарья Андревна ужь непремѣнно возьметъ ее себѣ: ты знаешь, какая она охотница до этихъ бездѣлушекъ.

Панкратьевъ. Очень пріятно будетъ воспитанницѣ! Однакожъ поѣхать и мнѣ къ нимъ. До свиданья, mesdames! (Откланивается, подаетъ руку баронессѣ, та холодно даетъ ему свою. Въ то время, какъ онъ прощается, вбѣгаетъ подпрыгивая Фисочка).

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Тѣ же и Фисочка.

Фисочка. А вотъ и я! Здравствуйте, m-r Панкратьевъ! А вы уже собираетесь?

Панкратьевъ. Да! Вижу, что васъ нѣтъ, пождалъ и рѣшился ѣхать. А это не вы ли мнѣ попались на лошадяхъ баронессы?

Фисочка. Да, я! А вы меня приняли за баронессу?

Баронесса. И по этому поспѣшили меня здѣсь сыскать?

Адель (въ сторону). А! такъ онъ отыскивалъ сестру.

Панкратьевъ. Да, совершенно былъ убѣжденъ, что баронесса... M-lle?.. извините, я забываю вашу фамилію...

Фисочка. Къ чему вамъ она? (Сантиментально). «Что въ имени тебѣ моемъ»—сказалъ Пушкинъ.

Панкратьевъ. Однакожъ, надо же васъ называть какъ нибудь.

Фисочка. Ну, меня зовутъ Анфиса, и зовите—мадмуазель Анфисъ.

Панкратьевъ (иронически баронессѣ). И прекрасно. Я хотѣлъ сказать, что m-lle А-н-ф-и-с-ъ такъ похожа на васъ, что весьма легко ошибиться. До свиданья! (Уходитъ).

Людмила (въ сторону). А! такъ онъ пошутилъ! А все-таки съ Аделью что-то очень любезенъ.

ЯВЛЕНІЕ XIV.

Тѣ же, безъ Панкратьева.

Фисочка. Искупила вамъ все: вотъ булавки и иголки, вотъ сдача. Ахъ, какъ бѣгутъ ваши сѣрые: прелесть! какой это баронъ знатокъ во всемъ и какъ все умѣетъ устроить!

Людмила (въ сторону). Да! особенно денежныя дѣла. (Въ слухъ). Спасибо душечка.

Кондрашова. Ахъ, Фиса! тебѣ все еще 15 лѣтъ! Адель, какъ же это можно, дружокъ, холостымъ людямъ карточки давать: ты не знаешь, какія могутъ выйдти изъ этого сплетни и что могутъ подумать.

Адель. Э, полноте, мама! Ну, что же подумаютъ: что я влюблена въ Панкратьева? Ну, пусть думаютъ: раздумаютъ когда нибудь.

Кондрашова. Вотъ это прекрасно!—подумаютъ, да раздумаютъ. Да вѣдь когда думаютъ, такъ это дѣвушку компрометируетъ. Вѣдь кто же на тебя въ это время можетъ имѣть виды? Или—мы здѣсь свои, такъ можно говорить — ты, можетъ быть, сама думаешь выйдти за Панкратьева? Конечно, предосудительнаго тутъ ничего нѣтъ: онъ человѣкъ милый и вездѣ прекрасно принятъ, да вѣдь это положеніе хорошо для холостого человѣка,— а женится онъ — что же онъ можетъ тебѣ предоставить? ни состоянія, ни чиновъ, ничего солиднаго. Объ этомъ надо подумать серьезно. А наконецъ, если и нравится, такъ это можно иначе выказать. Прими себѣ за правило: прежде вѣнца никогда не давать мужчинамъ ничего существеннаго, ничего, чтобы могло дать имъ какія нибудь права и доказательства привязанности. Какъ знать— иногда и передъ вѣнцомъ расходятся, а не связанныя ничѣмъ привязанности разрываются сплошь да рядомъ: тогда что будетъ съ твоими знаками? Вѣдь это можетъ совсѣмъ скомпрометировать дѣвушку, съ этимъ надо быть осторожнѣе, другъ мой: можно все это какъ нибудь иначе дѣлать. не компрометируя себя!.. на все это есть другія средства....

Адель (все это выслушиваетъ). Какія же это средства, мама?

Кондрашова (внушительно и сердито). Ну, вотъ говорите съ ней; я ее учи какъ правиться! А вотъ, сударыня: быть скромной и приличной дѣвушкой, да не умничать и не выдумывать своихъ правилъ— вотъ какія средства! Свѣтъ постарѣе насъ, и не даромъ выработалъ свои правила.

Адель. Но, мама, чтожь мнѣ дѣлать — не знаю я и не понимаю весь этотъ свѣтскій уставъ. Да и нравиться не ищу: понравлюсь, такъ пусть понравлюсь, такая, какая есть; но если я полюблю кого, такъ не ручаюсь, что, пожалуй, и скомпрометирую себя.

Кондрашова. Слышите! Ну, да съ тобой не сговоришь. Ну, и компрометируйся, и сиди въ дѣвкахъ. Да мнѣ-то за что въ чужемъ пиру похмѣлье! Скажутъ — не учила, не внушала правилъ, а ей внушеніе-то мое какъ къ стѣнѣ горохъ! Фиса, пойдемъ со мной: мнѣ нужно распорядиться кой-чѣмъ. (Бросаетъ на столъ карточки и уходитъ. Адель собираетъ ихъ.)

ЯВЛЕНІЕ XV.

Адель и Людмила.

Людмила (въ сторону). Что это— неужели и ей Панкратьевъ нравится? У нихъ въ самомъ дѣлѣ не затѣвается ли что нибудь? Надо это разъяснить и принять мѣры. (Къ Адели.) Послушай, Адель,

да что, въ самомъ дѣлѣ, есть у васъ что нибудь съ Панкратьевымъ?

Адель (нетерпѣливо). Дался вамъ этотъ Панкратьевъ. Все имъ охота въ чужую душу заглянуть, да тамъ и хозяйничать. Ну, (съ иронiей) да, положимъ, есть у насъ что-то, положимъ—мы любимъ другъ друга тайно: ну, что же изъ этого?

Людмила (съ сдерживаемымъ волненiемъ.) Ничего; но я думаю, что отъ сестры можно бы и не скрывать! И далеко у васъ зашло?

Адель. Ну, это опредѣлить довольно трудно: какъ же чувства мѣрить.

Людмила. Однакожь! ну, по крайней мѣрѣ было объясненiе?

Адель. Съ его стороны, да!

Людмила (едва сдерживаясь). И что же: какой ты отвѣтъ дала. За чѣмъ же дѣло?

Адель (нетерпѣливо). Да никакого отвѣта не дала, потому что онъ ни о чемъ и не спрашивалъ: вѣдь при тебѣ сегодня онъ объяснялъ мнѣ свои чувства!

Людмила (взволнованно). Ахъ, Адель, Бога ради не шути! Послушай, этимъ шутить нельзя. Ради Бога скажи: такъ у васъ кромѣ этого ничего и не было?

Адель (въ сторону). Э-ге! что то ее очень задѣваетъ! (Сестрѣ.) Да говорю, что ничего и не было.

Людмила. И онъ тебѣ не дѣлалъ предложенiя?

Адель. Да нѣтъ же, Боже мой! И что это тебя безпокоитъ?

Людмила. Меня?! Мнѣ что? (Спохватывается.) Душа моя, да развѣ ты мнѣ не дорога? Ну а если бы онъ тебѣ сдѣлалъ предложенiе, что бы ты сказала?

Адель. Я?! Я не знаю, что бы отвѣтила. Если бы не было ничего лучше, можетъ быть и согласилась бы: надо вѣдь это кончить чѣмъ нибудь. Развѣ это жизнь, что я веду здѣсь теперь?

Людмила. Другъ мой, только не выходи Бога ради за Панкратьева: онъ милый—это правда, но мама права — какой онъ мужъ! какое онъ положенiе тебѣ доставитъ: онъ любитъ жить, а его дѣла плохи. Притомъ онъ вѣтренъ и неразсчетливъ,—онъ промотаетъ все, какъ мой мужъ, и будетъ тебя мучить. Такiе люди очень милы въ свѣтѣ, но негодятся въ мужья.

Адель. А только въ любовники?

Людмила (вспыхнувъ). Почему ты это говоришь?

Адель. Да какъ же? И ты и мама все говорите, что люди, какъ Панкратьевъ, милы, и въ состоянiи нравиться, и умны — а въ мужья не годятся: ну, такъ что же съ нимъ дѣлать, какъ такой понравится?

Людмила. Ну, да! пожалуй, ихъ можно любить, потому что сердцу не прикажешь. Но они вовсе не годятся для устройства дома, семьи, положенiя: они слишкомъ вѣтрены и необстоятельны въ этомъ. Умоляю тебя, другъ мой, подумай серьезнѣе—это будетъ несчастiе всей жизни: я по себѣ знаю.

Адель. Полно, Милочка, ты разстроена, другъ мой, и принимаешь все это такъ близко къ сердцу. Повѣрь, я къ Панкратьеву совершенно равнодушна! Впрочемъ если бы я и вышла за него, такъ бояться за меня нечего: я ему приданымъ моимъ распоряжаться не позволю, а если онъ будетъ измѣнять, такъ сколько угодно: мнѣ не онъ нуженъ,— мнѣ вырваться на волю нужно!

(Голосъ Кондрашовой изъ-за кулисъ.)

Адель, у тебя ключи? Подай ихъ сюда.

Адель. Сейчасъ, мама. (Хочетъ идти.)

ЯВЛЕНIЕ XVI.

Входитъ **Слуга** со сверткомъ.

Адель. Что это?

Слуга. Глафира Петровна съ собой привезли изъ магазина.

Адель. Дай сюда. (Лакей подаетъ и уходитъ.)

Адель (разглядывая черную матерiю, тихонько говоритъ). Паисiю. (Показываетъ на платье, смѣется и уходитъ.)

Людмила (машетъ ей рукой. Подумавъ). Часъ отъ-часу не легче! Эта рвется замужъ, Александръ вѣтренъ и старѣетъ; онъ поговариваетъ, что пора ему жениться и на покой — теперь-то онъ очень озабоченъ! Что, если ему вздумается жениться на Адели? Онъ ни съ кѣмъ не бываетъ такъ серьезенъ и такъ почтителенъ, какъ съ ней; да и какой ему лучше невѣсты: богата, умна, хороша. Не нравится ему только, что «себѣ на умѣ». — Да, эта не такъ, какъ я, своего приданаго не дастъ растерять! Думала я, что она не совсѣмъ равнодушна къ Пѣнкину, но она такъ холодно говоритъ о замужствѣ, впрочемъ, вѣдь у ней не узнаешь скоро! Да за Пѣнкина не отдадутъ ее, и самъ онъ противный: все только ссорится съ ней и пропадаетъ. А Адель рвется на свободу и, пожалуй, вздумаетъ выйти за Александра! Боже мой, вышла я замужъ безъ всякихъ разсчетовъ, потому только, что любила человѣка; отдалась ему вся, и вотъ, онъ проматываетъ состоянiе, занимается только картами, лошадьми, мотовствомъ, всѣмъ, кромѣ жены. Я была оставлена, дѣлать я ничего не умѣю, къ труду не пріучена,—насъ, какъ баядерокъ, учатъ только нравиться и плѣнять. — Что же было дѣлать? Я и стала нравиться! и полюбила! Теперь и этотъ человѣкъ готовъ измѣнить, и въ сестрѣ я нахожу соперницу. Этого только недоставало! Нѣтъ, я не допущу этого брака: это будетъ дѣйствительно несчастiе и для сестры, и для меня. Къ счастiю она ищетъ только свободы: надо найти ей мужа. (Думаетъ.) А этотъ полоумный князь? Она ему нравится, но онъ съ разсѣянности все забываетъ жениться: надо подбить его!

ЯВЛЕНIЕ XVII.

Людмила и **Пѣнкинъ**.

Людмила (увидавъ входящаго Пѣнкина). А! вотъ кого напустить бы еще! За него не отдадутъ, да

можетъ онъ займетъ ее; а мужчину легко подбить, стоитъ только задѣть самолюбіе, да ревность: они на это глупы. (Пѣнкину.) А-а! Алексѣй Иванычъ! Что васъ не видно?

Пѣнкинъ (здоровается за руку). Здравствуйте, Людмила Васильевна. Да гдѣ же намъ часто встрѣчаться: мы вѣдь въ разныхъ стихіяхъ живемъ.

Людмила. Да, въ нашу-то вы рѣдко заглядываете. А я очень рада, что васъ встрѣтила: мнѣ хотѣлось васъ увидѣть.

Пѣнкинъ (улыбаясь). Ну, такъ понимаю вашу радость: чѣмъ могу быть полезенъ?

Людмила. Ну, вотъ какъ вы поняли. А за это васъ стоитъ разбранить. Какъ будто вы не знаете, что васъ здѣсь всѣ любятъ и вовсе не тогда только, когда нуждаются въ васъ; а вы, какъ нарочно, съ каждымъ днемъ все больше и больше удаляетесь.

Пѣнкинъ. Дѣла были у меня и на дачѣ жилъ далеко. Да признаться, я и не думалъ, чтобы мое-то отсутствіе было очень замѣтно: здѣсь всегда такая пропасть гостей толчется...

Людмила (выразительно). Да вотъ видите, замѣчаютъ и гораздо болѣе, нежели вы думаете.

Пѣнкинъ. Да? ну, очень радъ. А зачѣмъ я нуженъ вамъ?

Людмила. Я хотѣла переговорить съ вами насчетъ сестры. Она что-то хандритъ. Вы на нее имѣете вліянія больше, чѣмъ кто нибудь: поговорите съ ней.

Пѣнкинъ. Я?! Да о чемъ же?

Людмила. Между нами, на нее, кажется, имѣетъ виды Панкратьевъ. Ну, сами посудите, что это за партія для Адели?

Пѣнкинъ. Отчего же? Напротивъ, мнѣ кажется—партія очень хорошая; вкусы у нихъ одинакіе...

Людмила (вспыхнувъ). Какъ одинакіе?

Пѣнкинъ. Да, и онъ, и она думаютъ только о томъ, какъ бы время убить,—ну, вмѣстѣ и будутъ придумывать, и выдумаютъ успѣшно.

Людмила. Полноте, Алексѣй Иванычъ, вы несправедливы: сестра, правда, любитъ иногда и блескъ, и веселости, но имъ она отдается потому, что не находитъ чѣмъ занять себя; а у нея есть влеченіе къ жизни серьезной, — она непохожа на меня—я сознаюсь. Ей нуженъ мужъ умный и дѣльный, или, если не мужъ, такъ по крайней мѣрѣ другъ, который бы далъ ей направленіе. А она теперь скучаетъ; и я боюсь, чтобы она не рѣшилась на что нибудь необдуманно. Вы знаете — женщина отъ скуки или на зло кому нибудь на все рѣшается.

Пѣнкинъ. Такъ я-то что могу тутъ сдѣлать?

Людмила. Ну-ну! разсказывайте! Вы очень хорошо знаете, что Адель съ дѣтства очень привязана къ вамъ и что вы имѣете на нее вліяніе. Да ужь не отъ того ли она и хандритъ, что у васъ что нибудь вышло съ ней и вы изволите дуться на нее? Отъ васъ вѣдь станется: вы, мужчины, всегда то изъ мухи слона сдѣлаете, то слона не замѣчаете.

Пѣнкинъ. Да увѣряю васъ, что я тутъ не причемъ.

Людмила. Хорошо! Хорошо! Пусть будетъ такъ, я вашихъ откровенностей и не спрашиваю: ну, такъ поговорите съ ней просто, по дружески. Успокойте ее, Алексѣй Иванычъ, и скажите, чтобы она глупостей не дѣлала. Я знаю, вы это можете. Пожалуйста! Она сейчасъ выйдетъ, а мнѣ некогда. Папа одинъ?

Пѣнкинъ. Я его оставилъ одного.

Людмила. Мнѣ нужно съ нимъ переговорить. Такъ я на васъ разсчитываю. (Киваетъ ему головой и уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ XVIII.

Пѣнкинъ (одинъ).

Пѣнкинъ. Что эта бабенка наговорила мнѣ тутъ? И что у нея за дружба ко мнѣ явилась: она, вѣчно занятая разными фи-фи-фи, всегда такъ мило меня въ грошъ не ставила? Панкратьевъ! А! такъ тутъ свѣтовство идетъ: ну, что же, и съ Богомъ! (Задумывается, стискиваетъ зубы и хватаетъ себя за голову.) Гг-а! Какой это греческій дуракъ первый выдумалъ, что любовь слѣпа! Или она прозрѣла съ тѣхъ поръ? Нѣтъ, это одуреніе какое-то! Видишь, что пропасть передъ тобой, знаешь очень хорошо, что тутъ только голову сломаешь и больше ничего—нѣтъ! лѣзешь! Знаешь и лѣзешь, какъ глупая птица, которая, говорятъ, сама удаву въ ротъ влетаетъ: съѣшь, говоритъ, меня дуру! Ну, зачѣмъ я таскаюсь сюда? Вѣдь я очень хорошо знаю, что я не пара Адели, что она не думаетъ обо мнѣ; больше того: если бы она полюбила меня, такъ я самъ бы не женился на ней, потому что это было бы и ея, и мое несчастье; такъ нѣтъ! тянетъ! Вижу всѣ ея недостатки, вижу, какъ она избалована; знаю, что изъ нея никогда не выйдетъ спокойной, дѣльной жены, которая нужна нашему брату работнику, что въ ней есть порывы страсти и всѣ они направлены на вздоръ, блескъ, пыль, тщеславіе,—всякій разъ, какъ встрѣчу ее,—злюсь; видя, какъ испорчена эта чудная натура, — желчь, поднимается во мнѣ; стараюсь ее избѣгать, а нѣтъ, все-таки тянетъ и все-таки люблю, люблю, люблю ее, какъ... А! идетъ! по шороху платья знаю, что она идетъ!

ЯВЛЕНІЕ XIX.

Пѣнкинъ и Адель.

Адель. А! Алексѣй Иванычъ! Здравствуйте! здравствуйте! Что это вы тутъ одни дѣлаете?

Пѣнкинъ. Васъ поджидалъ!

Адель. Меня?! не вѣрю! Нѣтъ, вы нынче не очень меня поджидаете: я васъ почти все лѣто не видала.

Пѣнкинъ. Занятія были, да и жилъ я совсѣмъ въ другой сторонѣ.

Адель. Можетъ и еще были другія влеченія и тоже въ другой сторонѣ?

Пѣнкинъ. Нѣтъ, другихъ влеченій не было. Да признаться, и некогда заниматься ими: дѣла было довольно.

Адель. Ну, на это, я думаю, достанетъ его. При томъ же теперь, говорятъ, появились дѣвушки, которыя не требуютъ много ухаживаній, — знаете... эти... онѣ все стриженыя ходятъ.

Пѣнкинъ. У меня почти нѣтъ знакомыхъ между ними; но надо вамъ сказать, что эти дѣвушки имѣютъ всѣ одно великое качество: онѣ сами и своимъ трудомъ стараются заработать себѣ кусокъ хлѣба и поэтому ихъ можно любить, не справляясь ни съ ихъ, ни съ своимъ карманомъ.

Адель. Да, это вещь хорошая; но не всѣ же поставлены въ такое положеніе, чтобы думать о своемъ кускѣ хлѣба: надъ чѣмъ же и зачѣмъ же эти-то будутъ трудиться?

Пѣнкинъ. Разумѣется! онѣ даже не понимаютъ и потребности труда, хотя собственно говоря, и онѣ трудятся, потому что есть же у нихъ цѣли и желанія! только трудъ этотъ не очень производителенъ, напримѣръ: убить позабавнѣе время, перещеголять кого нибудь, вообще бархатнымъ хвостомъ въ глаза пыль пустить. Тоже трудъ своего рода! Правда ли, я слышалъ, что вы нѣсколько хандрите?

Адель. Я?! съ чего вы взяли: меня совершенно удовлетворяетъ мое занятіе и я съ большимъ удовольствіемъ, какъ вы сказали, бархатнымъ хвостомъ пускаю пыль въ глаза.

Пѣнкинъ. Помилуйте! я вовсе не объ васъ.

Адель. Ну, хорошо! Кто это только сказалъ вамъ про мою хандру?

Пѣнкинъ. Людмила Васильевна,—здѣсь сейчасъ говорила о васъ; она говорила, впрочемъ, что находится и средство противъ этой хандры.

Адель. Именно?

Пѣнкинъ. Заискиванье Панкратьева.

Адель. А! это она вамъ сказала. Ну, и что же: какъ она его находитъ?

Пѣнкинъ. Да она отзывается невыгодно о немъ и даже, признаться, просила меня тоже въ этомъ духѣ поговорить съ вами, но я... во-первыхъ, я полагаю, что мое мнѣніе тутъ ничего не значитъ, а во-вторыхъ, я нахожу напротивъ, что это, кажется партія была бы во всѣхъ отношеніяхъ приличная...

Адель (значительно). Да? Вы это находите? Вы находите это приличной для меня партіей? и дѣйствительно мнѣ ее совѣтуете?

Пѣнкинъ (нѣсколько смущаясь). То есть, видите ли... я для васъ желалъ бы всего наилучшаго, и Панкратьевъ, конечно, далекъ отъ идеала... но сходство вкусовъ, и при томъ онъ, говорятъ, такъ умѣетъ нравиться женщинамъ, что я полагаю... можетъ быть и вы тоже находите...

Адель. Другими словами, что онъ такой же пустой, какъ и я, и мы будемъ пара? (Пасмурно). Чтожъ, это и правда. Спасибо вамъ, Алексѣй Иванычъ, что вы это высказали: теперь я знаю, чего я стою и мнѣ ясно, за что вы, который съ дѣтства былъ такъ расположенъ ко мнѣ, теперь совсѣмъ перемѣнились.

Пѣнкинъ. Ну, полноте, Аделаида Васильевна! Я пошутилъ. Да и нисколько я къ вамъ не перемѣнился! Вѣрьте, что вы и ваше расположеніе мнѣ дороги по прежнему.

Адель. Я и мое расположеніе?! этой дѣвушки-то, что умѣетъ только бархатнымъ хвостомъ пыль въ глаза пускать! (Съ усмѣшкой). Вы шутите, Алексѣй Ивановичъ! можно ли дорожить расположеніемъ тѣхъ, къ кому нѣтъ ни капли уваженія...

Пѣнкинъ. Да нѣтъ же, милѣйшая Аделаида Васильевна! не объ васъ я совсѣмъ говорилъ, и клянусь вамъ, что вы мнѣ дороги по прежнему. Признаюсь, мнѣ досадно было, что люди, подобные Панкратьеву, разсчитываютъ на ваше расположеніе...

Адель. Отчего же нѣтъ? Что я—выше ихъ? Нѣтъ, не отрекайтесь, Алексѣй Иванычъ: вы высказали, можетъ быть, болѣе, нежели желали, но высказали то, что думали, и я теперь знаю себѣ цѣну въ вашихъ глазахъ и поняла ваше отчужденіе.

Пѣнкинъ. Такъ нѣтъ же, не знаете и не поняли! Вы не знаете, до какой степени вы мнѣ дороги; вы не знаете, что если я отчуждаюсь отъ васъ, такъ потому... потому что вижу, какъ съ каждымъ днемъ ваше положеніе, образъ жизни, вкусъ, все, все разъединяетъ насъ, вижу, что мнѣ и моимъ совѣтамъ не осилить вліянія жизни и среды. Стѣна встаетъ между нами, черезъ которую мнѣ не пройдти... и я удалился.

Адель (съ недоумѣніемъ). Да... зачѣмъ же?

Пѣнкинъ (посмотрѣвъ на нее, медленно и пасмурно). Затѣмъ, чтобы не сойдти съ ума и не разбить себѣ голову объ эту стѣну.

(Адель глядитъ на него).

Пѣнкинъ. Ну, да, я васъ люблю, люблю со всѣми вашими недостатками. Вижу все, что раздѣляетъ насъ и потому... что же мнѣ остается дѣлать, какъ не удалиться? (Наклоняетъ голову). И я удаляюсь! (Уходитъ).

Адель (когда Пѣнкинъ уже въ дверяхъ). Алексѣй Иванычъ!.. Постойте!..

(Пѣнкинъ съ недоумѣніемъ останавливается и подходитъ).

Адель. Послушайте! я... я бы не хотѣла такъ разстаться съ вами... Я... дорожу вашимъ мнѣніемъ и мнѣ хотѣлось бы знать: неужели я такъ перемѣнилась? Не представляете ли вы эту стѣну выше, нежели она есть?.. (Пѣнкинъ смотритъ съ изумленіемъ. Она опускаетъ глаза).

ЯВЛЕНІЕ XX.

Тѣ же и **Кондрашовъ** съ **Людмилой**.

Кондрашовъ. Да! такъ и скажи ему: пусть самъ пріѣдетъ! Пусть пріѣдетъ самъ, а нечего тебя-то подсылать. А это тебѣ. Не давай ему.

Людмила (цѣлуетъ его руку, онъ ее въ голову). Спасибо, папочка. Я ему скажу.

Адель (сіяющая. Въ сторону). А! Такъ вотъ что! Я не думала, что мнѣ такъ отрадно будетъ узнать про его любовь.

Кондрашовъ (Адели и Пѣпкину). Безпокоитъ меня очень матушка. Пишетъ мнѣ Пасандопузо, что она выѣхала уже двѣ недѣли назадъ, а ее нѣтъ, какъ нѣтъ! Ума не приложу—отчего она такъ долго не ѣдетъ? Безпокоитъ меня она, очень безпокоитъ.

Адель. Можетъ въ Москвѣ зажилась, папочка. Ты бы телеграфировалъ въ Москву.

Кондрашовъ. Думалъ я, да не знаю, кто ее тамъ увидитъ и къ кому телеграфировать. (Задумывается). Безпокоитъ! безпокоитъ.

Адель. Ну, полно думать, папочка: вѣрно, она въ Москвѣ по церквамъ замолилась. Если бы что случилось, давно бы дали знать! Полно безпокоиться! (Ласкается къ нему).

Людмила (Пѣпкину). Что вы ей—отсовѣтовали?

Пѣпкинъ (значительно). Да, отсовѣтовалъ!

ЯВЛЕНІЕ XXI.

Тѣ же и сынъ **Кондрашова.**

Сынъ. Здравствуйте папа! (Здоровается). Здравствуйте, сестренки! Уфъ, какъ я усталъ. Сейчасъ съ ученья, въ вагонъ и сюда.

(За сценой голосъ Кондрашовой).

Ахъ! Викторъ! Это ты...

ЯВЛЕНІЕ XXII.

Тѣ же и **Кондрашова.**

Сынъ. Здравствуйте, мама. Ахъ, какъ я усталъ! Прямо съ ученья и въ вагонъ. А ночь почти не спалъ: провожали мы одного товарища у Четырехъ рукъ — почти до свѣту. Легъ я отдохнуть, только просыпаюсь,—пріѣхала какая-то старушенція со свитой, — представьте себѣ, изъ Москвы ѣдетъ по шоссе,—и въ Четырехъ рукахъ остановилась чай пить. Я говорю: что же вы до Петербурга-то не потерпѣли?—Нѣтъ, говоритъ, батюшка, привыкла я въ восьмомъ часу чай пить, такъ и буду.—Я ей: вы, я говорю, милая старушенція, у тріумфальныхъ воротъ позавтракать остановитесь и лошадей перемѣните.

Кондрашовъ. Гм! Старушка! Какая же старушка?

Викторъ. Уморительная! и всѣ уморительныя: закутанныя, завязанныя въ платкахъ да платочкахъ выглѣзали... (За сценой голоса, дверь растворяется и укутанная въ семи платкахъ лѣзетъ Ѳеоктиста Гавриловна, за ней въ капорѣ и разныхъ одеждахъ Антонина Григорьевна, дворецкій во фракѣ и Павелъ Маркычъ въ затрапезномъ сюртукѣ и въ пуху).

ЯВЛЕНІЕ XXIII.

Тѣ же и **Ѳеоктиста Гавриловна.**

Ѳеоктиста Гавриловна. Ну, вѣдь постороннихъ-то нѣтъ, такъ можно и допустить мать-то къ сыну.

Василій Степановичъ. Ахъ! маменька! (Бросается къ ней и обнимаются).

Ѳеоктиста Гавриловна. Здравствуй милый ты мой, здравствуй, привелъ Богъ увидать. (Обнимаетъ его, приплакиваетъ и говоритъ между поцѣлуями).

Дворецкій (въ дверяхъ Ерындиковой принимая ее за прислугу). А вы куда же лѣзете: пойдемте я васъ проведу въ дѣвичью...

Антонина Григорьевна (гордо). Ты развѣ не видишь, что компаньонка идетъ: или не можешь отличить—что барыня, что служанка!

Дворецкій (ворчитъ). Кто васъ отличитъ? (Ерындикову). А ты куда же?

Ерындиковъ. За женой, братецъ, за женой! (Дворецкій только махаетъ рукой).

Ѳеоктиста Гавриловна (обнимаясь по очереди. Глафирѣ Петровнѣ). Здравствуй, мать моя, здравствуй. Можетъ не больно рада, да дѣлать нечего. А это Милочка, да Аделичка? ахъ, голубки, какія большія да красивыя,—ну, не брезгайте старухой, полюбите!

Адель. Полноте бабушка! (Разматываетъ ей платки и ухаживаетъ за ней).

Ѳеоктиста Гавриловна (глядитъ на Виктора). А это кто?

Кондрашовъ. Внучекъ вашъ, Викторъ, маменька.

Ѳеоктиста Гавриловна. (Викторъ цѣлуетъ у нее руку). Ба! это ты, голубчикъ, совѣтовалъ мнѣ у заставы-то лошадей кормить? Самъ, слышь, тамъ цѣлую ночь бражничалъ... хорошъ! хорошъ!

Викторъ (цѣлуя руку). Я васъ не узналъ, бабушка...

Ѳеоктиста Гавриловна. Не мудрено не узнать, какъ отъ роду не видѣлъ. Да надъ старухой-то незнакомой смѣяться зачѣмъ? Ну ужъ! (Грозитъ ему. Входитъ Фиса). А это Фиса. Здравствуй! что, все въ дѣвкахъ сидишь? Ну ужъ видно такъ и застрянешь мать моя. (Увидавъ Пѣпкина). А и ты здѣсь! Здравствуй голубчикъ! Мать поклонъ прислала... Ухъ укачало. (Сыну). А это провожатые мои, Ерындиковы — знаешь чай. (Антонина Григорьевна присѣдаетъ, мужъ кланяется). Спасибо проводили меня, да и дѣло до тебя есть: пріютить ихъ.

Кондрашовъ. Хорошо маменька. (Подзываетъ дворецкаго). Спроси въ конторѣ: нѣтъ ли свободной квартиры вотъ имъ. (Дворецкій уходитъ). (Матери). Какъ же это вы, маменька, не по желѣзной дорогѣ?

Ѳеоктиста Гавриловна. А что меня въ шею гонятъ что-ли ѣхать по ней? И такъ изъ Нижняго посадили; скачутъ, какъ сумасшедшіе на этой, прости Богъ, чортовой машинѣ, ни тебѣ чаю напиться, ни тебѣ косточки расправить. Доѣхала до Владиміра, говорю своимъ: стой, ночую здѣсь; да нанимай повозку. Нѣтъ, спасибо! я не великая барыня,

да люблю дѣлать, такъ какъ я хочу, а не такъ, чтобы тебя въ клѣтку заперли, да выпускали гдѣ захотятъ! Стара я стала, командовать-то мной. (Внучкамъ). Ну, а вы голубки, дайте-ка насмотрѣться на себя.

ЯВЛЕНІЕ XXIV.

Тѣ же и **Дворецкій** съ **Конторщикомъ**.

Конторщикъ. Есть двѣ квартиры: одна въ четыре комнаты, въ 3-мъ этажѣ, а другая въ двѣ въ 4-мъ.

Василій Степановичъ. Ну, такъ ты двѣ-то имъ приготовь. Вели мебель какую поставить. (Ерындикову). Вотъ, милости просимъ, онъ васъ проводитъ. (Тѣ уходятъ съ конторщикомъ).

Фисочка (Все время нѣжно шепталась съ Ерындиковой, которая инквизиторски осматривала все вокругъ.) Другъ мой, какъ я рада, что у меня теперь есть другъ! (Жметъ ей руку.)

ЯВЛЕНІЕ XXV.

Тѣ же безъ **Ерындиковыхъ**.

Феоктиста Гавриловна. Ухъ! умаялась! вѣдь другой мѣсяцъ, какъ все собираюсь: то-то держитъ, то другое. Ну, да вѣдь не скоро сберешься этакую даль, коли отъ роду изъ губерніи не выѣзжала! Да захотѣлось передъ смертью-то взглянуть, какъ вы живете, да на внучекъ-то взглянуть. Ну, а вы, милые, не брезгуйте, что у васъ бабушка-то старуха простая. Какъ бы не эта простая старуха, такъ вы можетъ не ходили бы въ этихъ-то шелкахъ: Васюту я на ноги-то поставила.

Адель. Э, полно, бабушка! Какъ это тебѣ въ голову приходитъ! (Обнимаетъ и цѣлуетъ ее.)

Феоктиста Гавриловна. Ну, ты, я вижу, умница: ты попросту, по родственному. Это я люблю...

ЯВЛЕНІЕ XXVI.

Тѣ же и **Слуга**.

Слуга. Княгиня Мухрабакаева.

Глафира Петровна. Ахъ, я право не знаю! Ну, проси. Феоктиста Гавриловна, вы бы отдохнули; вотъ вамъ вашу комнату покажутъ.

Феоктиста Гавриловна. Уйду, мать моя, уйду! сама знаю! Ну, прячьте мать-то поскорѣе!

Адель. Пойдемте, бабушка; я васъ провожу.

Василій Степановичъ. Пойдемте, маменька-съ; мы васъ успокоимъ. (Уходятъ.)

Адель (уходя, Пѣнкину). Вы завтра навѣстите бабушку?

ЯВЛЕНІЕ XXVII.

Глафира Петровна и **Дворецкій**.

Глафира Петровна (дворецкому тихо и скоро). Зачѣмъ ты ихъ по парадной лѣстницѣ пустилъ: провелъ бы съ задней.

Дворецкій. Я такъ и хотѣлъ, сударыня, да они подъѣхали прямо къ парадному подъѣзду. Барыня и хотѣли было пройдти, да это компаньонка ихняя: какъ, говоритъ, это мать родную, да не съ парадной лѣстницы принять.

(*Заднія двери растворяются. Занавѣсъ падаетъ.*)

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТІЕ.

Та же комната.

ЯВЛЕНІЕ I.

Адель (одна). Скоро придетъ Пѣнкинъ. Я не думала, чтобы мнѣ такъ отрадно было узнать про его любовь. Такъ тепло, тепло на сердцѣ и крылья словно растутъ, такъ бы и понеслась куда-то! Вотъ она любовь! Странно! Мнѣ казалось прежде, что я любила его, но теперь я вижу, что нѣтъ — это не любовь была, а такъ — привычка, склонность, а теперь... его признанье упало какъ огонь на порохъ... Что же онъ нейдетъ? И что скажу я ему... Какъ я признаюсь... ну, да увижу!.. (Голосъ Глафиры Петровны въ дверяхъ.)

Глафира Петровна. Фиса, вели этотъ узелокъ къ отцу Паисію отнести.

Адель (въ сторону). Ахъ мама! Какъ это скучно. Пойду ждать его къ бабушкѣ.

ЯВЛЕНІЕ II.

Глафира Петровна (одна; садится въ глубокомъ раздумьѣ, опершись головой на обѣ руки.)

У княгини Александры Ивановны — звонятъ, у Прасковьи Андреевны—просто докладываютъ: какъ тутъ лучше сдѣлать? И опять съ ливреей: надоѣли мнѣ эти фраки, а что сдѣлаешь? у Вѣры Александровны — голубой жилетъ и пюсовые нижніе, у Анны Матвѣевны — пюсовый жилетъ и голубые нижніе: вотъ тутъ и рѣшай! Опять — аксельбантъ хотѣла бы я сдѣлать, да имѣемъ-ли мы право на него? Еще въ бѣду попадешься! Книжныя объявленія просматривала: руководства какого нѣтъ-ли — нѣтъ! Пишутъ же разныя глупыя книги, а вотъ этакой, объ этикетѣ, нѣтъ! Можетъ законъ какой есть. Баронъ долженъ бы все это знать, — у нихъ, нѣмцевъ, на этотъ счетъ навѣрное есть и правила, и книжки, — да къ нему надо приступиться въ хорошую минуту, а онъ нынче все недоволенъ. И все я, да я! безъ меня никто и не подумаетъ: прилично-ли все въ домѣ или неприлично. Адель ни на что вниманія не обращаетъ; Фиса и рада бы, да за самой ежечасно надо смотрѣть, — и посовѣтоваться не съ кѣмъ. Еще на смѣхъ подымутъ! Боже мой, да что же мнѣ дѣлать? вѣдь это можно въ отчаяніе придти! А тутъ— безвкусіе, да (оглядывается) мѣщанокъ родню за

тысячу верстъ выписываютъ! Тяжелый крестъ достался мнѣ! На барона одна надежда: надо самой переговорить съ нимъ. Да, вотъ еще записать — кому визиты нужно отдать... (Записываетъ.)

ЯВЛЕНІЕ III.

Тѣ же и **Василій Степановичъ** съ газетой и радостнымъ лицомъ.

Кондрашовъ. Мамочка... мамочка, послушай-ка.

Глафира Петровна. Ахъ, Василій Степановичъ, сколько разъ я тебя просила не называть меня мамочкой.

Кондрашовъ. Да вѣдь нѣтъ, душка, никого. А ты послушай-ка новость. (Читаетъ.) За постоянную полезную и добросовѣстную коммерческую дѣятельность... Мм... мм... м... вотъ: «почетный гражданинъ и 1-й гильдіи купецъ... мм... мм... возводится со всѣмъ потомствомъ въ баронское Россійской имперіи достоинство!» А? каково? Вѣдь это отрадно! Это лестно!

Глафира Петровна. Э, полно, пожалуйста! Хорошій будетъ баронъ!

Кондрашовъ (нѣсколько обидѣвшись). Отчего же это? Чѣмъ же хуже другихъ? Вѣдь и настоящіе нѣмецкіе-то бароны не изъ фарфору же слѣплены! тѣ же кости да мясо! Нѣтъ, это ты не такъ! Это несправедливо. А между тѣмъ и поощрительно для всякаго. Теперь, какъ знать, (съ разстановской) гм! гм! и нашъ братъ съ Божіей помощью посильными трудами и рвеніемъ можетъ тоже удостоиться и въ бароны произойти. (Глафира Петровна смотритъ на него съ изумленіемъ.) Хе-хе-хе! Ты что смотришь? Да! Чтожь, чѣмъ мы хуже людей? Тоже изъ ничего—а, слава Богу, и коммерціи совѣтникъ — и здѣсь (показываетъ на шею и карманъ), и здѣсь! Ну, и здѣсь есть кое-что (показываетъ на голову), и именитые люди не брезгуютъ, и разные ученыя общества въ члены избираютъ, дѣтки тоже воспитаны не хуже другихъ, а вѣдь достигъ же? Изъ ничего достигъ! босикомъ ребенкомъ-то бѣгалъ.

Глафира Петровна (оглядываясь). Ахъ, полно, Базиль.

Кондрашовъ. Да! А вотъ потихоньку, да полегоньку и достигъ! Это вѣдь потяжелѣе баронство-то! А теперь ужь мы не безъ средствъ и не безъ покровительства. Чтожь! Тоже не хуже другихъ бароновъ будемъ! не хуже! Не прогоримъ, да не будемъ высуня языкъ сто рублей искать, какъ нашъ зятекъ, и не будетъ онъ думать, что намъ своимъ родствомъ честь особую дѣлаетъ! Проходятъ эти времена.

Глафира Петровна. Ну, оно, конечно, недурно. (Въ сторону.) А вѣдь онъ, пожалуй, добьется, коль ужь запало ему въ голову: потихоньку, да полегоньку, вѣдь нужды нѣтъ, что кажется этакій мягкій. Что же? ничего, и баронессой съумѣемъ себя поддержать.

Кондрашовъ (уходя). Да! это лестно... (Останавливается.) А ты чего это?

Глафира Петровна. Да вотъ записываю, къ кому нужно еще съѣздить съ визитами—да обдумываю и съ кѣмъ сблизиться на нынѣшнюю зиму: объ этомъ надо подумать.

Кондрашовъ. Гм! гм! Да, это не дурно, а только км... км... Знаешь, откупамъ-то конецъ съ новаго года, новые порядки заводятся: такъ нынѣшнюю-то зиму надо бы потише. У меня въ Бирюковѣ дѣла что-то заминаются... км... км... заминаются: кажется, Харитонъ-то тамъ... км... км... плутуетъ— Ерындиковъ сказывалъ. Послалъ обревизовать его.

Глафира Петровна (встревоженно). Однакожь не очень плохо: опасности нѣтъ?

Кондрашовъ. Км... км... Нѣтъ, не очень: другія губерніи поддерживаютъ. Ну, и, конечно, до плохого не допустимъ — приняли свои мѣры, а все-таки на всякій случай говорю тебѣ, чтобъ немножко потише.

Глафира Петровна (успокоившись). Ну, а коль ничего, такъ нельзя же, Василій Степановичъ, мѣнять образъ жизни. Что же скажутъ про насъ? Про твои же дѣла заговорятъ, и опять же Адель—невѣста: надо ее выдать прилично.

Кондрашовъ. Км! км! Ну, она такая дѣвка, что и сама выйдетъ.

Глафира Петровна. Какъ ты странно, Базиль, разсуждаешь: сама выйдетъ! Да мало ли она за кого бы вышла,— нужно выбрать и руководить.

Кондрашовъ. Да, вотъ мы Людмилочку-то руководили, а зятекъ-то тово: км... км... свинья!

Глафира Петровна (съ ужасомъ). Ахъ, Базиль, можно ли такъ выражаться про барона! Ну, онъ можетъ — вѣтренъ, мотоватъ, но какъ же вдругъ барона — свиньей назвать?

Кондрашовъ. Км! км! Да! Я и самъ думалъ, что это только между нашимъ братомъ свиньи-то водятся, анъ — нѣтъ! км... км... выдаются и между ними, выдаются! Людмилочкино-то приданое онъ все ухлопалъ, да еще мало: опять подсылалъ ее за деньгами. Ее, бѣдную, мучитъ.

Глафира Петровна. Ты ей что же сказалъ?

Кондрашовъ. Км! Я ей велѣлъ самого послать. Км... км. Надо съ нимъ самому поговорить.

Глафира Петровна (въ сторону). Вотъ, еще откажетъ ему, тотъ обидится: не у кого и совѣта будетъ спросить, хоть въ воду бросайся. (Мужу.) Послушай, Базиль, вѣдь и къ барону надо быть снисходительнымъ: онъ выросъ въ другихъ привычкахъ,—ты ему, Базиль, не отказывай.

Кондрашовъ. Км! км! Ну, увидимъ! увидимъ тамъ. (Въ сторону.) Съ ней я не люблю понапрасну пороху-то тратить: вѣдь ихъ братью не переспоришь. (Женѣ.) А гдѣ Аделичка?

Глафира Петровна. Тамъ, у бабушки сидитъ, все ея разсказы слушаетъ.

Кондрашовъ. А! это хорошо. Пѣнкинъ тоже туда прошелъ. Пойти и мнѣ къ нимъ.

Глафира Петровна. Пѣнкинъ тамъ? Ну ужь это мнѣ не нравится: не люблю я ихъ бесѣдъ.

Кондрашовъ. Км! км! Ну, это ничего: за этимъ, мамочка, не угоняешься!

Глафира Петровна (сердито). Слѣдуетъ угонять-ся, *папочка*. Развѣ Алексѣй Иванычъ ей партія? Онъ только помѣшать можетъ.

Кондрашовъ. Конечно, не партія. Км! км! (Смотритъ въ окно.) Кто-то къ намъ. Никакъ, князь Хилковатый.

Глафира Петровна. А! я очень рада! Онъ очень ухаживаетъ за Аделью: вотъ еслибы Богъ послалъ!..

Кондрашовъ. Да, это пріятная партія... могу сказать пріятная... ты мамоч... (жена взглядываетъ строго) ты, Глафира Петровна, это хорошо придумала.

Глафира Петровна (вдругъ себя бьетъ въ голову). Ахъ, Боже мой! Что было я надѣлала. (Звонитъ во всю мочь.)

Кондрашовъ. Мамочка, что съ тобой? Что сдѣлалось?

(Вбѣгаетъ лакей.)

Глафира Петровна (лакею). Карету живѣе! Вѣдь сегодня рожденье княгини Анисьи Павловны, а я было и забыла. (Мужу.) Прими ты князя, а я къ вамъ Аделю пришлю. (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ IV.

Кондрашовъ (одинъ, похаживаетъ). Км! км. А это жена не дурно придумала: она у меня по этой части (показываетъ рукой туда и сюда) баба не глупая. Это была бы пріятная штука имѣть зятя россійскаго князя, сановника, имѣющаго тысячъ тридцать доходу и связи со всѣми этими, какъ говорится, сферами. (Показываетъ на верхъ). Тогда бы можно было подумать... км! км! (Вынимаетъ таинственно газету и читаетъ). «1-й гильдіи купецъ гм... гм... за 50-ти лѣтнѣе занятіе обширной торговлей возводится въ баронское Россійской Имперіи достоинство». Ну, и мы тоже, хоть не 50 лѣтъ, а доставляемъ тоже доходъ. Км! км. Баронъ Кондрашовъ! А?! Штучка-то была бы не дурна и мы бы нѣмецкому-то барону величаться не позволили, и мы бы тоже... (Выпрямляется и поднимаетъ голову. Увидавъ входящаго князя Хилковатаго сгибается и принимаетъ вѣжливую купеческую позу). Вашему сіятельству имѣю честь свидѣтельствовать мое глубочайшее почтеніе. (Здоровается). Прошу покорно! (Указываетъ на диванъ).

Князь. Здравствуйте! Здравствуйте.... Василій Семенычъ. Здоровье? А? хорошо?

Василій Степановичъ. Слава Богу, ваше сіятельство.

Князь (съ пріятной улыбкой). А! Ну, и прекрасно, прекрасно...

Василій Степановичъ. Вы какъ изволите пожи-вать?

Князь. А? Благодарю, благодарю! Ничего! А? супруга ваша?

Василій Степановичъ. Слава Богу, ваше сіятельство. Куда-то собирается съ поздравленіями... сейчасъ выйдетъ.

Князь. А? Поздравленія? кто? съ чѣмъ?

Василій Степановичъ. А не умѣю вамъ доложить, князь; это по ея части. Вотъ она сейчасъ, сама...

Князь. А! Очень радъ! Прелестная Аделаида Васильевна?

Василій Степановичъ. И она ничего, тоже дома. Я думаю—выйдетъ сейчасъ. Сигарочку не прикажите ли?

Князь. Сигарочку? А! нѣтъ, благодарю... въ гостиной никогда! А прелестна, прелестна ваша дочка! Я хотѣлъ!.. а... супруга ваша?

Василій Степановичъ. Она сейчасъ, ваше сіятельство. (Идетъ къ двери). Глаша! Глафира Петровна!

(Голосъ Глафиры Петровны).

Иду, иду сейчасъ.

Василій Степановичъ. Вы что-то мнѣ хотѣли сказать, князь?

Князь. Я? А, да!.. Здоровье Аделаиды Васильевны? (Съ пріятною улыбкою).

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же и **Глафира Петровна.**

Глафира Петровна. Здравствуйте, князь! А я собралась къ княгинѣ Анисьѣ Павловнѣ. Сегодня день ея рожденія.

Князь. А? Да? рожденія. Нужно непремѣнно,— заѣду. Здоровье?

Глафира Петровна. Благодарю васъ, князь. Что, вы долго третьяго дня оставались на вечерѣ?

Князь. Я? Нѣтъ? Пульку... Часовъ до трехъ. Дочка ваша... прелестна!.. прелестна!.. Я хотѣлъ... м... м... просить васъ... (Молчаніе. съ пріятной улыбкой). Здоровье?

Глафира Петровна. Слава Богу! Она тамъ, у себя. А вы, князь, что-то ухаживаете кажется, за Магіе Хлопковой. Какая она хилая!

Князь (удивленный). А? Я? Да, милая!

Глафира Петровна (съ улыбкой). Ужь нѣтъ ли у васъ тутъ какихъ видовъ? Можетъ, я дѣлаю нескромный вопросъ?

Князь. Нескромный?.. О... нѣтъ!.. напротивъ... Я совсѣмъ не то... Я хотѣлъ... напротивъ просить... Такъ княгини Прасковьи Давыдовны... именины?

Глафира Петровна. Нѣтъ, Анисьи Павловны... рожденіе... (Въ сторону). Если онъ и захочетъ сдѣлать предложеніе, такъ никогда не вспомнитъ.

Князь. Да? рожденье? Надо заѣхать... Аделаида Васильевна! Она была прелестна... прелестна...

Глафира Петровна. Вы очень снисходительны къ ней, князь. Она вѣрно не знаетъ, что вы здѣсь. Василій Степанычъ! скажи ей... да тамъ тебя кто-то ждетъ съ дѣлами... (Дѣлаетъ ему знакъ, чтобы убирался).

Василій Степановичъ. А вотъ, я сейчасъ... Из-

вините, ваше сіятельство, если я удалюсь на минуту.

Князь. А... пожалуйста... Очень радъ... дѣла...

(Василій Степановичъ уходитъ).

Глафира Петровна. Мнѣ Адель сказывала, что вы на балѣ были очень добры къ ней, и она благодаря вамъ... очень пріятно провела вечеръ.

Князь. Ахъ, да! Нельзя, нельзя! Прелестна! Я просто хотѣлъ... и умна... умна...

Глафира Петровна. Ну, полноте, князь. Вы ее избалуете... Она, дѣйствительно, добрая дѣвочка...

Князь. Добрая? Нѣтъ... умная... и прелестна! Я просто... влюбленъ... влюбленъ... и хотѣлъ... букетъ какой!.. прелестный.

Глафира Петровна. Да, ей и Людмилѣ Панкратьевнѣ привезъ. Говоритъ, у графини Комбурлей въ оранжереяхъ досталъ (никогда не доскажетъ). Вы что-то хотѣли сказать, князь?

Князь. Я? Про что?

Глафира Петровна (смущенная). Вы что-то про-Адель начали...

Князь. Да.. виноватъ... здоровье...

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ же и **Адель**.

Глафира Петровна. Вотъ, и она на лицо... разспрашивайте сами. А вы меня простите, князь. Я васъ оставлю съ молодой хозяйкой... пусть учится принимать такихъ милыхъ гостей. Такъ вы извините... Я только къ Анисьѣ Павловнѣ. Она тутъ близко,—и я сейчасъ вернусь.

Князь. Ахъ, пожалуйста, пожалуйста, сдѣлайте одолженіе...

Адель (въ сторону). Это что-то похоже на устроенное свиданье. (Князю). Здравствуйте, князь!

Князь. Здравствуйте, прелестная, прелестная M-lle Adele, ручку... ручку.

Адель (даетъ ему руку. Князь цѣлуетъ ее). Полноте, князь что за нѣжности!

Князь. Нѣжности, прелестная Аделаида... Степановна, нѣжности? Желалъ бы... еще нѣжнѣе... Все, все здѣсь и здѣсь — все вы. (Вертитъ пальцами).

Адель (про себя). Это и замѣтно.

Князь. Не могу болѣе... хотѣлъ... родителей... но прежде васъ... счастья... счастья... прошу.

Адель. Э, князь, гдѣ мнѣ его раздавать.

Князь. Мѣстечко... маленькое мѣстечко въ сердцѣ... и руку?... знаю... немолодъ... но... могу... надѣяться?

Адель (въ сторону). На бѣду таки рѣшился! (Князю). Послушайте, князь, это такъ важно... и я, право, боюсь, что вы ошибаетесь во мнѣ... мнѣ кажется—я не въ состояніи сдѣлать ваше счастье... Отложите это лучше. Подумайте...

Князь. Думалъ... обдумалъ вполнѣ, прелестная Аделаида... Петровна, глубоко... лучше ничего не могу. Всего себя, состояніе все, все вамъ.... рѣшите....

Адель (въ сторону). Затянуть надо! можетъ забудетъ. (Князю). Я вамъ очень благодарна, князь... но...

Князь (испуганно). Ради Бога ни... ни... только не отказывайте.

Адель. Дайте мнѣ, князь, это обдумать хорошенько: вы понимаете, какъ этотъ шагъ серьезенъ.

Князь. Обдумать!.. Сколько угодно, прелестная, прелестная Аделаида... Петровна, но ради Бога, надежду... Могу родителей?

Адель. Нѣтъ, князь! Пожалуйста дайте мнѣ обсудить одной, и пока я не рѣшусь, не говорите ни слова родителямъ.

Князь. Ни слова? конечно! Ни... ни... (Жалобно). Но надежду, маленькую надежду.... А?... Не молодъ, не молодъ... знаю... но здѣсь... все... весь... Могу?

Адель (въ сторону). Жалокъ онъ мнѣ. (Князю). Подождите, князь; и прошу васъ пока никому ничего о нашемъ разговорѣ... Я надѣюсь на васъ. Пожалуйста!

Князь. Умерло... умерло... въ гробу... Но могу, хоть... малѣйшую...

Адель (показываетъ, что идутъ).

Князь (отвѣчаетъ, чтобы не боялась).

ЯВЛЕНІЕ VII.

Тѣ же и **Пѣнкинъ**.

Пѣнкинъ. Извините... Я не зналъ, что вы здѣсь. А, князь!

Князь. А! здравствуйте, здравствуйте...(къ Адели). Имянины Анны Павловны?..

Адель. Нѣтъ, князь, мама къ Анисьѣ Павловнѣ поѣхала. Садитесь, Алексѣй Ивановичъ.

Князь. Анисьи Павловны имянины? Спѣшу снѣшу... извините.

Адель. До свиданья, князь.

Князь. До свиданья, прелестная, прелестная Аделаида Степановна... Родителей прошу... (Кланяется привѣтливо Пѣнкину и уходитъ).

Адель. Пойти еще взять съ него слово, чтобы молчалъ, а то забудетъ (Уходитъ за нимъ).

Пѣнкинъ (одинъ). Нѣтъ ли и тутъ чего нибудь? У меня изъ головы не выходитъ. (Припоминая слова Адели). «Не представляете ли вы эту стѣну выше, чѣмъ она есть»: и такъ взглянула, и потомъ опять пригласила къ бабушкѣ... и вотъ я какъ тѣнь хожу за ней! У бабушки не удалось слова сказать,—старуха эта глупая все со своими разсказами мѣшала,—но она такъ привѣтно смотрѣла на меня, такъ какъ-то тепло и уютно сидѣлось тамъ и что-то радостное на душѣ... Неужели она меня любитъ? Ну, а если и да—что же изъ этого? Неужели жениться? на ней, избалованной роскошью, непривыкшей ни къ какому занятію? Да вѣдь отъ нея оторваться нельзя будетъ! Вѣдь ихъ барышень надо, какъ малыхъ дѣтей; непремѣнно занимать, да развлекать, да по баламъ съ ними ѣздить, иначе онѣ будутъ умирать со скуки...

ну, и, разумѣется, другихъ развлекателей, болѣе свободныхъ и услужливыхъ искать!.. И это я все знаю... и къ чему я признался ей! А сердце бьется и не разсуждаетъ, глупое. Ну, а можетъ она меня любитъ?..

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Пѣнкинъ и Адель (смущенно радостная).

Адель. Извините, я васъ бросила, Алексѣй Иванычъ... Такое дѣло нужно было.. ему втолковать.

Пѣнкинъ. Не помѣшалъ ли я вамъ въ самомъ дѣлѣ...

Адель. Бываютъ обстоятельства, когда радуешься, если помѣшаютъ.

Пѣнкинъ (съ ревнивой ироніей). Можетъ быть, опять сватовство?

Адель (съ ироніей). А если бы было, вы мнѣ опять посовѣтуете выходить?

Пѣнкинъ (пожавъ плечами). Что-жъ! Многіе бы сочли за счастіе такую партію: богатъ, знатенъ и... въ головѣ мыши бѣгаютъ.

Адель. Да, это завидный женихъ—съ мышами въ головѣ. Впрочемъ, для тѣхъ (растягиваетъ), которыя... бархатными... хвостами...

Пѣнкинъ. Аделанда Васильевна! Вы невеликодушны! Я вѣдь вамъ сказалъ... Вы знаете, что меня озлобляло и почему.

Адель (съ улыбкою). Да!.. такъ какая же это стѣна?

Пѣнкинъ (пасмурно). Я вамъ сказалъ—все раздѣляетъ насъ теперь: наше положеніе, привычки... и... боюсь, всего больше, чувства!..

Адель. Я... я, по крайней мѣрѣ, не мѣнялась къ вамъ!

Пѣнкинъ (съ удивленіемъ). Какъ? (Потомъ тихо и взволнованно). Нѣтъ... вы мнѣ скажите... ради Бога!.. да? (Беретъ ее за руку).

Адель (краснѣетъ, улыбается и потупляется).

Пѣнкинъ. Да? Безцѣнная моя... (Прижимаетъ ее къ себѣ и цѣлуетъ руку. Молчаніе).

(За сценой голосъ Ерындиковой). Никакъ нѣтъ никого теперь? (Адель и Пѣнкинъ отскакиваютъ другъ отъ друга).

ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ же, Фисочка и Ерындикова.

Фисочка (заглядывая). Нѣтъ, только свои. (Съ ироніей). Мы вамъ не помѣшали?

Адель (удивленно). Чѣмъ это?

Антонина Григорьевна (про себя). А! Вотъ кстати слово-то сдержать. Фисочку-то я настроила! Надо имъ внушить. (Фисочка показываетъ глазами на молодежь. Та киваетъ головой). (Адели и Пѣнкину). Совѣтъ да любовь!

Адель (холодно). Какая любовь, Антонина Григорьевна?

Антонина Григорьевна. Извините, я это для шутки. Это у насъ говорятъ, когда молодыхъ людей вмѣстѣ застаютъ: я знаю очень хорошо, что здѣсь это не принято — я нарочно хотѣла показать наши глупые обычаи.

Адель. Глупые, такъ зачѣмъ ихъ и показывать, Антонина Григорьевна.

Пѣнкинъ (въ сторону). А! Заговорила свѣтская щепетильность!

Фисочка. А я несогласна. По моему, это прекрасный обычай: что можетъ быть пріятнѣе, какъ видѣть между молодыми людьми (нѣжно) со-вѣ-ть и лю-бо-вь!

Адель. А я полагаю, что это хорошо про себя, а смотрѣть на это весьма скучно!

Антонина Григорьевна. Нынѣшніе свѣтскіе молодые люди конечно это скрываютъ.

Фисочка. Да! Они умѣютъ таить въ груди свои чувства.

Адель. А вы не умѣли?

Пѣнкинъ. И зачѣмъ же ихъ и показывать, кому не надо.

Антонина Григорьевна. Оно, конечно, а однакожъ—такъ не такъ — придетъ время, супротивъ своей природы не пойдешь и ее не скроешь.

Пѣнкинъ (въ сторону). Вотъ, это, по крайней мѣрѣ, ясно и убѣдительно.

Антонина Григорьевна. И я увѣрена, что Алексѣй Иванычъ имѣетъ свой предметъ.

Пѣнкинъ. Какъ не имѣть, Антонина Григорьевна! Я рафинировкой сахара по новому способу нынче занимаюсь.

Фисочка. Нѣтъ, не сахаръ... Можетъ — другой есть...

Антонина Григорьевна. Тоже, можетъ — сладкій предметъ.

Пѣнкинъ (въ сторону). Что эти дурищи пристаютъ ко мнѣ! И неужели онѣ догадываются? (Фисочкѣ и Антон. Григ.). Нѣтъ, я лакомствами не избалованъ.

Антонина Григорьевна. А пора вамъ подумать о себѣ. Маменька ваша только и мечтаетъ, какъ бы, говоритъ, мнѣ привелъ Богъ устроить Алешу моего.

Пѣнкинъ (въ сторону). Да эта дурища никакъ сватать меня задумала! (Антонинѣ Григ.). Ну, я боюсь, что матушкѣ придется долго ждать, и, во всякомъ случаѣ, устраивать тутъ нечего: нынѣшніе молодые люди, которыхъ вы такъ хорошо знаете, не любятъ, чтобы въ эти дѣла кто нибудь изъ постороннихъ носъ совалъ, — они что нужно, сами сдѣлаютъ.

Антонина Григорьевна (въ сторону). Дерзкій человѣкъ! Я для него же, а онъ и носъ воротитъ: ну, такъ справляйся самъ!

ЯВЛЕНІЕ X.

Тѣ же и Кондрашовъ.

Кондрашовъ. Ба! Вотъ гдѣ вся компанія! А гдѣ князь?

Адель. Ушелъ.

Кондрашовъ. Что же онъ такъ скоро? Насъ не дождался.

Адель. Да вы знаете, что у него, какъ вотъ Алексѣй Иванычъ говоритъ, мыши въ головѣ бѣгаютъ: вспомнилъ вдругъ про Анисью Павловну, вскочилъ и уѣхалъ.

Кондрашовъ (про себя и взглянувъ на Пѣнкина). Км! км! Мыши бѣгаютъ! (Пѣнкину). А у меня, Алексѣй Иванычъ, къ тебѣ дѣльце есть: съѣзди, пожалуйста, на заводъ,—управляющій пишетъ — тамъ что-то разладилось.

Пѣнкинъ. Хорошо. На дняхъ съѣзжу.

Кондрашовъ. Поскорѣе бы надо, а то дѣло останавливается.

Адель (въ сторону). Вотъ это весело: только что объяснились и онъ уѣзжаетъ! (Пѣнкину). Надолго вы уѣдете?

Пѣнкинъ. Смотря по дѣлу. Но съ недѣлю пройдетъ, я думаю.

Адель. Какъ это скучно. Васъ и то въ мѣсяцъ разъ едва видишь.

ЯВЛЕНІЕ XI.

Тѣ же и **Баронъ**.

Василій Степановичъ. А! Здравствуй, баронъ! Что Людмилочка?

Баронъ. Ничего, слава Богу!

Василій Степановичъ. Ну, очень радъ. Км! км! А то у нея вчера былъ видъ утомленный. Ты ей разныя порученія... км! км!.. финансовыя даешь, а у тебя ихъ, чай, не мало... Км! км!.. такъ можетъ устала.

Баронъ. Да, жены часто устаютъ мужьямъ услуживать. Это не то, что по баламъ шляться.

Пѣнкинъ (про себя). Ну, тутъ, кажется, *объясненія* будутъ. (Адели). До свиданья, Аделаида Васильевна.

Адель (Пѣнкину). До свиданья, Алексѣй Иванычъ! Надѣюсь—до скораго.

Пѣнкинъ. Постараюсь (Прощается съ ней и Кондрашовымъ). Я къ вамъ завтра зайду передъ отъѣздомъ.

Кондрашовъ. Пожалуйста!

Адель (Антонинѣ Григорьевнѣ). Вы у меня просили цвѣты посмотрѣть. Хотите, я вамъ покажу?

Антонина Григорьевна. Ахъ, сдѣлайте ваше одолженіе.

Фисочка (Адели). И я... и я за вами. Я ужасно люблю цвѣты, особенно если они искусно сдѣланы! (Уходятъ).

ЯВЛЕНІЕ XII.

Баронъ и **Кондрашовъ**.

Кондрашовъ. Км! км! Милочка говорила, что ты денегъ просишь.

Баронъ. Да, папа, случилась надобность.

Кондрашовъ. Оборотъ какой дѣлаешь? Км! км!

Баронъ (въ сторону). Вѣдь отлично знаетъ, скотина, что я никакихъ оборотовъ не дѣлаю. (Василію Степановичу). Да, нужно на время. Скоро получу, такъ отдамъ.

Кондрашовъ. Км! км! Я и не зналъ, что ты въ торговлю пустился. Конечно, въ торговомъ дѣлѣ нужно иногда бываетъ перехватить... Ты чѣмъ же обороты дѣлаешь?

Баронъ (про себя). Да онъ думаетъ, кажется, подшучивать? (Подымая нѣсколько голову). Нѣтъ, Василій Степановичъ, у меня въ роду купцовъ не было, и я ужь не буду начинать. А если намъ приходится платить долги, такъ долги чести...

Кондрашовъ. Км! км! Ты частенько ихъ платишь; чай, много ужь чести-то накупилъ.

Баронъ. Я въ ней не нуждаюсь. Да это такой товаръ, цѣну котораго не всѣ понимаютъ.

Кондрашовъ. Да! Вотъ мы первые не знаемъ: заплатили мы за честь породниться съ тобой полтораста тысячъ, да дочку красавицу въ приданое дали, а ты все говоришь: мало, да мало, давайте еще. А позвольте узнать: согласно съ долгомъ чести размотать женино приданое?

Баронъ. Ну, ваша дочка въ этомъ дѣлѣ не отстанетъ отъ меня: вы ей своихъ экономическихъ достоинствъ не передали, а если я ей далъ свое имя, такъ она должна подѣлиться хоть деньгами, и я полагаю, что она не въ накладѣ.

Кондрашовъ. Км! Конечно! Подѣлиться надо: у тебя много предковъ и нѣтъ денегъ, у нея предки тоже, конечно, были, да ихъ никто не записывалъ,— ну, за то кусокъ хлѣба приличный. Только вотъ ты не по ровну моталъ—ты бы хоть половину ее денегъ, да половину своихъ предковъ — а то ты все деньги, да деньги: этакъ, братъ, предки-то ужь дорого обходятся.

Баронъ (выразительно). Когда эти предки идутъ со временъ Балдуина 3-го, такъ господа Кондрашовы не могутъ никогда заплатить достаточно дорого, чтобы войти въ родство съ ними.

Кондрашовъ. Км! км! А давно жилъ этотъ господинъ Балдуинъ?

Баронъ. Да лѣтъ семьсотъ назадъ. Я думаю—порядочно?

Кондрашовъ. Помилуй, чего же еще! И въ семьсотъ-то лѣтъ со временъ Балдуина 3-го они не скопили ни гроша!

Баронъ. Да! Но это оттого, что они проливали кровь въ то время, когда другіе разливали вино!

Кондрашовъ. Гм! Вотъ, видишь—и тогда твои-то предки не отличались (показываетъ на лобъ) проницательностію, потому что ужь если проливать что нибудь, такъ все же лучше вино, чѣмъ кровь. Вотъ ты, кажется, на этотъ счетъ догадливѣе ихъ.

Баронъ. Ну-съ, оставимъ въ покоѣ моихъ предковъ, положимъ—ваши... если только они были у васъ... гораздо благоразумнѣе...

Кондрашовъ. Чтожъ ты думаешь, я изъ земли что ли выросъ: все, братецъ, какіе ни на есть, да были!

Баронъ. Ну, изъ земли или *воды*—оставимъ вашу

родословную, — я пріѣхалъ просить васъ: можете вы мнѣ дать пять тысячъ или нѣтъ?

Кондрашовъ. Нѣтъ... баронъ! Я полагаю, что честь родства съ ки... ки... съ господиномъ Балдуиномъ... достаточно ужь окупилась, и я хочу васъ покорнѣйше просить дочь мою своимъ молодствомъ не терзать и не посылать ее выпрашивать у меня денегъ-съ. Да, господинъ Балдуинъ, довольно-съ! У нея еще домъ остался, который вы, къ счастію, заложить не можете, ибо купчая у меня, и если вы этимъ не ограничитесь и будете мотать и должать на ея счетъ, потому только, что ваши предки кровь проливали, то я вынужденъ буду жаловаться, и найду дорогу повыше...

Баронъ. А, такъ вотъ вы какъ нынче! Вамъ ужь родство со мной не нужно и вы проложили дорожку повыше! Хорошо-съ, посмотримъ—кто кому поклонится! Только, надѣюсь — не я буду въ потерѣ, если моя нога и нога жены не будетъ въ этомъ домѣ.

Кондрашовъ. Жену не смѣешь не пускать, не смѣешь дочь не пускать къ родителямъ! а что касается до тебя, такъ безъ этой чести обойдемся. Нынче (вынимаетъ изъ кармана газету и хлопаетъ пальцами по ней) дѣлаютъ россійскими баронами не только тѣхъ, кто кровь проливалъ, но и честныхъ русскихъ купцовъ, которые до нея никогда касательствъ не имѣли.

Баронъ. А, такъ вотъ оно что! Ужь не задумали ли вы сами въ бароны? Баронъ Кондрашовъ—это безподобно! Это великолѣпно!

Кондрашовъ (обиженно, но скромно). Чтожъ! и мы тоже приносили пользу отечеству и не мало ему доставляли рессурсовъ. Какъ знать, можетъ быть и наши заслуги сочтутся.

Баронъ. Ахъ вы, феодалъ!

Кондрашовъ. Ну, я самъ не бранюсь и другимъ бранить себя не позволю! Старъ я и достаточно уважаемъ для этого! Счастливо оставаться, господинъ Балдуинъ. (Уходитъ).

Баронъ. Онъ вѣдь думаетъ, что я его браню! (Пожимаетъ плечами). Прощайте, баронъ Кондрашовъ... до непріятнаго свиданія... и надѣюсь оно будетъ не скоро. (Останавливается). А чтобы всѣ черти побрали это мѣщанское животное! Теперь онъ, пожалуй, въ самомъ дѣлѣ заберетъ въ свою глупую голову, что можетъ сдѣлаться барономъ, и не будетъ въ грошъ ставить родство со мной. Однакожъ, завтра срокъ: гдѣ взять денегъ? Старуха дала бы, да у самой нѣтъ... (Думаетъ). Кажется, супруга моя питаетъ склонность къ Панкратьеву, хоть бы въ этомъ убѣдиться, тогда я бы заставилъ ее вытребовать у родителя. Развѣ у Эмиліи попытаться еще? Попробую. (Въ дверяхъ сталкивается съ Кондрашовой).

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Баронъ и Кондрашова.

Кондрашова. Ахъ, здравствуй, Жоржъ! Куда ты?

Баронъ. Спѣшу. Извините, некогда.

Кондрашова. Два слова. Скажи мнѣ, другъ мой: какіе есть законы насчетъ... ливреи...

Баронъ. Какой ливреи?

Кондрашова. Да вотъ, хотѣла бы я сшить своимъ людямъ, да не знаю, какого цвѣта имѣемъ мы право сдѣлать жилетъ, какого — фракъ, и тамъ остальное...

Баронъ. А! вы хотите ливрею для новаго баронскаго дома? Она шьется по цвѣтамъ въ гербѣ, а такъ какъ въ вашемъ будетъ, вѣроятно, полуштофъ въ морѣ сивухи, такъ вы съ этимъ и соображайтесь. (Уходитъ).

Кондрашова. Что онъ тутъ наболталъ! Вѣрно мужъ ему отказалъ въ деньгахъ! (Въ отчаяніи). Боже мой, да къ кому же прибѣгнуть! Господи, вразуми меня! (Складываетъ руки).

(*Занавѣсъ падаетъ*)

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Внутренняя красиво убранная комната въ домѣ Кондрашовыхъ. Мягкая мебель. Много зелени. Освѣщена въ полсвѣта. Слѣва входъ въ домашнія комнаты, справа въ кабинетъ. Вмѣсто задней стѣны колонада сквозь которую видна малиновая гостиная, ярко освѣщенная. По сторонамъ колонадъ драпировка и съ лѣвой стороны между колонъ устроена загородка.

Прислуга зажигаетъ свѣчи.

ЯВЛЕНІЕ I.

Входитъ **Ерыпдиковъ** съ **женою**. (Прислуга, зажигающая свѣчи, смотритъ на нихъ съ усмѣшкой).

Ерыпдиковъ. Никакъ раненько мы пришли.

Ерыпдикова (одѣта въ розовомъ платьѣ, съ смѣшнымъ уборомъ на головѣ). Раненько? Я думаю раненько, коль свѣчки еще не зажигали! а все ты: идемъ да идемъ!

Ерыпдиковъ. Да по мнѣ бы ужь поскорѣе отдѣлаться! Антоша, отпусти меня!

Ерыпдикова. Какъ же это я останусь одна? какъ это глупо! Этакъ меня, Богъ знаетъ, за кого могутъ принять.

Ерыпдиковъ. Ну, за кого тебя примутъ?

Ерыпдикова. Не знаешь свѣтскихъ приличій, такъ молчи. А вотъ лучше бы, пока гостей-то нѣтъ, зашелъ къ Василію Степановичу, да поговорилъ о дѣлѣ.

Ерыпдиковъ. Чего говорить-то! Хотѣлъ просить пай въ откупахъ, а съ новаго года и откуповъ не будетъ. Мѣста хотѣлъ просить, а вонъ что Горскинъ пишетъ.

Ерыпдикова. Да, вотъ умные-то люди какъ дѣлаютъ: балы здѣсь задаетъ, а тамъ откупную сумму

не вноситъ! А у него еще, чай, есть изъ чего взносить. Я вотъ говорила тебѣ тогда, какъ недоборъ пошелъ: не вноси ничего;—такъ нѣтъ! Э-эхъ! ты, скорбная головушка!

Ерындиковъ. Ну! будетъ ужь.

Ерындикова. Чего будетъ! Вотъ теперь и сюда, почитай, по пустякамъ съѣздили. Однако ты не отставай отъ Василья-то Степановича: вѣдь это они тебя втравили, такъ все помочь должны; у него еще есть изъ чего.

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и **Кондрашова** (дворецкому).

Что, все ли готово? Велите покурить еще, чѣмъ-то непріятно пахнетъ. (Поводитъ носомъ. Видитъ Ерындиковыхъ и возводитъ глаза къ небу). Господи! за что ты гнѣваешься на меня! (Ерындиковой). Ахъ, здравствуйте, милая!

Ерындикова. Здравствуйте. Мы немножко рано, кажется; да вѣдь надо кому нибудь и первому пріѣхать.

Кондрашова. Ничего. Только я боюсь — вамъ скучно будетъ, у васъ нѣтъ никого знакомыхъ. Ахъ знаете что: вотъ мы здѣсь устроили драпировку для Ѳеоктисты Гавриловны,—оттуда черезъ окно всю анфиладу видно,—такъ вы бы туда къ ней пошли, и ей бы веселѣе было, и вы бы все видѣть могли.

Ерындикова (обидясь). Нѣтъ! Извините! Я не привыкла за перегородкой сидѣть! Насъ Василій Степановичъ звалъ въ гости, а не въ шкапъ запрятать.

Кондрашова. Да какъ хотите милая,—я для васъ же. Я очень рада. Только гдѣ это, милая, вы себѣ такой уборъ купили: нынче не носятъ ихъ.

Ерындикова. Помилуйте! на Гороховой первая модистка сказала, что это очень модный и подбирала къ моему лицу.

Кондрашова. Ахъ, милая, обманула она васъ. Не хотите ли, я вамъ изъ своихъ дамъ.

Ерындикова (въ сторону). Вотъ очень нужно старушечій-то! (Ей.) Нѣтъ ужь позвольте мнѣ при своемъ авантажѣ остаться: какой ни на есть, да мой.

Кондрашова (пожимая плечами, но сдерживаясь.) Ну, какъ угодно. Такъ не хотите ли пока къ Ѳеоктистѣ Гавриловнѣ хоть сходить, и когда соберутся, такъ выйдите. (Ерындикову.) А вы бы къ Василію Степановичу. (Тотъ молча уходитъ.)

Ерындикова. Пожалуй, схожу. (Въ сторону.) Вишь, гордячка, какъ принимаетъ гостей-то! за перегородку хотѣла! Ну, да хорошо, я тебѣ подпущу жука: ты у меня не будешь манкировать (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ III.

Кондрашова (одна). Вотъ, насилу уговорила супруга балъ дать, а согласился, такъ и тутъ не радость: вонъ какихъ уродовъ пригласилъ. Да еще первые забрались, и всѣмъ въ глаза бросаются. Опять, хотѣлъ родительницу свою въ платьѣ-то мѣщанскомъ въ гостиную вывести. Да ужь я придумала здѣсь нарочно для нея драпировку сдѣлать, чтобы оттуда она черезъ окно могла гостей видѣть. Иванъ! (является дворецкій) Отложи фруктовъ получше въ корзину, да отошли завтра отцу Пансію. Да пожалуйста въ буфетѣ самъ побудь, и если будутъ требовать слишкомъ много вина, такъ какъ нибудь замѣшкайся, вѣдь у насъ эта негодная молодежь не церемонится—пожалуй, еще напьются, да скандалъ сдѣлаютъ! Обо всемъ-то я должна сама позаботиться. Баронъ дуется на насъ и не ѣздитъ, и жену-то едва отпускаетъ; а ужь про муженька и говорить нечего—у него все хорошо: ему вотъ ничего этакихъ уродовъ приглашать! Да посмотрѣть еще на свою-то: она тоже мастерица рядиться. Фиса! Фиса! (голосъ за кулисами: Сейчасъ, Глафира Петровна, бантикъ пришиваю.) Что-то — будетъ ли княжна Анна Макаровна, да графиня Ольга Ивановна? Обѣщались, да не вѣрится что-то мнѣ... (Съ жаромъ.) Пріютъ основала на свой счетъ, чтобы съ ними познакомиться: такъ нѣтъ! визитъ отдали, а ни сами не ѣздятъ, ни къ себѣ не зовутъ. Хоть бы сегодня ихъ Господь послалъ!

ЯВЛЕНІЕ IV.

Тѣ же и **Фиса** (въ бѣломъ платьѣ, съ бантами и огромными розанами на головѣ. Подпрыгивая.)

Вотъ и я!

Кондрашова (указывая на Фисочку.) Вотъ и эта! Мать моя, что ты это вырядилась какъ шестнадцатилѣтняя, да еще цѣлый кустъ на голову насадила! На кого это похоже! Поди, скинь цвѣты.

Фисочка (сложивъ умоляющіе руки.) Глафира Петровна!

Кондрашова. Скинь! скинь! Будетъ и одного урода — подруги твоей, что бы людей-то смѣшить, а тутъ ты еще.

Фисочка. Милая, добрая Глафира Петровна, ради Бога позвольте! Неужели и не заслужила вамъ?..

Кондрашова. Да пойми ты, что смѣяться будутъ. Вѣдь надъ моимъ домомъ будутъ смѣяться. Скинь! скинь!

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же и **Кондрашовъ** (во фракѣ). За нимъ **Ерындиковъ**

Фисочка (плачетъ). Боже мой! цвѣткомъ украсить себя не могу! Кому же я могу понравиться...

Василій Степановичъ. Фисочка, что ты это? что съ ней такое?

Глафира Петровна. Да вонъ, налѣпила какой кустарникъ на голову,—плѣнять захотѣла кого-то. Вѣдь это всѣхъ насмѣшитъ. Говорю, сними, такъ расплакалась.

Василій Степановичъ (посмѣивается). Хи-хи! То же подцѣпить хочетъ кого нибудь! А!? Зашукъ

хочется, Фисочка? Ну, скинь цвѣтокъ-то, послушай Глафиру Петровну, а мы жениха тебѣ и безъ цвѣтка сыщемъ. (Ходитъ, осматриваетъ комнаты и распоряжается).

(Фисочка бросаетъ нѣжный взглядъ на Василія Степановича).

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ же и **Викторъ Кондрашовъ**.

Викторъ. Здравствуйте, maman! Уфъ! какъ я усталъ: у насъ манежная ѣзда была.

Глафира Петровна. Бѣдненькій ты! сейчасъ пріѣхалъ?

Викторъ. Да, я съ послѣднимъ поѣздомъ. Только успѣлъ переодѣться, да закусить. А! Фисочка! здравствуйте! (Беретъ ея руку и жметъ что есть силы).

Фисочка. Ай! больно! Перестаньте, повѣса; вѣчно такія шутки.

Викторъ. Это отъ горячей любви моей къ вамъ. А славные у васъ цвѣтки на головѣ!

Глафира Петровна. Я ужь велѣла ей скинуть ихъ.

Викторъ. Скинуть?! Мама, это жестоко! Этотъ цвѣтокъ привлечетъ къ ней всѣ взоры: отъ этого цвѣтка зависитъ, можетъ быть, счастіе жизни!

Фисочка. Ну, вы насмѣшникъ!

Глафира Петровна. Поди же скинь кустарникъ-то, да скажи Адели, чтобы выходила: сейчасъ начнутъ, я думаю, сбираться. (Фисочка хочетъ идти).

Викторъ. Фисочка, постойте! Дайте мнѣ одну кадриль, если у васъ не всѣ разобраны.

Фисочка (съ тайной радостью и боязнью). Полноте шутить: вѣдь обманете?

Викторъ. Нѣтъ, честное слово не обману, только съ однимъ условіемъ: скажите, какъ ваша фамилія?

Фисочка. Вы опять за старое: что вамъ за дѣло до нея. (Хочетъ идти).

Викторъ. Постойте, постойте... Какъ же это вы живете безъ фамиліи; развѣ у вашего отца не было фамиліи? Былъ у васъ папаша, Фисочка?

Фисочка. Отстаньте, пожалуйста, несносный. (Уходитъ).

Глафира Петровна. Полно, Викторъ, оставь ее.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Тѣ же и **Кондрашовъ**, за нимъ **Ерыпдиковъ** (вертится около двери).

Глафира Петровна (мужу). Василій Степановичъ, посмотри, на кого похожи твои гости: я и съ женой-то не знаю, что дѣлать, а тутъ еще этотъ. Вѣдь если и за лакея-то его примутъ, такъ скажутъ, что прислуга скверно одѣта! (Викторъ осматриваетъ Ерыпдикова и пожимаетъ плечами).

Василій Степановичъ (усмѣхается). Ничего! А мы скажемъ, что это откупщикъ и милліонеръ изъ провинціи. Хе-хе-хе! Такъ онъ еще эффектъ произведетъ.

Викторъ. Да ты бы, папа, ему медаль хоть велѣлъ надѣть.

Кондрашовъ. Ѣм! Это можно. Павелъ Маркычъ (тотъ подходитъ), что, братецъ, у тебя нѣтъ развѣ никакой медали?

Ерыпдиковъ. Есть, да жена не велѣла надѣть: говоритъ, на балъ не надѣваютъ.

Кондрашовъ. Вздоръ, братецъ, надѣнь. Мнѣ оно нейдетъ—а тебѣ надо. Да поди ко мнѣ въ кабинетъ, тамъ мою спроси, у меня разныя есть, и поувѣсистѣе твоей-то. Надѣнь, да и приходи, посмотри! Посмотри, какіе люди у насъ бываютъ! дома будетъ что поразсказать! (Выпроваживаетъ Ерыпдикова.)

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Тѣ же и **Лакей**.

Лакей. Гости съѣзжаются. (Мужчины уходятъ.)

Глафира Петровна. Что же это Адель не идетъ? (Кричитъ:) Адель! Адель!

Адель. Иду, мама.

ЯВЛЕНІЕ IX.

Глафира Петровна и **Адель** (надѣваютъ перчатки).

Глафира Петровна (осматриваетъ ее и оправляетъ). Пора другъ мой: гости съѣзжаются.

Адель. Я замѣшкалась,—Фисочкѣ цвѣтокъ свой наколола, да Ерыпдиковой уборъ старалась поправить. Ужасно!

Глафира Петровна. И не говори! Не знаю, какъ и быть.

Адель. Я ей пониже спустила; все получше стало.

Глафира Петровна. Ну, спасибо дружокъ. А ты авантажна!.. Выходи-же. (Уходитъ.)

Адель (одна). А Алексѣя не видать! Это несносно! На заводѣ недѣли полторы пробылъ, пріѣхалъ дней пять, а всего раза два мелькомъ едва успѣла поговорить. И ни слова о женитьбѣ! А полуумный князь увидитъ, вспомнитъ и будетъ приставать. Что это за обычай у нашей молодежи: объясняются въ любви, а предложенія не дѣлаютъ, особенно, коли приданаго нѣтъ! Вотъ Анета Жижемская полгода этакъ томится, княжна Мари тоже созналась, недавно мнѣ жалуется. Въ англійскихъ романахъ — если молодой человѣкъ объясняется, такъ это значитъ — руки проситъ. А наши на любовь еще идутъ, а на женитьбу—такъ на арканѣ тащи! Конечно, это не со мной: у меня, напротивъ, не объяснясь руки и приданаго просятъ; а одинъ человѣкъ полюбилъ меня, для меня, а не для приданаго, — такъ и тотъ раздумываетъ! А я его все больше и больше люблю. Мы на это глупы: какъ полюбимъ, такъ словно снѣжный комъ подъ гору — часъ отъ часу больше и сильнѣе. Посмотрѣть, нѣтъ ли его тамъ. (Оборачивается и видитъ князя Хилковатаго.) Ну, такъ и есть!

ЯВЛЕНІЕ X.

Адель и Князь.

Князь. Спѣшилъ... спѣшилъ! прелестная очаровательная... ручку!

Адель (подаетъ ему руку). Очень рада васъ видѣть, только извините — иду встрѣчать гостей.

Князь. Одно слово! Чтожь — рѣшите? Не могу! Силъ нѣтъ ожидать!

Адель. А обѣщаніе? послѣ, князь; подождите! (Уходитъ.)

Князь. Божественна! видѣть не могу! Завтра же къ отцу!..

ЯВЛЕНІЕ XI.

Князь Хилковатый и Толстый Генералъ.

Генералъ. А! Ваше сіятельство! Я за вами гонюсь, да вы прыткій такой: хотите вистикъ?

Князь. А! ваше превосходительство! Очень радъ! радъ! а еще кто?

Генералъ. Пойдемъ, подберемъ. (Оглядывается, видитъ Ерындикова, который выходитъ изъ кабинета съ большой медалью на шеѣ. Смотритъ на него, хочетъ идти и встрѣчаетъ Виктора, проходящаго въ другую комнату.) А! здравствуйте! Это кто такой? (Хилковатый уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ XII.

Тѣ же и **Викторъ.**

Викторъ. А-а, это изъ папашиныхъ знакомыхъ, ваше превосходительство, откупщикъ изъ провинціи.

Генералъ. Богатъ?

Викторъ. Деньжищъ куча, ваше превосходительство! Накопилъ тамъ въ своей трущобѣ. (Уходитъ.)

Генералъ (Ерындикову съ пріятной улыбкой.) А вы изъ провинціи... къ намъ Питеръ посмотрѣть?

Ерындиковъ. По дѣлишкамъ, ваше превосходительство.

Генералъ. Извѣстно! къ намъ всѣ по дѣламъ! А въ карточки поигрываете? Въ вистикъ по рублику?

Ерындиковъ. Въ вистъ не играю, ваше превосходительство.

Генералъ. А во что же?

Ерындиковъ. Въ трынку, ваше превосходительство!

Генералъ. Трынка! Прекрасная игра. Въ Пензѣ все въ трынку играютъ и по большой. Ну, а здѣсь не составишь! жалко! Во всякомъ случаѣ ко мнѣ милости просимъ: мы можетъ и составимъ. Очень радъ познакомиться. (Жметъ ему руку и уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Ерындиковъ (одинъ). И видно, что добрый человѣкъ! и знатный, а нашимъ братомъ не брезгуетъ. А говорятъ—въ Петербургѣ всякій за себя только: нѣтъ, есть люди!

ЯВЛЕНІЕ XIV.

Пѣкинъ и Ерындиковъ (мимоходомъ).

Пѣкинъ. Что вы бродите, и такой мрачный, Павелъ Маркычъ?

Ерындиковъ. Спать хочется; да вотъ жена держитъ. (Махаетъ рукой и уходитъ.)

Пѣкинъ. Бѣдный Ерындиковъ! И много здѣсь эдакихъ мужей, которые являются какъ конюхъ на выводкѣ, чтобы дать попрыгать женѣ и потомъ увезти ее домой! Гм! Эта участь ждетъ и сего молодого человѣка (показываетъ на себя), если онъ соединится съ одной милой особой. И теперь я брожу, какъ душа по мытарствамъ — потому что она желала, чтобы я былъ здѣсь, и не знаю, что изъ себя сдѣлать. А она, милая, какъ рыбка въ водѣ, такъ и носится, такъ и носится! Да! вотъ, если сказать кому, что есть дѣвушка, умная, богатая и любимая, и что я боюсь и не рѣшаюсь сказать послѣднее слово, чтобы жениться на ней,— вѣдь сумасшедшимъ назовутъ! А между тѣмъ наши взгляды, наши требованія—это огонь и вода! Вѣдь надо одному изломать себя, чтобы сжиться съ другимъ. Ее ужь ни за что не измѣнишь (махаетъ рукой)—я тоже не могу, да и не хочу мѣняться. А тутъ любовь: вотъ и разсуждай.

ЯВЛЕНІЕ XV.

Тѣ же и **Адель.**

Адель. А! вотъ онъ! Я нарочно отказалась отъ этой кадрили, чтобы увидать васъ.

Пѣкинъ (подсмѣиваясь). И эта жертва вамъ дорого стоила?

Адель (качаетъ головой). Ну, мнѣ некогда ссориться съ вами! А знаете, что мои поклонники не на шутку безпокоятъ меня. Положимъ — Панкратьеву я дала замѣтить, что его искательства мнѣ непріятны, и онъ, надѣюсь, оставитъ меня въ покоѣ; но отъ князя Хилковатаго не такъ легко отдѣлаться, и я боюсь, что онъ завтра же сдѣлаетъ предложеніе. А вы знаете, что отецъ и мать будутъ этому очень рады.

Пѣкинъ. Ну, а вы?

Адель. Ахъ, Алексисъ, я вамъ говорю о своемъ горѣ, а вы подсмѣиваетесь. И что у васъ за скверная такая привычка—все уязвить какъ-бы нибудь: за это я бы васъ ненавидѣла... если бы не любила!...

Пѣкинъ. Ну, простите, дорогая моя, милая! Чтожь дѣлать, если ужь я такой. Но я долженъ откровенно поговорить съ вами. Я не рѣшался просить вашей руки потому, что боюсь—не слишкомъ-ли велика съ вашей стороны будетъ жертва. Вы привыкли, чтобы за вами ухаживали, чтобы

васъ занимали и развлекали безпрестанно; а я, во-первыхъ, слишкомъ занятъ дѣломъ, чтобы васъ сопровождать всюду, потомъ, сознаться вамъ, я тоже эгоистъ: я не люблю вашихъ веселостей, вашихъ визитовъ, выѣздовъ и баловъ, — конечно, я васъ стѣснять отнюдь не буду, но мнѣ будетъ тяжело раздѣлять ваши развлеченія,— наконецъ, по моимъ правиламъ, не захочу имъ отдаться. Сообразите все это, другъ мой. Примите также въ соображеніе разницу нашихъ состояній. Конечно, ваши родители, вѣроятно, дадутъ средства удовлетворять, хоть не въ той мѣрѣ, какъ теперь, ваши склонности — и я отнюдь не употреблю для себя эти средства, — но я къ нимъ ничего и не прибавлю. Взвѣсьте все это, и вы поймете, почему я вамъ ничего не говорилъ, и не смѣю говорить, о бракѣ: я боюсь и не хочу требовать жертвъ во имя любви.

Адель. О, гордый и неисправимый эгоистъ! Вижу вѣдь я и вашу деликатность, и ваше самолюбіе. Не бойтесь—я не буду васъ стѣснять. Я не эгоистка и не въ такой степени горда, какъ вы, но я тоже не люблю и не хочу жертвъ, — съ моей стороны тутъ и жертвъ никакихъ нѣтъ — скажу вамъ больше — я, я думаю, и неспособна приносить жертвы. Средствъ моихъ достанетъ на мои привычки, да и онѣ не будутъ такъ прихотливы, какъ вы думаете: у меня есть тоже свои планы, которые, надѣюсь, не будутъ противъ вашихъ привычекъ — устроимъ маленькій салонъ...

Пѣнкинъ. Гм... салонъ таки будетъ.

Адель. Ахъ, несносный! Но въ мою гостиную я соберу только людей замѣчательныхъ, въ ней не будетъ ни пустозвоновъ какихъ нибудь, ни барынь съ бархатными хвостами, но только умные и чѣмъ нибудь замѣчательные люди,—тутъ будутъ и ваши пріятели, — вы меня познакомите съ ними и мнѣ укажете,—надѣюсь это не будетъ противорѣчить вашимъ вкусамъ?

Пѣнкинъ. Вы хотите устроить отель Рамбулье. Чтожь! хоть въ немъ роль хозяина и не завидна, но развлеченіе само по себѣ лучше другихъ.

Адель. Послушайте, Алексѣй, мы испорчены, мы умѣемъ только тѣшить себя, но мы умѣемъ и любить. А когда любимъ, мы любимъ человѣка со всѣми его недостатками — мы и недостатки его любимъ: не коли же ими безпрестанно глаза.

Пѣнкинъ. Другъ мой, прости меня. Если въ тебѣ твое воспитаніе развило свои недостатки, то меня мои обстоятельства сдѣлали желчнымъ и нетерпимымъ; ты видишь — я тоже нуждаюсь въ снисхожденіи. Но если мы полюбили другъ друга, такъ будемъ любить. Что же? ты не боишься отдать руку такому неисправимому брюзгѣ?

Адель (подаетъ ему руку. Онъ быстро оглядывается и обнимаетъ ее. Она потомъ вырывается. Тихо.) Смотри, увидятъ!

Пѣнкинъ (озираясь). Это глупо, но это такъ пріятно съ опасностью... Но послушай—опасность есть другая: согласятся ли твои отецъ и мать?

Адель. Можетъ быть не сразу, но я надѣюсь: я помогу тебѣ и надѣюсь настоять: папа любитъ меня.

Пѣнкинъ. Другъ мой, ты такъ мнѣ дорога, что я завтра забуду все самолюбіе и рискну получить щелчекъ отъ твоего отца.

Адель (подсмѣиваясь). Какой ты великодушный... Такъ до завтра. (Расходятся. Пѣнкинъ уходитъ въ кабинетъ.)

ЯВЛЕНІЕ XVI.

Адель, Буркина, пожилая, желчнаго темперамента дама и за ней **Глафира Петровна.**

Буркина. А вы здѣсь, милая: развѣ вы не танцовали?

Адель. У меня отдѣлку оторвали. (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ XVII.

Тѣ же и **Фисочка** съ **Ерындиковой** (выходятъ изъ лѣвой двери).

Фисочка. На силу отдѣлалась. (Ерындиковой.) Теперь пора.

Буркина (Глафирѣ Петровнѣ). Кто это?

Глафира Петровна. Это такъ... изъ нашихъ мѣстъ... откупщица одна... Только деньги-то вкуса ей не прибавили.

Буркина. Богата?

Глафира Петровна. Очень!

Буркина. Познакомте меня. Она, чай, скучаетъ.

Глафира Петровна. Пожалуй; да она не интересна. (Идетъ къ Ерындиковой).

Буркина (про себя). Я у ней поразспрошу про Кондрашовыхъ-то: она, чай, всю суть знаетъ.

Глафира Петровна (Ерындиковой). Хотите познакомиться, милая? (Ерындиковой и Буркиной). M-me Ерындиковъ. M-me Буркинъ. (Тѣ здороваются и уходятъ).

Глафира Петровна (Фисѣ). Поди, скажи Феоктистѣ Гавриловнѣ—не хочетъ ли она выйдти, пока никого нѣтъ. (Показываетъ глазами на загородку). Мнѣ Василій Степановичъ уже два раза говорилъ.

Фиса. Она упрямится.

Глафира Петровна. Ну, я самого пошлю за ней, а ты ее предупреди.

Фиса (въ сторону). Боже мой, не дадутъ мнѣ въ залу показаться.

Глафира Петровна. Вотъ, хорошихъ-то мало, а эта сплетница-то таскается. Ахъ, здравствуйте, m-r Панкратьевъ. Очень рада. (Уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ XVIII.

Панкратьевъ (одинъ).

Нѣтъ! Что-то плохо клюетъ! Адель какъ-то особенно стала отдаляться отъ меня. Должно быть узнала что-нибудь про мои отношенія къ Людмилѣ. Пожалуй, та изъ ревности или въ припадкѣ откровенности и сама ей разсказала. Да и я дуракъ:

вщу у одной сестры, не разорвавъ съ другой:— ну, разумѣется, эта будетъ всячески мѣшать! Нѣтъ, надо покончить съ Людмилой. Будетъ въ эту игру играть: усталъ и надоѣло по чужимъ домамъ и женамъ волочиться! Да, пора свою завести; эти благородныя интрижки стоятъ дороже неблагородныхъ, а теперь не то что изъ имѣнія, въ имѣніе надо деньги посылать. А хорошо бы Адель-то подцѣпить; ну, а не она, такъ Капустина; та попроще, а еще богаче. Но прежде всего съ Людмилой надо покончить. Чортъ знаетъ, я нарочно и записки посылалъ и волочился такъ безцеремонно, что могъ бы кажется догадаться этотъ дуракъ-баронъ! Такъ нѣтъ! Или въ самомъ дѣлѣ на этихъ обреченныхъ мужей ужь само провидѣніе какую-то темную воду напускаетъ...

ЯВЛЕНІЕ XIX.

Панкратьевъ и **Кондрашовъ**.

Кондрашовъ. Ахъ, Александръ Петровичъ, не хотите ли покурить: въ кабинетѣ есть отличныя регаліи.

Панкратьевъ. (Уходитъ).

(Кондрашовъ дѣлаетъ знакъ женѣ, чтобы та караулила въ дверяхъ. Та появляется и ему киваетъ).

Кондрашова. Господи, того и гляди — взойдетъ кто нибудь, да и увидитъ эту старуху. За что это испытаніе на меня еще наложено.

ЯВЛЕНІЕ XX.

Тѣ же и **Фиса** осматриваетъ и затѣмъ **Кондрашовъ** выводитъ **Осоктисту Гавриловну**.

Осоктиста Гавриловна. Охъ, ужь я бы лучше не выходила: страшно что-то.

Василій Степановичъ. Ничего маменька, ничего! Какъ же вамъ не посмотрѣть на наше житье. Посмотрите, съ какими людьми хлѣбъ-соль ведемъ... Тутъ вотъ прекрасно будетъ: васъ не видать, а вамъ все будетъ видно.

Осоктиста Гавриловна. Отвыкла я въ прятки-то играть.

Василій Степановичъ. Такъ не хотите ли выдти въ гостиную? я очень радъ.

Глафира Петровна (услыхавъ, подлетаетъ). Коль вамъ страшно, такъ вотъ Фису съ вами посадимъ. Фиса, ступай!

Фиса (умоляючи). Глафира Петровна!

Осоктиста Гавриловна. Не надо ее: ужь я одна... (Уходитъ).

Василій Степановичъ. Ну, вотъ и прекрасно! Пусть ее—посмотритъ старуха!.. (Уходитъ. Фиса за нимъ бѣгомъ въ залу).

Глафира Петровна. Вы запритесь, пожалуйста, изнутри задвижкою, а то кто нибудь взойдетъ пожалуй. (Пробуетъ). Ну, слава Богу, приперла! Заперла бы я ее и отсюда, да нечѣмъ! (Уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ XXI.

Значительный чиновникъ, худой, геморроидальный, плѣшивый; за нимъ траверсомъ его **Подчиненный**.

Значительный чиновникъ. Чортъ ихъ проситъ давать эти вечера, да приставать, чтобы пріѣзжали: скука смертная.

Подчиненный. А правда-ли, ваше превосходительство говорятъ, что онъ несостоятеленъ оказывается?

Значительный чиновникъ. Да они всѣ несостоятельны: наддали напослѣдокъ изо всѣхъ силъ, и теперь лопаются, какъ пузыри. И чортъ бы съ ними—откуповъ больше не будетъ, да хоть вечеровъ-то бы не дѣлали...

Подчиненный. Да одни ли вечера, ваше превосходительство? А какову нѣмку-то держитъ Кондрашовъ! Сегодня, ваше превосходительство, катитъ по Невскому: коляска—лодкой, пара сѣрыхъ удивительная, сама въ соболяхъ, а ноги въ саняхъ выше кучера подняла.

Значительный чиновникъ. Ну, скоро имъ конецъ: провалятся! (Уходитъ въ кабинетъ).

ЯВЛЕНІЕ XXII.

Княгиня Мухрабакаева, молоденькая, черненькая, подъ руку съ молодымъ **Кондрашовымъ**.

Княгиня. Вотъ здѣсь прохладнѣе, сядемъ.

Викторъ. Уфъ, какъ я усталъ! Сегодня у насъ манежная ѣзда была.

Княгиня. Васъ только и занимаютъ, что лошади, да танцовщицы.

Викторъ. Онѣ, по крайней мѣрѣ, не стѣсняютъ.

Княгиня. За то и вы только и годны стали, что для ихъ общества, а чуть съ порядочными женщинами—ужь вамъ и скучно. Дрянь вы стали.

Викторъ. Ха-ха-ха! Но, вы видите, я съ вами не скучаю, я для васъ дѣлаю исключеніе, и вы для меня тоже должны его сдѣлать.

Княгиня. Ну, какъ же! фатъ! (Видитъ входящую Ерындикову, а въ дверяхъ появляется молодой человѣкъ изъ азіатскаго конвоя). Что это за лица встрѣчаешь у васъ?

Викторъ. Это отецъ всякую дрянь зазываетъ.

Ерындикова. Какъ здѣсь скоро все расходится. Я только что шепнула, что Кондрашовъ прекратилъ взносы, а ужь теперь всѣ говорятъ. А еще за сплетни бранятъ нашу глушь. Да у насъ бы въ три дня такъ не разошлось. (Со вздохомъ). Нѣтъ, и тутъ далеко намъ до столицы.

Викторъ. Не дадутъ поговорить. Да постойте—я ихъ выпровожу. Эй, восточный человѣкъ. (Азіатецъ проворно подходитъ).

Ерындикова. Какой красивый мужчина!

Викторъ. Видишь эту барыню, князь? Милліонерша и мужъ дуракъ, пріѣхала въ Петербургъ поразвлечься. Хочешь, познакомлю?

Князь. Ахъ, пожалуйста.

Викторъ (подводя князя). Позвольте представить вамъ князя Чепчичупадзе.

Ерындикова. Очень рада.

Князь (предлагаетъ ей идти подъ руку).

Ерындикова. Нѣтъ, извините—я ужь тамъ пойду.

Князь. Въ маскарадахъ бываете? (Уходятъ).

ЯВЛЕНІЕ XXIII.

Входитъ **Молодой человѣкъ изъ посольства** съ англійскимъ пробором и pince-nez, чопорный, осматриваетъ съ презрѣніемъ, но безъ дерзости, за нимъ рыжій молодой человѣкъ на прекрасной дорогѣ **Фонъ-Гельзингфорсъ** весь изъ почтительности; кланяется выгибая спину, какъ сѣдлистая лошадь и опуская кольцомъ руки. **Благовоспитанная Барышня**, увидавъ молодежь, покидаетъ подругу и идетъ курочкой къ княгинѣ.

Барышня. Я не видала княгини... (Подруги между собою смѣются).

Викторъ. Ну отъ этихъ не отдѣлаешься. (Уступаетъ мѣсто барышнѣ).

Барышня. Bonsoir, madame la princesse.

Княгиня. Bonsoir, милая. Садитесь-ка (Барышня садится и все время пріятно улыбается).

Викторъ (члену посольства). Bonsoir cher Vicomte! (Тотъ киваетъ ему и уходитъ).

Фонъ-Гельзингфорсъ (почтительно кланяется чиновнику, который ему киваетъ; потомъ почтительно кланяется княгинѣ).

Княгиня. А, здравствуйте M-r Гельзингфорсъ. Не правда ли скучно?

Фонъ-Гельзингфорсъ (кланяется). Oui, madame la princesse.

ЯВЛЕНІЕ XXIV.

Генералъ и за нимъ по пятамъ Ерындиковъ.

Генералъ. Видно скучно бѣдному—все за мной ходитъ (Ерындикову). А что вы, безъ дѣла?

Ерындиковъ. Совсѣмъ безъ дѣла, ваше превосходительство.

Генералъ (беретъ его подъ руку и таинственно). Что, говорятъ у нашего-то милаго хозяина дѣла-то скверны?

Ерындиковъ. Скверны, ваше превосходительство.

Генералъ. Жаль, жаль бѣднаго. Ну да вы поможете: вы вѣдь другъ другу помогаете.

Ерындиковъ (удивленно). Гдѣ мнѣ, ваше превосходительство, я самъ три года какъ разорился, да и мнѣ не помогаютъ.

Генералъ (бросая его руку). Какъ?

Ерындиковъ. Изъ министерства не могу выручить залоги. Не пособите ли, ваше превосходительство?

Генералъ (отворачиваясь). Ахъ, подлецъ! обманулъ меня. (Видитъ Фонъ-Гельзингфорса, почтительно кланяющагося). А, Фонъ-Гельзингфорсъ!

Гельзингфорсъ. Oui, votre excelence... (Уходитъ почтительно съ генераломъ).

ЯВЛЕНІЕ XXV.

Тѣ же и Петя Горошкинъ.

Горошкинъ. Княгиня, слышали вы, что съ нашимъ-то хозяиномъ случилось.

Княгиня. Что такое?

Горошкинъ. Лопнулъ!

Княгиня. Да я его сейчасъ видѣла: онъ ходитъ, какъ ни въ чемъ не бывало, и очень веселъ.

Горошкинъ. И все-таки лопнулъ.

Княгиня. Быть не можетъ.

Горошкинъ. Клянусь, лопнулъ! Совершенно лопнулъ! спросите кого угодно.

Княгиня. A! quel horreur! Эти мѣщане какъ разбогатѣютъ, такъ они ужь до того на все напустятся, что наконецъ лопаютъ. Ахъ! фи!

Горошкинъ. Да онъ лопнулъ въ переносномъ смыслѣ, княгиня, т. е. собственно откупъ его лопнулъ, а не онъ. Понимаете: ses affaires ont crevées.

Княгиня. A! Ну такъ вы такъ бы и сказали. (Слышна музыка за сценой).

Горошкинъ. Наша кадриль, княгиня, пойдемте. (Подставляетъ ей руку).

ЯВЛЕНІЕ XXVI.

Тѣ же и Панкратьевъ (изъ боковой двери).

Княгиня. А, здравствуйте, Панкратьевъ! Гдѣ это вы пропадали?

Панкратьевъ. Да вѣдь я не танцую, такъ что мнѣ тамъ толчись.

Княгиня. Гм! А скажите, пожалуйста: отчего нынче эти дамы изъ мѣщанокъ имѣютъ больше успѣха у мужчинъ, чѣмъ женщины хорошей фамиліи?

Панкратьевъ (посмотрѣвъ на нее). Да онѣ прямѣе смотрятъ на вещи и меньше ломаются...

Княгиня (пожавъ плечами). Кто же нынче ломается!.. (Уходитъ. Благовоспитанная дѣвица идетъ за ней съ пріятной улыбкой).

ЯВЛЕНІЕ XXVII.

Панкратьевъ (одинъ, киваетъ головой на княгиню).

Панкратьевъ. Не понравилось. А самой уязвить хотѣлось. А вѣдь въ самомъ дѣлѣ мѣщанскій-то элементъ въ женщинахъ преуспѣваетъ! Кровь, что ли, въ нихъ сильнѣе, или практическій смыслъ унаслѣдовали отъ родителей, а онѣ тоже въ гору идутъ. За то про мужское-то поколѣніе нельзя этого сказать, видно, оно въ отцахъ своихъ совершило все возможное и годно только размѣнивать родительскіе капиталы. Неужто правда, что старикъ-то разорился? Этакъ за Аделью-то, пожа-

луй, нечего и ухаживать. Но что-то бѣдная Людмила будетъ дѣлать теперь! Что-то баронъ будетъ вытягивать черезъ нее...

ЯВЛЕНІЕ XXVIII.

Панкратьевъ и Людмила (входитъ быстро въ бальномъ платьѣ, но безъ брилліантовъ).

Людмила. А! Наконецъ-то! Я тебя недѣлю не видала. Ищу здѣсь и жду, а ты отъ меня бѣгаешь.

Панкратьевъ. Да ничуть не бывало, моя милая. Я курилъ въ кабинетѣ.

Людмила. Не говори мнѣ! Я вижу, что ты перемѣнился. Ты хочешь меня бросить и жениться на сестрѣ...

Панкратьевъ. А ты ее возстановила противъ меня?

Людмила. Ну, да! возстановила и буду возставливать: я тебя люблю и не допущу до женитьбы на ней.

Панкратьевъ (въ сторону). Эге! Пожалуй, сестрата и не нужна, да этакъ она и на другой не дастъ жениться: вотъ удовольствіе любви-то! Нѣтъ надо покончить! Послушай, Людмила (Беретъ ее за руку, оглядывается и отводитъ къ сторонѣ, гдѣ сидитъ старуха). Я тебя люблю, другъ мой; но мы уже не дѣти и смѣшно намъ жертвовать чувству своимъ положеніемъ: надо умѣть примирять это. Я буду съ тобой откровененъ. Я старѣю, я усталъ. Дѣла мои плохи. Мнѣ надо устроиться, пока еще я гожусь—хоть въ мужья: мнѣ надо жениться на приданомъ, непремѣнно на приданомъ. Ну, я согласенъ—не сестра твоя, — если тебѣ это непріятно,—но кто нибудь иная, а все жениться надо! Я тебѣ это говорю, какъ другу, и увѣренъ, что ты, какъ другъ, не только не будешь препятствовать, но, напротивъ, поможешь мнѣ. Будетъ ребячиться... Надо подумать о дѣлѣ сначала, а тамъ (съ ужимкой) и о другомъ...

Людмила. Ребячиться? Такъ это была шалость, ребячество? А-а! А я было это приняла не за шутку, я думала, что это искреннее чувство. Я ему пожертвовала домашнимъ спокойствіемъ, довѣріемъ мужа, его уваженіемъ. А знаешь-ли ты, что для этой шутки я сдѣлалась потворщицей всѣмъ мерзостямъ мужа? Ты знаешь ли, что онъ узналъ про нашу любовь, и если бы не былъ продажной душой, такъ бросилъ бы меня! Онъ мнѣ сдѣлалъ ужасную сцену, и я ему отдала свои брилліанты, чтобы заставить его замолчать и отпустить сегодня увидѣться съ тобой. Эта любовь была моя единственная отрада, цѣль жизни... Я готова была для нея жертвовать и жертвовала всѣмъ... А это было ребячество? О, какой же въ самомъ дѣлѣ я была глупый ребенокъ!.. (Закрываетъ лицо и плачетъ).

Панкратьевъ (въ сторону). Вотъ этого не доставало; да чтобы насъ увидѣли! (Ей). Людмила, это съ тобой! Другъ мой, да вѣдь ничто не измѣнилось! Вѣдь я тебя люблю по прежнему. Вѣдь это когда еще будетъ. Ну, перестань! Какой ты, въ самомъ дѣлѣ, ребенокъ: изъ одного слова и, Богъ знаетъ, какъ встревожилась.

Людмила. Да! Изъ одного слова. Да это-то слово всего тебя освѣтило. Что было для меня дѣломъ жизни,—для тебя развлеченіе!

Панкратьевъ. Ну, вотъ, — дѣломъ жизни! Дѣло жизни—какъ можно лучше прожить ее, а не портить и не отравлять изъ-за словъ. Что у васъ за страсть изъ всего дѣлать драму...

Людмила (глубоко вздыхая). Ахъ, еще грустнѣе изъ всего дѣлать водевиль...

Панкратьевъ. Да, по крайней мѣрѣ, веселѣе и здоровѣе... Я тебѣ говорю, что люблю тебя; но для чего же жертвовать этому устройствомъ дѣлъ?...

Людмила. А я жертвовала! А чтобы ты сказалъ, еслибы я предпочла тебѣ лорда Бленвиля, который въ меня влюбленъ.

Панкратьевъ. Предпочла?! Да пойми ты, что я никого не предпочитаю тебѣ. А если бы ты для устройства дѣлъ... ну, предположимъ—вышла замужъ за этотъ золотой мѣшокъ... да я бы еще помогъ тебѣ... Другъ мой, вѣдь намъ не по семнадцати лѣтъ. Ну, будь же благоразумна, и взгляни прямо на вещи... Ну, не сердись на меня и вѣрь, что я тебя люблю...

Людмила. Ахъ, не умѣемъ мы дѣлиться...

Панкратьевъ. Ну, да, съ соперницами, а не съ женой. Вѣдь и мы къ мужьямъ не ревнуемъ! Ну, такъ миръ. (Прижимаетъ ее и цѣлуетъ въ голову. Она склоняется на грудь. Въ это время за перегородкой слышно: «чихъ!» Они вздрагиваютъ и прислушиваются. Потомъ опять: «чихъ!» Людмила вскрикиваетъ. «ахъ!» и убѣгаетъ. Панкратьевъ остается и смотритъ на перегородку. Дверь отворяется и оттуда выходитъ Ѳеоктиста Гавриловна).

Ѳеоктиста Гавриловна. Чихъ!

Панкратьевъ. А! Это какая-то ключница. (Вынимаетъ бумажникъ). Чортъ возьми, послѣдняя пятидесяти-рублевая и никакой мелочи.

Ѳеоктиста Гавриловна. Чихъ!

Панкратьевъ. Экъ ее! (Ей). Вотъ вамъ, милая, и, пожалуйста, ни слова. (Суетъ ей бумажку и уходитъ).

Ѳеоктиста Гавриловна. Уфъ! задохлась было тамъ. Да выйти нельзя было, ну да эти не разскажутъ. Ну! наслушалась! Всего наслушалась и насмотрѣлась! Хороши гости, да и внучка хороша! (Смотритъ на бумажку). Смотрите-ка! пятьдесятъ серебромъ! экъ у нихъ деньги-то, видно, бѣшеныя! И этакого сумасшедшаго полюбила она! какъ тутъ не разориться! А что это они про Васю-то говорили: не можетъ быть, чтобы обанкрутился. Какъ это такую махину гостей назвать, коли дѣла плохи! Врутъ, врутъ! Ну, убираться, довольно съ меня—наслушалась всего... (Хочетъ уйдти, но останавливается). А съ бумажкой-то какъ же? (Смотритъ на нее). Да взять ее лучше: видно, у того шалопая-то много ихъ. (Прячетъ ее въ карманъ).

ЯВЛЕНІЕ XXIX.

Тѣ же **Буркина** и **Ерындикова**.

Ерындикова. Ахъ Ѳеоктиста Гавриловна! Вы вышли? (Буркиной) Это маменька Василья Степановича.

Буркина. Ахъ очень рада познакомиться!

Ѳеоктиста Гавриловна. (Сухо и степенно). Здравствуйте сударыня! (кланяется и уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ XXX.

Тѣ же и **Кондрашова** (быстро входитъ и увидавъ Буркину останавливается.)

Буркина. А я сейчасъ познакомилась съ вашей матушкой: какая почтенная старушка! (уходитъ съ Ерындиковой.)

ЯВЛЕНІЕ XXXI.

Кондрашова одна.

Глафира Петровна. Этого только недоставало! Чихала тутъ говоритъ и познакомилась съ Буркиной: теперь весь городъ будетъ знать? (съ ужасомъ пожимаетъ плечами заглядываетъ за перегородку) убралась слава Богу. А все это Василій Степановичъ! Да что это ко мнѣ съ соболѣзнованіями какими-то подходятъ, объ дѣлахъ нашихъ говорятъ да шушукаются? Не случилось ли чего? (Оглядывается и видитъ проходящаго мужа.) Василій Степановичъ! Василій Степановичъ!

ЯВЛЕНІЕ XXXII.

Василій Степановичъ и **Глафира Петровна**.

Василій Степановичъ (торопливо). Что тебѣ, мамочка?

Глафира Петровна (съ ужасомъ оглядывается и пожимая плечами) Мамочка! Что такое случилось? Что твои дѣла?

Василій Степановичъ. А! ужъ узнали! Да я взносами пріостановился... а вотъ и заговорили.

Глафира Петровна (тревожно). Василій Степановичъ,—да ты не скрывай отъ меня,—неужели мы раззорились?

Василій Степановичъ. Да нѣтъ, другъ мой. Конечно, дѣла не блистательны; такъ я на всякій случай и пріостановилъ взносами откупныхъ... Не бойся! Еще будетъ съ насъ! (Въ сторону.) Я не ожидалъ только, чтобы такъ рано заговорили. А впрочемъ, оно, можетъ, и къ лучшему. (Женѣ.) Откуда бы это могло выйти? И что именно говорятъ?

Глафира Петровна. Сама я хорошенько не знаю. Спросить бы у кого. (Увидавъ Пѣнкина.) А вотъ не знаетъ ли Пѣнкинъ? Алексѣй Иванычъ!

ЯВЛЕНІЕ XXXIII.

Тѣ же и **Пѣнкинъ**.

Пѣнкинъ. Что вы, Глафира Петровна?

Кондрашовъ. Что, братецъ, такое говорятъ тамъ?

Пѣнкинъ. Да говорятъ (поглядывая на Глафиру Петровну), что ваши дѣла по откупу... не совсѣмъ хорошо идутъ. Правда это?

Кондрашовъ (подмигивая на жену). Да, замялись: недоимка небольшая накопилась. (Въ сторону.) Пусть его думаетъ, а то онъ что-то за Аделью тово... (Да откуда это вышло?)

Пѣнкинъ. Не знаю. Всѣ говорятъ. Вѣроятно, кто нибудь изъ министерскихъ чиновниковъ это разсказалъ.

ЯВЛЕНІЕ XXXIV.

Тѣ же и **Адель**.

Адель (встревоженно). Папа, правда — мы раззорились?

Кондрашовъ. Да нѣтъ, другъ мой! Конечно, надо будетъ пожаться. Ну, да послѣ объ этомъ, послѣ. Пойдемте къ гостямъ. А ужинъ надо велѣть пораньше давать. Алексѣй Иванычъ, ты зайди завтра ко мнѣ о заводѣ переговорить. (Уходитъ.)

Пѣнкинъ. Зайду. (Въ сторону.) А вѣрно плохи въ самомъ дѣлѣ! Бѣдная Адель!

Адель (ему тихо). Такъ завтра! (Тотъ киваетъ головой и уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ XXXV.

Адель и **Глафира Петровна**.

Адель. Мама! ты встревожена? Мы раззорились?

Глафира Петровна. Не знаю, дружокъ. Ты знаешь — отецъ не говоритъ никогда откровенно о своихъ дѣлахъ. Не думаю, чтобы дѣйствительно раззорились, онъ мѣры бы принялъ. Преувеличиваютъ это.

Адель. Знаешь, мама, еще я слышала мимоходомъ—Буркина что-то говорила про бабушку. Гдѣ она? Не увидали ли ее? (Идетъ и заглядываетъ за перегородку.)

Глафира Петровна. Боже мой! Этого еще недоставало. И все это на меня! Пьютъ да ѣдятъ, да насъ же ругаютъ, да сплетничаютъ. И вся здѣсь сбродъ разный. А Анна Макаровна и Ольга Ивановна опять не пріѣхали, и я должна довольствоваться какой нибудь татарской княгиней Мухрабакаевой. Вотъ тебѣ и пріютъ! Да чтожь они хотятъ — богадѣльню что-ли имъ устроить? (Возноситъ глаза къ небу.) За что это на меня? Ахъ! тяжелый крестъ достался мнѣ...

ЯВЛЕНІЕ XXXVI.

Тѣ же и **Князь Хилковатый**, тащитъ за руку **Кондрашова**.

Князь. Несчастье? правда? А? Нельзя ли помочь?

Кондрашовъ. Благодарю васъ, ваше сіятельство. Дѣло поправимое...

Князь. Разсчитывайте какъ на друга! Не только другомъ, больше, сыномъ... сыномъ хотѣлъ бы быть... просить руки прелестной Аделаиды Васильевны... Ей я говорилъ (Кондрашову и женѣ), къ вамъ, къ вамъ теперь обращаюсь!

Кондрашовъ. Эта честь такъ велика, князь, и неожиданна... Мы очень счастливы, только вы позволите...

Князь. Знаю... Совсѣмъ не мѣсто! но не могъ! Завтра, завтра явлюсь... А теперь не время... Не мѣшаю... Такъ до завтра? позвольте надѣяться. А!? (Жметъ руку мужу и женѣ и уходитъ.) Прелестная Аделаида Васильевна, простите! Не выдержалъ. Не могу! (Слышна музыка.)

ЯВЛЕНІЕ XXXVII.

Тѣ же безъ **Князя**.

Кондрашовъ. Мамочка! а?! Вѣдь это счастье!

Глафира Петровна. Ну, слава Богу! Не все страданія ниспосылаются, иногда и великія утѣшенія!..

Адель (подходитъ). Не радуйтесь, мама: я за князя не пойду!

(Изумленіе. Сцена.)

ЯВЛЕНІЕ XXXVIII.

(Показывается мѣрнымъ шагомъ **Фонъ-Гельзингфорсъ**, подходитъ къ **Адели**, дѣлаетъ руки кольцомъ и почтительно кланяется.)

Фонъ-Гельзингфорсъ. Notre contredance, mademoiselle. (Подставляетъ руку Адели и уходитъ.) (Глафира Петровна возводитъ очи горе. Кондрашовъ, ужимая губы, смотритъ въ слѣдъ.)

(Занавѣсъ.)

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

(Сценой кабинетъ Кондрашова. Входная дверь въ срединѣ, дверь направо въ гардеробную.)

ЯВЛЕНІЕ I.

Кондрашовъ (одинъ. Сидитъ за столомъ и перебираетъ бумаги). Ну, денекъ выдался вчера: тутъ этотъ слухъ, потомъ Адель! Что это ей вдругъ въ голову вступило. Кажется, не такъ воспитана, чтобы отъ этакой партіи отказаться. И вдругъ — не пойду! Нѣтъ ли тутъ чего нибудь съ Пѣнкинымъ: подозрѣваю я что-то. Да чѣмъ она съ нимъ жить-то будетъ, какъ я имъ откажу? А дѣвка-то съ характеромъ — скверно! Ну, да впрочемъ потолковать надо: вѣдь она не глупа, да и Пѣнкинъ тоже. Гм! Кто опять это распустилъ вчера про меня этотъ слухъ? Должно быть кто нибудь изъ департамента. Почуяли, видно, что на субсидіи-то больше разсчитывать нечего, такъ и за честность! Ну, а ужь честность, извѣстно, сейчасъ какъ бы уязвить. Ужь у этого брата такая привычка: коль не беретъ, такъ укуситъ! Ну, да не бѣда: изъ этого слуха можно извлечь кое-что. Во-первыхъ, за Аделинькой — одно родительское благословеніе; барону—ни же ни! Ну, и кориету тоже поводья-то можно поубавить. Все имѣетъ свою хорошую сторону: умѣй только извлекать... (Перебираетъ письма) Вотъ и этто можно бы кой-кому отказать; вонъ ихъ сколько: тотъ проситъ, другой напоминаетъ, а кто такъ и благодаритъ. Это пріятно, когда видишь, что люди чувствуютъ твои благодѣянія. Вотъ сегодня тоже получилъ. (Звонитъ. Входитъ секретарь.) Вотъ запамятуйте. Городъ Таракановъ выбралъ меня въ почетные граждане: я ему на освѣщеніе сто ведеръ спирта даю. Лежебоковскій статистическій комитетъ избралъ своимъ почетнымъ членомъ: ну, вотъ, я и статистикомъ сталъ. А ужь географомъ, и словесникомъ и естествоиспытателемъ, и еще тамъ разными учеными (машетъ рукой) дазно состою. Да! Составьте-ка списокъ — какихъ обществъ я членомъ, и впишите въ лѣтопись о благосостояніи дома, а то и забудешь все-то. Ступайте, да пошлите мнѣ Папандопуза (Секретарь уходитъ.) Да-съ! Вотъ разные ученые люди сидятъ тамъ, да выдумываютъ: хорошо бы, дескать, составить такое-то ученое общество. Ну, и уставъ выхлопочутъ. Хвать—гдѣ двигатель-то? Гдѣ *огня* то? А оныхъ-то и нѣтъ—и къ намъ за оными! Учрежденіе какое благотворительное — опять къ намъ; пожертвованіе—къ намъ. Все мы, да мы! Вѣдь не штука придумать, да израсходовать,—нѣтъ, а вы двиньте-ка безъ насъ! Я, признаться, и не понимаю, какъ все это пойдетъ безъ откуповъ! Мы-то не пропадемъ! Мы дѣятели и предприниматели. А вотъ получатели-то, что будутъ дѣлать безъ насъ? А кто только съ насъ не получалъ! Гм! Увидимъ! увидимъ!

ЯВЛЕНІЕ II.

Кондрашовъ и Сынъ.

Сынъ. Добраго утра, папа. (Цѣлуетъ у него руку, потомъ щеку.) Фу, какъ я усталъ! Насилу ноги волочу.

Кондрашовъ. Ну, да поработалъ вчера! Поработалъ порядочно.

Сынъ. Да потомъ ко мнѣ зашло еще нѣсколько человѣкъ, и легли въ шесть часовъ. Я бы и не всталъ, да нужно съѣздить. Папа, что это вчера за глупый слухъ прошелъ? Вѣдь это вздоръ?

Кондрашовъ. Гм! гм! Ну, не совсѣмъ вздоръ. Позамялись дѣла-то. Я тебѣ гм! гм!.. хотѣлъ сказать, чтобы ты, гм! гм! понимаешь... тово... теперь я тебѣ не могу давать столько.

Сынъ. Какъ, папа? Да что же я буду дѣлать! Вѣдь не могу же я жить хуже другихъ. Послѣ этого надо изъ полка выйти.

Кондрашовъ. Ну, зачѣмъ-же! Нужно только повнутрѣе. Тамъ у тебя есть какая-то эта (вертитъ пальцами) прыгунья, ну, и сократить можно.

Сынъ. Ну, нѣтъ, папа! Какъ же это можно: вѣдь это все равно, что выѣздъ, что пародеръ! — вѣдь нельзя же безъ танцовщицы! Ужь лучше ты убавь у Луизы-то Карловны что нибудь.

Кондрашовъ. Ну... ну... вотъ ты и Луизу... Ну, что тебѣ Луиза.

Сынъ. Какъ что? Она больше моего, я думаю, тратитъ. Вѣдь у меня товарищи: тотъ князь, другой графъ. Если они аристократы по рожденію, такъ я долженъ же держать себя, по крайней мѣрѣ, какъ денежный аристократъ. Это тоже своего рода аристократія, аристократія будущности, (въ сторону) какъ Вагнерова музыка... и требуетъ поддержки.

Кондрашовъ. Ну... ну... хорошо. Гм... Денежный аристократъ... Конечно, это тоже аристократія... (Ухмыляется). Аристократія будущности...

Сынъ. А я думалъ, папочка, что ты мнѣ прибавишь. Я приторговалъ одного сѣраго рысака— обѣщалъ утромъ посмотрѣть, — такъ ты мнѣ дай на него, а то у Луизы сѣрыя...

Кондрашовъ. Ну, ну, хорошо... хорошо... Тамъ посмотрю. Да оставь ты Луизу... не люблю я...

Сынъ (цѣлуя отца въ плечо). Ну, хорошо, папочка! Молчу. Поѣду лошадь смотрѣть. (Уходитъ. Въ то же время входитъ Папандопузо).

ЯВЛЕНІЕ III.

Кондрашовъ и Папандопузо.

Кондрашовъ. Поди-ка, братъ, сюда. Поди.

Папандопузо. Что прикажете, Василій Степановичъ?

Кондрашовъ. Разсмотрѣлъ, братъ, я твои-то счеты. Прорѣшки есть! Есть прорѣшки. Не хорошо братъ плутовать-то, да благодѣтелей обманывать.

Папандопузо. Помилуйте Василій Степановичъ, осмѣлюсь ли я...

Кондрашовъ. Осмѣливаешься, братецъ, осмѣливаешься. (Смотритъ счеты). Ну, вотъ хоть бы исправнику положенное жалованье выписалъ, а тамъ у васъ чудакъ какой-то завелся, что не беретъ его.

Папандопузо (вращаетъ глазами). (Въ сторону). Какъ это онъ, чортъ, пронюхалъ? (Кондрашову). Это точно, Василій Степановичъ, что деньги не беретъ, да вѣдь это на него же идетъ-съ. Ну, не деньгами, такъ лошадку уступишь за полцѣны или тамъ собакъ свору ему досталъ, выпивку устроилъ,— вѣдь это все единственно. (Вдругъ какъ-бы спохватясь). Виноватъ, забылъ. (Съ улыбкой). Къ Луизѣ Карловнѣ заходилъ. Она поручила отдать. (Вынимаетъ розовый бантикъ и подаетъ).

Кондрашовъ. (беретъ нѣсколько смущаясь). Гм! хорошо. Да ты, братъ, мнѣ бантикомъ-то глаза не отводи.

Папандопузо. Нѣтъ-съ, помилуйте. Я только зашелъ къ нимъ сегодня, спрашиваю, порученія какого не будетъ-ли? Отдай, говорятъ, ему, да скажи чтобы заѣхалъ сегодня.

Кондрашовъ. Гм! Ну хорошо. А только все-таки изволь-ка ты мнѣ объяснить всѣ упущенія. Спроси въ конторѣ выписки изъ ревизіи, да принеси.

Папандопузо (про себя). Допечетъ каналья! Чувствую—хочетъ допечь. Напрасно и бантикъ упросилъ послать. И кто ему насплетничалъ? (Уходитъ).

Кондрашовъ (одинъ). Плутъ, шельма. А ловкій! Надо его пугнуть, а изъ рукъ выпустить нельзя. (Смотритъ на бантикъ). Вѣдь вотъ, и къ Луизѣ поддѣлался, бестія. И выдумщицы же эти нѣмки: вѣдь вотъ, бантикъ этотъ? вздоръ, а пріятно! Русская ни за что бы вамъ не догадалась прислать!

ЯВЛЕНІЕ IV.

Кондрашовъ и Папандопузо (входитъ блѣдный съ большимъ листомъ).

Папандопузо (въ сторону). Гдѣ это они все выкопали? (Ему). Помилуйте, Василій Степановичъ, это нападки-съ! Это, вотъ клянусь вамъ всѣми святыми, нападки-съ! Я по довѣренности служилъ— иныя вещи, вы сами изволите знать, въ книгу внести нельзя.

Кондрашовъ (играя бантикомъ). Ну, ну, читай. (Входитъ Глафира Петровна. Онъ поспѣшно прячетъ бантикъ въ карманъ, бормочетъ). Я сейчасъ, другъ мой, за платкомъ. (Уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же и Глафира Петровна.

Глафира Петровна (кланяется на поклонъ Папандопузо).

Папандопузо (ей). Я заходилъ сегодня къ отцу Паисію. Поручили вамъ отдать-съ. (Вынимаетъ поясъ въ родѣ крестьянскаго). Отъ всѣхъ болѣзней помогаетъ-съ!

Глафира Петровна. А! Благодарствуйте.

Папандопузо. Приказали сказать—только что на голомъ тѣлѣ носить нужно-съ.

Глафира Петровна. Ну, ну! хорошо (смотритъ на поясъ). Еще надпись какая-то выткана: вѣрно молитва. (Читаетъ медленно). Ко-го люб-лю, тому дарю. Фу вздоръ какой! (Прячетъ его).

Папандопузо. Осмѣлюсь просить, Глафира Петровна: не знаю на меня кто-то наклеветалъ Василію Степановичу. Сдѣлайте одолженіе, не дайте погибнуть! И отецъ Паисій тоже изволилъ сказать: попроси, говоритъ, ее.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ же и **Василій Степановичъ**.

Кондрашовъ (утираясь платкомъ). Вотъ и я. Здравствуй, мамочка. Ну, что Адель? (Она показываетъ глазами на Папандопузо). А ты, братъ, подожди въ конторѣ, да обдумай. (Папандопузо уходитъ).

Глафира Петровна (ему въ слѣдъ). А онъ добрый! Ты его Базиль, побереги, онъ усердный и преданный намъ!

Кондрашовъ. Гм! ну, увидимъ! А припугнуть надо. Такъ чтожъ Адель?

Глафира Петровна. Да ничего! Развѣ съ ней сговоришь? Начала я представлять резоны, а она: неужели, говоритъ, вы думаете, что скажете что нибуть новое? Все это я, говоритъ, давно знаю и обдумала! Вотъ и поди съ ней! Я думаю — нѣтъ ли тутъ какой любви, да не знаю, кто бы могъ ее сбить.

Кондрашовъ. Гм! Я самъ думаю, что тутъ тово!.. Надо будетъ мнѣ самому поговорить съ ней, пока князь не пріѣхалъ... А то что ему сказать?

ЯВЛЕНІЕ VII.

Тѣ же и **Людмила**.

Людмила. Здравствуйте, папа! Здравствуйте мама!

Кондрашовъ. Здравствуй, милочка! Здравствуй. Что ты рано поднялась послѣ бала? Да и что-то встревожена: опять чего не случилось-ли?

Людмила. Да, папа, мнѣ нужно будетъ говорить съ вами, но прежде скажите: какъ дѣла-то ваши?

Кондрашовъ. Да ничего! Уже говорилъ я—ничего! Вы о моихъ дѣлахъ не заботьтесь. А вотъ, свои-то скажи! Что опять—денегъ что-ли?

Людмила. Нѣтъ, папа. То есть если и надобны, то совсѣмъ иначе.

Кондрашовъ. А! Иначе нужны? Какъ же это иначе? Ну-ка, разскажи.

Людмила. Я, папа, имѣла съ мужемъ большой разговоръ. Я сама вижу, что этакъ продолжаться не можетъ: онъ все разстроилъ, — не можемъ же мы всегда быть на вашихъ рукахъ.

Кондрашовъ. Гм! Ты это—здраво, здраво. Только поздненько немножко. Ну, что же дѣлать?

Людмила. Я, папа, я мама, рѣшилась разойтись съ нимъ...

Глафира Петровна. Помилуй, Людмила, возможно-ли? Вѣдь онъ все-таки человѣкъ порядочный.

Кондрашовъ. Гм! Нѣтъ, это недурно бы, да какъ же это—при чемъ ты останешься?

Людмила. Чтожъ—вѣдь надо чѣмъ нибудь кончить, папа! Я, конечно, скрывала отъ васъ свою семейную жизнь, но должна сознаться, что при настоящей жизни мужа, его требованіяхъ, не можетъ быть ни любви, ни согласія, ни уваженія наконецъ.

Кондрашовъ. И ни денегъ. Гм! Денегъ не напасешься.

Людмила. У меня остается все-таки маленькое состояніе, и я могу жить скромно. За границу съѣзжу, чтобы не возбуждать толковъ.

Глафира Петровна. Да помилуй, другъ мой! Какъ же ты, съ твоею молодостью, красотой и послѣ настоящей жизни останешься съ ничтожными средствами и безъ мужа на всю жизнь?

Людмила. Отчего на всю жизнь? Конечно, я теперь объ этомъ не думаю—послѣ настоящей неудачи,—но со временемъ можно и партію сдѣлать, конечно, по разсчету: будетъ съ меня ужь любви: лордъ Бленвіель, напримѣръ, очень привязанъ ко мнѣ.

Глафира Петровна. Другъ мой, какъ же отъ мужа?

Людмила. Да вѣдь мы разведемся, мама, какъ слѣдуетъ, разведемся по формѣ. Вотъ для этого-то, папа, и нужны издержки...

Кондрашовъ. Сколько? Ты говори прямо сколько.

Людмила. Мужъ говоритъ — нужно на хлопоты пятьдесятъ тысячъ.

Кондрашовъ. И отдать ему?

Людмила. Да, папа.

Кондрашовъ. То есть, по просту, онъ отпускаетъ тебя за пятьдесятъ тысячъ!

Людмила. Если хотите, папа, оно въ сущности такъ! Но я думаю, папа, выгоднѣе ужь откупиться разомъ.

Кондрашовъ. Пожалуй, оно и такъ. Только многонько.

Людмила. Я хотѣла просить, папа, если нужно, заложить или продать домъ...

Кондрашовъ. Гм! Ну, да поторговаться, такъ, можетъ, уступитъ.

Глафира Петровна. Ахъ, Людмила! Ахъ, Василій Степановичъ! Надо бы подумать прежде: вѣдь онъ все же баронъ.

Кондрашовъ. Ну, что же баронъ! Слава Богу не все къ нѣмцамъ за ними ходить, и своихъ завели; нынче есть вотъ и русскіе бароны изъ нашего брата. А онъ, признаться, и мнѣ надоѣлъ, и дорого стоитъ... Я полагаю, что откупиться-то выгоднѣе,—только, разумѣется, поторговаться.

Глафира Петровна. Подумай, Людмила!

Людмила. Эхъ, мама: много думала! Такія рѣшенія не дѣлаются въ минуту.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Тѣ же и **Пѣнкинъ**.

Пѣнкинъ (въ дверяхъ останавливается). Виноватъ, я, можетъ быть, не во время.

Кондрашовъ. Нѣтъ, нѣтъ, Алексѣй Иванычъ, иди,—очень радъ. Мнѣ нужно потолковать съ тобой. (Женѣ дѣлаетъ знакъ). А съ ними мы кончили. (Людмилѣ). Надо уладить будетъ. Уладимъ!

Глафира Петровна. Здравствуйте, Алексѣй Иванычъ. Я вамъ не помѣшаю?

Кондрашовъ. Нѣтъ, мамочка. У насъ тутъ будутъ толки про денежныя дѣла, такъ ужь вы насъ оставьте. (Въ сторону). Лучше безъ бабъ-то. (Глафира Петровна и Людмила уходятъ).

ЯВЛЕНІЕ IX.

Пѣкинъ и **Кондрашовъ**.

Кондрашовъ. Садись-ка, Алексѣй Иванычъ! Садись, потолкуемъ. У меня, признаться, голова кругомъ: тутъ денежныя дѣла раскленваются, а тутъ семейныя еще...

Пѣкинъ. Развѣ такъ дурно идетъ дѣло?

Кондрашовъ. Погорячились мы, братецъ ты мой, на послѣдкахъ-то понатужились слишкомъ. Думали, какъ наддадимъ хорошенько, такъ не станутъ систему измѣнять. Ну, и запутались. Да оно бы не бѣда, можно бы вывернуться—условія только измѣнить, потомъ бы наверстали: а тутъ хлопъ—закрываютъ откупа-то, вотъ тутъ и вертись! А къ этому еще семейное дѣло...

Пѣкинъ. Я не позволяю себѣ вопросовъ... но вы знаете мое участіе къ вашему семейству: не случилось ли чего?

Кондрашовъ. Да случилась въ сущности вещь пріятная. За Адель посватался князь Хилковатый. Партія, что и говорить, блистательная. А ужь при теперешнихъ обстоятельствахъ это счастіе неожиданное.

Пѣкинъ (безпокойно). Ну и что же?

Кондрашовъ. Да вотъ, Адель-то, не рѣшается! Старъ, не нравится! Конечно, дѣло молодое, ну, можетъ и нравится ей кто нибудь, и я бы, конечно, ея счастью не препятствовалъ, — я братецъ самъ началъ вотъ безъ этихъ (показываетъ на брюки), такъ бѣднымъ брезговать не буду и дѣльному хорошему человѣку цѣну знаю, — да вѣдь, между нами сказать, негодятся онѣ небогатому-то человѣку. Хотѣлъ я ихъ воспитать, знаешь, по-просту, по-русски, чтобы щи умѣла варить, да хорошей хозяйкой быть. Такъ куда тебѣ!.. пенсіоны, да француженки, да англичанки... вотъ и вышли только (дѣлаетъ жестъ рукой) фить! фить! фить! Слова нѣтъ, дѣвки хорошія, неглупыя дѣвки, да, братецъ, къ шелкамъ-то больно привыкли! Ну, въ другое время это бы еще ничего, я бы наградилъ, стало бы съ нихъ, а теперь дать-то и не могу!..

Пѣкинъ. Можетъ найтись человѣкъ, который не нуждается въ приданомъ и самъ прокормитъ.

Кондрашовъ. Гм. Прокормитъ! (Ухмыляется). Кормму-то, много, братецъ, на нихъ надо! Ты меня объ этомъ, о кормѣ-то, спроси! Тутъ трудовой-то копѣйки не хватитъ. Вѣдь я своей-то дочери не врагъ! Конечно, молодые люди, съ горяча, можетъ, и не подумаютъ объ этомъ. Изъ поцѣлуевъ-то, братъ, платья-то съ саженнымъ хвостомъ не сошьешь! Вотъ, Людмила-то—ты свой человѣкъ, тебѣ можно сказать—по любви вышла, и какъ было что транжирить, такъ и мужъ былъ хорошъ, а какъ все спустили—и разводятся!..

Пѣкинъ. Какъ?

Кондрашовъ. Да! разводиться хотятъ. Положимъ, онъ свинья—да это еще и счастье, что свинья—по крайней мѣрѣ бросить не жалко,—а съ любимымъ-то только бы маялась. Хорошія, братъ, онѣ у меня дочери, слова нѣтъ, да глупость-то вотъ наша: воспитывали ихъ для тысячей, а какъ своихъ-то не будетъ, такъ и ищи тысячниковъ! А простой-то, хорошій, дѣловой человѣкъ хоть и милъ, да не годится, отъ своего счастья должны отказываться. Вотъ оно что, дурацкое-то воспитаніе!.. А тысячники-то на полу не валяются; съ нихъ ужь не спрашивай всего: и молодости, ну, и тамъ всего этого. (Дѣлаетъ молодцоватую фигуру).

ЯВЛЕНІЕ X.

Тѣ же и **Слуга**.

Слуга. Князь Хилковатый.

Кондрашовъ. А! проси въ гостиную. Я сейчасъ. Вотъ, братъ, за отвѣтомъ пріѣхалъ, а я не знаю, что и сказать! Извини... Нужно еще фракъ надѣть. (Уходитъ въ боковую дверь).

ЯВЛЕНІЕ XI.

Пѣкинъ (одинъ. Нѣсколько времени молчитъ, опустивъ голову).

Было одно препятствіе—неравенство воспитанія, непривычка къ труду и семейной жизни,—я пренебрегъ имъ: я бы пересилилъ себя и постарался съ этимъ примириться, пусть ее живетъ и веселится;—является другое — лишенія, чуть не бѣдность: это уже ей рѣшать. А если и рѣшится,—выдержитъ-ли она? Не опротивѣетъ ли ей и эта жизнь, и я самъ, какъ опротивѣетъ простой кусокъ хлѣба!..

ЯВЛЕНІЕ XII.

Пѣкинъ и **Адель** (стремительно входитъ).

Адель. А! и ты здѣсь! Какое счастье! Ты не говорилъ отцу?..

Пѣкинъ. Нѣтъ. Я хотѣлъ только, но пріѣхалъ князь.

Адель (держитъ его за руку). Тѣмъ лучше! мы вмѣстѣ... вмѣстѣ мы успѣемъ... съ тобой я смѣла и увѣрена...

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Тѣ же и **Кондрашовъ** (во фракѣ. При его появленіи они отнимаютъ руки, но **Кондрашовъ** это замѣчаетъ и пріостанавливается, потомъ идетъ и говоритъ какъ бы торопясь).

Адель. Папа! Я къ тебѣ... шла... Папа, ты любишь меня... ты меня не погубишь... Я...

Кондрашовъ. Постой, мой ангелъ! Алексѣй Иванычъ, ты другъ нашей семьи, ты знаешь Адель съ дѣтства, поговори съ ней: передай, что я тебѣ говорилъ; ты человѣкъ умный, лучше меня убѣдишь. А я отецъ! я, пожалуй, не выдержу, и изъ слабости сдѣлаю несчастье дочери. Переговори съ нимъ, Адель, обдумай, другъ мой, обдумай хоро-

нюнько еще разъ, а я пока займу князя и потомъ приду за отвѣтомъ; подумай мой ангелъ! Алексѣй Иваничъ, я тебѣ поручаю ее: дѣло идетъ объ ея счастьи, о всей ея будущности... я надѣюсь на тебя! (Жметъ ему руку, цѣлуетъ Адель въ голову и уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ XIV.

Адель и Пѣнкинъ.

Адель. Что это значитъ?

Пѣнкинъ (медленно и въ раздумьи). Это значитъ, что онъ догадался о нашей любви и... поручаетъ мнѣ самому убить ее.

Адель. Какъ?

Пѣнкинъ Да! онъ сейчасъ говорилъ о тебѣ; онъ говорилъ, что не сталъ бы препятствовать твоему браку съ бѣднымъ, еслибы былъ при другихъ обстоятельствахъ, но что теперь ты сама должна отказать.

Адель. Почему?

Пѣнкинъ. Потому, что ты бѣдности не можешь выносить, а онъ за тобой ничего не даетъ.

Адель (сурово). Какъ? Совсѣмъ ничего?

Пѣнкинъ. Да ничего!

Адель. И ты что же ему отвѣтилъ.

Пѣнкинъ. Я сказалъ ему, что найдется человѣкъ, который за приданымъ не погонится. (Адель хватаетъ его за руку и жметъ). Но онъ мнѣ отвѣчалъ, что ты такъ воспитана, что приданое не ему, а тебѣ нужно; что если ты стала бѣдна, такъ тебѣ необходимъ мужъ богатый, что только съ нимъ ты можешь быть счастлива.

Адель. Какъ! я для любимаго человѣка не могу отказаться отъ тряпокъ! О, Алексѣй, и ты это подумалъ...

Пѣнкинъ. Нѣтъ, другъ мой! Я не думалъ, что ты откажешься... Но... я подумалъ тоже: подъ силу ли будетъ тебѣ всю жизнь нести это бремя?

Адель. Ты сомнѣваешься?..

Пѣнкинъ. Я боюсь, другъ мой! Адель, ангелъ мой! Я боюсь за тебя потому, что ты мнѣ дорога. Не увлекайся благороднымъ порывомъ. Вѣдь порывъ проходитъ. Если ты не по силамъ берешь ношу, такъ она убьетъ нашу любовь, убьетъ и мое, и твое счастье! Мы стоимъ на роковомъ поворотѣ. Имѣй мужество прямо смотрѣть въ лицо судьбѣ и не обольщать себя! Не губи напрасно ни себя ни меня: Мнѣ лишенія не новость, но для тебя роскошь не только обычная обстановка, для тебя она занятіе, жизнь, необходимость! Когда я буду работать и разъѣзжать, чтобы добывать средства къ жизни, что ты будешь дѣлать одна въ небогатой обстановкѣ, можетъ, съ дѣтьми, да съ заботой о кухнѣ? Вынесешь ли ты эту жизнь? Привыкнешь ли къ ней? Твои знакомства будутъ тебѣ тогда не по средствамъ. Не позавидуешь ли ты роскоши, которая пронесется мимо тебя? Не опустишь ли ты глаза, когда твоя теперешняя подруга, вся въ соболяхъ и бархатѣ, окинетъ тебя съ ногъ до головы и покровительственно кивнетъ тебѣ? Когда тебя не узнаетъ, постыдится узнать та подруга, для которой теперь ты образецъ и предметъ зависти... Мы привыкли къ нашей средѣ. Если передъ нами роскошь и лѣнь поднимаютъ голову, мы не только смотримъ ей прямо въ лицо, мы сами еще выше поднимаемъ голову и имѣемъ право поднимать: мы сознаемъ силу и достоинство труда. Но въ тебѣ, тебѣ самой невѣдомо, есть гордость богатства; гдѣ же ты возьмешь: на что обопрется твоя гордость бѣдности?.. (По мѣрѣ того, какъ Пѣнкинъ говоритъ, Адель опускаетъ голову и плачетъ). Подумай объ этомъ, мой ангелъ. И теперь имѣй мужество и честность сказать прямо: готова ли ты выйдти за меня!

Адель (въ волненіи). Послушай, Алексѣй... можетъ, отецъ нарочно сказалъ... Не можетъ быть, чтобы онъ ничего не далъ... Можетъ быть онъ дастъ еще...

Пѣнкинъ. А!.. (Беретъ себя за голову). Ну я не виню тебя! Будь счастлива! (Жметъ ей руку и хочетъ идти).

Адель (удерживая его). Алексѣй! Но какъ же это! Я люблю тебя, вѣдь это ужасно—отдаваться этому старику... когда любишь другого...

Пѣнкинъ (холодно и съ ироніей). Отецъ и это предвидѣлъ! Онъ говоритъ, что милліонеры не валяются по улицамъ, и къ нимъ надо быть снисходительнымъ: нельзя же все—чтобы и милліонеры, да еще и молодость, и любовь...

Адель (вставая, смотритъ ему въ лицо и задыхаясь). Да?! Ну, такъ вотъ что: мы избалованы, испорчены, извращены; мы не можемъ жить безъ роскоши... мы не имѣемъ твердости отказаться отъ нея для любви,—но мы умѣемъ любить... Слушай: я не могу выйдти за тебя... но я люблю тебя... Я тебя люблю, и буду любить, что бы тамъ ни было!.. (Упадаетъ къ нему на грудь. Пѣнкинъ смотритъ на нее въ изумленіи, потомъ наклоняется къ ея головѣ, горячо ее цѣлуетъ, вырывается и уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ XV.

Адель (одна).

Адель (приходя въ себя и сурово). А! Такъ вотъ насъ готовятъ къ чему! Такъ наша роскошь не игрушка наша, а властелинъ! Мы не можемъ выйдти за того, за кого хотимъ; не можемъ жить, какъ хотимъ. Мы обречены милліону... насъ не берутъ безъ него. (Останавливается). Намъ надо продать себя, чтобы получить свободу располагать собою... А! Насъ пріучаютъ къ этому, готовятъ, свѣтъ этого требуетъ... Ну, что же! Продадимся! (Кондрашовъ заглядываетъ осторожно и озабоченно въ дверь; не видя Пѣнкина, проясняется и подходитъ къ двери).

ЯВЛЕНІЕ XVI.

Кондрашовъ и Адель.

Кондрашовъ. Ну, другъ мой, какъ ты? Обдумала? рѣшилась?

Адель. Я—согласна, папа!

Кондрашовъ. Вотъ, умница. (цѣлуетъ ее и ласкаетъ.) Вотъ, разумница! Ну, оправься, оправься немного, а то ты очень встревожена. (Машетъ Адели въ лицо платкомъ. Въ сторону.) И Пѣнкинъ умница! умница! Вообще, умная, дѣльная нынче стала молодежь! Это пріятно! (Адели.) Ну, что? оправилась? Подожди, я сейчасъ пошлю князя. (растроганный) Бѣдненькая! Будь тверда. Что дѣлать! иногда нужно и попригнуться. (Уходитъ. И въ дверяхъ) Ваше сіятельство! пожалуйте. Вотъ и сама невѣста. Мы очень счастливы, ваше сіятельство... Но дѣтей не принуждаемъ: какъ сама рѣшитъ, такъ и быть. Ужь вы извините. Не намъ, а ей жить съ человѣкомъ...

ЯВЛЕНІЕ XVII.

Тѣ же и Князь.

Князь. Аделаида Васильевна, рѣшите... Обожаю, обожаю...

Адель (не глядя). Я согласна.

Князь (цѣлуя ее руку.) Ангелъ! ангелъ! (Кондрашову). Согласна! (Обнимаетъ.) Счастливъ, счастливъ...

Кондрашовъ. И я искренно счастливъ. (Идетъ въ двери.) Жена, Глафира Петровна, мамочка, Людмила — идите всѣ сюда.

Князь (Адели.) Пылинки... пылинки не дамъ сѣсть на васъ, все... все, что хотите.

ЯВЛЕНІЕ XVIII.

Тѣ же, Глафира Петровна, Людмила и Фисочка.

Кондрашовъ. Мам... согласна! Людмила...

Глафира Петровна (обнимаетъ Адель и даетъ руку князю, который ее цѣлуетъ). Другъ мой! (Князю.) Князь, сдѣлайте ее счастливою! (Отираетъ слезы. Поздравленія Людмилы и Фисочки.)

Кондрашовъ. Ваше сіятельство, вы теперь нашъ семьянинъ, — позвольте познакомить васъ съ матушкой моей... (Глафира Петровна возводитъ на него глаза.)

Князь. Очень радъ! Очень радъ!

Кондрашовъ (ей). Ничего! (Фисочкѣ.) Фисочка, проси матушку. Она старушка простая, князь, но почтенная.

Фисочка (отрываясь отъ Адели). Бѣдная... и счастливая жертва... (Уходитъ. Въ дверяхъ показывается и останавливается Ерындиковъ. Не знаетъ, что изъ себя дѣлать.)

Глафира Петровна (Адели). Другъ мой, будь тверда. Людмила, дай одеколону. (Людмила уходитъ. Адель въ безсиліи опускается на диванъ нѣсколько въ сторонѣ. За ней ухаживаютъ.)

ЯВЛЕНІЕ XIX.

Тѣ же и Ерындикова.

Ерындикова. Позвольте и мнѣ поднести поздравленіе-съ. (Поздравляетъ всѣхъ. Людмила возвращается и ухаживаетъ за Аделью.)

Глафира Петровна. Ахъ, благодарю васъ, милая. Велите, пожалуйста, подать стаканъ воды.

Ерындикова (выходя). Вотъ служанку нашла! (Высовываетъ голову въ дверь и отдаетъ приказаніе. Возвращаясь и увидавъ мужа.) Гдѣ ты былъ? Поздравлялъ?

Ерындиковъ. Нѣтъ.

Ерындикова. А объ дѣлѣ говорилъ?

Ерындиковъ. Нѣтъ.

Ерындикова. Гдѣ же ты пропадалъ?

Ерындиковъ. У генерала былъ.

Ерындикова. У какого генерала?

Ерындиковъ. Что вчера приглашалъ.

Ерындикова. Ну, что же?

Ерындиковъ. Не пустилъ.

Ерындикова (печально качаетъ головой). Эхъ, ты! Видно самой приняться.

ЯВЛЕНІЕ XX.

Тѣ же, Ѳеоктиста Гавриловна и Фисочка.

Кондрашовъ. Ваше сіятельство, позвольте представить матушку! (Матери.) Князь, маменька, осчастливилъ насъ предложеніемъ.

Князь. Очень радъ! Прошу полюбить! Позвольте ручку. (Цѣлуетъ у Ѳеоктисты Гавриловны ручку, та его въ голову.)

Ѳеоктиста Гавриловна. Очень рада, батюшка! Прошу насъ полюбить. (Разглядывая его.) Только прости, не сердись, батюшка, на старуху, не позненько ли вздумалъ ты жениться-то, сливце бы ты мнѣ больше подъ пару?.. (Глафира Петровна ужасается.)

Князь. Хе, хе! Сердце молодо, уважаемая мм!.. Сердце молодо! Люблю! Люблю!

Ѳеоктиста Гавриловна. Ну, твое дѣло, батюшка! (Подходитъ къ Адели и въ полголоса.) Что ты это—сама, что ли, себя продаешь! (Адель машетъ рукой и бросается къ ней на грудь.) Ну, дай Богъ тебѣ счастья... (Посмотрѣвъ на князя.) Не военный, а храбрый, храбрый! (Глафира Петровна киваетъ Людмилѣ на нее головой. Та подставляетъ ей кресло и оттираетъ ее).

ЯВЛЕНІЕ XXI.

Тѣ же и Сынъ Кондрашова.

Сынъ (вбѣгая). А! Поздравляю, князь! Папа, мама, (Цѣлуется и поздравляетъ. Кондрашовъ суетится

заглядываетъ въ канцелярію и оттуда выходятъ его служащіе и Папандопузо, и поздравляютъ его. Онъ имъ велитъ остаться.)

Осоктиста Гавриловна (Людмилѣ). Ну, а ты что?

Людмила. Я, бабушка, расхожусь съ мужемъ.

Осоктиста Гавриловна (вполголоса). Къ своему-то что-ли бѣжишь?

Людмила. Къ какому своему? За мной ухаживаетъ одинъ богатый англичанинъ, и я, можетъ быть, тоже выйду за него.

Осоктиста Гавриловна. Отъ живого-то мужа?

Людмила. Эхъ! да вы не понимаете. Ужь это вездѣ давно дѣлается, пора и намъ!

Осоктиста Гавриловна. Что это за городъ такой: всѣ-то перевлюбились, да перепутались: и старые, и молодые! тьфу!

Ерындикова (толкаетъ мужа къ Кондрашову). Поздравь. (Тотъ подходитъ и кланяется.)

Кондрашовъ. Спасибо, братъ, Богъ счастье посылаетъ. Вотъ самъ видишь, — разскажи дома-то, разскажи.

Ерындикова. Нечего разсказывать-то, Василій Степанычъ, развѣ то что ѣздили непошто, привезли ничего!

Кондрашовъ (въ сторону). Гм! гм! Эта, пожалуй, тамъ наплететъ. (Ерындикову.) Отчего же не почто: свѣтъ не безъ добрыхъ людей, братецъ; для тебя я вотъ что придумалъ: откупа не будетъ, такъ я тамъ у насъ складъ заведу и тебя сдѣлаю надсмотрщикомъ. Ты мужикъ вѣрный!

Ерындиковъ (кланяется). Благодарю покорно!

Папандопузо. Вотъ тебѣ и разъ! А я на это мѣсто разсчитывалъ.

Ерындикова (тихо про себя). И этимъ надо довольствоваться.

Ерындиковъ (женѣ). Теперь домой.

Ерындикова. Мѣсто получили, такъ можно здѣсь пожуировать. Я еще въ маскарадахъ не была...

Осоктиста Гавриловна. Поѣдемте-ка вмѣстѣ по домамъ. Вася, отпусти ты и меня.

Кондрашовъ. Что это вы, маменька? И въ такой день?

Осоктиста Гавриловна. Да будетъ ужь! Полюбовалась я на твое житье. Всѣ устроились... Всего насмотрѣлась. Пора мнѣ и къ себѣ. (Василій Степановичъ цѣлуетъ у нея руку.)

Фисочка. Всѣ счастливы, одна я какъ послѣдній цвѣтокъ на вѣткѣ! (Громко вздыхаетъ.)

Василій Степановичъ (поглядя на нее.) А! Фиса! Гм! гм! Харитонъ!

Папандопузо. Что прикажете?

Василій Степановичъ. Ну, братецъ, хоть ты и тово... но для такого дня прощаю: мѣсто твое упразднится, такъ у меня есть пріискъ по Енисею: я тебя туда назначу. (Папандопузо кланяется.) А чтобы тебѣ не скучно было въ глуши-то, такъ вотъ тебѣ жена, а я за ней дамъ въ приданое пай. Согласны?

Папандопузо (въ сторону). Ужь я зналъ, что допечетъ. (Кондрашову.) Покорно благодарю, дядинька! (Цѣлуетъ у него руку.)

Фисочка (съ чувствомъ). Благодарю васъ. (Цѣлуетъ его въ плечо.)

Осоктиста Гавриловна. Ну, вотъ оно и кстати: Пузо женится на Голобрюховой.

Сынъ Кондрашова. Какъ? какъ бабушка? Голобрюхова? Фисочка, такъ вы M-lle Голобрюхова? Отчего же вы скрывали такую прекрасную фамилію?

Фисочка. Ну, теперь мнѣ все равно! Я скоро перемѣню ее. (Публикѣ.) Могла ли я думать, что я буду гречанка!

Василій Степановичъ. Ну, благодареніе Богу, потихоньку да полегоньку, а все устраивается прекрасно! И благословеніе не оставляетъ домъ мой. Могу внести въ лѣтопись, что и вторую дочь свою, Адель, выдалъ за стариннаго русскаго князя и сановника, а тамъ—какъ знать: вѣдь такъ или иначе, а мы еще послужимъ благу отечества, и можетъ быть, со временемъ внесу: «за услуги, оказанныя отечеству, такой-то Иванъ Кондрашовъ возводится съ своимъ потомствомъ... (Оглядывается. Въ дверяхъ показываются люди съ бокалами и бутылками шампанскаго. Кондрашовъ бросается къ нимъ.) Наливай и проси!

(*Занавѣсъ.*)

ПИСЬМА ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

До Берлина.

Только что расположился я давича писать къ вамъ, друзья мои, и вздумалъ подлить чернилъ въ свою походную чернилицу, какъ мой Guide-Reichard зацѣпилъ за дорожную карту, карта потащила бумагу, бумага толкнула чернилицу и остатки синихъ чернилъ нарисовали нѣчто въ родѣ Чудскаго озера на узорчатой салфеткѣ. Я началъ прибирать съ ловкостью человѣка, отъ роду ничего не прибиравшаго — и пошло еще хуже. Смотрю — кругомъ точно столпотвореніе вавилонское: книги, платье, сигары, сапоги, все именно на томъ мѣстѣ, гдѣ ему быть не слѣдуетъ и, въ заключеніе, посреди комнаты чемоданъ съ открытой пастью и перевороченной вверхъ дномъ внутренностью! Мнѣ, самому виновнику, стало гадко: но я чувствовалъ, что устроить какой-нибудь порядокъ, выше силъ моихъ; съ досады, я, надѣлъ сюртукъ, взялъ шляпу и пошелъ куда глаза глядятъ.

— Капитанъ (я здѣсь опять попалъ въ капитаны), капитанъ, прикажете подать дрожки? спросилъ швейцаръ.

— Дрожки-то, дрожки, но куда на нихъ ѣхать? Что есть сегодня?

— У Кроля музыка...

— Былъ вчера, и одного раза слишкомъ достаточно!

— Въ Königsstädtisches-Sommer-Theater...

— Богъ съ нимъ; а опера?

— Королевскій театръ закрытъ до 23-го, но въ Фридрихъ-Вильгельмштедтск... да, вотъ неугодно ли капитану взглянуть въ Berliner-Tades-Telegraph! и онъ подвернулъ мнѣ газету.

Смотрю, въ театрахъ лустшпили, изъ которыхъ половину я не пойму, а надъ другой засну. далѣе— опять неизбѣжный Кроль, съ какимъ-то тоже лустшпилемъ, далѣе Die Lager der Neusilber-Fabrik, и пошли объявленія...

— Развѣ въ зоологическій садъ...

— Капитанъ, я полагаю, опоздаетъ, потому что звѣрей запираютъ въ семь часовъ, а теперь половина восьмаго, жалостливо замѣтилъ швейцаръ.

— Такъ куда же, наконецъ? Швейцаръ пришелъ въ недоумѣніе.

— Въ Одэумъ капитанъ тоже не желаетъ ѣхать? робко спросилъ онъ.

— А что такое Одэумъ?

— А! Одэумъ безподобный садъ, обширнѣе Кроля, прекрасный оркестръ, избранная публика...

— Отлично, мой любезный Николэй, велите подать дрожки. Николэй, добродушный нѣмецъ, къ счастію моему весьма сносно объясняющійся по-французски, вышелъ на улицу, вынулъ изъ жилета какую-то свистульку, обратился лицомъ на востокъ и посвисталъ. Черезъ минуту, точно по свистку режиссера, изъ ближняго переулка тихо показалась, въ одну лошадь, четверо-мѣстная колясочка, именуемая дрожки (за чтобы такъ разжаловать ее?) и кутшеръ остановился у подъѣзда.

— Въ Одэумъ! кликнулъ Николэй, запирая дверцы. Капитанъ заплатитъ у входа пять грошей (*), тихо прибавилъ онъ въ видѣ назиданія.

Черезъ четверть часа слѣдующая картина была передо мною. На эстрадѣ павильона стоялъ извѣстный солдатъ-музыкантъ Либихъ, помахивалъ палочкой и дирижировалъ оркестромъ, большею частію также изъ солдатъ; передъ ними, какъ глазъ окинетъ, за сотнею столиковъ, одинъ возлѣ другаго, сидѣли и лѣпились чуть не одинъ на другомъ тысяча Берлинцевъ и Берлинокъ. Кто курилъ, кто пилъ, кто вязалъ чулки—но всѣ безъ исключенія пили и ѣли; ѣли что вздумается, пили пиво, подаваемое въ какихъ-то неприличныхъ стаканахъ въ пол-аршина высоты. Все рѣшительно пило, ѣло — и въ глубокомъ молчаніи слушало Моцарта! Да-съ, Моцарта и Бетговена, не иначе! Даже немногіе, толкающіеся на средней аллеѣ, и тѣ, какъ скоро оркестръ заиграетъ—всѣ останавливались и слушали. Я умылся, спросилъ пива, закурилъ сигару и сталъ слушать Моцарта.

Однакоже не смѣйтесь надъ солдатомъ Либихомъ и его оркестромъ, разыгрывающими Моцарта и Бетговена: оркестръ очень хорошъ и Либихъ пользуется здѣсь чуть ли не большей извѣстностью, чѣмъ его современникъ, химикъ. Я посидѣлъ съ часъ, потолковалъ немного съ двумя земляками, съ которыми познакомился наканунѣ (русскихъ теперь здѣсь не много), и отправился домой. Николэй подаетъ мнѣ ключъ, отпираю нумеръ—и о прелесть! благодѣтельная Фея, въ видѣ чувствительной горничной Луизы, прошла своей волшебной красной

(*) Около нашего пятналтынnаго. Зильберъ-грошъ (хотя въ немъ зильбера нѣтъ и на полушку — стоитъ съ небольшимъ 3 коп. сер.).

рукой — и все улеглось и расположилось по мѣстамъ! Я, весьма довольный, сбрасываю платье, спрашиваю чаю и пишу благополучно это посланіе, сдѣлавъ до-сихъ-поръ только одну чернильную бульку на бѣлой полотняной салфеткѣ, подостланной вѣроятно для чего-нибудь иначе на цвѣтную, уже мною надрисованную.

Однакоже я замѣчаю, что располагая писать вамъ о своемъ пути, я началъ разсказъ съ того, что пріѣхалъ на мѣсто. Это также неудобно, какъ разсказъ какого-нибудь героя о своей гибели, знавшаго напередъ, что онъ непремѣнно спасется! Хотя со мной, благодаря Бога, никакихъ гибелей не происходило, но все-таки во всякомъ путешествіи самое для меня интересное—не попадетъ ли путникъ совсѣмъ въ другую сторону, нежели куда ѣдетъ. Хоть въ другую сторону я не попалъ, но все-таки ворочусь назадъ и начну съ начала, тѣмъ болѣе, что имѣю твердое намѣреніе не говорить вамъ ни о музеяхъ, ни о картинахъ, тысячи разъ описанныхъ и нарисованныхъ, а сообщать замѣтки о физіономіи сторонъ, по которымъ буду проѣзжать (на сколько можно схватить ихъ на-лету), о тѣхъ мелкихъ особенностяхъ ежедневной жизни, которые бросаются въ глаза, смѣняются въ каждомъ мѣстѣ и дѣлаютъ привычки одной стороны странными для жителя другой, особенно для жителя своеобразной Россіи. И такъ начинаю съ далека.

Сдѣлавъ маленькій кончикъ тысячи въ двѣ верстъ, отъ Уфы до Петербурга, я засталъ Сѣверную Пальмиру въ то время, когда она дѣлаетъ свой туалетъ. Какъ бы прекрасна не была какая бы то ни было прекрасная Пальмира—будь это хоть Пальмира Аннато (*), но нѣтъ особеннаго удовольствія видѣть, какъ она моется и красится. Петербургъ рѣшительно не выносимъ въ это время. И отъ чего это, напримѣръ, Берлинъ—стоитъ себѣ чисто и щеголевато, какъ ни въ чемъ не бывало, а у насъ по мостовымъ едва можно ѣздить, потому что одна половина всегда чинится, а другая всегда никуда не годится? отчего у насъ цѣлое лѣто все красятъ, пылятъ и моютъ, ни дать ни взять въ барскомъ домѣ въ субботу на страстной. И въ эту-то пору, когда на одной сторонѣ печетъ солнце, а на другой осенній холодъ, и со всѣхъ сторонъ летятъ пыль и краска, когда боимся съѣсть что нибудь заманчивое, чтобы не получить холеры,—и боимся выйти на тощахъ, чтобы тоже не получить ее; когда всѣ ваши знакомые разъѣхались по разнымъ сторонамъ и самъ горишь отъ нетерпѣнія, чтобы тоже (какъ выразилась одна институтка) разъѣхаться, я долженъ былъ прожить въ Петербургѣ четыре недѣли, въ ожиданіи четырехъ мѣсячнаго отпуска. Но меня поставило въ крайній тупикъ совершенно другое обстоятельство.

Я привезъ съ собой, такъ называемое, родительское благословеніе въ видѣ билетовъ нашего приказа общественнаго призрѣнія, повѣривъ на-слово такъ называемому члену его, что они ходятъ вездѣ, какъ деньги. Почтенный Павелъ Ильичъ, подписывая билеты, до-сихъ-поръ находится въ этомъ пріятномъ заблужденіи! Представьте же себѣ мое положеніе, когда ни Штиглицъ, ни мѣнялы, ни коммерческій банкъ, ни мѣстный приказъ, однимъ словомъ, никакая частная или государственная денежная касса не принимала ихъ! «Да вѣдь это деньги, мои собственныя, мною положенныя въ кредитное установленіе деньги», съ горькимъ изумленіемъ восклицалъ я, какъ одинъ помѣщикъ, изумленный тѣмъ, что гость его отказался отъ пятаго блюда, убѣдительно повторялъ: «вѣдь это лапшевникъ! это вѣдь лапшевникъ». «Дѣйствительно лапшевникъ»! виноватъ, «дѣйствительно деньги»: отвѣчали мнѣ вездѣ, да ихъ надо получать у васъ, тамъ, въ Уфѣ...

Я понялъ тебя, Танталъ, сидящій по горло въ водѣ и не могущій утолить своей законной жажды (хотя моей воды было и далеко не по горло)!

Я уже думалъ, что мнѣ придется сдѣлать пріятную прогулку опять въ Уфу за деньгами: но какъ всякое обстоятельство чѣмъ нибудь да оканчивается, то и мнѣ одинъ снисходительный землякъ обмѣнялъ билеты на золото и я вышелъ изъ своего финансоваго кризиса гораздо скорѣе, нежели Турція, которой кризисъ начался ранѣе моего, а еще не кончился.

Я не имѣлъ намѣренія носить на себѣ—хоть и золотые вериги, продающіяся въ видѣ замшеваго пояса для денегъ у Барцига, и потому, оставивъ на дорогу нѣсколько золотыхъ, отвезъ остальныя въ контору Штиглица. Въ конторѣ выдали мнѣ нѣсколько бумажекъ за подписью Штиглица и на этотъ разъ, при всемъ уваженіи къ Павлу Ильичу, я полагаю, что подпись Штиглица не поставитъ меня въ такое затрудненіе, какъ его. Но тутъ вышло другое обстоятельство: Павелъ Ильичъ, обмѣнявъ мнѣ деньги на билеты, ей-ей ничего съ меня не взялъ, а въ конторѣ Штиглица съ каждаго фунта стерлинговъ убавили, по моему разсчету, копѣекъ по 15. Я этотъ разсчетъ не совсѣмъ понялъ, потому болѣе, что въ конторѣ, какъ сказали мнѣ тамъ, за промѣнъ денегъ на лондонскіе векселя ничего не берутъ и поѣхалъ вторично попросить объясненія. Не безъ досады сказали мнѣ, что тутъ не обсчитаютъ, что это уже такой разсчетъ и въ заключеніи показали денежный курсъ. Я самъ былъ убѣжденъ, что тутъ не обочтутъ, что дѣйствительно тутъ долженъ быть разсчетъ, и даже очень хорошій разсчетъ, меня разсчитали по настоящему курсу: но все-таки пожалѣю, что почтеннѣйшій и многоуважаемый Павелъ Ильичъ не пользуется никакимъ авторитетомъ на европейскихъ биржахъ!

Съ особеннымъ удовольствіемъ, въ утѣшеніе почтеннѣйшему Павлу Ильичу, могу сообщить сейчасъ прочитанное извѣстіе: Билль о присягѣ въ парламентѣ опять не прошелъ. Да! нашъ почтеннѣйшій Павелъ Ильичъ хоть и не Богъ вѣсть ка-

(*) Извѣстная наѣздница петербургскаго цирка.

кой членъ, членъ приказа, да все-таки членъ — а Ротшильда въ члены парламента опять таки не допустили.

Однакожъ я отвлекся отъ своего предмета. Деньги такъ или иначе обменѣны, билетъ болѣе или менѣе долго—выхоженъ. Это было въ понедѣльникъ. Въ среду на Любекъ мнѣ ѣхать не хотѣлось, ждать до субботы почтоваго штетинскаго парохода долго, я взялъ билетъ на вторникъ въ почтовой каретѣ до Таурогена и вечеромъ этого дня съ радостью выѣхалъ изъ Петербурга. Что вамъ сказать про первыя впечатлѣнія? Нѣмецкій элементъ, которымъ попахиваетъ и въ Петербургѣ, очень скоро началъ поражать мое русское обоняніе. Начать съ того, что за сорокъ верстъ отъ Петербурга, мнѣ подали чай (Боже! что за чай!) съ такимъ молокомъ (не говорю сливками), какимъ у насъ стѣны не бѣлятъ.

— Что это за молоко, воскликнулъ я прислуживающей чухонкѣ.

— Это не молоко, а сливки, съ увѣренностью отвѣчала она.

— Это не молоко, а вода съ мукой, возражаю я.

— Это не молоко, а только немного жидкія сливки, возражаетъ она. Однакоже видно совѣсть зазрѣла—перемѣнила.

Отсюда начинается прислуга въ юбкахъ, скверненшій чай, который подаютъ въ одномъ чайникѣ (безъ особеннаго съ водою), изобиліе пива и голоданіе. Положимъ, гдѣ нибудь въ Оренбургской губерніи знаешь, что долженъ брать съ собой провизіи на три дня—такъ и распоряжаешься. За то если достанешь щи у какого нибудь зажиточнаго смотрителя или возможность добыть стерляжью уху въ какомъ нибудь Чистополѣ или Васильсурскѣ пріятный сюрпризъ! и какими отличными кажутся и щи, и уха! А здѣсь вѣдь не русская глушь. Вѣдь это нѣмцы, вѣдь это лапшевникъ, чуть было не сказалъ я! И что за медленность въ этомъ лапшевникѣ! пріѣдешь, спросишь чаю, а чай подадутъ въ то время, когда труба кондуктора взываетъ къ отъѣзду и это продолжалось до... послѣ скажу. Упряжь тоже и тутъ же начала измѣняться, но исподволь. До этой станціи мы ѣхали четверикомъ, потомъ шестерикомъ съ форейторомъ. Тутъ подъѣхала почтовая телега тройкой, телегу привязали двумя чуть не канатами къ дышлу и мы поскакали съ почтовой тройкой впередъ! На слѣдующей станціи запрягли опять шестерикъ, но сѣлъ одинъ ямщикъ.

— Какъ же мы поѣдемъ безъ форейтора?

— Безъ фалетора! отвѣчалъ ямщикъ.

— Да какъ же такъ?

— Да ужь здѣсь такое заведеніе!

— Ну, коль заведеніе, такъ и говорить нечего!

— А вотъ подъ Нарвой, такъ и въ восемь лошадей этакъ же поѣдете!

Дѣйствительно, подъ Нарвой запрягли четверикъ въ дышло, четверикъ рядомъ впереди, переднихъ связали уздами, и только двухъ крайнихъ взвозжали и возница съ длиннымъ бичомъ отлично управлялъ восьмеркой. Да за что же я въ циркѣ деньги платилъ? А колокольчикъ прикрутили съ боку уносной къ шлеѣ!

Въ Нарвѣ, только что я вышелъ изъ кареты, какъ одинъ изъ спутниковъ предложилъ мнѣ съѣздить на водопадъ.

— А близко?

— Въ полчаса можно съѣздить!

— А какъ не успѣемъ, сказалъ я (мнѣ, признаюсь, было лѣнь). Спутникъ расхохотался. Я забылъ вамъ сказать, что это былъ молоденькій офицерикъ, недавно выпущенный изъ корпуса и ѣхавшій въ отпускъ въ Ригу: онъ, какъ Жевакинскій мичманъ, имѣлъ привычку смѣяться, когда ему покажешь хоть палецъ. Однакоже я вспомнилъ, что я не ѣду, а *путешествую*, слѣдовательно съ лѣнью, русской спутницей вообще, а моей въ особенности, надо разставаться, дѣлать нечего!

— Поѣдемте, сказалъ я.

— А какъ опоздаемъ? возразилъ онъ.

— Ну, догонимъ!

Онъ расхохотался; мы взяли пролетку и отправились.

На ближайшей дорогѣ былъ сломанъ мостъ; замѣчательно, что когда куда нибудь торопишься, всегда самая близкая дорога почему нибудь не годится. Мы спустились и поднялись какими-то буераками и черезъ четверть часа были у моста, надъ самымъ водопадомъ. Рѣка падаетъ нѣсколькими уступами по камнямъ. Я остался недоволенъ: это петергофская золотая гора въ большемъ масштабѣ, однако не выше.

— Каково? сказалъ спутникъ.

— Я ожидалъ большаго. Терекъ, послѣ дождя, сто верстъ такъ прыгаетъ. — Спутникъ расхохотался. Мы возвратились во время.

Такимъ образомъ мы ѣхали различными нѣмцами: нѣмцами эстляндскими, лифляндскими и курляндскими, а въ Виленской губерніи и жидовъ прихватили. Замѣчательно, что, вмѣстѣ съ жидами, откуда и грязь взялась, не смотря на то, что мѣсяцъ цѣлый дождя не было, и свиньи появились; у нѣмцевъ по крайней мѣрѣ чисто: у нихъ и свиньи опрятнѣе! Но къ крайнему сожалѣнію, былъ шабашъ, во всѣхъ домишкахъ горѣло по нѣскольку свѣчей—и бѣдные Ротшильды не могли выказаться во всемъ блескѣ.

Утромъ, на четвертый день, мы наконецъ пріѣхали въ Таурогенъ. Немногіе мои спутники остались по дорогѣ: уцѣлѣла только нѣмка булочница, ѣхавшая въ Тильзитъ къ роднымъ; и такъ «насъ было двое».

Пока визировали въ таможнѣ наши паспорты, нѣмка умила къ роднымъ; я пообѣдалъ и ждалъ экипажа. Почтовая карета довозитъ путешественниковъ до первой прусской станціи. Я спѣшилъ поспѣть въ Тильзитъ къ отходу кенигсбергской почты и съ нетерпѣніемъ пилъ кофе.

— Скоро ли, наконецъ?

— Готово! говорятъ.

Выхожу: стоитъ телега въ пару лошадей, заваленная разнымъ скарбомъ. Я сѣлъ, но нѣмка пришла въ негодованіе. Впрочемъ, и было отчего: чтобы сдѣлать первый шагъ въ телегу, надо было обладать болѣе нежели длинными ногами!

— Однакоже, знаете, это очень не хорошо, что насъ везутъ въ телегѣ, воскликала раскраснѣвшаяся нѣмка (на ней была бѣличья мантилья—а жаръ, хоть яица пеки).

— Однакоже, поѣдемте: не перепрягать же лошадей. Мы двинулись.

— Однакоже, знаете, это очень дурно, что вы ничего не сказали кондуктору.

— Однако, что это у васъ за бутылки? онѣ мнѣ отдавили ноги?

— Это, знаете, майская вода для лица, здѣшняя очень дурна для кожи и я ее везу изъ Петербурга. Однакожъ, знаете, это очень не хорошо съ вашей и кондуктора стороны, что мы ѣдемъ въ телегѣ и я вся запылюсь (а въ каретѣ у пей было открытое мѣсто). И такимъ образомъ она меня пилила всю дорогу: къ счастію, дорога всего восемь верстъ.

Наконецъ вотъ и рогатка. Еще разъ взяли у насъ паспорты, прописывали прописывали—и подняли шлагбаумъ: мы съ булочницей торжественно въѣхали въ прусскія владѣнія.

При въѣздѣ въ Лаугсаренъ, почтенный старичокъ, въ прусской формѣ, взялъ у насъ паспорты и указалъ на станцію. Дилижансъ въ Тильзитъ отходилъ поздно, а до отхода кенигсбергскаго изъ Тильзита, оставалось нѣсколько часовъ. При помощи булочницы, я велѣлъ приготовить себѣ экстру. Пока закладывали лошадей, я разсматривалъ висящіе по стѣнамъ, полныя, расплывшіяся и напудренныя прусскія личности; вошелъ тотъ же добродѣтельный старецъ, возвратилъ паспорты и сдѣлалъ намъ нѣчто въ родѣ исповѣди.

— Не имѣете ли табаку или сигаръ? тихо спрашивалъ онъ.

Я показалъ ему сигарочницу.

— О! нѣтъ, кромѣ этого?

— Не имѣемъ, отвѣчали мы.

— Стеариновыхъ свѣчъ?

— Не имѣемъ.

— Мануфактурныхъ произведеній (о льстецъ!?)

— Не имѣемъ!

— Такъ можете ѣхать, сказалъ старецъ.

Мы съ удовольствіемъ поднесли ему малую лепту, съ которой и въ земскій судъ не явишься—и онъ остался доволенъ.

Между тѣмъ подали маленькую жалкую каретку, поднесли мнѣ какой-то рецептъ съ разными тринкъ и иными гельдами, взяли (за 30 верстъ) пять руб. сер. и мы поѣхали. Черезъ два съ половиной часа мы переѣхали историческую рѣку и были въ Тильзитѣ. Меня подвезли къ почтамту и я распростился съ землячкой.

Извѣстно, а можетъ и невзвѣстно, что благодаря нѣкоему, давно покойному старичку фанъ-Колю, я въ дѣтствѣ говорилъ по-нѣмецки. Но поступивъ въ институтъ, гдѣ этого непріятнаго для меня языка не требовалось — я употребилъ все стараніе, чтобы забыть его, и увы! достигъ блестящихъ результатовъ. Съ этими-то средствами я вторгнулся въ Пруссію вообще и въ Тильзитскій почтамтъ въ особенности. Какъ ни бѣдны были эти средства, однако я успѣшно объяснилъ свои требованія, получилъ билетъ и черезъ часъ мы отправились.

Прусскія почтовыя кареты хуже нашихъ, но легче, уютнѣе. Напихаютъ шесть человѣкъ вмѣстѣ, всѣ закурятъ сигары и, если не задохнешься отъ духоты и дыма, то можно доѣхать,—и я дѣйствительно доѣхалъ къ утру до Кенигсберга.

Я велѣлъ вести себя прямо на желѣзную дорогу. Кучеръ здалъ мои вещи какому-то носильщику, тотъ показалъ мнѣ нумеръ на своей фуражкѣ, предложилъ мнѣ поручить ему пріобрѣтеніе билета: я далъ ему злата—и отправился въ гостинницу (въ этомъ же зданіи).

Былъ часъ восьмой утра. До отхода поѣзда оставалось часа два слишкомъ; я употребилъ сколько можно болѣе времени на приведеніе себя въ порядокъ, позавтракалъ и сталъ ждать.

Нѣтъ ничего непріятнѣе вообще, какъ ждать чего бы то нибыло, но ждать одному, въ сторонѣ совершенно чужой, гдѣ едва умѣешь объяснить свои насущныя требованія, быть отрѣшеннымъ отъ всего близкаго и не имѣть другаго занятія, кромѣ раздумыванія — положеніе и непріятное, и новое. Богъ вѣсть, чего не надумаешь въ это время. «А что, если Боже избави, сломаешь себѣ ногу или приключится что-нибудь скверное... что тогда?» И потомъ, какъ подумаешь, что вотъ я одинъ, что нѣтъ рѣшительно ни одного плеча ближняго, на которое мы всѣ такъ привыкли опираться—то становится и жутко, и отчасти пріятно: рождается сознаніе и оцѣнка собственныхъ силъ, какая-то самоувѣренность и чувство совершенно особеннаго рода, пониманіе себя не какъ гражданина, той или другой стороны, а какъ гражданина всей семьи людской, какъ человѣка...

Но заниматься анализомъ въ Кенигсбергской или какой-бы то ни было кофейнѣ, столько же неудобно, сколько и скучно. Попробовалъ было я заговорить съ прислуживающей мамзелью, но разговоръ совершенно не вытанцовывался. Къ счастью, попался мнѣ какой-то польскій Еврей, и я съ горя началъ объясняться съ нимъ (въ первый разъ въ жизни) по-польски. Къ крайнему моему удивленію, сначала все шло очень хорошо; но потомъ я отпустилъ такую фразу, что жидъ только покрутилъ головой, свѣсивъ ее на бокъ, думалъ—думалъ, и пожавъ плечами, съ прискорбіемъ отвѣчалъ:

— А то барзо злѣ, якъ не мозно разумѣть!

— Барзо злѣ, отвѣчалъ я.

И этимъ разговоръ нашъ кончился.

Кстати! Иностранцы до того привыкли слышать

Русскихъ говорящими на всѣхъ европейскихъ языкахъ, что, когда на пути въ Кенигсбергъ я пересѣлъ въ другую карету, то кондукторъ сбился съ ногъ, искавши пропавшаго англичанина, ему говорили, что Русскій въ другой каретѣ, но онъ не вѣрилъ, что я Русскій потому что я не говорилъ по нѣмецки и продолжалъ усердно искать англичанина; оказалось все-таки, что англичанинъ былъ я. Въ другой разъ, когда говорилъ съ сосѣдомъ по-французски, другой нѣмецъ съ иронією замѣтилъ ему: «Я увѣренъ, что этотъ господинъ говоритъ и по-англійски: русскіе на всѣхъ языкахъ говорятъ.»

Это мнѣніе весьма лестно, но къ сожалѣнію, я не оправдалъ его. Безспорно, весьма пріятно, а еще болѣе полезно, знать нѣсколько языковъ, но увы! справедливо и то, что большая часть нашихъ маленькихъ Мецофантп занимаются чужими языками въ ущербъ собственному.

Мы ѣхали съ поспѣшнымъ поѣздомъ и ѣхали скоро, зато опять голодно. На станціяхъ нѣтъ ничего кромѣ бутербродовъ. Въ одномъ мѣстѣ, по дорогѣ, еще не готовы два моста, пассажиры высаживаются и ѣдутъ въ почтовыхъ каретахъ около четырехъ миль часа три. При этомъ дается полчаса на обѣдъ; достаточно, чтобы кой-какъ пообѣдать, но на столѣ стояли, какъ у насъ, для завтрака котлетки и какая-то дрянная рыба, чуть ли не щука; за то пивомъ хоть прудъ пруди.

Безпрерывная дорога истомила меня. Я проспалъ Штетинъ и ждалъ съ нетерпѣніемъ Берлина. Наконецъ, часу въ пятомъ утра, на шестой день выѣзда, мы пріѣхали.

Несмотря на раннее утро, Берлинъ уже поднялся, а въ гостинницахъ всѣ были на ногахъ. Какой-то служитель взялъ у меня билетъ, добылъ чемоданъ и положилъ его на козлы коляски. Я назвалъ первый попавшійся мнѣ на глаза въ моей книжкѣ Hôtel-Impérial и отправился. Въ бранденбургскихъ воротахъ меня остановили и спросили: нѣтъ ли со мной говядины! Я готовъ былъ поклясться, что у меня нѣтъ ее и въ желудкѣ. Знаменитая unter den Linden, съ своимъ широкимъ бульваромъ и тѣнистыми липами (впрочемъ, я не знаю, дѣйствительно ли это липы), тянулась передо мною. Коляска остановилась у воротъ, закрытыхъ съ обѣихъ сторонъ стеклянными дверями, уставленныхъ внутри цвѣтами и образующихъ такимъ-образомъ прохладную комнату и я, наконецъ, былъ на первой моей походной дневкѣ.

Но о Берлинѣ, до слѣдующаго письма. Настоящее было прервано разными осмотрами, поѣздками и переѣздками. Я теперь — далеко уже отъ Берлина, пью воды, купаюсь въ разныхъ дрязгахъ и тороплюсь закончить это посланіе.

Франценсбадъ. $^{13}/_{24}$ іюля 18.. г.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Берлинъ.

Желалъ бы я знать, кто тотъ первый пустозвонъ, который пустилъ въ ходъ мысль отдыхать отъ трудовъ въ путешествіи? Да! путешествіе, друзья мои, трудъ, да еще трудъ не малый! Путешествія спѣшнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ добросовѣстнаго, внимательнаго, особенно путешествія, о которомъ надо писать пріятелямъ, я не пожелаю своему лѣнивому врагу. Вы устали съ дороги, не спали ночь и пріѣхали на три дня въ столицу. Вмѣсто того, чтобы отдохнуть, вы развертываете своего руководителя, справляетесь куда ѣхать и что осмотрѣть, нащитываете двадцать предметовъ и, несмотря на погоду — будь это тропическій жаръ или ливень — отправляетесь осматривать. Нельзя не отправиться! Во-первыхъ, есть предметы, которые можно только видѣть въ понедѣльникъ отъ 11-ти до 2-хъ, другіе только во вторникъ отъ 3-хъ до 5-ти час., и нельзя отложить до завтра того, что лѣнь сдѣлать сегодня! да наконецъ, просто совѣстно не видѣть того или другаго, когда неизвѣстно, будешь ли имѣть случай еще разъ это видѣть; а на все и про все — три дня времени — больше никакъ нельзя, не разстраивая плана поѣздки! И вотъ вы ѣздите съ утра до вечера, смотрите на картину, изображающую разрѣзанный красный арбузъ, и пѣтуха, повѣшеннаго за голову, и на статую какого-нибудь тощаго Франциска въ коротенькой шинелькѣ, храбро стоящаго подъ дождемъ, съ открытой головою; смотрите дрянной мостъ, удивлявшій всѣхъ двѣсти лѣтъ назадъ, и поле сраженія, на которомъ засѣяна капуста, — смотрите иногда только затѣмъ, чтобы сказать: «Этаго не стоитъ видѣть.» А какъ не видѣть! Ну, если пропустишь замѣчательную вещь? Одинъ англичанинъ, протаскавшись нѣсколько лѣтъ по Европѣ, вздумалъ, наконецъ, отдохнуть на родинѣ. Его встрѣчаютъ друзья и пріятели; посыпались разспросы. — Ну, а замѣтили ли вы, спрашиваетъ одинъ, передъ храмомъ Петра точку, съ которой всѣ колонны маскируютъ одна другую? — Нѣтъ, не замѣтилъ! — Какъ же это? Это очень замѣчательно! Очень жаль, что вы этого не видали! Это чрезвычайно интересно! посыпалось со всѣхъ сторонъ. Англичанинъ понурилъ голову, подумалъ, подумалъ и отправился опять въ Римъ, нашелъ извѣстную точку, постоялъ на ней и дѣйствительно убѣдился, что колонны маскируютъ одна другую.

Это результатъ многихъ вещей, видѣть которыя вмѣняется въ обязанность путешественнику. Постоишь, посмотришь и только убѣдишься, что дѣйствительно такой-то предметъ стоитъ на своемъ мѣстѣ. Дѣло въ томъ, что путешествіе есть наука и наука не легкая, изучать которую всякому приводится, большею частью, на счетъ собственныхъ боковъ и кармана.

Берлинъ былъ для меня, какъ и для большей

части русскихъ путешественниковъ, первымъ городомъ, въ которомъ чувствуешь себя совершенно туристомъ и нетвердыми стопами начинаешь ту безконечную прогулку по музеямъ, галлереямъ, памятникамъ и пр., и пр., которая растянулась по длинѣ всей Европы. Тутъ, особенно для Русскаго, начинается совершенно новая жизнь: жизнь безъ собственной подушки и хозяйскихъ хлопотъ, условія рѣшительно непонятныя въ глубинѣ Россіи.

Было еще очень рано, когда я основалъ свою квартиру въ хорошенькой комнатѣ моей гостинницы, т. е. рано по нашему: здѣсь встаютъ и ложатся ранѣе, и въ 7-мъ часу утра весь домъ уже былъ на ногахъ. Я спросилъ чаю и напередъ приготовилъ себя къ принятію кой-чего въ родѣ микстуры; съ особеннымъ удовольствіемъ встрѣтилъ весьма порядочный напитокъ, закурилъ сигару и, раздумывая о предстоящихъ моей любознательности эстетическихъ наслажденіяхъ, смотрѣлъ съ любовью на кровать. Взошелъ лакей, чтобы убрать подносъ, посмотрѣлъ на меня вкрадчиво и спросилъ:

— Не прикажете ли прислать къ вамъ дѣвушку?

— Мой любезный, я очень усталъ! отвѣчалъ я.

Лакей скрылся.

Черезъ нѣсколько минутъ кто-то робко постучался въ дверь и вслѣдъ за моимъ разрѣшеніемъ влетѣла мамзель, сдѣлала на походѣ мнѣ книксенъ, бросилась къ постели и въ минуту начала производить съ ней разныя извѣстныя ей метаморфозы. Я только смотрѣлъ и любовался, какъ все живо вертѣлось, переставлялось и являлось въ ея рукахъ.

— Готово! сказала она. Присѣла на походѣ и скрылась.

По ея уходѣ, я началъ разсматривать ея произведеніе и знакомиться съ моимъ хозяйствомъ. Эта рогулька на подставкѣ должна, кажется, служить для снятія сапогъ; попробовалъ рогульку, сначала не ладилъ съ ней, но теперь, послѣ мѣсячной опытности, отдѣлавшись двумя синяками на ногахъ, нахожу ее довольно сносной. Мраморный столъ для умыванья прекрасенъ, но способъ самоумыванія представляетъ непріятную дилемму или умывать лицо въ чистой водѣ не мытыми руками, или чистыми руками мыть его въ грязной водѣ. Раздумывая объ отстраненіи этого неудобства и сожалѣя, что нашъ крестьянскій или татарскій умывальникъ не извѣстны нѣмецкой домовитости, я легъ, и о, ужасъ! въ несноснѣйшій жаръ, который начинаетъ пробираться въ комнату, мнѣ предстоитъ одѣться чѣмъ-то въ родѣ пуховика! Я принялся его анализировать, вытащилъ изъ его внутренности толстое одѣяло и выбросивъ его, подъ чистымъ мѣшкомъ успокоился въ первый разъ подъ сѣнью чужаго неба.

Разъ, сидя у одного пріятеля, проживающаго въ своей родовой Шугаевкѣ, я хотѣлъ закурить сигару.—Гдѣ у тебя спички? спросилъ я. — У меня нѣтъ спичекъ! отвѣчалъ онъ. — Какъ же это ты обходишься безъ нихъ? Положимъ, что со временъ бандероля ихъ надо покупать подъ полой, но все-таки...—Да я не вижу въ нихъ никакой надобности!—Ну, а если, напримѣръ, надо огня?.. — Ну, такъ что-жъ! Ванька! крикнулъ онъ, подай огня! Вошелъ Ванька и подалъ огня. — «Вотъ видишь, сказалъ пріятель, не нужно ни тянуться за спичками, ни вонять сѣрой, ни сердиться, когда онѣ не зажигаются. Я рѣшительно не вижу надобности въ спичкахъ»!

Конечно, съ точки зрѣнія моего пріятеля, всегда будешь чувствовать отсутствіе собственнаго Петрушки при одинокомъ путешествіи, потому что хотя и можно, если совѣсть не зазритъ, позвонить для того, чтобы велѣть подать себѣ спички съ другаго стола, но отъ дивана до звонка часто дальше, нежели до спичекъ, и потому «разсчетъ будетъ потерянъ», какъ говаривалъ другой мой пріятель. Но это отсутствіе не такъ чувствительно, какъ кажется сначала, а напротивъ, довольно выгодно, потому что здѣсь роли нашего барина съ домашнимъ слугою должны перемѣниться: барину надо будетъ доставать билетъ для слуги въ вагонѣ, барину надо позаботиться, чтобы слуга не прозѣвалъ гдѣ-нибудь на станціи, чтобы онъ былъ сытъ и помѣщенъ такъ, что, собственно говоря, пришлось бы болѣе служить барину, чѣмъ слугѣ, котораго нельзя и послать даже за чѣмъ-нибудь. Здѣсь, вмѣсто этихъ неудобствъ, вы въ дорогѣ заботитесь только о собственной персонѣ, а пріѣзжая на мѣсто, находите огромную дворню, дворню вѣжливую, предупредительную, смотрящую вамъ въ глаза, чтобы получить за это на водку. Въ самомъ дѣлѣ, у рѣдкаго изъ насъ въ деревнѣ есть въ распоряженіи такая огромная дворня, какъ здѣсь. Оберъ-кельнеръ, заботящійся вообще о вашемъ спокойствіи, кельнеръ для услугъ, лонъ-лакей для посылокъ, гаусъ-мейстеръ для чистки сапогъ, платья и переноски тяжестей, швейцаръ для справокъ и пріема, и наконецъ горничная для постели! Я только считаю тѣхъ, которыхъ вы видите, которые служатъ вамъ лично и, занимая въ счетѣ мѣсто подъ рубрикою Services, въ чаяніи движенія кошелька, провожаютъ васъ въ экипажъ, когда ударъ въ колоколъ возвѣщаетъ о вашемъ отъѣздѣ. Прибавьте еще невидимую фалангу поваровъ, прачекъ и кухарокъ и согласитесь, что вамъ служитъ огромная дворня!

Любознательность хороша, но свое здоровье важнѣе. Первымъ дѣломъ моимъ было узнать адресъ доктора, къ которому я былъ адресованъ. Я думалъ, судя по Петербургу, что это мнѣ представитъ затрудненія. За неимѣніемъ другаго, я сообщилъ свои опасенія швейцару. Николэй раскрылъ книгу, посмотрѣлъ въ нее и сказалъ: — докторъ Ромбергъ живетъ за арсеналомъ № 1-й, не угодно ли капитану отправиться къ нему послѣ обѣда: онъ принимаетъ отъ 4 до 6 часовъ.—Не правда-ли, какъ это удобно! извольте-ка у насъ отъискать доктора и узнать, когда онъ принимаетъ!

Справившись съ планомъ и увидавъ, что знаменитый музей стоитъ не далеко, я спросилъ о дорогѣ и вышелъ на столь извѣстную Unter den Linden, на которой стоитъ мой отель. Впрочемъ, куда бы вы ни поѣхали, а все очутитесь «Подъ Липами»: это нашъ Невскій проспектъ и полагаю не уже его, только посрединѣ широкій бульваръ съ четырьмя рядами деревьевъ, дѣйствительно ли все липовыя—не ручаюсь. Улица, въ самомъ дѣлѣ, очень красивая, но бѣднѣе Невскаго: въ ней нѣтъ такихъ богатыхъ, какъ у насъ, магазиновъ.

Я уволю васъ отъ описанія стараго и новаго музеума: старый замѣчателенъ аллегорическими фресками, въ которыхъ, какъ значится въ указателѣ, «четыре эпохи цивилизаціи изображены въ видѣ четырехъ временъ года и четырехъ частей дня». Но если бы подъ смертной казнью мнѣ велѣли догадаться объ этомъ, то ручаюсь, что я бы прямо попросилъ лишить меня живота. Гораздо интереснѣе новый музей. Его роскошная постройка напоминаетъ внутреннею отдѣлкою эрмитажъ. Я долго оставался въ египетскомъ отдѣленіи; жизнь или, лучше сказать, смерть давно умершаго народа, его таинственная, обставленная загадками и роскошью смерть—была вся передо мною. Эти фараоны и рамзаи, которые какими-то смутными миѳами остались въ памяти, стоятъ съ своими пріятно согнутыми носами, изваянные изъ порфира тысячи лѣтъ назадъ, стоятъ посреди сфинксовъ, боговъ и жрецовъ, посреди гробницъ, мумій человѣческихъ и звѣриныхъ, посреди всѣхъ украшеній и принадлежностей своей жизни, взятыхъ изъ земли и могилъ. Вотъ великолѣпная каменная гробница: она пустая, но рядомъ лежитъ вынутая изъ нея деревянная разкрашенная кукла, на подобіе муміи: она растрескалась и изъ нея торчитъ, обернутая въ тряпки, почернѣвшая нога дѣйствительной муміи. Вотъ еще женская мумія; можетъ быть, это была какая нибудь знаменитая и навѣрно богатая красавица; вотъ серьги, кольца и ожерелья, которыя носила она, вотъ кошка, съ которой можетъ быть играла, вотъ слезница, въ которую падали слезы хоронившихъ ее поклонниковъ... и все это теперь почернѣло и окостенѣло!—А вотъ можетъ и поклонникъ твой—«кто ты такой», чуть не спросилъ я другую большую мумію, «воинъ или жрецъ, а можетъ и король»? Я пощелкалъ мумію по носу—деревяшка-деревяшкой, и интересно, и гадко, и возмутительно! Нѣтъ! хорошо что мы, простые смертные, умираемъ разъ и хорошо умираемъ, и не выставятъ насъ въ какомъ нибудь будущемъ европейскомъ музеѣ въ Египтѣ, показывать почтенной публикѣ ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 12-ти до 2-хъ часовъ утра.

Я едва успѣлъ во время къ общему столу. Обѣдаютъ здѣсь рано: въ часъ, въ два. Блюдъ перемѣнъ семь, каждая въ два, въ четыре кушанья, всего по немногу, разная зелень на блюдечкахъ, съ разнымъ мясомъ на другихъ и разное мясо или рыба съ разною зеленью, и все довольно плохо! Вотъ раки, вмѣсто рыбы. Помните, какъ ѣдали мы ихъ? Подадутъ блюдо, гора-горой! и сейчасъ на каждой тарелкѣ образуется своя горка и пошла работа; проработаютъ съ полчаса, иной вытретъ пальцы солью, иной обольетъ ихъ квасомъ, а тутъ хозяинъ скажетъ: «не прикажете ли еще, вѣдь это не кушанье, а такъ—развлеченье» и слуга снова подвертываетъ развлеченье: нельзя отъ раковъ отказываться. «Развѣ парочку еще», скромно прибавитъ гость и зацѣпитъ пятокъ, а пятокъ клещами еще за собой уронитъ — и опять работа. Вотъ это раки! А тутъ подали на десять человѣкъ щетомъ одиннадцать раковъ: я и не бралъ, изъ-за чего пачкаться! «То ли дѣло у насъ въ Ново-троицкомъ»! говоритъ мнѣ одинъ москвичъ. «Правда, за одну порцію заплатишь почти столько, сколько здѣсь за весь обѣдъ, да за то ужъ и порція! Одолѣйте вы порціи три, такъ ужь и распускай жилетъ, самъ едва встанешь, а на животѣ хоть зорю бей, что твой турецкій барабанъ»!

— Скверненькаго по немножку, отвѣчалъ я.

Нѣтъ ни какой возможности осматривать многое одному: васъ нестерпимо одолѣетъ скука и апатія; какъ-то тяжело и туго воспринимаются впечатлѣнія, которыми не съ кѣмъ подѣлиться. Въ этомъ положеніи я пробылъ въ Берлинѣ дня два. Спутникъ, съ которымъ мы вмѣстѣ предполагали исколесить Европу; былъ усланъ въ Крейцнахъ, другіе, которыхъ я поджидалъ въ Берлинѣ, еще не пріѣхали. Я скитался одиноко по заведеніямъ Тиргартена: пилъ пиво, курилъ сигары — и скучалъ. Тиргартенъ огромный и прекрасный паркъ, въ которомъ пропасть разныхъ увеселительныхъ заведеній, въ родѣ нашихъ Излеровъ и Боргезе. Въ одно послѣ обѣда я отправился въ зоологическій садъ (тоже въ Тиргартенѣ). Тамъ, среди животныхъ, собранныхъ со всѣхъ странъ свѣта, я встрѣтилъ и земляковъ—сибирскихъ медвѣдей. Они стоятъ отдѣльно, но гораздо счастливѣе ихъ другіе медвѣди, помѣщенные въ такъ называемомъ медвѣжьемъ рвѣ. Мальчикъ, съ корзиной хлѣба, за нѣсколько грошей начинаетъ бросать имъ кусочки: всѣ они поднимаются на лапы и съ удивительнымъ искусствомъ ловятъ подачку, ни одинъ кусокъ не упалъ на полъ. Мнѣ грустно было смотрѣть на огромнаго, одинокаго африканскаго льва, лежащаго въ углу своей большой клѣтки. Онъ не принадлежалъ къ разряду животныхъ, испорченныхъ цивилизаціей, животныхъ интересановъ, которые, завидѣвъ кусочекъ сахара или хлѣба, подходятъ къ рѣшеткѣ и подставляютъ морду. Подъ вліяніемъ послѣ-обѣденнаго жара, левъ лежалъ въ какой-то безвыходной апатіи. Мнѣ было его глубоко жаль. Если здѣшніе лошади защищены закономъ отъ побоевъ, за что же томить этого несчастнаго царя звѣрей въ заточеніи! Впрочемъ, какъ подумаешь о томъ; какъ поступаютъ англичане съ Аудскимъ королемъ — такъ и ко льву будешь равнодушенъ. То ли дѣло обезьяны! Ихъ садятъ штукъ двадцать въ одной огромной проволочной бесѣдкѣ. Какое

веселье, игры, драка и бѣготня. Какая эквилибристика по канатамъ, дереву и стѣнамъ. Я съ полчаса простоялъ передъ ихъ клѣткой и обойдя весь садъ, опять зашелъ къ нимъ. Всѣ здѣшнія рѣдкости отличаются не столько количествомъ и качествомъ, сколько умомъ и смысломъ расположенія. Это впечатлѣніе произвелъ на меня особенно музей, гдѣ наглядно знакомишься съ рожденіемъ и развитіемъ искусствъ, съ жизнью народовъ. Тамъ, напримѣръ, не говоря уже о египетскомъ отдѣленіи, въ этнографическомъ цѣлыми группами одѣяній, оружія, палатокъ, моделей домиковъ, рисуется вамъ вся обстановка жизни различныхъ отдаленныхъ народовъ: для обращика не забыта и татуированная голова какого-то краснокожаго воина. Зоологическій садъ расположенъ такъ, что вы безъ проводника обойдете всѣ предметы, не пропустивъ ни одного и не возвращаясь два раза къ пройденному: только посматривайте на указательные столбы съ номерами на каждомъ перекресткѣ.

Наконецъ, въ одно утро ко мнѣ взошелъ или, лучше сказать, забѣжалъ мой жданный петербургскій пріятель. Мы едва обмѣнялись нѣсколькими фразами.—Ну что? откуда? когда? куда? Мы сейчасъ ѣдемъ въ Потсдамъ, были вы тамъ? — Нѣтъ еще!—Хотите вмѣстѣ?—Сдѣлайте милость!

Я взялъ шляпу и мы отправились.

Въ одинъ день я съ моими спутниками осмотрѣлъ болѣе, нежели въ три предъидущихъ. По желѣзной дорогѣ мы черезъ полчаса были въ Потсдамѣ; взяли коляску, т. е. по здѣшнему дрожки—проводника, который обязался къ 8-ми часамъ вечера показать намъ все занимательное; позавтракали такой кашей изъ буліоновъ, фруктовъ, пироговъ и пятій, что сами разхохотались счету и отправились. Цѣлое утро ходили мы по дворцамъ и садамъ Потсдама и Санъ-Суси, смотрѣли комнаты, столы и чернильныя пятнышки, сдѣланныя Фридрихомъ Великимъ, и съ уваженіемъ къ просвѣщенному покровительству нынѣшняго короля, остановились въ простыхъ комнатахъ, занимаемыхъ Гумбольдтомъ, когда онъ пріѣзжалъ сюда отдыхать и трудиться надъ Космосомъ. Отъ пестраго ряда золотыхъ, серебряныхъ мраморныхъ и раковинныхъ залъ (впрочемъ не поразительныхъ) остается въ памяти какая-то неясная смѣсь, совершенно притупляется всякое чувство вниманія къ роскоши, и равнодушно, и лѣниво смотришь вокругъ и слушаешь женщинъ, въ родѣ экономокъ съ связкою ключей, которыя служатъ вмѣсто нашихъ камеръ-лакеевъ и чичероне и передаютъ васъ съ рукъ на руки. Одна изъ нихъ оказалась настоящимъ сердитымъ цербероиъ: не позволяла намъ идти впередъ, когда намъ не хотѣлось слушать ее монотонную болтовню, не позволяла садиться, когда мы уставали. Чувство нашего неудовольствія еще увеличивали безобразные валеные башмаки, которые намъ велѣли надѣть, чтобы не портить, совсѣмъ не драгоцѣннаго мозаичнаго пола. Въ нижнемъ этажѣ мы еще довольно удачно выдѣлывали па съ родѣ катанья на коньяхъ въ извѣстной оперѣ, но когда пришлось всходить на лѣстницу, туфли рѣшительно грозили паденіемъ, и я кончилъ тѣмъ, что потерялъ свои, къ великой злобѣ сердитой бабы. И вотъ результатъ осмотра: войлочные туфли поражаютъ болѣе всего.

Знаменитый фонтанъ тоже далеко не удовлетворилъ насъ: онъ далеко не производитъ впечатлѣній нашего петергофскаго Самсона, не говоря уже объ великолѣпной обстановкѣ послѣдняго! Во-первыхъ онъ бьетъ не сплошной массой, а трубой, пустой внутри и разлетающейся брызгами на верху а не великолѣпнымъ поворотомъ, который составляетъ, по моему прелесть фонтана; во-вторыхъ онъ поднимается паровой машиной: паромъ можно и не такъ поднять воду! Мы дали нѣсколько грошей и онъ въ нашу честь поднялся выше! Въ этомъ случаѣ — Самсонъ современнѣе: онъ для всѣхъ равенъ.

Заѣзжали мы и въ русскую колонію Александровку; архитектура избъ такая же русская, какъ солдатскіе домики на желѣзной дорогѣ: это двухъ-этажныя маленькія дачи въ русскомъ вкусѣ. При въѣздѣ русская надпись съ числомъ дворовъ, на воротахъ фамиліи: Иванова, Павлова и проч., но едва ли одинъ изъ Ивановыхъ понимаетъ хоть слово по русски. Есть небольшая деревянная церковь (S'adresser au pope, какъ сказановъ въ guid'ѣ). Хорошо если бы всѣ наши деревни походили на эту. Недалеко оттуда, пруссаки съ гордостью показываютъ историческую мельницу*), которой мѣстное положеніе прекрасно: но одна вещь плѣнила насъ; это мраморная статуя королевы Луизы, Рауха, въ такъ называемомъ Мавзолѣе: кажется, она не умерла, а уснула; сквозь ткань покрова поразительно просвѣчиваютъ и выдаются окружности ея тѣла, особенно ступней. Бѣлизна мрамора и полуосвѣщеніе заставляетъ забывать, что видишь статую, а не умершую красавицу, и какой-то благоговѣйный трепетъ пробѣгаетъ по жиламъ. Вотъ муміи, которыя мы должны оставлять по себѣ будущимъ поколѣніямъ: для этого нужны геніальные Раухи!

Мы какъ разъ во время воротились на станцію и вечеромъ еще успѣли быть въ музеѣ, но совсѣмъ другаго рода Museum, kolosseum и пр.—это легкіе балики, которымъ добродушные нѣмцы даютъ такія великолѣпныя имена. Отыскивая эти заведенія, мы заѣхали въ Odeum, о которомъ я говорилъ въ прошедшемъ письмѣ. Тамъ былъ концертъ и огромное освѣщеніе. При свѣтѣ сотенъ газовыхъ рожковъ и подъ звуки музыки, берлинцы по обыкновенію пили пиво и ѣли. Вдругъ поднялся шумъ, хлопанье, толпа хлынула къ аллеѣ, кто взобрался на стулъ, кто на столъ. По срединѣ

*) Фридрихъ II хотѣлъ купить эту мельницу, но хозяинъ не соглашался. Король, наскучивъ его отказами, сказалъ, что если онъ не хочетъ продать ее, то онъ отниметъ. На это хозяинъ отвѣчалъ извѣстной фразой: «А развѣ у насъ нѣтъ каммергерихта? (судъ въ Берлинѣ).»

аллеи двигалась процессія. Ее открывали нѣсколько полицейскихъ солдатъ. За ними шли по-парно въ какихъ-то древнихъ костюмахъ, въ родѣ оперныхъ воиновъ, нѣсколько человѣкъ съ фонарями на палкахъ: за ними огромные носилки, на которыхъ лежалъ какой-то паша и у ногъ его наштукатуренная одалиска. Паша и одалиска были освѣщены бенгальскимъ огнемъ. Съ зади штукъ двадцать масокъ въ видѣ гиганта и огромныхъ головъ, надѣтыхъ на мальчишекъ: этотъ сюрпризъ доставилъ большое удовольствіе публикѣ.

Но пора, пора далѣе! Докторъ послалъ меня въ Франценсбадъ. Прямая дорога идетъ на Лейпцигъ, но пріятели мои ѣхали въ Дрезденъ на нѣсколько дней и подзывали съ собою, а какъ я не имѣю установленнаго плана поѣздки и возвращенія, то боясь, что Дрезденъ послѣ будетъ далеко отъ пути, я охотно согласился. Я поднялся въ 5 часовъ утра. Гаусмейстеръ уложилъ мои вещи въ чемоданъ, вынесъ его въ дрожки, и когда я вышелъ, и хозяинъ и вся прислуга были уже на ногахъ и проводили меня. Въ половинѣ 7-го мы съѣхались на станціи желѣзной дороги, а въ 12 уже стояли передъ сикстинской мадонной!

Дрезденъ и Саксонія.

Путь отъ Берлина до Дрездена, при всѣхъ натяжкахъ guid'a не представляетъ ничего замѣчательнаго; если незамѣчательны поля, воздѣланныя какъ огороды, и луга, чистые и гладкіе, какъ наши газоны; если не замѣчательны спокойный и умный трудъ и общее довольство: нѣтъ ни одной живописной разваливающейся избушки, но много прочныхъ, незатѣйливыхъ, но чистыхъ домовъ; у станціи Пристельвицъ не далеко отъ Дрездена дорога проходитъ туннелемъ. Странное смущеніе овладѣваетъ вами, когда вы вдругъ изъ яркаго солнечнаго свѣта погружаетесь въ совершенный мракъ и среди этой тьмы мчитесь съ огромной быстротою. Конечно, это длится одну, двѣ минуты, но минуты эти кажутся необыкновенно длинны, точно вдругъ ослѣпнешь и какъ что-то тяжелое отляжетъ отъ сердца, когда начнешь отличать стѣны и тотчасъ же затѣмъ опять выѣдешь на полный свѣтъ.

Таможень на дорогѣ нѣтъ и только замѣтивъ желтый, канареечный свѣтъ мундировъ на саксонскихъ кондукторахъ, смѣнившій синій—прусскій, догадываешься, что находишься въ другомъ государствѣ.

Мы пріѣхали въ Дрезденъ въ 1-мъ часу, сѣли въ коляску (опять дрожки), положили вещи въ другую и назвали какую-то гостинницу. Черезъ нѣсколько минутъ кучеръ на ѣздѣ наклонился, протянулъ руку какому-то господину, всунулъ ему монету, тотъ всунулъ ему бумажку—и мы въѣхали на знаменитый дрезденскій мостъ, за проѣздъ черезъ который берется небольшая плата. Мостъ былъ удивителенъ въ то время, какъ его построили: теперь, когда строительное искусство сдѣлало такіе гигантскіе шаги, онъ просто дрянной старый мостъ, да еще и черезъ дрянную рѣку. Дрезденъ — совсѣмъ въ другомъ родѣ, но понравился мнѣ не менѣе Берлина. Берлинъ въ полномъ смыслѣ прекрасный, чистый, новый, европейскій городъ, съ прямыми и широкими улицами и садами. Дрезденъ выше, уже, потѣснѣе и погрязнѣе, но имѣетъ своеобразную красоту. Берлинъ, это свѣтскій, изящно одѣтый молодой человѣкъ. Дрезденъ весьма порядочный, почтенный господинъ, не оставляющій однако своего высокаго галстуха и брыжей на манишкѣ. Архитектура его лучшихъ зданій не готическая, но та, что мы называемъ растрелліевской. Что составляетъ его прелесть, это то, что въ немъ чувствуешь себя еще свободнѣе, чѣмъ въ Берлинѣ; кажется, что вы совсѣмъ не въ столицѣ, а въ своемъ уѣздномъ городѣ, въ которомъ вдобавокъ городничій вашъ пріятель.

Дома узкіе, высокіе, въ пять-шесть этажей, черепичныя вогнутыя крыши еще выше, и въ нихъ въ два, въ три ряда еще окна, въ родѣ слуховыхъ, и тамъ живутъ! Здѣсь въ первый разъ попадаются въ нижнихъ этажахъ то выпуклые, то какіе-то рябые, точно плачущіе или покрытые дождемъ стекла: сквозь нихъ проходитъ свѣтъ, но ничего не увидитъ любопытный глазъ. Едва мы заняли комнаты и узнали, что знаменитая галлерея еще около часу остается отворенною, мы не смотря на проливной дождь, бросились въ нее. Наша гостинница не вдалекѣ отъ зданія Цвингера. Одинъ изъ моихъ путниковъ зналъ дорогу и мы чрезъ нѣсколько минутъ, порядочно вымоченные, вбѣжали на усаженный апельсиновыми деревьями дворъ Цвингера и потомъ въ галлерею.

Я готовъ по нѣскольку часовъ любоваться хорошей картиной, но когда вашему эстетическому вкусу предлагаются тысячи хорошихъ картинъ, одна возлѣ другой—вкусъ немедленно притупляется или, лучше сказать, становится необыкновенно взыскательнымъ: картинныя галлереи производятъ то же впечатлѣніе, какъ богатство дворцовъ: становишься холоденъ ко всей роскоши обстановки или таланта. Но дрезденская галлерея составляетъ блистательное исключеніе. Не смотря на то, что мы имѣли, на первый разъ, какіе-нибудь полчаса времени и спѣшили увидѣть перлъ ея — сикстинскую мадонну, почти пробѣгая мимо ряда замѣчательнѣйшихъ картинъ, невольно останавливаешься какъ прикованный къ мѣсту и стоишь, не желая оторваться, когда вдругъ бросаются въ глаза созданія въ родѣ св. Цециліи — Дольчи, Мадонны — Гольбейна, св. Магдалины—Баттони или Корреджіо. Наконецъ, и сикстинская Мадонна Рафаэля! Комната, въ которой стоитъ она, посвящена ей одной: да и что же можно помѣстить возлѣ нея! Мы молча сѣли напротивъ на скамейкѣ—и только шопотомъ говорили: чудно! чудно! Что меня поразило въ ней, это типъ лица: такъ онъ новъ, такъ непохожъ на типы всѣхъ лицъ, которыя ви-

дали на другихъ картинахъ: это не красавица, но небесный ликъ, согрѣтый какою-то внутреннею, духовною красотою. Видно что передъ вами стоитъ св. Дѣва: именно дѣва. Впрочемъ, говорить объ этой картинѣ безполезно. Я только хотѣлъ сказать,—и желалъ бы повѣрить, производитъ ли это созданіе на другихъ русскихъ то же впечатлѣніе, какъ на меня, что типъ лица Мадонны (разумѣется за исключеніемъ выраженія, ему приданнаго) мнѣ показался чѣмъ-то знакомымъ, роднымъ, нашимъ сѣвернымъ славянскимъ типомъ. Съ моей стороны это никакъ не патріотическое увлеченіе! но мягкій овалъ лица, этотъ тихій взглядъ, этотъ вогнутый носъ, русые волосы — я не знаю ни въ еврейскомъ, ни въ греческомъ, ни въ итальянскомъ или другомъ европейскомъ типѣ.

Было два часа, галлерею закрывали и мы воротились прямо къ какому-то скверному винегрету. Погода была также въ родѣ винегрета, и я утомленный переѣздомъ, раннимъ пробужденіемъ и галлереей, бросился на постель и хотѣлъ вспомнить доброе деревенское послѣ обѣда, когда наѣвшись гречневой каши со щами, ляжешь съ книгой въ рукѣ и проснешься, какъ разъ къ чаю.

— Что это вы хотите дѣлать? воскликнули мои спутники. — Спать, господа, непремѣнно спать. — Спать! какъ это можно? развѣ вы за тѣмъ пріѣхали въ Дрезденъ?—А развѣ я пріѣхалъ за тѣмъ, чтобы морить себя безсонницей? — Да вы никакъ и раздѣлись? — Въ этомъ-то и вся прелесть. — О, ужасъ! нѣтъ, извольте одѣваться и пойдемъ по городу.—Господа! говорилъ я сквозь сонъ, не будемъ держаться рутины и бѣгать изъ угла въ уголъ. Что, вамъ мало еще впечатлѣній на сегодня? Проснулись въ Берлинѣ, обѣдали въ Дрезденѣ, видѣли сикстинскую мадонну и выпили какой-то адской микстуры, вмѣсто водки. Отдохнемте! Побесѣдуемте тихо среди рѣдкостей незнакомаго намъ города, съ сигарой во рту, въ нашихъ комнатахъ. Какое намъ дѣло до рѣдкостей, когда мы устали; для меня вся здѣшняя Grüne Gewölbe (собраніе драгоцѣнностей и рѣдкостей) не стоитъ теперь часу добраго сна. Вѣдь мы видѣли мадонну.

Изъ каждой радости, боясь пресыщенья,
Мы лучшій сокъ на вѣки извлекли..

— Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли! Погода проясняется, идемте! отвѣчали мнѣ.

Меня подняли и повели на Brüll'sche Terrasse (Брюллеву террасу). Эта терраса выстроена на берегу Эльбы; на ней бульваръ и большой ресторанъ (Бельведеръ). Былъ часъ музыки и собранія лучшей публики. Заплативъ нѣсколько грошей, мы взошли въ круглую, довольно темную залу. На эстрадѣ игралъ оркестръ, передъ эстрадой по всей залѣ столики, одинъ возлѣ другаго. Вокругъ каждаго ни одного свободнаго мѣста: всѣ пьютъ, ѣдятъ, курятъ и слушаютъ музыку. Боже мой, да что же это такое! опять пиво, ѣда и музыка, какъ въ Берлинѣ! Неужели нѣмцы не могутъ ѣсть безъ музыки или слушать музыку безъ ѣды? Дождь, скука и усталость однако взяли свое и мы скоро возвратились.

На другой день, утромъ, мы опять отправились въ галлерею, но какъ было еще рано, то зашли въ музыкальный кабинетъ Кауфмана. Комната уставлена разными невѣдомыми мнѣ инструментами, то въ родѣ стѣнныхъ часовъ, то, какъ вертикальныя лихтенталевскія піанино, въ углу стоялъ восковой автоматъ, съ трубой во рту; изъ другой комнаты виднѣлась съ трубами, барабанами и литаврами огромнѣйшая машина (оркестріонъ). Какой-то инструментъ игралъ у стѣны и какая-то барышня сидѣла за другимъ и ему акомпанировала. Это, впрочемъ, я узналъ потомъ, а сначала я не зналъ, кто играетъ и кто кому акомпанируетъ. Нѣсколько человѣкъ слушало, и мы стали слушать: ничего! немного странно, а не дурно. Когда барышня перестала играть, самъ Кауфманъ началъ намъ показывать инструменты. — Это, говорилъ онъ, гармоніумъ, а это гармониконъ. Это авладіонъ, а этотъ струнный кордаліонъ. Этотъ съ трубами беллоніонъ, а это симфоніонъ. Это автоматъ, играющій на трубѣ, а это оркестріонъ (цѣною въ 20 тыс.), играющій на всѣхъ инструментахъ. И онъ заставлялъ по очереди играть всѣ *они* его устройства и изобрѣтенія и показалъ намъ коротенькій листочикъ его покупщиковъ. Между ними есть фамиліи двѣ русскія, но всѣхъ очень немного. Кауфманъ былъ ужасно вѣжливъ и внимателенъ, а какъ съ насъ за входъ не взяли ничего, то мы, въ свою очередь, были тоже внимательны и любезны. Наконецъ мы разсыпались въ благодарности и хотѣли уже уйти, когда любезный хозяинъ замѣтилъ, что съ насъ слѣдуетъ по гульдену. Впрочемъ, чѣмъ же ему и жить съ своими гармониконами!

Утро опять ушло на галлерею и мы не замѣтили его, а замѣтилъ я, и то сію минуту, перебирая указатель, что мы забыли о существованіи и уѣхали, не видавъ подвальнаго этажа съ пастэлями, но изъ Богеміи уже далеко возвращаться.

Послѣ обѣда, мы по обыкновенію, пошли гулять. Я остановился въ одной лавкѣ купить фотографіи Магдалинъ Баттони и Корреджіо, которыя мнѣ особенно понравились. Пріятели мои поджидали, потомъ стали звать меня и не дозовясь, убѣжали за какимъ-то интереснымъ предметомъ. Я остался одинъ. До квартиры было не далеко, но что дѣлать въ гостинницѣ? и я пустился одинъ въ лабиринтъ незнакомыхъ улицъ. Бродить такимъ образомъ есть особенное удовольствіе; не знаешь, что увидишь, куда выйдешь: тутъ нѣтъ ничего заказнаго и заученаго. Вотъ стоятъ какія-то фуры на площадкѣ: онѣ служатъ для перевозки мебели; вотъ волы везутъ возъ въ гору, но они везутъ не шеей въ ярмѣ, какъ у насъ, а лбомъ, на который надѣта какая-то бляха въ видѣ хомута, вотъ собака въ дышлѣ везетъ два боченка съ водою, мальчишка помогаетъ ей. На улицахъ ѣзды немного, но за то кучеръ не закричитъ зѣвакѣ, каждый

смотри за собою *). Вотъ крестьянка въ какомъ-то шишакѣ съ завиткомъ, въ родѣ запятой, на головѣ, но это завитокъ національный! Вы его видите и въ украшеніи домовъ, и на каскѣ жандарма, и на высокой остроконечной верхушкѣ хомута. Если крестьянинъ работаетъ въ полѣ въ узкихъ штанахъ, то вы чувствуете, что онъ, какъ говоритъ мой пріятель Иванъ Аксаковъ, имѣетъ историческое право на эти узкіе штаны. Вообще, Пруссія и Саксонія произвели на меня самое пріятное впечатлѣніе. Всякій дѣлаетъ свое дѣло и никто другъ другу не мѣшаетъ; всякій господинъ въ своемъ кругу. Уваженіе къ правамъ другаго и сознаніе собственныхъ правъ. Простолюдинъ не забудется съ вами, вѣжливо приподниметъ фуражку и скажетъ: гутъ-моргенъ, иногда безцеремонно потреплетъ васъ по плечу, но не позволитъ и съ собой забыться. «Я далъ нѣсколько лишнихъ грошей на водку комиссіонеру, принесшему мой чемоданъ», говорилъ мнѣ пріятель, «онъ бросился къ рукѣ, я полагалъ что онъ хочетъ ее поцѣловать, мнѣ стало совѣстно и я отдернулъ ее; но онъ поймалъ ее и крѣпко пожалъ!» Однакожь пока я думалъ, вѣроятно совсѣмъ не о томъ, о чемъ пишу теперь, я выбрелъ къ знакомому мнѣ Цвингеру (огромному зданію, въ которомъ помѣщаются разные музеи и собранія картинъ и рѣдкостей), оттуда уже заэнаемо прошелъ въ кофейную пить пиво и смотрѣть, какъ барка билась противъ теченія Эльбы, чтобы пройти подъ мостъ. На террасѣ встрѣтился съ своими спутниками, взяли коляску и отправились въ загородный дворцовый садъ. Садъ большой, прекрасный, тѣнистый. Не далеко отъ дворца нѣсколько простенькихъ кофейныхъ; рядомъ крестьянскіе пашни. Мы зашли въ лѣтній театръ. Ложи и сцена имѣютъ потолокъ, но партеръ открытый. Большое полотно, въ случаѣ нужды, закрываетъ его отъ дождя и солнца. Оркестръ маленькій, но порядочный; если не актрисы, то декораціи свѣжи. Публика опять пьетъ, ѣстъ, куритъ и слушаетъ, въ хорошій лѣтній вечеръ этотъ незатѣйливый театръ очень милъ.

Мы непремѣнно хотѣли видѣть саксонскую Швейцарію и предполагали ѣхать въ это утро, но пасмурная погода, къ вечеру разъяснившаяся, обманула насъ. На слѣдующій день, одинъ изъ моихъ спутниковъ долженъ былъ разстаться съ нами, другой предполагалъ возвратиться скоро опять въ Дрезденъ, и тогда посвятить нѣсколько дней поѣздкѣ,—я рѣшился ѣхать одинъ.

Это было воскресенье. Мы пошли утромъ въ католическую придворную церковь (Katholische Hofkirche послушать ее замѣчательный органъ—послѣднее произведеніе знаменитаго Зильбермана (о которомъ я въ первый разъ тутъ узналъ), и не менѣе замѣчательное пѣніе. Дѣйствительно, то и другое прекрасно, но все это: звонъ колокольчиковъ и родъ пѣнія, и колѣнопреклоненные мальчики и швейцарцы съ булавою производятъ довольно странное впечатлѣніе!

А швейцарская Саксонія забыта? спросите вы.— Ни чуть не бывало: я ее осмотрю послѣ обѣда! она, какъ бы вамъ сказать, не то, что съ ладонь, но немного поболѣе; на подробный пѣшеходный осмотръ ее надо три дня, а по нуждѣ и нѣсколькихъ часовъ довольно. Дѣйствительно, я пообѣдалъ пораньше, справился съ указателемъ, спросилъ наставленія у хозяина гостинницы и къ двумъ часамъ пріѣхалъ на станцію дрезденско-прагской желѣзной дороги. Я взялъ мѣсто до Петиса, насъ посадили въ вагонъ со столомъ и соломенными стульями, какъ въ комнатѣ (въ такомъ вагонѣ только и можно ѣздить на прогулку) и мы двинулись. Дорога идетъ вверхъ по лѣвому берегу Эльбы; подъ самымъ городомъ она пересѣкаетъ часть дрезденскаго поля сраженія и чѣмъ подвигается далѣе, тѣмъ становится живописнѣе. Ближе и ближе прижимается она къ водѣ; а между тѣмъ берегъ поднимается надъ ней все выше и выше, и живописный городокъ Пирна, свѣсившись съ берега высокими зданіями, смотритъ на дорогу и рѣку. Вскорѣ мы вышли въ маленькой деревушкѣ Петиса и толпой направились къ Эльбѣ. Нѣсколько лодченокъ подъѣхало и взяло насъ: мы переправились. Явились проводники съ бляхами на рукавахъ, нѣкоторые взяли верховыхъ лошадей, осѣдланныхъ для обоего пола дамскими сѣдлами, я пристадъ къ двумъ пруссакамъ съ дамой, и мы пустились вслѣдъ за другими по тропинкѣ. Дорожка утоптанная, какъ въ саду, слегка поднималась въ гору по окраинѣ оврага. Горы все выше и выше поднимались надъ нами и сходились тѣснѣе и тѣснѣе. Я ушелъ впередъ, вдругъ пруссаки кричатъ мнѣ. Что такое?—Поворотимте по этой тропѣ на лѣво, тутъ есть интересное мѣсто. На большомъ камнѣ была надпись: прямо въ Бастэй, въ лѣво Ottowalder Gründ. А! тутъ на дорогѣ *адъ* и *чортова кухня!* Какъ не заглянуть въ нихъ? и мы повернули. Отвѣсныя скалы все тѣснѣе и тѣснѣе сходились надъ нами. Сосны и ели высились на нихъ верхушкахъ, иныя свѣсились вмѣстѣ съ какимъ нибудь одинокамъ, угрюмо нависшимъ камнемъ и сурово глядѣли на насъ, маленькихъ! опирающихся на палки, человѣковъ. Наконецъ проходъ такъ стѣснился, что только узкая лента голубаго неба свѣтилась на верху; наконецъ и его не видно: огромный камень легъ надъ нами темнымъ сводомъ; если это адъ, то онъ безподобенъ— для проходящихъ! Мы взглянули еще въ раздвигающуюся за нимъ ложбину и воротились назадъ. На дорогѣ намъ попалась незамѣченная нами щель между камнями; нагнувшись, прошли мы по ней нѣсколько шаговъ и очутились на прежней тропинкѣ. Это *чортова кухня*. Не знаю, когда и что готовили черти въ этомъ проходѣ, усѣянномъ

*) Въ Австріи это равнодушіе и невнимательность доходятъ до цинизма! Кучеръ не отвѣчаетъ, если задавить пѣшехода, и я слышалъ, что недавно въ Карлсбадѣ, почтальонъ преравнодушно проѣхалъ черезъ женщину, которая неосторожно подвернулась.

торчащими камнями, но освѣщенные огнемъ à la Рембрантъ, укрывавшіеся въ нихъ разбойники могли бы быть чуднымъ сюжетомъ для картины.

Опять мы подошли къ указательному камню и на этотъ разъ, уже не сворачивая съ тропы, пошли къ нашей цѣли—Бастэю. Впрочемъ и своротить было бы трудно, потому что прежнія отвѣсныя скалы неуклонно слѣдили за вами. Воздухъ свѣжъ и благоуханенъ, скалы и лѣсъ—лѣсъ и голыя сѣрыя скалы, перемѣшиваясь острыми своеобразными, безпрерывно измѣняющимися группами въ темномъ полусвѣтѣ ущелья, съ яркимъ зноемъ и солнцемъ по верхней окраинѣ составляли видъ безподобный. Я вспомнилъ Кавказъ и Дарьяльское ущелье; оно съ своими гладкими отвѣсными скалами, лишенными всякой растительности поражаетъ еще сильнѣе, но тоскливо, безотрадно и тяжело давитъ сердце. А здѣсь идешь какъ въ паркѣ и только говоришь, прелестно! прелестно!

Тропинка поднималась все круче и круче; мы устали порядкомъ, когда вышли на плоскую поверхность нагорнаго берега, но видъ на окрестности былъ закрытъ лѣсомъ. Тяжело ступая, мы все подвигались впередъ по легкому нагорью, наконецъ лѣсъ сталъ прерываться и за нимъ проглядывала какая-то пропасть. Наконецъ, вотъ домики кофейной, я пробѣжалъ мимо ее, перешелъ крошечный мостикъ и сталъ на голомъ, огражденномъ рѣшоткой камнѣ, отдѣлившемся отъ скалы, высунувшемся и дерзко свѣсившемся надъ долиной, которая саженъ на сто ниже разстилалась у ногъ его. Это знаменитый Bastei—бастіонъ.

Видъ восхитительный! Быстрая Эльба съ деревушками, барками и изрѣдка пароходомъ—лежитъ извиваясь у ногъ. Широко раскинулась долина ея. По ней, точно вырѣзанные изъ сплошнаго камня и страшною силою выдвинутые вверхъ, торчали одинокіе обрывистые острова скалъ огромной высоты, одѣтые сверху зеленой опушкой лѣса. На одномъ изъ этихъ гигантскихъ, иззубренныхъ каменныхъ оазисовъ, вверху бѣлѣясь, лѣпятся какія-то строенія. Я посмотрѣлъ вверхъ съ помощью телескопа и узналъ отъ хозяина его, что это крѣпостца Кенигштейнъ. Верхній конецъ дороги въ нее проходитъ сквозь домъ коменданта и такъ крутъ, что экипажи по немъ втаскиваются на веревкахъ. Замѣчателенъ тамъ колодезь въ 900 ф. глубины, изъ котораго два человѣка въ десять минутъ едва могутъ поднять бадьи. Есть тамъ снарядъ для спуска въ него путешественниковъ: англичане, говорятъ, спускаются.

Я долго не могъ сдвинуться съ мѣста, любуясь на скалистые Königstein, Liliensteiп, Bärenstein, одиноко стоявшіе по окраинамъ долины, любовался на Эльбу и теряющуюся въ скалахъ и туманѣ долину, то ярко освѣщенную солнцемъ, то покрытую тѣнями скалъ. Посмотришь внизъ съ отвѣсной высоты и голова начинаетъ кружиться. Что ни повернешься, то новый видъ, новая прелесть. Однакожъ, времени мало. Я зашелъ въ гостинницу, закусилъ сыромъ и рейнвейномъ и сталъ спускаться въ *Ратенъ*, небольшую деревушку на Эльбѣ, почти у подножія Бастэя.

Спускъ очень крутъ. Только что сбѣжишь нѣсколько саженъ и новая прелесть. Гранитный мостъ перекинутъ чрезъ разщепившуюся скалу и упирается въ узкую ложбинку, между камней; съ моста направо, сквозь скалы, видъ на Эльбу, налѣво въ глубокій отвѣсный оврагъ. По камнямъ, которые съ четырехъ угловъ стоятъ надъ мостомъ, написано пропасть именъ. Экъ какъ велика страсть у человѣка, чѣмъ нибудь—хоть даже углемъ, оставить слѣдъ по себѣ! Судя по мѣсту нѣкоторыхъ надписей, видно, что для нихъ должны были лѣпиться по камнямъ, рисковали сломать себѣ шею, большіе дураки съ маленькимъ самолюбіемъ, за тѣмъ только, чтобы назвать себя по имени.

Еще пониже я увидѣлъ свѣсившуюся надъ Эльбой, такъ называемую *террасу*. Въ счастливые времена среднихъ вѣковъ, говоритъ преданіе, храбрые и благородные рыцари взбирались на эту террасу, кидали съ нее камнями въ плывущіе внизу лодки, и потопивъ пловцовъ, неустрашимо обирали ихъ. Доброе рыцарское время!

Тропа, мѣстами изсѣченная въ ступени, спускалась такъ круто, что я съ трудомъ удерживаясь, почти бѣжалъ по ней и на поворотѣ чуть не наткнулся на кого-то. Это были двое носильщиковъ, которые несли на гору какую-то толстую барыню. О какъ тяжело они заработывали свой хлѣбъ!

Вскорѣ послѣ того, какъ я сошелъ внизъ и сѣлъ на стулъ маленькой кофейной раздался звонокъ и пароходъ подошелъ сверху къ пристани. Мы взошли на него и поплыли по теченію къ Дрездену. Мѣстами останавливались, чтобы брать путешественниковъ, мѣстами потому, что задѣвали за мель. Переправляясь ежегодно черезъ Оку, Волгу и Каму, я нашелъ, что Эльба узенькая и мелководная рѣчонка, а между тѣмъ по ней ходятъ пароходы, а по нашей Бѣлой (Оренбургской), которая втрое шире и вѣрно вдвое глубже, боятся пускать ихъ. Правда, у насъ не набралось бы столько пассажировъ какъ здѣсь, потому что подъ конецъ стало тѣсно. Въ сумерки проѣхали мы городъ Пильницъ, какой-то королевскій дворецъ въ родѣ китайскаго ряда на Нижегородской ярмаркѣ, и было же такъ темно, когда подъѣхали къ Дрездену, что на берегу въ треножникѣ зажгли смоляную бересту, чтобы при ея свѣтѣ выпустить насъ на берегъ и отобрать билеты. Если вамъ приведется быть въ Дрезденѣ, поѣзжайте въ Саксонскую Швейцарію на всѣ четыре дня: вы не будете жалѣть этого времени и скажите и ей и мнѣ спасибо.

Лейпцигъ и дорога.

На другой день я простился съ моимъ оставшимся спутникомъ и въ 10 часовъ выѣхалъ въ

Лейпцигъ. Опять, пройдя подъ тотъ же туннель дорога отдѣлилась отъ дрезденской и я закрылъ глаза. А скоро ли будетъ мостъ черезъ Эльбу? спросилъ я черезъ нѣсколько времени моего сосѣда.—Мы его проѣхали, отвѣчалъ онъ.—А огромный віадукъ на 26 быкахъ, черезъ Дельницкую долину?—И его вы проспали! отвѣчалъ онъ смѣясь. Мы уже подъ Лейпцигомъ.—А, такъ я увижу, по крайней мѣрѣ, поле сраженія!.. И дѣйствительно, я увидѣлъ часть этого поля, или лучше сказать часть этого жнива: удобренное кровью 120 т. труповъ, оно давало прекрасный хлѣбъ, которымъ было засѣяно: хлѣбъ этотъ начинали уже убирать. Вскорѣ мы пріѣхали въ Лейпцигъ.

Я хотѣлъ отвести свои вещи прямо на станцію франкфуртской дороги, думая что она рядомъ. Но это была другая станція, а та, какъ говорятъ, далеко. Я сѣлъ въ первую попавшуюся коляску и велѣлъ вести себя въ первую означенную у Рейхарда гостинницу, но возница мой отвѣчалъ что-то отрицательно и везъ своей дорогой. Я съ нимъ не спорилъ, полагая, что привезетъ же онъ меня куда нибудь, и дѣйствительно, онъ привезъ въ какую-то гостинницу Пальмоваго-Дерева, отъ которой былъ высланъ на станцію. Чтожъ, тѣмъ лучше, отдохнемъ подъ пальмами.

Пальмъ однако же не оказалось, а оказался довольно плохой обѣдъ, къ которому я какъ разъ поспѣлъ. Поѣздъ въ Плауэнъ отходилъ въ 5 часовъ (2 часовой я пропустилъ, желая взглянуть на Лейпцигъ), у меня оставалось три часа времени: я развернулъ планъ города, сообразилъ дорогу и отправился. Лейпцигъ въ теперешнюю пору не представляетъ ничего замѣчательнаго, его три ярмарки съ знаменитой книжной торговлей бываютъ около Пасхи, Михайлова дня и Новаго года. Я пошелъ по бульвару, или лучше сказать, маленькому саду, окружающему весь городъ дошелъ до Августовой площади, нашелъ ее вовсе не замѣчательной и повернулъ въ улицу. Зайти въ погребокъ Auerbach, гдѣ происходила или лучше сказать не происходила извѣстная сцена, описанная въ Фаустѣ, было не съ кѣмъ, я зашелъ къ книгопродавцу, чтобы купить Рейфа, которымъ забылъ запастись въ Петербургѣ. Магазинъ огромный, книгопродавецъ долго рылся въ немъ и въ кладовой, и объявилъ, что Рейфа готовится новое изданіе, а старое вышло, и въ замѣнъ предложилъ какой-то словарь съ разговорами на четырехъ языкахъ. Я прочелъ нѣсколько русскихъ фразъ и разхохотался. Надобно имѣть мѣдный лобъ, чтобы выдавать ихъ за русскія. Запасаясь довольно плохими сигарами, чтобы избѣжать еще худшихъ въ Австріи, я опять вышелъ на бульваръ, прямо къ какому-то памятнику. Тощій старикашка, съ книжечкой въ рукѣ, скромно сидитъ на своемъ камнѣ: смотрю подпись — Ганнеманъ. «А! тебя-то я и желалъ видѣть! Я привезъ къ тебѣ поклонъ отъ нашего почтмейстера. Ты его не знаешь, но онъ знаетъ тебя и тебѣ кланяется. Твои крошечные пріемы дѣлаютъ въ его рукахъ чудеса! Не говорю о болѣхъ физическихъ, это ни почемъ, но нужно ли отправить письмо, когда почта упаковывается, или получить посылку въ праздничный день, стоитъ только принять нѣсколько крупинокъ, даже менѣе того,—поговорить лишь о гомеопатіи съ почтмейстеромъ, и письмо принято, посылка выдана! Привѣтъ тебѣ, великій человѣкъ, отъ нашего почтмейстера и его паціентовъ». Я скинулъ шляпу и поклонился, но докторъ не былъ такъ вѣжливъ какъ командоръ съ Донъ-Жуаномъ: онъ мнѣ не отдалъ поклона.

Въ пять часовъ мы въѣхали по саксонско-баварской дорогѣ. Этотъ путь былъ не безъ приключеній. На полстанціи, не доѣзжая Альтенбурга, поѣздъ остановился. Что такое? — Сломался поршень у локомотива. Мы вышли на дорогу и ждали около часа, пока изъ Альтенбурга, по требованію телеграфа (атмосферическаго), не выслали намъ новой машины. Тутъ нѣтъ еще ничего удивительнаго, машина можетъ сломаться легко, и слава Богу, что дѣло обошлось безъ несчастія. Но вотъ что удивительно, остановились мы въ чистомъ полѣ, у маленькой будки, въ которой живетъ сигналистъ телеграфа. Чтожъ вы полагаете? Въ ту же минуту является какоя-то женщина, спускается подъ мостикъ (трубу), на которомъ стоитъ поѣздъ, отворяетъ тамъ дверь въ погребъ и начинаетъ продавать пиво всѣмъ желающимъ, а ихъ было вѣрно нѣсколько сотъ! Гдѣ хотите въ Германіи остановитесь и скажите громко, или нѣтъ, подумайте только, что хотите пива — и пиво явится. Я въ жизнь свою, конечно, не выпилъ его столько, сколько въ эти двѣ недѣли. Чтожъ дѣлать, съ волками жить и пр.

Въ Альтенбургъ мы разумѣется опоздали. Наступила ночь и съ нею та страшная гроза (20 іюля), о которой говорили всѣ газеты. Въ вагонахъ, узкихъ и раздѣленныхъ на отдѣлы, зажгли лампы; насъ было только двое съ какимъ-то господиномъ; я дремалъ, а по временамъ, открывая глаза, различалъ при свѣтѣ молніи бѣлѣющіеся по долинѣ городки и фермы, которые на мгновеніе появлялись сквозь тьму и мимо которыхъ мы летѣли. Вдругъ, на одной маленькой станціи растворяются дверцы и къ намъ изъ-подъ дождя и вѣтра входятъ мужчина и женщина. Мужчина, такъ себѣ, пожилой нѣмецъ, но женщина—прелесть! Я рѣдко видалъ такую, не скажу красавицу, но такое прелестное лицо. Въ полумракѣ вагона, изрѣдка ярко освѣщаемая яркими вспышками молніи, она, молчаливая и задумчивая, казалась какимъ-то видѣніемъ. Я долго любовался ею изъ своего угла и не спускалъ съ нее глазъ до тѣхъ поръ, пока она не закрылась.—«Вы тоже въ Плауэнъ»? спросилъ меня на ломаномъ французскомъ языкѣ, да еще заикаясь, ея спутникъ, который, какъ оказалось изъ разговора, былъ не мужъ незнакомки. — Въ Плауэнъ, чтобы отправиться въ Франценсбадъ, отвѣчалъ я.—А гдѣ вы остановитесь?—Да не знаю,

гдѣ ближе, я думаю на почтѣ.— Остановитесь у Дэйля, сказалъ онъ. Хорошая гостинница и экипажи; онъ васъ отправитъ въ Франценсбадъ.—Да гдѣ теперь я отыщу его?—Отъ него здѣсь экипажъ: мы поѣдемъ вмѣстѣ. При этомъ *мои*, всѣ мои противорѣчія прекращаются: я благодарю и соглашаюсь.

Пріѣхали въ Плауэнъ—ночь, зги не видно, дождь и грязь. Я едва отыскиваю свой чемоданъ, вижу большой экипажъ, спрашиваю: отъ кого? — Отъ Дэйля—и залѣзаю въ него. Смотрю, какіе-то спутники, дамы, но кажется не мои. Вѣрно они въ другомъ отдѣленіи, но пересаживаться некогда, мы ѣдемъ. Пріѣхали. Выхожу изъ экипажа, отыскиваю хозяина, спрашиваю комнату, говорятъ нѣтъ комнаты! «Какъ нѣтъ? Да зачѣмъ же вы посылаете свой экипажъ и приглашаете пассажировъ, когда нѣтъ комнаты?—Послѣднія сейчасъ заняты!—Чтожъ мнѣ дѣлать въ полночь, въ грозу, въ незнакомомъ городѣ? Помѣстите гдѣ хотите! Я спорилъ, сердился, бранился и наконецъ примирился: хозяинъ рѣшился устроить мнѣ ночлегъ въ столовой.

Пока въ одной комнатѣ завѣшивали простынею стеклянную дверь и ставили мнѣ кровать, я спросилъ ужинать въ другой. Со мной сѣлъ мой лейпцигскій спутникъ, принимавшій участіе въ моемъ помѣщеніи.—А гдѣ же нашъ спутникъ съ дамой? спросилъ я его, видно они ужинаютъ въ своемъ номерѣ?—Нѣтъ, я полагаю у себя дома, они живутъ въ Плауэнѣ!— И вотъ конецъ такъ романически начавшейся встрѣчи! Я былъ такъ огорченъ, что немедленно пошелъ спать. Постель была хорошо устроена, но хозяинъ, полагаю, въ мщеніе за безпокойство, уложилъ меня на пуховикѣ, да мало того, не смотря на духоту, еще далъ пуховикъ вмѣсто одѣяла. Однакожъ, на перекоръ ему, я уснулъ прекрѣпко и проспалъ бы до полудня, если бы съ 6 часовъ когда я еще былъ въ постелѣ не стали являться ко мнѣ безпрерывно посѣтители: то слуга за посудой, то голодный путешественникъ; были и дамы, но прекрасная незнакомка, увы! не являлась.

Въ 9 часовъ затрубилъ почтальонъ, въ бѣлыхъ штанахъ, круглой шляпѣ и желтомъ мундирѣ. Насъ затолкали шестерыхъ въ середину кареты, и мы отправились въ Австрію.

Вечеромъ я былъ въ Франценсбадѣ, гдѣ купаюсь въ его водѣ и грязи четыре недѣли и наконецъ, на дняхъ могу его бросить, чтобы зябнуть въ Альпахъ. Оттуда опишу вамъ и Франценсбадъ и Гастейнъ.

Франценсбадъ, $^{6}/_{18}$ августа 18.. г.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Франценсбадъ.

«Нѣмецъ хитеръ! нѣмецъ обезьяну выдумалъ», говоритъ нашъ народъ. Правда, выдумать обезьяну дѣло не легкое, однакожъ русскій человѣкъ его перенялъ и выдумалъ въ свою очередь медвѣдя. Но есть нѣмецкая штука, гораздо хитрѣе, это выдумка залезать въ грязь и сидѣть въ ней черезъ день около получаса въ теченіи 4-хъ—6-ти недѣль. Однакожъ нѣмцы выдумали и это, и что еще удивительнѣе, ежегодно болѣе двухъ тысячъ человѣкъ съѣзжаются часто изъ отдаленнѣйшихъ мѣстъ за тѣмъ, чтобы имъ подражать и посидѣть въ свою очередь въ грязи. Конечно, человѣкъ животолюбивъ и ради поправленія здоровья, готовъ перенесть всякія гадости; нашли, что франценсбадскія грязи полезны, чтожъ, попробуемъ! попачкаемся въ франценсбадской грязи, куда не шло! но какъ нашли? Кто первый испробовалъ? Вотъ вопросъ, который поставляетъ меня въ тупикъ! Кому первому пришло въ голову, что эти грязи полезны, и кто имѣлъ столько глупости и характера, чтобы на себѣ пробовать ихъ и ежедневно погружаться въ нихъ въ теченіи нѣсколькихъ недѣль, да еще не чувствуя отъ того никакой пользы, потому что польза отъ грязей начинаетъ чувствоваться, говорятъ обыкновенно, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Извѣстно, что первые медики пользовались уроками и опытностію животныхъ, и если фармацевтика мало дѣлаетъ новыхъ открытій, такъ это потому, что новѣйшіе эскулапы возгордились и презираютъ своихъ учителей. Изъ животныхъ только однѣ свиньи могли въ этомъ случаѣ подать примѣръ человѣку. Но свиньи любятъ всякую грязь и свинство и вездѣ, какъ кажется, чувствуютъ себя очень хорошо: онѣ пожалуй, и не туда заведутъ, слѣдовательно въ этомъ случаѣ медицина не могла противъ обыкновенія воспользоваться и ихъ открытіемъ. Кто же былъ первый, взявшій на себя роль свиньи? Это великое открытіе, какъ и многія другія, какъ и взятки тургеневскаго стряпчаго—покрыто мракомъ неизвѣстности.

Въ имѣніи моемъ, гдѣ я провожу каждое лѣто, есть желѣзистое болото. Очень можетъ быть, что оно полезнѣе франценсбадскаго, но какъ, къ сожалѣнію, никто еще не испробовалъ этого, то я въ одно прекрасное утро вынужденъ былъ покинуть оренбургскую деревню, для того, чтобы въ одинъ прекрасный вечеръ пріѣхать въ австрійское мѣстечко.

Австрійская таможня самая непріятная изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ таможенъ. Кропотливая визировка паспортовъ, осмотръ чемодановъ, въ которыхъ, разумѣется, ничего не найдутъ, спросы, распросы. Она поражаетъ васъ пошлиной и секвестромъ въ самыя пріятнѣйшія потребности—вино и табакъ. Отъ этого вы не найдете въ Австріи хорошихъ сигаръ и вина или найдете ихъ по двойной цѣнѣ.

Мнѣ показалось, и кажется весьма основательно, что самый бытъ простаго класса, обработка полей и ходъ административной машины, все въ ней хуже, чѣмъ у югозападныхъ сосѣдей. Съ этими чувствами я въѣхалъ въ Богемію и чрезъ нѣсколько минутъ подъѣзжалъ уже къ Франценсбаду.

Франценсбадъ стоитъ всего верстахъ въ пяти отъ границы. На покатой, слегка волнующейся равнинѣ, сжался маленькій чистенькій городокъ съ садами и парками. Да нѣтъ, это и не городокъ, это сорокъ или пятьдесятъ гостинницъ, правильно разположенныхъ въ двухъ-трехъ улицахъ. Всѣ дома каменные, всѣ до одного съ гостинницами и названіями, въ которыхъ преобладаетъ золото. Золотой крестъ, золотая лапь, золотой змѣй, золотой орелъ, словомъ всякія золотыя животныя. Мы въѣхали мимо парка, повернули въ небольшую улицу, усаженную въ два, ряда густыми прекрасными каштанами и остановились у почты; и почта въ гостинницѣ: въ гостинницѣ zur Poste.

Мнѣ отвели какую-то клѣтушку.—«Нѣтъ ли получше»? спрашиваю я.—«Будутъ двѣ хорошенькія комнаты дня черезъ три: двое русскихъ уѣзжаютъ», отвѣчаетъ горничная.—«А кто эти русскіе»? Она назвала мнѣ такія фамиліи, которыхъ, ручаюсь, на всемъ свѣтѣ не существуетъ. Вообще у нѣмцевъ есть необыкновенный даръ коверкать русскія—даже самыя простыя фамиліи. Кажется самимъ Господомъ-Богомъ у нихъ отнята способность произносить наши имена! Горничная сама сознавала это. «Позвольте, я лучше принесу вамъ Кур-листъ». Смотрю—одинъ изъ русскихъ мой пріятель, да еще какой пріятель. Черезъ нѣсколько часовъ я былъ въ его объятіяхъ и квартирѣ.

На другой день подаютъ мнѣ печатный листочекъ, весь въ графахъ, просятъ въ каждой графѣ сдѣлать отмѣтку. «Пишите, пожалуйста», сказалъ я пріятелю, «что тамъ такое»? «Первое имя и фамилія»—на это отвѣчать не трудно. «Второе характеръ». Какъ характеръ? На что имъ знать мой характеръ? Да и кто его знаетъ, когда я и самъ не знаю его! Пишите, что у меня характеръ самый скверный, въ особенности съ австрійцами». — Не то! характеръ, т. е. положеніе. — «Ну, и это вопросъ затруднительный. У меня, какъ водится, много и этихъ характеровъ, по чину одинъ, по должности другой, по происхожденію третій, по занятію четвертый... Пишите—характеромъ отставной капитанъ. Потомъ? «Лѣта».—Это не скромно! Далѣе? Религія, мѣсто рожденія, откуда ѣдешь, куда, зачѣмъ... и конца нѣтъ! Повѣрьте, я не прибавляю и еще не все высчиталъ.

Разъ утромъ я, по совѣту доктора, отправился брать первую грязную ванну. Вдругъ подъ окномъ музыка. «Mein Herr, это вамъ серенада», говоритъ вошедшая Нанни (здѣсь въ каждомъ домѣ непремѣнно есть своя нанни). Мнѣ серенада? Чтожъ это, благодарные граждане, что-ли, такъ довольны честью, которую я доставилъ имъ своимъ посѣщеніемъ? Или ужъ не женщина ли какая-нибудь. Кой грѣхъ, не признательная ли читательница?.. «Mein Herr, это музыканты даютъ серенаду каждому пріѣзжему, угодно вамъ будетъ дать имъ что нибудь».—А ну ихъ! мнѣ нужна ваша грязь, а не музыка!—Однакоже выслалъ имъ два гульдена и пошелъ въ ванну.

Ваннъ здѣсь въ двухъ заведеніяхъ болѣе двухъ сотъ, и цѣлое утро онѣ всѣ полны. Есть водяныя и грязныя (Moor-bad): ихъ даютъ попеременно; есть кромѣ того души и газовыя ванны. Moor т. е. грязь, берутъ въ болотѣ, сушатъ, мелютъ, потомъ разводятъ кипяткомъ по желанію—и готово; извольте залѣзать по горло и сидѣть по указанію. Года три назадъ, одинъ больной, князь Гика, задремалъ въ ваннѣ, ткнулся въ грязь носомъ, захлебнулся и найденъ былъ мертвымъ! Доктора говорятъ, что это единственный больной, которому ванны сдѣлали нѣкоторый вредъ.

Въ первый разъ забираться въ грязную гущу непріятно—запачкаешься, но потомъ привыкаешь, начинаешь понимать вкусъ свиней и даже не находишь его очень страннымъ, особенно сообразивъ, что онѣ не чувствуютъ потребности отмываться цѣлые полчаса въ другой ваннѣ.

Славное мѣстечко Франценсбадъ, чистое, тихое, бѣлое, кругомъ въ зелени. Карлсбадъ и Маріенбадъ въ 6 часахъ ѣзды, но я не былъ тамъ. Изрѣдка проѣдетъ коляска въ двѣ или одну лошадь, да раза три въ день желтыя почтовыя кареты выгружаются и нагружаются больными. За то все здѣсь живетъ на счетъ больныхъ. Не говорю о домохозяевахъ и содержателяхъ отелей, не говорю о прислугѣ, которая не только не получаетъ ничего отъ хозяевъ, но еще платитъ имъ половину того, что получаетъ съ пріѣзжихъ; но поборы на госпитали, на бѣдныхъ, на госпитали для бѣдныхъ, наконецъ въ пользу бѣднѣйшей изъ бѣдныхъ—самой Австріи (за право жительства), надоѣдаютъ до крайности. А то бы ничего: особенно если найдешь добрый кружокъ знакомыхъ, какой былъ у меня въ началѣ. Въ шесть часовъ на водопой, до восьми пьешь и гуляешь подъ музыку, потомъ всѣ сами заходятъ въ булочную за хлѣбомъ къ кофею, потомъ кофе «verkehrt» (навыворотъ), т. е. больше молока, чѣмъ кофе; ванна въ часъ, обѣдъ въ курзалѣ, человѣкъ на двѣсти, или дома, газеты въ кабинетѣ для чтенія, пожалуй визиты, прогулки, кофе, и опять прогулки, часовъ въ восемь легкій ужинъ, — и покойной ночи до слѣдующаго утра. Окрестностями не богатъ Франценсбадъ. Ѣздятъ въ саксонскую деревушку Шонбергъ, любоваться видами съ горы и провозятъ контробанду: дамы — кружева, мужчины—сигары. Я былъ тамъ разъ, на гору не лазилъ, потому что общество, въ которомъ я оставался, было лучше всякихъ нагорныхъ видовъ, но сигаръ купилъ и надо имъ отдать справедливость—прегадкихъ. А еще провезъ ихъ контробандой и для этого вдѣлъ въ петличку сюртука желтенькую ленточку съ шоколада, къ которой австрiецъ почувствовалъ должное благоговѣ-

ніе, принявъ ее, вѣроятно, за какое нибудь значительное отличіе.

Гораздо интереснѣе, съ исторической точки зрѣнія, была поѣздка въ Эгеръ. Эгеръ отъ Франценсбада всего верстахъ въ пяти—и даже самыя воды называются Эгеръ-франценсбадскими. Городокъ старинный, высокій, закоптѣлый, съ мадоннами и распятіями на всѣхъ улицахъ, мостахъ и перекресткахъ. Насъ подвезли прямо къ ратушѣ. Въ одной изъ ея комнатъ убитъ былъ Валленштейнъ. Является чичероне, показываетъ эту комнату, уставленную шкафами и столами и похожую на комнату какого нибудь земскаго суда. На стѣнѣ виситъ грубая картина, изображающая сцену убійства. Чичероне становится у окошка, растопыриваетъ руки, принимаетъ позу Валленштейна и начинаетъ: «убійцы прокрались въ эти ворота и ворвались въ эту дверь; Валленштейнъ спалъ тутъ и, услыхавъ шумъ, вскочилъ и подбѣжалъ сюда» и проч., и проч.,— съ такими подробностями и горячностью, какъ будто онъ самъ убивалъ Валленштейна. За то, когда мы ему дали за труды, онъ попросилъ прибавки, говоря, что *очень громко разсказывалъ*: дѣйствительно, онъ кричалъ громче покойнаго Валленштейна въ критическую минуту.

Но долго я не забуду впечатлѣнія, которое произвелъ на меня осмотръ эгерской церкви.

Мы вошли въ старинную высокую съ длинными и узкими окнами церковь, и на насъ пахнуло сыростью; стѣны были выкрашены бѣлой краской, изъ-подъ которой проглядывала старинная живопись. Не знаю, былъ ли органъ испорченъ, или его чинили, но во все время какая-то тоненькая флейта пищала непрестанно длинную дребезжащую, раздражающую ноту. Мы подошли къ боковому алтарю и что же? въ нишѣ, подъ стекломъ, лежитъ обнаженный скелетъ! Его ребра перевиты золотой нитью съ бусами или жемчугомъ, челюсть изломана и связана... у меня мурашки пробѣжали по тѣлу!.. Надъ этимъ скелетомъ, черепъ и кости головы другаго человѣка, на лѣво опять голый скелетъ... еще черепъ съ ямами, вмѣсто глазъ, осклабленными зубами и высокой носовой костью надъ дырою... и это все католическіе святые — католическія мощи! Я хотѣлъ уйти, а между тѣмъ какое-то непріятное и безпокойное любопытство заставляло вглядываться въ темную глубину этихъ костей, обглоданныхъ смертью, и воображеніе напрасно старалось одѣть человѣческимъ образомъ эти мужскіе и женскіе остатки; а пронзительная нота все звучала свою однообразную кричащую пѣсню. Съ стѣсненнымъ сердцемъ вышелъ я на улицу и только на воздухѣ и солнцѣ вздохнулъ свободнѣе.

И такъ, купаясь то въ водѣ, то въ грязи, коротая время то веселыми прогулками въ миломъ и пріятномъ обществѣ, то одиноко бродя по пустѣющимъ аллеямъ, среди чужихъ лицъ, я провелъ длинный мѣсяцъ. Сначала у меня было много и старыхъ, и новыхъ знакомыхъ, но потомъ всѣ разъѣхались; заводить еще знакомства не хотѣлось и я тяжело доживалъ урочное время курса и томительная тоска, какъ ноющій зубъ, точила меня. Скорѣе, скорѣе изъ этой воды, грязи и спитой изъ лоскутьевъ заплатанной Австріи: все какъ-то глядитъ уныло и трудится тяжело, едва вырываясь изъ бѣдности. Волы возятъ цѣлыя горы, лошади трудятся, какъ волы, люди — какъ лошади, собаки—какъ люди и женщины—какъ собаки. Одни австрійскіе чиновники ходятъ какъ сторожа, черствыми и сухими фигурами, въ своихъ бѣлыхъ мундирахъ, посреди бѣдныхъ трудящихся богемцевъ и подозрительно смотрятъ на всѣхъ... Наконецъ я могу вырваться отсюда!..

— А чтожь, какую пользу принесъ вамъ этотъ мѣсячный искусъ, спросите вы? Да слава Богу, я чувствую себя хуже! Какъ слава Богу? Да такъ! доктора на водахъ разсуждаютъ, какъ сапожники! Скажите сапожнику, что его издѣліе вамъ жметъ ногу, онъ скажетъ, разносится; скажите, что широко, онъ скажетъ, сядетъ. Такъ и здѣшніе доктора: лучше вамъ—они говорятъ «и прекрасно»,— хуже: они отвѣчаютъ «отлично — значитъ воды дѣйствуютъ и мѣсяца черезъ три вы почувствуете себя лучше?» А черезъ три мѣсяца, какъ говорится въ восточной сказкѣ, или слонъ умретъ, или шахъ умретъ: вы будете за сотню миль отъ водъ и докторовъ и имъ будетъ объ васъ и горя мало.

Съ водъ на воды.

(*Баварія и Зальцбургъ.*)

Сторожъ отперъ намъ дверь, зажегъ сальную свѣчку и въ полупотьмахъ мы начали подниматься по каменной лѣстницѣ. Сдѣлавъ оборота четыре, мы очутились въ довольно просторномъ помѣщеніи, неправильно округленномъ бронзовыми стѣнами. По срединѣ шла вверхъ витая лѣстница, свѣтъ едва проходилъ въ одно маленькое стеклышко, на право было углубленіе, я хотѣлъ вглядѣться въ него, сторожъ меня остановилъ: «не ходите, это голова льва» сказалъ онъ. Духота была нестерпимая, жаръ доходилъ до 40 градусовъ. Да! я забылъ сказать вамъ гдѣ мы!

Мы въ Баваріи! Непонятно? Какъ бы это сказать вамъ по деликатнѣе?.. Мы подъ платьемъ Баваріи, подъ ея кринолинами — если только она носитъ кринолины — чего въ потьмахъ примѣтить нельзя. Мы внутри бронзовой статуи, которая называется Баварія, и стоитъ за городомъ, въ Мюнхенѣ. Вышина ее 54, а съ пьедесталомъ 66 футъ. «Угодно подняться въ голову?» спросилъ проводникъ. Я было полѣнился, но спутники пошли, не оставаться же въ духотѣ и темнотѣ, подъ юпками! дѣлать нечего, полѣзъ и я! Лѣстница крутая, сквозь горло мы едва пролѣзли, но въ головѣ было просторно. Насъ было трое (въ томъ числѣ одна дама, нѣмка). Два бронзовые диванчика, съ такими же подъ сафьянъ подушками, стояли въ

глубинѣ локоновъ; я поставилъ ногу въ носъ и усѣлся, другіе тоже; человѣка три по нуждѣ могли сѣсть еще также удобно, какъ сидятъ въ здѣшнихъ почтовыхъ каретахъ, съ той разницей, что Баварія, слава Богу, стоитъ покойно. Въ прическѣ вставлено два-три крошечныхъ стеклышка, съ которыхъ открывается видъ на Мюнхенъ и окрестности: мы посмотрѣли и поторопились внизъ изъ духоты подъ пронзительный вѣтеръ.— «Нѣмецкая штука!» сказалъ мой спутникъ. «Да еще и преглупая!» отвѣчалъ я, спѣша укрыться въ храмъ славы. Храмъ славы тоже нѣмецкая штука, немного поумнѣе. Это большая галлерея, или родъ портика съ загнутыми крыльями, открытая къ заду Баваріи и къ лицу Мюнхена. До восьмидесяти бюстовъ замѣчательнѣйшихъ баварскихъ мужей стоятъ по стѣнамъ и смотрятъ въ... спину замѣчательнѣйшей баварской статуи. И все это на высокомъ холмѣ, передъ пустымъ полемъ, на которомъ разъ въ годъ бываетъ народный праздникъ! И для этого надо тащиться часъ по закоулкамъ! Колѣна подгибались у меня отъ усталости, сквозной вѣтеръ пронизывалъ насквозь, я проклиналъ отъ души эти нѣмецкія штуки и французскія guid'ы, которые разхваливаютъ ихъ!

У насъ, помнится, существовало мнѣніе, что желѣзныя дороги убиваютъ поэзію русской ѣзды. Желалъ бы я, чтобы защитники пресловутой тройки проѣхали съ поспѣшнымъ поѣздомъ, въ ясное лѣтнее утро отъ Гофа къ Бамбергу! Я не видалъ дороги смѣлѣе построенной! Она извивается какъ змѣй и спускается видимымъ покатомъ. Съ опасностью засорить себѣ глаза, противъ всѣхъ правилъ осторожности, невольно высовываешь голову изъ вагона и видишь, какъ вся длинная цѣпь экипажей извиваясь стремится подъ гору. Вагоны безпрестанно накреняются то на тотъ, то на другой бокъ, а между тѣмъ летишь съ быстротою пятидесяти верстъ въ часъ, летишь по горамъ надъ прелестнѣйшими долинами, составляющими такъ называемую Франконскую Швейцарію. Развѣ это не поэзія?..

Я выѣхалъ изъ Гофа по утру въ 9½ часовъ, а въ 12-мъ мы были уже въ Бамбергѣ. Въ Бамбергѣ обѣдаютъ, и ждутъ довольно долго, когда разъѣдутся другіе поѣзды. Но я забылъ сказать вамъ, что туда на одну и ту же станцію пріѣзжаютъ въ одно время три поѣзда: изъ Мюнхена, Лейпцига и Франкфурта и всѣ обѣдаютъ: можете себѣ представить, какая выходитъ суетня. Я съѣлъ тарелку супу, который стоялъ передъ приборомъ, просилъ, просилъ, ждалъ, ждалъ еще чего-нибудь, наконецъ потерялъ терпѣніе, пошелъ самъ въ буфетъ и взялъ что попало; объ учетѣ тутъ и думать нечего, самъ на-силу добьешься, чтобъ узнать цѣну и отдать деньги, а швейцары въ синихъ мундирахъ съ булавой расхаживаютъ и кричатъ какой поѣздъ готовъ къ отъѣзду.

Вообще дорога отъ Гофа до Аугсбурга весьма живописна. Монастырь четырнадцати святыхъ, куда приходятъ ежегодно до 50 тысячъ богомольцевъ, Банцъ, бывшее Бенедиктинское аббатство, хорошенькій Гарбургъ, съ своимъ живописнымъ замкомъ, угрюмо стоящимъ надъ нимъ на отвѣсной скалѣ, быстро проходили передъ нами. Передъ Донаувертеномъ, возлѣ самой дороги, промелькнулъ высокій камень съ большимъ крестомъ надъ нимъ: здѣсь была казнена ревнивымъ Людовикомъ Баварскимъ, по одному подозрѣнію, его прелестная жена Марія Брабантская! Цѣлый романъ трогательный, грустный и поэтичный навѣваетъ этотъ камень съ крестомъ.

Поѣздъ пролетѣлъ надъ маленькимъ тунелемъ, описалъ довольно крутую, кривую линію и побѣжалъ по мосту. Пароходы, готовые къ отплытію, стояли на рейдѣ и ждали новыхъ пассажировъ. Рѣка не велика — но это Дунай! И сколько опять воспоминаній! Сколько родной крови и славныхъ схватокъ видѣла эта рѣка! не здѣсь! Здѣсь били только австрійцевъ— и гдѣ ихъ не били!— но далѣе, далѣе, тамъ у родныхъ намъ береговъ. Не такъ переправлялись черезъ черезъ эту рѣку, на своихъ казачьихъ лошадяхъ, вы, мои близкіе и дорогіе родные! Я промчался черезъ нее на спокойномъ диванѣ вагона, но тайно завидовалъ вамъ и еще разъ горячо васъ вспомнилъ.

Я торопился въ Мюнхенъ, торопился, увы! отъ водъ—на воды, отъ леченья къ леченью, и потому не останавливался ни въ Бамбергѣ, ни въ Нюренбергѣ, ни въ Аугсбургѣ. Прошло часовъ пять послѣ легкаго обѣда, а мы почти не останавливались: я проголодался.— «Подождите, сей-часъ будетъ Нердлингенъ, сказалъ мнѣ одинъ спутникъ, здѣсь извѣстныя сосиски!» — Какъ сосиски? помилуйте, да я на діэтѣ! И такъ я въ Кульмбахѣ, да еще на тощакъ, выпилъ пива, только потому, что оно считается лучшимъ пивомъ въ Баваріи, странѣ лучшаго во всей Германіи пива! Да добро бы еще пиво дѣйствительно было хорошо: наше крововское не въ примѣръ лучше. Нельзя же однако сосисокъ не попробовать! Замѣчательныя, говорятъ, сосиски: вотъ и у Рейхарда сказано:

Дѣйствительно, нельзя не попробовать, особенно когда страшно голоденъ, а горячія сосиски на хлѣбѣ подносятъ вамъ подъ самый носъ къ вагону. И я попробовалъ—рѣшительно гадость! Или мой русскій вкусъ никакъ не ладитъ съ нѣмецкой кухней, или у нѣмцевъ, что кажется гораздо справедливѣе, безвкуснѣйшая кухня. Знаменитыя сосиски! Развѣ отъ того только, что онѣ напичканы мускатнымъ орѣхомъ? Это мнѣ напомнило нашего деревенскаго Вателя—Василья, крайне способнаго ко всѣмъ ремесламъ, но къ сожалѣнію холоднаго только къ одному, которому учился. Сидишь за чаемъ, является беззубая собаченка Амишка, пребывающая на кухнѣ, и вслѣдъ за нею входитъ, кланяется и безмолвно становится у дверей Василій. Сегодня онъ съ густой окладистой черной бородою, а вчера, кажется, былъ выбритъ, какъ

англичанинъ: борода, усы и бакенбарды у него являются и исчезаютъ какимъ-то волшебствомъ.

Проходитъ нѣсколько минутъ молчанія: мы пьемъ чай и куримъ, Амишка, согнувъ хвостъ кренделькомъ, ждетъ сухарика.

Наконецъ я, на которомъ лежитъ тяжелая обязанность заказывать обѣдъ, дѣлать нечего, приступаю.—Ну, чтожъ сегодня будетъ, Василій?

— Да сегодня надо будетъ приняться за щи! отвѣчаетъ онъ.—Помилуй! да мы съ тобой и вчера, и третьяго дня все, кажется, за щи принимались. Нельзя ли что нибудь другое? — Василій задумывается.—Борщъ можно! наконецъ отвѣчаетъ онъ.— Да это все тяжело, да и пріѣлось! Тамъ, въ книжечкѣ нашей однофамилицы Авдѣевой, которую я нарочно выписалъ для тебя, есть разные супы, выбери что нибудь! При словѣ книжечка, къ которой Василій чувствуетъ, кажется, родъ ненависти, какъ ко всѣмъ кулинарнымъ усовершенствованіямъ, лицо Василья принимаетъ мрачное выраженіе.—По книжкѣ нельзя! отвѣчаетъ онъ. «Да отчего же нельзя»? — Мускатнаго орѣху нѣтъ! — Ну, такъ что же говорить, говорю я, обезоруженный и растерянный.—Да видно, надо за щи приниматься, отвѣчаетъ онъ... И это повторяется каждое утро...

— Не завидна твоя кухня, пріятель Василій; но какъ она лучше нѣмецкой!

Что это какъ разшумѣлся сегодня водопадъ! Ему словно досадно, что я перенесся въ нашу тихую Буруновку!

—

Часу въ 5-мъ послѣ обѣда мы подъѣзжали въ почтовой каретѣ къ Зальцбургу. Передъ нами стлалась зеленая долина съ нѣсколькими домиками. Крестьяне и крестьянки въ своихъ безобразныхъ тирольскихъ шляпахъ, которыя, вѣроятно въ слѣдствіе моды, утратили свою прежнюю красивую форму и приняли видъ обыкновенныхъ мужскихъ шляпъ, во второй разъ косили сѣно и навивали его на тычинки, воткнутыя по всему лугу.

Было душно и жарко; мы пятнадцать часовъ тащились какую нибудь сотню верстъ отъ Мюнхена; я терялъ терпѣніе.

— Да гдѣ же, наконецъ, Зальцбургъ? спросилъ я одного изъ спутниковъ. Тутъ долженъ быть Зальцбургъ, а я не вижу ничего, кромѣ долины и этой отвѣсной скалы, возлѣ которой тащимся. Дайте мнѣ Зальцбургъ!

— Черезъ пять минутъ мы будемъ въ Зальцбургѣ, съ подстрекающей улыбкой отвѣчалъ спутникъ.

Я еще разъ осмотрѣлся—голая отвѣсная каменная гряда, которая тянется вдаль и замыкается высокой скалою, на площадкѣ которой, сплошь застроенной замкомъ, подъ самымъ небомъ стоитъ крѣпостца съ развивающимся австрійскимъ флагомъ.

— Не можетъ же быть, чтобы мы въ эту крѣпость поднялись; а въ Зальцбургѣ 16-ть тысячъ жителей,—куда же онъ спрятался?

— А вотъ сейчасъ въ немъ будемъ, повторилъ опять спутникъ, съ своей глупой улыбкой.

Спутникъ этотъ возбудилъ мое негодованіе еще съ той минуты, какъ на полдорогѣ влѣзъ въ нашу просторную дотолѣ карету, и одинъ занялъ двѣ трети ея. Если бы статуя Баваріи обратилась въ живую женщину, то судьба, кажется, на этотъ случай приготовляла его къ ней въ мужья. «Эхъ, пріятель»! думалъ я, «стоять бы тебѣ лучше съ вѣнкомъ на головѣ и поднятой дланью на площади славы, тамъ у васъ за городомъ въ Мюнхенѣ! и лазили бы въ тебя любопытные путешественники, а не тѣснилъ бы ты ихъ и безъ того въ тѣсныхъ каретахъ»! И съ этою мыслію я размѣривалъ глазами, сколько человѣкъ могутъ помѣститься въ моемъ спутникѣ, и нашелъ, что если не въ головѣ, такъ въ туловищѣ шестеро такихъ, какъ я, понагнувшись, могли бы усѣсться. Въ эту минуту почтарь захлопалъ бичемъ, карета повернула на лѣво и мы въѣхали въ ворота или, лучше сказать, тунель, пробитый сквозь скалу. Передъ нами, какъ бы волшебствомъ, явился прелестный Зальцбургъ.

Новымъ воротамъ (Neutur), сквозь которые проѣхали мы, уже 80 лѣтъ. Ихъ соорудилъ архіепископъ Сигизмундъ III-й (въ то время, когда еще Зальцбургъ съ его округомъ составлялъ архіепископство), и въ честь его на воротахъ надпись гласитъ: «Te saxa loquuntur» (камни восхваляютъ тебя). Длинная скалистая гора закрываетъ совершенно Зальцбургъ съ запада и онъ вдругъ, какъ изъ земли выростаетъ передъ вами, когда проѣдешь сквозь эту скалу.

Такъ какъ полчаса назадъ мы имѣли неудобство вновь въѣхать во владѣнія австрійцевъ, то насъ вновь обшарили, опять спросили о характерѣ и сдѣлали десятокъ другихъ нескромностей. Я оставилъ чемоданъ на почтѣ, взялъ наутро билетъ въ Гастейнъ и отправился въ гостинницу.

Меня опять, какъ въ Мюнхенѣ, засадили въ 4-й этажъ, съ тою только разницей, что тамъ 4-й этажъ оказался пятымъ, а здѣсь былъ дѣйствительно 4-мъ, и что здѣсь, вмѣсто конуры, подъ сводами была хорошенькая съ прелестнымъ видомъ комната: прямо передъ окнами почтенный и большой соборъ, ближе его бьетъ фонтанъ, хватая верхушкой вровень съ моими окнами, справа дворецъ, болѣе похожій впрочемъ на казармы, и влѣво чудный видъ на окрестныя горы.

Откуда это берется столько путешественниковъ, что ими всѣ гостинницы биткомъ набиты! Впрочемъ я подозрѣваю, не засадили ли меня въ Мюнхенѣ подъ крышу въ наказаніе за то, что я не осматривалъ всѣхъ тамошнихъ библіотекъ, пинакотекъ, глиптотекъ и прочихъ, болѣе или менѣе неудобно произносимыхъ именъ. И къ чему такія дикія имена давать имъ! Они одни отобьютъ охоту къ осмотру. Впрочемъ, я было заѣхалъ

въ старую пинакотеку, да вскорѣ пробило два часа и я едва успѣлъ взглянуть на надоѣвшихъ мнѣ нѣмцевъ и голландцевъ съ ихъ звѣрями, окороками и пѣтухами. Впрочемъ я и не жалѣлъ объ этомъ: всѣ пинакотеки я оставилъ до возвратнаго пути и осмотрѣлъ только городъ, литейную, на которой отливаютъ огромнаго Вашингтона для Америки, церкви, и остался всѣмъ посредственно доволенъ: я ожидалъ болѣе отъ столицы, покровительствующей монастырямъ, философіи и Лоллѣ Монтесъ.

— А что тамъ осталось отъ Лоллы Монтесъ? спросите вы.

— Небольшой двухъэтажный домикъ съ раскрытыми ставнями, да благодарное воспоминаніе курильщиковъ: до нея было запрещено курить на улицахъ и она первая нарушила запрещеніе; теперь всѣ курятъ и благодарятъ ее: я былъ въ томъ числѣ.

Однакожь я забылъ, что хотѣлъ говорить вамъ о Зальцбургѣ, а говорю о Мюнхенѣ. Отдохнувъ съ полчаса въ гостинницѣ, я, по обыкновенію, взялъ подъ мышку guide и отправился по городу.

Вотъ дворцовый фонтанъ (Hofbrunnen), высѣченный изъ мрамора Антоніемъ Доріо въ 1664 году; говорятъ, это лучшій фонтанъ въ Германіи. Внизу кони высунули головы, надъ бассейномъ изъ ноздрей ихъ бьютъ тоненькія струйки воды. На верху атланты поддерживаютъ шаръ, на шарѣ стоитъ мальчикъ и держитъ трубу, изъ которой бьетъ вода. Фонтанъ дѣйствительно недуренъ. Можетъ, я что-нибудь немного перевралъ въ его описаніи, но онъ отъ этого мало потеряетъ. Вотъ соборъ съ знаменитымъ органомъ: загляпулъ и въ соборъ. Органъ молчалъ, но шла какая-то вечерняя служба: священникъ читалъ молитвы, и едва оканчивалъ, какъ всѣ молящіеся въ полголоса повторяли ее. Ропотъ сотни голосовъ, вдругъ раздающійся вечеромъ въ темнѣющемъ храмѣ, былъ очень эфектенъ.

На право — статуя Мадонны: — есть статуя! На лѣво мраморный водопой: есть и водопой! Тутъ гдѣ-то по другую сторону должна быть статуя Моцарта? Я повернулъ за церковь, вышелъ на площадку: Моцартъ, дѣйствительно, стоялъ на своемъ мѣстѣ, и, какъ водится, Моцартъ шванталлеровскій, потому что, кажется, всѣ статуи въ Германіи лѣплены Шванталлеромъ и всѣ весьма обыкновенны. Я закрылъ книгу и пошелъ куда глаза глядятъ.

Глаза глядѣли въ ворота, я прошелъ черезъ нихъ, очутился на берегу Зальцаха и залюбовался видомъ! Тотчасъ по ту сторону рѣки шла высокая гряда горъ, покрытыхъ лѣсомъ; предмѣстье, которое стоитъ лѣвѣе, кончалось противъ меня нѣсколькими одинокими прекрасными домами; рѣже и рѣже они отодвигались по горѣ. Вотъ между лѣсомъ то тянется, то пропадаетъ какая-то высокая каменная ограда. Вотъ башенка на загибѣ горы. Далѣе, въ ущельѣ, едва видна церковь — и вдругъ благовѣстъ послышался отъ нея и едва долеталъ умирающимъ, грустнымъ призывомъ до города: это капуцинскій монастырь, а далѣе францисканскій замокъ.

Какъ видно, что Зальцбургъ былъ столицей архіепископства! Кругомъ монастыри августинцевъ, францисканцевъ, бенедиктинцевъ. Эта гора, что прямо, называется капуцинскою; та, назади, сквозь которую мы проѣхали,—горою Монаховъ (Mönchsberg), а вотъ эта, что идетъ за крѣпостью, — горою Монашенокъ (Nonnberg). Я оглянулся, городъ, обнесенный стѣною, съ его церквами и высокими домами, прижался къ горѣ. Гора идетъ за нимъ неприступной стѣною и примыкаетъ къ высокой скалѣ, на которой сжалась сплошнымъ строеніемъ замка, башенъ и переходовъ, крѣпость, стоящая, какъ коршунъ въ небѣ, надъ самымъ городомъ, съ развивающимся надъ ней флагомъ. Прелесть! Я пошелъ по набережной Зальцаха, усаженной деревьями, увидалъ потомъ на поворотѣ дороги надпись Hof-Gastein и воротился, въ надеждѣ на другой день дорогой смотрѣть продолженіе чудной панорамы, которая развертывалась предо мною и отъ которой не хотѣлось оторваться. Я взошелъ въ другіе ворота, повернулъ на право и очутился въ улицѣ, по которой двумъ человѣкамъ тѣсно идти рядомъ. Хотѣлось бы взойти въ крѣпость, которая вотъ тутъ надо мною, но кругомъ по Mönchsberg'у далеко и поздно, а прямо хоть и есть ступени, да не взберешься. Я пошелъ по закоулкамъ и часто то проходилъ подъ жолобъ, то переходилъ канаву, а по бокамъ стукъ и грохотъ въ двухъ-этажныхъ домахъ: это мельницы, которымъ нагорныя воды дали возможность шумѣть въ самомъ городѣ. Я опять вышелъ къ собору. «Тутъ должно быть гдѣ-то въ углу интересное кладбище», припоминая *guide*, подумалъ я и повернулъ въ уголъ, опять въ узенькій закоулокъ, заглядывая, куда онъ выведетъ меня.— «Вы ищете вѣрно кладбище св. Петра», спросила меня встрѣтившаяся женщина, — «оно вотъ направо». Я поблагодарилъ и пошелъ направо. Простой народъ здѣсь чрезвычайно вѣжливъ съ иностранцами: встрѣтится—поклонится съ своимъ добродушнымъ гутъ-моргеномъ или абендомъ, точно какъ своему гостю: и не мудрено впрочемъ: иностранцы только и кормятъ ихъ.

Черезъ минуту я очутился на кладбищѣ и если бы вокругъ старой часовни не было нѣсколькихъ крестовъ надъ цвѣтниками, я бы подумалъ, что нахожусь на какой нибудь выставкѣ памятниковъ! На лѣво, примыкая къ скалѣ и кругомъ, какъ ограда, шли невысокія аркады, открытыя внутрь, всѣ онѣ были разгорожены какъ комнатки, а въ каждой изъ этихъ комнатъ были памятники, образа, портреты похороненныхъ, и у всѣхъ безъ исключенія полъ былъ уставленъ цвѣтами, кресты увѣшены вѣнками изъ иммортелей. Это именно мѣсто тихаго покоя и сладокъ бы долженъ быть вѣчный сонъ усопшихъ, если бы до нихъ могло

доходить сознаніе заботъ, которыми окружены они, еслибы цвѣты не стояли на тяжелыхъ камняхъ, которые лежатъ надъ ихъ ничего не сознающемъ прахомъ!

А за аркадами по скалѣ лѣпятся капеллы. Вонъ тамъ, на высотѣ, точно ласточкино гнѣздо прильнуло какое-то строеньице. Какъ оно забралось туда? Если бы не крошечная тропинка, которой зигзаги иногда выглядываютъ наружу, не зналъ бы, какъ и попадаютъ туда! Это капелла св. Максима, построенная на мѣстѣ его кельи, изъ которой онъ былъ свергнутъ внизъ Геруллами, въ 477-мъ году.

Однако холодно и сыро становится въ этомъ жилищѣ мертвыхъ. На колокольнѣ пробило черыре четверти, потомъ восемь часовъ, другіе, третьи, четвертые часы повторили бой и замолкли, только на башнѣ Neubau, увѣшенной колокольчиками, куранты начали звонить свою вѣчную, длинную монотонную арію.

Я поспѣшилъ домой, встрѣтилъ эрцъ-герцога (кажется) Іоанна, высокаго, полнаго мужчину, въ голубомъ генеральскомъ мундирѣ, съ цѣлою толпою слѣдовавшихъ за нимъ въ бѣлыхъ мундирахъ офицеровъ, забрался въ свою комнату и поскорѣе въ постель. Куранты все еще печально перезванивали; изъ двухъ оконъ тихаго дворца свѣтился огонекъ: это комната матери нынѣшняго императора, которая проводитъ лѣто въ живописномъ Зальцбургѣ. Однакожъ до свиданья. Завтра надо вставать со свѣтомъ.

—

Въ 6-мъ часу утра мы засѣли въ желтую клѣтку, которая называется въ Австріи почтовой каретой, и отправились трусцой по дорогѣ къ Гастейну: звѣри въ берлинскомъ зоологическомъ саду помѣщаются съ гораздо большимъ удобствомъ. Мое отдѣленіе назначалось для четырехъ человѣкъ, но, слава Богу, число спутниковъ измѣнялось и я-то не зналъ куда дѣвать свои ноги, то могъ съ наслажденіемъ протянуться изъ угла въ уголъ.

Утренній туманъ, при выѣздѣ нашемъ изъ римской Ювавіи (Juvavia), застилалъ долину и только одна живописная группа крѣпостныхъ строеній Hohensalzburg'a высилась надъ нимъ. Дорога идетъ все горами и какъ обыкновенно въ горныхъ дорогахъ, придерживается долины рѣки: наша все шла вверхъ по Зальцаху. Мы перемѣнили лошадей въ Галлейнѣ и Гохлингѣ (хоть отъ этого не подвигались быстрѣе), и я долженъ былъ отказать своему любопытству въ удовольствіи спускаться въ первомъ въ соленыя копи и подниматься во второмъ къ водопаду Зальцаха. Благодаря франценсбадскимъ водамъ, я сильно ослабѣлъ, да и хотѣлось мнѣ поскорѣе покончить съ леченьемъ; отъ этого я и поѣхалъ въ почтовой клѣткѣ, которая хотя двигается какъ черепаха, но за то какъ черепаха въ баснѣ — идетъ, не останавливаясь, къ своей цѣли.

Есть что-то живительное и свободное въ горномъ воздухѣ: онъ не выноситъ стѣсненій, узкой форменности и того рутиннаго порядка, который такъ широко развертывается въ плоскихъ пространствахъ и по линейкѣ расположенныхъ городахъ, я бы могъ представить много примѣровъ. Но вотъ, чтобы не ходить далеко, взгляните на почтаря, который по обыкновенію идетъ пѣшкомъ возлѣ кареты, когда лошади плетутся шагомъ на малѣйшую горку. Всѣ почтальоны были доселѣ въ строгой формѣ, а теперь? Куда дѣвался его мундиръ съ красными отворотами, его клеенчатая форменная шляпа. Узкіе штаны до колѣнъ и чулки съ башмаками обтягиваютъ его ноги, справа изъ маленькаго кармана выглядываетъ складной ножикъ, вилка и ложка, которыя не разлучаются съ нимъ, на головѣ шляпа съ широкими полями, съ боку ея приколотъ побѣдный трофей — загнутыя перья тетеревинаго хвоста; широкая куртка разстегнута и только на ней мотается на снуркѣ, единственный признакъ форменности, почтальонскій рожокъ, да и въ тотъ никогда не трубятъ здѣсь!

Русскому человѣку надо запастись необыкновеннымъ хладнокровіемъ, чтобы сносить здѣшнюю ѣзду. Упряжь такъ устроена, что лошади не могутъ сдерживать подъ гору, да ихъ и не портятъ этимъ, и потому разъ десять на верстѣ почтарь соскакиваетъ съ козелъ, чтобы тормозить или вертѣть ручку малаго (машиннаго) тормоза: на малѣйшую горку опять шагомъ, и такъ какъ наша дорога все шла въ гору, то мы и ѣхали ее почти всю шагомъ, почтарь идетъ пѣшкомъ, кондукторъ тоже, путешественники, коль не спятъ—тоже. Оно бы и умно, да скучно, какъ и всякая нѣмецкая аккуратность, переходящая границу терпѣнія.

Недалеко за Гохлингомъ мнѣ надоѣло сидѣть и я тоже вышелъ, закурилъ свою сигару, а какъ у меня еще осталось нѣсколько сверныхъ австрійскихъ, то я подчивалъ ими кондукторовъ и поэтому былъ съ ними въ самыхъ пріятныхъ отношеніяхъ. Такъ я сдѣлалъ и теперь.

— Не хотите ли пройти здѣсь въ сторону, сказалъ мнѣ кондукторъ, тутъ есть живописное мѣсто.

— Далеко?

— Нѣтъ, не очень! Я и самъ тамъ не былъ. Угодно?

— Очень радъ.

Кондукторъ назначилъ почтарю мѣсто, гдѣ подождать насъ, къ намъ присталъ еще одинъ спутникъ и мы повернули вправо, по крутой лѣсенкѣ въ гору.

Если бы я зналъ, какимъ путемъ придется мнѣ достигнуть предстоящаго удовольствія, я бы еще съ большимъ отказался отъ него! Мы то спускались, то поднимались по ступенькамъ—подъ гору и въ гору; десяти шаговъ не было ровныхъ; я почти выбился изъ силъ. «И кому нужно было тутъ дѣлать ступеньки, входы и переходы?» думалъ я, браня про себя нѣмцевъ: «вѣдь кругомъ нѣтъ никакого жилья и все это дѣлается для того, чтобы

мы, дураки путешественники, послушавъ „guid'a, который восхищается всякой лужей, брали проводниковъ и коляски и велѣли возить и водить себя, платя за это въ тридорога!»

Наконецъ-то!

Зальцахъ, который безпрерывно перебивалъ намъ полтовую дорогу и разъ двадцать заставлялъ переѣзжать черезъ себя отъ самаго Зальцбурга, къ моему крайнему удовольствію куда-то передъ тѣмъ отлучался. И вотъ мы бросили экипажи и шли пѣшкомъ, какъ говорится, къ чорту на кулички— чтобы опять взглянуть на него! Впрочемъ, мѣсто дѣйствительно живописное: въ ущельѣ скалъ, которые совершенно сошлись между собою, надъ сводами огромныхъ камней или лучше сказать скалъ, точно нарочно набросанныхъ тутъ, шумѣлъ и рвался, какъ въ котловинѣ, задорный Зальцахъ. Нагнувшись съ мостика, мы смотрѣли въ скалистую пропасть, въ которой рѣка то выходила бѣлой пѣной, то снова скрывалась подъ камни.

— Да это Oëfen! сказалъ я, какъ только успѣлъ перевести духъ.

— Дѣйствительно, это мѣсто называется кажется Oëfen! отвѣтилъ спутникъ. А не правда ли безподобно?

— Хорошо, да дорого покупается! Я едва могу говорить отъ усталости!

А подумаешь, что есть еще рьяные путешественники, которые по деревяннымъ лѣстницамъ спускаются къ самому ложу рѣки и прогуливаются вмѣстѣ съ Зальцахомъ подъ камнями.

Отдохнувъ нѣсколько минутъ, мы пошли далѣе, и къ счастію довольно скоро вышли къ экипажамъ, которые ждали насъ.

На право, какъ трещина, вилось живописное узкое ущелье, между огромными скалами защищенное маленькимъ бастіономъ; дорога лѣпилась въ немъ съ боку и терялась въ поворотахъ. Съ лѣва была маленькая церковь.

— Это Маріа-Брунненъ? спросилъ мой спутникъ у кондуктора.

— А это Люгское дефиле, съ укрѣпленной кроатской щелью! Здѣсь лучшій видъ на него, отвѣчалъ я по гиду. Здѣсь въ 1809 году, не смотря на неприступное мѣсто, баварцы и французы побили васъ, австрійцевъ, хотѣлъ я прибавить. Да кто и гдѣ васъ не билъ!

Вообще вся дорога отъ Зальцбурга до Гастейна необыкновенно живописна. При въѣздѣ въ Лендъ насъ встрѣтилъ шумъ водопада, который вертѣлъ мельницу. Это водопадъ Гастейнскаго Аша, а до него еще двѣ станціи.

Дорога повернула опять въ крутую гору, намъ припрягли пару лошадей и мы чрезъ нѣсколько минутъ начали взбираться по самому чудному изъ здѣшнихъ мѣстъ: Ущелью (Klamen). Оно идетъ вверхъ по Ашу, который все каскадами льется на встрѣчу. Мѣста для дороги нѣтъ, и она то высѣчена въ скалѣ, то идетъ на огромныхъ каменныхъ сводахъ. Камни иногда висятъ надъ самой головою, утесы скалъ грядой идутъ по сторонамъ. Какъ живо опять мнѣ представился Кавказъ! Тамъ, точно также дорога лѣпится надъ Терекомъ. Точно также Терекъ въ болѣе спокойныхъ мѣстахъ идетъ вздутой посерединѣ выпуклостью, которая противна всѣмъ законамъ гидродинамики и такъ поразила меня въ первый разъ. Только тамъ, вмѣсто здѣшнихъ сводовъ, лѣпится у скалы какая нибудь Гулятская кладка, изъ булыжника съ хворостомъ; только тамъ, вмѣсто здѣшнихъ каменныхъ перилъ, передъ вами прямо у самыхъ колесъ окраина пропасти; только тамъ, вмѣсто здѣшней осторожной ѣзды, шагомъ, съ тормозами и пѣшкомъ плетущимися почтарями, ѣдетъ себѣ посвистывая ярославскій ямщикъ, подъ гору вскачь, на гору, какъ случится.

Я долго шелъ пѣшкомъ, и когда усталость заставила меня забраться въ карету, чуть не свихнулъ себѣ шеи, безпрестанно высовываясь изъ окошка. Если бы не этотъ проницающій холодный вѣтерокъ, я бы не слѣзъ съ козелъ.

Смеркалось, когда мы пріѣхали въ Гофъ-Гастейнъ, нѣкогда богатый городъ золотопромышленниковъ, а нынѣ живущій на счетъ больныхъ, которые, не доставъ мѣста въ Вильдбадѣ, поселяются въ немъ. Цѣлебная вода проведена сюда въ трубахъ и доходитъ достаточно теплой для ваннъ. Въ послѣдній разъ мы перемѣнили лошадей и снова потряслись шагомъ. Смеркло совершенно и окрестности, которыя искупаютъ скуку ѣзды, утонули въ темнотѣ. Терпѣніе наше истощилось. Два часа мы тащились какіе-нибудь восемь верстъ по отличному шоссе. Наконецъ какіе-то огоньки замелькали сквозь лѣсъ, внизу, по оврагу, шумъ водопада началъ доходить до насъ. Ближе и ближе онъ слышался. Наконецъ вдругъ прорвавшись сквозь мракъ, съ ревомъ упала возлѣ насъ цѣлая стѣна бѣлой пѣны, насъ обдало брызгами и сырой пылью; мы проѣхали мостъ черезъ водопадъ и очутились на маленькой площадкѣ, у оконъ ярко-освѣщеннаго дома, гдѣ насъ встрѣтила прислуга у фонарей подъѣзда.

— Есть квартиры у Штраубингера, спросилъ я человѣка, который отворилъ мнѣ дверцы.

— Есть! отвѣчалъ онъ мнѣ.

Ну, слава Богу! Заботы кончились, только лечись теперь.

Вильдбадъ Гастейнъ.

Что же это значитъ, наконецъ? За что же вы, друзья и пріятели, забыли меня? Вотъ уже два мѣсяца, какъ я изъ Россіи, и во все это время только одно письмо отъ васъ! одно письмо отъ всѣхъ васъ, которые обѣщались писать ко мнѣ, къ которымъ я пишу безъ устали! Знаю я васъ! Знаю я тебя, моя родная русская лѣнь! Лѣнь, исключительно лѣнивая, когда дѣло касается до пера. Только ты нелѣнива на переписку, по края запачканное чернилами, перо присутственныхъ мѣстъ!

*

Только ты непрестанно скрипишь съ утра до вечера и пишешь подтвержденіе за подтвержденіемъ, отношеніе за отношеніемъ.

— Иванъ Иванычъ, велите очистить эту бумагу! говоритъ Петръ Семенычъ, передавая ее Ивану Иванычу.

— Степанъ Васильичъ, Петръ Семенычъ приказалъ очистить эту бумагу, говоритъ Иванъ Иванычъ, подсовывая ее Степану Васильевичу.

— Сердюковъ, очисти эту бумагу! говоритъ Степанъ Васильичъ, бросая ее подъ носъ углубленному въ переписку Сердюкову, и Сердюковъ, который уже никѣмъ не распоряжается, кромѣ сторожа, очищаетъ бумагу, передаетъ ее въ какое нибудь другое присутственное мѣсто или за требованіемъ справки, или сорокъ девятымъ подтвержденіемъ и очищается бумага бумагой до тѣхъ поръ, пока не расплодится дѣло на двѣ тысячи листовъ.

Да! Знаю я васъ! Зайдетъ ли случайно у васъ рѣчь обо мнѣ и скажетъ одинъ другому: «надо бы написать къ нему», и отвѣтитъ другой одному: «да! надо бы» и прибавитъ: «а впрочемъ онъ чай завеселился за границей и ему не до насъ теперь»!

«Да и кто его знаетъ, гдѣ онъ слоняется тамъ»! отвѣчаетъ одинъ и тѣмъ дѣло кончается. Какъ кто его знаетъ? Да развѣ я вамъ не твердилъ передъ отъѣздомъ, что контора Б. для Ч. всегда знаетъ, гдѣ я! Да развѣ я не просилъ васъ посылать или заносить въ нее ваши письма и вы, пожимая мнѣ руки, говорили: «хорошо! непремѣнно»! Да развѣ я поѣхалъ за границу за тѣмъ, чтобы сшить себѣ платье въ Парижѣ и показывать его въ другихъ столицахъ или на модныхъ водахъ волочиться и играть въ рулетку?

Да, мои добрые друзья, я вамъ обязанъ нѣсколькими днями самой тяжелой, самой невыносимой тоски! Я не квасной патріотъ и, не смотря на любовь мою къ вамъ и дому, если бы теперь кто нибудь сказалъ мнѣ: «воротись назадъ», я бы крайне былъ недоволенъ! Но вы не знаете того нестерпимаго упадка духа, тѣхъ черныхъ дней, которые нападаютъ на васъ за границей, когда долго не слышишь ни одного теплаго, ободряющаго слова, когда не знаешь что творится съ тѣми добрыми и любимыми существами, съ которыми, можетъ быть, благодаря Бога, ничего не творится и которыя продолжаютъ себѣ мирно играть въ ералашъ по маленькой. Вы не знаете этихъ томительныхъ дней, когда, долго оставаясь наединѣ съ собою, долго разсчитывая и живя только на собственныя силы, начинаешь сомнѣваться въ себѣ и въ другихъ, когда хочется хоть на минуту опереться на дружеское плечо и когда нѣтъ этого плеча, когда хандра охватитъ тебя хуже недуга и когда охватитъ она въ такомъ суровомъ и чудномъ мѣстѣ, какъ Гастейнъ; Гастейнъ, изъ котораго нашъ бѣдный, такъ рано и грустно погибшій Языковъ, больной, безногій,

«Какъ голубь, загнанный дождемъ»,

послѣ долгихъ лѣтъ леченья, возвращался домой, безъ пользы и съ затаеннымъ, глубоко-горькимъ вздохомъ, долженъ былъ сказать въ своей прелестной элегіи:

«Мой черный день не разгулялся,
«Мнѣ утѣшенья нѣтъ какъ нѣтъ»!

Посмотрите, что за мѣсто кругомъ! По ложбинѣ между горъ, на высотѣ 3,000 ф., на маленькій кусокъ камней, среди двухъ овраговъ, словно высыпано сверху десятка два домовъ и они прилѣпились кое-какъ и куда попало: стали на площадку въ 10 кв. саженъ, взмостились на гору, спустились въ долину. Огромный водопадъ немолчно шумитъ и падаетъ сверху; черезъ него перекинутъ мостъ и чтобы васъ не забрызгало водой на самомъ мосту, устроенъ крытый тротуаръ. Вы смотрите выше, тамъ, въ ущельи опять мостикъ, надъ водопадомъ, и выше водопада, и справа, и слѣва маленькіе водопады, и въ долинѣ течетъ этотъ же Ашъ, все падая съ камня на камень. Нѣтъ десяти шаговъ, которые вы бы могли пройти по ровному мѣсту. а кругомъ лѣсъ и тропинки, тропинки то въ гору, то подъ гору, то зигзагами, да ступенями. Внизу стелется долина, вся усѣянная домиками, разрѣзанная клочками луговъ, пашни, лѣски, точно на ситуаціонномъ планѣ. А кругомъ горы и горы, горы надъ горами, то покрытыя лѣсомъ, то голыя, и тамъ изъ-за угла, какъ угрюмый и оплѣшивѣвшій старикъ, выглядываетъ какая нибудь скалистая верхушка Альпъ, покрытая вѣчнымъ снѣгомъ! Воздухъ, этотъ, говорятъ, живительный и цѣлебный воздухъ Гастейна, рѣзокъ для непривыкшей груди и тяжело давитъ ее. Въ полдень печетъ солнце, но черезъ два часа оно заходитъ за горы и вы, кутаясь отъ холода, только видите его желтый свѣтъ на вершинахъ горъ. Иногда встанешь утромъ и видишь, какъ снизу изъ ущелья, вровень съ окнами, облако за облакомъ, тянется цѣлое стадо волнистыхъ, мягкихъ клочьевъ; между ними проглядываютъ лѣсистые бока противоположной горы и вы точно сидите въ балетѣ при перемѣнѣ декораціи и ждете, когда поднимется эта облачная завѣса и станетъ, вся освѣщенная солнцемъ, чудная декорація. Вы скажете, чего же лучше! Скалы, каскады, долина съ домиками, и солнце, и живительный воздухъ,—да, это хорошо, это чудно, друзья мои, но не надолго! Эта вѣчная суровая красота природы, этотъ никогда не улыбающійся, всегда сурово смотрящій на васъ, грозный и строгій ликъ, наконецъ тяжело подавитъ васъ. Вы говорили сначала: какая чудная картина! и скажете подъ конецъ: какое безобразіе природы, если въ природѣ можетъ быть безобразіе. И среди этого-то подавляющаго величія, останьтесь одни, останьтесь подъ исходъ курса, когда, какъ птицы, выпущенныя на волю, разъѣзжаются всѣ больные и остаются только одни самые трудные, самы отчаянные калѣки, когда безлюдье и безмолвіе тяжело и видимо спускается на васъ и среди нихъ до васъ не доходитъ ни одинъ привѣтный звукъ изъ вашего милаго далека!

А воды, самыя цѣлебныя воды, на которыя спа-

чала вы смотрите съ улыбкой, потомъ ставятъ въ тупикъ своей таинственной, непостижимой силой. Вода, чистая какъ кристалъ, бьющая горячими ключами изъ глубокаго нѣдра горъ, вода, въ которой Либихъ не открылъ никакой химической примѣси, и между тѣмъ дѣйствующая съ необыкновенной силой, дѣйствующая на одного такъ, на другаго совершенно иначе, вода, отклоняющая магнитную стрѣлку, оживляющая завядшіе цвѣты. Есть старики, которые въ семнадцатый и въ двадцать пятый разъ пріѣзжаютъ на здѣшній курсъ и только и живутъ этими водами. Чувствуешь, что она дѣйствуетъ, что она что-то творитъ съ вами, а что творитъ? Кто можетъ предвидѣть, какъ подѣйствуетъ невѣдомая сила?

А то бываютъ здѣсь еще иногда удивительные теплые и сумрачные дни. Небо подернется мглою, все стоитъ въ сѣренькомъ полусвѣтѣ и какъ будто на всю природу нападетъ какая-то тихая, нѣжная грусть! Влажный, теплый воздухъ, весь напитанъ запахомъ во второй разъ скошенной травы; онъ такъ мягко, такъ упоительно льется въ грудь, что не надышешься имъ, точно пьешь его, точно берешь ароматическую воздушную ванну! Альпійскія горы, прикрывъ свои головы туманомъ, задумчиво смотрятъ на долину; долина, съ своими маленькими домиками, не шелохнется внизу, точно притаится и поблѣднѣетъ, только луговины ея, особенно яркими зелеными пятнами, какъ чахоточный румянецъ, выступаютъ наружу. Одинъ только водопадъ пожелтѣетъ, побурѣетъ и точно отчаянно-больной бьется и реветъ въ предсмертныхъ мукахъ, а окрестная природа—стоитъ по прежнему надъ нимъ, тихо задумавшись, какъ нѣжная сестра милосердія и словно жалѣетъ о немъ, и улыбается грустной улыбкой!

Въ эти чудныя и сладостныя минуты невольно сглаживаются морщины съ насупившагося лба, нѣтъ мѣста ни злобной досадѣ, ни порывистому чувству нетерпѣнія, когда бросилъ бы всѣхъ и все и поскакалъ куда нибудь дальше, дальше! Другое сладкое, но какое-то томительно-болѣзненное, неопредѣленное чувство, точно влажный воздухъ, охватываетъ тебя.. Какъ будто хочется и любить, и плакать, и сознаешь, что некого любить и не о чемъ плакать! Замолкаетъ этотъ неугомонный демоническій голосъ, который непрестанно слышится надъ ухомъ, который все посылаетъ куда-то, который въ шумной ли жизни столицы, въ мертвой ли тишинѣ деревни, все, какъ вѣчному жиду, немолчно и повелительно твердитъ тебѣ «иди! иди»! Но являются и просвѣчиваютъ минуты другаго, чрезвычайно грустнаго сознанія, что некуда идти, да и не зачѣмъ! Что, куда бы ни пошелъ ты, все не уйдешь далѣе этой узкой черты, которою обрѣзанъ твой путь, что, какъ ни бейся ты, а все какъ муха въ паутинѣ, ты не вырвешься изъ опутавшей тебя сѣти, и твоя грусть, и твои громкія слова и жалобы, все-таки не болѣе, какъ голосъ той же мухи въ паутинѣ! И эти мысли не возбуждаютъ въ васъ ни ропота, ни сожалѣнія: вы только улыбнетесь той же грустной улыбкой, съ которой смотритъ на васъ природа и вамъ покажется, что вы поняли другъ друга! Да! если извинительно гдѣ хандрить, хандрить несносно, хандрить каждый день новымъ родомъ хандры, такъ это, безспорно, осенью въ Гастейнѣ.

И вотъ гдѣ ваше молчаніе догнало меня, друзья. Вотъ гдѣ, точно сговорившись, вы забыли меня. Не забыла ли меня и ты, моя добрая, далекая читательница! Ты, привѣтный голосъ которой такъ освѣжителенъ и такъ дорогъ мнѣ, и такъ давно до меня не доходитъ!

Вильдбадъ Гастейнъ.
2/14 сентября, 18.. г.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Aufzugsmaschine.

Я взялъ свою послѣднюю ванну въ Гастейнѣ, билетъ на слѣдующее утро въ почтовой каретѣ, отправилъ къ вамъ мое хандрящее письмо и, въ чаяніи близкаго отъѣзда, примирился съ судьбою. Мое единственное развлеченіе—полякъ, съ колтуномъ на головѣ и въ ермолкѣ, съ которымъ я игралъ въ ералашь, уѣхалъ на канунѣ; я не зналъ что дѣлать до слѣдующаго утра.

— Поѣдемте куда нибудь послѣ обѣда, сказалъ я моему бременскому знакомому, съ которымъ вмѣстѣ пріѣхалъ изъ Мюнхена и по этому всегда рядомъ обѣдалъ.

— Да куда же? Въ Бёкштейнѣ и Гофѣ мы были, на Нассфельдъ поздно!

— Поѣдемте посмотрѣть aufzugsmaschin'y!

— Очень радъ!

Мы взяли коляску, пригласили одного длиннаго австрійскаго юношу, котораго иногда таскали съ собою вмѣсто чичероне, и отправились.

Aufzugsmaschine, т. е. подъемная машина, тоже нѣмецкая штука и вдобавокъ очень не глупая. Въ зальцбургскомъ округѣ, въ его цвѣтущее время, были близь Гастейна богатые рудники, и Гофъ обязанъ имъ своимъ существованіемъ, а нѣсколько сотъ лѣтъ назадъ и богатствомъ. Но рудники истощились, Гофъ-Гостейнъ живетъ теперь только теплой водой, которая проведена къ нему изъ Вильдбада, и больными, которые не помѣщаются или не могутъ жить на высотѣ его; однакожъ отъ прежнихъ рудниковъ уцѣлѣлъ и разработывается одинъ на Радгаузбергѣ. Эта гора въ часѣ ѣзды отъ Вильдбада, высится слишкомъ на двѣ тысячи футъ надъ долиною Бёкштейна. Чтобы доставлять на эту трудно-доступную гору провизію работникамъ и спускать руду оттуда, устроена машина: ее-то мы и вздумали посмотрѣть.

День былъ сѣренькій, но не тотъ удивительно-располагающій къ тоскѣ прелестно-сумрачный и теплый, о которомъ я писалъ вамъ, а просто сѣренькій и холодный, какъ у насъ осенью. Облака ползали горами и долами, иныя выше другія ниже, иногда задѣвали насъ и ложились тонкой и непріятной изморосью. Я кутался въ свою толстую англійскую шинель, и благословлялъ за нее Шармера, бременскій пріятель надѣлъ теплое пальто и резвернулъ пледу, австрійскій юноша подогнулъ ноги и поднялъ воротникъ у холодненькаго пальтишка, единственную защиту, которую могъ онъ предпринять; кучеръ, по обыкновенію, шелъ пѣшкомъ, потому что дорога шла въ гору, но при малѣйшей покатости, садился на козлы и торопливо завинчивалъ тормазъ. Погода для прогулки, какъ видите, была не совсѣмъ пріятная.

Мы проѣхали Бёкштейнъ съ его промывными машинами, которыя мнѣ не понравились, и форелью, которая очень понравилась, дорога все шла въ гору почти между отвѣсными скалами; внизу, то прыгая, то падая по камнямъ, шумѣлъ, незнающій покоя Ашъ, по тропинкамъ часто попадались образа, съ надписью подъ ними, что тутъ, тогда-то, задавило такого-то камнемъ, или засыпало столькихъ-то обваломъ, и съ изображеніемъ подъ ликомъ Божіей Матери самаго происшествія; мѣстами, на горныхъ площадкахъ или на поворотахъ, высоко поднимались разпростертыя руки креста, съ рѣзнымъ на немъ распятіемъ: все это было мрачно, сурово и набожно.

— Вотъ и Aufzugsmaschin'a! сказалъ австрійскій юноша.

Мы взглянули на лѣво. Немного отступя отъ дороги, высилась гора, снизу покрытая соснами, сверху голая. Вверхъ по ней, почти отвѣсно, лежали на поперечинахъ, какъ рельсы, два параллельные ряда брусьевъ. Гора на верху дѣлала уступъ, и они терялись за нимъ.

Мы остановились у избушки, у которой кончались лежни. Снизу они, тоже, какъ на желѣзной дорогѣ, развѣтвлялись на двѣ подвижныя пары; на одной изъ нихъ стояла тележка, нагруженная дровами, связанными желѣзными цѣпями. Мы осмотрѣли ее: она была на низенькихъ чугунныхъ колесахъ, и чтобы не могла соскользнуть, внизу между брусьевъ были придѣланы у нея четыре вертикальныя вертушки.

Въ избѣ былъ разведенъ на очагѣ огонекъ, около него лѣниво копошился какой-то старикашка. Точно наша осенняя какая нибудь караулка, съ ветхимъ сторожемъ. Кстати прибавить, что большая часть здѣшнихъ избъ, особенно въ нижнихъ этажахъ (потому что они всегда двухъ-этажныя), топятся какъ у насъ въ старину, или въ скотныхъ избахъ по черному; только у нихъ нѣтъ для дыма и волоковаго окна, а идетъ онъ въ дверь и простыя окна.

— Скоро спустится тележка? спросилъ я у старика.

— Минутъ черезъ пять! А вамъ угодно подняться?

— Ну, нѣтъ! Слуга покорный.

Я усѣлся у избушки, грѣясь свѣтящимся съ боку огонькомъ, закутался въ шинель и поглядывалъ на голыя скалы, то перерѣзываемыя, то полузакрытыя мглистыми облаками.

— Идетъ! закричалъ кто-то.

Мы подняли головы. На самомъ верху, тамъ, гдѣ лежни почти сходились узенькими полосами и терялись въ перелѣскѣ за уступомъ скалы, показалось что-то движущееся между ними, покачивалось, спускалось то быстро, то потише и по немногу выяснялось.

— Кто-то ѣдетъ на телѣжкѣ, сказалъ одинъ.

— Нѣтъ! Это что-то привязано!

— Нѣтъ, ѣдетъ!

Тележка, нагруженная какимъ-то хламомъ, между тѣмъ подскакивая приближалась, и сзади ея мы въ самомъ дѣлѣ различили фигуру, ближе, ближе— и наконецъ прямо передъ нами остановился обвязанный цѣпями возикъ съ разной посудой и рухлядью и съ заду его соскочила женщина, въ своей безобразной полумужской, полутирольской шляпѣ.

Старикашка торопливо отстегнулъ крючокъ, привязанный къ толстой смоляной веревкѣ, задѣлъ его за петлю другой тележки и передвинулъ лежни.

— А скоро начнетъ подниматься опять? спросили мы, и не успѣли получить отвѣта, какъ веревка начала натягиваться, натянулась и новая тележка стала тихо подниматься.

— Какая сила навертываетъ эту полуверстовую веревку? спросилъ я.

— Водою, все водою, которая вертитъ колесо. Вы знаете сколько здѣсь воды!

Въ самомъ дѣлѣ, по всей дорогѣ внизу, съ боковъ, сверху журчала и шумѣла вода, то ворочая лѣсопильни и промывныя машины, то протекая струйкой въ водопойныя колоды и запертой ящикъ съ форелями, то вися бѣлой нитью по ребрамъ скалъ—такъ высоко, что не видно даже ея движенія.

— А хорошо бы подняться, сказалъ австріецъ, поглядывая на тележку, которая подаваясь, все ползла вверхъ.

— А какъ веревка оборвется или голова закружится, сказалъ бременецъ.

— Ѣхать въ тележкѣ интересно, а въ коляскѣ удобнѣе, господа, отвѣчалъ я, садясь въ экипажъ.

А тележка поднимаемая невидимой силой, была уже чуть видна: она, казалось, не ѣхала, а просто отвѣсно висѣла на скалѣ.

Мы пожелали ей счастливаго пути, лошади лѣниво тронулись подъ гору и кучеръ торопливо и что есть силы началъ завинчивать тормазъ.

Рейнскій водопадъ.

Я не поднимался на машинѣ подъ небеса, не хотѣлъ спуститься въ поддемелье Голливудскихъ со-

лекопенъ, я думалъ описать вамъ водопадъ Шварцбаха, но очутился на рейнскомъ: вы отъ этого мало проиграете, друзья мои, но мое спокойствіе мало выиграло.

Дѣло въ томъ, что когда я кончилъ гастейнскія ванны и взялъ мѣсто въ дилижансѣ; когда я отдалъ нѣсколько гульденовъ доктору и въ замѣнъ получилъ отъ него увѣреніе въ выздоровленіи — и не смотря на выздоровленіе, необходимость пріѣхать въ Гастейнъ еще разъ — мной овладѣло страстное желаніе бѣжать куда нибудь подальше, въ тепло, въ тишину, переваривать мои пятьдесятъ грязныхъ и водяныхъ ваннъ и отдохнуть отъ леченья. Я былъ счастливъ, когда въ темное утро сѣлъ въ карету, и кутаясь отъ холода, простился съ погруженнымъ въ туманы Гастейномъ. Мнѣ не хотѣлось останавливаться ни надъ какими чудесами природы, которыя нельзя было видѣть изъ почтовой кареты, и я мчался во весь шагъ австрійскихъ почтовыхъ лошадей, спускающихся подъ гору на двухъ тормазахъ. Эти тормазы и лошади приводили меня въ отчаяніе: надо имѣть австрійское терпѣніе, чтобы ѣхать на нихъ; но я ѣхалъ, почти не останавливаясь. И живописный Кламъ и Зальцбургъ, съ высыпавшими къ оградѣ звѣринца горными козлами и замолкнувшими, по случаю отсутствія апостольскихъ величествъ, фонтанами, остались позади. Нѣмецкія Аѳины, монотонный Мюнхенъ, покровительствующій всему на свѣтѣ и не высидѣвшій ничего высокаго, кромѣ Баваріи, его глиппотеки и пинакотеки, картины и статуи съ придѣланными носами, не остановили меня. Я разбудилъ въ немъ спавшаго со скуки пріятеля, который поджидалъ тамъ меня, и почти не спавъ три ночи, бросился въ первый спѣшный поѣздъ, и едва перевелъ духъ въ Линдау на берегу Констанскаго озера—да и то невольно.

Мы пріѣхали къ обѣду, но опоздали на пароходъ, идущій въ Шафгаузенъ. Ѣхать чрезъ Романсгорнъ по желѣзной дорогѣ намъ не хотѣлось— дѣлать нечего: надо было остаться и ночевать, и мы остались.

Это было 6-е сентября. Я знаю, тамъ въ далекой деревнѣ, чуть не на границѣ Азіи, вы вспоминали меня въ этотъ день. Я знаю, передъ барскимъ домомъ были столы съ пирогами, боченокъ съ виномъ и бочка съ пивомъ; шумнѣе и шумнѣе подъ темнѣющій вечеръ становилась добрая подгулявшая толпа и вотъ у окна столпились бабы, одинъ визгливый голосъ затянулъ, другіе подхватили съ незапамятныхъ временъ повторяющуюся пѣсню: «Виноградъ зеленѣетъ, а цвѣтики алѣютъ» — и пошло веселье. И ночь спустилась, и вы поужинали, а по деревнѣ еще долго раздавалась въ томъ и другомъ концѣ проголосная пѣсня, пока не допѣлъ свою послѣдній гуляка и сторожа, позвонивъ для очищенія совѣсти въ чугунную доску, не улеглись спать.

Я васъ всѣхъ вспоминалъ не менѣе горячо и много, но передо мной была другая картина: виноградъ дѣйствительно зеленѣлъ по всему берегу, голубое, какъ лазурь, озеро стлалось передъ окнами и съ того берега въ туманѣ виднѣлась Швейцарія.

Мы соблазнились этой лазурью, взяли лодку, поѣхали на какую-то прелестную дачу и сдѣлали преглупо. Пока мы погуляли на берегу, спустился вечеръ и вѣтеръ поднялъ волны. У насъ гребцами были какіе-то тринадцати-лѣтніе мальчишки (здѣсь на озерахъ для прогулки вамъ всегда даютъ чуть не дѣтей) и въ потьмахъ, въ волненіи, мы съ часъ добирались до пристани и едва попали въ нее. Въ это время я находилъ, что у васъ въ деревнѣ, гдѣ виноградъ зеленѣетъ только въ пѣсняхъ, гораздо лучше.

На другое утро мы сѣли на первый пароходъ и пустились по озеру, про которое хроники говорятъ, что оно было колыбелью просвѣщенія, откуда оно разлилось вокругъ. Положимъ, что просвѣщеніе и недалеко разлилось отъ него, но что за вода, что за переливъ серебра подъ колесами парохода! Нѣтъ! здѣсь не выдумка поэтовъ, не фраза тѣ голубыя волны и серебристая пѣна, которыя до сихъ поръ я только встрѣчалъ въ стихотвореніяхъ. Воды здѣшнихъ озеръ дѣйствительно прелестно голубаго цвѣта. Взмахъ веселъ и быстрый бой пароходныхъ колесъ дѣйствительно откидываютъ струю бѣлаго, блестящаго серебра. Тысячи пузырьковъ, точно въ бокалѣ шампанскаго, поднимаются со дна, искрятся и кипятъ долго расходящимся слѣдомъ. Въ первый разъ въ жизни я подумалъ, какъ бы было отрадно и пріятно погружаться въ эту голубую влагу, сквозь которую на нѣсколько саженъ видны камни дна, разсѣкать ее, бросать серебро ея брызгъ, играть и лобзаться съ нею всѣмъ тѣломъ, еслибы умѣлъ плавать и пуще огня не боялся холода... Это была первая благородная вода, которую я готовъ былъ бы пить съ удовольствіемъ, за отсутствіемъ вина, по крайней мѣрѣ глазами... Но на пароходѣ, къ сожалѣнію, было скверненькое мѣстное (Шафгаузенское) вино и поэтому я ничего не могу сказать о ея вкусѣ.

Мы остановились на полчаса въ Констанцѣ и вслѣдъ за тѣмъ вошли въ рѣчку. Она была не велика и шла причудливо изгибаясь: но опять что за вода! еще чище, цвѣтнѣе, серебристѣе кажется озерной! Едва останавливались мы у какой нибудь пристани, начинали бросать крошки хлѣба съ парохода и сотни рыбешекъ толпились за нимъ и видѣнъ былъ ихъ бѣгъ и суетня вплоть до чистаго дна. Пароходъ двигался и опять голубовато-бирюзовыя волны съ отливомъ кипящаго серебра двигались за нами и невольно нѣсколько разъ сосѣдъ обратится къ сосѣду и скажетъ: «посмотрите, вода-то, вода-то»!

Это была вода Рейна.

Здѣшнія рѣки не стѣсняются встрѣчей съ озерами и имѣютъ привычку проходить черезъ нихъ, какъ по землѣ. Такъ Рона входитъ въ Женевское озеро у Вильнева, а выходитъ у Женевы, какъ ни въ чемъ не бывало! Такъ точно Рейнъ протекаетъ

черезъ Констанское. Вы скажете, можетъ быть, что это по-просту значитъ, что одна рѣка впадаетъ въ озеро, а другая выходитъ изъ него и что ничто не доказываетъ, чтобы это была одна и таже рѣка. Извините! На это есть доказательства, по крайней мѣрѣ на счетъ Рейна. Вотъ что говоритъ объ этомъ Амміенъ Марцеллинъ, пришедшій вмѣстѣ съ римскимъ вождемъ Барбаціономъ въ V-мъ вѣкѣ и оставившій болѣе пространное описаніе Рейна, нежели Страбонъ. Я привожу отрывокъ... «Онъ (Рейнъ) входитъ въ обширное и круглое озеро, называемое обитателями Рэтіа-Бригантіа, длиною въ 460 стадій и почти такой же ширины; это озеро, по ужасу, который наводятъ его мрачные лѣса, вездѣ пустынно, за исключеніемъ той стороны, съ которой храбрость римлянъ издревле проложила широкій путь, потому что мѣстная природа и *суровость климата* удаляютъ отъ него варваровъ. Рѣка, бросаясь въ это озеро шумными и пѣнистыми волнами, пробѣгаетъ чрезъ его спокойныя воды, разсѣкая ихъ по срединѣ такъ правильно, какъ бы это было на планѣ. Какъ элементъ совершенно чуждый, онъ не увеличиваетъ и не уменьшаетъ своей величины, сохраняетъ свое имя и силы и идетъ, не запятнавъ себя никакой смѣсью, чтобы потеряться въ Океанѣ (?). Въ довершеніе удивленія быстрое движеніе его водъ не имѣетъ никакого вліянія на воды озера, точно также, какъ грязныя воды озера не замедляютъ его теченія! Двѣ водныя матеріи не могутъ смѣшаться, а между тѣмъ нельзя бы повѣрить, чтобы что нибудь могло ихъ раздѣлять, еслибы въ томъ не убѣждало собственное зрѣніе»!

Теперь видите, что здѣсь рѣка проходитъ черезъ воду аки по-суху! Если не вѣрите, то я могу привести вамъ еще мнѣніе Густава Шваба, который полагаетъ, что во времена Марцеллина озеро было не болѣе какъ болото, проросшее водяными травами и если онъ обозначаетъ его пространство въ $11^1/_2$ миль, то въ самомъ дѣлѣ оно по видимому было обширнѣе.

Но какъ бы то ни было, а съ тѣхъ поръ много воды утекло; воды озера стали такъ же свѣтлы или почти такъ же сини, какъ и рейнскія, а Рейнъ, доказавъ исторически, что онъ дѣйствительно протекаетъ сквозь озеро, какъ добрый швейцарецъ, охотно подчинился общему закону равенства и смѣшался съ ними.

Послѣ пяти часоваго пути мы увидѣли мостъ, построенный чрезъ Рейнъ на мѣсто знаменитаго Грубенмановскаго, взорваннаго въ 1799 году маршаломъ Удино, и пароходъ остановился: мы были въ Шафгаузенѣ и поспѣшили залѣзть въ омнибусъ Вебера.

Гостинница Вебера стоитъ противъ самаго водопада и мы выбрали ее для ночлега. Дорога къ ней шла въ гору и за городъ. Сначала Рейнъ показывался иногда намъ въ промежуткѣ домовъ, но уже безпокойный, волнующійся: гряды острыхъ камней взрѣзывали его голубую грудь, онъ сердился серебряной пѣной и вдругъ исчезъ на поворотѣ. Мы ѣхали добрыхъ полчаса и остановились наконецъ за городомъ, передъ огромнымъ прекраснымъ каменнымъ домомъ.

— Есть комнаты?

— Въ четвертомъ этажѣ!

Вѣчно одинъ и тотъ же отвѣтъ! Я начинаю думать, что въ нынѣшнемъ году изъ первыхъ этажей путешественники не выѣзжаютъ.

— Несите вещи куда хотите! сказали мы и бросились на наружную террасу. Гостинница стояла на высовой горѣ. Прямо передъ вами внизу была стѣна бѣлой пѣны. Изъ нея высовывались двѣ скалы, на которыхъ какъ-то тѣсно сжалось нѣсколько деревьевъ, гулъ и брызги стояли надъ водою. Это былъ рейнскій водопадъ. Надъ нимъ, повыше надъ рѣкою, виднѣлся каменный мостъ и дымящійся паровозъ съ вереницей вагоновъ бѣжалъ по немъ.

Мы не удовольствовались однакоже картиной водопада съ горы, къ тому же близился вечеръ и намъ хотѣлось разсмотрѣть его поближе. Мы отдохнули и спустились къ подножію водопада.

Рейнъ послѣ, паденія, круто поворачиваетъ влѣво и передъ нимъ остается широкій заливъ, по которому любопытные ѣздятъ въ лодкахъ. Онъ падаетъ не высоко и я въ этомъ отношеніи ожидалъ большаго. Снизу видно; какъ въ одной изъ скалъ вода пробила узкую щель и падаетъ изъ нея. Видъ прекрасный, но водопадъ больше бы оправдалъ ожиданія, если бы былъ повыше.

Мы начали взбираться къ его верхнему ярусу. Не зная дороги, мы зашли въ какое-то длинное зданіе. Въ немъ было темно, но вверху горѣло яркое пламя, и какъ черныя тѣни мелькали передъ нимъ фигуры людей и сыпались брызги раскаленнаго желѣза, а съ боку шумѣли воды Рейна и, падая, вертѣли колеса. Мнѣ хотѣлось поближе разсмотрѣть эту картину, но внизу ничего не было видно и я боялся попасть въ какой нибудь трапъ: мы вышли и поднялись по крутой и узкой улицѣ.

Видъ на падающій Рейнъ сверху, по моему, интереснѣе, чѣмъ снизу. Вода бѣжитъ съ страшной силой почти по высунувшемуся изъ нея каменному мосту: такъ мелокъ тутъ Рейнъ и это стремленіе воды, разрѣзываемой остріями дна, чрезвычайно оригинально. Съ праваго боку рѣки сдѣлано нѣсколько загородокъ, которыя отводятъ воду въ колеса какого-то заведенія: промышленный вѣкъ воспользовался красотой природы точно также, какъ огромная масса трактирщиковъ, носильщиковъ и извощиковъ торгуетъ ею съ путешественниками.

Было совсѣмъ темно, когда мы возвратились въ гостинницу: это была первая истинно-европейская, отличная гостинница. Въ огромной залѣ сидѣло съ сотню путешественниковъ, мы спросили чаю и намъ подали чуть не по $^1/_4$ фунта на каждаго, а главное, воду кипящую въ серебряномъ чайникѣ, на спирту: у стѣны, на прилавкѣ, для желающихъ, красовался даже нашъ русскій самоваръ. Это былъ

первый горячій чай, который я пилъ за границей. Вообще, кстати сказать, гостинницы въ Швейцаріи великолѣпныя, я такихъ не встрѣчалъ въ Германіи и наши петербургскія не даютъ о нихъ понятія. Рядомъ съ столовой обыкновенно другая, для обѣдовъ маленькой компаніей или по картѣ; далѣе кабинетъ для чтенія, съ многими журналами и фортепьяно, въ этихъ комнатахъ не курятъ, для этого есть садъ и террасы. Я даже не нашелъ и дороговизны, которой стращаютъ всѣ: здѣсь дороги только лодки и экипажи, впрочемъ тотъ, кто жилъ въ Сѣверной Пальмирѣ, такъ обстрѣленъ рублями, что его франками не испугаешь!

Долго изъ своей комнаты съ поднебесья мы еще смотрѣли, какъ сквозь мракъ ночи выдавалась бѣлая стѣна водопада. На другое утро паровозъ въ минуту перенесъ насъ черезъ него, мы едва успѣли взглянуть на его приготовляющіяся къ паденію волны, какъ вдругъ погрузились въ мракъ тоннеля, и когда выбѣжали изъ него, водопадъ былъ уже далеко позади насъ и Рейнъ, поворотивъ къ западу, бѣжалъ какъ ни въ чемъ не бывало, подъ самой дорогой къ своимъ виноградными берегамъ и германскимъ замкамъ, гдѣ нѣмецкое воображеніе, получая съ него доходъ виномъ, богато наградило его легендами.

Montreux.

Вотъ она наконецъ, благодатная сторона неподкупной честности и продажной храбрости, страна Вильгельмовъ Тэлей и дешевыхъ гувернантокъ, страна Руссо и сыра, часовъ и Вольтера, который подъ-часъ торговалъ ими, страна, которая въ одно и тоже время даетъ 39 т. солдатъ Людовику XIV, 11 т. Голландіи, 10 т. Испаніи, $3^1/_2$ т. Савойѣ и 7 т. Австріи, которая готова драться за все и про все, лишь бы драться и получать деньги, потому что, какъ говоритъ пословица: «point d'argent—point de Suisses»; которая участвуетъ во всѣхъ войнахъ, у кого бы и съ кѣмъ бы она не была, и со временъ Петра Ступпы до восточной войны включительно жалуется, что ей плохо платятъ и что ея дѣтей не производятъ далѣе маіоровъ!... *).

Бѣдная и счастливая сторона, которая, выдержавъ нашествія варваровъ и римлянъ, притязанія савойскаго дома и домашнихъ Messieurs de Berne, распри за религію, и за и противъ всѣхъ сосѣдей, наконецъ выстрадала себѣ право на свободу и мирно наслаждаясь ею, торгуетъ своей кровью и природой. Мнѣ не нужно твоей крови, но я жаждалъ твоей природы, я спѣшилъ за нѣсколько франковъ въ день купить для глазъ голубую гладь одного изъ твоихъ озеръ, увѣнчанныхъ виноградомъ и снѣговыми вершинами, купить для слабой груди твоего мягкаго и теплаго воздуха, для благотворнаго труда и отдыха твою тишину, наполненную воспоминаніями... и я купилъ все это за пять франковъ въ день, да вдобавокъ со столомъ и квартирой!

Но прежде нежели я скажу вамъ гдѣ нашелъ этотъ кладъ, я долженъ сказать, какъ я добрался до него.

Пріѣхавъ черезъ 4 часа изъ Шафгаузена въ Цюрихъ, мы не взяли своихъ вещей со станціи и пѣшкомъ отправились въ городъ. Цюрихъ разбросанъ по берегу озера и не знаешь гдѣ конецъ города, потому что вдоль всего берега тянутся дома подъ постой, пансіоны и кофейни. Мы, какъ водится съ добрыми путешественниками, посмотрѣли соборъ, покатались по озеру, заѣхали въ какую-то таверну выпить пива (вотъ что значитъ пожить въ Германіи!), и вмѣсто его нашли только мѣстное винцо, которое могло бы удобно замѣнять уксусъ: а швейцарцы пьютъ его да похваливаютъ; наконецъ зашли въ гостинницу и не знали какъ убить время до 8-ми часовъ, когда отходитъ почтовый поѣздъ. Изъ Цюриха въ Базель и Невшатель желѣзная дорога прерывается и потому надо было взять мѣсто въ громадной почтовой каретѣ, которая перевозитъ отъ Брюгге въ Аарау. Тамъ почта ночуетъ. За то на другой день мнѣ такъ хотѣлось попасть поскорѣе на мѣсто, что путешествіе походило на бѣгство: кстати же по дорогѣ нечего было и осматривать. Мы выѣхали рано утромъ по желѣзной дорогѣ. Въ Бинѣ сѣли на пароходъ и по Бинскому озеру и протоку выѣхали въ Невшательское, перемѣнили пароходы въ Вильневѣ и Невшателѣ, сѣли въ Иверденѣ на желѣзную дорогу, подъ Лозанной опять на пароходъ и по Женевскому озеру вечеромъ пріѣхали въ Вевей.

Знаете что такое Вевей? Вы мнѣ можете отвѣтить, что это городъ въ Кантонѣ Во, котораго имя встрѣчается часто въ исторіи швейцарскихъ войнъ и пр. Нѣтъ! Вевей не историческій, а Вевей для иностранцевъ?

— Поѣзжайте въ Вевей! сказалъ я одной хорошенькой дамѣ, съ которой мы толковали о путешествіи.

— Гм! я не въ *такомъ положеніи*! сказала она мнѣ смѣясь.

Теперь вы можете догадаться, какое значеніе имѣетъ Вевей для путешественницъ.

Хотя я тоже былъ не въ *такомъ положеніи*, но мнѣ именно хотѣлось добраться и пожить въ тихомъ мѣстечкѣ и я выбралъ для этого Вевей.

Ночью мы пристали къ берегу, велѣли несть чемоданы въ Hôtel des Trois Couronnes и пустились по указанной улицѣ. Рядъ магазиновъ горѣлъ огнями и манилъ разными бездѣлушками, но мы не замѣчали ихъ. Мы бѣжали на почту, получили груду писемъ, которыя давно ждали насъ здѣсь и которыхъ мы ждали еще долѣе, и пустились въ отель, по обыкновенію, въ четвертый этажъ. Мы

*) Въ настоящее время англичане вербуютъ Швейцарцевъ для Индіи; говорятъ, вербовка идетъ плохо, потому что швейцарцы недовольны содержаніемъ во время восточной войны. Англичане увеличиваютъ обѣщанія: чтобы имъ объявить, что будетъ производство въ полковники.

не замѣчали ни высоты, въ которую засадили насъ, ни великолѣпія отеля и усталые съ жадностью бросились на письма.

Отдохнувъ и очнувшись на другое утро, мы начали съ того, что вмѣсто схода въ низъ къ завтраку, поднялись, благо это было близко, еще выше на бельведеръ, устроенный на крышѣ. Видъ съ него былъ восхитительный. Голубое озеро, съ горами, покрытыми голубымъ утреннимъ воздухомъ—какъ зовутъ живописцы эту прозрачную мглу—стлались впереди; надъ нимъ, съ террасой и партеромъ, усаженнымъ розами, кипарисами, лаврами, стояла наша гостинница. Сзади, плотной грудой, тѣснился городокъ съ своими высокими домами, а еще далѣе, горы съ виноградниками внизу и лѣсистыми верхушками, мѣстами пестрѣющія деревеньками.

Мы сошли внизъ и нашли за завтракомъ огромное общество, переполненное англичанами и англичанками. Англичане здѣсь дома. Швейцарія ихъ дача; отъ этого здѣсь нельзя плюнуть, чтобы не попасть въ англичанина. Тутъ, между прочимъ, я понялъ, отчего надъ нами тяготѣетъ вѣчный четвертый этажъ. Всѣ гостинницы полны народомъ, и какъ всякому, по закону тяготѣнія, хочется жить пониже, то едва очищается квартира внизу, какъ съ верхняго кого нибудь переводятъ въ нее. Понятно, что при этомъ свободныя квартиры только и бываютъ что въ верхнемъ этажѣ. Такъ на другой день и мы успѣли спуститься до третьяго. По этой системѣ, дня черезъ два можно бы было, пожалуй, при счастьи добраться и до перваго, но не таковъ былъ мой разсчетъ!

Я думалъ найти въ Вевеѣ, кромѣ дамъ въ извѣстномъ положеніи, тихое мѣстечко для отдыха и занятій. Дамъ въ извѣстномъ положеніи я не встрѣчалъ (можетъ, онѣ скрываются гдѣ нибудь поглубже), но нашелъ много дамъ разряженныхъ; вмѣсто тихаго мѣстечка, городъ набитый магазинами и иностранцами и для житья великолѣпный отель, въ которомъ шумъ и суета съ утра до вечера. Я вспомнилъ о Montreux, о которомъ слышалъ отъ одного путешественника, мы взяли какую-то таратайку, съѣздили въ него и на другой день переѣхались.

Теперь я вамъ скажу что такое Montreux. Въ четверти часа отъ Вевея, на пригоркѣ, надъ женевскимъ озеромъ, стоитъ тѣсная небольшая груда каменныхъ, большею частью двухъ-этажныхъ домовъ. Не въѣзжайте въ него; тамъ душно и грязновато, но ищите жилища надъ озеромъ. Въ одномъ изъ этихъ счастливыхъ выскочекъ (и въ Швейцаріи, какъ видите, нѣтъ равенства) мы поселились въ пансіонѣ.

Если вы полагаете, что вашъ покорнѣйшій слуга, перезабывъ то, чему учился, поселился въ пансіонѣ для того, чтобы повторить зады—вы очень ошибаетесь. Пансіономъ здѣсь зовется родъ отелей, гдѣ за извѣстную плату (но не менѣе какъ на недѣлю) вы получаете квартиру и столъ: такихъ пансіоновъ здѣсь бездна и есть нѣкоторые, въ которыхъ помѣщается до ста человѣкъ. Нашъ, слава Богу, не таковъ.

Едва примыкая заднимъ строеніемъ къ улицѣ и совершенно выдавшись отъ мѣстечка, окруженный садикомъ и террасой, стоитъ нашъ благодатный пансіонъ Депалана—лицомъ прямо на озеро. Отъ террасы по склону горы, идутъ виноградники вплоть до шоссе, которое проходитъ по берегу—и по какому берегу!

Montreux стоитъ въ томъ углу озера или, лучше сказать, заливѣ, въ который вливается Рона и гдѣ горы образуютъ вокругъ него родъ подковы: мы у края этой подковы. Защищенный такимъ образомъ съ трехъ сторонъ отъ вѣтра, онъ пользуется лучшей температурой во всей Швейцаріи. Разница эта такъ велика, что температура Вевея напримѣръ, который стоитъ въ четверти часа ѣзды, нѣсколькими градусами ниже. Прямо передъ нами, по ту сторону залива, тянется скалистая гряда горъ, которая вдругъ переламывается и уходитъ вдаль, открывая все озеро. Влѣво, въ самомъ загибѣ подковы, горы разступаются и даютъ проходъ Ронѣ. Близь нея, едва видный намъ въ голубой мглѣ воздуха, по низменному берегу расположился Вильневъ, а за нимъ по ущелью, горы все высятся и высятся и изъ самой глубины выглядываетъ скалистая, покрытая снѣгомъ верхушка Полуденнаго-Зуба (Dent du Midi).

Противуположный берегъ, закрытый отъ солнца высокими горами, всегда находится въ тѣни и изъ него едва выглядываютъ бѣлыя строенія, дріютившіяся между горами и озеромъ, за то нашъ берегъ, весь унизанный загородными домами, отелями и виноградникомъ, блеститъ и цвѣтетъ подъ свѣтлыми и теплыми лучами. Вотъ влѣво не далеко отъ Вильнева, крайней точки, до которой доходятъ пароходы, стоитъ въ паркѣ и на террасахъ великолѣпный отель Байрона; хотя Байронъ въ немъ никогда не бывалъ; поближе, вдавшись въ озеро угрюмой и сухой грудой, мрачно смотритъ Шильонъ, ему же одолженный своей славой; внизу веселенькій Верне въ пять домовъ, гдѣ воспѣвалъ Шильонъ нашъ Жуковскій; правѣе и повыше Кларансъ, гдѣ жилъ Байронъ,—Кларансъ, которому Руссо далъ извѣстность въ Новой Элоизѣ,—Кларансъ съ боскетомъ чувствительной Юліи, о которомъ я прочелъ слѣдующее объявленіе:

«По распоряженію Федеральнаго совѣта, продается знаменитый боскетъ Юліи, который обезсмертилъ великій Руссо въ Новой Элоизѣ. На немъ можно устроить гостинницу, которая по богатству видовъ будетъ одною изъ лучшихъ въ Швейцаріи, адресоваться и пр.». Кругомъ изображенъ боскетъ и виды изъ него: вотъ вамъ еще доказательство, какъ Швейцарія торгуетъ своей природой и воспоминаніями!

За Клараисомъ разбросаны еще нѣсколько живописныхъ (и отдающихся въ наемъ) домовъ, за ними выглядываетъ Вевей, сзади горы, до подо-

вины покрытыя виноградникомъ, съ деревушками и дачами, разбросанными въ перелѣскахъ живописными группами, а прямо и вправо, голубое и безбрежное какъ море, Женевское озеро съ парусами, лодочками и дымящимися по немъ пароходами.

Прибавьте къ этому чудный теплый воздухъ, не знойный и раздражающій воздухъ Италіи, но тихій и успокоительно-благотворный, цвѣты, добродушіе швейцарцевъ и полное отсутствіе всякихъ будочниковъ и вы подумаете, что я пишу идиллію.

Да! здѣсь идиллія! Такъ и кажется, что вотъ сойдутъ съ горъ (по ступенькамъ) храбрые солдаты въ голубыхъ мундирахъ и полицейскихъ колпакахъ, проливавшіе кровь за 30 франковъ въ мѣсяцъ за Францію или противъ нея, запоютъ хоромъ, указывая на озеро: «родина святая, вотъ твои поля», и начнутъ обнимать хорошенькихъ перевощицъ въ коротенькихъ юбкахъ, стянутыхъ ленточками корсетахъ и парижскихъ круглыхъ шляпахъ. За тѣмъ, къ двумъ подругамъ, связаннымъ нѣжнѣйшей дружбой, явится красивѣйшій изъ всей губерніи (виноватъ—кантона) офицеръ въ статскомъ сюртукѣ и непремѣнно въ брюкахъ съ золотымъ лампасомъ и объяснится въ любви одной изъ нихъ. Потомъ явится бѣдная мать разряженной, какъ куколка, Гритли и богатый графъ, отецъ офицера, попоютъ, поплачутъ и наконецъ Гритли и офицеръ, выученный другомъ своимъ живописцемъ, женится къ удовольствію публики.

Идиллія наша не совсѣмъ такова, какъ въ опереткахъ, но немногимъ хуже. Перевощицъ замѣняютъ дюжіе гребцы, которые таскаютъ ваши чемоданы, берутъ за свой обратной проѣздъ, если были наняты на часы, и кромѣ того требуютъ непремѣнно la bonne main—по-просту на водку; наши горничныя ссорятся три раза въ день, а хорошенькая Маргарита, когда я назвалъ ее Гритли,—замѣтила, что я говорю Patois. Мундировъ не видать, офицеровъ съ золотыми лампасами еще менѣе, а богатые путешественники лечатся виноградомъ, и, увы! не женятся на крестьянкахъ. За то, когда недавно, какой-то пѣвецъ началъ подъ окномъ распѣвать гортанныя пѣсни и выдѣлывать тончайшимъ фальцетомъ свои тіи-лію, тіи-лію, предварительно извинясь, что солнце не позволяетъ ему снять шляпы, я ему далъ нѣсколько сантимовъ съ тѣмъ, чтобы онъ пересталъ—и онъ былъ очень доволенъ: въ опереткахъ, особенно на благородныхъ театрахъ, гдѣ преимущественно исполняютъ подобныя пѣсенки, этимъ не отдѣлаешься!

Хотя черные чепцы на старухахъ и соломенныя шляпы, съ пучкомъ корней на верху, въ родѣ мандаринскихъ шишекъ, весьма безобразны, хотя зобы безобразятъ двѣ трети здѣшнихъ женщинъ, но есть здѣсь другія болѣе существенныя, хотя и не столь красивыя достоинства. Я не встрѣчалъ мѣстныхъ богатыхъ графовъ, и здѣшнія старинныя фамиліи всѣ наперечетъ, за то не встрѣчаю и бѣдности, всякій имѣетъ свой клочокъ земли, всякій гражданинъ своей страны пользуется одинакимъ покровительствомъ законовъ. Полиціи не видать, а когда одинъ изъ нашихъ земляковъ сорвалъ нѣсколько ягодъ въ виноградникѣ, его попросили идти въ префектуру и заплатить по $2\frac{1}{2}$ франка за ягоду. Виноградъ здѣсь пользуется особымъ покровительствомъ. Вчера, разговаривая съ земляком по-русски, я возвращался домой и чтобы сократить путь, хотѣлъ пройти извѣстной мнѣ тропой черезъ виноградники, но двѣ незнакомыя мнѣ землячки остановили меня.

— Послѣ 9 часовъ не велѣно ходить виноградникомъ сказала одна:—въ васъ пожалуй и выстрѣлятъ.

Хотя я нѣсколько разъ ночью возвращался невозбранно этой тропою, но воспользовался совѣтомъ любезныхъ соотечественницъ, удивляясь не тому, что здѣсь стрѣляютъ, какъ въ воровъ, въ нарушителей закона, а тому, что русскія дамы заговорили съ незнакомыми земляками, потому что, надо правду сказать, мы и за границей нѣсколько церемонны, и боимся *скомпрометироваться*.

Злѣшнее правительство и народъ упрекаютъ въ холодности къ прогрессу, и отчасти справедливо. Нѣтъ здѣсь лихорадочной дѣятельности и кипучей жизни, нѣкоторыя учрежденія, какъ напримѣръ почта, требуютъ усовершенствованій; но ровный и не торопливый трудъ, но повсемѣстное благосостояніе и это невидимое, но для всѣхъ ровное правительство (надо пріѣхать изъ Австріи, чтобы цѣнить его) стоятъ прогресса. Положимъ, теперь васъ не будутъ даромъ кормить и услуживать какъ возлюбленному Юліи, во время его разлуки; но народъ честенъ и чрезвычайно добродушенъ, всякій встрѣчный вамъ поклонится, услужитъ, привѣтитъ, часто перемолвится шуткой. Даже на образѣ жизни въ здѣшнихъ пансіонахъ это отражается. Хозяева вообще чрезвычайно предупредительны и исполняютъ по возможности всѣ желанія жильцовъ.

Въ 9 часу мы собираемся къ завтраку въ столовую и всѣ раскланиваются другъ съ другомъ, какъ знакомые. Въ два часа обѣдъ, послѣ обѣда мы часто ѣздимъ на озеро съ удочками, натаскаемъ ершей и окуней. Въ восьмомъ къ чаю и вмѣстѣ ужину, намъ уже подаютъ ихъ зажаренные въ сметанѣ. День проходитъ быстро, нужно и почитать и пострѣлять изъ пистолета или штуцера, и поудить, и поработать, а то съѣздить въ Женеву, Вевей, Шильонъ или Лозанну! Недостаетъ времени—надостаетъ его особенно на то, чтобы, отбросивъ всякія заботы, сидѣть съ сигарой на террасѣ, подъ этимъ теплымъ и яснымъ небомъ, смотрѣть на голубую гладь озера, на берега, облитыя солнцемъ, съ группами домовъ и городковъ, на темный дымъ пароходовъ и бѣлые паруса лодокъ, которыя вдали тонутъ, въ какой-то прозрачной мглѣ, такъ что не знаешь по водѣ или по воздуху плывутъ онѣ. Именно недостаетъ времени, чтобы пожить лѣнивой, растительной, безпечной жизнью. А здѣсь такъ хорошо, такъ отрадно жить.

*

Шильонъ.

«Inferno in paradiso».
(Адъ въ Раѣ).

Въ IX вѣкѣ окрестности Лемана далеко не походили на теперешнія, тогдашнія хроники говорятъ объ этомъ краѣ, какъ о далекой, суровой сторонѣ, покрытой вѣчными облаками. Рѣдки были жилища на горахъ Лаво. Вевей былъ ничтожнымъ мѣстечкомъ, на мѣстѣ Montreux стояла одна капелла; между жителями ходили еще преданія о послѣднихъ геологическихъ переворотахъ, которымъ подвергалась страна, разсказывали съ ужасомъ, какъ паденіе Тавретунума загородило дорогу Роны и какъ она, прорвавъ эту натуральную плотину, рпнулась въ озеро, унося съ собою камни, лѣса и жилища.

Въ это время на скалистомъ островкѣ, не далеко отъ берега, стояла одинокая башня. Не смотря на близость берега, глубина озера въ этомъ мѣстѣ до восьми сотъ футъ. Возлѣ скалъ, которыя громоздятся надъ нимъ, вилась узенькая дорожка, по которой два всадника едва могли проѣзжать рядомъ.

Въ 830 году, ночью, по этой дорогѣ осторожно проѣзжалъ небольшой конвой. По данному знаку, къ нему выѣхала лодка, конвой таинственно сдалъ какого-то человѣка, и человѣкъ этотъ былъ засаженъ въ башню. Это былъ первый шильонскій узникъ, о которомъ упоминаютъ лѣтописи, и узникъ этотъ былъ дядя Людовика Добродушнаго (le Débonnaire), двоюродный братъ Карломана, внукъ Карла Мартела: графъ Вола, другъ и приближенное лицо покойнаго императора, командовавшій его войскомъ, управлявшій Саксоніею и удалившійся, при воцареніи своего племянника, въ монастырь Корбію, котораго былъ аббатомъ.

Послѣ побѣды сыновей Людовика надъ своимъ отцомъ, они спросили у графа Вола, что имъ сдѣлать съ нимъ. «Прогоните отъ него преступную жену, ея любовниковъ и клевретовъ и отдайте престолъ, онъ будетъ лучшимъ изъ правителей», отвѣчалъ Вола.

Когда послѣдующіе перевороты возвратили престолъ Людовику, онъ, по настоянію жены своей Юдифи Баварской и ея любовника Бернарда, за этотъ совѣтъ сослалъ Вола изъ монастыря въ Шильонъ.

Графъ Вола провелъ въ заключеніи нѣсколько лѣтъ и «никто не посѣщалъ его, говоритъ историкъ, кромѣ ангеловъ Божіихъ, которые проникаютъ всюду въ обитель добродѣтельную.» Единственный человѣкъ, посѣтившій тамъ узника, былъ другъ его и писатель Паскаръ Родбергъ, оставившій намъ панегирикъ плѣнника и старавшійся безуспѣшно склонить Вола къ извиненію передъ Людовикомъ.

Графъ Вола былъ взятъ изъ Шильона, переводимъ изъ ссылки въ ссылку, призываемъ нѣсколько разъ ко двору, чтобы мирить сыновей съ отцомъ и не успѣвъ вполнѣ достигнуть этого, умеръ отъ злокачественной лихорадки въ глубокой старости, всѣми уважаемый, въ монастырѣ Боббіо близъ Милана.

Вотъ вамъ вкратцѣ исторія перваго знаменитаго шильонскаго узника, страдальца за правду и честность, совѣтника царей, мужа добра и чести, какъ называютъ его лѣтописцы, переходившаго изъ дворца въ тюрьму, и изъ тюрьмы во дворецъ, чтобы умереть въ монастырѣ.

Послѣ этого исторія молчитъ о Шильонѣ до XIII-го столѣтія. Въ это время Петръ Савойскій, покоривъ себѣ почти всю Гельвецію, укрѣпляетъ ее и строитъ вокругъ старой башни шильонскій замокъ, почти въ такомъ видѣ, въ которомъ онъ остается до сихъ поръ. Въ этомъ замкѣ онъ живетъ съ женою, когда не живетъ въ Англіи; подземелья замка наполняются иногда бунтующими вассалами. Разъ замокъ едва не былъ взятъ Коффингеномъ, однимъ изъ военачальниковъ Рудольфа Габсбургскаго, но подъ самыми стѣнами Шильона, Коффингенъ былъ разбитъ и взятъ въ плѣнъ.

Послѣ смерти Петра, Шильонъ продолжаетъ принадлежать Савойскому дому. Въ немъ жилъ комендантъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ былъ обыкновенно и бальи провинціи Шабле, творилъ въ ней судъ и расправу, смотрѣлъ за цѣлостью укрѣпленій и начальствовалъ маленькимъ Вильневскимъ флотомъ, содержимымъ для защиты озера. Имя Шильона упоминается только въ закладныхъ по раздѣламъ наслѣдства до тѣхъ поръ, пока Бониваръ не прославилъ его своимъ заключеніемъ.

Франсоа де-Бониваръ (онъ не подписывался иначе, какъ просто Бониваръ, иногда Bonivard poëte lauréat) родился въ Савойѣ, въ Сейсселѣ (Seissel), воспитывался въ Туринѣ, гдѣ слушалъ философію, право, выучился нѣмецкому языку и писалъ стихи. Пріѣхавъ въ Женеву, гдѣ тогда былъ епископомъ родственникъ Карла III, герцога Савойскаго, желавшаго окончательно покорить себѣ Женеву, Бониваръ, несмотря на опасность и вопреки родинѣ, присоединился къ партіи «Дѣтей Женевы», имѣвшихъ цѣлью сдѣлать ее независимою. Получивъ въ наслѣдство отъ дяди пріорство св. Виктора, онъ укрѣпился въ немъ и поддерживалъ всѣми силами защитниковъ свободы.

Поэтъ и ученый, онъ то занимается исторіей, то теологіей, то пишетъ розысканія о развитіи монархическаго, аристократическаго и народнаго начала и вездѣ между юморомъ и сатирой блеститъ его природный умъ. Но поэтъ въ душѣ, онъ счастливъ только тогда, когда пишетъ стихи и дѣйствуетъ за независимость.

Попавшись разъ въ руки Карла III, онъ пробылъ два года гдѣ-то въ заключеніи. Выпущенный по ходатайству друзей, онъ довѣряется слову герцога, беретъ у него охранный листъ и ѣдетъ хлопотать о возвращеніи своего аббатства, потерянаго во время заключенія и замѣненнаго пенсіей отъ г. Женевы, которая едва позволяла быть си-

тымъ ему съ его пажемъ. Возвращаясь изъ Фрибурга въ Лозанну, Бонниваръ, не смотря на свой охранный листъ, былъ взятъ и связанъ комендантомъ Шильона, Мессиромъ де-Бофоромъ и заключенъ въ замокъ.

Первые два года его плѣна были сносны: онъ пользовался свободой внутри замка и любилъ толковать съ Бофоромъ о войнахъ, въ которыхъ тотъ участвовалъ. Но Карлъ III вздумалъ посѣтить Шильонъ, и «тогда», говоритъ Бониваръ, «я былъ брошенъ въ подземелье (вѣроятно по приказанію герцога), прикованъ къ столбу и въ этомъ положеніи провелъ 4 года! Цѣпь моя была длиною въ 3 фута, я спалъ прислонясь головою къ подножію столба и, повертываясь около него на каменномъ полу, вытопталъ тропинку, какъ-будто высѣченную молотомъ»...

Какъ провелъ Бониваръ эти безконечные 4 года, неизвѣстно! Въ хроникѣ своей, наполненной разсказами о своей жизни, онъ почти ничего не говоритъ о годахъ своего заключенія, кромѣ словъ приведенныхъ выше. Свѣтъ едва проходилъ въ его подземелье, сквозь узенькія окна, но солнечные лучи, отражаясь въ поверхности озера, окрашивали огромную и мрачную тюрьму то голубымъ, то розовымъ цвѣтомъ. Наконецъ, въ 1536-мъ году, Бернъ рѣшился соединиться съ Женевой и знамя свободы было поднято.

Едва женевцы узнали о помощи Берна, какъ вспомнили Бонивара и другихъ заключенныхъ, томящихся также въ Шильонѣ. Тотчасъ двѣ галеры, двѣ барки и нѣсколько лодокъ были приготовлены. Все, что было смѣлѣйшаго и благороднѣйшаго въ Женевѣ, кинулось въ нихъ и всѣ жители собрались на берегу, благословляли отъѣзжающихъ, кричали «идите и спасите Бонивара»!

Флотъ развернулъ паруса и спѣшилъ къ цѣли, боясь, чтобы непріятель не увезъ плѣнныхъ. Подойдя къ Шильону, онъ остановился и ждалъ, когда подойдутъ Бернцы. Вдругъ раздались выстрѣлы: это былъ сигналъ, что Бернцы приближались по ущелью. Шильонъ былъ немедленно осажденъ.

Апроши заняли весь день, ночью начали копать рвы. На другой день 29-го марта пушки Женевцевъ съ озера и Бернцевъ со стороны Montreux и Вильнева, начали стрѣлять и такъ успѣшно, что комендантъ вступилъ въ переговоры. Но пока переговоры эти шли, онъ сѣлъ въ легкую лодку и бѣжалъ. Тяжелыя барки женевцевъ пустились его преслѣдовать, но онъ успѣлъ переѣхать черезъ озеро, причалить около Люгрена и бѣжать въ горы.

Преслѣдователи возвратились въ отчаяніи, они были увѣрены, что плѣнные тоже или увезены, или убиты. Замокъ сдался къ полудню. Со страхомъ бросаются освободители въ подземелье; «Бониваръ, живъ ли ты?» кричатъ они; Бониваръ отвѣчаетъ вздохомъ. «Бониваръ! ты свободенъ!»—А Женева? спрашиваетъ онъ. — «И Женева свободна!»

Говорятъ, что Бониваръ по выходѣ изъ тюрьмы, оставался нѣкоторое время какъ растерянный. Онъ не обрадовался солнцу, отъ котораго отвыкло его зрѣніе, и уходя, долго и съ грустью прощался съ мѣстомъ своего заключенія, какъ съ родной кровлей!

Послѣ этого наступило для Шильона мирное время пасторали, въ которое резиденствовали въ немъ бальи de Leurs Excellences de Berne. Но когда гулъ французской революціи отозвался на берегахъ Женевскаго озера — Шильонъ опять выступаетъ на сцену.

Сперва въ него сажаютъ зачинщиковъ народнаго банкета въ Лозаннѣ — Россе и Мюллера Деламота. Въ 93-мъ году Шильонъ, какъ Бастилія Парижа, былъ первой побѣдой республики, но его, къ счастію, не сломали и въ 99-мъ году въ него сажаютъ Фрибергскихъ аристократовъ подъ надзоромъ того же Де-Ламота, котораго находимъ въ немъ уже не плѣнникомъ, а начальникомъ замка.

Такимъ образомъ Шильонъ, имѣвшій у себя графа Вола представителемъ смутныхъ временъ варварства, Петра Савойскаго — феодализма, Бонивара—временъ возрожденія и реформы, дожилъ до настоящей поры, когда его чуть было не разжаловали въ хлѣбный магазинъ — и оставили какимъ-то уѣзднымъ арсеналомъ. Рубцы, вытертые на его камняхъ цѣпями и тѣломъ заключенныхъ, давно бы покрылись пылью и поросли забвеніемъ въ нѣсколькихъ сердцахъ благодарныхъ гражданъ, еслибы одинъ человѣкъ не сказалъ о немъ во все-услышаніе Европы нѣсколькихъ чудныхъ словъ.

Этотъ человѣкъ все-таки былъ путешественникъ-англичанинъ, потому что, кажется, современной Швейцаріи суждено питаться и процвѣтать на счетъ путешественниковъ вообще, а англичанъ въ особенности. Еслибы кто нибудь запретилъ англичанамъ года на три покидать свой островъ, Швейцарія не знала бы что дѣлать съ собою! Правда, что и англичане были бы не въ меньшемъ затрудненіи.

И такъ, въ одно прекрасное утро, нѣкій англичанинъ съ другомъ своимъ Гобгузомъ сѣлъ у Кларанса въ лодку и отправился въ Шильонъ. Какъ истые англичане, они не преминули отправиться въ путь съ того самаго мѣста, съ котораго Руссо отправилъ на свою послѣднюю прогулку Юлію.

Путешественники пристали къ Шильону, и сошли въ большое подземелье. Въ то время, какъ пьяный и глухой инвалидъ бормоталъ имъ исторію Бонивара, которой они не знали, темныя мысли и вдохновеніе сошли въ жилище тѣней и заключенныхъ на геніальную голову одного изъ путниковъ. Ему вспомнились суровыя пѣсни Данта, ему мерещился Уголино съ умирающими дѣтьми, и въ одну минуту онъ составилъ планъ своего шильонскаго узника. Передъ уходомъ, поэтъ (все тоже какъ истый англичанинъ) на третьемъ столбѣ ясно вырѣзалъ свое имя: «Lord Byron.»

Черезъ нѣсколько дней Байронъ отправился изъ Кларанса въ Лозанну, но пріѣхавъ туда, гдѣ пристаютъ Лозанскіе пароходы, онъ застигнутъ былъ ночью и непогодой и долженъ былъ остаться но-

чевагъ. Тамъ, въ гостинницѣ Якоря, онъ окончательно набросалъ на бумагу строфы, которыя болѣе сдѣлали извѣстнымъ имя Шильона, чѣмъ годы заключенія Вола и Бонивара.

Я отступилъ отъ своего правила, разсказавъ вкратцѣ исторію Шильона. Мнѣ кажется, что для всякаго, знающаго о Шильонѣ по Байрону или хоть Жуковскому (а кто не знаетъ его!), будутъ интересны эти свѣдѣнія. Теперь я вамъ скажу о Шильонѣ — какимъ я увидалъ его.

Мы взяли лодку, но не послѣдовали примѣру Байрона, хотя Кларансъ былъ близко, а отправились просто съ пристани. Погода была отличная: не смотря на конецъ сентября, полуденное солнце грѣло какъ лѣтомъ и красный флагъ съ гельветическимъ крестомъ висѣлъ на нашей лодкѣ не колыхаясь. По мѣрѣ того, какъ мы приближались къ замку, озеро становилось темнѣе и темнѣе, и вмѣсто дна, которое часто виднѣлось на нѣсколькихъ саженяхъ, подъ нами стояла темно-синяя бездна: тутъ глубина страшная; замокъ стоитъ на скалистомъ островѣ и волны озера бьютъ прямо въ его подножіе. Съ другой стороны маленькій крытый деревянный мостъ (на мѣсто подъемнаго) соединяетъ его съ берегомъ. Онъ глядитъ на озеро сплошною стѣною, въ которой неправильно разбросано нѣсколько стрѣльчатыхъ оконъ верхняго этажа и нѣсколько узенькихъ отверстій, дающихъ свѣтъ нижнему, гдѣ расположены тюрьмы. Извнутри выглядываютъ четырехугольными крышами двѣ башни: вообще наружность замка не живописна, но суха, мрачна, тяжела,— и какъ разъ соотвѣтствовала его безотрадному прежнему назначенію.

Черезъ четверть часа ѣзды, мы обогнули наружную стѣну, остановились подъ мостомъ и взошли по каменной лѣсенкѣ: у одной изъ стѣнъ моста сидѣлъ солдатъ и торговалъ книжками и видами, изображающими замокъ. Онъ попросилъ насъ войти и позвонилъ смотрителя.

Мы были счастливѣе Байрона. Вмѣсто пьянаго сторожа, къ намъ вышелъ опрятный сѣденькій старичекъ въ сѣренькомъ сюртучкѣ, и прямо повелъ насъ въ нижній этажъ или, какъ его неправильно называютъ — подземелье, потому что тюрьмы, вопреки Байрону, выше воды.

Первая комната была обширная, слабо освѣщенная зала, въ которой жила стража, изъ нея мы спустились по нѣсколькимъ ступенямъ и очутились въ маленькой комнатѣ. Слѣва было крошечное окошко, справа, вдоль внутренней стѣны, лежалъ наклонно огромный камень: на этомъ камнѣ осужденные на смерть проводили послѣднюю ночь, на канунѣ казни; середина его была потерта отъ употребленія, видно — на немъ бывало не мало жильцовъ!

За тѣмъ мы вошли въ совершенно темную комнату, свѣтъ въ нее проходилъ изъ двери сосѣдней, въ которой была лѣстница на верхъ въ залу суда. Сначала мы ничего не могли разсмотрѣть, но потомъ разглядѣли на верху брусъ. Это была перекладица висѣлицы!

— А вотъ въ это отверстіе выбрасывали трупы *бѣдныхъ осужденныхъ* (какъ выражался заученымъ тономъ смотритель) въ озеро.

Дѣйствительно, отверстіе въ наружную стѣну было заложено кирпичомъ. Легкія мурашки пробѣжали у меня по спинѣ.

Наконецъ, мимо лѣстницы, мы вступили въ знаменитую залу, которой Бониваръ оставилъ свое имя.

Это было длинное и широкое подземелье, съ высокими сводами; оно слабо освѣщалось ближе къ входу двумя узенькими окошечками, противуположный край залы совершенно тонулъ въ темнотѣ. Слабо голубоватый (отъ отраженія воды) свѣтъ разливалъ на все какой-то фантастическій колоритъ; онъ не обозначалъ, а какъ будто затушевывалъ, еще глубже отодвигалъ стѣны и своды и не замѣтно сливался съ тьмой и замиралъ совершенно. При этомъ чудномъ освѣщеніи посреди залы, поддерживая своды, идутъ далеко отступая одинъ отъ другаго семь тяжелыхъ крупныхъ столбовъ, сначала они видны ясно, потомъ темнѣютъ, чернѣютъ и пропадаютъ во мракѣ, такъ что только зайдя съ противоположной стѣны, видѣнъ ихъ вогнутый угрюмый рядъ.

На третьемъ отъ входа и довольно хорошо освѣщенномъ столбѣ четко написано имя Байрона, и затѣмъ весь столбъ исписанъ различными именами. Не мудрено! Когда такой человѣкъ какъ Байронъ подаетъ примѣръ глупости, ей извинительно слѣдовать. Тутъ вы встрѣтите имена Санда и Мальзерба, Неандера и Руссо, подъ именемъ Дюма какой-то фарсеръ подписалъ имя Гомера, но отъ смѣшнаго до великаго — нѣсколько шаговъ. Черезъ столбъ, именно на пятомъ и совершенно погруженномъ во мракакъ, мы сначала ощупью, а приглядѣвшись—и глазами нашли желѣзное кольцо, къ которому былъ прикованъ Бониваръ. Моя нога попадаетъ въ какую-то ложбинку, это тропа, протоптанная вокругъ самаго подножія столба ногами Бонивара, она не болѣе двухъ шаговъ длины, потому что вся его свобода ограничивалась тремя футами цѣпи!

Ощупью мы подошли къ крайней стѣнѣ и оберпулись. Видъ отъ нея на мрачную полуокрашенную тонкимъ голубоватымъ свѣтомъ залу, покрытую сводомъ, подпертымъ семью темными столбами, навѣвалъ какой-то суровый ужасъ. А на верху, почти надъ этой залой, была комната герцогини Савойской: она закрашена известкой и только деревянный клѣтчатый потолокъ напоминаетъ въ ней старину. Стрѣльчатое окно было разтворено. Два кампя, выдаваясь съ обѣихъ сторонъ его, служили вмѣсто табуретокъ. Я сѣлъ отдохнуть и заглядѣлся! Голубое озеро плещется у подножія, слѣва темный гористый, справа отлогій, выгибающійся и весь покрытый свѣтомъ, зеленью и отелями берегъ, а прямо голубая сливающаяся даль воздуха и воды.

А внизу подземелья, висѣлицы и цѣпи. Какъ не скажешь вмѣстѣ съ поэтомъ: inferno in paradiso!

Мы прошли спальню герцога и капеллу, въ которыхъ почти не осталось ничего отъ старыхъ временъ. Капелла переправлена и въ ней по воскресеньямъ бываетъ служба для немногихъ военныхъ арестантовъ, которые содержатся въ замкѣ. Остальныя залы заняты складомъ военныхъ запасовъ. Въ столовой, съ огромнымъ кухоннымъ очагомъ, стоятъ зарядные ящики, въ парадной пріемной, подъ гербами бальи, висятъ хомуты, въ залѣ суда покоятся пушки, своего рода, нынѣ, слава Богу, дремлющіе судьи. Мещанская известка и разные припасы затушевываютъ проглядывающую кой-гдѣ старину, вы думаете что находитесь въ запасномъ магазинѣ и вдругъ натыкаетесь на деревянный старинный столбъ, вверху котораго привѣшенъ блокъ и проводникъ своимъ заученымъ и однообразнымъ голосомъ говоритъ:

— Въ этой комнатѣ, примыкающей къ залу суда, производились пытки. Къ столбу, который вы видите, привязывали несчастныхъ подсудимыхъ, къ ихъ ногамъ привязывали тяжесть и потомъ дергали или поднимали вверхъ посредствомъ этого блока. Иногда этимъ не ограничивались и жгли ихъ тѣло раскаленнымъ желѣзомъ! Вы можете видѣть слѣды его...

Въ самомъ дѣлѣ, сторона столба, обращенная къ окну, была видимо истерта отъ употребленія, и во многихъ мѣстахъ изожжена желѣзомъ. Мурашки опять пробѣжали у меня по тѣлу.

Нѣтъ! скорѣе вонъ! на свободу и солнце!

— Не въ этой ли башнѣ содержался графъ Вола? спросилъ я чичероне, когда мы вышли на внутренній дворъ.

Онъ мнѣ кивнулъ головою, соглашаясь и вмѣстѣ какъ будто прося не вмѣшиваться не въ свое дѣло и началъ:

— Въ этой башнѣ, древнѣйшей во всемъ замкѣ; въ 830 году, т. е. тысячу двадцать семь лѣтъ назадъ, былъ заключенъ и пр.

Мы думали, что уже все осмотрѣли и направлялись вслѣдъ за смотрителемъ къ выходу, когда онъ отворилъ дверь въ наружную стѣну и ввелъ насъ въ маленькую темную комнату. Я думалъ, что это клеушокъ для стойла какой нибудь лошади Петра Савойскаго или погребокъ. У двери было отверстіе, полуобнесенное низкой загородкой; въ немъ видна была каменная лѣстница.

— Въ эту комнату, сказалъ старичокъ, вводились тѣ несчастные (онъ вездѣ прибавлялъ этотъ эпитетъ), отъ которыхъ хотѣли избавиться безгласно. Имъ велѣно было спускаться по этой лѣстницѣ; ступивъ три ступени, они обрывались и падали въ пропасть. Вы видите, что у лѣстницы только три ступени, глубина внизъ восемьдесятъ футовъ.

— Ужасно! невольно воскликнулъ я, поскорѣе отскочивъ отъ перилъ, черезъ которые заглядывалъ...

Мы купили у часоваго Шильона нѣсколько видовъ и сѣли въ лодку. Какое-то смутно-отрадное чувство ощущалъ я, удаляясь отъ замка, на солнцѣ, воздухѣ и просторѣ. Точно просыпаешься послѣ тяжелаго сна и сознаешь, что все, что такъ тѣснило грудь и возмущало душу, былъ только сонъ. Замокъ отодвигался все далѣе и далѣе и смотрѣлъ угрюмою, но живописной группой. На одной изъ наружныхъ стѣнъ его виднѣлся потертый гербъ Гельвеціи съ крупнымъ девизомъ: Liberté et Patrie.. Шесть лѣтъ заключенія Бонивара— не пропали даромъ!

Montreux $^{2}/_{14}$ октября 18.. г.

Женева.

(Poste-Scriptum).

— «Пять картъ и тьерсъ-мажоръ восемь, три короля—одиннадцать и три десятки четырнадцать...

Вотъ какъ третьяго дня коротали мы на пароходѣ пять скучныхъ часовъ переѣзда отъ Montreux въ Женеву, и какъ приходится иногда теперь коротать здѣсь время. Что прикажете дѣлать! На горахъ выпалъ сильный снѣгъ, а на дворѣ то изморось, то холодъ; осень и здѣсь беретъ свое и только иногда въ полдень проглянетъ теплое солнце и припечетъ какъ лѣтомъ, только цвѣты, не тронутые морозомъ, стоятъ задумавшись въ саду, то приподымутъ головки и заблестятъ подъ солнцемъ, то снова сожмутся отъ холода, точно женщина на отцвѣтѣ, которая въ первый разъ замѣчаетъ свою суровую пору и раздумываетъ, прошло ли для нея невозвратно время любви и весны, или снова шибко забьется сердце, снова закипитъ кровь, и хоть не надолго, но пышнѣе, ярче и сильнѣе разцвѣтетъ послѣднее чувство.

Я отправилъ къ вамъ письмо—случилась какая-то надобность заглянуть въ Женеву, я же кстати не досмотрѣлъ ее въ первый пріѣздъ и не говорилъ вамъ о ней ни слова—и мы отправились всей русской компаніей.

Видъ Женевы съ озера очень хорошъ. Пологіе берега, усѣянные виллами, въ зелени парковъ и луговъ, круто съуживаются; сквозь узкій проходъ низенькой скалы васъ шибко несетъ теченіе, вы уже въ рѣкѣ, въ Ронѣ; по обѣ стороны тѣсной стѣной стоятъ высокіе дома, низкіе деревянные мосты видны далѣе, по раздвояющейся и пропадающей за строеніемъ Ронѣ,—впереди у моста хорошенькій островокъ Руссо, съ группой деревьевъ и статуей задумавшагося надъ рукописью философа; пароходъ тихо и осторожно пристаетъ къ берегу, боясь быть увлеченнымъ теченіемъ; на каменной набережной стоитъ толпа народа и смотритъ на пріѣзжающихъ, сходня переброшена на мостки, куча носильщиковъ и коммисіонеровъ, въ синихъ пестрядиныхъ блузахъ, начинаетъ таскать вещи, мальчишки приступаютъ къ вамъ, чтобы донесть вашъ мѣшокъ или узелъ — вы читаете надпись Hôtel de la Métropole, Ecu de Geneve, Couronne

hôtel des Bergues и пр. и пр., называете одинъ изъ этихъ отелей, которые всѣ великолѣпны, всѣ огромны, и вы въ Женевѣ.

Всякій городъ имѣетъ свою физіономію, Женева городъ отелей и трактирщиковъ. Старыя зданія прежнихъ аристократовъ, укрѣпленія и дома съ узкими улицами—свидѣтели междуусобій, остались назади. Передъ вами стоятъ огромные дома новой архитектуры безъ колоннадъ, фронтоновъ и прочихъ греческихъ орнаментовъ, а прочные, удобные дома съ зелеными опускными рѣшетками, вмѣсто ставней, дома безъ заднихъ и всякихъ дворовъ, какъ прилично трактирнымъ домамъ для наѣзжихъ жильцовъ. Только на каждой кирпичной трубѣ надѣлано еще нѣсколько жестяныхъ изогнутыхъ трубокъ, для предохраненія отъ искръ, и эти сотни блестящихъ трубокъ стоятъ точно гидры съ подъятыми головами, жаждущія крови путешественниковъ, иные точно руки, воздѣтыя къ небесамъ съ возгласомъ, что они неповинны въ трактирныхъ грабительствахъ народа,—да народа швейцарскаго кажется нѣтъ, а есть гиды, извощики, носильщики, а болѣе всего трактирщики и трактирные лакеи, словомъ, весь людъ, который живетъ путешественниками. Въ Женевѣ некому даже наниматься и въ солдаты—зачѣмъ торговать кровью, когда можно торговать мелкими услугами и дешевымъ трудомъ!

Я не знаю даже, есть ли въ Женевѣ какое нибудь общество (кромѣ цеховъ). Еслибы завтра мнѣ кто нибудь подарилъ въ ней домъ, я бы черезъ недѣлю уѣхалъ изъ него. Мнѣ кажется, здѣсь невозможно жить постоянно. Здѣсь можно только путешествовать, отдыхать отъ путешествій и потомъ опять путешествовать, потому что кругомъ вы только и видите пріѣздъ и отъѣздъ, омнибусы и пароходы, горы чемодановъ и саковъ изъ сотни городовъ и тысячи фасоновъ, точно переселеніе народовъ!

Въ первый разъ, какъ я былъ въ Женевѣ, общество огородниковъ давало праздникъ дѣтямъ своего прихода (а огородниковъ здѣсь пропасть, потому что пропасть отелей). Послѣ обѣда пошли мы на поле, гдѣ давался праздникъ. Надо правду сказать, праздникъ былъ жалкій, народу мало. Посреди огромной площади какой-то гражданинъ вколачивалъ четыре кола, для трехъ ракетъ, изъ которыхъ будетъ состоять фейерверкъ, на двухъ круглыхъ качеляхъ катались дѣти на конькахъ, два французскихъ швейцарца усаживали ихъ съ такою важностью, какъ будто занимались головоломнѣйшимъ дѣломъ. Далѣе какой-то членъ муниципалитета съ умышленнымъ комизмомъ выкликалъ имена дѣвочекъ:

— Marie Picot.

Выходила какая нибудь Marie Picot, будущая русская гувернантка—и рыжая наставница надѣляла ее книжкой. Толпа смотрѣла на эту процессію и смѣялась гримасамъ вызывателя, который, замѣтивъ одобренія публики, удвоилъ ихъ: мнѣ гали гадки и базарныя гримасы, и базарныя премін.

Кучка народа стояла возлѣ нѣсколькихъ столиковъ, размѣстившихся по окраинѣ площади. Въ одномъ мѣстѣ женщина предлагала вернуть рулетку, въ другомъ была безпроигрышная лоттерея, по 5 су за билетъ. Можете себѣ представить каковы выигрыши за 20 коп. ассигнаціями! Въ третьемъ какой-то искусникъ предлагалъ гирькой на ниткѣ зацѣпить за кольцо,—ударъ стоитъ 20 сантимовъ, и онъ отвѣчаетъ пятью франками и въ доказательство, что это не трудно, самъ всякій разъ попадетъ въ цѣль. А тамъ косморамы, маріонетки—невольно скажешь; «голь на выдумку хитра»!

Но вотъ у входа на площадь стоитъ какая-то брика парой и сзади ея два музыканта въ шлемахъ трубятъ неистово. Впереди надъ козлами вы видите господина въ золотомъ шлемѣ и парчевой мантіи, онъ пересыпаетъ жетоны и что-то разматываетъ. Вы думаете это фокусникъ. Ничуть не бывало! Это Манженъ, фабрикантъ карандашей, Манженъ, столь извѣстный всему Парижу, изъ котораго онъ пріѣхалъ сюда: онъ тоже путешествуетъ. Вы скажете, что это шарлатанъ и Манженъ тоже говоритъ про себя. Но онъ прибавляетъ, что когда онъ пробовалъ продавать хорошіе карандаши въ обыкновенномъ платьѣ, у него ихъ никто не покупалъ, онъ надѣлъ шутовскую мантію и вотъ народъ бѣгаетъ за нимъ, его рисуютъ во всѣхъ иллюстраціяхъ (и онъ покажетъ вамъ ихъ), о немъ говорятъ въ газетахъ (онъ показываетъ столбцы); карандаши его расходятся тысячами. А въ доказательство, что карандаши его дѣйствительно хороши, онъ разбиваетъ ими дощечку и затѣмъ рисуетъ карикатуры съ зрителей, Манженъ нажилъ, говорятъ, хорошее состояніе, но не смотря на то, всякій день разъѣзжаетъ по городу, смѣшитъ публику своими разсказами—и продаетъ карандаши.

Все это забавно, но еще болѣе жалко. Мальчишка савояръ, который, подъ предлогомъ продажи спичекъ, проситъ милостыню, возбуждаетъ сожалѣніе. Эти рулеточники, лотерейщики и проч., какъ будто дѣлающіе дѣло и серьезно убѣждающіе васъ, что вы сдѣлаете отличную аферу, если возьмете билетъ; эти шарлатаны съ цинизмомъ, говорящіе вамъ, что они дѣйствительно шарлатаны, потому что публика любитъ шарлатановъ, потому что это имъ выгодно—становятся гадки. Нѣтъ, не таковъ русскій народъ, и слава Богу! Если ему лѣнь трудиться — онъ лѣнится и лежитъ на печкѣ, пока нужда не сгонитъ его; бѣдность пришибла, болѣзнь одолѣла—онъ пойдетъ по міру и прямо протягиваетъ руку: но не прибѣгаетъ къ шарлатанству, фокусничеству и всѣмъ этимъ циническимъ и мелкимъ надуваньямъ: они не въ его характерѣ.

Впрочемъ нельзя сказать, чтобы эти черты были тоже глубоко вкоренены въ швейцарцевъ. У швейцарцевъ есть свои собственные, доведенные до совершенства, обманъ и шарлатанство — надуванье путешественниковъ, въ этомъ никто не превзойдетъ ихъ! Но это шарлатанство площадное перешло

къ нимъ отъ французовъ. Вообще французское вліяніе сильно отзывается въ Швейцаріи въ—манерѣ, гасконствѣ, ловкости, но вы все-таки сейчасъ различите француза отъ швейцарца, даже въ Швейцаріи французской. Вездѣ подъ французской пѣной видна нѣмецкая закваска. Въ этомъ отношеніи Швейцарію можно раздѣлить на два отдѣла: во французской вы встрѣтите нѣмецкихъ французовъ, въ нѣмецкой—французскихъ нѣмцевъ.

Посмотрѣвъ въ первый пріѣздъ на веселости добраго швейцарскаго народа, мнѣ хотѣлось посмотрѣть куда этотъ вольный народъ засаживаютъ.

Женевскія тюрьмы имѣютъ хорошую репутацію. Ихъ двѣ, одна для временнаго заключенія (maison de détention), другая для осужденныхъ на долго (prison pénitentiaire); чтобы видѣть ихъ надо имѣть билетъ изъ департамента внутреннихъ дѣлъ. Я отправился въ тюрьму, гдѣ помѣщены всѣ управленія. Жандармъ въ треугольной шляпѣ и длинномъ сюртукѣ показалъ мнѣ доску съ росписаніями и не далеко отъ комнаты для браковъ, я нашелъ номеръ департамента, поднялся по лѣстницѣ, устроенной безъ ступенекъ, чтобы покойные сенаторы могли въѣзжать по ней верхомъ,—и попалъ все-таки не туда.

— Здѣсь департаментъ внутреннихъ дѣлъ? спросилъ я старичка, сидящаго за дѣлами.

— Нѣтъ, это повыше. Позвольте я васъ провожу.

И почтенный чиновникъ повелъ меня.

— Дать что нибудь почтенному чиновнику или не дать? думалъ я. По обычаю надо бы дать: такъ ужь здѣсь рука наметалась давать за все и про все. Но вѣдь здѣсь чиновники не берутъ, говорятъ, и я рѣшился оставить за чиновникомъ доброе дѣло, а въ карманѣ двадцать сантимовъ.

Въ департаментѣ внутреннихъ дѣлъ двѣ комнаты, одинъ чиновникъ и пропасть коробочекъ на полкахъ. Я объявилъ желаніе, чиновникъ вынулъ изъ коробочекъ два билета, вписалъ мое имя и вручилъ мнѣ ихъ.

Я зашелъ въ соборъ св. Петра, помѣщенный въ улицѣ философовъ, и замѣчательный своей пустотой и краснорѣчіемъ сторожа, который прочелъ мнѣ цѣлую лекцію, по поводу рѣзной сивиллы, помѣщенной вмѣстѣ съ апостолами. За соборомъ былъ домъ заключенныхъ, я постучалъ кольцомъ въ дверь, ее отворила женщина, отперла рѣшетку, впустила меня—и заперла. Вотъ и я въ домѣ заключенныхъ, однакожь вскорѣ явился сторожъ и повелъ меня.

Домъ устроенъ по строгой системѣ одинокаго заключенія. Въ немъ находятся преступники, осужденные на нѣсколько мѣсяцевъ или находящіеся еще подъ судомъ. Мы вошли въ длинное зданіе, одна сторона котораго оставалась пустою во всю вышину, а по другой шли галлереи, съ дверями въ комнаты заключенныхъ. Всѣ галлереи переплетены проволочной сѣткой, такъ что изъ нихъ нельзя ни спуститься, ни спрыгнуть внизъ. У каждой двери отодвигается узенькое отверстьице за стекломъ и сѣткой, сквозь которую можно видѣть что дѣлаютъ невольники. Короткость времени заключенія не позволяетъ занимать ихъ общей работой—но всѣ обязаны что нибудь дѣлать у себя. Вотъ одинъ въ колпакѣ сидитъ и разбираетъ корешки для дрогистовъ, другой плететъ веревочку, третій въ круглой шляпѣ и пальто расхаживаетъ мрачно. Въ церкви тоже устроены отдѣльныя, идущія амфитеатромъ, клѣточки, въ которыя каждаго затворяютъ, такъ что онъ не можетъ видѣть никого, кромѣ пастора. Въ четыре сажка для прогулокъ вводятъ на полчаса тоже каждаго по одиночкѣ. Пища состоитъ изъ кофею съ молокомъ по утру, зелени въ полдень и супа вечеромъ; два раза въ недѣлю дается говядина.

Съ полчаса водилъ меня сторожъ по всѣмъ угламъ (женское отдѣленіе показывается только женщинамъ, мужское только мужчинамъ), желѣзныя двери безпрестанно отпирались и запирались.

— Ну, ужь здѣсь никто не убѣжитъ, сказалъ я.

— Прошу извинить! Мѣсяца два назадъ, изъ 3 этажа бѣжалъ одинъ заключенный, отвѣчалъ сторожъ.

— Какимъ же образомъ?

— Онъ ухитрился какъ-то выдвинуть пробой изъ двери.

— Ну, а далѣе какъ? Вѣдь здѣсь десатокъ желѣзныхъ дверей и одинъ только входъ.

— О! Далѣе ужь ничего не значитъ! съ увѣренностью замѣтилъ сторожъ, хотя все-таки никакъ не могъ объяснить, какъ десять желѣзныхъ дверей ничего не значатъ.

— Что-жъ, такъ и пропалъ бѣглецъ.

— Такъ и пропалъ!

Тюрьма, въ которой содержатся преступники, осужденные на вѣчное заключеніе, или не менѣе годичнаго, стоитъ на выѣздѣ, а впрочемъ недалеко. Въ Женевѣ все близко. За ограду опять впустила меня женщина. Въ этой тюрьмѣ осужденные работаютъ въ общихъ залахъ, которые построены по радіусамъ. Въ центрѣ, полукруглая комната инспекціи, и изъ нея въ окошечко, величиною въ пятакъ, можно видѣть что дѣлается въ рабочихъ. Посѣтителей впрочемъ въ рабочія залы не пускаютъ.

— Могутъ разговаривать между собою осужденные во время работы? спросилъ я.

— Нѣтъ, это строго запрещено, но они всегда находятъ средство поговорить. Оборвется ли у кого нитка, онъ отправляется къ смотрителю и вмѣсто двухъ словъ, старается какъ можно длиннѣе растянуть свою фразу.

— А это что такое, спросилъ я въ ванной, увидавъ какой-то ремень, повѣшенный на веревкѣ.

— Это родъ наказанія, которое мы дѣлаемъ самымъ упрямымъ. Мы раздѣваемъ его, надѣваемъ этотъ поясъ и приподнимаемъ на веревкѣ, говорилъ сторожъ съ улыбкой, весьма довольный замысловатостью наказанія. А какъ приподнимемъ,

то берем эту трубу, въ которую проведена вода, нацѣживаемъ и—ффить!

Онъ отвернулъ кранъ и, какъ изъ пожарнаго насоса, изъ нея прыснула вода.

— Э-ге! филантропы, подумалъ я, вы не глупы на выдумки! Слова нѣтъ, ваши наказанія тоньше, да говорятъ, тоненькое-то больнѣе.

Вообще въ тюрьмахъ очень чисто и хорошо—для посѣтителей.

—

Мы были у Калама. Кривой, но талантливѣйшій изъ пейзажистовъ былъ съ нами чрезвычайно любезенъ, что, говорятъ, не всегда съ нимъ бываетъ; онъ доканчивалъ и показывалъ намъ нѣсколько прекрасныхъ картинъ.

— Я надѣюсь, вы ихъ увидите въ Россіи, прибавилъ онъ. Въ самомъ дѣлѣ онѣ куплены нашими соотечественниками. Кромѣ того, во всѣхъ картинныхъ магазинахъ вы найдете деревца, сдѣланныя, Каламомъ карандашомъ или сепіей, на восьмушкахъ бумаги 100 — 200 франковъ. У Калама не пропадаетъ ни какой эскизъ, и онъ, говорятъ, платитъ ими. Одинъ изъ роскошнѣйшихъ отелей, Метрополь, принадлежитъ, говорятъ, вполовину Каламу.

Въ Hôtel de Bergues есть родъ клуба — cercle des etrangers — въ двѣ комнаты. Въ одной пропасть газетъ, въ другой rouge et noire, въ газетной всегда пусто, за то въ игорной нѣтъ мѣста за столомъ, хотя игра и не велика.

Rouge et noire игра чрезвычайно забавная. На длинномъ зеленомъ столѣ начерчены клѣтки. Вы бросаете деньги. Банкометъ разложитъ нѣсколько картъ въ два ряда, провозгласитъ: «Rouge gagne, couleurs—perd», или на оборотъ, загребаетъ деньги однихъ, бросаетъ другимъ. Главная прелесть этой игры состоитъ, по моему, въ томъ, что, во-первыхъ, въ 10-ть минутъ вы можете проиграть двадцать ставокъ, а во-вторыхъ, что рѣшительно не понимаете, почему къ вашимъ деньгамъ весьма ловко подбросилъ крупье проигрышъ, или загребаетъ ихъ себѣ. Это совершенное невѣденіе кабалистическихъ знаковъ, на которые вы бросили деньги, и самой игры, составляетъ ея лучшую прелесть. Когда я проигралъ сто франковъ и, воротившись домой, прочелъ ея описаніе — она для меня потеряла половину интереса.

Однакожъ, если вы распорядитесь хуже меня и напередъ узнаете игру, а потомъ станете проигрывать, то все-таки совѣтую вамъ брать съ собой только тѣ деньги, которыя намѣрены проиграть, потому что хоть вы и уменьшите интересъ игры ея знаніемъ, но это не помѣшаетъ вамъ проиграть все, что съ вами есть: такъ забавна она!

Но холодно! Мгла стоитъ кругомъ и стушевываетъ всѣ предметы. О Монбланѣ, который проглядывалъ бѣлой верхушкой въ полдень, теперь и помину нѣтъ, все какъ-то опустилось, задумалось; куда дѣлась и чудная синева озера, и оно помутилось! Ага, видно холодъ не свой братъ! подумалъ я. Хорошо тебѣ голубѣть здѣсь, гдѣ ты не знаешь и ледяныхъ закраинокъ, голубѣй-ка у насъ въ Россіи! Нѣтъ, прощай Montreux и Швейцарія! Пора подальше, потеплѣе, туда, за горы, въ Италію.

6-го октября 18.. г.
Пароходъ Hirondelle, на Женевскомъ озерѣ.

ПИСЬМО ПЯТОЕ.

Симплонская дорога и итальянскія озера.

Нашъ швейцарскій пансіонъ подъ-конецъ походилъ на русскую колонію и надо намъ отдать справедливость, мы его порядкомъ передѣлали на свой ладъ. Но, несмотря на то, что кухарка Жанета усовершенствовалась въ варкѣ налимной ухи, что дамы пріобрѣли привычку уходить тотчасъ изъ-за стола, чтобы дать намъ возможность курить безъ нихъ, что хорошенькая Маргарита болѣе болтала съ нами, чѣмъ исполняла другія свои обязанности надо было наконецъ покинуть мирный край отелей и пансіоновъ. Мы соединились въ четверомъ и обсудивъ всѣ шансы различныхъ дорогъ и способовъ переѣзда, рѣшились ѣхать на почтовыхъ по симплонской дорогѣ.

Изъ всѣхъ дорогъ, которыя перерѣзываютъ Альпы и соединяютъ Швейцарію съ Италіей, дорога черезъ Симплонъ самая живописная. Она построена по приказанію Наполеона. Пять тысячъ рабочихъ трудились надъ нею восемь лѣтъ, болѣе шестисотъ мостовъ и трубъ перекинуто черезъ ручьи, овраги и пропасти; восьмнадцать милліоновъ франковъ стоила она французамъ и Цизальпинской республикѣ,—какъ же послѣ этого не отдать было ей чести предпочтенія!

И вотъ, въ одно въ самомъ дѣлѣ прекрасное утро, подъѣхала къ нашему крыльцу коляска въ двѣ лошади, къ запяткамъ привязали наши четыре чемодана, кучеръ облѣпился на козлахъ сакями и шляпниками. М-г Депаллонъ, имѣющій привычку обыкновенно напиваться къ обѣду, напился къ завтраку, угостилъ насъ какимъ-то пирогомъ изъ сыру и яишницы и, не убѣдивъ никого спуститься въ его погребокъ—гдѣ хранится болѣе изъ опорожненныхъ, нежели цѣльныхъ бутылей,—спустился съ горя одинъ—и мы отправились.

По карнизу Женевскаго озера, мимо шильонскаго замка, мы доѣхали до городка Вильнева, выстроеннаго на мѣстѣ римскаго Пенникулуса, уничтоженнаго въ 563 году надъ нимъ горы Тавретуниумъ,—повернули влѣво и простились съ голубой равниной Леманна. По бокамъ стояли двѣ угрюмыя стѣны горъ, глубокая темная долина вилась между ними, постепенно повышаясь, и изъ глубины ея виднѣлись вершины, покрытыя глубокимъ снѣгомъ

на насъ пахнуло холодкомъ родпаго первопутья и мы въѣхали въ долину Роны.

Рона насъ встрѣтила у Портъ-Валіе, который въ то счастливое время, когда назывался Portus Vallesiae, стоялъ на берегу озера, а теперь, къ крайнему огорченію, очутился версты за три отъ него. Рона здѣсь грязна и мутна: не даромъ Руссо сказалъ про нее, что она будто боится замарать собою воды Лемана; однако, судя по быстротѣ, не видно, чтобы она очень этого боялась.

Дорога по болотистой Ронской долинѣ не лишена своего рода суровой прелести: то, при поворотѣ выглянетъ, сверкая бѣлымъ снѣгомъ, какая-нибудь горища, то водопадъ бѣжитъ изъ узенькой или широкой щели и, падая, разсыпается на воздухѣ брызгами.

— Какой это водопадъ? спрашиваемъ мы у почтаря, и получаемъ въ отвѣтъ названіе, которое можно видѣть на Поль-Поттеровской картинѣ въ эрмитажѣ, но неудобно напечатать. Иногда горы сходятся, какъ двѣ стѣны, и оставляютъ между собою узенькій корридоръ, въ который такъ и хочется заглянуть, а видишь только бѣлую пѣну воды, которая несется, можетъ быть, съ Монблана; иногда по ущелью дѣвственный снѣгъ спускается низко и видно цѣлое покатое рѣдколѣсье сосенъ, засыпанныхъ имъ.

— Экая пороша-то, пороша-то, говоритъ одинъ мой спутникъ, истый руссакъ.

— А у насъ теперь этого виду-то! прибавляетъ другой — и странное дѣло: этотъ видъ веселилъ насъ! Точно встрѣчаешь какую нибудь знакомую и надоѣвшую физіономію при выѣздѣ изъ надоѣвшаго города; тройка бѣжитъ шибко.

— Прощайте, Иванъ Семенычъ, кричитъ знакомая физіономія.

— Прощайте, Семенъ Ивановичъ, улыбаясь кричишь ему, оборачиваясь изъ тарантаса, — и вамъ становится еще веселѣе отъ сознанія, что эту глупую фигуру Семена Ивановича долго не увидишь.

Переходъ изъ кантона Во въ Вале чувствуется рѣзко: позади, жизнь, движеніе, предпріимчивость, впереди болота, оборванные нищіе, кретины съ безобразными зобами и сморщенными какъ отъ собачьей старости, лицами—и въ добавокъ крестьяне въ коротконолыхъ фракахъ и съ ломаннымъ нѣмецкимъ языкомъ. Изрѣдка попадающіеся кресты и образа вамъ говорятъ о присутствіи католицизма.

Этотъ переходъ дѣлается на живописномъ мосту у С-тъ Мориса; солдатъ остановилъ насъ и спросилъ паспорты.

— Нѣтъ у насъ паспортовъ, говоримъ мы, наученные гидами.

— Не можетъ быть, чтобы вы путешествовали безъ паспортовъ, возражаетъ солдатъ.

— Да зачѣмъ же паспорты по Швейцаріи? они у насъ въ чемоданахъ.

— Если вы не пропишете ихъ, то вамъ нельзя будетъ возвратиться.

— Да мы и не желаемъ возвращаться!

— Гм! не желаете! ну, такъ поѣзжайте, коль не желаете, говоритъ стражъ.

Утромъ при отъѣздѣ изъ пансіона, одинъ прусскій нашъ знакомый и сожитель, узнавъ, что мы ѣдемъ по экстра-почтѣ, т. е. на перекладныхъ, съ увѣренностью сказалъ намъ:

— Вы, вѣроятно, будете ночевать въ Домо д'Оссола?

— Какъ въ Домо д'Оссола? Вѣдь это по ту сторону Симплона, на который подниматься только нужно одиннадцать часовъ; дай Богъ доѣхать туда въ два дня.

— Помилуйте, я пѣшкомъ пришелъ въ полторы сутки!

Однако, мы все-таки проѣхали трое сутокъ, хотя пруссакъ тоже былъ правъ. Дѣло въ томъ, во первыхъ, что добрый пѣшеходъ не далеко отстанетъ отъ здѣшнихъ почтовыхъ лошадей, а во вторыхъ, что пѣшеходныя тропинки гораздо прямѣе, ниже и много сокращаютъ путь; мы же ѣхали только днемъ съ разными вольными и невольными остановками.

Пріѣзжаемъ въ сумерки въ какой-нибудь городокъ.

— А что, поздно вѣдь, господа: не остановиться ли здѣсь ночевать? говоритъ одинъ.

— Разумѣется поздно! По дорогѣ ничего не увидимъ, говоритъ другой.

— Да и холодно! говорю обыкновенно я.

— Да и голодно, говоритъ обыкновенно П., имѣющій русскую привычку *перекусить* на каждой станціи.

И мы останавливаемся, спрашиваемъ чаю, сырой ветчины et tutti quanti, разводимъ сильный огонь въ каминѣ и грѣемся съ вечера до ночи и съ просонья до отъѣзда.

Первую ночь мы ночевали въ Мартиньи, гдѣ особенно много кретиновъ и англичанъ, первыхъ потому, что живутъ въ горахъ и сырости, а вторыхъ потому, что отсюда дорога въ знаменитую долину Шамуни, столь извѣстную по опереткамъ и Монблану.

— А хорошо бы, господа, въ Шамуни заглянуть, разумѣется черезъ *Tête-Noire*, потому что *Col-de-Balme* занесенъ, я думаю снѣгомъ, говорю я.

— Помилуйте, какая теперь Шамуни, когда въ ней и лѣтомъ холодно, — а вы въ каминѣ чуть ногъ не зжете, съ гнѣвомъ возражаютъ мнѣ спутники.

И я очень доволенъ, потому что совѣстно не побывать въ Шамуни—и невозможно въ этотъ холодъ.

Два дня мы ѣхали до поворота на Симплонъ и каждую ночь болѣе и болѣе зябли, наконецъ на третье утро рано пріѣхали въ Бригъ. Пока ждали перемѣны—потому что не на однихъ нашихъ станціяхъ слышишь отвѣтъ «нѣтъ лошадей», — я пошелъ въ лавченку и купилъ какіе-то чоботы изъ покромокъ, въ родѣ валенокъ, и хорошо сдѣлалъ;

наконецъ намъ заложили четверку и мы пустились подниматься.

Собственно Симплонская дорога начинается съ Брига. Говорятъ, что Наполеонъ задумалъ ее послѣ сраженія подъ Маренго. Трудный переходъ черезъ С-тъ Бернаръ заставилъ его желать лучшей военной дороги и онъ часто во время работъ спрашивалъ инженеровъ: «когда же черезъ Симплонъ можно будетъ перевозить пушки»?

Дорога отлично шоссирована, широка и вездѣ ограждена каменнымъ барьеромъ. Подъемъ довольно отлогъ, но почти непрерывенъ. Часа четыре мы поднимались шагомъ—то пѣшкомъ, то въ экипажѣ, по зигзагамъ, которые дѣлаетъ дорога, огибая гору и то вдаваясь, то выдаваясь изъ нея вслѣдъ за ущельями и ребрами. День былъ ясный и видъ превосходенъ. Внизу вилась Ронская долина; Бригъ постоянно то прятался, то выглядывалъ на насъ изъ глубины: рядомъ еще зеленыя покатости, покрытыя перелѣсками, по которымъ паслись стройныя горныя козы и коровы съ цѣлымъ колоколомъ на ремешкѣ подъ шеей, а сверху вблизи и вдали то полузакутанныя облаками, то вырѣзываясь изъ нихъ и ослѣпительно блестя на солнцѣ, смотрѣли бѣлоснѣжныя массы альпійскихъ аристократовъ: сумрачнаго «Монаха», стройной «Варышни» (Юнг-Фрау).

Мѣстами скалы были взорваны для дороги и обнаженныя ребра кампей прямо и грозно висѣли надъ нами; холодныя воды ручьевъ и каскадовъ прорывались подъ дорогу и шумѣли внизу; лѣсъ сталъ ниже, растительность бѣднѣе, избушки, разсѣянныя по горѣ—рѣже.

— Отъ чего никого не видать въ этихъ избушкахъ? спросили мы.

— Здѣсь живутъ только лѣтомъ во время пастбищъ, отвѣчалъ почтальонъ, а теперь онѣ пусты вплоть до весны.

Видъ становился сумрачнѣе, погода хуже; два одинокія каменные пріюта (maison d'asile) остались позади; наконецъ перезябшіе и голодные, мы пріѣхали въ третій «Беризаль», гдѣ помѣщается станція и гостинница.

— Пожалуйста, поскорѣе обѣдать!

— И огня въ каминъ!

— И потомъ лошадей!

Говорили мы хоромъ встрѣтившему насъ хозяину.

— Обѣдать и огня сію минуту, но лошадей не могу, послѣднія взяты почтовымъ дилижансомъ, а первыя воротятся не ранѣе, какъ черезъ два часа.

— Дѣлать нечего, подождемъ!

Пообѣдали; яркій огонь затрещалъ въ каминѣ и мы съ сигарами усѣлись вкругъ него. А на дворѣ спустилось облако, моросилъ дождь, шумѣлъ вѣтеръ.

— Что, нѣтъ еще лошадей?

— Скоро, я думаю, будутъ, отвѣчалъ отелье.

— А что, господа, вѣдь ужь поздно и по дорѣ ничего не будетъ видно, началъ опять одинъ.

— И холодно, сказалъ я.

— И голодно, сказалъ П., допивая свой послѣобѣденный кофе.

И мы остались.

Вскорѣ хозяинъ вбѣжалъ въ попыхахъ и сказалъ, что ѣдутъ дамы. Это было русское семейство, ѣхавшее изъ С-тъ Мориса за нами — и мы поспѣшили убраться съ своими сигарами.

Перебѣжали по деревянной галлереѣ въ другой флигель; входимъ въ номера. Боже! что это за холодъ!

— Огня, огня скорѣй въ камины! кричали мы.

— Да отчего вы не заведете двойныхъ рамъ,— вѣдь дуетъ во всѣ щели! сказалъ я.

— Зимой здѣсь никто не живетъ! отвѣчалъ трактирщикъ: проѣзжихъ почти нѣтъ, я живу въ томъ домѣ. Да и я бы не оставался, если бы не содержалъ лошадей.

— Хотя бы солнцемъ нагрѣвало здѣсь.

— Солнца мы теперь не увидимъ четыре мѣсяца: оно постоянно заслонено Симплономъ.

— Признаюсь, житье не завидное, подумалъ я.—Можно быть снисходительну къ счету, въ которомъ, кажется, франковъ шесть стояло за огонь въ каминахъ.

На сыромъ бѣльѣ, подъ кучей одѣялъ, провели мы кой-какъ ночь и чуть свѣтъ позавтракали и пустились въ путь. Утро было холодное, туманное. Густые облака толпились у ногъ нашихъ, ползая по ущельямъ, часто задѣвали насъ и покрывали, то сырой изморосью, то мелкимъ снѣгомъ.—Внизу, кромѣ клубовъ мглы, ничего не было видно, надъ нами ближе и суровѣе стояли горныя вершины, покрытыя густыми пуховиками снѣга, сквозь который какъ-то холодно прорѣзывались голые и острые камни. Растительности становилось все менѣе и менѣе, сосны долго слѣдили за нами, наконецъ начали рѣдѣть, отставать—и исчезли. Въ замѣнъ ихъ снѣгъ по горамъ спускался все ниже, ниже, захрустѣлъ подъ колесами и мы очутились среди полнаго царства зимы.

Часа черезъ три утомительной ѣзды, экипажъ въѣхалъ подъ высѣченный изъ скалы тоннель.

— Сосульки-то! сосульки-то! замѣтилъ одинъ. Какъ у насъ великимъ постомъ.

— Экъ, не видали чего! говоритъ Р. и стоило забираться сюда, чтобы видѣть сосульки.

Миновавъ пятый пріютъ, мы выѣхали на самую опасную часть дороги. Вправо виднѣлся не вдалекѣ крестъ, обозначая грань перевала; но до него, на пространствѣ трехъ верстъ, стоятъ шесть пріютовъ: такъ часто бываютъ здѣсь обвалы. Снѣгъ былъ по ступицу. Мы, то въѣзжали подъ галлерею, сдѣланную въ защиту отъ снѣга, то подъ водопроводы, на которыхъ собирается горная вода и падаетъ каскадомъ. При переѣздѣ черезъ одинъ мостъ, мы увидали съ одной стороны груды накиданнаго снѣгу, съ другой, по оврагу, глубокую, изрытую полосу.

— Что это за снѣгъ? спросили мы почтальона.

— Восемь дней назадъ, здѣсь упалъ обвалъ, отвѣчалъ онъ.

Мы взглянули вверхъ и увидѣли такую же широкую полосу, которая шла вплоть до верху.

Наконецъ проглянуло солнце, облака поубрались немного и мѣстами начали проступать удивительные виды. Вонъ внизу Бригъ, изъ котораго мы ѣдемъ другой день, вонъ Юнгъ-Фрау выглядываетъ черезъ облака, кругомъ снѣгъ блисталъ такъ, что больно глазамъ и изъ него порой выглядывали синеватыя холодныя массы: это груды вѣчнаго льда, такъ называемые ледники (glaciers).

Морозный воздухъ былъ рѣдокъ и ясенъ, какъ у насъ въ декабрѣ. Не смотря на благословенія, которыми я осыпалъ судьбу, внушившую мнѣ мысль купить валенки, и мою шинель, доставлявшую пищу остроумію спутниковъ, я начиналъ костенѣть, наконецъ вправо явился желанный крестъ, слѣва длинное трехъ-этажное каменное зданіе: это былъ страннопріимный домъ, «Hospice».

Домъ этотъ былъ построенъ по приказанію Наполеона, чтобы въ немъ, какъ на С.-Бернарѣ, учредить пріютъ для путешественниковъ, но онъ остался неоконченнымъ за неимѣніемъ средствъ. Къ счастію, въ 1825 году, монастырь Августинцевъ въ Мартиньи купилъ его и учредилъ въ немъ пріютъ.

— Угодно будетъ здѣсь остановиться? спросилъ почтальонъ.

— А до станціи далеко?

— Еще съ часъ ѣзды.

— Стой! стой! что тутъ разговаривать, кричалъ я. Я начинаю костенѣть.

— А мнѣ, такъ смерть, какъ ѣсть хочется.

— Эхъ, коньякъ-то забылъ я въ той колескѣ! прибавилъ П.

И мы, по-колѣно въ снѣгу, бросились бѣгомъ къ крыльцу, противъ котораго остановился нашъ измученный четверикъ.

Насъ встрѣтилъ сытный монахъ-экономъ и провелъ въ теплую столовую. Мы попросили чего-нибудь закусить. Онъ извинился, что у нихъ постъ (это было въ пятницу), и предложилъ намъ сыру и вина.

Хотя мы не понимали, по какому отношенію мы должны соблюдать католическій постъ, когда его обязаны соблюдать монахи, но съ радостью приняли предложеніе. Вскорѣ по подъемной машинѣ подали порядочнаго сыру (кстати сказать, что и въ Швейцаріи онъ бываетъ не всегда хорошъ) и съ полдюжины бутылокъ краснаго винца. Мы насытились, отогрѣлись, почтальонъ нетерпѣливо началъ похлопывать бичемъ, и мы вышли, принеся посильную лепту въ пользу монастыря, потому что за угощенье у нихъ брать не полагается.

У насъ было тепло на сердцѣ и въ желудкѣ. Трудный переѣздъ былъ конченъ. На другой сторонѣ насъ ждало солнце и у ногъ лежала Италія.

Мы обогнули гору и стали быстро спускаться, снѣгъ на солнечной сторонѣ не лежалъ такъ упорно и мы скоро оставили его назади. Насъ не встрѣтилъ, противъ ожиданія, быстрый переходъ къ пышной южной растительности, какъ бываетъ на перевалѣ черезъ Крестовую, на Кавказѣ, но солнце грѣло теплѣе, воды весело шумѣли и падали со всѣхъ сторонъ. Мы перемѣнили лошадей въ д. Симплонѣ и опять начали спускаться между грозными и величественно-сдвинувшимися скалами «Гандскаго горла»; наконецъ камни такъ столкнулись, что, казалось, не можетъ быть далѣе дороги, но мы нырнули въ тоннель, выѣхали изъ него и увидали столбъ съ надписью:

Italia.
Stato Sardo.

Сердце невольно забилось въ груди и мы весело переглянулись; мы были въ Италіи.

II.

Скажите, ради Бога, что за странную власть имѣютъ надъ нами нѣкоторыя слова? Отчего, переступивши аршинъ земли изъ Швейцарской республики въ Сардинію, вдругъ вамъ ужь кажется, что и воздухъ сталъ теплѣе, и небо голубѣе, сердце бьется, какъ при встрѣчѣ съ желанной женщиной, и уста отъ удовольствія готовы раздвинуться вплоть до ушей? Что невѣдомое шевелилось и радостно трепетало у насъ въ груди, когда мы прочли первое слово пограничной надписи, и отчего насъ непріятно подернуло отъ послѣдняго? Отчего языкъ Шиллера и Гёте, услышанный вами отъ нѣмецкаго почтальона, заставитъ васъ насмѣшливо улыбнуться, а языкъ Данта и Тасса съ грубымъ піемонтскимъ акцентомъ, звучитъ чѣмъ-то поэтическимъ, даже съ козелъ?

Есть въ насъ какая-то жилка, которой матеріалистъ не найдетъ ни названія, ни мѣста.

Въ Изелли насъ встрѣтила Сардинская таможня и, къ удивленію нашему, необыкновенно снисходительная. Изъ четырехъ чемодановъ попросили открыть одинъ, и то чисто для проформы. Вѣрьте послѣ этого разсказамъ о здѣшнихъ таможняхъ.

Въ числѣ моихъ спутниковъ двое были съ совершенно различными взглядами. Одинъ коренной русакъ, съ напущенной на себя, какъ часто дѣлаютъ люди этого сорта, грубоватостью и нелюбовью къ иноземному, все осматривалъ, казалось, для того только, чтобы гдѣ можно выбранить; это не мѣшало ему однакоже вѣрно цѣнить и наслаждаться въ душѣ хорошими вещами не менѣе нашего; другой былъ истый прогрессистъ, съ идеями вычитанными въ послѣдней книгѣ, съ взглядомъ, заготовленнымъ по первому авторитету.

Къ намъ подошла дѣвочка лѣтъ четырнадцати, блѣдная, съ голубыми глазами, свѣтлорусая; въ коробочкѣ у нея было разложено нѣсколько кристалловъ изъ сосѣднихъ горъ, и она намъ предложила ихъ.

— Итальянка-то! Итальянка-то! сейчасъ видно! посмотрите на эту томную блѣдность, на эту *morbidessa!* Гдѣ вы ее встрѣтите, кромѣ Италіи? сказалъ И*.

— Никакой morbidezz'ы я тутъ не вижу, просто болѣзненная дѣвочка, отвѣчалъ Р*. Вотъ ужь и въ дѣвичьей-немочи теперь Италія завидѣлась!

Однакожь купилъ какой-то зеленый камешекъ. У насъ болѣли шеи отъ безпрестаннаго выглядыванья изъ полузакрытыхъ колясокъ и когда въ Изелли тоже сказали, что верхъ у коляски не снимается, то мы выбрали какой-то легонькій шарабанчикъ для чемодановъ, взяли одно-конную тележку и поѣхали далѣе.

Я давно уже не испытывалъ такихъ славныхъ минутъ! На душѣ было какъ-то весело и ясно. Солнце, ударяясь въ отвѣсныя стѣны скалъ, играло, какъ и подобаетъ италіянскому солнцу, горы громоздились одна на другую и стояли кругомъ безпрерывно мѣняющимися величественными декораціями, воды журчали справа слѣва, внизу вверху, то падая каскадами, то разлетаясь пѣной, то вися въ воздухѣ большими нитями, сливались и образовывали бойкую рѣчку Диверію; часто стали попадаться живописныя смуглыя фигуры, точно все оперные баритоны или бассы, а наконецъ и женщины.

Ба, да что это такое? Гдѣ же блѣднолицыя смуглыя итальянки? Можно ли такъ обманывать почтенную публику! Это ходятъ наши бабы! Совершенно наши круглолицыя, румяныя, подмосковныя бабы и лѣвки. И костюмъ точь въ точь такой! Родъ сарафана, подвязанный подъ мышкой, какой-то шушунъ съ сборками назади и красный платокъ на головѣ! Примѣсь славянской крови весьма замѣтна.

— Ну, гдѣ же ваши хваленыя итальянки, сердито говорилъ Р., приставая по обыкновенію къ И*.: — гдѣ же тутъ morbidezza-то? Вѣдь это Акулины ходятъ; ну, чѣмъ не Акулины?

— Однакожь, посмотрите, какія хорошенькія, отвѣчалъ И*.

— Спору нѣтъ, не дурны! да развѣ у насъ нѣтъ хорошенькихъ деревенскихъ дѣвокъ? Гдѣ же нѣгато и сладострастье? Гдѣ глаза, проницающіе насквозь, и нѣжащія, и манящія, и тамъ чортъ знаетъ что такое! Гдѣ же morbidezze-то на этихъ красныхъ щекахъ? однак-жь этого нельзя! Давайте же мнѣ morbidezz'у?

— Отстаньте вы съ вашей morbidezz'ой, вѣдь хорошенькія! Ну и будетъ съ васъ!

Мы быстро спускались внизъ, а грозныя, оживленныя и шумящія водами скалы все толпились около насъ, все словно хотѣли загородить намъ путь и стать неприступной стѣной. Начинало уже вечерѣть. Вдругъ мы подъѣхали къ мосту, повернули направо и вскрикнули отъ удовольствія.

Представьте себѣ прелестнѣйшую цвѣтущую долину, усѣянную деревьями, и оживленную горными рѣчками, обсыпанную бѣлокаменными живописными домами, деревушками, весело раскинутыми по горѣ и проглядывающими сквозь зелень плюща и винограда. Прямое какъ стрѣла бѣлопыльное шоссе лежало передъ нами и замыкалось вдали городомъ на пригоркѣ. Каштановыя и тутовыя деревья разсыпаны кругомъ точно въ парнѣ, между зеленью маиса и камнями, разметанными рѣчкой. Виноградъ не стоялъ бритой бородою, рядами, по колышкамъ, какъ въ Швейцаріи, но вился по изгородямъ и по перекладинамъ, образуя большія аллеи и бесѣдки, а сзади, точно отступая и сердито грозя, высились горы и тамъ изъ самой глубины долины выглядывали бѣлыя верхушки.

Это была извѣстная по живописности Val d'Ossola. (Долина Д'Оссола).

Вечеромъ пріѣхали мы въ Домо д'Оссола; по улицамъ жизнь и движеніе, но не торопливое, трудящееся движеніе средне-европейскихъ городовъ, а живое, веселящееся, работающее на улицахъ посреди шутокъ и прогулки. Все начало принимать живописныя формы и яркія краски. Дома росписаны, костюмы, надѣтые какъ драпировка, лица, если не всѣ прекрасныя, то оригинальныя и большею частью красивыя, и наконецъ—хорошенькія горожанки, лѣнивo прогуливающіяся и кокетливо выглядывающія изъ-подъ классическаго чернаго вуаля.

— Ну вотъ вамъ и Италія! Это каково? съ торжествомъ спрашивалъ въ свою очередь И* у Р* за нашимъ поздним обѣдомъ.

— Ну, чтожъ? конечно не дурна, на то она и Италія! только что это у нихъ за глупое обыкновеніе—къ дрянному супу подавать тертый сыръ.

Но тутъ уже вступился и я, и старался доказать, что сыръ никогда и ничего не портитъ.

— А впрочемъ, правда! все хоть какой нибудь вкусъ да выходитъ, не то, что у нѣмцевъ, проворчалъ Р*.

Мы переночевали въ Домо д'Оссола, наняли коляску прямо до Бавено и къ полдню передъ нами открылось Лаго-Маджіоре.

Бавено стоитъ на краю озера прямо противъ знаменитыхъ Борромейскихъ острововъ. Съ террасы нашей гостинницы посреди голубой глади озера, на ясномъ и мягкомъ фонѣ неба, четко вырисовывались: прямо Изола-Мадре, съ купами экзотическихъ деревьевъ, правѣе—крошечный Пискаторе, плоть застроенный каменными домами рыбаковъ, и еще правѣе Изола-Белла, съ дворцомъ Борромеевъ и выглядывающимъ изъ за него садомъ.

Мы пообѣдали, взяли большую лодку, и отправились.

Признаться, видъ острововъ совершенно не соотвѣтствовалъ нашимъ понятіямъ о нихъ и перевернулъ всѣ наши предположенія. Мы думали, что знаменитые острова, какъ и быть острова; что мы поселимся на одномъ изъ нихъ на нѣсколько дней и потомъ исподволь въ прогулкахъ осмотримъ и другіе. Представьте же наше удивленіе, когда оказалось, что на этихъ островахъ негдѣ жить, потому что одинъ изъ нихъ (Пискаторе) вплоть застроенъ рыбачьими домами (впрочемъ, домами каменными и двухъ-этажными), а два другіе всѣ за-

нятій домомъ владѣльца и садомъ, да еще и садомъ такой величины, какою не удовольствовался бы у насъ помѣщикъ средней руки въ своей деревнѣ. Это были прелестныя цвѣтущія родники на... ну, гдѣ бы то ни было на тѣлѣ красавицы. На нихъ осмотръ достаточно двухъ часовъ времени.

Хотя бы, судя по имени, надо было начать съ матери (Madre), но мы предпочли прекрасную дочку. Лодка подвезла насъ прямо къ крыльцу палаццо Борромеевъ и мы взошли на Изола-белла.

Ливрейный лакей встрѣтилъ насъ и повелъ во дворецъ; но дворецъ насъ не интересовалъ и мы попросили провести насъ въ садъ. Онъ провелъ чрезъ нѣсколько прекрасно меблированныхъ комнатъ, отворилъ дверь въ прелестный павильонъ, осыпанный раковинами и уставленный статуями и зеленью, позвонилъ — и сдалъ съ рукъ на руки садовнику.

Борромейскіе острова славятся своимъ живописнымъ мѣстоположеніемъ и климатомъ, въ которомъ уживается даже тропическая флора. До 1670 года они были безплодными скалами, когда одному изъ графовъ Борроме, которыхъ Isolo-Bella и Madre составляютъ собственность, пришла фантазія основать на нихъ сады: скалы были спланированы, земля навезена и составились тѣ прелестныя игрушки, которыми мы любуемся теперь и про которыя чичероне съ гордостью говоритъ, что ежегодная поддержка ихъ стоитъ до 30-ти тыс. франковъ.

— Семь тысячъ рублей! говорилъ С*: нашли чѣмъ удивить! Острова получили названіе фамиліи владѣльцевъ, и съ этого мѣста имя Борромеевъ начинаетъ преслѣдовать васъ по всей сѣверной Италіи. Въ Аронѣ вы можете влѣзть въ носъ девяти-сажейной статуи св. Карла Борромейскаго; въ каждомъ городѣ найдете храмъ, или предѣлъ въ его честь, и наконецъ даже знаменитую статую ободраннаго человѣка съ собственной кожей, накинутой на плечи, въ Миланскомъ соборѣ, и ту называютъ св. Борромеемъ, хотя покойный кардиналъ архіепископъ Миланскій, кажется до смерти не имѣлъ удовольствія драпироваться своей кожей, въ видѣ альмавивы,—а носилъ ее стыдливо подъ одеждой, какъ и всѣ мы грѣшные.

Про Борромейскіе острова слишкомъ много кричали и потому отъ нихъ ожидаешь гораздо большаго, но въ сущности — это два прелестные сада съ удивительными видами на горы и озера, полные самой разнообразной растительности. Тутъ вы увидите и ливанскіе кедры, и безкожее—какъ св. Борромей—какое-то виргинское дерево, и чайный кустъ, и цѣлую рощу апельсинныхъ и лимонныхъ деревьевъ, огромныя аллоэ въ цвѣту ростомъ съ добрую сосну, нависли надъ водой, камеліи растутъ не въ видѣ кустовъ, а большими деревьями. Переѣхавъ на Изоло-Мадре, мы часа два гуляли посреди этой тропической растительности и любовались на озеро, берега, усѣянные домами и городами, словно купающимися въ водѣ, на горы, вверху которыхъ снѣгъ, а внизу цвѣтутъ лимоны.

— Ну, не дивно ли это хорошо! восторженно говорилъ И*: вѣдь вчера еще мы ѣхали по-колѣно въ снѣгу, а сегодня чуть не подъ тропиками! Вѣдь у насъ нынче 18-е октября! Грязь замерзла, а можетъ начало первопутья и рѣки становятся, а здѣсь, понюхайте-ка, запахи-то, запахи-то какіе! вотъ гдѣ бы желалъ я пожить!

— На то она и Италія, бормоталъ Р*, потягивая съ наслажденіемъ въ себя душистый воздухъ. А это что? спросилъ онъ, увидавъ пазы передъ апельсинными деревьями.

— Здѣсь ставятся рамы на зиму въ предохраненіе отъ холода, отвѣчалъ садовникъ.

— Ну, вотъ вамъ и тропики! Апельсины въ оранжереяхъ. Этакъ и у насъ въ Елабугѣ они расти будутъ! Браво! браво! Ай-да Борромейскіе острова, говорилъ Р*, потирая руки отъ удовольствія.

— Да вѣдь здѣсь сѣверная Италія! Вѣдь мы возлѣ альпъ, замѣтилъ И*, нѣсколько разочарованный.

— Сѣверная Италія! Да вѣдь это безсмысліе! Вѣдь это нонсансъ, говоря по вашему! Развѣ можетъ быть сѣверный югъ! Хорошо сказать: южная Россія, потому что у насъ есть и востокъ и западъ, и вдоволь сѣвера, и немного юга, а здѣсь югъ! Такъ будь онъ весь югъ, какъ и слѣдуетъ югу.

Погулявъ по садамъ, мы сторговались съ гребцами и велѣли вести себя въ Лавено, чтобы оттуда проѣхать прямо на Комо.

Лавено стоитъ противъ Бавено, на противоположномъ берегу, который принадлежитъ уже Ломбардіи, и, слѣдовательно, Австріи.

Переѣздъ былъ довольно дологъ. Два гребца, по обыкновенію стоя упираясь въ весла, везли насъ долѣе часа. Солнце садилось и мы вдоволь могли налюбоваться чудными переливами всѣхъ цвѣтовъ, слiяніемъ свѣта и тѣни. Вотъ сзади, берегъ уже потонулъ во мракѣ, и горы, за которыя заходитъ солнце, вырѣзываются чернымъ силуэтомъ на золотомъ фонѣ заката; вотъ влѣво промышленный городокъ Паланца, отражающійся въ озерѣ своими бѣлыми домами, тоже подернулся синеватымъ туманомъ и словно началъ тонуть въ засыпающихъ водахъ. А прямо передъ нами берегъ еще свѣтился въ малиновыхъ лучахъ солнца, и видно было, какъ тѣнь отъ противоположныхъ горъ быстро поднималась по немъ. Еще нѣсколько минутъ, и онъ покрылся синеватой дымкой сумерекъ. За горами стало точно зарево пожара, южный горизонтъ покрывался мелкими переливами фіолетовыхъ и сиреневыхъ тѣней, небо надъ нами засинѣло темной синевою, а влѣво снѣговыя верхушки, точно отдѣляясь отъ земли, блестѣли еще въ воздухѣ ярко-розовой облачной грядою.

— Экая прелесть! говорилъ И* меланхолически. И этотъ чудный край обѣднѣлъ, разграбленъ. Что,

скажите по правдѣ, вы крѣпко не любите своихъ сосѣдей, Австрійцевъ? спросилъ И* у гребцовъ.

— За что же намъ не любить австрійцевъ, синьоръ? отвѣчалъ старикъ. Австрійцы, французы, турки, русскіе,—всѣ хороши нашему брату, бѣдному перевощику! Только одни англичане не хороши! На ихъ слова нельзя положиться, у нихъ только нѣтъ состраданія къ намъ, бѣднымъ людямъ!

— Вотъ и разсуждай съ ними о политикѣ, сказалъ Р*:—вотъ тебѣ и мнѣніе Итальянцевъ, о либеральнѣйшемъ изъ народовъ, да и мнѣніе не безъ своего рода правды!

Мы пріѣхали въ Лавено когда уже смеркалось. Насъ привели сначала въ таможню, тамъ оставили вещи и велѣли идти въ полицію; въ полиціи прописали паспорты, отобрали, по австрійскому обычаю, разныя свѣдѣнія о лѣтахъ и характерахъ, и отправили назадъ. Но австрійская таможня отличалась неожиданной снисходительностью: не только не осматривала чемодановъ, но и не приняла лепты, которою хотѣли мы засвидѣтельствовать наше удовольствіе. Мы изумились!

— Не безпокойтесь, синьоры, замѣтилъ хозяинъ гостиницы, встрѣтившій насъ чуть не у пристани:—къ вамъ придутъ на домъ.

И дѣйствительно, таможенный солдатъ явился поздравить насъ съ пріѣздомъ.

Должно полагать, Лавено не избалованъ путешественниками. При нашемъ пріѣздѣ, цѣлая толпа собралась глазѣть на насъ и половина ея вторглась вмѣстѣ съ нами, неся что попало. Маленькая гостинница, кажется, назначалась для другаго рода гостепріимства. Насъ помѣстили чуть не въ общей залѣ, съ какой-то семейной фамильярностью и съ полдюжины горничныхъ начали приготовлять намъ постели. Мнѣ этотъ нецеремонный пріемъ очень понравился: точно заѣхалъ въ какое-то добродушное и безцеремонное семейство.

Мы наняли коляску прямо до Комо и на другой день рано отправились.

Я не помню пути пріятнѣе того, который мы сдѣлали въ этотъ день. Погода была отличная. Если лошади порой едва ввозили насъ въ гору, за то доставляли намъ случай пройтись пѣшкомъ по прелестной мѣстности. Казалось, мы ѣхали какимъ-то садомъ. Было воскресенье. Пропасть пѣшеходовъ попадалось намъ. То женщины, уже большей частью брюнетки, въ деревянныхъ башмакахъ, на подобіе скамеечекъ, и съ наколкой изъ серебряныхъ булавокъ, пришпиленныхъ, въ видѣ павлинаго хвоста, къ косѣ, то драпирующіеся даже въ тряпки мужчины, мулы, ослы, попы и семинаристы въ черныхъ чулкахъ, мантіи или пальто и треугольной съ загнутыми полями шляпѣ. Бой часовъ и звонъ колоколовъ доносился отовсюду; дома, башни, съ вертящимися на нихъ колоколами, запахъ травы, недавно скошенной по оврагамъ и цѣлыя плантаціи тутовыхъ, фиговыхъ и орѣховыхъ деревьевъ. Съ горы близъ Варезо открывается прелестнѣйшій видъ на пять озеръ, изъ которыхъ Варезское лежало у ногъ нашихъ, въ привольѣ луговъ, рощь и долинъ; оно мнѣ понравилося едва ли не болѣе всѣхъ озеръ: въ немъ много свободнаго, дикаго; оно не такъ облѣплено городами, виллами и домами, какъ другія.

— Вотъ пожить-то бы гдѣ! говорилъ меланхолически И*:—умирать не надо!

Къ обѣду мы были въ Комо, остановились въ гостинницѣ на берегу озера, посмотрѣли городъ и рано на другое утро отправились на пароходѣ по озеру, отъ котораго онъ получилъ свое имя.

Утро было пасмурное, пренепріятное. Холодъ пробиралъ до костей; мы бѣгали по палубѣ, чтобы согрѣться.

— Вотъ и Италія! Ай да Италія! говорилъ Р*, потирая руки и съ злобной радостью приставая къ И*.

— Чтожъ, вѣдь это сѣверная! Или: Вѣдь теперь ноябрь мѣсяцъ, тихо говорилъ полузамершій И*.

— Выпейте-ка коньячку, такъ у васъ въ желудкѣ сейчасъ такой будетъ югъ — что прелесть, замѣтилъ, прикладываясь къ дорожной фляжкѣ.

Комское озеро рѣзко отличается отъ другихъ. Оно все загромождено высокими горами, которыя прямо спускаются въ него, не оставляя почти берега; города, дачи и деревни всѣ построены въ полугорьѣ.

Мы проѣхали мимо хорошенькихъ виллъ Трубецкаго, Тальони, Шувалова, сумрачной Плиніаны, построенной однимъ изъ убійцъ герцога Фарнеза, съ перемежающимся источникомъ, описаннымъ Плиніемъ младшимъ, и великолѣпной виллы Пасты. На это озеро сошедшія со сцены знаменитости пріѣзжаютъ отдыхать на лаврахъ. Въ полдень мы пристали къ городку Белладжіо и вышли на берегъ.

Судьба, кажется, сжалилась надъ нами: солнце и тепло сошло вмѣстѣ съ нами на твердую землю и мы бодро начали взбираться вверхъ на виллу Сербеллони.

Вилла Сербеллони построена на томъ мѣстѣ, гдѣ въ прежнія времена жили разбойники. Домъ, въ которомъ теперь живетъ герцогъ, кажется, остался въ первоначальномъ видѣ—такъ онъ не кажетъ и нейдетъ къ прелестной мѣстности; на звонокъ у рѣшотки, вышла дѣвочка и мимо гротовъ, кедровъ, кипарисовъ и лимоновъ повела по запустѣлому саду, прямо на гору: оттуда видны всѣ три рукава или, лучше сказать, три озера, которыя составляютъ Комское.

— Экая прелесть! говорилъ И*: и здѣсь жили разбойники!

— Для нихъ видъ былъ еще лучше, замѣтилъ Р*: онъ соединялъ пріятное съ полезнымъ.

Мы спустились внизъ и проѣхали въ лежащую рядомъ виллу Мельци, въ церкви которой стоитъ прекрасный памятникъ отцу владѣльца, прошлись по отлично содержанному саду, и переправились

въ лодкѣ поперегъ озера въ знаменитую виллу Соммарива.

Вилла Соммарива, или Карлотта, купленная лѣтъ десять назадъ принцессой прусской, принадлежитъ теперь наслѣдному герцогу Саксенъ-Мейнингенскому. Террасы, усаженныя сквозными крытыми аллеями апельсиновъ и лимоновъ, съ висящими на нихъ плодами, орошаемыя пылью мелкихъ фонтановъ, въ которыхъ играла радуга, высились одна надъ другою; надъ ними, въ развѣсистыхъ кедрахъ и стройныхъ, худощавыхъ, словно закутавшихся въ свою темную зелень, кипарисовъ, стоялъ прекрасный палаццо. Насъ ввели въ нижній этажъ, открытый для посѣтителей и украшенный произведеніями великихъ рѣзцовъ.

Вотъ знаменитый фризъ Торвальдсена, изображающій торжество Александра. По правдѣ сказать, мнѣ этотъ фризъ не понравился. Другое дѣло «Амуръ и Психея» Кановы (*) и его же «Магдалина». Психея, прелестная, какъ и подобаетъ Психеѣ, сладострастно лежитъ, закинувъ голову для поцѣлуя; Амуръ, выросшій изъ дѣтей до добраго юноши—что и приличнѣе для подобнаго рода продѣлокъ — залетѣлъ съ головы, обхватилъ Психею подъ грудь и, распустивъ отъ удовольствія крылья, страстно ее цѣлуетъ.

Прогулка наша была кончена. Мы отправились рядомъ въ гостиницу Каденаббіи, пообѣдали тамъ и, въ ожиданіи парохода, курили въ саду сигары. Лодки и щегольскія англійскія гички, полныя катающимися, безпрерывно скользили мимо насъ по озеру; во многихъ дамы и дѣвицы сами гребли раскрашенными веслами.

— Мѣсто-то, мѣсто-то какое, говорилъ И*, грѣясь на солнцѣ и выдвинувъ для этого свой стулъ на самую средину набережной. Вотъ бы жить-то гдѣ! умирать не надо!

— Да ужь вы выберите себѣ гдѣ-нибудь одно мѣсто, возражалъ ему по своему обыкновенію Р*: а то вы и на Маджіоре, и на Варезо—вездѣ жить хотите. А не лучше ли бы всего въ саратовской деревнѣ? Вѣдь есть деревня въ Саратовѣ? А то бы вы не видали и Италіи, ну, и живите въ ней, да благодарите Господа!

Вскорѣ подъѣхалъ пароходъ и мы возвратились въ Комо. На другое утро въ коляскѣ или, лучше сказать, почти пѣшкомъ перебрались мы до Камерлата, сѣли въ вагонъ желѣзной дороги и черезъ два часа, какъ вкопанные, стояли передъ Миланскимъ соборомъ.

$^{3}/_{14}$ ноября 18.. г.
Венеція.

(*) По Форстеру—Адріана.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ.

Миланъ и Верона.

Въ послѣднемъ письмѣ я говорилъ вамъ, что въ Комо мы распростились съ ветурино и сѣли въ вагонъ желѣзной дороги. Желѣзная дорога, какъ холода и дурная погода, совершенно не къ лицу Италіи. Пусть у насъ, гдѣ нибудь въ Казанской губерніи, зарядитъ дождь на три недѣли, пусть въ Петербургѣ круглый годъ дѣлается въ воздухѣ бурда неизъяснимая, это не портитъ ни Петербурга, ни Казанской губерніи: они имѣютъ свою суровую флегматическую физіономію и при этой погодѣ. Ѣздите по Германіи со скоростью сорока верстъ въ часъ — Германія отъ этого выиграетъ, васъ меньше поразитъ нѣмецкое, т. е. скучнѣйшее изъ всѣхъ скучныхъ однообразій. Но Италіи непремѣнно нужно тепло и солнце, какъ хорошенькой женщинѣ яркое бальное освѣщеніе. Чтобы ѣздить по ней, нуженъ болтливой ветурино, съ просторной коляской, везущій васъ семь верстъ въ часъ; нужды нѣтъ, что его лошади порой встанутъ на гору — это вамъ доставитъ только удовольствіе получасовой прогулки! Здѣсь все живописно, ярко, прелестно и поэтично. Здѣсь озимыя поля пашутся въ ноябрѣ мѣсяцѣ, между рядами терновыхъ и оливковыхъ деревьевъ, замѣняющихъ наши поросшіе бурьяномъ межи; здѣсь небо смотритъ на васъ своей мягкой лазурью такъ нѣжно, какъ смотритъ только голубоокая женщина въ минуты тихой любви; хорошенькихъ женщинъ столько, что надо бы половину ихъ запереть въ терема для общаго сердечнаго спокойствія; тамъ и сямъ то повитыя плющемъ живописныя развалины, то безподобныя дачи и виллы; города кипятъ гуляньемъ и жизнію; не говорю о домахъ, но большинство домишекъ разкрашено какими нибудь красками, чѣмъ нибудь да изукрашено, всякій оборванецъ-нищій какъ-то живописенъ въ своихъ лохмотьяхъ и даже просящіе милостыню мальчишки, отъ которыхъ нѣтъ проходу, вмѣсто того, чтобы жалобить васъ или по крайней мѣрѣ дѣйствовать плачевнымъ пискомъ на нервы, прыгаютъ на одной ногѣ, сдѣлавъ уморительную полусмѣющуюся, полупросящую гримасу, разсмѣшатъ васъ и получатъ свой байокъ. «Какъ вы хотите, чтобы Италія не была живописна, говорилъ Р., когда здѣсь и барановъ мѣтятъ розовой краской?.. Какъ же, спрашиваю я васъ, по такой странѣ, да еще не успѣвъ насмотрѣться на нее, мчаться въ затворенной клѣткѣ съ быстротою борзой собаки»?

Однакожъ было холодно. Этотъ сидящій въ каждомъ изъ насъ, какъ въ вѣчномъ жидѣ, безпрестанно понукающій голосъ гналъ все впредъ и впередъ, и мы пріѣхали въ Миланъ по желѣзной дорогѣ.

Мы остановились въ Alberdo Reale посреди двора, уставленнаго колоннами и арками, какъ atrium древнихъ. Насъ провели по лѣстницѣ, расписан-

ной фресками, мимо огромной залы съ старыми картинами и панцырями по стѣнамъ и отвели хорошенькое отдѣленіе съ террасой, уставленной цвѣтами.

— Какъ хорошо будетъ въ полдень сидѣть здѣсь на солнцѣ между цвѣтами и зеленью! говорилъ И. Однакожъ справедливость требуетъ замѣтить, что, кромѣ собачки изъ противуположнаго номера, никто по террасѣ не прогуливался, а противъ камина сидѣли часто.

— Къ собору! къ собору! сказали мы общимъ хоромъ, какъ только успѣли перекусить немного, и пошли узкими закоулками, по направленію бѣлыхъ шпицовъ, выглядывающихъ надъ домами.

Я не хотѣлъ и не предполагаю говорить вамъ въ этихъ, наскоро и безъ претензіи набросанныхъ, очеркахъ о памятникахъ искусства, которые дѣлаютъ изъ всей Италіи одинъ интереснѣйшій и неоцѣнимый музей. Но есть зданія, которыя нельзя обойти молчаніемъ, нельзя отдѣлить отъ мѣста, не уничтоживъ всю прелесть и поэзію его: таковъ этотъ сотканный изъ мраморныхъ кружевъ и врѣзывающійся въ небо сотнею шпицевъ и башенокъ— Миланскій соборъ.

Это было наканунѣ праздника святаго Карла Барромейскаго, на котораго мы безпрестанно натыкались во всей сѣверной Италіи. Въ миланскомъ соборѣ покоятся его мощи и потому день его празднуется съ особымъ торжествомъ. Вокругъ церкви устроился родъ маленькой ярмарки, на которой продавали всякую всячину, но болѣе всего лубочныя картинки, изображающія разныя чудеса святаго, его жизнеописаніе, четки и разныя посеребреныя и позолоченыя воспламененныя сердца, которыя итальянцы вѣшаютъ къ образамъ, какъ эмблему собственныхъ сердецъ, пылающихъ вѣрою. Передъ главнымъ входомъ собора былъ построенъ огромный драпированный порталъ, заслонявшій къ сожалѣнію фасадъ храма. Что за дикая фантазія, украшать жалкой картонной декораціей великолѣпнѣйшее зданіе, созидаемое въ теченіи пяти столѣтій!

Мы вошли во внутрь. Соборъ былъ наполненъ молящимися. Подъ огромными готическими сводами гремѣлъ органъ и хоръ. Вверху, по всѣмъ основаніямъ свода, висѣли сплошнымъ рядомъ картины, которыя хранятся обыкновенно въ магазинѣ и только въ торжественные дни развѣшиваются для украшенія храма. Храмъ впрочемъ ничего бы не потерялъ, если бы картины и въ этихъ случаяхъ оставались въ магазинѣ. Толпа монаховъ въ нѣсколько ярусовъ сидѣла въ возвышенномъ полукружіи главнаго алтаря. Архіепископъ и два епископа въ остроконечныхъ шапкахъ, въ которыхъ рисуютъ древнихъ первосвященниковъ, недвижно, какъ изваянія, покоились съ боку на креслахъ; сотни свѣчей и лампадъ стройнымъ рядомъ горѣли передъ алтаремъ и кругомъ обнесеннаго рѣшеткою отверстія въ полу. Я подошелъ къ нему, взглянулъ внизъ и увидѣлъ интересное зрѣлище. Въ подземельѣ блестѣла серебромъ, драгоцѣнными камнями и яркимъ освѣщеніемъ капелла, въ которой стоятъ мощи св. Барромео. Толпа народа тихо проходила передъ ними и тянулась нескончаемой вереницей. Эта капелла открыта для всѣхъ только разъ въ годъ на восемь дней: въ другое время дверь въ нее отворяется только за нѣсколько цванцигеровъ... На другой день я былъ въ ней и, кромѣ богатства раки за стекломъ, не нашелъ ничего интереснаго: видъ сверху гораздо оригинальнѣе.

Мы хотѣли выйти изъ собора въ боковыя двери и дѣйствительно вышли — только не на площадь. Большая, хорошо освѣщенная лѣстница спускалась внизъ, потомъ пошла большимъ корридоромъ, потомъ опять поднялась и мы очутились среди незнакомаго и большаго двора, обнесеннаго аркадами. Что это? Откуда явился этотъ дворъ, не въ соборѣ же онъ наконецъ, какъ не великъ соборъ!

Оказалось, что это дворъ архіепископскаго дома, соединеннаго съ соборомъ подъ-уличнымъ ходомъ.

Миланскій соборъ описывать невозможно. Даже фотографіи, которыя я видѣлъ въ Миланѣ и Венеціи, не даютъ о немъ настоящаго понятія, потому что нѣтъ удобной точки, съ которой бы можно было обнять его взглядомъ. Площадь, на которой стоитъ онъ, слишкомъ мала и голова устанетъ у васъ загибаться, чтобы разсмотрѣть его съ верху: теперь въ ходу проэктъ о разширеніи этой площади и для этаго собираютъ подписку.

Перенеситесь въ счастливое время вашего дѣтства, если оно дѣйствительно было такъ счастливо, что окружалось поэтической толпой нянекъ, мамокъ и разныхъ старушекъ-приживалокъ. Эта толпа, убивающая васъ баловствомъ, сластями и домашними снадобьями, леченьемъ наговоромъ и умываньемъ съ уголька, если вы выберетесь изъ нея благополучно,— наградитъ васъ на весь вѣкъ такимъ запасомъ поэзіи и воспоминаній, которыя стоятъ всего систематическаго, но не выносимѣйшаго надсмотра англійскихъ нянекъ и швейцарскихъ гувернеровъ. Вспомните, какъ наканунѣ новаго года, вмѣсто нынѣшней елки, уставленной топенькими восковыми огарками и орѣхами съ сусальной позолотой, стоялъ дубовый столъ, выскобленный ножемъ ради передъ-праздничной чистоплотности, и вокругъ этого стола суетилась розовая толпа дѣвушекъ, сестеръ, кузинъ, иногда и хорошенькихъ горничныхъ. Льется воскъ, поются подблюдныя пѣсни, часто растворяются двери на дворъ и вмѣстѣ съ морознымъ паромъ вбѣгаютъ, накрытыя однимъ платочкомъ, запыхавшіяся и зарумянившіяся гадальщицы и съ таинственностью передаютъ отрывочныя фразы, подслушанныя ими у дверей какой нибудь избы. И надъ всѣмъ этимъ молодымъ и любящимъ роемъ, жадно старающимся заглянуть въ полное надеждами будущее, стоитъ, съ спокойнымъ и нѣсколько торжественнымъ видомъ, ваша старая няня, распоряжается гаданьями, учитъ и, съ глубокимъ убѣжденіемъ и тай-

ственностью, какъ древняя сивилла, разъясняетъ загадочный смыслъ вылившейся изъ воску каракульки. Вечеръ клонится къ концу, наступилъ ужинъ въ шесть блюдъ, вамъ хочется спать, но вы крѣпитесь, зная, что еще не конецъ гаданьямъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ тихомолку и украдкой мостятся изъ пруточковъ мосты подъ изголовьемъ, кладется хлѣбъ съ солью и шепчутъ разные наговоры; но вотъ принесли стаканы съ холодной водою и тарелку яицъ. Яйца разбиваются и бѣлокъ выливается въ воду.

— А вотъ и на твое счастье, говоритъ няня, за то, что ты былъ умникъ сегодня. Перекрестись да вылей. Вы креститесь, робко выливаете тянущійся бѣлокъ и становите стаканъ на окошко.

Рано утромъ на другой день вы вскакиваете съ постели и бросаетесь къ окошку. Морозное утро ясно. Солнце свѣжее, яркое, только что приподнялось изъ за горизонта, такъ и облило васъ своими малиновыми лучами. Стекло все разписано морозными узорами и листья какихъ-то невѣдомыхъ растеній искрятся и блестятъ на нихъ сквозя на солнце; но вамъ нѣтъ дѣла ни до солнца, ни до фантастическихъ узоровъ. Вы смотрите въ стаканъ и видите какое-то удивительное зданіе. Надъ матовой, бѣлой, изукрашенной какою-то рѣзьбою массой длиннаго храма высятся сотни иголъ прозрачныхъ, сотканныхъ изъ готическихъ сводиковъ легкихъ, странныхъ и кончающихся тончайшими пузырьками. Вся эта стройная ткань иглъ отчетливо рисуется и словно рвется къ верху въ прозрачной, какъ хрусталь, водѣ и надъ нею посреднѣ одна игла фантастичнѣе, прозрачнѣе, изукрашеннѣе другихъ вырвалась-таки выше всѣхъ и стоитъ законченная блестящей статуйкой.

— Няня, что это такое? спрашиваете вы въ изумленіи.

— Это, батюшка, храмъ Божій! Это хорошо, отвѣчаетъ вамъ няня.

— Это Миланскій соборъ, няня, сказали бы вы своей доброй старухѣ, если бы побывали передъ тѣмъ въ Миланѣ.

Миланскій соборъ начатъ около 500 лѣтъ назадъ (въ 1386 году, герцогомъ Іоанномъ Галеасомъ Висконти) и еще не совсѣмъ оконченъ до сихъ поръ. Замѣчательно, что имя архитектора, задумавшаго это чудо искусства осталось неизвѣстнымъ! Обыкновенно его приписываютъ нѣмцу Генриху Гмунду, передѣланному итальянцами въ Гамадія. Но въ спискѣ архитекторовъ имя Гамадіо стоитъ подъ концомъ 1391 года 16-мъ, а первымъ значится Маркъ Кампіоне. Не смотря на огромныя суммы, пожертвованныя собору, постройка его подвигалась медленно до 1805 года, когда Наполеонъ далъ средства быстро подвинуть ихъ впередъ, но и теперь еще не достаетъ нѣсколькихъ шпицевъ, нѣтъ множества статуй, хотя вы съ разу этого никакъ не замѣтите. Да и какъ узнать, что недостаетъ нѣсколькихъ шпицевъ, когда ихъ около полутораста, что нѣтъ трехъ тысячъ статуекъ, когда ихъ разставлено по маленькимъ нишамъ каждой маленькой стрѣлы — всего семь тысячъ!

Утромъ на другой день я, съ однимъ изъ спутниковъ, отправился осматривать соборъ въ подробности. Въ церкви, одинъ изъ продавцовъ прокатныхъ стульевъ указалъ намъ на прилавокъ справа. Мы заплатили по лирѣ, вошли въ маленькую дверь и начали подниматься.

Видѣть Миланскій соборъ только снизу, не бывши на его крышѣ, значитъ, не видать большей половины его. Вотъ отчего, при всей нелюбви къ воздушнымъ путешествіямъ, я рѣшился на это. Да и высоко ли, кажется, подняться только до крыши! И дѣйствительно, сначала кажется легко и удобно, лѣстница хороша и черезъ каждыя четыре ступени поворотъ и площадка, но когда вамъ придется сдѣлать 120 поворотовъ и отщитать столько же площадокъ, когда вы отмѣряете до 500 ступеней, то замѣтите, что это удовольствіе не легко покупается. Но лѣстница кончилась, дверь отворилась на кровлю и мы остановились въ недоумѣніи.

Передъ нами легкими покатыми ступенями поднимался мраморный полъ; справа, слѣва выше и ниже шли открытыя лѣстницы, балюстрады, площадки и переходы. И тутъ и тамъ высились башенки и шпицы, всѣ изукрашенные рѣзьбой, колоннами, нишами, отдѣланные съ такою затѣйливою тщательностью, какъ будто каждая изъ этихъ башенокъ и стрѣлъ составляла отдѣльное зданьице, игрушку, на украшеніе площадки передъ какимъ нибудь палаццо. Въ каждой изъ нишъ на всѣхъ колонкахъ и стрѣлахъ стояли статуи и статуйки, исполненныя такъ, что нѣкоторые могли бы служить украшеніемъ музею; достаточно назвать Ревекку и Наполеона—Кановы. Эта артистическая тщательность отдѣлки, эта затѣйливость каждаго украшенія дѣлаютъ громаду Миланскаго собора какою-то гигантской филиграновой работой, въ которой мраморъ изрѣзанъ какъ кружево.

Мы бы заплутались въ этомъ висящемъ городѣ, населенномъ тысячами статуй, если бы намъ не попался старичокъ, ходящій съ вывороченными, какъ у танцмейстера, ногами, въ черномъ сюртукѣ и такой же ермолкѣ на головѣ.

Мы обратились къ нему съ вопросами.

— А! вы господа французы! Я очень люблю французовъ и съ удовольствіемъ покажу вамъ соборъ, отвѣчалъ онъ языкомъ, который только ему одному могъ показаться французскимъ. Я служилъ въ арміи великаго Наполеона...

— Мы не французы, а русскіе, сказалъ я, чтобы прервать его болтовню.

— А русскіе! закричалъ онъ съ восторгомъ. О, я ужасно люблю русскихъ. Я былъ въ Россіи съ великимъ Наполеономъ и подъ Смоленскомъ отморозилъ себѣ два пальца на этой ногѣ, — и онъ чуть не началъ разуваться, чтобы показать отмороженные пальцы.

— Покажите же намъ примѣчательности собора! сказали мы.

— Сію минуту!

Онъ усѣлся на конькѣ крыши, вынулъ записную книжку и началъ рыться въ ней.

— Вотъ у меня есть рекомендаціи русскихъ, которымъ я служилъ! Вотъ прочтите — нѣтъ, это англійская! А вотъ карточка тоже русскаго! А вотъ... и онъ копался четверть часа, показывая намъ вмѣсто собора свою записную книжку.

Наконецъ мы двинулись впередъ и долго ходили, спускались и поднимались въ этомъ лабиринтѣ. Мѣстами цѣлыя анфилады фестоновъ были украшены мраморными цвѣтами, въ другихъ такими же растеніями. День былъ прекрасный, но къ сожалѣнію голубой туманъ висѣлъ надъ окрестностями и скрывалъ тотъ удивительный видъ вплоть до Альпъ и Аппенинъ, который раннимъ утромъ открывается съ крыши. Но мраморный городъ съ площадками, переходами, галлереями и башнями, съ его толпою недвижныхъ жителей, смотрящихъ на насъ отвсюду изъ своихъ нишъ и со шпицевъ, былъ несравненъ, а сколько поколѣній путниковъ изъ разныхъ странъ прошло передъ толпою этихъ мраморныхъ святыхъ, сколько революцій оставили свои слѣды на нихъ и сколько столѣтій темнило ихъ матовую бѣлизну, и сколько столѣтій они будутъ еще стоять на удивленіе потомковъ! Такія зданія строятся вѣками, за то и переживаютъ вѣка.

Миланскій соборъ имѣетъ свои каменоломни и мастерскую: до 250 тысячъ франковъ ежегодно отпускается на его окончаніе и поправки.

— Ежели синьорамъ угодно будетъ видѣть городъ, говорилъ намъ Карло—тотъ самый чичероне съ отмороженными пальцами, который показывалъ соборъ, то вы потрудитесь только сказать мнѣ — въ четыре часа времени, съ хорошимъ экипажемъ, я покажу вамъ все, все — вотъ посмотрите.

Онъ вынулъ опять свою записную книжку, порылся въ ней и началъ читать:

— S. Maria della passione.

— S. Lorenzo.

— Palazzo Litta.

— Arco da simplon.

— S. Maria della grazia.

— La Scala.

— Brera — и пр. и пр.

Мы не устояли противъ этого списка, а какъ синьоръ Карло былъ рекомендованъ намъ за добросовѣстнаго чичероне, мы рѣшились взять его.

— Такъ вы зайдите къ намъ хоть завтра.

— Синьоры извинятъ меня! хотя синьоръ Брускетти и знаетъ меня, но, понимаете, мнѣ не ловко идти въ вашу гостинницу, которая имѣетъ своихъ чичероне.

— Такъ гдѣ же васъ найти?

— Да здѣсь на крышѣ собора.

— Какъ! вы постоянно на крышѣ?

— Да вотъ ужь тридцать лѣтъ?

— И живете здѣсь?

— Нѣтъ, живу дома, но прихожу каждое утро. Насъ здѣсь пятеро и должность чичероне наслѣдственна въ моемъ семействѣ.

— Все это хорошо! но немного затруднительно искать васъ на высотѣ пяти сотъ ступеней.

— О, это ничего! Вы только скажите внизу: Карло! меня позовутъ.

Мы согласились и, разставшись, пошли къ хорошенькой парфюмерщицѣ покупать ненужныя вещи, а онъ полезъ на свою крышу.

Въ одно прекрасное утро сдѣлано, какъ сказано. По нашему призыву, Карло спустился къ намъ съ своего поднебесья, повелъ, съ своей танцмейстерской походкой, къ какому-то знакомому содержателю лошадей, выбралъ коляску и мы отправились.

Я не буду говорить вамъ ни о церквахъ, ни о галлереяхъ, ни о знаменитой тайной вечерѣ Леонарда да-Винчи, къ которой входъ черезъ дворъ, заставленъ австрійской артиллеріей, ни объ тріумфальной аркѣ, перекрещенной въ арку мира, l'arco della Pace на барельефы которой чичероне не безъ удовольствія указывая говорилъ: «это Наполеонъ... это все Наполеонъ изображенъ и его побѣды, а совсѣмъ не Австрійскій Императоръ!» Наконецъ экипажъ выѣхалъ за городъ, своротилъ съ шоссе, ѣхалъ какими-то садами—и остановился передъ большимъ, видимо заброшеннымъ домомъ.

— Куда вы это привезли насъ, синьоръ Карло?

— Къ дьяволу, синьоры, къ самому дьяволу!

— Это любопытно! и вы думаете, что онъ насъ приметъ?

— Не знаю, увидите ли вы его, но отвѣчать онъ вамъ будетъ навѣрное.

Сейчасъ явился, какъ водится, другой, мѣстный кустодій, и молча повелъ насъ вверхъ по большой каменной лѣстницѣ.

Все кругомъ обличало широкую жизнь, которую вели здѣсь прежніе владѣльцы, и вмѣстѣ полное и давнее запустѣніе. Фрески по стѣнамъ полуобвалились, боковыя двери были заперты, на балконѣ и на полу огромной залы сушилась кукуруза. Мы поднялись въ третій этажъ, повернули въ бокъ и остановились передъ окномъ, выходящимъ на внутренній дворъ.

Домъ выходилъ на этотъ запустѣлый и поросшій травою дворъ длиннымъ фасомъ и двумя выдающимися небольшими крыльями. Мы были на одномъ изъ этихъ крыльевъ, такъ что прямо противъ насъ находилось другое, противуположное крыло. Проводникъ сталъ противъ открытаго, за неимѣніемъ рамы, окна и закричалъ:

— Га!

— Га! га! га! га! разъ пятьдесятъ отвѣчалъ ему изъ противуположнаго фаса точно адскій смѣхъ, постепенно учащая отвѣты и замирая... замирая, какъ будто крикнувъ, убѣжалъ, и все кричалъ на бѣгу.

Проводникъ ударилъ палкой по доскѣ и точно также разъ, пятьдесятъ повторился ударъ.

Мы всѣ, по его приглашенію, крикнули и цѣлый содомъ поднялся въ противуположномъ зданіи, и долго гудѣлъ, какъ будто разъяренная толпа съ крикомъ и угрозами куда-то бѣжала, постепенно удаляясь!

— Это вилла Симонетта,—началъ проводникъ, принадлежала прежде графинѣ Симонеттѣ, которая, этому очень много времени, здѣсь жила въ свое удовольствіе! Много у ней было любовниковъ, синьоръ, и всѣхъ ихъ, по прошествіи нѣсколькихъ ночей, она убивала и бросала здѣсь въ ямы и погреба. Весь этотъ заброшенный дворъ, который вы видите, наполненъ ихъ трупами и голоса, которые вы слышите, принадлежатъ несчастнымъ жертвамъ ея сластолюбія.

— Отчего же теперь владѣльцы не живутъ здѣсь? спросили мы.

— Невозможно, синьоры!

— А по какой причинѣ?

— Потому что здѣсь не чисто. Днемъ еще ничего, но ночью поднимается такая возня, такія страсти, что Боже упаси! Садъ и земля около виллы воздѣлываются, но въ ней самой жить не возможно.

— Да вѣдь живетъ же вотъ онъ, и не боится, сказалъ кто-то, указывая на мѣстнаго проводника.

— Нѣтъ, синьоры, и я не живу! отвѣчалъ онъ: я живу по сосѣдству и днемъ прихожу сюда, но на ночь не останусь ни за что.

Удивительное эхо виллы Симонетты, происходящее вѣроятно отъ отраженія звуковъ въ закрытыхъ переходахъ противуположнаго фаса, который къ сожалѣнію не показывается и не обслѣдованъ въ акустическомъ отношеніи, повторяетъ звукъ голоса до 60 разъ—а пистолетный выстрѣлъ до восьмидесяти. Во Флоренціи, въ одной изъ залъ галлереи Питти, мнѣ попался на глаза портретъ работы Боттичелли съ надписью «Симонетта». Не знаю, какая Симонетта изображена на немъ, но врядъ ли та, которой легенда приписываетъ склонности грузинской Тамары. Ничто въ ея наружности не заставляетъ предполагать такихъ вкусовъ. Костюмъ простъ, сама она блѣдная, худощавая, не дурна собою, но съ тонкими губами и вообще лицемъ, не выражающимъ страсти. Этотъ портретъ много повредилъ Симонеттѣ въ моемъ мнѣніи.

Мы возвращались домой мимо публичнаго сада по Корсо. Во всякомъ итальянскомъ городѣ и городишкѣ Корсо точно также неизбѣжно, какъ въ нашихъ губернскихъ городахъ дворянская улица. Корсо всегда лучшая улица всякаго города. День былъ воскресный и въ добавокъ прекрасный: гуляющихъ бездна. Ломбардское племя считается красивѣйшимъ изъ всѣхъ итальянскихъ племенъ, въ свою очередь красивѣйшихъ между всѣми европейскими. И тутъ мы вдоволь налюбовались имъ. Что за глаза, осанка, очеркъ лица у мужчинъ! Какія чудныя, лоснящіяся, тщательно разчесанныя бороды! П., у котораго вмѣсто волосъ ростетъ на бородѣ какой-то жидкій мохъ, при видѣ каждой бороды восклицалъ: «Нѣтъ! я свою обрею, ей-ей обрею!» Едва ли я солгу, если при всей моей слабости къ женскому полу, скажу, что здѣсь прекрасный полъ—мужчины. Но это нисколько не значитъ, чтобы женщины были дурны, напротивъ, здѣсь онѣ еще не такъ смуглы, мало этихъ черныхъ, какъ вороново крыло, волосъ, этихъ глазъ, изъ которыхъ свѣтитъ какая-то тьма, часто встрѣчаются и голубые глаза и свѣтлые волосы, но какіе глаза и волосы! Вообще Италія край прелестнѣйшихъ женщинъ, поповъ и ословъ. Я жалѣю, что долженъ помѣстить прекрасный полъ въ такое дурное общество, но справедливость выше всего, какъ говорилъ Ѳ. Булгаринъ.

Миланъ похожъ, говорятъ болѣе на городъ французскій, нежели итальянскій. Я еще не былъ во Франціи и потому судить не могу, но взыскность туалета здѣсь развита болѣе, нежели гдѣ нибудь, и эта черта относится и къ мужчинамъ. За то, женщины, и въ особенности хорошенькія, кажется, чувствуютъ необходимую потребность показываться и онѣ дѣлаютъ это! такъ много ихъ, такъ онѣ бросаются въ глаза на улицахъ: куда не оглянешься—хорошенькія, на всякомъ балконѣ хорошенькая, вотъ полуоткрытое окно, — и опять хорошенькая.

— Нѣтъ! этого однакожъ нельзя! говорилъ одинъ, посмотрите опять какая хорошенькая!

— А на право, вонъ надъ нами! нѣтъ, этого никакъ нельзя! вѣдь этакъ шею свихнешь! говорилъ другой.

— Вотъ домъ, въ которомъ живетъ графъ Радецкій, сказалъ Карло, указывая на дворецъ съ огромнымъ садомъ, который одинъ стоялъ мрачно и тихо посреди общаго движенія и жизни. Сходя съ этого крыльца, фельдмаршалъ недавно сломалъ себѣ ногу...

Но намъ было ни до фельдмаршала, ни до его дворца. Корсо было все облито теплымъ яркимъ солнцемъ, красивая толпа двигалась справа и слѣва, и въ этой толпѣ что ни лицо, то прелесть. Окна и балконы отворены и унизаны красавицами, только въ боковыхъ улицахъ и узенькихъ переулкахъ была сырость и тѣнь, но и тамъ жизнь другаго рода. Зелень, груды плодовъ и цвѣтовъ, жаровни съ каштанами высовывались то тутъ, то тамъ; кареты и коляски часто въ одну лошадь едва проѣзжали между узкихъ стѣнъ; лавки были заперты, но за то все, что работаетъ въ нихъ, теперь гуляло, и все это пестро, красиво, живописно.

— Нѣтъ, этого нельзя! Вѣдь столько хорошенькихъ, что этакъ не усидишь на мѣстѣ! говорилъ Р*. Вѣдь, мы люди же наконецъ!

Однакожъ мы усидѣли на мѣстѣ и усталые пріѣхали въ гостинницу.

—

Знаменитый театръ La Scala былъ закрытъ и мы днемъ полюбовались его прекрасными размѣрами и убранствомъ. Въ первомъ отношеніи онъ

почти равенъ возобновленному московскому, но во второмъ, если и уступаетъ ему въ роскоши и массивности, то никакъ не въ изящности. За каждой ложей черезъ корридоръ есть принадлежащая къ ней комната, въ которой миланскія дамы принимаютъ, во время спектаклей, какъ у себя въ гостиной. Многія изъ этихъ маленькихъ комнатъ очень мило убраны абонентами. Оперу я слышалъ въ театрѣ Канобіано, не очень большомъ, но красиво и мило убраномъ. Я не буду говорить вамъ о составѣ труппы. Разумѣется, его нельзя и сравнить съ петербургскимъ, но примадонна, кажется Кортези, очень хороша, другая труппа (въ маленькомъ театрѣ Radegonda), которой я не слыхалъ, говорятъ, исполняетъ оперы съ прекраснымъ ансамблемъ. Между рядовъ креселъ, по обыкновенію иностранныхъ театровъ, едва пройдешь и дамамъ въ кринолинахъ или мужчинамъ пространныхъ размѣровъ они рѣшительно недоступны. За креслами большое пространство замѣщается зрителями, стоящими на ногахъ. Эти мѣста всѣ биткомъ набиты и зрители стоятъ въ шляпахъ; впрочемъ и въ креслахъ, по итальянскому обычаю, многіе, особенно въ антрактахъ, остаются въ шляпахъ. Надобно прибавить, что первый рядъ креселъ здѣсь, какъ и въ Венеціи, принадлежитъ исключительно австрійскимъ офицерамъ: завоеватели не хотятъ смѣшиваться съ побѣжденными. Во всѣхъ театрахъ здѣсь васъ удивляетъ другая странность. Вы берете мѣсто, напр. ложу, и платите за нее пятнадцать лиръ; причемъ вмѣсто билета получаете ключъ отъ нея; но при входѣ должны заплатить еще, кажется, лиру за право входа. Не все ли бы равно взять заразъ.

Я хотѣлъ вамъ сказать о другой сценической замѣчательности Милана—о театрѣ маріонетокъ. Кукольные театры съ ихъ полишинелемъ, отпускающимъ крупныя штуки, вообще чрезвычайно популярны въ Италіи и замѣняютъ здѣсь театры народные, но въ первенствѣ миланскій театръ между ними знаменитъ въ своемъ родѣ.

— Оперу, синьоры, вы увидите у себя въ Петербургѣ, Лондонѣ и Парижѣ — лучше нашей, но нашихъ маріонетокъ нигдѣ не увидите, говорилъ намъ чичероне.

Я согласился на его предложеніе съ тѣмъ, чтобы насъ пустили и за кулисы. Онъ обѣщался устроить и мы поручили ему взять билеты.

Часу въ 8-мъ вечера мы отправились въ узенькій переулокъ, недалеко отъ Корсо, и вскорѣ нашли освѣщенный однимъ фонаремъ по бокамъ театръ Fiando. Синьоръ Карло, въ своемъ черномъ платьѣ, тотчасъ выросъ какъ изъ-подъ земли и повелъ насъ въ нашу ложу. При самомъ входѣ, зала пріятно измѣнила нашимъ ожиданіямъ. Мы думали очутиться въ какомъ нибудь балаганѣ, а вмѣсто того увидѣли себя въ небольшомъ, но очень изрядномъ театрѣ. Три ряда ложъ были наполнены весьма приличными маленькими и большими зрителями, между которыми мы узнали нѣсколькихъ иностранцевъ, но партеръ былъ набитъ биткомъ и чрезвычайно оригиналенъ. Лавчонки, разнощики, мастеровые, мальчишки, молоденькія горничныя и разныя пецеромонныя особы сидѣли одинъ рядомъ съ другимъ, чуть не одинъ на другомъ, и все говорило, шутило, смѣялось. Безцеремонность была полная. Двое мальчишекъ дрались черезъ скамейку, нѣкоторые разочарованные ловеласы сидѣли, положивъ руку на плечо своихъ дамъ; разнощикъ носилъ лотокъ съ фруктами и сластями надъ толпою и громко кричалъ о нихъ. Но занавѣсъ поднялся и воцарилось молчаніе.

На крошечной сценѣ появились актеры и началась какая-то страшная драма въ родѣ тѣхъ, которыя лѣтъ пятнадцать назадъ писалъ бѣлыми стихами нашъ извѣстный драматургъ Кукольникъ. Мрачный развратникъ въ мишурномъ плащѣ бросилъ жену и обольстилъ дѣву. Дѣло дошло до справедливости принца, но мы не дождались его рѣшенія. Куклы мнѣ показались немного менѣе человѣческаго роста и если двигали ногами какъ больные въ Гастейнѣ, за то дѣйствовали руками безукоризненно. Всего болѣе доставлялъ публикѣ удовольствія пульчинелло, съ бородавками на лицѣ, который говорилъ на какомъ-то патуа, но производилъ своими шутками постоянный хохотъ въ то время, какъ угнетенная невинность въ черномъ платьѣ трогала чуть не до слезъ чувствительныхъ зрительницъ. Между двумя актами драмы, точно также, какъ это дѣлается здѣсь вездѣ посреди оперы, данъ былъ балетъ и какой балетъ! Декораціи мѣнялись безпрерывно, Амуръ разъ пять спускался на голубяхъ и уносилъ въ облака Психею. Фланелевые сюжеты дѣйствовали безукоризненно, трудные па, пируэты, позы исполнялись великолѣпно и чрезвычайно вѣрно, иногда можно было забыться до того, что вообразишь себя въ московскомъ балетѣ. Великолѣпная апотеоза съ розовымъ огнемъ заключила, по обыкновенію, послѣднюю картину, занавѣсъ опустился при рукоплесканіяхъ, и мы попросили позволенія отправиться за кулисы.

Чрезъ нѣсколько минутъ явился какой-то господинъ, зажегъ фитиль въ маслѣ и долго водилъ насъ сѣнями и мрачными переходами. Наконецъ отворилась дверь и мы очутились на сценѣ.

Первое что поразило насъ, это—видѣнные нами актеры! Около входной кулисы на крючкахъ висѣли рядкомъ, и тиранъ, и правосудный принцъ, и угнетенная невинность, и пульчинелло: они были прекрошечные. Какъ! этотъ худощавый извергъ, который казался мнѣ такимъ громаднымъ, не болѣе восьми вершковъ; эта стройная и прелестная дѣвица, такъ трогательно бросавшаяся на колѣни передъ принцемъ, можетъ помѣститься въ моей шляпѣ! Дѣйствительно, оптическій обманъ, производимый, вѣроятно, соотвѣтственными размѣрами сцены, чрезвычайно замѣчателенъ; но за кулисой происходила другая картина, еще замѣчательнѣе.

На сценѣ шло продолженіе плачевной драмы,

прерванной балетомъ. Свѣсившись надъ задней декораціей, нѣсколько человѣкъ въ глубокомъ молчаніи водили на нитяхъ героевъ и заставляли ихъ дѣлать самые отчаянные жесты; другая маленькая группа стояла посреднѣ и говорила за нихъ. Приходилось героинѣ упрекать погубившаго ее изверга и вотъ подошла къ раскрытой книгѣ прелестная 18-ти-лѣтняя дѣвушка. При свѣтѣ двухъ тощихъ огарковъ, она подняла руку и начала:

«...Ты, котораго я любила со всей пылкостью моего юнаго, неопытнаго сердца, ты, для котораго я пожертвовала всѣмъ дорогимъ и священнымъ для меня, ты, для котораго я отдавала весь пламень моихъ горячихъ объятій, ты разлюбилъ и бросилъ меня»...

Лицо красавицы разгорѣлось, черные глаза блистали, голосъ дрожалъ отъ внутренняго негодованія, поднятая рука дѣлала угрожающій жестъ, она забывала, что стоитъ за холщевой декораціей передъ раскрытой книгой—она была восхитительна! И понялъ я, отчего замшевая героиня въ черномъ платьѣ, безпрестанно прижимающая платокъ къ своимъ стекляннымъ глазамъ, порой шевелила во мнѣ какое-то неясное чувство, отчего ея звучный контральто иногда невольно доходилъ до сердца!..

Верона.

Побочныя обстоятельства имѣютъ удивительное вліяніе на нашъ взглядъ и впечатлѣнія. Вы пріѣзжаете въ какой нибудь городъ, и очень хорошій городъ, который стоитъ себѣ, какъ всегда, ни мало не заботясь, пріѣхали ли вы въ него или нѣтъ. И вотъ погода, помѣщеніе, мелочная обстановка васъ встрѣтившая, выставляетъ его совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ. Мы пріѣхали въ Верону вечеромъ. Во-первыхъ въ Hôtel Imperial et Royal des Deux Tunis (замѣтьте названіе), намъ дали холоднѣйшіе номера, безъ каминовъ; во-вторыхъ, за мрачнымъ общимъ столомъ мы нашли кучу австрійскихъ генераловъ—а я всегда чувствую себя безпокойнымъ въ подобномъ обществѣ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ услыхалъ, что одинъ штатскій генералъ, на моей далекой родинѣ,—хоть онъ и мизерненькій, а хочетъ до меня *добраться*. Въ третьихъ была плохая погода, холодъ, а не далеко отъ моихъ оконъ, въ 12-мъ часу ночи, какіе-то несчастные музыканты вздумали давать кому-то несчастную серенаду, и разбудили меня. Рано на другой день мы пустились на осмотръ города, чтобы успѣть кончить его къ часовому поѣзду; густой туманъ висѣлъ въ воздухѣ и прелестнѣйшіе памятники полу-византійской, полу-германской архитектуры, внезапно прорываясь сквозь него, какъ-то тяжело ложились на душу. Прибавьте къ этому огромныя здавливающія кругомъ Верону австрійскаго рукодѣлья укрѣпленія, пристроенныя къ микель-анджеловскимъ, пропасть австрійскихъ мундировъ, такъ непріятно бросающихся въ глаза посреди итальянцевъ, и вы поймете, отчего родина Плинія младшаго, Корнелія Непота и Катулла произвела на меня тяжелое чувство.

Мы осмотрѣли замѣчательнѣйшія церкви и памятники на могилахъ Скалигеровъ, за рѣшеткой изъ кованаго желѣза, которая вся связана изъ кусковъ и прекрасно сохранилась, не смотря на то, что каждый чичероне, показывая ее, сочтетъ обязанностью потрясти изо всей мочи. На пространствѣ какихъ нибудь двадцати квадратныхъ саженъ, нагромождены эти памятники; иные простые саркофаги—съ гербомъ Скалигеровъ, лѣстницею, другіе—въ затѣйливѣйшемъ вкусѣ съ конными статуями, храминами изъ драгоцѣнныхъ мраморовъ и прочими украшеніями. Лучшій изъ нихъ надъ Каномъ Синьоріо, публично на улицѣ убившемъ своего предшественника, того самаго Кана Великаго, который покровительствовалъ Данту! потомъ задушившимъ своего меньшаго брата!

Остатки римскихъ построекъ виднѣлись мѣстами одинокой колонной, застроеннымъ портикомъ. Вомитоары знаменитаго амфитеатра заняты дранными лавчонками съ старымъ желѣзомъ, мукой и пр. Сквозь одну изъ этихъ лавокъ торговка впустила насъ во внутренность. На аренѣ, гдѣ дрались гладіаторы, гдѣ звѣрями терзали людей на потѣху пятидесяти тысячъ зрителей, теперь стоитъ маленькій, сколоченный изъ досокъ, лѣтній театръ. Подъ воротами, возлѣ каменныхъ клѣтокъ, еще носящихъ слѣды львиныхъ и тигровыхъ костей, пріютилась крытая телега, тоже съ потѣшными звѣрьми, но современными—обезьяной и ученными собаками. Взглянувъ на эти сорокъ пять каменныхъ уступовъ, на которыхъ помѣщались зрители, на эту громадную арену, переходы, клѣтки для звѣрей и людей, бѣденъ мнѣ показался миланскій амфитеатръ, выстроенный послѣднимъ изъ римскихъ императоровъ—Наполеономъ, съ его дерновыми скамьями и кирпичными стѣнами. За то по крайней мѣрѣ зрѣлища, которыя даются на немъ по случаю бракосочетанія австрійскихъ императоровъ, гораздо невиннѣйшаго свойства.

— Ну, теперь на могилу Юліи! сказалъ я гиду. Пусть сомнѣваются въ ея подлинности, пусть она заброшена у васъ, Богъ вѣсть гдѣ, но я долженъ быть на ней! какъ я покажусь на глаза **, не привезя ей поклона съ гроба Капулетти?

Мы проѣхали мимо стараго дома съ намалеванной вывѣской, изображающей лошадь и сѣно.

— Домъ Капулетти, сказалъ проводникъ.

Теперь въ немъ постоялый дворъ. Проѣхали далѣе по узкимъ улицамъ, дранымъ переулкамъ, выѣхали чуть не за городъ, наконецъ остановились передъ заборомъ. Гидъ слѣзъ съ козелъ, долго стучалъ въ ворота и наконецъ добился до того, что какая-то баба отперла ихъ.

Мы прошли сквозь сарай, заставленный соломой и телегами, на большой пустырь, на которомъ торчали два тощихъ деревца и дозрѣвала на двухъ грядахъ капуста. Долго наша путеводительница вела насъ по этому пустырю, на которомъ тро-

пинки были едва протоптаны. Туманъ сѣлъ густой росой, трава была мокрая, — я понимаю, что для живой Жульетты влюбленному Ромео можно еще было жертвовать жизнью,—но подвергать себя для нея простудѣ или ревматизму въ то время, когда она витаетъ въ неизвѣстныхъ запробныхъ странахъ,—крайне непріятно! Я начиналъ уже приходить въ отчаяніе, когда отворилась дверь и мы очутились въ небольшомъ, обнесенномъ со всѣхъ сторонъ каменными стѣнами дворикѣ. Дворикъ этотъ стоитъ на мѣстѣ какой-то старой церкви. Возъ съ соломой, корова и всякая рухлядь стоитъ подъ навѣсомъ одной стѣны, къ другой былъ прислоненъ какой-то каменный ящикъ.

— Гробъ Джуліи Капулетти, сказалъ проводникъ, подводя насъ къ ящику.

— Какъ, это гробъ Юліи! Это гробъ изъ камня, изъ котораго эрцъ-герцогиня Марія-Луиза велѣла сдѣлать себѣ четки, а чувствительныя веронскія барышни носятъ брелоки въ видѣ саркофага; гробъ, который путешественники чуть не растащили по кусочкамъ?

— Si, signore! для сбереженія отъ нихъ онъ сюда и поставленъ. Вотъ въ этомъ маленькомъ углубленіи лежала прелестная голова Жульетты.

Грубо обтесанный, безъ всякаго украшенія и надписи, каменный гробъ былъ открытъ и пустъ. Тдѣ же теперь лежитъ эта прелестная, вѣроятно уже източенная червями, головка?

— Гробъ раскрытъ и пустъ, спросилъ я проводника:—гдѣ же прахъ?

— Ма, signore! прахъ вѣроятно похороненъ гдѣ нибудь на кладбищѣ.

— Да гдѣ же гробъ былъ найденъ?

— Въ саду, который вы прошли, синьоръ. Тамъ было старинное францискаское кладбище.

— И гробъ найденъ былъ пустымъ?

— Нѣтъ, синьоръ, онъ былъ съ водою; хозяева мыли въ немъ капусту.

Чтобы ужъ покончить съ мертвыми, проѣзжая къ станціи желѣзной дороги, мы велѣли заѣхать на новое веронское кладбище. Прелестная аллея изъ кипарисовъ вела насъ въ послѣдній пріютъ веронцевъ. Но какое разочарованіе! мы нашли складочное мѣсто труповъ, а не поэтическое поле смерти. Въ срединѣ большое мѣсто земли раздѣлено аккуратнѣйшимъ образомъ на ряды могилъ, утиканные, маленькими камешками. Каждый камешекъ служитъ для надписи именъ двумъ покойникамъ; все это обнесено каменной галлереей, гдѣ предоставлено покоиться аристократіи; памятниковъ мало; въ стѣнахъ, какъ койки на пароходахъ, одно надъ другимъ, устроено помѣщеніе для трехъ покойниковъ... все это экономно, но нѣмецки и лишено всякой поэзіи! Гораздо лучше усаженное нѣсколькими кипарисами военное кладбище, на которомъ покоятся отслужившіе отечеству, австрійцы. На кладбищѣ какъ и въ театрѣ, имѣются привилегированныя мѣста.

Туманъ не позволилъ намъ полюбоваться видомъ на Верону изъ палаццо Джусто, — да и хорошо сдѣлалъ. Нѣтъ! скорѣе въ прелестнѣйшій изъ прелестныхъ городовъ, на свѣжій воздухъ и адріатическія волны!.. И мы повернули на станцію милано-венеціанской дороги, по которой наканунѣ пріѣхали.

Римъ, 3—15 декабря 18.. г.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ.

Венеція.

Поѣздъ остановился на нѣсколько минутъ на послѣдней у берега Адріатическаго моря станціи близь порта Джіулана, и пустился далѣе. Не смотря на вѣтеръ который дулъ на встрѣчу, и чувствовался еще рѣзче отъ быстроты покуда, не смотря на искры и пыль которыя попадаютъ въ глаза, вопреки наконецъ правиламъ осторожности, которые запрещаютъ высовываться изъ вагона — врядъ ли вы утерпите чтобы не поглядѣть впередъ—хотя бы рисковали засорить глаза или сорвать голову, когда знаете что за нѣсколько минутъ ѣзды — передъ вами стоитъ Венеція. Изъ насъ по крайней мѣрѣ никто не утерпѣлъ — и вотъ что увидали мы. Справа и слѣва были лагуны — грязное, тинистое болото; воды прилива почти сплошь затопляли ихъ—и лагуны сливались съ моремъ. Сквозь эту водную равнину — прямо какъ стрѣла — прорѣзывался громадный мостъ на двухъ стахъ двадцати двухъ аркахъ конецъ его виднѣлся одной тонкой линіей и терялся вдали, такъ что казался словно очерта голову вы мчитесь прямо въ морѣ чтобы хоть черезъ него вбродъ, вплавь но добраться до чудной каменной группы которая встаетъ вдали прямо изъ воды какъ Венера изъ морской пѣны. Мѣстами мостъ разширялся на устояхъ образующихъ рядъ площадокъ: говорятъ въ нихъ оставлено нужное пространство чтобы въ случаѣ нужды было куда положить порохъ и взорвать мостъ. Не знаю правда ли это и еще менѣе знаю цѣль съ которой австрійское правительство могло допустить подобную мѣру выгодную только для Венеціи. Мѣстами изъ неглубокихъ водъ вставалъ маленькій фортъ; сквозь слабый слой воды иногда просвѣчивалась грязь и тина лагунъ и свѣтлыми полосами обозначались прокопанныя въ нихъ каналы, по которымъ скользили на крытыя парусиной лодки съ стоящими на нихъ гребцами. День былъ ясный. Солнце спускалось въ море скрываемое отъ насъ то островами, то косою земли и наконецъ бѣлой блестящей стѣною выглядывающее изъ за нихъ на горизонтѣ; массы домовъ приближались, какая-то церковь какіе-то отдѣльные зданія точно захваченные кругомъ водополемъ виднѣлись ясно впереди — на-

мостъ для народа здѣсь происходили процессіи, игры — казни, теперь они служатъ только любимымъ мѣстомъ для гулянья да помня прежнія времена, тысячи голубей которыхъ прежде кормила республика, какъ только два бронзовыя молотобойца ударятъ по разу въ колоколъ часовой башни до сихъ поръ летаютъ на площадь со всѣхъ сторонъ и ждутъ подаянія—доброхотныхъ дателей. Грустно смотрѣть на три голыя красныя мачты стоящіе передъ базиликой и носившіе флаги покоренныхъ Кипра, Марги и Кандіи. Самый соборъ съ его пятьюстами разноцвѣтныхъ колоннъ, барельефами, алтарями, бенисьерами изъ греческихъ саркофаговъ, все изъ гранитовъ, порфировъ и мраморовъ свезенныхъ со всего стараго свѣта—даже мощи въ немъ покоящіеся и украденные въ Александріи и Хіо все говоритъ о томъ славномъ времени когда галеры и корабли Венеціи всюду развозили свое оружіе и товары и когда каждый купецъ и капитанъ возвращаясь изъ путешествія обязанъ былъ привезти что-либо для украшенія храма своего патрона. Теперь вся эта пестрая громада не лишенная своей особенной прелести но опустѣлая и посѣщаемая болѣе всего путешественниками—навѣваетъ вамъ странное впечатлѣніе точно вы очутились въ замкѣ какого нибудь знаменитаго пирата, среди награбленныхъ имъ сокровищъ, въ то время какъ самъ онъ устарѣвшій, безсильный и свои старыя продѣлки сидитъ гдѣ-то въ тюрьмѣ подъ надзоромъ австрійскаго гарнизона...

Дойдя до фасада церкви, площадь подъ прямымъ угломъ загибаетъ къ взморью и получаетъ названіе пьяццетомъ. Здѣсь столпились всѣ замѣчательнѣйшіе общественные зданія Венеціи. Сзади прелестная часовая башня съ курьезнымъ механизмомъ на которомъ въ каждый полдень растворяются двери и двѣнадцать апостоловъ проходятъ и кланяются передъ статуей Богоматери. Справа противъ церкви высокая кампанилева колокольня, посреди которой въ прежніе времена преступники изъ духовенства вывѣшивались въ деревянной клѣткѣ; рядомъ вся въ аркадахъ высокая Сансовиновская Libreria Veccia — старая библіотека въ которой вмѣсто книгъ помѣщается нынѣ правленіе — далѣе великолѣпная Цекка (Zeeca) на которой чеканились ходившіе по всему свѣту цекины,—и напротивъ дворецъ дожей съ его разными легкими мавританскими аркадами — на которыхъ лежитъ тяжелая масса верхняго этажа съ рѣдкими широкими окнами, громадными залами расписанными Тинторетомъ, декорированными Сансовиной, гдѣ собирался сенатъ, гдѣ засѣдалъ безпощадный совѣтъ десяти — и обвиненные ждали съ трепетомъ что ихъ проведутъ черезъ мостъ *вздоховъ* въ страшные *«колодцы.»*

Припоминая блестящіе но подозрительные и ужасные времена — спокойно разсматриваетъ теперь путешественникъ замазанные пасти львовъ въ которые опускались безъимянные доносы и вмѣсто трехъ невидимыхъ инквизиторовъ находить помѣстившійся въ нижнемъ этажѣ австрійскій караулъ и грязные крупные надписи по стѣнамъ строжайше запрещающіе — не совсѣмъ разборчивымъ венеціанцамъ— задачей сорить и грязнить въ этомъ мѣстѣ подъ страхомъ немедленнаго ареста.

Пьяццетта прямо упирается въ другую широкую площадь настоящую площадь въ духѣ старой Венеціи — площадь къ которой до открытія желѣзной дороги примыкали всѣ пути ея — заливъ Св. Марка. Теперь только пароходы подавившаго ее Тріеста покровительственно заходятъ сюда, какъ только парусныхъ судовъ медленно протянутся въ Догану—(таможню) да черные гробы гондолъ, покачиваясь на волнахъ, ждутъ путешественниковъ, которые вздумаютъ прокатиться.

Набережная въ этомъ мѣстѣ носитъ названіе Моллы. Передъ нею стоятъ двѣ историческія гранитныя колонны—одна съ статуей перваго покровителя Венеціи Св. Теодора попирающаго крокодила— другая съ послѣднимъ ея покровителемъ— нѣкогда столь славнымъ — крылатымъ венеціанскимъ львомъ. Увы льву несчастливилось! Въ началѣ нынѣшняго столѣтія онъ вмѣстѣ со многими историческими и художественными рѣдкостями долженъ былъ сдѣлать визитъ въ Парижъ. Въ 15 году его освободили, но онъ въ переѣздѣ потерялъ евангеліе на которое опирался лапой! «Берегись проходить между колоннъ» скажетъ вамъ венеціанская пословица. Хотя помня преданія «высокія особы» которыя пристаютъ къ Венеціи у Моллы до сихъ поръ дѣйствительно бываютъ обводимы кругомъ, чтобы не попасть на «дурное мѣсто» утратившее теперь свое значеніе: прежде между колоннъ производились всѣ казни преступниковъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ привязывали даже къ колоннамъ вверхъ ногами— тогда дѣйствительно непріятно было «попасть между колоннъ!»

Справа Моллы упирается въ неудавшійся публичный садъ затѣянный на клочкѣ земли Наполеономъ влѣво идетъ подъ названіемъ Славянской набережной. Въ зимній теплый полдень подъ лучами горячаго солнца отрадно и грустно (какъ и все въ настоящей Венеціи) гулять по этой полуопустѣлой набережной. Вы не увидите толпы корабелей и галеръ несущихъ сюда товары со всѣхъ концовъ земли, но видъ отсюда на Адріатическое взморье — по прежнему прелестномъ. Только налюбовавшись имъ не забудьте обернуться и взглянуть повнимательнѣе на дома. Тамъ между опустѣлымъ дворцомъ и мрачною еще не опустѣлою тюрьмою, во второмъ этажѣ, черезъ узкій каналъ переброшена небольшая крытая арка: обратите на нее вниманіе и когда вы узнаете въ ней «Мостъ вздоховъ» столько воспоминаній пробудятся въ душѣ, что невольно скажешь на перекоръ Пушкину

Ponte di sospiri
Милѣе мнѣ нашъ поцѣлуевъ мостъ.

—

— Здѣсь не такъ какъ въ другихъ городахъ синьоры — здѣсь чѣмъ выше — тѣмъ лучше и дороже: — потому что болѣе солнца и вида!

Дѣлать нечего. Путешественникъ знаетъ на опытъ что за границей болѣе чѣмъ гдѣ нибудь, не слѣдуетъ ходить въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ. Мы поднялись выше и не разкаялись.

Намъ показали комнаты возлѣ общей залы и увидавъ ихъ, не хотѣлось уже выходить изъ нихъ солнце которымъ начинаешь такъ дорожить зимой въ Италіи, свѣтило во всѣ окна. Окна выходили на двѣ стороны. Съ боковой виднѣлось вокно: садъ устроенный Наполеономъ, верхушка колокольни Св. Марка и бѣлокаменный профиль славянской набережной; прямо черезъ каналъ зданіе таможни съ золотой увы! уже непобѣдительствующей Венеціи фортуной на крышахъ, съ десятками судовъ покачивающихся на моряхъ, далѣе островъ Св. Георгія Маджоре съ прелестной церковью того же имени и между всѣми ими — гладкая площадь воды — перерѣзываемая пароходами, барками, гондолами — и сливающаяся вдали за молой и островами съ блестящей полосой Адріатическаго моря!

—

— «Ради Бога не ходите въ первый разъ на площадь Св. Марка — иначе какъ вечеромъ!» говорилъ одинъ пріятель передъ нашимъ отъѣздомъ въ Венецію. Мы такъ и сдѣлали.

Только что кончился поздній общій столъ, мы спросили дорогу и отправились.

Всѣ почти дома въ Венеціи выходятъ обыкновенно параднымъ крыльцомъ въ воду т. е. на каналъ — а другимъ въ проулокъ. Мы вышли послѣднимъ и очутились въ какомъ-то открытомъ коридорѣ, въ которомъ говоря безъ преувеличенія, разтопыривъ руки можно свободно касаться противуположныхъ домовъ. Два три фонаря слабо освѣщали его—но вскорѣ мы повернули на право и видъ перемѣнился. Это была улица хоть и не такая какъ мы ихъ воображаемъ себѣ—улица пѣшеходная, безъ тротуаровъ,—потому что всѣ они были шириною съ хорошій тротуаръ, вымощенная гладкимъ какъ полъ камнемъ — она была полна безпечно двигавшейся толпой, не боящейся того что какой нибудь экипажъ разгонитъ или потревожитъ ее. Всѣ окна нижнихъ этажей заняты магазинами фруктовыми цвѣточными овощными лавками, бросающимися въ глаза золотомъ и зеленью ярко освѣщенными газомъ. Заглядываясь по сторонамъ весело шли мы впередъ, прошли подъ какой-то колоннадой вдругъ очутились на площади— и остановились чтобы налюбоваться ею—мы были на площади Св. Марка.

Представьте себѣ площадь... нѣтъ! Представьте себѣ громадную залу съ каменнымъ паркетнымъ поломъ. Вмѣсто стѣнъ ее окружали, съ трехъ сторонъ дома. Нижніе этажи которыя состоятъ изъ аркадъ наполненныхъ магазинами, кофейнями, ресторанами, залитыми яркимъ газовымъ освѣщеніемъ. Свѣтъ отъ нихъ разливается на всю площадь на которой никогда не прозвучитъ экипажъ никто не помѣшаетъ прогулкѣ. Темно синее небо съ мерцающими звѣздами какъ плафонъ громадной залы какъ-то особенно высоко уходитъ въ высь а вдали вмѣсто четвертой стѣны рисуется фасадъ базилики св. Марка съ его сотнями разноцвѣтно неразмѣрныхъ колоннъ, сердцеобразныхъ сводовъ, золотомъ и мозаикой. Надъ арками галлереи едва пройдешь. Мущины и дамы размѣстясь около кафе на стульяхъ, пьютъ щербетъ, кофе, ѣдятъ мороженое, болтаютъ. Это пріемная всѣхъ здѣшнихъ дамъ, раутъ на который собирается все общество. Магазины съ ювелирными вещами знаменитой тонкостью венеціанской работы, горятъ золотомъ, блестятъ драгоцѣнными камнями, пестрая нарядная толпа двигается медленно фланируетъ, волочится, зѣваетъ; между ними мелькаютъ цвѣточницы, въ бархатномъ спензерѣ, съ крошечными букетами которыя раздаютъ на право и на лѣво, и тутъ же какой нибудь оборванецъ, какія то лица съ подозрительной наружностью медленно двигаются высматриваютъ иностранцевъ подходятъ къ вамъ боромъ и таинственно шепчутъ:

«Синьору не нужно ли сигаръ?»

Вы не обращаете на него вниманія — но онъ не отстаетъ понижаетъ голосъ и дѣлаетъ другое предложеніе. А на площади уединившись отъ шума и свѣта — какъ въ огромной маскарадной залѣ нѣсколько счастливыхъ паръ ходитъ рука подъ руку ихъ говоръ на женственно мягкомъ венеціанскомъ нарѣчіи звучитъ какъ-то раздражительно гармонично, длинныя тѣни падаютъ на каменный паркетъ; имъ дѣла нѣтъ ни до блеска и золота галлереи, ни до чудной таинственности ночи, ни до великолѣпныхъ декорацій базилики, ложи, часовой башни и дворца дожей — но все это вмѣстѣ и блескъ и ночь и свѣтъ и тѣни и чудныя зданія и гармоничный шопотъ сливаются въ одну полную неумолимой прелести картину и вамъ кажется что вы перенесены въ какую-то счастливую волшебную страну гдѣ нѣтъ ни нужды ни заботы гдѣ все дышетъ наслажденіемъ негой и страстью и было бы вѣчное блаженство — если бы не было австрійцевъ.

Площадь Св. Марка вечеромъ—такая картина— при воспоминаніи о которой и у старика забьется сердце!

Но имѣетъ свою высокую прелесть эта площадь и днемъ, и когда на яркомъ солнечномъ свѣтѣ блестятъ и рисуются тѣ чудныя зданія, которыя построены изъ порфировъ и мраморовъ всѣхъ странъ, которыхъ архитектура также какъ и матеріалы создалась изъ сліянія всѣхъ архитектуръ и образовала особенный пестрый разнообразный причудливый, но тѣмъ не менѣе прелестный венеціанскій стиль.

Пьяццо (площадь) Св. Марка и прилежащая къ ней пьяццета — срослись съ народной жизнью Венеціи. Во время республики онѣ служили фору-

мень для народа здѣсь происходили процессіи, игры — казни, теперь они служатъ только любимымъ мѣстомъ для гулянья да помня прежнія времена, тысячи голубей которыхъ прежде кормила республика, какъ только два бронзовыя молотобойца ударятъ по разу въ колоколъ часовой башни до сихъ поръ летаютъ на площадь со всѣхъ сторонъ и ждутъ подаянія—доброхотныхъ дателей. Грустно смотрѣть на три голыя красныя мачты стоящіе передъ базиликой и носившіе флаги покоренныхъ Кипра, Марки и Кандіи. Самый соборъ съ его пятьюстами разноцвѣтныхъ колоннъ, барельефами, алтарями, бенисьерами изъ греческихъ саркофаговъ, все изъ гранитовъ, порфировъ и мраморовъ свезенныхъ со всего стараго свѣта—даже мощи въ немъ покоящіеся и украденные въ Александріи и Хіо все говоритъ о томъ славномъ времени когда галеры и корабли Венеціи всюду развозили свое оружіе и товары и когда каждый купецъ и капитанъ возвращаясь изъ путешествія обязанъ былъ привести что-либо для украшенія храма своего патрона. Теперь вся эта пестрая громада не лишенная своей особенной прелести но опустѣлая и посѣщаемая болѣе всего путешественниками—наводитъ вамъ странное впечатлѣніе точно вы очутились въ замкѣ какого нибудь знаменитаго пирата, среди награбленныхъ имъ сокровищъ, въ то время какъ самъ онъ устарѣвшій, безсильный и свои старыя продѣлки сидитъ гдѣ-то въ тюрьмѣ подъ надзоромъ австрійскаго гарнизона...

Дойдя до фасада церкви, площадь подъ прямымъ угломъ загибаетъ къ взморью и получаетъ названіе пьяццетомъ. Здѣсь столпились всѣ замѣчательнѣйшіе общественные зданія Венеціи. Сзади прелестная часовая башня съ курьезнымъ механизмомъ на которомъ въ каждый полдень растворяются двери и двѣнадцать апостоловъ проходятъ и кланаются передъ статуей Богоматери. Справа противъ церкви высокая кампанилева колокольня, посреди которой въ прежніе времена преступники изъ духовенства вывѣшивались въ деревянной клѣткѣ; рядомъ вся въ аркадахъ высокая Сансовиновская Libreria Veccia — старая библіотека въ которой вмѣсто книгъ помѣщается нынѣ правленіе — далѣе великолѣпная Цекка (Zecca) на которой чеканились ходившіе по всему свѣту цекины,—и напротивъ дворецъ дожей съ его разными легкими мавританскими аркадами — на которыхъ лежитъ тяжелая масса верхняго этажа съ рѣдкими широкими окнами, громадными залами расписанными Тинторетомъ, декорированными Сансовиной, гдѣ собирался сенатъ, гдѣ засѣдалъ безпощадный совѣтъ десяти — и обвиненные ждали съ трепетомъ что ихъ проведутъ чрезъ мостъ *вздоховъ* въ страшные *«колодцы.»*

Припоминая блестящіе но подозрительные и ужасные времена — спокойно разсматриваетъ теперь путешественникъ замазанные пасти львовъ въ которые опускались безъименные доносы и вмѣсто трехъ невидимыхъ инквизиторовъ находить помѣстившійся въ нижнемъ этажѣ австрійскій караулъ и грязные крупные надписи по стѣнамъ строжайше запрещающіе — не совсѣмъ разборчивымъ венеціанцамъ—задачей сорить и грязнить въ этомъ мѣстѣ подъ страхомъ немедленнаго ареста.

Пьяцетта прямо упирается въ другую широкую площадь настоящую площадь въ духѣ старой Венеціи — площадь къ которой до открытія желѣзной дороги примыкали всѣ пути ея — заливъ Св. Марка. Теперь только пароходы подавившаго ее Трієста покровительственно заходятъ сюда, какъ только парусныхъ судовъ медленно протянутся въ Догану—(таможню) да черные гробы гондолъ, покачиваясь на волнахъ, ждутъ путешественниковъ, которые вздумаютъ прокатиться.

Набережная въ этомъ мѣстѣ носитъ названіе Моллы. Передъ нею стоятъ двѣ историческія гранитныя колонны—одна съ статуей перваго покровителя Венеціи Св. Теодора попирающаго крокодила — другая съ послѣднимъ ея покровителемъ— нѣкогда столь славнымъ — крылатымъ венеціанскимъ львомъ. Увы льву несчастливилось! Въ началѣ нынѣшняго столѣтія онъ вмѣстѣ со многими историческими и художественными рѣдкостями долженъ былъ сдѣлать визитъ въ Парижъ. Въ 15 году его освободили, но онъ въ переѣздѣ потерялъ евангеліе на которое опирался лапой! «Берегись проходить между колоннъ» скажетъ вамъ венеціанская пословица. Хотя помня преданія «высокія особы» которыя пристаютъ къ Венеціи у Моллы до сихъ поръ дѣйствительно бываютъ обводимы кругомъ, чтобы не попасть на «дурное мѣсто» утратившее теперь свое значеніе: прежде между колоннъ производились всѣ казни преступниковъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ привязывали даже къ колоннамъ вверхъ ногами — тогда дѣйствительно непріятно было «попасть между колоннъ!»

Справа Моллы упирается въ неудавшійся публичный садъ затѣянный на клочкѣ земли Наполеономъ плѣва идетъ подъ названіемъ Славянской набережной. Въ зимній теплый полдень подъ лучами горячаго солнца отрадно и грустно (какъ и все въ настоящей Венеціи) гулять по этой полуопустѣлой набережной. Вы не увидите толпы кораблей и галеръ несущихъ сюда товары со всѣхъ концовъ земли, но видъ отсюда на Адріатическое взморье — по прежнему прелестенъ. Только налюбовавшись имъ не забудьте обернуться и взглянуть повнимательнѣе на дома. Тамъ между опустѣлымъ дворцомъ и мрачной еще не опустѣлой тюрьмою, во второмъ этажѣ, черезъ узкій каналъ переброшена небольшая крытая арка: обратите на нее вниманіе и когда вы узнаете въ ней «Мостъ вздоховъ» столько воспоминаній пробудятся въ душѣ, что невольно скажешь на перекоръ Пушкину

Ponte di sospiri
Милѣе мнѣ нашъ поцѣлуевъ мостъ.

—

*

Дней десять пробыли мы въ Венеціи, утромъ разъѣзжая въ гондолѣ къ ея церквамъ, палаццамъ и галлереямъ, вечеромъ гуляя по пьяццѣ или весело бродя по черно-освѣщеннымъ узенькимъ какъ коридоры сплошь занятыхъ лавками и магазинами—переулкамъ. Странно, какъ-то очутиться въ улицахъ, гдѣ верхніе этажи свѣсившись чуть не сходятся между собою и поутру можно изъ окна въ окно пожать руку своему vis a vis. Ходить по мостамъ и мостикамъ, ступенями возвышающимся надъ каналами—и видѣть лошадей только на фронтонѣ св. Марка. Правда эти лошади много поѣздили на своемъ вѣку, были онѣ и на Нероновой аркѣ въ Римѣ, съѣздили въ Константинополь, пріѣхали оттуда въ Венецію, побывали на каруселской площади въ Парижѣ и опять возвратились на св. Марка, но они не стучатъ по мостовой и возвратясь въ комнату съ шумныхъ и полныхъ движенія переулковъ — васъ пріятно поражаетъ глубокая тишина большаго города, о которомъ не услышите столь знакомаго дробезжанья экипажей. Но было холодно—надо было торопиться на теплое зимовье и проститься съ Венеціей. И тутъ—она поступила съ нами какъ топкая кокетка. Въ день отъѣзда, какъ нарочно былъ прелестнѣйшій теплый день. Гондола быстро скользила мимо темныхъ палаццовъ большаго канала между сотнями ливрейныхъ украшенныхъ бронзой и простыхъ открытыхъ и накрытыхъ черными гробиками гондолъ. Широкій Ріальто устои, котораго лежатъ на 12-ти тысячахъ свай съ двумя рядами мазалиновъ тяжело перекинулся своими ступенями надъ нашими головами. Былъ отливъ. Крыльца домовъ высоко высунулись надъ водою, часто не доходя до нее ступенями; морскія растенія показались на обнаженныхъ фундаментахъ, весла гондольера едва погружались въ мелкую воду, но плоскодонная гондола гордо поднимая свою желѣзную лебединую шею неслась быстро. Вотъ уже огороженное мѣсто, на которомъ въ болотистый грунтъ вбиваютъ сотни свай для будущаго дебаркадера, вотъ и площадка временной станціи. Сотни молоденькихъ, хорошенькихъ дѣвочекъ, окончивъ работу на сигарныхъ фабрикахъ смѣясь и болтая, весело прибѣжали передъ нами; въ сѣняхъ станціи намъ сдѣлали сюрпризъ австрійская таможня перешаривъ чемоданы, на томъ основаніи, что Венеція—портофранко, вотъ и дорожный экипажъ нашъ съ дымящимся паровозомъ. Мы сѣли, засвисталъ свистокъ и опять помчались мы по нескончаемому мосту. Лагуны обнажились кругомъ и сквозь тонкую пелену воды прорывалась ихъ черная поверхность. Кругомъ тишина и мертвая пустыня, одинъ только австрійскій фортъ одиноко стоитъ надъ грязью, да нѣсколько чаекъ и мартышекъ прогуливаются по тинѣ отыскивая пищи или бѣлой скобой, тихо снуютъ по воздуху, вдали за тощимъ перелѣзкомъ спускалось покраснѣвшее солнце, Венеція осталась за нами.

Глубокое и грустное чувство оставляетъ развѣнчанная и овдовѣвшая царица морей на душу жалкаго путника. Не городомъ болѣе или менѣе пріятнымъ и поэтическимъ остается она въ памяти, и какъ къ чудному живому существу къ ней привязываешся сердцемъ, любишь ее, какъ женщину. Богъ знаетъ откуда, какимъ вліяніемъ историческихъ воспоминаній и ея внѣшней оригинальности рождается это странное чувство, но вамъ кажется, что вы любовались каждый день, какой-то поэтической грустной овдовѣвшей, но все еще прелестной красавицей нѣкогда плѣнявшей весь міръ, игравшей огромную роль въ исторіи, жившей страстной, исполненной всѣми ужасами и прелестями романа жизнію. Вы не застали ее въ цвѣтущей порѣ, но она сама разсказывала вамъ свои удивительныя похожденія, вы еще можете судить о ея чудной красотѣ, ея мрачный палаццо еще не совсѣмъ опустѣлъ и заглохъ, бываютъ дни когда она забывъ свое положеніе еще улыбнется вамъ той улыбкой, которая сводила съ ума поэтовъ, которая высала къ себѣ новаго свѣта толпы поклонниковъ. И, если сердце ваше еще не умерло для любви, то вѣрьте мнѣ разставаясь на долго—можетъ на всегда съ Венеціей, глубоко грустное чувство сдавитъ вашу грудь, и слезы будутъ закипать въ ней и вамъ будетъ казаться, что вы разстались съ женщиной, которой любовь не долго, но ярко и горячо вспыхнула для васъ въ далекой, а поэтической сторонѣ.

Флоренція.

Вы не знаете, что такое «инсепарата»? Въ ущербъ кошельку, мы имѣли случай узнать ее можемъ васъ познакомить съ ней. Изъ Венеціи во Флоренцію мы выбрали путь на Падую, Феррару и Болонью, потому что изъ Мантуи до Лукки, дорога по случаю дождей и осени, говорятъ не проѣзжаемы. Пріѣзжаемъ въ Падую и спрашиваемъ хозяина отели, какъ лучше ѣхать далѣе. Въ омнибусѣ не возможно, съ вентурино долго, шестимѣстный дилижансъ уже ушелъ, да идетъ ночью и тоже крайне не удобенъ.

— Не угодно-ли взять инсепарату. У меня же кстати есть отличная коляска, которую мнѣ нужно отправить въ Болонью.

— А что, такое инсепарата?

— Да, не угодно-ли посмотрѣть коляску.

— Нѣтъ! Вы скажете, что такое инсепарата?

— Синьоры, заплатятъ здѣсь небольшую сумму получатъ отличный экипажъ, курьера который будетъ ихъ провожать, и которымъ могутъ они хоть ничего не дать — хоть дать чашку кофе — pes la bona mana (знаемъ мы это bona mana! подумали мы), и почтовыхъ лошадей, хоть вплоть до Флоренціи.

— А сколько будетъ это стоить?

— О не большую вещь, но не угодно-ли взглянуть коляску?

— Однако?

— На это есть такса: до Болоньи, пятнадцать наполеондоровъ, я прикажу вамъ показать коляску.

Коляска была дѣйствительно отличная и мы поняли, почему отелье, такъ настоятельно хотѣлъ показать ее—но и цѣна огромная. Мы торговались, но дѣлать нечего взяли ее. Замѣтьте, что кромѣ прогонъ вездѣ вы *обязаны* давать почтальону на водку по числу лошадей и величинѣ переѣзда, хотя эта *наводка* часто включается вамъ въ прогоны, а если хотите скоро ѣхать, то сверхъ положенной должны еще прибавить, что нибудь, такъ что водка на нѣкоторыхъ станціяхъ при всей бережливости обходится въ рубль серебромъ. А мы еще жалуемся на напрасливость нашихъ ямщиковъ и думаемъ, что у насъ много выходитъ на водку: нѣтъ и въ этомъ мы далеко отстали отъ иностранцевъ... Замѣчательнѣе всего, что въ Болоньи мы—думая, что отелье много взялъ съ насъ лишняго, адресовались прямо въ почтамтъ и въ почтамтѣ съ нами точно также торговались и сдѣлали уступку!

Тѣнь великаго Тасса, да проститъ мнѣ, что я не посѣтилъ въ Феррарѣ его темницы. Время было не много мы были голодны и грѣться у камина было пріятнѣе, чѣмъ смотрѣть пустой погребъ; я полагаю, что самъ поэтъ на моемъ мѣстѣ поступилъ бы точко также. Погода напоминала нашу осень, мы зябли и тутъ не до осмотровъ красоты природы, какъ то весьма странно улетучиваются, когда думаемъ о теплой комнатѣ и огнѣ. За то мы ѣхали скоро, какъ только можно ѣздить въ Италіи, къ лошадямъ иногда вдругъ припрягутъ вамъ вола да по папскому шоссе, которое поправляется одними молитвами. Таможни тоже дѣлали свое дѣло т. е. задерживали, брали лепту, на границѣ осматривали багажъ и неизвѣстно для чего пломбировали, на городскихъ заставахъ осматривали снова и вездѣ просили на водку. Не смотря на то мы перевалили черезъ снѣга Аппенины, а на другой день къ вечеру были во Флоренціи: переѣздъ двухъ дней, т. е. много, много двухъсотъ съ не большимъ верстъ стоило намъ около ста рублей. Теперь вы имѣете понятіе объ инсепарата.

Всякій болѣе или менѣе порядочный городъ, какъ всякій болѣе или менѣе порядочный человѣкъ обязанъ имѣть свою спеціальность, свой отличительный характеръ иначе онъ—безлишней господинъ, коптитель неба, Тентетниковъ. Объ художественномъ значеніи, я не говорю: какой городъ въ Италіи, не имѣетъ своего художественнаго значенія, своей школы свои исторіи искуствъ и въ этомъ отношеніи значеніе Флоренціи огромно. Но для путешественника профана для *жуира*, какъ называютъ иногда въ уѣздныхъ городахъ людей живущихъ для собственнаго удовольствія, Флоренція еще недавно имѣла другаго рода притягательную силу. Эта сила состояла въ томъ, что лѣтъ двадцать еще назадъ предусмотрительныя родители включали въ брачный контрактъ своихъ дочерей пунктъ по которому она могла не нарушая домашняго спокойствія имѣть при себѣ *cavaliére-servéufe*... А какой холостой и не совсѣмъ престарѣлый путешественникъ, не считаетъ себя способнымъ на эту роль?

Но, стали-ли нынѣ родители менѣе заботливы или дочери обходятся безъ формальнаго согласія мужа—только пунктъ, а cavaliére-servéufe изчезъ, по крайней мѣрѣ на бумагѣ. Тѣмъ не менѣе за Флоренціей осталось еще обоянie города любви—хотя едвали оно чѣмъ либо оправдывается, но что прикажете дѣлать съ утвердившимися репутаціями!

И вотъ съ розовыми мыслями подъѣзжаетъ путешественникъ къ городу, которому цвѣты дали свое имя. Прелестная панорама разкидывается у ногъ его. Въ долинѣ между горными возвышенностями по обоимъ берегамъ Арно весь на виду сгруппировался каменный городъ и надъ ними отчетливыми силуэтами на нѣжной синевѣ неба вырѣзываются зданія, которыя составляютъ славу Флоренціи. Вотъ высокая стройная четыреугольная кампаниля, до того прелестное созданіе Жіотто, что Карлъ пятый хотѣлъ хранить ее подъ колпакомъ, вотъ черная строгая суровая масса дворца Питти, построенная словно циклопами изъ саженныхъ камней, вотъ мрачная Санта-Кроче этотъ пантеонъ Флоренціи, гдѣ знаменитые памятники затмѣваютъ одинъ другаго надъ знаменитыми могилами и наконецъ рельефнѣе всѣхъ надъ соборомъ разкинулся громадный куполъ Брунелески, куполъ Богъ вѣсть почему пользующійся меньшею извѣстностью нежели Микель-Анжеловскій, хотя онъ построенъ вѣкомъ ранѣе и футомъ болѣе чѣмъ у св. Петра.

Таковъ видъ Флоренціи съ высоты заброшенной базилики St. Miviato, до которой мы долго взбирались по чудесной кипарисовой аллеѣ, но не такова она вблизи. Тяжело поражаетъ васъ и какъ будто тѣснятъ ее сумрачные строгіе безъ колоннадъ, безъ украшеній, старинные дворцы: статуи, памятники и произведенія искуствъ мало смягчаютъ ее наружность мало придаютъ ей той нѣжащей прелести, которую всюду вносятъ съ собою. Какъ-то особенно дѣйствуютъ они на васъ въ виду этихъ дворцовъ свидѣтелей славы безчинствъ и страшныхъ преступленій. Вы чувствуете, что здѣсь какъ будто пахнетъ еще медичисами ихъ благочестивымъ покровительствомъ искусству и ихъ кровосмѣшеніями, отравленіями и наконецъ выродившимся безсиліемъ. На Велико-герцогской площадкѣ этомъ тѣсномъ флорентинскомъ форумѣ, гдѣ подъ бывшей ложей ланскнехтовъ укрыты прелестнѣйшіе произведенія Челлини и Болоньи, гдѣ у дверей мрачнаго зубчатаго стараго дворца болѣе похожаго на крѣпость, чѣмъ на дворецъ, стоитъ Давидъ Микель Анджело, гдѣ возлѣ бронзоваго Козьмы 1-го прелестные сатиры украшаютъ фонтанъ вы чувствуете, что здѣсь только могъ явиться Саванаролла съ своимъ грознымъ и могучимъ даромъ слова, строгой жизнью, а аскетическимъ изступленіемъ, что здѣсь только повинуясь его вдохновенной рѣчи народъ могъ жечь свои богат-

ства, наряды, украшенія, плакать каяться терзаться—и чрезъ нѣсколько дней сжечь на этой же площади самаго Саванароллу.

Но преступленія и интриги Медичисовъ васъ не пугают болѣе и собранныя ими сокравища искусства доставляютъ вамъ наслажденія неописанныя. Каждый день съ утра до обѣда громадныя галлереи Уффици и Питти отворены для всѣхъ приходящихъ. Нѣтъ ни назначенныхъ дней, ни билетовъ никакихъ барьеръ, которыя Богъ вѣсть для чего подставляются подъ ноги, чтобы затруднить доступъ къ вещамъ, которыхъ цѣль быть доступными каждому. Если вы хотите копировать, скажите слово и вамъ отведутъ мѣсто даже снимутъ иную картину, чтобы поставить ее въ болѣе удобное освѣщеніе. Много восхитительныхъ часовъ проводилъ я среди этихъ восхитительныхъ capo d'opera но... я обѣщалъ вамъ не писать о томъ чего нельзя описывать.

Въ одну изъ поѣздокъ по городу и странствія по церквамъ мы остановились у стараго доминиканскаго монастыря посмотрѣть фрески Мемми болѣе занимательные по содержанію, чѣмъ исполненію на нихъ времени съ фигурами Петрарки и Лауры. Бойнасіо и Фіаметты (милая Фіаметта, какъ ты попала сюда?) сами доминикане изображены какъ вы думали въ видѣ собакъ (Domini cani) черныя съ бѣлыми пятнами (цвѣта доминиканцевъ)! Конечно собаки остерегаютъ овецъ отъ хищничества волковъ и дѣлаютъ прочіе добродѣтельные подвиги, но зачѣмъ же обижать ихъ сравненіемъ? Они сколько извѣстно изъ натуральной исторіи никогда не занимались инквизиціей! Нѣсколько «божьихъ собакъ» раскормленныхъ и сладкообразныхъ, прошли мимо насъ и мы окончательно убѣдились, что сходство невыгодно и обидно для собакъ.

— А угодно взглянуть чѣмъ теперь занимаются они? спросилъ насъ чичероне.

Мы вошли въ смежное зданіе и очутились въ магазинѣ. Ряды сткляночекъ и баночекъ стояли за полированными шкафами. За прилавкомъ находился самъ начальникъ *лабораторіи*.

— Что это лекарство и полезныя эссенціи? спросили мы.

— А вотъ неугодно-ли взглянуть, отвѣчалъ монахъ и подалъ намъ листъ объявленія.

— Ба! Ликеры: алькерманъ, глярефет-амуръ, ванильный, духи, мылы, помады... Да это косметическій магазинъ съ примѣсью винного погребка!

Странное занятіе для экс-инквизиторовъ! Но ликеры сдѣланные монахами должны быть недурны. Мы накупили всякой всячины и настоятель былъ такъ любезенъ, что попросилъ насъ въ другія комнаты.

Мы прошли хорошенькую гостинную убранную спокойной мебелью и картинками и вошли въ залу. Золото, бархатъ, мозаиковые столы... что это? Салонъ какой нибудь принчипессы?

— «Настоятель человѣкъ хитрый» подмигнувъ сказалъ намъ таинственно чичероне. У него недавно спросили, нѣтъ ли суммъ у лабораторіи?— А онъ смекнулъ что ихъ спрашиваютъ затѣмъ, чтобы отобрать, отвѣчалъ что на нихъ производятся украшенія обители да и ухлопалъ все на эту залу.

— Въ самомъ дѣлѣ зала пребогатая. Да кого же принимаютъ здѣсь.

— Всѣхъ—и особенно посѣтительницъ! Дамамъ по уставу ордена входъ въ монастырь воспрещается—но здѣсь не монастырь—и для нихъ съ другой улицы устроенъ входъ въ магазинъ и эти комнаты.

— Гм! умный человѣкъ настоятель, отвѣчали мы и отправились домой пробовать ликеры.

Тьфу что за гадость! Корица, гвоздика и всякая дрянь на спирту.

— Господа! Каминъ топится, сказалъ кто-то, сдѣлавши то что дѣлали флорентинцы по совѣту Саванароллы — сожжемъ всю эту тлѣнь и чревоугодіе...

Однакожъ мы сдѣлали лучше и отдали все прислугѣ.

—

Въ теплый праздничный день набережная Арно на которой мы остановились, бываетъ запружена народомъ. Въ италіанскихъ городахъ вообще рѣдки тротуары, всѣ ходятъ посрединѣ улицы и интересно видѣть эту безцеремонную пеструю толпу въ которой и погруженный въ собственное достоинство англичанинъ подъ руку съ своей леди высоко поднявшей платье и показывающей безъукоризненную юпку и ремесленникъ съ какой нибудь магазинщицей въ соломенной съ широчайшими круглыми полями шляпкѣ толкаются и двигаются мѣрно едва давая проѣздъ хлопающему бичемъ извощику. Но главное аристократическое гулянье загородомъ въ Кашино. Огромный прекрасный паркъ раскинулся тотчасъ за заставой вдоль берега Арно, который то надувшись отъ дождей течетъ шумной рѣкою то при малѣйшей засухи упавъ духомъ, тощій едва двигающійся смиренно пробирается по песочку. Часовъ около трехъ, цѣпь экипажей начинается тянуться по аллеямъ; тутъ вы увидите и прекрасные кареты и извощичьи колясченки и таратайки въ которыхъ на маленькой рысистой тосканской лошадкѣ пролетитъ какой нибудь мѣщанинъ охотникъ. Но аристократическія экипажи мало ѣздятъ по парку. На небольшой площадкѣ гдѣ играютъ великогерцогскіе музыканты въ треугольныхъ шляпахъ собираются они грудой и останавливаются. Здѣсь флорентинскія дамы принимаютъ визиты также какъ въ ложахъ театра; здѣсь мѣстные денди верхомъ и пѣшкомъ съ непремѣннымъ цвѣточкомъ въ петлицѣ любезничаютъ и ухаживаютъ: толпы цвѣточницъ съ корзиной въ рукахъ гдѣ лежатъ крошечныя букетики, ждутъ появленія всякаго экипажа и только останавливаетесь вы, набѣгаютъ къ вамъ со всѣхъ сторонъ предлагаютъ наконецъ просто

кладутъ вамъ на колѣни цвѣты и букетцы. Флоренція царство цвѣтовъ и цвѣточницъ. Къ сожалѣнію цвѣточницы далеко уступаютъ въ свѣжести и красотѣ своему товару, но за то отдѣлаться отъ нихъ нѣтъ никакой возможности, хотя бы вы забывшись что находитесь въ странѣ гдѣ нищенство и попрошайство составляетъ профессіи — забыли взять picolo moneto. Когда мы простясь съ Флоренціей выѣзжали на желѣзную дорогу въ одномъ мѣстѣ на улицѣ къ намъ въ экипажъ вдругъ посыпались букеты—что за бѣда если вы полѣнитесь остановиться или не захотите бросить что нибудь за нихъ, вѣдь цвѣты ничего не стоятъ и мнѣ случалось видѣть какъ иная цвѣточница у которой не хотятъ взять букетика воткнетъ его сзади въ карманъ и смѣется что синьоръ не замѣчая, уноситъ его съ собою.

Пиза.

«Pisa-morto»—съ грустью называютъ вамъ пизане свою столицу и ни одинъ городъ Италіи, страны полнаго величія славы и богатства, страны развалинъ и воспоминаній такъ грустно и внятно не говоритъ вамъ о своемъ настоящемъ упадкѣ—какъ Пиза.

Не смотря на ноябрь по календарю было ясное теплое, какъ-то особенно мягкое и тихое утро когда мы вышли изъ гостинницы, чтобы взглянуть на памятники бывшей столицы, бывшей славной республики. Большой правильный красивый городъ, раскинувшійся по обоимъ берегамъ Арно — поражаетъ съ перваго раза своей тишиной и безлюдьемъ. Экипажей мало, улицы пусты, кое-гдѣ пройдетъ путешественникъ съ гидомъ въ рукѣ да пятокъ нищихъ и калекъ, провожая его просятъ неотвязчиво подаянія. И не мудрено это безлюдье въ городѣ, выстроенномъ на полтораста тысячъ жителей, когда въ немъ остается теперь едва тридцать! Самые памятники Пизы говорятъ вамъ о смерти и разрушеніи. На широкой поросшей травою площади, великолѣпный соборъ съ пятью рядами полуколоннъ, съ черномраморными капителями—еще гордо высится величественнымъ фасадомъ—но фундаментъ его алтаря уже вросъ въ землю и откапывается изъ нее. Его прелестная кампанилла, эта знаменитая падающая башня вросла въ землю на сажень, нагнулась всѣми семью ярусами колоннъ—и кажется, вотъ—вотъ сію минуту упадетъ всѣмъ своимъ мраморомъ и разсыпится. Правда, она падаетъ семь столѣтій и семь колоколовъ звоня ежедневно, кажется хотятъ насъ убѣдить въ ее прочности, — но тѣмъ не менѣе, подойдя къ углу собора и ясно видя какъ изъ его отвѣса на двѣ сажени наклонилась эта семиярусная стройная громада глядишь на нее съ замираніемъ сердца, какъ на опасно больную обреченную смерти и какимъ-то чудомъ еще живущую надъ раскрытымъ гробомъ. Все, даже эхо Баптистеріо наводитъ на васъ грусть и уныніе. Въ пустой круглой, покрытой легкимъ куполомъ крестильнѣ, украшенной только прелестной мозаикой, бѣлаго мраморнаго бассейна и рѣзной кафедрой Николая Пизанскаго. Проводникъ беретъ нѣсколько нотъ и каждая изъ нихъ тихо и долго звучитъ въ воздухѣ, сливается съ другими и вотъ кажется, что невидимый и стройный хоръ отвѣчаетъ изъ купола грустнымъ, тихимъ и торжественнымъ напѣвомъ... прелестнѣе этаго эхо трудно услыхать что-нибудь.

А Campo-santo! Какъ будто пизанцы предчувствовали, что войны, эпидеміи, осады флорентійцевъ доставятъ богатую жатву смерти — уморятъ даже самую республику и они спѣшатъ устроить себѣ кладбище. Двѣсти галеръ привозятъ изъ Палестины святую землю. Ее обносятъ параллелограмомъ галлереи, открытой на внутреннюю сторону, галлерею расписываютъ фресками Жіотта Органья, и цѣлой эпопеей Гаццоли, наполняютъ памятниками, саркофагами—нужды нѣтъ, что языческими. Теперь можно умирать, думали они! Земли не много, но она имѣетъ чудное свойство въ сутки превращать въ прахъ тѣла въ ней похороненные—этого кладбища хватитъ на вѣки! Но увы! и кладбище измѣнило имъ. Чудотворная земля, пресыщенная мертвыми, потеряла свое всепоглащающее свойство и campo-santo запертo для пизанцевъ! На похороны въ немъ имѣютъ право только люди особенно прославившіеся при жизни—и то съ разрѣшенія в. герцога.

Сторожъ отперъ двери, на насъ пахнуло сыростью и мы вошли въ это тихое поле смерти, болѣе похожее на музеумъ, нежели кладбище. Обломки памятниковъ, урны, саркофаги грековъ, римлянъ, языческія аллегри, произведенія Торвальдсена и Іоанна Пизанскаго, живописной толпою стоятъ вдоль стѣнъ галлереи надъ прахомъ знаменитыхъ пизанцевъ; солнце весело ударяло въ нихъ сквозь стрѣльчатыя аркады, но иное тихое и грустное чувство возбуждалъ внутренній дворъ кладбища. Гладкій зеленый лугъ ровной скатертью разстилался надъ тысячью безвѣстныхъ могилъ, ни одного креста, камня или возвышенія не было надъ ними и только четыре кипариса по угламъ печально высились своей траурной зеленью. Это истинное поле смерти всеобщее равенство уничтоженія! На самой срединѣ боковой галлереи, на стѣнѣ обращаетъ ваше вниманіе оригинальный памятникъ покойника, — въ которомъ Пиза потеряла всего болѣе; памятникъ состоитъ изъ двухъ толстыхъ, заржавленныхъ цѣпей, висящихъ по стѣнѣ: этими цѣпями запиралася пизанскій портъ, въ то время, когда Пиза была приморскимъ городомъ—смерть этого порта была смертью Пизы.

Но и море ушло отъ тебя бѣдная, развѣнчанная столица, и ты осталась тихая, грустная, больная, какъ тѣ блѣдныя странницы, которыя ежегодно пріѣзжаютъ къ тебѣ толпою искать спасенія въ тепломъ и тихомъ климатѣ отъ безнощадной болѣзни. Это населеніе слабыхъ, чахоточныхъ

самыя станціи двѣ-три избушки. Изрѣдка попадется человѣкъ: это или пастухъ, или погонщикъ ословъ, оборванный, съ голыми ногами, прикрытый звѣриной шкурой, надѣтой мѣхомъ вверхъ: что за безотрадная, тяжелая картина! Нѣтъ, наши степи—садъ, въ сравненіи съ римской кампаньей! А между тѣмъ эта коричневая земля, говорятъ, чрезвычайно плодородна. Голубое небо—тамъ благотворно, солнце свѣтитъ такъ горячо — воздухъ такъ чистъ и теплъ, что, кажется, тутъ ли не развернуться труду, такъ щедро покровительствующему небесами и вознаграждаемому землей!

Но, видно, покровительства небесъ недостаточно для процвѣтанія края, да и однихъ молитвъ его святѣйшества, подъ покровительствомъ австрійскаго и французскаго гарнизоновъ, тоже для этаго мало!

Цѣлый день ѣхали мы по сѣверному шоссе, среди этого запустѣнія. Начинало вечерѣть. День былъ ясный, голубое небо покрылось по краямъ тѣми нѣжными, мягкими, прелестными переливами, изъ тона въ тонъ, изъ краски въ краску, которые можно видѣть только въ Италіи. И вдругъ, впереди по дорогѣ—на ясномъ и прозрачномъ какъ эфиръ воздухѣ — отчетливо и близко прорѣзался высокій куполъ. Что это? Неужели это куполъ Петра? Нѣтъ! не можетъ быть! Римъ еще далеко. Это церковь какого нибудь городка или монастыря. Мы ѣхали—и куполъ, то скрывался, то выступалъ изъ за волнистыхъ пригорковъ земли и все на одномъ разстояніи, все ясно, отчетливо и близко рисовался на небѣ. Наконецъ совсѣмъ смерклось, встала луна, а кругомъ все та-же пустыня и безлюдье и куполъ даже пропалъ, нѣтъ и признака, что приближаемся къ городу, къ которому, по пословицѣ, ведутъ, или, по крайней мѣрѣ, вели всѣ дороги въ мірѣ!

Вдругъ какая-то стѣна появилась съ боку, мы взглянули вверхъ—надъ нею прямо высилась громада петровскаго купола—еще минута у заставы, показавшаяся намъ часомъ — и мы очутились на великолѣпнѣйшей площади! Широкимъ, громаднымъ кругомъ — окаймляла ее четырехрядная колоннада: два фонтана всѣ изъ брызъ—били высоко и разсыпались сористой пылью. Высокій египетскій обелискъ высился по срединѣ, мѣсяцъ свѣтилъ ярко и прямо ударялъ влѣво отъ насъ, а влѣво стоялъ фасадъ Петра и рядомъ съ нимъ, едва мерцая нѣсколькими огнями, сумрачно громоздился одиннадцати тысячь комнатный Ватиканъ!

Эта площадь прошла передъ нами какъ сонъ; мы въѣхали въ улицы и очутились среди грязи, мрака и величія Рима.

Римъ.

$^{3}/_{15}$ января 18.. г.

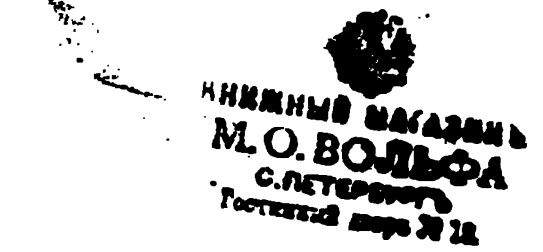
Библіотека
Института Ленина
при ЦК ВКП(б)

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВТОРАГО ТОМА СОЧИНЕНІЙ

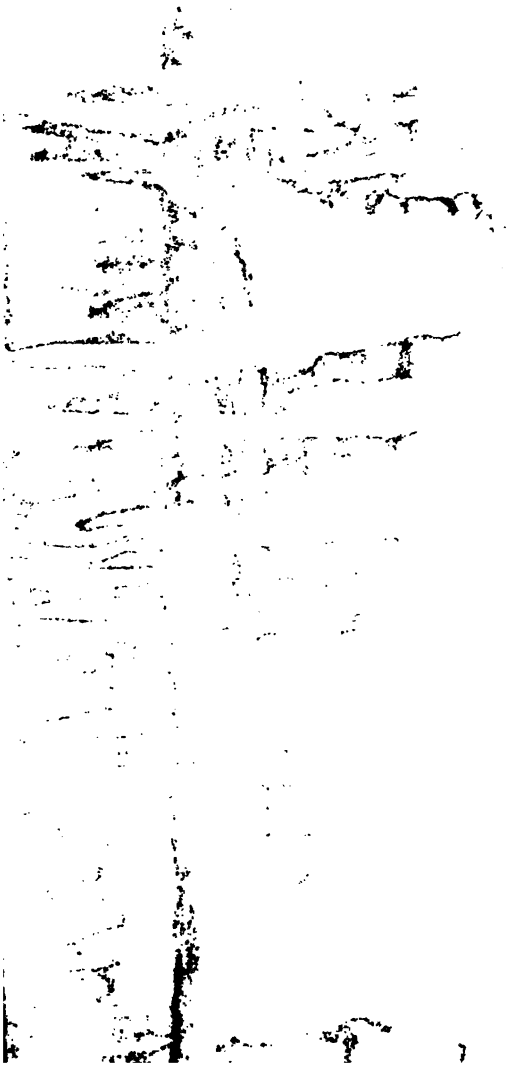
М. В. АВДѢЕВА.

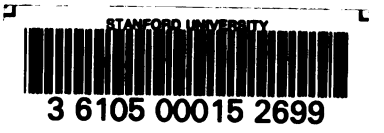
	Отран.
Подводный камень. Романъ въ двухъ частяхъ	8
Межъ двухъ огней. Романъ въ трехъ частяхъ	80
Мѣщанская семья. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ	232
Письма изъ-за границы	271



КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
М. О. ВОЛЬФА
С.ПЕТЕРБУРГЪ
Гостинный дворъ № 18

0 73ST2 53 005 BT 1 C 2V 8187





DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBR
STANFORD, CALIFORNIA 94305